



МУРАСАКИ СИКИБУ  
ПОВЕСТЬ  
О ГЭНДЗИ

МУРАСАКИ  
СИКИБУ  
ПОВЕСТЬ  
О ГЭНДЗИ

源氏物語

2

ГИПЕРИОН





花とふんかーはま

のちかひまあひる

きりきれあひる

きりきれあひる



ほろつたりしらゝあね？

のらんこい右大臣の女御

あつたういなりさ





ЯПОНСКАЯ  
КЛАССИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА





源  
氏  
物  
語

Мурасаки Сикибу

ПОВЕСТЬ  
О ГЭНДЗИ

Перевод с японского  
Т. А. Соколовой-Делюсиной

*Издание второе,  
переработанное и дополненное*

Санкт-Петербург

ГИПЕРИОН 

2010



国際交流基金

*The publisher gratefully acknowledges the support of  
the Japan Foundation in the publication of this book*

### Мурасаки Сикибу

М91 Повесть о Гэндзи : В 3 т. / Мурасаки Сикибу ; пер. с яп., вступ. ст., приложение и коммент. Т. А. Соколовой-Делюсиной. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Т. 2. — СПб. : Гиперион, 2010. — 592 с. — (Японская классическая библиотека. XXIV).

ISBN 978-5-89332-162-3

ISBN 978-5-89332-164-7 (Том 2)

«Повесть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»), написанная в начале XI века придворной дамой, известной под именем Мурасаки Сикибу, принадлежит к самым значительным произведениям не только японской, но и мировой литературы. Проследившая жизненный путь главного героя «Повести», Блистательного Гэндзи, рисуя судьбы связанных с ним женщин и намечая судьбы его потомков, автор делится с читателями размышлениями, затрагивающими наиболее важные стороны человеческой жизни.

Это новое, переработанное и дополненное издание русского перевода «Повести о Гэндзи» состоит из двух томов и отдельного тома «Приложение», куда входят материалы, призванные помочь читателю ориентироваться в сложном мире этого произведения.

ББК 85(5Яп)

ISBN 978-5-89332-162-3

ISBN 978-5-89332-164-7 (Том 2)

© Т. А. Соколова-Делюсина, перевод  
на русский язык, вступительная статья,  
приложение, комментарии, 2010  
© Издательство «Гиперион», 2010

Мурасаки Сикибу

# ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

ТОМ 2









## ЛИСТЬЯ ГЛИЦИНИИ

### Основные персонажи

**Великий министр** (Гэндзи), 39 лет

**Сайсё-но тюдзё, Тюнагон** (Югири), 18 лет — сын Гэндзи и Аои

**Юная госпожа**, 11 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Министр Двора, Великий министр** (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

**Девушка, молодая госпожа** (Кумои-но кари), 20 лет — младшая дочь министра Двора, возлюбленная Югири

**То-но тюдзё** (Касиваги), 23 (24) года — сын министра Двора

**Бэн-но сёсё** (Кобай) — сын министра Двора

**Нёго Кокидэн** — дочь министра Двора, наложница императора Рэйдзэй

**Госпожа Весенних покоев** (Мурасаки) — супруга Гэндзи

**То-найси-но сукэ** — дочь Корэмицу, возлюбленная Югири

**Госпожа Акаси**, 30 лет — возлюбленная Гэндзи

**Государь** (Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

**Принц Весенних покоев** (будущий император Киндзё) — сын императора Судзаку и наложницы Дзёкёдэн

ДАЖЕ ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА, царившая в доме на Шестой линии по случаю представления юной госпожи ко двору, не могла вывести Сайсё-но тюдзё из унылой задумчивости, которая и самого его повергала в жестокое недоумение. «Стоит ли так упорствовать? — думал он. — Я слышал, что министр готов пойти на уступки и стать “спящим хранителем застав” (224), коли я проявлю достаточную настойчивость. Но не лучше ли дожидаться поры, когда никто не посмеет пренебречь мною?» И как ни тяжело было у него на сердце, он подавлял жалобы и притворялся спокойным и беззаботным.

Девушка же, встревоженная намеками отца, печалилась и вздыхала. «Если это правда, — думала она, — мне не на что больше надеяться».

Да, как ни розны были их мысли, оба лишь друг о друге и помышляли.

От решительности, с которой министр Двора противился их союзу, не осталось и следа. «Если переговоры с принцем Накацукаса в самом деле увенчаются успехом, — думал он, — придется устраивать судьбу дочери иным образом, что будет не так-то легко, ибо, не говоря уже о незавидном положении ее будущего супруга, честь семьи наверняка окажется запятанной. Ведь как ни старались сохранить происшедшее в тайне, сплетен избежать не удалось. Ничего не остается, как, примирившись с поражением, сделать вид, что и не возражал никогда», — решил в конце концов министр.

Однако вот так, вдруг, самому заводить о том разговор ему не хотелось, ибо при внешне мирных отношениях оба еще помнили прежние обиды. «Ни с того ни с сего начать оказывать ему особое внимание тоже нелепо. Вот если бы подвернулся подходящий случай и можно было бы намекнуть...» — думал министр Двора и все медлил, а тем временем подошел Двадцатый день Третьей луны, день поминаения госпожи Оомия, и министр Двора отправился в храм Гокуракудзи\*. Он приехал туда во всем блеске величия, сопровождаемый сыновьями. В храме собрались многие сановники и вельможи, но Сайсё-но тюдзё никому не уступал в красоте. Будучи в расцвете лет, он обладал всеми мыслимыми достоинствами. С некоторых пор, затаив в душе обиду, Сайсё-но тюдзё чувствовал себя в присутствии министра Двора весьма принужденно, вот и теперь старался держаться со сдержанной невозмутимостью. Министр же чаще обычного устремлял на него свой взор.

Дары для монахов, читающих сутры, были присланы и из дома на Шестой линии. Разумеется, о многом позаботился сам Сайсё-но тюдзё, проявив поистине трогательную предусмотрительность.

Когда день склонился к вечеру, все двинулись в обратный путь. Цветы, осыпаясь с веток, кружились в воздухе, по земле стлалась вечерняя дымка, погружая окрестности в неясную мглу. Уносясь мыслями в прошлое, министр умиленно вздыхал, и с уст его невольно срывались слова изящных старинных песен. Сайсё-но тюдзё, очарованный красотой вечернего пейзажа, ехал, глубоко задумавшись, и не очнулся даже тогда, когда люди вокруг зашумели: «Кажется, собирается дождь!» Тут министр Двора, очевидно давно уже с трепетом сердечным следивший за юношей, наконец решился и потянул его за рукав.

— Неужели вы до сих пор сердитесь? — спросил он. — Подумайте о той, что соединила нас сегодня в этом храме, и постарайтесь простить меня. Скорее я могу обижаться на вас за пренебрежение, которое вы оказываете мне, забывая о том, что век мой близится к концу.

— О да, ведь и ушедшая завещала мне во всем полагаться на вас, — смущенно ответил юноша, — но видя, что вы не удостоиваете меня внимания...

Тут полил страшный дождь, подул ветер, и все бросились кто куда.

Сайсё-но тюдзё был в недоумении: никогда раньше министр Двора не говорил с ним так ласково. Разумеется, он сразу же подумал о девушке, и хотя министр не сказал ничего определенного... От волнения юноша всю ночь не смыкал глаз, о том о сем размышляя...

Неужели было наконец вознаграждено его терпение? Министр явно собирався уступить и только ждал подходящего случая...

Между тем настала Четвертая луна, и в саду министра Двора расцвели глицинии, да так пышно, как еще не бывало. Желая достойно отметить это событие, министр собрал в своем доме гостей. Любуясь цветами, гости услаждали слух музыкой. В сумерках, когда цветы казались особенно яркими, министр отправил к Сайсё-но тюдзё одного из своих сыновей, То-но тюдзё.

«Не могу не сожалеть о том, что наша встреча под сенью цветов была столь непродолжительной... Коли имеете досуг, не соблаговолите ли заглянуть ко мне...» — передал он на словах, в письме же написал следующее:

«В сумерках  
Когда особенно ярок  
Глициний цвет,  
Не зайдешь ли меня наведать?  
Вместе простимся с весной...»

Письмо привязано к ветке глицинии, в самом деле поразительно прекрасной. Весть о том, что министр ждет его, заставила сердце Сайсё-но тюдзё несказанно забиться, и он почтительно произносит:

— Удастся ль сорвать?  
Среди прекрасных глициний  
Снова блуждаю.  
В сумрачной дымке вечерней  
Все так неясно, так зыбко...

Впрочем, боюсь, что ответил невпопад... — добавляет он. — Но, может быть, ты согласишься замолвить за меня словечко?

— Готов сопровождать тебя... — ответил То-но тюдзё.

— О нет, на сей раз свита была бы скорее некстати... — возражает Сайсё-но тюдзё и отправляет его обратно. А сам проходит в покои отца и показывает ему письмо.

— Видно, министр Двора что-то задумал, раз ведет себя так... — говорит Гэндзи. — Если он решился наконец сделать первый шаг, то я готов простить ему даже ту непочтительность, которую он проявил когда-то по отношению к своей престарелой родительнице.

Право, в его самоуверенном тоне есть что-то очень неприятное.

— Не думаю, чтобы речь шла именно об этом. Скорее всего он просто хочет немного развлечься, воспользовавшись тем, что глицинии возле его дома расцвели пышнее обыкновенного, а поскольку время сейчас спокойное... — отвечает Сайсё-но тюдзё.

— Так или иначе, он нарочно прислал гонца, поэтому советую тебе поспешить.

Не умея проникнуть в намерения министра Двора, Сайсё-но тюдзё с трудом скрывает волнение.

— Твое платье слишком темное и выглядит простовато. Синий цвет к лицу молодым людям, не занимающим значительного положения в мире. А ты можешь позволить себе что-нибудь понаряднее. — Выбрав из соб-

ственных платьев особенно изысканное носи и несколько нижних одеяний, Великий министр вручает их телохранителю сына.

Вернувшись к себе, Сайсё-но тюдзё долго наряжался и появился в доме министра Двора, когда совсем уже стемнело и хозяин начал проявлять нетерпение. Семь или восемь сыновей министра во главе с То-но тюдзё вышли навстречу гостю и провели его в покои отца. Все они были хороши собой, но ни один не мог сравниться с Сайсё-но тюдзё, пленявшим взоры нежной прелестью лица, стройностью стана, изяществом манер...

Министр позаботился о том, чтобы Сайсё-но тюдзё был оказан любезный прием. Сам же облачился в парадное платье и, собираясь выйти к гостю, сказал госпоже Северных покоев и прислуживающим ей дамам:

— Постарайтесь разглядеть его потихоньку. Сайсё-но тюдзё очень красив и с годами становится все прекраснее. А с каким достоинством он держится! Он затмевает всех, и мне иногда кажется, что теперь, когда красота его достигла расцвета, он превосходит даже своего отца. Разумеется, Великий министр отличается поистине необыкновенным изяществом и редким обаянием — на него глядя, невольно забываешь о печалях мирских и не можешь удержаться от улыбки. Правда, иной раз он обнаруживает недостаток твердости при решении государственных дел, но что тут удивительного? При его утонченности... А сын — и это признают все — превзошел отца в науках, к тому же он гораздо мужественнее и рассудительнее.

И вот, принарядившись, министр выходит к гостю. Наспех обменявшись с ним положенными церемонными приветствиями, он тут же переводит разговор на цветы.

— Весенние цветы прекрасны, спору нет. Кто не восхищается, глядя, как раскрываются они один за другим, поражая разнообразием оттенков? Но, непостоянные, они покидают нас, опадая. Когда же мы печалимся, о них сожалея, вдруг зацветает глициния и цветет «до самого лета» (265). Именно это и придает ей столь неповторимое очарование в наших глазах. Да и цвет доставляет тайную отраду сердцу\*...

Тут министр многозначительно улыбается, и улыбка сообщает его лицу особую прелесть.

На небо выплывает луна, но цветы не различимы в окутавшей сад дымке. Это, однако, не мешает министру восхвалять их, одновременно потчывая гостей вином и улаждая их слух музыкой. Притворяясь сильно захмелевшим, он то и дело подносит Сайсё-но тюдзё чашу, и тот при всей осмотрительности своей не умеет отказать.

— Вас по заслугам считают одним из учений мужей Поднебесной, — говорит министр. — Право, вы слишком хороши для этих последних времен. Жаль только, что вы пренебрегаете дряхлыми стариками вроде меня... Даже в старинных книгах говорится о почтительности к старейшинам рода. Вы не можете не знать, чему учат нас древние мудрецы, и все же огорчаете меня невниманием.

Плача, разумеется, хмельными слезами, он довольно ловко приоткрывает свои тайные мысли.

— О, как вы можете так думать? Я всегда видел в вас замену ушедшей и готов ради вас пожертвовать собственной жизнью. Чем заслужил я такие упреки? Простите, но, наверное, по неразумению своему и тупости я не в



силах понять... — оправдывается Сайсё-но тюдзё, и министр, сочтя обстоятельства благоприятными, произносит:

— «Листья с изнанки простодушно открыла глициния...» (266)

Поняв намек, То-но тюдзё срывает самую пышную и яркую кисть глицинии и подносит ее гостю вместе с чашей вина. Видя, что тот, приняв цветы, не знает, что с ними делать, министр говорит:

— Станем ли мы  
На эти глицинии сетовать?  
Цвет их так ярок...  
Пусть даже старой сосне  
Ждать слишком долго пришлось...

Сайсё-но тюдзё берет чашу и, отдавая дань приличиям, с изяществом склоняется в благодарственном поклоне.

— Сколько же раз  
Увлажняла весна росой  
Мои рукава...  
Ужели сегодня цветы  
И для меня распустились? (267)

С этими словами он передает чашу То-но тюдзё:

— Глицинии  
Так похожи на рукава  
Девы прелестной.  
Под любящим взглядом ярче,  
Пышней расцветают...

Так передавали они чашу один другому, но скоро совсем захмелели, и песни их стали невнятные; во всяком случае, ничего более значительного сказано не было.

В небе тускло светится семидневный месяц, отражаясь в темном зеркале пруда. Деревья еще не радуют взоры пышной листвой, но тем более прекрасными кажутся грозди глициний, свисающие с веток причудливо искривленных сосен.

Все тот же Бэн-но сёсё нежным голосом запевает «Тростниковую изгородь»\*.

— Что за странный выбор? — удивляется министр и, подпевая, изменяет слова: «Из того дома, о котором слава громкая пошла...» Голос его звучит прекрасно.

До поздней ночи веселились они, и от былых обид не осталось и следа. Когда совсем стемнело, Сайсё-но тюдзё, притворившись захмелевшим, пожаловался То-но тюдзё:

— Я чувствую себя слишком неуверенно. Боюсь, мне не добраться до дому... Не уступишь ли мне на ночь свою опочивальню?

Услыхав это, министр говорит:

— Подыщите-ка гостю место для отдыха! Я же, с вашего позволения, удалюсь, дабы не оскорблять ваших чувств своим непристойным видом. — И скрывается в глубине дома.

— Ты, кажется, желаешь провести ночь под сенью цветов? — спрашивает То-но тюдзё. — Я не ошибся? Мудрено быть проводником...

— Не к добру такие слова! — пеняет ему Сайсё-но тюдзё. — Разве у глицинии, заключившей союз с сосной (268), может быть ветреное сердце?..

То-но тюдзё, хоть в глубине души и был раздосадован — «опять последнее слово не за мной!» — невольно залюбовался другом, а так как он и сам давно уже желал подобного исхода, то охотно принял на себя обязанности проводника.

«Уж не сон ли это?» — думал Сайсё-но тюдзё, очевидно вспоминая при этом, сколько обид пришлось ему снести. Девушка с трудом преодолевала смущение и показалась ему еще прекраснее прежнего.

— Я так страдал, что едва не «стал для мира первым примером...» (269, 270), но сумел не упасть духом, и вот... А ваша жестокость поистине беспримерна, — пеняет он ей. — Вы слышали, как Бэн-но сёсё пел «Тростниковую изгородь»? Вот насмешник! Мне так хотелось ответить ему песней «Речные Уста»\*.

«Это было бы тем более неуместно!» — думает девушка и говорит:

— Молву обо мне  
Подхватив, разнесли по миру  
Речные Уста.  
Ах, но как же ее пропустил  
Редкий плетень на заставе?

Досадно, право...

Она прелестна.

Улыбнувшись, Сайсё-но тюдзё отвечает:

— Просочилась молва  
Через заставу Протоки.  
И не стоит теперь  
Вину возлагать понапрасну  
На заставу Речные Уста.\*

Когда б вы знали, как тяжело страдал я все эти годы, едва не помутился разумом от горя.

Притворившись захмелевшим, он словно забыл о приличиях и о том, что «бывает рассвет» (6). Когда пришло время отправляться домой, дамы никак не могли разбудить его.

— Это он нарочно. Какая дерзость... — рассердился министр.

Однако не успело заняться утро, как Сайсё-но тюдзё уехал. Нельзя было не залюбоваться этим «утренним ликом» (271)!

Положенное послание он постарался отправить, как и прежде, тайно, но почему-то на этот раз девушке было еще труднее ответить. Самые язвительные из прислужниц переглядывались, подталкивая друг друга локтями. Когда же пришел министр и стал читать письмо, она совсем растерялась. Да и могло ли быть иначе?

«Как горько, что Вы и теперь не до конца откровенны со мной... — писал Сайсё-но тюдзё. — О, когда б я мог исчезнуть из этого мира...

Ты меня не кори,  
Нет в руках моих больше силы  
Рукава выжимать тайком.  
Посмотри — и сегодня на них  
Прозрачные капли повисли...»

Видно, что он успел приобрести некоторый опыт на этой стезе.

— Его почерк стал еще лучше! — улыбается министр.

От прежней досады не остается и следа. Видя, что девушка никак не может написать ответ, министр возмущается: «Ну как не стыдно!» — но, заметив, что его присутствие смущает ее, выходит.

Гонца Сайсё-но тюдзё осыпают щедрыми дарами. То-но тюдзё устраивает ему самый радушный прием. Можно себе представить, с каким облегчением вздохнул гонец, получивший наконец возможность свободно входить в дом, куда до сих пор пробирался украдкой, стараясь никому не попадаться на глаза. Гонцом Сайсё-но тюдзё был Укон-но дзо — один из преданнейших его приближенных.

Слух о происшедшем дошел и до министра с Шестой линии. Когда Сайсё-но тюдзё предстал перед ним во всем блеске своей удивительной красоты, министр, внимательно посмотрев на него, спрашивает:

— Как прошло сегодняшнее утро? Надеюсь, ты отправил письмо вовремя? Мне известно немало случаев, когда самые мудрые люди теряли голову из-за женщин. Ты сумел доказать свое превосходство над другими, ибо проявил редкую выдержку и ничем не запятнал своего доброго имени. Министр Двора был непоколебим, но и ему не оставалось ничего другого, как уступить. Наверное, в мире уже говорят об этом. Смею надеяться, что ты и впредь будешь вести себя благоразумно, не проявляя заносчивости и не упиваясь одержанной победой. На первый взгляд министр Двора может показаться человеком вполне уравновешенным и великодушным, однако и у него есть свои слабости, подчас недостойные его высокого звания, и сообщаться с ним близко не так просто, как кажется.

Так по обыкновению своему поучает Гэндзи сына, вполне одобряя между тем его союз с дочерью министра Двора. Трудно поверить, что перед нами отец и сын. Министр выглядит лишь немногим старше. Когда видишь их порознь, кажется, что они похожи как две капли воды, когда же, как сейчас, они стоят рядом, становится ясно, что сходство меж ними не так уж и велико, хотя оба необыкновенно хороши собой. На Великом министре голубое носи, надетое поверх нижнего платья из китайской белой ткани с четко вытесненным узором. Лицо его по-прежнему пленяет нежной красотой, а в осанке столько благородства, что сравняться с ним нет никакой возможности. На Сайсё-но тюдзё более темное носи, из-под которого выглядывают два нижних платья: одно яркое желто-красное, другое из мягкого белого узорчатого шелка. В особой изысканности его наряда чувствуется что-то многозначительное.

В тот день в дом на Шестой линии привезли статую Будды-младенца\*, а позже пожаловал и Верховный наставник, поэтому к вечеру обитательницы женских покоев прислали девочек-служанок с разнообразными подношениями, не менее великолепными, чем во Дворце. Обряды же все без

исключения совершались точно так же, и, чтобы посмотреть на них, в доме Великого министра собралось множество знатных гостей. Отличие, как это ни странно, заключалось, пожалуй, в несколько большей торжественности и пышности служб.

Сайсё-но тюдзё с нетерпением ждал конца церемонии и, как только она закончилась, принарядился и уехал.

Некоторые из молодых прислужниц, хоть и не имевшие оснований тешить себя надеждами, но все же пользовавшиеся его вниманием, чувствовали себя уязвленными. Но союз, заключенный после стольких лет любовного томления, поистине безупречен, и, как говорится, даже капля воды не могла просочиться меж супругами (272).

Министр Двора все больше привязывался к зятю, которого постарался окружить самыми нежными заботами. Правда, он и теперь не мог забыть, что принужден был признать себя побежденным, но исключительная преданность Сайсё-но тюдзё, в которой он успел убедиться за эти долгие годы, его несомненное благонравие внушали невольное уважение, и министр готов был простить ему все. Молодая же госпожа своей яркой, поистине совершенной красотой затмевала даже нёго Кокидэн, что служило причиной неудовольствия обитательницы Северных покоев и ее дам, но кому это теперь могло помешать? Супруга Адзэти-но дайнагона радовалась, видя, сколь удачно сложилась судьба ее дочери.

Тем временем в доме на Шестой линии шли последние приготовления к церемонии, которая была назначена на Двадцатый день.

Госпожа Весенних покоев собиралась на празднество Великого Явления\*. По обыкновению своему она пригласила с собой остальных дам, но они отказались, очевидно опасаясь выставить себя в невыгодном свете, поэтому свита госпожи, состоявшая всего из двадцати карет и весьма небольшого числа передовых, была необычно скромной, но, возможно, именно поэтому выезд и привлек к себе всеобщее внимание.

В день празднества рано утром госпожа посетила святилище Камо, после чего расположилась со свитой на временном помосте, откуда было видно процессию. С госпожой поехали дамы, прислуживающие в других покоях, и их кареты, заняв все свободное пространство перед помостом, представляли собой столь внушительное и яркое зрелище, что издали было видно, к какому дому принадлежит расположившаяся здесь особа, и люди взирали благоговейно. Вспомнив, какому унижению подверглась когда-то миясудокоро, мать нынешней Государыни-супруги, Великий министр, обращаясь к госпоже, сказал:

— Право, дочь Левого министра поступила жестоко, поддавшись искушению доказать свое превосходство. Кончилось же тем, что оскорбления, ею нанесенные, тяжким бременем легли на ее душу, и она покинула этот мир...

Затем, опустив подробности, добавил:

— Как видите, ее сын Сайсё-но тюдзё — простой подданный, которому с трудом удалось продвинуться по службе. А дочь женщины, ею униженной, поднялась на непревзойденную высоту, и в этом есть что-то чрезвычайно трогательное. Увы, все так шатко и непродолжительно в нашем мире, потому-то и хочется остатком лет распорядиться по собственному усмот-

рению. Ваша дальнейшая судьба — единственное, что тревожит меня теперь. Боюсь, что, оставшись одна, вы будете принуждены влачить жалкое существование...

Увидев, что у помоста собрались сановники высших рангов, министр вышел к ним.

Личную императорскую охрану на празднестве представлял То-но тюдзё. Сановники же присоединились к нему, когда он выходил из дома министра Двора, и вместе с ним приехали сюда.

То-найси-но сукэ тоже присутствовала на празднестве, представляя Отделение дворцовых прислужниц. Эта дама пользуется особенным успехом в свете, и все, начиная с Государя, принца Весенних покоев и министра с Шестой линии, осыпают ее щедрыми дарами. Вряд ли кому-нибудь еще удалось снискать столь явное расположение высочайших особ.

Когда она выезжала, Сайсё-но тюдзё успел передать ей письмо. Они давно уже тайно питали друг к другу нежные чувства, и, скорее всего, она была огорчена, узнав, что столь прочные узы соединили его с особой самого безупречного происхождения.

«Как зовутся цветы\*,  
Что прическу твою украшают?  
Смотрю я на них  
И никак не припомню —  
Так давно я их видел...

Досадно, право...» — вот что написал Сайсё-но тюдзё. Интересно, как она отнеслась к тому, что он не упустил даже такого случая?

Хотя все уже садились в кареты и торопили ее, То-найси-но сукэ не преминула ответить:

«Не помню и я,  
Как эти цветы зовутся,  
Но ужели о них  
Неизвестно тому, кто сломал  
Ветку багряника лунного? (273)\*

Право, лишь ученому мужу...»

Ничего особенного в песне То-найси-но сукэ не было, но она показалась Сайсё-но тюдзё куда более значительной, чем его собственная, и нельзя сказать, что это не уязвило его самолюбия. Скорее всего ему так и не удалось выбросить эту особу из своего сердца, и он до сих пор продолжает тайно встречаться с ней.

Так вот, согласно обычаю, юная госпожа должна была появиться во Дворце в сопровождении супруги Великого министра, однако он принял иное решение. «Госпожа не сможет долго оставаться в Высочайших покоях, — подумал он, — так не лучше ли, воспользовавшись случаем, поручить юную госпожу попечениям родной матери?»

Впрочем, госпожа Мурасаки и сама понимала, что, лишая госпожу Акаси возможности соединиться с дочерью, может навлечь на себя неудовольствие обеих, ибо столь долгая разлука будет тяжела как для матери, так и для дочери, успевшей стосковаться по той, что лелеяла ее в младенческие годы.



— Отправьте с юной госпожой ее родную мать, — сказала она министру. — Девочка мала и нуждается в постоянном присмотре, а ее окружают одни молодые дамы. Кормилицам же трудно за всем уследить. Я не могу постоянно жить во Дворце и буду спокойнее, если в мое отсутствие рядом с ней будет мать.

Восхищенный ее предусмотрительностью, Великий министр поспешил сообщить о своем решении госпоже Акаси, которая обрадовалась чрезвычайно. Да и могло ли быть иначе: ведь сбывались самые заветные ее чаяния. Она принялась готовить наряды для своих дам, дабы оказаться достойной столь высокого окружения.

Старая монахиня мечтала об одном — собственными глазами увидеть, какая судьба предназначена ее любимой внучке. Страстно желая встретиться с ней еще хоть раз, она молилась о долголетию и сокрушалась, понимая, что желание ее вряд ли осуществимо.

В тот вечер юную госпожу сопровождала госпожа Мурасаки. Госпожа Акаси рассудила, что ей не подобает следовать за их каретой пешком, как то полагалось дамам низкого звания. Сама-то она не боялась насмешек, но ей не хотелось бросать тень на эту прекрасно отполированную жемчужину, и она печалилась и вздыхала, сетуя на затянувшуюся жизнь.

Великий министр собирался провести церемонию без особой пышности, но, как обычно, она вылилась в невиданное по размаху зрелище.

С умилением глядя на девочку, госпожа Мурасаки восхищалась ее миловидностью и, сожалея, что приходится уступать ее другой, вздыхала: «О, если бы она была моей дочерью!» О том же думали и сам министр, и Сайсё-но тюдзё. Увы, происхождение матери было единственным недостатком юной госпожи.

Прошло три дня, и госпожа Мурасаки собралась уезжать. На смену ей приехала госпожа Акаси, и дамы наконец встретились.

— Видя, как выросла юная госпожа, вы можете себе представить, сколь долго я была рядом с ней, — ласково сказала госпожа Мурасаки. — Хотя бы поэтому нам не стоит чуждаться друг друга.

Они долго беседовали, и скорее всего именно этот разговор положил начало их сближению. Госпожа Мурасаки была поражена утонченностью своей собеседницы. «А ведь и в самом деле не зря...» — думала она, слушая ее речи.

Та, в свою очередь, с восхищением глядела на супругу министра, которой благородная красота была в самом расцвете. Она поняла, сколь прав был Великий министр, отдав госпоже Мурасаки предпочтение перед другими женщинами и вознеся ее на высоту, недоступную соперницам. Вместе с тем она осознала, сколь необычна была ее собственная судьба, поставившая ее почти рядом с такой благородной особой.

И все же, когда госпожа Мурасаки, подобно высокорожденной него, покидала Дворец в изящно убранном паланкине, которым пользование ей было разрешено особым указом, госпожа Акаси, сравнивая себя с ней, еще острее ощутила собственную ничтожность.

Глядя на юную госпожу, прелестную, словно кукла, мать не могла опомниться от счастья, происходящее казалось ей случайным сном. Слезы, не останавливаясь, катились по ее щекам, но это были уже «не слезы печали» (128). Долгие годы она вздыхала, сетуя на горестную судьбу, и только теперь почувствовала себя счастливой. Ей хотелось жить как можно дольше, и возблагодарила она могущественного бога Сумиёси. Вряд ли кто-то другой сумел бы воспитать ее дочь лучше госпожи Мурасаки, нет, никому другому не удалось бы довести до такого совершенства душевные способности девочки и обогатить ее ум всеми познаниями, приличными ее полу и положению. Достоинства юной госпожи вызывали всеобщее восхищение, а поскольку она и собой была хороша, ей удалось довольно быстро пленить сердце принца. Нашлись, конечно, и у нее соперницы, которые не упускали случая попрекнуть ее невысоким положением находящейся при ней матери, но даже это не умаляло ее достоинств. Госпожа Акаси умело использовала любую возможность, дабы в наиболее выгодном свете представить не только изысканно-яркую красоту дочери, но и благородное изящество ее манер. Немалое внимание уделяла она также наружности и манерам дам из окружения юной госпожи, зная, что многие придворные, обрадовавшись случаю показать себя, станут устремлять к ним свои помыслы. Супруга Великого министра тоже навещала свою воспитанницу так часто, как позволяли приличия.

Дамы сближались все больше, причем надо отдать должное госпоже Акаси: она вела себя скромно и вместе с тем без всякого подобострастия. Словом, была безупречна во всех отношениях.



Беликий министр, давно уже предчувствовавший близость крайнего срока своей жизни, всегда мечтал о том, чтобы успеть самому представить дочь ко двору, и вот желание его было удовлетворено. Радовали его и перемены в жизни Сайсё-но тюдзё, который по собственной, правда, вине столь долго пребывал в крайне неопределенном и весьма для него неблагоприятном состоянии. Теперь и его судьба была устроена.

«Пришла пора и мне осуществить свое давнее желание...» — думал Гэндзи. Разумеется, ему нелегко было оставлять госпожу Весенних покоев, но о ней могла позаботиться Государыня-супруга, не говоря уже о юной госпоже, с исключительным почтением относившейся к той, которая в глазах мира была ее матерью, поэтому у Великого министра не было оснований беспокоиться за ее судьбу.

Оставалась еще госпожа Летних покоев, но, хотя грядущее вряд ли сулило ей особенные радости, о ней заботился Сайсё-но тюдзё, так что за нее тоже не стоило волноваться. Словом, будущее всех его близких было так или иначе обеспечено.

В наступающем году Великому министру исполнялось сорок лет, поэтому не только во Дворце, но и во всем мире шли шумные приготовления к его чествованию. Осенью министра повысили в ранге, приравняв его положение к положению отрешенного государя, ему были пожалованы новые владения и соответственно увеличены годовое жалованье и вознаграждения. Разумеется, Гэндзи и так не испытывал ни в чем недостатка, однако, вспомнив о некоторых прошлых примерах, Государь распорядился учредить для него особую службу, что придало положению Гэндзи еще большую значительность. Правда, теперь он уже не мог запросто бывать во Дворце... Между тем Государь по-прежнему чувствовал себя неудовлетворенным, ибо необходимость считаться с мнением света не позволяла ему передать министру свое звание. Министр Двора также был повышен в звании и ранге, а Сайсё-но тюдзё стал тюнагоном.

Когда явились они во Дворец, дабы поблагодарить Государя за милости, красота Тюнагона излучала такое сияние, что министр Двора не мог не порадоваться за дочь. В самом деле, лучшего зятя трудно себе представить. «А ведь отдай я ее во Дворец она затерялась бы среди других дам, — думал он, — и положение ее было бы незавидным».

Однажды, вспомнив в какой-то связи тот давний вечер, когда Таю, кормилаца молодой госпожи, столь нелестно отозвалась о цвете его платья, Тюнагон преподнес ей прекрасную поблекшую хризантему.

— Ужели хоть раз  
Мысль-росинка мелькнула:  
Время придет,  
И зеленый бутон хризантемы  
Станет ярко-лиловым?

Не могу забыть, как больно ранили меня тогда ваши слова... — произносит он, лучезарно улыбаясь.

Пристыженная Таю смотрит на него с восхищением.

— Проросла  
Хризантема эта в саду,  
Увенчанном славой,  
И даже зелень бутонов  
Заманчива для росинок.

Неужели мои слова показались вам оскорбительными? — довольно дерзко отвечает она, заметно растерявшись.

Теперь, когда положение Тюнагона в мире упрочилось, прежнее жилище перестало удовлетворять его, и он переехал в дом на Третьей линии. За последние годы дом этот пришел в запустение, но Тюнагон позаботился о том, чтобы его привели в порядок, обновив покои, где когда-то жила госпожа Оомия и где теперь поселился он сам.

Это жилище, напоминавшее о прошлом, было бесконечно дорого его сердцу. Разумеется, пришлось привести в порядок и сад, ибо деревья и кусты слишком разрослись, не говоря уже о буйных зарослях мисканта (274). Расчищенные ручьи приветливо зажурчали.

Однажды выдался прекрасный вечер, и супруги, любуясь садом, беседовали о днях своей юности, вспоминая минувшие горести и печали. Некоторые воспоминания трогали душу, другие заставляли госпожу краснеть от стыда: «Представляю себе, что должны были думать тогда обо мне дамы!»

Почти все старые прислужницы остались в доме, сохранив за собой прежние покои. Сегодня они устроились неподалеку от госпожи и радовались ее счастью.

— Светлый ручей,  
Камень точишь ты, и в саду  
Тебе все подвластно.  
Так скажи нам, где теперь та,  
Что тобой любовалась когда-то? —

говорит Тюнагон, а госпожа отвечает:

— От той, что ушла,  
Отраженья и то не осталось,  
А ты и теперь  
Бежишь по камням беззаботно,  
Светлый ручей в саду... (275)

Тут появляется министр, отец молодой госпожи. Возвращаясь из Дворца, он решил заехать в дом на Третьей линии, плененный красотой алых кленов в саду. Здесь все совершенно так же, как в прежние времена, на всем лежит печать благополучия, и министр с умилением разглядывает роскошно убранные покои. Тюнагон тоже растроган до слез, и лицо его заливается румянцем.

Вряд ли можно представить себе более прекрасную чету. Впрочем, в женщине при всех ее достоинствах нет, пожалуй, ничего исключительного, тогда как мужчина поистине не имеет себе равных.

Пожилые дамы с важным видом принимают рассказывать разные старинные истории. Заметив валяющиеся на полу листки бумаги с песнями супругов, министр не может удержаться от слез.

— Мне тоже есть о чем спросить этот ручей, но вряд ли к добру теперь слова старика...

Немудрено,  
Что засохла, покинула нас  
Сосна вековая,  
Ведь даже ее молодой побег  
Мхом покрылся седым... —

говорит он.

Сайсё, кормилица молодого господина, не забывшая прежних обид, спешит ответить, может быть излишне самонадеянным тоном:

— Надежную сень  
Мне сулят прекрасные сосны.  
В этом саду  
Они проросли и корнями  
Крепко друг с другом сплелись...

Прочие дамы тоже начинают слагать песни подобного содержания, и Тюнагон прислушивается с любопытством. А госпожа смущается и краснеет.

На двадцатые дни Десятой луны намечено Высочайшее посещение дома на Шестой линии. К тому времени красота алых кленов должна достичь совершенства, и церемония обещает вылиться в великолепнейшее зрелище. Письмо с приглашением послано во дворец Судзаку, и ушедший от дел государь согласился пожаловать. Словом, все ждут чего-то необыкновенного.

В доме на Шестой линии готовятся к предстоящему торжеству с усердием, позволяющим предположить, что размах его будет таков, какого еще не выдывали.

И вот в намеченный день, в стражу Змеи, Государь прибыл со своей свитой и последовал к площадке для верховой езды, по обеим сторонам которой словно на Пятый день Пятой луны выстроились воины из левой и правой Личной императорской охраны, держа под уздцы коней из левой и правой конюшен.

К концу стражи Овцы, Государь перешел в Южные покои. Все мостики и галереи на его пути были устланы парчой, а открытые места затянуты занавесями. На восточный пруд заранее спустили лодки, посадив в них ловцов из службы Императорских трапез и ловцов из дома на Шестой линии, которые тут же освободили своих бакланов. Бакланы ловили маленьких карасей. Разумеется, никакого особого значения этому не придавалось, просто хотелось, чтобы Государю было на чем остановить свой взор, пока он переходил с одного места на другое.

Убранные багрянцем деревья, прекрасные повсюду, были особенно хороши перед Западными покоями, поэтому в Срединной галерее разобрали стену и открыли ворота, чтобы ничто не мешало Государю любоваться ими.

Сиденья для высоких гостей были чуть выше сиденья для хозяина, однако Государь изволил распорядиться, чтобы сиденья установили на одном уровне — воистину редкая милость. Впрочем, скорее всего Государю и этого было мало — право, когда б не необходимость считаться с приличиями...

Рыбу, выловленную в пруду, принял левый сёсё, а пару птиц, пойманных в Китано сокольниковыми Императорского архива, — правый сукэ. Они подошли с восточной стороны и, преклонив колена слева и справа от лестницы, поднесли свои дары. Выполняя распоряжение Государя, новый Великий министр, приготовив рыбу, подал ее к столу.

Весьма изысканное, непохожее на обычное угощение подали принцам и высшим сановникам. Все захмелели, когда же спустились сумерки, хозяин дома призвал музыкантов из Музыкальной палаты. Ничего торжественного не исполнялось, звучала тихая, изящная музыка, а мальчики-придворные танцевали.

Гэндзи вспомнился достопамятный праздник Алых кленов во дворце Судзаку. Когда заиграли старинный танец «Возблагодарим Государя за милости»\*, вышел сын Великого министра, мальчик лет десяти, и с большим мастерством стал танцевать.

Государь, сняв с себя платье, пожаловал ему, а Великий министр, спустившись в сад, прошелся в благодарственном танце.

Хозяин, велев одному из своих приближенных сорвать для него хризантему, вспомнил, как танцевали они когда-то танец «Волны на озере Цинхай»:

— На этой ограде  
Цветы с каждым годом ярче,  
Но хризантеме  
Вспоминается, верно, та осень,  
Когда в танце взлетал рукав...

Мог ли Великий министр не помнить, что именно он танцевал тогда в паре с Гэндзи? Да, высоко вознесла его судьба, но до Гэндзи ему так и не удалось подняться.

Тут, как будто нарочно, стал накрапывать дождь...

— Цветок хризантемы  
За лиловое облако принял,  
И подумалось мне —  
Уж не звезда ль воссияла  
Над нынешним светлым миром? (276)

«Не только осенью...» (277) — говорит Великий министр.

Разноцветные, темные и светлые, листья, разметанные вечерним ветром, стелятся драгоценной парчой, так что землю в саду можно принять за пол в галерее, а по парче этой кружатся в танце прелестные мальчики — отпрыски знатнейших столичных семейств. Они облачены в зеленые и красновато-серые верхние платья, из-под которых, как полагается, выглядывают коричневые и сиреневые нижние. Волосы их уложены по-детски, шапочки открывают только лоб. Исполнив несколько коротких танцев,

мальчики возвращаются под сень алых листьев, а тут и день, к досаде всех присутствующих, подходит к концу.

Особой площадки для музыкантов не устраивали, и после наступления темноты гости принимаются музицировать в доме, причем хозяин посылает за кото, хранящимися в Книжном отделении. Их приносят в самый разгар изящных утех и кладут перед тремя высочайшими особами. С умирением вслушивается государь из дворца Судзаку в знакомый голос «монаха Уда»...\*

— Не сосчитать,  
Сколько раз меня осень  
Кропила дождем.  
Но таких алых кленов и мне  
Видеть не приходилось... —

произносит он, и печаль звучит в его голосе... А нынешний Государь отвечает:

— Ужели считаешь  
Обычной алой листвою  
Эту парчу,  
Напомнившую так живо  
О былых временах?..

Его красота с годами стала еще совершеннее, он кажется истинным подобием Гэндзи. Тюнагон тоже здесь, и их удивительное сходство бросается в глаза. Разумеется, Государь благороднее и величественнее; впрочем, не исключено, что это простая игра воображения. Пожалуй, черты Тюнагона даже ярче и изысканнее. А с каким поистине неподражаемым изяществом играет он на флейте!..

Среди придворных, которые поют, стоя на лестнице, красотой голоса выделяется Бэн-но сёсё.

Право, бывают ли семьи счастливее?..





---

## ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ 1

### Основные персонажи

**Хозяин дома на Шестой линии** (Гэндзи), 39–41 год — сын императора Кирицубо и наложницы Кирицубо

**Государь из дворца Судзаку** (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и наложницы Кокидэн, старший брат Гэндзи

**Принц весенних покоев** (будущий император Киндзё) — сын императора Судзаку и наложницы Дзёкёдэн

**Третья принцесса** (Сан-но мия), 13 (14)–15 (16) лет — дочь императора Судзаку и наложницы Фудзицубо

**Тюнагон, Удайсё** (Югири), 18–20 лет — сын Гэндзи и Аои

**Госпожа Весенних покоев** (Мурасаки), 31–33 года — супруга Гэндзи

**Уэмон-но ками** (Касиваги), 23–25 (24–26) лет — сын Великого министра

**Великий министр** (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

**Найси-но ками, госпожа Найси-но ками из дворца Судзаку** (Обородзукиё) — наложница императора Судзаку, бывшая возлюбленная Гэндзи

**Принц Хёбукё** (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

**Садайсё** (Хигэкуро) — супруг Тамакадзура

**Госпожа Северных покоев в доме Садайсё, госпожа Найси-но ками** (Тамакадзура), 25–27 лет — дочь Великого министра и Югао, приемная дочь Гэндзи

**Принц Сикибукё** — отец Мурасаки

**Обитательница павильона Павлонии, госпожа нёго, нёго Весенних покоев, мясудокоро** (императрица Акаси), 11–13 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Госпожа Акаси**, 30–32 года — дочь Вступившего на Путь из Акаси, возлюбленная Гэндзи

**Государь** (император Рэйдзэй) — сын Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо) и Фудзицубо

**Государыня-супруга** (Акиконому), 30–32 года — дочь Рокудзё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, приемная дочь Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

**Обитательница Западных покоев** (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи

**Госпожа Северных покоев из дома на Третьей линии** (Кумои-но кари) — дочь Великого министра, супруга Югири

**Старая монахиня** — мать госпожи Акаси

**Отшельник из Акаси** (Вступивший на Путь из Акаси) — отец госпожи Акаси

ВСКОРЕ после церемонии Высочайшего посещения — да, пожалуй, именно тогда — государь из дворца Судзаку занемог, и велики были его страдания. Он и раньше не отличался крепким здоровьем, но на сей раз, судя по всему, совершенно пал духом.

— Уже давно поселилось в моей душе желание посвятить себя служению Будде, — сказал он однажды, — но, пока жива была государыня-мать, я медлил, ибо слишком многое удерживало меня в этом мире. Однако в последнее время словно какая-то неодолимая сила влечет меня... Наверное, близок крайний срок моей жизни.

И государь начал готовиться к принятию пострига. Детей же у него было пятеро: сын, принц Весенних покоев, и четыре дочери. Матерью одной из них была дочь предыдущего государя, получившая имя Минамото. Жила она в павильоне Глицинии и прозывалась Фудзицубо\*. Особа эта прислуживала государю из дворца Судзаку еще в бытность его наследным принцем и могла рассчитывать на самое высокое звание, но, к сожалению, выдвинуться ей не удалось, ибо у нее не оказалось надежного покровителя, да и мать ее, простая кои, была недостаточно родовита. Когда же государыня Кокидэн ввела во дворец ту прежнюю Найси-но ками и та, сразу же завоевав расположение государя, затмила всех прочих дам, обитательнице павильона Глицинии и вовсе не на что стало надеяться. Государь в глубине души жалел ее, но весьма скоро обстоятельства вынудили его удалиться на покой, и несчастной не оставалось ничего более, как только сетовать на тщету мирских упований и роптать на собственную участь. Очень скоро она скончалась. Так вот, ее дочь, Третья принцесса, Сан-но мия, была любимицей государя, предметом его неусыпных попечений. К тому времени, о котором идет речь, ей исполнилось тринадцать или четырнадцать лет. Только о ней и помышлял государь, только за нее и тревожился. «Что будет с нею, когда, окончательно отвернувшись от мира, заключусь я в горной обители? — спрашивал он себя. — К кому сможет она прибегнуть, оставшись одна?»

Тем временем закончилось строительство храма в Западных горах\*, и, готовясь к переезду, государь одновременно торопил с приготовлениями к церемонии Надевания мо. Он пожелал передать Третьей принцессе все самое лучшее, что хранилось во дворце Судзаку, — начиная с драгоценностей и утвари и кончая пустяковыми безделушками, остальное же разделил между другими детьми.

Тем временем слух о болезни государя и о его намерении отречься от мира дошел до принца Весенних покоев, и он изъявил желание посетить

дворец Судзаку. Принцу сопутствовала мать, нёго Дзёкёдэн. Она никогда не пользовалась благосклонностью государя Судзаку, но можно ли было пренебречь особой, которой счастливая судьба определила стать матерью наследного принца? Государь долго беседовал с ней о минувшем.

Принц же получил немало советов и наставлений, коими руководясь должен был править миром. Он казался старше своих лет, к тому же опека-ли его лица значительные и беспокоиться за него не стоило.

— Мне не о чем сожалеть, расставаясь с миром, — говорил государь, отирая слезы, — единственное, что тревожит меня, — это судьба дочерей. Боюсь, что даже «неизбежная разлука» (26) не освободит меня от этих «пут» (43). Прежде, размышляя о человеческих судьбах, коих свидетелем мне довелось стать, я всегда печалился, видя, сколько неожиданностей подстерегает женщину, как много в ее жизни случайного, как легко может она оказаться в положении жалком, унижительном. Когда мир будет подвластен вам, не оставляйте сестер своими заботами. Некоторые из них имеют надежных покровителей, и за них я спокоен. Но Третья принцесса... Сердце мое сжимается от страха и тревоги, когда я думаю о ее будущем. Она совсем мала и привыкла во мне видеть опору в жизни. Как бы не пришлось ей влачить бесприютное, жалкое существование, когда покину я этот мир.

Нёго Дзёкёдэн он тоже попросил быть с принцессой поласковее. Но надо сказать, что в те времена, когда мать Третьей принцессы, нёго Фудзицубо, пользовалась большим, чем кто-либо из дам, влиянием при дворе, вызывая жгучую зависть в сердцах соперниц, отношения между двумя нёго были далеко не самые лучшие. Скорее всего матери принца Весенних покоев так и не удалось освободиться от прежней неприязни, и, хотя чувство это не распространялось на принцессу, можно ли ожидать, что она станет заботливо ее опекать?

Денно и ночью грустил государь, размышляя о будущем дочери. К концу года ему сделалось хуже, и он уже не изволил выходить из-за занавесей. Ему и раньше время от времени досаждали злые духи, но никогда еще они не преследовали его столь неистово. Государь чувствовал, что близится крайний срок его жизни. Хотя и отрекся он от своего звания, многие люди, прежде имевшие в его лице надежного покровителя, прислуживали ему и теперь, находя отраду в его обходительности и утонченности. Разумеется, они всем сердцем жалели государя и печалились. Часто приходили справиться о его здоровье и из дома на Шестой линии. Узнав, что Гэндзи собирается навестить его лично, государь возрадовался чрезвычайно и, когда во дворец Судзаку приехал господин Тюнагон, изволил распорядиться, чтобы гости провели за занавесью, и удостоил его доверительной беседы.

— Много наставлений услышал я от покойного государя в час, когда истек срок его жизни. Особенно же он просил меня позаботиться о вашем отце и о нынешнем Государе. Но, увы, человек, занимающий высокое положение в мире, не свободен в своих действиях, и, питая к вашему отцу неизменно глубокую привязанность, я тем не менее за ничтожную провинность подверг его наказанию столь суровому, что он вправе был вознегодовать. Однако за все эти годы он ни словом, ни даже взглядом не упрекнул меня. А ведь часто самые мудрые люди теряют самообладание, если под угрозой ставится их собственное благополучие. Слепленные жаждой



мести, они готовы даже на злодеяние... Увы, история знает немало подобных примеров. И в вашем отце многие сомневались, полагая, что неприязнь его ко мне раньше или позже непременно выльется наружу, но, очевидно, ему удалось полностью превозмочь это чувство. Иначе разве стал бы он так заботиться о принце Весенних покоев? Я бесконечно рад тому, что теперь их связывают крепкие узы, позволяющие ему опекать принца по-родственному. К сожалению, от рождения я глуповат, а теперь еще тревога за детей повергает душу во мрак (3)... Я нарочно снял с себя все заботы о принце, ибо слишком велик был страх допустить какую-нибудь оплошность. А по отношению к нынешнему Государю я всегда вел себя так, как завещал покойный отец, и мне отрадно видеть, что исполнилось наконец давнишнее мое желание и новое правление озарило наш век, век Конца Закона, столь ярким светом, что даже предыдущие упущения стали менее заметными. После Высочайшего посещения дома на Шестой линии этой осенью мной овладела тоска по прошлому. Больше всего на свете я желал бы еще раз встретиться с вашим отцом. У меня есть о чем поговорить с ним. Непременно передайте ему, что я прошу его пожаловать лично... — говорит государь, роняя слезы.

А Тюнагон почтительно отвечает:

— О, я не берусь судить о давних временах... Но с тех пор, как я достиг зрелого возраста и стал служить во Дворце, мне часто приходится сталкиваться с разнообразными житейскими трудностями, и каждый раз я обращаюсь за советом к отцу — как в делах значительных, так и ничтожных. И, поверьте, никогда, даже во время душевных бесед, располагающих к откровенности, он ни словом не обмолвился о том, что когда-то с ним поступили несправедливо. Напротив, отец считает, что именно он-то и пренебрег последней волей ушедшего государя, ибо снял с себя обязанности Высочайшего попечителя и в угоду собственному желанию удалился на покой, полностью отстранившись от дел. «Когда государь из дворца Судзаку правил миром, — часто говорит он, — я был слишком молод и недостаточно опытен. Кроме того, при дворе служило немало мудрых людей, и, к сожалению, мне ни разу не представилось случая показать государю свою готовность быть ему полезным. Теперь же, когда и я отошел от дел, и государь живет тихой, спокойной жизнью, я был бы рад навестить его и побеседовать с ним обо всем, что волнует сердце. Но, увы, я по-прежнему не свободен в своих действиях, потому-то за все эти дни и луны...»

Лет Тюнагону чуть меньше двадцати, но держится он с большим достоинством, красота же его в самом расцвете.

Неволью задержав взор на миловидном лице гостя, государь некоторое время разглядывал его, и тут пришла ему в голову тайная мысль: а что, если вверить участь любимой дочери Тюнагону?

— Кажется, вы нашли себе пристанище в доме Великого министра? — говорит он. — До меня доходили слухи о его упорном нежелании пойти вам навстречу, и я очень сочувствовал вам. Рад, что все разрешилось наилучшим образом, хотя, не скрою, у меня есть причины и для досады...

«Что он имеет в виду?» — недоумевает Тюнагон, но тут же догадывается: наверное, речь идет о Третьей принцессе. Разумеется, он слышал, что государь Судзаку, имея намерение удалиться от мира, весьма обеспокоен

будущим дочери и помышляет лишь о том, как найти для нее надежного попечителя. Но прилично ли показывать государю, что он проник в его тайные мысли?

— О, мое положение в мире слишком неопределенно, и не такая уж легкая жизнь у особы, согласившейся стать мне опорой... — только и сказал Тюнагон, прежде чем удалиться.

Прислуживающие в покоях дамы, которым удалось разглядеть его сквозь щели в ширмах, не в силах сдержать восхищение.

— Ах, как он хорош! Какое лицо, какие манеры! Никто не может сравниться с ним! — восклицают они, а одна, уже немолодая, замечает:

— И все же ему далеко до отца. Тот в его годы был красивее.

— О да, его красота просто ослепляла... — поддерживают ее другие, и, услышав, государь говорит:

— Дамы правы. Отец Тюнагона действительно обладал необыкновенной наружностью. Впрочем, ему и теперь нет равных, с годами его красота не только не потускнела, а, наоборот, стала еще лучезарнее. Одного взгляда на него довольно, чтобы понять, почему люди прозвали его Блистательным. Как величественна его поступь, как уверенны движения! Всякий, кто хоть раз видел его во Дворце, согласится, что нет на свете человека прекраснее. Но едва ли не счастливее тот, кто имеет возможность наблюдать его в домашней обстановке, предающегося веселым забавам, блещущего остроумием. Какое неповторимое, тонкое очарование проглядывает тогда в его облике! А сколько пленительного изящества во всем, что он говорит, что делает... Так, я не знаю никого, кто был бы достоин стать с ним рядом. Представляю, сколь велики были его заслуги в прошлых рождениях... Он рос во Дворце, государь, безмерно его любивший, ни в чем ему не отказывал. Право же, он дорожил сыном больше собственной жизни. Можно было ожидать, что тот постарается этим воспользоваться, но нет, юноша всегда держался скромно и, насколько я помню, только в двадцатилетнем возрасте стал советником министра. Да, кажется, так... А еще через год он получил звание государственного советника и чин дайсё. Сын продвигается быстрее, и в этом видится залог дальнейшего процветания их рода. У меня сложилось впечатление, что Тюнагон не уступает отцу ни в одаренности, ни в тонкости душевной. Возможно, я не прав, но мне иногда кажется, что его влияние в мире ничуть не меньше того, каким пользовался когда-то Блистательный Гэндзи.

Взглянув же на принцессу, совсем еще юную, простодушную и восхитительно-прелестную, государь добавляет:

— С какой радостью отдал бы я дочь человеку, способному окружить ее нежными заботами, который, снисходительно взирая на недостатки супруги, терпеливо совершенствовал бы ее душевные качества!

Затем, призвав кормилиц постарше, изволив распорядиться относительно церемонии Надевания мо и между прочим говорит:

— Хорошо бы отыскать для принцессы мужа, который, сосредоточив на ней свои попечения, воспитал бы ее подобно тому, как министр из дома на Шестой линии воспитал дочь принца Сикибукё. Увы, среди простых людей такого найти трудно. Однако у Государя уже есть супруга, а живущие во Дворце нёго принадлежат к самым высоким семействам. Вряд ли можно надеяться, что принцесса займет при дворе прочное положение, не имея

достаточно надежного покровителя. Я должен был намекнуть Тюнагону на свое желание раньше, когда он был одинок, и посмотреть, как он к этому отнесется. Он незауряден уже теперь, несмотря на юный возраст, и, несомненно, его ждет большое будущее.

— Но господин Тюнагон всегда славился своим благонравием, — возражает одна из кормилиц. — Сердце его принадлежит дочери Великого министра, и пока никому другому не удавалось привлечь его внимания.

— А теперь, когда осуществилось наконец его желание, поколебать его еще труднее, — поддержала ее другая. — Вот отец его — тот до сих пор старается использовать любую возможность...

— Да, и чаще всего его помышления устремляются к высокородным особам. Говорят, он по-прежнему не забывает бывшую жрицу Камо и часто пишет к ней.

— Так, он неисправим в своем сердечном непостоянстве, и это беспокоит меня, — говорит государь, а про себя, наверное, думает: «А ведь и в самом деле... Конечно, в доме на Шестой линии принцесса будет всего лишь одной из многих, и, возможно, ее ждет немало огорчений, но если Гэндзи согласится заменить ей отца...»

— Впрочем, вы правы. Человек, избравший для дочери путь обычного супружества, вряд ли может рассчитывать на лучшего зятя. О, как хотел бы я прожить остаток дней своих так же, как он, — тихо и спокойно, в полном согласии с желаниями души! В молодые годы я часто думал: «Будь я женщиной, я непременно постарался бы сблизиться с ним, даже если бы мы были единоутробными...» И можно ли удивляться, видя, что женщины так легко уступают ему?

И государь вздыхает, очевидно вспомнив Найси-но ками.

У одной из кормилиц Третьей принцессы — особы, принадлежавшей к довольно знатному семейству, — был брат Сатюбэн, который давно уже прислуживал в доме на Шестой линии и был одним из доверенных лиц Гэндзи. Этот Сатюбэн с особым сочувствием относился к Третьей принцессе и, приходя во дворец Судзаку, всегда справлялся о ней. Как-то раз, беседуя с братом, кормилица рассказала ему о желании государя Судзаку.

— Я надеюсь, что вы сумеете при случае сообщить об этом своему господину, — добавила она. — Разумеется, в положении незамужней принцессы нет ничего дурного, но я предпочла бы, чтобы рядом с госпожой был надежный человек, всегда готовый ей помочь. Увы, кроме государя, ее отца, нет никого, кто всем сердцем входил бы в ее нужды. Я-то, конечно, останусь с госпожой, но удастся ли мне окружить ее заботами, достойными ее звания? Ведь далеко не все зависит от моей воли, может случиться что-нибудь непредвиденное, и пойдет дурная молва. Что тогда делать? Нет, я буду спокойна лишь в том случае, если положение принцессы определится уже теперь, при жизни государя. Женская судьба непостоянна, и даже высшие из высших... Так что, как видите, причин для беспокойства у меня немало. К тому же исключительная благосклонность государя к моей госпоже наверняка возбуждает зависть во многих сердцах... Ах, если б я могла сделать так, чтобы «ни единая пылинка...» (12)

— Да, тут есть о чем поразмыслить, — отвечает Сатюбэн. — Трудно найти более надежного и великодушного человека, чем господин с Шестой ли-

нии. Он собрал в своем доме всех женщин, с которыми свела его судьба: и тех, к кому питал глубокую привязанность, и тех, которые едва затронули его сердце. Но, как видно, и человеческие чувства небеспредельны — только одна особа владеет всеми его помыслами, ее влияние в доме настолько велико, что многие должны чувствовать себя уязвленными. Впрочем, если принцессе и в самом деле суждено соединиться с моим господином, вряд ли госпожа Весенних покоев при всей исключительности своего положения сможет соперничать с ней. И все же, кто знает... Боюсь, что причин для волнений будет немало. Я не раз слышал, как господин в непринужденной беседе с кем-нибудь сетовал: «Боюсь, мое благополучие чрезмерно для наших последних времен. В самом деле, я живу, не ведая ни забот, ни печалей, вот только из-за женщин, бывало, навлекал на себя неодобрение людей, а кое-что меня и самого не удовлетворяло». И это действительно так.

Среди женщин, живущих под сенью его покровительства, нет ни одной, которая не заслуживала бы этого, будучи слишком низкого происхождения, но все они принадлежат к семействам простых подданных, и положение их незначительно. Рядом с ним нет особы, истинно ему равной. И раз уж возникла необходимость распорядиться судьбой принцессы именно таким образом, почему бы не отдать ее в дом на Шестой линии? Трудно представить себе более достойную чету.

Кормилица, уловив миг, сообщила о том государю.

— Я намекнула о нашем деле одному человеку, — сказала она, — и он полагает, что в согласии господина с Шестой линии можно не сомневаться. Он будет только рад, ибо таким образом исполнится его давнее желание. И если государь соизволит принять окончательное решение, этот человек берется стать посредником. Но меня одолевают сомнения. Бесспорно, господин с Шестой линии не оставляет попечениями ни одну из обитательниц своего дома: каждая получает то, на что вправе рассчитывать. Но даже простой женщине неприятно видеть рядом с собой соперниц, имеющих равное с ней право на благосклонность супруга. А тем более принцессе... Можем ли мы поручиться, что ей не придется сетовать на судьбу? К тому же наверняка есть немало других людей, которые почли бы за счастье... Помоему, следует все хорошенько обдумать, а потом уже и решать. Нынешние молодые женщины, даже самые благородные, как правило, стремятся жить в свое удовольствие, не питая враждебных чувств к своим соперникам. Но принцесса слишком не искушенна в житейских делах, ее беспомощность вызывает тревогу. Возможности же прислуживающих ей дам ограничены. Да и низшие служанки, даже самые опытные, должны подчиняться господской воле, только в этом случае на них можно положиться. Словом, так или иначе, без надежного покровителя положение принцессы будет весьма шатким.

— Вы правы, — отвечает государь. — Я и сам немало размышлял над этим. Стать супругой простого подданного — незавидная участь для дочери государя, тем более что высокое рождение не спасает женщину от разочарований и огорчений супружеской жизни. Поверьте, мне мучительно трудно решиться на этот шаг. Но разве лучше положение незамужней принцессы, которая, потеряв близких и лишившись защиты, принуждена жить, полагаясь лишь на себя? В старину в сердцах людей было больше почти-

тельности, да и запреты имели над ними большую власть, но в наши дни то и дело слышишь о поступках крайне дерзких, граничащих с грубым насилием. Женщина, еще вчера окруженная спокойствием и довольством в доме благородного отца своего, сегодня по милости какого-нибудь низкого, никчемного вертопраха становится всеобщим посмешищем. Жестоко обманутая сама, она порочит доброе имя ушедшего отца, заставляя его и в ином мире испытывать муки стыда. Таких случаев много, и все они, если разобраться, ничем не отличаются друг от друга. Каждый человек, высокого он звания или низкого, имеет собственное предопределение, коего никому не дано постичь, и могу ли я не беспокоиться за будущее дочери?

Я глубоко убежден, что самое правильное для женщины — отказаться от собственной воли и слушаться тех, кто ее опекает, независимо от того, хороши их советы или дурны. Может статься, что ее ждет неудача — у каждого ведь свое предопределение, — но по крайней мере ей не придется мучиться сознанием собственной вины. Бывает, что на долю женщины выпадает счастливая судьба и со стороны ее жизнь кажется вполне благополучной, лучшего вроде бы и желать нечего. Однако, если действовала она единственно по своему разумению, втайне от родителей и вопреки их советам, нельзя не осудить ее, ибо нет большего порока для женщины, чем своеволие. Даже простые люди порицают подобное поведение, полагая его слишком легкомысленным. Ежели женщина неожиданно, сама того не желая, оказывается связанной с человеком, решительно ей неподходящим, нетрудно предположить, что она повела себя слишком беспечно. Принцесса совсем еще беспомощна в житейских делах, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы участь ее решалась по произволу прислужниц. Если об этом станет известно в мире, можно ждать любых неприятностей.

Так, государь Судзаку не мог не беспокоиться, оставляя принцессу одну, и прислуживающие ей дамы со страхом смотрели в будущее.

— Я надеялся, что буду заботиться о ней до тех пор, пока она не проникнет в суть вещей... — продолжает государь. — Но, увы, скорее всего я не успею даже осуществить давнее свое желание. Так что медлить нельзя. Я не знаю человека надежнее министра с Шестой линии, ибо он постиг душу вещей, и, как ни велико число женщин, в его доме живущих, стоит ли обращаться на это внимание? В любом случае многое будет зависеть от самой принцессы. Министр живет спокойной, размеренной жизнью, и на него можно положиться с большей уверенностью, чем на кого бы то ни было. Разве сумею я найти лучшего зятя? Принц Хёбукё всем хорош, к тому же он одних с нами кровей, и, может быть, не стоит пренебрегать им. Однако обладая тонкой, чувствительной душой, принц лишен должной основательности, он кажется мне слишком легкомысленным. Такие не вызывают у меня особого доверия.

Или Дайнагон, который, видите ли, готов взять на себя ведение домашних дел принцессы. Не исключено, что намерения у него и в самом деле похвальные, но вправе ли мы остановить на нем свой выбор? Не годится принцессе иметь столь заурядного супруга. Даже в старину, выбирая зятя, всегда отдавали предпочтение тому, чье значение в мире выше. Разве можно сделать достойный выбор, исходя единственно из готовности будущего

зятя сосредоточить на супруге все свои попечения? Увы, этого слишком мало, и разочарование ждет всякого, кто пойдет по такому пути. От Найси-но kami я слышал, что Уэмон-но kami тоже питает к принцессе нежные чувства. По прошествии некоторого времени, когда достигнет он более высоких чинов и займет достойное место в мире, любой отец почтет за честь принять его в свой дом, но пока он слишком молод и положение его недостаточно значительно... Я слышал, что Уэмон-но kami до сих пор живет один, вынашивая весьма честолюбивые замыслы. Он слывет человеком благонравным, обладающим благородной душой и редкими дарованиями, я верю, что его достоинства истинно велики и когда-нибудь он выдвинется настолько, что станет опорой правлению. И все же я сомневаюсь, что для моей дочери...

Озабоченный судьбой Третьей принцессы, государь совершенно забыл о ее сестрах, и никто не докучал им своими искательствами.

Удивительно, как быстро стало известно в мире все то, о чем тайно шептались между собой государь Судзаку и кормилица. Узнав о предмете их разговора, многие столичные мужи устремили к принцессе свои помышления. А вот что думал и говорил Великий министр:

— Наш Уэмон-но kami до сих пор живет один, решив, что лишь принцесса крови станет его супругой. Поскольку государь из дворца Судзаку подумывает о зяте, неплохо было бы и нам замолвить словечко за сына. Ежели государь окажет ему благосклонность, этот союз будет для нас великой честью и радостью.

И министр попросил супругу прибегнуть к посредничеству госпожи Найси-но kami из дворца Судзаку, которая приходилась ей младшей сестрой. А уж та призвала на помощь все свое красноречие, дабы склонить государя к согласию.

Принц Хёбукё, потерпев неудачу с особой, ставшей госпожой Северных покоев в доме Садайсё, по-прежнему жил в одиночестве, выбирая женщину, полностью свободную от недостатков. И не потому ли, что о том непременно узнала бы та, которая некогда была предметом его помышлений? Так мог ли он остаться равнодушным, узнав о намерениях государя из дворца Судзаку? Разумеется, Третья принцесса целиком завладела его помыслами.

Дайнагон, давно уже исполнявший во дворце Судзаку обязанности главного управляющего, был одним из самых преданных приближенных государя и пользовался полным его доверием. Понимая, что после того как государь удалится в горную обитель, Третья принцесса останется одна, без всякой опоры, Дайнагон всеми силами старался добиться благосклонности государя, особо обращая внимание его на то обстоятельство, что никто другой не сумеет окружить принцессу столь нежными заботами.

Знал о намерениях государя из дворца Судзаку и Тюнагон, причем знал не понаслышке, как другие, а от самого государя, соблаговолившего открыто выказать ему свое предпочтение. Сердце Тюнагона замирало от радостного волнения при мысли, что стоит ему захотеть... Но как отнесется к этому молодая госпожа? Ведь она верит ему безгранично... Даже в самые неблагоприятные для него годы Тюнагон не обращал внимания на других женщин, так неужели теперь он решится подвергнуть ее столь неожиданному испытанию? К тому же союз с особой, принадлежащей к высочайшему



семейству, неминуемо ограничит его свободу, и в конце концов он станет невольным источником огорчений для обеих супругов своих, не говоря о том, что и самого его не ждет ничего, кроме неприятностей. И со свойственным ему благоразумием Тюнагон предпочел промолчать, оставив свои сомнения при себе. Однако мысль о том, что принцесса достанется другому, возбуждала досаду в его сердце, и он внимательно прислушивался к разговорам, которые ходили о ней в мире.

Кое-какие слухи дошли и до Весенних покоев.

— Полагаю, что следует обдумать любую возможность, ибо речь идет не столько о настоящем, сколько о будущем, — сказал принц. — Все наши начинания когда-нибудь послужат примером для потомков. Человек может обладать всеми мыслимыми достоинствами, но, если он не принадлежит к высочайшему семейству, существует предел его устремлениям. Так или иначе, поскольку медлить с решением нельзя, не лучше ли отдать принцессу в дом на Шестой линии, чтобы о ней заботились там, как о дочери?

Не посылая государю из дворца Судзаку особого письма, принц каким-то образом сообщил ему свое мнение, и государь решил: «Что ж, пусть так и будет. Лучшего выхода не найти».

Окончательно утвердившись в этой мысли, он прежде всего через того же Сатюбэна уведомил хозяина дома на Шестой линии о своем желании. Впрочем, слухи о намерениях государя дошли до Гэндзи гораздо раньше.

— Можно представить, как тяжело у него на душе... — посетовал он. — Возможно, государю осталось жить совсем немного, но надолго ли переживу его я? К тому же, если естественное течение жизни не будет нарушено, и мне придется задержаться в этом мире еще на некоторое время, я и сам не оставляю государевых детей без надлежащего присмотра, а поскольку за Третью принцессу он просит особо, я постараюсь сделать для нее все, что в моих силах. Но мир наш так изменчив, разве могу я быть уверен... И не будет ли ее положение еще более шатким, если я позволю себе стать ее единственной опорой, а затем вослед за государем уйду из мира? Да и мне самому к чему «эти тяжкие пути»? (43) Почему бы государю не подумать о Тюнаго-не? Не спорю: он еще молод и положение его незначительно, но у него впереди большое будущее и, как мне кажется, он наделен всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать Высочайшим попечителем. Словом, лучшего зятя государю не найти. Правда, Тюнагон всегда слыл человеком строгих правил, а поскольку у него уже есть супруга... Возможно, именно это и смущает государя...

Зная, что выбор, сделанный государем Судзаку, далеко не случаен, Сатю-бэн был весьма огорчен и уязвлен тем, что высочайшее предложение не столько обрадовало Гэндзи, сколько повергло его в замешательство. Он долго и подробно объяснял, что побудило государя прийти именно к такому решению, и в конце концов Гэндзи сказал, улыбнувшись:

— Насколько мне известно, эта принцесса особенно дорога государю, неудивительно, что его волнует ее будущее. Но не лучше ли отдать ее во Дворец? Разумеется, там есть другие дамы, причем некоторые весьма высокого происхождения, но не думаю, чтобы это могло служить препятствием. Представленные ко двору позже других не всегда оказываются в худшем положении. Во времена покойного государя раньше всех появилась во Дворце будущая Великая государыня, ее отдали государю еще тогда, когда он назывался принцем Весенних покоев, и велико было ее влияние в мире. Однако и она не смогла соперничать со Вступившей на Путь принцессой, представленной ко двору позже всех остальных. Я слышал, что мать Третьей принцессы приходится этой последней единоутробной сестрой. Говорят, она почти так же красива, должно быть, и дочь ее обладает незаурядной наружностью.

Право, мог ли Гэндзи остаться совершенно равнодушным к этой юной особе?

Тем временем год снова подошел к концу. Здоровье государя из дворца Судзаку так и не поправилось, и он, желая уладить дела побыстрее, торопился с приготовлениями к церемонии Надевания мо. Предполагалось, что она будет проведена с размахом, какого не видывали в прошлом и вряд ли увидят в будущем. Западные покои дворца Каэдоно\* были убраны с изысканнейшей роскошью. Для ширм и занавесей выбрали исключительно заморские шелка и парчу, наводящие на мысль о чертогах китайской государыни.

Роль Завязывающего пояс была поручена Великому министру. Возможно, тот предпочел бы отказаться, сочтя подобное поручение ниже своего достоинства, но, с давних пор привыкший подчиняться всем распоряжениям государя, не решился возразить и на этот раз.



Остальные два министра тоже почтили церемонию своим присутствием, равно как и все знатные вельможи, несмотря на то что некоторым пришлось пренебречь ради такого случая другими, требовавшими их участия, делами.

В тот день во дворце Судзаку собрался весь двор. Не говоря уже о восьми принцах крови и придворных, на церемонии присутствовали все приближенные Государя и принца Весенних покоев. Трудно себе представить более великолепное зрелище.

Государь, принц Весенних покоев и многие другие не могли не понимать, что хозяину дворца Судзаку вряд ли придется когда-нибудь еще участвовать в подобной церемонии. Опечаленные, они поспешили порадовать его прекрасными дарами. Многие китайские диковины были извлечены для этой цели из дворцовых хранилищ и Императорского архива.

Великолепные дары были присланы и из дома на Шестой линии. О вознаграждении для участников церемонии, подношениях для почетного гостя, Великого министра, и прочем позаботился сам Гэндзи.

Вечером принесли дары и от Государыни-супруги: прекрасные наряды, шкатулки для гребней, подобранные с необыкновенным изяществом. Принадлежности для прически, хранившиеся у нее с того давнего дня\*, умело обновленные, не утратили прежней прелести, так что узнать их не представляло труда. Принес же эти дары Гон-но сукэ из службы Срединных покоев, одновременно прислуживающий во дворце Судзаку. Государыня велела передать их лично принцессе. Среди прочего была там и такая песня:

В прическу воткнешь,  
И разом далекое прошлое  
Нынешним станет...  
Драгоценный гребень  
От старости потускнел.

Песня эта попала на глаза государю из дворца Судзаку, и сердце его сжалось от томительных воспоминаний... «Вполне достойный образец для подражания», — подумал он, передавая шкатулку дочери, а как гребень и в самом деле был достопамятный, поспешил написать ответ, вложив в него чисто благопожелательный смысл и постаравшись избежать всяких упоминаний о прошлом:

Пусть и она  
Пойдет по твоим стопам,  
Сотни веков  
Благоденствия ей сулит  
Этот самшитовый гребень.

Его мучили боли, но, пересиливая недомогание, он довел до конца все положенные обряды и только через три дня после церемонии принял постриг. Когда менять обличье приходится обычному человеку, и то трудно не испытывать печали, а уж если речь идет о государе... Дамы были в отчаянии, сердца их сжимались от жалости. Найси-но ками неотлучно находилась при нем, и безмерно было ее горе. Не умея утешить ее, государь говорил:

— Как ни велика тревога за детей, она имеет пределы, но оставлять того, кто предается такой печали — совершенно невыносимо.

Неизъяснимо тяжело было у него на сердце, но он принудил себя сесть, прислонившись к скамеечке-подлокотнику, и при помощи прислуживающих ему монахов — дзасу с горы Хиэс и трех адзари, в обязанности которых входило принятие обета, облачился в монашеское платье. Как печален обряд отречения от мира!.. Даже просветленные монахи не могут сдержатъ слез, что же говорить о дочерях государя, о прислуживающих ему дамах? Все его приближенные — мужчины и женщины, высшие и низшие — плакали, потрясенные, громко стонали, повергая душу государя в еще большее смятение и заставляя его сетовать на то, что тревога за дочь мешает ему немедленно удалиться в более уединенное место, где он смог бы остаток дней своих целиком посвятить служению Будде.

Вряд ли стоит говорить о том, что отовсюду приходили с изъявлениями участия, и в первую очередь из Дворца.

Гэндзи, прослышав о том, что государю из дворца Судзаку стало немного лучше, решил навестить его.

Имея такое же обеспечение, как отрекшийся государь, Гэндзи был более свободен в своих действиях, чем это бывает обычно при столь высоком звании. Осыпанный почестями и пользующийся исключительным влиянием в мире, он вместе с тем мог не придавать особого значения церемониям и приехал во дворец Судзаку в скромной карете, сопровождаемый лишь несколькими телохранителями.

Государь собрал все свои силы, чтобы достойно принять дорогого гостя. Без особых церемоний Гэндзи проводят в покои государя, приготовив там для него сиденье. Увидев, как изменился государь, он с трудом удерживает слезы, мысли то уносятся в прошлое, то устремляются в будущее, невыразимая грусть стесняет сердце.

— С тех пор как оставил нас покойный государь, — говорит Гэндзи, — я не перестаю скорбеть о непостоянстве мира и желание отречься от него становится все сильнее. Но, увы, я слаб духом и все медлю. Теперь, видя вас в этом обличье, я еще больше стыжусь своей нерешительности и искренне сожалею, что позволил вам опередить себя. Такому как я нетрудно уйти от мира, много раз я готов был решиться, но, увы, каждый раз что-нибудь удерживало меня.

Печаль его поистине безутешна.

Государь тоже невесел. Тщетно стараясь обрести присутствие духа, он роняет слезы и слабым голосом беседует с Гэндзи о былом и настоящем.

— Я все ждал — «сегодня, завтра...» (279, 280), — говорит он между прочим, — а прожил так долго. И вот наконец решился уйти от мира. Я не могу больше медлить, иначе мое желание так и останется неосуществленным. Да и теперь у меня впереди слишком мало времени для служения Будде. Надеюсь все же хотя бы ненадолго обрести покой и отдаться молитвам. Будучи человеком крайне болезненным и слабым, я так надолго задержался в мире лишь потому, что до сих пор не сумел исполнить своего намерения. Я понимал это и все равно медлил... Мысль о столь непростительном небрежении лишает меня покоя.

Подробно рассказав Гэндзи о том, что побудило его сменить обличье, государь добавляет:

— Меня тревожит судьба моих дочерей, особенно одной из них, остающейся без всякой опоры.

Этот явный намек заставляет Гэндзи содрогнуться от жалости. К тому же любопытство его возбуждено, так может ли он пропустить слова государя мимо ушей?

— Увы, это так, — отвечает он, — особа столь высокого звания гораздо больше нуждается в надежном покровителе, нежели девица из простого семейства. Но стоит ли беспокоиться за ее будущее? Ведь она имеет превосходного защитника в лице брата, принца Весенних покоев. Люди не зря называют его достойным преемником, видя в нем единственную надежду Поднебесной в наши последние времена. Неужели вы полагаете, что принц способен пренебречь вашей просьбой? Бесспорно, все имеет свои пределы, может статься, что, сделавшись государем и получив власть над миром, принц не станет открыто благоволить к сестре. За судьбу женщины можно не беспокоиться лишь в том случае, если у нее есть надежный защитник, готовый взять на себя все заботы о ней и связанный с ней соответствующим обетом. Если вас так тревожит будущее дочери, постарайтесь найти для нее подходящего супруга и, не придавая делу особой огласки, поручите ему заботиться о ней.

— Да, я уже думал об этом, но все это не так просто. Известно, что и в старину многие принцессы принуждены были вступать в брачный союз, дабы обеспечить себе дальнейшее существование. Некоторым даже приходилось делать это еще до того, как отцы их уходили на покой. Так стоит ли высокомерно пренебрегать такой возможностью принцессе, отец которой вот-вот покинет ее? Я отрекся от мира, но мысли о нем не оставляют меня, и душа не знает покоя, а тем временем мне становится все хуже и хуже. Безвозвратно уходят в прошлое дни и луны, и нет конца снедающей меня тревоге. Мне не хотелось бы обременять вас просьбами, но не возьмете ли вы эту юную особу на свое попечение, дабы впоследствии, подобрав для нее достойного супруга, перепоручить ее ему? Вероятно, мне следовало бы подумать об этом раньше, когда Тюнагон не был еще ни с кем связан. Досадно, что меня опередил Великий министр.

— Тюнагон — человек надежный, в этом можно не сомневаться, к тому же он сделает для принцессы все, что в его силах, но слишком незначительно его положение в мире, да и жизненного опыта у него маловато... Простите мне мою дерзость, но, если вы соблаговолите доверить ее мне — а на мое усердие вы можете смело положиться, — принцесса и не почувствует, что в ее жизни что-то изменилось с тех пор, когда ее осеяло ваше милостивое покровительство. Боюсь только, что мне осталось не так уж много жить, поэтому я не могу не тревожиться, думая о том времени, когда принужден буду оставить ее одну.

Так вот и получилось, что Гэндзи согласился взять принцессу на свое попечение.

Скоро день преклоняется к вечеру, и слуги приносят угощение для домочадцев государя и спутников гостя. Оно постное и весьма скромное — да

и можно ли ожидать иного в доме государя-монаха? — но подают его с отменным изяществом.

Перед государем на столик из аквиларии ставят особую столовую утварь, так непохожую на ту, какой он привык пользоваться, что люди невольно отирают слезы, на него глядя. Увы, много трогательного было в тот вечер, но слишком тягостно все это описывать...

Гэндзи покинул дворец Судзаку поздно ночью. Его приближенные получили прекрасные дары. Гостя провожал Дайнагон. В тот день шел снег, и государь простудился, поэтому состояние его заметно ухудшилось. Вместе с тем он испытывал невольное облегчение, ибо о будущем принцессы можно было больше не беспокоиться.

Между тем Гэндзи терзался сомнениями, и смятенны были его думы. Кое-какие слухи дошли до госпожи Мурасаки, но она отказывалась верить им. «Ведь как он был увлечен бывшей жрицей Камо, а сумел решительно отказаться от нее», — думала она и, ни о чем не спрашивая, притворялась спокойной и безмятежной, а сердце Гэндзи разрывалось от жалости. «Каково будет ей? — тревожился он. — Мои чувства неизменны. Даже если действительно произойдет что-нибудь подобное, привязанность моя к ней лишь увеличится. Но пока она в этом не убедится окончательно, какие жестокие сомнения будут терзать ее душу!»

За последние годы отношения между супругами стали еще более трогательно доверительными, у них не было тайн друг от друга, поэтому, утаив — пусть и ненадолго — от госпожи столь важное обстоятельство, Гэндзи не мог не чувствовать себя виноватым. Однако, так ничего и не сказав ей, он удалился в опочивальню, где всю ночь не смыкал глаз.

На следующий день шел снег, и небо казалось трогательно печальным. Гэндзи долго беседовал с госпожой о прошлом и о грядущем.

— Вчера я был во дворце Судзаку, — говорит он между прочим. — Увы, состояние государя безнадежно. Он изволил поведать мне много такого, что взволновало мою душу. государь обеспокоен судьбой Третьей принцессы и изъявил горячее желание, чтобы именно я взял на себя заботы о ней. Мне было жаль его, и я не посмел отказаться. Боюсь, что теперь по миру пойдут пересуды. Я понимаю, что в мои годы не пристало помышлять о чем-нибудь подобном, и прежде, когда государь обращался ко мне через посредников, всегда старался уклониться. Однако мог ли я ответить отказом ему самому? Мог ли обмануть его надежды? Скорее всего, как только он удалится в горную обитель, мне придется перевезти принцессу сюда. Знаю, это огорчит вас. Но что бы ни случилось, помните: мои чувства к вам неизменны и не обижайтесь на меня. Мне просто жаль государя. Надеюсь, что мы сумеем обеспечить принцессе то положение в доме, которого она заслуживает. О, если б все могли жить в мире и согласии!

Зная, как мучительно переживает госпожа любые, даже самые мимолетные его увлечения, Гэндзи с тревогой ждет ответа. Однако ее голос звучит совершенно спокойно:

— Какое трогательное поручение! И смею ли я обижаться? Если только принцессе не будет мешать мое присутствие... Впрочем, мы не совсем чужие, ее мать, нёго, принадлежала к тому же роду, что и я. Возможно, принцесса не станет пренебрегать мной.

Госпожа явно пытается умалить свое значение в доме.

— Меня настораживает ваша уступчивость, — замечает Гэндзи. — Когда вы так говорите, я просто не знаю, что и думать. Право, вы стали бы мне еще милее, если бы нашли в себе довольно великодушия, чтобы жить с принцессой в согласии. Не обращайтесь внимания на пересуды. Люди склонны толковать дурно все, что слышат, не задумываясь над тем, к каким пагубным последствиям это может привести. Лучше внимать голосу собственного сердца и подчиняться естественному ходу событий. Не нужно волноваться раньше времени и обижаться понапрасну.

Впрочем, госпожа и сама думает: «Все это словно с неба свалилось на нас, у господина действительно не было иного выхода, и стоит ли упрекать его теперь? Почему он должен чувствовать себя виноватым и считаться с моими прихотями? К тому же речь идет не о союзе по любви. Изменить ничего нельзя, и нелепо выставлять напоказ свои обиды. Госпожа Северных покоев в доме отца моего, принца Сикибукё, постоянно бранит меня, ставя мне в вину даже историю с Садайсё, к которой я не имею решительно никакого отношения. Услышав о предстоящем событии, она наверняка почувствует себя удовлетворенной».

Как ни кротка была госпожа, иногда и ее посещали мрачные мысли, да и могло ли быть иначе? В последнее время ее положение в доме упрочилось, она жила, чувствуя себя в безопасности, и во всем доверяла супругу. Теперь люди станут смеяться над ней, — думала она и втайне страдала, хотя по-прежнему казалась спокойной и беззаботной.

Между тем год снова сменился новым. Во дворце Судзаку шли приготовления к переезду Третьей принцессы в дом на Шестой линии, и велико было разочарование тех, кто до сих пор тешил себя надеждами... Государь и тот, судя по всему, помышлял о принцессе, но, узнав, что судьба ее решена, смирился.

В том году Гэндзи исполнялось сорок лет, и мог ли двор пренебречь этим событием? В столице только и говорили что о готовящемся празднестве, но сам Гэндзи, никогда не любивший пышных торжеств, столь обременительных для многих, отказался от всех почестей.

На Двадцать третий день Первой луны, в день Крысы, Найси-но ками, она же госпожа Северных покоев из дома Садайсё поднесла Гэндзи первую зелень\*. Задумав все это уже давно, она готовилась тайно, никому не открывая своих намерений, и неожиданное появление ее застало Гэндзи врасплох. Супруга Садайсё постаралась обойтись без огласки, но слишком высоко было ее значение в мире, и весть о ее посещении дома на Шестой линии сразу же разнеслась по столице.

Для церемонии приготовили особые покои в западной части главного дома. Повесили новые занавеси, поставили новые ширмы, старую же утварь убрали. Решено было отказаться от высоких стульев, которые наверняка придали бы церемонии излишнюю торжественность, и ограничиться сорока циновками, сиденьями и скамеечками-подлокотниками. Все это, равно как и остальная праздничная утварь было подобрано с необыкновенным изяществом. На парные инкрустированные перламутром шкафчики поставили четыре ларца, наполненные летними и зимними нарядами, рядом разместили горшочки с благовониями, шкатулки с целебными снадобьями,

тушечницы, шкатулки с принадлежностями для мытья головы и для приче-ски — при всей своей скромности эти предметы отличались удивительной утонченностью. Подставки для головных украшений, сделанные из аквила-рии и сандала, были покрыты тонкой резьбой. Сами же шпильки — как обычно, золотые или серебряные — поражали взор мастерством исполне-ния и изысканностью оттенков. В некоторой их необычности угадывалось влияние тонкого вкуса устроительницы. Вместе с тем ей удалось избежать чрезмерной пышности.

Начали собираться гости, но, прежде чем появиться перед ними, Гэнд-зи встретился с Найси-но ками. О да, им обоим наверняка было о чем вспомнить.

Гэндзи так моложав и так хорош собой, что, глядя на него, трудно удер-жаться от мысли: «Полно, уж не ошиблись ли мы, празднуя его сорокале-тие?» Разве можно поверить, что перед вами почтенный отец семейства? Встретившись с ним после стольких лет разлуки, госпожа Найси-но ками сначала чувствовала себя принужденно, но очень скоро преодолела застен-чивость и стала охотно отвечать ему.

Ее миловидные сыновья были погодками, и, немного стыдясь этого, Найси-но ками не хотела брать их с собой, но Садайсё решил, что лучшего случая представить их Гэндзи не будет. Мальчики облачены в носи. Разде-ленные пробором, свободно падающие на плечи волосы придают им по-детски простодушный вид.

— Да, годы уходят, — говорит Гэндзи. — Но меня это не так уж и огорча-ет, тем более что я чувствую себя таким же молодым, как и прежде. Мне кажется, я совсем не переменялся. Вот только появление новых и новых внуков напоминает о том, что лет мне, увы, уже немало. Тюнагон — и когда только успел? — обзавелся многочисленным потомством, но почему-то пре-небрегает мною, и я до сих пор не видел никого из его детей. Вы первая под-считали мои годы, и сегодня, в этот день Крысы, мне немного печально. Увы, мне так хотелось хотя бы ненадолго забыть о своем возрасте.

Госпожа Найси-но ками за время, прошедшее со дня их последней встре-чи, стала еще краше. В ее облике появилось что-то величавое, трудно не за-любоваться ею.

— За собой увлекая  
Покрытые нежной хвоей  
Побеги сосны,  
Пришла пожелать долгих лет  
Взрастившему их утесу, —

произносит она, стараясь, чтобы голос ее звучал степенно. Затем на четырех подносах из аквиларии Гэндзи торжественно подносят кушанья из первой зелени. А он, подняв чашу, отвечает:

— Побеги сосны  
Увлекут за собою, быть может  
Первую зелень.  
И станет она расти,  
Набирая за годом год...

Этими и другими песнями обмениваются они с Найси-но ками, а тем временем все новые и новые знатные гости прибывают в южные передние покои.

Принц Сикибукё хотел было уклониться от участия в сегодняшнем торжестве, но получил особое приглашение, и, рассудив, что родственные узы, связывающие его с Гэндзи, не позволяют выставлять напоказ свои обиды, к вечеру все-таки приехал.

Скорее всего ему и в самом деле неприятно было смотреть, как Садайсё с самодовольной миной на лице распоряжается ходом церемонии, не упуская случая подчеркнуть свою близость к хозяину, однако тут же рядом усердно хлопотали его собственные внуки, с разных сторон связанные с этим домом.

Гэндзи поднесли сорок корзин с плодами, сорок китайских ларцов. Все знатные гости, начиная с Тюнагона, один за другим подходили к нему со своими дарами. Затем гости угощались вином и горячими кушаньями из первой зелени. Перед хозяином стояли четыре столика из аквиларии с изящно расставленными на них чашами и блюдами превосходной современной работы.

Состояние государя из дворца Судзаку оставалось по-прежнему тяжелым, поэтому музыкантов не приглашали. Однако Великий министр, подготовив флейты и прочее, лично позаботился о том, чтобы усладить слух гостей тихой музыкой.

— Может ли быть повод достойнее? — заявил он и заранее отобрал самые благозвучные инструменты.

Гости один за другим играли на них, и особенных похвал удостоилось японское кото, главная драгоценность из сокровищницы Великого министра. Звуки, которые, извлекая из струн этот удивительный мастер, вкладывавший в игру всю душу, были столь прекрасны, что, казалось, лучше и быть не может, и остальные пришли в замешательство, не решаясь соперничать с ним. Гэндзи долго уговаривал упорно отказывающегося Уэмон-но ками, прежде чем тот согласился наконец сыграть. Играл же он действительно прекрасно, почти ни в чем не уступая отцу. «Сыновья часто наследуют таланты отцов, тут нет ничего удивительного, — восхищенно шептались собравшиеся, — но чтобы до такой степени...»

В самом деле, не составляет большого труда усвоить на первый взгляд весьма сложные мелодии, исполнение которых зависит от тональности и подчинено строгим правилам, мелодии тайно переданные из Китайской земли и требующие от исполнителя знания определенных приемов. Но японское кото — совсем другое дело. Когда, вторя другим инструментам, перебираешь струны свободно, следуя движениям души, кото, словно, вбирая в себя все остальные звуки, звучит так прекрасно, что у всякого взволнуется сердце.

Великий министр играл на кото, настроенном в довольно низкой тональности, и игра его поражала богатством оттенков. Под пальцами Уэмон-но ками струны звучали звонко и радостно, исполнение же отличалось такой необычной, пленительной мягкостью, что принцы не смогли сдержать восхищения: «Право, и вообразить было невозможно...»

На китайском кото играл принц Хёбукё. Этот инструмент хранился во дворце Благодатного света, Гиёдэн, передаваясь от одного государя к другому, и постепенно за ним закрепилась слава первого кото Поднебесной. Покойный государь незадолго до своего ухода из мира подарил его Первой

принцессе, страстной любительнице музыки. Желая придать больше блеска нынешнему празднеству, Великий министр обратился к ней с нижайшей просьбой, и она передала кото ему.

Вспомнив об этом, Гэндзи почувствовал себя растроганным, и думы его устремились в прошлое. Изрядно захмелевший принц, не сумев, как видно, справиться с волнением, тоже заплакал. Словно проникнув в сокровенные мысли Гэндзи, он положил перед ним китайское кото, и тот заиграл, подавшись очарованию мига, но, к сожалению, ограничился всего одной мелодией, вызвавшей всеобщее восхищение.

Словом, празднество не отличалось особой пышностью, но было что-то бесконечно прекрасное в этом вечернем музицировании.

Певцы собрались у главной лестницы и пели, переходя из одной тональности в другую. Голоса у них были превосходные. Чем больше темнело, тем задушевнее звучала музыка, когда же заиграли «Зеленую иву», это было так прекрасно, что соловей и в самом деле мог проснуться в своем гнезде\*. Воспользовавшись тем, что празднество не было подчинено официальным установлениям, Гэндзи позволил себе одарить гостей куда щедрее, чем предписывалось правилами.

На рассвете госпожа Найси-но ками уехала, осыпанная богатыми дарами.

— Живя в уединении, словно отрекшись уже от этого мира, — сказал Гэндзи ей на прощание, — я порой не замечаю, как проходят дни и луны. Но, подсчитав мои годы, вы напомнили мне о приближающейся старости. Грустно, право... Прошу вас, навещайте меня почаще, хотя бы затем, чтобы увидеть, насколько я постарел. Жаль, что мы встречаемся с вами гораздо реже, чем хотелось бы, но, увы, в мои годы и в моем положении...

Так, им было о чем вспомнить, немало печального и радостного связывало их в прошлом, но слишком непродолжительной оказалась их встреча, и Гэндзи не скрывал досады. Впрочем, и у Найси-но ками тяжело было на душе. Она всегда помнила о том, что узы крови связывают ее с родным отцом, но сердце было преисполнено горячей признательности к Гэндзи. Да и могло ли быть иначе, ведь с годами (особенно после того, как определилось ее положение в мире) она поняла, сколь многим ему обязана.

Итак, по прошествии Десятого дня Второй луны принцесса из дворца Судзаку переехала в дом на Шестой линии. Гэндзи сделал все от него зависящее, чтобы достойно встретить ее. В Западных покоях, где ему подносили первую зелень, он велел установить полог и распорядился, чтобы привели в порядок флигели и галереи, предназначенные для прислуживающих принцессе дам, не забыв позаботиться и о внутреннем их убранстве. Государь из дворца Судзаку прислал разнообразную утварь, подобно тому как это бывает во время церемонии представления ко двору. Стоит ли говорить о том, сколько внимания было уделено переезду? Принцессу сопровождали самые знатные вельможи. Ей прислуживал, как ни досадно ему было, и тот Дайнагон, который мечтал стать ее домоуправителем.

Когда кареты приблизились к дому, Гэндзи сам вышел навстречу принцессе и помог ей выйти, хотя это и не предусматривалось никакими установлениями. Как ни высоко положение Гэндзи, он оставался простым подданным, а потому возможности его были ограничены, и происходящее мало походило на церемонию представления ко двору. Впрочем, слова: «О благо-



родный юноша, приди!»\* — в настоящем случае тоже неуместны. Что и говорить, необычный то был союз.

В течение трех дней в доме на Шестой линии продолжались праздничные церемонии, в подготовке которых немалое участие принял и государь из дворца Судзакү.

Это было беспокойное время для госпожи Весенних покоев. Вряд ли стоило опасаться, что ее положение в доме пошатнется, но она не привыкла иметь соперниц, принцесса же была не только юна и хороша собой, но еще и обладала высоким званием, с которым нельзя было не считаться, разумеется, ее появление в доме на Шестой линии, повергло госпожу в уныние. Однако она подавляла мрачные мысли и ничем не выдавала своей тревоги. Помогая Гэндзи готовиться к приему принцессы, она заботливо вникала во все мелочи, так что он не уставал восхищаться ею, все больше утверждаясь в мысли о ее исключительности.

Принцесса — маленькая, хрупкая — поразила Гэндзи телесной и душевной незрелостью. Она казалась ребенком, и, глядя на нее, он вспомнил, как когда-то появился в его доме юный цветок мурасаки... Да, госпожа уже тогда обнаруживала незаурядную тонкость ума и была вполне достойна внимания. Принцесса же не имела иных достоинств, кроме детского простодушия. «Что ж, и это неплохо, — успокаивал себя Гэндзи. — По крайней мере не станет чваниться перед остальными». «Но слишком уж она заурядна...» — думал он, вздыхая.

Три ночи подряд провел Гэндзи в покоях Третьей принцессы, и не привыкшая к одиночеству госпожа печалилась, хотя и старалась это скрывать. Она заботливо пропитывала благовониями одежды супруга, и ее печальное лицо было так трогательно-прелестно, что сердце Гэндзи болезненно сжималось, и слезы навертывались на глаза. «Как мог я поставить кого-то рядом с ней? — сетовал он. — Ни в коем случае нельзя было этого делать. Виною всему мое поистине непростительное малодушие и легкомыслие. Ведь как ни молод Тюнагон, государю не удалось уговорить его...»

— Простите мне еще одну ночь, — говорит он госпоже. — Я должен считаться с приличиями, и, как ни тяжело мне расставаться с вами... Возможно, я и впредь принужден буду оставлять вас одну, но, поверьте, никто не будет страдать от этого больше, чем я сам. Увы, приходится мириться с обстоятельствами. Да и не хотелось бы обижать государя.

Искреннее страдание отражается на лице Гэндзи, и госпоже становится жаль его.

— Судя по-всему, вам трудно разобраться с собственными желаниями, — слабо улынувшись, отвечает она, — а что до приличий и прочего, то со стороны трудно понять...

Что тут ответишь? Видя, что Гэндзи, смутившись, сидит, подперев рукой щеку, госпожа придвигает к себе тушечницу и пишет:

«Мир вокруг  
 Меняется с каждым мгновеньем.  
 А я до сих пор  
 Льстила себя надеждой  
 На долгий путь впереди...»

К этой песне она добавляет несколько старинных, и, взяв листок бумаги, Гэндзи долго любит его. В ее песне нет ничего особенного, но мог ли кто-нибудь лучше угадать его сокровенные мысли?

Пусть оборвется  
Наша жизнь, разве могут порваться  
Прочные узы,  
Связавшие нас с тобой  
В этом непрочном мире?

Гэндзи медлит, ему явно не хочется расставаться с госпожой.

— Право, нехорошо! — пеняет она ему, и он, наконец, уходит, облаченный в изысканное, сладостно благоухающее мягкое платье. Госпожа провожает его взглядом, и как же тяжело у нее на душе!

Она всегда была готова к тому, что может случиться нечто подобное, и только в последнее время почувствовала себя в безопасности, решив, что Гэндзи наконец расстался с прежними привычками. Ждала ли она, что именно теперь, после всех этих лет, ее благополучие окажется под угрозой, а имя сделается предметом пересудов? Ее нынешнее положение снова стало казаться ей ненадежным, а уж о будущем она не смела и помыслить без страха. Тем не менее ей удавалось сохранять наружное спокойствие, и только прислужницы ее сетовали:

— Как же превратен мир!

— В этом доме всегда было много женщин, но все они склонялись перед госпожой, признавая ее превосходство, потому-то до сих пор мы жили в мире и согласии.

— А ежели принцесса станет чваниться перед всеми, госпожа не сумеет с этим примириться.

— Так или иначе, теперь любое, даже самое незначительное столкновение может повлечь за собой великие беды.

Они шептались и вздыхали, но госпожа, сделав вид, будто ничего не замечает, постаралась занять их беседой и до поздней ночи не уходила в опочивальню. «Как неприятно, что дамы относятся к этому как к чему-то из ряда вон выходящему...» — подумала она и как бы между прочим сказала:

— У нас в доме много женщин, но ни одной не удалось покорить сердце господина ни изысканностью манер, ни родовитостью. Он пригляделся к нам, и мы наскучили ему, поэтому я очень рада, что сюда переехала Третья принцесса. Мне хотелось бы сблизиться с ней. Уж не потому ли, что в душе я и сама — сущее дитя?.. Не понимаю, почему кое-кто пытается распространять слухи о том, что меж нами неизбежно возникнет вражда. Желание придирчиво выискивать недостатки невольно возникает, когда речь идет о равных тебе или низших. Но Третья принцесса выше нас всех, к тому же за нее просил сам государь Судзаку, и я надеюсь, что у нее не будет оснований для недовольства.

— Госпожа слишком добросердечна, — заявила Накацукаса, переглянувшись с Тюдзё.

Когда-то эти дамы прислуживали Гэндзи, причем довольно близко, но уже давно перешли в распоряжение госпожи Весенних покоев и, очевидно, искренне полюбили ее.



Многие другие обительницы дома на Шестой линии тоже не преминули выразить госпоже свое сочувствие. «О, как Вам должно быть тоскливо теперь... — писали они. — Нам и то легче, ведь мы давно смирились...»

От их сочувствия госпоже стало еще тяжелее. «Впрочем, в этом мире все непостоянно, так стоит ли терзать себя понапрасну?» — подумала она. Почувствовав себя виноватой — столь долгое бдение могло показаться подозрительным, — она удалилась наконец в опочивальню, и дамы помогли ей лечь. Нетрудно себе представить, как тяжело было у нее на душе. Увы, одинокие ночи всегда так длинны и тоскливы... Ей вспомнился невольно тот день, когда Гэндзи уезжал в Сума: «Тогда я думала: как бы далеко он ни уехал, я все вынесу, если буду знать, что он по-прежнему живет в одном со мной мире. О да, я забывала о себе и жила его горестями, его печалью. Чего стоил бы наш союз, если бы мы не выдержали таких испытаний?» Эта мысль принесла ей некоторое облегчение.

Дул ветер, ночь была холодна, и сон все не шел к госпоже, но, не желая волновать прислужниц, она старалась лежать неподвижно, и это усугубляло ее страдания. Крик петуха, раздавшийся глубокой ночью, печалью отозвался в сердце.

Госпожа не испытывала ни гнева, ни обиды, но то ли потому, что чувства ее были в смятении, то ли по какой другой причине, только явилась она Гэндзи во сне, и, встревоженный: «Уж не случилось ли дурного», он про-

снулся и, еле дождавшись крика петуха, поспешил уйти, сделав вид, будто не ведает о том, что до рассвета еще далеко.

Принцесса была слишком неопытна, и кормилицы неотлучно находились при ней. Они видели, как, открыв боковую дверь, Гэндзи вышел из дома.

В неясно светлевшем небе, мерцая, кружился снег, но вокруг было темно. Гэндзи ушел, а в воздухе долго еще витал аромат его платья.

— «Быть темной напрасно...» (284) — прошептала одна из дам.

В саду кое-где лежал снег, почти незаметный на белом песке.

— «У стены еще сохранился снег...»\* — тихонько произнес Гэндзи и, приблизившись к покоям госпожи, постучал по решетке. Поскольку давно уже не случалось ему возвращаться в столь ранний час, дамы, притворившись спящими, открыли не сразу.

— Я так долго ждал, что совсем продрог, — пожаловался Гэндзи, подойдя к изголовью. — К тому же я боюсь вашего гнева, хотя и нет за мной никакой вины.

Он откинул прикрывавшее госпожу платье, и она поспешно спрятала мокрые рукава.

Госпожа была приветлива и, казалось, не таила в душе обиды, но в движениях ее, в словах проглядывала некоторая принужденность. Красота ее была безупречна. «Среди самых высоких особ не найдешь ей подобной», — подумал Гэндзи, невольно сравнивая ее с принцессой.

Весь день он провел в Весенних покоях, вспоминая минувшие годы и безуспешно пытаясь развеселить госпожу. Принцессе же отправил письмо следующего содержания:

«Утренний снег плохо отозвался на моем самочувствии, и я хотел бы немного отдохнуть».

— Я передала госпоже принцессе, — только и ответила кормилица, не потрудившись даже написать письмо.

«Не очень изящный ответ, — подумал Гэндзи. — Что, если узнает государь? Я не должен пренебрегать принцессой хотя бы первое время...» Но, увы, он так и не сумел заставить себя пойти к ней. «Ведь я знал, что так получится, — раскаивался он, — о, как же все это тягостно!»

Не могла успокоиться и госпожа. «Он ведет себя слишком неосмотрительно», — думала она, вздыхая.

На следующее утро, проснувшись, Гэндзи, как полагается, отправляет Третьей принцессе письмо. Особенно стараться нет нужды, но, тщательно подготовив кисть, он пишет на белой бумаге:

«Разве преградой  
Может стать между нами  
Легкий снежок?  
И все же сегодня утром  
В таком смятении думы...» (281)

Письмо Гэндзи привязывает к ветке цветущей сливы и, вручив слуге, велит передать через западную галерею. Сам же остается сидеть у порога. Облеченный в белое платье, задумчиво играя веткой цветущей сливы, он любуется небом, которое роняет на землю все новые и новые снежинки, чтобы не было одиноко тем, что уже лежат в саду, «друзей поджидая»... (282, 283).

Вот, неподалеку, в кроне красной сливы, звонко запел соловей, и Гэндзи про-  
износит:

— «Пропитался рукав ароматом...» (285)

Спрятав цветы и приподняв занавеси, он выглядывает наружу. У него совсем еще молодое цветущее лицо, невозможно представить себе, что перед вами человек, занимающий высокое положение в мире и имеющий взрослых детей. Предвидя, что ответа придется дожидаться довольно долго, Гэндзи входит в покои, чтобы показать госпоже ветку цветущей сливы.

— Жаль, что не у всех цветов столь дивный аромат, — сетует он. — Когда бы цветущие вишни так благоухали, я никогда бы и не помышлял о других цветах... (178) — Возможно, сливы чаруют нас потому лишь, что расцветают первыми. Вот если бы они цвели одновременно с вишнями...

Тут приносят ответ. Написанное на тонкой алой бумаге письмо изящно свернуто, и щемящая жалость пронзает сердце Гэндзи. «Почерк у нее совсем еще детский, — думает он, — лучше, пожалуй, пока не показывать письма госпоже. Я не хочу ничего скрывать, но боюсь, что содержание его может оказаться недостойным ее внимания и несовместимым с высоким званием принцессы». Но попытайся он его спрятать, госпожа наверняка обидится... Поэтому Гэндзи все-таки разворачивает письмо.

Поглядывая на него украдкой, госпожа лежит, прислонившись к скамеечке-подлокотнику.

«Как все мимолетно —  
В небе далеком вот-вот  
Исчезнет-растает  
Весенним ветром влекомый  
Летучий снежок».

Почерк у принцессы и в самом деле весьма неуверенный, почти детский. «Право, в таком возрасте можно писать и получше», — подумала госпожа, украдкой разглядывая письмо, но ничего не сказала, сделав вид, будто оно совершенно ее не интересует. Если бы речь шла о ком-то другом, Гэндзи непременно тихонько сказал бы госпоже: «Да, почерк и в самом деле...» Но принцессу ему было жаль, и он лишь заметил:

— Теперь вы и сами видите, что оснований для беспокойства у вас нет.

Днем Гэндзи переходит в покои принцессы. Он уделил особое внимание своему наряду, и дамы, впервые получившие возможность как следует рассмотреть его, не скрывают своего восхищения. Только кормилица и некоторые пожилые прислужницы терзаются сомнениями: «Спору нет, красота его достойна восхищения, но как бы нашей госпоже не пришлось страдать по его милости...»

Принцесса юна и прелестна. Изысканное благородство роскошно убранных покоев подчеркивает ее трогательную беспомощность. Хрупкое тело теряется в чрезмерно пышных одеждах. Вместе с тем она почти не смущается, держится спокойно и приветливо, словно невинное дитя, еще не привыкшее бояться незнакомых людей.

«Государя из дворца Судзаку многие упрекали в слабодушии, в науках он тоже не оказывал особенных успехов, — думает Гэндзи. — Но мало кто мог

сравниться с ним в изяществе и тонкости вкуса. Отчего же он пренебрег воспитанием дочери? Ведь ее называют его любимицей».

И все же в принцессе немало привлекательного. Во всем послушная Гэндзи, она почтительно внимает ему и как умеет отвечает на его вопросы. Так можно ли судить ее слишком строго? «Будь я молод, — думает он, — мое разочарование было бы настолько велико, что я скорее всего отвернулся бы от нее с презрением. Но годы научили меня терпению. Теперь-то я знаю, как трудно найти женщину, безупречную во всех отношениях. Женщин много, и у всех свои недостатки и свои достоинства. Кому-то и принцесса показалась бы совершенством».

Мысли его снова и снова обращаются к госпоже Весенних покоев. Долгие годы была она рядом с ним, но не наскучила ему, напротив, он постоянно открывает в ней новые и новые прелести. Право же, Гэндзи вправе гордиться своей воспитанницей. Расставаясь с ней на одну только ночь, он изнемогает от тоски и тревоги. С годами его чувство растет, и иногда он со страхом думает: «К добру ли?»

Тем временем государь из дворца Судзаку перебрался в горную обитель, и оттуда от него приносили трогательные письма. Разумеется, его снедало беспокойство, но, доверяя дочь попечениям Гэндзи, он просил ни в коем случае не принимать в расчет его собственных чувств. Тем не менее детская беспомощность принцессы явно печалила и волновала его. Госпоже Мурасаки государь написал отдельное письмо:

«Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за то, что я позволил себе передать на Ваше попечение столь юную и столь далекую от совершенства особу. Могу ли я рассчитывать на Ваше великодушие? Не оставьте же ее своими заботами. Ведь мы не чужие друг другу.

Отрекся от мира,  
Но стремятся к нему по-прежнему  
Думы мои,  
Мешая идти вперед  
По этой горной дороге.

Боюсь, что мое послание покажется Вам несвязным, но поверьте, “блуждающему впотьмах” (3) так трудно сохранить ясность мысли».

Увидав это письмо, Гэндзи:

— Как трогательно! Вы должны ответить ему с подобающей почтительностью! — сказал и через одну из прислуживающих дам выслал гонцу чашу с вином.

«Как же мне ответить?» — задумалась госпожа, но, поскольку ничего особенно сложного, изощренного от нее не требовалось, написала первое, что пришло ей в голову:

«Если к миру  
Думы твои стремятся,  
Не уходи  
По горной тропе, влача  
За собой столь тяжкое бремя».

Да, кажется она ответила именно так.

Гонец получил полный женский наряд и великолепное хосонага.

Любуясь редким по изяществу почерком госпожи Мурасаки, государь невольно подумал о том, сколь жалкой должна казаться принцесса рядом с такой изысканной особой, и снова лишился покоя.

Тем временем дамы, ранее прислуживавшие государю, одна за другой покидали дворец Судзаку, и каждый новый день был печальнее предыдущего. Госпожа Найси-но ками поселилась во дворце на Второй линии, где когда-то жила покойная государыня Кокидэн. Именно с ней, если не считать Третьей принцессы, государю было труднее всего расставаться. Она изъявила желание тоже принять постриг, но государь убедил ее отказаться от этой мысли, ибо, по его мнению, подобная поспешность была неуместна, и Найси-но ками ограничилась тем, что начала постепенно готовить себя к этому шагу.

Бывший министр с Шестой линии — не потому ли, что им пришлось слишком быстро расстаться? — все эти годы не забывал ее. У него не раз возникало желание снова встретиться с Найси-но ками и вместе вспомнить минувшее, но, понимая, что высокое положение обоих делает их особенно уязвимыми для людской молвы, и помня, к каким печальным последствиям привела их некогда собственная неосторожность, он не предпринимал никаких попыток снестись с ней. Однако в последнее время, когда Найси-но ками зажила тихой, уединенной жизнью, судя по всему отказавшись от всех мирских соблазнов, им снова завладело неодолимое желание увидеть ее. Не в силах совладать с собой (хотя и понимая, что поведение его предосудительно), Гэндзи стал писать к ней нежные письма, оправдывая себя тем, что простая вежливость обязывает его выказывать ей свое участие. Оба они были уже немолоды, и иногда Найси-но ками позволяла себе отвечать ему. С годами она стала еще утонченнее, почерк ее поражал удивительным совершенством, и Гэндзи снова лишился покоя. Вспомнив прошлое, он принялся докучать изъяснениями своих чувств одной из ее прислужниц, той самой Тюнагон, и первым делом призвал к себе брата этой особы, бывшего правителя Идзуми, надеясь, как бывало, заручиться его поддержкой.

— Я должен сообщить вашей госпоже нечто весьма важное, — сказал он ему. — Причем сообщить лично, а не через посредников. Если вы возьмете на себя труд убедить ее выслушать меня, я обещаю, что никто об этом не узнает. Вы, разумеется, понимаете, что мое положение ко многому обязывает, и я должен проявлять предельную осторожность. Впрочем, я уверен, что вы никому об этом не пророните ни слова и мы оба можем быть спокойны...

Однако Найси-но ками было не так-то легко уговорить.

«Вправе ли я позволять себе?.. — думала она, вздыхая. — Чем глубже проникаю я в суть явлений нашего мира, тем яснее понимаю, как жестоко поступил со мной этот человек. И теперь, после всех этих лет, предав забвению печальную судьбу государя, говорить с ним о прошлом? Возможно, никто и в самом деле не узнает, но “если спрошу у сердца?”» (286)

И она неизменно отказывалась встретиться с ним.

«Право же, мы находили средство обмениваться любовными речами даже тогда, когда это казалось совершенно невозможным, — думал Гэндзи, — и, как ни велика моя вина перед отречшимся от мира государем, сто-

ит ли отрицать, что нас с Найси-но ками связывали самые нежные чувства? Как бы мы ни старались очиститься теперь, можно ли вернуть “стайку вспугнутых птиц”? (243) Так не все ли равно?» И, решившись, Гэндзи отправился на Вторую линию вослед за человеком из леса Синода\*. Вот что он сказал госпоже:

— Дочери принца Хитати, живущей в Восточной усадьбе, давно нездоровится, а я из-за царившей в доме суматохи до сих пор не удосужился ее навестить. Не совсем удобно отправляться туда среди бела дня у всех на глазах, поэтому я и решил поехать попозже, вечером. Прошу вас никому о том не говорить.

Чрезмерная взволнованность Гэндзи, равно как и неожиданное желание навестить особу, никогда до сих пор не удостоивавшуюся его внимания, показала госпоже подозрительной. Не исключено, что она догадалась об истинной подоплеке его намерения, но ничем не выдала себя. Увы, после того как в доме на Шестой линии появилась Третья принцесса, госпожа уже не была так откровенна с супругом, как прежде.

В тот день Гэндзи не заходил в главные покои, лишь обменялся с принцессой посланиями. Днем он усердно пропитывал свою одежду благовоениями, а когда настал вечер, выехал из дома, сопровождаемый четырьмя самыми преданными приближенными. Ехал он в карете с плетеным верхом, стараясь держаться как можно незаметнее, совсем как бывало в старые времена. С письмом он послал правителя Идзуми.

Можно себе представить, как растерялась Найси-но ками, когда кто-то из дам украдкой сообщил ей о том, что приехал господин с Шестой линии.

— Возможно ли? Что же сказал ему правитель Идзуми?

— Не принять его теперь было бы величайшей неучтивостью, — заявляет между тем правитель Идзуми и, воспользовавшись всеобщим замешательством, проводит Гэндзи прямо в покои. А тот, любезно осведомившись через дам о самочувствии госпожи и сказав все, что принято говорить в таких случаях, принимается настоятельно просить, чтобы она вышла к нему.

— Неужели вы не согласитесь поговорить со мной через ширму? Поверьте, я уже далеко не тот, каким был когда-то, вам нечего бояться.

В конце концов Найси-но ками со вздохом соглашается.

«Я не ошибся, она по-прежнему уступчива», — невольно отмечает про себя Гэндзи.

Их нынешнее положение обязывает к сдержанности, но тем трогательнее эта встреча... Госпожа Найси-но ками принимает гостя в Восточном флигеле. Дамы усаживают его в юго-восточной передней, предварительно укрыв замки на нижней части перегородки.

— Я чувствую себя неискушенным юнцом, — жалуется Гэндзи. — Думал ли, что меня ждет столь холодный прием? Ведь я могу, ни разу не сбившись, перечесть все годы, которые нас разделяют. Ну не жестоки ли вы?

Постепенно темнеет. Вокруг безлюдно и тихо, только из сада долетают трогательно-печальные голоса уток-мандаринок, резвящихся в жемчужных травах пруда (288). «О, как все шатко, как все непродолжительно в этом мире!» — думает Гэндзи, глядя вокруг. Ему не хочется уподобляться Хэйтю\*, но в последнее время слезы все чаще навертываются у него на глазах. Сначала он говорит спокойным, рассудительным тоном, совсем не так, как



бывало прежде, потом: «Неужели так и расстанемся?!» — воскликнув, пытается отодвинуть перегородку...

— Луны и годы  
Встали преградой меж нами  
Неодолимой.  
Увы, чрез заставу Встреч  
Только слезам путь открыт, —

говорит он, а женщина отвечает:

— Слезы льются из глаз —  
У заставы чистый источник (289)  
Не иссякает.  
Но давно уже путь закрыт,  
К новым встречам ведущий.

Скорее всего она собиралась держать его в отдалении, но тут вспомнилось ей прошлое. «Разве не из-за меня попал он тогда в беду? — подумала она, чувствуя, как слабеет ее решимость. — В самом деле, почему бы в последний раз...»

Найси-но ками никогда не отличалась твердостью духа, но с годами, приобретя некоторый жизненный опыт, научилась лучше владеть собой. Она часто обращалась мыслями к далеким дням своей молодости и с сожалением думала о том, что, не будь она столь опрометчива, ее жизнь сложилась бы совсем по-другому. Однако сегодняшняя встреча так живо напомнила ей прошлое, что устоять было невозможно. Ее изящных черт еще не коснулось увядание, она по-прежнему была необыкновенно хороша собой. Страх перед мнением света боролся в ее сердце с нежностью к Гэндзи, и томные вздохи теснили грудь. Никогда, даже в дни их первых встреч, она не казалась Гэндзи такой трогательно прелестной. С досадой глядя на светлеющее небо, он не находил в себе сил расстаться с ней.

Но вот наступает невыразимо прекрасный рассвет, в саду начинают звонко щебетать птицы. Цветы уже осыпались, и ветки деревьев окутаны зеленоватой дымкой. «А ведь тот давний праздник глициний был в эту же пору...»\* — думает Гэндзи, перебирая в памяти годы, с того дня протекшие, и сердце его печально сжимается. Когда госпожа Тюнагон, намереваясь проводить гостя, открывает боковую дверь, он, оборотившись, говорит:

— Ах, эти глицинии! И откуда берутся такие чудесные краски? Они такие яркие и такие изысканные! Как можно с ними расстаться!

Гэндзи медлит, явно не желая уходить.

Между тем, солнце, поднявшись над краем гор, заливает все вокруг ярким сиянием, в его лучах лицо Гэндзи сверкает поистине ослепительной красотой. С тех пор как Тюнагон видела его в последний раз, прошло немало лет, но за эти годы он стал лишь прекраснее. «И почему им нельзя быть вместе? — сетует Тюнагон. — Служить во Дворце, может, и неплохо, но ее продвижение с самого начала имело пределы, если же говорить о положении в мире, то особой разницы меж ними нет... Виной всему покойная государыня, когда б не она, никто бы и не узнал ничего. Из-за нее и пошла по миру дурная молва, заставившая их расстаться».

Слишком многое и в самом деле осталось недосказанным, и трудно смириться с тем, что их история не будет иметь продолжения, но вправе ли человек, занимающий столь высокое положение, забывать о приличиях? Гэндзи боялся оказаться замеченным и тревожился, видя, что солнце поднимается все выше и выше. Вот уже приближенные, подведя карету к галерее, тихонько покашливают, поторапливая его. Подозвав одного из них, Гэндзи велит ему сорвать для себя ветку расцветшей глицинии.

Не забыть,  
Как тонул я в пучине бедствий,  
Но, увы, тот урок,  
Видно, даром прошел, готов  
Снова броситься в волны глициний.

Он стоит, прислонившись к перилам, и такое страдание изображается на лице его, что у Тюнагон сердце стесняется от жалости. Найси-но ками сидит смущенная, растерянная. Что станут теперь о ней говорить? Но цветы так прекрасны...

Не настоящая  
Та пучина, в которую ты  
Броситься хочешь.  
Никогда больше волны Сума  
Не коснутся моих рукавов...

Хорошо понимая, что юношеская пылкость не позволительна в его возрасте и при его положении, Гэндзи все-таки не уходил до тех пор, пока не добился ее согласия на новую встречу. Впрочем, вряд ли его ждали на этом пути какие-то трудности, ведь в ее доме не было слишком сурового «хранителя заставы» (224).

И в прежние времена Гэндзи питал к этой женщине особые чувства, к ней влекло его больше, чем к другим, но судьба связала их так ненадолго... Разве могла эта встреча не тронуть ее сердца?

Увидев, как Гэндзи в небрежно накинутом платье украдкой проскользнул в опочивальню, госпожа Мурасаки, разумеется, поняла, что ее подозрения не были лишены оснований, но сделала вид, будто ничего не заметила. Гэндзи, пожалуй, предпочел бы, чтобы его осыпали упреками. «Неужели она настолько равнодушна ко мне?» — встревожился он и принялся с еще большим, чем обыкновенно, жаром уверять ее в искренности своих чувств, в своей неизменной преданности. Он мог бы и не упоминать о Найси-но ками, но ведь госпожа знала о ней, поэтому он сказал как бы между прочим:

— Я заехал навестить госпожу Найси-но ками из дворца Судзаку и побеседовал с ней через ширму. Все же о многом мы поговорить не успели, и мне хотелось бы еще раз встретиться с ней тайно, дабы избежать пересудов.

— Вы словно помолодели! — улыбаясь, отвечала госпожа. — Вы возвращаетесь к старому, начинаете новое, а к чему мне, несчастной, прибегнуть?

Как ни старалась она сдерживаться, слезы показались у нее на глазах, и так трогательна была она в своей печали, что Гэндзи не мог не залюбоваться ею.

— Самое неприятное — видеть вас в дурном расположении духа, — сказал он. — Говорите сразу, если вы чем-то недовольны, можете даже щипать меня, только не молчите. Я всегда стремился к тому, чтобы у нас не было друг от друга тайн. Право, я не ожидал...

Так утешая госпожу и оправдываясь, Гэндзи в конце концов признался ей во всем. Целый день провел он в Весенних покоях, стараясь ее развеселить, и не пошел даже к принцессе. Та, конечно, и не думала сердиться, зато встревожились прислуживающие ей дамы. Возможно, Гэндзи беспокоился бы о принцессе куда больше, будь она обидчива или ревнива, а так — он видел в ней милую, прелестную игрушку, не более.

Обитательница павильона Павлонии нечасто бывала в отчем доме, ибо принц не отпускал ее от себя. Между тем придворные обязанности тяготили ее, совсем еще юную, привыкшую к беззаботной жизни в доме на Шестой линии. Летом она почувствовала себя нездоровой, и нежелание принца даже на короткое время расстаться с ней чрезвычайно ее огорчало. А надо сказать, что причина ее недомогания была не совсем обычной. Все вокруг тревожились, понимая, что в столь юные годы... Наконец с большим трудом ей удалось получить разрешение уехать. Для нее были приготовлены восточные покои главного дома, в котором жила теперь Третья принцесса. Госпожа Акаси неотлучно находилась при дочери. Вот уж и в самом деле на редкость удачливая особа! Однажды, придя навестить свою воспитанницу, госпожа Мурасаки сказала:

— Пусть откроют срединную дверцу, чтобы одновременно я могла приветствовать и принцессу. Мне давно хотелось с ней познакомиться, но все не представлялось случая, и я не решалась просить вас об этом. Чем раньше мы начнем привыкать друг к другу, тем легче нам будет жить в мире и согласии.

— Вы угадали самое большое мое желание, — улыбнулся Гэндзи. — Принцесса еще совсем дитя, я был бы крайне признателен вам, если бы вы согласились стать ее наставницей.

Впрочем, встреча с принцессой волновала госпожу гораздо меньше, чем встреча с госпожой Акаси. Она заранее вымыла волосы, принарядилась и стала так хороша, что в целом мире не найдешь прекраснее.

А Гэндзи отправился к принцессе.

— Вечером сюда придет госпожа Весенних покоев, чтобы встретиться с обитательницей павильона Павлонии, — говорит он. — Она выразила желание познакомиться с вами. Она очень добра и достаточно молода, вам не придется скучать в ее обществе.

— Но я робею, — простодушно отвечает принцесса. — О чем мне следует с ней говорить?

— Это будет зависеть об обстоятельств. Ответ должен быть сообразен вопросу. Постарайтесь держаться свободнее, не стесняйтесь, — наставляет ее Гэндзи.

Он всегда хотел, чтобы женщины подружились, и со страхом думал о том, что принцесса может показаться слишком непонятливой и неразумной. Так или иначе, госпожа сама заговорила об этом, и вряд ли стоит противиться ее желанию.

Тем временем госпожа Мурасаки, готовясь к предстоящей встрече, терзает себя сомнениями: «Может ли кто-нибудь в этом доме быть выше

меня? — думает она. — Да и чем я хуже? Только тем, что находилась в бедственном положении, когда господин взял меня к себе...»

В последние дни она много занималась каллиграфией, с удивлением замечая, что из-под ее кисти выходят одни лишь старые, томительно-печальные песни. «Наверное, и у меня в сердце живет тайная грусть...» — вздыхает она, глядя на исписанные листки бумаги.

Скоро приходит Гэндзи. Он только что виделся с принцессой и госпожой нёго. Эти юные особы так прелестны, что после них любая женщина может показаться невзрачной, а уж та, с которой вместе прожито столько долгих лет... Но, взглянув на госпожу Мурасаки, Гэндзи думает: «Лучше ее нет на свете!» И это истинно так, в мире редко встречается подобная красота.

Госпожа Мурасаки в самом расцвете лет, в движениях ее, во всем облике проглядывает удивительное благородство. Достоинство, с которым она держится, вызывает невольное восхищение, пленительная изысканность черт никого не оставит равнодушным. Кажется, в ней сосредоточилось все самое изящное, самое привлекательное, что только есть в этом мире. В нынешнем году она прекраснее, чем в предыдущем, сегодня восхитительнее, чем вчера, красота ее никогда не может наскучить. И Гэндзи не устает изумляться, на нее глядя.

Листки с небрежно начертаннами на них песнями госпожа засунула под тушечницу, но Гэндзи, заметив, вытаскивает их. Совершенным ее почерк называть нельзя, но чувствуется в нем подлинное изящество и благородство.

«Неужели ко мне  
Осень пришла унылая? (290, 291)  
Смотрю я вокруг —  
Зеленые горы, и те  
Уже изменили цвет».

Эта песня привлекает особое внимание Гэндзи, и он приписывает рядом:

«У селезня  
Ярки, как и прежде,  
Зеленые крылья.  
Но изменили свой цвет  
Нижние листья хаги...» (292)

Так, печаль, в последнее время снедавшая сердце госпожи, иногда вырывалась наружу, и Гэндзи умилялся и восхищался, видя, как она старается ее скрыть.

В тот вечер он был свободен и, дав волю своему безрассудству, снова тайком отправился туда, где жила Найси-но ками. Разумеется, он понимал, что не должен этого делать, и терзался угрызениями совести, но искушение было слишком велико.

Нёго Весенних покоев стала еще красивее за эти годы. Она любила и почитала госпожу Мурасаки, пожалуй, больше даже, чем свою настоящую мать. Да и госпожа привязалась к ней совсем как к родной дочери, и не было у них тайн друг от друга.

Они долго беседовали, радуясь возможности поговорить о радостях своих и печалях, затем открыли срединную дверцу, и госпожа Мурасаки встре-

тилась с принцессой. Та в самом деле оказалась совершенным ребенком, поэтому госпожа говорила с ней по-матерински ласково и рассудительно, не упустив случая напомнить и о связывающих их родственных узах. Призвав к себе кормилицу принцессы, даму по прозвищу Тюнагон, госпожа говорит:

— Я не смею указывать вам на то, что в наших прическах «те же цветы» (213), но, как бы то ни было, мы связаны неразрывными узами, и мне жаль, что до сих пор не представлялось случая... Надеюсь, впредь мы не станем избегать друг друга. Буду рада видеть вас в своих покоях. Не считите также за труд поправить меня, если заметите, что я недостаточно внимательна к вашей госпоже.

— Принцесса рано осталась одна, лишившись опоры в жизни, — отвечает кормилица, — вы и представить себе не можете, как я вам признательна. Вот ведь и государь, ее отец, удаляясь от мира, только и надеялся что на вашу доброту, на вашу снисходительность к ее юной неопытности. Да и сама она в душе полагается только на вас.

— После того как государь Судзаку удостоил меня столь милостивого послания, — говорит госпожа, — я постоянно размышляю над тем, чем могу быть полезна принцессе. Но, к сожалению, при моей собственной ничтожности...

С ласковой снисходительностью беседовала госпожа Мурасаки с принцессой, они говорили о любимых картинках, о том, как трудно расстаться с куклами... Словом, обо всем, что близко детскому сердцу. «Она и в самом деле совсем еще молодая и очень добрая», — в душевной простоте своей подумала принцесса, и прежней робости как не бывало.

С тех пор они часто обменивались письмами и, встречаясь — как правило, в те дни, когда в доме на Шестой линии устраивались какие-нибудь празднества, — с удовольствием беседовали друг с другом.

Люди, всегда готовые посудачить о тех, кто занимает высокое положение в мире, сначала любопытствовали:

— Хотелось бы знать, как относится к принцессе госпожа Весенних покоев?

— Не может быть, чтобы господин питал к ней прежнюю привязанность. Наверняка ее положение в доме пошатнулось.

Когда же стало ясно, что привязанность Гэндзи к госпоже за последнее время не только не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась, не преминули позлословить и об этом, однако, узнав, что женщины не проявляют никакой враждебности друг к другу, потеряли к ним всякий интерес и перестали судачить.

На Десятую луну госпожа Весенних покоев по случаю сорокалетия супруга отправляла дары будде Якуси\* в один из храмов на равнине Сага. Зная, что Гэндзи претит чрезмерная роскошь, она ограничилась самыми скромными приношениями. И все же изображения будд, шкатулки для сутр и украшения для свитков были так хороши, что при виде их невольно вспоминалась земля Вечного блаженства. Были проведены торжественные чтения сутр Сайсёокё, Конгоханньякё, Дзумёкё\*. По этому случаю собралось множество знатных вельмож. Убранство храма отличалось чрезвычайной изысканностью, да и все остальное, начиная с дороги, к которой подступали

алые клены, радовало взор. Возможно, именно поэтому люди и оспаривали друг у друга честь присутствовать на этом празднестве.

По поблекшим от инея лугам разносился непрерывный грохот подъезжающих повозок, цокот копыт. Монахи получили щедрое вознаграждение — никто не хотел отставать от других.

На Двадцать третий день кончался пост\*, а как в доме на Шестой линии и угла свободного найти было невозможно, госпожа устроила праздничное пиршество в доме на Второй линии, который всегда считала своим. Она сама занималась подготовкой нарядов и прочего, а обитательницы других покоев охотно помогали ей. Во флигелях обычно размещались прислуживающие дамы, но госпожа временно перевела их в другое место, предоставив освободившиеся помещения в распоряжение придворных, приближенных высоких особ и многочисленной челяди из дома на Шестой линии.

В передних покоях главного дома, убранных соответственно случаю, установили инкрустированное перламутром кресло\*. В Западных покоях поставили двенадцать столиков, как обычно разложив на них летние и зимние наряды, спальные принадлежности. Впрочем, все это было скрыто от любопытных взоров роскошными лиловыми покрывалами из узорчатого шелка. Перед креслом стояли еще два столика, покрытые коричневатокрасной тканью, которой цвет сгущался книзу. Подставка для головных украшений была сделана из аквиларии, серебряная ветка с сидящей на ней золотой птичкой поражала изяществом и благородством очертаний. Эта прекрасная вещь, присланная обитательницей павильона Павлонии, была сделана по заказу ее матери. Четырехстворчатая ширма, стоявшая за креслом, дар принца Сикибукё, отличалась редкой изысканностью и, хотя изображены были на ней всем известные картины четырех времен года, очертания гор, водных потоков, озер привлекали внимание причудливой, своеобразной красотой.

У северной стены размещались две пары шкафчиков с необыкновенно изящной утварью.

В южных передних покоях собрались самые знатные вельможи, левый и правый министры, принц Сикибукё и многие, многие другие. Можно сказать, что сегодня здесь присутствовал весь двор.

В саду, слева и справа от помоста для танцев, установили навесы для музыкантов; к западу и к востоку поставили восемьдесят коробов с рисовыми колобками, а также сорок китайских ларцов с дарами для гостей.

В стражу Овцы прибыли музыканты. Были исполнены танцы «Многая лета» и «Желтая кабарга», а когда день подошел к концу, громко запели флейты, загрели барабаны и один из танцоров начал танцевать корейский танец «На согнутых ногах». Как только музыка смолкла, Тюнагон и Уэмон-но ками, очевидно восхищенные столь необычным зрелищем, спустились в сад и повторили несколько прощальных па, после чего, к величайшей досаде зрителей, скрылись под сенью алой листвы.

Люди, сохранившие в памяти тот давний вечер, когда по случаю Высочайшего посещения дворца Судзаку был исполнен танец «Волны на озере Цинхай», невольно подумали, что Тюнагон и Уэмон-но ками вполне достойны своих отцов. В самом деле, они почти так же красивы и изящны, пользуются не меньшим влиянием в мире, а по службе продвигаются даже

быстрее. Многие же, подсчитав, сколько лет прошло с тех пор, заключили, что, видно, существует какая-то давняя связь между обоими семействами, недаром сыновья так же неразлучны, как некогда их отцы.

Сам же хозяин едва не плакал от умиления, и мысли его устремлялись к прошлому.

Но вот спустилась ночь, и музыканты собрались уходить. Домоуправители госпожи Мурасаки, призвав слуг, приблизились к китайским ларцам и, извлекая из них наряды, по очереди оделяли музыкантов. Когда, накинув на плечи белые платья, те шествовали мимо горок по берегу пруда, их можно было принять за предвещающих тысячу лет журавлей\*.

Потом начали музицировать во внутренних покоях, и это было не менее прекрасно. Инструменты извоили подготовить сам наследный принц. Все они, в том числе принесенные из дворца Судзаку бива и китайское кото, не говоря уже о присланном государем кото «со», были хорошо знакомы Гэндзи, и когда по прошествии стольких лет, он снова услышал согласные звуки их струн, ему живо вспомнились прежние времена, Дворец... «Будь жива прежняя государыня-супруга, — сетовал он, — я сам устроил бы в ее честь такое празднество. Но увы, я так и не сделал ничего, чтобы убедить ее в своей преданности».

Государь тоже до сих пор оплакивал ушедшую, и мир казался ему бесконечно унылым. К тому же ему не удавалось в должной мере, так, как предписано правилами, выразить свою сыновнюю почтительность, и это уже много лет терзало его душу..

В нынешнем году под предлогом сорокалетия Гэндзи он вознамерился было провести церемонию Высочайшего посещения, но Гэндзи снова отказался. «Никогда не следует делать того, что тяжким бременем ложится на Поднебесную», — сказал он, и Государь принужден был смириться.

По прошествии Двадцатого дня Двенадцатой луны дом на Шестой линии посетила Государыня-супруга. Решив отметить праздничными молебнами последнюю луну года, она заказала чтения сутр в семи великих храмах Нара и в качестве вознаграждения отправила туда сорок тысяч данов\* различных тканей. Кроме того, она послала четыреста хики\* шелка в сорок храмов, неподалеку от столицы расположенных, заказав там торжественные службы. Хорошо понимая, сколь многим обязана Гэндзи, Государыня-супруга только и помышляла о том, как бы выразить ему свою глубокую признательность, и не только свою, но и покойных родителей, которые, будь они живы, наверняка пожелали бы отблагодарить его. К ее величайшему сожалению, ей так и не удалось осуществить многих своих замыслов, ибо Гэндзи потребовал, чтобы во Дворце не устраивали никаких празднеств в его честь.

— Я знал многих, кто, отпраздновав сороковую годовщину, в самом непродолжительном времени расставался с миром. Мне кажется, что на этот раз лучше обойтись без огласки, а подсчитать мои годы тогда, когда век мой действительно подойдет к концу, — заявил Гэндзи, но, право, при том высоком положении, какое занимала при дворе Государыня-супруга, все ее начинания невольно выливались в пышные торжества...

Главные покои той части дома, где жила Государыня-супруга, привели в порядок и устроили там праздничное пиршество, которое в целом мало

чем отличалось от предыдущих. Вот только высшие сановники получили дары не менее щедрые, чем во время Великого пиршества\*, а принцам Государыня пожаловала еще и по женскому наряду. Советники Четвертого ранга, чиновники Пятого ранга и простые придворнослужители получили белые хосонага и по свертку шелка. Сам Гэндзи был облачен в необыкновенной красоты платье, особенно же тронуло всех то, что ради такого случая на свет были извлечены прославленные пояс и меч, которые достались Государыне-супруге по наследству от отца, принца Дзэмбо. Да, видимо, после проведения празднеств в доме на Шестой линии соберутся все самые знаменитые реликвии.

В старинных повестях очень часто, как нечто чрезвычайно важное, подробным образом описываются преподнесенные по тому или иному случаю дары, но мне это кажется слишком утомительным, и я не собираюсь останавливаться здесь на всех знаках внимания, оказанных друг другу этими знатными особами.

Не желая совершенно отказываться от задуманного, Государь решил сосредоточить свои попечения на Тюнагоне. Воспользовавшись тем, что человек, в чине удайсё, заболев, подал в отставку, Государь поспешил произвести в этот чин сына Гэндзи, рассчитывая, что пиршества в честь назначения станут достойным продолжением празднеств, проводившихся в доме на Шестой линии. Выразив Государю свою благодарность, Гэндзи сказал смиренно:

— Ведь он еще молод, и такая честь... Мне кажется это преждевременным.

Для праздничной церемонии подготовили северо-восточную часть дома, и, хотя решено было обойтись без широкой огласки, вряд ли когда-нибудь по такому случаю устраивалось столь великолепное торжество. В разных покоях выставили богатое угощение, присланное по высочайшему указанию из дворцовых хранилищ.

Одному из военачальников поручено было подготовить точно такие же рисовые колобки, какие готовят во Дворце. На церемонии присутствовали пять принцев крови, левый и правый министры, два старших советника министра, три вторых советника, пятеро государственных советников, а также почти все придворные из свит Государя, принца Весенних покоев и из дворца Судзаку.

О праздничной утвари позаботился Великий министр, получивший подробные указания от Государя. В день церемонии, согласно высочайшей воле, он лично приехал в дом на Шестой линии. Присутствовал на празднестве и Гэндзи, смущенный оказанной ему честью.

Великий министр сидит напротив хозяина дома, лицом к главным покоем. Его мужественная, величественная красота в полном расцвете. Хозяин же кажется совсем молодым, будто он не важный вельможа, а просто юный господин Гэндзи.

Стихи на четырехстворчатой ширме написаны Государем, так могут ли быть заурядными служащие им фоном рисунки на бледно-лиловом китайском шелке? Впрочем, начертанные тушью знаки сверкают такой красотой, что даже многоцветные весенние и осенние пейзажи меркнут рядом с ними. А уж когда подумаешь, что их написал сам Государь...



Шкафчики для резных фигурок и музыкальные инструменты, как струнные, так и духовые, доставлены из Императорского архива. Влияние, которым пользуется в мире новый удайсё, придает особую значительность сегодняшнему торжеству.

Пока чиновники из Левой и Правой конюшен, из Шести отрядов охраны, передавая от низших к высшим, подводили к дому пожалованных Государем коней, числом четыре десятка, день склонился к вечеру.

Обычные для таких случаев танцы «Многая лета» и «Возблагодарим Государя за милости» были исполнены весьма кратко, только чтобы не нарушать установленного порядка. Исполнители, воодушевленные присутствием Великого министра — и в самом деле большая честь — старались изо всех сил.

На бива, как всегда, играл принц Хёбукё, поистине ни в чем не имеющий себе равных. Хозяин дома играл на китайском кото, а Великий министр — на японском. Потому ли, что связывали их многие годы, или по какой другой причине, но только Гэндзи едва не плакал от умиления и восхищения, слушая игру министра. Впрочем он и сам, почти не скрывая своих приемов, извлекал из китайского кото невыразимо сладостные звуки.

Разговор зашел о прошлом, и, разумеется, Великий министр не преминул выразить надежду на то, что узы, их связывающие, будут укрепляться и впредь. Много раз передавали они друг другу чашу с вином и, внимая дивным звукам музыки, не могли сдержать хмельных слез.

Дары Великому министру — превосходное японское кото, корейская флейта, одна из любимых флейт Гэндзи, пара сандаловых ларцов с китайскими и японскими книгами — были отправлены следом за его каретой.

Служители правой конюшни исполнили несколько громких корейских мелодий, благодаря за пожалованных коней. Вознаграждение чиновникам из Шести отрядов охраны поднес новый удайсё.

Хозяин дома на Шестой линии, никогда не питавший пристрастия к чрезмерной роскоши, на этот раз тоже призывал к умеренности, но слишком высокие особы были с ним связаны, и, разумеется, церемонии, в подготовке которых участвовали Государь, принц Весенних покоев, государь из дворца Судзаку и Государыня-супруга, не могли не вылиться в великолепие празднества.

Гэндзи нередко сетовал на то, что нет у него других сыновей, но его единственный сын стоил многих, как тут было не гордиться им? Всеми возможными достоинствами наделен Удайсё, и высоко его положение в мире.

Гэндзи нередко вспоминал о том, как некогда враждовали между собой мать Удайсё и миясудокоро из Исэ. Право, трудно было представить себе тогда, что так по-разному сложатся судьбы их детей.

Наряд для Удайсё к этому дню подготовила обительница Западных покоев. А о дарах для участников церемонии и прочем, очевидно, позаботилась госпожа Северных покоев из дома на Третьей линии.

Раньше обительница Западных покоев знала лишь понаслышке, сколь великолепны празднества, устраиваемые в доме на Шестой линии. Смела ли она мечтать о том, что и ей когда-нибудь выпадет честь участвовать в них? Но вот благодаря Удайсё она тоже попала в число достойнейших.

Год сменился новым. Подошел срок обительницы павильона Павлонии, и, начиная с Первого дня Первой луны, в доме на Шестой линии бес-

престанно творили молитвы и заклинания, не говоря уже о том, что во многих храмах и святилищах были заказаны соответствующие молебны.

Гэндзи заранее содрогался от страха, думая о предстоящем событии, ибо хорошо знал, сколь ужасны могут быть последствия. Разумеется, его всегда огорчало и печалило то, что у госпожи Весенних покоев не было детей, но, с другой стороны, он радовался этому, ибо слишком боялся ее потерять. Нёго же была так хрупка...

Уже на Вторую луну в ее облике произошли заметные перемены, она испытывала постоянное недомогание, и все пребывали в величайшей тревоге. Предсказатели настаивали на перемене места и строгом воздержании, поэтому нёго перевели в срединный флигель той части дома, где жила госпожа Акаси. «Можно, конечно, перевезти ее в другое, более отдаленное место, но тогда будет слишком беспокойно на душе...».

Северо-западная часть дома состояла из двух больших флигелей, окруженных галереями. Вдоль этих галерей установили вплотную друг к другу глиняные алтари для оградительных служб\*, в доме собрались самые мудрые заклинатели и беспрестанно читались молитвы. Мать нёго волновалась более других, понимая, что близится миг, когда станет наконец ясно, каково было ее предопределение.

Старая монахиня к тому времени совершенно повредилась в уме. «Уж не сон ли?» — думала она, глядя на внучку, и не отходила от нее ни на шаг, с нетерпением ожидая: «Когда же?»

Госпожа Акаси давно уже находилась при дочери постоянно, но почти никогда не говорила с ней о своем прошлом. Старая монахиня же, изнемогая от радости, то и дело приходила к госпоже нёго и, заливаясь слезами, дрожащим голосом рассказывала ей о старых временах. Сначала та смотрела на нее с удивлением и даже с некоторой неприязнью, но, догадавшись по некоторым намекам, кем приходится ей эта старуха, стала обращаться с ней ласково. Рыдая, старая монахиня поведала внучке историю ее рождения: как приехал к ним в бухту Акаси ее отец, как все горевали, когда пришла ему пора возвращаться в столицу, как печалились, что столь непродолжительным оказался этот союз, и как радовались, что благодаря ему семейство старого монаха удостоилось таких милостей. «Как трогательно! — думала нёго, и слезы катились по ее щекам. — Когда б не эта монахиня, я так и осталась бы в неведении. Значит, мне нечего гордиться своим происхождением, скорее всего я не заслуживаю даже чести занимать столь высокое положение при дворе. Когда б не попечения госпожи Весенних покоев, столько сил отдавшей моему воспитанию, я вряд ли сумела бы составить себе доброе имя. О, как могла я полагать себя выше других, надменно пренебрегая живущими рядом дамами! Представляю себе, что обо мне говорят!»

Разумеется, нёго из павильона Павлонии и раньше знала о том, что мать ее принадлежит к семейству, которого значение в мире весьма невелико, но ей и в голову не приходило, что сама она родилась в такой глуши. Да, наверное, она и в самом деле была слишком изнежена и беспечна! Иначе трудно объяснить столь поразительную неосведомленность! Неизъяснимая горесть стеснила ей сердце, когда услышала она о Вступившем на Путь, который, окончательно отказавшись от мира, жил отшельником в далеких горах...

Нёго сидела, погрузившись в глубокую задумчивость, когда в покои вошла ее мать. Дневные обряды уже начались, и рядом с нёго никого не было. Этим-то и воспользовалась старая монахиня, чтобы приблизиться к внучке.

— О, как дурно! — рассердилась госпожа Акаси. — Отчего вы не придвинули хотя бы низкий занавес? Ветер сильный, вас могут увидеть... Можно подумать, что вы врачеватель\*. А ведь лет вам уже немало...

Сама-то монахиня полагала, что ведет себя с большим достоинством, а поскольку была не очень понятлива и к тому же еще и туга на ухо, то продолжала сидеть, склонив голову набок и повторяя: «Да, да...» А ведь не так уж и много ей было лет! То ли шестьдесят пять, то ли шестьдесят шесть... В опрятном монашеском платье вид у нее был весьма благородный. Увидев, как блестят ее опухшие от слез глаза, госпожа Акаси сразу же догадалась, что разговор шел о прошлом, и сердце ее мучительно сжалось.

— Как бы монахиня не наскучила вам своими небылицами, — улыбаясь, говорит она. — У нее, несчастной, все перепуталось в голове, она часто вспоминает то, чего никогда и не бывало. Порой создается впечатление, что она рассказывает свои сны.

Юная нёго сидит перед ней, прелестная, изящная... Сегодня она молчаливее и задумчивее обыкновенного. Трудно поверить, что это ее родная дочь, и госпожа Акаси снова возблагодарила судьбу, но тут же встревожилась, подумав, что монахиня, должно быть, взволновала нёго своими рассказами о прошлом. Разумеется, она и сама собиралась поведать дочери обо всем, но только позже, когда положение ее упрочится. Вряд ли рассказ монахини мог лишить нёго душевного равновесия, и все же она явно чем-то расстроена. Когда монахи, закончив обряды, расходятся, госпожа Акаси, приготовив плоды, сама подносит их дочери:

— Скушайте хоть это. — озабоченно говорит она.

Старая монахиня, с обожанием и умилением глядя на внучку, улыбается сквозь слезы. При этом она широко разевает рот, из глаз дождем льются слезы, лицо некрасиво морщится...

— Право, вы не должны... — снова пеняет матери госпожа Акаси, делая знак глазами, но та не обращает внимания.

— Старости волны  
На берег счастливый вынесли.  
Кто же теперь  
Станет рыбачку корить  
За поблекшее платье?

Даже в древние времена стариков положено было прощать\*, — говорит она, а юная нёго, взяв лежащий возле тушечницы листок бумаги, пишет:

«О если б могла  
Вослед за рыбачкой пуститься  
В путь по волнам,  
И в бедную келью наведаться  
На морском берегу...»

Тут уж и госпожа Акаси не сумела сдержаться и заплакала.

— С суетным миром  
 Расставшись, нашел он приют  
 В бухте Акаси,  
 Светлой бухте. Когда же душа  
 Перестанет блуждать во мраке? (3) —

отвечает она, стараясь скрыть слезы.

«О, если б хоть во сне могла я увидеть, как расставались мы с Вступившим на Путь!» — вздыхает юная нёго.

Примерно на Десятый день Третьей луны она благополучно разрешилась от бремени. Тревоги остались позади, и в доме на Шестой линии воцарилось веселье, тем большее, что сама нёго чувствовала себя прекрасно, а младенец был мужского пола. Наконец-то Гэндзи вздохнул с облегчением.

Покои, куда временно поместили нёго, располагались в стороне от основной части дома, ближе к людским. Мимо сновали гонцы с дарами, шумно отмечая положенные дни, и, хотя старой монахине казалось, что она попала наконец на «берег счастливый», для праздничных церемоний это помещение не подходило, поэтому решено было перевести нёго в прежние покои. Госпожа Мурасаки пришла ее навестить.

Облаченная в белое платье нёго с материнской нежностью прижимала к себе новорожденного принца, прелестная как никогда. Сама не имевшая подобного опыта и даже ни разу не присутствовавшая при столь важном событии, госпожа не уставала изумляться и восхищаться. В эти первые, самые трудные дни она не спускала младенца с рук, и настоящая бабушка, полностью положившись на нее, ограничилась участием в церемонии Омовения, подготовку которой поручили Найси-но сукэ, доверенной даме принца Весенних покоев. Эта Найси-но сукэ была приятно поражена утонченностью своей помощницы, а поскольку и до нее дошел слух о некоторых тайных обстоятельствах, касающихся этой особы, она невольно думала, на нее глядя: «Юная нёго была бы достойна сожаления, будь ее мать хоть в чем-то несовершенна, но благородству этой дамы можно только позавидовать. В самом деле, что за необыкновенная судьба выпала ей на долю!» Но стоит ли подробно рассказывать обо всех церемониях и обрядах, связанных с этим событием?

На Шестой день госпожа нёго переехала в свои обычные покои. Вечером на Седьмой\* — явился гонец с подношениями от самого Государя. Поскольку государь из дворца Судзаку к тому времени окончательно отошел от мира, великопнейшие дары от его имени поднес То-но бэн из Императорского архива.

Государыня изволила прислать шелка для участников церемонии — право же, ничего более прекрасного не выдывали даже во время дворцовых празднеств. Принцы крови, министры — все только и думали о том, как бы затмить друг друга роскошью подношений.

Даже сам хозяин дома на Шестой линии на этот раз забыл об умеренности и устроил столь пышное празднество, что слава о нем долго еще гремела по миру. К сожалению, ослепленные этой пышностью гости не обратили внимания на многие мелочи, достойные восхищения тонких ценителей, а ведь именно о таких мелочах и стоит рассказывать.

— Я всегда обижался на Удайсё за то, что он не показывает мне своих детей, которых у него уже немало, — говорил Гэндзи, нежно прижимая младенца к груди. — Но это прелестное существо способно вознаградить меня за все обиды...

Младенец и в самом деле был удивительно хорош. Он рос не по дням, а по часам, словно кто-то тянул его вверх. Не желая доверять его воспитание случайным, лишенным надлежащей тонкости особам, решили отобрать кормилиц и служанок из числа прислуживающих в доме дам, которых происхождение и душевные качества соответствовали столь высокому назначению.

Госпожа Акаси заслужила всеобщее одобрение изяществом вкуса, умением держаться с достоинством и вместе с тем смиренно, без малейшей кичливости. Госпожа Весенних покоев время от времени встречалась с ней, никого не ставя о том в известность.

Когда-то она неприязненно относилась к этой особе, но, благодаря общим заботам о маленьком принце, сблизилась с ней и оценила ее достоинства. Госпожа Мурасаки, всегда любившая детей, сама делала охранных кукол\*, рукодельничала целыми днями — и словно помолодела. С утра до вечера хлопотала она возле младенца. А престарелая монахиня кручинилась — увь, ей так и не удалось вволю насмотреться на маленького принца. «Ах, уж лучше бы мне вовсе не видеть его!» — вздыхала она, и жизнь казалась ей лишенной всякого смысла.

Между тем весть о столь значительном событии дошла до Акаси, и отрекшийся от мира отшельник возрадовался чрезвычайно.

— Теперь ничто не мешает мне покинуть пределы этого мира, — заявил он ученикам и отдал под храм свое жилище на побережье с примыкающими к нему угодьями. Давно уже приобрел он участок земли в дикой, недоступной местности в глубине страны, но до сих пор не решался поселиться там, понимая, что это окончательно отдалит его от мира людей, с которым он чувствовал себя связанным, ибо кое-что еще внушало ему беспокойство. Однако, получив радостное известие, вздохнул с облегчением: «Наконец-то...» — и, вручив свою судьбу буддам и богам, перебрался в горы.

В последнее время без особой надобности он никого не посылал в столицу. И только когда кто-то приходил к нему с вестью оттуда, передавал краткие, в несколько строк, послания для старой монахини. Теперь же, собираясь окончательно распрощаться с миром, Вступивший на Путь написал письмо для госпожи Акаси.

«Все эти годы я жил в одном мире с Вами, — писал он, — но что толку? У меня возникло чувство, что я уже переродился в ином обличье, потому я и не писал к Вам, ежели не имел никакого дела и не ждал писем от Вас. Читать письма, написанные женскими знаками, — пустая трата времени, они отвлекают меня от служения Будде, а это может неблагоприятно сказаться на моем будущем. Тем не менее с великой радостью воспринял я весть о том, что наша юная госпожа стала прислуживать в Весенних покоях и родила принца. Разумеется, ничтожному жителю гор не пристало помышлять о мирской славе, но, не скрою, долгие годы предавался я суетным мыслям и во время всех шести служб молился только о Вашем будущем, пренебрегая молитвами о собственном возрождении в краю Вечного блаженства.

На Вторую луну того года, когда Вы родились, как-то ночью увидел я удивительный сон. Мне снилось, что в правой руке я держу священную гору Сумэру\*, справа и слева от которой сияют луна и солнце, озаряя светом весь мир. И только я, заслоненный горой, остаюсь в тени. Опустив гору в безбрежное море, я сел в утлый челн и поплыл к западу... Пробудившись, я понял, что теперь и я, ничтожный, могу позволить себе уповать на будущее. Непонятно было одно — что откроет мне дорогу к такому величию? С того дня супруга моя понесла. Читая мирские книги и постигая глубокий смысл Учения, я получил немало доказательств того, что снам можно верить, и, обратив на Вас все сердечные попечения свои, решил, не считаясь с ничтожеством собственного положения, дать Вам воспитание, достойное особы самого высокого звания. Не имея возможности рассчитывать на многое, я решился поселиться в провинции. Преследуемый неудачами и окончательно примирившись с тем, что даже волны старости не занесут меня снова в столицу, я остался жить у этого залива, надеясь только на Вас, и множество тайных обетов было дано мною за эти годы. Ныне осуществилось все, о чем я просил, и пришло время исполнить данные обеты. Когда наша юная госпожа станет Матерью страны — а в этом можно уже не сомневаться, — отслужите благодарственные молебны во всех храмах, и в первую очередь в храме Сумиёси. Я знаю, что ждать осталось недолго, и, как только это произойдет, осуществится и другое мое желание — я смогу наконец удалиться в страну на Западе\*, мириадами земель от нашего мира отделенную, и занять там высшее из девяти мест. Пока же не откроется для меня чудесный цветок Лотоса, стану жить в горах, где “чисты воды и травы” (293), отдавая дни молитвам. Туда и отправляюсь теперь...

Близок рассвет,  
Скоро сиянье чудесное  
Мир озарит.  
Наконец-то настала пора  
Поведать о давнем сне».

Указав точно луну и день, он добавил:

«Не пытайтесь узнать, в какой день пресеклась моя жизнь. К чему Вам облачаться в одеяние скорби, издавна принятое у людей? Лучше постарайтесь ощутить себя воплощением Великого Будды и помолитесь за старого монаха... Наслаждаясь радостями этого мира, не забывайте и о грядущем. Помните, мы непременно встретимся, достигнув Обетованной земли. Так, еще совсем немного, и мы снова увидимся на другом берегу моря страданий».

Собрав молебные записки, когда-то составленные им для храма Сумиёси, старик заключил их в большую шкатулку из аквиларии и отправил дочери. Старой же монахине написал всего несколько строк:

«На Четырнадцатый день этой луны я покину свою травяную хижину и удалюсь в горы. Пусть станет моя жалкая плоть подаянием для медведей и волков (294). А Вам желаю дожждаться времени, когда исполнится то, о чем мечталось когда-то. В далекой светлой земле мы снова встретимся с Вами».

Прочитав письмо, монахиня призвала к себе гонца, почтенного монаха, и вот что он ей рассказал:

— На третий день после того, как письмо это было написано, досточтимый старец отправился в путь к горным вершинам, где теряются все следы. Ваш покорный слуга проводил его до подножия. Там остановившись, он отослал всех назад, оставив при себе лишь одного монаха и двух отроков-послушников. Помню, когда-то давно, когда господин изволил принять постриг, я думал, что большей печали мне уже не придется изведать, а оказалось, что все еще впереди... Накануне ухода господин достал китайское кото и бива, игрой на которых услаждал слух в редкие часы отдохновения, и в последний раз тронул пальцами струны. Затем, в прощальном поклоне склонившись перед Буддой, завещал инструменты храму. Храму он оставил и многие другие свои вещи, остальное же, заранее отделив то, что предполагало отправить в столицу, раздал самым преданным ученикам, которых у него насчитывается более шестидесяти. Скоро он исчез, затерявшись среди облаков и туманов, окутывавших далекие вершины, и многие до сих пор оплакивают разлуку с ним.

Монах этот, когда-то ребенком увезенный из столицы, так и остался жить в далеком Акаси, там он состарился и стал почтенным наставником. Надобно ли сказывать о том, как велика была его печаль? Даже мудрые ученики Будды, свято верящие в то, что Учитель попрежнему пребывает на Орлиной горе\*, в отчаянии блуждали по миру, когда иссяк хворост\*, а уж горе старой монахини было тем более безысходно.

Госпожа Акаси находилась в южных покоях, когда ей сообщили о том, что пришел гонец, и, она, никому ничего не говоря, поспешила вернуться. Столь велико было теперь ее значение в мире, что даже к матери не могла она заходить без особой на то надобности, но, узнав о полученном известии, так встревожилась, что не выдержала и украдкой пробралась в ее покои, где застаала старую монахиню в крайне удрученном состоянии.

Пододвинув к себе светильник, госпожа Акаси прочла письмо, и слезы неудержимым потоком хлынули из глаз. Слова, на которые другой человек и внимания бы не обратил, для нее были исполнены глубокого смысла. С тоской вспоминала она ушедшие в прошлое годы, когда же поняла, что никогда больше не увидит отца, безысходная тоска завладела ее душой. Горько плача, прочла она о чудесном сне, и сердце ее озарилось надеждой. Одновременно она поняла, сколь несправедлива была к отцу, пеняя ему за то, что в угоду собственной прихоти он обрек ее на такие мучения, тогда как он, поверив в этот ничего, казалось бы, не значащий сон, долгие годы жил лишь возвышенной мечтой о будущем.

— Благодаря вам я изведала немало радостей, да и почестей выпало на мою долю больше, чем я того заслужила, — сказала монахиня после долгого молчания. — Но ведь печалей и горестей тоже было в моей жизни в избытке. Я начала сетовать на судьбу уже тогда, когда пришлось покинуть родную столицу и поселиться в глуши. Разумеется, положение мое в мире было ничтожным, и все же подобная перемена в жизни показалась мне свидетельством исключительно дурного предопределения. Увы, могла ли я представить себе тогда, что столь печальным окажется мое супружество, что уже в этом мире нам придется расстаться? Долгие годы я жила, уповая лишь на будущее возрождение в едином лотосе, и вдруг случилось непредвиденное и я снова вернулась в мир, от которого давно отказалась. Мне довелось

познать великую радость, придавшую истинный смысл всей моей жизни, но меня постоянно снедала тревога за того, кто остался в Акаси. Трудно поверить, что придется окончить свой век, так и не увидевшись с ним. Ваш отец, еще до того как отказался от мира, был известен своим причудливым, неуживчивым нравом, но мы с ним с молодых лет привыкли видеть опору друг в друге и всегда хранили верность данной когда-то клятве. Отсюда до Акаси — рукой подать — отчего же суждено нам жить в разлуке?

И лицо старой монахини искажилось от рыданий.

— О, я никогда не помышляла о том, чтобы возвыситься над людьми, — отвечала госпожа Акаси, тоже рыдая. — Что значат почести для такой ничтожной особы, как я? Но слишком тяжело жить в печальном неведении, не имея надежды на встречу... Остается утешать себя мыслью, что все это ради него, ради того, чтобы исполнилось его предопределение... Теперь он совсем один в горной глуши, и если жизнь его оборвется — ведь все в мире столь непрочное, — мы ничего не сможем для него сделать.

До самого рассвета поверяли они друг другу свои печали, а на рассвете госпожа Акаси заторопилась обратно к дочери.

— Вчера господин видел меня в южных покоях, — говорит она. — Наверное, я не должна была уходить оттуда тайком. О себе-то я не беспокоюсь, но боюсь, как бы это не повредило госпоже нёго. Теперь я не имею права считаться лишь со своими желаниями.

— А как маленький принц? Удастся ли мне увидеть его? — спрашивает старая монахиня, роняя слезы.

— Разумеется, удастся, и очень скоро, — отвечает госпожа Акаси. — Госпожа нёго вспоминает о вас с большой нежностью. Да и сам господин как-то изволил сказать: «Вряд ли стоит говорить об этом заранее, но, если задуманное мною осуществится, я хотел бы, чтобы госпожа монахиня дожидая до тех времен». Вот только не знаю, что он имеет в виду?

— Вот как... — улыбается монахиня. — Так или иначе, ясно одно — мне на долю и в самом деле выпала редкая судьба.

Она отдает дочери шкатулку с бумагами, и та уходит.

Принц Весенних покоев то и дело присылал гонцов, настоятельно требуя возвращения нёго во Дворец.

— Желание принца вполне естественно, — сказала госпожа Мурасаки, — тем более что за это время произошло столь удивительное событие. Нетрудно себе представить, в каком нетерпении изволил он пребывать.

И она начала готовиться к тому, чтобы тайно перевезти маленького принца во Дворец. Миясудокору из павильона Павлонии\*, хорошо зная, сколь трудно получить разрешение на отдых, хотела, воспользовавшись случаем, остаться подольше в отчем доме. Перенеся столь тяжелое для своего юного возраста испытание, она осунулась в лице, похудела, отчего стала еще изыщнее.

— Не лучше ли ей сначала отдохнуть и поправиться? — тревожилась госпожа Акаси, но Гэндзи был иного мнения.

— Ее побледневшее личико так трогательно, жаль, если принц не увидит ее именно теперь. Я уверен, что она станет ему еще дороже.

Вечером, когда госпожа Мурасаки ушла и в покоях стало тихо, госпожа Акаси сообщила дочери о шкатулке с бумагами:



— Вероятно, мне не следовало бы показывать вам этой шкатулки, пока не осуществится задуманное, но мир так непрочен, мало ли что может случиться? Вдруг я уйду из мира прежде, чем ваше положение упрочится? Не исключено, что мне не удастся даже проститься с вами, ведь при моем звании... Потому-то я и решила рассказать вам об этом в общем-то незначительном обстоятельстве уже теперь, пока я здорова и вполне владею собой. Мне неловко заставлять вас читать бумаги, написанные столь корявым, неразборчивым почерком, но все же взгляните на них. Не обязательно делать это теперь, лучше спрячьте их в шкафчик, прочтете же потом, в более благоприятный миг. Вы должны исполнить все указанные там обеты. Посторонним посвящать в это не следует. Теперь, когда ваше будущее не внушает мне опасений, я хотела бы тоже отречься от мира и не могу медлить. Никогда не отдаляйтесь от госпожи Весенних покоев. У нее удивительно доброе сердце, и я искренне уповаю на то, что она проживет дольше меня. Я всегда считала себя слишком ничтожной, чтобы быть рядом с вами, потому и отдала вас на попечение этой особы. Сознаюсь, я долго сомневалась в ней, поддавшись обычному предубеждению, но теперь я понимаю, что у меня не было оснований для беспокойства, и уверена, что их не будет в будущем.

Миясудокоро слушает мать, глотая слезы.

Даже в присутствии дочери — а мог ли ей быть кто-нибудь ближе? — госпожа Акаси не позволяет себе ни малейшей вольности, она неизменно скромна и почтительна.

Пять или шесть листков пожелтевшей от времени бумаги «митиноку», слишком толстой и все-таки обильно пропитанной благовониями, исписаны неприятно резким, лишенным всякого изящества почерком.

«Ах, как печально!» — думает миясудокоро. Ее профиль, обрамленный намокшими от слез прядями волос, поражает благородным изяществом линий. Как раз в этот миг, отодвинув среднюю перегородку, в покои входит Гэндзи, бывший до этого у Третьей принцессы. Он появляется так неожиданно, что женщины не успевают спрятать шкатулку. Поспешно придвинув к себе занавес, они пытаются укрыться за ним.

— Проснулся ли принц? — спрашивает господин. — На краткий миг и то трудно с ним расстаться...

Видя, что миясудокоро не в силах вымолвить ни слова, отвечает госпожа Акаси:

— Его изволила забрать к себе госпожа Весенних покоев.

— Ну можно ли так? — сердится Гэндзи. — Она полностью завладела им, целыми днями носит на руках, платье у нее постоянно мокрое, то и дело приходится его менять... Вы не должны потакать ей во всем. Пусть приходит сюда, если хочет его увидеть.

— О, не говорите так, — пеняет ему госпожа Акаси. — Я не верю, что вы так думаете. Даже девочку я с радостью предоставила бы заботам госпожи, а уж мальчика тем более, каким бы высоким ни было его рождение. В шутку и то не стоит пытаться внести меж нами разлад.

— Не сомневаюсь, вы были бы рады, если бы я доверил принца вашим общим заботам, а сам совершенно устранился бы от участия в его воспитании, — засмеявшись, отвечает Гэндзи. — Вот до чего дошло! У всех тайны,

никто со мной не считается, только и слышно — «не вмешивайся!» Начать с того, что вы позволяете себе бессердечно поносить меня, спрятавшись за занавесом!

Он отодвигает занавес. За ним, прислонившись к столбу, сидит госпожа Акаси — трудно не восхититься ее изящной, благородной красотой. Рядом с ней — шкатулка, которую она так и не решилась спрятать.

— Что это за шкатулка? Сразу видно, что в ней скрывается нечто важное. Уж не длинные ли песни, сложенные поклонниками?

— Ах, зачем вы так говорите! В последнее время к вам словно вернулась молодость, вы все изволите шутить, иногда не сразу и поймешь, что вы имеете в виду...

Госпожа Акаси улыбается, при этом она явно взволнована. Наклонив голову, Гэндзи вопросительно смотрит на нее, и, смутившись, она говорит:

— Здесь, в шкатулке, свитки с молитвами и список еще не выполненных обетов, которые все эти годы хранились в хижине на берегу залива Акаси. Отец прислал их сюда, надеясь, что я покажу их вам при случае. Но сейчас не время... К чему открывать шкатулку?

«Да, ее волнение понятно...» — думает Гэндзи и спрашивает:

— Наверное, все эти годы почтенный старец отдал служению? Я уверен, что ему воздастся сполна за то, что свою долгую жизнь он посвятил молитвам. Я знал немало благородных особ, которые, приняв постриг, достигали высокой степени просветленности, но и им далеко до вашего отца, ибо познания их были хоть и велики, но не беспредельны, возможно, потому, что в свое время они слишком близко соприкасались с нечистотой этого мира. Глубоко проникнув в тайны Учения, ваш отец сумел сохранить удивительную душевную тонкость. О, он никогда не выставлял напоказ своей монашеской отрешенности, но было в нем нечто такое, что с первого взгляда убеждало в его принадлежности к иному, пока еще всем нам не доступному миру. Теперь же, когда он вырвался наконец из «тяжких пут» (43), думы его должны быть вовсе далеки от нашего мира. Будь я свободен, я непременно навестил бы его.

— Мне сообщили, что, покинув прежнее жилище, отец удалился в горы, «где даже птиц не слышно» (295), — говорит госпожа Акаси.

— Значит, это его прощальные слова? Написали ли вы ему? Представляю себе, как тяжело теперь госпоже монахине! Увы, супружество бывает связано с большими горестями, чем даже отношения между родителями и детьми, — говорит Гэндзи, с трудом сдерживая слезы.

— Даже мне недостает его, — добавляет он. — И что самое удивительное — с годами, по мере того как мне открывается суть явлений этого мира, я все чаще с тоской вспоминаю дни, проведенные в Акаси. Как же должна печалиться та, что связана с ним супружескими узами!

Подумав, что рассказ об увиденном некогда сне может заинтересовать и Гэндзи, госпожа Акаси говорит:

— У отца весьма дурной почерк, знаки напоминают индийские письмена, но мне кажется, в его письме есть нечто, достойное вашего внимания. Рассматривая с ним, я думала, что со старой жизнью покончено, но, увы, она продолжает напоминать о себе.

Слезы, бегущие по щекам, отнюдь не умаляют ее привлекательности.

— Прекрасный почерк, — говорит Гэндзи, взяв письмо. — Трудно поверить, что писал человек, достигший столь почтенного возраста. Да, его удивительная одаренность видна во всем, даже в почерке. Право, вашему отцу недоставало единственно умения устраивать свои житейские дела. Я слышал, что один из его предков, министр, был человеком многоталантливым, чрезвычайно преданным двору. Говорят, он допустил какую-то оплошность, которая и сказаласть столь губительно на судьбе его потомков. И все же нельзя сказать, что бывшее величие рода безвозвратно кануло в прошлое — нет, я уверен, что вашему семейству удастся вернуть его в полной мере, хотя и по женской линии. И все благодаря многолетним молитвам вашего отца...

Расстроганный, Гэндзи отирает слезы, но в следующий миг его внимание привлекает то место письма, где говорится о чудесном сне. Люди всегда считали старика из Акаси вздорным, непомерно о себе возомнившим честолюбцем. Гэндзи и сам склонен был упрекать себя за то, что, поддавшись мгновенной слабости... Только рождение дочери заставило его осознать, что союз с госпожой Акаси был далеко не случаен. Впрочем, и тогда недоступное взору грядущее представлялось ему весьма туманным и по-прежнему внушало тревогу. Теперь он понял, почему Вступивший на Путь так упорно стремился породниться с ним. Да и сам он разве не для того попал в немилость и страдал в изгнании, чтобы появилась на свет его дочь?

Пожелав узнать, о чем просил богов Вступивший на Путь и какие дал обеты, Гэндзи почтительно извлек из шкатулки свитки.

— Мне есть что к этому добавить, — говорит он миясудокоро. — Очень скоро мы вернемся к сегодняшнему разговору. Теперь вам известно ваше прошлое. Надеюсь, это не повредит вашим отношениям с госпожой Весенних покоев. Иногда случайная ласка или слово участия со стороны чужого человека значат гораздо больше, чем естественная преданность того, с кем ты связан нерасторжимыми узами крови. А госпожа не изменилась к вам и теперь, когда возле вас неотлучно находится ваша мать, напротив, она опекает вас с еще большей нежностью. Почему-то люди всегда были склонны восхищаться прозорливостью пасынков и падчериц, которые, принимая заботы своих мачех, не упускают случая подметить: «А, это она только с виду такая добрая». Не лучше ли, когда дитя обманывается в истинном отношении к нему мачехи и, не замечая ее неприязни, простодушно льнет к ней? Ведь тогда и она может в конце концов искренне полюбить его и станет горько раскаиваться в прежнем своем недоброжелательстве: «И как я только могла?..»

Разумеется, между людьми могут возникать разногласия, но, когда ни за тем, ни за другим нет особой вины, прийти ко взаимному соглашению не так уж и мудрено, разумеется, если речь не идет о непримиримой вражде, корнями уходящей в предыдущие рождения. Все знают, как трудно сойтись с человеком, которых, особенных на то оснований не имея, резок и нетерпим в отношениях с окружающими, неприветлив и неуживчив. Такому никто не станет сочувствовать. Не так уж и велик мой жизненный опыт, но, наблюдая за разными по складу и душевным качествам людьми, я не мог не заметить, что у каждого есть свои достоинства. Каждый в чем-то превосходит другого, и нелегко найти человека совершенно никчемного. Однако столь же не-

легко отыскать и такого, которому можно было бы довериться безоговорочно и сделать его своей опорой в жизни. Если говорить о женщинах, то до сих пор я знал только одну такую — это госпожа Весенних покоев, чьи достоинства поистине неисчерпаемы. Если уж кто добр и надежен, так это она. А то ведь бывает, вроде бы всем хороша, но слишком беспечна, непостоянна. Такая не вызывает ничего, кроме досады.

Можно было только догадываться, кого именно Гэндзи имеет в виду.

— Но вы-то, несомненно, успели проникнуть в душу вещей, — обращается он к госпоже Акаси, — и станете в согласии и дружеской близости с госпожой Весенних покоев заботиться о нашей нёго.

— О, вы могли бы и не говорить мне этого, — отвечает она. — Я и сама не устаю превозносить редкостную доброту госпожи. Другая на ее месте постаралась бы уничтожить меня презрением и, уж во всяком случае, не стала бы сообщаться со мной. Она же неизменно добра ко мне, пожалуй, даже слишком. Боюсь, что я этого не заслуживаю. Мне стыдно за себя, ибо я понимаю, что для всех было бы лучше, когда б столь ничтожная особа пораньше распростилась с миром. Право же, только благодаря попечениям госпожи удастся скрыть отсутствие во мне каких-либо достоинств.

— Вряд ли госпожа испытывает особое расположение к вам лично, — возражает Гэндзи. — Просто она не могла постоянно быть рядом с нёго, а оставлять ее без присмотра не хотела, вот и решила поручить вашим заботам. Вы же скромны, не стремитесь подчеркивать свое значение, потому и разногласий никаких меж вами не возникает, чему я искренне рад. Кому приятен человек, привыкший считаться лишь со своими прихотями и не желающий понимать самых простых вещей? Вы же обе безупречны, и я за вас спокоен.

«Как хорошо, что я всегда старалась держаться в тени», — подумала госпожа Акаси.

Скоро Гэндзи ушел, пожелав навестить госпожу Мурасаки.

— Его к ней привязанность умножается с каждым днем, — не преминула заметить госпожа Акаси, оставшись одна. — И стоит ли этому удивляться? Госпожа Весенних покоев истинно не имеет себе равных, достоинства ее неисчерпаемы. Право, может ли быть союз прекраснее? Что касается Третьей принцессы, то вряд ли кто-то другой сумел бы окружить ее большими заботами, но, увы, заботясь о ней, господин лишь отдает дань приличиям. Боюсь, что он даже навещает ее не слишком часто, пренебрегая ее высоким званием. Принцесса и госпожа Весенних покоев принадлежат к одному и тому же роду, только принцесса выше рангом. Что ж, тем большую жалость она вызывает...

И она благословила собственную судьбу, столь высоко ее вознесшую. Очень часто даже самые знатные особы имеют основания быть недовольными своей участью. Так вправе ли роптать она, и не мечтавшая... Лишь думая об отце, влачащем дни где-то в затерянной среди горных отрогов бедной хижине, она печалилась и вздыхала.

Старая же монахиня, уповая на семена, посеянные в саду земли Блаженства\*, предавалась размышлениям о грядущем мире.

Господин Удайсё, взволнованный присутствием в доме на Шестой линии Третьей принцессы, которая когда-то и для него самого не была недо-

сягаемой, старался использовать любую возможность, дабы навеститься в ее покои. Виденного же и слышанного там оказалось более чем достаточно, чтобы понять — достоинства принцессы исчерпывались юностью и мягкосердечием. Окружив ее невиданной, заслуживающей изумленного внимания потомков роскошью, Гэндзи вел себя с безукоризненной почтительностью, но не более.

Судя по всему, принцесса была довольно заурядным существом, лишенным подлинной утонченности. Среди ее прислужниц не доставало взрослых дам, умудренных жизненным опытом, зато юных девиц, бойких и легкомысленных, оказалось предостаточно, и в покоях ее неизменно царило оживление. Возможно, в окружении принцессы и были женщины тихие, кроткие, но такие склонны хоронить свои чувства на дне души, к тому же, находясь в обществе людей веселых и беззаботных, они, как правило, подчиняются им и участвуют в общих увеселениях, даже если и есть у них тайные печали. Гэндзи с недоброием смотрел на прислуживающих в покоях принцессы девочек, которые с утра до вечера самозабвенно предавались веселым играм и забавам, но, будучи человеком великодушным, не обращал на них особого внимания — пусть резвятся сколько душе угодно — и никогда не бранил их. Воспитанием же самой принцессы Гэндзи отнюдь не пренебрегал и сумел до некоторой степени образовать ее ум и сердце. «Да, в мире трудно найти женщину, совершенную во всех отношениях, — думал Удайсё. — Я, во всяком случае, не могу назвать никого, кроме госпожи Весенних покоев. Обладая пленительной наружностью и благородными качествами души, она ни разу за все эти долгие годы не дала повода к молве о себе. Она добра и равна со всеми, никого не стремится унижить, при этом держится с величайшим достоинством, утонченности же ее позавидует всякий».

Судя по всему, Удайсё до сих пор не мог забыть чудесное видение, однажды явившееся его взору. Нельзя сказать, что он охладил к супруге, нет, его чувства к ней были по-прежнему глубоки, но, к сожалению, она оказалась довольно заурядной особой, и общение с ней не приносило ему желанного удовлетворения. К тому же теперь она всегда была рядом и уже не так волновала его сердце. Обитательницы же дома на Шестой линии были — каждая по-своему — так прекрасны, что мысли его то и дело обращались к ним. А Третья принцесса... Она была выше остальных по званию и вместе с тем явно не сумела снискать расположения Гэндзи. Удайсё довольно быстро заметил, что тот не испытывает к принцессе глубокого чувства, и единственно забота о приталициях... Нельзя сказать, чтобы его самого так уж влекло к ней, но все же, если бы представился случай получить ее разглядеть...

Уэмон-но ками часто наведывался во дворец Судзаку и, будучи там своим человеком, хорошо знал, как любит государь Третья принцессу. Когда в мире заговорили о том, что он ищет для нее надежного супруга, Уэмон-но ками поспешил предложить свои услуги и имел основания полагать, что его искательство не будет безоговорочно отвергнуто. Тем большим ударом явилось для него решение государя отдать дочь другому. Не забыв обиды, Уэмон-но ками до сих пор беспрестанно помышлял о принцессе. Кое-какие сведения о ней он получал от ее прислужниц, с коими вошел в сношения еще в прежние времена, но мог ли он довольствоваться столь слабым утешением? В мире уже поговаривали о том, что Третьей принцессе

оказалось не по силам соперничать с госпожой Весенних покоев, и Уэмон-но ками не упускал случая попенять кормилице принцессы, даме по прозвищу Кодзидзю:

— Знаю, говорить так — большая дерзость, но не кажется ли вам, что в моем доме вашей госпоже было бы лучше? Разумеется, положение, которое я занимаю в мире, слишком ничтожно, и все же...

Тем не менее он не терял надежды. «Мир так непостоянен. Что, если господин с Шестой линии решит наконец осуществить свое давнее желание?..»

И вот однажды в ясный день Третьей луны в дом на Шестой линии приезжают принц Хёбукё, Уэмон-но ками и многие другие. Скоро появляется хозяин, и завязывается меж ними беседа.

— В последнее время в этом тихом жилище царит ужасная скука, — сетует Гэндзи, — и нет средства ее рассеять. Я не имею никаких занятий ни при дворе, ни дома. Право, не знаю, чему посвятим мы нынешний день? Утром заходил Удайсё. Любопытно, где он теперь? Неплохо было бы посмотреть на стрельбу из лука. Кажется, я видел с ним юношей, весьма преуспевших на этом поприще. Жаль, если они уже ушли!

— Господин Удайсё, пригласив к себе друзей, изволит забавляться игрой в мяч, — сообщают Гэндзи

— Весьма шумная забава, но по крайней мере не будет клонить ко сну, — говорит он. — Эта игра требует большого умения. Что ж, позовите их сюда.

Он посылает к Удайсё гонца, и молодые люди не заставляют себя ждать.

Многие из них принадлежат к самым знатным столичным семействам.

— Принесли ли мяч? — спрашивает Гэндзи. — А кто будет играть?

И Удайсё называет имена собравшихся.

— Проходите же сюда! — зовет юношей Гэндзи, полагая, что трудно найти лучшее место для игры в мяч, чем восточная часть главного дома, опустевшая после того, как обитательница павильона Павлонии вместе с принцем вернулась во Дворец.

Подыскав красивую открытую площадку в том месте, где ручьи сливаются воедино, гости проходят туда. Все они хороши собой, но особенной миловидностью отличаются сыновья Великого министра: То-но бэн, Хёэ-но сукэ, Таю и прочие — как взрослые мужи, так и нежные отроки.

Скоро темнеет, но вечер такой тихий и безветренный, что даже Бэн, не выдержав, присоединяется к играющим.

— Вот видите, чиновник Государственного совета и тот не смог устоять перед искушением, — замечает Гэндзи. — Я понимаю, сколь высокое положение в мире занимают благородные мужи из Личной императорской охраны, но почему бы и вам не развлечься немного? В ваши дни я всегда досадовал, что мне приходится смотреть на игру только со стороны. Хотя, конечно, забава эта весьма грубая.

Удайсё и Уэмон-но ками, спустившись в сад, прогуливаются под прекрасными цветущими деревьями. Их изящные фигуры кажутся еще пленительнее в лучах вечернего солнца.

Игру в мяч не назовешь утонченной, скорее напротив, однако в столь изысканной обстановке и с такими игроками... Деревья в прекрасном саду подернуты легкой дымкой, кое-где уже раскрываются цветы, пробивается молодая зелень...



Любая, самая незначительная игра требует мастерства, и юноши не жалеют сил, стараясь превзойти друг друга. Впрочем, мало кому удастся сравняться в ловкости с Уэмон-но ками, который шутки ради ненадолго присоединяется к играющим. Он очень хорош собой, изящен и во время игры старается держаться с достоинством, сообразным его званию, но, увлекшись, забывается, и разгоряченное лицо его становится особенно прелестным.

Вот игроки приближаются к вишням, растущим у лестницы, но до цветов ли им! Гэндзи и принц Хёбукё смотрят на них с галереи. С каждой новой игрой молодые люди обнаруживают все большее мастерство, и постепенно даже самые знатные забывают о приличной их званиям сдержанности и перестают обращать внимание на сбившиеся головные уборы. Удайсё тоже увлечен игрой куда больше, чем подобает человеку столь высокого ранга, трудно не залюбоваться юношеской гибкостью его движений, стройностью стана. На нем мягкое платье цвета «вишня», пузырящиеся концы шаровар подвернуты совсем немного, так что облик его не теряет значительности. Вот на платье Удайсё, словно снежинки, падают лепестки. Посмотрев вверх, он пленительно небрежным движением срывает с дерева надломленную игроками ветку и усаживается на ступени. Скоро к нему присоединяется Уэмон-но ками.

— Цветы опадают один за другим... О, если б ветер пролетал стороной (296, 297)... — говорит Уэмон-но ками, украдкой поглядывая туда, где расположены покои Третьей принцессы.

Там царит обычное оживление. Из-под штор видны разноцветные концы рукавов, изящные очертания женских фигур просвечивают сквозь занавеси, словно дары весенним богам\* — сквозь ткань дорожных мешков. Переносные занавеси небрежно сдвинуты в сторону, мелькают бойкие служанки — словом, ничто не говорит о том, что здесь живет особа столь высокого звания.

Вдруг из-за занавесей выбегает прелестная китайская кошечка, преследуемая другой, побольше. До молодых людей доносятся испуганные женские восклицания, неясный шум, шелест платьев. За китайской кошечкой тянется длинный шнурок, — очевидно, она диковата. Еще мгновение — и, за что-то зацепившись, шнурок обматывается вокруг ее тела. Пытаясь освободиться, она натягивает его и невольно приподнимает край занавеса. Теперь молодым людям видно все, что делается внутри, причем никто из дам не спешит исправить положение. Даже те, что сидят возле галереи, растерявшись, не двигаются с места.

В глубине покоев на расстоянии всего двух пролетов от лестницы, на которой расположились Удайсё и Уэмон-но ками, стоит женщина\* в утики. Ее видно как на ладони. Из-под верхнего платья (кажется, цвета «красная слива») выглядывает множество нижних — темных и светлых, которых края, прекрасно сочетаясь по цвету, напоминают обрез тетради, сшитой из разноцветных листов. Сверху наброшено хосонага из узорчатой ткани цвета «вишня». Волосы, на семь-восемь сунов\* длиннее платья, тянутся словно скрученные шелковые нити, ясно видны их красиво распушившиеся подстриженные концы. Длинный подол волочится по полу, сама же женщина удивительно мала и тонка. Все в ней: и стройность стана, и нежный профиль, обрамленный ниспадающими волосами, — полно невыразимого изящества и очарования. К сожалению, уже начало смеркаться, и в покоях полумрак...

Прислужницы, внимание которых приковано к не щадящим даже цветов молодым игрокам, очевидно, сразу не замечают, что их видно снаружи. Но вот, вероятно услышав жалобное мяуканье кошки, женщина оборачивается. Ее движения неторопливы, юное лицо прелестно.

Удайсё в замешательстве. Можно, конечно, подойти и поправить занавеси, но вряд ли удастся таким образом спасти положение, скорее напротив. Он принимается покашливать, стараясь привлечь внимание дам. Только тогда принцесса медленно скрывается в дальних покоях. Увы, в глубине души он и сам этому не рад и невольно вздыхает, когда шнурок распутывают и занавеси наконец опускаются. Еще более огорчен Уэмон-но ками, давно питающий к принцессе нежные чувства. «Несомненно, это была она, — думает он. — Никто другой не мог быть в таком платье!»\* Он притворяется, будто ничего не заметил, но Удайсё знает, что это не так, и велика его досада.

В поисках хоть какого-то утешения Уэмон-но ками подманивает к себе кошку и берет ее на руки. От нее приятно пахнет благовониями, она нежно мяукает, и, глядя ее, он предается упоительным мечтам. Право же, молодые люди так влюбчивы!

— Столь важным особам не стоит сидеть у всех на виду, — говорит Гэндзи, заметив юношей. — Пожалуйте лучше сюда.

Он переходит в южные покои флигеля, и друзья следуют за ним. Скоро к ним присоединяется принц Хёбукё, и завязывается дружеская беседа.



Придворные низших рангов устраиваются на галерее, разложив там круглые сиденья. Непринужденно перебрасываясь шутками, молодые люди угощаются разложенными на крышках от шкатулок лепешками «цубаимоти»\*, грушами, плодами «кодзи». Потом подают вино, а к нему — сушеную рыбу и прочие столь же немудреные яства. Уэмон-но kami задумчиво вздыхает, не отрывая взора от цветущих деревьев. «Наверное, вспоминает сегодняшнее происшествие», — догадывается Удайсё, невольно осуждая принцессу: «Ну разве можно было стоять у самого порога? С госпожой Весенних покоев такого никогда бы не случилось. Недаром отец не выказывает никаких признаков глубокого чувства, уместного по отношению к особе столь высокого звания. Бесспорно, юная особа, которой ум и душевные способности еще не получили достаточного развития, весьма трогательна, но слишком уж ненадежна».

А Уэмон-но kami, далекий от того, чтобы отыскивать в принцессе какие бы то ни было недостатки, все время возвращается мысленно к тому мигу, когда неожиданно явилась она перед его взором. «Видно, не напрасны мои давние чаяния» — радуется он своему счастливому предопределению, и сердце его окончательно лишается покоя.

Между тем Гэндзи, вспоминая о прошлом, говорит:

— Когда-то мы с нынешним Великим министром соперничали, стараясь во всем превзойти друг друга. Но, должен признаться, в игре в мяч мне ни разу не удалось взять над ним верх. Вряд ли стоит говорить о преемственности в такой незначительной области, однако ваша принадлежность к столь блестящему роду неизбежно сказывается и здесь. Такое мастерство, что просто глаз не оторвешь!

— Боюсь, что в более важных областях я не сумел достичь столь же значительных успехов, — улыбаясь, отвечает Уэмон-но kami, — и, как ни силен ветер, дующий от нашего дома (273), лично мне вряд ли удастся заслужить уважение потомков.

— Не могу с вами согласиться, — возражает Гэндзи. — Полагаю, что в летопись рода должно вносить любые истинно замечательные достижения, и ваши успехи вполне достойны того, чтобы о них узнали потомки.

Он еще что-то добавляет шутливым тоном, и, глядя на его прекрасное лицо, Уэмон-но kami невольно вздыхает: «Станет ли помышлять о другом женщина, имеющая такого супруга? Чем могу я привлечь ее внимание? Так, я не вправе надеяться даже на ее сочувствие».

Постепенно уверившись в том, что принцесса для него недоступна, Уэмон-но kami совсем приуныл и очень скоро покинул дом на Шестой линии.

Удайсё поехал с ним в одной карете.

— Когда меня одолевает скука, я приезжаю сюда, и мне неизменно удается рассеяться, — говорит Уэмон-но kami.

— Отец просил чтобы мы, пока не опали цветы, снова навестили его, как только выдастся свободный день. Пока луна не сменилась новой, приезжай как-нибудь попрощаться с весной, да захвати с собой лук... — просит Удайсё, и молодые люди уславливаются о встрече в ближайшие дни.

Пока им было по пути, они ехали вместе, беседуя, и Уэмон-но kami, не выдержав, завел разговор о принцессе.

— Создается впечатление, что твой отец по-прежнему проводит большую часть времени в Весенних покоех, — не обинуясь, говорит он. — Очевидно, его привязанность к их обитательнице истинно велика. А как относится к этому принцесса? Государь нежно лелеял ее. Наверное, она кручинится теперь, лишённая его ласки, мне искренне жаль ее.

— О, ты заблуждаешься! — отвечает Удайсё. — На самом деле все не так. Разумеется, к госпоже Весенних покоев отец относится иначе, чем к другим, ведь он сам воспитал ее. Но и принцессу он ни в коем случае не оставляет без внимания.

— Тебе нет нужды обманывать меня. Я все знаю. Уверен, что ей слишком часто бывает грустно. А ведь государь так любил ее... И кто мог подумать...

Отчего же, скажи,  
Соловей, средь цветов порхающий,  
Для гнезда своего  
Не хочет выбрать себе  
Ветку цветущей вишни?

Казалось бы, одна вишня под стать этой весенней птице, и все же... — Как странно! — добавляет Уэмон-но ками словно про себя.

«Не слишком ли много внимания уделяет он принцессе? — подумал Удайсё. — Значит, и в самом деле...»

— В горной глуши  
Свила кукушка гнездо,  
Но могут ли ей  
Наскучить нежные краски  
Пышно расцветшей вишни?

Вправе ли мы требовать, чтобы предпочтение отдавалось одному-единственному дереву? Это невозможно, — отвечает он, а как разговор этот ему неприятен, старается перевести его на другой предмет.

Вскоре молодые люди расстались.

Уэмон-но ками, по-прежнему лелея честолюбивые замыслы, жил один в Восточном флигеле дома Великого министра. Он жил так уже давно, и часто ему бывало тоскливо и одиноко, но мог ли он кого-то винить? Впрочем, иногда он думал не без некоторой самонадеянности: «При моих-то достоинствах разве я не вправе надеяться?»

Однако после того памятного вечера Уэмон-но ками совершенно пал духом и, снедаемый сердечной тоской, помышлял лишь о том, как бы изыскать средство снова хоть мельком увидеть принцессу. «Женщины невысокого звания, — думал он, — довольно часто переезжают с одного места на другое — либо по случаю воздержания, либо для того, чтобы избежать нежелательного направления, и всегда можно улучшить миг... Но принцессу охраняют столь бдительно. Как же мне убедить ее в глубине своего чувства?» По обыкновению своему, он написал письмо на имя Кодзидзю:

«На днях ветер занес меня на “равнину Дворцовой ограды...” (298). Воображаю, с каким пренебрежительным равнодушием смотрела на меня Ваша госпожа. С того вечера неизъяснимая тоска завладела душой. Вот и нынешний день провел, “печалясь лишь и вздыхая...” (299).

## ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

Издалека  
Увидел — увы, не сорвать!  
Этот цветок  
В сумерках взору явился,  
И сердце теснит тоска...»

Кодзидзю, не поняв, что значит «на днях», предположила, что это обычные любовные жалобы, и, когда возле принцессы никого не было, передала ей письмо.

— Меня пугает упорство, с каким этот человек, как видно, до сих пор не забывший вас, докучает вам своими письмами, — улыбаясь, сказала она. — Но когда я вижу его печальное лицо... Право, иногда и себя бывает трудно понять...

— Что такое ты говоришь? — простодушно удивилась принцесса и принялась читать уже развернутое Кодзидзю письмо. Дойдя же до места, где говорилось: «но “видел” — не скажешь...» (299) — она покраснела, ибо, вспомнив о неловко задравшемся занавесе, сразу догадалась, что Уэмон-но ками имеет в виду.

Недаром Гэндзи так часто призывал ее к осмотрительности. «Старайтесь, чтобы вас не увидел Удайсё, — говорил он, — вы слишком неопытны, и по неосторожности...» «А что, если Удайсё видел меня и сказал об этом господину? — ужасалась принцесса. — Господин наверняка рассердится...»

Не подозревая, что ее видел совершенно чужой человек, она думала прежде всего о том, как бы не навлечь на себя гнев Гэндзи. Право, что за дитя!

Видя, что принцесса на этот раз затрудняется с ответом еще более обычного, и понимая, что настаивать в таких обстоятельствах невозможно, Кодзидзю — как это уже не раз бывало прежде — потихоньку написала ответ сама:

«В тот день Вы смотрели так равнодушно... Вне себя от досады, я не пошла Вам навстречу... Так почему Вы говорите “не то чтоб совсем”? Не слишком ли Вы дерзки?..

Тайны своей  
Не выдай ни взглядом, ни словом,  
Пусть не знает никто,  
Что мечтаешь о вишне, растущей  
На недоступной вершине.

Не тщетно ли?...»





---

## ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ 2

### Основные персонажи

**Бывший министр, господин из дома на Шестой линии (Гэндзи),** 41–47 лет

**Великий министр, Вышедший в отставку министр** (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

**Уэмон-но ками** (Касиваги), 25 (26)–31 (32) года — сын Великого министра

**Третья принцесса**, 15 (16)–21 (22) года — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

**Садайсё, Правый министр** (Хигэкуро) — супруг Тамакадзура

**Удайсё** (Югири), 20–26 лет — сын Гэндзи и Аои

**Нёго Кокидэн** — дочь Великого министра, супруга императора Рэйдзэй

**Принц Весенних покоев, новый Государь** (император Киндзё) — сын императора Судзаку и наложницы Дзёкёдэн

**Нёго из павильона Павлонии** (императрица Акаси), 13–19 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Государь из дворца Судзаку, Вступивший на путь государь, государь-монах** (император Судзаку) — сын императора Кирицубо, старший брат Гэндзи

**Супруга Садайсё, супруга Правого министра, госпожа Найси-но ками** (Тамакадзура), 27–33 года — дочь Великого министра и Югао, приемная дочь Гэндзи

**Дочь Садайсё** (Макибасира) — дочь Хигэкуро от первой супруги

**Принц Сикибукё** — отец Мурасаки и первой супруги Хигэкуро, дед Макибасира

**Принц Хёбукё** (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

**Нынешний Государь, государь из дворца Рэйдзэй** (император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

**Нёго из дворца Дзёкёдэн** — мать наследного принца, сестра Хигэкуро

**Государыня из дворца Рэйдзэй** (Акиконому), 32–38 лет — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо, приемная дочь Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

**Госпожа Весенних покоев** (Мурасаки), 33–39 лет — дочь принца Сикибукё, супруга Гэндзи

**Госпожа Акаси**, 32–38 лет — возлюбленная Гэндзи, мать императрицы Акаси

**Старая монахиня** (монахиня Акаси) — мать госпожи Акаси

**Обитательница Летних покоев** (Ханатирусато) — бывшая возлюбленная Гэндзи

**Найси-но Kami со Второй линии** (Обородзукё) — придворная дама императора Судзакү, бывшая возлюбленная Гэндзи

**То-найси-но сукэ** — дочь Корэмицу, возлюбленная Югири (см. гл. «Юная дева»)

**Супруга Удайсё** (Кумои-но кари), 22–28 лет — дочь Великого министра (То-но тюдзё)

**Госпожа Оомиа** — бабка Югири и Кумои-но кари (мать Аои и То-но тюдзё)

**Вторая принцесса** (Отиба) — дочь императора Судзакү, супруга Касиваги

ТРУДНО было ожидать большего, и все же... «Какая досада! Нежели и впредь придется довольствоваться только общими словами? — сетовал Уэмон-но Kami. — Неужели никогда не удастся “самому рассказать?..” (300)»

Возможно, именно тогда и возникла некоторая двойственность в его отношении к Гэндзи, которого почитал он доселе превосходнейшим из людей.

В последний день луны в доме на Шестой линии собралось множество гостей. Пришел сюда и Уэмон-но Kami, не находивший себе места от тоски. «Полюбуюсь хотя бы цветами у ее покоев, — думал он, — может, сумею расцелиться...»

Дворцовые состязания по стрельбе из лука устраиваются обыкновенно на Вторую луну, но в том году, к величайшей досаде многих, их так и не успели провести, на Третью же луну приходились дни Удаления от скверны в память об ушедшей Государыне-супруге. Поэтому, когда прошел слух, что нечто подобное затевается в доме на Шестой линии, все поспешили туда.

Разумеется, приехали оба дайсё — левый и правый\*, связанные с хозяином дома родственными узами, а за ними и их подчиненные — каждый старался опередить остальных.

Гэндзи предполагал ограничиться «малыми состязаниями»\*, но, заметив среди гостей превосходных мастеров по пешей стрельбе, призвал их к себе и попросил показать свое искусство. Придворных, во всяком случае тех, кто был того достоин, тоже разделили на левых и правых, четных и нечетных.

К вечеру сад окутала неясная дымка, напоминающая о том, что весна приближается к своему пределу. Дул порывистый ветер, и нелегко было отойти от цветущих вишен (301). Гости сильно захмелели.

— Какие великолепные дары получили победители! — восклицали они. — Отрадно сознать, что в них отразились вкусы тех, кто их подготовил!

— Вряд ли кто-то предпочел бы смотреть на самоуверенных стражников, якобы попадающих сто раз подряд в листок ивы\*!

— Несомненно, куда приятнее наблюдать, как состязаются благородные особы.

Тут оба дайсё и остальные гости спустились в сад. Необыкновенная задумчивость Уэмон-но ками привлекла внимание Удайсё, а как ему были известны кое-какие обстоятельства... «С ним явно происходит что-то неладное, — подумал Удайсё, и сердце его тревожно сжалось. — Ах, не к добру...»

Молодые люди всегда были очень дружны. В нашем мире редко встречаются друзья, столь трогательно привязанные друг к другу. Стоило даже милостливой грусти омрачить сердце одного, как другим овладевала тревога.

Глядя на Гэндзи, Уэмон-но ками с трудом скрывал смущение. «Недопустимо даже думать об этом... — терзался он. — Ведь до сих пор я никогда не позволял себе ничего предосудительного, даже если речь шла о сущей безделице. А уж столь недостойные мысли...»

В конце концов у него возникло настойчивое желание заполучить хотя бы ту китайскую кошечку. «Разумеется, ей нельзя высказать все, что мучит мою душу, но ее можно приручить, и она скрасит мое одиночество...» И вот, словно лишившись рассудка, Уэмон-но ками и днем и ночью мечтал об одном: «Как бы похитить кошку?» Но, увы, это было непросто.

Однажды зашел он в покои нёго Кокидэн, надеясь, что беседа с ней поможет ему развлечься. Будучи особой чрезвычайно осторожной и застенчивой, нёго даже с ним разговаривала только через посредника. «Ну не странно ли, что мне удалось увидеть принцессу, когда родная сестра и та не позволяет мне приближаться?» — подумалось Уэмон-но ками. Но мог ли он осуждать женщину, к которой с такой неодолимой силой влеклось его сердце?

Из дворца Кокидэн Уэмон-но ками перешел в Весенние покои. «Меж ними наверняка есть сходство...» — думал он, вглядываясь в лицо принца. Принца нельзя назвать красавцем, но черты его благородны и изящны — высокое положение всегда придает человеку особую значительность.

Не так давно дворцовая кошка принесла котят. Их раздали, и один попал в Восточные покои. Глядя на его милую возню, Уэмон-но ками невольно вспомнил...

— Ах, какая прелестная кошка есть у принцессы с Шестой линии! — сказал он. — Я видел ее мельком, но смею вас заверить — ей нет равных.

Принц, большой любитель кошек, пожелал узнать подробности, и Уэмон-но ками употребил все усилия, чтобы возбудить его любопытство.

— Это — китайская кошка, совсем не такая, как ваша, — рассказывал он. — Все кошки похожи друг на друга, но, поверьте, более прелестного, более ласкового существа я еще не встречал.

Вероятно, слова Уэмон-но ками запали принцу в душу, во всяком случае, он через нёго из павильона Павлонии обратился к Третьей принцессе с соответствующей просьбой, и по прошествии некоторого времени кошка была доставлена в его покои.

— В самом деле, какая милая! — восхищались дамы, а Уэмон-но ками, предвидевший, что принц поступит именно таким образом, через несколько дней снова зашел к нему.

Уэмон-но ками, с малолетства приобретя благосклонность государя из дворца Судзаку, выказывал ему неизменную преданность, когда же тот удалился в горную обитель, сблизился с принцем Весенних покоев и обнаруживал непритворное участие во всем, что его касалось.

В тот день, обучая принца игре на кото, Уэмон-но ками между прочим замечает:

— Как много у вас кошек! Где же та, о которой мы говорили?

Отыскав, он принимается ее ласкать.

— Она действительно прелестна! — говорит принц. — Только диковата, возможно, потому, что внезапно оказалась среди чужих. Впрочем, мои кошки ничуть не хуже.

— Обычно кошки не различают людей, на это способны лишь самые мысленные, — возражает Уэмон-но ками. — Я уверен, что у вас есть кошки и лучше этой. Может быть, вы отдадите ее мне на некоторое время? — просит он.

В глубине души он и сам понимал, сколь неразумно его поведение.

Так или иначе, Уэмон-но ками удалось осуществить задуманное. Ночью он укладывал кошку возле своего ложа, а днем ухаживал за ней, ласкал и кормил. Диковатая прежде кошка очень его полюбила, цеплялась за подол его платья, не отпуская от себя ни на шаг, спала рядом с ним, да и Уэмон-но ками привязался к ней всем сердцем. Однажды, когда ему было как-то особенно грустно и он, вздыхая, лежал у порога, кошка подошла к нему, нежно мяукая, словно говоря: «Ложись, ложись»\*, а он погладил ее и сказал, улынувшись:

— Увы, на душе все тяжелее...

Ласкаю тебя,  
От любви безответной сгорая.  
Но отчего  
Ты так жалобно плачешь?  
Может, жалеешь меня?

Наверное, и нас с тобой связывают давние узы...

Он внимательно посмотрел кошке в глаза, и она замурлыкала еще нежнее. Взяв ее на руки, Уэмон-но ками вздохнул.

— Вот странно, можно ли было ожидать, что какая-то кошка удостоится такой благосклонности? — недоумевали дамы.

— До сих пор господин не обращал на них решительно никакого внимания.

Несмотря на просьбы принца, Уэмон-но ками так и не возвратил ему кошку. Он не расставался с ней ни на миг, одной лишь ей поверяя свои сокровенные думы.

Супруга Садайсё, сохранив дружеские отношения с Удайсё, общалась с ним, пожалуй, даже охотнее, чем с сыновьями Великого министра. Обладая живым умом и приветливым нравом, она держалась по-родственному непринужденно, и, хотя связывали их не совсем обычные узы, Удайсё отвечал ей тем же, тем более что нёго из павильона Павлонии была слишком церемонна, и приблизиться к ней было не так-то легко.

Садайсё после окончательного разрыва с первой супругой обратил все свои попечения на госпожу Найси-но ками. Сожалея о том, что рождаются

у нее одни мальчишки, он хотел было забрать к себе дочь — ту юную особу, что сложила когда-то песню о кипарисовом столбе, — и заняться ее воспитанием, но принц Сикибукё решительно воспротивился. «Хоть ее уберегу от позора», — думал он.

Принц Сикибукё пользовался большим влиянием в мире и успел снискать исключительную благосклонность Государя, который принимал в нем большое участие и никогда ни в чем ему не отказывал. Известный своей утонченностью — пожалуй, только господин с Шестой линии и Великий министр могли соперничать с ним, — принц был окружен всеобщим почтением, в его доме всегда толпились люди, готовые ему услужить. Садайсё тоже прочил блестящее будущее, говорили даже, что станет он столпом Поднебесной, так могла ли его дочь остаться незамеченной? Многие обращались к принцу Сикибукё с соответствующими предложениями, но он до сих пор не сделал окончательного выбора. Возможно, он рассчитывал на Уэмон-но ками, но, к величайшей досаде принца, тот — потому ли, что кошка была ему милее, или по какой другой причине — не оказывал его внучке никакого внимания. Девушку же, жизнерадостную, общительную по натуре, с каждым днем все больше влекло к мачехе, тем более что родная мать, по-прежнему подверженная странным припадкам и влачащая унылое, замкнутое существование, давно уже не возбуждала в ее сердце ничего, кроме мучительной жалости.

Принц Хёбукё по-прежнему жил один. После того как надежды его оказались обманутыми\*, он, судя по всему, разочаровался в мирских делах и, боясь насмешек, не предпринимал никаких попыток обзавестись супругой. Однако теперь — нельзя же вечно жить одному — он постарался довести свое желание до сведения принца Сикибукё, и тот сразу же согласился.

— Не вижу оснований для отказа, — сказал принц. — Любой попечительный родитель предпочтет отдать дочь принцу крови, если только он не прочит ее во Дворец. Правда, в наше время многие стараются брать в зятья простых подданных, людей здравомыслящих, но вполне заурядных. Мне же такие браки не по душе, я не вижу в них ничего достойного.

Итак, принц Хёбукё получил согласие, не успев сказать своей избраннице ни слова упрека, а потому чувствовал себя неудовлетворенным, но пренебречь столь знатной особой было невозможно, и, ничем не выказывая своего недовольства, он начал посещать ее. Вряд ли о каком-нибудь зяте заботились лучше, чем о нем.

— У меня много дочерей, — говорил принц Сикибукё, — и они доставили мне немало огорчений. Казалось бы, наученный горьким опытом, я должен смириться, но, увы... Теперь вот подросла внучка, и могу ли я не беспокоиться за нее? Ее мать давно уже не в себе, и с каждым годом ее рассудок помрачается все больше. Господин Садайсё, видно, и думать забыл о дочери, обиженный тем, что я воспротивился его желанию. Могу ли я не принимать в ней участия?

Он сам вникал во все, вплоть до убранства покоев, проявляя заботливость, которую кто-нибудь, возможно, счел бы излишней.

Принц Хёбукё, до сих пор тосковавший по умершей супруге, мечтал получить в жены женщину, похожую на нее. Но, к его величайшему огорчению, дочь Садайсё при всей своей миловидности не имела ничего общего с его



первой супругой, и, может быть поэтому, он не жаловал ее особым вниманием, что чрезвычайно огорчало принца Сикибукё, не ожидавшего ничего подобного. Мать девушки тоже в те недолгие часы, когда безумие не помрачало ее рассудка, сетовала на злосчастную судьбу дочери, все глубже погружаясь в бездну отчаяния. Не скрывал недовольства и Садайсё, никогда не одобрявший этого союза. «Я знал, что этим кончится, — думал он. — Принц слишком изменчив в своих привязанностях».

А госпожу Найси-но ками столь явное свидетельство сердечного непостоянства принца Хёбукё заставило обратиться мыслями к прошлому. «Ведь и я могла оказаться в таком же положении, — думала она, с умилением и грустью вспоминая те далекие годы. — Обоим моим попечителям пришлось бы тогда нелегко». Впрочем, вряд ли она когда-нибудь серьезно помышляла о союзе с принцем. Ее мучила мысль, что он должен был счесть ее легкомысленной, неспособной на глубокие чувства особой, ибо, принимая его пылкие, страстные послания, она в конце концов стала супругой другого. «Как бы об этом не узнала дочь Садайсё», — тревожилась госпожа Найси-но ками, продолжая заботиться о падчерице так, как того требовали приличия. Делая вид, будто не замечает никаких перемен в настроении принца Хёбукё, она через своих пасынков любезно осведомлялась у него о здоровье супруги. Впрочем, сам принц, мучимый угрызениями совести, не помышлял о том, чтобы разорвать этот союз. Только госпожа Северных покоев в доме принца Сикибукё, особа, как известно, чрезвычайно сварливая, не упускала случая высказать свое недовольство.

— Видно, зря я полагала, что, соединив свою судьбу с принцем, можно по крайней мере рассчитывать на спокойную, не омраченную супружескими изменами жизнь, — то и дело ворчала она. — Ведь только это и может возместить недостаток роскоши, которая окружала бы ее во Дворце.

«Такого со мной еще не бывало! — рассердился принц, услышав, в чем его обвиняют. — Уж на что я любил свою прежнюю супругу, а и то позволял себе мимолетные шалости. Но разве когда-нибудь меня бранили так сурово?»

Все сильнее тосковал он по прошлому и все чаще проводил дни в собственном доме, печалась и вздыхая. Прошло два года, дочь Садайсё приехала к частым отлучкам супруга и принимала их как должное.

Так годы сменяли друг друга, и последующие ничем не отличались от предыдущих. Но вот настал восемнадцатый год со дня восшествия на престол нынешнего Государя.

— Печально, что нет у меня сына, который мог бы в будущем стать престолонаследником, — сетовал Государь. — Увы, мир наш так непрочен... Я желал бы остаток дней прожить спокойно и неторопливо, отдавая часы всевозможным тихим удовольствиям, встречаясь с дорогими сердцу людьми.

Государь поговаривал об этом уже давно, но все не решался осуществить свое желание, а тут вдруг тяжкий недуг овладел им, и он отрекся от престола.

— Как жаль, — горевали люди, — в самом расцвете лет... Стоило ли так спешить?

Впрочем, принц Весенних покоев уже достиг зрелости, и, после того как власть над миром перешла к нему, не произошло никаких значительных

перемен. Великий министр подал прошение об отставке и перестал бывать во Дворце.

— Даже мудрый Государь, осознав, сколь непрочен мир, отстранился от дел, — говорил он, — так стоит ли цепляться за свое звание дряхлому старику?

Садайсё, получив должность Правого министра, стал вершить дела правления. Нёго из дворца Дзёкёдэн скончалась, так и не дождавшись своего часа\*. Разумеется, она и без того имела высокое звание, но что толку ей было в нем, если ее всегда заслоняли другие?

Старший сын нёго из павильона Павлонии стал наследным принцем. Это назначение было большой радостью для всех, хотя вряд ли кто-нибудь сомневался... Удайсё, получив звание дайнагона, был переведен в Левую охрану. С Правым министром его связывали весьма дружеские отношения.

Гэндзи в глубине души сожалел о том, что у Государя, который, отрекшись от престола, поселился во дворце Прохладного источника, Рэйдзэй, не было прямого наследника. Новый принц Весенних покоев был Гэндзи внуком, но он желал, чтоб и другая ветвь его рода имела продолжение, а потому сетовал на судьбу, лишившую его этого утешения. Впрочем, не взамен ли было даровано благополучное правление государю Рэйдзэй и обеспечено сокрытие его собственного прегрешения?.. Подобные думы отягощали его душу, а поделиться ими было не с кем.

У нёго из павильона Павлонии было много детей, она снискала исключительную благосклонность Государя и не имела соперниц. Многие роптали, предвидя, что государыней-супругой снова станет женщина из рода Минамото. Государыня из дворца Рэйдзэй с каждым годом испытывала к Гэндзи все большую благодарность, хорошо понимая, что, не будь он так настойчив...

Теперь ничто не мешало ушедшему на покой государю навещать Гэндзи так часто, как ему хотелось, и, почувствовав себя наконец счастливым, он неустанно благословлял судьбу.

Новый Государь никогда не забывал о Третьей принцессе. Впрочем, ее положение в мире и без того было достаточно значительным, хотя ей так и не удалось приобрести в доме на Шестой линии того влияния, каким пользовалась там госпожа Весенних покоев.

С каждым годом увеличивалась привязанность Гэндзи к госпоже. Супруги не имели друг от друга тайн, ничто не омрачало их близости, это был поистине беспримерный союз. Тем не менее госпожа все чаще заводила разговор о том, что хотела бы, отдалившись от мирской суеты, посвятить остаток дней служению Будде.

— Я достигла возраста, когда у человека открываются глаза, и он начинает понимать, как печален мир, — говорила она. — Разрешите мне последовать велению сердца.

— Неужели вы способны так жестоко поступить со мной? — пенял ей Гэндзи, не давая своего согласия. — Ведь я и сам желаю того же, и только тревога за вас, страх, что вы будете одиноки в этом мире, где все изменится с моим уходом, удерживают меня от решительного шага. Подождите хотя бы, пока уйду я, и тогда...

Обитательница павильона Павлонии почитала госпожу Мурасаки, как родную мать, а госпожа Акаси прислуживала дочери, стараясь держаться в тени, но именно в этом смирении и виделся всем залог ее будущего благополучия.

А по щекам старой монахини неудержимым потоком текли слезы радости, она то и дело вытирала глаза, отчего они распухли и покраснели. Право, можно ли отыскать лучший пример счастливого долголетия?

Пора было приступать к исполнению обетов, данных когда-то богу Сумиёси, да и нёго из павильона Павлонии следовало позаботиться о благодарственных молебнах. Открыв присланную из Акаси шкатулку, Гэндзи обнаружил в ней великое множество разнообразных обетов. Многие из них оказались бы неисполненными, не занимай Гэндзи столь значительного положения в мире. К примеру, в знак благодарности за продление рода предписывалось ежегодно весной и осенью улаживать взоры богов священными плясками «кагура»... Рассматривая исписанные торопливой скорописью бумаги, Гэндзи снова и снова поражался необыкновенной одаренности старого монаха, силе его духа, проглядывающей в каждом слове. Можно было не сомневаться, что эти слова непременно дойдут до слуха будд и богов. «Но как придумал такое отшельник, далекий от всего мирского? — спрашивал себя Гэндзи, умиляясь и недоумевая одновременно, ибо величие замыслов, представших ныне его взору во всей полноте своей, разительно не соответствовало истинным возможностям монаха. — Кем был он в прошлом рождении? Уж не святым ли праведником, которому предопределено было еще раз явиться в наш мир?» — гадал он, не позволяя себе ни малейшей непочтительности по отношению к монаху из Акаси.

Решив до поры до времени не разглашать истинной цели своего паломничества, Гэндзи отправился в храм якобы по собственному почину. Он давно исполнил обеты, данные в тяжкие годы скитаний, но его нынешнее благополучие и удивительные удачи, сопутствующие ему в последнее время, снова и снова напоминали о том, сколь многим обязан он богу Сумиёси. На этот раз его сопровождала госпожа, и в мире только и говорили что об этом паломничестве.

Не желая никого обременять, Гэндзи постарался ограничиться самым необходимым, но его положение было слишком высоко, поэтому выезд вылился в зрелище, невиданное по великолепию. За исключением обоих министров, его сопровождала вся высшая знать. Танцоры, отобранные из средних чинов Дворцовой охраны, были одного роста и отличались приятной наружностью. Нетрудно вообразить, как досадовали юноши, почему-либо не вошедшие в число избранных!

«Почетная свита»\* состояла из искуснейших музыкантов и танцоров, непрменных участников чрезвычайных празднеств Ивасимидзу и Камо. Для особой торжественности ее дополнили двумя высшими чинами Личной императорской охраны. Множество танцоров было отобрано и для участия в священных танцах «кагура».

Самому Гэндзи прислуживали придворные, особо ради этого случая присланные новым Государем, принцем Весенних покоев и государем из дворца Рэйдзэй. Бесконечной блестящей вереницей тянулись за ним знатнейшие

мужии столицы, щеголявшие друг перед другом празднично разукрашенными конями, яркими нарядами телохранителей, мальчиков-слуг и простых стражников. Воистину изумительное зрелище!

В первой карете ехали госпожа нёго и госпожа Весенних покоев, во второй — госпожа Акаси. В карету последней украдкой посадили старую монахиню. В ней же ехала и кормилица нёго, знавшая все семейные обстоятельства. За дамами следовали кареты свиты: пять карет сопровождали госпожу Мурасаки, пять — госпожу нёго и три — госпожу Акаси.

Вряд ли стоит говорить об изысканнейшем убранстве карет, роскошных нарядах дам...

Гэндзи предлагал старой монахине открыто участвовать в церемонии.

— Пусть разглядятся ее морщины, — говорил он. Но госпожа Акаси была иного мнения:

— Не думаю, что ей подобает принимать участие в столь шумном празднестве. Вот если дождется она дня, к которому устремлены наши чаяния...

Однако старая монахиня, опасаясь, что жизнь ее может оборваться в любой миг, не пожелала упустить столь редкой возможности и все-таки последовала за ними. Вот пример подлинно счастливой судьбы! Такая удача нечасто выпадает на долю даже тем, у кого, казалось бы, изначально были все основания для благополучия...

Стоит середина Десятой луны, и плющ у «жилища богов» (302) уже изменил свой цвет. Покраснели деревья под могучими кронами сосен — не только ветер разносит по склонам весть о наступлении осени... (303).

Знакомые мелодии адзума, соединяясь с плеском волн, трогают душу куда больше, чем самая возвышенная корейская или китайская музыка. Голоса флейт, звучащие согласно с пением ветра в соснах, приобретают столь неповторимое, щемящее очарование, что слезы невольно набегают на глаза. Барабанов нет, и такт отбивают дощечками. Разумеется, это менее торжественно, зато более утонченно, вряд ли что-нибудь может быть уместнее в таких обстоятельствах, чем негромкое постукивание дощечек.

Зеленые стебли бамбука на платьях музыкантов, окрашенных соком горных трав, сливаются с зеленью сосен, разнообразные цветы, украшающие прически, теряются среди осеннего разноцветья, от всего этого разбегаются глаза.

Вот звучат последние такты «Мотомэго»\*, и молодые придворные, припустив с плеч платья, спускаются в сад. Из-под однообразных черных верхних одеяний выплескиваются коричневые и сиреневые шелка, яркие алые рукава, украшенные сверкающими каплями внезапно брызнувшего дождя, кружатся в воздухе, словно багряные листья, заставляя забыть, что вокруг сосновый бор. Изумительное зрелище!

Размахивая высоко над головой белыми сухими метелками мисканта, юноши всего лишь раз проходят в танце по саду и скрываются — к величайшему сожалению восхищенных зрителей.

Гэндзи невольно вспоминается прошлое, перед его мысленным взором возникает пустынное побережье, куда судьбе угодно было его забросить... Как жаль, что не с кем поделиться своими думами... Да, окажись теперь рядом с ним вышедший в отставку министр...

Отодвинувшись вглубь кареты, Гэндзи достает из-за пазухи сложенный листок бумаги и, написав несколько слов, велит потихоньку отнести его в карету госпожи Акаси:

«Кому, кроме нас,  
Известно теперь минувшее?  
Кто может о нем  
Напомнить этим старинным  
Соснам из Сумиёси?»

Старая монахиня была тронута до слез. Видя, сколь велико значение Гэндзи, она постоянно благодарила судьбу, оказавшуюся к ней столь благо-склонной. И тут ей невольно вспоминается печальное расставание в Акаси, заметно располневшая фигура дочери... Мысли ее устремляются к далекой горной келье, и безотчетная печаль овладевает душой. Постаравшись взять себя в руки — к добру ли в такой день предаваться унынию? — она поспешно отвечает:

«Сегодня впервые  
Открылось старой рыбачке:  
Видно, не даром  
Когда-то судьба ее занесла  
На дикий берег Сумиёси».

Написав первое, что пришло в голову, ибо медлить было неучтиво, она пробормотала, ни к кому не обращаясь:

— Разве могу  
Забыть те давние годы,  
Видя во всем  
Проявленье чудесной силы  
Сумиёси, светлого бога?

Всю ночь напролет любовались танцами. Двадцатидневная луна ярким светом заливала бескрайнюю морскую гладь, серебрились покрытые густым инеем сосны, и в этом холодном однообразии пейзажа было какое-то особое очарование.

Госпожа Весенних покоев довольно часто любовалась танцами и слушала музыку в доме на Шестой линии, но участвовать в празднествах, проходивших вне дома, ей приходилось редко, а уж к выездам за пределы столицы она и вовсе не привыкла, поэтому все ей теперь вновь, все изумляет и восхищает ее.

В Сумиёси  
За ночь сосны вдруг побелели.  
Иней ли выпал?  
Или боги на них набросили  
Убор из священных нитей?

Ей невольно вспоминается снежное утро, воспетое некогда Такамура\*: «Вершина Хирэ, увенчанная убором из белых священных нитей...» (304). Право, видно, и нынешний праздник по сердцу богам...

— На ветках сааки  
В руках у служителей храма  
Священные нити  
Повисли. Иней ночной  
Внезапно упал на листья... —

произносит нёго, ей вторит госпожа Накацукаса:

— Иней ночной  
В руках у служителей храма  
В священные нити  
Превратился. То знак подает  
Нам светлый бог Сумиёси.

Было сложено бесчисленное множество других песен, но стоит ли их упоминать? В подобных случаях не удастся отличиться даже мужчинам, которые обычно производят впечатление искусных стихотворцев. Да и что тут скажешь нового? Только и твердят все о «тысячелетних соснах». Скучно, право...

Скоро забрезжил рассвет, и земля еще больше побелела от инея. Певцы захмелели так, что перестали отличать запев от припева. Не подозревая о том, как некрасиво искажаются их лица, и не замечая, что огни в саду вот-вот погаснут, они, воодушевленные красотой предутреннего часа, размахивали ветками сааки, снова и снова возглашая «многая лета...»\*. Так, радостью полнится душа, когда представляешь себе будущее процветание этого славного рода.

Столь прекрасной была эта ночь, что хотелось превратить ее в тысячу ночей (32), но незаметно настало утро, и вот уже молодые люди вздыхают, сожалея о том, что пришла пора уподобиться волне, спешащей обратно в море. В сосновом бору рядами стоят кареты, из-под раздуваемых ветром плетеных штор виднеются разноцветные рукава — словно сотканную из цветов парчу разостлали под вечнозелеными кронами. Прислужники, облаченные в коричневато-сиреневые, светло-коричневые и зеленые платья, передавая друг другу столики, разносят угощение, а низшие слуги смотрят на них во все глаза — редко случается увидеть что-нибудь подобное. Старой монахине подают постное, поставив перед ней столик из молодой аквиларии, покрытый зеленоватой-серой тканью. «Мало на свете женщин, имеющих столь же счастливое предопределение!» — перешептываются прислужницы.

Если в храм ехали обремененные многочисленными дарами, то возвращались налегке, никуда не торопясь и в свое удовольствие любясь окрестными видами. Впрочем, описывать подробности — занятие довольно утомительное, и я по обыкновению своему их опускаю. Скажу только, что некоторые с сожалением думали об отшельнике из далекой бухты Акаси, лишенном возможности созерцать подобное великолепие. Да, не всякий может столь решительно порвать связи с миром. Впрочем, окажись он теперь здесь, его фигура многим показалась бы жалкой...

В те времена люди, воодушевленные примером монаха из Акаси, стали вынашивать честолюбивые замыслы. Его имя было у всех на устах, все ему завидовали, все превозносили его.



Когда же речь шла о чьей-нибудь удачливости, неизменно вспоминали старую монахиню. Даже госпожа Оми, дочь Вышедшего в отставку министра, во время игры в сугороку непременно шептала про себя: «Старая монахиня из Акаси, старая монахиня из Акаси...», надеясь, что это принесет ей удачу.

Вступивший на путь государь, не помышляя более о дворцовых делах, отдавал дни служению Будде. Только высочайшие посещения, устраиваемые дважды в год — весной и осенью — обращали его мысли к прошлому. Но тревога за судьбу Третьей принцессы не покидала его и теперь. Конечно, он понимал, что Гэндзи никогда не оставит ее, и все же не упускал случая напомнить о ней государю, неизменно прося его вникать в самые сокровенные ее нужды.

Принцессе был пожалован Второй ранг, и доходы ее значительно увеличились. Теперь ее окружала еще большая роскошь, возросло и ее значение в мире. Следя за постепенным возвышением принцессы, обеспечивающим ее превосходство над остальными обитательницами дома на Шестой линии, госпожа Весенних покоев думала: «А я не имею иной поддержки, кроме благосклонности господина, и в ней — единственный залог моего благополучия. Но ведь с годами он неминуемо охладит ко мне. О, как хотела бы я уйти от мира прежде, чем это случится». Но она не решалась прямо сказать об этом Гэндзи, боясь показаться ему дерзкой и неблагодарной.

Поскольку сам Государь изволил принимать такое участие в судьбе Третьей принцессы, Гэндзи не мог открыто пренебрегать ею и постепенно стал посещать ее так же часто, как и госпожу Весенних покоев. А та, хорошо понимая, что он поступает так не по своей воле, все же терзалась тайными сомнениями: «Ах, я ведь знала...» Но она ничем не выдавала себя, и внешне все шло по-прежнему.

Взяв к себе Первую принцессу, родившуюся вслед за принцем Весенних покоев, госпожа занялась ее воспитанием. Заботы о девочке отвлекали ее от тоскливых мыслей в те ночи, когда Гэндзи не было рядом. Впрочем, госпожа любила и опекала всех детей нёго без исключения.

Обитательница Летних покоев, позавидовав всегда окруженной внуками госпоже Мурасаки, попросила отдать ей на воспитание одну из младших дочерей Удайсё и То-найси-но сукэ. Это была миловидная смышленная девочка, любимица Гэндзи. В далекое прошлое ушло то время, когда Гэндзи сокрушался, что не богат потомством, новые и новые ростки появлялись на ветвях его рода, многочисленные внуки резвились вокруг, и попечения о них не оставляли места для скуки.

Правый министр стал частым гостем в доме на Шестой линии. Его супруга, достигшая весьма зрелого возраста, тоже нередко наведывалась туда. Теперь ей нечего было бояться, ибо Гэндзи полностью отказался от своих прежних намерений. Встречалась она и с госпожой Весенних покоев, с которой ее связывала самая нежная дружба.

Пожалуй, только Третья принцесса совсем не повзрослела за это время. Предоставив Государю заботиться о нёго из павильона Павлонии, Гэндзи обратил все попечения свои на эту особу и лелеял ее, как лелеял бы малолетнюю дочь. Как-то государь из дворца Судзаку прислал принцессе письмо такого содержания:

«Как это ни печально, я чувствую, что жизнь моя приближается к концу. Мне казалось, ничто уже не заставит меня оглянуться на этот мир, но, увы, слишком велико желание хоть раз еще увидеться с Вами. Иначе душа моя не обретет покоя. Не сочтете ли Вы возможным навестить меня без особых церемоний?»

— Разумеется, вы должны посетить его, — сказал Гэндзи. — Даже если бы государь не обнаружил такого желания, вам следовало бы самой подумать об этом. А раз он ждет вас...

И он принялся готовить все необходимое для посещения.

«Будь у нас какой-нибудь повод, — размышлял Гэндзи. — Но какой? Чем можно порадовать государя? В следующем году он достигнет полного возраста\*... Что, если поднести ему угощение из первой зелени?» И Гэндзи принялся готовить дары: монашеские одеяния, для разных случаев пригодные, яства для постного стола — словом, все, что пришлось бы по вкусу человеку, сменившему обличье. Зная, что государь всегда был большим любителем музыки, Гэндзи уделил особенное внимание подготовке танцоров и музыкантов. Лучшие из лучших были отобраны им для этой цели.

У Правого министра было двое сыновей старше семи лет, у Удайсё, включая рожденных То-найси-но сукэ — трое. Все они уже прислуживали во Дворце. Кроме них Гэндзи пригласил участвовать в готовящемся празднестве юношей из домов принца Хёбукё и других принцев крови, а также



сыновей влиятельнейших столичных сановников. Отобрав миловидных молодых придворных, известных умением придавать особое изящество обычным танцевальным фигурам, Гэндзи сам занялся подготовкой танцоров. Поскольку речь шла о столь выдающемся событии, юноши не жалели сил, совершенствуя свое мастерство. Хлопотливая пора настала для учителей музыки и танцев, для всех, кто славился своими талантами на том или ином поприще.

Принцесса когда-то училась игре на китайском кото «кин», но она покинула дворец Судзаку ребенком, и можно было только гадать...

— Как бы я хотел послушать ее игру на кото, — однажды сказал Вступивший на путь государь кому-то из своих приближенных, — надеюсь, хоть этому-то она научилась?

Неизвестно как, но слова его дошли до слуха нового Государя, и он изволил заметить:

— Наверное, принцесса и в самом деле преуспела в игре на кото. Я тоже с удовольствием послушал бы ее.

Разумеется, кто-то передал его слова Гэндзи.

«Все эти годы я от случая к случаю занимался с принцессой, — встревожился он, — и она многому научилась, но государь из дворца Судзаку такой строгий ценитель... Боюсь, что она произведет крайне невыгодное впечатление, если, приехав к нему, будет играть без всякой подготовки».

И Гэндзи — лучше поздно, чем никогда — стал усердно заниматься с принцессой.

Он открыл перед ней все тайны мастерства, научил особым приемам, показал, как следует играть сложные, из многих частей состоящие пьесы, объяснил, как надобно менять тональности в зависимости от времени года, как должно звучать кото в жаркую и в холодную погоду. Поначалу принцесса обнаруживала полную беспомощность, но, постепенно, овладев инструментом, стала играть довольно сносно.

— Днем в покоях толпится народ, — говорил Гэндзи, — и сосредоточиться невозможно. То и дело приходится отвлекаться, и недостает времени даже на то, чтобы усвоить простейшие приемы. Нет, для того чтобы проникнуть в тайны мастерства, необходима вечерняя тишина.

Целыми днями он занимался с принцессой музыкой, не бывая даже в Весенних покоях. Ни него, ни госпожу Мурасаки Гэндзи не обучал игре на китайском кото, поэтому обе они изнемогали от любопытства и мечтали послушать, как звучит этот не знакомый им инструмент. Него, с трудом добившись разрешения Государя, переехала в дом на Шестой линии. Она уже родила Государю двух сыновей и сейчас снова вот уже пятую луну была в необычном положении, поэтому ей удалось покинуть Дворец под предлогом предстоящих богослужений\*.

Но вот миновала Одиннадцатая луна, и от Государя то и дело стали приходиться гонцы с просьбами вернуться. Однако него медлила. Каждый вечер она услаждала слух прекрасной музыкой и, завидуя принцессе, пеняла Гэндзи за то, что он не научил и ее играть на китайском кото.

Гэндзи в отличие от других людей всегда любил зимние лунные ночи и, как только темнело, в покоях принцессы начинала звучать музыка. Любуясь чудесным мерцанием ночного снега, он играл приличествующие случаю ме-

лодии и заставлял прислуживающих дам — тех, кто хоть немного был сведущ в этой области, — подыгрывать ему на разных инструментах.

Конец года — хлопотливая пора для госпожи Весенних покоев: за всем надо присмотреть самой, ничего не упустить из виду...

— Надеюсь, что когда-нибудь в теплый весенний вечер и мне будет позволено насладиться звуками китайского кото... — говорила она, а тем временем год сменился новым.

Прежде всего государя-монаха чествовал двор. Вряд ли стоило громоздить одну пышную церемонию на другую, и Гэндзи решил отложить посещение дворца Судзаку еще на некоторое время. В конце концов был назначен день в середине Второй луны, а пока музыканты и танцоры, собравшись в доме на Шестой линии, совершенствовали свое мастерство.

— Госпожа Весенних покоев давно уже хочет послушать вашу игру на китайском кото, — как-то сказал Гэндзи Третьей принцессе. — Почему бы нам не устроить музыкальный вечер в женских покоях? Другие могут подыгрывать вам на кото «со» или на бива. Я уверен, что женщины, в нашем доме живущие, вправе соперничать с самыми прославленными музыкантами. Меня никогда не учили музыке достаточно основательно, но я с детства стремился к тому, чтобы в мире не осталось для меня ничего неизведанного, а потому старался сам учиться у лучших наставников, изучал сокровенные приемы игры, передающиеся из поколения в поколение в благороднейших столичных семействах. Я знал многих талантливых музыкантов, но, к сожалению, никто из них не произвел на меня действительно глубокого впечатления. А уж о нынешнем поколении и говорить нечего: люди утратили вкус к истинным ценностям и стремятся исключительно к внешней изощренности. На китайском же кото теперь, судя по слухам, и вовсе никто не играет. Не думаю, чтобы у вас нашелся достойный соперник.

Слушая Гэндзи, принцесса простодушно улыбалась, довольная тем, что ее похвалили. К своим двадцати одному или двадцати двум годам она ничуть не повзрослела, что-то детское виделось в ее облике, хотя миниатюрность ее была по-своему привлекательна.

— Государь так давно не видел вас, — говорил ей Гэндзи, — надеюсь, вы сумеете его порадовать. Пусть он сам убедится, что вы стали совсем взрослой.

«Увы, она до сих пор что дитя неразумное, и когда б не попечения господина, вряд ли удалось бы это скрыть», — думали, глядя на принцессу, дамы.

Настал Двадцатый день Первой луны, на небе не было ни облачка, дул теплый ветерок, в саду перед покоями расцвела слива. Остальные деревья стояли, окутанные нежной дымкой: еще немного, и они тоже украсятся цветами.

— С начала следующей луны в доме начнутся приготовления к посещению дворца Судзаку, — сказал Гэндзи. — Услышав доносящиеся из ваших покоев звуки музыки, люди непременно сочтут, что вы вознамерились поразить государя своим мастерством. Не лучше ли нам помузицировать теперь, пока не началась предпраздничная сутолока? — И Гэндзи попросил госпожу Мурасаки пожаловать в покои принцессы.

Прислуживающие госпоже дамы, сгорая от любопытства, изъявили желание сопровождать ее, но она взяла с собой лишь самых искушенных

(нелишне заметить, что среди них оказались особы весьма уже немолодые), отказав тем, которых сочла недостаточно одаренными. Отобрав четырех самых миловидных и изящных девочек-служанок, она велела нарядить их в алые верхние платья, кадзами цвета «вишня», бледно-лиловые узорчатые акомэ, расшитые хакама и пунцовые атласные нижние одеяния.

Покои нёго тоже были убраны по-новогоднему празднично, дамы соперничали друг с другом изысканными нарядами, трудно представить себе что-нибудь более великолепное. Девочек-служанок одели в зеленые верхние платья и розовые на алой подкладке кадзами. Их хакама были из затканного узором китайского шелка, а акомэ — из китайского шелка цвета «керрия». Девочки из покоев госпожи Акаси отличались сравнительной скромностью нарядов: две были в верхних платьях цвета «красная слива», две — в платьях цвета «вишня». На всех — одинаковые зеленые кадзами, светлые и темные лиловые акомэ и прелестные атласные нижние платья.

Дамы принцессы, как только разнесся слух, что в ее покоях соберется множество гостей, тоже постарались получше нарядить девочек-служанок. На них надели желтовато-зеленые верхние платья, кадзами цвета «ива» и сиреневые акомэ. Казалось бы, ничего особенного, но сколько изысканного благородства!

Между передними и внутренними покоем раздвинули перегородки, места для дам отделили друг от друга переносными занавесами, посередине же приготовили сиденье для Гэндзи.

Рассудив, что на этот раз вести мелодию лучше всего поручить мальчикам, Гэндзи поместил на галерее третьего сына Правого министра, старшего из рожденных ему госпожой Найси-но ками, и старшего сына Удайсё. Первый должен был играть на флейте «сё», второй — на обычной флейте.

За переносными занавесами положили круглые сиденья и поставили разные инструменты. Ради такого случая из хранилища были извлечены прославленные фамильные инструменты, бережно хранившиеся в чехлах из темно-синей ткани. Госпоже Акаси Гэндзи вручил бива, госпоже Мурасаки — японское кото, нёго — кото «со». Очевидно, опасаясь, что принцесса не справится с новым для нее инструментом, он распорядился, чтобы ей принесли тот самый, на котором она всегда играла, и сам настроил его.

— Обычно кото «со» хорошо держит строй, но, когда играешь на нем, вторя другим инструментам, часто сбиваются кобылки. О них надо позаботиться заранее, но женщины, как правило, не умеют натягивать струны. Пожалуй, нам лучше позвать Удайсё. Наши флейтисты слыхом малы, у них едва достанет сил и на то, чтобы вести мелодию, — смеется Гэндзи и посылает за сыном.

Появление Удайсё повергает дам в замешательство и они сосредотачиваются, желая показать себя с лучшей стороны. Впрочем, и сам Гэндзи с трудом скрывает волнение: сегодня здесь собрались его лучшие ученицы (если не считать госпожи Акаси), и, разумеется, ему хочется, чтобы они оказались достойны его. За нёго бояться нечего, ей часто приходится играть на кото «со» перед самим Государем. Больше всего он беспокоится за госпожу Весенних покоев, которой досталось японское кото, инструмент несложный и, на первый взгляд, обладающий весьма ограниченными возможностями, но мало кому из женщин доступный, ибо для игры на нем не существует

твердых правил. Удастся ли госпоже приноровиться к звучанию остальных инструментов и не нарушить общего согласия?

Удайсё весьма взволновало приглашение участвовать в сегодняшнем музицировании, даже на торжественное музыкальное собрание во Дворце он не собирался бы с таким тщанием. Разумеется, он уделил особое внимание своей наружности, облачившись в великолепное платье и пропитав рукава чудесным ароматом. Пока он собирался, день преклонился к вечеру.

Цветы, освещенные мягким вечерним светом, кажутся особенно прекрасными, словно пушистые хлопья прошлогоднего снега белеют они на деревьях, и ветки гнутся под их тяжестью. Нежный ветерок разносит по саду приятельный аромат. Он соединяется с тонким запахом курений, будто обитатели этого дома и в самом деле надеются приманить соловья (305).

Выдвинув из-под занавесей край кото, Гэндзи говорит:

— Мне не хотелось бы обременять тебя просьбами, но не можешь ли ты подтянуть струны этого кото и настроить его? Ведь никого постороннего мы не можем впустить сюда.

Почтительно приняв кото, Удайсё старательно, весьма изящными движениями настраивает основную струну на тон «итикоцу»\*. Видя, что он медлит в нерешительности, Гэндзи просит:

— Сыграй же что-нибудь для начала. Да постарайся не обмануть наших ожиданий.

— О, я недостаточно искусен, чтобы играть сегодня здесь, — с нарочитой скромностью отвечает Удайсё.

— Может быть, ты и прав, — смеется Гэндзи, — но неужели тебе не жаль своего доброго имени? Люди станут судачить, что ты, потерпев поражение, позорно бежал от женщин.

Ловко пробежавшись пальцами по струнам и убедившись, что кото настроено хорошо, Удайсё спешит возвратить его.

Внуки Гэндзи, принаряженные ради такого случая, очень мило играют на флейтах, совсем еще по-детски, но чувствуется, что их ждет большое будущее.

Но вот инструменты настроены, и музицирование начинается.

Все дамы играют превосходно, но особенно прекрасно звучит бива. Госпожа Акаси применяет в основном старинные приемы, и струны поют чисто и мелодично.

Удайсё с не меньшим, чем Гэндзи, волнением прислушивается к голосу японского кото. Госпожа Весенних покоев касается струн удивительно мягко, извлекает из них звуки, поражающие необыкновенной яркостью и богатством оттенков. Вряд ли самый признанный мастер сыграл бы лучше. Трудно было представить себе, что японское кото обладает такими возможностями. Разумеется, достичь подобного мастерства можно лишь ценой многолетних усилий... Словом, госпожа играет прекрасно, и, совершенно успокоившись, Гэндзи лишь восхищенно внимает.

Кото «со», заполняя паузы, звучит благородно и изящно. Не нарушает общего согласия и китайское кото, уверенные и чистые звуки которого заставляют забыть о крайней неопытности исполнительницы. Да, видно, уроки Гэндзи не пропали даром. «Как прекрасно стала играть принцесса!» — восхищается Удайсё. Он подпевает, отбивая такт. Иногда, тихонько постукивая веером, поет и сам Гэндзи. Его голос, обретя с годами особую полноту

и значительность, звучит, пожалуй, прекраснее, чем в далекие дни его молодости. У Удайсё тоже весьма приятный голос.

Скоро опускается ночь, и в наступившей тишине музыка звучит еще проникновеннее. Стоит пора, когда луна появляется в небе довольно поздно, поэтому в саду зажигают фонари. Гэндзи украдкой взглядывает на принцессу: она прелестна, но так мала ростом, что совсем теряется в своих одеждах. Яркой ее красоту назвать нельзя, зато она привлекает тонкостью и благородным изяществом черт. Принцесса напоминает весеннюю плакучую иву, неспособную противостоять даже ветерку от соловьиных крыльев\*. Длинные волосы, словно нити ивовых веток, свисают вдоль щек, падая на шелковое хосонага цвета «вишня». Очевидно, именно такой и должна быть высокорожденная особа.

Нёго из павильона Павлонии отличается более яркой красотой, хотя и не уступает принцессе в изяществе. Облик ее проникнут неизъяснимым благородством. Так хороши бывают в утренний час глицинии, цветущие с весны до самого лета и потому не знающие соперниц. За последнее время нёго заметно располнела и, как видно, чувствует себя не совсем здоровой: отодвинув кото в сторону, она полулежит, облокотившись на скамеечку-подлокотник, причем она так мала, что вполне обычная скамеечка кажется слишком для нее высокой, и, глядя на ее трогательную фигурку, невольно хочется подарить ей скамеечку пониже. Тусклый огонь светильника освещает ее чудесные волосы, блестящей волной падающие на платье цвета «красная слива». Право же, в целом свете не найдешь больше такой красавицы.

На госпоже Мурасаки, судя по всему, темное лиловое платье и светлое красновато-коричневое хосонага. Пышные и блестящие волосы ниспадают до самого пола. Она среднего роста, и красота ее совершенна — от нее словно исходит чудесное сияние. Если сравнивать госпожу с цветами, то, пожалуй, уместнее всего окажется сравнение с цветущей вишней. Она и в самом деле превосходит других, в ее красоте есть что-то особенное.

Госпожа Акаси должна была совершенно потеряться в столь блестящем окружении, однако этого не произошло. Светлое спокойствие дышит в ее чертах, держится же она с пленительной простотой, свидетельствующей о тонком вкусе и несомненном внутреннем благородстве. На ней расшитое узорами хосонага цвета «ива» и, кажется, светло-зеленое платье; по полу тянется еле различимое мо из тончайшей ткани, но, несмотря на столь явное желание умалить свое значение\*, госпожа Акаси внушает невольное уважение всем, кто ее окружает. Из скромности она не садится на сиденье, обтянутое зеленой корейской парчой, а, положив на него бива, устраивается рядом. Движения ее руки, сжимающей плектр, так мягки и изящны, что заслуживают, пожалуй, даже большего внимания, чем звуки, ею из струн извлекаемые. Госпожу Акаси можно сравнить с веткой благоуханного померанца, на которой плоды соседствуют с цветами, того самого померанца, что ждет Пятой луны (103).

Удайсё так и подмывает заглянуть за занавеси, ибо, по всему судя, там собралось самое изысканное общество. Ему особенно хочется посмотреть на госпожу Весенних покоев, которая за эти годы стала, должно быть, еще прекраснее. При мысли о ней сердце его замирает от волнения.

Что касается Третьей принцессы, то ведь судьба едва не свела его с ней. Прояви он в свое время чуть большую настойчивость, она была бы теперь его супругой. Сам государь Судзаку неоднократно намекал ему на такую возможность. Впрочем, Удайсё не так уж и сожалел, что не воспользовался ею: у него были основания считать принцессу весьма легкомысленной особой, и, хотя презирать ее он не мог, она уже не возбуждала его любопытства. А госпожа Весенних покоев оставалась все такой же далекой и недоступной. Не имея средства выказать ей свою искреннюю, бескорыстную преданность, Удайсё только томился и вздыхал. Вместе с тем он умел владеть своими чувствами и никогда даже мысли не допускал...

Тем временем наступает глубокая ночь, и становится прохладно. Наконец в легкой дымке появляется луна, та, которую «ждут лежа»\*.

— Вот вам и весенняя туманная луна (69), — говорит Гэндзи. — Никак ее не дожدهшься... То ли дело осенью: звуки музыки, воедино собравшись, сплетаются (306) со стрекотом насекомых... О, в этом есть какое-то удивительное, неповторимое очарование.

— Да, это так, и кото, и флейта звучат особенно чисто и ярко осенней ночью, когда на небе ни облачка и все вокруг залито лунным светом, — отвечает Удайсё. — Но осенняя ночь таит в себе слишком много соблазнов: прекрасное небо, словно нарочно созданное для того, чтобы усилить впечатление, музыкой в сердце производимое, роса, блистающая на лепестках цветов... Взор невольно блуждает, устремляясь к одному предмету, к другому, мысли расстроены... Право, неизвестно, что лучше. Пожалуй, я все-таки предпочел бы весеннюю ночь, когда окрестности тонут в неверной дымке, сквозь которую пробивается мягкий лунный свет, а тихая музыка рождает в душе покой и умиротворение. Право же, в осенние вечера даже флейта звучит слишком пронзительно. В древности говорили: «Женщин волнует весна»\*, и это действительно так. Именно весенней ночью сливаются в сладостном согласии все звуки.

— Увы, извечный спор, — вздыхает Гэндзи. — Даже в древние времена люди не могли решить, чему отдать предпочтение. Что же говорить о нас, их недостойных потомках... Так или иначе, в музыке весенние тональности всегда выдвигались на первое место\*, поэтому, может быть, ты и прав.

— А что ты думаешь о сегодняшних исполнительницах? — спрашивает он. — В последнее время во Дворце часто появляется кто-нибудь из тех, кого почитают в мире даровитыми, то один старается усладить слух Государя, то другой, то подлинных мастеров становится все меньше. Даже прославившие лучшими из лучших — не потому ли, что им недостает глубины понимания? — вряд ли оказались бы на высоте, ежели им пришлось бы играть сегодня с этими весьма далекими от совершенства женщинами. Впрочем, может быть, за долгие годы затворничества у меня притупился слух и я перестал отличать хорошее от дурного? Досадно, если это так. Меня всегда удивляло, что люди, в нашем доме живущие, обнаруживают столь замечательные успехи как в науках, так и в других, самых ничтожных, казалось бы, областях. К примеру, что ты скажешь, сравнивая сегодня услышанное с игрой лучших придворных музыкантов?

— Я как раз хотел поделиться с вами своими соображениями, но не дерзнул, подумав, что столь несведущему человеку, как я... Мне кажется — впро-

чем, не потому ли, что я не знаком с великими музыкантами древности? — что в наши дни самой высокой оценки заслуживает игра Уэмон-но ками на японском кото и принца Хёбукё — на бива. До сих пор я не знал им равных, но, признаюсь, услышанное сегодня представляется мне не менее значительным. Я просто потрясен. Да и мог ли я ожидать, ведь я готовил себя к тихому вечеру в домашнем кругу... Боюсь только, что сам я был сегодня не в голосе. Мне всегда казалось, что один лишь Вышедший в отставку министр владеет японским кото настолько свободно, что может, приноравливая звучание его к тому или иному времени года, выразить в звуках тончайшие движения души. В руках же у остальных японское кото звучит, как правило, весьма бесцветно. Сегодня — тот редкий случай, когда мне удалось услышать действительно превосходную игру.

— О, ты преувеличиваешь, — говорит Гэндзи, самодовольно улыбаясь. — Впрочем, ученицы у меня действительно неплохие. Правда, если говорить о той, что играла на бива, то тут я не при чем. Но и ее манера игры значительно изменилась за последние годы. Впервые услышав игру этой особы на том диком побережье, я поразился — как необычно звучит бива в ее руках! Но и она играет теперь значительно лучше, — добавляет он, не упуская случая похвастаться, и прислужницы посмеиваются, подталкивая друг друга локтями.

— Когда начинаешь чему-нибудь учиться, становится ясно, что совершенствоваться в мастерстве можно бесконечно. Понимаешь, как трудно достичь даже такого уровня, какой удовлетворял бы тебя самого. Но разве это имеет значение? В наши дни мало кто способен проникнуть в подлинные глубины мастерства, поэтому те, кому удалось преуспеть хотя бы в какой-то узкой области, вправе гордиться собой. Исключением является, пожалуй, китайское кото. Овладение им сопряжено с такими трудностями, что никто и не пытается к нему подступиться. Когда-то в давние времена люди, которые, усвоив все возникшие до них приемы, достигали истинного мастерства, могли повелевать Небом и Землей, смягчать сердца демонов и богов, подчинять себе все существующие в мире звуки. Благодаря им самая глубокая печаль превращалась в радость, жалкие бедняки добивались высоких чинов, обретали почет и богатство. Этому есть неоднократные примеры в истории. До того как искусство игры на кото было воспринято в нашей стране, люди, желавшие проникнуть в его тайны, были готовы на все — проводили долгие годы в чужих землях, претерпевали лишения... Но даже им редко удавалось овладеть мастерством. Однако человек, достигавший желанной цели, умел приводить в движение луну и звезды, в любое время покрывать землю снегом и инеем, управлять тучами и громом. Все это бывало в давние, мудрые времена. Возможности китайского кото истинно безграничны, но трудно отыскать человека, способного в совершенстве овладеть им. А тем более в наши дни, когда близок век Конца Закона... Где найдете вы хотя бы жалкие осколки былых знаний? Некоторые все-таки пытались проникнуть в тайны мастерства, возможно услышав, что даже демоны и духи подвластны китайскому кото. Большинство потерпело неудачу, и, обратив свой гнев на кото, они стали предрекать несчастье всякому, кто возьмет его в руки. Может быть, поэтому теперь никто и не учится играть на нем. Печально, не правда ли? Ибо каким другим инструментом

руководясь, станем приводить в согласие звуки? Нынешние времена настолько измельчали, что всякий, кто, устремив сердце к возвышенному, покинет родину и, расставшись с родителями и детьми, станет скитаться по Китаю, Корее и прочим землям, непременно прослышет чудачком. Но разве нельзя попытаться усвоить необходимые начала, не прибегая к таким крайностям? Разумеется, овладение даже одной самой простой мелодией связано с неисчислимыми трудностями. А ведь помимо таких мелодий, существует немало сложнейших пьес. В годы моего увлечения игрой на китайском кото я изучил все имеющиеся в нашей стране записи. Мне удалось превзойти своих наставников, но до музыкантов древности далеко и мне. А о следующих поколениях и говорить не стоит. Как это ни печально, мне некогда передать свое мастерство.

«Увы, он прав!» — сокрушенно вздыхает Удайсё, чувствуя себя виноватым.

— Если хоть один из принцев оправдает мои надежды, — добавляет Гэндзи, — а моя жизнь окажется достаточно долгой, я с радостью передам ему свои скромные знания. Впрочем, Второй принц уже теперь обнаруживает незаурядные способности.

Услыхав его слова, госпожа Акаси плачет от радости.

Нёго ложится отдохнуть, передав кото «со» госпоже Весенних покоев, а та отдает Гэндзи японское кото. Снова звучит музыка, тихая, проникающая до самой глубины души. Сначала исполняют «Кадзураки»\*. Звонко, радостно поют струны кото. Гэндзи дважды повторяет песню, его голос необыкновенно чист и мелодичен. На небо медленно выплывает луна, и озаренные ее сиянием цветы словно становятся ярче и благоуханнее. Воистину прекрасный миг!

В руках у нёго кото «со» звучало чарующе нежно, особенной глубиной и чистотой отличались дрожащие звуки\*, во многом чувствовалось влияние матери. Госпожа Мурасаки играет совершенно в другой манере. Ее пальцы извлекают из струн звуки, поражающие удивительной мягкостью, певучестью и таким богатством оттенков, что слушатели с трудом скрывают волнение. Приемом «колесо»\*, равно как и прочими, госпожа пользуется так умело, что не остается никаких сомнений в ее поистине поразительном мастерстве. Вот меняется лад — и разом меняется звучание всех инструментов: в ладу «рити» они звучат особенно нежно и по-современному изысканно. Что касается принцессы, то ей удается весьма успешно справиться с созвучиями Пятой и Шестой ступеней\*, самыми сложными среди Пяти напевов\* и потому требующими от исполнителя особого внимания. Уверенно и чисто звучит китайское кото в ее руках. Весенние, осенние и прочие мелодии исполняются именно в той манере, в которой они должны исполняться. Словом, она проявляет себя столь старательной и понятливой ученицей, что Гэндзи вправе ею гордиться.

Мальчики тоже прекрасно играют на флейтах, чрезвычайно трогательные в своем усердии.

— Наверное, вы устали и хотите спать, — говорит Гэндзи. — Я полагал, что мы разойдемся довольно рано, но все играли так хорошо, что хотелось слушать еще и еще. К тому же мой несовершенный слух не мог уловить сразу, в чем превосходство одной исполнительницы перед другой. А тем временем и ночь настала. Право, весьма неразумно с моей стороны...



Поднеся чашу с вином мальчику, игравшему на «сё», Гэндзи дарит его платьем со своего плеча. Игравший на поперечной флейте получает вознаграждение от госпожи Мурасаки, впрочем, довольно скромное — вышитое хосонага и женские хакама.

Третья принцесса, в свою очередь, присылает чашу вина и полный женский наряд для Удайсё.

— Вот не ожидал! — восклицает Гэндзи. — Разве не наставнику своему вы должны воздать первые почести? Обидно!

Тогда из-за занавеса, за которым сидит принцесса, выносят флейту. Гэндзи принимает ее с улыбкой. Это превосходный корейский инструмент. Он играет короткую мелодию, и гости начинают расходиться. Один Удайсё задерживается и, взяв флейту сына, играет какую-то невыразимо прекрасную мелодию.

Все участницы сегодняшнего музицирования — ученицы Гэндзи, всем им он передал сокровеннейшие свои приемы, и все они достигли поистине непревзойденного мастерства. Сколь же велики его собственные дарования!

Взяв с собой обоих мальчиков, Удайсё поехал домой по дороге, залитой лунным светом. В его ушах все еще звучал нежный, сладостный голос кото «со», и сердце томительно и грустно сжималось. Его супруга училась музыке у госпожи Оомия, но принуждена была расстаться со своей наставницей прежде, чем проникла в тайны мастерства, и особых успехов не достигла. Стесняясь своей неумелости, она никогда не играла в присутствии супруга. Да и вообще она не отличалась особой изысканностью, зато была простодушна, кротка и все свое время отдавала появлявшимся один за другим детям. Иногда, правда, у нее бывали внезапные вспышки ревности или гнева, но они скорее умиляли Удайсё.

Гэндзи перешел в Весенние покои, а госпожа, задержавшись у Третьей принцессы, долго беседовала с ней и вернулась только к рассвету. В тот день они не вставали до тех пор, пока не поднялось солнце.

— Как вам понравилась игра принцессы? — спрашивает Гэндзи. — Помоему, она справилась вовсе не дурно.

— Откровенно говоря, я не ожидала, что ей удастся достичь столь замечательных успехов. Когда-то давно я мельком слышала ее игру, но тогда она не произвела на меня особого впечатления. Впрочем, чему тут удивляться? Ведь вы отдавали ей все свое время.

— Да, это так. Я просто за руку ее водил. Вряд ли вы найдете более надежного наставника. Учить игре на китайском кото — занятие довольно утомительное, да и времени отнимает много, поэтому я и не учил никого из вас. Возможно, я не взялся бы учить и принцессу, но, кажется, государь из дворца Судзаку, да и нынешний Государь тоже, возлагают на меня большие надежды именно в этом отношении. Вправе ли я обманывать их ожидания? В конце концов должен ведь государь увидеть, что не зря доверил мне свою любимую дочь.

В те дни, когда вы были совсем еще юным и неопытным существом, я, обремененный многочисленными обязанностями, почти не оставлявшими мне досуга, не мог уделять достаточного внимания вашему обучению. Признаюсь, я пренебрегал вами и потом, ибо всегда находилось что-то, что от-

влекало меня, требуя непременно моего участия. Но какой гордости, какой радости преисполнилось мое сердце вчера, когда я услышал вашу игру! А как был потрясен Удайсё!

В самом деле, мудрено представить себе более совершенную особу. Достигнув непревзойденного мастерства в музыке и прочем, госпожа была безупречна и в неусыпной заботливости о благополучии внуков своих. «Люди, столь многими достоинствами отмеченные, обычно ненадолго задерживаются в этом мире», — думал Гэндзи, и сердце его сжималось от недобрых предчувствий.

Многих женщин встречал он на своем веку и понимал, как трудно отыскать такую, которая совершенно не имела бы недостатков.

В том году госпоже Весенних покоев исполнялось тридцать семь лет\*. Однажды, с умилением вспоминая вместе прожитые годы, Гэндзи сказал:

— В нынешнем году вам следует быть осторожнее и больше времени отдавать молитвам. У меня слишком много забот, и я могу что-нибудь упустить. Постарайтесь же ничего не забыть. Если вы сочтете, что необходимо отслужить особые молебны, скажите мне, и я отдам соответствующие распоряжения. Как жаль, что почтенный Содзу\* уже покинул этот мир. Разве может кто-то его заменить?

В детстве меня баловали больше других детей, да и теперь я удостоился почестей, какие мало кому выпадают на долю. Но немногим пришлось изведать столько горестей, сколько извещал я. В самом юном возрасте я был покинут всеми, кто меня любил, да и позже у меня находилось немало причин для печали. Я знаю, что повинен в тяжком преступлении, но, увы, скольких душевных мук оно мне стоило, какое смятение внесло в мою жизнь! Не исключено, что именно за эти страдания я и был вознагражден удлинением жизненного срока, ибо никогда не предполагал, что проживу так долго. Ваша же жизнь была омрачена разве что нашей разлукой, ни до нее, ни после вы не знали ни сердечных забот, ни печалей. А ведь их приходится испытывать всем, даже государыням, не говоря уже о простых женщинах. Вы не можете себе представить, как много огорчений выпадает на долю тех, кто живет в Высочайших покоях, где царит дух соперничества и зависти. Я не знаю женщины, чья жизнь была бы спокойнее вашей, ведь в этом доме о вас всегда заботились так, как не всякий станет заботиться и о любимой дочери. Задумывались вы когда-нибудь над тем, что ваша судьба оказалась счастливее многих? Разумеется, неожиданное появление в нашем доме Третьей принцессы не могло не уязвить вас, но неужели вы не видите, что моя привязанность к вам с тех пор лишь умножилась? Увы, люди часто не замечают того, что имеет к ним самое прямое отношение. Впрочем, скорее всего я ошибаюсь, ведь вы так проницательны...

— О я понимаю, кому-то и в самом деле может показаться, что на мою долю выпало куда больше счастья, чем я, ничтожная, заслуживаю. Но знаете ли вы, какая горечь живет в моей душе? Иногда мне кажется, что больше нет сил терпеть, и только благодаря молитвам...

Очевидно, госпоже о многом еще хотелось рассказать Гэндзи, но она замолкла, не зная, стоит ли... Как же прекрасна была она в тот миг!

— Не буду скрывать от вас, — продолжает она наконец, — я чувствую, что жить мне осталось немного. Разумно ли в этом году вести себя так, будто

не ведаешь о грозящей опасности? О, когда бы вы разрешили мне осуществить задуманное...

— Нет, не могу, не просите меня об этом. Для чего мне жить, если вы покинете меня? Пусть унылой, однообразной чередой проходят луны и годы, мне довольно того, что я вижу вас каждый день, каждую ночь. Большей радости я не знаю. Есть что-то необыкновенное в моем чувстве к вам, и я хочу, чтобы в моем сердце ничего не осталось для вас неизведанного.

Заметив, что госпожа, огорченная новым отказом, едва удерживается от слез, Гэндзи постарался перевести разговор на другое, дабы отвлечь ее от мрачных мыслей.

— Не могу сказать, что перед моими глазами прошло великое множество женщин, но их было довольно, чтобы понять: каждая имеет свои достоинства и вместе с тем чрезвычайно трудно найти по-настоящему добросердечную и великодушную.

Я был совсем юн, когда начал встречаться с матерью Удайсё. Я почитал ее и никогда бы не решился оставить. Но лада меж нами не было, мы всегда были друг другу чужими, так чужими и расстались. Право, печально. Я часто чувствую себя виноватым, но полно, только ли моя здесь вина? Она была знатна и прекрасна, лучшей супруги и желать невозможно. Но меня угнетала ее чопорность, надменность: в ее присутствии я всегда чувствовал себя принужденно. Она была надежной супругой, но часто видеться с ней было чересчур утомительно.

Миясудокоро, мать Государыни-супруги, отличалась необыкновенной душевной тонкостью и изяществом. Это первое, что вспоминается, когда о ней думаешь. Но какой же тяжелый нрав был у этой женщины! Не отрицаю, основания обижаться у нее были, но иметь дело с особой, которая молча копит в душе обиды, которой злопамятность переходит все мыслимые пределы, — что может быть мучительнее? Робея перед ней, я никогда не чувствовал себя с ней свободно. Ее церемонность и моя скованность лишали наши вседневные отношения дружеской теплоты и близости. Возможно, я и сам слишком заботился о соблюдении внешних приличий, пугаясь одной мысли, что любое мое движение в сторону большей непринужденности и естественности делает меня смешным в ее глазах. Так или иначе, постепенно мы совсем отдалились друг от друга. Я очень сочувствовал ей, видя, сколь тяжело переживает она потерю как доброго имени своего, так и прежнего значения в мире. Разумеется, с ней нелегко было ладить, но в том, что произошло, была ведь и моя вина. Я хорошо понимал это, но изменить ничего не мог. Чтобы хоть как-то искупить свою вину, я взял на себя заботы о ее дочери. Несомненно, предопределение этой юной особы было достаточно высоко, но нельзя отрицать и моих заслуг. Я сделал все от меня зависящее, дабы упрочить ее положение, не обращал внимания на хулу и обиды, и надеюсь, что ее мать хотя бы теперь, находясь в ином мире, переменила свое отношение ко мне. О да, как часто в угоду случайным своим прихотям совершал я поступки, которые имели весьма несчастные последствия для других и заставляли мучиться раскаянием меня самого.

— К госпоже Акаси я отнесся поначалу с некоторым пренебрежением, считая, что столь незначительная особа вряд ли способна затронуть мое сердце, — продолжает Гэндзи. — Но оказалось, что душа ее поистине без-

донна, достоинства же неисчерпаемы. Кроткая и послушная внешне, она обладает удивительной твердостью духа, которая не может не внушать почтение.

— Других я не имела чести знать и не берусь судить об их достоинствах и недостатках, — отвечает госпожа, — но с госпожой Акаси я иногда, хоть и редко весьма, встречаюсь, и меня неизменно поражает удивительное внутреннее благородство и утонченность этой женщины. Боюсь, что я рядом с ней могу показаться простоватой. И только уверенность в снисходительности нёго...

Гэндзи радовался, что любовь к нёго заставила госпожу Мурасаки не только примириться с существованием госпожи Акаси, которая прежде возбуждала такую неприязнь в ее сердце, но и подружиться с ней.

— Что касается вас, — говорит он, — то, хотя мне до сих пор так и не удалось проникнуть во все тайники вашей души, я не могу отказать вам в удивительном умении приноравливаться к людям и обстоятельствам. Среди всех женщин, о которых я говорил, нет ни одной, похожей на вас. Жаль только, что иногда вам изменяет сдержанность... — улыбнувшись, добавляет он.

К вечеру Гэндзи уходит.

— Я должен поблагодарить принцессу за превосходную игру.

Тем временем принцесса прилежно играет на кото, юная и прелестная, как всегда. Ей и в голову не приходит, что кто-то может страдать из-за нее.

— Мне кажется, мы оба заслуживаем отдых, — говорит Гэндзи. — Ваш старый учитель весьма вами доволен. Наш труд не пропал даром, теперь за вас можно не беспокоиться.

Отодвинув в сторону кото, они удаляются в опочивальню.

Обычно, когда Гэндзи уходил, госпожа долго не ложилась, и дамы читали ей старинные повести. В этих повестях, рассказывающих о разных событиях, в нашем мире происходящих, часто говорилось о непостоянных, помышляющих лишь об удовольствиях мужчинах и о страдающих от их вероломства женщинах. И все же в большинстве случаев все они обретали в конце концов опору в жизни. «А в моей судьбе все так зыбко! — думала госпожа. — Возможно, господин прав и мне действительно повезло больше других. Но неужели я уйду из мира, так и не сумев освободиться от мучительной горечи, сжигающей сердце! О, это невыносимо!»

Поздней ночью она наконец легла, а на рассвете почувствовала сильные боли в груди. Прислужницы, поспешившие к ней на помощь, предложили извести господина, но госпожа решительно запретила им это делать, и, превозмогая мучения, дождалась утра. Ей становилось все хуже, тело горело. Гэндзи же не появлялся, а дамы не решались послать за ним.

Скоро пришел посланный от нёго, и ему сообщили, что госпожа заболела. Встревожившись, нёго сама известила Гэндзи, и он поспешил в Весенние покои, где застал госпожу в весьма тяжелом состоянии.

— Что с вами? — Он провел рукой по ее телу и обнаружил, что у нее жар. Вспомнив их недавний разговор, Гэндзи испугался.

Подали жидкую рисовую кашу, но она и смотреть на нее не могла.

Целый день Гэндзи не отходил от ложа больной, любовно ухаживая за ней. Она с отвращением отказывалась от самой легкой пищи, даже от плодов и совсем не вставала.

Шли дни. Охваченный мучительным беспокойством, Гэндзи заказал молебны во всех храмах. В дом призвали монахов, чтобы они произносили соответствующие заклинания и творили оградительные обряды. Госпожу мучили боли, чаще всего весьма неопределенные, но иногда у нее снова начинала сильно болеть грудь, и тогда она так страдала, что один вид ее возбуждал нестерпимую жалость в сердцах окружающих. Никакие молитвы не помогали. Даже у самых тяжелых больных бывают временные улучшения, позволяющие надеяться на благоприятный исход, но состояние госпожи не менялось, и это приводило Гэндзи в отчаяние. Он не мог думать ни о чем другом, и разговоры о чествовании государя из дворца Судзаку затихли. Государь же, узнав о болезни госпожи Весенних покоев, часто присылал гонцов, чтобы справиться о ее состоянии.

Так миновали две луны. Сверх меры встревоженный Гэндзи, надеясь, что перемена места окажет на больную благотворное влияние, перевез ее на Вторую линию. В доме на Шестой линии царило смятение. Разлука с госпожой опечалила многих. Слухи о болезни госпожи Весенних покоев дошли до государя из дворца Рэйдзэй и чрезвычайно огорчили его. Удайсё и прочие тоже были обеспокоены. «Если госпожи не станет, господин непременно осуществит свое давнее желание и примет постриг», — думали они и заказывали дополнительные молебны.

— О, для чего вы не разрешили мне... — вздыхала госпожа в те редкие мгновения, когда сознание ненадолго возвращалось к ней, но мысль о том, что она наденет монашеское платье, ужасала Гэндзи даже больше, чем мысль о последней разлуке, которая, увы, все равно неизбежна.

— Я и сам давно хочу уйти от мира, — говорил он, — но мне слишком тяжело оставлять вас одну, я не могу быть причиной ваших страданий. Так неужели вы решитесь покинуть меня?

Однако госпожа слабела с каждым днем, надежды на улучшение не было, и часто казалось, что она вплотную приблизилась к последнему пределу. Погруженный в бездну уныния, Гэндзи перестал навещать Третью принцессу. Звуки струн никого уже не привлекали, кото и бива были спрятаны, домочадцы Гэндзи последовали за ним на Вторую линию, и в доме на Шестой линии остались одни дамы. Казалось, будто в покоях внезапно погас огонь.

Можно было подумать, что весь дом держался на одной госпоже. Нёго тоже переехала на Вторую линию и вместе с Гэндзи ухаживала за больной.

— Боюсь, как бы злые духи не воспользовались вашим положением. Лучше поскорее возвращайтесь во Дворец, — забывая о собственных страданиях, говорила госпожа и, глядя на прелестную маленькую принцессу, плакала.

— Как жаль, что я не увижу ее взрослой! — сокрушалась она. — Наверное, она очень скоро забудет обо мне.

Нёго не могла сдержать слез.

— Вы не должны так думать! — рассердился Гэндзи. — Теперь это не к добру. Всегда следует надеяться на лучшее. Судьба человека зависит и от его душевных качеств. Людям талантливым, с широким взглядом на мир, обычно сопутствует удача, люди же ограниченные, даже будучи вознесенными судьбой достаточно высоко, редко обретают душевный покой и живут в до-

вольстве. Жизнь людей нетерпеливых, как правило, полна превратностей, люди же спокойные, уравновешенные живут дольше других. Я знаю тому немало примеров.

Зывая к буддам и богам, Гэндзи превозносил заслуги больной и напоминал о том, сколь незначительны ее прегрешения. Все кто был рядом — достопочтенные священнослужители, адзари, призванные в дом для свершения обрядов, ночные монахи, видя, сколь велико его горе, не скрывали своего сочувствия и неустанно возносили молитвы.

Иногда на пять или шесть дней больной становилось лучше, но тут же снова наступало ухудшение. Так шли дни и луны. «Что с нею станется? Неужели никакой надежды?» — печалился Гэндзи. Злые духи никак не обнаруживали своего присутствия. Нельзя было сказать, что послужило причиной недомогания. Просто госпожа с каждым днем слабела, повергая сердце Гэндзи в отчаяние.

Да, вот еще что: Уэмон-но kami получил звание тюнагона. Он пользовался особой благосклонностью нынешнего Государя, и был в зените своей славы. Но, увы, ни чины, ни почести не могли исцелить его от тоски. В конце концов он вступил в союз со Второй принцессой, старшей сестрой Третьей. Матерью Второй принцессы была кои довольно низкого ранга, и Уэмон-но kami относился к супруге с некоторым пренебрежением. Разумеется, она во всех отношениях была выше обычных женщин, но его сердцем еще владело прежнее чувство, и мог ли он утешиться, глядя на эту гору Обасутэ (307)? Заботясь о ней, он лишь отдавал дань приличиям.

По-прежнему томимый тайной тоской, Уэмон-но kami не терял связи с особой по прозванию Кодзидзю. Она была дочерью кормилицы Третьей принцессы, которую называли Дзидзю. Дзидзю же приходилась младшей сестрой кормилице Уэмон-но kami, поэтому ему были хорошо известны все подробности жизни принцессы. Он знал, как прелестна она была ребенком, как любил ее государь. Возможно, уже тогда и устремилось к ней его сердце...

Предполагая, что теперь, когда хозяин изволит пребывать в другом месте, в доме на Шестой линии безлюдно и тихо, Уэмон-но kami снова вызвал к себе Кодзидзю и принялся ее упрашивать.

— Твоя госпожа давно уже владеет моими думами, и жизнь без нее мне постыла, — говорит он, вздыхая, — ты всегда была меж нами посредницей, я доверял тебе и надеялся на тебя. От тебя я знал о том, как она живет, через тебя мог поведать ей о своей нестерпимой тоске. Увы, надеялся я напрасно, меня ждало жестокое разочарование. Но боюсь, что и сам государь из дворца Судзаку не совсем доволен тем, как сложилась судьба его дочери. Вряд ли ему неизвестно, что принцесса, оттесненная другими особами, живущими на попечении господина бывшего министра, занимает в доме на Шестой линии весьма незавидное положение, что ей часто приходится коротать ночи в унылом одиночестве, что она скучает и печалится...

Говорят, он рассказывает и жалеет, что не отдал принцессу другому, ибо если уж отдавать дочь простому подданному, то следует по крайней мере выбрать того, кто будет заботиться о ней сообразно ее званию. Мне передавали также, будто он изволил заметить, что Второй принцессе, по его мнению, повезло куда больше и за ее будущее он спокоен. Ты себе предста-

вить не можешь, как мне больно, как обидно слушать подобные разговоры! О, я просто в отчаянии! Я нарочно взял себе в супруги ее сестру, но разве может одна заменить другую?

— Не слишком ли многого вы хотите? Как можно, пренебрегая одной, думать о другой! Не чрезмерны ли ваши притязания?

— О, ты совершенно права, — улыбается Уэмон-но ками. — Но ведь ее отец и нынешний Государь знали о том, что я, недостойный, позволил себе возыметь подобное желание, и, как мне передавали, у них не было возражений. Кажется, государь из дворца Судзаку говорил: «Почему бы и нет?» О, если бы ты приложила чуть больше усилий...

— Поверьте, это было невозможно. Не знаю, позволительно ли называть это предопределением или нет, но только когда бывший министр с Шестой линии обратился к государю, у того не возникло никаких сомнений. Да и мог ли он предпочесть вас? Вы занимали слишком незначительное положение, и до бывшего министра вам было далеко. Это теперь вы стали важной особой, и ваше платье потемнело, а тогда...

Резкий тон Кодзидзю не оставлял Уэмон-но ками никакой надежды и, не решаясь открыться ей до конца, он говорит:

— Оставим этот разговор. Что толку ворошить прошлое? Единственное, о чем я прошу тебя: предоставь мне возможность непосредственно высказать принцессе хоть малую толику того, что накопилось у меня на душе. Более благоприятного случая не будет. Поверьте, я смирился и ни о чем предосудительном не помышляю. Посмотри же на меня. Неужели ты не видишь, что я не способен на дурное?

— Ни о чем предосудительном? А что может быть предосудительнее того, о чем вы просите? — недовольно отвечает Кодзидзю. — Боюсь, вы задумали недоброе. Лучше бы я не приходила сюда.

— О, не говори так. Ты всегда преувеличиваешь. В мире нет постоянства. Разве с супругами самого Государя никогда не случалось подобного? А когда речь идет о принцессе... Разумеется, ее положение в мире высоко, но, судя по всему, и у нее есть немало причин сетовать на судьбу. Она всегда была любимицей государя Судзаку и привыкла к тому, что на ней сосредоточены все его попечения, может ли она чувствовать себя счастливой, живя среди особ гораздо более низкого звания? Как видишь, мне все известно. Мир так изменив, не пытайся же уверить меня в том, что все решено раз и навсегда.

— Но подумайте, разве может принцесса вступить в другой, более удачный союз только потому, что ею пренебрегают? К тому же ее положение в доме с самого начала не совсем обычно. Она была слишком беспомощна, не имела надежного покровителя, вот государь и рассудил, что министр с Шестой линии сумеет заменить ей отца. Именно это наложило на их отношения особый отпечаток. Поэтому весьма дурно с вашей стороны... — Кодзидзю рассердилась ни на шутку и, пытаясь успокоить ее, Уэмон-но ками говорит:

— Помилуй, я вовсе не надеюсь, что принцесса, имеющая столь несравненного супруга, предпочтет ему меня, человека более чем заурядного. Но почему мне нельзя сказать ей через ширму всего несколько слов? Не считается же грехом поверять мысли богам и буддам?

Он пылко клялся, что не позволит себе ничего дурного, и хотя сначала Кодзидзю решительно отказала ему... Увы, она и сама была еще молода и неопытна. Могла ли она противиться человеку, готовому пожертвовать жизнью ради исполнения своего желания?

— Хорошо, я постараюсь помочь вам, если удастся улучшить миг... Вот только удастся ли? Когда господина нет, в покоях принцессы ночуют почти все прислужницы, ее никогда не оставляют одну. Так что я не могу ничего обещать.

И, весьма раздосадованная, Кодзидзю уехала.

— Ну что? Ну как? — каждый день докучал ей Уэмон-но ками, и наконец, когда обстоятельства сложились, по ее мнению, наиболее благоприятным образом, она известила его. Вне себя от радости, он поспешил на Шестую линию, стараясь никому не попадаться на глаза. Уэмон-но ками сознавал, что поступает дурно, и не помышлял о многом, понимая, что это лишь умножит его страдания. Ему просто хотелось поближе увидеть ту, чей образ неотвязно преследовал его с того весеннего вечера, когда случайно мелькнул перед ним край ее платья. Он надеялся, что, высказав принцессе свои чувства, сумеет пробудить в ее душе жалость и, быть может, она удостоит его несколькими словами...

Стояли десятые дни Четвертой луны. На завтра была назначена церемония Священного омовения\* и прислужницы принцессы с ног сбились, готовясь к этому событию. Двенадцати ее дамам выпала честь сопровождать жрицу Камо, менее знатные молодые дамы и девочки-служанки занимались шитьем и наведением красоты, собираясь ехать любоваться процессией, так что в покоях принцессы было тихо и безлюдно. Госпожу Адзэти, одну из самых близких прислужниц принцессы, вызвал иногда посещавший ее Гэнтюдзё, и, когда она удалилась, рядом с госпожой осталась одна Кодзидзю. «Другого такого случая не дождешься!» — подумала она и потихоньку провела Уэмон-но ками к восточной части полого. Ах, лучше бы она этого не делала!

Принцесса легла, ни о чем не подозревая, заметив же рядом какого-то мужчину, подумала: «Наверное, приехал господин». Каков же был ее ужас, когда этот мужчина робко взял ее на руки и спустил с ложа! «Не злой ли дух?» — испугалась она и отважилась взглянуть: перед ней совсем не господин, а какой-то незнакомец. Склонясь к ней, он бормотал что-то невразумительное. Принцесса совсем растерялась. Она позвала дам, но рядом никого не было, и на зов никто не откликнулся. Бедняжка дрожала, почти теряя сознание от страха, тело ее покрывалось испариной. Какой прелестной и трогательной казалась она Уэмон-но ками!

— О, я хорошо понимаю, сколь я ничтожен, — говорит он, — но мне казалось, что я вправе рассчитывать на большее сочувствие. Когда-то я позволил себе увлечься дерзкою мечтой. Схорони я ее в тайниках души, она, возможно, осталась бы там навсегда. Но, к несчастью, я посмел заговорить о своих чувствах, когда же слух о них дошел до вашего отца, он ничем не выдал своего неодобрения моему искательству и тем самым подал мне некоторую надежду. Но, увы, меня ждало разочарование — я был отвергнут только потому, что мое звание оказалось недостаточно высоко, хотя, поверьте, никто не мог любить вас сильнее. «Что толку терзаться теперь?» — подумал



я и смирился, но, очевидно, чувство успело овладеть моей душой. Во всяком случае, время не исцелило меня, напротив, с каждым днем возрастала моя печаль, горькой досадой наполнилось сердце, я грустил и тосковал невыразимо. Наконец, не в силах более сдерживаться, я дерзнул предстать перед вашим взором. Я понимаю, сколь безрассудно мое поведение, но вам нечего бояться, я не собираюсь усугублять свою вину.

Догадавшись, кто перед ней, принцесса в ужасе отшатывается, не в силах вымолвить ни слова.

— Мне понятно ваше недоумение, но, скажите, разве в мире никогда не случилось ничего подобного? — настаивает Уэмон-но kami. — Я в отчаянии от вашей холодности. Неужели вы не понимаете, что повергаете мое сердце в еще большее смятение? Довольно одного слова участия, и я уйду успокоенный.

Вчуже принцесса представлялась Уэмон-но kami особой гордой и неприступной, мысль о том, что он увидит ее совсем близко, повергала его в трепет. «Я ведь только приоткрою ей свою душу, не позволив себе ничего, о чем пришлось бы потом сожалеть», — думал он. Но вместо надменной красавицы — перед ним существо милое, нежное и кроткое, пленяющее необыкновенным изяществом и совершенно не похожее на его супругу. Забыв о том, что собирался держать себя в руках, он окончательно теряет голову. «О, если б я мог увезти ее куда-нибудь и вместе с ней исчезнуть из мира, не оставив никаких следов...»

Задремал ли он или просто забылся на миг, но только привиделась ему та самая прирученная им кошечка. Нежно мяукая, она подошла к нему. «Неужели я привез ее, чтобы подарить принцессе? — изумился Уэмон-но kami. — Но зачем?...» Тут он очнулся, недоумевая: «К чему бы?...»\*

Принцесса не помнит себя от ужаса. «Неужели все это наяву?» — думает она, и необъяснимая тяжесть ложится ей на сердце.

— Вы должны видеть в сегодняшней встрече знак неразрывной связанности наших судеб, — говорит Уэмон-но kami. — О, мне и самому кажется, что я лишь грежу...

Он напоминает ей о том вечере, когда веревка, которой была привязана кошка, натянувшись, приподняла край занавеса. «Значит, и в самом деле...» — вздыхает принцесса. Право, можно ли иметь худшее предопределение?

«Как посмотрю я теперь в глаза господину?» — ужасается она и по-детски навзрыд плачет. Уэмон-но kami, изнемогая от жалости и раскаяния, утирает ей слезы своими рукавами, которые тут же промокают до нитки.

Но вот небо светлеет, пора уходить, но куда? Ах, лучше бы он вовсе не приходил!

— Что же мне делать? Вы должны ненавидеть меня, и вряд ли мы встретимся снова. О, прошу вас, скажите хоть что-нибудь! — молит он, но растерянная, трепещущая принцесса не в силах вымолвить ни слова.

— Когда вы так молчите, меня охватывают самые мрачные предчувствия! — пеняет он ей. — Ваша жестокость поистине беспримерна! Для чего мне теперь жизнь? Я без колебаний расстался бы с нею. До сих пор в ней был хоть какой-то смысл... Впрочем, слишком больно думать, что этот вечер последний. С какой радостью отдал бы я жизнь за малейший знак участия...

Взяв принцессу за руки, Уэмон-но kami выходит из опочивальни.

«Что он еще задумал?» — в страхе думает она. Раздвинув стоявшую в углу ширму и загородив ею принцессу, Уэмон-но ками открывает дверь. Дверь же южной галереи, через которую он вошел вчера, так и осталась открытой. Еще совсем темно, но, страстно желая увидеть лицо принцессы, он тихонько приподнимает решетку.

— Ваша холодность сводит меня с ума. Одно ваше слово, и я сумел бы обрести присутствие духа. Неужели вы не пожалеете меня? — умоляет он.

Принцесса пытается ответить, но, скованная ужасом, только дрожит всем телом, словно малое дитя. Между тем становится совсем светло.

— Вероятно, мне следовало бы рассказать вам об одном удивительном сне, невольно запавшем мне в душу, — говорит раздосадованный Уэмон-но ками. — Но раз мое присутствие так неприятно вам... Кто знает, может быть, скоро вы и сами догадаетесь, что я имею в виду. — С этими словами он поспешно выходит.

Ах, даже осенью небо не бывает таким печальным, как в этот предрасветный час!

— Где же теперь,  
В каком небе блуждать придется?  
В предутренний час  
Упала — откуда, не знаю —  
Роса на мои рукава... (308, 309) —

сетует он, вытянув рукав своего нижнего платья.

Принцесса же, увидав, что он наконец уходит, вздыхает с облегчением и еле слышно отвечает:

— О, если б могла  
Я затеряться бесследно  
В предутреннем небе,  
Чтоб эта ночь забылась  
Как мимолетный сон...

Уэмон-но ками почти вышел, когда раздался ее нежный, едва ли не детский голосок, и ему показалось, что душа его в самом деле покинула тело (310).

Никакого желания встречаться со Второй принцессой у Уэмон-но ками не было, поэтому, стараясь никому не попадаться на глаза, он поехал к Вышедшему в отставку министру. Приехав же, лег, но долго не мог уснуть. «Неужели тот сон сбудется? — думал он. Эта мысль лишала его покоя, но увиденную во сне кошку он вспоминал скорее с нежностью. — Какое тяжкое преступление я совершил! Как же мне жить теперь?» Изнемогая от стыда и страха, Уэмон-но ками почти не выходил из дома.

Последствия его непростительной дерзости могли быть ужасны — не только для принцессы, но и для него самого. Мучимый раскаянием, он не решался искать утешения в доме на Шестой линии.

Наверное, так же страдал бы человек, соблазнивший супругу Государя и навлекший на себя осуждение молвы, даже смерть счел бы он избавлением. Вина Уэмона-но ками была не столь велика, но одна мысль об укоризненном взгляде Гэндзи повергала его в отчаяние.



Под благородной, изящной наружностью часто скрываются низменные желания. Самые знатные дамы могут быть в душе своей любопытны, и достаточно решительный мужчина без труда сумеет добиться их благосклонности. Принцесса же была слишком неопытна и робка. Ей казалось, что всем уже известно о случившемся, она избегала дневного света и целыми днями сидела в опочивальне, сокрушаясь о злополучной своей судьбе.

Слух о том, что принцесса как будто нездорова, дошел до Гэндзи. Имея и без того довольно оснований для беспокойства, он встревожился и поспешил в дом на Шестой линии.

Принцесса не испытывала никакого определенного недомогания, но была крайне чем-то подавлена, сторонилась Гэндзи и не решалась встречаться с ним взглядом. Полагая, что она просто обижена — ведь он не навещал ее так долго, — Гэндзи стал рассказывать ей о состоянии госпожи Весенних покоев.

— Боюсь, что жить ей осталось совсем немного. Мне не хотелось бы огорчать ее своей невнимательностью. Она была ребенком, когда появилась в моем доме, и я не в силах ее оставить. Все эти луны я забывал обо всем, ухаживая за ней. Но пройдет время, и вы поймете...

Видя, что он пребывает в полном неведении, принцесса еще больше страдала и, мучимая сознанием своей вины, тихо плакала украдкой.

А уж об Уэмон-но ками и говорить нечего. Ему никогда не бывало так тяжело. Тоска не отпускала его ни днем, ни ночью. Шли дни, а он был все так же безутешен.

В день праздника Камо друзья, радостно возбужденные предстоящими развлечениями, приходили к нему один за другим и звали его с собой, но он сказался больным и до вечера просидел в опочивальне, отдавшись глубочайшей задумчивости. К супруге своей он относился с подобающим ее рангу почтением, однако доверительности меж ними не было, он избегал ее и большую часть времени проводил в своих покоях, томясь от безотчетной тоски.

Заметив листья мальвы в руке девочки-служанки, Уэмон-но ками подумал:

«Ах, для чего  
Сорвал я желанные листья  
Запретной мальвы?  
Ведь не дозволили боги  
Украсить ими прическу...»

Впрочем, и эта мысль не принесла ему облегчения, скорее напротив.

Издалека доносился грохот спешащих на праздник карет. Прислушиваясь к нему как к чему-то совершенно постороннему, Уэмон-но ками в тоскливом бездействии провел этот день, показавшийся ему бесконечным. Но винить было некого.

Дурное настроение супруга не укрылось от взора Второй принцессы. Не зная, что послужило тому причиной, она обижалась, сердилась и в конце концов тоже погрузилась в уныние. Все прислуживающие ей дамы отправились на праздник, в доме было тихо и безлюдно. Принцесса печально перебирала струны кото «со», движения ее были благородны и изящны, но, отдавая должное ее красоте, Уэмон-но ками не переставал сетовать на судьбу, связавшую его не с той, к которой стремились его думы. Разумеется, они были сестрами, и все же...

«Багряник и мальва —  
Всегда имена их рядом\*.  
Вот только зачем  
Я для своей прически,  
Подобрал опавший листок?» —

небрежно написал он. Право, можно было и воздержаться от столь неучтивых намеков!

Гэндзи так редко бывал у принцессы, что уехать сразу же казалось ему неудобным, и хотя он изнемогал от тревоги... Но вот пришел гонец с известием, что у госпожи Весенних покоев прервалось дыхание, и Гэндзи, забыв обо всем, в отчаянии бросился на Вторую линию. О, какой мрак царил в его душе! Возле дома на Второй линии до самой Большой дороги толпились и шумели люди. Из дома доносились рыдания и стоны, позволяющие предположить самое худшее. Не помня себя от горя, Гэндзи вошел в покои госпожи.

— Последние дни она чувствовала себя лучше — и вдруг совершенно неожиданно... — рыдали дамы. — О госпожа, возьмите и нас с собою! — тщетно взывали они, теряя рассудок.

Алтари для оградительных служб были уже разбиты, и монахи один за другим уходили, стеноя. В покоях остались лишь те, кому было положено там находиться. «Значит, это и в самом деле конец», — понял Гэндзи. Горе его было беспредельно.

— Все же не исключено, что это лишь козни злых духов. Не следует раньше времени предаваться отчаянию. — Успокоив дам, Гэндзи позаботился о том, чтобы были возобновлены молитвы и даны новые, еще неслыханные обеты. Пригласив самых известных заклинателей, он сказал:

— Даже если исчерпала она отмеренный ей жизненный срок, разве не может он продлиться? Ведь существует обет великого Фудо\*, задержите же ее хотя б на полгода!

И, окутанные черным дымом, словно от их голов поднимавшимся, заклинатели принимают за дело.

— О, взгляните на меня еще хоть раз! — вызывает к госпоже Гэндзи. — Я никогда не прощу себе, что не был рядом с вами в последний миг!

Кажется, что и он вот-вот расстанется с этим миром. Нетрудно себе представить, в каком отчаянии дамы! Но вот — уж не потому ли, что стеноя Гэндзи дошли до самого Будды, — злой дух, упорно не покидавший тела больной в течение долгих лун, переходит наконец на маленькую девочку-посредника и раздражается стонами и проклятиями, а к госпоже возвращается жизнь.

Велика радость Гэндзи, но сердце его сжимается от ужаса, когда усмирный молитвами дух начинает наконец говорить:

— Уходите, все уходите, оставьте меня с господином. О да, я хотела отомстить вам за то, что вы все это время жестоко мучили меня молитвами и заклинаниями. Но, увидев, сколь велико ваше горе, поняв, что оно может стоить вам жизни, я решила обнаружить себя. Так, я приняла иное обличье, но прежние чувства и теперь живы в моем сердце, они-то и привели меня сюда. И хотя я думала, что никогда не откроюсь вам... — Тут девочка раздражается рыданиями и волосы падают ей на лицо.

Вглядевшись, Гэндзи узнает духа, уже являвшегося ему однажды, и его снова охватывает ужас, смешанный с отвращением. Стараясь предупредить новый взрыв ярости, он хватается девочку за руку:

— Но могу ли я верить? Я знаю, что иногда лисы и прочие злые твари в безумии своем порочат память ушедших. Откройте свое настоящее имя! Или напомните о чем-то, что известно мне одному. Тогда я поверю вам.

И дух отвечает, обливаясь слезами:

— О да, у меня  
Теперь иное обличье,  
Ты же ничуть  
Не изменился, все так же  
Смотришь, не узнавая...

О, как тяжело...

Дух содрогается от рыданий, и одновременно в облике его проглядывает робкое изящество, не оставляющее места для сомнений... «Я не должен разрешать ей говорить», — думает Гэндзи, с трудом скрывая неприязнь.

— Витая в небесах, я видела, сколь много сделали вы для моей дочери, и признательность моя безгранична. Но разошлись наши дороги, и я не могу принимать прежнего участия в ее судьбе. А потому единственное, что осталось от меня в мире, — это мои обиды. Я хорошо помню, как вы пренебрегали мной, когда я была жива, как отдалились от меня... Но труднее всего смириться с тем, что теперь, когда меня нет уже в этом мире, вы, беседа с возлюбленной супругой своей, говорите обо мне как о дурной, недоброй женщине. А я-то надеялась, что вы простили меня и не позволяете другим порочить мое имя... Потому-то я и приняла это ужасное обличье и столь упорно сопротивляюсь всем попыткам прогнать меня. В моей душе нет ненависти к этой женщине, но вы находитесь под надежной защитой высших сил, и к вам мне не удастся приблизиться. Даже ваш голос слышен мне еле слышно. Ну да ладно, теперь прошу вас ограничиться теми молитвами, которые способны уменьшить бремя моих прегрешений! Громкие голоса монахов, читающих сутры и творящих обряды, дабы изгнать злых духов, подступают со всех сторон нестерпимо жарким пламенем, сквозь него не пробиться благодатным словам, и это не может не удручать меня! Расскажите обо мне Государыне. Пусть не допускает в сердце свое ревности и злобы. Скажите, чтобы добродетельными поступками постаралась она облегчить бремя, отяготившее ее душу за годы, проведенные в Исэ. Ах, лучше бы их не было, этих лет!

Она готова была продолжать, но, опасаясь, что окружающим может показаться странным столь долгий разговор с духом, Гэндзи распорядился, чтобы девочку заперли, а госпожу потихоньку перенесли в другие покои.

Тем временем слух о кончине госпожи Мурасаки разнесся по миру, и у дома на Второй линии стали появляться гонцы с соболезнованиями. Право, не к добру...

В тот день весь двор отправился смотреть на возвращающуюся из Камо праздничную процессию, и многие узнали о происшедшем лишь на обратном пути.

— Какое несчастье! — сокрушались одни. — Кому же и жить, как не ей? Судьба всегда была к ней столь благосклонна... Наверное, и дождь моросит потому, что угас свет ее жизни...

— Столь совершенные особы редко задерживаются надолго в этом мире, — возражали другие.

— Так, что «могло быть милее нам?» (311). Право, сказано словно о ней...

— Увы, слишком долгое благоденствие ей подобных кое для кого оборачивается порой жестокими муками.

— Уж теперь-то Третья принцесса займет в доме положение, приличное ее званию.

— Да, до сих пор она была лишена этого, бедняжка.

Среди возвращавшихся был и Уэмон-но ками, который, с трудом пережив вчерашний день, на сей раз все-таки поехал на праздник и взял с собой младших братьев своих — Садайбэна и Тосайсё. Он услышал, о чем переговариваются люди, и сердце его тоскливо сжалось.

— «Да и что в нашем зыбком мире...» (312) — пробормотал Уэмон-но ками словно про себя и велел всем ехать на Вторую линию.

«А что, если слухи неверны? — подумал он. — Тогда соболезнавания окажутся неуместными». Он сделал вид, что не имел иного намерения, кроме как по обыкновению своему справиться о здоровье госпожи. Но, увидев толпы рыдающих людей, понял: «и в самом деле...»

Тут к дому подъезжает принц Сикибукё и, ничего перед собой не замечая, проходит во внутренние покои. Разумеется, ему не до того, чтобы передавать Гэндзи чьи-то соболезнавания.

К Уэмон-но ками, поспешно вытирая слезы, выходит Удайсё.

— Что же произошло? — спрашивает Уэмон-но ками. — Люди говорят недоброе, но поверить в это невозможно. Удрученные долгой болезнью госпожи, мы пришли справиться о ее самочувствии.

— Состояние госпожи давно уже внушало опасения, — отвечает Удайсё. — И вот сегодня на рассвете прервалось ее дыхание. Говорят, всему виной злые духи. Я слышал, будто жизнь вернулась к ней, и многие уповают на лучшее. Однако надежда слишком слаба. О, как это тяжело!

Судя по всему, он много плакал, глаза его покраснели, и опухли от слез. Потому ли, что Уэмон-но ками и сам в те дни пребывал в несколько необычном состоянии духа, или по какой другой причине, но только ему показалось странным, что Удайсё так печалится из-за своей мачехи, которую почти не знал.

Многие приходили справиться о здоровье госпожи, и Гэндзи сказал:

— Передайте всем, что состояние больной давно уже было тяжелым, сегодня же нам показалось, что дыхание ее прервалось, и дамы, придя в отчаяние, подняли весь этот шум. Сам я до сих пор не могу успокоиться, мысли мои расстроены, и свою благодарность за участие я выражу как-нибудь в другой раз. Надеюсь, меня извинят.

Уэмон-но ками, подавленный сознанием своей вины, вряд ли пришел бы в дом Гэндзи, когда б не стечение столь горестных обстоятельств. Он казался смущенным, в движениях ощущались неловкость и принужденность, а ведь будь он чист душою...

Даже после того как жизнь вернулась к госпоже, Гэндзи долго не мог унять мучительного беспокойства и заказывал все новые и новые молебны. Миясудокоро и живая была ему неприятна, а уж в этом неожиданном, страшном обличье тем более. При одной мысли о ней он содрогался от ужаса. Даже заботы о Государыне-супруге не доставляли ему теперь отрады, и в конце концов, придя к выводу, что все женщины в равной степени — источник зла\*, Гэндзи проникся величайшим отвращением к миру. В том, что это была именно миясудокоро, он не сомневался, ибо кто, кроме нее, мог подслушать слова, произнесенные им однажды, когда они беседовали с госпожой наедине? Как тяжело было у него на душе! Госпожа упорствовала в своем желании стать монахиней, и, рассудив, что это и в самом деле может оказать на нее благотворное действие, Гэндзи разрешил ей подстричь волосы на темени и принять первые пять обетов\*.

Сколько мудрых и трогательных слов было сказано монахом-наставником, когда говорил он о благодати, осеняющей принявшего обет!

Забыв о приличиях, Гэндзи ни на шаг не отходил от госпожи. Плача и отирая слезы, он вместе с ней возносил молитвы Будде. Увы, в столь горестных обстоятельствах даже самому мудрому человеку трудно сохранить

самообладание. И днем и ночью Гэндзи помышлял лишь о том, как спасти госпожу, как удержать ее в этом мире. Ничто другое не занимало его, он совершенно упал духом, лицо его побледнело и осунулось. В мрачные, дождливые дни Пятой луны больной стало немного лучше, хотя по-прежнему ее мучили боли и говорить о выздоровлении было рано.

Желая облегчить страдания ушедшей миясудокоро, Гэндзи распорядился, чтобы в покоях госпожи ежедневно читали одну из частей сутры Лотоса и совершали самые действенные обряды. Отобрав монахов, известных особенно звучными голосами, он повелел им постоянно читать сутру у изголовья больной. Ибо дух, с того дня, как впервые обнаружил свое присутствие, время от времени появлялся снова, и, сетуя на злополучную судьбу, все же окончательно не покидал ее тела.

Наступила жара, госпожу мучили приступы удушья, она все больше слабела, и Гэндзи был в отчаянии.

Чувствуя, что сама уже не принадлежит этому миру, госпожа тем не менее с болью смотрела на супруга. «Я больше не дорожу жизнью, — думала она. — Его же страдания и теперь велики, а если он увидит, как я ухожу из мира... О нет, слишком жестоко обрекать его на новые муки...»

И вот, потому ли, что она принудила себя выпить целебного отвара, или по какой другой причине, но только к началу Шестой луны здоровье госпожи заметно укрепилось, и она могла даже приподнимать голову.

Гэндзи никогда еще не находил ее такой прекрасной, но увы, в этом тоже виделся ему дурной знак, и он не решался ее оставить даже на короткое время.

Принцесса же после того злополучного дня испытывала постоянное недомогание, и, хотя ничего угрожающего в ее состоянии не было, она начиная со прошлой луны почти ничего не ела, очень побледнела и осунулась.

Уэмон-но ками, которому далеко не всегда удавалось справиться с обуравшей его страстью, время от времени навещал ее, но их мимолетные, словно сон, встречи лишь усугубляли смутение, царившее в ее душе.

Принцесса благоговела перед Гэндзи, в ее глазах ему не было равных. А Уэмон-но ками... Несомненно, любая другая женщина сумела бы оценить по достоинству благородство его манер, тонкую прелесть лица, но принцесса, с юных лет привыкшая видеть рядом несравненного Гэндзи, не испытывала к Уэмон-но ками ничего, кроме неприязни, и можно только сетовать на судьбу, которая заставила ее так страдать.

Заметив, в каком она состоянии, кормилица и прочие дамы не преминули посетовать: «В такое время господину следовало бы навещать супругу почаще». Услыхав, что принцесса нездорова, Гэндзи решил навеститься в дом на Шестой линии.

Госпожа, изнемогавшая от жары, вымыла голову, и это немного освежило ее. Она лежала, раскинув мокрые пряди вокруг себя. Сохли они медленно, но не сбивались, не путались, а струились красивыми волнами. Побледневшее и осунувшееся прелестное лицо, тонкая белая словно светящаяся изнутри кожа — все в ней дышало нежной, невиданной красотой. Вот только было в этой красоте что-то зыбкое, непрочное, напоминающее пустую куколку бабочки.

В доме на Второй линии долгое время никто не жил, и он успел прийти в запустение, к тому же в последнее время здесь стало еще и чрезвычайно



тесно. Теперь, когда сознание вернулось к госпоже, она часто любитесь приведенным в порядок садом, светлыми ручьями, один вид которых веселит душу, и умиленно думает о том, что не зря задержалась в этом мире.

От покрытого цветущими лотосами пруда веет прохладой, на прекрасных зеленых листьях драгоценными камнями сверкает роса.

— Взгляните! — говорит Гэндзи. — Словно только им ведомо, что такое прохлада.

И, чуть приподнявшись, госпожа смотрит на пруд. А ведь совсем недавно трудно было даже предположить...

— Уж не сон ли, думаю я, на вас глядя, — говорит Гэндзи, и глаза его увлажняются. — Сколько раз мне казалось, что и моя жизнь вот-вот оборвется...

— На лотосе  
Еще сверкают росинки.  
Увижу ли я,  
Как исчезнут они? В этом мире  
Задержусь хотя бы настолько? —

говорит растроганная госпожа.

— Поклянемся,  
Что не только в нынешнем мире,  
Но и в грядущем  
Ни росинки сомнения  
В душу не закрадется, —

отвечает Гэндзи.

Уходить ему не хочется, но прошло уже несколько дней с тех пор, как его известили о нездоровье принцессы, а он, целиком поглощенный заботами о другой, до сих пор не удосужился ее навестить. Вправе ли он пренебрегать чувствами ее отца и брата? К тому же свет блеснул наконец меж туч, так может ли он упорствовать в своем затворничестве? И Гэндзи отправляется в дом на Шестой линии...

Принцесса, терзаемая сознанием собственной вины, боится смотреть Гэндзи в глаза, она так сконфужена, что даже на его вопросы не отвечает. Решив, что она обижена, хотя старается этого не показывать, Гэндзи принимается ее утешать. Призвав к себе даму постарше, он расспрашивает ее о самочувствии принцессы.

— Госпожа, судя по всему, в необычном состоянии, — объясняет дама.

Гэндзи поражен:

— Невероятно! Ведь так давно уже...

«Сколь прихотлива судьба, — думает он. — Женщины, которые постоянно находятся при мне, и те...»

Не спрашивая ничего у самой принцессы, он с жалостью и умилением смотрит на ее осунувшееся лицо.

Гэндзи провел в доме на Шестой линии дня два или три: после столь долгого отсутствия уезжать раньше было неудобно. Однако тревога за госпожу ни на миг не оставляла его, и он то и дело писал к ней.

— Только что расстались, а уже так много слов скопилось в его душе. Да, не повезло нашей госпоже! — ворчали дамы, не ведая о том, что принцесса и сама небезгрешна.

Между тем Кодзидзю места себе не находила от беспокойства. Услышав о том, что в дом на Шестой линии приехал Гэндзи, Уэмон-но ками, совершенно потеряв голову, написал принцессе длинное, полное упреков письмо. Улучив миг, когда Гэндзи ненадолго вышел во флигель и покои опустели, Кодзидзю тихонько показала его принцессе.

— Ах, это невыносимо! Я не желаю даже смотреть на него. Мне сразу делается хуже.

И, отвернувшись, принцесса легла.

— Все же взгляните хотя бы на эту приписку. Удивительно трогательно написано, — настаивала Кодзидзю, разворачивая письмо, но тут послышались чьи-то шаги и, поспешно загородив госпожу занавесом, она вышла. Немудрено вообразить, в каком смятении была принцесса!

Вошел Гэндзи, и, не успев как следует спрятать письмо, она сунула его под сиденье. Гэндзи же пришел попрощаться, ибо вечером собирался вернуться в дом на Второй линии.

— Вам как будто лучше, — говорит он. — А состояние госпожи по-прежнему остается зыбким, неустойчивым, и я не хотел бы огорчать ее своим невниманием. Верьте мне и старайтесь не придавать значения наветам злых людей. Скоро вы и сами поймете...

Разумеется, от Гэндзи не могла укрыться какая-то странная принужденность, проглядывавшая в облике принцессы. Обычно она чувствовала себя с ним совершенно свободно и, по-детски шаловливая, охотно отвечала на шутки. Сегодня же ее словно подменили: она дичится, избегает его взгляда...

Впрочем, скорее всего она просто обижена.

Пока они лежали в дневных покоях и беседовали, спустились сумерки. Задремавшего было Гэндзи разбудило звонкое стрекотание вечерних сверчков.

— Что ж, пока различимы дороги... (313) — говорит он, переодеваясь.

— Но отчего вы не хотите дождаться луны? — спрашивает принцесса. Право, кто устоит перед ее юной прелестью?

«Видно, надеется, что хотя бы пока...» — думает Гэндзи, и сердце его стесняется от жалости.

— Хочешь, наверное,  
Чтоб мои рукава промокли  
От вечерней росы,  
Потому и уходишь, едва  
Зазвенели ночные сверчки... (314) —

в простоте душевной говорит она, и, умиленный, он снова опускается рядом. Разве можно ее оставить?

Цикад голоса  
И в том, и в другом саду  
Надрывают мне душу.  
Что слышится в них теперь  
Той, которая ждет? (314)

Раздираемый противоречивыми чувствами, Гэндзи долго сидел, вздыхая, но в конце концов, не желая огорчать принцессу, остался в доме на Шестой линии еще на одну ночь.

Все же на сердце у него было беспокойно, мысли постоянно устремлялись к другой, и, отведав немного плодов, он очень скоро удалился в опочивальню. На следующий день Гэндзи поднялся рано, решив выехать до наступления жары.

— Вчера я где-то оставил свой веер. А этот никуда не годится, — сказал он и, положив на пол веер, который был у него в руке, прошел в покои, где дремал вчера днем, и огляделся. Приметив, что из-под смявшегося угла сиденья выглядывает краешек светло-зеленого листка бумаги, он, ни о чем не подозревая, вытащил его. Два листка, обильно пропитанные благовониями, были густо исписаны явно мужским почерком и вид имели весьма многозначительный. Прочтя письмо, Гэндзи без труда догадался, кем оно было написано.

Дама, которая держала перед ним открытую шкатулку с зеркалом, не обратила на листки решительно никакого внимания — мало ли что может читать господин? Однако Кодзидзю по цвету узнала вчерашнее послание, и сердце ее тревожно забилося. Она боялась даже смотреть туда, где Гэндзи вкушал утреннее угощение. «Наверное, все же это другое письмо, — думала она. — Не может быть... Это слишком ужасно. Неужели госпожа не успела его спрятать?»

Принцесса же, ни о чем не догадываясь, еще спала.

«Ах, какое дитя! — думал Гэндзи. — Разбрасывать такие письма... А если бы его нашел кто-нибудь другой? Непростительное легкомыслие! Впрочем, я всегда знал — если женщине недостает душевной тонкости, покоя не жди».

После того как Гэндзи уехал, а дамы разошлись, Кодзидзю подошла к принцессе.

— Что вы изволили сделать со вчерашним письмом? — спросила она. — Сегодня утром совершенно такое же письмо я видела в руках у господина.

Ужас охватил принцессу, и новые потоки слез побежали по ее щекам. Нельзя сказать, что Кодзидзю не жалела ее, но, право же, подобная неосмотрительность...

— Куда вы изволили положить письмо? Когда пришли дамы, я покинула вас, дабы не подавать подозрений в том, что нас связывают какие-то тайны. Господин же пришел значительно позже. Я была уверена, что вам удалось спрятать письмо.

— Ах нет! Я как раз читала его, когда господин вошел. Я не успела его спрятать и просто засунула под сиденье, а потом забыла.

Ну что можно было ей ответить?

Подойдя к сиденью, Кодзидзю поднимает его, но, увы...

— Ужасно! Господин Уэмон-но ками и так живет в вечном страхе, трепеща при одной мысли, что нашему господину станет известно... Надо же случиться такой беде! И времени прошло совсем немного! Какое же вы дитя! Воспользовавшись вашей неосторожностью, Уэмон-но ками увидел вас, а увидев, не сумел забыть и долго умолял меня... Но я и представить себе не могла, что дело пойдет так далеко. Ах, как мне жаль вас обоих!

Кодзидзю говорила прямо, не обинуясь, но принцесса не обижалась, она была слишком молода, да и сердце имела доброе, а потому, не отвечая, лишь молча плакала.

Чувствуя себя совсем больной, она не дотрагивалась до пищи, и прислуживающие ей дамы возроптали:

— Ну можно ли было оставлять нашу госпожу в таком состоянии! Ведь та совсем уже поправилась, а господин только о ней и заботится.

Найденное письмо показалось Гэндзи весьма подозрительным, и, когда рядом никого не было, он внимательно прочел его. «Может быть, это написал кто-то из дам, нарочно подражая почерку Уэмон-но ками?» — предположил было он, но содержание письма, слог не вызывали сомнений. Уэмон-но ками писал, что долгие годы беспрестанно помышлял о ней, что и теперь, когда мечта его наконец осуществилась, не может обрести покоя... Много было в этом письме трогательного и достойного восхищения, но Гэндзи подумал не без некоторого пренебрежения: «Разве можно писать так открыто? Нынешние молодые люди слишком неосторожны. Вот я, к примеру, всегда старался учитывать возможность того, что письмо попадет в чужие руки, а потому даже в случаях, требующих обстоятельности, предпочитал ограничиваться намеками». «Но как мне быть с принцессой? — спрашивал себя Гэндзи. — Скорее всего и ее состояние... Какое несчастье! Смогу ли я и впредь заботиться о ней, несмотря на столь неопровержимое доказательство ее вины?»

Разумеется, ему не хотелось менять свое отношение к ней, но ведь мужчина, узнав о неверности своей возлюбленной, всегда чувствует себя уязвленным и невольно отдаляется от нее, даже если никогда особенно не дорожил ею и видел в ней лишь красивую игрушку. А в этом случае... Какая непростительная дерзость! Правда, некоторые не останавливаются и перед тем, чтобы соблазнить супругу самого Государя, и тому есть неоднократные примеры, но ведь это совсем другое дело... Прислуживающие в Высочайших покоях мужчины и женщины могут свободно сообщаться друг с другом, и стоит ли удивляться тому, что в чьем-то сердце вспыхивает тайная страсть? Далеко не все дамы разумны и благонравны, даже среди нёго и кои встречаются особы весьма несовершенно, легко впадающие в заблуждение. Впрочем, чаще всего, если, конечно, нет никаких явных улик, провинившиеся остаются служить во Дворце, и в мире никогда не узнают о случившемся. Но женщине, составляющей главнейший предмет попечений супруга и пользующейся его исключительным вниманием, большим даже, чем та, с которой его связывает истинное чувство, позволить себе пренебречь своим попечителем... Такого еще не бывало! Гэндзи просто кипел от негодования. Легко может статься, что какая-нибудь прислуживающая Государю дама, поступившая на придворную службу исключительно по воле случая и тяготящаяся своими обязанностями, начнет благосклонно внимать чьим-то нежным речам, отвечать на письма — ведь некоторые просто неприлично оставлять без ответа — и в конце концов вступит с кем-то в тайную связь. Ее нельзя не осудить, но можно понять. А принцесса? Ожидал ли кто-нибудь, что она отдаст свое сердце такому, как Уэмон-но ками?

Но как ни велика была досада Гэндзи, он решил ничем не выдавать себя и страдал молча. «А что, если покойный Государь тоже все знал и только

делал вид, будто ни о чем не догадывается? — думал он, вспоминая прошлое. — Что может быть ужаснее того, что совершил я сам?» В самом деле, вправе ли он осуждать заблудившихся среди отрогов горы, «которой название Любовь» (315)? Гэндзи старался казаться спокойным и беззаботным, но госпожа не могла не видеть, что какая-то тайная печаль лежит у него на сердце. «Он приехал сюда из жалости ко мне, ненадолго задержавшейся в этом мире, — подумала она, — и теперь, наверное, тревожится за принцессу».

— Мне гораздо лучше, — говорит она, — а Третья принцесса, кажется, нездорова. Не стоило вам так спешить.

— Да, принцесса была нездорова, но ничего опасного в ее состоянии нет, так что беспокоиться нечего. Когда я там был, от Государя то и дело присылали гонцов. Кажется, и сегодня принесли от него письмо. Государь-монах поручил ему заботиться о принцессе, и он почитает своим долгом входить во все ее нужды. Малейшее невнимание с моей стороны вселяет тревогу в сердца высочайших особ, а мне не хотелось бы их огорчать. — И Гэндзи вздыхает.

— По-моему, прежде всего следует подумать о самой принцессе, — замечает госпожа. — Боюсь, что она недовольна вами. Возможно, сама она и не ропщет, но обязательно найдутся дамы, которые станут внушать ей дурные мысли.

— Вы совершенно правы, — улыбаясь, отвечает Гэндзи. — Наверное, я слишком черств, ибо думаю о том, как бы не обидеть властелина страны, в то время как вы проявляете такую трогательную заботливость по отношению к его сестре... Даже о дамах ее не забываете. А ведь она причинила вам немало горя...

Что касается возвращения в дом на Шестой линии, то Гэндзи сказал:

— Мы вернемся туда вместе. И снова заживем безмятежно...

— Мне хотелось бы еще немного отдохнуть здесь. Поезжайте первым, когда же принцесса почувствует себя лучше...

Пока они так беседовали, день склонился к вечеру.

Раньше, когда Гэндзи долго не приезжал, принцесса страдала от его холодности, теперь же винила себя. Больше всего страшилась она, что пойдут слухи, и о происшедшем узнает ее отец. Уэмон-но kami по-прежнему писал к ней страстно-нетерпеливые письма, и перепуганная Кодзидзю поспешила сообщить ему о том, что случилось. Уэмон-но kami был в отчаянии. Он и раньше боялся чего-нибудь подобного — ведь все тайны рано или поздно выходят наружу, — мысль о возможном разоблачении повергала его в ужас, ему казалось, что на него обращен взыскующий взор небес. А теперь в руках у Гэндзи было неоспоримое свидетельство его преступления. Мучительный стыд владел сердцем Уэмон-но kami: как дерзнул он даже помыслить... Он не находил себе места от беспокойства, его то и дело бросало в холод, хотя стояла пора, когда даже утренние и вечерние часы не приносят с собою прохлады... (316)

«Господин из дома на Шестой линии так добр ко мне, — думал Уэмон-но kami. — Он всегда выделял меня среди прочих, призывал к себе и для доверительных бесед, и для развлечений. Осмелюсь ли я показаться ему на глаза теперь, когда он вправе считать меня бесчестным, неблагодарным и дерзким? Однако, если я вовсе перестану появляться в доме на Шестой ли-

нии, люди заподозрят неладное, да и сам он окончательно утвердится в своих подозрениях».

От этих тягостных мыслей Уэмон-но kami занемог и не показывался даже во Дворце. Вряд ли его поступок мог быть расценен как тяжкое преступление, но ему казалось, что жизнь потеряла для него всякий смысл. «Ведь знал же я, что этим кончится, — думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. — К тому же принцессе явно недостает благоразумия и душевной тонкости... Взять хотя бы тот случай с кошкой. Теперь мне понятно, почему Удайсё был возмущен, сочтя ее поведение легкомысленным». Как видно, желая исцелиться от пагубной страсти, Уэмон-но kami нарочно старался очернить принцессу в собственных глазах. «Неплохо иметь дело с особой столь высокого происхождения, но Третья принцесса слишком уж изнежена, наивна и невежественна. Она совсем распустила своих дам, а это может иметь дурные последствия не только для нее самой, но и для других». И все же он не мог не жалеть ее.

Между тем принцессе по-прежнему нездоровилось, и была она столь трогательна в своей беспомощности, что один вид ее возбуждал невольную жалость. Как ни старался Гэндзи не думать о ней, постоянная тревога жила в его сердце. Видно, не зря говорят: «Даже горечь измен...»\* Когда он приезжал на Шестую линию и видел ее измученное лицо, душа его стеснялась от боли и жалости.

Множество молебнов заказал Гэндзи в разных храмах. Внешне его отношение к принцессе не изменилось, пожалуй, он стал даже еще заботливее. Вот только когда они беседовали наедине, в его тоне появилась некоторая отчужденность. Опасаясь, что дамы это заметят, в их присутствии он старался сохранять наружное спокойствие, и вряд ли кто-нибудь подозревал, в каком смятении его чувства. Одна принцесса догадывалась, и как же ей было горько!

Гэндзи так и не сказал ей прямо, что видел письмо, она же молча страдала, оставаясь и в этом совершенным ребенком. «Всему причиной незрелость ее ума, — думал Гэндзи. — Хорошо, когда женщина кротка и по-детски непосредственна, но если она лишена душевной тонкости... Впрочем, любое супружество сопряжено с волнением и заботами. Не слишком ли ласкова и послушна нёго из павильона Павлонии? Боюсь, что человеку, устремившему к ней свои думы, нетрудно потерять голову. Как правило, мужчины относятся с пренебрежением к безвольным и податливым женщинам. Когда женщина позволяет себе увлечься особой, по положению своему для него недоступной, именно недостаток в ней твердости приводит к непоправимым последствиям. Супруга Правого министра, не имея надежной опоры в жизни, с малых лет принуждена была скитаться по миру, и тем не менее ее уму и душевным качествам может позавидовать любая высокородная особа. В глазах всего света я был ее отцом, но не могу сказать, что испытывал к ней только отцовские чувства. Она же была неизменно равна со мной и, притворяясь, будто ничего не замечает, мягко отклоняла все мои домогательства. Когда же Правый министр, войдя в сговор с неразумной служанкой, проник в ее покои, она сумела дать всем понять, что это произошло вопреки ее желанию, что союз этот был заключен с ведома ее отца, а не вследствие ее собственной неосмотрительности».

Так, госпоже Найси-но ками нельзя было отказать в сметливости. Несомненно, связь между судьбами ее и Правого министра существовала уже в предыдущем рождении, им было предопределено долгое супружество, но при всем при том люди вряд ли одобрили бы этот союз, если бы считали, что он заключен по ее собственной воле. Словом, ей удалось с честью выйти из создавшегося положения.

Гэндзи не забывал и о госпоже Найси-но ками со Второй линии, но, издавая на собственном опыте, сколь горестными могут быть последствия преступной страсти, невольно осуждал ее. В самом деле, прояви она в свое время большую твердость... Весть о том, что эта особа приняла наконец постриг, растрогала и печалила его. Искренне взволнованный, он написал к ней письмо, пеняя за то, что она даже намеком не дала ему знать...

«Монахиной стала...»  
 Могу ли внимать равнодушно?  
 Из-за кого  
 Капли соли стекали когда-то  
 С трав морских у залива Сума? (114)

Я много раз убеждался в том, сколь превратен мир, но, к сожалению, так и не сумел отказаться от него. Вам удалось опередить меня. Хотя вы и далеки теперь от всего мирского, позвольте же надеяться, что Вы не забудете и обо мне в своих молитвах.

Письмо оказалось довольно длинным. Когда-то именно Гэндзи помешал Найси-но ками переменить обличье, и она вздыхала и украдкой — разве могла она открыть кому-то свою тайну — плакала, вспоминая, сколько горя принес им этот союз и сколь он был вместе с тем не случаен. Подумав, что письмо это скорее всего будет последним, Найси-но ками постаралась вложить в ответ всю душу. Нельзя было не залюбоваться знаками, оставленными ее кистью на бумаге.

«Мне казалось, что я одна познала, сколь непрочен мир, а Вы говорите, я опередила Вас... Ах, право,

Как же случилось,  
 Что без тебя отчалил  
 Монашеский челн?  
 Ведь ты столько лет провел  
 У светлой бухты Акаси...

Молиться же я стану за всех, а потому...»

Письмо было написано на темной серовато-зеленой бумаге и привязано к ветке бадьяна\*. Содержание его было вполне обычным, но почерк, как и в прежние времена, поражал изяществом. Гонец принес письмо в дом на Второй линии. Понимая, что теперь его союз с Найси-но ками окончательно разорван, Гэндзи показал письмо госпоже.

— Я чувствую себя посрамленным, — говорит он. — Мир и в самом деле опостылел мне. Слишком много печального видел я на своем веку. Оставались две женщины, с которыми, даже не поддерживая с ними особенно близких отношений, я мог говорить обо всем на свете, которым доступны тончайшие переживания, которые всегда были готовы откликнуться на чув-

ства, рождавшиеся в моей душе. Это бывшая жрица Камо и госпожа Найси-но ками из дворца Судзаку. К сожалению, обе они отвернулись от мира. Думаю, что жрица Камо все свое время отдает служению Будде и ничто иное не занимает более ее мыслей. Право, я не знаю другой женщины, в которой незаурядный ум сочетался бы столь прелестно с изящной простотой и естественностью обращения.

Как все же трудно воспитывать дочь! Предопределение недоступно взору, и родители не всегда вольны располагать участью детей. А сколько душевных сил надобно затратить, чтобы их вырастить! К счастью, мне не пришлось заботиться о многих, хотя помню, что в молодости я не раз сетовал на судьбу, не даровавшую мне многочисленного потомства... Надеюсь, что вы отнесетесь с должным вниманием к воспитанию юной принцессы. Наша нёго слишком молода, она еще не успела глубоко проникнуть в душу вещей, да и многочисленные придворные обязанности почти не оставляют ей досуга, поэтому она может что-то упустить. А ведь дочери государя нуждаются в особом воспитании, им необходимо в полной мере обладать качествами, которые обеспечат им надежное будущее, помогут не навлечь на себя осуждение молвы и занять в мире достойное положение. Женщины низкого звания, подыскав себе более или менее надежного покровителя, могут во всем положиться на него, но с принцессами дело обстоит иначе...

— Я не уверена, что обладаю необходимыми для наставницы достоинствами, но готова заботиться о принцессе до конца своих дней. Вот только сколько еще мне осталось?.. — печально отвечает госпожа, завидя тем, кому ничто не помешало встать на путь служения Будде.

— Вероятно, прислужницы госпожи Найси-но ками еще не научились шить одежду для отрекшихся от мира, — говорит Гэндзи. — Не послать ли нам ей все необходимое? Знаете ли вы, как шьется монашеское оплечье? Уверен, что и в этом на вас можно положиться. А обитательницу Восточных покоев дома на Шестой линии попросим помочь. Строгость монашеского платья имеет свои преимущества, не сомневаюсь, что вам удастся в полной мере выявить его достоинства.

В покоях госпожи начали шить серо-зеленые одеяния. Призвав умельцев из Императорских мастерских, Гэндзи тайком поручил им подготовить всю необходимую утварь. Особенное внимание уделил он изготовлению сидений, ширм и занавесей.

Между тем чествование государя-монаха все откладывалось. Предполагалось перенести его на осень, но Восьмая луна, траурная для Удайсё, была неблагоприятной для подготовки музыкантов. На Девятую луну приходились дни скорби по Великой Государыне, матери государя-монаха, поэтому празднество отложили до Десятой, но снова отменили из-за того, что ухудшилось состояние Третьей принцессы. На Десятую луну государя-монаха посетила Вторая принцесса, супруга Уэмон-но ками. Вышедший в отставку министр сам занимался приготовлениями к церемонии и постарался сделать все от него зависящее, чтобы придать ей невиданный доселе размах. Уэмон-но ками, собравшись с духом, тоже принял участие в празднестве. Он по-прежнему чувствовал себя больным, казалось, будто какой-то тайный недуг подтачивает его силы.



Третья принцесса, истерзанная мрачными думами, целыми днями вздыхала и плакала тайком, и, как знать, не потому ли так тяжело переносила она свое состояние? Она была трогательно-хрупка и так изнурена болезнью, что при виде ее у Гэндзи невольно сжималось сердце. «Что станет с нею?» — терзался он, раздираемый мучительными сомнениями. Год выдался тревожный, и много времени отдавалось молитвам.

Весть о болезни принцессы дошла до горной обители, и сердце государя-монаха исполнилось нежности и тоски. Зная от людей, что Гэндзи не только не живет в доме на Шестой линии, но почти не бывает там, государь недоумевал и печалился, сетуя на непостоянство мира. Тревожился он и прежде, но тогда отсутствие Гэндзи объяснялось тем, что все его попечения были сосредоточены на больной госпоже. Почему же ничто не изменилось теперь, когда здоровье ее поправилось? Неужели за это время произошло что-то, что принудило Гэндзи отдалиться от принцессы? Может, среди прислуживающих ей дам нашлись недостойные особы, вовлекшие ее в беду, а сама она ничего и не подозревает? Ведь даже во Дворце, где изысканнейшая роскошь сочетается с некоторой свободой нравов, иногда распространяются самые невероятные слухи... Увы, хоть и далек был государь-монах от суетных помыслов, родительское сердце его так и не обрело покоя. Он написал принцессе длинное, полное нежной тревоги письмо. Когда его принесли, Гэндзи как раз был в доме на Шестой линии.

«Я давно не писал к Вам, ибо не имел повода. Немало лет прошло с того дня, как мы расстались, и неизвестность печалит меня. Я знаю, что Вы не совсем здоровы, и беспрестанно помышляю о Вас. Даже в часы молитв Ваш образ неотступно стоит перед моим взором. Как Вы себя чувствуете? Помните, что бы ни случилось и как бы Вам ни было горько, Вы должны терпеть. Старайтесь скрывать свои обиды и не уязвляйте супруга своего многозначительными намеками. Будьте всегда достойны Вашего высокого звания». Могло ли это письмо не возбудить жалости в сердце Гэндзи? «Несомненно, государь пребывает в полном неведении, — подумал он. — Мое невнимание к принцессе — единственное, что его беспокоит».

— Как вы ответите государю? — спрашивает Гэндзи принцессу. — Не знаю, как вас, но меня очень огорчило это печальное послание. Хотя я и вправе чувствовать себя обиженным, вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я вами пренебрегаю. Не понимаю, откуда у государя такие сведения?

Застыдившись, принцесса отвернулась. Она была прелестна. Глубокая печаль, отражавшаяся на ее побледневшем, осунувшемся лице, сообщала красоте ее особую утонченность.

— Разумеется, государь Судзаку тревожится за вас, зная, как вы неопытны, как по-детски наивны, — продолжает Гэндзи. — Впредь вам следует быть осмотрительней. Я не собирался докучать вам своими советами, но, к моему величайшему сожалению, государь, по-видимому, укрепился в мысли, что я не оправдываю его надежд. Не скрою, это удручает меня, поэтому я счел необходимым поговорить хотя бы с вами. Вы слишком еще неразумны и подвержены чужим влияниям. Возможно, вы недовольны мною, наверное, считаете меня недостаточно чутким, может быть, даже черствым. К тому же я уже немолод и, очевидно, просто наскучил вам. Все это, конечно,

печально. Но прошу вас, хотя бы пока жив государь, постарайтесь примириться с создавшимся положением, не пренебрегайте и своим престарелым супругом, которому было поручено заботиться о вас, не считайте его хуже других.

В моей душе давно живет желание встать на путь служения Будде, но, увы, даже здесь меня опередили женщины, которым вряд ли дано проникнуть в сокровенную суть Учения. Может показаться, что мне недостает твердости, но, поверьте, когда б речь шла обо мне одном, я бы не колебался. Государь, отрекаясь от всякого сообщения с миром, поручил мне заботиться о вас, я был тронут и почувствовал себя польщенным. И если теперь я последую за ним, оставив вас без всякой опоры, его надежды окажутся обманутыми. Вправе ли я наносить ему столь тяжкий удар? Раньше другие пути привязывали меня к миру (43), но теперь остались только вы. У него много детей, и, хотя трудно предвидеть будущее, я за них спокоен, ибо если ничего не случится на моем веку... Остальные близкие мне особы весьма уже немолоды, и, если они пожелают так или иначе последовать за мной, вряд ли об этом стоит сожалеть. Так что оснований для беспокойства у меня больше нет.

Вашему отцу недолго осталось жить в этом мире, он слаб и телесно и духовно. Позаботьтесь же о том, чтобы никакие неожиданные слухи не возмущали его покой. Настоящее не волнует меня, наш мир не стоит того, чтобы отдавать ему свои помыслы. Но вы отяготите душу свою тяжким бременем, если станете препятствием на пути вашего отца к грядущему.

Гэндзи говорил спокойно, открыто не упрекая принцессу, но слезы струились по ее щекам; казалось, она вот-вот лишится чувств. Гэндзи тоже заплакал.

— О эти старики с их вечными наставлениями! — говорит он, чувствуя себя виноватым. — Теперь я и сам стал таким, хотя когда-то... Представляю себе, каким нудным, постылым старцем я должен казаться вам.

Придвинув к себе тушечницу, Гэндзи растирает тушь и, выбрав бумагу, просит принцессу написать ответ. Но руки у нее дрожат, и писать она не может. «Наверное, на те длинные послания она отвечала быстрее», — невольно приходит в голову Гэндзи, и неприязнь к принцессе снова просыпается в его сердце, она больше не кажется ему трогательной. Однако тут же овладев собой, он принимает объяснять ей, как следует ответить государю.

— Когда же мы навестим его? Вот и эта луна на исходе. Говорят, Вторая принцесса устроила в его честь великолепное празднество. Мне кажется, что вам в вашем состоянии не совсем прилично соперничать с ней. Луна Инея — время скорби для меня\*. В конце же года и без того много забот... К тому же, с каждой новой луной ваш облик будет все более неприглядным, и хотя я уверен, что государь готов ждать, стоит ли откладывать так надолго? Постарайтесь собраться с духом, развеселитесь, а то у вас слишком измученный вид.

Несмотря ни на что, Гэндзи трогательно-нежен с принцессой.

Раньше по любому сколько-нибудь значительному поводу Гэндзи прежде всего призывал к себе Уэмон-но ками, но в последнее время ни разу не послал за ним. Понимая, что люди могут заподозрить неладное, Гэндзи тем не менее упорно избегал встреч с Уэмон-но ками. Ему не хотелось видеть

человека, в глазах которого он скорее всего был жалким глупцом, кроме того, он боялся, что ему может изменить самообладание. Поэтому он даже не упрекал Уэмон-но ками за то, что тот давно уже не навещался к нему.

Впрочем, никто тому не удивлялся, все знали, что Уэмон-но ками нездоров, к тому же в доме на Шестой линии не устраивалось никаких празднеств. И только Удайсё догадывался об истинной причине. «Все это неспроста, — думал он. — Наверное, этот повеса так и не смог справиться с собой после того случая, которому я был невольным свидетелем...» Но даже Удайсё не представлял себе, что все раскрылось и не оставалось никаких сомнений...

Настала Двенадцатая луна. Чествование государя-монаха было назначено на один из дней после Десятого, и в доме на Шестой линии воцарилось предпраздничное оживление. Приготовления привлекли сюда даже госпожу Весенних покоев, до сих пор оставшуюся в доме на Второй линии. Нёго тоже жила в те дни в отчем доме. Она снова разрешилась от бремени младенцем мужского пола. Все дети ее были прелестны, и Гэндзи с утра до вечера забавлялся с ними. Так, и преклонный возраст имеет свои преимущества.

На время подготовки музыкантов на Шестую линию переехала и госпожа Северных покоев из дома Правого министра. Прежде чем представить музыкантов Гэндзи, Удайсё долго занимался с ними в восточной части дома, поэтому госпожа Ханатирусато не присутствовала на заключительном музицировании.

Понимая, что отсутствие Уэмон-но ками не только лишит празднество блеска, но и вызовет всеобщее недоумение, Гэндзи отправил ему приглашение.

Однако тот не приехал, сославшись на нездоровье. Зная, что никакой определенной болезни у Уэмон-но ками нет, Гэндзи, подумав участливо: «Видно, что-то тяготит его», снова послал к нему гонца.

— Стоит ли отказываться? — уговаривал сына Вышедший в отставку министр. — Твое нежелание участвовать в празднестве может быть превратно истолковано. Тебе не так уж плохо, не лучше ли собраться с силами и поехать?

Тут из дома на Шестой линии опять прибыл гонец, и Уэмон-но ками, превозмогая себя, все-таки отправился туда.

Самые знатные гости еще не собрались. Как обычно, Уэмон-но ками ввели в покои Гэндзи и усадили за занавесями, отделявшими внутренние покои от передних.

Невозможно было не заметить болезненной худобы и бледности Уэмон-но ками. Обладая спокойным нравом и нежной, чувствительной душой, он всегда составлял резкую противоположность со своими блестящими, уверенными в себе братьями. Сегодня же он был как-то особенно задумчив, и эта задумчивость чрезвычайно шла к нему. Право, он вполне достоин был стать государевым зятем! «Нельзя простить лишь одного, — думал Гэндзи, на него глядя, — зачем оба они были столь неосмотрительны?» Однако, ничем не выдавая своих истинных чувств, он любезно беседовал с гостем.

— Как давно мы не виделись с вами, — говорит он. — В последнее время я ухаживал за больными, и мне не доставало досуга... Дочь государя-монаха, живущая в моем доме, намеревается торжественно отметить пятидесяти-

летие отца, но до сих пор слишком многое мешало ей, а тем временем год подошел к концу. Разумеется, об осуществлении наших прежних замыслов теперь не может быть и речи, но мы решили все же, отдавая дань приличиям, поднести государю Судзаку скромное, сообразное его званию угощение. Назвать предстоящее чествование празднеством было бы преувеличением. Мне просто хочется представить государю своих многочисленных внуков. Имея это в виду, я давно уже начал учить их танцам, надеюсь, что мне удастся хоть чем-то порадовать государя. Боюсь, что, кроме вас, никто не может мне в этом помочь. Поэтому я готов забыть старые обиды и не пенять вам за долгое отсутствие.

Голос Гэндзи звучал вполне искренне, но Уэмон-но kami пришел в такое замешательство, что долго не мог выговорить ни слова, опасаясь невольно выдать себя.

— Я слышал, что вы были весьма встревожены состоянием дорогих вашему сердцу особ, и от всей души сочувствовал вам, — отвечает он наконец. — К сожалению, нынешней весной обострилась давно мучившая меня болезнь ног, и я почти не мог ходить. День ото дня мне становилось хуже, наконец я сделался так слаб, что перестал бывать даже во Дворце, и жил все это время совершенным затворником.

В нынешнем году государь-монах достиг полного возраста, и отец решил, что нам, более чем кому бы то ни было, подобает воздать ему положенные почести. «Я уже снял чиновничью шапку и без сожаления оставил карету\*, — заявил он. — Поэтому мне не пристало участвовать в подобной церемонии. Твое звание, конечно, еще ничтожно, но государь должен видеть, что твоя признательность ничуть не меньше моей». И как ни велики были мои мучения, я постарался сделать все, что в моих силах. Государь живет уединенно, вдали от мирской суеты, всякий блеск и шум претит ему. Я уверен, что тихая, дружественная беседа придется ему куда больше по душе, поэтому чем меньше времени будет уделено церемониям, тем лучше.

Трудно было не оценить душевной чуткости Уэмон-но kami, ни словом не обмолвившегося о пышном празднестве, которое устроила в честь государя-монаха Вторая принцесса.

— Так, собственно, и получится, — говорит Гэндзи. — Боюсь только, что, если мы позволим себе пренебречь некоторыми церемониями, люди обвинят нас в недостатке почтительности. Так или иначе, раз и вы, человек, безусловно знающий толк в таких вещах, поддерживаете меня... К сожалению, Удайсэ при его основательности во всем, что касается придворных обязанностей, никогда не обнаруживал склонности к утонченным развлечениям. Между тем государь из дворца Судзаку по праву считается тонким ценителем изящного. Особенно же он любит музыку и сам является превосходным музыкантом. Правда, теперь он отказался от всего мирского, но тем больше усилий следует нам употребить, дабы порадовать его слух, который стал, наверное, еще изощреннее за годы тихой, уединенной жизни. Я прошу вас вместе с Удайсэ заняться подготовкой мальчиков-танцоров, постарайтесь, чтобы они были безупречны во всех отношениях. Так называемым наставникам не всегда можно доверять, даже если свое дело они знают превосходно.

Гэндзи говорил весьма дружелюбно, но, как ни велика была признательность Уэмон-но kami, он не мог справиться со смущением и, немногословно

отвечая Гэндзи, только и думал о том, как бы поскорее уйти. К счастью, Гэндзи вопреки обыкновению не стал заводить с ним более обстоятельного разговора, и при первой же возможности Уэмон-но kami откланялся.

Перейдя в восточную часть дома, он осмотрел приготовленные Удайсё наряды для музыкантов и танцоров и распорядился, чтобы кое-что изменили, а кое-что добавили. Трудно себе представить, как можно было улучшить и без того совершенное, но тем не менее Уэмон-но kami это удалось. Он в самом деле обладал глубокими познаниями в этой области.

На тот день был назначен предварительный смотр танцам, а как обительницы женских покоев тоже захотели присутствовать, Гэндзи не пожалел усилий, чтобы порадовать их зрение и слух. Танцоров, которым в день чествования государя-монаха предстояло выступать в красновато-серых верхних платьях и сиреневых нижних, облачили в зеленые верхние платья и красные — нижние. Тридцать музыкантов в белых одеяниях поместили на галерее, ведущей к юго-восточному павильону Для рыбной ловли. Вот, появившись перед Гэндзи, они исполняют мелодию «Парение бессмертных в лучах утреннего солнца». В воздухе кружится мелкий снег; кажется, весна «совсем уже близко, в соседнем саду...» (317). От слив, украсившихся цветами, невозможно оторвать глаз. Хозяин дома сидит за занавесями в передних покоях. Рядом с ним принц Сикибукё и Правый министр. Вельможи более низких рангов разместились на галерее. Поскольку это лишь подготовка к празднеству, угощение подается самое простое.

Четвертый сын Правого министра, третий сын Удайсё и двое внуков принца Хёбукё исполняют танец «Многая лета». Они совсем еще малы и трогательно-прелестны. Все четверо принадлежат к знатнейшим столичным семействам, миловидность их лиц, изысканность нарядов и благородное изящество движений вызывают всеобщее восхищение. Впрочем, возможно, зрители просто слишком пристрастны...

Второй сын Удайсё, рожденный ему То-найси-но сукэ, и внук принца Сикибукё (сын человека, которого прежде называли Хёэ-но kami и который теперь, получив звание тюнагона, прозывается Гэн-тюнагон) исполняют танец «Желтая кабарга». Третий сын Правого министра выступает в танце «Князь Лин-ван», а старший сын Удайсё — в танце «На согнутых ногах». В заключение юноши и взрослые мужи, к тем же семействам принадлежащие, исполняют еще несколько танцев, и среди них «Великое умиротворение» и «Радуюсь весне».

Скоро спускаются сумерки, и Гэндзи велит поднять занавеси. Тут, к неожиданному восторгу зрителей, появляются прелестные внуки Гэндзи и с неподражаемым изяществом и мастерством исполняют несколько танцев. Наставники не пожалели усилий, дабы придать законченность прирожденному благородству их движений, и успех превосходит все ожидания. Трудно сказать, который из мальчиков прекраснее. Стареющие сановники проливают слезы умиления, а принц Сикибукё, глядя на своего внука, плачет так, что у него краснеет нос.

— К старости люди становятся слезливыми, — говорит Гэндзи. — Я вижу, Уэмон-но kami посмеивается, на меня глядя. Но, увы, молодость быстротечна. Годы, к сожалению, не текут вспять (318), и никому не дано избежать старости.

Гэндзи украдкой бросает взгляд на Уэмон-но kami, выделяющегося среди прочих своим задумчивым видом. Возможно, ему действительно нездоровится: во всяком случае, даже самые великолепные танцы как будто не привлекают его внимания. Обращенные к нему хмельные речи Гэндзи не более чем шутка, и тем не менее они поражают Уэмон-но kami в самое сердце. Голова его раскалывается от боли, и он лишь подносит к губам чашу с вином, когда она до него доходит. Приметив его уловку, Гэндзи начинает следить за ним, заставляя осушать каждую поданную чашу. Уэмон-но kami совсем смущается, отчего становится еще привлекательнее. Право, никто из присутствующих не может с ним сравниться. Однако ему все труднее скрывать замешательство, и в конце концов, не выдержав, он уезжает, когда пиршество еще в самом разгаре. Мучительное беспокойство терзает его душу.

«Откуда эта тяжесть в груди? — недоумевает Уэмон-но kami. — Разве я захмелел более обыкновенного? Отнюдь, я никогда не бывал трезвее. Слишком оробел, и от этого закружилась голова? Но ведь не настолько же я малодушен, чтобы совершенно потерять самообладание...»

Увы, вовсе не мимолетный хмель был причиной его страданий. Скоро Уэмон-но kami почувствовал себя больным. Вышедший в отставку министр и супруга его, встревоженные состоянием сына, решили перевезти его к себе — «спокойнее, если он будет рядом». Нетрудно представить себе горе Второй принцессы! Уэмон-но kami никогда, даже в те дни, когда ничто не нарушало его душевного покоя, не жаловал супругу особой благосклонностью и лишь тешил себя пустыми надеждами: «мол, со временем...» Но теперь, когда, возможно, в последний раз выходил он за ворота дома (106), сердце его тоскливо сжималось. Что ждет ее, кроме страданий? И он тому виною... Удручена была и миясудокоро, мать Второй принцессы.

— Родители есть родители, а вот супруги, что бы ни происходило, не должны разлучаться, — говорила она. — Так уж заведено в этом мире. Неужели вы действительно хотите жить в другом месте, пока не поправитесь? Когда бы вы знали, как это меня огорчает! Не лучше ли вам все-таки остаться здесь? Может быть, ваше здоровье укрепится?

— Вы совершенно правы — вздохнув, отвечал Уэмон-но kami. — Когда я, человек незначительный, удостоился разрешения вступить в союз со столь высокой особой, я надеялся, что сумею отблагодарить за эту честь хотя бы тем, что проживу долго и в конце концов займу положение, достойное звания моей супруги. Но боюсь, вы так и не успеете убедиться в моей преданности. Эта мысль удручает меня и не дает расстаться с миром, хотя я и понимаю, что вряд ли задержусь в нем надолго...

Они долго плакали, и Уэмон-но kami все не решался уехать. Но его мать, изнемогая от тревоги, снова прислала за ним:

«О, для чего не хотите Вы навестить своих престарелых родителей? Как ни много у меня детей, и в болезни, и в печали я прежде всего вспоминаю о Вас, именно Вас хочется видеть мне рядом. Сжальтесь же надо мной».

Увы, ее тоже можно понять.

— Я был первенцем, и, может быть, поэтому меня всегда любили больше других детей, — сказал Уэмон-но kami. — Матушка скучает и тревожится, когда я долго не появляюсь. Преступно пренебрегать ею теперь, когда мною владеет мысль о близком конце. Я никогда себе этого не прощу. Если вы

услышите, что надежд больше не осталось, навестите меня тайно. Я непременно хочу еще раз увидеться с вами. Я глупый, ничтожный человек, и мне жаль, что я доставил вам столько огорчений. Мог ли я знать, что срок мой близится к концу? Увы, я полагал, что впереди у меня долгая жизнь.

И, рыдая, Уэмон-но ками уехал.

Можно ли выразить словами горе принцессы?

В доме отца Уэмон-но ками окружили самыми нежными заботами. Болезни его понять никто не мог, но он давно уже не вкушал даже самой простой, необходимой для подкрепления здоровья пищи и сделался так слаб, что казалось, будто какая-то неведомая сила тянет его из мира.

Узнав, что жизнь одного из самых блестящих мужей столицы в опасности, люди опечалились, и не было никого, кто не пришел бы справиться о его здоровье. И правящий Государь, и отрекшийся постоянно присылали гонцов, невольно усугубляя тем самым смятение, царящее в сердцах несчастных родителей.

Гэндзи, не менее других встревоженный и огорченный вестью о болезни Уэмон-но ками, поспешил выразить свое участие Вышедшему в отставку министру. А Удайсё... Он грустил и тосковал невыразимо. Узы давней дружбы связывали его с Уэмон-но ками, и почти все свое время он проводил в доме министра.

Чествование государя Судзаку назначили на Двадцать пятый день. Вряд ли и этот день можно было назвать благоприятным, ибо один из виднейших мужей столицы был тяжело болен, а родные его и близкие предавались печали. Однако празднество и без того слишком долго откладывалось, и отменять его снова было невозможно. Гэндзи догадывался, как тяжело на душе у Третьей принцессы, и сердце его разрывалось от жалости к ней.

Как всегда бывает в таких случаях, в пятидесяти храмах провели чтение сутр, в обители же, где изволил пребывать государь, будде Махавайрочана...\*





## ДУБ

### Основные персонажи

**Гэндзи**, 48 лет

**Уэмон-но ками** (Касиваги), 32 (33) года — старший сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

**Третья принцесса** (Сан-но мия), 22 (23) года — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

**Вышедший в отставку министр** (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

**Государыня-супруга** (Акиконому) — дочь мясудокоро с Шестой линии и принца Дзэмбо, приемная дочь Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

**Государь Рэйдзэй** — сын Гэндзи (официально императора Кирицубо) и Фудзицубо

**Нынешний Государь** (Киндзё) — сын императора Судзаку и наложницы Дзёкёдэн

**Государь-монах** (император Судзаку) — старший брат Гэндзи, отец нынешнего Государя и Третьей принцессы

**Садайбэн** (Кобай) — младший брат Касиваги

**Вторая принцесса, принцесса с Первой линии** (Отиба) — дочь императора Судзаку, супруга Касиваги

**Мясудокоро** — мать Второй принцессы

**Удайсё** (Югири), 27 лет — сын Гэндзи

**Супруга Удайсё** (Кумои-но кари) — дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

**ЗДОРОВЬЕ** Уэмон-но ками не поправлялось, а год между тем сменился новым. «Вправе ли я упорствовать в желании уйти из мира? — спрашивал себя Уэмон-но ками, глядя на удрученные лица отца и матери. — Оставив их, я обрекою душу еще более тяжким преступлением. Но что привязывает меня теперь к миру? Стоит ли моя жизнь того, чтобы



цепляться за нее? Честолюбивый с детства, я всегда хотел хоть в чем-то быть выше других, единственно к этой цели и стремился во всех своих начинаниях, но, к сожалению, желаемое не всегда становится действительностью. Потерпев одну, другую неудачу, я потерял веру в себя и готов был сетовать “на весь этот мир унылый” (319). У меня возникло желание посвятить себя заботам о грядущей жизни, но, представив себе, в какое отчаяние это повергнет моих родителей, я понял, что не обрету покоя ни среди лугов, ни в горной глуши (320), ибо слишком крепки путы (43), привязывающие меня к этому миру. Итак, я остался жить, как жил, стараясь, как мог, примириться со своим существованием, но в конце концов, предавшись влечению чувств, навлек на себя такую беду, что стыжусь показываться людям на глаза. О, я понимаю, что сам виноват во всем, что не имею права роптать. Таково мое предопределение, и стоит ли звать к буддам и богам? “С сосной вековой годами никому не дано сравниться...” (321). Раньше или позже всем суждено покинуть этот мир, так почему бы мне не уйти из него теперь, пока обо мне хоть кто-то еще может пожалеть? О, когда б я мог надеяться, что хоть одно слово участия слетит с ее губ, я счел бы себя вознагражденным за все муки, которые испытал, сгорая в огне “пламенной страсти” (322). Если продлятся мои дни, меня ждет бесчестье, и кто знает, сколько еще горестей предстоит изведать и мне, и ей? А ежели я покину этот мир, меня, быть может, простит тот, кто вправе считать себя оскорбленным. Все исчезнет, когда я подойду к последнему пределу. Других преступлений я не совершал, так неужели я не могу надеяться на сочувствие того, кто столько лет оказывал мне благосклонность?»

В тоскливой праздности влача часы, Уэмон-но kami предавался размышлениям и с каждым днем все глубже погружался в бездну уныния. «Как случилось, что я попал в столь безвыходное положение?» — терзался он, и потоки слез, казалось, готовы были унести изголовье (123), но кого мог он винить, кроме себя самого?.. Как только стало ему немного лучше и его оставили наконец одного, он написал письмо к Третьей принцессе:

«Возможно, Вы слышали о том, что жизнь моя близится к концу? Я понимаю, что для Вас это не имеет значения, и все же...»

Рука его сильно дрожала, и, не сумев написать всего, что хотел, Уэмон-но kami ограничился следующим:

«Близок конец —  
Дым от костра погребального,  
В небе повиснув,  
Никак не рассеется. Не угасает  
Пламя моей любви...

Разве я не вправе рассчитывать хотя бы на участие? Одно Ваше слово принесло бы моему сердцу желанный покой, осветило бы крошечный мрак, на блуждание в коем я обрек себя».

Увы, видно, горький опыт ничему не научил его, ибо он не преминул написать и Кодзидзю, решив хотя бы с ней поделиться своими печалью. «Я хотел бы встретиться с тобой лично».

Кодзидзю еще девочкой бывала в доме Вышедшего в отставку министра, где прислуживала ее тетка, и хорошо знала Уэмон-но kami. Могла ли она не

пожалеть его, услышав, что дни его сочтены? Разумеется, он был слишком дерзок, и все же...

— Ответьте ему, — плача, просила она госпожу, — ведь это и в самом деле конец...

— Боюсь, что и я не сегодня-завтра... — отвечала принцесса. — О, мне так тоскливо! Мне жаль его, но ничего, кроме самого обычного сочувствия, нет в моем сердце. Ответить? Одна мысль об этом повергает меня в ужас. Теперь-то я знаю, как губительны могут быть последствия...

Она отказалась писать наотрез.

Благоразумие и осмотрительность никогда не были свойственны Третьей принцессе; скорее всего она просто робела перед супругом, страшилась намеков, которые нет-нет да и проскальзывали в его речах, к ней обращенных.

Кодзидзю, продолжая настаивать, приготовила тушечницу, и принцесса нехотя написала письмо, которое тут же под покровом ночи было тайно доставлено Уэмон-но ками.

Тем временем Вышедший в отставку министр, призвав знаменитого заклинателя с горы Кадзураки\*, поручил ему вершить оградительные обряды. По всему дому разносились громкие голоса монахов, произносивших заклинания и читавших сутры. Следуя советам разных людей, министр отправил младших сыновей на поиски других заклинателей-отшельников, живущих далеко в горах и мало кому в этом мире известных. Скоро в доме его собралось множество монахов-скитальцев, весьма неприглядных на вид.

Никакой определенной болезни у Уэмон-но ками не было, но целыми днями он лежал, погруженный в мрачное уныние, а временами рыдания сотрясали его грудь. Многие гадальщики утверждали, что дело не обошлось без вмешательства злого духа женского пола, да и сам министр был того же мнения. Однако же дух этот не обнаруживал себя, и вот тогда-то встревоженный министр решил отправить сыновей на поиски, наказав им не пропускать ни одного самого отдаленного горного уголка.

А пока святой отшельник с горы Кадзураки произносил заклинания у ложа больного. Это был высокий мужчина с суровым взглядом и громким, резким голосом.

— Невыносимо! — не выдержал Уэмон-но ками. — Неужели я так греховен? Мучительный страх овладевает душой при звуке этого голоса, мне кажется, что моя жизнь вот-вот оборвется.

Потихоньку выскользнув из опочивальни, он поспешил к Кодзидзю.

Министр ничего о том не знал, ибо предусмотрительный Уэмон-но ками велел дамам говорить всем, что он спит. Не сомневаясь, что это действительно так, министр шепотом переговаривался с заклинателем.

Еще совсем недавно невозможно было и вообразить его сидящим вот так, рядом с простым монахом. Министр всегда был человеком веселого, шутивого нрава, и годы мало изменили его. Теперь же его трудно было узнать. Вздыхая, он рассказывал о том, как заболел его сын, как, несмотря на временное улучшение, ему становилось все хуже...

— Прошу вас, освободите его из-под власти злых духов! — молил он. Печально, право!

— Ты только послушай! — говорил между тем Уэмон-но ками Кодзидзю. — Не умея понять истинной причины моего недуга, они при помощи гаданий установили, что всему виной дух женщины. О, если бы это была правда! Когда б ее мстительный дух проник в мое тело, как бережно относился бы я к себе, да и жизнь уже не казалась бы мне такой постылой... Я знаю, что я не одинок, что во все времена находились люди, которые желали большего, нежели заслуживали. Совершенно так же как я, они всем сердцем предавались преступной страсти, порочили имена своих возлюбленных и в конце концов начинали испытывать отвращение к собственной жизни. Все это мне известно, но разве от этого легче? Мир меркнет в моих глазах при одной мысли, что я еще жив, несмотря на то что господин с Шестой линии знает о моем преступлении. Впрочем, быть может, просто слишком яркое сияние, от него исходящий? Я не считаю, что мое преступление так уж велико, но в тот вечер, когда я увиделся с ним, все чувства мои пришли в смятение, и до сих пор мне кажется, будто душа моя блуждает где-то и не может вернуться (323). Если она там, на Шестой линии, удержи ее, прошу\* (324, 325).

Все это он говорит, то плача, то смеясь, и кажется, силы совсем покинули его, одна пустая оболочка осталась от тела. Кодзидзю рассказывает ему о принцессе, о том, как задумчива и печальна она теперь, как боится чужих взглядов. Перед Уэмон-но ками возникает ее образ — поникшая фигурка, осунувшееся, грустное лицо... Он видит ее так ясно, что сердце его болезненно сжимается: «Ах, неужели моя душа и в самом деле возле нее витает?»

— Больше ты не услышишь от меня ни слова о твоей госпоже. Но как же досадно, что при всей никчемности и мимолетности моей жизни я стал препятствием на ее пути к грядущему. Ах, только бы успеть услышать о благополучном разрешении... Этот сон, который я видел когда-то... Увы, мне останется мучиться догадками тайно, ведь я никому не могу открыться. О, как это тяжело!

Мысли его с неодолимой силой стремятся к одному предмету, ничто другое не занимает его. «Все это не к добру», — подумала Кодзидзю, на него глядя, но в следующий миг нестерпимая жалость пронзила ее сердце, и она заплакала. Придвинув к себе светильник, Уэмон-но ками прочел ответ принцессы. Знаки, начертанные бледной тушью, поражали удивительным изяществом.

«Мне жаль Вас, но, увы, смею ли... Я могу лишь гадать... Вы пишете: “не угаснет...”, но, право...

Вот бы и мне  
С этим дымом растаять...  
Может, тогда  
Рассеются и сомненья —  
Кто тяжелее страдал?..

Неужели Вы думаете, что я задержусь здесь надолго?»

Вот и все, что она написала, но растроганный Уэмон-но ками благодарен ей и за это.

— Неужели у меня не останется иной памяти о мире, кроме этого «дыма»? Как все тщетно!

Рыдания душат его. Не поднимаясь с ложа, то и дело откладывая кисть, чтобы передохнуть, Уэмон-но ками пишет ответ.

Письмо получается довольно бессвязным, знаки причудливы, словно птичьи следы...

«Дымом став,  
Затеряюсь в бескрайнем небе...  
Но даже тогда  
От владычицы дум моих  
Вряд ли смогу оторваться...

Смотрите вечерами на небо, прошу Вас, — пишет он, и тяжкие вздохи теснят его грудь. — О, когда меня не будет, никто не взглянет на Вас укоризненным взором, ничто не нарушит Вашего покоя. Постарайтесь же и меня, несчастного, вспоминать с участием...

— Что ж, довольно, — говорит он наконец, отложив кисть. — Возвращайся к госпоже, пока не стемнело, и скажи ей, что моя жизнь приблизилась к своему крайнему сроку. Неприятно, если люди начнут строить догадки, подозревать... Боюсь, что эта мысль будет тяготить меня и после... О, если б знать, каким преступлением в предыдущем рождении навлек я на себя такие несчастья?

Обливаясь слезами, Уэмон-но ками удаляется в опочивальню. «А ведь раньше он никогда сразу не отпускал меня, заставлял болтать с ним о разных пустяках...» — думает Кодзидзю, сердце ее печально сжимается, и она долго не может уйти. Кормилица, рыдая, делится с ней своими опасениями. Нетрудно себе представить, в каком отчаянии министр!

— И вчера, и сегодня с утра вам было явно лучше, — не скрывая тревоги, говорит он. — Теперь же силы снова покинули вас... Отчего?

— Что тут скажешь... Увы, жить мне осталось совсем немного... — отвечает Уэмон-но ками, и слезы текут у него по щекам.

В тот вечер принцесса внезапно почувствовала себя хуже. По многим признакам судя, подошел ее срок, и дамы, всполошившись, послали за Гэндзи, который не замедлил прийти.

«Как радовался бы я, когда б не эти мучительные сомнения», — думал он, но старался не выдавать своих истинных чувств, дабы не возбуждать любопытства окружающих. В последнее время в доме беспрерывно совершались оградительные службы, сегодня же, отобрав самых мудрых монахов, Гэндзи отправил их в покои принцессы, чтобы они помогали ей своими молитвами.

Всю ночь промучилась принцесса, а на рассвете разрешилась наконец от бремени. «Мальчик», — сообщили Гэндзи. «Досадно, если тайное станет явным только из-за внешнего сходства, — подумал он. — Будь это девочка, сходство можно было бы так или иначе скрыть, да ее и не пришлось бы никому показывать... Впрочем, с мальчиком гораздо меньше забот, а как рождение этого ребенка сопряжено со столь мучительными сомнениями... И все же странно! Наверное, это и есть возмездие за преступление, воспоминание о котором постоянно гнетет меня. Впрочем, раз возмездие столь неожиданным образом настигло меня уже в этой жизни, не вправе ли я надеяться на облегчение своей участи в будущем?»

Дамы, ни о чем не подозревая, хлопотали возле новорожденного, полагая, что ему суждено занять совершенно особое место в сердце господина — ведь тот стоит на пороге старости, да и мать младенца — особа высочайших кровей...

Все положенные обряды справили с невиданной пышностью. Обитательницы дома на Шестой линии прислали роскошные дары, каждая постаралась превзойти остальных и даже обычные подносы, подставки и столики, на которых было разложено угощение, отличались необыкновенным изяществом.

На Пятую ночь принесли дары от Государыни-супруги, не менее великолепные, чем принято подносить во время самых торжественных церемоний во Дворце. Для принцессы предназначалось особое праздничное угощение, все ее прислужницы были одарены сообразно званию каждой. Государыня прислала также ритуальную кашу и пятьдесят рисовых колобков «тондзики». Во всех покоях дома на Шестой линии было выставлено угощение для низшей прислуги и служителей домашней управы. Никто не был забыт, всех угостили на славу.

В тот день в доме на Шестой линии собрались не только чиновники из Службы Срединных покоев во главе с Дайбу, но и придворнослужители из дворца Рэйдзэй.

На седьмую ночь Государь лично изволил прислать гонца с поздравлениями. Это тоже было обставлено весьма торжественно.

Вышедшему в отставку министру полагалось отметить столь важное событие особым образом, но, удрученный болезнью сына, он позаботился лишь о том, чтобы не нарушать приличий.

Дабы принять участие в торжестве, в дом на Шестой линии пожаловали все принцы крови и высшие сановники. Полагающиеся обряды были совершены с необыкновенной торжественностью, однако жестокие сомнения по-прежнему терзали душу Гэндзи, и никаких особенных увеселений в доме не устраивалось.

Принцесса долго не могла прийти в себя от боли и страха. Ничего подобного ей еще не доводилось испытывать, а как отличалась она к тому же чрезвычайно хрупким сложением...

Отказываясь от целебного отвара, принцесса сетовала на злосчастную судьбу. «О, почему я не умерла?» — спрашивала она себя.

Гэндзи на людях умело скрывал свои истинные чувства, но особенного интереса к совсем еще беспомощному младенцу не обнаруживал.

— Удивительная черствость! — возмущались нянчившие новорожденного пожилые дамы. — Такое прелестное дитя, даже страшно за него становится, да еще в таком возрасте, когда, казалось бы...

Услыхав краем уха их пересуды, принцесса совершенно пала духом. «Теперь господин совсем отдалился от меня». Ей сделалось так горько, так досадно. «Не стать ли мне монахиней?» — вдруг подумалось ей.

Гэндзи давно уже не оставался на ночь в ее покоях, лишь ненадолго заходил днем.

— Сколь тщетно все в нашем мире, — как-то сказал он, заглядывая за занавес, за которым она лежала. — Боюсь, что жить мне осталось немного. Печаль сжимает мое сердце, и почти все время отдаю я теперь молитвам,

потому-то так редко и бываю у вас. Увы, всякий шум претит мне. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вы приободрились? Я очень беспокоился за вас.

— Мне кажется, я не задержусь в этом мире, — отвечает она, приподняв голову. — Говорят, такое случается с тем, кто обременен тяжким преступлением. Не принять ли мне постриг? Быть может, это сохранит мне жизнь, а если я все равно умру, то по крайней мере облегчит бремя, отягощающее душу.

Никогда еще не говорила она с ним так рассудительно, словно взрослая.

— О нет, вы не должны думать об этом, совсем не к добру теперь... Откуда у вас такие мысли? Я понимаю, что вам пришлось перенести тяжелое испытание, но ведь далеко не всегда от этого умирают, — сказал Гэндзи, а сам подумал: «Что ж, коли у нее в самом деле возникло такое желание и она даже решилась сказать мне о нем, может, это и к лучшему? Возможно, когда она изменит облик, я стану относиться к ней с большим участием. К сожалению, я не могу могу перемениться к ней, и, если все останется по-прежнему, ее ждет безрадостное существование. Моя невольная холодность будет обижать ее, а люди не преминут меня осудить. В конце концов слух об этом дойдет до ее отца... Так не лучше ли разрешить ей стать монахиней, тем более что ее болезнь...»

Но в следующее же мгновение щемящая жалость к принцессе пронзила его сердце. Вправе ли он ее, совсем еще юную, обрекать на безрадостное существование затворницы, вправе ли допустить, чтобы эти прекрасные длинные волосы были обрезаны?

— Вы не должны поддаваться унынию, — говорит он, предлагая ей целебный отвар. — В вашей болезни нет ничего опасного. Даже человек, которого состояние всем кажется совершенно безнадежным, может вдруг выздороветь. Да за примером и ходить далеко не надо. Всегда уповайте на лучшее.

Бледная, исхудавшая лежит перед ним принцесса. В ее болезненной хрупкости таится какое-то особое, тихое очарование. «Стоит лишь посмотреть на нее, — невольно вздыхает Гэндзи, — и можно простить ей любое прегрешение».

Слух о благополучном разрешении Третьей принцессы дошел и до государя-монаха. Растроганный, он с еще большим нетерпением принялся ждать встречи с ней, но ему доносили, что она по-прежнему слаба, и, изнемогая от беспокойства, государь с трудом заставлял себя сосредоточиваться на молитвах.

Изнуренная долгим недомоганием, принцесса отказывалась от пищи и слабела на глазах.

— Никогда еще я не тосковала так по отцу, — плача, признавалась она. — Как знать, может быть, и не придется нам никогда больше свидеться.

Через доверенного человека слова принцессы были переданы государю-монаху, и тот, хотя и понимал, сколь это безрассудно, не сумел превозмочь тревоги и однажды под покровом ночи покинул свою обитель. Никого не известив заранее, он внезапно появился в доме на Шестой линии, приведя хозяина его в сильнейшее замешательство.

— У меня не было желания возвращаться в этот суетный мир, — говорит государь, — но мрак, царящий в моем сердце, все не рассеивается (3),

я никак не могу обрести покой и невольно пренебрегаю молитвами. Разумеется, все «исчезает — одно раньше, другое позже» (326), но, ежели естественный порядок будет нарушен и она, моя дочь, покинет мир раньше меня, я никогда не прощу себе, что так и не увиделся с ней. Эта досада будет вечно жить в моем сердце. Потому-то я и решился, пренебрегая приличиями...

Монашеское одяние сообщает облику государя особое изящество. Не желая привлекать к себе любопытные взоры, он отказался от парадного облачения, приличествующего его сану, и надел простое темное платье, как нельзя лучше оттеняющее нежную прелесть его лица. С завистью на него глядя, Гэндзи не может удержаться от слез.

— У принцессы нет никакого определенного недомогания, — говорит он, — но она слабеет с каждым днем. Впрочем, это неудивительно, ибо она совершенно не принимает пищи. Мы не ожидали столь высокого гостя, лишь ваша снисходительность... — И, распорядившись, чтобы для государя положили сиденье возле полога, Гэндзи вводит его в покои.

Принарядив принцессу, дамы помогают ей подняться с ложа. Отодвинув скрывающий ее занавес, государь говорит:

— Я словно ночной монах... Жаль только, что молитвы мои не приносят вам облегчения. Вы хотели видеть меня, и вот я здесь.

Слезы навертываются у него на глазах, принцесса тоже плачет, и силы окончательно изменяют ей.

— Я знаю, мне осталось жить совсем немного, — говорит она. — Прошу вас, пока вы здесь, сообразовайте принять у меня обет.

— Ваше намерение похвально, — отвечает государь. — Но почему вы так уверены, что жизнь ваша подошла к своему пределу? Тем, у кого впереди долгое будущее, не стоит принимать монашеский сан, ибо, вместо того чтобы обрести успокоение, они могут оказаться вовлеченными в новые заблуждения и в конце концов лишиться доброго имени. Я бы не советовал вам топотиться...

— Увы, это ее собственное желание, — замечает он, обращаясь к Гэндзи. — И если жизни ее действительно грозит опасность, вправе ли мы отказывать ей в том, что может принести хотя бы временное облегчение?

— Принцесса давно уже просит меня об этом, — отвечает Гэндзи, — но я не принимаю ее всерьез, мне кажется, она говорит так по наущению некоего духа, в нее вселившегося.

— Может быть, вы и правы, но нельзя не признать, что намерения у этого духа не такие уж дурные. Она слабеет, скорее всего, конец и в самом деле близок. Мы никогда не простим себе, если откажемся выполнить ее последнюю просьбу.

Для государя Судзаку не составляло тайны, что надежды, которые он возлагал на брак дочери, не оправдались, что ей так и не удалось пробудить глубокого чувства в сердце супруга, человека, которому он отдал ее со спокойной душой. Государь никогда не упрекал Гэндзи и ничем не обнаруживал своего недовольства, хотя ходившие по миру слухи не могли не уязвлять его самолюбие.

Желание дочери принять постриг заставило его задуматься. В самом деле, не лучше ли воспользоваться этой возможностью? По крайней мере никто не посмеет сказать, что принцесса решилась покинуть супруга, недо-

вольная его холодностью. Разумеется, положение ее уже не будет таким высоким, зато доброе имя останется незапятнанным. Что касается общего устройства ее жизни, то об этом позаботится Гэндзи, на него вполне можно положиться. Главное, чтобы у окружающих не создалось впечатления, будто супруги расстались, питая друг к другу враждебные чувства. Поселить же принцессу можно в доме, доставшемся государю-монаху по наследству от отца. Это просторное, красивое жилище, требующее самой незначительной переделки. «Будет лучше, если положение принцессы определится, пока я жив, — думал он, — надеюсь, что супруг не откажется от нее совершенно. Посмотрим, сколь велика его привязанность к ней...»

— Что ж, пожалуй, и в самом деле стоит воспользоваться моим присутствием для того, чтобы, приняв у нее ряд обетов, помочь ей сделать первый шаг по истинному пути, — говорит государь.

Сердце Гэндзи грустно сжимается: «Неужели это действительно необходимо?» — и вот уже прежние обиды преданы забвению. С трудом скрывая волнение, он проходит за занавес.

— О, зачем хотите вы оставить меня, старика, чьи годы приближаются к концу? Прошу вас, потерпите еще немного, выпейте целебного отвара, скушайте что-нибудь. Несомненно, ваше решение похвально, но вы слишком слабы, у вас вряд ли достанет сил даже на то, чтобы творить обряды. Не лучше ли сначала окрепнуть?

Но все уговоры напрасны. «Ну не жестоко ли?» — принцесса, не отвечая, лишь отрицательно качает головой.

В ней ничто не обнаруживает ни малейшего волнения, но Гэндзи смотрит на нее с жалостью, понимая, что сердце ее глубоко уязвлено.

Пока он уговаривал ее отказаться от своего намерения, пока медлил, пытаясь оттянуть решительный миг, ночь начала светлеть.

— Я должен уехать затемно, — говорит государь-монах и, призвав самых почтенных монахов из тех, что молились в покоях принцессы, велит им приступать... Право, есть ли что-нибудь на свете печальнее этого обряда, особенно когда свершают его над женщиной в самом расцвете лет? Можно ли равнодушно смотреть, как обрезают ее прекрасные волосы?

Гэндзи рыдает, не в силах сдерживаться. А государь... Третья принцесса всегда была его любимицей, он тешил себя надеждой, что сумеет обеспечить ей прекрасное будущее. Увы, его надежде не суждено сбыться, по крайней мере в этом мире. Велико горе государя, и слезы нескончаемым потоком текут у него по щекам.

— Что ж, теперь ничего не изменишь, — говорит он наконец, — живите, не зная волнений. Молитесь и впредь столь же усердно.

Не успел забрезжить рассвет, как государь-монах уехал. Принцесса совсем ослабела, казалось, жизнь еле теплится в ней, она даже не смогла проводить государя взглядом и не сказала ему ни слова на прощание.

— Ах, я словно во сне, — вздыхая, говорит Гэндзи. — Мысли мои расстроены, боюсь, что я не сумею должным образом высказать вам свою признательность. Ваш приезд пробудил в душе мучительные воспоминания. Постараюсь навестить вас в ближайшее время сам, и тогда...

Призвав приближенных своих, он поручает им проводить государя-монаха.



— Мне всегда казалось, что не сегодня-завтра оборвется моя жизнь, — говорит тот на прощание. — Только жалость к дочери удерживала меня в этом мире, ведь, кроме меня, ей не на кого было опереться, и я боялся, что, оставшись одна, она будет принуждена влачить жалкое существование. В конце концов я решил препоручить ее вашим заботам, хотя и знал, что вам это не по душе. До сих пор я был за нее спокоен. А теперь... Коли жизнь принцессы продлится, ей, в ее новом обличье, вряд ли прилично будет оставаться в столь многолюдном жилище. Можно было бы поселить ее где-нибудь в горной обители, но там ей будет слишком одиноко. Смею ли я надеяться, что вы и впредь не оставите ее своими попечениями и будете заботиться о ней сообразно ее новому положению?

— Вы сомневаетесь во мне? Ах, как мне стыдно, — отвечает Гэндзи. — Право же, я в таком смятении, что мне трудно собраться с мыслями.

Он и в самом деле был близок к отчаянию. Незадолго до рассвета злой дух, вселившийся в тело принцессы, обнаружил наконец свое присутствие.

— Теперь вы видите, на что я способна? — возопил он, разразившись диким хохотом. — Как вы радовались, что вам удалось вернуть к жизни ту столь ненавистную мне особу! Только о ней вы и думали, воспламеняя душу мою безумной ревностью! Вот я и пробралась сюда. Но довольно, теперь я ухожу...

Гэндзи содрогнулся от ужаса. «Значит, этот дух продолжает преследовать меня!» — подумал он, и сердце его болезненно сжалось. Ах, зачем он разрешил принцессе принять постриг! Так или иначе, судя по всему, к ней и в самом деле вернулись жизненные силы, хотя выглядела она по-прежнему болезненной, и уверенности в благополучном исходе не было.

Дамы, еще не успевшие примириться с новым положением своей госпожи, тем не менее усердно творили молитвы.

— Пусть так, только бы жизнь ее была безмятежной...

Гэндзи лично проследил за тем, чтобы в покоях принцессы постоянно произносились заклинания и творились обряды.

Когда Уэмон-но ками узнал о том, что произошло в доме на Шестой линии, силы окончательно изменили ему, и скоро у окружающих не осталось никакой надежды. Сердце его сжималось от жалости ко Второй принцессе, но послать за ней он не решился. «Сам приезд ее будет сочтен нарушением приличий, а если ее случайно увидят мать или отец, ни на миг не оставляющие меня одного...» Он собрался было поехать к ней сам, но его не отпустили. Поэтому Уэмон-но ками всех без исключения просил позаботиться о принцессе.

Мать Второй принцессы, мясудокоро, с самого начала не слишком одобрительно относилась к союзу дочери с простым подданным, однако министр лично просил за сына и проявил такую настойчивость, что она в конце концов уступила. Государь-монах тоже вынужден был дать свое согласие.

В последние дни Уэмон-но ками нередко чувствовал себя виноватым, вспоминая услышанные от кого-то слова государя-монаха: «О да, куда меньше опасений вызывает будущее Второй принцессы, которая имеет вполне надежного покровителя». Государь сказал это в те дни, когда сердцем его владела тревога за Третью принцессу.

— Мне так жаль, что приходится оставлять ее одну, — говорил Уэмон-но ками матери, — но человек не волен располагать своей судьбой. При одной мысли о том, как станет она печалиться, досадуя на связавший нас обет, сердце готово разорваться на части! Прошу вас, примите в ней участие, не забывайте ее.

— О, не говорите так, это не к добру, — рыдая, отвечала мать. — Подумайте, надолго ли я задержусь в этом мире, если вы его покинете? Стоит ли говорить теперь о будущем?

И что можно было ей ответить? Уэмон-но ками обратился к своему младшему брату, Садайбэну и дал ему подробные наставления.

Обладая миролюбивым нравом и чувствительным сердцем, Уэмон-но ками снискал уважение и любовь не только младших братьев своих, но и их малолетних сыновей. Они почитали его как отца и теперь, слушая его прощальные напутствия, совсем приуныли. Печаль воцарилась в доме министра, да и во Дворце не было никого, кто остался бы равнодушным, услышав о том, что жизнь Уэмон-но ками подошла к концу. Государь поспешил пожаловать ему чин гон-дайнагона.

«Быть может, это укрепит его дух и он придет во Дворец хотя бы для того, чтобы выразить свою признательность», — надеялся он, но, увы, больному день ото дня становилось хуже, он сделался так слаб, что не мог подняться, и, как ни тяжело было у него на сердце, ограничился тем, что принес Государю свои извинения. Столь явное проявление высочайшей благосклонности повергло министра в еще большее отчаяние.

Удайсё, в глубоком унынии пребывавший, часто навещал Уэмон-но ками. Вот и теперь приехал первым, дабы поздравить его с повышением.

Все пространство от флигеля, где помещается больной, до ворот заполнено лошадьми и каретами, повсюду толпятся люди. С тех пор как год сменился новым, Уэмон-но ками почти не встает с ложа и важных гостей не принимает, стыдясь своей расслабленности, однако подумав: «Кто знает, увидимся ли мы снова, ведь я слабею с каждым днем» — все-таки соглашается встретиться с Удайсё.

— Подойди ближе, — просит он. — Надеюсь, ты простишь, что я принимаю тебя в таком виде.

И он велит монахам, молящимся у его изголовья, на время удалиться. Удайсё и Уэмон-но ками дружили с самого детства и никогда не имели друг от друга тайн. Мысль о предстоящей разлуке приводила Удайсё в не меньшее отчаяние, чем родителей и братьев Уэмон-но ками. Он надеялся, что весть о новом назначении придаст другу бодрости, но, увы...

— Неужели ты так ослабел? — спрашивает Удайсё, приподнимая край занавеса. — Я ждал, что столь радостная весть поднимет тебя на ноги...

— Ах, мне и самому досадно. Увы, я давно уже не тот...

Надев шапку «эбоси», Уэмон-но ками пытается приподняться, но даже это ему не по силам.

Он лежит, прикрытый покрывалом поверх нескольких мягких белых платьев, наброшенных одно на другое. Убранство покоев отличается изящной простотой, в воздухе витают изысканнейшие ароматы. Судя по всему, Уэмон-но ками и в болезни не изменил своим привычкам. В облике тяжелобольного человека со временем всегда появляется что-то непри-

ятное: волосы спутываются, лицо зарастает бородой... Однако Уэмон-но ками, несмотря на изможденный вид, по-прежнему бел лицом и изящен. Приподнявшись на изголовье, он беседует с Удайсё слабым, прерывающимся голосом, и что-то удивительно трогательное проглядывает в его чертах.

— Похоже, что долгая болезнь не так уж и повредила тебе, — говорит Удайсё, тайком утирая слезы. — Ты теперь еще красивее прежнего. Помнишь, мы обещали друг другу никогда не расставаться и вместе отправиться в последний путь? А теперь? Я даже не знаю, в чем причина... Уж от меня, самого близкого своего друга, ты мог бы не таиться...

— Увы, я и сам не понимаю... — отвечает Уэмон-но ками. — Никакого определенного недомогания у меня нет, просто как-то совершенно незаметно силы покинули меня, и теперь мне кажется, я не принадлежу уже этому миру. Поверь, я не дорожу своей жизнью и готов в любой миг расстаться с ней, но даже это мне не удастся, возможно, потому, что слишком много возносится молитв и дается обетов, на то направленных, чтобы задержать меня в этом мире. А поскольку я ничего так не желаю, как побыстрее покинуть его, все это лишь умножает мои страдания. Впрочем, уйти из мира тоже не просто. Меня печалит, что я не только не успею до конца выполнить свой долг перед престарелыми родителями, но и вовлеку их сердца в пучину скорби. Мне не удалось доказать своей преданности Государю, ибо я принужден был преждевременно оставить службу... Да и многое другое вызывает смутную досаду, когда я оглядываясь на свою жизнь. Впрочем, сетования на горькую судьбу — обычное дело, об этом и говорить не стоит. Но есть обстоятельство, одна мысль о котором повергает меня в смятение. Я не уверен, что вправе говорить об этом даже теперь, когда дни мои сочтены... Но молчать слишком тяжело, а с кем еще я могу поделиться? Разумеется, у меня много братьев, но по некоторым причинам я не осмеливаюсь даже намекнуть на эту тайну кому-нибудь из них.

Дело в том, что однажды у меня возникло небольшое, так, ничего особенного, расхождение с господином министром с Шестой линии, и с тех пор я чувствую себя виноватым. Это чувство вины вовлекло меня в бездну уныния и подорвало жизненные силы. В тот день, когда в доме на Шестой линии проводился предварительный смотр танцам, которые должны были исполняться на празднестве в честь государя из дворца Судзаку, я тоже оказался в числе приглашенных. Именно в тот день ваш отец дал мне понять, что не простил меня, и я почувствовал, что не могу больше оставаться в этом мире. Я окончательно лишился покоя, и жизнь сделалась для меня тягостным бременем.

Я понимаю, сколь мало значу для господина с Шестой линии, но для меня он всегда был надежной опорой, и при мысли, что кто-то мог оклеветать меня перед ним, сердце стесняется от горечи, которая останется после моего ухода, и, боюсь, станет для меня препятствием в грядущих мирах. Прошу тебя, при случае Расскажи ему об этом и попытайся смягчить его сердце. О, тебе зачтется, если он простит мне эту вину — хотя бы после того, как меня не станет.

Лицо его искажено страданием, и тут в голове Удайсё мелькает смутная догадка... Впрочем, может ли он быть уверен?

— Но что именно терзает твою душу? — спрашивает он. — Незаметно, чтобы отец был чем-то недоволен, наоборот, он чрезвычайно встревожился, узнав о твоей болезни, и всегда говорит о тебе с участием... Но для чего ты раньше не открыл мне душу? Я помог бы вам объясниться. А теперь, увы...

О, если б можно было «все возвратить к началу»! (327)

— Ты прав, — отвечает Уэмон-но ками. — Я должен был открыться тебе, когда состояние мое еще не было столь тяжелым. Но не зная что так близок конец, что не сегодня завтра, я медлил, проявляя досадную неосмотрительность... Никто, кроме тебя, не должен знать... Я открыл свою тайну тебе, надеясь, что при случае ты замолвишь за меня словечко перед твоим отцом. И еще прошу тебя время от времени навещать принцессу с Первой линии. Не оставляй ее своими заботами, пусть слухи о ее бедственном положении не тревожат государя-монаха.

Уэмон-но ками многое еще хотелось сказать другу, но силы его иссякли, и он только сделал знак рукой, чтобы тот оставил его.

Обливаясь слезами, Удайсё вышел.

Опочивальня больного снова наполнилась монахами, к ложу приблизились мать и отец, вокруг засуетились дамы. Удайсё же, рыдая, покинул дом министра.

Надобно ли рассказывать о том, как горевала нёго Кокидэн? Впрочем, супруга Удайсё и остальные тоже не осушали глаз. А супруга Правого министра? Уэмон-но ками, будучи человеком на редкость широкой души, простирали заботы свои на всех окружающих, поэтому его одного и почитала она истинно братом своим. Во многих храмах заказывала она теперь молебны, но, увы, все было тщетно, да и «что способно исцелить»?.. (328)

Даже не успев встретиться еще раз со Второй принцессой, Уэмон-но ками покинул этот мир — так тает пена на воде...

Никогда не питая к супруге своей горячей, страстной привязанности, Уэмон-но ками тем не менее сумел окружить ее самыми нежными, почтительными заботами, так что ей не в чем было его упрекнуть. Она лишь недоумевала, не понимая, почему за столь недолгую жизнь Уэмон-но ками успел проникнуться таким отвращением к миру...

С жалостью глядя на печальное лицо дочери, миясудоокоро не уставала сетовать на судьбу. Больше всего на свете ее страшили пересуды, которые могли повредить доброму имени принцессы.

А уж о несчастных родителях и говорить нечего — горе их было неизбежно.

— О, зачем он опередил нас... — сокрушались они. — Как нелепо, жестоко устроен мир.

Но, увы, тщетно...

Принцесса-монахиня, которую повергали в отчаяние домогательства Уэмон-но ками, вовсе не желала ему долгой жизни, но весть о его кончине тронула и ее сердце. «Он догадывался, что дитя... — думала она. — Вероятно, таково было наше предопределение, и этот поистине невероятный поворот в моей жизни далеко не случаен». И она тосковала и плакала тайком.

Наступила Третья луна, дни стояли ясные и теплые. Младенцу скоро должно было исполниться пятьдесят дней, он был бел лицом и чрезвычайно миловиден. Даже начинал уже что-то лепетать, а ведь обычно это бывает значительно позже.

Как-то к принцессе заходит Гэндзи.

— Я вижу, вам лучше, — говорит он. — Право, стоило ли так торопиться? Мне было бы гораздо приятнее видеть вас теперь в обыкновенном обличье. Как решились вы так жестоко поступить со мной? — пеняет он ей со слезами на глазах.

Он навещает ее почти каждый день, и трудно представить себе более почтительного и заботливого супруга.

На Пятидесятый день полагается подносить младенцу особые лепешки-моти, и дамы пребывали в растерянности, не зная, каким образом в покоях монахини... Как раз в этот миг и появился Гэндзи.

— Что вас смущает? — говорит он. — Будь это девочка, присутствие матери-монахини и впрямь могло бы считаться дурным предзнаменованием, но коль скоро это мальчик...

В конце концов решили отгородить небольшое помещение в южных покоях, дабы провести там все положенные обряды. Ничего не ведающие кормилицы облачились в роскошные праздничные платья, расставили повсюду — и внутри и снаружи — всевозможные корзинки, коробки с яствами, одна другой изящнее. «Ах, как все это некстати, невыносимо!» — думает Гэндзи, глядя, как они снуют по дому, целиком поглощенные приготовлениями.

Принцесса, поднявшись, попыталась пригладить волосы: рассыпавшиеся по плечам густые пряди изрядно докучают ей. Отодвинув занавес, Гэндзи устраивается рядом, и принцесса смущенно отворачивается. Она похудела и стала словно еще меньше ростом. Из жалости волосы оставили ей длиннее, чем полагается, поэтому со спины трудно заметить, что в ее облике произошли какие-то перемены. Она сидит боком к Гэндзи, облаченная в несколько зеленовато-серых нижних платьев и желтовато-красное верхнее. Ничто в ней не выдает монахиню, она кажется миловидной девочкой, изящной и нежной.

— Печально! — вздыхает Гэндзи. — Этот серый цвет так мрачен. Разумеется, я нахожу некоторое утешение в мысли, что вы останетесь на моем попечении, но на глазах моих не высыхают слезы, и мне стыдно... Впрочем, не смею роптать, ибо сам виноват в том, что вы отдалились от меня. Но как же мне больно, как обидно... О да, когда б можно было «все возвратить к началу» (327)! Если вы решитесь окончательно разорвать наш союз, я буду знать, что в вашем сердце истинно не осталось ничего, кроме неприязни. Признаюсь, это было бы для меня тяжелым ударом. Сжальтесь же надо мной!

— Мне говорили, что монахам неведома жалость, — отвечает принцесса. — А поскольку я и раньше не отличалась чувствительностью... Право, что я могу вам ответить?

— По-моему, вы себя недооцениваете. Область чувств не так уж вам недоступна... — не договорив, Гэндзи устремляет взор на младенца.

Призвав кормилиц, особ безупречных как по происхождению своему, так и по наружности, Гэндзи наставляет их, как должно ухаживать за маленьким господином.

— Увы, мне недолго осталось жить в этом мире, а у него все еще впереди... — говорит он и берет ребенка на руки. Тот невинно улыбается ему, пухленький, белокожий, прелестный.



Он совсем не похож на Удайсё, коего младенческий образ, хоть и смутно, но все же сохранился в памяти Гэндзи. Дети нёго пошли в отца своего, Государя, благородство их черт с неопровержимой убедительностью свидетельствует об их принадлежности к высочайшему семейству, но особенной красотой они не отличаются. В этом же ребенке благородство черт соединяется с редкой привлекательностью. У него прелестные глаза, он все время улыбается, невозможно не растрогаться, на него глядя. Сходство же поразительное, хотя возможно, это всего лишь игра воображения! Уже теперь спокойная уверенность сквозит в его зоре, а лицо поражает яркой, благоуханной красотой. Сама принцесса, судя по всему, ничего не замечает, а дамы — они ведь и ведают не ведают... Лишь у Гэндзи сердце стесняется от жалости: «Что за печальная судьба выпала ему на долю... Так рано уйти...» Мысль о непостоянстве всего мирского невольно подчиняет себе все прочие, и на глазах показываются слезы. Гэндзи быстро смахивает их, чтобы не заметили остальные: «Не к добру сегодня...» — и еле слышно произносит:

— Размышляю неторопливо: причины есть для печали...\*

Хотя Гэндзи всего сорок восемь, то есть на десять лет меньше, чем поэту, когда-то это сказавшему, он часто ощущает — конец уже близок, и при виде младенца им невольно овладевает чувство грустного умиления. Или ему просто захотелось предостеречь: «Не походи на отца...»

Кому-то из дам наверняка ведомы все обстоятельства, но вот кому именно? Досадное неведение! «Наверное, потешаются надо мной потихоньку, считая глупцом», — вздыхает он, но ничем не выдает своего недовольства: «Лучше сдержаться и не обвинять ее. В любом случае ее положение куда более уязвимо».

Дитя лепечет что-то, невинно улыбаясь, его глаза и рот необыкновенно хороши. «Не знаю, замечают ли это другие, те, кому ничего неизвестно?... Но сходство просто удивительное!» — думает Гэндзи, на него глядя.

«Родители ушедшего, оплакивая свою утрату, вероятно, сокрушаются и о том, что нет у них внуков... Но могу ли я показать им это слабое существо, эту тайную память, оставшуюся от их несчастного сына? Ну не печально ли? Такой одаренный, честолюбивый человек и сам разрушил свою жизнь...» Былая неприязнь уступает место жалости и невольные слезы текут по щекам Гэндзи. Улучив миг, когда рядом никого нет, он придвигается к принцессе и тихонько спрашивает:

— Вы подумали о том, что будет с ребенком? Неужели столь горестная судьба выпала вам на долю, что вы должны были отвернуться от мира, оставив это прелестное существо?..

Принцесса краснеет от неожиданности.

— В какие века  
Здесь бросили семя —  
Станут люди пытаться,  
И что им ответит сосна,  
На утесе пустившая корни? (329)

Как жаль его... — тихонько говорит Гэндзи, но принцесса лежит, спрятав лицо, и не отвечает. Впрочем, иного трудно ожидать, и Гэндзи не настаивает.

«Хотел бы я знать, что у нее на душе?» — спрашивает он себя, и сердце его разрывается от жалости: «При всей неразвитости ее чувств, может ли она оставаться равнодушной...»

Удайсё не мог забыть последней встречи с Уэмон-но ками. «Что он имел в виду? — недоумевал он. — Заговори он со мной раньше, когда рассудок его еще не был помрачен тяжелой болезнью, я бы наверняка понял. Но в тот страшный миг, когда конец был так близок... Ах, какая жалость!»

Образ друга неотступно стоял перед его мысленным взором, и даже родные братья ушедшего не горевали так, как горевал он. К тому же его одолевали сомнения. Почему Третья принцесса решила принять постриг? Ее жизни ничто не угрожало, стоило ли с такой поспешностью менять обличье? И почему так легко согласился на это господин с Шестой линии? Когда госпожа Весенних покоев была на смертном одре и слезно молила его разрешить ей переменить обличье, он и слушать ее не захотел.

Быть может, Уэмон-но ками все-таки не сумел сдерживать чувства, давно уже поселившегося в его сердце? Правда, он славился умением владеть собой и был куда благоразумнее своих сверстников... Его хладнокровие многих даже досадовало, ибо никому не удавалось проникнуть в его тайные думы. Но ему явно не доставало твердости духа, он не умел противиться своим желаниям и поэтому... Как ни велико сердечное влечение, разве можно, предавшись недозволенной страсти, жертвовать ради нее своим душевным

покоем, жизнью? И принцессу жалко... Да и вправе ли человек столь бездумно относиться к собственному существованию? Даже если таково его предопределение, в этом есть что-то легкомысленное, недостойное...

Никому, даже супруге, не открывал Удайсё своих тайных мыслей. Поговорить с отцом ему тоже не удавалось, хотя и велико было желание посмотреть, как воспримет тот его рассказ.

Отец и мать Уэмон-но ками, ни на миг не осушая глаз, потеряв счет дням и лунам, оплакивали свою утрату. Все необходимое для поминальных служб: одевания для монахов, подношения для участников церемонии и прочее — подготовили братья и сестры ушедшего. Садайбэн позаботился о сутрах и священных изображениях. Через каждые семь дней министру и его супруге напоминали об очередном поминовении, но они отвечали неизменно:

— Не говорите нам об этом. Наше горе и без того слишком велико. Как бы не стало оно препятствием на его пути.

Мысли их витали где-то далеко, несчастные, казалось, сами уже не принадлежали этому миру.

Вторая принцесса тоже предавалась скорби. К ее горю примешивалась еще и обида — Уэмон-но ками ушел, так и не простившись с ней. В просторном доме на Первой линии стало уныло и пусто, лишь самые близкие, преданные умершему люди иногда навещали сюда. Любимые сокольничие и конюхи Уэмон-но ками, лишившись опоры в жизни, совсем пали духом и бесцельно бродили по дому. Принцесса глядела на них, и не было конца ее печали. Вещи, принадлежавшие ее супругу, пришли в негодность, на бива и на японском кото, некогда одушевленных прикосновениями его рук, лопнули струны, и они замолкли. Словом, все располагало к унынию.

Однажды, когда Вторая принцесса сидела, погруженная в глубокую задумчивость, и смотрела на окутанные легкой дымкой деревья, на цветы, не забывшие, что пришел их срок, а прислуживающие ей дамы, облаченные в невзрачные зеленовато-серые платья, томилась от скуки, к дому подъехал какой-то человек в сопровождении роскошной свиты, громкими криками расчищавшей перед ним дорогу.

— Ах, я, вдруг забыв обо всем, подумала: «Вот и господин пожаловал!» — сказал одна из дам и заплакала.

Был же это Удайсё. Выслав вперед одного из своих приближенных, он попросил доложить о нем госпоже.

Миясудокоро думала, что приехал кто-то из братьев Уэмон-но ками — Бэн или Сайсё, и была поражена, увидев, что в покои входит какой-то важный вельможа весьма приятной наружности.

Для гостя приготовили сиденье в передних покоях главного дома. К нему выходит сама миясудокоро, рассудив, что посылать, как обычно, вместо себя кого-то из дам неучтиво.

— Поверьте, я скорблю по ушедшему не меньше, а может быть, даже и больше тех, кто связан с ним неразрывными узами, — говорит Удайсё, — но, к сожалению, будучи все-таки посторонним, ограничен в выражении своей скорби. Я говорил с ушедшим в тот миг, когда жизнь его подошла к своему пределу, и не могу пренебречь его последней волей. Разумеется, никто из нас не вечен, и трудно предугадать, кто уйдет из этого мира раньше, кто позже, но, пока я жив, я хотел бы сделать для вашей дочери все, что в моих силах.



Надеюсь, мне удастся убедить вас в искренности своих чувств. В последние дни во Дворце проводилось множество богослужений, и я не мог позволить себе оставаться наедине с моим горем. Но заезжать к вам лишь для того, чтобы стоя принести положенные соболезнования\*, — право, ничего досаднее и вообразить невозможно. Видя, сколь велико отчаяние министра и его супруги, нельзя не вспомнить слова, сказанные когда-то о родительском сердце (3), но когда я пытаюсь представить себе, как должна горевать та, что была соединена с ним другими узами...

Замолчав, Удайсё оттирает слезы, время от времени всхлипывая. Казалось бы, гордый, блестящий муж, но сколько очарования, сколько прелестной простоты в чертах его, в движениях...

— Печаль — всеобщий удел нашего непостоянного мира, — говоря в нос, отвечает миясудокору. — Я стара, а старые люди, какие бы испытания ни выпадали им на долю, стараются смиряться, утешая себя мыслью, что не только им... Принцесса же всей душой предалась горю, и ее состояние внушает опасения. Порой мне кажется даже, что она ненадолго переживет своего супруга. О, неужели мне, злосчастной, суждено было дожить до сего дня для того лишь, чтобы увидеть, как одна за другой угасают, едва разгоревшись, их жизни?

Вы были близки с ушедшим и, наверное, знаете, что сначала я была против этого союза. Но министр так настаивал, что я не посмела отказать ему, тем более что государь-монах, всегда благоволивший к Уэмон-но ками, отнесся к его предложению весьма благосклонно. Поэтому в конце концов, рассудив, что мои опасения лишены оснований, я приняла юношу к себе в дом. Но когда, словно страшный сон, обрушилась на нас эта беда, я поняла, что предчувствия меня не обманывали, и пожалела, что не настояла тогда на своем, хотя, разумеется, такого ужасного конца я не ожидала. Я придерживаюсь старых правил и считаю, что девицам из высочайшего семейства без особых причин не подобает вступать в союз с простыми подданными. Подумайте сами, что хорошего принесло моей дочери это супружество? У нее нет решительно никакой опоры в жизни, настоящее положение ее крайне неопределенно, а о будущем и говорить нечего. Право, не лучше ли ей было самой стать дымом и вознестись к небу вслед за супругом? По крайней мере она сберегла бы свое доброе имя. Но, признаться, мне трудно было бы примириться с подобным исходом, и у меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность. Вы говорите, что таково было последнее желание ушедшего? Как это трогательно! Он никогда не баловал супругу вниманием и все же вспомнил о ней в последний час и поручил ее своим близким! Это послужит нам утешением в горе.

Тут миясудокору, судя по всему, заплакала, да и Удайсё не мог сдерживать слез.

— Ушедший был человеком гораздо более зрелым, чем это обычно бывает в его возрасте, — говорит он. — Возможно, именно потому его и постигла такая судьба. В последние два-три года что-то тяготило его, он часто бывал мрачен и задумчив. А я еще докучал ему своими предостережениями. «Человек, слишком глубоко проникший в суть явлений этого мира, познавший их взаимосвязь, — твердил я, — становится прозорливым, но одновременно утрачивает душевную тонкость и изящество ума, что скорее вредит

ему в глазах окружающих». Представляю себе, каким жалким глупцом казался я ему! О, я понимаю, горе вашей дочери ни с чем не сравнимо. Позвольте же мне выразить вам свое сочувствие...

Слова его проникнуты искренним участием. Беседа их затянулась, и Удайсё спешит проститься.

Уэмон-но ками был старше Удайсё лет на пять, на шесть, но казался моложе. Возможно, такому впечатлению немало способствовали пленительное изящество его черт, утонченность манер. Удайсё же держится уверенно, осанка у него — важная, мужественная, и когда б не красивое, совсем еще юное лицо... Дамы помоложе, забыв о своем горе, провожают его восхищенными взглядами.

Перед покоями мясудокоро цветет прекрасная вишня.

«Этой весной...» (174) — вспоминается невольно Удайсё, но, подумав, что слова эти сейчас неуместны, он произносит:

— «А у нас для того, чтоб их видеть...» (330)

Время пришло —  
И неизменно прекрасные  
Цветы расцвели  
Даже на этой вишне  
С засохшей веткой...

Видя, что он готов уйти, мясудокоро поспешно отвечает:

— Этой весной  
На нити ивы нанизываю  
Жемчужины слез,  
И не знаю, когда расцвели,  
Куда исчезли цветы...

Мясудокоро никогда не отличалась душевной тонкостью, но когда она служила во Дворце, имея звание кои, ее превозносили за незаурядный ум и умение соответствовать современным вкусам. И теперь Удайсё имел возможность убедиться в этом — ее стихотворение отличалось скромной простотой и изяществом.

С Первой линии Удайсё поехал к Вышедшему в отставку министру, в доме которого собрались многочисленные братья Уэмон-но ками.

Гостя провели в главные покои, и спустя некоторое время, взяв себя в руки, к нему вышел сам хозяин. Красивое лицо министра, всегда казавшееся не подвластным старости, за последнее время сильно осунулось и заросло густой бородой. Даже потеряв отца и мать, он не предавался такой скорби.

Удайсё почувствовал, что глаза его увлажнились, и, устыдившись подобного малодушия, постарался взять себя в руки.

«А ведь он был самым близким другом ушедшего...» — подумал министр, и слезы неудержимым потоком потекли по его щекам. Бесконечно долгой была их беседа. Удайсё рассказал министру о своем посещении дома на Первой линии — и словно хлынул весенний дождь; увы, капель, падающая со стрехи, не смогла бы так намочить рукава...

Увидав листок бумаги, на котором мясудокоро начертала свою песню о «жемчужинах слез», министр:

— Увы, свет померк в моих глазах... — вздохнул, но тут же, отирая глаза рукавом, стал читать. Читая же, то и дело всхлипывал. Куда девались его бывшая надменность, величественная осанка, гордый взгляд! Жалкий старик сидел перед Удайсё.

Песня была довольно заурядная, но слова «на нити ивы нанизываю», очевидно, нашли живой отклик в сердце министра. Окончательно утратив присутствие духа, он зарыдал и долго не мог успокоиться.

— Подумать только, а ведь той давней осенью, когда покинула мир ваша мать, мне казалось, что в жизни моей не будет большего горя, — говорит он наконец. — Но женщины живут замкнуто, их мало кто видит. И все, что их касается, сокрыто от чужих глаз. Точно так же и горе мое было спрятано в тайниках души. А сын... Он ничем особенно не блистал, но Государь не оставлял его благосклонностью, и постепенно он занял в мире достойное место. И чем выше поднимался он, тем большее число людей прибегало к его покровительству, и, наверное, его уход огорчил многих из тех, что так или иначе были с ним связаны. Моя же любовь к нему не имела отношения ни к чинам, ни к почестям. Мне дорог был он сам, и теперь сердце в тоске стремится к тем лунам и годам, когда заботы не омрачали еще его чела. И что может утешить меня?

Вздыхая, министр обращает взор к небу (330), которое, затянулось к вечеру зеленовато-серой дымкой. Впервые обратив внимание на вишню, с которой уже осыпались цветы, он пишет все на том же листке бумаги:

«Под деревьями  
Стою, от капли промокший.  
Этой весной  
Разве мой подошел черед  
Облачаться в платье из дымки?»

«Ушедший, и тот  
Вряд ли когда-нибудь думал,  
Что придется тебе  
На платье из дымки вечерней  
Сменить привычный наряд», —

отвечает ему Удайсё. А вот что сложил Садайбэн:

«Какая досада!  
Опали цветы, не дождавшись  
Прихода весны.  
Кому же велели они надеть  
Платье из серой дымки?»

Поминальные обряды отличались невиданной пышностью. Значительную часть приготовлений взяла на себя супруга Удайсё, да и сам он проявил поистине трогательную заботливость, лично подобрав вознаграждения для монахов, читавших сутры.

Удайсё часто навещал Вторую принцессу. Наступила Четвертая луна, каким-то особенно безмятежным было небо. Нежно зеленели деревья в саду, но в доме, приюте печали, царила унылая тишина, и нестерпимо долгими казались дни. В один из таких дней и приехал Удайсё.

Повсюду пробивается молодая трава, а в тенистых местах, где слой песка особенно тонок, властвует полынь. Сад, за которым прежде ухаживали столь заботливо, привольно разросся; «росточек мисканта» (274), когда-то посаженный здесь, превратился в «буйные заросли», невольно напоминающие об осени и стрекоте многочисленных насекомых... Все вокруг трогает душу, располагая к печали, на травах лежит роса, и, пока Удайсё идет через сад, рукава его промокают. Повсюду висят грубые тростниковые шторы, сквозь щели видны новые зеленовато-серые занавеси, за которыми мелькают темные платья миловидных девочек-служанок, их прелестные головки. В доме преобладают мрачные, серые тона. На сей раз гостя устраивают на галерее, вынеся для него сиденье. Правда, кое-кому из дам это показалось неучтивым, и они попытались вызвать миясудокоро, но она не вышла, сказавшись больной.

Беседуя с дамами, Удайсё любитесь деревьями в саду и сердце его стесняется от печали — как же равнодушны они к горю людей! Особенно ярко зеленеет дуб «касиваги» и клен «каэдэ». Заметив, как тесно переплелись их ветки, Удайсё говорит:

— Хотел бы я знать, что соединило эти деревья? Как прочен их союз!

Украдкой приблизившись к покоям принцессы, он произносит:

— Разницы нет  
Меж деревьями. Пусть эта ветка  
К другому прильнет —  
Такой нам завет оставил  
Бог-хранитель листвы.

А вы держите меня за занавесями, как чужого. Обидно, право... — говорит он, подходя к порогу.

— Как он мил! Какое изящество движений! — перешептываются дамы, подталкивая друг друга локтями. — Сегодня он кажется еще прекраснее...

Принцесса же через Сёдзё-но кими, даму, которой поручено принять Удайсё, передает:

— Пусть этот дуб  
Покинут богом-хранителем,  
Разве ветка его  
Может к другому льнуть?  
Искать иную опору?

Признаюсь, не ожидала... Я начинаю сомневаться в чистоте ваших помыслов.

«А ведь она права...» — подумал Удайсё и улыбнулся.

Тут послышался шорох платья — судя по всему миясудокоро все же решила выйти к гостю — и он потихоньку возвратился на место.

— Уныл наш мир, — говорит миясудокоро. — С каждым днем, с каждой луной множатся мои печали. Потому ли или по какой другой причине, но только все чаще мне неможется, целые дни я провожу в каком-то странном оцепенении. Но вы не забываете нас, и это поддерживает мои силы... У меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность.

Так, вид у нее и в самом деле болезненный.

— Ваше горе естественно, и все же... В этом мире свершается лишь то, что должно свершиться, и ничто не длится вечно, — утешает ее Удайсё, а сам думает: «Кажется, принцесса куда утонченнее, чем мне о ней говорили. Как же бедняжка должна страдать! Ведь теперь по миру снова пойдет пересуды...»

Взволнованный этой мыслью Удайсё принимается с пристрастием расспрашивать мясудокоро о дочери. «Вряд ли принцесса хороша собой, — думает он, — но ведь не безобразна же... Можно ли отворачиваться от женщины потому лишь, что она не обладает привлекательной наружностью, и, наоборот, терять голову, предаваясь недозволенной страсти, если она хороша собой? Это недостойно! В конце концов главное — душевные качества».

— Смею ли я надеяться, что вы позволите мне заботиться о вас так же, как заботился ушедший? — спрашивает Удайсё. Он ведет себя весьма почтительно и все же ясно дает понять...

Сегодня Удайсё облачен в носи, и невозможно оторвать глаз от его высокой, статной фигуры.

— Ах, но может ли кто-нибудь сравниться с нашим покойным господином? — вздыхает одна из дам. — Он был так добр, так приветлив. А сколько в нем было благородства и изящества!

— Но ведь и господину Удайсё нет равных, — возражает другая. — Стоит только взглянуть на его мужественное лицо, стройный стан. В целом свете не найдешь мужа прекраснее. Раз уж так случилось, почему бы ему не позаботиться о нас?

— На могиле военачальника зазеленели травы...\* — произносит Удайсё.

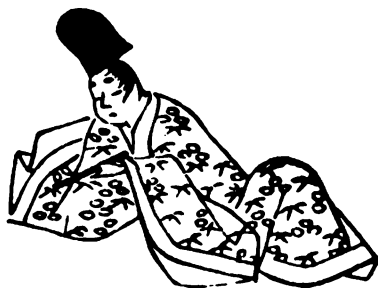
А ведь не так уж много времени прошло и с того дня...\* Да, в нашем мире всегда найдутся причины для печали. Теперь вот все — и знатные вельможи, и бедные простолюдины — оплакивают безвременно ушедшего мужа, и нет никого, кто не скорбел бы о нем. Но, увы...

Человек многоталантливый, Уэмон-но ками обладал еще и на редкость чувствительным сердцем, поэтому его кончина опечалила даже мелких чиновников и престарелых придворных дам, от которых, казалось бы, и ожидать было невозможно... А о Государе и говорить нечего: каждый раз, когда во Дворце музицировали, он с чувством невосполнимой утраты вспоминал ушедшего. Да и остальные то и дело повторяли: «Ах, был бы жив Уэмон-но ками!»

Гэндзи тоже грустил и тосковал невыразимо, дни и луны сменяли друг друга, а он все не мог забыть. Прелестное дитя, единственная память об ушедшем, было ему утешением в горе, но, увы, никто и не подозревал...

К осени младенец начал ползать\*. Был он необычайно мил, и Гэндзи, искренне привязался к нему. Он часто играл с ним, брал на руки. И вовсе не потому, что боялся людской молвы...





---

## ФЛЕЙТА

### Основные персонажи

**Гэндзи** (бывший министр, господин с Шестой линии), 49 лет  
**Гон-дайнагон, Уэмон-но ками** (Касиваги) — сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

**Младенец, мальчик** (Каору), 2 года — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Вышедший в отставку министр** (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи, отец покойного Уэмон-но ками

**Принцесса с Первой линии, Вторая принцесса** (Отиба) — дочь императора Судзаку, супруга покойного Уэмон-но ками (Касиваги)

**Удайсё** (Югири), 28 лет — сын Гэндзи и Аои

**Государь-монах** (император Судзаку) — сын императора Кирицубо, старший брат Гэндзи

**Третья принцесса, Вступившая на Путь принцесса** (Сан-но мия) — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

**Супруга Удайсё** (Кумои-но кари), 30 лет — дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

**Нёго из павильона Павлонии** (императрица Акаси), 21 год — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Третий принц** (принц Ниоу) — сын нёго Акаси и государя Киндзё, внук Гэндзи

**Второй принц** — сын государя Киндзё и нёго Акаси, внук Гэндзи

**БЕЗВРЕМЕННАЯ КОНЧИНА** Гон-дайнагона глубоко опечалила многих. Люди предавались скорби, не в силах примириться с этой утратой. Министр с Шестой линии, неизменно сетовавший на то, что из мира один за другим уходят самые достойные люди, тоже впал в уныние. Он был привязан к ушедшему, часто бывавшему в его доме, и хотя ему так и не удалось изгладить в своем сердце некоторые неприятные воспоминания... Когда пришло время справлять поми-

нальные обряды, Гэндзи лично одарил монахов, читавших сутры. Затем, как видно, из жалости к неразумному младенцу, особо пожертвовал еще сто рё золота, никому не открыв тайных своих побуждений.

Нетрудно себе представить, как велика была признательность Вышедшего в отставку министра. Разумеется, он и ведать не ведал... Удайсё тоже сделал богатые пожертвования и сам принял участие в подготовке поминальных служб. В те дни он был особенно внимателен к принцессе с Первой линии. Даже родные братья Гон-дайнагона не могли сделать большего. Отец и мать покойного, не ожидавшие ничего подобного, не знали, как и благодарить его. Все эти посмертные почести, говорящие о том, сколь велико было значение Гон-дайнагона, заставили их с новой остротой осознать невосполнимость своей утраты.

Государь-монах кручинился, думая о том, что судьбы обеих его дочерей складываются вовсе не так, как ему хотелось. Вторая принцесса, о неудачливости которой уже начинали поговаривать, влачила дни в тоскливом одиночестве. Третья, приняв постриг, окончательно лишила себя возможности жить обычной для женщины жизнью. Однако, как ни велико было разочарование, он крепился, не желая смущать свое сердце воспоминаниями о мире, им оставленном. Верша привычные обряды, государь беспрестанно обращался мыслями к любимой дочери: «Быть может, и она в этот миг...» С того дня, как Третья принцесса переменила обличье, он часто писал к ней, причем довольно было самого незначительного повода.

Однажды, послав ей скромные, но трогательные дары — ростки бамбука, собранные в роще возле храма, и выкопанные где-то рядом в горах клубни ямса, — он сопроводил их нежным посланием, которое заключил следующими словами:

«Весенние горы тонут в неясной дымке, и неразличимы тропы, но, желая порадовать Вас, я послал людей за этими ростками и клубнями. Примите же их в знак моей глубокой любви...

Пусть позже меня  
Ты на эту тропу вступила,  
С миром расставшись,  
Всем сердцем стремись докопаться  
До тех же глубинных корней...

Хотя и весьма нелегкое это дело...»

Принцесса, глотая слезы, читала послание государя-монаха, когда в покои зашел Гэндзи. Увидав, что вокруг стоят какие-то коробки, он удивился, но тут же заметил письмо. Прочитав его, Гэндзи был растроган до слез. Государь сетовал на то, что не сегодня-завтра жизнь его оборвется и он больше не увидит любимой дочери. Песня о «тех же глубинных корнях» показала Гэндзи довольно скучной, сразу было видно, что ее писал монах-отшельник. Вместе с тем она возбудила в его сердце сильнейшую жалость к государю. «Неужели он и в самом деле так думает? А тут еще и мое невнимание к ней, оно не может не беспокоить его...»

С трудом преодолевая смущение, принцесса пишет ответ. Ее письмо тут же вручают гонцу вместе с нарядом из зеленовато-серого узорчатого шелка.

Заметив, что возле занавеса валяется небрежно скомканный листок бумаги, Гэндзи поднимает его. Неуверенным почерком на нем написано:

«Как желала бы я  
Оказаться в месте, далеком  
От нашего мира.  
В глубину неприступных гор  
Думы мои стремятся».

— Государь и без того озабочен вашей судьбой, а вы пишете, что хотите оказаться в месте «далеком от нашего мира», — пеняет Гэндзи принцессе. — Как вы жестоки, и как все это печально!

В последнее время, принцесса старается не показываться Гэндзи. Глядя на ее тонкое, нежное лицо, обрамленное недлинными пышными волосами, делающими ее похожей на девочку, Гэндзи невольно клянет себя за то, что разрешил ей... Понимая, сколь греховны подобные помышления, он сообщается с принцессой через занавес, но совершенно от нее не отдаляется, по-прежнему заботливо ее опекая.

Тут мальчик, до сих пор спавший рядом с кормилицей, просыпается, подползает к Гэндзи, тянет его за рукав, льнет к нему. Что за прелестное дитя! На нем верхнее платье из белой полупрозрачной ткани и нижнее из красного узорчатого китайского шелка, с длинным подолом, который волочится по полу. Запутавшись в нем, мальчик почти стаскивает с себя одежду и остается полуобнаженным — теперь платье прикрывает только его спину. Ничего удивительного в этом нет, с детьми часто происходит подобное, но этот ребенок так мил, что сколько ни гляди, не наглядеться. Белокожий, стройный, он похож на выточенную из ивы фигурку. Головка словно подкрашена краской из «росистой травы»\*, яркий, пухлый ротик, спокойный взгляд темных блестящих глаз... Сходство с покойным Гон-дайнагоном уже теперь бросается в глаза, однако тот никогда не отличался замечательной красотой и непонятно, откуда в этом мальчике... На принцессу он не похож вовсе, но в его нежных чертах чувствуется что-то необыкновенно благородное, значительное. Поглядев на себя в зеркало, Гэндзи невольно подумал, что даже он мог бы гордиться таким сыном.

Совсем недавно мальчик начал ходить. Тихонько подобравшись к коробке, он, шая, разбрасывает по полу ростки бамбука, берет в рот то один, то другой и тут же бросает.

— Ах, как дурно! — смеется Гэндзи. — Разве можно так себя вести? Собери-ка все поскорее. А то дамы станут дразнить тебя обжорой. Они ведь такие насмешницы.

Он берет мальчика на руки.

— У этого ребенка что-то особенное во взгляде. В таком возрасте дети ведут себя довольно бессмысленно. Правда, большого опыта у меня нет, возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что он уже теперь не похож на других, и я невольно за него беспокоюсь. Не знаю, разумно ли воспитывать его в доме, где растут маленькие принцессы. Как бы какой беды не вышло... Увы, доведется ли мне увидеть, как все они станут взрослыми? Так, хоть «с приходом весны неизменно цветы расцветают...» (330).





— О, не говорите так...

— Не к добру... — пеняют ему дамы.

У мальчика, как видно, режутся зубки, и он, крепко зажав в кулаке росток бамбука, усердно вгрызается в него, пуская слюни.

— Что за извращенный вкус у нашего юного повесы! — улыбается Гэндзи.

— Мне не забыть,  
 Каким оказался горьким  
 Росток бамбука.  
 Но бросить его теперь  
 Я, увы, не смогу, —

произносит он, пытаясь отнять у ребенка росток бамбука, но тот, ничего не понимая, только смеется, потом, не в силах усидеть на месте, сползает с колен Гэндзи и начинает бегать вокруг.

С каждым днем, с каждой луной мальчик становился все прекраснее, настолько что многие думали: «не к добру», и Гэндзи, вероятно, сумел забыть, «каким горьким...».

«Рождение этого ребенка было предопределено, — думал он, — именно потому и случилось непредвиденное. От судьбы не убежать». И все же Гэндзи не мог не сетовать. В его доме жило много женщин, но Третья принцесса

во всех отношениях была едва ли не самой достойной. Можно ли было предугадать, что она станет монахиней? Возвращаясь мыслями к прошлому, Гэндзи чувствовал, что не в силах простить ей той давней вины.

Все это время Удайсё хранил в своем сердце прощальные слова ушедшего Гон-дайнагона. Ему хотелось рассказать обо всем отцу, и если не разрешить терзавшие его сомнения, то по крайней мере посмотреть, какое впечатление произведет его рассказ. Но, кое о чем догадываясь, он хорошо понимал, в какое затруднительное положение может поставить отца, а потому терпеливо ждал, надеясь при случае прояснить подробности и тогда уже поведать отцу о том, что волновало Гон-дайнагона в последний миг его жизни.

Однажды осенним вечером, когда все вокруг трогало душу и располагало к печали, Удайсё вспомнил о принцессе с Первой линии и отправился ее навестить. Судя по всему, она как раз коротала время, задумчиво перебирая струны кото. Во всяком случае оно еще стояло в южной передней, куда провели гостя: как видно, прислужницы не успели его убрать, захваченные врасплох его появлением. До его слуха донесся шелест платьев: сидевшие у порога дамы спешили отодвинуться подальше в глубину покоев. Воздух был напоен ароматом курений. Как всегда, Удайсё приняла сама мясудокоро, и завязалась беседа о прошлом.

Удайсё, привыкшего к тому, что в его доме с утра до вечера толпится народ, шумят дети, невольно взволновала грустная тишина, царящая в покоях принцессы. Дом кажется заброшенным, но каждая мелочь носит на себе печать благородных привычек и тонкого вкуса его обитателей. Лучи вечернего солнца освещают цветы на берегу пруда, в диких зарослях неумолчно звенят сверчки... (274)

Удайсё придвигает к себе японское кото: оно настроено в ладу «рити» и еще хранит сладостный аромат женского платья. Как видно, на нем часто играют... «Попади в такой дом ветреник, привыкший во всем потакать прихотям собственного сердца, — невольно приходит в голову Удайсё, — он вряд ли сумел бы совладать с собой, повел бы себя безрассудно, и имя принцессы оказалось бы безвозвратно опороченным». Он пробегает пальцами по струнам. Так, именно на этом кото обычно играл ушедший. Исполнив весьма изящную пьесу, Удайсё вздыхает:

— Ах, как прекрасно играл Гон-дайнагон! Наверное, и это кото хранит звуки, которые когда-то рождались под его пальцами... Смею ли я надеяться, что ваша дочь позволит мне услышать их?

— С тех пор как «разорвали мы струны»\*, — отвечает мясудокоро, — дочь моя и не вспоминает о прежних детских забавах. А ведь в те давние дни, когда вместе с другими принцессами играла она отцу, он весьма высоко оценивал ее мастерство. Но, увы, она так переменилась за последнее время... Целыми днями лежит, вздыхая, ничто не веселит ее. Боюсь, что звуки кото невольно «напомнят о горестях мира...» (333).

— О, понимаю. Право, когда б положены были пределы... (334) — И, вздохнув, Удайсё отодвигает кото.

— О нет, сыграйте еще что-нибудь, чтобы я могла понять, помнят ли струны, как касались их пальцы ушедшего? Порадуйте слух мой, притупленный горем.

— Но, поверьте, важна лишь «соединяющая струна»\*. Ее-то звучание я и хотел услышать... — С этими словами Удайсё подталкивает кота к занавесам, но принцесса делает вид, будто ничего не замечает, и он не настаивает.

Восходит луна, дикие гуси, крылом прижимаясь к крылу, летят по безоблачному небу. С какой завистью прислушивается к их крикам принцесса!

Дует холодный ветер, красота осенней ночи располагает к безотчетной грусти, и незаметно, словно забыв, что ее могут услышать, принцесса начинает тихонько перебирать струны кота «со». Они поют так проникновенно, что желание услышать японское кото овладевает Удайсё с еще большей силой, он пододвигает к себе бива и, легко касаясь струн, начинает наигрывать «Песню о любви к супругу»\*.

— Прощу прощения, что осмелился подслушать ваши сокровенные мысли, но я надеялся, что, быть может, вы все-таки согласитесь... — настаивает он, но принцесса лишь молча вздыхает.

— Смущенье твое  
Лишь подтверждает — порой  
Словами не сказанное  
Значит гораздо больше  
Самых пылких речей, —

говорит Удайсё, и, проиграв окончание мелодии, принцесса отвечает:

— Не стану скрывать —  
Эта тихая ночь волнует  
Сердце мое.  
Но к пению струн, увы,  
Нечего мне добавить.

К величайшей досаде Удайсё, она проиграла всего несколько тактов и сразу же отложила кота, в то время как ему хотелось слушать еще и еще.

Японское кото не отличается разнообразием оттенков звучания, но, очевидно, ушедший передал принцессе самые сокровенные свои приемы; во всяком случае, эта вполне обычная мелодия звучала так выразительно, что, казалось, проникала до самой глубины души.

— Боюсь, вы сочтете меня непостоянным за легкость, с какой я переходил от одного инструмента к другому, — говорит Удайсё. — Но уже слишком поздно, мне пора, не то ушедший рассердится на меня. Скоро я снова навещу вас, не перестраивайте кота, пусть оно сохранит нынешний строй. Увы, в этом мире все так изменчиво...

Он не говорит прямо о своих чувствах, но нетрудно понять, на что он намекает.

— Ушедший и тот не осудил бы нас сегодня, — замечает мясудокоро. — Жаль только, что, отвлекшись на случайные разговоры о прошлом, вы не захотели своей игрой продлить мою «драгоценную нить» (335).

Она подносит ему дары, в том числе прекрасную флейту.

— Я слышала, что флейта эта имеет весьма древнее происхождение. Жаль, если она пропадет среди этих зарослей полыни. Я была бы счастлива услышать, как голос ее заглушает крики ваших передовых...

— О, я не заслуживаю такой чести, — отвечает Удайсё, разглядывая подарок.

Флейта и в самом деле была прекрасная, она тоже принадлежала Гондайнагону, и он никогда с ней не расставался. Удайсё вспомнил, как ушедший говорил, огорченно вздыхая, что ему не удастся раскрыть всех возможностей этого прекрасного инструмента, и остается лишь надеяться, что когда-нибудь он перейдет к более достойному владельцу.

Растроганный до слез, Удайсё поднес флейту к губам и заиграл прелестную мелодию в тональности «бансики», но тут же оборвал ее.

— Моя неумелая игра на кото заслуживает снисхождения, ибо я играл в память о прошлом. Но смею ли я играть на этой флейте? — с этими словами он выходит.

«Диким бурьяном  
Сад зарос, все вокруг покрыто  
Густою росой...  
И вдруг — зазвенели сверчки,  
Совсем как той осенью давней...» —

передает ему мясудокоро.

— Флейта поет,  
Как пела в те давние годы,  
Но хозяин ее  
Покинул наш мир, и сверчки  
Его будут оплакивать вечно.

Удайсё медлил, не желая уходить, а тем временем совсем стемнело.

Когда он вернулся домой, решетки были опущены и все спали. Кто-то из дам донес госпоже — мол, господин Удайсё явно увлечен принцессой с Первой линии и неспроста выказывает ей такое внимание, поэтому она была недовольна столь поздним возвращением супруга, и, услышав, что он вошел, поспешно притворилась спящей.

Удайсё, тихонько пропев: «Супруга и я вдвоем на горе Ируса...»\*, недовольно вздыхает:

— Отчего опущены решетки? Здесь так тоскливо и мрачно! Вот уж не думал, что кто-то сегодня не захочет смотреть на луну!

Распорядившись, чтобы подняли решетки, он собственноручно подтягиваетверху занавеси и ложится поближе к галерее.

— Неужели кто-то может в такую ночь еще и бездумно спать, не обращая внимания на луну? (336) Выйдите же сюда. Как не стыдно! — зовет он госпожу, но та, продолжая пребывать в дурном расположении духа, делает вид, будто ничего не слышит.

Повсюду, беззаботно раскинувшись, спят дети, между ними пристроились прислужницы — словом, дом полон народу, разительно отличаясь от только что им покинутого. Удайсё лежит, тихонько наигрывая на флейте, и мысли его снова и снова устремляются к принцессе.

«Наверное, она и теперь сидит, погруженная в печальные думы... Может, по-прежнему играет на кото, так и не перестроив его? Говорят, и мясудо-

коро прекрасно играет на японском кото... Как могло случиться, чтобы ушедший, никогда не забывая о внешних знаках приличия, был, в сущности, совершенно равнодушен к супруге?» Невольное сомнение закрадывается в душу Удайсё. «Жаль, если меня ждет разочарование... Впрочем, так всегда бывает, когда кого-то безудержно расхваливают...»

Со своей супругой Удайсё прожил уже немало лет, они всегда были близки друг другу, и она никогда не стремилась уличить его в неверности, когда же она проявляла такую вот строптивость, это скорее умиляло его, тем более, что он находил ее поведение обоснованным.

Он задремал и вдруг увидел, что рядом стоит Уэмон-но ками, одетый в то самое домашнее платье, которое было на нем в день их последней встречи. В руках он держит флейту и внимательно смотрит на нее. «Может быть, из-за этой флейты его душе не удастся обрести покоя, — подумал во сне Удайсё, — и он пришел, чтобы услышать ее?» Но тут Уэмон-но ками говорит:

— Не все ли равно,  
Куда это коленце бамбука  
Ветер забросит?  
Пусть же оно долетит  
До моих далеких потомков...

У меня были иные намерения...

«Какие же?» — хотел было спросить Удайсё, но заплакал спящий рядом ребенок, и он проснулся.

Ребенок кричал без умолку, срыгивая молоко. Проснулась кормилица и подняла переполох. Госпожа тоже встала, велела принести светильник и, заложив волосы за уши\*, озабоченно склонилась над сыном. Взяв его на руки, она обнажила свою прекрасную полную грудь и дала ее ребенку. Прижавшись к ее белой груди, тот быстро успокоился, хотя молока у нее уже не было.

— Что случилось? — спросил Удайсё, поспешив на шум.

В доме царило смятение, повсюду сновали слуги, разбрасывая рис\*, и ему удалось на время забыть о своем странном и печальном сне.

— Ребенок болен. А все потому, что вы гуляете где-то до поздней ночи, нарядившись, словно молодой повеса, а вернувшись, поднимаете решетки. Вам, видите ли, хочется полюбоваться луной. А в дом между тем проникают злые духи.

Раскрасневшееся от гнева личико госпожи показалось Удайсё таким юным и прелестным, что он невольно улыбнулся.

— Значит, по-вашему, это я привел в дом злых духов? Ну, разумеется, если бы не поднимали решеток, они никоим образом не нашли бы дороги в дом. Право же, чем больше у женщины детей, тем она сообразительнее.

Взглянув на его красивое лицо, госпожа сконфузилась и замолчала.

— Ах, выйдите же отсюда, не смотрите! — потребовала она, стыдась яркого света, но смотреть на нее было не так уж и неприятно.

Ребенок мучился и кричал всю ночь напролет. Мысли же Удайсё то и дело возвращались к недавно увиденному сну. «Как бы из-за этой флейты мне не попасть в беду, — думал он. — Ушедший очень дорожил ею, а я, видимо, оказался не тем, кому она была предназначена. Впрочем, мне ее пере-

дала женщина, а это существенно меняет дело...\* Вот если бы я мог проникнуть в его намерения... Иногда в тот миг, когда приходит твой последний срок, сущая безделица может рождать в душе досаду или глубокое волнение, привязывая человека к этому миру и обрекая его на бесконечные блуждания во мраке. Право, не лучше ли вовсе не иметь привязанностей?..»

Удайсё заказал поминальное чтение сутр в Отаги и распорядился, чтобы соответствующие молебны отслужили в храмах, которые особенно чтит ушедший. «А как поступить с флейтой? — спрашивал он себя. — Ее подарила мне миясудокоро, и, кажется, она имеет весьма древнее происхождение. Возможно, я совершил бы доброе дело, отдав ее в дар Будде, но все же не стоит с этим торопиться». И Удайсё отправился в дом на Шестой линии.

Ему сообщили, что Гэндзи находится в покоях нёго из павильона Павлонии. Навстречу ему выбегает Третий принц. Ему едва исполнилось три года, он самый милостивый из детей Государя. Его воспитанием особо занимается госпожа Мурасаки.

— Удайсё, господин принц изволит желать, чтоб ты его взял с собой, — просит он, путаясь в почтительных словах.

— Что ж, если принцу угодно... — улыбнувшись, Удайсё берет мальчика на руки. — Но смею ли я приближаться к занавесям? Это не совсем прилично...

— Но ведь никто не увидит. Я закрою тебе лицо. Иди же, — настаивает принц, рукавом прикрывая лицо Удайсё. «Что за милое дитя!» — умиляется тот и проходит в покои нёго.

Там он находит Гэндзи, который, растроганно улыбаясь, наблюдает за игрой Второго принца и сына Третьей принцессы. Удайсё опускает Третьего принца на пол в углу комнаты, и Второй принц, заметив это, сразу же подбегает к нему.

— Удайсё, возьми и меня на руки, — просит он.

— Нет, это мой Удайсё! — заявляет Третий принц и тянет Удайсё за рукав.

— Только очень дурные дети могут так себя вести, — пеняет им Гэндзи. — Господин Удайсё — телохранитель самого Государя, а вы спорите, кому им владеть. Должен сказать, что меня чрезвычайно огорчает поведение Третьего принца. Он ни в чем не желает уступать старшему брату.

— Зато Второй принц ведет себя именно так, как положено старшему, — смеется Удайсё, — проявляя похвальное благоразумие и уступчивость. Право, он слишком умен для своих лет.

Гэндзи улыбается. Оба внука равно милы его сердцу.

— Но пойдём, — говорит он сыну, — здесь не место для столь важной особы.

Видя, что он собирается уходить, дети повисают на его руках, пытаясь задержать.

В глубине души Гэндзи был против того, чтобы сын Третьей принцессы воспитывался вместе с сыновьями Государя, но он никогда не заговаривал об этом, опасаясь, что принцесса, измученная сердечными угрызениями, может понять его по-своему и почувствовать себя уязвленной. Не желая причинить ей боль, он воспитывал мальчика вместе с принцами, заботясь о нем не меньше, чем о них.

Удайсё, подумав: «А ведь я еще толком и не видел сына Третьей принцессы» — решил воспользоваться случаем и, когда мальчик выглянул из-за занавесей, поманил его к себе, призывно помахивая упавшей на землю сухой веткой вишни. Тот сразу же подбежал. На нем не было ничего, кроме темно-лилового верхнего платья, его пухлое тельце сверкало белизной, красив же он был так, что даже принцам было до него далеко. Возможно, другой человек ничего бы и не заметил, но от внимательного взгляда Удайсё не укрылось, что глаза у мальчика совершенно такие же, как у покойного Гон-дайнагона — очень блестящие, с необыкновенно изящным разрезом. Правда, взгляд гораздо уверенней, и все же... А когда полные, алые губы ребенка раздвинулись в улыбке, сходство стало просто поразительным. «Может, это только на первый взгляд? — подумал Удайсё. — Но отец-то наверняка заметил...» И ему еще сильнее захотелось узнать, что думает по этому поводу Гэндзи.

Дети Государя весьма миловидны. Какое-то неизъяснимое благородство уже теперь сквозит в чертах их, в движениях, но, как знать, когда б не принадлежали они к высочайшему семейству... А этот ребенок не только благороден, но и красив поразительной, редко встречающейся в нашем мире красотой.

«Увы, если мои подозрения не лишены оснований, — подумал Удайсё, сравнивая мальчиков между собой, — разве не преступление скрывать правду от несчастного отца, который, до сих пор оплакивая сына, больше всего страдает из-за того, что от ушедшего не осталось никакой памяти, что нет у него внука, который стал бы ему утешением в горе?»

Но все это было слишком невероятно, и Удайсё лишь терзался сомнениями, не имея средства узнать истину. Нежный и ласковый мальчик лнул к нему, и столько наивной прелести было в его чертах!

Перейдя во флигель, Удайсё и Гэндзи долго беседовали, а день между тем преклонился к вечеру. Удайсё начал рассказывать о своем посещении дома на Первой линии, и Гэндзи слушал его, улыбаясь.

Потом речь зашла о прошлом, и, взволнованный общими воспоминаниями, Гэндзи охотно отвечал сыну и делился с ним своими мыслями.

— Что было у нее на душе, когда играла она «Песню о любви к супругу»? — спрашивает он между прочим. — Да, все это очень трогательно, совсем как в старинной повести. Однако мой собственный опыт убеждает меня в том, что женщине лучше не обнаруживать перед посторонними своей чувствительности, ибо ничто так не воспаляет мужчин. Если ты собираешься и впредь заботиться о ней, храня верность завету ее покойного супруга, и хочешь, чтобы доверенность ее к вам не умалилась, опекай ее, храня сердечную чистоту, не поддавайся недостойным страстям. Уверен, что так будет лучше для вас обоих.

«С этим нельзя не согласиться, — подумал Удайсё, — но такие советы хорошо давать другим. Ведь отец и сам...»

— О каких страстях может идти речь? — возражает он. — Я начал навещать ее просто из сочувствия, ведь мало кому выпадает столь печальная судьба. Если я перестану бывать у нее теперь, это-то как раз и покажется подозрительным. Разве не так? Что касается «Песни о любви к супругу», то ваши опасения были бы правомерны, когда б она заиграла ее по собствен-

ному побуждению. Но ведь до моего слуха донесся лишь случайный обрывок мелодии, тронувший меня главным образом потому, что окружающая обстановка к тому располагала.

В конечном счете все зависит от обстоятельств и от расположения души. Принцесса совсем не так уж юна, да и я не похож на пылкого юношу, готового на любые безрассудства. Возможно, потому-то она и чувствует себя со мной довольно свободно. Во всяком случае, держится она удивительно мило и просто.

Решив, что такого случая в другой раз не дождешься, Удайсё придвигается поближе и рассказывает об увиденном сне. Молча выслушав его, Гэндзи долго не отвечает. Разумеется, он сразу же догадывается...

— Эта флейта по некоторым причинам должна быть передана мне, — говорит он наконец. — Она принадлежала когда-то государю Ёдзэй\*, затем перешла к покойному принцу Сикибукё, очень ею дорожившему. Уэмон-но kami с детства оказывал замечательные успехи в музыке, и однажды, когда мы любовались цветами хаги, принц Сикибукё, восхищенный его игрой, подарил ему эту флейту. А мясудокоро, видимо не зная всех обстоятельств, преподнесла ее тебе.

«Долетит до моих далеких потомков...» Но кто, кроме... Несомненно, именно его он и имел в виду, — думал Гэндзи. — Боюсь, что Удайсё обо всем догадался, да это и немудрено при его проницательности...»

Видя, что Гэндзи погрузился в глубокую задумчивость, Удайсё совсем смутился и долго не мог вымолвить ни слова. Однако желание выяснить все до конца оказалось сильнее, и с нарочитой небрежностью, словно случайно вспомнив, он говорит:

— Я был у Уэмон-но kami незадолго до его кончины и выслушал его последнюю волю. Помимо всего прочего он несколько раз повторил, что очень виноват перед вами и хотел бы просить у вас прощения. Но за что? Я до сих пор не могу себе представить, что он имел в виду, и это тревожит меня.

«Да, я был прав, он знает, — подумал Гэндзи, слушая сбивчивый рассказ Удайсё. — Но стоит ли ворошить прошлое?»

Помолчав некоторое время, будто размышляя над словами Удайсё, он наконец говорит:

— Увы, я и сам не припомню... Вряд ли я мог задеть его настолько, что ему так и не удалось изгладить из памяти... Дай же мне время поразмыслить над твоим сном, и мы побеседуем об этом как-нибудь в другой раз. Я слышал от дам, что ночью дурно говорить о снах...

Словом, Гэндзи удалось уклониться от прямого ответа, и Удайсё смутился, подумав: «И зачем я завел об этом разговор...» Так, во всяком случае, мне рассказывали...







## СВЕРЧОК-КОЛОКОЛЬЧИК

### Основные персонажи

**Гэндзи**, 50 лет

**Вступившая на Путь принцесса, Третья принцесса** (Сан-но мия), 24 (25) лет — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

**Госпожа Мурасаки** — супруга Гэндзи

**Государь** (Киндзё) — сын императора Судзаку

**Государь-монах** (император Судзаку) — отец правящего Государя и Третьей принцессы, старший брат Гэндзи

**Принц Хёбукё** (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

**Удайсё** (Югири), 29 лет — сын Гэндзи и Аои

**Гон-дайнагон, Уэмон-но ками** (Касиваги) — сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё)

**Государь Рэйдзэй** — сын Гэндзи (официально — императора Кирицубо) и Фудзицубо

**Садайбэн** (Кобай) — сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), младший брат Касиваги

**Государыня-супруга** (Акиконому) — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо, приемная дочь Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

ЛЕТОМ, когда цвели лотосы, в доме на Шестой линии проводили церемонию освящения статуи Будды, предназначенной для молельни Вступившей на Путь принцессы. В тот день была впервые выставлена утварь, изготовленная лучшими мастерами по особому распоряжению Гэндзи.

Священные хата\* были сшиты из превосходной, несколько необычной китайской парчи. Их подготовила сама госпожа Мурасаки. Покрывала для столиков, затканые великолепными узорами, возбуждали всеобщее восхищение невиданным богатством оттенков и сочетаний. Занавеси опочивальни были подняты со всех четырех сторон, за спиной

Будды висела Лотосовая мандала\*, а впереди стояли серебряные вазы с высокими и пышными, изысканнейших оттенков цветами. Воздух был напоен ароматом китайских курений «За сто шагов». Миниатюрные изображения будды Амиды и бодхисаттв, вырезанные из сандалового дерева, радовали взоры строгим изяществом линий. В небольших, очень тонкой работы сосудах со священной водой плавали голубые, белые и пурпурные лотосы. Повсюду возжигались курения «Лист лотоса», которые помимо обычных составных частей содержали небольшое количество меда. Их тонкое, сладостное благоухание прекрасно сочеталось с другими ароматами. Что касается сутры, то шесть частей, в которых говорится о движении смертных по шести дорогам\*, были подготовлены самой принцессой, в то время как сутру, предназначенную для ее личного пользования, Гэндзи переписал собственноручно, надеясь что, став связующим звеном меж ними в этом мире, она откроет перед ними обоими путь к грядущему, о чем он и написал в молебной записке.

Кроме того, еще весной Гэндзи принялся переписывать сутру Амиды. Рассудив, что непрочная китайская бумага не годится для вседневного употребления, он призвал к себе человека из мастерских Канъя и распорядился, чтобы ему прислали оттуда тонкой белой бумаги самого лучшего качества. На ней он и писал, причем старался не зря — всякий, кому удавалось увидеть хоть краешек свитка, начинал превозносить редкостную красоту его почерка. Казалось, что знаки, начертанные тушью, сверкают ярче проведенных золотом линий. А уж об обрамлении, валике и футляре для свитка и говорить нечего. Эту сутру положили на столик из аквиларии, поставив его на самое почетное место рядом со статуей Будды.

После того как все было приготовлено, на возвышение поднялся монах-распорядитель, а участники священного шествия собрались в отведенном для них месте. Прежде чем выйти к ним, Гэндзи заглянул в западные передние покои, где временно разместилась принцесса. Там было тесно и душно: пятьдесят или шестьдесят празднично одетых дам приехали нарочно для того, чтобы полюбоваться церемонией. Девочкам-служанкам не хватило места, и они толпились вокруг, занимая все пространство, вплоть до северных передних покоев. Курильниц было, пожалуй, слишком много, к тому же прислужницы так старательно махали над ними веерами, что от дыма ничего не было видно.

— Поверьте, гораздо лучше, когда в воздухе витает еле уловимый, непонятно откуда возникающий аромат, — говорит Гэндзи, приближаясь к дамам, явно не искушенным в таких тонкостях и нуждающимся в совете. — Нехорошо, когда курения клубятся, словно дым над вершиной Фудзи. Во время проповеди не полагайтесь шуметь, это мешает проникать в суть того, о чем идет речь. Надеюсь, вы постараетесь не нарушать тишину шелестом платьев и перешептываниями.

Принцесса, миниатюрная и прелестная, полулежит в глубине покоев, совершенно потерявшись среди этого шумного сборища.

— Маленький господин может начать шалить и помешать нам. Уведите его куда-нибудь, — говорит Гэндзи.

Северные перегородки временно удалили, на их месте висят занавеси. За ними устраиваются дамы. Призвав их к молчанию, Гэндзи объясняет принцессе то основное, что ей необходимо знать. Трогательное зрелище!

Бросив взгляд на молельню, в которую превратилась опочивальня принцессы, Гэндзи почувствовал, как печаль сжимает его сердце.

— Думал ли я, что когда-нибудь буду вместе с вами готовиться к такой церемонии? — вздыхает он. — Остается уповать на то, что в грядущем мире, в обители лотосов, мы будем вместе.

Слезы текут по его щекам. Придвинув к себе тушечницу, он пишет на красновато-желтом веере:

«Хоть и дали обет:  
Единый лист лотоса станет  
Пристанищем им,  
Сегодня розно росинки  
Сверкают... Как это печально!»

Принцесса на том же веере пишет ответ:

«Дан был обет,  
Что будем в едином лотосе  
Мы неразлучны,  
Но, верно, твоя душа  
Совсем к другому стремится...»

— Ну зачем же так дурно обо мне думать... — улыбается Гэндзи, но лицо его остается печальным.

В тот день в доме на Шестой линии, как обычно, собрались почти все принцы крови. Живущие в доме особы, стараясь превзойти друг друга в щедрости и изобретательности, прислали великое множество пожертвований. Одежания для Семи служителей Закона\* и положенные вознаграждения для участников церемонии подготовила госпожа Мурасаки. Самые тонкие ценители приходили в восторг, разглядывая сшитые из узорчатого шелка наряды. «Свет не видывал ничего подобного!» — восклицали они, и даже швы на монашеских оплечьях казались им верхом совершенства. Право, утомительно слушать, когда люди слишком долго толкуют о подобных мелочах...

Монах-распорядитель, торжественно разъяснив основной смысл сегодняшних приношений, воздавал должное высоким устремлениям принцессы, которая, будучи в расцвете молодости и красоты, сумела отречься от бренного мира и в сутре Лотоса обрести залог вечного благополучия.

Этот почтенный монах, славный мудростью своей и красноречием, превзошел самого себя. Его слова были так возвышенны, исполнены такого глубокого смысла, что все плакали, слушая его.

Гэндзи предполагал обойтись без особой огласки, но слух о том, что в доме на Шестой линии готовятся к церемонии освящения молельни, дошел и до Дворца, и до горной обители, откуда тоже прислали гонцов.

Роскошные пожертвования заполнили покои, чего и не ожидал никто. Впрочем, в доме на Шестой линии так бывало всегда: любая незначительная церемония вопреки желанию Гэндзи превращалась в пышное празднество. А как на сей раз в приготовлениях участвовали еще и высочайшие особы... Вечером монахи получили столько даров, что даже храм не мог их вместить...

Нынешнее положение принцессы возбуждало жалость в сердце Гэндзи, и он старался окружить ее самыми нежными заботами.

— Не лучше ли принцессе поселиться отдельно в доме на Третьей линии, который я собираюсь оставить ей? — предлагал государь-монах, но Гэндзи отвечал:

— Если мы будем жить разное, сердце мое потеряет покой. Здесь я могу постоянно присматривать за ней, входить во все ее нужды. Досадно было бы лишиться этой возможности. Я предпочел бы заботиться о ней, пока жив, тем более, что уже «к концу приближается...» (161).

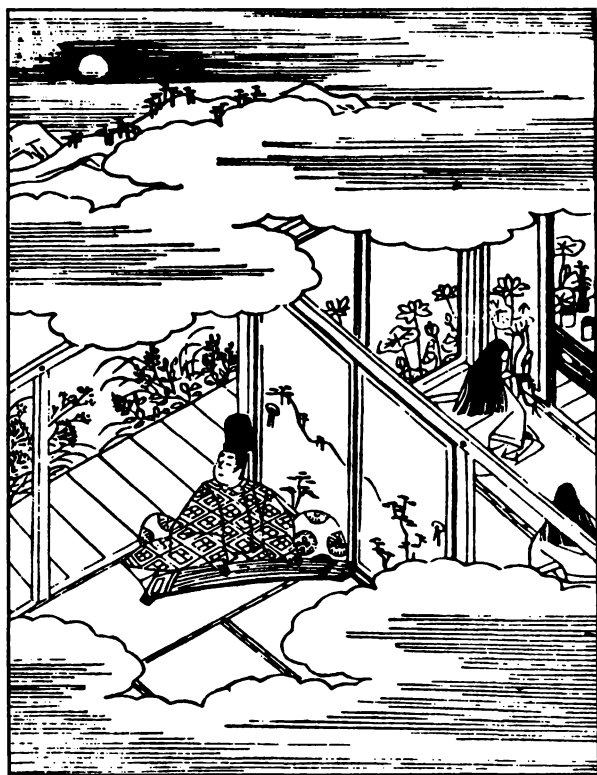
Тем не менее он распорядился, чтобы дом на Третьей линии привели в порядок и большая часть доходов с принадлежавших принцессе угодий поступала теперь в его хранилища. Более того, по приказанию Гэндзи число хранилищ было увеличено, и все имение принцессы, включая многочисленные ценности, переданные ей государем-монахом, было перевезено на Третью линию и оставлено под надежной охраной. Кроме того, Гэндзи взял на себя все расходы, связанные с внутренним убранством дома и проследил, чтобы было подготовлено все необходимое для повседневной жизни как самой принцессы, так и ее многочисленных дам и служанок.

Осенью по распоряжению Гэндзи были произведены некоторые преобразования в саду дома на Шестой линии, в той его части, которая примыкала к восточной стене. Здесь посадили полевые цветы и дикие травы, чтобы можно было прямо из дома любоваться осенними лугами. В помещении, отведенном для принцессы, поставили сосуды для священной воды и прочую необходимую утварь. Убранство покоев было, как и полагается, весьма скромным, но удивительно изящным. Многие прислуживающие принцессе дамы, не желая отставать от госпожи, решили принять постриг. Среди них были не только пожилые дамы, такие, как кормилица, но и молодые, в самом расцвете лет. Из последних принцесса выбрала лишь тех, чье решение показалось ей достаточно твердым, в чьей готовности прожить в монашеском обличье до конца своих дней она не сомневалась. Остальные, почувствовав себя глубоко уязвленными, продолжали упорствовать, но, узнав об этом, Гэндзи решительно воспротивился.

— И речи не может быть! — заявил он. — Если хоть одна из вас примет постриг, подавшись случайному порыву, это бросит тень на всех остальных, и молва не пощадит никого.

В конце концов около десяти дам приняли постриг и в этом новом обличье остались прислуживать принцессе.

Гэндзи распорядился, чтобы на луг перед домом выпустили разных сверчков, и часто в сумерках, когда ветер веял прохладой, приходил в покои принцессы якобы для того, чтобы насладиться их пением. Судя по всему, Гэндзи так и не сумел примириться с новым обличьем принцессы и продолжал докучать ей бесконечными жалобами и упреками, что тяготило ее изрядно: «Теперь это и вовсе недопустимо». Посторонний глаз не заметил бы никаких перемен в его отношении, но сама она не могла не видеть, что неприятные воспоминания до сих пор не изгладились из его сердца, и он уже не питал к ней прежних чувств. Потому-то она и решила стать монахиней. Отдалившись таким образом от Гэндзи, принцесса испытала немалое облегчение, и всякие напоминания о прошлом удручали ее. «Вот бы поселиться где-нибудь в глуши!» — думала она, но не находила в себе довольно твердости...



На Пятнадцатую ночь, когда полная луна еще пряталась за краем гор, Вступившая на Путь принцесса сидела в молельне у самого порога и задумчиво любуясь садом, читала молитвы. Две или три молодые монахини ставили на алтарь цветы, слышался звон священных сосудов и плеск воды. Право, есть что-то удивительно трогательное в этих трудах, столь непривычных для нашего суетного мира.

Как раз в этот миг пожаловал Гэндзи.

— Вечерний воздух словно пронизан голосами насекомых, — говорит он и тоже начинает вполголоса произносить молитвы будде Амиде. В его устах они звучат особенно торжественно. В воздухе и в самом деле стоит многоголосый звон, особенно громко заливается сверчок-колокольчик — судзумуси.

— Трудно сказать, кому из осенних насекомых следует отдать предпочтение, — говорит Гэндзи. — Государыне-супруге, к примеру, больше по душе сосновые сверчки. Однажды она нарочно отправила гонцов в дальние луга за сверчками для своего сада. Но теперь их почти не слышно. Хоть и называются они сосновыми, вековыми их, увы, не назовешь. К тому же, будучи по натуре своей существами замкнутыми, они предпочитают держаться подальше от людей и поют в полную силу лишь в горной глуши или в далеком сосновом бору, где никто их не слышит. А сверчок-колокольчик звенит так беззаботно, так весело, этим-то он и мил.

— Знаю давно,  
Как безотраднa осень,  
Но по-прежнему жду  
С волнением — когда зазвенит  
Сверчок-колокольчик в саду, —

тихонько произносит принцесса. В чертах ее, в движениях столько благо-  
родства и неизъяснимой прелести!

— Ах, зачем вы так говорите? Право, не ожидал... — пеняет ей Гэндзи. —

По собственной воле  
Сверчок-колокольчик покинул  
Приют травяной,  
Но голос его звенит  
По-прежнему звонко...

Велев принести китайское кото, он начинает перебирать струны, и они  
звучат так прекрасно, что принцесса заслушивается, забыв о четках.

Луна, выплыв наконец из-за гор, ярким сиянием озаряет все вокруг, и  
сердце невольно замирает от восхищения. Задумчиво глядя на небо, Гэндзи  
размышляет о том, сколь все непостоянно в этом мире, и кото его звучит  
особенно трогательно и печально.

Тут появляется принц Хёбукё, который приехал влекомый предчувстви-  
ем, что в такую ночь в доме на Шестой линии непременно будут музициро-  
вать, и звуки кото привели его в покои принцессы. С ним Удайсё и несколь-  
ко придворных соответствующих рангов.

— О, вы пришли вовремя, — говорит Гэндзи. — Я как раз томился от без-  
делья и решил хотя бы в одиночестве поиграть на кото, ибо слишком давно  
уже не слышал звуков музыки... — И он велит, чтобы для принца Хёбукё  
приготовили сиденье в покоях принцессы.

На тот день во Дворце было назначено пиршество в честь полной луны,  
но его неожиданно отменили, а тут прошел слух, что многие, раздосадован-  
ные этим обстоятельством, собрались в доме на Шестой линии, поэтому  
благороднейшие мужи столицы поспешили туда.

Гости сопоставляют голоса различных насекомых, пытаются установить,  
которые поют лучше, услаждают слух прекрасной музыкой.

— Ночь полнолуния всегда волнует душу своей неизъяснимой красо-  
той, — говорит Гэндзи. — Сегодня же, когда в небо «выплывает, сияя, луна»\*,  
думы и в самом деле устремляются к далеким мирам... В последнее время  
мне часто вспоминается покойный Гон-дайнагон. Теперь, когда его нет с  
нами, все празднества и церемонии словно лишились прежнего блеска. Пра-  
во, он был незаменимым собеседником. Кто лучше его улавливал оттенки  
цветов, различал птичьи голоса?

Говоря, Гэндзи продолжает перебирать струны кото, и они поют так пре-  
красно, что даже его собственные рукава увлажняются. Он догадывается,  
что принцесса все слышит, но ведь даже Государь в таких случаях всегда  
вспоминает Гон-дайнагона...

— Давайте сегодня устроим пиршество в честь сверчков-колокольчиков  
и будем веселиться всю ночь напролет, — предлагает Гэндзи.

Чаша с вином дважды успевает обойти присутствующих, когда приносят послание от государя Рэйдзэй. Оказалось, что Садайбэн и Сикибу-но таю, раздосадованные отменой дворцового праздника, приехали к нему в сопровождении самых блестящих молодых придворных. От них-то государь и узнал, что Удайсё и другие находятся в доме на Шестой линии.

«Живу я теперь  
Не в заоблачной дали,  
Но и меня  
Не забывает наведать  
Луна в осеннюю ночь...

И поскольку свет ее равно прекрасен всюду, не согласились бы вы...» — написал он.

«Казалось бы, теперь ничто не стесняет моей свободы, да и государь Рэйдзэй живет тихой спокойной жизнью, и все же я так редко навещаю его... Огорченный моим невниманием, он сам прислал за мной... Право же, я не заслуживаю такой милости», — подумал Гэндзи и, как ни неожиданно было приглашение, стал собираться.

«Сияет луна  
И теперь точно так же, как прежде,  
За облаками.  
Вот только в моем саду  
Осень совсем другая» (337).

Ничего особенного в этой песне не было, очевидно, Гэндзи просто подумал о прошлом и настоящем государя и написал первое, что пришло ему в голову. Гонцу поднесли чашу с вином и щедро наградили его.

И вот — куда все подевалось? — словно не сидели они только что, услаждая слух тихой музыкой! Кареты выстроились в ряд сообразно рангам владельцев, засуетились, повскакав с мест, передовые — и скоро в доме на Шестой линии никого не осталось.

Гэндзи пригласил в свою карету принца Хёбукё, вслед за ними ехали остальные: Удайсё, Саэмон-но kami, То-сайсё. Поскольку появляться во дворце Рэйдзэй в носы было не совсем прилично, придворные добавили к своим нарядам еще по одному нижнему платью с длинным шлейфом, но в целом постарались, чтобы выезд не привлекал к себе особого внимания.

Луна поднималась все выше. Любуясь прекрасным ночным небом, молодые люди тихонько наигрывали на флейтах. Более торжественный повод потребовал бы от обоих выполнения утомительных церемоний, но на сей раз Гэндзи позволил себе приехать к государю запросто, совсем как в те давние дни, когда был простым подданным. Взволнованный государь радостно приветствовал его.

Годы не умаляли красоты государя Рэйдзэй, скорее напротив, сходство же его с Гэндзи сделалось просто поразительным. В расцвете сил удалившись от дел, он жил теперь тихо и уединенно, наслаждаясь безмятежным покоем в кругу своих близких. Право, что может быть трогательнее?

В тот вечер было сложено множество песен и китайских стихов, прекрасных по форме и глубоких по содержанию. Но по обыкновению своему я не стану описывать подробностей, тем более что всего и сама не знаю...

На рассвете, обменявшись на прощание стихами, гости разъехались. А Гэндзи прошел в покои государыни-супруги.

— Теперь, когда вы живете спокойно и неторопливо, мне следовало бы почаще навещать вас, — говорит он. — Так хочется иногда побеседовать о прошлом, о каких-нибудь пустяках, которые с годами вспоминаются все чаще. Но мое нынешнее положение весьма неопределенно, и порой я ощущаю еще большую скованность, чем прежде. Люди гораздо моложе меня один за другим вступают на Истинный Путь, и я чувствую себя безнадежно отставшим. Я не устаю сетовать на непостоянство этого мира и давно уже мечтаю поселиться где-нибудь вдали от мирской суеты, но не хочу лишать опоры своих близких. Я уже просил вас не оставлять их попечениями и надеюсь, что вы не забудете моей просьбы.

Государыня очень моложава и, как всегда, держится с большим достоинством.

— К сожалению, теперь мы видимся даже реже, чем в те дни, когда нас разделяли Девять врат, — отвечает она. — Откровенно говоря, мне тоже все ненавистно в этом мире, от которого многие «отвернулись бесповоротно» (338), жизнь сделалась для меня тягостным бременем. Но я привыкла всегда и во всем полагаться на вас, и, не посоветовавшись с вами...

— Да, живя во Дворце, вы могли хотя бы ненадолго возвращаться в родной дом, и я ждал с нетерпением... А теперь? Разве вольны вы выезжать, когда вам угодно? Увы, мир так изменчив, но решиться на окончательный разрыв с ним может лишь тот, кто в полной мере осознал его тщету. Более того, человек, внутренне готовый к тому, чтобы отречься от мира, нередко оказывается привязанным к нему многочисленными путями (43). Но откуда такие мысли у вас? Если, поддавшись духу соперничества, вы последуете примеру остальных, люди поспешат превратно истолковать причины... О нет, вы не должны этого делать!

«Ах, он так и не понял...» — вздохнула Государыня.

Где, среди каких клубов дыма блуждает теперь ее несчастная мать? Гэндзи никому не говорил, что мясудокоро, принимая столь ненавистное всем обличье, снова появлялась в мире, но от людей ничего не утаишь, и слух о том дошел до Государыни-супруги. Глубокое уныние овладело ею тогда, и мир стал казаться еще более постылым. Ей хотелось знать подробности — о чем говорил дух ее матери, какой вид имел, но могла ли она прямо спросить об этом Гэндзи?

— От кого-то я слышала, что душа моей матери была обременена тяжкими грехами, — сказала она наконец. — Правда, никаких доказательств у меня нет, и я могу лишь догадываться... Сначала, поглощенная собственным горем, я не задумывалась о ее страданиях, но с годами поняла, что должна, заручившись поддержкой надежного наставника, сделать все от меня зависящее, чтобы потушить сжигающее ее пламя.

«Она права», — подумал Гэндзи, растроганный признанием Государыни.

— Увы, это пламя подстерегает каждого, — сказал он. — И все же как трудно не думать о мирском человеку, пришедшему в мир на то мгновение, пока утренняя роса лежит на травах. Я знаю, что Мокурэнгу\*, одному из уче-



ников Будды, удалось довольно быстро облегчить страдания своей матери, но это не значит, что вы сумеете добиться того же. Даже если вы сбросите драгоценные шпильки, в мире останется ваша досада. Лучше постепенно укрепиться в своем намерении, одновременно делая все возможное, чтобы рассеять те страшные клубы дыма... Признаться, я и сам подумывал об этом, но до сих пор многое отвлекало меня. Мои мечты о безмятежной, спокойной жизни так и не осуществились. Остается тешить себя надеждами на будущее: мол, когда-нибудь, посвятив себя служению, позабочусь и о ней. О, я понимаю, сколь неразумно...

Они долго еще говорили о том, как тщетно все в этом мире, как хотелось бы им от него отречься, но, увы...

Наутро в столице стало известно, что вчера вечером во дворец Рэйдзэй тайно прибыл министр с Шестой линии. Самые знатные вельможи поехали туда, чтобы проводить его обратно.

Гэндзи был спокоен за будущее своих детей. Нёго из павильона Павлонии вполне оправдала его ожидания, Удайсё тоже сумел занять значительное положение в мире. Гэндзи радовался за них и гордился ими, но ни к кому не испытывал он такой нежности, как к государю Рэйдзэй. Государь отвечал ему тем же, и разве не для того так рано отрекся он от престола, чтобы иметь возможность чаще видеться с Гэндзи?

Вот только государыне-супруге теперь стало труднее выезжать, она неотлучно находилась при государе, и жили они словно обычная супружеская чета, отдавая дни всевозможным тихим удовольствиям и окруженные еще большей, чем прежде, роскошью. Лишь мысль о страданиях матери омрачала душу государыни и утверждала ее в намерении посвятить себя служению Будде. Однако Гэндзи все не давал своего согласия, и ей ничего не оставалось, как ограничиваться обычными молитвами и благодеяниями. Однако с каждым годом в ее сердце крепло желание уйти от мира, которого тщету она давно осознала\*.

Говорят, что она устроила Восьмичастные чтения в память покойной миясудокоро, и что Гэндзи участвовал в приготовлениях...





## ВЕЧЕРНИЙ ТУМАН

### Основные персонажи

Гэндзи, 50 лет

Удайсё (Югири), 29 лет — сын Гэндзи

**Принцесса с Первой линии, Вторая принцесса (Отиба)** — дочь императора Судзаку, вдова Касиваги

**Миясудокоро** — мать принцессы с Первой линии

**Госпожа Северных покоев (Кумои-но кари)**, 31 год — дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), супруга Югири

**Государь-монах** (император Судзаку) — старший брат Гэндзи, отец Второй и Третьей принцесс

**Госпожа Восточных покоев (Ханатирусато)** — бывшая возлюбленная Гэндзи

**Госпожа Весенних покоев (Мурасаки)** — супруга Гэндзи

**Нёго Кокидэн** — дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), супруга императора Рэйдзэй

**Куродо-но сёсё** — сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), младший брат Касиваги

**То-найси-но сукэ** — дочь Корэмицу, возлюбленная Югири

УДАЙСЁ, славившийся в мире степенным нравом и склонный поучать других, утвердился в мысли, что принцесса с Первой линии и в самом деле безупречна. Он часто бывал в ее доме, делая вид, что просто хранит верность старинной дружбе, однако в глубине души рассчитывал на большее, и с каждым днем, с каждой луной росло его чувство к ней.

Мать принцессы, миясудокоро, души в нем не чаяла, лишь его постоянные попечения и скрашивали ее однообразное, унылое существование. Удайсё с самого начала держался степенно, даже не намекая принцессе на свои нежные чувства, и ему казалось невозможным вдруг заговорить о них. Не лучше ли подождать? Со временем она убедится

в его постоянстве, и он приобретет полную ее доверенность. А пока Удайсё старался использовать любую возможность, дабы побольше узнать о наружности принцессы, о ее душевных качествах. Вот только она никогда не говорила с ним без посредников. «Неужели нет никакого средства открыться ей и узнать, каковы ее истинные чувства?» — терзался Удайсё, а тем временем мясудокоро неожиданно занемогла (поговаривали, что дело не обошлось без вмешательства злых духов) и они переехали куда-то в Оно\*, где у нее был дом.

На ее решение уехать из столицы повлияло еще и то обстоятельство, что некий почтенный монах в сане рисси, с незапамятных времен являвшийся ее наставником в молитвах и не раз помогавший ей избавиться от преследовавших ее духов, не так давно заключился в горном монастыре, дав обет не спускаться в мир\*, а как усадьба, принадлежавшая мясудокоро, находилась у самого подножия, она надеялась, что он все-таки сможет иногда навещать ее.

Удайсё позаботился о каретах и прислал передовых, которые должны были сопровождать мясудокоро в Оно. Братья же покойного Гон-дайнагона, поглощенные собственными делами и заботами и не вспоминали о принцессе. Садайбэн поначалу проявлял к ней некоторый интерес и даже пытался намекать ей на свои нежные чувства, но, разочарованный неожиданным отпором с ее стороны, очень скоро перестал бывать на Первой линии. Судя по всему, один Удайсё упорно продолжал навещать принцессу, предусмотрительно не обнаруживая своих намерений.

Услыхав о том, что мясудокоро готовится к оградительным службам, он поспешил прислать вознаграждения для монахов, одеяния чистоты\* — словом, позаботился обо всех мелочах. У больной не было сил даже поблагодарить его.

— Господин Удайсё обидится, если ему напишет кто-то из дам, — всполошились ее прислужницы. — При том положении, какое он занимает в мире...

В конце концов Удайсё написала сама принцесса. Почерк у нее оказался весьма изящный, и, хотя письмо состояло всего из нескольких строк, оно было написано с таким достоинством и такой сердечной теплотой, что Удайсё долго не мог отложить его.

Он стал писать к ней часто, надеясь, что она снова ответит ему.

Опасаясь, что госпожа Северных покоев в конце концов заподозрит неладное: «наверное, все же меж ними что-то есть...» — Удайсё не решался ехать в Оно, хотя ему очень этого хотелось.

Но к середине Восьмой луны, когда особенно прекрасны осенние луга, желание Удайсё наведать горную усадьбу стало еще более настойчивым, и он решился.

— Я слышал, что монах Рисси спустился с гор, — как бы между прочим сказал он супруге. — Мне не хотелось бы упускать столь редкую возможность побеседовать с ним. Последнее время он не покидает горной обители. Заодно навещу и мясудокоро. Говорят, она совсем плоха.

И Удайсё выехал в Оно в сопровождении пяти или шести самых преданных телохранителей, облаченных в охотничье платье.

Им не пришлось подниматься высоко в горы, и пологие холмы Мацута-саки вряд ли могут сравниться с настоящими горными кручами, но очарование осени чувствовалось и здесь. Красота окрестных видов волновала душу куда больше, чем самый ухоженный столичный сад.

Усадьба мясудокоро — не более чем временное жилище, но каждая мелочь отмечена печатью тонкого вкуса живущих здесь женщин, и даже простая изгородь из хвороста выглядит благородно.

В восточной части дома, очевидно считающегося главным, в отгороженном помещении установлены вылепленные из глины жертвенники. Сама большая занимает северные передние покои, а принцесса помещается в западных. Мясудокоро пыталась было убедить дочь остаться в столице.

— Этот дух весьма опасен, — говорила она, но принцесса:

— О нет, не могу я расстаться с вами, — заявив, последовала за матерью.

Опасаясь, как бы злой дух не повредил и ей, мясудокоро, поместив дочь отдельно, запретила ей входить в свои покои.

В доме нет места, где можно достойно принять гостя, и Удайсё усаживают у занавесей, отделяющих покои принцессы, а дамы рангом повыше берут на себя роль посредниц между ним и госпожой.

— У меня недостает слов, чтобы выразить вам свою признательность... — говорит мясудокоро. — Подумать только, приехать в такую даль... Право, как ни мало у меня сил, я чувствую, что должна задержаться в этом мире хотя бы для того, чтобы как-то отблагодарить вас...

— Я надеялся, что смогу проводить вас сам, — отвечает Удайсё, — но, к сожалению, мне пришлось выполнять некоторые поручения господина с Шестой линии. Впрочем, обремененный делами, я непростительно пренебрегал вами и потом, хотя, поверьте, никогда не забывал... Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение?

Принцесса находится за занавесями во внутренних покоях и старается ничем не выдавать своего присутствия, но, поскольку это временное жилище весьма невелико, Удайсё не может не ощущать, что она где-то рядом. Время от времени до его слуха доносится нежный шелест платья, и сердце его замирает: «Это она!»

Пока дама передает его слова мясудокоро, что занимает довольно много времени, он, по обыкновению своему, затевает разговор с Сёсё и другими прислуживающими принцессе дамами.

— Немало лет прошло с тех пор, как я начал посещать вас, — говорит он. — Я всегда старался быть вам полезным, и мне досадно, что со мной обращаются как с чужим. Меня неизменно сажают за занавесями, и я до сих пор не могу сообщаться с вашей госпожой без посредников. Я к этому не привык. Возможно, я кажусь вам чересчур чопорным, многие, наверное, даже посмеиваются надо мной... Увы, мне остается лишь сожалеть, что я был слишком благоразумен в юности, когда не обременяли меня ни лета, ни чины. Будь я легкомысленнее, я бы не чувствовал себя теперь таким новичком. Дожить до моих лет, ни разу не выйдя за рамки приличий, — ну где еще вы найдете такого глупца?

Так или иначе, пренебрегать столь важной особой в самом деле неразумно.

— Теперь просто неприлично отвечать ему через посредника, — сочувственно перешептываются дамы.

— Неужели его жалобы не найдут отклика в вашем сердце? — пеняют они принцессе. — Только женщина, лишенная всякой чувствительности...

— Я понимаю, что должна поблагодарить вас вместо матушки, ибо, к сожалению, она не может сделать этого сама, — передает принцесса. — Но все

эти дни я ухаживала за больной, страдания которой ужасны. Увы, я сама еле жива, и у меня нет сил, чтобы ответить...

— Это и есть ответ принцессы? — спрашивает Удайсё и, выпрямившись, добавляет:

— Должен вам сказать, что состояние вашей матушки чрезвычайно тревожит меня, настолько, что я готов поменяться с ней местами. И как вы думаете почему? Возможно, вы сочтете мои слова дерзкими, но позволю себе заметить, что пока вы не оправитесь от выпавших на вашу долю несчастий, для всех будет лучше, ежели ваша почтенная матушка будет в добром здравии. Обидно, что вы относите мои попечения исключительно к ней, отказываясь замечать, сколь много значить для меня вы сами.

— Ах, и в самом деле... — вздыхают дамы.

Солнце готовится скрыться за краем гор, небо, подернутое легким туманом, исполнено печального очарования, еще не сгустились горные тени, а в воздухе уже звенят вечерние сверчки (339), венчики гвоздики «ямато» у изгороди ярко сверкают, колеблемые ветром (340). В саду привольно сплетаются цветы, журчание ручьев навевает прохладу, ветер, прилетающий с горных вершин, приносит с собой шум сосен. Когда один монах, читающий сутру, сменяет другого, раздается звон колокольчика; голоса уходящего и заступающего, соединяясь воедино, звучат особенно внушительно. Все вокруг волнует сердце, располагая к печальным раздумьям, и Удайсё не хочется уезжать.

Скоро доносятся звуки, говорящие о том, что монах Рисси приступил к обрядам, слышится голос, торжественно произносящий заклинания.

Тут сообщают, что состояние больной резко ухудшилось, и дамы спешат в ее покои, а как в этом временном жилище прислужниц немного, рядом с принцессой почти никого не остается... Вокруг тихо. «Вот и случай высказать ей свои чувства...» — думает Удайсё. Приметив же, что туман дополз до самой стрехи, говорит:

— Найду ли я теперь дорогу обратно? Право, не знаю, как и быть...

Горный приют  
Так печален, клубится вокруг  
Вечерний туман.  
В нем отыскать не сумею  
Дорогу назад, в столицу...

— Горную хижину  
Плотной стеной окружил  
Вечерний туман,  
Но удержит ли он того,  
Чье так изменчиво сердце? —

отвечает женщина.

Ее тихий голос вселяет в сердце Удайсё надежду, он и думать забывает о возвращении.

— Должен признаться, что я в замешательстве, — говорит он. — Дороги, ведущей к дому, я не вижу, вы же гоните меня прочь, не позволяя остаться здесь, за изгородью из тумана. Такое обращение для человека непривычного...

Мудрено было не понять, на что намекает Удайсё, но принцесса упорно молчит. Несомненно, она давно уже догадалась о его чувствах, но предпочитала делать вид, будто ничего не замечает, и теперь, когда он решился наконец открыто упрекнуть ее, немало раздосадована.

Как ни огорчает Удайсё молчание принцессы, вряд ли когда-нибудь обстоятельства будут больше ему благоприятствовать. «Пусть она сочтет меня грубым и бесчувственным, — думает он, — по крайней мере выскажу ей все, что накопилось у меня на душе».

— Эй, кто-нибудь! — зовет Удайсё, и появляется один из самых преданных его прислужников — юноша, имеющий чин сёгэна в той же Правой охране и недавно получивший Пятый ранг.

— Мне непременно нужно поговорить с достопочтенным монахом, — тихонько говорит Удайсё, повелев ему приблизиться. — До сих пор он был занят оградительными службами, и у него совершенно не оставалось досуга, но надеюсь, что скоро он позволит себе немного отдохнуть. Я останусь здесь на ночь и постараюсь увидеться с ним, когда кончится первая ночная служба. Некоторые из вас, — и он называет имена, — останутся со мной. Остальные пусть отправляются в мою усадьбу в Курусу — это недалеко отсюда — и накормят коней. А то здесь собралось слишком много народу. Постарайтесь не шуметь. Люди могут начать судачить об этом случайном ночлеге в пути.

«Все это неспроста», — догадывается Сёгэн и, поклонившись, удаляется.

— Боюсь, что мне не отыскать теперь дороги, — небрежно говорит Удайсё, снова обращаясь к принцессе. — Не могу ли я переночевать в вашем доме? Я неприхотлив и готов, если вы мне позволите, провести ночь прямо здесь, у занавесей. Мне хотелось бы дожидаться мудрейшего.

«Как неприятно!» — подумала принцесса. До сих пор Удайсё никогда не задерживался надолго в ее покоях и не позволял себе ничего предосудительного. Уйти к матери значит открыто выказать ему свое пренебрежение. И она остается на месте, но отвечать упорно отказывается. Потеряв надежду добиться ответа, Удайсё вослед за прислужницей, направляющейся во внутренние покои с посланием, проскальзывает за занавеси.

Ночь еще не настала, но густой туман окутывает окрестности, и в покоях темно. Прислужница испуганно оглядывается, и, заметив это, принцесса в смятении пытается скрыться за северной перегородкой, но Удайсё оказывается достаточно проворным и задерживает ее. Сама-то она успевает выскользнуть, но длинный подол платья мешает ей запереть перегородку. Тщетно пытаясь справиться с ней, принцесса дрожит, тело ее покрывается испариной. Дамы, совсем потерявшись от страха, не знают, чем ей помочь. Разумеется, они могли бы задвинуть засов с этой стороны, но грубо отталкивать столь важную особу...

— Ах, какой ужас! — чуть не плача, восклицают они. — Могли ли мы ожидать...

— Но почему мне нельзя побыть здесь? Неужели вам так неприятно мое присутствие? Я понимаю, что слишком ничтожен, но ведь мои чувства для вас не новость, за это время ваш слух должен был привыкнуть...

Удайсё говорит тихо, стараясь не обнаруживать своего волнения, но принцесса не желает ничего слушать. Его признания кажутся ей оскорбительными, и она не считает нужным даже ответить.

— Право, вы ведете себя словно дитя неразумное, — пеняет ей Удайсё. — Я виноват лишь в том, что позволил этой тайной страсти овладеть своим сердцем. О, вы можете быть совершенно спокойны, без вашего согласия я не сделаю больше ни шага. Но когда бы вы знали, как нестерпима тоска, разбивающая сердце на сотни частей (341)! Могу ли я поверить, что вы до сих пор не догадывались о моих чувствах? И все же вы избегаете меня, делая вид, будто и ведать о них не ведаете! Потому-то я и решился... Я понимаю, что, дерзнув приблизиться к вам, уронил себя в ваших глазах, но у меня не было иного средства рассказать вам о тоске, иссушившей мне душу. Ваше пренебрежение обижает меня, но, уверяю вас, я никогда не позволю себе...

Удайсё говорит с искренним чувством, стараясь, чтобы его слова звучали как можно более убедительно. Ему ничего не стоит отодвинуть перегородку, но он даже не пытается это сделать.

— Как трогательно ваше желание сохранить меж нами хотя бы столь жалкое подобие преграды! — улыбается он, явно не имея намерения оскорблять ее чувства своей настойчивостью.

Несмотря на нелестные слухи, принцесса пленяет Удайсё нежной прелестью и благородным изяществом черт. Она кажется хрупкой и слабой — не потому ли, что за последние годы ей довелось изведать немало горестей? Мягкие рукава домашнего платья, витающий в воздухе аромат — столько во всем этом чарующей женственности...

Тоскливые стоны ветра, темнеющее небо, звон неведомых сверчков, крики оленей, шум водопада; все это, сливаясь воедино, сообщает ночи неизъяснимую прелесть. Даже самые заурядные люди не смогли бы заснуть, завороченные красотой ночного неба, поэтому в доме долго не опускают решеток. Когда же луна склоняется к горным вершинам, безотчетная грусть овладевает сердцем Удайсё, и слезы навертываются у него на глазах.

— Ваше молчание говорит отнюдь не в вашу пользу, — замечает он. — Женщина с чувствительным сердцем вряд ли позволила бы себе... Поверьте, на свете нет человека безобиднее меня. Я понимаю, что подобная неискренность нелепа в моем возрасте, и все же... Именно такие, как я, легко становятся предметом насмешек, а подчас и оскорблений для не способных на глубокие чувства жеманниц. Неужели вы думаете, что ваше откровенное пренебрежение охладит мою страсть? Не до такой же степени вы неопытны...

Упреки Удайсё приводят принцессу в сильнейшее замешательство. Особенно неприятны намеки на ее «опытность», которая якобы должна облегчить ей путь к сближению с ним. Принцесса сетует на свою несчастную судьбу, ей так горько, что хочется умереть.

— Я знаю, что сама виновата, позволив себе впасть в заблуждение... — тихо говорит она и плачет, такая трогательная в своей печали! — Но как прикажете относиться к вашему недостойному поведению?

Доброе имя  
Потеряв, рукава вечно мокрые  
Получила взамен.  
Такой вот печальный опыт  
Вынесла я из жизни... —

неожиданно для себя самой добавляет она, а Удайсё повторяет ее песню сначала про себя, потом шепотом вслух. «И зачем только я это сказала...» — сетует принцесса.

— Простите, если я чем-то обидел вас, — говорит Удайсё, затем, улыбнувшись, отвечает:

— Даже если бы я  
Не набросил тебе на плечи  
Мокрое платье,  
Разве скрыть удалось бы  
Поблекшие рукава?

Решайтесь же!

И, к величайшему негодованию принцессы, Удайсё увлекает ее за собой на место, освещенное лунным светом. Без труда преодолев сопротивление женщины, он притягивает ее к себе.

— О, не отталкивайте меня, разве вы не видите сами, сколь искренни мои чувства? Но без вашего согласия я никогда не посмею... — чистосердечно признается он, а ночь тем временем приближается к рассвету.

На небе ни облачка, и луна глядит прямо в дом, даже туман ей не помеха. У бедного жилища столь узкая стреха, что спрятаться от лунного света невозможно. Принцесса все время старается прикрыть лицо, неизъяснимой грацией проникнуты ее движения.

Удайсё заводит речь о покойном Гон-дайнагоне. Говорит он спокойно и неторопливо, не преминув однако и теперь попенять принцессе за то, что она столь явно предпочитает ему ушедшего. Она же думала: «Увы, покойный не достиг высоких чинов, но я сумела примириться со своей участью, тем более что наш союз был признан всеми. И все же сколько обид пришлось мне вынести! А эта тайная связь — к чему приведет она? Будь он хотя бы чужим мне...» Что подумает Вышедший в отставку министр? О, я знаю, весь мир поспешит осудить меня. Каково будет тогда государю-монаху?»

Перебирая в памяти всех, кто был так или иначе с нею связан, принцесса приходила в отчаяние, понимая, что никакое сопротивление не поможет ей избежать дурной молвы. А миясудокоро — разве не дурно оставлять ее в неведении? Раньше или позже она неизбежно узнает о случившемся и будет очень огорчена. «В вашем возрасте, — непременно скажет она, — следует быть благоразумнее».

— Уходите, пока совсем не рассвело, — молвит принцесса, не видя другого средства заставить его уйти.

— Вы просто невероятно бесчувственны! Даже утренняя роса может заподозрить неладное, если я стряхну ее с травы в столь ранний час! Но коль скоро вы настаиваете, то выслушайте меня по крайней мере. Вы, наверное, рады, что вам весьма ловко удалось избавиться от своего незадачливого поклонника, но должен вас предупредить, что, если вы и впредь будете обращаться со мной так жестоко, я не отвечаю за себя и за те недостойные мысли, которые могут у меня возникнуть.

Он медлит, не желая уходить, но, будучи действительно новичком в подобного рода делах, не решается настаивать. Ему жаль принцессу, к тому же у него возникает мысль — «а вдруг меня ждет разочарование?» — поэтому



он решает удалиться, пока туман не рассеется и не откроет их тайны. Чувства его в смятении.

— К самой стрехе  
Подступает мискант, от росы  
Платье промокло.  
Неужели придется иди  
Сквозь этот густой туман?

Ведь вам все равно не удастся высушить свое промокшее платье... — говорит он. — Но вы сами виноваты. Когда б не выгнали вы меня столь безжалостно...

«Да, дурной молвы не избежать, — вздыхает принцесса, стараясь все же держаться подальше от Удайсё. — Но ведь “можно спросить у сердца” (286), и получить ясный ответ...»

— Роса,  
Обильно покрывшая травы,  
Для тебя лишь предлог,  
Чтобы снова мокрое платье  
Мне на плечи накинуть...

Это просто неслыханно!

Так упрекала она его, и хороша была в тот миг несказанно!

Глядя на нее с состраданием, Удайсё терзался от стыда и раскаяния. Проявляя мало кому свойственную степенность, он долгое время заботливо опекал этих женщин и вдруг, воспользовавшись их доверием, повел себя как самый обычный повеса! Но отступишь он теперь — над ним наверняка будут смеяться!

Придорожные травы клонились под тяжестью росы. Удайсё пробирался по непривычным ночным тропам, и сердце его замирало то от страха, то от сладостного волнения.

Опасаясь, что его мокрое от росы платье может возбудить в сердце госпожи подозрение, он решил заехать сначала в восточные покои дома на Шестой линии. Утренний туман еще не рассеялся. «А уж там, в горах...» — невольно подумалось ему.

— Какая неожиданность! — удивленно зашептались дамы. — Похоже, что господин куда-то ездил тайно...

Отдохнув, Удайсё сменил промокшее платье. Здесь для него всегда были готовы прекрасные одежды — и летние, и зимние. Извлеки из китайского ларца новое платье, дамы подали ему. Отведав утреннего риса, Удайсё перешел в покои Гэндзи.

В Оно он послал письмо, но принцесса не захотела его читать. С ужасом вспоминала она прошедшую ночь и замирала от страха при мысли: «Что, если узнает мясудокоро?» Но вправе ли она скрывать случившееся от матери? Увы, в этом мире так трудно что-нибудь утаить, один вид ее может возбудить догадки и любопытство, а уж если прислужницы проговорятся... Мясудокоро наверняка обидится, узнав, что дочь предпочла оставить ее в неведении. Не лучше ли попросить кого-нибудь из дам рассказать ей все как было? Она будет огорчена, но другого выхода, пожалуй, нет.

Мать и дочь всегда были близки друг другу, пожалуй, даже ближе, чем это обычно бывает, и никогда не имели друг от друга тайн.

В старинных повестях иногда рассказывается о девицах, скрывающих от родителей то, что давно уже известно всему миру, но принцесса ни в коем случае не принадлежала к их числу.

— Даже если до госпожи и дойдут какие-то слухи, вряд ли она станет терзаться, поверив, что и в самом деле... — говорили дамы. — Так стоит ли заранее беспокоиться?

Они сгорали от желания узнать, что написал Удайсё, но принцесса даже не притронулась к письму.

— Если вы совсем ничего не ответите, господин будет в недоумении... — взволновались дамы.

— Вы же не дитя малое...

И сами развернули письмо, но принцесса сказала:

— Я, разумеется, виновата, ибо проявила непростительную неосторожность, позволив господину Удайсё увидеть меня. Но и его нечуткость достойна порицания. Мне трудно забыть об этом. Ответьте ему, что я не буду читать его писем.

И она прилегла, недовольная их вмешательством.

В письме же Удайсё не оказалось ничего оскорбительного, напротив, оно было искренне нежным:

«Душу свою  
В твоём рукаве, жестокая,  
Оставив однажды,  
Невольно вступил на путь  
Бесконечных блужданий...

Право, душа не всегда послушна желаниям (78). Я не первый, но, увы, как ни «гоню печальные мысли...» (342)».

Письмо было очень длинным, но дамы не решились прочесть его до конца. На обычное утреннее послание оно не походило, и все же, кто знает?.. Им было жаль принцессу, и вместе с тем их одолевали сомнения: «Что ждет ее в будущем?» Все эти годы Удайсё проявлял по отношению к ним столь трогательную заботу, и все же... Не охладет ли он к принцессе, если она решится сделать его своей единственной опорой? Миясудокоро и не подозревала о том, в какой тревоге пребывают близкие прислужницы ее дочери.

Больную по-прежнему преследовал злой дух, и состояние ее было весьма тяжелым, хотя иногда вдруг наступало улучшение, и она обретала способность понимать, что происходит вокруг.

Как-то раз после окончания дневных служб у ее ложа остается один почтенный Рисси, готовясь произнести положенные заклинания. Довольный тем, что больной лучше, он говорит:

— О, коли истинны слова будды Дайнити, молитвы мои не могли не принести вам облегчение. При всем своем упорстве эти духи всего лишь жалкие, погрязшие в заблуждениях существа.

Голос его звучит хрипло и резко. Как и все отшельники, он прямодушен и не любит прибегать к околичностям, а потому спрашивает:

— Давно ли Удайсё начал посещать принцессу?

— Я бы не сказала, что он посещает ее, — отвечает миясудокоро. — Он был другом покойного Гон-дайнагона и, выполняя его последнюю просьбу, любезно заботится о нас. Вот и теперь приехал, желая справиться о моем здоровье. Он очень добр...

— Зачем вы это мне говорите? Уж от меня-то вы можете не скрывать правду. Сегодня, отправляясь на последнюю ночную службу, я видел, как из западной боковой двери вышел какой-то роскошно одетый мужчина. Из-за густого тумана я не сумел как следует разглядеть его лицо, но слышал, как монахи говорили: «Это уезжает господин Удайсё. Вчера вечером он отослал карету в столицу, а сам остался ночевать здесь». И правда, от его платья исходил такой аромат, что у меня даже голова закружилась. Кто это мог быть, кроме Удайсё? Всем известно, что он питает слабость к хорошим благоволиям. И все же я не одобряю этого союза. Несомненно, Удайсё человек великой учености. Он был совсем еще ребенком, когда покойная госпожа Оо-мия поручила мне молиться за него, да и потом я нередко оказывал ему услуги. Все это так, но боюсь, что принцессе не стоит тешить себя надеждами. Его нынешняя супруга — особа весьма влиятельная. Она принадлежит к роду, достигшему вершины своего могущества, и с ней нельзя не считаться. У нее уже семь или восемь детей. Вряд ли принцессе удастся оттеснить такую соперницу. Да и стоит ли ей отягощать душу столь тяжким бременем? Ведь женщины, легко впадающие в заблуждение, подвергаются суровому наказанию — им суждено вновь и вновь возрождаться в женском обличье, блуждая среди вечного мрака... Ненависть супруги Удайсё станет непреодолимой преградой на ее пути. Нет, нет, я никак не могу одобрить этого союза, — говорит он, качая головой и вздыхая.

— Все это очень странно, — недоумевает миясудокоро. — Удайсё никогда не выказывал подобных намерений. Вчера я лежала в забытии. Дамы, кажется, говорили, что он хотел задержаться, надеясь все-таки побеседовать со мной. Неужели он оставался здесь на ночь? В это трудно поверить. Такой степенный, такой осторожный человек...

Тем не менее в словах монаха не было ничего неправдоподобного. Миясудокоро и прежде замечала, что Удайсё равнодушен к принцессе, но он был благоразумен и всегда вел себя безукоризненно, стараясь не подавать повода к сплетням. Уверенная, что он никогда не позволит себе ничего противного желаниям ее дочери, миясудокоро чувствовала себя в полной безопасности, но, очевидно, воспользовавшись тем, что в покоях малолюдно...

После того как монах удалился, миясудокоро призвала к себе госпожу Косёсё.

— Извольте объяснить мне, что произошло, — требует она. — Почему принцесса ничего не сказала мне? Трудно этому поверить, и все же...

Косёсё, как ни жаль ей принцессу, подробно рассказывает все с самого начала, не забыв ни о полученном утром письме, ни о словах, невольно сорвавшихся с уст госпожи...

— Возможно, господину Удайсё просто захотелось поделиться с принцессой мыслями и чувствами, которые до сих пор таил он в глубине души. Он проявил похвальную предусмотрительность и ушел задолго до рассвета. А что говорили вам дамы? — Косёсё и в голову не приходит подозревать

монаха, она полагает, что старой госпоже тайком сообщил эту новость кто-то из прислужниц.

Неприятно пораженная услышанным, мясудокоро молчит, лишь слезы катятся по ее щекам. Вид ее возбуждает невольную жалость, и Косёсё клянет себя за откровенность. «Госпожа и без того плоха, к чему ей новые волнения?»

— Так или иначе, перегородка была заперта, — говорит она, стараясь представить дело в наиболее благоприятном свете.

— И тем не менее она позволила ему увидеть себя, — возражает мясудокоро. — Поистине непростительная неосторожность! Даже если за ней и нет никакой вины, разве заставишь теперь молчать монахов и этих болтливых мальчишек-послушников? Увы, раз уж они начали судачить... И сможет ли кто-нибудь опровергнуть эти слухи, решительно заявив, что ничего подобного не было? А все потому, что ее окружают одни глупые и ветреные девицы...

Мясудокоро едва могла договорить. Измученная тяжелой болезнью и встревоженная услышанным, она совершенно пала духом. Ведь она так надеялась, что ее дочь хотя бы теперь станет жить сообразно своему высокому званию. Но после этой истории, которая, несомненно, повредит ее доброму имени...

— Попросите принцессу зайти ко мне. Лучше, если она придет теперь, пока я в сознании. Мне следовало бы самой отправиться к ней, но, увы, я и двинуться не могу. У меня такое чувство, будто я не видела ее целую вечность, — говорит мясудокоро со слезами на глазах.

— Госпожа зовет вас к себе, — передает принцессе Косёсё, посчитав, как видно, дальнейшие объяснения излишними.

Принцесса приводит в порядок намокшие, спутанные на лбу волосы и надевает новое нижнее платье — у прежнего порван подол. После этого она долго медлит, терзаясь сомнениями. «Что думают обо мне дамы? — спрашивает она себя. — Матушка, наверное, ничего еще не знает, но со временем слухи дойдут и до нее. Она может обидеться, если я ничего ей не скажу». И, растерявшись, принцесса снова ложится.

— Ах, мне что-то неможется... — жалуется она. — Наверное, я уже не поправлюсь, но, может быть, это и к лучшему. Такое ощущение, что недуг от ног поднимается выше...

И она просит дам растереть ей ноги. Когда принцессу одолевали мрачные мысли, у нее всегда кружилась голова.

— Мне показалось, что кто-то наемкнул госпоже на вчерашнее... — тихонько говорит Косёсё. — Она потребовала от меня объяснений. И пришлось все ей рассказать. Я заверила ее, что перегородка все время оставалась запертой, только в этом одном и погрешив против истины. Поэтому, если она станет вас расспрашивать, говорите то же самое.

Она не стала рассказывать принцессе о том, как сокрушалась мясудокоро. Итак, оправдались худшие предчувствия. Принцесса удрученно молчала, лишь слезы катились вниз по изголовью. «Я приношу матушке одни горести, — думала она, и жизнь казалась ей беспросветно унылой. — Ведь это не первый случай. Как страдала она, когда судьба столь неожиданно для нас обеих связала меня с Гон-дайнагоном. Скорее всего, Удайсё возобновит свои домогательства. Страшно даже подумать о том, что ждет меня впереди».

Все же она не уступила ему, и эта мысль доставляла ей тайную отраду. Нетрудно себе представить, как осудила бы ее молва, прояви она меньшую твердость. Однако она позволила мужчине увидеть себя — для женщины ее ранга этого было более чем достаточно, чтобы лишиться доброго имени. Право, что за несчастливая судьба!

К вечеру снова пришли от мясудокоро с просьбой пожаловать, и через маленькую кладовую, разделяющую их покои, принцесса проходит на половину матери. Мясудокоро почтительно приветствует ее, превозмогая мучения. Не желая нарушать приличий, она поднимается с ложа.

— У меня здесь такой беспорядок, — говорит она. — Простите, что не смогла прийти к вам сама. Я не видела вас всего два или три дня, но у меня такое чувство, будто прошли долгие луны и годы. Печально, не правда ли? Неизвестно, предстоит ли нам потом встретиться. Ведь даже если нам обоим удастся возродиться в этом мире, что толку? Так, скорее досадно, что мы успели привязаться друг к другу за тот краткий миг, на который свела нас судьба...

По лицу мясудокоро катятся слезы, и у принцессы болезненно сжимается сердце. Однако она так и не решается поделиться с матерью своими сомнениями, лишь молча глядит на нее. Застенчивая и робкая от природы, принцесса не находит в себе довольно твердости, чтобы облегчить душу признанием. Приметив ее замешательство, мясудокоро предпочитает не докучать ей расспросами. Она велит дамам зажечь светильник и поставить перед гостьей столик с угощением. Услыхав, что дочь отказывается от еды, мясудокоро сама принимается ее потчевать, но та так ни к чему и не приоткрывается. Одно радует принцессу — матери явно лучше.

Тем временем приносят новое письмо от Удайсё. Его принимают дамы, которые ничего не знают.

— Велено передать госпоже Косёсё, — объясняют они.

Неудачнее и быть не может. Косёсё ничего не остается, как принять письмо.

— Что это за письмо? — спрашивает мясудокоро.

Она успела примириться с мыслью, что Удайсё станет ее зятем, и втайне ждала его. Поняв же, что сегодня он не придет, снова встревожилась.

— Вы должны непременно ответить, — говорит она принцессе. — Молчать неприлично. Раз ваше имя уже стало предметом пересудов, вряд ли кому-то удастся снять с вас подозрения. Возможно, вы и в самом деле невинны, но немногие в это поверят. Пожалуй, лучше вам и впредь, как ни в чем не бывало, обмениваться с ним чистосердечными посланиями. Если же вы перестанете отвечать на послания господина Удайсё, он сочтет вас особой своенравной и бездушной.

Мясудокоро попросила письмо, и Косёсё нехотя передала его ей.

«Ваше откровенное нежелание сообщаться со мной, — писал Удайсё, — не охладило моей страсти, скорее напротив...

Сколько запруд  
 Ни ставь, глубже не станет  
 Горный ручей.  
 Удержать не удастся поток,  
 Падающий по склону...»

Письмо оказалось очень длинным, и мясудокоро не дочитала его до конца. Было в нем что-то неопределенное, неприятно добропорядочное, к тому же из него явствовало, что Удайсё не приедет и сегодня. Ну как тут было не возмутиться!

Покойный Гон-дайнагон не оправдал ее ожиданий, но он по крайней мере не забывал о приличиях. Принцесса была единственным предметом его попечений, что казалось мясудокоро большим достоинством и отчасти мирило с этим союзом, никогда особенно ее не радовавшим. Но Удайсё?.. Какая дерзость! «Что скажут в доме Вышедшего в отставку министра?» — волновалась она. Решив выведать хотя бы, каковы намерения самого Удайсё, мясудокоро старательно вытерла глаза, которые за эти тревожные дни совсем померкли от слез, и начертала корявым, похожим на птичьи следы почерком:

«Ваше письмо принесли как раз в тот миг, когда принцесса зашла навесить меня, ибо состояние мое оставляет желать лучшего. Я уговаривала ее ответить, но она настолько пала духом...

Что для тебя  
Этот луг, где блекнет напрасно  
Цвет девичьей красоты?  
Всего на одну только ночь  
Случайный приют в пути...»

Не дописав, она свернула листок и, загнув концы, подсунула его под занавеси, сама же откинулась на изголовье, и тут ей опять сделалось хуже.

Дамы засуетились вокруг. «Этот дух нарочно усыпил нашу бдительность», — сетовали они. Монахи начали громко читать молитвы.

Дамы настаивали, чтобы принцесса вернулась в свои покои, но она наотрез отказалась. Несчастливая хотела умереть вместе с матерью.

Только к полудню Удайсё вернулся в дом на Третьей линии. В тот день он решил воздержаться от поездки в Оно, ибо в противном случае домашние наверняка укрепились бы в своих подозрениях, а ему не хотелось раньше времени давать повод к сплетням.

Весь вечер Удайсё изнывал от тоски. Ему казалось, что чувство его возросло тысячекратно.

До госпожи Северных покоев дошли кое-какие слухи, и она была встревожена, но старалась сохранять наружное спокойствие, заботы же о детях отвлекали ее от мрачных мыслей. Весь день она оставалась в своих покоях.

Ответ от мясудокоро приносят уже под вечер. Придвинув к себе светильник, Удайсё долго вчитывается в письмо, с трудом разбирая корявый, напоминающий птичьи следы почерк.

Госпожа вроде бы сидит в отдалении, за занавесом, но тем не менее тут же замечает письмо и, незаметно приблизившись сзади, вырывает его!

— Что вы делаете? — возмущается Удайсё. — Как вам не стыдно? Это письмо от госпожи Восточных покоев дома на Шестой линии. Сегодня утром она, простудившись, занемогла, а я так и не успел зайти к ней, ибо, навестив отца, сразу же уехал. Обеспокоенный, я послал гонца, поручив ему осведомиться о ее здоровье. Взгляните, разве это письмо похоже на любовное? Право же, ваше поведение не делает вам чести. Как это ни печально,

с годами вы все больше пренебрегаете моими чувствами. Неужели вам безразлично, что я о вас думаю?

Изображая полнейшее равнодушие, он даже не пытается отобрать письмо, и госпожа неловко вертит его в руках, не решаясь прочесть.

— А по-моему, это вы все больше пренебрегаете моими чувствами, — заявляет она наконец, явно смущенная непоколебимым спокойствием, написанным на лице супруга. Глядя на нее, совсем еще юную и прелестную, Удайсэ не может удержаться от улыбки.

— Что ж, может быть, и так, — говорит он. — Ничего необыкновенного в этом нет. А вот супруг у вас действительно необыкновенный. Вряд ли кто-то другой, имея столь высокое звание, стал бы, словно пугливый сокол\*, заботиться только об одной женщине. Надо мной и так смеются. Подумайте сами, почетно ли быть супругой неисправимого чудака? Насколько выгоднее положение женщины, которой есть с кем соперничать. Все видят оказываемое ей предпочтение, это поднимает ее в глазах окружающих, да и в собственных тоже. Она всегда чувствует себя молодой, а супружество никогда не теряет для нее своей привлекательности. Неужели вы хотите, чтобы я всю жизнь просидел рядом с вами, как небезызвестный старец\*? Не понимаю, что в этом хорошего?

Догадываясь, что Удайсэ говорит все это лишь для того, чтобы отвлечь ее внимание от письма и отнять его, госпожа, подарив его чарующей улыбкой, отвечает:

— Разумеется, когда человек стремится обеспечить себе блестящее положение в мире, такая старая жена ему нестати. Вы очень переменялись за последнее время. К вам словно вернулась молодость. Я никак не привыкну к этому, и беспокойство мое естественно. Право, «лучше бы пораньше...» (278).

Но даже осыпая его упреками, она не делается менее привлекательной.

— Но в чем я переменялся? — спрашивает он. — По-моему, я никогда не давал вам повода... Почему вы ничего не говорили мне раньше? Наверное, кто-то старается очернить меня. Я ведь знаю, что среди ваших дам у меня есть давние недоброжелательницы. Кое-кто, очевидно, не может забыть моих «зеленых рукавов»\* и почитает союз со столь незначительным человеком бесчестьем для вас. Подозреваю, что эта особа нарочно возводит на меня напраслину, стараясь посеять меж нами вражду. Это тем более неприятно, что может пострадать доброе имя женщины, за которой нет решительно никакой вины...

Так или иначе, спорить с супругой Удайсэ не хочется. «В конце концов, все уладится», — думает он. Кормилица Таю возмущена, но предпочитает не вмешиваться.

Пока они спорили, госпожа успела куда-то спрятать письмо. Сделав вид, что оно совершенно его не занимает, Удайсэ удалился в опочивальню и долго лежал там без сна с бьющимся от волнения сердцем. «Как же вернуть письмо? Судя по всему, оно от мясодокоро. Но что в нем?» Как только госпожа заснула, Удайсэ незаметно прошел в покои, где они были вечером, и заглянул под ее сиденье, но там было пусто. Когда же она успела его спрятать? И куда? Раздосадованный, Удайсэ долго оставался в опочивальне. Утром, когда разбуженная детьми госпожа удалилась, он, сделав вид, будто только что проснулся, возобновил поиски, но, увы, тщетно. Поскольку

Удайсё продолжал притворяться, что не придает письму ровно никакого значения, госпожа решила, что оно и в самом деле не любовное, и успокоилась. Мысли ее целиком сосредоточились на детях. Одни бегали вокруг, другие нянчили кукол, старшие учились читать и писать, самые маленькие ползали, цепляясь за платье, и обо всех надобно было позаботиться. Разумеется, она и думать забыла о письме.

Удайсё, наоборот, ни на миг не забывал о нем. Должно было ответить как можно быстрее, но вчера ему не удалось даже дочесть письмо до конца. А вдруг миясудокоро догадается, что он не читал ее послания? Она ведь может вообразить, что он был небрежен и просто потерял его.

После дневной трапезы в доме стало тихо, и Удайсё, не выдержав, спрашивает:

— Что было во вчерашнем письме? Нелепо прятать его от меня. Следовало бы известить сегодня больную, но мне что-то самому неможется, и я никуда, даже на Шестую линию, не поеду. Надобно по крайней мере ответить, но, не зная, что написала она...

Искренняя озабоченность слышится в его голосе, и госпоже становится стыдно. «Как глупо, что я отняла у него письмо!»

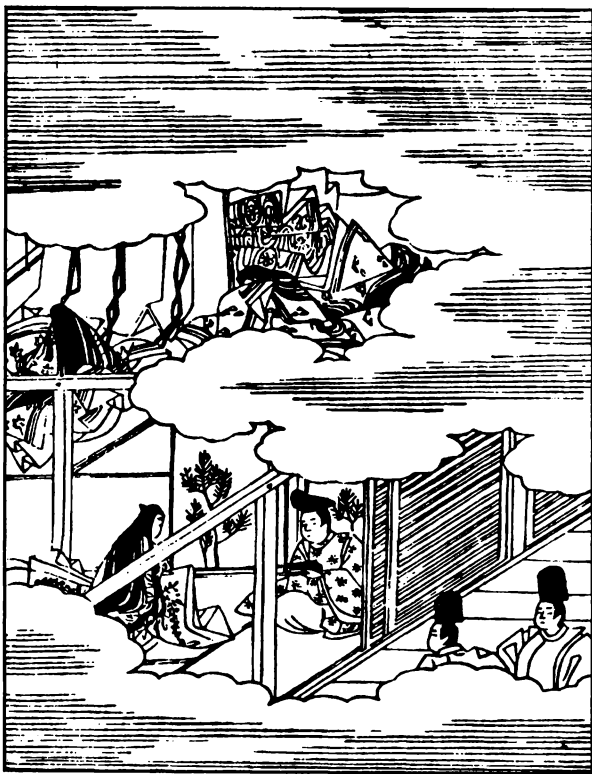
— Почему бы вам не придумать какой-нибудь изысканный предлог, к примеру, что вчера в горах дул слишком холодный ветер, и вы простудились, — сказала она, нарочно не отвечая на вопрос.

— Какой вздор! — сердится Удайсё. — Ну что вы находите в этом изысканного? Или вы видите во мне самого заурядного любителя приключений? Мне стыдно за вас. Вот и дамы уже смеются, слушая, как вы разговариваете с супругом, который почитается в мире образцом благонравия, — шутя добавляет он. — Так где же письмо?

Однако госпожа не спешит его отдавать.

Они беседовали еще некоторое время, потом прилегли отдохнуть, а день тем временем склонился к вечеру. Проснувшись от стрекота вечерних сверчков, Удайсё подумал: «На горные склоны, должно быть, уже опустился туман... Как дурно, что я до сих пор не ответил. Сам я не могу приехать сегодня, так хотя бы письмо...» Растерев с безразличным видом тушь, он некоторое время сидел задумавшись: «Как же лучше написать, чтобы она не поняла...» Вдруг он заметил, что у сиденья госпожи чуть приподнят угол. Заглянул туда и — о радость! — обнаружил письмо миясудокоро. Посетовав на свою недогадливость, Удайсё улыбаясь, принялся его читать, и тут же щемящая жалость пронзила ему сердце: «Значит, ей уже сообщили, что прошлой ночью... Наверное, и вчера она прождала меня до рассвета, а я даже письма еще не написал». Непростительная небрежность! Как видно, жестокое недоумение терзало душу несчастной матери — превозмогая муки душевные и телесные, написала она это странное, бессвязное послание. А он и эту ночь заставил ее мучиться в неизвестности. Но, увы, ничего уже не изменишь. А госпожа с такой бездумной жестокостью... «Нет, я сам виноват во всем», — думал Удайсё, чуть не плача от досады. Он хотел было немедленно ехать в Оно, но потом отказался от этой мысли. Согласится ли принцесса принять его? Правда, миясудокоро как будто... Он медлил, не зная, на что решиться: «День сегодня неблагоприятный, и даже если миясудокоро не станет возражать...»





В конце концов, призвав на помощь все свое благоразумие — «нельзя делать ничего, что повредило бы нашему будущему», Удайсё решил прежде всего написать ответ.

«Я несказанно обрадовался, получив Ваше письмо, но к чему эти упреки? Уж не ввели ли Вас в заблуждение?..

По осенним лугам  
Прошел, с трудом пробираясь  
Сквозь буйные травы.  
Но разве успел связать  
Из них для себя изголовье?

В моем случае оправдываться нелепо, но возможно, я виноват в том, что уехал, не повидавшись с Вами...»

Весьма длинное письмо он написал и к принцессе, затем, велев оседлать самого быстрого скакуна из своей конюшни, отправил в Оно Таю, который сопровождал его и в прошлый раз.

— Скажите им, что все это время я был в доме на Шестой линии и только что вернулся, — поручил он ему тайком.

Тем временем истерзанная жестокими сомнениями мясудокоро совершенно пала духом. Так и не дождавшись Удайсё, она, пренебрегши приличиями, написала ему полное упреков послание, но даже оно осталось без

ответа. Несчастливая пришла в такое отчаяние, что сделалась совсем слаба, и недуг, от которого она почти уже оправилась, вновь овладел ею... Принцессу же молчание Удайсё не удивляло и не обижало, она просто не придавала ему значения. Ее больше огорчало другое: как могла она показаться чужому мужчине! К тому же миясудокоро была явно встревожена... Недовольная собой, расстроенная, не умея ничего сказать в свое оправдание, принцесса молча вздыхала. Видя, в каком она замешательстве, миясудокоро сетовала на судьбу, принесшую ее дочери столько горестей, и мучительная тоска сжимала ее сердце.

— Я не хотела докучать вам наставлениями, — с трудом вымолвила она наконец. — Разумеется, можно считать, что таково ваше предопределение, но, по-моему, вы проявили непростительную неосторожность, и я не удивлюсь, если по миру пойдет дурная молва. Сделанного не воротишь, но надеюсь, что впредь вы будете осмотрительнее. Как ни ничтожно мое собственное положение, все силы своей души я отдала вашему воспитанию и была спокойна, думая, что мне удалось в полной мере образовать ум ваш и сердце, что вы успели проникнуть в сущность явлений этого мира. Но оказалось, вы по-прежнему беспомощны и не уверены в себе, и остается лишь надеяться, что я пробуду с вами еще некоторое время.

Даже простой женщине, коль скоро занимает она приличное положение в мире, не подобает иметь двух мужей. Это никогда не поощрялось, к таким особам всегда относились с предубеждением. Вы же принадлежите к высочайшему семейству, и вам тем более не пристало вступать в столь заурядные отношения с мужчинами. Вы и вообразить себе не можете, как я страдала все эти годы из-за того, что вам пришлось унизиться до союза с простым подданным, но ничего не поделаешь, таково, видно, было ваше предопределение. Государь, ваш отец, не имел никаких возражений и сам изволил сообщить о своем согласии Вышедшему в отставку министру. Так могла ли я упорствовать? Увы, мне ничего не оставалось, как смириться. Все эти годы я усердно заботилась о вас и, зная, что в случившемся нет вашей вины, к небесам обращала свои упреки. И вот эта нелепая история, которая может стоить доброго имени и вам, и господину Удайсё. Если бы он, по крайней мере, обнаружил готовность вступить с вами в отношения, обычные для этого мира! Тогда можно было бы пренебречь мнением света и утешать себя тем, что вы обрели надежную опору в жизни, но, увы, его бессердечие... — И миясудокоро заплакала.

Чувствуя, что ей вряд ли удастся разуверить мать, принцесса тоже заплакала. Ее печально поникшая фигурка трогательно-преlestна.

— Разве вы чем-то хуже других? — спрашивает миясудокоро, разглядывая дочь. — Почему же вам так не повезло в жизни? Какое предопределение навлекло на вас эти несчастья?

Тут ее опять начинают терзать боли. Злые духи никогда не упускают случая воспользоваться подобными обстоятельствами. Вот и теперь сознание внезапно покидает больную, и тело ее с каждым мигom становится все холоднее и холоднее. На помощь спешит почтенный Рисси, даются новые обеты, громко произносятся заклинания.

«Я должен был до скончания дней оставаться в горном уединении, и лишь исключительный случай заставил меня спуститься, — думает монах. —

Неужели придется, разбив жертвенник, бесславно вернуться в горы? Увы, сам Будда будет недоволен мной». И он с еще большим воодушевлением принимается возносить молитвы.

Принцесса рыдает, и, право же, горе ее так понятно!

В доме царило смятение, когда принесли письмо от Удайсё. Каким-то чудом больная услышала голос гонца, перешептывания дам и поняла, что он не придет и сегодня. «О, для чего послала я ему это письмо! — корила она себя. — Теперь имя принцессы будет окончательно опорочено». Ей стало плохо все хуже, и скоро дыхание ее прервалось. Стоит ли описывать горе близких?

Миясудокоро давно уже преследовали злые духи. Нередко бывало и так, что жизнь будто покидала ее, поэтому, предположив, что и теперь в больную просто вселился дух, монахи стали молиться еще усерднее. Но, увы, все тщетно. Несчастливая дочь цепляется за безжизненное тело матери, словно готовясь последовать за ней.

— Увы, теперь ничего уже не изменишь, — увещевают ее дамы, — никакими стенаниями нельзя вернуть уходящего по последней дороге. Пойти за ней вы тоже не можете, как бы вам этого ни хотелось. Своими рыданиями вы лишь обременяете ее новыми прегрешениями. Вам лучше уйти.

Дамы пытаются оторвать принцессу от матери, но несчастная, оцепенев от горя, отказывается понимать, что происходит вокруг.

Жертвенники уже разбиты, и монахи разошлись. Остались лишь те, без кого нельзя обойтись. Ясно, что это конец, и все предаются скорби.

Скоро появляются гонцы с соболезнованиями, непонятно, когда успели узнать...

Господин Удайсё, потрясенный неожиданной вестью, прислал гонцов одним из первых. Соответствующие послания были присланы и из дома на Шестой линии, и от Вышедшего в отставку министра — отовсюду. Печальная весть о кончине миясудокоро дошла до государя-монаха, и от него принесли чрезвычайно трогательное письмо. Увидев его, принцесса впервые оторвала голову от изголовья.

«Я слышал, что Ваша матушка тяжело больна, — писал государь, — но, к сожалению, не проявил должного внимания, ибо она никогда не отличалась крепким здоровьем. Но что об этом говорить теперь... Я хорошо понимаю, как велико Ваше горе, и искренне сочувствую Вам, но вспомните, что таков удел всего мирского и постарайтесь смириться».

Принцесса ничего не видела от слез, но все-таки ответила государю.

Миясудокоро еще при жизни распорядилась, чтобы с обрядом погребения не медлили, поэтому его назначили на тот же день, и племянник ушедшей, правитель Ямато, взял на себя необходимые приготовления. «О, позвольте мне еще немного посмотреть на нее...» — просила принцесса, но, увы...

В доме готовились к поминальным службам, и тут в самый неподходящий миг появился Удайсё.

— Я должен ехать сегодня же, — объяснил он своим домочадцам. — Последующие дни неблагоприятны для соболезнований.

На самом деле, он беспокоился за принцессу, представляя себе, в каком она должна быть горе, поэтому, как дамы ни пытались его отговорить —

мол, поспешность не совсем прилична в таком случае — настояв на своем, все-таки отправился в Оно.

Дорога туда показалась ему бесконечно длинной, когда же он наконец добрался до места, невыразимо скорбное зрелище предстало его взору. Часть дома, предназначенная для церемонии, предусмотрительно отделена темными занавесями и ширмами.

Дамы проводят Удайсё в западные покои. Туда же выходит правитель Ямато и, обливаясь слезами, рассыпается в благодарностях. Устроившись на галерее возле боковой двери, Удайсё зовет дам, но, увы, не находится ни одной, способной прислуживать ему: горе помрачило их рассудок. Впрочем, весть о приезде Удайсё явилась для них утешением, и по прошествии некоторого времени к гостю выходит госпожа Косёсё. Удайсё долго молчит, не в силах вымолвить и слова. Не в его натуре лить слезы по любому поводу, но столь печальна картина, представшая его взору и рождающая в душе томительные воспоминания... Да и кто может остаться равнодушным, увидев перед собой столь явное свидетельство непостоянства мира?

— Увы, зачем так легко поверил я, что вашей госпоже лучше? — говорит он наконец. — Говорят ведь: для того чтобы проснуться и то нужно время... Такая неожиданность...

«А ведь из-за него-то матушка и страдала в последние дни», — подумала принцесса, когда ей передали его слова. Что предопределено — свершится, но как же жестока судьба, связавшая ее именно с этим человеком! И она отказалась отвечать.

— Что же мы скажем господину Удайсё? — беспокоятся дамы. — Не будь он столь важной особой... И ведь он соблаговолил так быстро приехать...

— Нельзя быть такой неблагодарной...

— Придумайте что-нибудь сами. Я не знаю, что отвечать, — говорит наконец принцесса, даже не вставая с ложа, и можно ли ее винить?

— Госпожа и сама сейчас еле жива. Я сообщила ей о том, что вы пожаловали, — докладывает гостю Косёсё.

Видя, что дам душат рыдания, Удайсё отвечает:

— Сейчас мне трудно найти слова... Я приеду позже, когда немного приду в себя. Надеюсь, и принцесса сумеет за это время оправиться... Но почему так внезапно...

Рассказав ему — разумеется, не все и с недомолвками, — что тревожило больную в последние дни, Косёсё добавляет:

— Вам может показаться, что я упрекаю вас, но, поверьте, я в таком смятении... Мысли мои в беспорядке, надеюсь, вы будете снисходительны к моим речам... Скорбь принцессы велика, но ничто не длится вечно. Советую вам приехать спустя некоторое время, когда она успокоится. Тогда мы и поговорим обо всем...

Видя, что она и сама в полубессознательном состоянии, Удайсё не больше решается докучать ей расспросами.

— Так, я тоже словно блуждаю в кромешном мраке... Постарайтесь успокоить госпожу, и если будет для меня хоть какой-то ответ...

Он медлит, не решаясь уходить, однако человеку его положения не совсем прилично оставаться в доме в такое время...

Удайсё не предполагал, что церемония будет назначена на ту же ночь, и поспешность приготовлений неприятно поразила его. Призвав людей из окрестных владений своих, он распорядился, чтобы близким покойной была оказана необходимая помощь, после чего отправился домой. Только благодаря Удайсё церемония прошла с подобающей случаю пышностью. В самом деле, в столь краткий срок мудрено подготовиться как следует, и когда б не он...

Правитель Ямато не находил слов, чтобы выразить свою признательность. Принцесса же по-прежнему была безутешна. «Брэнной оболочки и той не осталось теперь!» — рыдала она, но, увы...

«Даже к матери не следует питать столь сильную привязанность», — думала, глядя на нее дамы, и самые дурные предчувствия рождались в их сердцах.

Правитель Ямато, позаботившись о поминальных обрядах, зашел к принцессе.

— Вам нельзя оставаться одной в таком унылом месте, — сказал он. — Здесь вам вряд ли удастся забыть о своем горе.

Однако принцесса не хотела уезжать. «Глядя на этот дымок над вершиной\*, я буду вспоминать ушедшую... — думала она. — Пусть и мои дни окончатся здесь, в Оно».

Монахи, оставшиеся в доме на время скорби, устроились в отгороженных легкими перегородками помещениях в восточной части дома, на галереях, в людских. В западных передних покоях, соответственно убранных, разместилась сама принцесса. Дня от ночи не отличая, предавалась она скорби, а время шло, и вот наступила Девятая луна.

Все располагало к унынию: с гор дул пронизывающий ветер, с деревьев осыпались листья. Даже небо казалось невыразимо печальным, и рукава принцессы ни на миг не высыхали... «Когда бы хоть жизнь...» (38) — вздыхала она. Прислуживающие ей дамы тоже были безутешны.

От Удайсё каждый день приезжали гонцы с соболезнованиями. Присылаемые им дары несколько скрашивали унылое существование монахов, без усталости возносивших молитвы. Принцессе же Удайсё писал трогательные и нежные письма, в которых изъявления искреннего сочувствия перемежались упреками, но она даже не смотрела на них.

Думая и передумывая о том, что привело ее мать к кончине, она невольно приходила к выводу, что, возможно, больная и не угасла бы так скоро, если бы не приняла слишком близко к сердцу случившегося в ту ночь... Увы, мясудокоро ушла из мира, так и не успев обрести покоя. Неизъяснимая горесть стесняла сердце принцессы при мысли о будущих страданиях матери. Одно упоминание об Удайсё приводило ее в отчаяние, и слезы навертывались на глазах. Дамы не осмеливались заговаривать о нем.

Не получая от принцессы ни строчки в ответ, Удайсё сначала объяснял ее молчание тем, что слишком велико потрясение, ею испытанное. Но время шло, и постепенно им овладела тревога. «Всякой скорби раньше или позже приходит конец, — думал он не без досады. — Не настолько же она наивна, чтобы ничего не понимать? Когда б я писал ей о чем-то совершенно постороннем — о бабочках или о цветах... Право же, я всегда был уверен, что людям, у которых есть причины для печали, свойственно испытывать благо-

дарность и приязнь ко всем, кто стремится выразить им сочувствие... Я хорошо помню, каким горем была для меня кончина госпожи Оомия, гораздо большим, чем, скажем, для Вышедшего в отставку министра, который, видя в том лишь нечто неизбежное, заботился прежде всего о соблюдении внешних приличий. Его поведение очень огорчило меня тогда. И, напротив, я был очень благодарен господину с Шестой линии за то, что он с необыкновенным вниманием отнесся ко всем поминальным обрядам, хотя только я и связывал его с ушедшей. Помнится, именно тогда я сблизился с Гондайнагоном. Тогда он был тихим и очень впечатлительным юношей с добрым, чувствительным сердцем,... Он мне сразу понравился».

Мысли одна другой тягостней теснились в голове Удайсё. Он коротал дни в тоскливом бездействии, и, глядя на него, госпожа Северных покоев недоумевала: «Что же все-таки меж ними произошло? Я знаю, он состоял в переписке с покойной миясудокоро, но отчего...»

Однажды, когда Удайсё лежал, задумчиво глядя на вечернее небо, она с сыном передала ему послание. На ничем не примечательном клочке бумаги написано:

«Смогла бы и я  
Тебя в печали утешить,  
Но как же узнать —  
Тоскуешь ты по живой  
Или скорбишь по ушедшей?»

Право, что может быть тягостнее неизвестности...»

«Кажется, она обеспокоена не на шутку, — улыбается, глядя на письмо Удайсё. — Вот только насчет ушедшей она заблуждается...» И он тут же пишет ответ:

«О той ли, другой  
Разве стоит печалиться?  
Зыбок наш мир —  
Блеснет и тотчас растает,  
Роса на листьях травы...

Наш мир безотраден, увы...»

«Как горько, что он отдалился от меня!» — вздыхает госпожа. Да, вовсе не о росе ее думы...

Измученный неизвестностью, Удайсё снова отправился в Оно. Сначала он предполагал дожидаться окончания срока скорби, но, как видно, не сумел справиться с охватившим его волнением. «Что толку теперь заботиться о ее добром имени? — думал он. — Не лучше ли добиться наконец своего, поступив так, как поступил бы на моем месте любой другой мужчина?»

Не придавая особого значения подозрениям супруги, он не стал ее разубеждать. «Если принцесса будет упорствовать, — думал он, — я попробую прибегнуть к помощи письма, в котором миясудокоро пеняла мне за то, что “всего на одну только ночь...” Людей ведь все равно не заставишь молчать...» Так, надежда на благоприятный исход не покидала его.

Шли десятые дни Девятой луны, луга и горы были так прекрасны, что и менее чувствительный человек не остался бы равнодушным. Ветки деревьев

трепещут, не в силах противостоять яростным порывам горного ветра. С «плюща на вершине» срываются листья и устремляются вниз к земле, словно стараясь опередить друг друга... (345) Безлюдно, лишь откуда-то издалека доносятся голоса читающих сутру монахов, кто-то громко славит будду Амиду. Олени в поисках защиты от пронизывающего осеннего ветра теснятся к изгороди, бродят, не пугаясь трещоток, по ярко-желтым рисовым полям. Их жалобные крики нагоняют тоску.

Где-то рядом оглушительно грохочет водопад, резко врываясь в унылые думы людей. В пожелтевшей траве бессильно угасают голоса насекомых, и только лиловые колокольчики горечавок с самодовольным упорством тянутся вверх, горделиво сверкая каплями росы.

Разумеется, в этих приметах осени нет ничего необычного, но время и место накладывают на них особый отпечаток, и сердце сжимается от нестерпимой печали.

Удайсё по обыкновению своему подходит к боковой двери и некоторое время стоит там, любуясь садом. Он в мягком домашнем платье, сквозь которое красиво просвечивает нижнее одеяние из густо-алого глянцевого шелка. Слабеющие, но еще достаточно яркие лучи вечернего солнца светят ему в глаза, и он поспешно прикрывает лицо веером. В движениях его руки столько непринужденной грации, что дамы восхищенно вздыхают: «Ах, вот бы женщине так... Но удастся ли?» Сияя улыбкой, способной рассеять любые печали, он просит позвать Косёсё.

Галерея довольно узка, и Косёсё подходит к нему совсем близко, однако за занавесами скорее всего сидят остальные прислужницы, которые могут подслушать их разговор, поэтому Удайсё не решается прямо говорить о том, что волнует его сердце.

— Сядьте поближе, — говорит он, — не отодвигайтесь! Надеюсь, я вправе рассчитывать на вашу снисходительность. Ведь не зря я проделал столь длинный путь. К тому же сегодня такой густой туман...

Желая доказать, что он и не думает рассматривать Косёсё, Удайсё устремляет взор на горные вершины...

— Ну еще чуть-чуть, — настаивает он, и Косёсё, пододвинув к нему серый занавес, устраивается за ним, старательно подобрав подол платья. Косёсё связана с мясудокоро узами крови (она приходится младшей сестрой правителю Ямато), к тому же с младенчества воспитывалась в доме покойной, поэтому ее платье гораздо темнее, чем у других дам.

— Думаю, что нет нужды уверять вас в том, сколь велика моя скорбь. Но, оплакивая ушедшую, я ни на миг не забываю и о другом — о беспримерной жестокости вашей госпожи. Можете ли вы вообразить мое смятение! Порой мне кажется, что я теряю рассудок. Я понимаю, что видом своим невольно возбуждаю подозрения, но, увы, чувства отказываются повиноваться мне...

Среди всего прочего Удайсё рассказывает и о последнем письме мясудокоро, и слезы потоком текут по его щекам. А уж о Косёсё и говорить нечего.

— В ту ночь, тщетно прождав ответа, госпожа настолько пала духом, что казалось, будто конец совсем близок. Она лежала в забытии, глядя на темнеющее небо, и, очевидно, ее слабостью воспользовался давно уже преследовавший ее злой дух. Когда ушел из мира господин Гон-дайнагон, она часто бывала близка к тому, чтобы впасть в беспамятство, но старалась держаться,

зная, что принцесса страдает не меньше и нуждается в утешении... О, если бы вы знали, в каком отчаянии принцесса! Она почти не приходит в себя...

Тяжкие вздохи теснят ее грудь, голос то и дело прерывается.

— Да, но при этом она проявляет прежнюю неуступчивость, — отвечает Удайсё. — Простите мне невольную дерзость, но кто, кроме меня, может стать ей теперь опорой? Ее отец живет высоко в горах, разорвав последние связи с миром. В его обитель, затерянную среди туч, и письма не всегда доходят. Постарайтесь же объяснить госпоже, сколь неразумно ее поведение. Все исполняется согласно предопределению. Она не хочет оставаться в этом мире, но разве это зависит от ее воли? Будь мир подвластен нашим желаниям, разве пришлось бы ей теперь оплакивать эту утрату?

Но Косёсё лишь вздыхает в ответ. Где-то недалеко громко кричат олени. «Но разве я плачу не громче...» (346) — невольно вспоминается Удайсё, и он произносит:

— В горной глуши  
Селение Оно затеряно.  
Непроторенной  
К нему пробирался тропой,  
Стеная громче оленя.

— Темное платье  
От холодной росы промокло.  
Осенней порой,  
Крикам оленей вторя,  
Рыдают жители гор... —

отвечает дама.

Ничего особенного в ее песне нет, но, произнесенная к месту, тихим голосом, она кажется Удайсё чрезвычайно трогательной. Он снова обращается к принцессе, и на этот раз Косёсё возвращается с ответом, хотя и весьма односложным:

— Моя жизнь теперь — словно дурной сон. Как только я хоть немного приду в себя, я не премину выразить вам свою признательность...

«Увы, она неисправима!» — вздыхает Удайсё и отправляется домой.

В исполненном печального очарования небе ярко сияет тринадцатидневная луна, и даже на Темной горе, горе Огура, ясно видны тропинки. Путь Удайсё лежит мимо дома на Первой линии. За последнее время дом пришел в еще большее запустение, юго-западная часть стены разрушена. Заглянув в пролом, он видит, что решетки повсюду опущены, в саду ни души и только ручьи сверкают в лунном сиянии, напоминая о тех давних днях, когда покойный Гон-дайнагон приглашал сюда друзей, чтобы помузицировать вместе...

— Знакомые лица  
Не отражаются больше  
В старом пруду.  
Одна лишь луна осенняя  
Охраняет эту обитель... —

произносит Удайсё про себя.



Вернувшись домой, он долго еще любовался луной, и к далеким небесам стремилась его душа.

— Прежде с ним такого не бывало, — недоумевали дамы. — Кто мог предугадать?

Госпожа была встревожена не на шутку. «Похоже, что господин совсем потерял голову, — думала она. — Ему всегда служили образцом обитательницы дома на Шестой линии, привыкшие жить в мире и согласии со своими соперницами. Возможно, по сравнению с ними я кажусь ему невеликодушной, нечуткой... Право же, это несправедливо. Когда б меня с первых дней супружества не приучали к иному, я вряд ли приняла бы случившееся так близко к сердцу, да и для других не было бы такой неожиданностью... Но ведь все, и в первую очередь отец мой и братья, почитали Удайсё образцовым супругом и радовались моему счастью. И теперь, после стольких лет совместной жизни... Какой позор!»

Рассвет был уже близок, а супруги сидели, отвернувшись друг от друга, и молча вздыхали. Не дожидаясь, пока рассеется утренний туман, Удайсё по обыкновению своему принялся писать письмо принцессе.

Госпожа была возмущена, но на этот раз уже не пыталась завладеть письмом. Удайсё писал довольно долго, затем, отложив кисть, тихонько произнес вслух песню. Госпоже удалось кое-что уловить.

«Как я узнаю,  
Что миг наступил желанный?  
Ты велела мне ждать,  
Пока светлое утро  
Не разгонит ночные виденья.

“С вершины Оно падает...” (344)» — вот что написал Удайсё. Затем, сворачивая письмо, долго еще повторял: «На что наконец решиться?» (344)

Призвав слугу, он вручил ему свое послание.

«Если б я могла увидеть ответ! — вздохнула госпожа. — Хотелось бы знать, что их связывает?»

Солнце стояло совсем высоко, когда гонец вернулся из Оно. Рукой Косёсё на листке темно-лиловой бумаги было начертано всего несколько строк. Сообщая, что пока ничего добиться не удалось, Косёсё заключала свое послание следующими словами:

«А вот что написала как-то госпожа на полях присланного Вами письма. Из жалости к Вам я решила выкрасть его...»

В самом деле, в письмо было вложены исписанные клочки бумаги. «Значит, принцесса все-таки прочла мое письмо!» — обрадовался Удайсё. Право же, он мог бы и не проявлять своей радости так открыто!

Несвязные на первый взгляд обрывки фраз сложились в такую песню:

«Ни ночью, ни днем  
Не смолкают мои рыдания.  
По склону Оно  
Водопад Безмолвный струится,  
Бесконечен поток моих слез» (344).

Рядом были небрежно начертаны строки из печальных старинных песен. Почерк поражал удивительным изяществом.

Какими безумцами прежде казались Удайсё люди, потерявшие голову от любовной страсти, с каким пренебрежением отворачивался он от них! Мог ли он вообразить, что когда-нибудь сам будет томиться от нестерпимой тоски? «Непостижимо! — думал Удайсё, тщетно пытаюсь вернуть утраченное хладнокровие. — Отчего с такой неодолимой силой влечется к ней мое сердце?»

Разумеется, по миру очень скоро пошли слухи и достигли дома на Шестой линии. Гэндзи всегда гордился сыном, да и можно ли было не гордиться им? Удайсё считался образцом благонравия, рассудительности, до сих пор его имя ни разу не становилось предметом пересудов. К тому же достоинства сына до некоторой степени искупали бывшие заблуждения отца. Весть о неожиданном увлечении Удайсё раздосадовала Гэндзи, тем более что он хорошо понимал, сколь несчастные последствия может иметь эта страсть. Нельзя было забывать и о родственных связях. Что скажет, к примеру, Вышедший в отставку министр? Впрочем, вряд ли Удайсё не понимал этого сам. Невозможно избежать того, что предопределено, так не лучше ли воздержаться от разговоров на столь щекотливую тему? И Гэндзи лишь печалился и вздыхал, сочувствуя обеим женщинам. Размышляя о прошлом и о грядущем, он нередко говорил госпоже Мурасаки, что подобные слухи вселяют в его сердце тревогу за ее будущее. Что станет с ней, когда его не будет рядом?

«Неужели он собирается оставить меня одну? — покраснев, подумала госпожа. — Право, есть ли на свете существа несчастнее женщин? Они живут замкнуто, хороня на дне души каждый свой порыв, каждое чувство, делая вид, будто их пониманию не доступна красота вещей, будто их не волнует ни трогательное, ни забавное. Где отыскать им средство приблизиться к тем радостям, которые скрашивают человеческую жизнь, что способно отвлечь их от унылых мыслей о тщете мирских упований? Можно, разумеется, убедить себя в том, что женщины просто слишком никчемны, что редко кому из них удастся проникнуть в душу вещей, но тогда становится жаль их попечительных родителей... Не бессмысленно ли вечно таить в глубине души чувства, в ней зарождающиеся, подобно принцу Бессловесному\*, о котором так часто рассказывают монахи в невеселых своих притчах? Стоит ли упорно молчать, даже если понимаешь, что хорошо, а что дурно? Как научиться всегда и во всем соблюдать должную меру?»

Несомненно, мысли госпожи прежде всего устремлялись к малолетней Первой принцессе.

Однажды, когда Удайсё был в доме на Шестой линии, Гэндзи, воспользовавшись случаем, решил выведать, что у него на душе.

— Я слышал, что срок скорби по миясудокоро уже кончился, — говорит он. — Да, вроде бы — вчера-сегодня, и вдруг оказывается — прошло целых три года\*... Мир наш слишком зыбок, слишком печален... Стоит ли цепляться за жизнь, если она подобна росе, упавшей вечером на травы? Я давно уже собираюсь принять постриг, но, увы... Вот и живу, делая вид, будто ничто меня не волнует...

— Так, даже людям, которым, казалось бы, нечем дорожить в этой жизни, бывает трудно отречься от мира, — отвечает Удайсё. — Можете ли вы

вообразить, что я почувствовал, узнав, что подготовкой поминальных служб занимается один правитель Ямато? Увы, отсутствие у женщин надежного покровителя ощущается не столько при жизни, сколько после смерти.

— Наверное, и государь-монах изволил прислать соболезнования? — спрашивает Гэндзи. — Как горюет должно быть Вторая принцесса! В последние годы мне чаще обычного приходилось слышать о покойной мясудокоро, судя по всему, это была весьма достойная особа. Весь мир оплакивает ее. К сожалению, люди, которым следовало бы жить, часто уходят раньше других. Для государя-монаха ее кончина, несомненно, была тяжелым ударом. К тому же Вторую принцессу он всегда любил почти так же, как Третью. Она, должно быть, и собой весьма хороша...

— Мне трудно о том судить... — отвечает Удайсё. — Ее мать истинно обладала многочисленными достоинствами. Не могу сказать, что мы были коротко знакомы, но ее тонкий вкус проявлялся в любых, самых незначительных мелочах...

Таким образом, ему удалось довольно ловко уйти от разговора о принцессе. «Нелепо предостерегать человека, который и сам все понимает, — подумал Гэндзи. — Стоит ли докучать ему советами, которыми он и не подумает воспользоваться?» И он не стал ничего говорить.

Удайсё принимал большое участие в подготовке поминальных служб. Разумеется, слухи об этом сразу же распространились по миру и достигли ушей Вышедшего в отставку министра. Он был поражен и, как это ни печально, во всем обвинил принцессу!

Сыновья министра, связанные с покойной мясудокоро давними узами, тоже присутствовали на молебнах, а сам министр прислал роскошные дары для монахов. Люди соперничали друг с другом в щедрости, и поминальные дни были отмечены таким великолепием, что казалось, будто скончался кто-то из самых влиятельных сановников.

Принцесса решила навсегда остаться в Оно, но кто-то сообщил об этом государю-монаху, и он воспротивился.

— Вы ни в коем случае не должны этого делать, — заявил он. — То, что позволительно простой женщине, не подобает дочери Государя. Она не вправе произвольно располагать своей участью, связывая себя с тем или иным человеком. Однако женщине, не имеющей надежного покровителя, не следует отворачиваться от мира, ибо это может иметь обратные последствия. Вы и оглянуться не успеете, как впадете в заблуждение, ваше имя подхватит молва, и в конце концов вы окажетесь опозоренной в глазах всего света, погубите свое благополучие в этом мире и воздвигнете непреодолимые преграды на своем будущем пути. Вскоре после моего отречения от мира в монашеское платье облачилась ваша младшая сестра. У людей может создаться впечатление, что род наш угасает. Я понимаю, что все это не должно волновать человека, разорвавшего связи с миром, но мне больно смотреть, как мои дети стремятся опередить друг друга в своем неприятии мирского. О нет, тот, кто спешит отвернуться от мира потому лишь, что жизнь стала ему тягостна и ненавистна, редко обретает душевный покой, скорее наоборот. Прошу вас, не торопитесь, обдумайте все как следует, и тогда...

Судя по всему, государь-монах слышал, о чем судачили люди, и тревожился, понимая, что они не преминут приписать уныние принцессы и ее

стремление к уединению обманутым надеждам. Вместе с тем открытое признание ее связи с Удайсё казалось ему не достойным ее высокого положения. Однако, жалея дочь, государь не решался заговорить с ней об этом. «К чему еще и мне вмешиваться?» — думал он.

Удайсё тоже одолевала сомнения. «До сих пор все старания убедить принцессу были тщетны. Скорее всего сломить ее сопротивление будет нелегко. Не лучше ли предать их союз огласке, заявив, что он был заключен с ведома миясудокоро? Пожалуй, ничего другого не остается. Разумеется, это бросает тень на память покойной, но иначе не удастся ввести людей в заблуждение относительно того, когда и как возникла эта связь. Нелепо же начинать все сначала, домогаться ее любви, проливать слезы...» Итак, назначив день переезда принцессы в дом на Первой линии, Удайсё призвал к себе правителя Ямато и, отдав необходимые распоряжения, сам занялся приведением в порядок дома, который после смерти Гон-дайнагона совсем обветшал и зарос бурьяном. Усилиями Удайсё усадьбе было возвращено прежнее великолепие. Особое внимание он уделил внутреннему убранству покоев, не забыв ни о стенных занавесах, ни о ширмах, ни о сиденьях. Предполагалось, что все это будет подготовлено в доме правителя Ямато.

В назначенный день Удайсё, приехав в дом на Первой линии, выслал за принцессой кареты и свиту.

Принцесса отказывалась ехать, но дамы настаивали. Их поддержал правитель Ямато.

— Я больше не могу во всем следовать вашей воле, — сказал он. — До сих пор, видя, в каком бедственном состоянии вы оказались, я старался делать для вас все, что в моих силах. Но дела вынуждают меня уехать в провинцию. Я очень беспокоюсь за вас, не имея никого, кто мог бы взять на себя уход за вашим домом, и безмерно признателен господину Удайсё за любезное внимание ко всем вашим нуждам. Я хорошо понимаю, что такое положение не совместимо с вашим высоким званием, но ведь дочерям государей иногда приходится мириться с гораздо худшими обстоятельствами, и тому есть немало примеров в прошлом. Нелепо думать, что о вас будут злословить больше, чем о других. Ваше поведение неразумно. Женщина не может сама о себе заботиться, какого бы твердого и решительного нрава она ни была. Вы проявите куда больше благоразумия и мудрости, ежели примете помощь от человека, готового окружить вас почтительнейшими заботами. Боюсь, что никто из вас, — сказал он, относясь к Сакон и Косёсё, — не говорил о том госпоже. Хотя с вас-то, наверное, все и началось.

Дамы, все как одна, настаивали на переезде, и принцесса принуждена была уступить. Почти лишившись чувств, она позволила переодеть себя в новое, яркое платье и расчесать себе волосы, с которыми так упорно стремилась расстаться. Они немного поредили, но длинной по-прежнему были в шесть сяку и показались дамам очень красивыми. Но сама принцесса была иного мнения. «Как я подурнела! — думала она. — Могу ли я показаться кому-то сейчас? Что за несчастная у меня судьба!» Тут силы окончательно изменили ей, и она опустилась на ложе.

— Мы опаздываем! — заволновались дамы. — Вот-вот стемнеет.

Тут, брызжа холодным дождем, налетел торопливый ветер. Все располагало к печали.

«Хотела бы я,  
Смешавшись с дымом, исчезнуть  
Над горной вершиной,  
А не клониться к тому,  
О ком и не помышляла...»

Втайне она по-прежнему подумывала о постриге, но прислужницы не спускали с нее глаз, предусмотрительно спрятав все, что хоть сколько-нибудь напоминало ножницы. «Зря они так волнуются, — думала принцесса. — Мне совершенно все равно, что станет со мной, но я не настолько глупа, чтобы тайком менять обличье. Мне вовсе не хочется прослыть своенравной».

И она не стала осуществлять давнишнее свое желание. Дамы поспешно готовились к переезду. Очень многое — гребни и шпильки, шкатулки, китайские ларцы, мешочки с каким-то безделицами — отправили в столицу заранее. Остаться одной в опустевшем доме было невозможно, и принцесса, обливаясь слезами, села в карету. Не в силах оторвать глаз от незнамого места рядом, она вспоминала, как ехала сюда вместе с матерью, как та, преодолевая боль, привела в порядок ее волосы и помогла выйти из кареты. Неизъяснимая тоска сжала сердце, и свет померк перед глазами. Меч-талisman и ларец с сутрами всегда были при ней...

«Неизбывна тоска,  
Даже этот памятный дар  
Ее не рассеет,  
На ларец драгоценный взгляну,  
И темнеет в глазах от слез...»

Принцесса заказала для сутр черный ларец, но он еще не был готов. Пришлось уложить свитки в инкрустированный перламутром ларец, ранее принадлежавший мясудокору. Сначала он предназначался в дар кому-то из монахов, но потом принцесса решила оставить его себе на память. Теперь ей казалось, что она — рыбак Урасима...\*

Дом на Первой линии трудно было узнать. Повсюду царил радостное оживление, по саду сновали нарядно одетые люди. Когда карету подвели к галерее, у принцессы возникло неприятное ощущение, будто ее привезли в какое-то совершенно чужое место, и она долго отказывалась выходить. Дамы растерялись: «Ну можно ли? Как неразумно!»

Удайсё приготовил для себя южные покои Восточного флигеля, и вид у него был такой, словно он обосновался здесь надолго.

А в доме на Третьей линии дамы не могли прийти в себя от изумления:

— Кто бы мог подумать?

— Когда же это произошло?

Благоразумный, не обнаруживающий склонности к легкомысленным утехам человек, и вдруг — такая неожиданность! Дамам ничего не оставалось, как заключить, что их господин все это время держал союз с принцессой в тайне. Разумеется, никто и вообразить себе не мог, что сама принцесса еще не дала своего согласия. Да, уж если кто и был достоин жалости, так это принцесса.

Поскольку срок скорби еще не кончился, об обычных обрядах не может быть и речи. Такое начало не предвещает ничего хорошего. Однако, когда с вечерним угощением было покончено и в доме стало тихо, Удайсё прошел в покои принцессы и принялся упрашивать Косёсё пустить его.

— Если вы в самом деле имеете определенные намерения, подождите еще дня два-три, — отвечает Косёсё. — Возвращение домой не принесло госпоже облегчения, скорее напротив. Она лежит не двигаясь, словно жизнь уже покинула ее. Наши увещевания ей явно неприятны, а нам ни в коем случае не хотелось бы навлекать на себя ее гнев. Вы и представить себе не можете, в каком я затруднении.

— Невероятно! Неужели она настолько неразумна, что не понимает...

Снова и снова Удайсё пытался объяснить, что, если удастся осуществить его замысел, они сумеют избежать пересудов.

— О нет, прошу вас! — вызывает Косёсё, молитвенно сложив руки. — Меня настолько беспокоит состояние госпожи, что я не в силах думать о другом. Боюсь, как бы и с ней не случилось непоправимого. Умоляю вас, воздержитесь от необдуманных действий.

— Право, со мной никогда еще не случалось ничего подобного, — отвечает раздосадованный Удайсё. — Ваша госпожа относится ко мне с такой неприязнью, будто в мире нет человека хуже меня. Неужели никто не может нас рассудить?

Косёсё становится его жаль.

— Как видно, у вас действительно опыта маловато, раз с вами никогда не случалось ничего подобного, — улыбается она. — Не убеждена, что судьи, коль скоро мы их найдем, решат дело в вашу пользу...

Косёсё держится весьма уверенно, но может ли она помешать ему? Отодвинув ее, Удайсё проходит за занавеси и устремляется туда, где, по его мнению, находится принцесса. Нетрудно себе представить ее ужас! Возмущенная его настойчивостью, чувствуя себя оскорбленной, обманутой, принцесса решается пренебречь мнением дам — пусть думают что хотят! — и, устроив себе место в маленькой кладовой, запирается там. Увы, надолго ли? Хуже всего, что и дамы, словно лишившись рассудка...

Удайсё тоже чувствует себя обиженным, но, рассудив, что в конце концов все равно добьется своего, решает набраться терпения и устраивается неподалеку, словно горный фазан\*. О том о сем размышляя, он с трудом дожидается рассвета. Но и утро не приносит никаких перемен. Скорее всего ему так и придется сидеть перед закрытой дверью. Удайсё решает уехать.

— Приоткройте же хоть чуть-чуть... — молит он, но принцесса не отзывается.

— Как не сетовать мне  
На судьбу? Тоска бесконечна.  
Длится зимняя ночь,  
А на заставе заперты  
Каменные ворота...

О, как вы жестоки! — И он выходит, роняя слезы.

Приехав на Шестую линию, Удайсё ложится отдохнуть.

— В доме Вышедшего в отставку министра поговаривают о том, что вы перевезли Вторую принцессу в столицу, — простодушно говорит ему обительница Восточных покоев. — Что бы это могло значить?

Она сидит за занавесями, но ему видны смутные очертания ее фигуры.

— О да, именно о таких предметах люди говорят охотнее всего! — улыбаясь, отвечает Удайсё. — Дело в том, что покойная мясудокоро, в свое время решительно отвергавшая мои искательства, перед смертью сама пожелала, чтобы я заботился о принцессе. То ли у нее не было больше сил сопротивляться, то ли она слишком беспокоилась, не имея рядом человека, которому могла бы верить судьбу единственной дочери. Так или иначе, она обратилась ко мне, и я согласился, тем более что и сам об этом подумывал. А люди, как видно, поспешили истолковать мое поведение в дурную сторону. Они ведь готовы злословить по любому поводу... Сама принцесса полна решимости отказаться от мира и стать монахиней, и я не уверен... К тому же по миру наверняка пойдут пересуды. Разумеется, если она решится принять постриг, это снимет с нее все подозрения, но мне не хотелось бы нарушать обещания, данного ее покойной матери, потому-то я и принимаю в принцессе такое участие. Надеюсь, что вы при случае объясните это отцу. Иначе он может посчитать, что мне просто изменила обычная сдержанность. И все же поразительно, сколь мало значат в этой области человеческих отношений советы других людей и собственные желания...

— Вот, оказывается, в чем дело... А я-то думала, что все это лишь досужие толки. Безусловно, ничего необыкновенного в этом нет, но мне жаль нашу милую госпожу с Третьей линии. До сих пор она не знала волнений подобного рода...

— Не слишком ли вы снисходительны к этой «милой» госпоже? Порою она ведет себя как злобный демон. Но почему вы думаете, что теперь я начну от нее отдаляться? Простите мне мою дерзость, но разве ваша собственная жизнь не убеждает вас в существовании иных возможностей? Я уверен, что в конечном счете преимущество всегда остается за женщинами кроткими и мягкосердечными. Особа властная, злонравная может подчинить себе мужа лишь ненадолго. До поры до времени он будет терпеть ее выходки, но когда-нибудь обязательно возмутится. Они начнут ссориться, и каждая новая ссора будет отдалять их друг от друга. Я знаю, сколь велики добродетели госпожи Весенних покоев. Такие, как она, редко встречаются в мире. Но я не могу не отдать должного и вашей доброте, которой цену знаю теперь вполне.

— Когда вы вот так ставите меня кому-то в пример, — улыбается женщина, — мои недостатки становятся еще более заметными. Но вот что забавно: господин наш, забывая о том, что всем хорошо известны его собственные слабости, всегда принимает близко к сердцу даже самые незначительные ваши увлечения и почитает своим долгом поучать вас или же в ваше отсутствие обсуждать ваше поведение с другими. Воистину человек проникательный не проникает самого себя...

— О, как это верно. Отец любит предостерегать от опасностей, грозящих человеку именно на этой стезе, — соглашается Удайсё, подумав: «а ведь и правда, какие прекрасные слова». — Хотя, как мне кажется, я и без его мудрых наставлений веду себя осторожно.

Он проходит в покои отца. Разумеется, до Гэндзи тоже дошли кое-какие слухи, но он — к чему показывать свою осведомленность? — лишь молча смотрит на сына, который никогда прежде не казался ему таким красивым, не налюбуешься. И позволь он себе предаться влечению чувств, кто осудит его? И демоны, и боги простят ему любое заблуждение, предстань он перед ними во всем блеске молодости и красоты. К тому же Удайсё далеко не юнец, ничего в этом мире не смыслящий, а зрелый муж, безукоризненный во всех отношениях. И разве нельзя простить ему такой безделицы? «Какая женщина устоит перед ним? Мудрено не возгордиться, глядя на такое лицо в зеркало». Да, хоть это и его собственный сын...

Солнце стояло высоко, когда Удайсё добрался наконец до дома на Третьей линии. Как только он вошел, к нему бросились, ласкаясь, его прелестные сыновья. Госпожа лежала в опочивальне и даже не повернулась, когда он зашел за занавеси. Она явно чувствовала себя оскорбленной, он же, хотя и понимал, что основания обижаться у нее есть, предпочел вести себя так, будто за ним нет никакой вины, и, решительно подойдя к супруге, приподнял прикрывавшее ее платье.

— Знаете ли вы, где находитесь? — неожиданно спрашивает она. — Я давно уже умерла. Вы всегда звали меня злым демоном, вот я и подумала — раз так, почему бы мне и в самом деле им не стать... Какая, в сущности, разница?

— Так, душою вы демон, даже хуже, — беззаботно отвечает Удайсё, — но наружность у этого демона весьма привлекательная. И вряд ли я решусь когда-нибудь расстаться с ним...

— Вы слишком хороши собой, и привычки у вас утонченные, боюсь, что такая супруга, как я, вам не подходит, — говорит госпожа, еще больше рассердившись. — Но я постараюсь исчезнуть. Надеюсь, вы сумеете забыть... Жаль, что я не додумалась до этого раньше.

Она поднимается с ложа и стоит, гневно на него глядя. Лицо ее порозовело, и это очень ее красит.

— Этот демон все сердится на меня, словно дитя неразумное, — улыбается Удайсё. — Но я уже привык и не боюсь. Пожалуй, я предпочел бы даже, чтобы он был более грозным...

— Для чего говорить вздор? Не лучше ли молча умереть? Я тоже умру. Вы мне отвратительны. Не желаю больше ни видеть вас, ни слышать. Вот только неприятно умирать, оставляя вас в этом мире.

Право же, она прелестна!

— Если вы не желаете меня видеть, — ласково усмехнувшись, отвечает Удайсё, — я не стану докучать вам своим присутствием. Труднее сделать так, чтобы вы ничего не слышали обо мне. Впрочем, может быть, вы просто хотели напомнить о наших клятвах? Ведь мы и в самом деле клялись вместе уйти к желтым истокам?\* Не так ли?

Он употреблял все усилия, чтобы смягчить ее сердце, а как госпожа при всех своих недостатках была по-детски доверчива и простодушна, то позволила ему убедить себя, хотя в глубине души и понимала, что его уверения не вполне искренни. Он жалел ее, но сердце его было далеко.

«Принцесса тоже не производит впечатление женщины решительной и своевольной, — думал Удайсё. — Однако, если союз со мной ей не по душе, и она будет упорствовать в намерении стать монахиней, я могу оказаться



в глупом положении». Ему очень не хотелось надолго оставлять принцессу одну, и, видя, что день постепенно склоняется к вечеру, он не находил себе места от беспокойства. Поняв же, что письма от нее не будет и сегодня, совсем приуныл.

Госпожа, у которой несколько дней кряду ни росинки во рту не было, согласилась немного поест.

— Мне невольно вспоминаются те времена, — говорит Удайсё, — когда я страдал от любви к вам и когда ваш отец столь жестоко пренебрегал моими чувствами. Вы не поверите, сколько насмешек обрушилось тогда на мою голову! Но я вытерпел даже то, что казалось бы, невозможно было вытерпеть. Я отверг все предложения, а ведь их было немало. Люди осуждали меня. «Даже женщине нельзя быть такой разборчивой», — говорили они. Теперь я и сам не понимаю... Право, в юные годы мало кто бывает столь постоянен в своих привязанностях. Возможно, я и виноват перед вами, но ведь у нас полным-полно детей, разве можно забывать о них? Нет, мы не имеем права расставаться, даже если у вас вдруг возникнет такое желание. Но пождитте, и вы сами убедитесь... Как ни изменчива жизнь...

Говоря, он время от времени принимается плакать. Госпоже тоже вспоминаются былые дни. «Каким трогательным был наш союз! Редко кто бывает так счастлив в супружестве. О да, наши судьбы были связаны задолго до того, как появились мы в этом мире!»

Сбросив мятое, старое платье, Удайсё облачается в другое, яркое, нарядное, и старательно пропитывает его благовониями. Принарядившись же, собирается уходить, а госпожа смотрит на его освещенную огнем светильника фигуру, и слезы неудержимым потоком струятся у нее по щекам. Подтянув к себе за рукав сброшенное супругом платье, она тихонько произносит:

— Брошена,  
Как ненужная старая вещь.  
Но чем роптать,  
Не лучше ли, платье сменив,  
Стать рыбачкой острова Сосен?

О да, боюсь, что не смогу больше жить в прежнем обличье...

Услыхав ее слова, Удайсё останавливается.

— Для чего вы так говорите?

Люди станут судачить:  
Рыбачке с острова Сосен  
Старое платье  
Надоело, вот и решила  
Одежду она сменить...

Ничего более значительного он не сумел придумать, ибо очень спешил.

Приехав на Первую линию, Удайсё обнаружил, что принцесса все еще скрывается в своем убежище, а дамы, собравшись, уговаривают ее выйти.

— Будьте благоразумны, ведь не можете же вы оставаться там вечно? — зывают они. — Неужели вы хотите, чтобы над вами смеялись? Почему бы вам не выйти и не объясниться с господином Удайсё?

Принцесса понимает, сколь справедливы их упреки, но слишком велика ее неприязнь к Удайсё, ибо именно в нем видит она причину и нынешних горестей своих, и будущего позора. Поэтому она снова отказывается встретиться с ним.

— Я в растерянности... — сокрушается Удайсё. — Такого со мной еще не бывало...

Право, трудно не пожалеть его.

— Госпожа говорит, что встретится с вами, как только немного оправится, — передают ему дамы. — Разумеется, если вы не забудете ее до того времени. Но она не хочет, чтобы ее беспокоили, пока не кончился срок скорби. Госпоже чрезвычайно неприятно, что в мире распространяются дурные слухи. Столь широкая огласка кажется ей оскорбительной.

— О, вашей госпоже нечего волноваться, я ведь не то что другие. Но, право, можно ли было предвидеть... — вздыхает Удайсё. — Когда б она согласилась перейти в свой покой и поговорить со мной... Пусть меж нами поставят занавес, я не возражаю. Поверьте, я ни единым словом, ни единым движением не оскорбил бы ее чувств. Высказать ей свою душу — о большем я не мечтаю. О, я согласен ждать долгие, долгие годы...

Но, увы, мольбы его напрасны. Вот что передает ему принцесса:

— Мысли мои и без того расстроены, не усугубляйте же моего смятения. Уверю вас, вы просите невозможного. Вы не представляете себе, в какое отчаяние повергают меня все эти пересуды... Неужели вы настолько жестоки?..

Судя по всему, сердце ее ничуть не смягчилось, и она твердо решила держать его в отдалении. Но как долго это может продолжаться? В конце концов слух о том просочится наружу... Удайсё начинает казаться, что и дамы смотрят на него с осуждением.

— Я готов выполнить желание вашей госпожи, — говорит он, — и не докучать ей более своим присутствием, но разве не лучше нам поддерживать хотя бы видимость супружеских отношений? Иначе мое положение в доме будет весьма двусмысленным. Если же я прекращу свои посещения, имя ее будет окончательно опорочено. Но вашей госпоже, как видно, не доступны доводы здравого смысла. Что ж, нельзя не пожалеть ее...

Могла ли Косёсё не согласиться с Удайсё? Несомненно, он заслуживал лучшего обращения.

Она потихоньку впустила его через северную дверцу, которой обычно пользовались прислужницы. Принцесса была вне себя от возмущения. «Как же они посмели! — негодовала она. — Впрочем, наверное, все люди таковы, и неизвестно, какие новые беды ждут меня в будущем.» Увы, ей оставалось лишь сетовать на судьбу и сокрушаться о том, что рядом с ней не осталось ни одного надежного человека.

Между тем Удайсё, призвав на помощь все свое красноречие и находчивость, пытался преподать принцессе основы житейской мудрости. Он то шутил, пытаясь ее развеселить, то взывал к ее чувствительности, но, увы, тщетно...

— Боюсь, что вы слишком дурного обо мне мнения, — говорит он наконец, видя, что ему не удастся умиловить принцессу. — О, теперь я и сам проклинаю тот миг, когда позволил себе предаться несбыточной мечте. Но, увы, ничего уже не изменишь. Разве ваша непреклонность поможет вам

сохранить доброе имя? Не лучше ли примириться с обстоятельствами? Говорят, разочарование иногда бросает человека в объятия смерти. Но, быть может, вы согласились бы предпочесть мои объятия?

Принцесса сидит перед ним, прикрыв голову краем нижнего платья, непреклонность же ее проявляется только в том, что она громко плачет. Робкая и беспомощная она внушает невольную жалость.

«Но почему? — сетует раздосадованный Удайсё. — Почему я так противен ей? Любая женщина, даже самая непреклонная, давно уступила бы. Она же бесчувственна, как дерево или камень\*, и невозможно смягчить ее сердце. Не значит ли это, что наши судьбы никак не связаны? Говорят, бывает и такое».

Однако Удайсё поспешно отгоняет эту мысль — слишком уж она ему не по душе. Его мысли невольно обращаются к госпоже с Третьей линии. Как ей должно быть одиноко теперь! Он вспоминает, как простодушно отвечала она на его чувство, как счастлива и безмятежна была в супружестве, как безгранично доверяла ему... Теперь же всему этому пришел конец, и ему некого винить, кроме самого себя! Печаль сжимает ему сердце, и, перестав утешать принцессу, он сидит до самого рассвета, молча вздыхая.

Глупо было каждый раз приезжать и уезжать, оставаясь ни с чем, да и окружающим это могло показаться странным, поэтому Удайсё весь следующий день провел в спокойной праздности в доме на Первой линии. Возмущенная настойчивостью гостя, принцесса старалась держаться как можно дальше от него, и Удайсё то досадовал: «Что за глупое упрямство», то умилялся.

В маленькой кладовой не было почти ничего, кроме нескольких шкафчиков и китайских ларцов с благовониями. Отодвинув их в сторону, дамы на освободившемся пространстве, разумеется, весьма ограниченном, устроили ложе для своей госпожи.

Комнатка темная, но по утрам сюда проникают солнечные лучи, и Удайсё, не преминув воспользоваться этим обстоятельством, откидывает платье, под которым лежит принцесса, и, приподняв ее спутанные волосы, заглядывает ей в лицо.

Что-то необыкновенно мягкое, женственное сквозит в ее тонких, благородных чертах. А уж Удайсё так красив, что никакими словами не опишешь, — простое домашнее платье идет к нему куда больше, чем роскошный парадный наряд.

Хорошо помня, что даже ее покойный супруг, не отличавшийся особенной красотой, позволял себе весьма пренебрежительно отзываться о ее наружности, принцесса сторает со стыда. «За последнее время я так побледнела и осунулась. Сумею ли я хотя бы ненадолго привязать к себе господина Удайсё?» Так или иначе, поразмыслив немного, она берет себя в руки. Хуже всего, что люди, которых мнением она дорожит, услышав обо всем с чужих слов, непременно осудят ее, а что она может сказать в свое оправдание? Да и время теперь самое неблагоприятное... Словом, примириться с создавшимся положением довольно трудно.

Воду для умывания и утренний рис дамы подают в покои принцессы. Траурное убранство может послужить в такой день дурным предзнаменованием, поэтому с восточной стороны ставят ширмы, а со стороны внутренних покоев — скромные светло-коричневые переносные занавесы и двой-

ные шкафчики из аквиларии. Обо всем заранее позаботился правитель Ямато. Дамы, прислуживающие при утренней трапезе, чтобы не так бросались в глаза их траурные одежды, накидывают желтые, алые, темно-лиловые, зеленовато-серые, а также светло-сиреневые и желтовато-зеленые платья неярких оттенков.

В последнее время в доме на Первой линии жили одни женщины, и хозяйство без должного надзора пришло в упадок. Лишь правитель Ямато присматривал за немногими оставшимися слугами, стараясь по мере сил поддерживать порядок в доме. Но едва разнесся слух, что столь высокий гость удостоил вниманием это старое жилище, служители, давно уже пренебрегавшие своими обязанностями, поспешили занять места в помещении домашней управы и, изображая крайнее усердие, принялись за дела.

Нетрудно себе представить, какие сомнения терзали душу госпожи с Третьей линии, пока Удайсё с таким упорством старался утвердиться в доме Второй принцессы. Иногда ей представлялось, что все кончено, иногда в сердце вновь вспыхивала надежда: «Полно, да может ли быть...» «Ах, видно не зря говорят, что благоразумные люди коли отдаются страсти, то безоглядно, — думала она, — это поистине так». Ей казалось, что она испытала сполна все горести супружеской жизни. «Не хочу подвергать себя дальнейшим оскорблениям», — подумала госпожа и поспешила переехать в дом отца под тем предлогом, что ей предписана перемена места\*.

Нёго Кокидэн тоже жила в те дни в отчем доме, и, находя утешение в ее обществе, госпожа вопреки обыкновению не спешила возвращаться домой.

Разумеется, нашлись люди, которые сообщили обо всем Удайсё. «Этого и следовало ожидать, — подумал он. — Или я не знаю вспыльчивого нрава госпожи? Вот и отец ее до сих пор строптив и своенравен, хотя, казалось бы, в его годы... Боюсь, что гнев их будет неукротим и скорее всего они не захотят ни видеть меня, ни слышать...»

Встревоженный Удайсё отправился в дом на Третьей линии. Там он обнаружил старших сыновей, девочек же и младших госпожа забрала с собой. Обрадовавшись, дети бросились к отцу. Однако многие плакали и звали мать. Душераздирающее зрелище!

Удайсё осыпал супругу письмами, посылал за ней гонцов, но она даже не отвечала. «Что за глупое упрямство», — рассердился он и, дождавшись сумерек, отправился к ней сам. Важно было узнать, как отнесся к случившемуся министр.

В покоях, которые обычно занимает госпожа, он обнаружил прислуживающих ей дам и детей с кормилицами. Сама госпожа, как ему сообщили, находится в главном доме. Он тут же отправляет к ней даму, чтобы сказала ей следующее:

— По-моему, вы уже вышли из возраста, когда легкомысленное забвение всех законов, всех правил приличия можно считать простительным. Вы разбросали повсюду детей своих и находите удовольствие в досужих беседах. Что вам в них? Я давно понял, что вы с вашим нравом мне не пара, но, видя в нашем союзе свое предопределение, не решался покинуть вас. Теперь же мы обременены многочисленным потомством, и до сих пор я был спокоен, полагая, что жалость к детям не позволит нам пренебрегать друг другом. Неужели стоило поднимать такой шум из-за сущей безделицы?

— Я знаю, что давно надоела вам, — отвечает госпожа. — Но себя не переделаешь... Так зачем?... Могу ли я надеяться хотя бы на то, что вы не оставите бедных крошек? О, я была бы чрезвычайно вам признательна...

— Весьма любезный ответ. Но подумайте, чье имя подхватит скорее молва? (347)

И, более не настаивая на возвращении супруги, Удайсё проводит ночь в одиночестве.

«Ну и времена настали, оказался между двух огней! — думал он, лежа рядом с детьми. — Ведь и та теперь в таком смятении...» Представляя себя уныло поникшую принцессу, он не находил себе места от тревоги.

«Не понимаю, кому это может нравиться?» — вздыхал он, чувствуя, что ему более чем довольно и первого опыта.

Наконец настает утро. Удайсё предпринимает еще одну попытку вразумить супругу:

— Неужели вы не боитесь огласки? Что ж, если вы полны решимости разорвать наш союз, давайте попробуем. Но подумайте о детях, оставшихся в доме на Третьей линии, они плачут, зовут вас. Или вам их не жаль? Подозреваю, впрочем, что вы недаром разделили их именно таким образом. Но я не считаю для себя возможным расстаться ни с теми, ни с другими. Я буду по-прежнему заботиться обо всех.

Угрозы Удайсё настораживают госпожу. «А что, если он увезет куда-нибудь младших детей?» — пугается она, а как и сама склонна к необдуманным действиям...

— Прошу вас отпустить со мной хотя бы девочек, — снова обращается к ней Удайсё. — Здесь я не могу бывать часто. Дети должны быть вместе, иначе мне трудно будет окружить их должными попечениями.

Затем, с жалостью глядя на прелестных малюток, говорит:

— Не слушайте того, что вам будет говорить матушка. Она рассердилась на меня и не желает ничего понимать. Дурно, не правда ли?

Услыхав о случившемся, министр встревожился, понимая, что теперь его дочь может стать предметом насмешек и оскорблений.

— Почему вы хотя бы немного не подождали? — пеняет он ей. — Скорее всего у вашего супруга есть причины вести себя именно так, а не иначе. Вы слишком своевольны, а это женщине не к лицу. Разве вы не понимаете, что сами даете повод к сплетням? Ну да ладно, коль скоро вы встали на этот путь, глупо сразу же идти на попятную. Что ж, посмотрим, как он себя поведет...

И министр с Куродо-но сёсё отправляет Второй принцессе письмо.

«Нас с тобою судьба,  
Как видно, связала крепко.  
Вот и опять  
Я о тебе помышляю  
То с жалостью, то с укоризной...»

Надеюсь, Вы не забудете нас и теперь...»

Куроодо-но сёсё, не церемонясь, проходит прямо в дом. Его проводят на галерею южных покоев, где нарочно для него приготовлено соломенное сиденье. Дамы с трудом скрывают смущение. Надобно ли сказывать, в каком замешательстве сама принцесса?

Куродо-но сёсё один из самых милостивых сыновей министра, да и манеры у него весьма изящные. Он сидит, неторопливо озираясь и, судя по всему, вспоминая о прошлом.

— О, как все мне знакомо здесь! — говорит он, вздыхая. — Я чувствую себя совсем как дома. Впрочем, не думаю, чтобы вам это нравилось.

Только этот намек он и позволяет себе.

У принцессы нет никакого желания отвечать на письмо.

— Я не стану писать, — заявляет она.

— Но это неучтиво! — теряются дамы. — В ваши годы нельзя так пренебрегать приличиями. Даже письмо, написанное посредником, может быть воспринято как оскорбление. А уж если вы вовсе не ответите...

«Ах, когда бы матушка была жива! — вздыхает принцесса, и глаза ее увлажняются. — С какой нежной снисходительностью скрывала бы она мои недостатки, даже если бы и не одобряла моего поведения».

Слезы падали на бумагу прежде, чем ложилась на нее тушь, и она не могла писать. В конце концов она начертила первое, что пришло ей в голову:

«Право, зачем  
О столь ничтожной особе  
Тебе помышлять,  
Упрекать ее за жестокость,  
Печалиться вместе с ней?»

Не добавив к песне ни слова, она свернула письмо и отдала его. Тем временем Куродо-но сёсё беседовал с дамами.

— Я бываю у вас так часто, что вправе рассчитывать на более теплый прием, — многозначительно говорил он. — К тому же теперь по некоторым причинам я буду заходить к вам еще чаще. Надеюсь, мне позволят входить и во внутренние покои. Должна же быть вознаграждена моя многолетняя преданность...

С этими словами он вышел.

Получив письмо министра, принцесса пришла в еще более дурное расположение духа, и Удайсё совершенно потерял покой, так что у госпожи с Третьей линии с каждым днем становилась все больше причин для беспокойства. Слух о том очень скоро дошел до То-найси-но сукэ. «Госпожа не хотела мириться даже с моим существованием, — подумала она, — а ведь с особой столь высокого звания ей нельзя будет не считаться...» Она и раньше иногда писала к ней, а потому:

«О своей ли судьбе  
Стану я, ничтожная, плакать?  
Нет, о тебе  
Я грущу, и мои рукава  
Уже промокли до нитки...»

Как ни уязвлено было ее самолюбие, госпожа все-таки решила откликнуться — отчасти потому, что в те дни было ей как-то особенно грустно и тоскливо, отчасти потому, что письмо бывшей соперницы принесло ей некоторое удовлетворение, ибо трудно было не заметить сквозившей в нем тревоги...

«Раньше  
На чужие страдания глядела  
С сердечным участием...  
Ах, тогда я еще не знала  
Что станут жалеть и меня...» —

написала она. Могло ли столь чистосердечное признание не тронуть То-найси-но сукэ?

То-найси-но сукэ была единственной, кого удостоил своим вниманием Удайсё, когда его разлучили с дочерью Вышедшего в отставку министра. Однако, соединившись наконец со своей первой возлюбленной, он постепенно охладел ко второй и стал бывать у нее весьма редко, что, впрочем, не помешало им иметь детей.

Госпожа Северных покоев родила Удайсё четырех сыновей: Первого, Третьего, Четвертого и Шестого — и четырех дочерей: Первую, Вторую, Четвертую и Пятую.

То-найси-но сукэ родила двух дочерей: Третью и Шестую — и сыновей: Второго и Пятого.

Все двенадцать детей до единого были хороши собой и обнаруживали незаурядные дарования. И все же особенной миловидностью и умом отличались дети То-найси-но сукэ. Третья дочь и Второй сын воспитывались у госпожи Восточных покоев из дома на Шестой линии и пользовались особым расположением Гэндзи.

Право, трудно описать все сложности, с которыми пришлось столкнуться Удайсё.





---

## ВЕЛИКИЙ ЗАКОН

### Основные персонажи

**Гэндзи**, 51 год

**Госпожа Мурасаки**, 43 года — супруга Гэндзи

**Госпожа Акаси**, 42 года — возлюбленная Гэндзи,  
мать императрицы Акаси

**Государыня-супруга** (императрица Акаси), 23 года —  
дочь Гэндзи и госпожи Акаси, супруга императора Киндзё

**Третий принц** (принц Ниоу), 5 лет — сын императрицы Акаси  
и императора Киндзё, внук Гэндзи

**Удайсё** (Югири) — сын Гэндзи и Аои

**Вышедший в отставку министр** (То-но тюдзё) — брат  
первой супруги Гэндзи, Аои

**Государыня-супруга из дворца Рэйдзэй** (Акиконому), 42 года —  
дочь Родкузё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, приемная дочь  
Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

ГОСПОЖА МУРАСАКИ так и не сумела оправиться после тяжелой болезни, едва не пресекшей ее жизнь. Немало лет прошло с того дня, но она по-прежнему испытывала какое-то неопределенное недомогание. Не столь, казалось бы, и опасный, недуг исподволь подтачивал ее силы, она слабела с каждым днем, и скоро стало ясно, что конец близок. Гэндзи был в отчаянии. Невыносимая тоска овладевала им при мысли, что ему суждено пережить ее. Сама госпожа сожалела лишь о том, что своим уходом причинит невольную боль тому, с кем связана долгими годами супружества. Других причин дорожить жизнью у нее не было: она жила счастливо и не оставляла в этом мире никого, о ком думы стали бы преградой на ее будущем пути.

Устремляясь душой в грядущие миры, множество благих дел совершала она, и по-прежнему самым большим ее жела-



нием было посвятить служению Будде хотя бы немногие оставшиеся дни. Но Гэндзи не давал своего согласия. Правда, иногда, видя, с каким упорством стремится госпожа разорвать связи с миром, он думал — коль скоро я давно уже о том помышляю, почему бы нам вместе не вступить на путь? — но ведь, однажды покинув это временное жилище, он никогда не позволил бы себе оглянуться. Когда-то они поклялись, что возродятся в едином лотосе, и, на эту клятву уповая, прожили вместе долгие годы. Но Гэндзи задумал: коли оба они встанут на путь Учения, то станут жить розно, никогда не встречаясь, и даже если найдут себе пристанище в одних и тех же горах, неприступные вершины будут разделять их жилища. Между тем госпожа слабела, становилась все более беспомощной, так мог ли он оставить ее? Самые чистые горные воды вряд ли очистили бы тогда его душу... А пока он пребывал в нерешительности, многие опередили его. И пусть лишь случайный порыв привел их на этот путь...

Действовать вопреки желанию супруга, госпожа не хотела, почитая подобное своеволие недостойным. Пожалуй, это было единственным, за что она могла бы его упрекнуть. Вместе с тем она тревожилась: «Уж не в том ли причина, что слишком велико бремя, отягощающее мою собственную душу?..»

Когда-то госпожа дала обет — тысячу раз переписав сутру Лотоса, поднести ее в дар Будде. Недавно переписка была завершена, и в доме на Второй линии, который госпожа считала своим, состоялась церемония подношения.

Для Семи служителей\* были шиты великолепные наряды, радующие взоры яркостью красок и изяществом покроя. Да и все остальное производило чрезвычайно внушительное впечатление. Пожелав обойтись без широкой огласки, госпожа держала свои приготовления в тайне, и, хотя ей были не известны все тонкости, проявила столь редкую для женщины осведомленность в буддийских обрядах, что Гэндзи был поражен: «Право же, для нее нет ничего невозможного!» Он взял на себя лишь общую подготовку церемонии.

Выбор музыкантов и танцоров был поручен Удайсё. Государь, принц Весенних покоев, обе Государыни\*, обитательницы дома на Шестой линии прислали вознаграждения и дары. Дом на Второй линии оказался завален ими, а как в приготовлениях к церемонии так или иначе участвовали еще и все знатнейшие семейства столицы, зрелище получилось куда великолепнее, чем можно было ожидать. И когда только госпожа успела обо всем позаботиться? Видимо, речь и в самом деле шла о каких-то давних обетах.

В тот день в дом на Второй линии приехали госпожа Акаси, госпожа Ханатирусато и прочие особы. Сама госпожа Мурасаки располагалась в западном покое главного дома, юго-восточная дверь которого была нарочно открыта. Гости же разместились в северных передних покоях, отгородившись друг от друга перегородками.

Позади Десятый день Третьей луны, вишни в полном цвету, небо безмятежно сияет — наверное, так и выглядит земля будды Амида. Право, даже люди, не особенно глубоко проникшие в тайны Учения, могут рассчитывать на избавление от бремени прегрешений.

Громкие голоса монахов, возносящих хвалу Собирателю хвороста\*, проникают до самой глубины души. Затем все стихает, но и в тишине этой есть

что-то необыкновенно трогательное, особенно для госпожи, которая в последние дни склонна по любому поводу предаваться печали. С Третьим принцем она отправляет письмо госпоже Акаси:

«Жизнью своей  
Не дорожу давно я,  
И все ж не могу  
Спокойно думать о том,  
Что иссякает хворост...»\*

Побоявшись, что слишком грустный ответ будет позже истолкован как свидетельство ее душевной нечуткости, госпожа Акаси отвечает неопределенно:

«К собиранию хвороста  
Ты лишь приступаешь сегодня,  
Еще долгие годы  
Тебе предстоит уповать  
На Великий Закон...»

Всю ночь не смолкает барабан, вторя торжественным голосам монахов. Но вот небо светлеет, и «сквозь прогалы в густом тумане» (349) взорам собравшихся предстают пышно расцветшие вишни, множа число приверженцев весны; птичий щебет заглушает голоса флейт. Кажется, ничего прекраснее, ничего трогательнее и быть не может. А тут еще начинается танец «Князь Лин-ван», и, когда танцор под громкие звуки музыки исполняет заключительные па, гости сбрасывают яркие верхние платья, чтобы поднести ему. Восхитительное зрелище!

Замечательные музыканты, которых так немало среди принцев и сановников, улаживают слух собравшихся чудесной музыкой. И высшие, и низшие предаются безудержному веселью, а госпожа, знающая, сколь близок крайний срок ее жизни, смотрит на них с умилением и печалью во взоре.

Оттого ли, что весь день госпоже пришлось провести на ногах, или по какой другой причине, но только на следующее утро она уже не смогла встать. «Должно быть, в последний раз вижу я эти знакомые лица, слушаю звуки флейт и кото», — думает она, с умилением вглядываясь даже в тех людей, которые раньше никогда не привлекали ее взора. А как тяжело расставаться ей с теми, с кем делила она радости летних и зимних утех, с кем часто музицировала вместе! Пусть даже сердце ее подчас и воспламенялось ревностью... Разумеется, и им скоро предстоит отправиться в этот последний, неведомый, путь, но как же грустно, что она должна уйти первой!

Но вот, все положенные службы заканчиваются, и гости начинают разъезжаться. Госпожа чувствует, что расстанется с ними навсегда, и мучительная тоска сжимает ее сердце. Госпоже Ханатирусато она посылает:

«Вот-вот оборвется  
Моя жизнь, но верю — сегодня  
Великий закон  
Нас связал, и узы меж нами  
Никогда не порвутся».

Та же отвечает:

«Знаю: судьба  
Нас с тобой навсегда связала,  
Пусть даже мне  
В этом мире недолго осталось  
Почитать Великий Закон...»

За церемонией подношения даров последовали и другие, не менее значительные: непрерывное чтение сутр, очистительные моления. Скоро они стали проводиться в доме ежедневно, ибо обычные оградительные службы не приносили большой облегчения. Одновременно заказывались молебны в разных храмах.

Настало лето, и, хотя жара стояла вполне обычная, госпожа лежала в постоянном забытии. Вроде бы и не страдая от какого-то определенного страшного недуга, и не испытывая особых мучений, она просто слабела день ото дня. «Что станет с нею?» — спрашивали себя дамы, и от страшного предчувствия свет мерк у них перед глазами. «Как жаль ее, и как все это печально!» — вздыхали они, на нее глядя.

Узнав, что состояние больной ухудшается, на Вторую линию пожаловала Государыня-супруга. Предполагалось разместить ее в Восточном флигеле, но и в главном доме все было подготовлено для встречи. Церемония высочайшего посещения ничем не отличалась от предыдущих, но на этот раз многое взволновало и растрогало госпожу. «Как жаль, что я не увижу, как дети Государыни станут взрослыми...» — вздыхала она и сердце ее печально сжималось.

Когда придворные, представляясь, называли себя\*, она внимательно прислушивалась к их голосам, невольно отмечая знакомые. Государыне сопутствовали высшие сановники. Госпожа долго беседовала со своей бывшей воспитанницей, которую давно не видела. Пока они разговаривали, входит Гэндзи.

— Боюсь, что этой ночью я буду чувствовать себя изгнанной из родного гнезда птиц, — сетует он. — Весьма неприятное чувство. Что ж, пойду прилягу, не хочу мешать вам...

И он удаляется в свои покои. Он так рад, что госпожа наконец поднялась, но увы сколь быстротечна эта радость...

— Как жаль, что наши покои не рядом, — говорит Государыня. — Мне будет неловко просить вас приходить ко мне. А находиться при вас мне теперь невозможно...

Узнав о том, что Государыня изволила на некоторое время задержаться в главном доме, туда приходит госпожа Акаси, и они долго беседуют втроем, поверяя друг другу самое сокровенное. Много передумала за последние дни госпожа Мурасаки, но она слишком мудра, чтобы говорить о том времени, когда ее не будет. Она лишь сетует на непостоянство мира, речь ее спокойна, сдержанна, но полна глубокого значения. Такая печаль проглядывает во всем ее облике, что, пожалуй, в словах нет и нужды.

— Так хочется увидеть их взрослыми, — вздыхает госпожа, глядя на маленьких принцев и принцесс. — Пожалуй, это единственное, что заставляет меня сожалеть о разлуке с миром.

По ее лицу, по-прежнему прекрасному, текут слезы.

«Ах, для чего она думает об этом?» — огорчается Государыня и тоже плачет.

— Да, кстати, могу ли я надеяться, — говорит госпожа, — что, когда меня не будет, вы возьмете под свое покровительство моих дам? Они долго служили в нашем доме, а как надежной опоры в жизни у них нет, их будущее внушает мне беспокойство.

Понимая, что не к добру теперь затевать такой разговор, она упоминает об этом вскользь, словно случайно вспомнив.

Пора приступать к чтению сутр\*, и Государыня удаляется в свои покои.

Однажды, когда госпоже стало немного легче, она подозвала к себе Третьего принца, выделявшегося среди братьев особой миловидностью и живостью нрава. Улучив миг, когда рядом никого не было, она, усадив его перед собой, спрашивает:

— Будешь ли ты вспоминать обо мне, когда меня не станет?

— Я буду скучать. Я люблю вас больше всех, больше Государя и больше Государыни. Мне будет без вас очень плохо.

Мальчик трет глаза, стараясь не плакать. Он так хорош, что госпожа Мурасаки невольно улыбается сквозь слезы.

— Когда ты вырастешь, ты будешь жить в этом доме. Видишь, в саду перед флигелем растут красная слива и вишня? Каждый раз, когда они будут цвести, приходи сюда любоваться цветами. Не забывай также подносить их Будде, — наставляет госпожа принца, а он, глядя на нее во все глаза, согласно кивает головой, потом поспешно вскакивает и убегает, чтобы она не видела его слез.

Этот принц и Первая принцесса с младенчества находились на попечении госпожи, и ей было горько думать, что она не увидит их взрослыми.

Наконец наступила долгожданная осень и принесла с собой прохладу. Госпоже стало как будто немного лучше, но что ни говори, а и прохлада может послужить причиной... Осенний ветер еще не «пронзает до самых глубин души» (350), но слишком часто на рукава ложится роса.

Государыня-супруга готовилась к возвращению во Дворец, и, как ни хотелось госпоже сказать: «Побудьте со мной еще немного», она боялась показаться навязчивой и всеведущей, да и неловко было — Государь то и дело присылал гонцов, поэтому она промолчала. Она не могла даже дойти до Восточного флигеля, и Государыня изволила сама пожаловать в покои больной. Как ни велико было смущение госпожи, она не могла отказать от удовольствия видеть Государыню и постаралась принять ее как можно достойнее. За время болезни она очень похудела, но это нисколько не повредило ей, скорее напротив: какое-то особое благородство появилось в ее прекрасных чертах. В молодости госпожа была красива яркой, влекущей красотой, ее хотелось сравнить с самыми благоуханными цветами мира. Теперь же в ее облике сквозило что-то необыкновенно утонченное. Чувствовалось, что она прозрела тщету мирских упований и обрела смирение, которое придавало ей неизъяснимое очарование и возбуждало невольное участие в сердцах окружающих.

К вечеру подул сильный ветер. Пожелав полюбоваться садом, госпожа с трудом поднялась с ложа и села, прислонившись к скамеечке-подлокотнику. Как раз в это время в покои вошел Гэндзи.

— Какое счастье, что вы наконец встали! — говорит он. — Приезд Государыни явно пошел вам на пользу.

Так, его радуют даже самые незначительные признакам улучшения, и сердце госпожи разрывается от жалости. «Как же он будет горевать, когда...»

— Век их так краток:  
Блеском порадуят взор  
И тотчас исчезнут,  
Стоит лишь ветру подуть —  
Росинки на листьях хаги...

Увы, вечер выдался и в самом деле нестерпимо печальный, наводящий на горестные размышления: цветы трепещут под порывами ветра, росе не удается и на миг задержаться на них.

— Тают росинки,  
Стремясь обогнать друг друга.  
Из этого мира  
Хотел бы с тобою вместе  
Уйти — не раньше, не позже. —

отвечает Гэндзи, даже не попытавшись скрыть слезы.

— Ветер осенний  
Не дает росе и на миг  
Задержаться на листьях,  
Но разве одной росе  
Грозит подобная участь? —

произносит Государыня.

Обе женщины так прекрасны, что Гэндзи невольно вздыхает: «О, когда б этот миг длился вечно...» Но, увы, жизнь не подвластна нашим желаниям, и невозможно задержать уходящего...

— А теперь оставьте меня, — просит госпожа. — Кажется, мне опять становится хуже. Не годится показываться вам в столь неприглядном виде...

И она придвигает к себе занавес. Судя по всему, последние силы вдруг покинули ее.

— Но что с вами? — Государыня, обливаясь слезами, склоняется над госпожой и берет ее за руку. Жизнь едва теплится в ней: истинно — словно роса...

Во все монастыри посылают гонцов, чтобы заказать новые молебны. Поскольку нечто подобное уже случалось прежде, Гэндзи, подозревая, что и теперь во всем виноваты злые духи, велит всю ночь напролет произносить в покоях заклинания и читать молитвы, но, увы... Не успел забрезжить рассвет, как госпожи не стало. И какое невероятное стечение обстоятельств — Государыня, не успев уехать, провела всю ночь возле ее смертного ложа!

Надобно ли описывать горе родных и близких? Свет померк перед их глазами, и они блуждали словно в предрассветном сне, забыв, что смерть — неизбежный удел всего живого. Увы, в такие часы мало кто способен сохранять присутствие духа. Прислуживающие госпоже дамы от горя совсем потеряли рассудок. А о Гэндзи и говорить нечего. Мог ли он примириться с этой утратой? Подозвав находившегося поблизости Удайсё, Гэндзи говорит:

— На этот раз госпожа ушла безвозвратно. Я никогда не прощу себе, если хотя бы теперь не исполню ее давнего желания. Многие священнослужители и монахи уже разошлись, но кое-кто остался в доме и может оказаться полезным. Их молитвы не вернули ее в этот мир, но разве нельзя уповать на милость Будды теперь, когда она уже вступила на не ведомую нам дорогу? Распорядитесь, чтобы приготовились к обряду пострижения. Надеюсь, что в доме остались монахи, которые могут взять это на себя?

Несмотря на показное спокойствие, на лице его видны следы душевного волнения, слезы нескончаемым потоком бегут по щекам, и может ли Удайсэ остаться равнодушным к его горю?

— Бывает, что духи нарочно вводят людей в заблуждение, — замечает он. — Возможно, и на этот раз... Если так, то ваше намерение похвально при любом исходе. Человек, принявший постриг даже на один день или на одну ночь, вправе рассчитывать на помощь высших сил. Но коль скоро вы считаете, что госпожа ушла, и ушла бесповоротно, стоит ли менять ее обличье? Вряд ли ее будущее озарится светом, а вот близким будет еще тяжелее. Право, не знаю...

Тем не менее, призвав монахов, которые, остались в доме, дабы служить поминальные молебны в покоях госпожи, Удайсэ дает им соответствующие указания.

Удайсэ никогда не допускал в свое сердце запретных желаний, но с того давнего утра, когда взор его уловил в полумраке прелестные черты госпожи, он мечтал увидеть ее снова или хотя бы услышать издали ее голос... Увы, последнее желание уже неосуществимо, но ее пустую оболочку он еще может увидеть... И если не сегодня, то когда еще...

По щекам его текут слезы, но он и не пытается их скрыть. Вокруг плачут и стонут прислужницы госпожи.

— Тише! Успокойтесь хотя бы на некоторое время, — обращается он к ним и, якобы не расслышав, что говорит ему Гэндзи, приподнимает занавеса.

Небо только начинает светлеть, и в покоях царит полумрак. Приблизив к себе светильник, Гэндзи вглядывается в лицо ушедшей. Какое светлое спокойствие дышит в ее прекрасных чертах! Гэндзи все смотрит на нее и не может насмотреться. Он видит, что Удайсэ приподнял занавес, но чувства его в таком смятении, что ему и в голову не приходит прикрыть госпожу.

— Она совершенно не изменилась, — говорит Гэндзи. — И все же ясно, что это конец.

Он закрывает лицо рукавом. Удайсэ тоже плачет, и слезы застилают ему взор, но, принудив себя успокоиться, он все-таки поднимает глаза. Увы, ему становится еще тяжелее, мучительная тоска сжимает сердце.

Волосы госпожи, небрежно откиннутые назад, рассыпались по полу. Густые, пышные, они красиво блестят, и ни одна спутанная прядь не нарушает их великолепия. Озаренное ярким огнем лицо поражает удивительной близкой, оно словно светится изнутри. Госпожа лежит, безучастная ко всему на свете, и красота ее, ничем не приукрашенная, кажется еще совершеннее, чем при жизни. Несомненно, равных ей нет в мире, и Удайсэ вдруг приходит в голову — а что, если его собственная душа, готовая покинуть тело, найдет себе прибежище в этой прекрасной оболочке? Какая нелепая мысль!

Поскольку у прислуживающих госпоже дам рассудок помрачился от горя, Гэндзи, с большим трудом овладев собой, лично занялся подготовкой обрядов. Ему довелось изведать немало горестей в жизни, но вот так самому вникать во все еще не приходилось, и скорбь его поистине беспримерна.

Погребение было назначено на тот же день. Все в этом печальном мире подчинено определенным правилам, и Гэндзи недолго пришлось утешаться, созерцая «пустую скорлупку цикады» (351).

Церемония отличалась невиданной пышностью: обширная равнина была забита людьми и каретами так, что не оставалось ни клочка свободной земли. Неизъяснимая печаль охватила собравшихся, когда в небо вознесся легкий дымок. Хотя что, собственно, в этом необыкновенного? Таков всеобщий удел...

Гэндзи стоял, поддерживаемый телохранителями. Ему казалось, что земля уходит у него из-под ног. «А ведь такая важная особа...» — сетовали окружающие, на него глядя. Плакали все, даже самые низкие, невежественные простолюдины. Дамам, провожавшим госпожу в последний путь, казалось, что они блуждают по тропам сновидений, они так плакали, что едва не вываливались из карет, и их поддерживали идущие рядом слуги.

Гэндзи вспомнился тот рассвет, когда покинула мир мать Удайсё. Очевидно, тогда он лучше владел собой, — во всяком случае, он хорошо помнил плывущую по небу полную луну. Сегодня же свет мерк в его глазах.

Госпожа скончалась на Четырнадцатый день, теперь был рассвет Пятнадцатого. Поднималось солнце, щедро заливая светом землю, и могла ли утренняя роса укрыться от его лучей? Никогда еще мир не казался Гэндзи таким ненавистным. Надолго ли он задержится здесь? Неужели, пережив такое горе, он не вправе удовлетворить свое давнишнее желание? Но, подумав, что многие охотно припишут его поспешность малодушию, Гэндзи решил еще немного подождать. Неизбывная тоска сжимала его сердце!

Удайсё провел в доме на Второй линии весь срок скорби. Ни на шаг не отходя от сокрушенного горем отца, он употреблял все усилия, чтобы его утешить.

Однажды вечером, когда подул «пронизывающий поля» ветер, мысли Удайсё невольно устремились к прошлому. О, если б можно было вернуть тот давний день, когда в полумраке покоев возникло перед ним прелестное лицо ушедшей! Но тут же вспомнилось ему, как словно во сне вглядывался он в ее безжизненные черты, и сердце его болезненно сжалось. Ему не хотелось, чтобы люди видели его плачущим, поэтому, склонив голову, он тихонько шептал имя будды Амида, и старательно перебирал четки, мешая бусины с каплями, падающими из глаз.

«Вспоминаю с тоской  
И давний осенний вечер,  
И сон предрассветный,  
Увиденный в горький миг  
Последней разлуки..»

Увы, воспоминания были слишком мучительны...

Собрав в доме на Второй линии достопочтенных монахов, Гэндзи повелел им возносить молитвы будде Амиде и читать сутру Лотоса. Все вокруг было исполнено невыразимой печали. Почивал ли Гэндзи или бодрствовал,

слезы струились по его щекам, и окружающие предметы терялись, словно в тумане. В те дни он часто размышлял о собственной жизни. Он всегда отличался от других людей и дарованиями, и красотой, довольно было посмотреть в зеркало, чтобы в этом убедиться. Однако уже в малолетстве пришлось изведать ему немало горестей, словно Будда хотел заставить его понять, сколь безотраден мир, как все в нем зыбко и непродолжительно. Но скрепя сердце он не пошел по указанному пути. И вот обрушилось на него это поистине беспримерное несчастье! Причин для беспокойства больше нет, и ничто не мешает ему посвятить себя служению... «Но могу ли я встать на желанный путь, когда чувства мои в таком смятении?..» Неустанно зывая к Будде, Гэндзи молил даровать ему забвение.

Отовсюду, и прежде всего из Дворца, приходили гонцы с соболезнаваниями, и вряд ли люди заботились лишь о соблюдении приличий. Но Гэндзи оставался безучастным, ибо дела мира, от которого он готов был отречься, уже не волновали его. Вместе с тем ему не хотелось оставаться в памяти людей жалким, малодушным старцем, не способным достойно встретить выпавшее на его долю несчастье и потому поспешившим принять постриг. Да, как ни велико было желание посвятить остаток дней своим служению, он по-прежнему не решался удовлетворить его, и это увеличивало еще более его страдания.

Часто приходили письма и от Вышедшего в отставку министра, сердце которого всегда было открыто к сочувствию. Да и могла ли его не опечалить безвременная кончина столь незаурядной особы?

«А ведь и мать Удайсё скончалась в эту же пору...» — вспомнилось ему как-то тихим вечером, и неизбывная печаль стеснила сердце. — «Увы, многие из тех, кто оплакивал ее тогда, давно покинули мир. В самом деле, раньше или позже...» (326)

Министр взглянул на хмурое небо и, не в силах превозмочь тоски, написал Гэндзи длинное и трогательное письмо. Он передал его через своего сына, Куродо-но сёсё. Кончалось оно так:

«Мнится: ко мне  
Вернулась та давняя осень  
И мои рукава,  
Не успевшие высохнуть,  
Окропила новой росой...»

Так, в тот вечер и Гэндзи невольно вспоминал о прошлом. Мысли его устремлялись к тем далеким осенним дням, и он не успевал вытирать слезы. Почти ничего не видя перед собой, он написал ответ:

«Не знаю какая —  
Старая или новая —  
Обильней роса?  
Ах, верно, осень всегда  
Безнадежно уныла...»

Он не мог открыть министру всего, что чувствовал, ибо хорошо знал, что тот только и ждет случая уличить его в малодушии, поэтому, забоясь прежде всего о том, чтобы письмо произвело приятное впечатление, приписал:

«Чрезвычайно признателен Вам за столь любезное участие...»



Той давней осенью Гэндзи сказал: «Обычай велит, чтобы светлым было мое одеяние скорби...»\* На этот раз его платье темнее...

У людей, отмеченных счастливой судьбой и достигших высокого положения в мире, обычно бывает немало недоброжелателей. Иногда же они сами, кичась своим превосходством, исполненные тщеславия, становятся причиной несчастий других людей. Однако ушедшая госпожа обладала редким умением располагать к себе окружающих. Ее любили все, даже самые низкие слуги. Любое, самое незначительное ее начинание неизменно возбуждало всеобщее восхищение. Она обладала тонким умом и чувствительным сердцем, поэтому даже люди, никак с ней не связанные, проливали теперь слезы, внимая стонам ветра, голосам насекомых. Еще труднее было утешиться тем, кто хоть раз имел счастье ее увидеть. Многие из ее старых, преданных прислужниц, не желая оставаться в этом мире без своей любимой госпожи, приняли постриг и удалились в горы, чтобы там, подальше от мирской суеты, доживать свой век. От государыни из дворца Рэйдзэй беспрестанно приходили трогательные письма. Она писала о том, сколь беспредельна ее печаль:

«Нагоняют тоску  
Луга, уныло поблекшие.  
Не оттого ли  
Так не любила ушедшая  
Эти осенние дни?..

Увы, лишь теперь я поняла, что она была права...»

Безучастный ко всему на свете, Гэндзи тем не менее снова и снова перечитывал это письмо. «Теперь только государыня и способна скрасить мое одиночество, стать утешением дней моих...» — думал он. Не успевая рукавом отирать бегущие по лицу слезы, он никак не мог написать ответ.

«Пусть высоко  
Вознеслась ты, к заоблачным далям,  
Назад оглянись,  
Посмотри на изменчивый мир,  
Где не кончается осень...»

Свернув письмо, Гэндзи долго сидел задумавшись. Его собственное здоровье тоже оставляло желать лучшего, и большую часть времени он проводил в женских покоях, скрываясь от посторонних глаз. Заключившись в молельню, он отдавал дни служению, и лишь немногие близкие прислужницы разделяли его уединение. Когда-то они с госпожой мечтали прожить вместе тысячу лет, но, увы, всякая жизнь имеет предел, и разлука неизбежна. Теперь ничто не мешало ему сосредоточить помыслы на грядущем мире, где станут они росинками на лотосе. Жаль только, что он так дорожил мнением света...

Подготовку поминальных служб, не дождавшись от отца каких бы то ни было указаний, взял на себя Удайсё.

«Может быть сегодня?..» — часто думал Гэндзи, сетуя на собственную нерешительность, но пустые дни сменяли друг друга, и он жил, словно во сне.

Государыня-супруга тоже предавалась скорби, ни на миг не забывая госпожи...



---

## КУДЕСНИК-ДАОС

### Основные персонажи

**Гэндзи**, 52 года

**Принц Хёбукё** (Хотару) — младший брат Гэндзи

**Удайсё** (Югири), 31 год — сын Гэндзи

**Государыня-супруга** (императрица Акаси), 24 года —  
дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Третий принц** (Ниоу), 6 лет — внук Гэндзи, сын императора Киндзё  
и императрицы Акаси

**Третья принцесса, Вступившая на Путь принцесса** (Сан-но мия),  
26 (27) лет — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

**Сын Третьей принцессы** (Каору), 5 лет —  
сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Госпожа Акаси**, 43 года — возлюбленная Гэндзи,  
мать императрицы Акаси

**Обительница Летних покоев** (Ханатирусато) —  
возлюбленная Гэндзи

СИЯНИЕ новой весны озарило мир, а в душе Гэндзи по-прежнему царит беспросветный мрак. Как обычно, в первые дни года многие приходят к нему с поздравлениями, но, сказавшись больным, он никого не принимает и, только когда появляется принц Хёбукё, велит провести его во внутренние покои, дабы встретиться с ним без особых церемоний.

— В доме моем  
Некому больше теперь  
Восхищаться цветами.  
Так для чего же, весна,  
Ты приходишь ко мне? —

говорит он принцу, и тот отвечает, рыдая:

— Желая вдохнуть  
Аромат, цветами оставленный,  
Пришел я сюда.  
Неужели меня считаешь  
Обычным весенним гостем?

Выйдя в сад, принц останавливается под красной сливой. С нежностью глядя на брата, Гэндзи невольно вздыхает: «Да, вряд ли кто-нибудь другой способен оценить...»

Стоит та прекрасная пора, когда цветы только-только начинают раскрываться. Раньше в такие дни в доме Гэндзи звучала музыка, но нынешней весной все иначе.

Дамы, давно прислуживавшие в доме, не снимали темных одеяний. Новый год не принес им облегчения, они плакали и стонали, ни на миг не забывая о своем горе. Единственное их утешение составляли заботы о господине, который не покидал дом на Второй линии даже ради того, чтобы навестить кого-нибудь из близких ему особ. Некоторые из этих дам в былые времена не то чтобы пробуждали в душе Гэндзи глубокие чувства — этого не было, но становились предметом его сердечной склонности и, казалось бы, теперь, когда он коротал одинокие ночи... Однако Гэндзи не отличал никого, и даже прислужницы, остающиеся на ночь в его покоях, помещались в отдалении. Иногда, не в силах сдерживать тоски, Гэндзи беседовал с дамами о прошлом. В его душе с каждым днем оставалось все меньше места для суетных помышлений, и он все чаще вспоминал, как огорчали госпожу его тщетные связи с другими женщинами.

«Для чего я заставлял ее страдать? — думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. — Госпожа все принимала так близко к сердцу — и случайные прихоти, и подлинные увлечения... Она не была злопамятна, тем более что, обладая недюжинным умом и прозорливостью, прекрасно понимала, сколь велика моя любовь к ней, и все же каждое новое свидетельство моего легкомыслия лишало ее уверенности в будущем и повергало в смятение».

Многие дамы прислуживали в доме долгие годы и, разумеется, знали немало. Они рассказывали Гэндзи о том, как грустила и сетовала на судьбу госпожа, когда в дом на Шестой линии переехала Третья принцесса. Пусть она притворялась спокойной и безмятежной, нельзя было не заметить ее душевных мучений и при взгляде на нее печально сжималось сердце... А как ласково госпожа встретила его в то утро после метели, когда он, дожидаясь, пока ему откроют, едва не околел от холода... Только вот рукава ее промокли от слез, и она прятала их, стараясь, чтобы он ни о чем не догадался. Когда, в каком из миров доведется ему снова увидеть ее? Ах, хотя бы во сне...

Всю ночь он не смыкал глаз, когда же рассвело, услышал голоса дам, очевидно, возвращавшихся в свои покои.

— Смотрите, сколько выпало снегу...

Да, совсем как тогда... Но теперь Гэндзи один, и мучительная тоска сжимает его сердце.

— Как я хочу  
 Вместе со снегом растаять,  
 Исчезнуть из мира!  
 Но продолжаю в нем жить...  
 К этому ли стремился? (352)

Омыв руки, Гэндзи пытается обрести забвение в молитвах.

Отобрав еще не прогоревшие угли, прислужницы кладут их в жаровню и ставят ее подле господина. Тюнагон и Тюдзэ стараются развлечь его беседой.

— Нынешней ночью одиночество показалось мне особенно мучительным, — жалуется Гэндзи. — Неужели сердце мое до сих пор не очистилось, и я по-прежнему во власти суетных помышлений?

«А ведь если и я уйду, — невольно думает он, с жалостью глядя на дам, — их жизнь будет вовсе безотрадной...»

В такие дни особенно трудно удержаться от слез, внимая его тихому голосу, произносящему священные слова. В самом деле, могут ли рукава стать запрудой? (353). Да и кто останется равнодушным, денно и ночью видя его печальное лицо?

— Высокое рождение позволило мне прожить свой век, ни в чем не испытывая недостатка, — говорит Гэндзи, — и все же мне всегда казалось, что мало кому на долю выпало столько горестей. Видно, сам Будда определил мне такую судьбу, желая раскрыть глаза мои на печаль и тщету этого мира. Я долго жил, упорствуя в своем неведении, но когда годы мои склонились к закату, на меня обрушилось новое и самое страшное несчастье. Я все изведal сполна — и неотвратимость предопределения, и всевозможные горести. Ничто больше не привязывает меня к миру. И все же страх овладевает мной при мысли о скорой разлуке с вами. За эти дни мы сблизились больше, чем за все предыдущие годы. Да, как ни тщетно все в нашем мире, нелегко от него отказаться...

Он пытается осушить глаза, но слезы катятся по щекам неудержимым потоком, и, глядя на него, дамы тоже начинают плакать. Им хочется сказать, в какое отчаяние повергает их одна мысль о разлуке с ним, но, не в силах выговорить ни слова, они лишь молча рыдают.

Часто в тихие утренние часы после томительного ночного бдения или унылыми вечерами, приходившими на смену мрачным, тоскливым дням, Гэндзи призывал к себе прислужниц, с которыми был особенно близок, и подолгу беседовал с ними.

Даму по прозванию Тюдзэ он знал еще девочкой и, видимо, не раз тайно оказывал ей внимание. Она же, чувствуя себя виноватой перед госпожой, старалась держаться от него в отдалении. Когда же госпожи не стало, Гэндзи, которого сердце уже не волновали прежние желания, вспомнил, что Тюдзэ всегда была ее любимицей, и всем сердцем привязался к ней: она служила ему напоминанием об ушедшей. Видя в этой миловидной, приветливой особе сосну «унаи»\*, он — уж не потому ли, что не была она ему совсем чужой — ценил ее за сметливость, предпочитая ее обществу любому другому.

В те дни Гэндзи встречался только с самыми близкими ему людьми. Навестить его приходили многие важные сановники, с которыми был он

некогда дружен, братья, но он почти никого не принимал. «Разговаривая с кем-то лицом к лицу, надобно сохранять самообладание и сдерживать свои чувства, — думал он, — а я за последнее время настолько ослаб духом, что легко могу допустить какую-нибудь досадную оплошность, которая навлечет на меня насмешки нынешних молодых людей. Мало того, мое имя и потом долго еще будет предметом для пересудов. Несомненно, столь упорное нежелание встречаться с людьми тоже могут расценить как проявление малодушия, и все же... Одно дело — знать о чем-то с чужих слов, и совсем другое — самому быть свидетелем...»

Теперь даже с Удайсё, Гэндзи разговаривал только через занавес. Однако, живя затворником, он вместе с тем не решался разорвать последние связи с миром. «Люди осудят такую поспешность, — думал он. — Следует набраться терпения...» Иногда Гэндзи навещал обитательниц дома на Шестой линии, но стоило ему приехать туда, как дождь слез начинал лить с новой силой, поэтому он бывал там крайне редко.

Тем временем Государыня-супруга вернулась во Дворец, оставив с Гэндзи Третьего принца, дабы скрашивал его одиночество. Мальчик заботливо — «так велела бабушка» — ухаживал за растущей у флигеля красной сливой, и Гэндзи наблюдал за ним с умилением.

Настала Вторая луна, и словно чудесная дымка окутала деревья. Одни сливы были уже в полном цвету, на других только начинали раскрываться бутоны. Однажды, услышав, что в ветвях той самой красной сливы звонко поет соловей, Гэндзи выходит в сад.

— Нет с нами той,  
Что эту сливу сажала,  
Любовалась цветами,  
А соловей прилетел и поет,  
Словно не зная о том... —

тихонько произносит он.

Весна постепенно входила в силу, сад принимал свой обычный вид, но Гэндзи было не до цветов, сердце его не знало покоя, ибо каждая мелочь пробуждала в душе мучительные воспоминания, и ему хотелось одного — укрыться в тех далеких горах, «где даже птиц не слышно» (295). Пышные, яркие керрии, и те не радовали — когда он смотрел на них, рукава его увлажняла роса.

В других садах после того как облетают простые вишни и отцветают махровые, раскрываются цветы на вишнях «кабадакура», а уже после них наступает пора глициний, однако ушедшая госпожа, проникшая душу цветов, велела посадить в своем саду самые разные — и ранние, и поздние — растения, и он всю весну пленяет взоры пышным цветением.

— Вот и моя вишня расцвела, — радуется, выйдя в сад, Третий принц. — Что сделать, чтобы цветы не осыпались? Может, загородить ее со всех сторон занавесями? Тогда ей никакой ветер не страшен.

Он очень горд, что ему пришла в голову столь удачная мысль, и, глядя на его прелестное личико, Гэндзи невольно улыбается:

— Да, пожалуй, это лучше, чем прикрывать рукавом небо (148).

Это дитя — единственное его утешение.



— Нам недолго осталось быть вместе, — говорит Гэндзи, и глаза его увлажняются. — Даже если жизнь моя еще некоторое время продлится, мы принуждены будем расстаться.

— Нельзя так говорить! — сердится мальчик. — Вот и бабушка когда-то...

Потупив глаза, он теребит пальцами край платья, стараясь скрыть слезы. Гэндзи сидит у перил, его рассеянный взгляд скользит по саду, проникает за занавеси... Некоторые дамы до сих пор не сняли одеяния скорби. Другие, хоть и облачились в обычные платья, предпочитают шить их из гладких неярких тканей. На Гэндзи носи цвета, принятого в это время года, но подчеркнуто скромное, без узоров. Убранство покоев отличается строгой простотой. Повсюду царит унылая тишина.

— Время придет,  
И я этот дом покину,  
Но разве тогда  
Запустеет весенний сад,  
Столь милый сердцу ушедшей?..

Да, Гэндзи печалит мысль о расставании с миром, хотя никто ведь не заставляет его...

Однажды, желая немного рассеяться, Гэндзи навестил Вступившую на Путь принцессу. Он взял с собой Третьего принца. Мальчик целыми днями

играл с маленьким сыном принцессы и скоро забыл о цветах, которых судьба так волновала его прежде. Да, дети забывчивы...

Принцесса проводит дни в молельне за чтением сутр. Ее обращение не было следствием глубокого внутреннего убеждения, но жизнь давно уже стала для нее тягостным бременем, и она ни о чем не сожалеет. Мирские дела не волнуют ее более, она живет тихо, неторопливо, отдавая дни служению Будде, и Гэндзи становится завидно. «Даже она опередила меня, — думает он не без досады. — Можно ли было предугадать, что особа, никогда не помышлявшая о возвышенном...»

Цветы перед изображением Будды особенно прекрасны в лучах вечернего солнца.

— Любившей весну уже нет с нами, — говорит Гэндзи, — и цветы потяряли для меня свою прелесть. Только здесь перед Буддой они и хороши. Как пышно цветут керрии у флигеля! Я никогда не видел таких крупных соцветий. благородными эти цветы не назовешь, но их яркость и свежесть невольно трогают сердце. Только зачем они так пышно расцвели в этом году, будто не ведая, что ушла из мира та, что их посадила? (354) Печально, право!

— «Сумрак царит в нашей долине...» (355) — бездумно произносит принцесса.

«Неужели у нее других слов не нашлось?..» — досаждает Гэндзи, и тут же вспоминается ему госпожа. Уж она-то всегда, в любых обстоятельствах говорила именно то, что он хотел от нее услышать. Ни разу за всю свою жизнь не обманула она его ожиданий. А в юные годы? Да, уже тогда она обнаруживала тонкий ум, обширные дарования. Все в ней пленяло — лицо, движения, речи... Он перебирает в памяти разные связанные с ней случаи, и не может сдержать слез. Он стал слишком слезливым в последнее время, и это уручает его.

Вечером, в тот прекрасный час, когда все вокруг тонет в неясной дымке, Гэндзи отправляется к госпоже Акаси.

Он давно уже не заглядывал к ней, и его неожиданное появление приводит ее в замешательство. Однако, быстро овладев собой, она принимает его с благородным изяществом, и Гэндзи в который раз думает, на нее глядя: «И все же на свете мало ей равных».

Впрочем, и теперь он не может удержаться от сравнения: «Ушедшая была совсем другой. Я больше ни в ком не встречал такой тонкой, прекрасной души». Ее пленительный образ с поразительной ясностью представляется его воображению, и сердце сжимается от тоски. «Что утешит меня теперь?» — вздыхает он.

С госпожой Акаси они беседуют о прошлом.

— Я давно понял, что дурно предаваться влечению чувств, — говорит он, — а потому старался не обременять себя привязанностями. Я многое передумал в те годы, когда в глазах всего света был жалким изгнанником, и пришел к заключению, что ничто не мешает мне отречься от мирской суеты и навсегда затеряться среди гор и лугов. С тех пор прошло немало лет, вот уже и жизнь моя близится к концу, а я так и не осуществил своего желания, ибо многое привязывало меня к миру. Увы, я слишком слаб и слишком суетен.

Он не говорит прямо о своей печали, но она догадывается, как ему тяжело, и смотрит на него с жалостью:

— Даже людям, о которых и не пожалеет никто, задумай они принять постриг, трудно порвать нити, незримо связывающие их с миром, — рассудительно отвечает она. — А вам тем более непросто решиться на такой шаг. К тому же излишняя поспешность может показаться людям несовместной с вашим высоким званием, и вы навлечете на себя осуждение молвы. А это будет еще хуже. Мне представляется самым твердым решение, принятое после долгих колебаний. Я слышала, что и в древности люди нередко отрекались от мира либо потому, что не могли оправиться после сильного душевного потрясения, либо потому, что не оправдывались их надежды. Я не вижу в этом ничего достойного. По-моему, вам лучше повременить и ничего не менять в своей жизни до тех пор, пока не вырастут ваши внуки и не упрочится положение Первого принца. Вы бы очень обрадовали и успокоили меня, если бы поступили именно так...

— Все же иногда бывает лучше поддаться внезапному порыву, чем медлить и осторожничать.

Гэндзи долго рассказывал ей о том, что пришлось ему испытать в жизни, какие думы волновали его...

— В ту весну, когда покинула мир прежняя Государыня-супруга, — говорит он между прочим, — я надеялся, что и у цветов есть сердце... (174) Мне приходилось видеть Государыню, когда я был ребенком, и уже тогда меня пленила ее необыкновенная красота. Наверное, поэтому я был так потрясен, узнав о ее кончине. Ведь чувство печали и сострадания не зависит от того, связан ты с человеком особыми узами или нет. Разумеется, трудно примириться с утратой любимой супруги, с которой вместе прожита долгая жизнь, но мое горе велико не только потому, что нас с госпожой связывали супружеские узы. Она была маленькой девочкой, когда я увидел ее впервые, я сам ее воспитал, мы вместе состарились, и вот теперь, на закате дней, я остался один, чтобы оплакивать собственное одиночество и вспоминать об ушедшей. Поверьте, я испытываю страдания, превышающие силы человеческие. К тому же, думы мои о ней невольно соединяются с размышлениями о печальном очаровании вещей, о душевной тонкости, об изысканности, потому-то столь глубока моя скорбь.

До поздней ночи беседовали они о былом и настоящем, и Гэндзи подумал: «А не остаться ли мне здесь до утра?» — но потом отказался от этой мысли. Должно быть, и у госпожи Акаси печально сжималось сердце, когда смотрела она на его удаляющуюся фигуру. Да и сам он не мог не дивиться переменам, в нем происшедшим.

Вернувшись, Гэндзи как всегда долго читал сутры и только за полночь перешел в опочивальню и ненадолго прилег. Наутро он отправил госпоже Акаси письмо такого содержания:

«Слезы роняя,  
Я ушел. Вернуться спешат  
Дикие гуси  
В страну постоянства, его не найти  
В нашем временном мире...» (356)



Вчера женщина, судя по всему, была обижена, но, когда она прочла письмо, сердце ее мучительно сжалось: Гэндзи так переменился, так пал духом, что она забыла о себе и глаза ее увлажнились.

«На полях,  
Куда дикие гуси спускались,  
Иссякла вода.  
Даже цветов, отражавшихся в ней,  
Мы теперь не увидим».

Ее почерк был по-прежнему изыщен.

«А ведь ушедшая никогда не жаловала госпожу Акаси, — вспомнилось Гэндзи. — Правда, с годами меж ними установилось согласие, и они оказывали друг другу неизменное доверие, но очень часто в словах и приемах госпожи Мурасаки проскальзывало что-то принужденное, холодно-учтивое. Впрочем, вряд ли другие это замечали».

Когда Гэндзи становилось особенно тоскливо, он навещал ту или иную из живущих под его покровительством особ, но от его прежних привычек не осталось и следа.

Однажды обитательница Летних покоев прислала ему новое платье, сшитое ко дню Смены одежд.

«Настала пора  
В новое летнее платье  
Нам облачиться.  
Но разве так же легко  
Старые думы сменить?» —

написала она ему, и Гэндзи ответил:

«Летнее платье,  
Крыльев цикады прозрачней,  
Сегодня надел,  
И скорблю еще больше, глядя  
На пустую скорлупку мира...»

Даже в день великого праздника Камо в доме царило уныние. «А ведь сегодня все собираются на праздник, радуясь предстоящим утехам...» — подумал Гэндзи, вообразив празднично-оживленные толпы людей, спешащих к святилищу.

— По-моему, вам не мешает немного развлечься, — говорит он, обращаясь к дамам. — Вы могли бы потихоньку разъехаться по домам и поглядеть на процессию...

Госпожа Тюдзё дремлет в восточных покоях, но, увидев Гэндзи, поднимается. Миниатюрная, миловидная, стоит она перед ним, прикрыв рукавом раскрасневшееся лицо. Густые, чуть растрепавшиеся волосы ниспадают до самого пола. На ней алые с золотистым отливом хакама и желтое нижнее платье, поверх которого наброшено несколько верхних — темно-серых и черных. Платья в беспорядке, а мо и китайская накидка, соскользнув, волочатся по полу. Смутившись, Тюдзё поспешно оправляет на себе одежду.



Рядом с ней лежит веточка мальвы, и, подняв ее, Гэндзи говорит:  
— Что это за растение? Признаться, я успел забыть, как его называют...\*

— Травкою зарос,  
Должно быть, чистый источник  
Приязни твоей,  
Раз забыл, какие цветы  
Сегодня в прическах у всех... —

робко отвечает Тюдзё.

«Увы, она права...» — вздыхает Гэндзи:

— Мирские желанья  
Давно не тревожат душу,  
Но сегодня готов  
Искушенью поддаться снова  
И этот цветок сорвать...

Видимо, только от госпожи Тюдзё он не смог отказаться.

В пору ливней Пятой луны Гэндзи коротал часы, погруженный в глубокую задумчивость, и жизнь казалась ему особенно тягостной. Однажды вечером на Двенадцатый или Тринадцатый день облака внезапно разошлись, открыв взорам светлую луну. В тот прекрасный миг рядом с Гэндзи был Удайсё.

В лунном сиянии белеют цветы померанцев, ветерок приносит их щемяще знакомый аромат, кажется, вот-вот раздастся крик кукушки, такой же, как «тысячу лет назад...» (357). Но еще миг — и небо снова затянулось тучами, хлынул страшный ливень. Внезапный порыв ветра задувает фонари, и становится совсем темно.

— «Печально-печально стучит в окно...»\* — произносит Гэндзи всем известные старые стихи и — может сама обстановка к тому располагает — звучат они так, будто ему хочется, чтобы стук дождя донесся до «ограды у дома любимой...» (358).

— Казалось бы, что особенного — жить одному? — говорит Гэндзи. — И все же тоскливо... Надеюсь, что, удалившись в горную обитель, я сумею к этому привыкнуть, и сердце мое очистится.

— Принесите угощение для гостя, — обращается он к дамам. — Не стоит звать в такой час слуг...

Взор же его не отрывается от неба (331), и сердце Удайсё сжимается от жалости. «Вряд ли молитвы помогут ему очиститься, — приходит ему в голову, — если память об ушедшей не изгладится из его сердца. Но сможет ли он забыть? Я, видевший ее лишь мельком, и то...»

— У меня такое чувство, будто все это случилось совсем недавно — вчера или сегодня, — говорит он, — а ведь скоро уже год, как госпожи нет с нами. Какие молебны вы предполагаете отслужить?

— Вряд ли стоит устраивать что-нибудь особенное. Прежде всего, надобно поднести Будде мандалу земли Вечного блаженства, приготовленную самой госпожой. Кроме того, у нас имеется изрядное количество сутр, переписанных ее рукой. Свою последнюю волю она поведала некоему Содзу. Посоветовавшись с ним, мы сможем сделать кое-какие дополнения к обрядам.

— О, раз госпожа позаботилась обо всем уже при жизни, можно не беспокоиться за ее будущее. Как видно, ей не суждено было задерживаться в этом мире. Но жаль, что она никого не оставила вам в утешение...

— Другим выпала на долю куда более долгая жизнь, но, к моему великому сожалению, и у них детей немного. Так что умножать наш род предстоит тебе.

Гэндзи старался избегать разговоров о прошлом, ибо совершенно пал духом и стыдился своей слабости. Однако, услышав голос долгожданной кукушки, не сумел превозмочь волнения: «Как только она догадалась?» (102)

— Утрату свою  
Я оплакивал ночью, и что же —  
Верно промокнув  
Под обильным дождем моих слез,  
Прилетела кукушка с гор... —

говорит Гэндзи, обращая взор к небесам (331).

— Кукушка, прошу,  
Лети поскорее к ушедшей  
И ей передай —  
В ее старом саду сегодня  
Померанец пышно цветет... —

отвечает Удайсё.

Дамы тоже немало песен сложили в тот вечер, но я их опускаю.

Удайсё остался в покоях Гэндзи на ночь. В последнее время он часто проводил ночи в доме отца, стараясь скрасить его одиночество своим присутствием. Покои ушедшей госпожи, к которым в прежние времена он и приближаться не смел, находились неподалеку, и томительные воспоминания рождались в его душе.

Однажды в жаркий летний день Гэндзи отыскал место попрохладнее и, устроившись там, любитесь садом. Лотосы на пруду в полном цвету, и ему невольно вспоминается: «Неужели так много слез...» (359) Не имея сил двинуться с места, он долго сидит, отдавшись глубокой задумчивости. На закате сад полнится звонким стрекотаньем вечерних сверчков. Цветы гвоздики сияют в последних солнечных лучах... Да, в самом деле, «я ли один...» (340)

Летние дни  
Бесконечно унылы, и слезы  
Не высыхают.  
А в траве, будто мне вторя,  
Тоскливо плачут сверчки... (360)

В воздухе мерцают светлячки, и Гэндзи произносит:  
— «К ночи в сумрачных залах — огни светлячков...»\*

Почему-то в те дни ему чаще всего вспоминались стихи именно такого содержания...

Ночи приход  
Возвещая, огни зажигают  
В саду светлячки.  
Моя же печаль не знает  
Ни дней, ни ночей...

Наступил Седьмой день Седьмой луны\*. Увы, разве так встречали его в прежние годы? Звуки музыки и сегодня не нарушили унылой тишины, царящей в доме. Гэндзи просидел весь день в мрачной задумчивости, и никто не вышел полюбоваться на встречу звезд. Ночь была совсем еще темна, когда Гэндзи поднялся и, подойдя к боковой двери, распахнул ее: сад сверкал от обильной росы.

— Где-то там, в небесах,  
Сегодня встречаются звезды  
За грядой облаков,  
А здесь, в саду расставаний,  
Лежит на травах роса, —

сказал Гэндзи, выйдя наружу.

Осенней порой, когда даже шум ветра располагает к унынию, начали готовиться к поминальным службам, и это немного отвлекло Гэндзи. «Потому-то я до сих пор...» (361, 362, 363) — вздыхал он, а дни между тем текли унылой чередой.

В день поминовения обитатели дома на Шестой линии, как высшие, так и низшие, с утра соблюдали строгий пост, после чего состоялось торже-

ственное поднесение мандалы и прочих даров. Перед вечерними молитвами Тюдзё, как обычно, вошла в покои Гэндзи с водой для омовения рук. Взяв ее веер, он обнаружил на нем такую надпись:

«Тоска по тебе  
Бесконечна, потоками слезы  
Льются из глаз.  
Не пойму, почему этот день  
Называют последним?»

«По ушедшей тоскуя,  
Я подхожу все ближе  
К последнему сроку,  
И только поток моих слез  
По-прежнему бесконечен...» —

приписал он рядом.

Скоро наступила Девятая луна. Увидев на Девятый день на хризантемах в саду клочки ваты\*, Гэндзи сказал:

— Росу с хризантем  
Мы собирали когда-то  
Вместе с тобой,  
Но сегодня она окропила  
Лишь мои рукава... (364)

На Богооставленную луну, как обычно, лили дожди, и Гэндзи печалился, глядя на невыразимо унылое вечернее небо.

— «Всегда моросит...» (83) — сказал он как-то словно про себя.

С завистью провожал он взглядом летящих по небу гусей...

Кудесник-даос,  
Небесные сферы пронзающий,  
Отыщи для меня  
Душу любимой. Даже во сне  
Я не вижу ее теперь...\*

Шли дни и луны, а он все не мог утешиться.

Как-то раз, когда вся столица, охваченная радостным нетерпением, готовилась к празднику Нового урожая, Удайсё привез к Гэндзи двух своих сыновей, которых как раз в тот день представили ко двору. Мальчики были погодками, один милее другого. Их сопровождали дядья То-тюдзё и Куродо-но сёсё, облаченные в великолепные, белые с синими узорами платья оми\*. Возможно, увидев их беззаботные лица, Гэндзи невольно вспомнил один странный случай из своего прошлого...\*

Все спешат во Дворец  
На праздник Обильного света,  
Лишь я этот день  
Коротаю в печали,  
О ярком не ведая солнце.

Итак, терпеливо переждав еще один год, Гэндзи начал наконец готовиться к уходу от мира, и невыразимо печальны были эти приготовления. Предвидя близкую разлуку, он оделил памятными дарами своих домочадцев — каждого сообразно званию и рангу, и, хотя постарался обойтись без особой торжественности: «мол, расстаемся навсегда», близкие ему люди понимали, что он решил наконец осуществить давнишнее свое желание, и, чем меньше времени оставалось до конца года, тем больше они кручинились.

Потому ли, что было «жалко их рвать» (365), или по какой другой причине, но только у Гэндзи сохранилось немало писем, причем многие из них не предназначались для чужих глаз. В те дни он случайно обнаружил их и велел уничтожить. Были здесь и письма, когда-то полученные им в Сума, а среди них — отдельно связанные — письма от госпожи Мурасаки. Когда-то он сам отобрал и связал их. Подумать только, как давно это было! И тем не менее тушь ничуть не поблекла, словно только что легла на бумагу. Так, эти строки могли остаться «памятью верной еще на тысячу лет...» (366). Но, увы, теперь все это не для него... Выбрав двух или трех самых преданных прислужниц, Гэндзи поручил им уничтожить письма в его присутствии.

Невозможно не испытывать сердечного волнения, глядя на знаки, начертанные человеком, давно покинувшим мир, даже если этот человек никак с тобою не связан. А уж в этом случае тем более — свет померк в глазах у Гэндзи, слезы, падая, смешивались с тушью...<sup>\*</sup> Стыдясь перед дамами своего малодушия, он поспешно отодвинул письма в сторону и сказал:

— Ты теперь далеко,  
Перешла через гору Смерти.  
Устремляюсь вослед —  
Но даже следы твои видя,  
Не могу отыскать дорогу...

Дамы не смели разворачивать письма и читать их, но немудрено было догадаться, чьи они, и горе овладело ими с новой силой. Госпожа писала, что не в силах более выносить разлуку, хотя тогда они жили в одном мире и не так уж далеко друг от друга... Теперь ее слова еще более надрывали душу, и ничто не могло остановить безудержный поток слез...

Гэндзи не стал подробно читать письма, опасаясь, что не сумеет справиться с волнением и дамы осудят его за недостойное мужчины малодушие. Взглянув лишь на одно из них, самое длинное, он написал на полях:

«Что толку смотреть  
На травы морские, лежащие  
Грудой на берегу?  
Пусть вознесутся дымом  
Все к той же обители туч...»

После чего велел сжечь письма.

В том году Гэндзи с особым волнением прислушивался к голосам монахов, произносящих имена будд, к звону колец на жезлах. Не потому ли, что думал: «в последний раз...» Молитвы о ниспослании долголетия приводили его в сильнейшее замешательство. Что может подумать Будда, услышав их?

Несколько дней кряду шел снег, и вокруг было белым-бело. После окончания службы Гэндзи призвал к себе монахов и, выставив для них более щедрое, чем обычно, угощение, оделил богатыми дарами. Этих монахов, связанных с его домом и с высочайшим семейством, он знал давно и с грустью смотрел на их побелевшие головы. Как обычно, среди участников церемонии были принцы и высшие сановники.

Ветки сливы, на которых полураспустившиеся бутоны соседствовали со снежными хлопьями, были прекрасны. Казалось бы, подходящее время для музыки и танцев, но в этом году даже в звучании кото и флейт слышались Гэндзи сдавленные рыдания, поэтому решено было ограничиться стихами.

Да, вот еще что: передавая чашу монаху, Гэндзи произнес:

— Продлится ли жизнь  
До весны? Того я не знаю.  
Не лучше ль теперь  
Веткой сливы, белой от снега,  
Украсить прическу свою?

— Пока я молил,  
Чтобы этим цветам ниспослали  
Тысячу весен,  
Мне на плечи года  
Белым снегом легли... —

ответил монах.

Было сложено немало других песен, но я позволю себе их опустить...

В тот день Гэндзи впервые нарушил свое затворничество. Его лицо поражаало редкостной, совершенной красотой. Право же, сегодня он был еще блистательнее, чем в дни своей молодости, но почему-то монах, которому «на плечи года белым снегом легли», не мог сдержать слез.

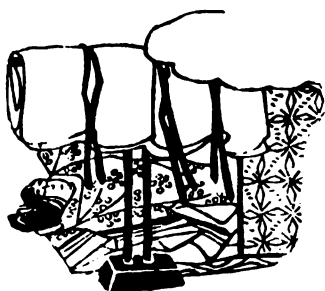
Год близился к концу, и все большее уныние овладевало Гэндзи.

— Пора изгонять злых духов, — волновался Третий принц. — Что мы станем делать, ведь они боятся только очень сильного шума.

«А ведь я и его больше никогда не увижу», — думал Гэндзи, глядя, как он бежит по дому, и мучительная, неизъяснимая тоска сжимала его сердце.

В печальных раздумьях  
Не замечал, как сменяли друг друга  
Дни и луны.  
Ужели сегодня исчерпан  
И год, и мой срок в этом мире? (369)

Никогда еще наступление нового года не отмечалось в его доме с такой пышностью. Говорят, дары, пожалованные принцам и министрам, были так великолепны, что и вообразить невозможно...



---

## СОКРЫТИЕ В ОБЛАКАХ\*







## ПРИНЦ БЛАГОУХАННЫЙ

### Основные персонажи

**Третий принц, принц Хёбукё** (Ниоу-мия), 15–21 год — внук Гэндзи, сын императора Киндзё и императрицы Акаси

**Сын Третьей принцессы, Тюдзё, Гэн-тюдзё, Сайсё-но тюдзё** (Каору), 14–20 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Государь** (император Киндзё) — сын императора Судзаку, преемник императора Рэйдзэй

**Государыня** (императрица Акаси) — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Первая принцесса** — старшая дочь императрицы Акаси, внучка Гэндзи

**Первый принц, принц Весенних покоев** — старший сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Второй принц** — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Правый министр** (Югири), 40–46 лет — сын Гэндзи и Аои

**Дама из Сада, где опадают цветы** (Ханатирусато) — бывшая возлюбленная Гэндзи

**Вступившая на Путь принцесса, Третья принцесса**, 36 (37)–41 (42) года — супруга Гэндзи, дочь императора Судзаку

**Вторая принцесса** (Отиба) — вдова Касиваги, вторая супруга Югири, дочь императора Судзаку

**Госпожа Северных покоев дома на Третьей линии** (Кумои-но кари) — супруга Югири

**Госпожа Акаси**, 52–58 лет — возлюбленная Гэндзи, мать императрицы Акаси

**Государь Рэйдзэй** — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — императора Кирицубо)

**Нёго Кокидэн** — наложница императора Рэйдзэй

**То-найси-но сукэ** — дочь Корэмицу, возлюбленная Югири

ПОСЛЕ ТОГО как сокрылось сияние, мудро было найти человека, сохранившего его ответ. Государь из дворца Рэйдзэй? Но было бы величайшей дерзостью... В мире славилась своей красотой двое: Третий принц, сын нынешнего Государя, и сын Третьей принцессы, выросший в том же доме на Шестой линии. Они истинно превосходили многих, но, увы, красота их была лишена того блеска, который когда-то отличал Гэндзи. Оба обладали прекрасной наружностью и изящными манерами, но оставались при этом вполне обычными людьми. Пожалуй, именно связь с Гэндзи и возвышала их в глазах всего света, во всяком случае, они пользовались в мире влиянием, каким даже сам он не пользовался в юные годы.

Третий принц, любимец госпожи Мурасаки, жил теперь в доме на Второй линии. Высоко было значение при дворе его старшего брата, принца Весенних покоев, и все же никого так не любили и не баловали, как Третьего принца. Государь и Государыня просто души в нем не чаяли. Они не раз предлагали ему поселиться во Дворце, но он предпочитал жить в своем старом доме, где ничто не стесняло его свободы. После церемонии Покрытия главы Третьего принца стали называть принцем Хёбукё.

Первая принцесса поселилась в Восточном флигеле южной части дома на Шестой линии, которую занимала когда-то госпожа Мурасаки. Она не стала менять убранство покоев и днём и ночью оплакивала ушедшую.

Второй принц тоже часто приезжал сюда и жил в главном доме. Во Дворце он занимал Сливовый павильон, супругой же его стала Вторая дочь Правого министра. Считалось, что именно его назначат следующим принцем Весенних покоев, а как он имел к тому же славу человека на редкость благоумного, люди оказывали ему большое почтение.

У Правого министра было много дочерей. Старшая прислуживала в Весенних покоях и успела заслужить исключительную благосклонность принца. Никто не сомневался, что и младшие — каждая в свой черед — станут супругами принцев крови, тем более что это совпадало с намерениями самой Государыни. Однако принц Хёбукё был иного мнения. Он был весьма своенравен и не желал подчиняться чужой воле. Разумеется, Правый министр не настаивал, да и можно ли было предполагать, что всем его дочерям равно удастся занять в мире блестящее положение? Тем не менее он уделял большое внимание их воспитанию, не скрывая, что охотно пойдёт навстречу тому из принцев, кто возымеет желание с ним породниться.

В последнее время основным предметом помыслов и стремлений принцев и высших сановников, каждый из которых лстил себя надеждой на то, что предпочтение будет отдано именно ему, стала Шестая дочь министра.

Обитательницы дома на Шестой линии, обливаясь слезами, разъехались по своим собственным жилищам, где предстояло им доживать свой век. Дама из Сада, где опадают цветы, переехала в доставшуюся ей по наследству Восточную усадьбу. Вступившая на Путь принцесса поселилась во дворце на Третьей линии. Государыня-супруга в последнее время не покидала Дворца, и дом на Шестой линии начал приходить в запустение. «Увы, мне известно немало подобных примеров, — думал Правый министр, обеспокоенный его участью, — любовно выстроенный и наполненный всеми причудами роскоши дом после смерти хозяина неизбежно пустеет, от прежнего его величия не остается и следа. Печально смотреть на это свидетель-

ство непрочности мира и бессмысленности мирских упований. Нет, пока жив, я не дам этому дому прийти в запустение, постараюсь, чтобы не иссякал поток людей на ведущей к нему дороге».

Он перевез в северо-восточную часть дома Вторую принцессу и посещал поочередно то ее, то госпожу Северных покоев дома на Третьей линии, проводя у каждой по пятнадцать дней в луну.

Что касается прекрасно отделанного дома на Второй линии и Весенних покоев дома на Шестой линии — драгоценных хором, о которых слава шла по всему миру, — то они достались в конце концов внукам госпожи Акаси, которая и распоряжалась там, попечительно присматривая за малолетними принцами и принцессами.

Правый министр поддерживал своими заботами всех прежних обитателей дома на Шестой линии, стараясь заменить им Гэндзи и следя за тем, чтобы в их жизни ничего не менялось. «О, если бы госпожа Весенних покоев не покинула нас так рано! — думал он иногда. — Какими угрождениями я окружил бы ее! Увы, она ушла из мира, не подозревая о моей преданности». И мысли его в тоске устремлялись к прошлому.

Вся Поднебесная до сих пор оплакивала Гэндзи. Мир словно погрузился во мрак, люди предавались унынию, и ничто не радовало их. Родные же его и близкие были тем более безутешны. Весь свет опустел для них с тех пор, как его не стало. Госпожу Мурасаки тоже не могли забыть, слишком многое напоминало о ней. Да, не зря кто-то сказал — весенние вишни пленяют всех потому, что век их так краток.

Сын Третьей принцессы, согласно воле Гэндзи, находился под особым покровительством государя Рэйдзэй. Государыня-супруга из дворца Рэйдзэй, не имевшая собственных детей и весьма опечаленная этим обстоятельством, охотно заботилась о нем, принимая живое участие во всем, что его касалось.

Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, во дворце Рэйдзэй был справлен обряд Покрытия главы, а на Вторую луну того же года ему присвоили звание Дзидзю. Осенью он стал Укон-но тюдзё, затем стараниями того же государя Рэйдзэй, имевшего, как видно, свои причины торопиться, был повышен в ранге и получил соответствующее жалованье, обретя таким образом полную независимость.

Юноша поселился во дворце Рэйдзэй, где для него отвели флигель рядом с высочайшими покоями. Государь лично подобрал для его свиты молодых дам, позаботился обо всем, вплоть до девочек-служанок и низшей прислуги. Словом, окружил своего питомца изысканнейшей роскошью, какой не было даже в покоях его дочери. Самые миловидные, изящные и благородные дамы из окружения Государя и Государыни-супруги были отданы ему в услужение, то есть Государь сделал все возможное и невозможное, дабы сын Третьей принцессы жил в его доме в полном довольстве, ни в чем не испытывая недостатка. Он заботился о юноше не меньше, чем о своей любимой дочери, единственной, которую родила ему не́го Кокидэн. Быть может, причиной тому была его умножавшаяся с каждым годом привязанность к Государыне-супруге? Так или иначе, многие недоумевали, не зная, чем объяснить...

Третья принцесса жила тихо и спокойно, не помышляя ни о чем, кроме молитв. Каждую луну возносила она хвалу будде Амиде, дважды в год устраи-

вала Восьмичастные чтения. Дни ее, целиком отданные служению, тянулись однообразно и уныло, лишь посещения сына скрашивали ее тоскливое одиночество. Она искала в нем утешения и опоры, как будто он был ее отцом, а не сыном, и это казалось юноше чрезвычайно трогательным. Пользуясь благосклонностью как правящего, так и ушедшего на покой государей, с детства связанный узами нежной дружбы со всеми принцами, начиная с принца Весенних покоев, сын Третьей принцессы был для многих желанным гостем, и как часто он сетовал, что человек не может разорваться на части, ибо всем угодить было просто невозможно.

Еще в детстве случайно подслушанные разговоры дам заронили в душу его мучительные сомнения, но рядом не было человека, у которого он мог бы спросить... Понимая, сколь неприятно будет матери, если он хоть словом, хоть взглядом намекнет ей на свои подозрения, юноша страдал молча. «Но отчего? — постоянно спрашивал он себя. — Чему обязан я такими терзаниями? Как бы я хотел, подобно принцу Куи\*, открыть истину, сам себя спрашивая и сам себе отвечая...

Блуждаю во тьме.  
Кто поможет ее рассеять?  
Ужель никогда  
Не узнаю, что было началом,  
Каков будет конец пути?»

Но кто мог ответить ему?

Мысли одна другой печальнее теснились в его голове, иногда ему казалось даже, что он занемог и какая-то неведомая болезнь исподволь подтачивает его силы. Жестокое недоумение терзало его душу. Почему Третья принцесса в цветущих летах столь решительно приняла постриг? Что подвигло ее встать на путь учения? Неужели столь велика была ее внутренняя устремленность? Не правильнее ли предположить, что с ней случилась какая-то беда, после чего жизнь сделалась для нее тягостным бременем? Но неужели в мире не знают об этом? Должно быть, речь идет о чем-то столь предосудительном, что никто не осмеливается даже намекнуть... Принцесса отдает молитвам дни и ночи, но удастся ли столь слабой, беспомощной женщине достичь просветления и уподобить сердце свое чистой росе, сверкающей на листе лотоса? Да и так называемые пять преград... \* «Я должен помочь ей обрести покой хотя бы в грядущем... — думал юноша. — Очевидно, тот человек тоже ушел из мира потому, что не смог вынести душевных мук. Как бы я желал встретиться с ним хотя бы в иной жизни!» Он предпочел бы отказаться от обряда Покрытия главы\*, но это было невозможно.

Так он жил, окруженный всеобщей любовью и восхищением, имея все, чего только пожелать можно, но равнодушный к почестям и роскоши, искал лишь тишины и уединения.

Государь, никогда не оставлявший своими попечениями Третью принцессу, благоволил и к ее сыну. Государыня тоже любила юношу, выросшего вместе с ее детьми. Она часто вспоминала, как отец сокрушался, что не придется ему увидеть взрослым дитя, пришедшее в мир на закате его дней, и относилась к нему с нежной заботливостью. Правый министр и тот баловал сына Третьей принцессы едва ли не больше, чем собственных сыновей.



Человек, которого называли Блистательным, хотя и был любимым сыном Государя, имел немало завистников и недоброжелателей, семейство же его матери, занимая слишком незначительное положение в мире, не могло оказывать ему необходимую поддержку. Однако он был умен, великодушен и всегда умел вовремя скрыть свой блеск, дабы не ослеплять людей, потому и удалось ему благополучно пройти сквозь невзгоды, некогда потрясшие Поднебесную. Он старался не опережать событий и никогда не проявлял нетерпения, даже если речь шла о приготовлениях к грядущему.

Сыну Третьей принцессы не чужда была некоторая самонадеянность, не удивительная, впрочем, если вспомнить, с каким восхищением взирали на него люди еще тогда, когда он был ребенком. Казалось, это дитя и в самом деле не предназначено для нашего мира. «Уж не временное ли он воплощение?..» — такая мысль невольно возникала у всякого при взгляде на мальчика. Нельзя сказать, что природа одарила его выдающейся наружностью, но что-то удивительно привлекательное проглядывало в его облике. Вместе с тем чувствовалось, что в душе его сокрыты не ведомые никому глубины, это отличало его от сверстников и заставляло людей держаться в почтительном отдалении.

От тела юноши исходил чудный, неизъяснимый аромат, который при каждом его движении каким-то непостижимым образом распространялся вокруг, пожалуй, дальше даже чем за сто шагов. Разве человек, занимающий

столь высокое положение в мире, станет держаться скромно, не стараясь приукрасить свою наружность? Нет, каждый наверняка сделает все возможное, дабы затмить остальных. А сын Третьей принцессы только безмерно досадовал из-за того, что никуда не мог пробраться незамеченным, ибо чудесный запах сразу же выдавал его. Он не имел обыкновения пропитывать свои платья благовониями, но стоило ткани коснуться его кожи, как самые неуловимые ароматы вроде тех, что таятся в глубине китайских ларцов, приобретали вдруг необычайную силу. Когда же он, проходя, задевал рукавом ветку цветущей сливы, многие рады были подставить платье под падающую вниз росу (370). Даже забытые на осеннем лугу «лиловые шаровары» (371) только выиграли бы, если бы он их сорвал, и его пленительный аромат смешался бы с их собственным.

Этот запах, нередко навлекавший на юношу необоснованные упреки (261), был главным предметом зависти принца Хёбукё, который, не желая отставать от друга, пропитывал платья лучшими благовониями, в утренние же и вечерние часы усердно трудился над составлением ароматов. Весной принц любовался цветущими сливами, а осенью, когда все восхищались «девичьей красотой» и каплями росы, сверкающими на связанных брачными узами с оленем кустах хаги (372, 373), помышлял лишь о «заставляющих забывать о старости» хризантемах (374), блекнувших «лиловых шароварах», неприметных цветах «варэмоко», «я приду» (375). Он не мог оторваться от них до тех пор, пока на засохшие луга не ложился иней. Казалось, ничто другое не волнует его. Многие считали это довольно странной причудой и говорили, что он слишком изнежен, что нельзя постоянно потакать собственным прихотям... Тот, прежний Гэндзи, никогда не позволял себе предаваться с таким увлечением какому-то одному занятию.

Гэн-тюдзё часто заходил к принцу Хёбукё, и они вместе музицировали, стараясь превзойти друг друга. Любая безделица возбуждала в их сердцах дух соперничества, при этом они оставались самыми близкими друзьями. Люди звали их — принц Благоуханный и тюдзё Ароматный. Все благородные отцы семейств, имеющие красивых дочерей, горели желанием породниться с юношами. Принц Хёбукё писал к тем девицам, коих полагал достойными, пытаясь выведать, истинно ли они прекрасны. Но, увы, ни одна не пришлась ему по душе. «Единственная, о ком бы я хотел заботиться, — думал он, — это дочь государя Рэйдзэй. Лучшей супруги я для себя не желаю». Его интерес к принцессе объяснялся тем, что мать ее, нёго Кокидэн, занимая высокое положение в мире, имела славу необыкновенно тонкой и изящной особы, сама же принцесса, как говорила молва, была чрезвычайно хороша собой. Ее хвалили даже посторонние, а уж прислуживающие ей дамы тем более превозносили ее достоинства при каждом удобном случае, так что в конце концов принц Хёбукё, должно быть, совсем потерял голову.

Тюдзё же, презирая мир с его преходящими утехами и понимая, что любая привязанность станет в будущем преградой на его пути, не позволял себе предаваться страстям и воздерживался от общения с особами, способными усложнить его жизнь. Правда, подобное благонравие скорее всего объяснялось тем, что просто еще не нашлось никого, кто затронул бы его сердце. О тайных же похождениях, о которых обычно столь неодобрительно отзываются в мире, он и вовсе не помышлял.

В девятнадцать лет Тюдзё, сохранив за собой прежний чин, был удостоен звания сайсё и получил Третий ранг. Приобретя благосклонность высочайших особ, он, будучи простым подданным, жил, ни в чем себя не стесняя, избалованный общим вниманием, однако тайные сомнения терзали его душу, и он слишком часто предавался печали. Искусительные стремления сердца не имели над ним власти, он никогда не терял самообладания и, не смотря на молодость, слыл в мире человеком степенным, твердого нрава.

Подолгу живя в одном доме с дочерью государя Рэйдзэй, той самой, из-за которой лишился покоя принц Хёбукё, Тюдзё имел немало средств удовлетворить свое любопытство и обнаружил, что принцесса в самом деле была незаурядной особой, обладавшей благородными манерами и безукоризненно тонким вкусом. «Если уж связывать себя брачными узами, то лучшей супруги мне не найти, она всегда будет мне утешением», — думал Тюдзё, однако, питая неизменную доверенность к юноше, государь неукоснительно следил за тем, чтобы тот не приближался к покоям принцессы, и, как ни огорчал Тюдзё подобный запрет, он понимал, что государь прав, и не предпринимал никаких попыток его нарушить. «Легко может стать, что я окажусь не в силах сдержать внезапный сердечный порыв, — думал он, — а последствия будут губительны как для меня, так и для принцессы».

Тюдзё словно рожден был для того, чтобы все им восхищались, ни одна женщина не могла устоять перед ним, довольно было нескольких случайно брошенных слов, чтобы покорить любое сердце, так стоит ли удивляться тому, что, сам того не желая, Тюдзё оказался связанным со многими женщинами? Разумеется, то были случайные связи, которым он не придавал решительно никакого значения и которые старательно скрывал, и все же совершенно бесстрастным он не был, а ведь ничто так легко не воспламеняет воображение женщины, как внешняя невозмутимость, за которой угадывается чувствительная душа. В конце концов во дворце на Третьей линии собралось множество дам, которые горели желанием прислуживать ему. Страдая от его холодности, они вместе с тем готовы были мириться с ней, думая: «Уж лучше так, чем вообще не видеть его». Причем многие из дам, которые жили в доме, полагаясь на столь непрочные узы, имели звание, не позволявшее им быть простыми прислужницами. Как видно, обаяние Тюдзё было настолько велико, что они предпочитали обманывать себя и на многое закрывать глаза единственно ради удовольствия видеть его рядом.

— Пока жива моя мать, — часто думал и говорил Тюдзё, — я буду неусыпно заботиться о ней, стараясь хотя бы таким образом...

Правый министр, имевший многочисленных дочерей, намеревался породниться с этими юношами, но не решался говорить об этом открыто. С одной стороны он понимал, что люди вряд ли одобрительно отнесутся к такому союзу\*, с другой — его снедало беспокойство: «Разве найдешь в мире им равных?»

Шестая дочь министра, рожденная То-найси-но сукэ, выросла такой красавицей, что даже дочерям госпожи с Третьей линии было до нее далеко. Воспитание она получила прекрасное, и, не желая, чтобы в мире отзывались о ней пренебрежительно, Правый министр перевез ее ко Второй принцессе, которая тосковала, не имея никого, о ком попечения скрашивали бы ее одиночество. «Если я покажу ее — не нарочно, а так, при случае — кому-нибудь



из этих юношей, — думал министр, — вряд ли они останутся равнодушными. Как люди понимающие они наверняка оценят ее достоинства».

Он не содержал дочь в строгости, позволив ей жить на современный лад, предаваясь изящным развлечениям, и в покоях ее царило веселое оживление, невольно вводящее в соблазн мужские сердца.

В том году пир после заключительных состязаний в стрельбе из лука решено было провести в доме на Шестой линии. Намереваясь пригласить к себе всех принцев, Правый министр отнесся к приготовлениям с особым вниманием. В назначенный день во Дворце собрались принцы крови, достигшие совершенного возраста.

Сыновья Государыни отличались миловидностью и благородством осанки, но прекраснее всех был принц Хёбукё. Самым невзрачным оказался собравшимся Четвертый принц, иначе именуемый принцем Хитати. И не потому ли, что его матерью была простая кой?

Как обычно, без особого труда победили левые. Состязания закончились раньше, чем предполагалось, и Правый министр, покидая Дворец, пригласил к себе в карету принца Хёбукё, принца Хитати и Пятого принца, сына Государыни. Приметив, что Сайсё-но тюдзё, принадлежавший к потерпевшим поражение, молча пробирается к выходу, министр остановил его.

— Принцы согласились почтить мой дом своим присутствием, — сказал он. — Не желаете сопроводить их?

Сыновья министра — Эмон-но ками, Гон-тюнагон, Удайбэн, — а также многие другие вельможи, приглашенные на празднество, разошлись по каретам и отправились в дом на Шестой линии. От Дворца до Шестой линии довольно далеко, и пока ехали, пошел легкий снежок, сообщая необыкновенное очарование наступающим сумеркам.

Под мелодичные звуки флейт процессия подъехала к дому на Шестой линии. Ах, право, где, в какой земле Вечного блаженства можно отыскать столь же благословенный уголок, радующий душу в любое время года?

Согласно заведенному порядку, в южных передних покоях главного дома лицом к югу садятся тюдзё и сёсё излевой охраны, напротив, лицом к северу, размещаются принцы и сановники. Скоро подают вино, пиршество с каждым мигом становится все оживленнее, когда же танцоры начинают исполнять «Мотомэго», и ветер от взлетающих рукавов разносит повсюду аромат распускающихся слив, как всегда, усиливается благоухание, исходящее от Тюдзё, и дамы, поглядывающие на гостей из-за занавесей, не могут сдерживать восхищения.

— Воистину «быть темной напрасно ты тщишься...» (284).

— Да, аромат слив ни с чем не сравнишь (376).

Министр тоже любит юношей, которого лицо кажется сегодня особенно красивым, а движения — изящными, держится же он со спокойным достоинством, не позволяя себе не малейшей развязности.

— Теперь пусть нам споет Сайсё-но тюдзё, — говорит министр. — Не стоит ему быть таким церемонным...

И юноша не лишенный приятности голосом запекает: «На населенной богами высокой небесной равнине...»\*



---

## КРАСНАЯ СЛИВА

### Основные персонажи

**Адзэти-но дайнагон** (Кобай) — сын То-но тюдзё, брат Касиваги  
**Госпожа Северных покоев в доме Адзэти-но дайнагона**  
(Макибасира) — дочь Хигэкуро (см. т. 1, глава «Кипарисовый столб»)

**Ооикими**, 26 лет — старшая дочь Адзэти-но дайнагона

**Нака-но кими**, 24 года — младшая дочь Адзэти-но дайнагона

**Дочь принца Хёбукё, обительница Восточных покоев** —  
дочь принца Хёбукё (Хотару) и Макибасира

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 25 лет — внук Гэндзи,  
сын императора Киндзё и императрицы Акаси

**Правый министр, Левый министр** (Югири) — сын Гэндзи и Аои  
**Тюнагон** (Каору), 24 года — сын Третьей принцессы и Касиваги

В ТЕ ВРЕМЕНА звание адзэти-но дайнагона имел второй, следующий за покойным Уэмон-но ками сын вышедшего в отставку и вскоре скончавшегося министра. С младенчества обнаруживал он веселый, приветливый нрав и незаурядные дарования, а потому без труда продвигался по службе и, с каждым годом упрочивая влияние свое, достиг довольно высокого положения и приобрел особенную благосклонность Государя.

В доме Адзэти-но дайнагона было две госпожи Северных покоев. Первая давно скончалась, а второй стала дочь предыдущего Великого министра, та самая девица, которой так не хотелось когда-то расставаться с кипарисовым столбом\*. В свое время принц Сикибукё отдал ее в жены принцу Хёбукё, а после того как последний скончался, ее начал тайно посещать Адзэти-но дайнагон, впоследствии решивший, как видно, предать их союз огласке.

Первая супруга оставила Адзэти-но дайнагону двух дочерей. Он долго молил богов и будд даровать ему сына, и

наконец его новая супруга родила мальчика. От принца же Хёбукё у нее была дочь. Адзэти-но дайнагон воспитывал девочек вместе, равно заботясь о них, но, к сожалению, не все прислуживающие им дамы были одинаково мягкосердечны, поэтому поводов для взаимных обид и оскорблений было немало. Впрочем, госпожа Северных покоев, особа весьма современная и обладавшая живым, приветливым нравом, умело улаживала все ссоры и проявляла редкое великодушие, если оказывалась обиженной сама.

Таким образом ей удавалось предупреждать сплетни и пересуды, и в доме, как правило, царили мир и согласие.

Девушки одна за другой приходили в совершенный возраст, и над каждой в свое время был справлен обряд Надевания мо. Нарочно для них построили новый просторный дом на восьми столбах\*. В южных его покоях поместилась старшая дочь Адзэти-но дайнагона, Ооикими, в западных — младшая, Нака-но кими, а в восточных — дочь принца Хёбукё. Участь девушки, оставшейся без отца, невольно возбуждает жалость, но дочери принца Хёбукё можно было лишь позавидовать: получив большое наследство и от отца, и от деда, она жила, ни в чем не испытывая нужды, окруженная изысканной роскошью.

Разумеется, в мире стало известно, с каким рачением воспитывает Адзэти-но дайнагон своих дочерей, и, по мере того как они выросли, многие обращались к нему с предложениями. Даже Государь и принц Весенних покоев изволили намекнуть на свое желание породниться с ним, но Адзэти-но дайнагона одолевали сомнения. В самом деле, при Государе уже была Государыня-супруга, которая вряд ли потерпела бы рядом с собой соперницу. Стоит ли отдавать дочь во Дворец, заранее зная, что ею станут пренебрегать?

В Весенних же покоях прислуживала дочь Правого министра, имевшая исключительное влияние на принца, и соперничать с ней тоже было нелегко. Вместе с тем отступить, не предприняв ни единой попытки... Не воспользоваться столь редкой возможностью, имея дочь, способную затмить многих... Разумно ли это? В конце концов Адзэти-но дайнагон согласился отдать во Дворец свою старшую дочь Ооикими. Ей только что исполнилось семнадцать или восемнадцать лет, и она была красива яркой, свежей красотой.

Младшая дочь, Нака-но кими, тоже была необыкновенно хороша собой. Светлое спокойствие дышало в ее тонких, благородных чертах; право, она едва ли не превосходила старшую. Адзэти-но дайнагон, полагая, что и она заслуживает лучшей участи, чем быть супругой простого подданного, думал: «Вот если бы принц Хёбукё...»

Между тем принц Хёбукё не жалел усилий, чтобы завоевать доверие младшего сына Адзэти-но дайнагона, которого часто встречал во Дворце. Он не упускал случая вовлечь мальчика в разговор, зазывал его к себе, шутил с ним. Отрок сей отличался незаурядной наружностью, позволявшей уже теперь предполагать в нем немалые дарования.

— Передай господину Адзэти-но дайнагону, — как-то сказал ему принц, — что я не прочь познакомиться и с другими членами его семейства.

Узнав об этом, Адзэти-но дайнагон довольно улынулся: «Ведь не зря...»

— Я предпочел бы отдать дочь этому принцу, — сказал он, — чем отпускать ее на службу во Дворец, где она скорей всего не сумеет выдви-

нуться. Благо тому, кто получит такого зятя. Глядя на него, словно и сам молодеешь.

Впрочем, пока мысли Адзэти-но дайнагона целиком были заняты предстоящей церемонией вступления в Весенние покои старшей дочери. Он тешил себя надеждой, что хотя бы теперь исполнится обет, данный когда-то богами Касуга\*, и обретет покой душа его отца, до самой смерти своей не забывшего обиды, нанесенной его старшей дочери.

Итак, Адзэти-но дайнагон отдал дочь в Весенние покои, и скоро дошел до него слух, что она заняла там не последнее место. Госпожа Северных покоев: «Нельзя оставлять без присмотра совсем еще неопытную девицу», — рассудив, тоже переехала во Дворец и сосредоточила на Ооикими все свои попечения.

В доме Адзэти-но дайнагона стало тоскливо. Нака-но кими скучала по старшей сестре, с которой ранее не разлучалась.

Дочь принца Хёбукё никогда не стремилась держаться в отдалении от своих сводных сестер. Девушки часто проводили вместе ночи, вместе обучались разным искусствам, вместе предавались всевозможным забавам. Причем дочери Адзэти-но дайнагона привыкли почитать дочь принца своей наставницей. Девушка отличалась необычайной, можно сказать, болезненной застенчивостью и даже матери редко показывала свое лицо. Вместе с тем замкнутой ее назвать тоже было нельзя. Напротив, в характере ее было немало привлекательного, выгодно отличавшего ее от других.

Чувствуя себя виноватой перед падчерицей за ту поспешность, с которой он устраивал дела родных дочерей, Адзэти-но дайнагон как-то предложил супруге:

— Постарайтесь сговорить вашу дочь с каким-нибудь достойным человеком, я сделаю для нее все, что сделал бы для собственной дочери.

— Мне кажется, она еще не задумывается о таких вещах, — отвечала мать. — Если мы будем настаивать, это скорее огорчит ее, чем обрадует. Пусть будет так, как ей определено судьбой. Пока я жива, она ни в чем не будет нуждаться. Но вот когда меня не станет... Ах, сердце сжимается при одной мысли о том, что ждет ее в будущем! Возможно, она отречется от мира и таким образом ей удастся избежать насмешек и оскорблений. — Тут она заплакала и стала превозносить совершенства дочери, чем возбудила невольное любопытство в душе Адзэти-но дайнагона. Он заботился о дочери принца совершенно так же, как и о родных своих дочерях, и ему вдруг стало обидно, что она прячется от него. Он то и дело заходил в ее покои — может потихоньку удастся увидеть ее? — но ему не удалось разглядеть даже краешка ее платья.

— Меня обижает ваше недоверие, — говорит он однажды, усевшись перед занавесями. — Госпожи нет дома, и я почитаю своим долгом навещать вас вместо нее.

Она что-то тихо отвечает, и Адзэти-но дайнагон очарован: мелодичный голос позволяет предположить, что и наружность ее столь же изысканно благородна.

«Я всегда гордился своими дочерьми, полагая, что мало кто может сравниться с ними, — думает он. — Но до дочери принца им далеко. Да, потому-то и бывает так трудно выдвинуться, когда попадаешь на службу во дворец,

где собирается весь свет. Каждый считает, что красивее его дочери нет, но всегда находится особа, которая оказывается еще прекраснее». И Адзэти-но дайнагону еще больше захотелось увидеть девушку.

— В последнее время я был слишком занят, — говорит он, — и давно не имел удовольствия слышать вашу игру на бива. Обитательница Западных покоев равнодушна к этому инструменту, и я думаю, ей удастся овладеть им, но, к сожалению, игра на бива способна улаживать слух лишь тогда, когда исполнение совершенно. Не согласились бы вы позаниматься с ней? Сам я никогда ничему не учился, но в далекие времена моей молодости, когда музыка была в таком почете, мне приходилось иногда принимать участие в музицированиях, поэтому совсем несведущим меня не назовешь. Во всяком случае, я всегда могу отличить хорошую игру от посредственной. Вы редко играете просто так, в свое удовольствие, но звуки бива, которые время от времени доносятся до моего слуха, невольно напоминают мне о прошлом. Из ныне живущих музыкантов я отдаю предпочтение Левому министру, который унаследовал мастерство покойного господина с Шестой линии. Тюнагон и принц Хёбукё тоже ни в чем не уступают древним. Оба они люди исключительной судьбы и необыкновенных дарований, к тому же и тот и другой имеют особую склонность к музыке. Все же позволю себе заметить, что до Левого министра им далеко. Я бы сказал, что их игре недостает уверенности. А вот вы играете не хуже самого министра. Обычно главным условием хорошей игры на бива считается легкость и плавность движений левой руки, прижимающей струны, но разве менее важна правая рука? Ведь перемещение подставок тоже влечет за собой изменение окраски звучания, а женщины умеют делать это особенно тонко и изящно. Может быть, вы все-таки согласитесь сыграть мне? Эй, кто там, принесите бива...

Прислужницы редко прячутся от Адзэти-но дайнагона. Но прислуживающая дочери принца молодая дама, видимо, довольно высокого ранга, не желая показываться ему, своевольно остается в глубине покоев.

— Вот уж не ожидал, что даже ваши дамы будут так дурно обращаться со мной! — сердится Адзэти-но дайнагон.

Тут входит молодой господин, который перед отъездом во Дворец решил проститься с отцом. Он в носи, с распущенными по плечам волосами, что идет ему гораздо больше, чем официальная прическа «мидзура». «Как хорошо!» — умиляется Адзэти-но дайнагон и передает сыну послание для своей старшей дочери, живущей теперь во дворце Живописных видов, Рэйкэйдэн.

— Скажи, что сам я сегодня приехать не смогу, потому что не совсем здоров, — говорит он и, улыбнувшись, добавляет: — Сыграй мне что-нибудь на флейте. Возможно, очень скоро тебе придется играть перед Государем. А ты, как это ни печально, до сих пор играешь весьма неуверенно...

Он просит сына сыграть мелодию в тональности «содзё», и мальчик справляется с ней превосходно.

— Не так уж плохо, — одобрительно кивает Адзэти-но дайнагон. — Наверное, своими успехами он обязан вам, ведь он часто играет вместе с вами?

— Надеюсь, вы подыграете ему и теперь, — настаивает он, и девушка, с трудом преодолев смущение, начинает, вторя флейте, тихонько перебирать струны. Адзэти-но дайнагон насвистывает чисто и звонко.

У восточной стрехи, источая чудесное благоухание, цветет красная слива. Взглянув на нее, Адзэти-но дайнагон говорит:

— Как хороша эта слива! Отнеси ветку принцу Хёбукё, он, кажется, будет сегодня во Дворце. Ибо «коль не ему...» (262). Ах, когда-то я, точно так же как ты теперь, близко прислуживал его деду, тому, которого называли Блистательным Гэндзи. Он имел тогда звание дайсё и был в самом расцвете молодости. О да, мне всегда будет не хватать его. Люди восхищаются принцем Хёбукё и другими, и недаром, ибо они истинно достойны восхищения, но до Гэндзи им далеко! Впрочем, наверное, я слишком пристрастен и просто привык считать его несравненным... О нем тоскуют даже совершенно чужие ему люди, а уж близкие... Немудрено представить себе, как сетуют они на собственное долголетие...

Растроганный воспоминаниями, Адзэти-но дайнагон глубоко задумывается и на глазах у него выступают слезы. Как видно не в силах справиться с сердечным волнением, он велит сыну сорвать ветку и немедленно отправиться во Дворец.

— Впрочем, что толку говорить теперь об этом! Принц Хёбукё — единственный человек, в облике которого можно отыскать дорогие сердцу черты умершего. Когда ушел из мира Будда, некоторые ученики его, увидав сияние, исходившее от Ананды, подумали: уж не появился ли он снова? Так почему же и нам не обратиться к тому, в ком мы, блуждающие во мраке, видим единственный источник света?

«Не без умысла  
Ветер разносит повсюду  
Сливы благоуханье.  
Ужели не навестит ее  
Раньше других соловей?» —

написал он совсем как в дни своей молодости на листке алой бумаги и, подложив красивую оберточную бумагу, которая нашлась у мальчика, свернул письмо, как полагается, и вручил сыну. Тот же, по-детски радуясь возможности угодить принцу, поспешил во Дворец.

Он увидел принца Хёбукё, когда тот выходил из покоев Государыни. Вокруг толпились придворные, но принц сразу же заметил мальчика и спросил его:

— Почему ты вчера так рано ушел? И давно ли ты здесь?

— О, я был так огорчен тем, что вчера мне пришлось уйти. Зато сегодня постарался прийти пораньше, ибо мне сказали, что вы изволили остаться во Дворце.

Мальчик говорил еще совсем по-детски, но довольно бойко.

— Но ты можешь навещать меня и на Второй линии, там даже спокойнее, — сказал принц. — У меня часто запросто собираются молодые люди...

Видя, что принц беседует с сыном Адзэти-но дайнагона, придворные разошлись кто куда, не желая мешать им. В покоях стало тихо.

— Похоже, что принц Весенних покоев решил дать тебе немного отдохнуть, — говорит принц Хёбукё. — Ведь раньше он не отпускал тебя ни на шаг. Наверное, теперь им завладела твоя сестра, и ему не до тебя.

— О, я даже рад. Вот если бы на его месте были вы... — И, не договорив, мальчик замолкает.

— На меня-то твои сестры и глядеть не хотят, — вздыхает принц. — Что ж, возможно, они и правы. И все же обидно. Я слышал, у вас в доме живет особа, принадлежащая к тому же роду, что и я, кажется, ее называют госпожа Восточных покоев, не поговоришь ли ты с ней потихоньку, может, она согласится выслушать меня?

Тут мальчик вручает ему ветку сливы и, улыбнувшись, принц говорит:

— Жаль, что я не получил этого письма до того, как начал высказывать тебе свои обиды.

Он долго читает и перечитывает письмо. Цветы же так пышны, так нежны и благоуханны...

— Кто-то сказал о красной сливе, что цвет отобрал у нее все силы и благоухает она слабее, чем белая... (377) — говорит принц. — Но эти цветы сумели сохранить и то, и другое.

Он всегда отдавал предпочтение цветам красной сливы, так что Адзэти-но дайнагону удалось угодить ему.

— Сегодня ночью ты, кажется, прислуживаешь в Весенних покоях? Думаю, что тебе вполне можно остаться здесь, — говорит принц, и мальчик остается с ним. От платья принца исходит такой аромат, что и цветы устыдились бы. Принц укладывает мальчика рядом с собой, и тот чувствует себя бесконечно счастливым. Необыкновенная нежность к принцу переполняет его юное сердце.

— А отчего хозяйка этих цветов не переехала в Весенние покои?

— Не знаю. Я слышал, как отец говорил, что отдаст предпочтение тому, «кто оценить сумеет...» (138).

Принц слышал, что Адзэти-но дайнагон не прочь отдать ему собственную дочь, и в полученной сегодня песне нашел тому подтверждение, но сам он помышлял о другой, а потому уклонился от определенного ответа.

На следующее утро, когда мальчик уходил из Дворца, принц как бы незначай произнес:

— Когда бы меня  
Ароматы цветов пленяли,  
Стал бы я медлить?  
Нет, поспешил бы тотчас  
На зов весеннего ветра.

Надеюсь, что впредь ты не станешь слушать старших, а постарайся сам потихоньку... — добавил он, и мальчик проникся еще большим почтением и нежностью к обитательнице Восточных покоев.

Родных сестер он видел довольно часто и привык к ним — «сестры как сестры...», а сводную почитал верхом совершенства и мечтал, что ей удастся занять достойное место в мире. Даже глядя на свою старшую сестру, благоденствующую в Весенних покоях, мальчик не столько радовался за нее, сколько досадовал, что ей повезло больше, чем сводной. «Вот если бы судьба соединила ее с принцем Хёбукё!» — думал он, а тут вдруг и подвернулся счастливый случай со сливовой веткой.

Поскольку песню, сложенную принцем, можно было считать ответом, он передал ее отцу.

— Не очень-то обнадеживающий ответ, — недовольно сказал тот. — Разве не забавно, что, сообщаясь с Левым министром или со мной, принц всегда старается казаться образцом благонравия и основательности, очевидно зная, что мы не одобряем его легкомысленных наклонностей? У него есть все качества, необходимые для того, чтобы прослыть легкомысленным повесой, а он напускает на себя степенный вид. Мне кажется, в этом тоже мало хорошего.

Отправляя сына во дворец Адзэти-но дайнагон снова передает ему послание для принца:

«Громкая слава  
Разнесется по миру  
Об этих цветах,  
Едва их коснутся твои рукава  
Извечно благоуханные... (378)

Простите мне мою дерзость...»

Судя по всему, он не шутил.

«Неужели он действительно задумал сговорить меня с ней?» — удивился принц, и, как ни странно, сердце его затрепетало.

«Если в саду  
Я задержусь, плененный  
Ароматом чудесным,  
Люди сразу меня осудят  
За излишнюю слабость к цветам...»

Несомненно, столь уклончивый ответ огорчил Адзэти-но дайнагона.

Тем временем из Дворца возвратилась госпожа Северных покоев и, рассказывая супругу о том, что нового там произошло, сказала между прочим:

— Наш молодой господин как-то на днях оставался на ночь во Дворце, и, когда утром зашел ко мне проститься, его одежды так чудесно благоухали, что все обратили на это внимание. И представьте себе, наш принц сразу же изволил догадаться, в чем дело, и стал упрекать его: «Ты был у принца Хёбукё, — сказал он. — Вот почему ты совсем забросил меня». Ну не трогательно ли? Может быть, вы написали принцу письмо? Хотя вроде бы не похоже...

— Да, так оно и было, — ответил Адзэти-но дайнагон. — У восточных покоев расцвела необычайной красоты слива, а мне ведь хорошо известно, что это любимые цветы принца Хёбукё. Вот я и послал ему ветку. Что касается благовоний, которые употребляет принц, то им истинно нет равных. Даже дамы, которым по роду службы приходится быть у всех на виду, не умеют так окуривать свое платье. Единственный достойный соперник принца — Гэнтюнагон, но тот таков от рождения, особой склонности к ароматам он не обнаруживает. И за какие заслуги в прошедшей жизни отмечен он этим необыкновенным свойством? Воистину все цветы хороши, но можно ли не восхищаться сливой, которую природа наделила столь редким даром? Видно, все дело в корнях. Недаром принц Хёбукё так любит цветущие сливы!



Право же, цветы сослужили Адзэти-но дайнагону неплохую службу, позволив заговорить о принце.

Обитательница Восточных покоев уже достигла совершенного возраста и имела возможность ознакомиться с жизнью и приобрести некоторый опыт в мирских делах, однако по-прежнему не обнаруживала желания связывать себя с кем-то брачными узами.

Людам свойственно тянуться к сильным, очевидно, поэтому они, имея в виду растущее влияние Адзэти-но дайнагона, отдавали предпочтение его родным дочерям, и в их покоях всегда было оживленно. Жизнь их сводной сестры была более тихой и уединенной. Однако принц Хёбукё, которого ходившие о ней слухи укрепили в мысли, что только она достойна стать его супругой, всерьез размышлял над тем, каким образом... Приблизив к себе ее младшего брата, он тайком передавал ей письма. Между тем Адзэти-но дайнагон, у которого были совершенно иные намерения, по-прежнему тешил себя надеждой, а пока наблюдал за принцем, готовый откликнуться на его предложение, как только оно будет наконец высказано.

— Разве не жаль, — сетовала госпожа Северных покоев, — что принц, противясь желанию Адзэти-но дайнагона, лишь попусту растрчивает слова, обращая их к той, которая и не помышляет о нем?

Однако принц, которого самолюбие было уязвлено молчанием девушки, судя по всему, не собирался идти на уступки.

«Стоит ли упорствовать? — думала иногда супруга Адзэти-но дайнагона. — Принца ждет блестящее будущее, лучшего зятя и желать невозможно».

Вместе с тем принц был слишком непостоянен в своих привязанностях, тайные узы связывали его со многими столичными домами. Поговаривали, что он не на шутку увлечен дочерью Восьмого принца и часто наведывается к ней\*... Разве можно было на него полагаться? Все это пугало девушку, поэтому у нее и мысли не было относиться к нему всерьез. Только мать время от времени тайком отвечала ему, полагая, что столь важная особа вправе рассчитывать хотя бы на простую учтивость.





---

## БАМБУКОВАЯ РЕКА

### Основные персонажи

**Бывший Великий министр (Хигэкуро)** — супруг Тамакадзура

**Найси-но ками, Бывшая найси-но ками (Тамакадзура),**

47–56 лет — дочь Югао и То-но Тюдзё,  
приемная дочь Гэндзи, супруга Хигэкуро

**Государыня из дворца Рэйдзэй (Акиконому),** 52–61 год —

дочь Рокудзё-но миясудокоро, приемная дочь Гэндзи,  
супруга императора Рэйдзэй

**Правый (затем Левый) министр, Югири,** 40–49 лет —  
сын Гэндзи и Аои

**Государыня-супруга (императрица Акаси)** — дочь Гэндзи  
и госпожи Акаси

**Государь Рэйдзэй** — сын Фудзицубо и Гэндзи  
(официально — императора Кирицубо)

**Куродо-но сёсё, Тюдзё Третьего ранга, Сайсё-но тюдзё** —  
сын Югири

**Госпожа с Третьей линии (Кумои-но кари)** — супруга Югири

**Дзидзю Четвертого ранга, Тюнагон (Каору),** 14–23 года —  
сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Старшая дочь Найси-но ками, Миясудокоро,** 16–25 лет

**Младшая дочь Найси-но ками, Найси-но ками (госпожа Ути),**  
14–23 года

**Тюдзё, Бэн, То-дзидзю** — сыновья Тамакадзура

**Принц Хёбукё (Ниоу),** 15–24 года — внук Гэндзи

**Адзэти-но дайнагон, затем Правый министр (Кобай)** —  
второй сын То-но тюдзё

**Нёго Кокидэн** — супруга императора Рэйдзэй

**Третья принцесса** — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи

ТО, О ЧЕМ я собираюсь вам теперь поведать, я услышала совершенно случайно от престарелых сплетниц, доживающих век в доме бывшего Великого министра и не имеющих ника-

кого отношения к семейству Гэндзи. Разумеется, они рассказывали обо всем несколько иначе, чем дамы из окружения госпожи Мурасаки.

— О внуках Гэндзи много всяких небылиц ходит по свету, — говорили они, — наверное, их распускают эти выжившие из ума старухи. Они ведь еще старше нас...

Возможно, их сомнения и не были лишены оснований, но трудно сказать, кто прав — те или другие...

Госпожа Найси-но ками родила трех сыновей и двух дочерей, которых воспитание составляло главнейший предмет попечений их достойного родителя. Возлагая большие надежды на будущее своих детей, министр с нетерпением ждал, когда они придут в совершенный возраст, но неожиданно скончался. После его смерти Найси-но ками жила словно во сне и не предпринимала никаких попыток устроить дочерей на придворную службу, о которой так мечтал когда-то ее супруг.

Люди всегда тянутся к тем, кто сильнее, и после смерти министра, пользовавшегося при жизни большим влиянием в мире, в положении его близких произошли значительные перемены. Они по-прежнему жили в достатке, и имение их никоим образом не уменьшилось, однако в доме день ото дня становилось все тише и безлюднее. Правда, родственники самой Найси-но ками тоже благоденствовали в те времена, но они принадлежали к высшей знати, и она никогда не была с ними близка, тем более, что покойный министр, обладая тяжелым, неуравновешенным нравом, возбуждал к себе всеобщее нерасположение. Возможно, все это, вместе взятое, и привело к тому, что Найси-но ками почти не общалась с родными братьями.

Покойный министр с Шестой линии до самой смерти заботился о ней совершенно так же, как и об остальных своих детях, да и ее доля в наследстве уступала разве что доле Государыни-супруги, поэтому Правый министр\*, верный воле покойного отца, не оставлял госпожу Найси-но ками своими заботами и навещался к ней куда чаще, чем ее родные братья.

Сыновья Найси-но ками один за другим прошли обряд Покрытия главы, и, хотя после смерти отца их будущее внушало беспокойство, никто не сомневался, что им удастся в конце концов выдвинуться. А вот уверенности в будущем дочерей у Найси-но ками не было. Покойный министр успел доложить Государю о своем горячем желании отдать их во Дворец, и тот, как видно рассчитав, что они уже достигли подходящего возраста, то и дело напоминал об этом их матери. Но Найси-но ками одолевала сомнения. Во Дворце безраздельно властвовала Государыня-супруга, и положение остальных дам было весьма незавидным. Представленные же ко двору последними тем более не могли рассчитывать ни на что, кроме косых взглядов и оскорблений. Однако отказывать Государю Найси-но ками тоже не смела, ибо многие, узнав об этом, наверняка подумали бы, что она полагает своих дочерей недостойными высочайшей милости.

Государь Рэйдзэй также неоднократно изъявлял готовность взять одну из девушек на свое попечение. При этом он не упускал случая попенять Найси-но ками за то, что однажды она уже огорчила его отказом.

— Боюсь, что теперь вы будете еще менее благосклонны, — ответил он, — ибо я стар и занимаю весьма невысокое положение в мире. Но если вы разрешите мне заботиться о вашей дочери, я буду для нее любящим отцом...

Его настойчивость повергла Найси-но ками в замешательство. «Когда-то из-за неудачного стечения обстоятельств, — думала она, — я, сама того не желая, обидела государя Рэйдзэй и до сих пор чувствую себя перед ним виноватой. Может быть, теперь, по прошествии стольких лет, удастся загладить свою вину?»

В мире о дочерях Найси-но ками отзывались весьма благосклонно, и многие устремляли к ним свои помышления. Одним из самых пылких поклонников был прекрасный юноша по прозванию Куродо-но сёсё — любимый сын Правого министра и госпожи с Третьей линии. И он, и его братья были связаны с Найси-но ками родственными узами как со стороны отца, так и со стороны матери, поэтому, когда они без особых церемоний навещали в ее дом, она не могла оказывать им холодный прием. Сблизившись с некоторыми прислужницами, Куродо-но сёсё всегда находил средство высказать свои чувства, и услужливые дамы целыми днями докучали Найси-но ками, передавая его послания. Вместе с тем она не могла не принять в юноше участия, тем более что от госпожи с Третьей линии часто приходили письма соответствующего содержания, да и сам министр не раз просил за сына.

— Я понимаю, что его положение в мире пока еще слишком незначительно, — говорил он, — но все же надеюсь на вашу благосклонность.

Полагая, что старшая дочь заслуживает лучшей участи, чем быть супругой простого подданного, Найси-но ками решила, что отдаст Куродо-но сёсё младшую, да и то лишь после того, как упрочится его положение в мире. Однако, узнав о ее решении, юноша едва не лишился рассудка. Казалось, он не остановится ни перед чем и готов похитить девушку. Случись что-нибудь подобное, о ее дочерях неизбежно пошла бы дурная слава, даже если бы юноша действовал вопреки желанию своей избранницы, поэтому Найси-но ками, не имея достаточной причины противиться этому союзу, все же строго-настрого наказала прислужницам:

— Будьте осмотрительны. Я не потерплю ни малейшей оплошности. — Ограничив таким образом свободу их действий.

Дзидзю Четвертого ранга, младшему сыну покойного министра с Шестой линии и дочери государя из дворца Судзаку, было в то время четырнадцать или пятнадцать лет. Государь Рэйдзэй любил его, как родного сына.

В таком возрасте от юноши трудно требовать благоразумия и рассудительности, но Дзидзю в отличие от своих сверстников таковыми достоинствами обладал вполне и производил впечатление зрелого мужа. К тому же он был хорош собой, и никто не сомневался, что его ждет прекрасное будущее. Этого-то юношу госпожа Найси-но ками и хотела видеть своим зятем.

Найси-но ками жила неподалеку от дворца на Третьей линии, и ее сыновья часто зазывали Дзидзю к себе в гости. Он был непременным участником празднеств, ими устраиваемых.

В доме Найси-но ками всегда собиралось множество молодых людей, одушевленных присутствием двух прелестных юных особ. Самым красивым среди них был Куродо-но сёсё, с утра до вечера слонявшийся по дому, а самым изящным и приветливым — Дзидзю Четвертого ранга. Впрочем, не потому ли люди так восхищались им, что помнили о его родстве с министром с Шестой линии? Особенно расхваливали Дзидзю молодые дамы.

— Да, он истинно прекрасен, — соглашалась с ними Найси-но ками, не упуская случая выказать юноше свое расположение.

— Я часто вспоминаю, как добр был ко мне ваш отец, — часто говорила она ему. — Увы, до сих пор трудно примириться с мыслью, что его больше нет с нами. Вы — единственный, кто напоминает мне о нем. Разумеется, есть еще Правый министр, но с такой важной особой трудно встречаться запросто.

Она обращалась с юношей как с братом, и он отвечал ей тем же. Далекий от безрассудств, обычно свойственных юности, Дзидзю никогда не терял хладнокровия, что весьма огорчало и возмущало многих молодых дам, которые нарочно заигрывали с ним, стараясь смутить его.

Как-то в начале Первой луны навестить Найси-но ками приехали ее родной брат Адзэти-но дайнагон, тот самый, который когда-то пел «Высокие дюны»\*, и То-тюнагон — старший сын ее покойного супруга, единоутробный брат госпожи по прозванию Макибасира. Вскоре изволил пожаловать и Правый министр во всем блеске красоты и величия. Ему сопутствовали шестеро сыновей, невольно привлечших все взоры миловидностью и благородством осанки. Мало кому из их сверстников удалось достичь столь высоких чинов и рангов. Уж им-то, казалось, о чем печалиться? И все же мудрено было не заметить, что тайная горесть омрачает чело любимого сына министра, Куродо-но сёсё.

Как и в прежние времена, министр беседовал с госпожой Найси-но ками через занавес.

— Давно мы не виделись, — говорит он. — К сожалению, до сих пор у меня не было предлога, чтобы встретиться с вами. С годами становится все труднее располагать собой, кроме Дворца, я почти нигде не бываю, и как мне ни хотелось поговорить с вами о прошлом... Надеюсь, вы понимаете, что всегда и во всем можете рассчитывать на моих сыновей. Я не раз наказывал им верно служить вам.

— Ах, теперь мое положение в мире столь незначительно, — отвечает Найси-но ками. — Когда вы обращаетесь со мной как с важной особой, мне невольно вспоминается прошлое...

Как бы между прочим она рассказывает о предложении, полученном от государя Рэйдзэй.

— Без надежного покровителя выдвинуться почти невозможно, и я в затруднении — на что решиться?

— Говорят, вы получили предложение и от нынешнего Государя. Право, не знаю, что вам и посоветовать... Разумеется, значение государя Рэйдзэй уже не так высоко, как прежде, дни его величия миновали. Но он по-прежнему хорош собой, его редкостная красота словно не подвластна времени. Будь у меня дочь, достойная стать рядом с ним, я бы не задумывался. Но из моих дочерей ни одна не сможет соперничать с окружающими его блестящими особами. А вот как отнесется к этому нёго Кокидэн, мать Первой принцессы? Насколько я знаю, для многих именно это было главным препятствием.

— Но именно нёго и заставила меня задуматься над этим предложением. Она написала мне, что изнывает от скуки, решительно не зная, чем занять себя, а потому надеется, что общие с государем попечения о столь юной особе помогут ей рассеяться.

От Найси-но kami все отправились к Третьей принцессе. У нее никогда не было недостатка в посетителях. Одни почитали своим долгом навещать ее в память о милостях ее отца — государя из дворца Судзаку, другие были так или иначе связаны с домом на Шестой линии и тоже не упускали случая выказать ей свое почтение.

Сыновья Найси-но kami — Тюдзё, Бэн и То-дзидзю — присоединились к Правому министру, отчего свита его стала еще внушительнее.

Вечером в дом Найси-но kami приехал Дзидзю Четвертого ранга. За день в доме перебивало немало молодых людей, и разве о ком-то из них можно сказать дурное? Нет, все они хороши собой, однако Дзидзю появился, когда остальные уже разъехались, и взгляды присутствующих невольно сосредоточились на нем.

— Ах, лучше его нет! — как обычно, зашептались восхищенные дамы.

— Он и наша юная госпожа... Вот была бы прекрасная пара!

Ну что за дерзкие молодые особы! Впрочем, юноша в самом деле очень красив, к тому же при каждом его движении вокруг распространяется аромат, которого сладостнее и вообразить невозможно. Самая неопытная юная девица (разумеется, не лишенная чувствительности) и та не усомнилась бы в его превосходстве.

Найси-но kami находилась в молельне.

— Проведите его сюда, — приказывает она, и юноша, поднявшись по восточной лестнице, располагается перед прикрывающим дверь занавесом.

На растущей неподалеку молодой сливе уже набухли почки, слышатся первые, совсем еще робкие трели соловья... Плененные красотой гостя, дамы пытаются шутить с ним, но, к их величайшей досаде, юноша держится церемонно и отвечает с холодной учтивостью. В конце концов прислужница высшего ранга по прозванию госпожа Сайсё произносит:

— Может и правда —  
Сорванной ветки сильнее  
Благоуханье?  
Прелестью первых цветов  
Дай же нам насладиться... (379)

«Бойка на язык, ничего не скажешь!» — подумав, Дзидзю отвечает:

— Издалека  
Показаться может засохшим  
Дерево сливы,  
Но таится в нем нежный  
Аромат первых цветов.

Если не верите, дотроньтесь до моих рукавов... — шутя добавляет он.

— А ведь и правда, «больше чарует...» (380) — возбужденно перешептываются дамы. Судя по оживлению за занавесами, кое-кто и в самом деле готов вцепиться гостью в рукав. Но тут из внутренних покоев появляется Найси-но kami.

— Бесстыдницы! — тихонько пеняет она дамам. — Вы ведете себя непристойно! Постеснялись хотя бы нашего праведника!

«Значит меня уже прозвали праведником, — осознает Дзидзю, — как неприятно!»

К нему выходит сын Найси-но ками, То-дзидзю, который пока еще не прислуживает во Дворце, а потому, не поехав с новогодними поздравлениями, остался дома.

На двух подносах из аквиларии гостю подают плоды и вино. «Правый министр с годами все более напоминает ушедшего, — думает Найси-но ками. — А этот юноша совсем на него не похож. Но каким спокойствием дышит его лицо, как изящны манеры... Вероятно, ушедший был таким в молодости».

Мысли ее уносятся в прошлое, и глаза невольно увлажняются.

После ухода Дзидзю в доме долго еще витал чудесный аромат, волнующее воображение дам.

Недовольный тем, что его прозвали праведником, Дзидзю в двадцатые дни Первой луны, когда сливы стояли в полном цвету, снова приехал навестить То-дзидзю, преисполненный решимости доказать этим ветреным особам, что он вовсе не так бесцветен, как им показалось.

Приблизившись к срединным воротам, он заметил стоящего неподалеку человека в таком же, как у него, платье. Тот попытался скрыться, но Дзидзю задержал его — это был Куродо-но сёсё, постоянно бродивший вокруг дома Найси-но ками. «Наверное, его привлекли звуки бива и кото “со”, доносящиеся из Западных покоев, — подумал Дзидзю. — Какой несчастный у него вид! И все же слишком большим бременем отягощает душу человек, с таким упорством стремящийся к запретному». Но скоро звуки струн смолкли.

— Не соблаговолите ли вы стать моим проводником? — попросил Дзидзю. — Я плохо знаю дорогу.

Напевая вполголоса «Ветку сливы», юноши приблизились к красной сливе, растущей перед западной галереей. Одежды Дзидзю источали благоухание куда более сильное, чем цветы, и привлеченные этим дивным ароматом дамы, распахнув боковую дверь, стали довольно искусно подыгрывать юношам на кото. Приятно удивленный мастерством, с которым они справлялись с ладом «рё», представлявшим немалую трудность для японского кото, Дзидзю пропел песню еще раз. Бива тоже звучало необыкновенно ярко, по-современному. «В этом доме все говорит об утонченности его обитательниц», — подумал Дзидзю и, окончательно очарованный, держался в тот вечер куда непринужденнее обыкновенного и даже пытался шутить с дамами. Кто-то из них выдвинул из-под занавесей японское кото. Юноши с таким упорством уступали друг другу честь играть на нем, что пришлось вмешаться Найси-но ками.

— Я слышала, что господин Дзидзю играет на кото почти так же, как когда-то играл мой покойный отец, — передает она им через То-дзидзю. — Мне давно уже хотелось послушать его. Может быть, сегодня, «соловьиными трелями заворуженный...»\*

Стоит ли чиниться, когда тебя так упрашивают? Юноша, хотя и неохотно, повиновался, и раздались стройные, певучие звуки японского кото. Найси-но ками никогда не была близка с родным отцом своим, но мысль о том, что его больше нет в мире, вовлекала ее в глубокое уныние, и она

вспоминала его по любому, самому незначительному, казалось бы, поводу. Неудивительно поэтому, что ее растрогала игра Дзидзю.

«Он поразительно похож на покойного Уэмон-но kami! — подумала она. — Как странно! Да и манера игры на кото у него совершенно такая же...» И Найси-но kami расплакалась. Впрочем, она уже немолода, а у пожилых людей вечно глаза на мокром месте.

Куро-но сёсё красивым голосом запел: «Листьями трехслойными...»\* Молодые люди с упоением музицировали, воодушевляя друг друга и наслаждаясь свободой, вряд ли возможной в присутствии умудренных опытом знатоков. То-дзидзю, так же как некогда и отец его, не отличался особыми дарованиями в этой области и только слушал, угощая гостей вином.

— Спойте хотя бы что-нибудь заздравное! — пеняют ему, и он, вторя Дзидзю, поет «Бамбуковую реку»\*. Голос у него еще неокрепший, но довольно приятный.

Из-под занавесей появляется чаша с вином для гостя, но Дзидзю не спешит ее брать.

— Я слышал, что во хмелю человек выдает самые сокровенные думы и способен на любое безрассудство, — говорит он. — Как же прикажете понимать?

Найси-но kami преподносит в дар гостю женское платье и хосонага, пропитанное изысканными благовониями.

— Что вы, такая честь... — конфузится юноша, предпринимая робкую попытку вернуть дар То-дзидзю и уйти, но тот останавливает его и принуждает принять платье.

— Зашел лишь пригубить вина, словно участник Песенного шествия, а просидел до поздней ночи, — говорит Дзидзю и бежит прочь.

«Если этот Дзидзю будет и впредь показываться здесь, — не без досады думает Куро-но сёсё, — перед ним никто не устоит. Совсем пав духом, он говорит, тяжело вздыхая:

— Все готовы отдать  
Сердце цветам прекрасным,  
А мне суждено  
Отныне блуждать одному  
Во мраке весенней ночи.

Видя, что он тоже собирается уходить, кто-то из дам отвечает:

— Всею своею время,  
То одни, то другие цветы  
Сердце чаруют,  
И сливой благоуханной  
Не вечно будут пленяться.

Назавтра Дзидзю Четвертого ранга прислал То-дзидзю письмо следующего содержания:

«Боюсь, что вчера вечером вел себя недостаточно учтиво... Что подумали дамы?..»

Он писал японскими знаками, явно намекая на то, чтобы То-дзидзю показал письмо женщинам. Заключил же его следующими словами:



«Пел я вчера  
О реке Бамбуковой песню.  
Проник ли твой взор  
До самого дна, в сокровенные  
Глубины моей души?»

Разумеется, То-дзидзю принес письмо в главный дом, и они прочли его все вместе.

— Какой изящный почерк! — сказала госпожа Найси-но ками. — В его годы редко кто обладает столь выдающимися достоинствами. Во всяком случае, я такого человека не знаю. Он рано остался без отца, да и мать не особенно заботилась о его воспитании, и все же его превосходство над другими очевидно.

И Найси-но ками не преминула посетовать на то, что ее собственные сыновья и почерк имеют дурной и вообще далеки от совершенства. Ответ написал То-дзидзю и в самом деле довольно неумело:

«Все упрекают Вас за то, что вы так рано ушли вчера...

Не добравшись до дна  
Быстрой реки Бамбуковой,  
Поспешил ты уйти,  
И вряд ли кто-то успел  
В ее глубины проникнуть».

После этого случая Дзидзю стал время от времени заходить к сыну Найси-но ками, словно желая показать, сколь глубока Бамбуковая река, и намекать на свои чувства. Как и предвидел Куродо-но сёсё, все были им очарованы. Даже То-дзидзю только о том и мечтал, как бы побыстрее породниться с этим прекрасным юношей.

Настала Третья луна. Одни вишни «раскрылись едва» (382), на других цветы уже облетали и кружились в воздухе облаками лепестков (381). В пору цветения в доме Найси-но ками обыкновенно бывает тихо и безлюдно, и вряд ли кто-то осудил бы его обитательниц за то, что они слишком близко подходят к порогу. Других ведь развлечений у них нет. Дочерям Найси-но ками к тому времени исполнилось по восемнадцати-девятнадцати лет, они миловидны и добросердечны.

Старшая отличается горделивой, изысканной красотой, ее и в самом деле жаль отдавать простому подданному. Сегодня на ней хосонага цвета «вишня», из-под которого выглядывает несколько платьев цвета «керрия», прелестно друг с другом сочетающихся. Изящество ее наряда и удивительная тонченность манер никого не оставят равнодушным.

На младшей сестре бледно-розовое платье, поверх которого струятся блестящие и пышные, прекрасные, словно нити ивы, волосы. Она кажется высокой и стройной, в ее красоте есть что-то величавое, а по рассудительности и тонкости ума она едва ли не превосходит старшую сестру, хотя многие все-таки предпочитают яркую красоту последней.

Девушки играют в «го», сидя друг против друга, и невозможно не залюбоваться их прелестными головками, блестящими прядями ниспадающих по спине волос.

То-дзидзю находится поблизости, заявив, что будет судьей. Тут в покои заглядывают его старшие братья:

— Подумать только, сколь безграничным доверием пользуется То-дзидзю, — завидуют они. — Ему даже разрешили быть судьей в «го».

Приосанившись, они устраиваются рядом, и прислуживающие в покоях дамы поспешно принимают приличные случаю позы.

— Я целыми днями занят во Дворце, а он тем временем успел обойти меня здесь, — сетует Тюдзё.

— А уж у меня-то и вовсе не остается досуга для того, чтобы бывать дома, — жалуется Бэн, — но неужели только поэтому мною можно столь явно пренебрегать?

Сестры прекращают игру и сидят, смущенно потупившись. Хороши они несказанно!

— Когда я прислуживаю во Дворце, — говорит Тюдзё, и на глазах у него блестят слезы, — я часто вспоминаю отца и думаю — ах, вот был бы он теперь с нами!

Тюдзё исполнилось уже двадцать семь или двадцать восемь лет. Это достойный молодой человек, преисполненный решимости сделать все от него зависящее, дабы сестры его заняли в мире то положение, которого желал для них отец.

Между тем девушки попросили дам сорвать для них ветку с самой красивой вишни и с восторгом ее разглядывают.

— Какая красивая! Другим до нее далеко...

— В детстве вы все время спорили между собой, — замечает Тюдзё. — «Это моя вишня; нет, моя!» Отец говорил, что вишня принадлежит старшей, а матушка — что младшей. Помню, как я обижался, хотя, конечно, старался не плакать.

— Теперь это совсем уже старое дерево. Глядя на него, вспоминаешь невольно, что и тебе немало лет. Многие люди уже ушли из мира, и трудно примириться с тем, что их нет с нами.

Смеясь и плача, юноши беседуют о прошлом, наслаждаясь столь редкими в эту пору часами отдохновения. Связав себя узами супружества, они нечасто бывают в родном доме, но сегодня цветы так прекрасны...

Трудно поверить, что у Найси-но ками такие взрослые дети: она выглядит совсем молодой, будто именно теперь ее красота и достигла расцвета. Немудрено, что государь Рэйдзэй не может забыть ее и только ищет предлог... Потому-то он так и настаивал, чтобы ему отдали ее дочь. Однако сыновья Найси-но ками весьма неодобрительно относятся к его искательству.

— Государь Рэйдзэй уже не так влиятелен, как прежде, — говорят они. — Люди привыкли считаться лишь с теми, кто в силе.

— Разумеется, он так красив, что сколько ни любуйся, не налюбуйшься, даже теперь мало кто может сравниться с ним, но, увы, пора его расцвета давно миновала.

— Да, все хорошо в свое время: звуки музыки, краски цветов, пение птиц. А что вы скажете о принце Весенних покоев?

— Ах, не знаю... — вздыхает Найси-но ками. — Дочь Правого министра целиком завладела его помыслами, вряд ли она потерпит соперниц. Боюсь,

что всякой женщине, поступившей на службу в Весенние покои, предстоит стать предметом насмешек и оскорблений. Ах, был бы жив ваш отец! Уж он-то сумел бы обеспечить если не будущее — оно покрыто мраком — то, по крайней мере, настоящее своих дочерей.

Услышав эти слова, все опечалились.

После того, как Тюдзё и прочие ушли, девушки возобновили игру в «го». Теперь они играют на ту самую вишню, которая издавна была предметом их споров.

— Вишня будет принадлежать той, кто выиграет хотя бы два раза из трех, — шутят они.

Быстро темнеет, и девушки переходят поближе к галерее. Дамы, подняв занавеси, внимательно следят за игрой, каждая молится про себя, чтобы победа досталась ее госпоже.

Случилось так, что именно в тот вечер к То-дзидзю зашел Куродо-но сёсё. Не застав юношу, который уехал со старшими братьями, и заметив, что в доме безлюдно и тихо, он украдкой приблизился к открытой двери галереи и заглянул внутрь. Сердце его радостно забило. «Какая удача! Мне повезло не меньше, чем человеку, сподобившемуся присутствовать при явлении Будды», — подумал он. Поразительное легкомыслие!

Вечерний туман скрывает очертания предметов, но внимательный взгляд Куродо-но сёсё без труда находит ту, к которой стремится его сердце. Облаченная в платье цвета «вишня» девушка удивительно хороша, она и в самом деле может послужить напоминанием об упавших с веток цветах... (383). Как горько сознавать, что она предназначена другому...

Рядом в непринужденных позах расположились молодые прислужницы, особенно привлекательные в лучах закатного солнца.

Выигрывает младшая сестра, сидящая справа.

— Отчего же вы не приветствуете победительницу корейской здравичей? — восклицает кто-то из дам.

— Это дерево давно склонялось к правой стороне, не зря оно выросло так близко от западных покоев, — радуются прислужницы младшей сестры.

— А его предназначили левой, вот и стало оно предметом раздоров.

— Так, именно с этого все и началось...

Куродо-но сёсё, не совсем понимая, что происходит, с любопытством прислушивается. Ему очень хочется вставить словечко, но он не осмеливается — неудобно, дамы ведь не подозревают, что их кто-то видит...

В конце концов, он ушел, но снова и снова приходил в дом Найси-но ками, надеясь, что когда-нибудь...

Девушки весь день проспорили, кому принадлежит вишня, а вечером налетел неистовый порыв ветра, и цветы, взметнувшись, упали на землю. Так их жаль, так досадно... Проигравшая сестра говорит:

— Из-за вишни  
При каждом порыве ветра  
От страха дрожу,  
Хоть и знаю — она, бессердечная,  
Расцветает не для меня...

Дама по прозвищу Сайсё, желая утешить ее, добавляет:

— Раскрывшись едва,  
Цветы осыпаются с веток.  
Так стоит ли  
Досадовать, что пришлось  
Их уступить другой?

А сестра-победительница произносит:

— Когда ветер цветы  
Уносит — это обычно.  
Но если они  
Уносятся прямо с ветвями,  
Как тут не подосадовать?

Ей вторит ее дама по прозванию госпожа Таю:

— Не без умысла  
В пруд упав, к правому берегу  
Прибились цветы...  
Плывите же к нам, не беда  
Что теперь вы — всего лишь пена! (384)

Девочки-служанки из свиты младшей сестры спускаются в сад и, собрав облетевшие лепестки, подносят их госпоже:

— С далеких небес  
Прилетев, ветер повсюду  
Разбросал лепестки.  
Но мы бережно их соберем,  
Они ведь наши по праву...

А Нарэки, девочка, прислуживающая старшей сестре, отвечает:

— Хочется нам  
Удержать на ветках цветы  
Нежно-прелестные,  
Но где же найдешь рукава,  
Способные небо прикрыть? (148).

— Не слишком-то вы щедры, — язвительно добавляет она.

Так дни и луны сменяли друг друга, а все оставалось по-прежнему, и Найси-но ками пребывала в постоянной тревоге за судьбу своих дочерей.

От государя Рэйдзэй каждый день приходили письма. А вот что написала как-то нёго Кокидэн:

«Обидно, что Вы словно забыли о нашем родстве. Государь часто изволит сердиться, полагая, что именно из-за меня Вы отклоняете его предложение... Может быть, он шутит, но мне все равно неприятно. Решайтесь, прошу Вас...»

«Должно быть, это судьба, — подумала Найси-но ками. — Кто предполагал, что нёго станет настаивать? Неловко когда тебя так упрашивают...»

Все самое главное было подготовлено заранее, оставалось позаботиться лишь о нарядах для прислужниц и прочих мелочах. Узнав об этих пригото-

лениях, Куродо-но сёсё в отчаянии бросился к матери, и, встревоженная, она написала Найси-но ками письмо следующего содержания:

«...Когда б душа моя не блуждала во мраке» (3), я не осмелилась бы обратиться к Вам со столь щекотливой просьбой. О, я знаю, что и Вам не чужды материнские чувства, так постарайтесь же понять меня и будьте снисходительны...»

«Ах, как тягостно!» — вздохнула Найси-но ками, прочитав это послание, возбудившее в сердце ее невольную жалость.

«Поверьте, я сама оказалась в затруднительном положении, — ответила она. — Государь продолжает настаивать, и я не знаю... Если у Вашего сына действительно твердое намерение, он должен набраться терпения, и тогда по прошествии некоторого времени я найду средство утешить его. Думаю, что так будет лучше, да и пересудов удастся избежать...»

Скорее всего она собиралась отдать Куродо-но сёсё младшую дочь вскорее после того, как старшая будет представлена ко двору государя Рэйдзэй.

«Устраивать одновременно судьбу обеих дочерей не совсем удобно, — думала она, — люди непременно обвинят меня в непомерном честолюбии. К тому же пока Куродо-но сёсё не повысили в ранге...» Однако юноша и помыслить не мог о другой. С тех пор как он увидел девушку, ее образ неотступно преследовал его, он только и мечтал о том, что когда-нибудь счастливый случай... Но вот надежды его рухнули, и Куродо-но сёсё пришел в совершенное отчаяние. Желая хотя бы поделиться с кем-нибудь своим горем, он по обыкновению отправился к То-дзидзю.

Когда он вошел, тот как раз читал письмо, полученное от Дзидзю Четвертого ранга, и, завидя гостя, попытался его спрятать. Однако, сразу же догадавшись, от кого оно, Куродо-но сёсё выхватывает листок бумаги у него из рук. Понимая, что сопротивление лишь усилит подозрения друга, То-дзидзю не пытается ему мешать, тем более что ничего особенного в письме нет — так, неясные намеки и сетования на печальный мир...

«Луны и дни  
Безучастной текут чередою.  
Счет им ведя,  
Не заметил, как подошла  
И эта весна к концу...»

«Даже изливая обиды, он не теряет самообладания, — думает Куродо-но сёсё, — а моя неумеренная пылкость, очевидно, не вызывает ничего, кроме насмешек. Я, наверное, наскучил всем своими жалобами...» Ему становится так больно, что он не может выговорить ни слова, только вздыхает. К госпоже Тюдзё, которая всегда готова его выслушать, тоже идти глупо, ведь она как обычно откажет...

То-дзидзю: «Надо ответить на письмо», — сказав, уходит в покои матери, и, глядя ему вслед, Куродо-но сёсё чувствует себя обиженным и с трудом сдерживает негодование. Он в полном смятении, одна лишь дума владеет его юной душой.

Юноша спешит с упреками к своей посреднице, госпоже Тюдзё, столь жалкий в своем отчаянии, что она воздерживается от обычных шуток и лишь молча глядит на него с сочувствием во взоре.

Поведав ей о том вечере, когда ему удалось подглядеть девушек за игрой в «го», Куродо-но сёсё говорит:

— Когда б я мог снова увидеть этот сон! Для чего мне жить теперь? Вот и с вами сколько раз еще придется беседовать? Верно, не зря говорят: «И горестные воспоминания могут быть любезны сердцу...»

Госпоже Тюдзё жаль юношу, но как ему поможет? Утешение, на которое намекала Найси-но ками, судя по всему, его вовсе не радовало. Должно быть, увидев в тот вечер старшую сестру, он навсегда отдал ей свое сердце. И что тут удивительного?..

— Если госпожа узнает, — говорит наконец Тюдзё, решив, что и ей пора зажигать наступательные огни, — она наверняка будет возмущена. Откровенно говоря, и я не могу больше сочувствовать вам так, как сочувствовала прежде. Позволить себе такую дерзость!

— Ах, не все ль теперь равно! Я знаю, что это конец, и меня больше ничто не пугает. Обидно только, что она проиграла тогда в «го». Вот если бы вы тихонько провели меня... Я глазами показывал бы ей, куда ставить, и она непременно выиграла бы...

— Ну почему  
Дано мне, такому ничтожному,  
Своевольное сердце?  
Не терпит оно поражений,  
Уступать не желает, —

говорит он, а Тюдзё, улыбнувшись:

— Ах, что за вздор!  
Всегда достается победа  
Тому, кто сильнее.  
Одного желания мало,  
Причем тут сердце твое?

Как видно, отвечать тоже было нелегко.

— Сжался, прошу,  
Руку помощи мне протяни  
Еще только раз.  
Ведь и в жизни своей, и в смерти  
Я привык от тебя зависеть...

То плача, то смеясь, они проговорили всю ночь до рассвета.

Следующий день был Первым днем Четвертой луны, и единоутробные братья Куродо-но сёсё суетливо собирались во Дворец, сам же он пребывал в крайнем унынии, так что его мать с трудом удерживалась от слез.

— Мне кажется, госпоже Найси-но ками будет неловко, заговори я теперь о чем-то подобном, ведь наверняка кто-нибудь донесет государю Рэйдзэй... — говорил Правый министр. — Жаль, что я промолчал, когда навещал ее в прошлый раз. Если бы я тогда проявил настойчивость, мне бы не отказали.

А Куродо-но сёсё, как обычно, отправил девушке такое письмо:

— Любуясь цветами,  
Коротал в весенние дни.  
Но они миновали.  
Теперь мне блуждать суждено  
В безотрадной угрюмой чаще.

Тем временем прислужницы высокого ранга, собравшись в покоях Найси-но ками, обсуждают поклонников девушки. У каждой свои подопечные, которых поражение они приняли весьма близко к сердцу.

— Вы и вообразить не можете, как страдал Куродо-но сёсё, когда произносил: «Ведь и в жизни своей, и в смерти...». Это были не просто слова. — говорит Тюдзё.

Госпоже Найси-но ками тоже жаль юношу, но его поведение кажется ей слишком дерзким. «Если так уж велика его обида, я готова отдать ему младшую дочь, да и то только из уважения к его родителям. Но он, судя по всему, собирается помешать представлению старшей ко двору государя Рэйдзэй. А ведь покойный супруг положил не отдавать старшую дочь простому подданному, каким бы высоким ни было его положение в мире. Увы, даже предложение государя Рэйдзэй не позволяет рассчитывать на блестящее будущее».

Тут приносят письмо от Куродо-но сёсё, и дамы читают его, сочувственно вздыхая. Вот как отвечает ему госпожа Тюдзё:

«Наконец поняла —  
Ты только делаешь вид,  
Что любишься небом,  
На самом деле цветы  
Владеют сердцем твоим».

— Неужели вам не жаль его? Разве можно все обращать в шутку?.. — пеняют ей дамы, но она отказывается переписывать — мол, слишком обременительно.

На Девятый день старшая дочь Найси-но ками была представлена ко двору государя Рэйдзэй.

Правый министр лично позаботился о каретах и свите. Госпожа с Третьей линии чувствовала себя обиженной, но, не желая разрывать отношения, налаженные ради сына после долгих лет взаимного отчуждения, тоже прислала дары — множество прекрасных нарядов для дам.

«Последнее время я не отхожу от сына, которого состояние настолько ухудшилось, что есть основания опасаться за его рассудок, — написала она Найси-но ками. — Поэтому я не успела подробно разузнать о Ваших нуждах. Впрочем, Вы сами не сообразовали известить меня, и Ваша отчужденность меня удручает...»

Тон письма был спокойный, но содержался в нем некий намек, заставивший Найси-но ками почувствовать себя виноватой. Письмо принесли и от министра:

«Я понимаю, что должен был лично навестить Вас, но как раз сейчас мне предписано воздержание, поэтому я посылаю своих сыновей, пусть выполнят Ваши поручения. И не особенно с ними церемоньтесь...»

Он прислал ей Гэн-сёсё, Хёэ-но сукэ и других. И сердце Найси-но ками преисполнилось благодарности: «Как же он добр!»

Адзэти-но дайнагон тоже прислал кареты для дам. Его нынешняя супруга, дочь покойного министра, которую называли когда-то Макибасира, и по отцу, и по мужу была связана с Найси-но ками, но, как это ни странно, женщины почти не общались друг с другом. Только То-тюнагон, единоутробный брат супруги Адзэти-но дайнагона, приехав по собственной охоте вместе с Тюдзё и Бэном, участвовал в подготовке церемонии. «Ах, был бы жив министр...» — то и дело печально вздыхала Найси-но ками.

Куродо-но сёсё по обыкновению своему обращается за сочувствием к госпоже Тюдзё.

«Увы, я примирился с тем, что пришел конец моей жизни, и все же, как это печально... Если бы я услышал от нее хоть слово жалости, у меня достало бы сил задержаться в этом мире...»

Когда Тюдзё принесла это письмо в покои госпожи, она застала там обеих сестер, которые тихонько беседовали о чем-то с самым унылым видом. Девушки с детства были неразлучны, и, даже дверцу между покоем считая досадной помехой, предпочитали проводить дни и ночи вместе то на западной половине, то на восточной. И вот они должны расстаться!

Старшая сестра, принаряженная по случаю предстоящей церемонии, сегодня прекраснее, чем когда-либо. Печально вздыхая, она вспоминает, какие надежды возлагал на нее отец... Может потому, что ей в этот миг как-то особенно грустно, она берет письмо Куродо-но сёсё и читает его. «Откуда у него такие страшные мысли? — недоумевает она. — Рядом с ним и отец, и мать, его будущее обеспечено, ему бы жить, не зная печали...» «Но вдруг он и в самом деле...» — неожиданно приходит ей в голову, и она пишет на том же листке бумаги:

«“Слово жалости...”  
Право, не знаю, к кому  
Его обращать?  
Есть ли его не достойные  
В нашем непрочном мире?..»

Но теперь, узнав о том, какие недобрые мысли преследуют Вас, я, кажется, поняла...»

— Перепишите и передайте ему, — велит она Тюдзё, но та предпочла отдать листок, не переписывая. Куродо-но сёсё вне себя от радости. Однако он тут же вспоминает, при каких обстоятельствах написаны эти строки, и не может сдержать слез. Разумеется, с ответом он не медлит.

«“О тебе, не о ком-то другом...” (348) — пеняет он девушке. —

Желаньям души  
Смерть, увы, неподвластна (385).  
Коль задержусь  
В этом мире, ужель не услышу  
От тебя ни единого слова?

Когда б я знал, что хоть “над моей могилой...”\* Вы вздохнете, жалея меня, я бы постарался сойти в нее как можно скорее...»





«Как дурно, что я ответила ему! — пугается девушка. — К тому же Тюдзё, кажется, даже не потрудилась переписать...» Чувства ее в смятении, и она не может вымолвить ни слова.

Честь сопровождать старшую дочь Найси-но kami выпала самым милостивым дамам и девочкам. В целом же церемония мало чем отличалась от обычной церемонии представления ко двору.

Прежде всего Найси-но kami прошла с дочерью на половину нёго Кокидэн и долго беседовала с ней. Когда стемнело, девушку провели в высочайшие покои. И Государыня-супруга, и нёго уже немолоды. Так неужели эта юная, прелестная особа не сумеет приобрести благосклонность государя? Право же, в ее будущем благополучии можно не сомневаться.

Государь жил теперь тихо и спокойно, словно простой подданный, и у его новой супруги не было оснований сетовать на судьбу. Ему хотелось задержать у себя во дворце и Найси-но kami хотя бы на некоторое время, но, к его величайшему огорчению, она сразу же уехала.

Государь Рэйдзэй почти не отпускал от себя Дзидзю Четвертого ранга, он любил его не меньше, чем когда-то любили Блистательного Гэндзи. Юноша чувствовал себя здесь в его дворце как дома и был в коротких отношениях со всеми домочадцами. Он не упускал случая выказать свое расположение и дочери Найси-но kami, более того, иногда у него возникало сильнейшее желание узнать, какие чувства испытывает к нему она сама.

Однажды тихим вечером Дзидзю Четвертого ранга и То-дзидзю прогуливались по саду и вдруг заметили, что с пятигольчатой сосны, растущей рядом с покоями вышеупомянутой молодой особы, свешиваются великолепные кисти глициний.

Желая полюбоваться цветами, юноши подошли к пруду и устроились на камне, покрытом мягким мхом. Дзидзю Четвертого ранга, не открывая прямо своих чувств, решил намекнуть То-дзидзю на причину своего недовольства миром.

— Когда бы я мог  
Дотянуться рукой до глицинии,  
Ужели бы стал  
Любоваться ею издалека,  
Не видя цветов за сосной? —

говорит он, глядя на цветы.

Столь трогательна его печаль, что просто невозможно не принять в нем участия, и То-дзидзю, в свою очередь, спешит намекнуть другу на то, что все произошло помимо его воли:

— Пусть мне и близок  
Глицинии цвет лиловый,  
Все же, поверь,  
Она желаньям моим,  
Увы, неподвластна...

У То-дзидзю было доброе сердце, и он не мог не жалеть друга. Правда, чувства последнего были не так уж глубоко затронуты, и все же...

Куродо-но сёсё между тем совсем потерял голову и был готов на любое безрассудство. Некоторые из поклонников старшей сестры устремили свои сердечные помышления на младшую. Найси-но ками намеревалась отдать ее Куродо-но сёсё, учитывая пожелания его матери, и не раз заводила о том разговор, но юноша перестал появляться в ее доме. Не бывал он и во дворце Рэйдзэй, даром что сыновья Правого министра издавна были в дружеских отношениях с ушедшим на покой государем. Даже если иной раз и случалось заглянуть туда, он старался уйти при первой же возможности.

Однажды Государь призвал к себе Тюдзё и потребовал, чтобы тот объяснил, почему его старшую сестру вопреки желанию ее покойного отца отдали во дворец Рэйдзэй.

— Государь изволит гневаться, — сообщает раздосадованный Тюдзё матери. — Разве я не говорил вам, что в мире отнесутся к вашему выбору неодобрительно? Но вы не захотели мне поверить и поступили по-своему. Я не смел возражать, и вот теперь Государь недоволен, а это может иметь для нас дурные последствия.

— Не могу согласиться с тобой, — невозмутимо и спокойно отвечает Найси-но ками. — Я решила после долгих раздумий. Ты же сам знаешь, как настаивал государь Рэйдзэй. Я не могла ему отказать. А отдавать ее во Дворец, не имея надежного покровителя, более чем опасно. У государя Рэйдзэй ей по крайней мере будет спокойнее. А если вы были против, почему никто из вас не пытался меня разубедить? Теперь-то все, не исключая

Правого министра, обвиняют меня в опрометчивости. Мне это обидно. Не лучше ли признать, что таково ее предопределение?

— Человеческая судьба не доступна взору. Как я могу ответить Государю — у сестры, мол, иное предопределение? По-вашему, во Дворце ей помешала бы выдвинуться Государыня-супруга, но стоит ли забывать о нём Кокидэн? Даже если она и обещала не оставлять сестру своими заботами, это еще ничего не значит. Ладно, посмотрим... Но неужели вы полагаете, что, если во Дворце уже есть Государыня-супруга, никто другой не должен поступать на придворную службу? Во Дворце и раньше было много дам, но все равно многие с удовольствием отдавали туда своих дочерей. Тем-то придворная служба и привлекательна. А вдруг из-за какой-нибудь мелочи между нём и нашей сестрой возникнут расхождения и по миру пойдут слухи, мол, нём ею недовольна...

Нетрудно вообразить, как огорчали Найси-но Kami нападки сыновей.

Тем не менее привязанность государя Рэйдзэй к новой супруге день ото дня становилась лишь сильнее. С Седьмой луны она понесла. Глядя на ее побледневшее лицо, нетрудно было понять, почему многие потеряли из-за нее покой. Да и мог ли кто-нибудь остаться к ней равнодушным?

Во дворце Рэйдзэй целыми днями звучала музыка, а как Дзидзю Четвертого ранга часто бывал здесь, ему не раз приходилось слышать игру молодой госпожи на кото. Обычно для участия в музицировании призывали и госпожу Тюдзё, ту самую, которая подыгрывала юношам на японском кото, когда они пели «Ветку сливы». Слушая их, Дзидзю с трудом скрывал волнение.

Скоро год сменился новым, и решено было провести Песенное шествие. В те времена при дворе служило много одаренных молодых людей, но для участия в шествии выбрали лучших из лучших. Дзидзю Четвертого ранга выпала честь исполнять обязанности главы правых певчих. Куродо-но сёсё был включен в число музыкантов.

На Четырнадцатый день, когда на безоблачном небе сияла яркая луна, процессия, выйдя из императорского Дворца, направилась к дворцу Рэйдзэй.

Нём и Миясудокоро\* заранее перешли в высочайшие покои.

В назначенный час в сопровождении высших сановников и принцев крови появился государь Рэйдзэй. Нетрудно было заметить, что самые блестящие юноши из его свиты принадлежали либо к семейству Правого министра, либо к семейству министра, вышедшего в отставку.

Готовясь предстать перед взором государя Рэйдзэй, участники процессии волновались едва ли не более, чем когда показывали свое искусство во Дворце, а уж о Куродо-но сёсё и говорить нечего — сердце его билось несканзанно при мысли, что и она может увидеть его...

Головные украшения, одинаковые для всех участников, были довольно невзрачны, зато сразу становилось ясно, кто из юношей обладает тонким вкусом, а кто, увы, лишен оного. Стройные фигуры танцоров, звонкие голоса певцов пленяли зрение и слух.

Когда, напевая «Бамбуковую реку» и притоптывая в такт, Куродо-но сёсё приблизился к главной лестнице, ему вспомнились внезапно тот давний тихий вечер, негромкие звуки музыки... Невольные слезы подступили к глазам, и он едва не сбился с такта.

Когда участники шествия перешли на половину Государыни-супруги, государь Рэйдзэй изволил последовать за ними.

Ночью луна светила так ярко, что было светлее, чем днем. Куродо-но сёсё думал лишь о том, какое производит впечатление, и, быть может, поэтому ноги не слушались его, и двигался он крайне неуверенно. Кроме того, у него возникло весьма огорчившее его подозрение, что чашу с вином ему предлагают гораздо чаще, чем другим.

Всю ночь процессия двигалась от одного дома к другому, и юноши совсем выбились из сил. Но не успел Дзидзю прилечь, как его позвали к государю.

— Вот незадача! Только собрался немного отдохнуть, — недовольно ворчал он, собираясь.

Государь Рэйдзэй просит его рассказать, как проходило празднество во Дворце.

— Мне помнится, что главой певчих всегда назначали человека немолодого, умудренного опытом, — замечает он, любуясь юношей. — Знаменательно, что в нынешнем году выбор пал на тебя.

Напевая «Тысячи весен», государь переходит в покои Миясудокоро, и Дзидзю следует за ним.

Сегодня здесь собрались многие близкие Миясудокоро, желавшие полюбоваться процессией, поэтому повсюду царит праздничное оживление, а убранство отличается большей, чем обыкновенно, изысканностью. Услыхав знакомые голоса, юноша задерживается у двери на галерею и некоторое время стоит там, переговариваясь с дамами.

— Луна ночью так ярко светила, что все чувствовали себя неловко, — говорит он. — Куродо-но сёсё совсем оробел, но вряд ли только потому, что его ослепил лунный свет. Рядом с Заоблачной обителью он вел себя по-другому...

Слушая его, некоторые дамы жалеют Куродо-но сёсё, другие восхваляют достоинства Дзидзю.

— Обычно говорят: «Быть темной напрасно ты тщишься» (284), — замечает одна из них. — Несомненно одно: господин Дзидзю и при лунном свете прекраснее всех.

Тут из-за занавесей доносится чей-то голос:

— Помнишь ту ночь,  
Когда так чудно журчала  
Бамбуковая река?  
Впрочем, вряд ли она  
Достойна воспоминаний...

Ничего особенного в этой песне нет, но Дзидзю с трудом сдерживает слезы. Тут-то ему и становится ясно, сколь глубоко затронута его душа...

— Бамбуковая река  
Подхватив, унесла с собою  
Надежды мои,  
И я окончательно понял,  
Сколь безрадостен мир...

С восхищением глядят дамы на его печальное лицо. Да, его вид располагает к сочувствию, хотя вряд ли он когда-нибудь страдал так, как Куродо-но сёсё.

— Я злоупотребляю вашим вниманием, — говорит он, собираясь откланяться, но тут государь зовет его к себе, и ему ничего не остается, как поவிноваться.

— Правый министр рассказывал мне, что ваш отец имел обыкновение на следующий день после Песенного шествия собирать гостей в женских покоех своего дома и улаждать их слух музыкой, — говорит государь Рэйдзэй. — В наши дни трудно подыскать ему достойных преемников. Ах, какие необыкновенные по дарованиям женщины жили в доме на Шестой линии! Их участие сообщало особенную утонченность любому празднеству.

И словно в память о прошлом государь велит настроить музыкальные инструменты. Кото «со» он предлагает Миясудокоро, а бива — Дзидзю. Сам же берет японское кото, и втроем исполняют они «Этот дворец».

Миясудокоро раньше играла на кото весьма посредственно, но, очевидно, уроки государя Рэйдзэй не пропали для нее даром. Струны звучат под ее пальцами уверенно и чисто, она прекрасно справляется даже с пьесами для пения. Словом, Дзидзю она кажется совершенством, а поскольку, судя по всему, она и собой хороша...

Государь Рэйдзэй часто приглашал юношу к себе, и постепенно тот вошел в более короткие отношения с молодой госпожой. Разумеется, он никогда не забывал о приличиях и не позволял себе жаловаться на ее нечувствительность, но вместе с тем не упускал случая намекнуть на несбывшиеся надежды. Что думала о том Миясудокоро? Увы, это мне неизвестно.

В дни Четвертой луны Миясудокоро разрешилась от бремени младенцем женского пола. Не столь уж и знаменательное это было событие, но, видя, как рад государь, многие, и прежде всего Правый министр, прислали богатые дары.

Найси-но ками целыми днями нянчила внучку и налюбоваться на нее не могла. Однако государь настаивал на возвращении супруги, и, едва новорожденной исполнилось пятьдесят дней, Миясудокоро переехала во дворец Рэйдзэй.

У государя Рэйдзэй уже была дочь, но мог ли он остаться равнодушным к нежной прелести новой принцессы? Он почти не покидал покоев Миясудокоро, и дамы из окружения нёго Кокидэн не скрывали своего недовольства.

— Уж лучше бы все оставалось как прежде... — вздыхали они.

Нёго и Миясудокоро прекрасно ладили между собой, но среди прислуживающих им дам часто возникали раздоры, так что в конце концов начали сбываться худшие предчувствия Тюдзё, не зря он все таки был старшим из сыновей Найси-но ками. «Увы, так и будут они теперь “сетовать все, да сетовать” (386), — тревожилась она. — И чем все это кончится? Неужели бедняжке суждено сделаться предметом насмешек и оскорблений? Благоклонность государя велика, но если особы, давно уже живущие во дворце Рэйдзэй, будут открыто пренебрегать ею, жизнь ее станет невыносимой».

Кроме того, Найси-но ками донесли, что нынешний Государь по-прежнему чувствует себя обиженным и не скрывает этого, поэтому она ре-

шила отдать на придворную службу младшую дочь, добившись для нее официальной должности, которая оградит ее от многих неприятностей, и после долгих раздумий сочла целесообразным передать ей свое звание.

Надо сказать, что Найси-но ками тяготилась своими придворными обязанностями и давно уже имела намерение отказаться от них, но ей не удавалось получить разрешение, теперь же, вспомнив о желании покойного министра и обратившись к примерам из далекого прошлого, Государь изволил дать согласие. Кто знает, может быть, Найси-но ками так долго ждала отставки именно потому, что таково было предопределение ее дочери? Она надеялась, что девушке удастся занять во Дворце достойное положение, и лишь мысль о Куродо-но сёсё повергала ее в смущение. «Его мать сама обратилась ко мне, и я имела неосторожность подать ей надежду, — терзалась Найси-но ками, — что же она подумает теперь?» Желая хоть как-то оправдаться, Найси-но ками через Бэна передала Правому министру следующее:

— Государь изволил настаивать, и я в замешательстве... Боюсь, что меня сочтут чрезмерно тщеславной...

— Государь имеет основания гневаться, — ответил министр. — Если же говорить о вашем придворном звании, то совершенно недопустимо носить его, не исполняя своих обязанностей. Так что, чем скорее вы осуществите свое намерение, тем лучше.

И вот, заручившись согласием Государыни-супруги, Найси-но ками представила ко двору свою младшую дочь. «Был бы жив министр, нами никто не посмел бы пренебречь...» — вздыхала она.

Государь, наслышанный о красоте и благородстве старшей дочери Найси-но ками, сначала был недоволен такой заменой, но младшая тоже обладала тонким умом и изящными манерами, что позволило ей занять при дворе достойное место.

Прежняя Найси-но ками между тем задумала переменить обличье, но сыновья решительно воспротивились.

— Теперь, когда сестры нуждаются в поддержке, — говорили они, — вам вряд ли удастся обрести душевный покой и сосредоточиться на молитвах.

— Не лучше ли подождать, пока их положение окончательно упрочится?

— Тогда вас ничто не будет тревожить, и вы сможете целиком посвятить себя служению...

Согласившись отложить принятие пострига, Бывшая найси-но ками время от времени тайно наведывалась во Дворец. В доме же государя Рэйдзэй она не бывала даже при самых, казалось бы, благоприятных обстоятельствах. Уж не потому ли, что государь по-прежнему не упускал случая выказать ей свое расположение?

«Я отдала старшую дочь государю Рэйдзэй в память о прошлом, надеясь хотя бы таким образом искупить свою вину перед ним. — думала она. — Мало кто одобрял мой выбор, но я притворялась, будто ничего не замечаю, и все-таки настояла на своем. И если теперь я, сама того не желая, позволю заподозрить меня в намерениях, не достойных моего почтенного возраста, мое имя будет покрыто позором». Однако она не решалась открыть дочери истинную причину своего нежелания навещать ее, и та чувствовала себя уязвленной. «Я всегда знала, что отец любил меня гораздо больше, — сетовала она. — Матушка же отдавала предпочтение сестре. Вот и во время того

спора из-за вишни она, не задумываясь, стала на ее сторону. И так бывало всегда. Неудивительно, что она и теперь пренебрегает мною».

Государь тоже не скрывал своей досады.

— Ваша матушка избегает нас, и это понятно, — говорил он. — Должно быть, ей неприятно видеть свое дитя рядом с таким стариком.

Привязанность же его к Миясудокоро умножалась день ото дня.

Прошло несколько лет, и она родила мальчика. А ведь ни одна из давно живущих рядом с государем особ не имела сыновей. «Что за счастливая у нее судьба!» — заговорили люди. Государь Рэйдзэй был вне себя от радости, он просто души не чаял в новорожденном. Лишь одно печалило его — отчего это дитя не родилось прежде, чем он отрекся от престола? Тогда бы он сумел лучше распорядиться его будущим. До сих пор его отцовские попечения сосредоточивались на Первой принцессе, теперь же у него появилось еще двое прелестных детей — редкостный дар судьбы. Преисполненный бесконечной признательности к Миясудокоро, государь окружил ее нежными заботами.

«Не слишком ли?» — подумала нёго Кокидэн, впервые ощутив укол ревности. Теперь она не упускала случая придрасться к сопернице, все чаще возникали меж ними нелады, и скоро они совершенно отдалились друг от друга. В таких случаях люди, не вникая в подробности, чаще всего становятся на сторону той из соперниц, которая пользуется в доме большим влиянием. Так бывает даже в самых ничтожных семействах. Обитатели дворца Рэйдзэй не составляли исключения — вне зависимости от их собственного положения они поспешили выказать свою преданность той, которая была связана с государем более давними узами. Используя любую возможность, они унижали и оскорбляли Миясудокоро.

— Вот видите, разве мы вас не предупреждали? — говорили ее братья матери.

— Но ведь на свете так много женщин, которые сумели без особых потрясений, спокойно прожить свой век, — отвечала эта почтенная особа, раздосадованная их упреками. — Увы, тем, кто не имеет счастливого предопределения, видно, нечего и помышлять о придворной службе.

Между тем бывшие поклонники ее старшей дочери, возвысившись, заняли весьма достойное положение в мире, так что многих из них она была бы рада принять в свой дом. Изящный юноша, которого мы называли ранее Дзидзю, был произведен в чин тюдзё, получив одновременно звание советника, сайсё, и люди превозносили его не меньше, чем Третьего принца. Только и слышно было: «Вы знаете, принц Благоуханный...», «А тюдзё Ароматный...»

И в самом деле, было в нем какое-то неизъяснимое внутреннее благородство. А с каким достоинством он держался! Ходили слухи, что многие принцы крови и министры не прочь породниться с ним, и если бы он с таким упорством не отклонял самые выгодные предложения...

— Подумать только, — вздыхала Бывшая найси-но ками, которой не преминули сообщить об этом, — вроде бы совсем недавно был зеленым юнцом, кто знал, что с годами он станет таким блестящим мужем...

Бывший куро-до-но сёсё тоже получил чин тюдзё и Третий ранг. В мире отзывались о нем весьма благосклонно.

— А уж хорош-то он так, что лучше и не бывает, — говорили дамы не без некоторого злорадства.

— Право же, чем владеть жалкое существование во дворце Рэйдзэй...

Ну как тут не пожалеть Бывшую найси-но kami?

Тюдзё Третьего ранга по-прежнему томился от тайной тоски и сетовал на судьбу. Он получил в жены дочь Левого министра, но, видно, не пришлась она ему по душе.

«Где-то в конце Восточной дороги...» (246). Задумавшись, он, сам того не замечая, то писал эти слова на листке бумаги, то произносил вслух, но вот откуда у него возникли такие мысли?

Миясудокоро, которой жизнь во дворце Рэйдзэй сделалась настолько тяжелой, что недоставало сил терпеть, большую часть времени проводила в родном доме, и Бывшая найси-но kami печалилась, видя, что ее надежды на будущее благополучие дочери оказались обманутыми.

Младшая же дочь, поступившая на службу во Дворец, наоборот, благоденствовала, люди превозносили ее благородство и прекрасные душевные качества.

Тем временем скончался Левый министр, и его место занял Правый, а Правым министром стал прежний Адзэти-но дайнагон. Другие тоже получили повышение. Тюдзё Ароматный был назначен тюнагоном, а тюдзё Третьего ранга — сайсё. Так, для этого семейства настали поистине благоприятные времена.

Среди первых, кому новый Тюнагон поспешил засвидетельствовать свое почтение, была Бывшая найси-но kami. После того как он сообразно установленному порядку совершил обряд приветствия в саду перед домом, она приняла его в своих покоях.

— Увидев, что вы не прошли мимо моих ворот, заросших густым бурьяном, я невольно вспомнила прошлое, — говорит Найси-но kami своим мелодичным, ласкающим слух голосом.

«Она словно не подвластна годам, — дивится про себя Тюнагон. — Недаром государь Рэйдзэй до сих пор чувствует себя уязвленным. Пожалуй, и сейчас можно ждать любых неожиданностей!»

— Не так уж и обрадовало меня это назначение, — говорит он, — но я счел своим долгом прежде всего посетить вас. Так стоит ли благодарить меня за то, что я не прошел мимо? Наверное, вы просто хотите попенять мне за долгое отсутствие.

— Я уже стара и в такой день не должна обременять вас своими жалобами... Но вам в вашем положении не просто навещать меня, и мы почти не видимся. К тому же я боялась показаться излишне навязчивой... Видите ли, моя дочь, прислуживающая государю имеет основания сетовать на свою участь, ее нынешнее положение весьма шатко, и она в полной растерянности. Я надеялась, что и нёго Кокидэн, и государыня-супруга будут снисходительны к ней, но, как это ни горько, обе они, по-видимому, считают ее не достойной своего расположения. Принц и принцесса по-прежнему живут во дворце Рэйдзэй. Дочь же, которой существование становится все более невыносимым, я забрала к себе, чтобы дать ей возможность хотя бы на некоторое время обрести душевный покой. Но, увы, даже это было истолковано дурно. К тому же государь недоволен ее отъездом. Я была бы вам



крайне признательна, если бы вы при случае намекнули ему на эти обстоятельства. О, я знаю, что во многом виновата сама, нельзя было упорствовать в своих честолюбивых стремлениях и проявлять такую недальновидность, но я рассчитывала на поддержку этих двух особ, доверяла им и надеялась... Ах, можно ли было предугадать...

Слышно, как горестно она вздыхает.

— Я уверен, что вы преувеличиваете, — отвечает он. — Придворная служба всегда была сопряжена с непрерывными волнениями. Но государь Рэйдзэй давно отошел от дел и живет в тишине вдали от блеска и суеты дворцовых покоев. На первый взгляд в доме его царит мир и согласие, но разве могут женщины не соперничать друг с другом? Их самолюбие способна уязвить любая безделица, на которую никто и внимания не обратит. Дамы, живущие в Высочайших покоях, всегда обидчивы до крайности. Неужели вы с самого начала не отдавали себе в этом отчета? Мне кажется, что вашей дочери лучше смириться и не мучить себя понапрасну. Во всяком случае, мне, мужчине, вряд ли стоит вмешиваться.

Он откровенно выкладывает все, что думает, и она невольно улыбается.

— Да, видно, напрасно я вас так ждала, думая — вот будет кому пожаловаться... Вы слишком легко к этому относитесь...

«Для матери семейства, которые бывают обыкновенно хлопотливы и решительны, она слишком моложава и простодушна, к тому же в ней чувствуется удивительное внутреннее спокойствие, — думает юноша. Наверное, и Миясудокоро на нее похожа. Такова и та девушка из Удзи, потому-то меня и влечет к ней...»

Юная Найси-но ками в то время тоже жила в доме матери. Покои сестер радовали взор изысканнейшим убранством. В доме царила ничем не нарушаемая тишина, и, подозревая, что за ним могут наблюдать из-за занавесей, юноша смущался больше обычного. При этом он держался со спокойным достоинством и был так хорош, что почтенная госпожа невольно пожалела, что не может заботиться о нем как о зяте.

Дом Правого министра был чуть восточнее дома Бывшей найси-но ками. Сегодня здесь готовилось праздничное пиршество, и многие молодые люди уже собрались, чтобы принять участие в приготовлениях.

Зная, что принц Хёбукё почтил своим присутствием пиршество после состязаний в стрельбе и пиршество после состязаний в сумо, которые устроил в своем доме Левый министр, хозяин выразил надежду на то, что он озарит своим сиянием и его дом, но принц не пожелал прийти.

Судя по всему, Правый министр рассчитывал предложить ему одну из своих нежно взлелеянных дочерей, а как принц почему-то не обращал на них решительно никакого внимания, министр и супруга его стали подумывать о Тюнагоне, который за последние годы, войдя в зрелый возраст, приобрел славу достойнейшего мужа столицы.

Праздничное оживление, царившее в соседнем доме, грохот подъезжающих карет, крики разгоняющих толпу передовых напомнили Бывшей найси-но ками прошлое, и она долго сидела, печально задумавшись.

— А ведь как все возмущались, когда почти сразу же после кончины прежнего принца Хёбукё его супругу стал посещать Правый министр, — говорила она дамам. — Но он, как видно, не обращал внимания на пересуды,

и люди принуждены были признать их союз. Теперь-то ее положению можно только позавидовать. Ах, как же все превратно в этом мире! И кто способен предугадать?..

На следующий день к вечеру к ней заходит Сайсё-но тюдзё, сын Левого министра. Разумеется, он знает, что Миясудокоро находится в доме матери, и сердце его трепещет.

— Увы, я не в силах радоваться даже тому, что причислен к людям достойным, — говорит он, отирая слезы. — До сих пор не могу я примириться со своим поражением, и горе мое неутешно.

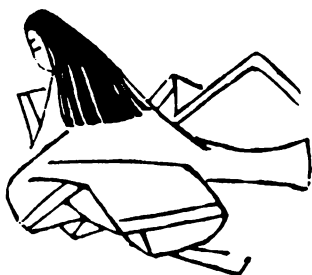
Впрочем, печаль Сайсё-но тюдзё кажется несколько преувеличенной. Ему двадцать семь или двадцать восемь лет, и яркая красота его в самом расцвете.

— Ну не стыдно ли вам? Нынешним молодым людям все достается слишком легко, вот они и живут в свое удовольствие, не придавая значения чинам и званиям. Был бы жив покойный министр, моих сыновей тоже заботили бы лишь сердечные дела.

Тут Бывшая найси-но ками заплакала. В последнее время у нее было немало причин для печали: ее сыновья — Ухёэ-но ками и Удайбэн — так и не стали государственными советниками, тот же, кого мы называли прежде То-дзидзю, получил чин то-но тюдзё, и, хотя для его возраста это было неплохо, многим его сверстникам повезло куда больше.

Сайсё-но тюдзё же и потом не упускал случая...





---

## ХРАНИТЕЛЬНИЦА МОСТА

### Основные персонажи

**Восьмой принц** — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

**Ооикими, к концу главы** — 22–24 года — старшая дочь  
Восьмого принца

**Нака-но кими, к концу главы** — 20–22 года — вторая дочь  
Восьмого принца

**Государь Рэйдзэй** — сын Фудзицубо и Гэндзи  
(официально — императора Кирицубо)

**Сайсё-но тюдзё** (Каору) — сын Третьей принцессы  
и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Третий принц, принц Хёбукё** — сын императрицы Акаси  
и императора Киндзё, внук Гэндзи

В ТЕ ГОДЫ жил немолодой уже принц, которым все пренебрегали. Мать его принадлежала к старинному роду, и когда-то на него возлагались большие надежды, но после того как времена переменились, он, отвергнутый миром, утратил былое влияние, и прежние его покровители, обманутые в своих ожиданиях, под разными предлогами отстранились от государственных дел. С тех пор ни в общественных, ни в личных начинаниях он не встречал ни в ком поддержки и принужден был жить в одиночестве, вдали от столичного блеска и суеты.

Госпожой Северных покоев в доме этого принца была дочь прежнего министра. Целыми днями она предавалась печали, сетуя на злополучную судьбу свою и с тоской вспоминая о том, какое блестящее будущее прочили ей родители. Единственным утешением несчастной была поистине беспримерная любовь принца. Право же, супруги редко бывают так привязаны друг к другу. Впрочем, было одно обстоятельство, омрачавшее их существование: много лет прожили они вместе, а детей у них не было.

— Ах, будь у нас милое дитя, — думал и говорил принц, — разве страдали бы мы так от тоски и одиночества?

Но вот наконец, когда они уже и ждать перестали, родилась у них престелстная дочь. Счастливые родители устремили на нее все свои сердечные попечения, а по прошествии некоторого времени госпожа Северных покоев снова почувствовала себя в тягости. Принц надеялся, что на этот раз судьба подарит ему сына, но, увы, опять родилась девочка. Роды проходили довольно легко, однако внезапно состояние госпожи резко ухудшилось, и она скончалась. Принц был в отчаянии: «за прошедшие годы немало горестей и бед выпало на мою долю, иногда я совершенно падал духом, не в силах более выносить своих несчастий. Единственное, что привязывало меня к жизни, — супруга милая и добрая, которую невозможно было оставить. Неужели теперь придется жить одному в этом ненавистном мире? Одному воспитывать малолетних дочерей в условиях, не сообразных моему положению. Ведь люди наверняка начнут злословить». Ему хотелось переменить обличье, но рядом не было никого, кому он мог бы вверить участь своих дочерей, поэтому он медлил, а между тем годы сменяли друг друга, девочки выросли и постепенно превратились в настоящих красавиц. Они составляли единственное утешение несчастного отца, которого годы неумолимо приближались к концу.

Младшая дочь, Нака-но кими, не пользовалась расположением домочадцев, не забывших, какие печальные последствия имело ее рождение.

— Когда б не она... — ворчали они.

Но принц хорошо помнил, что именно о младшей дочери беспрестанно помышляла его супруга в последние мгновения своей жизни, когда дыхание ее готово было прерваться. «Любите и жалеете это дитя, — говорила она. — Пусть станет она залогом...»

И, посетовав на несчастливое предопределение, он в конце концов смирился и, вспоминая, как тревожилась его супруга за судьбу младшей дочери, ласкал и баловал ее куда больше старшей. Нака-но кими была очень хороша собой, настолько, что при взгляде на нее в сердце невольно рождались самые темные предчувствия.

В старшей сестре, Ооикими, спокойный, миролюбивый нрав и душевная тонкость соединялись с благородной наружностью и изящными манерами. Она превосходила младшую сестру пленительной изысканностью черт, выдававшей ее принадлежность к высочайшему семейству.

Принц души не чаял в обеих и пестовал их как мог, но не все в его жизни складывалось так, как ему хотелось, дом постепенно приходил в запустение, приближенные, не желая мириться с безнадежностью своего положения, один за другим покидали его, и даже кормилица младшей госпожи — а надобно сказать, что горестные обстоятельства, сопутствовавшие рождению Нака-но кими, помешали принцу выбрать истинно достойную особу, — проявив душевную черствость, впрочем, не удивительную для женщины столь низкого звания, бросила девочку еще в малолетстве, поэтому принцу пришлось ухаживать за дочерью самому.

Его просторный дом был по-прежнему прекрасен, пруд и горки в саду радовали взор изяществом очертаний, но с каждым днем все заметнее становились признаки запустения, и у принца тоскливо сжималось сердце.

Надежных домоуправителей у него не было, и сад, в котором никто даже не пытался навести порядок, постепенно зарос бурьяном, папоротники «синобу», гордо зеленея, подступали к самой стрехе.

Прежде принц находил отраду в том, что вдвоем с супругой любовался весенними цветами и осенними листьями, теперь же ничто не доставляло ему утешения, и, не в силах превозмочь тоски, он старательно украшал статую Будды в домашней молельне и коротал дни в молитвах. Даже любовь к дочерям порой казалась ему досадной помехой, ибо из-за нее не мог он удовлетворить давнишнее свое желание. Впрочем, возможно, причина была скорее в его собственном предопределении... И уж тем более он и помыслить не мог о том, чтобы, по примеру других людей, взять в дом новую жену. Постепенно освобождаясь от заблуждений и суетных помыслов, принц душой сделался совершенным отшельником, после кончины супруги обычные для людей этого мира желания даже случайно не возмущали его покоя.

— Стоит ли так упорствовать? — пеняли ему домочадцы. — Ваше горе понятно, и тем не менее...

— Не век же тосковать? Пройдет время, и ваша печаль... Почему вы не хотите последовать примеру других?

— Поверьте, даже в таком унылом, заброшенном доме может стать веселее...

Многие приходили с соответствующими предложениями, стараясь возбудить его любопытство, но принц отказывался их слушать.

Свободное от молитв время он посвящал дочерям. По мере того как девочки выросли, он учил их музыке, играл с ними в «го», в «присоединение ключа» и другие несложные игры, внимательно наблюдая при этом за их склонностями.

Старшая сестра, Ооикими, всегда держалась со спокойным достоинством, обнаруживая при этом тонкий ум и разносторонние дарования. Младшая же, Нака-но кими, отличаясь робким нравом, была нежна, беспечна и простодушна. Словом, хороши были обе — каждая по-своему.

Однажды выдался ясный весенний день. Принц сидит с дочерьми на окружающей дом галерее и обучает их игре на кото. По пруду, крылом прижимаясь к крылу и беспечно побрякивая, плавают утки и еще какие-то птицы. Прежде принц никогда не замечал их, а сегодня его взгляд с завистью следит за неразлучными парами. Миловидные, изящные девочки по очереди касаются струн, и звуки, извлекаемые их прелестными пальчиками, проникают до самой глубины души, так что у старого принца то и дело увлажняются глаза.

— Одинокий селезень,  
Покинутый верной подругой,  
Плачет на берегу.  
Для чего он с птенцами остался  
В этом непрочном мире?

Ах, как грустно! — говорит он, отирая слезы.

Принц до сих пор был очень красив. Годы, отданные молитвам, иссушили его плоть, но, несмотря на чрезвычайную худобу, черты его по-прежнему благородны и прекрасны. В присутствии дочерей он надевает носы, правда

довольно мягкое, но даже небрежность, с которой он его носит, возбуждает невольное почтение в сердцах его близких.

Ооикими, тихонько придвинув к себе тушечницу, задумчиво водит по ней кистью.

— Пиши вот здесь. На тушечницах не пишут\*, — говорит принц, протягивая ей лист бумаги, и она робко, но старательно выводит знаки:

«Но почему  
Так быстро птенцы покидают  
Родное гнездо?  
Как же печальна судьба  
Этих уточек диких!»

Ничего особенного в этой песне нет, но она как нельзя лучше отвечает случаю, а потому принц находит ее весьма трогательной. Почерк Ооикими уже теперь позволяет надеяться на многое, хотя она еще не умеет соединять знаки между собой.

— Напиши и ты что-нибудь, — говорит принц, обращаясь к младшей дочери. Рядом со старшей сестрой Нака-но кими кажется совсем ребенком, да и пишет она гораздо медленнее:

«Горько рыдая,  
Ты укрыл нас крылом надежным.  
Без тебя никогда  
Не увидали бы света  
Беспомощные птенцы».

На девочках мягкие, поношенные платья, в доме почти не осталось прислужниц, способных о них заботиться, давно уже ничто не скрашивает их унылого существования, и все же обе они прелестны, и может ли отец не умиляться и не печалиться, на них глядя?

Принц держит в руке сутру и то читает ее, то подпевает дочерям. Старшая играет на бива, младшая — на кото «со». Разумеется, девочки еще слишком малы, но занимаются так усердно, что сумели достичь значительных успехов, и звуки, ими из струн извлекаемые, ласкают слух.

Рано потеряв и отца, и мать, не имея надежных покровителей, принц не смог далеко продвинуться по стезе наук. А о житейских познаниях и говорить нечего — откуда ему было их черпать? Принц отличался удивительной красотой и благородством черт, редким даже среди людей самого высокого происхождения, при этом он был простодушен как женщина, и, как знать, не потому ли постепенно исчезли неведомо куда, казалось бы, неисчерпаемые сокровища, доставшиеся ему от далеких предков, имущество, унаследованное от деда-министра? Сохранилась только многочисленная, превосходной работы домашняя утварь. Но, увы, судьба принца ни в ком не возбуждала ни участия, ни любопытства, никто не навещал к нему. Часто, желая рассеяться, он приглашал лучших наставников Музыкальной палаты и, много времени отдавая музыке, преуспел в этой области немало.

Принц приходился младшим братом покойному министру Гэндзи, прежде его называли Восьмым принцем. Еще в ту пору, когда государь Рэйдзэй занимал Весенние покои, Государыня из дворца Судзаку\* замыслила, все

перевернув на свой лад, возвысить Восьмого принца. Вовлеченный в ее козни, принц, как это ни прискорбно, отдалился от Гэндзи, а поскольку в конце концов именно потомки последнего завладели миром, оказался лишенным всякой возможности выдвинуться. К тому же, как нам уже известно, он возымел склонность к отшельничеству и сам старался держаться подальше от мирских соблазнов.

Случилось так, что дом, в котором он жил, сторел, после чего положение принца, и без того тяжелое, стало просто отчаянным. Не найдя ни одного подходящего дома в столице, он решился переехать в местечко под названием Удзи, где находилась принадлежащая ему прекрасная усадьба. При всей отрешенности своей от мира мог ли он не печалиться, когда пришла пора расстаться со столицей?

Неподалеку от его горной обители протекала река с установленными вдоль берега настилами для ловли ледяной рыбы, поэтому в доме постоянно слышался плеск воды. Так, желанного покоя он не обрел и здесь, но что было делать? Принц предавался размышлениям, любуясь весенними цветами, осенними листьями, быстрой рекой, и мысли его снова и снова устремлялись к прошлому. О, когда б любимая супруга могла разделить с ним это горестное уединение!

«И дом, и жена,  
Дымом став, растаяли в небе.  
Отчего же и я  
Не исчез вместе с ними, а здесь  
В мире унылом остался?»

Да, он так тосковал по ней, что жизнь представлялась ему совершенно бессмысленной.

В этом доме, отделенном от остального мира грядою гор, тем более никто не навещал его. Лишь низкие простолюдины и грубые дровосеки порой заходили, предлагая свои услуги. Над горными вершинами никогда не «светлел рассветный туман» (387), и дни текли нескончаемой, безрадостной чередой.

В те годы в горах Удзи жил некий монах, Адзари, известный своей святостью. Достигнув великой мудрости, он пользовался большим влиянием в мире, но даже ради участия в самых торжественных церемониях не нарушал своего горного уединения. Весть о том, что поблизости поселился принц, который, живя одиноко и замкнуто, отдает дни занятиям весьма достойным и даже пытается самостоятельно постичь тайны священных текстов, возбудила в сердце Адзари живейшее участие, и он стал время от времени навещать принца. С его помощью тому удалось глубже проникнуть в смысл давно знакомых истин, лучше понять тщету и ненадежность мирских устремлений.

— Душой-то я уже готов к тому, чтобы вознестись к лотосам, растущим в незамутненном пруду (388)\*, — признавался принц. — Право, когда б не тревога за судьбу малолетних дочерей, я бы не медлил...

Почтенный Адзари был близок с государем Рэйдзэй, коего наставлял в чтении сутр. Однажды, приехав в столицу, он по обыкновению своему зашел к государю, чтобы ответить на вопросы, касающиеся священных текстов. Вспомнив в какой-то связи принца, Адзари говорит:

— Восьмой принц достиг великой мудрости и глубоко проник в суть Учения. Я склонен видеть в этом предопределение, сложившееся еще в прошлых его рождениях. Просветленность его души настолько велика, что он кажется настоящим святым отшельником.

— Неужели принц до сих пор не переменял обличья? — удивляется государь Рэйдзэй. — Я слышал, что молодые люди называют его монахом в миру. Трогательно, не правда ли?

Случилось так, что при их беседе присутствовал Сайсё-но тюдзё. «Мне, более чем кому бы то ни было, ненавистен этот мир, — думал он, прислушиваясь к словам Адзари, — и все же я до сих пор влачу жалкое существование, не решаясь сбросить это тягостное бремя и открыто посвятить себя служению. А Восьмой принц сумел стать монахом, хотя по-прежнему живет в миру. Что руководило им?»

— О, принц давно возымел желание принять постриг, — продолжает между тем Адзари. — Но кое-какие обстоятельства... Теперь же он не решается оставить дочерей.

Порвав связи с миром, Адзари был тем не менее большим любителем музыки, а потому не преминул добавить:

— Ах, вы и вообразить не можете, как прекрасно играют его дочери на кото! Звуки их струн спорят с плеском волн в реке, кажется, будто попал в землю Вечного блаженства!

Государь улыбается, слушая его восторженные, немного старомодные похвалы.

— Удивительно! Казалось бы, девицы, воспитывающиеся в доме отшельника, не должны быть искушены в мирских делах, — говорит он. — Значит, принц боится оставить дочерей? Как же он должен страдать, несчастный! Может быть, он согласится доверить их мне? Если, разумеется, я задержусь в этом мире дольше, чем он...

Государь Рэйдзэй прежде назывался Десятым принцем. Вспомнив о Третьей принцессе, которой участь была некогда вверена покойному министру с Шестой линии, он подумал, что неплохо было бы убедить принца последовать примеру государя Судзаку. Юные дочери принца, несомненно, составят утешение его старости...

А мысли Сайсё-но тюдзё устремляются совершенно в иную сторону. «Вот бы встретиться с Восьмым принцем и самому убедиться, сколь велика просветленность его души!» И когда Адзари собрался уходить, Сайсё-но тюдзё задерживает его.

— Не соблаговолите ли вы намекнуть при случае принцу, — просит он, — что я хотел бы посетить его и кое о чем расспросить?

В свою очередь, Государь велит передать Восьмому принцу следующее:

— Я был искренне растроган, услышав о том, как вы живете...

Мирская тщета  
Наскучила, сердце стремится  
К горным вершинам.  
Но не ты ли мне путь преградил  
Восьмислойной грядой облаков?

Сопутствуемый гонцом государя Рэйдзэй, Адзари поспешил в Удзи.



В этой горной глуши даже гонцы от особ невысокого ранга редкие гости, поэтому принц, чувствуя себя польщенным, устроил высочайшему посланцу любезный прием, не преминув попотчевать его самыми достопримечательными местными лакомствами.

«С миром тщеты  
Не все еще порваны связи,  
Не очистилось сердце,  
Хоть и нашел пристанище  
На горе Отвращения от мира...» (389) —

нарочно стараясь умалить свое значение, ответил принц, и, прочитав его письмо, государь подумал с жалостью: «Да, видно, не все обиды забыты...»

— Господин Сайсё-но тюдзё действительно просил меня передать вам, что мечтает проникнуть в тайны Учения, — говорит меж тем Адзари Восьмому принцу. — По его словам, эта мечта с малолетства поселилась в его сердце, хотя, к сожалению, он так и не сумел осуществить ее и продолжает жить в суетном мире, отдавая все свое время государственным и личным делам. «Человек я незначительный, — говорит он, — и вряд ли кто-то стал бы мне препятствовать, решишь я отвернуться от мира и в уединении изучать священные тексты. Но слишком многое отвлекает меня, и я не нахожу в себе довольно твердости...» Возможно, рассказ мой о вашей удивительной, достойной восхищения жизни и побудил его обратиться именно к вам...

— Обыкновенно люди начинают понимать, что этот мир — не более чем временное пристанище, — отвечает принц, — когда на них обрушивается беда. Именно тогда в их сердцах начинает расти досада на весь мир, и возникает желание вступить на путь Учения. А этот человек, насколько я понимаю, еще молод, мир подвластен его воле, и вряд ли ему чего-то не достает... В таком положении находясь, редко кто предается думам о грядущем. Для меня этот шаг был естественным, ибо моя жизнь складывалась так, будто какие-то высшие силы нарочно хотели внушить мне ненависть к миру. В конце концов мне удалось обрести душевный покой, но боюсь, что жить мне осталось уже немного, и я уйду, так и не успев достигнуть своей цели, не успев проникнуть ни в прошедшее, ни в грядущее. Так что не учеником может он стать мне, а товарищем, по одному со мной пути идущим, да еще и способным меня самого посрамить.

Между принцем и Сайсё-но тюдзё завязалась переписка, и скоро юноша приехал в Удзи.

Картина, представшая его взору, оказалось куда более печальной, чем рисовалось по рассказам Адзари. Дом напоминает травяную хижину — временный приют странника, убранство же его состоит из самых необходимых вещей. Обычно в горах бывает немало живописных, тихих уголков, но здесь режут бурные горные потоки, шумят волны, не давая отвлечься от печальных дум, а ночью так неистово завывает ветер, что невозможно и на миг забыться сном. Вполне подходящее пристанище для человека, стремящегося стать монахом и разорвать связи с миром. Вот только как живет здесь его юным дочерям? Остается предположить, что они грубы и бесчувственны — словом, совершенно не похожи на обычных женщин.

Молельня отделена от жилых покоев лишь тонкой перегородкой, более легкомысленный юноша наверняка попытался бы воспользоваться преимуществами своего положения и войти с девушками в более короткие отношения. Нельзя сказать, чтобы Сайсё-но тюдзё не испытывал никакого волнения, но ему удалось справиться с ним. В самом деле, разве он приехал сюда не для того, чтобы освободиться от гнета суетных помышлений? Стоит ли, забыв обо всем и поддавшись новому соблазну, позволять устам своим произносить недостойные речи? Право же, у него совершенно иные намерения.

Смиренный облик принца возбудил искреннее участие в сердце Сайсё-но тюдзё, и он стал часто бывать в Удзи. Как он и предполагал, этот «монах в миру» оказался прекрасным наставником, ибо, не подавляя юношу своей мудростью, помогал ему проникнуть в великие тайны горных вершин, постичь смысл священных текстов. В мире немало людей, которые ведут отшельнический образ жизни, много мудрых наставников, но в присутствии достопочтенных священнослужителей высших рангов невольно робеешь, к тому же у них никогда нет досуга, они весьма суровы и их не всегда удобно расспрашивать о сокровенном. Остальные ученики Будды, незаменимые, когда речь идет о соблюдении различных предписаний и установлений, слишком невежественны, косноязычны, а зачастую просто грубы. К тому же днем Сайсё-но тюдзё был занят во Дворце и совершенно не имел досуга, а не станешь ведь приглашать такого монаха к себе в дом вечером для тихой беседы? В принце же благородство сочеталось с величайшим смирением, самые сложные положения Учения он умел разъяснить, используя простые, всем доступные примеры. Возможно, его просветленность и не была столь уж велика, но благородный человек всегда быстрее других проникает душу вещей. Так или иначе, Сайсё-но тюдзё день ото дня все более привязывался к своему наставнику и тосковал, когда придворные обязанности мешали ему навещать его.

Видя, с каким почтением относится юноша к Восьмому принцу, государь Рэйдзэй тоже стал часто писать к нему, и в печальной, всеми забытой горной обители начали появляться люди.

Государь Рэйдзэй время от времени изъяснял свое благоволение богатыми дарами, а уж Сайсё-но тюдзё тем более старался использовать любую возможность, дабы обеспечить принца всем необходимым и для торжественных случаев, и для повседневной жизни. Так прошли три года.

В исходе осени, когда настала пора возносить очередные хвалы будде Амиде\*, принц переехал в молельню того храма, где жил Адзари, ибо начался лов ледяной рыбы, и в его жилище сделалось слишком шумно. Там он намеревался провести семь дней.

Без него девушки совсем приуныли и коротали дни в тоскливом бездействии. Как раз в это время Сайсё-но тюдзё вспомнил, что давно уже не навещал принца, и однажды, когда ночь была еще темна, и на небе висела светлая луна, тайно отправился в Удзи, взяв с собой лишь несколько приближенных. Усадьба принца находилась на том берегу реки, который был ближе к столице, а поскольку это позволяло избежать трудностей, связанных с переправой, Сайсё-но тюдзё поехал верхом. Чем дальше в горы, тем плотнее становился туман, дороги почти не было видно, и он пробирался

прямо сквозь заросли. Яростные порывы ветра срывали с деревьев листья, и от холодной росы платье его промокло до нитки. Впрочем, мог ли он кого-то винить? Ему редко приходилось бывать в таких местах, унылых и по-своему прекрасных.

Горным ветрам  
Не в силах противиться, падает  
С листьев роса.  
Но, право, еще быстрее  
Падают слезы из глаз.

Опасаясь, что крики передовых могут разбудить местных жителей, он призвал своих спутников к молчанию. Дорога вела их мимо бедных изгородей из хвороста, через неизвестно откуда текущие ручьи. Сайсё-но тюдзё старался производить как можно меньше шума, но благоухание, исходившее от его платья, скрыть было нельзя, и, когда ветер разносил его по сторонам, люди просыпались, изумленные: «Кто там в лугах...» (245).

С каждым шагом все явственнее слышались тоскливые звуки струн, но на каком инструменте играли, различить было невозможно.

От Адзари юноша знал, что принц часто музицирует вместе с дочерьми, однако до сих пор ему не приходилось слышать даже, как принц играет на своем знаменитом китайском кото. «Вот и повезло наконец!» — подумал он, въезжая во двор. Теперь ясно слышно, что играют на бива. Мелодия в тональности «одзики» не представляет собой ничего особенного, но юноше — то ли из-за непривычной обстановки, то ли по какой другой причине — кажется, что он никогда не слышал ничего подобного. Даже звуки, издаваемые плектром при его обратном движении, поражают необыкновенной чистотой и яркостью.

В паузах слышны проникающие до глубины души нежные звуки кото «со».

Сайсё-но тюдзё останавливается, стараясь держаться в тени, ему хочется слушать еще и еще, но его все-таки замечает один из сторожей — грубый, неуклюжий старик.

— Господин принц изволил уехать в храм, — говорит он, приблизившись. — Я немедленно сообщу ему.

— Для чего? Стоит ли отрывать его от службы, срок которой и без того близится к концу? Передай лучше барышням, что я промок от росы и весьма сожалею о том, что принужден возвращаться, так и не увидевшись с принцем. Одно слово участия, и я почувствую себя вполне вознагражденным.

— Передам тотчас, — ослабившись, отвечает сторож и поворачивается, чтобы уйти, но Сайсё-но тюдзё останавливает его.

— Ах нет, постой! Мне говорили, что дочери принца прекрасные музыкантши, и я всегда мечтал... Дождусь ли я другого такого случая? Нельзя ли мне спрятаться где-нибудь и еще немного послушать? Слишком досадно своим неожиданным вторжением прерывать их игру...

Лицо юноши, благородство его манер не могли не очаровать даже этого невежественного простолюдина...

— Когда никто не слышит, барышни готовы играть целыми днями, — отвечает он. — Но стоит приехать кому-нибудь из столицы, даже человеку

самого низкого звания, они ни за что не дотронутся до кота. Господин принц изволит скрывать, что дочери живут вместе с ним, он не желает, чтобы в мире об этом мир узнали...

— Станный способ скрывать, — улыбается в ответ Сайсё-но тюдзё. — Весь мир только и говорит что о редкостной красоте дочерей принца. Так или иначе, я надеюсь на твою помощь. Я не из тех, кто в угоду собственным прихотям готов на любое безрассудство. В этом можешь быть уверен. Но невольно предполагаешь какую-то особенную прелесть в женщинах, живущих в подобном месте.

— Ах, я не смею! — говорит сторож. — Меня станут бранить.

Все же он показывает юноше дорогу к стоящему особняком и отделенному от остального дома бамбуковой изгородью флигелю. Спутников гостя сторож проводит на западную галерею, где выставляет для них угощение.

Приоткрыв калитку, за которой угадываются жилые покои, Сайсё-но тюдзё заглядывает внутрь. Дамы, высоко подняв занавеси, любуются прекрасной, плывущей сквозь туман луной. У самых перил сидит, дрожа от холода, худенькая девочка-служанка в мятом, поношенном платье, а рядом — взрослая дама, одетая ничуть не лучше. Перед девушкой, сидящей в глубине покоев и наполовину скрытой столбом, лежит бива, она задумчиво вертит в руке плектр. Как раз в этот миг луна, внезапно выплыв из-за туч, ярким сиянием озаряет сад.

— Видишь, луну можно приманить не только веером\*, но и плектром, — говорит девушка, обратив к луне лицо, пленяющее яркой, свежей красотой. Рядом, склонившись над кото, сидит ее сестра.

— Я слышала, что однажды плектром пытались выманить скрывшееся солнце, — улыбаясь, отвечает она. — Но ты, как видно, хочешь найти ему иное применение.

Светлое спокойствие дышит в ее тонких, благородных чертах.

— Возможно, у меня ничего и не выйдет, но вряд ли ты станешь утверждать, что плектр не имеет к луне решительно никакого отношения\*.

Так болтают они о разных пустяках, и Сайсё-но тюдзё совершенно очарован. Он и помыслить не мог, что у принца такие прелестные дочери. В старинных повестях, которые иногда читают в его присутствии молодые дамы, часто описываются подобные случаи, но Сайсё-но тюдзё всегда относился к ним с недоверием, полагая, что в действительности такого не бывает. «Значит и в нынешние времена в никому не ведомой глуши можно встретить таких очаровательных особ», — подумал он. Дочери принца явно возбудили его любопытство.

К сожалению, из-за густого тумана трудно разглядеть как следует... «Ах, вот если бы луна выглянула еще раз...» — вздыхает Сайсё-но тюдзё, но тут кто-то входит в покои и, очевидно, сообщает сестрам, что в доме чужие, — во всяком случае, занавеси опускаются и все скрываются внутри. При этом девушки не обнаруживают ни малейшего замешательства, в их неспешных, полных достоинства движениях столько изящества, что Сайсё-но тюдзё чувствует себя окончательно плененным. Все произошло так быстро и незаметно, что он не услышал даже шелеста платьев.

Тихонько отойдя от изгороди, он отправляет в столицу гонца с просьбой прислать за ним карету.



— Жаль, что принца нет дома, — говорит он все тому же сторожу. — Но я рад, что сумел, наконец, удовлетворить свое любопытство. Передай барышням, что я здесь. Может мне удастся хотя бы пожаловаться им на то, что промок до нитки...

И сторож послушно отправляется к сестрам.

У девушек и мысли не было, что Сайсё-но тюдзё их видел, их волновало другое — не подслушал ли он случайно их разговор? Они припомнили, что в какой-то миг ветер донес до них неизъяснимо сладостное благоухание, на которое они не обратили внимания, полагая, что в столь поздний час... «Непростительная неосторожность!» — досадовали они теперь, не зная, куда деваться от стыда.

Посланец Сайсё-но тюдзё явно не имел опыта в подобных делах, поэтому, рассудив, что все хорошо в свое время — юноша под прикрытием тумана прошел к занавесам и сел перед ними. Дамы весьма провинциальной наружности, не сразу сообразив, что ему сказать, неумело захлопотали, устраивая для него сиденье.

— Вы должны понять, насколько обидно оставаться мне здесь, перед занавесами, — с важным видом говорит юноша. — Подумайте о крутых горных тропах. Разве приехал бы я сюда, будь мои чувства мелки и случайны? Такого приема я не ожидал. Впрочем, смею надеяться, что в будущем, после того как много раз пройду я по этой росистой тропе, вы поймете...

Увы, среди молодых дам не нашлось ни одной, способной достойно ответить ему. Видя, что все они едва живы от смущения, девушки попытались разбудить даму постарше, отдыхавшую во внутренних покоях, но на это тоже потребовалось время, в конце концов, опасаясь, что промедление произведет на гостя дурное впечатление, Ооикими ответила сама.

— А стоит ли притворяться понимающими, когда слишком многое в этом мире еще недоступно нашему пониманию? — говорит она.

Голос у нее благородный, но такой тихий, что Сайсё-но тюдзё едва разбирает слова.

— Чаше бывает так, что люди, пониманию которых многое доступно, предпочитают делать вид, будто ведать не ведают о горестях этого мира. Досадно, что и вы не хотите говорить искренно. Вам посчастливилось жить рядом с человеком, которого душа «ясна и невозмутима» (390), и я предполагал в вас большую проницательность, во всяком случае думал, что вы способны понять мелки или нет чувства, которые я с скрываю с таким трудом. Не считайте меня обычным повесой. Некоторые стараются нарочно пробудить во мне суетные желания, однако я достаточно тверд, чтобы противостоять им. Надеюсь, вы еще об этом услышите. Но жизнь моя одинока и тосклива. Я почти за счастье, если вы согласитесь иногда беседовать со мной о делах этого мира. Быть может, это скрасит и ваше унылое существование.

Смущенная такими речами, Ооикими не знает, что и отвечать. Тут появляется пожилая дама, которую наконец удалось разбудить, и девушка поручает ей вести разговор. Дама же оказывается особой весьма бесцеремонной.

— Какое неуважение! — громко возмущается она. — Неужели нельзя было выбрать для такого гостя место получше? Следовало ввести его за занавеси. Эти молодые дамы ничего не смыслят в приличиях.

От ее резкого, старческого голоса, сестры конфузятся еще больше.

— Где это видано? — продолжает она весьма развязным тоном. — С нашим господином никто уже не считается, никому до него нет дела, никто не приезжает сюда его навестить, хотя многим это можно было бы вменить в обязанность. Вы же так добры к нему, что даже мое глупое сердце преисполнено благодарности. Разумеется, барышни тоже все понимают, просто они слишком робки и не решаются сказать...

Такая бесцеремонность удивила гостя, но в остальном дама показалась ему вполне достойной особой.

— Рад это слышать, — отвечает он. — А то я совсем было пал духом. Какое счастье, что можно надеяться на понимание!

Дама тихонько выглядывает из-за занавеса. Близится утро, и очертания предметов уже ясно различимы. Сайсё-но тюдзё сидит, облокотившись на скамеечку-подлокотник, одет он довольно скромно, его охотничье платье совершенно промокло от росы, и воздух напоен удивительным, словно не принадлежащим этому миру ароматом. Старая женщина раздражается рыданиями.

— О, я так боялась, что вы сочтете меня просто дерзкой старухой, — с трудом выговаривает она. — Потому и молчала до сих пор, хотя все эти годы жила надеждой, что когда-нибудь мне представится случай рассказать вам эту печальную старую историю, или хотя бы намекнуть... Я молилась об

этом, и не потому ли судьба оказалась ко мне благосклонной? Как я рада, что наконец... Но, увы, свет меркнет в глазах, и я не могу говорить...

Она вся дрожит и невозможно смотреть на нее без сострадания. Сайсё-но тюдзё знал, что пожилые люди слезливы, но не до такой же степени!

— Я уже столько раз бывал здесь, — говорит он, — но ни от кого не слышал и слова участия и в одиночестве пробирался по росистым тропам. Что за счастливый случай! Говорите же все, ничего не скрывая.

— О да, такого случая мне больше не дожидаться. Да и кто знает, сколько мне еще осталось жить? В моем возрасте нельзя быть уверенным, что доживешь до утра. Так что медлить не стоит. Будет лучше, если вы все-таки узнаете о моем существовании... До меня дошел слух, что скончалась женщина по имени Кодзидзю, которая прислуживала когда-то в доме на Третьей линии. Увы, многие из тех, кто был близок мне в дни моей молодости, покинули уже этот мир. На склоне лет оставшись одна, я переехала из далекой провинции в столицу и, воспользовавшись старыми связями, поступила на службу к Восьмому принцу. Это было пять или шесть лет тому назад. Разумеется, вы об этом не знали. Но, может быть, вам случалось слышать о старшем брате нынешнего Адзэти-но дайнагона, который скончался, имея звание Уэмон-но kami? Сколько долгих лет прошло со дня его кончины, а мне кажется, что это было только вчера, и даже рукава не успели просохнуть... А между тем я могу сосчитать по пальцам все эти годы, промелькнувшие мимолетным сном. Вот и вы уже выросли и стали важным вельможей.

Да... Так вот, кормилицей покойного Уэмон-но kami была моя мать. Меня же называли тогда госпожой Бэн. Я тоже удостоилась чести прислуживать господину Уэмон-но kami и весьма к нему привязалась. Мое положение в доме было совершенно ничтожным, но очень часто именно мне он открывал чувства и мысли, зарождавшиеся в его душе. Однажды, когда господин сделался так слаб, что в исходе болезни можно было не сомневаться, он изволил призвать меня к своему ложу и изъявил последнюю волю. Кое-что из сказанного им я почитаю долгом довести до вашего сведения, вот только... Да, пожалуй, больше я пока ничего не скажу, а если вы пожелаете узнать подробности, я продолжу свой рассказ в другой раз, когда обстановка будет более благоприятной. Теперь это не совсем удобно, вот и молодые дамы уже переглядываются, полагая, что я веду себя неприлично, проявляя такую болтливость. Что ж, они правы.

И женщина замолкает.

Сайсё-но тюдзё был потрясен. Уж не бредит ли она? Или подобно вещунье-прорицательнице, произносит слова, не зависящие от ее собственной воли? Но женщина явно говорила именно о том, что давно уже было предметом его мучительных сомнений, поэтому ему страстно хотелось услышать ее рассказ до конца. Однако они, действительно, были не одни и, дабы не возбуждать подозрений... К тому же, едва встретившись, всю ночь слушать разные старинные истории, это тоже, наверное, слишком...

— К сожалению, я мало что понял, но невозможно без сердечного волнения слушать о делах далекого прошлого. Вы обязательно должны рассказать мне все до конца. Но туман рассеивается, а я слишком дурно одет, чтобы показываться благородным особам. Поэтому, к моей величайшей досаде, я принужден покинуть вас.

Он поднимается, собираясь уходить, и как раз в этот миг до слуха доносится негромкий колокольный звон. Звонят в том самом храме, где сейчас находится принц, а окрестности все еще тонут в густом тумане. Над вершинами нависают грядой восьмислойные тучи (392) и многое мешает взору души туда проникнуть (391). Сердце невольно сжимается от жалости, когда думаешь о том, сколь печально существование дочерей принца! Коротать дни в тоске и унынии — только это им и остается... И стоит ли удивляться тому, что они так робки?

— В предутренней мгле  
Не видно дороги в столицу.  
Туманом густым  
Сокрыта от взора вершина  
Горы Маки-но-о.

Как все это грустно... — Гость медлит в нерешительности. Даже ко всему привычные жители столицы и те восхитились бы, увидев его в этот миг, а уж о здешних дамах и говорить нечего. Судя по всему, они не способны даже передать ему ответ, поэтому Ооикими, как ни велико ее смущение, снова отвечает сама:

— Тучи клубятся  
Над вершиной, круты и опасны  
Горные тропы.  
А теперь еще их завесил  
Густой осенний туман.

Невольный вздох срывается с ее губ, и Сайсё-но тюдзё растроган не на шутку. В этой горной местности нет ничего изысканного, достойного его взора, но поскольку его сердце действительно преисполнено жалости... Однако небо постепенно светлеет, и, не желая, чтобы его увидели при ярком свете, он говорит:

— Теперь мне еще тяжелее... Слишком многое осталось недосказанным. Может быть потом, когда мы лучше узнаем друг друга, я выскажу вам все свои обиды... Мне бы не хотелось только, чтобы вы принимали меня за обычного искателя приключений. Да, откровенно говоря, я рассчитывал на большее понимание...

Перейдя на западную галерею, где сторож разместил его спутников, Сайсё-но тюдзё некоторое время сидит там, любуясь окрестностями.

— Слышите, как шумят рыбаки на настилах? — переговариваются между собой его телохранители, как видно, понимающие толк в рыбной ловле. — Уж очень недовольный у них вид! Видно, и рыба сюда не заходит.

Рыбаки же занимаются повседневными своими трудами: собирают хвост, грузят его в утлые челны и снуют в них по реке — туда, обратно... Глядя, как волны подбрасывают их ненадежные суденышки, Сайсё-но тюдзё невольно вздыхает: «Да, если подумать, всем людям достается один и тот же удел в этом изменчивом мире. Величайшее заблуждение полагать, что я наслаждаюсь покоем в драгоценных хоромах, а не качаюсь на волнах точно так же, как эти жалкие рыбаки...»

Приказав принести тушечницу, он пишет:



«Мне вдруг открылись  
Чувства девы-хранительницы  
Моста Удзи.  
И рукава намокли  
От брызг, летящих с шеста... (393, 394).

Представляю себе, как тоскливо Вам теперь...»

Письмо это Сайсё-но тюдзё вручил все тому же сторожу, который поспешил отнести его сестрам. Старик дрожал от холода и был весь покрыт гусиной кожей. Ооикими боялась, что благовония, которыми пропитала она свое послание, покажутся гостю слишком простыми, но, поскольку в таких случаях ценится прежде всего умение ответить быстро...

«На переправе Удзи  
Снует лодка туда и обратно  
Целыми днями,  
И рукава у лодочника  
Совсем истлели от брызг.

Увы, и сама я “на волнах качаюсь...”» (394) — написала она изящным почерком, и мог ли Сайсё-но тюдзё остаться равнодушным?

«Да она — само совершенство!» — невольно подумал он.

Тут ему сообщили, что из столицы прибыла карета, и, позвав сторожа, Сайсё-но тюдзё сказал:

— Я непременно навещу вас снова, когда вернется принц.

Сбросив с плеч мокрое платье, он поднес его старику, а сам облачился в привезенное из столицы носи.

С тех пор мысли Сайсё-но тюдзё то и дело возвращались к рассказу старой Бэн. Не мог он забыть и дочерей принца, которых красота превзошла его ожидания. «Сколь все же трудно отказаться от мира», — думал он, чувствуя, что решимость его значительно поколебалась. Разумеется, он не преминул написать к ним.

Не желая, чтобы послание походило на любовное, Сайсё-но тюдзё выбрал лист толстой белой бумаги и долго подбирал кисть. Почерк его безупречен.

«К моему величайшему сожалению, я не успел сказать Вам всего, что хотел, опасаясь показаться слишком дерзким. Смею надеяться, что Вы отнесетесь благосклонно к моей просьбе и согласитесь принимать меня без особых церемоний. С нетерпением буду ждать того дня, когда Ваш почтенный отец вернется из горной обители, может быть, к тому времени рассеется и этот унылый туман...»

Да, письмо было написано весьма сдержанно. Отвезти его Сайсё-но тюдзё поручил человеку по прозванию Укон-но дзо, наказав: «Разыщи ту старую даму и вручи ей!»

Представив себе дрожащую от холода фигуру старика сторожа, Сайсё-но тюдзё послал ему несколько шкатулок с разными лакомствами.

На следующий день он отправил гонца и в горную обитель, вручив ему множество свертков шелка и вату. «В пору осенних бурь живущим в горах монахам приходится особенно тяжело, — подумал он. — К тому же принц должен достойно вознаградить их».

В самом деле, в то утро как раз кончались службы, и принц смог оделить шелками, ватой и монашескими одеяниями всех участвовавших в обрядах монахов.

Сторож же, едва Сайсё-но тюдзё уехал, поспешил облачиться в подаренные ему одежды: великолепный охотничий кафтан и нижнее платье из белого узорчатого шелка, но его непривлекательная наружность, которую переменить было, увы, невозможно, составляла столь резкую противоположность с этим прекрасным, упоительно благоухающим нарядом, что никто не мог равнодушно пройти мимо: одни громко восхищались, другие не менее громко бранились. Так что старик и сам был не рад подарку, тем более, что, куда бы он ни пошел, к нему тотчас устремлялись все взоры. Раздосадованный, он попытался уничтожить запах, возбуждающий всеобщее любопытство, но тщетно — запах оказался таким стойким, что его не удалось даже смыть.

Сайсё-но тюдзё был в восторге от изящного и вместе с тем искреннего ответа Ооикими. Разумеется, дамы не преминули рассказать принцу о полученном письме и даже показали ему его, но он ничуть не удивился.

— А что здесь такого? Только вряд ли господину Сайсё-но тюдзё понравится, если вы станете обращаться с ним как с обычным поклонником. Ведь он не похож на нынешних молодых людей. Однажды я позволил себе намекнуть ему, что, мол, когда меня не станет... Вот он и запомнил.

Принц поспешил отправить Сайсё-но тюдзё письмо с изъявлениями благодарности за дары, которых оказалось слишком много для горной обители, и тот подумал, что неплохо было бы снова съездить в Удзи. Вспомнив, что Третий принц давно уже мечтает о том, как бы встретить где-нибудь в горной глуши никому не ведомую прелестную особу, он решил возбудить его любопытство и вот как-то тихим вечером зашел к нему.

Сначала беседа их шла по привычному руслу, потом в какой-то связи Сайсё-но тюдзё упомянул о принце из Удзи и подробно описал тот рассвет, когда случай помог ему... Принц Хёбукё слушал внимательно, не скрывая волнения. Довольный тем, что его ожидания оправдались, Сайсё-но тюдзё продолжил свой рассказ, чтобы уже наверняка поразить воображение друга.

— Почему же ты не показал мне ее письма? — пеняет ему принц. — Я бы на твоём месте...

— Разумеется, вы бы на моем месте... Странно только, что до сих пор я не видел ни одного из полученных вами писем, а ведь их, я знаю, немало. Впрочем, я хорошо понимаю, что не мне, жалкому затворнику, становиться полновластным владельцем того горного жилища, и хотел непременно показать его вам. Вот только как вам удастся выехать туда? Ведь в нашем мире лишь такие ничтожные особы как я, свободны в любовных похождениях. Должен вам сказать, что, путешествуя по столь глухим уголкам, можно и в самом деле встретить немало примечательного. Бывает, что где-нибудь в горной глуши в печальном уединении живет, таясь от чужих глаз, особа, в определенном смысле вполне достойная внимания. Признаюсь, раньше я относился к дочерям принца с некоторым предубеждением и даже никого о них не расспрашивал, полагая, что женщины, живущие в доме отшельника, наверняка грубоваты. Но если меня не обманул тот неясный предутренний свет, их красота безупречна. И внешность и манеры — лучшего и желать нечего.

Рассказ о девушках из Удзи ни на шутку заинтересовал принца Хёбукё и возбудил в душе его что-то вроде ревности. Дочери Восьмого принца должны быть истинно прекрасны, если даже Сайсё-но тюдзё, увидев их, лишился покоя.

— О, прошу тебя, узнай о них побольше! — просит принц, стгорая от нетерпения и кляня свое высокое звание, мешающее ему произвольно располагать собой.

— Разумно ли так волноваться из-за женщин? — отвечает Сайсё-но тюдзё, дивясь его пылкости. — По-моему, мир не стоит того, чтобы связывать себя с ним хотя бы ненадолго. Потому-то я и бегу всех привязанностей, даже ни к чему, казалось бы, не обязывающих. Я не вправе потворствовать своим прихотям, если они ставят под угрозу осуществление моего главного замысла.

— По-моему, ты слишком много на себя берешь, — смеется принц. — Не довольно ли высокопарных проповедей? Посмотрим, что ты потом скажешь.

Между тем Сайсё-но тюдзё не мог забыть слов, оброненных старой прислужницей, безотчетная печаль владела его сердцем, и прекраснейшие, совершеннейшие из женщин не способны были его взволновать.

Но вот настала Десятая луна, и на Пятый или Шестой день Сайсё-но тюдзё снова собрался в Удзи.

— Сейчас самое время, чтобы посмотреть на лов ледяной рыбы, — напоминают его приближенные.

— Но стоит ли нам, ничтожным мотылькам, услаждать свои взоры ловлей рыбы? — возражает Сайсё-но тюдзё. — Кто знает, чей век короче?

И решительно отказавшись от пышной свиты, он выехал налегке в простой карете с плетеным верхом, облаченный в скромное, без узоров платье, сшитое нарочно для этого случая.

Радостно встретив дорогого гостя, Восьмой принц принялся потчевать его местными лакомствами. Когда же наступил вечер, они устроились возле светильника и до утра не смыкали глаз, слушая, как сам Адзари, которого нарочно пригласили ради такого случая, толковал особенно сложные места из прочитанных ранее текстов.

С реки налетает холодный ветер, срывает листья с деревьев, все вокруг — шелест листьев, плеск воды рождает в душе даже не печаль, а глубокое уныние. «Скоро рассвет», — подумал Сайсё-но тюдзё и, невольно вспомнив свой прошлый приезд сюда, постарался перевести разговор на музыку, очарованию которой так подвластно человеческое сердце.

— В прошлый раз, когда я блуждал в предрассветном тумане, — говорит он между прочим, — до слуха моего донеслась какая-то прекрасная мелодия. К сожалению, она слишком быстро оборвалась, и с тех пор я только и помышляю о том, как бы услышать ее всю до конца.

— О, меня давно уже не волнуют ни краски, ни ароматы этого мира, — отвечает принц, — и я забыл все слышанные прежде мелодии.

Тем не менее он велит дамам принести китайское кото.

— Теперь мне не пристало... Но если бы кто-нибудь начал, может, и я бы вспомнил и сумел подыграть, — с этими словами он предлагает гостю бива.

Взяв инструмент, Сайсё-но тюдзё настраивает его.

— Неужели именно это бива я случайно услышал тогда, на рассвете? Не верится! Я еще подумал: «Вот что значит хороший инструмент, совсем другое звучание...» — говорит он, не решаясь играть.

— Не стоит смеяться над нами, — смущается принц. — Да и от кого мои дочери, живущие в этой глуши, могли перенять приемы, достойные вашего слуха?

Принц пробегает пальцами по струнам, и они поют так трогательно и так печально, что у Сайсё-но тюдзё невольно сжимается сердце. Впрочем, не оттого ли, что пению струн вторит шум ветра в кронах горных сосен?

С нарочитой неуверенностью принц начинает наигрывать весьма приятную мелодию, но тут же откладывает кото.

— Иногда до меня долетают звуки кото «со», слишком прекрасные для такой глуши, — говорит он. — Я всегда радуюсь, думая — ну вот, разве не достигли мои дочери высокого мастерства? А ведь я давно уже не обращаю внимания на их обучение. Они играют так, как велит им сердце, и только речные волны вторят им. Впрочем, вряд ли им удалось усвоить мелодии, достойные слуха истинного ценителя.

Тем не менее он просит дочерей сыграть для гостя.

— О нет, — пугаются они. — Довольно и того, что господин Сайсё-но тюдзё подслушал нас в то утро...

Сконфузившись, обе отказываются играть. И как ни настаивает принц, уговорить их, к величайшему разочарованию Сайсё-но тюдзё, так и не удастся. «Боюсь, что они могут показаться гостю дурно воспитанными провинциалками», — смущается принц.

— Я растил дочерей один, — признается он, — стараясь, чтобы никто не узнал об их существовании. Но жить мне осталось немного. Не сегодня завтра... Меня беспокоит, что дочери, у которых вся жизнь впереди, останутся одни и принуждены будут влачить жалкое существование. Именно это и мешает мне отречься от мира.

Сердце Сайсё-но тюдзё сжимается от жалости к нему.

— Я не вправе принимать на себя обязательства, которые позволили бы мне открыто покровительствовать этим юным особам, — отвечает он. — Но я почту за счастье, если они согласятся без церемоний обращаться ко мне за помощью. Не знаю, надолго ли я задержусь в этом мире, но, пока я жив, ваши дочери не останутся непризнанными.

— О, вы и вообразить не можете, как я вам благодарен, — радуется принц.

Утром, после того, как принц удалился для молитв, Сайсё-но тюдзё призвал к себе ту старую даму, с которой он разговаривал в прошлый раз. Ее называют госпожа Бэн, и она прислуживает дочерям принца. Лет ей чуть меньше шестидесяти, но в ней чувствуется определенное благородство, да и держится она с достоинством.

Обливаясь слезами, госпожа Бэн рассказывает гостю о том, как покойный Уэмон-но ками от тоски занемог тяжелой болезнью, которая в конце концов и оборвала его жизнь. Увы, эта старинная история так печальна, что даже человек, не имеющий к ней никакого отношения, не мог бы слушать ее без волнения, а уж Сайсё-но тюдзё... Долгие годы жестокие сомнения терзали его душу, и, не имея средств проникнуть в эту тайну, он молил Будду,

чтоб тот просветил его. Неужели его молитвы, наконец, услышаны? Странный случай привел его сюда и он услышал трогательно-печальный рассказ о далеком прошлом. «Уж не снится ли мне все это?» — подумал он и слезы потоком хлынули из глаз.

— Наверное еще живы люди, которые помнят те времена, — говорит он. — Какая невероятная и какая постыдная история! Может, она известна не только вам, и найдутся люди, готовые сделать ее достоянием потомков? Правда, до сих пор мне ни разу не приходилось об этом слышать.

— Никто, кроме Кодзидзю и меня, об этом не знает, — плача, отвечает дама. — Мы же молчали. При всей незначительности своего положения я удостоилась чести быть самой близкой прислужницей господина Уэмон-но ками. Я не отходила от него ни днем, ни ночью и быстро проникла его тайну. Только мы с Кодзидзю и были посредницами. О, господин нечасто писал к принцессе, лишь тогда, когда сдавленное в груди чувство просилось наружу, и он не в силах был более его сдерживать. Но, увы, все это слишком печально, и стоит ли останавливаться на частностях? Когда жизнь его приблизилась к своему пределу, он обратился ко мне с последней просьбой. Как страдала я все это время, не имея средства выполнить ее! Ведь возможности столь ничтожной особы весьма ограничены... Я не очень прилежна в молитвах, но я никогда не забывала просить Будду о том, чтобы он помог мне передать вам слова господина. Да, теперь я знаю, что Великий Будда истинно изволил пребывать в нашем мире. У меня есть для вас кое-какие бумаги... Теперь мне не придется их сжигать. Я так боялась, что, если их не уничтожить, после моей кончины — а разве можно знать, когда придет конец? — они разлетятся по миру... Какой надежды исполнилось мое сердце, когда начали вы навещать принца! Черпая силы в этой надежде, я стала ждать... И вот... О, я уверена, что наша встреча не случайна.

Плача, она подробно рассказывает Сайсё-но тюдзё о событиях того времени, когда он появился на свет:

— Вскоре после кончины Уэмон-но ками моя мать занемогла и покинула этот мир. Надев одеяние скорби, я целыми днями оплакивала ушедших. Тут один дурной человек, давно уже обо мне помышлявший, обманом увез меня на берега Западных морей, и я потеряла всякую связь со столицей. Человек этот тоже умер, и вот более чем через десять лет я вернулась обратно с таким чувством, словно попала в другой мир. По отцовской линии я связана с домом Восьмого принца и с детства поддерживала сношения с его домо-чадцами, потому и решила поступить на службу к его дочерям. Правда, я могла, как ни жалка была для такого блестящего окружения, пойти в услужение к нёго из дворца Рэйдзэй, о которой много слышала еще в прежние времена... Но мне показалось неприличным показываться ей на глаза, и я предпочла стать «трухлявым пнем, доживающим в горной глуши...» (395). Когда скончалась Кодзидзю? Не знаю... Немного осталось в мире людей, с которыми я была близка в молодые годы, все они опередили меня. А я лишь сетую на судьбу, обрекшую меня на одинокую старость, и все никак не могу расстаться с этим миром.

И снова они приговорили до самого рассвета.

— Право, эта старая история бесконечна, — вздыхал Сайсё-но тюдзё. — Но мы еще вернемся к ней. Надеюсь, нам удастся поговорить в другом, бо-

лее спокойном месте, где никто не будет нам мешать. Теперь я припоминаю, что моей матери в самом деле прислуживала дама, которую называли Кодзидзю. Мне было лет пять или шесть, когда она внезапно стала страдать от болей в груди и очень скоро скончалась. Увы, не встретиться я с вами, мне пришлось бы уйти из этого мира обремененным тяжким грехом\*.

Госпожа Бэн вручила ему зашитые в мешочек бумаги, туго свернутые и пропахшие плесенью.

— Теперь вы можете уничтожить их сами. Понимая, что жить ему осталось совсем немного, господин собрал все эти письма и отдал мне. Я надеялась, что смогу каким-то образом встретиться с Кодзидзю и через нее передать их принцессе. Но, увы, мы так больше и не увиделись. Не моя это была вина, но мысль о невыполненном долге тяготила меня все эти годы.

Приняв мешочек с письмами, Сайсё-но тюдзё спрятал его, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Старые люди болтливы, — тревожился он, — она может при случае рассказать кому-нибудь эту поистине невероятную историю». Правда, она поклялась, что никому не скажет ни слова, но мог ли он быть уверен?..

Скоро гостю принесли утренний рис.

— Вчера я был свободен от своих обязанностей, — говорит он принцу, — но сегодня во Дворце кончается срок Удаления от скверны. Кроме того, я должен заехать к государю Рэйдзэй, дабы справиться о здоровье Первой принцессы, которая, кажется, занемогла. Боюсь, что в ближайшие дни у меня не будет досуга. Но как только освобожусь, сразу же приеду к вам. Надеюсь увидеться с вами раньше, чем облетят алые клены в горах.

— О, каждое ваше появление словно луч света, разгоняющий унылый сумрак этих гор... — отвечает принц, не зная, как еще выразить свою благодарность.

Вернувшись домой, Сайсё-но тюдзё прежде всего достал мешочек, полученный от госпожи Бэн, и рассмотрел его. Мешочек был сшит из узорчатого китайского шелка и перевязан тонким шнурком с печатью Уэмон-но ками. В верхней его части виднелась надпись: «Госпоже...» Нетрудно вообразить, с каким волнением Сайсё-но тюдзё развязывал его.

Внутри оказалось пять или шесть листов разноцветной бумаги, исписанных рукой Третьей принцессы, — очевидно, ответы на письма Уэмон-но ками. Кроме того, там было еще несколько листов бумаги, на которых рукой Уэмон-но ками было написано: «Болезнь моя тяжела, и, как видно, очень скоро... Мне трудно писать, но, поверьте, сердце мое по-прежнему с неодолимой силой влечется к Вам. Как печально, что вы решились переменить обличье...»

Письмо было довольно бессвязным, дрожащие знаки напоминали птичьи следы:

«Ты от мира тщеты  
Отреклась, печальной чредою  
Потекут твои дни.  
Но еще печальней тому,  
Кто с тобой навсегда растается...» (396).

В конце же было написано вот что:

«Мне сообщили о радостном событии. Вряд ли стоит беспокоиться за судьбу этого росточка, и все же...

Когда б моя жизнь  
Продлилась, я мог бы хоть вчуже,  
За ростом следить  
Сосны, которую тайно  
Посадил на дикой скале».

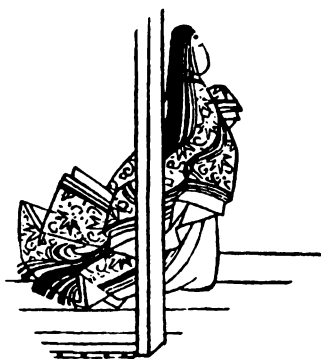
На этом письмо обрывалось. Сверху стояла надпись: «Госпоже Кодзидзю». Ответшавшая бумага была изъедена молью и пахла плесенью, но знаки выделялись ясно и четко, словно только что начертанные. «А если бы это письмо попало в чужие руки?» — ужаснулся Сайсё-но тюдзё.

Взволнованный и опечаленный тем, что ему открылось, он не в силах был ехать во Дворец и прошел в покои матери.

Как всегда спокойная и моложавая, принцесса читала сутру, которую робко отложила, увидев сына.

«Разве осмелюсь я когда-нибудь сказать ей, что мне все известно?» — подумал юноша и решил сохранить эту тайну в своем сердце.





## ПОД ДЕРЕВОМ СИИ

### Основные персонажи

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 24–25 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Правый министр** (Югири), 49–50 лет — сын Гэндзи и Аои

**Сайсё-но тюдзё, Тюнагон** (Каору), 23–24 года — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Восьмой принц** — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

**Ооикими**, 25–26 лет — старшая дочь Восьмого принца

**Нака-но кими**, 23–24 года — младшая дочь Восьмого принца

НА ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ Второй луны принц Хёбукё совершил паломничество в храмы Хацусэ. Речь шла о старинных обетах, исполнение которых он давно уже откладывал. Не исключено, впрочем, что и теперь он вспомнил о них лишь потому, что слишком сильно было желание остановиться на ночлег где-нибудь в Удзи.

Многим в названии этой местности слышится что-то чрезвычайно унылое (389), но в ушах принца оно звучало сладостной музыкой. Что ж, молодости свойственно легкомыслие.

Принцу Хёбукё сопутствовали почти все высшие сановники. О простых же придворных и говорить нечего, казалось, в столице не осталось ни души.

За рекой Удзи находилась великолепная, просторная усадьба, когда-то принадлежавшая министру с Шестой линии, а затем перешедшая по наследству к Правому министру, который заранее подготовил ее, чтобы принять принца Хёбукё. Предполагалось, что он сам встретит принца, когда тот будет возвращаться из Хацусэ, но неожиданно ему предписали удаление от скверны, и он вынужден был отказаться



от этой чести, о чем и сообщил принцу. Тот не скрывал своей досады, но узнав, что встречать его будет не кто иной, как Сайсё-но тюдзё, обрадовался: «так даже лучше, он сможет для меня разузнать, что делается в том доме». К тому же перед министром принц немного робел и чувствовал себя в его присутствии весьма скованно. В свите принца были многие сыновья Правого министра — Удайбэн, Дзидзю-но сайсё, Гон-тюдзё, То-но сёсё, Куродо-но хёэ-но сукэ.

Будучи любимцем Государя и Государыни, принц Хёбукё приобрел широкую известность в мире, люди же, связанные с домом на Шестой линии, все без исключения уповали на него, почитая своим господином.

Так вот, к приезду принца Хёбукё дом Правого министра был убран с изяществом, сообразным столь дикой местности. К услугам гостей были разные игры — «го», «сугороку», «таги», которые помогли им скоротать время до вечера.

Непривычно долгий путь утомил принца, к тому же ему очень хотелось заночевать в доме министра, поэтому, немного отдохнув, он велел принести кото и весь вечер услаждал слух музыкой. В таких удаленных от мира уголках звукам музыки вторит плеск волн, и они кажутся особенно чистыми и яркими. Дом Восьмого принца находился совсем рядом — довольно лишь раз оттолкнуться шестом, подхваченные ветром прекрасные мелодии быстро долетели туда, и принцу невольно вспомнилось прошлое.

— Как прекрасно звучит флейта! — восхищался он. — Хотел бы я знать, кто это играет? Когда-то я слышал, как играл на флейте бывший министр с Шестой линии. Его флейта звучала изысканно и вместе с тем так нежно. А эти звуки — яркие, чистые, величавые... В мое время в такой манере играли юноши из семейства Вышедшего в отставку министра... Ах, сколько же лет прошло... Я забыл о музыке, меня словно уже нет в этом мире, луны и годы текут однообразной, унылой чередой... — Тут жалость к дочерям пронзила его сердце. «Не хочу, чтобы они так и окончили свой век у подножия этих диких гор!» — эта мысль с недавних пор неотвязно преследовала его.

«Когда бы мне удалось найти для них покровителя! — думал он. — К сожалению, единственный, кого бы я желал видеть зятем, — это Сайсё-но тюдзё, но о нем и помыслить невозможно... А другие... Нынешние молодые люди так непостоянны, как на них положиться?..

Мысли одна другой тягостнее теснились в голове несчастного старца, и весенняя ночь казалась ему бесконечной, тогда как на той стороне реки, где веселились захмелевшие путники, она пролетела, пожалуй, слишком быстро, и, глядя на неумолимо светлевшее небо, принц Хёбукё вздыхал, сожалея о том, что настала пора возвращаться в столицу.

Склоны гор тонули в неясной дымке, сквозь которую проглядывали цветущие вишни. На одних цветы «осыпались с веток», на других — «раскрылись едва» (382), над ложем реки склонились (397) покорные порывам ветра плакучие ивы, и их отражения в бегущей мимо воде были столь прекрасны, что хотелось вовсе не отрывать взора от этой чудесной картины. А уж человек, для которого подобное зрелище вновь...

Сайсё-но тюдзё жаль было упускать столь редкую возможность увидеться с Восьмым принцем, но он не решался на глазах у всех переправляться

через реку, полагая это неприличным. Пока он колебался, приносят письмо от Восьмого принца. Изящной скорописью написано:

«Горный ветер,  
Разогнав весеннюю дымку,  
Донес до меня  
Голос флейты, но белые волны  
Возвели преграду меж нами».

Догадавшись, что письмо получено из того самого дома, который давно уже волновал его воображение, принц Хёбукё прочел его с особым вниманием.

— Я сам отвечу, — говорит он.

«Пусть преградили  
Волны путь от берега к берегу,  
Ты все равно  
Летай над рекою Удзи  
Туда и обратно, ветер!»

Сайсё-но тюдзё все-таки решил посетить горную усадьбу и взял с собой нескольких юношей, страстных любителей музыки. Переправляясь на противоположный берег, они наигрывали мелодию под названием «Во хмелю».

Жилище принца пленяет их своеобразной, чарующей красотой. К галерее, обращенной к реке, ведут изящные мостики, на каждой мелочи лежит печать тонкого вкуса и благородных привычек обитателей. Разумеется, все здесь устроено иначе, чем в доме, который они только что покинули. Деревенского вида плетеные ширмы, скромное и вместе с тем изысканное убранство... Все тщательно вычищено, здесь явно ожидали гостей. На самом виду лежат превосходные старинные инструменты, вроде бы даже и не нарочно приготовленные... Юноши по очереди пробуют их, затем перестроив на тональность «итикоцу», исполняют «Деву из Сакура». Все горят желанием послушать, как принц играет на китайском кото, но тот, взяв кото «со», лишь изредка, словно нехотя, подыгрывает им.

Потому ли, что он играл в непривычной для молодых людей манере, или по какой другой причине, но только все были растроганы, решив, что ничего более замечательного им еще не приходилось слышать.

Угощение тоже оказалось прекрасное и как нельзя лучше отвечало обстановке. Трудно было вообразить, что в здешних пределах живет немало людей благородного происхождения, встречаются даже отпрыски высочайшего рода, как правило, весьма уже немолодые. Все они принимали в принце большое участие и в таких торжественных случаях всегда приходили на помощь. Вот и теперь все, кто мог, собрались в его доме, и даже вино разносили прислужники вполне достойной наружности, хотя и несколько старомодно одетые.

Можно себе представить, что мысли многих стремились к юным дочерям. А уж о принце Хёбукё и говорить нечего. Сетуя на высокое звание, ограничивающее его свободу и не позволяющее следовать велению сердца, он печалился и вздыхал: «Неужели даже теперь?» В конце концов, не в силах более сдерживаться, сорвал прекрасную ветку вишни и отослал ее с

прислуживающим ему миловидным отроком дочерям принца, сопроводив запиской, в которой, скорее всего, было написано что-то вроде:

«Горные вишни  
Так пышно цветут! Задержавшись,  
Ветку сорвал —  
Такой же и ты, наверное,  
Украшаешь свою прическу...

“И поля показались так дороги сердцу...”» (254).

Девушки растерялись, не зная, как лучше ответить.

— В подобных случаях не следует тянуть с ответом, будто вы придаете письму особое значение. Это всегда считалось скорее неприличным, — сказал кто-то из пожилых прислужниц, и старшая сестра, сочинив песню, поручила младшей записать ее:

«Ужель для того лишь  
Чтоб прическу свою украсить  
Веткой цветущей,  
Задержался весенний путник  
У бедной хижины горной?

Вряд ли вас так уж привлекли эти поля...» (398)

Нака-но кими записала все это безупречно изящным почерком. Ветер гулял над рекой туда и обратно, переноса звуки музыки с одного берега на другой...

Скоро приехал Адзэти-но дайнагон, готовый согласно высочайшему повелению сопровождать принца Хёбукё в столицу, и окруженный еще более многочисленной свитой принц тронулся в обратный путь. Его спутники то и дело оглядывались, сожалея, что приходится расставаться с этим прекрасным местом, а сам принц утешал себя надеждой, что «когда-нибудь снова...»

Цветение было в самом разгаре, окрестные горы, окутанные легкой дымкой, представляли собой редкое по красоте зрелище, и немало китайских стихов и японских песен было сложено в их честь, но, к сожалению, я не потрудилась разузнать...

Недовольный тем, что столь поспешное возвращение помешало ему открыть девушкам свои чувства, принц Хёбукё стал часто писать к ним, не дожидаясь содействия Сайсё-но тюдзё.

— Отвечайте ему, — посоветовал Восьмой принц. — Постарайтесь только делать вид, будто не принимаете его излияний всерьез. А то он совсем потеряет голову. Этот принц славится на редкость пылким, изменчивым нравом. Трудно было ожидать, что он останется равнодушным, узнав о вашем существовании.

Отвечала принцу Хёбукё Нака-но кими, ибо Ооикими была особой весьма рассудительной и считала, что даже в шутку не может позволить себе...

В последнее время Восьмой принц казался особенно печальным. Как знать — не потому ли, что эта «томительная пора» (399) сама по себе располагает к унынию? Видя, что дочери его год от года становятся все пре-

краснее, он скорее огорчался, чем радовался. «Будь они безобразны, — думал он, — я еще мог бы примириться с тем, что им приходится жить в такой глуши». Денно и ночью преследовали его тягостные мысли, и сердце не знало покоя. К тому времени старшей сестре исполнилось двадцать пять лет, а младшей — двадцать три.

На тот год Восьмому принцу было предписано строгое воздержание. Тонимый мрачными предчувствиями, он все свое время отдавал молитвам. Сердце принца давно уже не принадлежало этому миру, и помыслы целиком были сосредоточены на грядущем. Путь, перед ним лежащий, был ясен и чист, и лишь тревога за судьбу дочерей мешала его продвижению. Увы, близкие принца недаром предполагали, что при всей возвышенности его устремлений душа его не очистится даже тогда, когда настанет последний срок. Если бы нашелся человек, пусть даже заурядный, далекий от совершенства, но по крайней мере ничем не запятнавший своего имени, имеющий приемлемое звание и искренне готовый взять на себя заботы о его дочерях, принц немедленно, закрыв глаза на все остальное, дал бы свое согласие. Когда б хоть одна из дочерей обрела надежную опору в жизни, он был бы спокоен за судьбу обеих, но, увы, до сих пор никто не выказывал настолько глубокой заинтересованности. Его дочерям случалось получать любовные письма, иногда они привлекали внимание молодых паломников, останавливающихся на ночлег в их доме и желающих немного развлечься. Однако все эти молодые люди вели себя довольно высокомерно, как видно полагая, что к девушкам, живущим в такой глуши, вряд ли можно питать глубокие чувства, поэтому принц не разрешал дочерям отвечать им. У принца же Хёбукё, судя по всему, были весьма твердые намерения. Что ж, вероятно, именно так и было предопределено.

Той осенью Сайсё-но тюдзё получил звание тюнагона. С каждым годом он становился все прекраснее. Государственные дела отнимали почти все его время, и тягостные думы все чаще омрачали чело.

Теперь он страдал более даже, чем в те годы, когда терзался неведением. Уносясь мыслями к последним дням Уэмон-но ками, он желал одного — целиком отдаться служению, чтобы облегчить бремя его и своих прегрешений. С трогательной нежностью опекая старую Бэн, он не упускал случая угодить ей, хотя и старался делать это незаметно, дабы не возбуждать ничьих подозрений.

Однажды Тюнагон вспомнил, что давно не бывал в Удзи, и отправился туда. Была Седьмая луна. В столицу осень еще не пришла, но в окрестностях горы Отова дул холодный ветер, а склоны Маки-но-о начинали расцвечиваться осенними красками. Чем дальше в горы, тем прекраснее становился пейзаж, представавший его взору.

Восьмой принц был рад гостю более, чем когда-либо, и поспешил поделиться с ним своими тревогами.

— Я был бы вам чрезвычайно признателен, — говорит он, направляя разговор к предмету, более всего его занимавшему, — если вы найдете возможным наведываться к этим юным особам и после моего ухода. Не оставьте их своими попечениями!

— Неужели вы думаете, что я забыл? Ведь мы уже говорили с вами об этом. Правда, я стараюсь избегать всего, что привязывало бы меня к этому



миру, и мне нечего ждать от будущего, но, пока я жив, они могут во всем полагаться на меня. Это я вам обещаю, — отвечает Тюнагон, и принц вздыхает с облегчением.

Стоит поздняя ночь. Вот из-за туч выплывает луна, озарив окрестности ярким сиянием. Видя, что она вот-вот скроется за горою, принц принимает читать молитвы, и звуки его голоса проникают до самой глубины души. Затем разговор переходит на прошлое.

— Что происходит теперь в мире? — спрашивает принц. — Прежде в лунные осенние ночи люди собирались во Дворце и услаждали слух музыкой. Одареннейшие музыканты приходили, чтобы показать свое искусство, но ничто не волновало так воображение, как нежнейшие звуки струн, доносившиеся в ночной час из-за занавесей женских покоев. Многие из прислуживающих Государю дам пользовались заслуженной славой в мире. А как любезно сообщались друг с другом! Разве можно было поверить, что дух соперничества снедает их сердца?

Так, женщины незаменимы в часы утех, большего от них и требовать невозможно, однако именно из-за них сердце стесняется волнением. Стоит ли удивляться тому, что их существование почитается греховным? Да, родительское сердце обречено блуждать во мраке (3), но разве сыновья доставляют нам столько хлопот? За дочерей же не перестаешь тревожиться даже тогда, когда, казалось бы, пора примириться с тем, что все усилия тщетны.

За этими общими рассуждениями наверняка скрывается беспокойство за судьбу собственных дочерей. И Тюнагону становится мучительно жаль принца.

— Вам известно, как далеки мои помыслы от этого суетного мира, — говорит он. — Поэтому вас вряд ли удивляет отсутствие у меня каких бы то ни было пристрастий и талантов. Единственное, от чего я не могу отказаться, хотя и признаю всю тщетность этого занятия, — это музыка. Впрочем, даже мудрый Касё\* когда-то вскочил и заплясал...

Судя по всему, ему очень хочется снова услышать чудесную мелодию, которая так внезапно оборвалась в то туманное утро. Рассудив, что это будет первым шагом к сближению, принц сам проходит в покои дочерей и принимается их упрасивать.

В конце концов оттуда доносятся робкие звуки кото «со», но еще миг — и музыка смолкает. Вокруг — ни души, над головой простирается неизъяснимо прекрасное небо, и, кажется, не может быть ничего упоительнее этих звуков, внезапно нарушивших ночную тишину. Если б только девушки согласились сыграть еще, но, увы...

— Надеюсь, что со временем... — говорит принц, — Начало положено, теперь дело за теми, у кого все еще в будущем...

И он удаляется в молельню, произнеся на прощание:

— Не станет меня,  
И в запустенье придет  
Бедная хижина,  
Но верю — не могут быть  
Пустыми твои слова.

У меня есть предчувствие, что мы больше не увидимся, — добавляет принц, роняя слезы. — Потому я и позволил себе злоупотребить вашим вниманием и открыть вам свое сердце.

— В каком из миров  
Смогу я забыть дорогу  
К хижине этой?  
Связан с нею навеки  
Незыблемой клятвой. —

отвечает Тюнагон. — Как только останутся позади состязания в сумо и прочие дворцовые празднества, я непременно снова навещу вас.

Он призывает к себе старую даму, некогда так взволновавшую его своими непрошеными признаниями, и она рассказывает ему все, что не успела рассказать в прошлый раз.

Предрассветная луна освещает дом, так что не остается ни одного темного уголка. Сквозь занавеси просвечивает изящный силуэт гостя, и девушки забиваются в самую глубину покоев. Тюнагон не пытается заигрывать с ними, как это обыкновенно бывает в мире, держится он скромно, а говорит так рассудительно и так искренне, что они время от времени осмеливаются отвечать ему.

Вспомнив, как быстро эти юные особы пленили воображение принца Хёбукё, Тюнагон невольно дивится своему хладнокровию. «Кто бы стал

медлить, получив столь явное свидетельство благосклонности родителя?» Впрочем, нельзя сказать, чтобы его совершенно не тронули слова принца, или чтобы он полагал невозможным союз с одной из его дочерей. Напротив, у него возникло чувство, будто обе принадлежат теперь ему, и, если бы вдруг у них оказалось иное предопределение, и они достались бы кому-нибудь другому, он был бы весьма раздосадован: они представлялись ему вполне достойными собеседницами, с которыми можно при случае перекинуться словом-другим в такой вот тихий вечер или обменяться трогательными посланиями о весенних цветах или осенних листьях.

Было еще темно, когда Тюнагон вернулся домой. Перед его мысленным взором неотступно стояло лицо принца, омраченное печальным предчувствием. «Как только минуют эти беспокойные дни, — думал он, — я непременно навещу его».

Принц Хёбукё тоже целыми днями размышлял, как бы изобрести подходящий предлог и успеть еще этой осенью съездить в Удзи полюбоваться алыми листьями. Пока же он довольствовался писанием писем. Дочери принца не верили в основательность его намерений, а потому не принимали его послания близко к сердцу и иногда — так, между прочим — отвечали ему.

Осень меж тем постепенно близилась к концу, и Восьмой принц, слабевший с каждым днем, решил, заключившись в горную обитель, целиком посвятить себя молитвам. Расставаясь с дочерьми, он дал им необходимые наставления.

— Никому не дано избежать последней разлуки, — сказал он. — Я не печалился бы так, будь с вами человек, способный вас утешить. Но, к сожалению, такого человека нет, и я в отчаянии, что оставляю вас без всякой поддержки. Однако вправе ли я из-за одной-единственной привязанности обрекать себя на вечные блуждания во мраке? Даже находясь рядом с вами, я не особенно заботился о вас, а уж что будет после того, как я уйду из мира... Это никому не ведомо, но об одном прошу вас, не только ради меня, но и ради доброго имени вашей ушедшей матери, — избегайте поступков, не совместных с вашим высоким званием. Никогда не поддавайтесь на уверения ненадежных людей и не покидайте этой горной усадьбы. Лучше примиритесь с мыслью об исключительности вашей судьбы и приготовьтесь прожить здесь весь свой век. Как только вы утвердитесь в этом намерении, луны и годы пролетят для вас незаметно. Подумайте, разве не достойна уважения женщина, живущая вдали от мирской суеты и не дающая повода к сплетням?

Но собственная участь не волновала дочерей принца. «Разве мы сможем хоть на миг пережить отца?» — думали они, и его печальные размышления о грядущем повергали их в отчаяние.

Принцу давно уже были чужды мирские устремления, но до сих пор он всегда был рядом, и эта внезапная разлука стала для девушек тяжким ударом, хотя, разумеется, они понимали, что вовсе не жестокосердие привело их отца к такому решению.

Накануне того дня, когда принц должен был отправиться в горную обитель, он долго бродил по дому, с необычным для него вниманием рассматривая все вокруг. «Как же они, такие юные, будут жить здесь одни?» — думал он, обозревая непрочное временное жилище, в котором прожил

столько лет. Еле сдерживая рыдания, он шептал молитвы, и трудно было остаться равнодушным, глядя на его прекрасное лицо.

Призвав к себе дам постарше, принц сказал:

— Служите барышням верой и правдой. Упадок семейств, никогда не пользовавшихся влиянием в мире, очень часто остается незамеченным, мое же звание достаточно высоко, и, хотя моя судьба вряд ли может кого-то волновать, мне нестерпима мысль, что потомки мои обречены на жалкое, не достойное их существование. Боюсь, что им придется изведать немало горестей. Несомненно, печали, разочарования — неотъемлемые спутники человеческой жизни. Однако при любых обстоятельствах человек должен вести себя сообразно своему званию. Только тогда он сохранит незапятнанным свое доброе имя, да и самому ему не в чем будет себя винить. Поэтому, если вам не удастся обеспечить барышням приличное положение — ведь мир не подвластен желаниям, — ни в коем случае не отдавайте их человеку недостойному, с которым союз будет для них бесчестьем.

Едва забрезжил рассвет, принц перешел в покои дочерей, чтобы попрощаться с ними.

— Постарайтесь не скучать без меня, — сказал он. — Не падайте духом и не забывайте о музыке — она послужит вам утешением. Увы, не все в этом мире подчиняется нашей воле. Вы должны смириться.

С этими словами он вышел, то и дело оглядываясь. Оставшись одни, девушки совсем приуныли. Не расставаясь ни днем, ни ночью, они черпали утешение в беседах.

— Если одна из нас покинет мир (400), что станет с другой?

— О да, все так неопределенно, и настоящее, и грядущее... Что будет с нами, если судьба разлучит нас?

Они то плакали, то смеялись. Два существа с одной волей, с одним мышлением, сестры всегда были вместе, деля друг с другом и развлечения, и заботы.

Однажды, когда срок, намеченный для молитв, близился к концу и девушки с нетерпением ждали возвращения отца, от него пришел гонец.

«Мне с утра нездоровится, не ждите меня сегодня, — передал принц. — Скорее всего это простуда, и я как раз принимаю надлежащие меры. Ах, как хотел бы я увидеть вас...»

Испуганные и встревоженные, терзаемые мрачными предчувствиями, девушки отослали отцу теплые платья на вате. Прошло два, затем три дня, а ему все не становилось лучше. Изнемогая от беспокойства, сестры то и дело посылали гонцов в горную обитель.

— Ничего угрожающего в моем состоянии нет, — передавал принц дочерям. — Так, неопределенное недомогание... Как только мне станет лучше, я, собравшись с силами...

Адзари заботливо ухаживал за больным, не оставляя его ни на миг.

— На первый взгляд, ваша болезнь не опасна, — говорил он, — но, возможно, вы уже подошли к своему жизненному пределу. Подумайте, разумно ли волноваться теперь за судьбу дочерей? У каждого свое предопределение, не стоит омрачать душу суетными заботами.

Так Адзари наставлял принца, убеждая его порвать последние связи с миром.



— Вы не должны более покидать горной обители, — настойчиво говорил он.

Стоял Двадцатый день Восьмой луны. Глядя на унылое небо, девушки печалятся, думая об отце, и ни на миг не светлеет туман над вершинами... (387). Вот на небо выплывает предрассветная луна и заливает чистым сиянием речную гладь, но девушки, велев поднять решетки, смотрят только на горы. Скоро до них доносятся отдаленные удары колокола, возвещающего рассвет, и тут как раз приходит гонец.

— Около полуночи господина принца не стало, — объявляет он, обливаясь слезами.

Хотя последние дни сестры жили в постоянной тревоге, эта весть поразила их как нечто совершенно неожиданное. Их горе так велико, что они не могут даже плакать и, упав, лежат ничком, безгласные, недвижимые.

Есть ли на свете разлука тяжелее? А горе дочерей принца было тем более велико, ведь им не пришлось даже проститься с отцом... Они никогда не думали, что хотя бы ненадолго переживут его, и теперь, рыдая, спрашивали друг друга: «Как же нам жить теперь? Неужели нельзя отправиться вслед за ним?»

Увы, каждый путь имеет конец. Адзари, как и обещал, позаботился о погребальных обрядах.

— Когда бы нам позволили взглянуть на его смертные черты... Хоть раз еще... — просили девушки, но Адзари был неумолим.

— К чему? — только и отвечал он. — Все эти дни я удерживал принца от встречи с вами. Теперь же тем более следует позаботиться о том, чтобы ни над ним, ни над вами не тяготело бремя мирских желаний.

Девушки попытались расспросить Адзари о последних днях принца, и были весьма огорчены и раздосадованы, столкнувшись с непреклонной суровостью почтенного монаха, не допускавшего в свое сердце ничего мирского.

Восьмой принц давно хотел принять постриг, но не решался оставить без присмотра дочерей, ибо вверить их участь было некому. Так и получилось, что последние годы жизни он полностью посвятил дочерям, и неуспынные заботы о них, скрашивая его унылое существование, одновременно привязывали его к этому тщетному миру. Но, увы, когда наступает последний срок, ни тот, кто уходит, ни тот, кто стремится вослед за ним, не властны в своих желаниях...

Весть о кончине принца была тяжким ударом для Тюнагона.

— Сколь все изменчиво в этом мире, — сетовал он, и слезы потоком катились у него по щекам. — Когда б я мог хоть раз еще неторопливо побеседовать с ним! Ведь так много осталось недосказанного...

Принц говорил ему в тот вечер, что они вряд ли увидятся, но он часто говорил нечто подобное — острее прочих ощущал он непостоянство мира, когда утром нельзя предугадать, что случится вечером... Тюнагон привык к таким речам и никак не думал, «что уже сегодня иль завтра...» (401). Тем более велико было его горе.

Тюнагон отправил Адзари и дочерям принца полные искреннего участия письма. Он оказался единственным, кто прислал соболезнования, и девушки, хотя и были в беспамятстве, почувствовали себя глубоко растроганны-

ми, оценив неподдельную доброту его души, то участие, которое он принимал в них все эти годы.

Людам, потерявшим кого-то из близких, всегда кажется, что никому на свете не приходилось переживать подобного горя, и Тюнагону нетрудно было представить, что чувствуют теперь дочери принца, оставшиеся без всякой опоры. Поэтому, подготовив все, по его мнению, необходимое для поминальных служб, Тюнагон отправил гонцов к Адзари, а затем, прибегнув к содействию госпожи Бэн, позаботился и о том, чтобы девушки сумели достойно отблагодарить монахов.

Дочерям принца казалось, что на землю опустилась вечная ночь, а между тем наступила Девятая луна.

Окрестные луга и горы были особенно унылы той осенью, и чаще обычного увлажняла рукава холодная морось. Листья, с тихим шелестом падающие с веток, плещущая по камням река, водопады слез — все это сливалось в единый бесконечный поток, и у сестер темнело в глазах.

«Если так будет и дальше, надолго ли и они задержатся в этом мире?» — тревожились дамы, тщетно стараясь их утешить.

Поминальные молитвы творились и в доме, а в покоях принца, намереваясь пробыть здесь до окончания срока скорби, затворились те, кто навещал его при жизни и прислуживал ему. Они коротали дни в печали и молитвах, а изображение Будды служило им напоминанием об ушедшем.

От принца Хёбукё часто приходили гонцы с соболезнованиями, однако девушки не отвечали, и он не находил себе места от беспокойства. «Тюнагон оказался удачливее, — сетовал он. — Мною они явно пренебрегают...»

Раньше он всегда ездил в Удзи в ту пору, когда клены украшаются алой листвой, дабы воспеть их в стихах, однако в нынешнем году, к его величайшему сожалению, от поездки пришлось отказаться: столь горестные обстоятельства делали невозможными увеселительные прогулки в этой местности. Когда окончился срок скорби, принц, рассудив, что прошло уже довольно времени — не век же горевать, не век же лить слезы, — отправил в Удзи длинное послание. Сестры получили его дождливым холодным вечером:

«Как живется тебе  
Осенней порой в горах,  
Где стонут олени,  
А вечерами роса  
Падает с листьев хаги?

Право, обидно... Вы будто не видите, что в эти дни все вокруг располагает к печали... Когда еще “увядающие луга” (402) могут быть так прекрасны?...»

— В самом деле, мы постоянно пренебрегаем его письмами, будто вовсе лишены чувствительности, — говорит Ооикими. — Ответь хоть теперь.

— Увы, я не понимаю, как вообще дожили мы до этого дня! — вздыхает Нака-но кими. — Думала ли я, что когда-нибудь снова возьму в руки кисть? Дни текут один за другим... Как безжалостно время!

Слезы застилают ей взор, и, отодвинув тушечницу, она говорит:

— Я не в силах писать. Подумать только, мы уже встаем, ходим, а ведь совсем недавно... Неужели и в самом деле всякое горе имеет пределы? О, я не могу с этим примириться!

Ее заплаканное личико так прелестно, что у старшей сестры невольно сжимается сердце.

Гонец, вышедший из столицы под вечер, добрался до Удзи, когда было уже темно.

— Как же он вернется в столицу? — беспокоились девушки. — Не лучше ли ему остаться здесь?

Однако гонец заявил, что должен вернуться немедленно, и, не смея задерживать его, Ооикими ответила сама, хотя и она не вполне владела еще своими чувствами:

«Слезы  
Густым туманом окутали  
Горную хижину.  
А у ветхой ограды стонет,  
Вторя рыданиям, олень...»

К тому времени совсем стемнело, и знаки были едва различимы на темно-серой бумаге. Не заботясь об изяществе почерка, Ооикими полностью доверилась кисти, затем, свернув письмо, передала его гонцу. Когда гонец проезжал мимо горы Кохата, хлынул страшный ливень, но разве выбрал бы принц человека трусливого? Ни на миг не останавливая коня, гонец миновал почти непроходимые заросли низкорослого бамбука и быстро добрался до столицы. Его сразу же призвали к принцу, а поскольку он промок до нитки, принц особенно щедро вознаградил его.

Развернув письмо, принц Хёбукё увидел, что оно написано незнакомым ему почерком, куда более уверенным и утонченным, чем тот, к которому он успел привыкнуть.

«Какая же из них старшая?» — гадал он и, не в силах оторвать взора от письма, долго не шел в опочивальню.

— Сначала он не ложился, потому что ждал гонца... — недовольно шептались дамы.

— Теперь не может расстаться с письмом...

— Видно, увлечен не на шутку...

Впрочем, скорее всего им просто хотелось спать.

Поднявшись рано утром, когда все вокруг было еще окутано туманом, принц поспешил написать новое письмо:

«В утренней мгле  
Подругу свою потеряв,  
Стонет олень.  
Могу ли я равнодушно  
Стонам его внимать? (403)

Вторю его рыданиям и я...»

«Ответ должен быть учтивым, но не более, — подумала Ооикими. — До сих пор мы жили, не ведая печалей, под надежной защитой отца. К сожалению, нам пришлось пережить его, и теперь мы должны вести себя крайне осмотрительно, дабы не повредить не только себе, но и ему, ибо до последнего мгновения он помышлял лишь о нас...»

Застенчивая и робкая по натуре, она так и не решилась ответить. Разумеется, это не значит, что Ооикими не способна была вполне оценить достоинства принца. Даже короткие послания, написанные его рукой, поражали удивительным изяществом почерка и слога, и, хотя не так уж много она получала писем, не признать его превосходства было невозможно. Однако отвечать на эти утонченно-чувствительные послания Ооикими в своем нынешнем положении все же считала неприличным. «Да и что толку? — вздыхала она. — Нет, я теперь словно монах-скиталец, и судьба моя — до конца дней жить здесь, в горной глуши».

В то же время она никогда не отказывалась отвечать на теплые, полные искреннего участия письма Тюнагона. Срок скорби еще не кончился, когда он сам приехал в Удзи. Сестры помещались теперь в восточном переднем покое, где пол был опущен несколько ниже общего уровня\*. Пройдя в дом, Тюнагон вызвал госпожу Бэн.

Чудесный аромат, наполнивший унылую обитель скорби, привел девушек в такое замешательство, что они не могли выговорить ни слова.

— Вам незачем избегать меня, — говорит Тюнагон. — Неужели вы станете противиться последней воле отца? Трудно поддерживать разговор, беседуя через посредника. Вы же знаете, я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы оскорбить вас...

— Ах, разве мы предполагали, что доживем до этого дня? — отвечает наконец Ооикими. — Поверьте, мы словно во сне и все не можем очнуться... В нашем положении следует избегать небесного света и не годится нам приближаться к порогу...

— О, да, я знаю, какое у вас чувствительное сердце! Но я не говорю, что вы должны выходить при свете дня или лунной ночью единственно ради собственного удовольствия. Это было бы действительно дурно. Однако ставить меня в столь неловкое положение... Почему бы вам не поделиться со мною своими печалью? Как знать, может быть, я сумею вас утешить.

— Вам в самом деле следует быть полюбезнее, — поддерживают гостя дамы. — Господин Тюнагон так добр, так искренне хочет помочь вам. Подумайте хотя бы о вашем бедственном положении.

Ооикими, успевшая к тому времени обрести присутствие духа, не могла не понимать, сколь справедливы их упреки. Она наверняка оценила преданность Тюнагона, который снова, как бывало в прежние времена, проделал долгий путь по диким лугам для того лишь, чтобы навестить их. Помедлив, Ооикими все-таки пересаживается поближе.

Выразив свое сочувствие их горю, Тюнагон рассказывает о том, какое обещание взял с него когда-то ее отец. Он говорит нежно и заботливо, не позволяя себе ни малейшей нескромности, и вряд ли девушку тяготило бы его присутствие, когда б не мыслить о том, что она разрешила этому, в сущности, чужому ей человеку слышать ее голос, когда б не мучительный стыд, охватывавший душу при воспоминании о тех днях, когда ей приходилось во всем полагаться на его помощь. Односложно отвечает она на вопросы, и такое принуждение проглядывает в ее облике, что Тюнагону становится ее жалко. Глядя на просвечивающий через черный занавес горестно поникший силуэт, он вспоминает тот предрассветный час, когда впервые увидел дочерей принца.

— На поблекшие травы  
Гляжу — а вижу невольно  
Твои рукава.  
Они ведь тоже поблекли  
За эти скорбные дни... —

говорит он как бы про себя.

— Дали приют  
Мои рукава поблекшие  
Холодной росе.  
Только мне, бесприютной,  
Не найти пристанища в мире...

«Выпала нить»... (404) — не договорив, она поспешно скрывается в глубине покоев, как видно не сумев справиться со своим горем. Не смея ее задерживать, Тюнагон лишь печально вздыхает.

К нему выходит госпожа Бэн — замена, вряд ли его удовлетворившая, — и долго рассказывает разные трогательные истории из прошлого и настоящего, а как была она свидетельницей поистине невероятных событий, Тюнагон не может пренебречь ею — мол, что мне в этой выжившей из ума старухе? — и внимает ее речам с ласковой снисходительностью.

— Я был еще мал, когда нас покинул господин с Шестой линии, — говорит он, плача, — тогда-то мне и открылось впервые, сколь безотраден мир. Повзрослев, я укрепился в мысли, что все чины, почести, в сущности, ничего не значат. А ваш господин? Казалось бы, он обрел наконец желанный покой в этом горном жилище, и так внезапно оборвалась его жизнь... Его уход окончательно убедил меня в тщетности всех мирских упований. Однако ваши барышни остались совсем одни. И могу ли я не принять в них участие? Правда, таким образом я сам привязываю себя к миру, но, пока я жив, воли покойного я не нарушу. И все же, с тех пор как вы рассказали мне эту удивительную старую историю, я окончательно уверился в том, что не должен оставлять следов в этом мире...

Содрогаясь от рыданий, Бэн молча смотрит на Тюнагона. Он так похож на покойного Уэмон-но ками! Воспоминания давно забытых дней оживают в ее памяти, старая скорбь накладывается на новую, и что она может сказать? Только плачет горько.

Матерью этой дамы была кормилица покойного Уэмон-но ками, а отец ее, скончавшийся в звании сатюэна, приходился дочерям принца дядей по материнской линии. Долгие годы она скиталась по дальним провинциям и вернулась в столицу уже после того, как супруга Восьмого принца скончалась. Связи с домом Уэмон-но ками давно были разорваны, поэтому она поступила на службу в дом принца, где и жила все это время. Бэн принадлежала к незнатному роду и слишком долго находилась в услужении у других, но принц счел тем не менее возможным доверить ей воспитание дочерей. Ни днем, ни ночью не расставалась она со своими питомицами, но, как ни велика была их взаимная доверенность, она не открыла им тайну, так долго и так тщательно хранимую в глубине души. Однако Тюнагона одолевали со-

мнения. «Чем она лучше других? — думал он не без досады. — Старые дамы всегда болтливы. Можно поверить, что госпожа Бэн не рассказывает об этом случайным людям, но поверить, чтобы она не открылась своим воспитанницам... Недаром они так суровы со мной». Возможно, именно поэтому он и не хотел отпускать девушек от себя.

Оставаться на ночлег в этой горной хижине было не совсем прилично, и Тюнагон решил вернуться. Ему вспомнилась последняя встреча с хозяином этого дома. Принц сказал тогда: «у меня есть предчувствие, что мы больше не увидимся», Тюнагон же не хотел этому верить. Увы, предчувствия принца сбылись. Разве тогда была не такая же осень? Прошло совсем немного дней, но кто знает, где блуждает ныне его душа? Право, что может быть превратнее человеческого существования? Это горное жилище никогда не привлекало взора утонченной роскошью, свойственной столичным домам, но в покоях всегда было чисто, и при всей скромности обстановки каждая мелочь носила на себе отпечаток тонкого вкуса хозяина. Теперь в доме полным-полно монахов, которые, разгородив покои перегородками, творят поминальные молитвы. Молитвенная утварь пока вся на своих прежних местах, но Тюнагон слышал, что монахи намереваются перевезти статуи будд в горную обитель. Он представляет себе, как тоскливо станет в доме, когда его покинут даже монахи, и сердце стесняется от неизъяснимой печали.

— Уже совсем стемнело, — голоса приближенных выводят его из глубокой задумчивости, и он поднимается, собираясь уходить. В этот миг слышатся крики диких гусей...

Осенний туман  
Никак не растает. В обители туч  
Гуси кричат,  
Спешат напомнить о том,  
Что все преходяще в мире.

Когда Тюнагон встретился с принцем Хёбукё, разговор прежде всего зашел о девушках из Удзи. Теща себя новыми надеждами: «уж теперь-то не составит труда...» — принц отправил им длинное чувствительное послание, но девушки, как видно, постеснялись написать даже самым простой, ни к чему не обязывающий ответ.

«Принц Хёбукё известен в мире сердечным непостоянством, — думали они, и все большее уныние овладевало ими. — Возможно, он рассчитывал встретить в нас приятных собеседниц, способных поддерживать любовную игру. Вряд ли ему придется по вкусу неумелые, старомодные послания из жилища, заросшего бурьяном...»

— О, как быстро рассвет сменяется закатом, одна луна приходит вослед за другой. Век человеческий краток, но можно ли было предугадать, «что уже сегодня иль завтра»? (401) Разумеется, отец постоянно говорил с нами о том, сколь все непостоянно в мире, но разве мы думали, что кто-то из нас уйдет раньше, кто-то позже?

— Теперь, окидывая взглядом прошлое, понимаешь, что мы всегда влачили довольно жалкое существование. Но мы были вместе и не помышляли о разлуке. Нам нечего было бояться, нечего стыдиться...

— Как ужасно завывает ветер... В доме один за другим появляются незнакомые люди, сердце обрывается всякий раз, когда на галерее кто-то вдруг начинает покашливать, вызывая дам. Ах, какая тоска! Право, это выше человеческих сил!

Так жаловались друг другу сестры, и слезы не высыхали у них на глазах. Тем временем год подошел к концу.

Ветер всегда навевает тоску, особенно когда идет снег или град, но девушкам казалось, что до сих пор они и не ведали, как сурова бывает зима в горной глуши.

— Ах, ну вот и кончается этот год, — бодрились дамы. — Поскорее бы весна, тогда все горести и печали останутся позади.

Но девушки лишь вздыхали, слушая их, да и на что им было надеяться?

В былые дни принц часто удалялся для молитв в обитель, расположенную на горной вершине прямо перед их домом, и оттуда то и дело приходили гонцы. Адзари и теперь иной раз присылал кого-нибудь проведать их, но сам больше уже не спускался. Зачем?

В доме с каждым днем становилось безлюднее, и хотя ничего другого девушки не ожидали, все же им, наверное, было грустно. Иногда вдруг появлялись местные жители. Раньше сестры и внимания бы на них не обратили, но теперь радовались и им. Жалкие бедняки приносили хворост и орехи. Однажды от Адзари пришел гонец с углем...

«Я привык прислуживать Вашему почтенному отцу, — передал монах, — но теперь у меня не осталось и этого утешения».

Вспомнив, что зимой принц всегда посылал в горную обитель вату и шелк, чтобы монахам было чем защитить себя от горного ветра, сестры и теперь отправили туда все необходимое. Подойдя к порогу, они смотрят, как почтенные монахи и мальчишки-послушники по тропе, заваленной глубоким снегом, поднимаются в гору, то появляясь, то снова исчезая, и слезы текут у них по щекам.

— Когда б отец только переменял обличье, а не совсем ушел из мира, кто-нибудь постоянно навевался бы и к нам.

— О да, как бы ни было нам тоскливо, мы по крайней мере могли бы время от времени видеться с ним.

— Не стало его,  
И заглохла тропа, ведущая  
К горной вершине,  
О чем ты думаешь, глядя  
На снег, побеливший сосны? —

говорит старшая, а младшая отвечает:

— Ах, если бы он  
Был этим снегом, покрывшим  
Сосны в горах!  
Ведь тот, однажды растаяв,  
Выпал сегодня снова...

А снег, как нарочно, все шел и шел...

Однажды к ним приехал Тюнагон, рассудивший, что в начале года ему вряд ли удастся выбраться в Удзи. Все вокруг было завалено снегом, и даже обычные посетители давно уже не заходили сюда. Могли ли девушки ожидать, что столь блестящий вельможа откажется пуститься в такой нелегкий путь? И разве не было это доказательством его искреннего участия?

На сей раз Тюнагона приняли любезнее обыкновенного. Дамы нарочно для него извлекли откуда-то жаровню не такого мрачного цвета, как все остальное, и принялись старательно смахивать с нее пыль, между делом рассказывая гостю о том, с каким, бывало, нетерпением ожидал его приезда принц.

Не желая показаться неучтивыми, девушки преодолели обычную застенчивость — а что делать? — и согласились побеседовать с гостем через занавес. Непринужденной эту беседу назвать было нельзя, но Ооикими говорила куда более обстоятельно, чем прежде, да и держалась так мило, что Тюнагон был приятно поражен. «Возможно, когда-нибудь...» — невольно подумал он и, поймав себя на этой нескромной мысли, устыдился. Как все же изменчиво человеческое сердце!

— Принц Хёбукё замучил меня упреками, — говорит он. — То ли я как-то проговорился ему о последней просьбе вашего отца, то ли он сам, будучи человеком проницательным, догадался... Во всяком случае, у него возникла надежда, что я замолвлю за него словечко, и, не видя с вашей стороны решительно никакого одобрения его искательства, он во всем обвиняет меня, мол, я не только ему не помогаю, а наоборот. Вы не поверите, сколь все это для меня неожиданно, но, поскольку именно я когда-то послужил проводником к «селению, где живут рыбаки» (405), мне трудно отвечать решительным отказом. Могу я узнать, почему вы выказываете принцу такое пренебрежение? Мне известно, что многие осуждают его за ветреность, но если б вы знали, какое чувствительное у него сердце! Да, говорят, принцу не по душе податливые жеманницы, которым достаточно малейшего намека... Но ведь есть и другие женщины, кроткие, послушные, во всем покорные обстоятельствам. Они принимают мир таким, каков он есть, и, смиренно встречая любые повороты судьбы, не ропщут на свою участь даже тогда, когда жизнь складывается вопреки их желаниям. «Что делать? Таково предопределение...» Как правило, именно такие женщины и бывают удачливы в супружестве. Правда, случается и так, что берега, представляющиеся надежными, обваливаются, а имя оказывается загрязненным, словно воды реки Тацута... (406). И все же... Впрочем, я убежден, что принц способен на глубокое чувство, и, если женщина придется ему по душе и постарается своими ласками и угождениями сохранить его привязанность, он никогда не оставит ее, и конец этого союза будет подобен его началу. О, вы должны верить мне, ибо мне известны такие его душевные качества, о которых никто и не подозревает. Если вы дадите свое согласие, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Позвольте же мне утрудить свои ноги, прокладывая для вас эту дорогу...

Тюнагон говорит весьма озабоченным тоном, и искренность его не вызывает сомнений. «Надо ответить так, чтобы он понял — я беру на себя роль матери», — думает Ооикими, отбрасывая мысль о том, что речь может идти о ней самой, но, почувствовав, что подходящих слов найти не удастся, роняет, улыбнувшись:



— Что вам сказать? Все это так сложно и непонятно... Вы застали меня врасплох...

Ее простодушный ответ восхищает Тюнагона.

— Вам необязательно принимать сказанное на свой счет. Более того, я был бы рад, если бы вы взяли на себя роль старшей, поняв какие чувства заставляют меня пробираться сюда сквозь сугробы. К тому же мне кажется, что принц имеет в виду не вас. Да, он иногда пишет сюда, но можно ли сказать, кому именно предназначаются эти письма? Постороннему трудно об этом судить. Кто из вас обычно отвечает ему?

Этот вопрос повергает Ооикими в такое замешательство, что она не может вымолвить ни слова в ответ. «Какое счастье, что я никогда, ни ради шутки, ни по какому другому побуждению, не позволяла себе отвечать принцу! — думает она. — Разумеется, ничего особенного в этом нет, но что бы я сказала теперь господину Тюнагону? О, я сгорела бы от стыда!»

«Снегом завален  
Мост над горным ущельем.  
Кроме тебя,  
Не проходил здесь никто,  
Других не осталось следов», —

Так написав, она подсовывает листок бумаги под занавес.

— Ваши слова скорее внушают мне беспокойство...

Под копытом коня  
Разбивается лед, сковавший  
Горный поток.  
Путь другому прокладывая,  
Переpravляюсь первым...

Что ж, по крайней мере у вас будет возможность убедиться в том, что колодец этот и в самом деле не так уж мелок (41), — добавляет Тюнагон, и девушка, растерявшись, не знает, что и ответить.

Она держится с ним приветливо и свободно, без всякого жеманства, столь обыкновенного в нынешних девицах. Можно предполагать в ней милостивую наружность, спокойный, миролюбивый нрав... «Именно о такой я всегда и мечтал», — вздыхает Тюнагон. Но тщетно пытается он намекнуть ей на свои чувства — она притворяется, будто ничего не понимает, и ему ничего не остается, как перевести разговор на более общие предметы, в частности на события давно минувших дней.

— Как бы вечером не было нового снегопада, — переговариваются между тем спутники Тюнагона, многозначительно покашливая. — Небо затянуто тучами.

Увы, пора возвращаться.

— Здесь слишком тоскливо, — говорит он на прощание. — Если б вы согласились переехать в другое место, я с удовольствием помог бы вам подыскать столь же тихое, спокойное жилище...

«Вот счастье-то было бы», — радуются дамы, подслушавшие его слова. Но Нака-но кими недовольно хмурится: «Разве это возможно?»

Приносят изящно разложенные на блюдах плоды для гостя и отменное вино для его спутников.

Тот самый сторож, который так прославился благодаря когда-то подаренному Тюнагоном платью, совершенно зарос бородой и производит довольно неприятное впечатление. «Ненадежный страж», — подумав, Тюнагон подзывает его к себе.

— Ну каково вам живется теперь? — спрашивает он. — В доме стало совсем уныло, после того как его покинул ваш господин, ведь верно?

Старик, беспомощно сморщившись, плачет, от чего делается еще безобразнее.

— У меня не было никого, к кому бы я мог прибегнуть, — говорит он, — но принц приютил меня, и его милостями я прожил более тридцати лет. А теперь? Даже если стану я бродить по полям и горам, под сенью каких ветвей можно укрыться? (407).

Тюнагон попросил открыть для него покои принца. Толстый слой пыли покрывает все вокруг, только статуя Будды пышно украшена: как видно, девушки молились здесь. Подставка для молитвенной утвари убрана, и пол тщательно выметен. Вспомнив, как когда-то просил принца помочь в осуществлении своего заветного желания, Тюнагон произносит:

— Пришел я сюда,  
Надеясь укрыться от мира  
Под деревом сии (408).  
Увы, и оно засохло,  
И бедная келья пуста...

Он стоит, прислонившись к столбу, а молодые прислужницы, притаившись за занавесями, любят его изящной фигурой.

Между тем день преклонился к вечеру, и приближенные Тюнагона послали к управителям близлежащих владений за кормом для коней. Сам Тюнагон ничего о том не знал и был удивлен немало, когда дом вдруг наполнился шумными толпами по-деревенски одетых людей. «Какая дерзость!» — возмутился он, поспешив сделать вид, будто приехал навестить старую даму. Затем, распорядившись, чтобы управители и впредь прислуживали дочерям принца, удалился.

Скоро год сменился новым, над головой безмятежно сияло небо, на реке таял лед. «Как могли мы дожить...» — думали девушки, глядя вокруг. Однажды от Адзари принесли собранные, по его словам, на проталинах ростки омежника-сэри и побеги горного папоротника. Дамы тут же приготовили все это для постной трапезы.

— Да, только в такой глуши и можно все время иметь перед взором приметы сменяющих друг друга дней и лун, — говорили они.

— А что в этом замечательного? — недоумевали девушки.

— Если б для нас  
Эти побеги папоротника  
Ты, отец, собирал,  
Тогда бы они послужили  
Верной приметой весны.

— Ах, для кого  
Теперь нам искать у реки  
В глубоком снегу  
Первые стрелки омежника?  
Ведь отца больше с нами нет.

Такими случайными песнями обмениваясь, коротали они ночи и дни. И Тюнагон, и принц использовали любую возможность отправить в Удзи гонца. Но скорее всего их письма, за редкими исключениями, были довольно заурядны, а иногда и просто скучны, поэтому я, по обыкновению своему, их опускаю.

Скоро наступила пора весеннего цветения, и принц Хёбукё вспомнил о «ветке пышно цветущей». А тут еще молодые люди из его свиты, которым довелось тогда побывать в горной усадьбе, принялись сокрушаться о том, как вообще печален этот мир:

— Ах, какое прекрасное жилище у Восьмого принца, — вздыхали они. — Неужели мы никогда его не увидим?

Разумеется, принцу еще больше захотелось побывать в Удзи.

«Цветущую вишню  
Однажды в саду приметил,  
И этой весной  
Мне дымка не станет помехой —  
Я ветку с нее сорву», —

написал он дочерям Восьмого принца, полный решимости не отступать.

Сестры были возмущены, но письмо пришло в тот миг, когда им было как-то особенно тоскливо, и, рассудив: «как бы там ни было, а письмо написано прекрасно, и дабы соблюсти хоть видимость приличий...» — они написали принцу:

«Удастся ль тебе  
Сорвать цветущую ветку?  
Этой весной  
Черной дымкой окутаны  
Деревья в нашем саду».

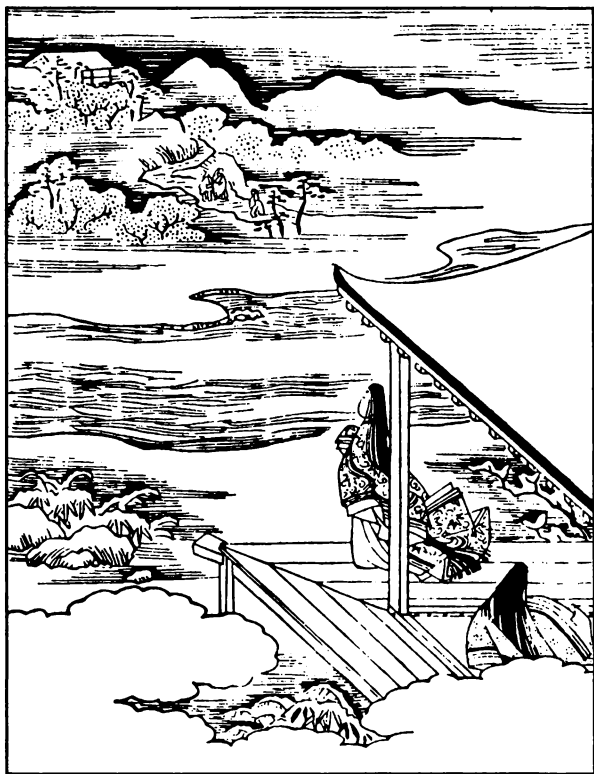
Поняв, что девушки по-прежнему имеют твердое намерение держаться от него в отдалении, принц впал в совершенное уныние. Иногда, не в силах более сдерживать свои чувства, он принимался осыпать упреками Тюнагона, а тот с удовольствием изображал из себя попечительного родителя и каждый раз, когда удавалось уличить принца в ветренности, укоризненно качал головой:

— Ну разве могу я доверить ее вам?

И, кажется, принц старался вести себя осмотрительнее.

— Но ведь я не встречал еще женщины, которая пленила бы мое сердце, — оправдывался он.

Между тем Правый министр был весьма раздосадован тем, что его Шестая дочь не пришлась принцу Хёбукё по душе, и открыто выражал свое недовольство. Однако принц по-прежнему упорствовал.



— Вряд ли свет отнесется благосклонно к такому союзу, — потихоньку объяснял он близким друзьям. — К тому же министр — человек суровый и неуступчивый, любая моя шалость будет вызывать его гнев, и жизнь моя станет невыносимой.

В том году сгорел дом на Третьей линии, и Третья принцесса переехала на Шестую линию. Связанные с этими обстоятельствами хлопоты задержали Тюнагона в столице, и он долго не бывал в Удзи. Однако, будучи человеком в высшей степени благоразумным, Тюнагон не проявлял нетерпения и, уверенный в том, что старшая дочь принца непременно достанется ему, ждал, пока смягчится ее сердце, решив до поры до времени не злоупотреблять ее доверием и не позволять себе ни малейшей вольности. «Пусть убедится в том, что я верен завету ее отца...» — думал он.

В том году люди более обыкновенного страдали от жары, и, подумав однажды, как, должно быть, прохладно на берегу реки, Тюнагон неожиданно отправился в Удзи. Он выехал из столицы ранним утром, пока воздух был еще свеж, но, когда добрался до Удзи, солнце уже ослепительно сияло, опалая все вокруг.

Устроившись в западных передних покоях на бывшей половине принца, Тюнагон призвал к себе того самого сторожа. Сестры были в молельне, но, узнав о приезде гостя, поспешили перебраться на свою половину. Молельня отделяется от передних покоев лишь тонкой перегородкой, поэтому, как

они ни таились, до слуха Тюнагона донесся тихий шорох, шелест платьев, и сердце его затрепетало. Вспомнив, что в перегородке рядом с замком есть небольшое отверстие, он в надежде хоть что-нибудь увидеть поспешил отодвинуть стоявшие с внутренней стороны ширмы. К его великой досаде, за перегородкой стоял переносной занавес, поэтому, так ничего и не разглядев, Тюнагон отошел назад. Тут внезапный порыв ветра взметнул занавеси.

— Как бы нас не увидали снаружи, — испугался кто-то из дам. — Давайте придвинем туда еще и этот занавес.

Бесконечно признательный этой недаленовидной особе, Тюнагон снова прильнул к отверстию и увидел, что оба переносных занавеса — и высокий, и низкий — отодвинуты к внешним занавесям молельни, а перегородки раздвинуты, образуя проход, через который, очевидно, и должны выйти девушки. Вот появляется первая. Подойдя к выходу на галерею, она из-за занавеса выглядывает наружу: по берегу реки, наслаждаясь прохладой, гуляют спутники Тюнагона. На ней темное зеленовато-серое тонкое платье и прекрасно сочетающиеся с ним золотисто-красные хакама. Этот необычный наряд ничуть не вредит ей, напротив, он лишь оттеняет ее редкостную красоту. Ленты пояса распущены, из-под рукава виднеются четки. Высокая и стройная, с пышными волосами, ниспадающими по спине почти до самого пола, девушка удивительно хороша. Нежное, блистающее яркими красками лицо, тонкий профиль, легкая грация движений... Она невольно напоминает Тюнагону Первую принцессу, которую он видел однажды в доме на Шестой линии.

Но вот появляется вторая.

— Взгляните, эта перегородка ничем не защищена, — говорит она, опасно посматривая в его сторону. «А ведь в ней может обнаружиться истинная душевная тонкость», — думает он, на нее глядя.

Прелестный лоб, обрамленный блестящими черными прядями, горделивый наклон головы — право, трудно сказать, кто из сестер прекраснее.

— Но ведь ширмы стоят и с той стороны, — беспечно отвечает одна из дам.

— Вряд ли господин Тюнагон что-нибудь разглядит, даже если станет вдруг подглядывать.

— Это было бы ужасно! — И девушка поспешно скрывается во внутренних покоях. Ее движения величавы и вместе с тем пленительно-изящны. Облаченная, как и сестра, в темное платье, она выглядит такой милой, такой очаровательной, что сердце Тюнагона мучительно сжимается. Ее волосы, очевидно сильно поредевшие за последние дни и луны, на концах совсем истончились, однако блестящие, словно скрученные шелковые нити, пряди блестят и переливаются как перья зимородка, поражая изысканной красотой. В одной руке девушка держит лилового цвета свиток с текстом сутры. Ее пальцы тоньше и изящнее, чем у младшей сестры.

А Нака-но кими стоит у прохода и, улыбаясь, вопросительно поглядывает на сестру, такая милая, что глаз не оторвешь.



## ТРОЙНОЙ УЗЕЛ

### Основные персонажи

**Ооикими**, 26 лет — старшая дочь Восьмого принца

**Нака-но кими**, 24 года — младшая дочь Восьмого принца

**Тюнагон** (Каору), 24 года — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 25 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Государь** (Киндзё) — сын императора Судзаку

**Государыня** (Акаси) — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

**Левый министр** (Югири) — сын Гэндзи

**Первая принцесса** — дочь императора Киндзё и императрицы Акаси, внучка Гэндзи

СКОРО настала осень, и сестры начали готовиться к поминальным службам. В этом году даже дующий с реки холодный ветер, к стонам которого за долгие годы привык их слух, казался им особенно унылым.

Поскольку Тюнагон и Адзари взяли на себя основные приготовления, девушкам осталось позаботиться о монашеских платьях, украшениях для сутр и прочих мелочах. Трогательно-беспомощные, они во всем следовали советам окружающих, и если бы не помощь со стороны...

Тюнагон лично навестил дочерей ушедшего, когда пришла пора снимать одеяния скорби. Почти одновременно с ним приехал Адзари. В тот день повсюду были разбросаны нити для мешочков со священными благовониями, а сестры сетовали:

— Так и «влачим до сих пор...»\* (409)

Сквозь щели ширмы виднеются стоящие у самого занавеса подставки с намотанными нитями, и Тюнагон сразу же догадывается.

— «И слезы свои на них...» (306) — произносит он.

Трудно не оценить этого напоминания о том, что и госпожа Исэ испытывала когда-то подобные чувства\*, однако девушки не решаются ответить, рассудив, что показывать свою осведомленность не совсем прилично. Они лишь вздыхают, вспоминая слова Цураюки: «Не крученная нить...» (410). А ведь ему предстояла не столь уж и долгая разлука! Как все же утешительны эти старые песни!

Составляя молебные записки, Тюнагон перечисляет все сутры и статуи будд, которые должны быть пожертвованы, а раз уж тушечница оказывается под рукой, пишет между прочим еще и такую песню:

«Пусть же навеки  
Будут связаны судьбы  
Тройным узлом.  
Разъединить невозможно  
Нити, свитые в шнур!»

«Ну, вот опять...» — смущается Ооикими, но все-таки отвечает:

«Непрочна нить,  
Из жемчуга слез сплетенная,  
Разве удастся  
Ею надолго и крепко  
Наши судьбы связать...»

— Но «коль останемся порознь...» (335) — пеняет он ей.

Видя, что Ооикими старается уйти от прямого ответа и явно чувствует себя неловко, Тюнагон не настаивая, переводит разговор на принца Хёбукё.

— Я не раз имел возможность наблюдать за принцем, — говорит он между прочим, — и хорошо знаю, как тверд он в своих намерениях. Даже если сердце его не затронуто, он ни за что не отступится, коль скоро сделан первый шаг. Но у вас нет оснований для беспокойства, почему же вы стараетесь держать его на расстоянии? Вы ведь далеко не дитя, и подобная непреклонность... Вот и моей искренней преданностью вы пренебрегаете, что весьма меня огорчает. В любом случае прошу не оставлять меня в неведении относительно вашего решения...

— Но я вовсе не пренебрегаю вашей преданностью. Иначе я вряд ли допустила бы такую короткость меж нами. Наверняка у многих она вызывает подозрение. Как видно, вы не цените этого, и я начинаю сомневаться в искренности ваших чувств. В самом деле, когда бы в такой глуши пришлось жить человеку, обладающему тонким умом и чутким сердцем, он бы не терзался сомнениями... Но, к сожалению, мы не получили достаточных знаний о мире вообще, и уж тем более о предмете, вами затронутом. Когда-то отец делился со мной своими соображениями, наставляя, как надобно вести себя в том или ином случае, но ничего определенного так и не сказал... Подозреваю, что он вообще не хотел, чтобы я жила обычной для женщины этого мира жизнью. Поэтому что я могу вам ответить? Признаюсь, однако, что меня весьма беспокоит судьба сестры. Она моложе меня, и мне не хотелось бы обрекать ее на столь унылое существование. Вправе ли я допускать, что-

бы она высохла здесь, словно дерево в горной глуши? Только вот как лучше распорядиться ее будущим?

Ооикими тяжело вздыхает, не скрывая тревоги, и можно ли не испытывать жалости, на нее глядя? Да и станет ли она беседовать с ним на столь щекотливую тему, обнаруживая несообразную ее возрасту рассудительность? Сознывая, что он не вправе ожидать от нее ничего подобного, Тюнагон призывает госпожу Бэн.

— Когда-то меня привело сюда желание посвятить себя заботам о грядущем, — говорит он. — Но незадолго до кончины ваш господин, терзаемый мучительными сомнениями, взял с меня слово, что я не оставляю его дочерей своими попечениями. Они же проявляют поразительную неуступчивость, словно не желая подчиняться последней воле отца. Хотел бы я знать, почему? Быть может, кто-то другой владеет их думами? Вам, наверное, известно, что я не похож на других молодых людей. До сих пор мое сердце оставалось свободным от всяких привязанностей, но с вашей госпожой — и я склонен видеть в этом предопределение — у нас установились весьма доверительные отношения. Кажется, люди уже поговаривают о нас, так не лучше ли смириться и поступить сообразно обычаю, тем более что такова была воля ушедшего. Возможно, ваша госпожа считает, что союз с простым подданным ниже ее достоинства, но ведь мир знает немало подобных примеров.

— Я говорил вашей госпоже и о принце Хёбукё, — вздыхая, продолжает Тюнагон, — но, судя по всему, она не склонна верить ему судьбу сестры. Может у нее кто-то другой на примете? Словом, мне хотелось бы понять...

Дурно воспитанная дама, каких, увы, немало в наши дни, постаралась бы убедить собеседника в своей осведомленности и умело польстила бы ему, но, к счастью, госпожа Бэн не принадлежит к их числу. Сознывая, что предложение Тюнагон — идеальный выход для обеих сестер, она тем не менее говорит:

— Потому ли, что у дочерей принца особое предопределение, или по какой другой причине, но только помышления их отличны от помышлений других женщин. Но стоит ли удивляться этому? Ведь и у нас, жалких прислужниц, никогда не было дерева, под сенью которого мы могли бы укрыться (407). Многие покинули этот дом, не желая пропадать в глуши. Ушли даже те, кто был связан с семейством принца давними узами. А теперь нам и во-все не на что надеяться. Оставшиеся только и помышляют о том, как бы выбраться отсюда, а пока не упускают случая посетовать на судьбу. «Принц был человеком старых правил, — говорят они, — и не желал, чтобы его благородные дочери оказывались в положении несообразном их высокому званию. Потому-то он и медлил. А теперь вы остались без всякой опоры, и, если вам придется покориться законам мира, только самый невежественный, не способный проникнуть в душу вещей человек решится вас осудить. Разве можно жить так, как вы живете? Даже монахи-скитальцы, питающиеся сосновой хвоей, и те заботятся о том, чтобы выжить, и ради этого изыскивают собственные пути в служении Будде». Такие недостойные слова они целыми днями нашептывают барышням, смущая их юные сердца. Старшая госпожа не поддается на их уговоры, но ее беспокоит будущее сестры. Не зная, как обеспечить ей достойное положение в мире, она проводит дни в мучительных раздумьях. Вы навещаете их не первый год, и я уверена, что



они ценят вашу доброту и вполне доверяют вам. Думаю, что госпожа готова обсудить с вами все, вплоть до мельчайших подробностей. Только ей хотелось бы, чтобы вы устремили свои думы к ее младшей сестре. Да, я знаю, что о ней помышляет принц Хёбукё, но госпожа полагает его неспособным на глубокую привязанность.

— Я никогда не забуду, как трогательно просил принц за своих дочерей, и намереваюсь сообщаться с ними все время, пока живу в этом непрочном, словно роса, мире, так что мне все равно, кого из них опекать. Однако же, хотя мне и льстит доверие вашей госпожи, сердце мое стремится к другой, и превозмочь это чувство я не в силах, хотя мне и удалось отказаться от многих мирских желаний. Я не могу изменить себе и поступить так, как она желает. Это отнюдь не мимолетное увлечение и не случайная прихоть. Я был бы счастлив, когда б мне разрешили вот так, через ширму, не чинясь, беседовать с вашей госпожой о делах этого непостоянного мира, открывать ей свои мысли и чувства и знать, что в ее робкой душе нет ничего для меня неизвестного. Я рос один, рядом со мной не было ни сестер, ни братьев, никого, с кем можно было бы поделиться радостями своими или печалью в полной уверенности, что на них отзовутся с теплым участием. Я хоронил на дне души каждый порыв, каждое желание, чувствуя себя таким одиноким... Если бы только я смел надеяться, что ваша госпожа не оттолкнет меня... Высокое положение Государыни-супруги не позволяет откровенно говорить с ней обо всем на свете. Как ни молода принцесса с Третьей линии, она моя мать, наши отношения подчинены определенным ограничениям, и короткость меж нами невозможна. Другие женщины кажутся мне тем более чужими, я перед ними робею и стараюсь держаться в почтительном отдалении. Возможно, я сам в том виноват, но мне не к кому прибегнуть, и я страдаю от одиночества. Я слишком неловок и необходим, чтобы с увлечением предаваться пустой любовной игре. А открыть свое сердце особе, давно уже владеющей моими помыслами... На это я тем более не способен. Я могу в душе упрекать ее, сетовать на ее бессердечие, но никогда не осмелюсь сказать ей об этом. О, я понимаю, как это нелепо, и все же... Что касается принца Хёбукё, то почему бы вам не довериться мне? Ведь я никому не желаю зла.

«Он так хорош, — подумала старая дама, — а они так одиноки. Как было бы прекрасно...» Однако сказать об этом вслух она постеснялась.

Тюнагон не спешил уезжать, надеясь, что ему удастся остаться в Удзи на ночь и спокойно поговорить обо всем с Ооикими. Она же по-прежнему избегала задушевных бесед с ним, опасаясь, что его долго сдерживаемое недовольство может в любой миг вырваться наружу. Однако отказать ему она тоже не решалась. Ведь он был так добр к ним...

Приказав открыть дверь молельни и подкрутить фитиль в светильнике, Ооикими усаживается за занавесями, дополнив их ширмой. С внешней стороны тоже стоят светильники, но Тюнагон просит погасить их.

— Мне что-то нездоровится, да и одет я небрежно. Неловко показываться госпоже в таком виде... — говорит он, располагаясь перед занавесями.

Дамы приносят плоды, просто, но со вкусом разложенные на блюдах, а спутникам Тюнагона подают вино и весьма изысканное угощение. Все они устроились где-то на галерее, и в покоях не остается никого, кто мог бы по-

мешать тихой беседе. Ооикими по-прежнему держится церемонно, но говорит так ласково и приветливо, что Тюнагон, окончательно плененный, с трудом сдерживает волнение. «Столь ничтожная преграда отделяет нас друг от друга, — думает он. — Ну не глупо ли упускать такую возможность?» Однако, стараясь не выдавать своих тайных мыслей, он степенно рассказывает о разных событиях, в мире происшедших: трогательных, забавных — обо всем, что кажется ему достойным внимания.

Ооикими просила дам не оставлять ее одну, но, очевидно, они полагали, что ей следовало быть с гостем полюбезнее, а посему, пренебрегши ее просьбой, разошлись кто куда и улеглись спать. Некому даже поправить фитиль в светильнике перед Буддой.

Смутившись, девушка тихонько зовет дам, но никто не откликается.

— Ах, мне что-то не по себе... — говорит она, судя по всему, собираясь скрыться в глубине покоев. — Я хотела бы немного отдохнуть теперь, а на рассвете мы вернемся к нашему разговору.

— По-моему, человек, проделавший столь дальний путь по опасной горной дороге, имеет куда больше оснований жаловаться на усталость. И все же, говоря с вами, слыша ваш голос, я забываю обо всем. Не покидайте же меня, мне будет очень тоскливо.

И тихонько отодвинув ширму, Тюнагон входит внутрь. Испуганная Ооикими пытается скрыться, но он удерживает ее. Нетрудно себе представить, как она раздосадована, как возмущена!

— Вот что, по-вашему, значит «беседовать не чинясь»? Не ожидала!

Однако в гневе она кажется ему еще прекраснее.

— Вы, наверное, не понимаете, что я имею в виду, говоря о взаимном доверии, — сказал Тюнагон. — И я решил наконец объяснить с вами откровенно. Осмелюсь спросить: чего вы не ожидали? Я готов поклясться в верности перед этим Буддой. Не будьте же так жестоки, не бойтесь меня! Я ведь с самого начала решил, что никогда не оскорблю ваших чувств. Вряд ли кто-то способен представить себе, что можно вести себя подобным образом, но я ведь глупец, каких свет еще не видывал, и скорее всего таким и останусь до конца своих дней.

Откинув со лба Ооикими мягко поблескивающие в тусклом свете волосы, он заглядывает ей в лицо. Ее красота превосходит все его ожидания. «Дочери принца живут так одиноко, — вдруг приходит ему в голову, — если кто-нибудь, воспылав страстью, проникнет сюда, он не встретит на своем пути никаких преград. Да, как это ни печально, окажись на моем месте любой другой, он вряд ли остановился бы на полпути...»

Он клянет себя за постоянную нерешительность, но девушка так горько плачет, удрученная его настойчивостью, что Тюнагону становится жаль ее. «Не лучше ли подождать? Быть может, со временем...» — думает он, пытаясь ее утешить. Ему не хочется, чтобы она страдала из-за него.

— Как я могла довериться вам! — негодует она. — Но я и не подозревала в вас таких мыслей! Или вы не видите, какого цвета на мне одежды? Впрочем, и моя вина не меньше. Я была слишком неосторожна. Ах, как все это тягостно!

Ее приводит в отчаяние одна только мысль, что он увидел ее в одеянии скорби, освещенную огнем светильника.

— О да, наверное, у вас есть основания думать обо мне дурно, и я не знаю, что сказать в свое оправдание. Вы совершенно правы, напоминая мне о цвете ваших рукавов... Но преданность, которую я проявлял все эти годы, позволяет мне рассчитывать на большее понимание — будь сегодняшняя наша встреча первой, дни скорби действительно могли бы стать препятствием, но ведь это не так. Упорствуя, вы как раз и проявляете неосмотрительность...

И он открывает ей чувства, которые до сих пор таил в глубине души, рассказывает, с какой неодолимой силой влеклось к ней его сердце, начиная с того давнего рассвета, когда тихие звуки ее кота впервые смутили его воображение. Однако признания Тюнагона повергают Ооикими в еще большее замешательство. Значит, его спокойствие было притворным, и все эти годы он только и помышлял...

Отгородившись низким занавесом от статуи Будды, она ложится, прилонившись к скамеечке-подлокотнику.

В покоях витает аромат священных курений, сильно пахнет анисом, и Тюнагон, более других людей почитающий Будду, невольно смущается. «Стоит ли, потворствуя мимоветной прихоти, вступать с ней в союз, прежде чем окончится срок скорби? — спрашивает он себя, стараясь обрести утраченное хладнокровие. — Разве об этом я мечтал? Не лучше ли подождать? Быть может, сердце ее смягчится...»

Осенние ночи всегда исполнены невыразимой печали и очарования, а в таком месте тем более: высоко в горах стонет ветер, у изгороди стрекочут сверчки. Тюнагон сетует на непостоянство этого мира, а Ооикими время от времени отвечает ему, обнаруживая при этом все новые и новые достоинства.

Дремавшие рядом дамы, рассудив, что наконец вселадилось, удаляются во внутренние покои.

Ооикими вспоминаются наставления отца, и печаль стесняет ей сердце. «Ах, ведь и в самом деле, сколько подобных неожиданностей подстерегает меня, ежели задержусь я в этом мире...» По щекам у нее потоками текут слезы, словно стремясь соединиться с рекой Удзи...

Но вот наконец небо начинает светлеть. Спутники Тюнагона покашливая, торопят его, раздается конское ржание. Эти звуки невольно напоминают Тюнагону слышанные некогда рассказы о таких же ночлегах в пути. Он поднимает решетку с той стороны, откуда в дом проникают солнечные лучи, и они вместе любуются прекрасным утренним небом.

Ооикими тоже усаживается поближе к галерее, которая так узка, что видно, как на листьях папоротника «синобу» в лучах утреннего солнца одна за другой вспыхивают росинки. Невозможно вообразить более прекрасную чету!

— Ах, когда бы всю жизнь мы могли бы вот так вдвоем любоваться луной и цветами, коротать часы за беседою об изменчивом мире... — говорит Тюнагон, и такая нежность звучит в его голосе, что девушка, забыв о своих опасениях, отвечает:

— Поверьте, я не стала бы таиться от вас, если бы вы согласились беседовать со мной вот так, через ширму, не требуя большего.

Между тем небо светлеет, совсем рядом слышится хлопанье крыльев пролетающих птиц. Издалека доносятся удары колокола, возвещающего наступление утра...

— Не лучше ли вам уйти? Мне бы не хотелось... — говорит Ооикими, не умея скрыть смущение.

— Но людям покажется куда более подозрительным, если я уйду так рано по покрытой росой траве. Что они могут подумать? Прошу вас, ведите себя со мной, как принято между супругами, не подавая виду, что нас связывают совсем другие узы! Надеюсь, что и впредь вы согласитесь встречаться со мной так же, как сегодня. Поверьте, я никогда не причиню вам зла. Не будь-те же так жестоки, постарайтесь понять и пожалеть меня.

Видя, что он и в самом деле не собирается уходить, Ооикими приходит в замешательство.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, но хотя бы сегодня утром сделайте так, как я прошу. — говорит она и вздыхает: «Увы, теперь ничего уже не исправишь».

— О, как вы безжалостны! «Раньше не знал...» (411) А вас нисколько не волнует, что я могу заблудиться в тумане...

Откуда-то доносится крик петуха, и Тюнагону вспоминается столица.

— Вот и рассвет —  
В едином хоре сплетаются,  
Все голоса...  
Сердце щемит — печально  
Жить в этой горной глуши... —

говорит он, а девушка отвечает:

— Думала я:  
Даже птицы не долетают  
До этих гор.  
Но горести мира и здесь  
Сумели меня отыскать...

Проводив Ооикими до прохода во внутренние покои, Тюнагон выходит через ту же дверцу, через которую он вчера вошел, и ложится, но сон не идет к нему. Слишком живы воспоминания прошедшей ночи. «До сих пор никак не рассеется...» (412, 413)

«Когда бы мое сердце и раньше стремилось к ней с такой силой, разве мог бы я все это время сохранять присутствие духа?» — думает он и как же не хочется ему возвращаться в столицу!

Ооикими долго не ложилась, ей было стыдно перед дамами.

«Судьба женщины, лишенной всякой поддержки и без того печальна, — думала она, — а если учесть, что дамы тоже не оставят нас в покое и каждая будет стараться повернуть нашу жизнь по-своему, нас ожидает немало неприятных неожиданностей.

Ооикими не испытывала неприязни к Тюнагону, к тому же покойный принц не раз говорил, что без колебаний дал бы свое согласие... Но нет, она не должна ничего менять в своей жизни. Вот если бы удалось устроить судьбу сестры, ведь она моложе и гораздо красивее. Почему бы младшей не заполнить того, что отец уготовил старшей? А она бы окружила ее нежными заботами... Только кто позаботится о ней самой? У Ооикими не было иной опоры в жизни, кроме Тюнагона. Будь он заурядным человеком, ей, как это

ни странно, было бы легче. Вряд ли она сопротивлялась бы ему так долго. Но он слишком хорош, и она не должна даже помышлять о союзе с ним. Нет, лучше пусть все останется по-старому.

Проплакав почти всю ночь, Ооикими почувствовала себя совсем больной и, пройдя во внутренние покои, легла рядом с младшей сестрой, которая пребывала в крайнем недоумении, ибо что-то весьма странное почудилось ей в перешептываниях дам. Обрадовавшись сестре, Нака-но кими набросила ей на плечи свое ночное платье, и тут повеяло таким знакомым ароматом... «Значит, это правда», — подумала она, вспомнив о стороже, но, жалея сестру, не стала ее ни о чем расспрашивать и притворилась спящей.

Гость же призвал к себе старую Бэн и долго беседовал с ней. Затем, оставив для старшей сестры весьма сдержанное послание, уехал.

Ооикими готова была сгореть со стыда. «К чему было поддерживать этот глупый разговор о тройных узлах? Сестра могла подумать, что я и сама не прочь сократить расстояние меж нами до одного хиро»\*. Сказавшись больной, она весь день оставалась в своих покоях.

— Но ведь почти не остается времени до начала поминальных служб, — возроптали дамы. — А кто, кроме вас, может проследить за тем, чтобы ничего не было упущено?

— Вот уж некстати...

Нака-но кими, закончив плести шнуры для мешочков с благовониями, тоже пришла к сестре.

— Не могу сообразить, как сделать узорные завитки для отделки, — пожаловалась она.

Дождавшись темноты, Ооикими встала, чтобы помочь ей. Тут принесли письмо от Тюнагона, но девушка: «Мне с утра что-то нездоровится», — сказав, поручила написать ответ дамам.

— Это невежливо! — ворчали они. — В ваши годы следует быть разумнее.

Подошел к концу срок скорби. Когда-то сестры думали, что и на миг не переживут отца, а между тем протекло уже столько дней и лун. Сетую на свою злосчастную судьбу, они заливались слезами, и больно было смотреть на них.

Сняв черные платья, ставшие привычными за эти долгие луны, девушки облачились в светло-серые\*, и как же они им оказались к лицу! Особенно хороша была Нака-но кими, которой красота к тому времени достигла полного расцвета. Ооикими попечительно присматривала за тем, чтобы волосы младшей сестры были всегда тщательно вымыты и причесаны, и, любуясь ею, забывала о своих печалях. О, если б удалось осуществить задуманное! Разве устоит Тюнагон, увидев Нака-но кими вблизи? Не имея рядом никого, кому можно было бы доверить заботы о сестре, Ооикими сама, словно мать, ухаживала за ней.

Так и не дождавшись Долгой луны, на которую дочери покойного принца должны были снять одеяния скорби, ставшие для него столь досадной помехой, Тюнагон снова приехал в Удзи.

Он сразу же посылает к старшей госпоже даму, прося разрешения встретиться с ней, но Ооикими отвечает отказом, мол, нездорова и никак не может... Тогда он передает ей записку:

«Вот уж не ожидал от вас такой суровости! Что подумают дамы?»

«Срок скорби подошел к концу, но сердце так и не обрело покоя, — пишет она в ответ. — Мне слишком тяжело, и я не в силах говорить с вами...»

Обиженный ее отказом, Тюнагон, как обычно, призывает к себе госпожу Бэн и изливает на нее свои жалобы.

Прислуживающие девушкам дамы, сетуя на свою злосчастную судьбу, уповали только на Тюнагона. Более всего на свете желая, чтобы их госпожа переехала в другое, достойное ее звания жилище, они, сговорившись, провели гостя в ее покои. Ооикими, не зная, что именно они замышляют, все же понимала, что ей следует быть настороже. «Тюнагон приблизил к себе Бэн, — думала она, — и их взаимная доверенность умножается с каждым днем. Боюсь, что эта особа ни перед чем не остановится, лишь бы угодить ему. Разве бывает, чтобы женщина произвольно располагала своей участью? Даже в старинных повестях такого не найдешь. Зато случаев, когда судьбу госпожи устраивают прислужницы, там предостаточно. Потому-то я и не могу никому доверять». В конце концов она решила, что, если Тюнагон будет настаивать, она пошлет вместо себя младшую сестру. «Он никогда не оставит женщину, с которой свяжет его судьба, — думала Ооикими, — даже если она не оправдает его ожиданий. А сестра так хороша, что, увидев ее, он сразу же забудет обо мне и утешится. Вот только, если я скажу об этом вслух, вряд ли меня поддержат. Господин Тюнагон скорее всего заявит, что его сердце принадлежит другой и откажется, отчасти еще и из страха перед возможными пересудами, ведь люди наверняка сочтут такое поведение легкомысленным».

Понимая, сколь дурно вынашивать подобные замыслы втайне от Нака-но кими, и хорошо представляя себе, каково было бы ей самой, окажись она на месте сестры, Ооикими решила поговорить с ней.

— Надеюсь, ты помнишь, — начинает она, — как часто отец говорил, что мы должны беречь свое доброе имя, даже если ради этого нам придется прожить всю жизнь в одиночестве. Мы виноваты уже в том, что с малолетства были путами на его ногах и мешали ему обрести душевный покой. Поэтому я считаю своим долгом выполнить хотя бы его последнюю волю. Право же, одиночество нисколько не страшит меня, но мне надоели постоянные упреки дам, которые, словно сговорившись, обвиняют меня в чрезмерной суровости. Должна признать, что в одном я готова с ними согласиться. Когда я представляю себе, что и ты будешь влачить столь беспросветное существование, сердце мое стесняется от жалости и печали. О, когда б я могла создать тебе достойное положение в мире! Большого я не желаю.

— Но разве отец имел в виду только тебя? — недовольно возражает Нака-но кими, не совсем понимая, к чему клонит сестра. — По-моему, он больше боялся за меня, полагая, что я по неопытности своей скорее могу власть в заблуждение. Неужели ты не понимаешь, что единственное наше утешение — всегда быть вместе, только тогда мы не будем чувствовать себя одиночками.

«Увы, она права!» — растроганно вздыхает Ооикими.

— Ах, прости меня, — отвечает она. — У меня просто мысли помутились оттого, что дамы выдумывают обо мне разные нелепости...

И, не договорив, она замолкает.

Темнеет, но, к величайшей досаде Ооикими, гость не спешит уезжать. Входит Бэн с посланием от него. «Господин Тюнагон чувствует себя обиженным и это естественно...» — ворчит она. Но девушка лишь молча вздыхает. «Как же мне быть? Будь у нас хотя бы один из родителей, моя жизнь устроилась бы должным образом. Разумеется, нельзя не считаться с предопределением, и «невозможно жить согласно желаньям...» (414). У всех своя судьба, главное — избежать огласки, чтобы не стать предметом для посмеяния. Но наши дамы слишком самонадеянны, к тому же они убеждены, что союз с Тюнагоном — лучшее, на что я могу рассчитывать. Но можно ли им доверять? Боюсь, что они слишком стары, взбалмошны, и мало что понимают в житейских делах...»

Так, дамы настроены весьма решительно, кажется, они не остановятся и перед тем, чтобы силой тащить ее к Тюнагону. Их настойчивость неприятна Ооикими и, не поддаваясь на их уговоры, она лишь упорно молчит. Младшая сестра, всегда и во всем согласная со старшей, к сожалению, еще неопытнее и не может помочь ей советом. Поэтому Ооикими, сетуя на горестную судьбу, старается не выходить из своих покоев.

— Не пора ли вам надеть обычное платье? — настаивают дамы, обуреваемые одним тайным стремлением, и что может им помешать? Слишком уж мала эта бедная хижина... Да, «нет таких гор»... (415). И негде спрятаться.

Тюнагон же с самого начала решил: «Не стоит действовать открыто, лучше вести себя так, будто мы связаны уже давно, просто никого не ставили в известность...» Вот и теперь он говорит:

— Если госпожа не может принять меня сейчас, я готов ждать сколько угодно.

Однако Бэн, призывает других дам, и после долгих перешептываний они приходят к выводу, что все-таки следует действовать открыто, соблюдая внешние приличия. Причем — то ли они слишком глупы, то ли слишком стары — все их ухищрения производят весьма жалкое впечатление. Ооикими не знает, что и делать, и когда к ней заходит Бэн, предпринимает попытку воззвать к ее сочувствию.

— Отец всегда считал господина Тюнагона человеком редких достоинств. Вы знаете, что все эти годы мы жили, полностью полагаясь на него, и вели себя с ним куда свободнее, чем допускают приличия. К сожалению, недавно он обнаружил намерения, о которых до сих пор я не подозревала, и теперь не упускает случая высказать мне свои обиды, ставя меня тем самым в крайне неловкое положение. Будь я похожа на других женщин и желай я для себя обычной судьбы, я вряд ли противилась бы ему. Но подобные помышления всегда были мне чужды, и его нежелание понять это повергает меня в отчаяние. Однако я не в силах спокойно смотреть, как бесцельно проходит молодость сестры. Ужели страшила бы меня жизнь в этой глуши, когда б не она? Если господин Тюнагон действительно помнит прошлое, почему бы ему не обратить внимание на нее? Мы с сестрой различны плотью, но душой — едины, и, если господин Тюнагон согласится выполнить мою просьбу, ему будут принадлежать сердца обеих, и я с благодарностью приму его заботы. Не соблаговолите ли вы передать ему мои слова?

С трудом преодолевая смущение, Ооикими высказывает все свои сокровенные мысли, и Бэн искренне растрогана.

— Поверьте, я хорошо понимаю ваши чувства, — отвечает она, — я и сама не раз пыталась все это объяснить господину Тюнагону, но он и слушать ничего не хочет. Он помышляет только о вас, и никто другой ему не нужен. К тому же, возможно, он боится обидеть принца Хёбукё... Так или иначе, он полагает, что его заботы о младшей госпоже должны носить совершенно иной характер. Но я не вижу здесь ничего дурного. Даже самым попечительным родителям вряд ли удалось бы так удачно устроить судьбу обеих своих дочерей. Простите мне мою дерзость, но с тех пор, как вы остались без всякой опоры, меня не может не тревожить мысль о вашем будущем. Загадывать трудно, но мне кажется, что предложение господина Тюнагона открывает счастливые возможности для вас обеих. Я понимаю, что вы боитесь нарушить последнюю волю отца, но ведь он предостерегал вас лишь от супружества, не совместного с вашим высоким званием. Разве он не говорил, что был бы счастлив видеть господина Тюнагона своим зятем? Я знаю многих женщин и высокого и низкого состояния, которые, лишившись опоры в мире, принуждены влачить жалкое существование, вступив в союз, совершенно им не подобающий. Для нашего мира это обычное дело и никто их не осуждает. А вашего расположения добывается человек столь редких достоинств... Подумайте сами, если вы отвергнете его и, осуществляя свое давнее намерение, встанете на путь служения Будде, удастся ли вам подняться над облаками и туманами (416)?

Но Бэн напрасно расточает свое красноречие. Ооикими слушает ее с досадой, а потом ложится, повернувшись к ней спиной. Рядом с ней, сочувственно вздыхая, устраивается и Нака-но кими.

Разумеется, Ооикими понимает, какая опасность ей грозит. Бэн она не доверяет, но что ей остается делать? Увы, дом слишком мал, и спрятаться негде. В конце концов, прикрыв сестру красивым легким платьем, она ложится немного поодаль, ибо даже к вечеру не становится прохладнее.

Бэн передает гостю все, что сказала Ооикими. «Когда же успела она проникнуться таким отвращением к миру? — удивляется Тюнагон. — Вероятно, общение с отцом-отшельником открыло ей глаза на тщетность мирских упований». Но может ли он осуждать ее за мысли, столь созвучные его собственным?

— Значит, ваша госпожа больше не желает разговаривать со мной даже через занавес? — спрашивает он. — Но, может быть, хотя бы сегодня вы все-таки придумаете что-нибудь и потихоньку проведете меня в ее опочивальню?

Бэн, заручившись поддержкой нескольких близких госпоже дам и пораньше отправив остальных спать, употребила все старания, чтобы выполнить его просьбу.

Когда совсем стемнело, подул сильный ветер, и заскрипели старые решетки. Рассудив, что в такую пору никто ничего не услышит, Бэн потихоньку проводит Тюнагона в опочивальню. Ее немного беспокоит, что сестры спят вместе, но так они спали всегда, и разве могла она попросить их лечь этой ночью розно? К тому же Тюнагон знает их достаточно хорошо, чтобы отличить одну от другой.

Однако лежавшая без сна Ооикими, уловив звук приближающихся шагов, потихоньку встает и скрывается за занавесями. Младшая же сестра безмятежно спит. «Что я наделала! — ужасается Ооикими. — Мы должны



были спрятаться вместе». Но вернуться она уже не может и, дрожа всем телом, ждет, что будет дальше.

Вот в тусклом огне светильника показывается мужская фигура. Привычно приподняв полу переносного занавеса, Тюнагон входит в опочивальню. «Бедняжка, что она подумает?» — казнится Ооикими, но не покидает своего укрытия — узкой щели между стеной и стоящей рядом с ней ширмой. «Ее сердили даже намеки, а теперь... О, она никогда мне этого не простит». А все потому, что они остались совсем одни, без надежного покровителя. Ооикими невольно вспоминается тот вечер, когда, простившись с ними, отец ушел в горы. «Словно это было вчера», — вздыхает она, и грудь ее стесняется мучительной тоской.

Увидев, что девушка спит одна, Тюнагон с благодарностью думает о Бэн: «Как ловко она все устроила!» Надежда заставляет его сердце забиться несказанно, но уже в следующий миг он понимает, что перед ним другая. Впрочем, эта юная особа едва ли не милее и изящнее, чем Ооикими. Между тем Нака-но кими просыпается. Она вне себя от ужаса, ясно что для нее это полная неожиданность. Тюнагону жаль ее, но он слишком возмущен поведением старшей сестры, сыгравшей с ним столь злую шутку. Дурно пренебрегать Нака-но кими, но он никогда не помышлял о союзе с ней, к тому же ему не хочется давать Ооикими повод упрекать его в неверности. Что же, придется остаться на ночь здесь, а там будет видно. Если судьбе и в самом деле угодно соединить его с младшей, она ведь тоже не чужая...

И Тюнагон проводит ночь, ласково беседуя с девушкой — точно так же, как когда-то беседовал с ее старшей сестрой.

Утром старые дамы, уверенные в том, что все произошло именно так, как они замыслили, не могли понять одного — куда исчезла младшая госпожа.

— Где же она? Вот странно... — недоумевают они.

— Впрочем, за нее беспокоиться нечего.

— Но как же хорош господин Тюнагон! Стоит лишь посмотреть на него, и морщины разглаживаются. О таком супруге только мечтать можно! И почему госпожа так противилась союзу с ним?

— Кто знает? Быть может, она во власти какого-нибудь страшного духа?\* Я слышала, и такое бывает, — недружелюбно ворчат некоторые, кривя беззубые рты.

— Не к добру вы это говорите! — возражали другие. — При чем здесь духи? Просто она воспитывалась вдали от людей, в глуши, и до сих пор не имела дела с достойными мужчинами. Потому-то и боится.

— Ничего, со временем привыкнет и будет с ним поласковее.

— Ах, скорее бы...

Постепенно дамы расходятся по своим местам, и кое-кто начинает безобразно храпеть.

В этом случае длина осенней ночи вряд ли зависела от того, «с кем проводишь ее» (417), и тем не менее Тюнагону показалось, что рассвет наступил слишком быстро. Он уже и сам не мог сказать, которая из сестер лучше, и, любуясь нежной прелестью младшей, досадовал, хотя никто ведь не принуждал его...

— Не забывайте меня, — говорит он. — Надеюсь, вы не будете брать пример со своей бессердечной сестрицы?

И, пообещав навестить ее снова, выходит. Все случившееся ночью казалось ему странным сном, но, надеясь, что удастся предпринять хотя бы еще одну попытку объясниться с Ооикими, он постарался успокоиться и, вернувшись к себе, лег.

Бэн поспешила в покои сестер.

— Как странно, где же младшая госпожа? — спрашивает она.

Нака-но кими лежит, готовая от стыда провалиться сквозь землю. Все это так неожиданно... Как же случилось, что Тюнагон?.. Тут ей вспоминается вчерашний разговор с сестрой, и ей становится обидно: «Как же она могла!»

Но вот утренний свет озаряет покои, и из своей щели тихонько выползает сверчок... Чувствуя себя виноватой и изнемогая от жалости к сестре, Ооикими не в силах выговорить ни слова. Нака-но кими тоже молчит. «Как неприятно, что он ее увидел, теперь она не будет казаться ему столь желанной, я только все испортила, — терзается Ооикими. — Впредь надо быть всегда настороже».

Тем временем госпожа Бэн прошла к гостю и, узнав от него, что Ооикими снова удалось повернуть все по-своему, не сдержала негодования. «Какая жестокость!» — сетовала она, искренне сочувствуя Тюнагону.

— Ваша госпожа и раньше не баловала меня благосклонностью, но я терпел себя надеждой... Вчера же я пришел в такое отчаяние, что готов был искать забвения в водах реки. И когда бы не вспомнил об их почтенном отце, о том, как печалился он, расставаясь с ними... Да, ради него я не должен уходить из мира. Я больше не стану докучать ни той, ни другой, но вряд ли мне удастся забыть ту горькую обиду, которую нанесла мне вчера ваша госпожа. Очевидно, она предпочитает Третьего принца, который, как мне известно, давно уже без всякого стеснения пишет к ней. Что ж, удивляться тут нечему, женщины всегда выбирают того, кто повыше. Не знаю, решусь ли я приехать сюда еще раз, мне стыдно показываться на глаза дамам. Ну да ладно. Вы только не говорите никому, каким глупцом я оказался...

Крайне раздосадованный, Тюнагон уехал раньше, чем обычно.

— Ах, как жаль их обоих! — перешептывались дамы.

Ооикими, сознавая свою вину, окончательно лишилась покоя. «И зачем я это сделала? — казнилась она. — А если он станет теперь выказывать холодность по отношению к сестре? Как ужасно, что дамы так бесцеремонны и вмешиваются во все, даже не пытаются понять...»

Тут принесли письмо от Тюнагона.

Как ни странно, Ооикими обрадовалось ему более обыкновенного.

Словно забыв, что уже наступила осень, Тюнагон прикрепил письмо к зеленой ветке, на которой листья покраснели только с одной стороны:

«С одной стороны  
Эту ветку окрасила  
Владычица гор.  
Хотел бы спросить — какой  
Цвет кажется более ярким?»

Письмо было коротким, но в нем не чувствовалось и тени досады. Глядя на старательно свернутый листок бумаги, Ооикими невольно подумала: «Он, кажется, хочет сделать вид, будто ничего особенного не произошло,

и таким образом положить конец...» Эта мысль встревожила ее, а между тем дамы настойчиво торопили с ответом. Она не решилась просить сестру, писать самой ей тоже не хотелось... Все же, после долгих колебаний она ответила:

«Мне не дано  
Проникнуть в тайные думы  
Владычицы гор,  
Но разве не ярче становятся  
Листья, меняя цвет?»

Она писала так, словно ничего не случилось, почерк же ее был настолько прекрасен, что от гнева Тюнагона не осталось и следа.

«Она ведь не раз намекала на свое желание отдать мне сестру, — думал Тюнагон. — Разве не говорила она: “Мы с сестрой различны плотью, но душой — едины”? Очевидно, потеряв надежду склонить меня к согласию, она и решилась на столь отчаянный шаг. Однако ее ожидания оказались обманутыми, ей не удалось изменить направление моих мыслей. Боюсь, что теперь я окончательно потерял ее доверие и надеяться больше не на что. Даже эта старая дама, до сих пор бывшая моей сообщницей, готова осудить меня. Нельзя было поддаваться искушению. Проявив малодушие, я сам привязал себя к этому миру и вполне заслуживаю того, чтобы надо мной смеялись. Нетрудно вообразить, как будут злословить люди, узнав о том, что я превратился в самого заурядного повесу и, словно челнок, “уплывая, тотчас обратно” спешу (44)».

Всю ночь Тюнагон не смыкал глаз, а утром, когда в прекрасном небе еще видна была предрассветная луна, отправился к принцу Хёбукё.

С тех пор как сгорел дом на Третьей линии, Тюнагон переехал на Шестую, а поскольку принц жил рядом, часто наведывался к нему, чему тот был только рад.

Жилище принца Хёбукё было средоточием всей мыслимой роскоши. Сад перед домом поражал невиданным великолепием, даже самые простые цветы выглядели необыкновенно изысканно, а травы и деревья изящнее, чем где-либо, склонялись под порывами ветра. В ручьях отражалась луна, прекрасная, словно на картине. Как Тюнагон и предполагал, принц бодрствовал.

Когда ветер донес до принца чудесное благоухание, происхождение которого не вызвало сомнений, он поспешил переодеться в нос и, вот, приведа себя в порядок, выходит к гостю. Тюнагон приветствует его с середины лестницы, принц же, не приглашая его подняться, устраивается у перил, и тут же завязывается разговор обо всем на свете. Разумеется, принц вспоминает о горном жилище, и осыпает Тюнагона новыми упреками. «Как же нелепы его подозрения! — вздыхает тот. — Мне ведь и самому не так-то просто добиться желаемого...» Однако у него есть причины стремиться к тому, чтобы искательства принца увенчались успехом, а потому он с большей, чем обычно, горячностью принимается рассуждать о том, к каким еще средствам можно прибегнуть. Близится рассвет, холодное небо затянуто туманом, сквозь который не пробиться лунному свету, и под деревьями в саду темно. Впрочем, в этом есть особая прелесть. Очевидно, принцу вспоминается печальное жилище в Удзи, ибо он говорит:

— Надеюсь, что в следующий раз ты не забудешь взять меня с собой. — А поскольку его слова повергают Тюнагона в замешательство, шутиливо добавляет:

— На широком лугу,  
Расцветает «девичья краса»,  
Ты же, скупец,  
Окружил его вервью запрета,  
И никого не пускаешь...

— «Девичью красу»  
На далеком лугу скрывает  
Густой туман.  
Увидеть ее дано лишь тому,  
Кто ей отдаст свое сердце.

Да, не всякому можно... — отвечает Тюнагон, и явная укоризна звучит в его голосе.

— «Вот надоеда...» (418) — сердится принц.

Принц Хёбукё давно уже докучал Тюнагону своими просьбами, но тот не решался брать на себя роль посредника, опасаясь, что принца ждет разочарование. Теперь же он был уверен в обратном. Более того, если раньше у него были сомнения относительно душевных качеств Нака-но кими, то, познакомившись с ней поближе, он убедился, что она безупречна и в этом. Жестоко было разрушать тайно вынашиваемые замыслы Ооикими, но могли Тюнагон изменить своему чувству? Если же младшая сестра достанется принцу, никто не посмеет упрекать его...

Между тем принц, не подозревая о тайных мыслях друга, считает его «скупцом». Ну не забавно ли?

— Ваша случайная прихоть может обернуться для девушки новыми страданиями, — говорит Тюнагон, изображая из себя почтенного отца семейства.

— Но дай мне срок, и ты увидишь. Поверь, ни одной женщине не удалось так глубоко затронуть мое сердце, — вполне серьезно отвечает принц.

— Так или иначе, пока ваши намерения не находят отклика в их сердцах. Думаю, что мне нелегко будет сослужить вам эту службу.

Тем не менее Тюнагон подробно рассказывает принцу о том, как должно вести себя во время путешествия в Удзи.

Выяснив, что Двадцать восьмой день, последний день празднеств Другого берега, благоприятен для этой цели, Тюнагон потихоньку подготовил все необходимое и повез принца в горы.

А надо сказать, что решиться на это было непросто. Если бы слух о готовящейся поездке дошел до ушей Государыни, она наверняка запретила бы им ехать, но принц горел нетерпением, и Тюнагону ничего не оставалось, как согласиться, хотя сохранить это предприятие в тайне казалось ему почти невозможным.

Открыто переправляться на противоположную сторону реки на лодке было не совсем прилично, поэтому Тюнагон решил не останавливаться на ночлег в роскошном жилище Левого министра, и, высадив принца у рас-

положенного неподалеку от горной усадьбы дома своего управляющего, дальше поехал один. Скорее всего их никто бы не заметил, но, должно быть, Тюнагон боялся, как бы принц не попался на глаза сторожу — вдруг тот как раз будет совершать обход дома.

Дамы, как обычно, обрадовались гостю. «Господин Тюнагон приехал, господин Тюнагон...» — хлопотали они, стараясь устроить его поудобнее. Сестер же появление Тюнагона повергло в сильнейшее замешательство. «Разве я не дала ему понять, что его думы должны принять иное направление?» — подумала Ооикими.

Нака-но кими знала, что сердце Тюнагона принадлежит другой и что бояться ей нечего, однако после той ночи, которая произвела столь болезненное впечатление на ее душу, она изменилась к сестре и начала от нее отдаляться. Теперь девушки общались только через дам, и те, встревоженные столь неожиданной переменой, то и дело вздыхали: «Чем же все это кончится?»

Когда стемнело, Тюнагон верхом на коне потихоньку съездил за принцем, и вызвал Бэн.

— Я должен непременно поговорить со старшей госпожой, — говорит он. — Мне хорошо известно ее отношение ко мне, и я не хочу казаться навязчивым, но я не могу расстаться с ней, даже не объяснившись. А попозже вы проводите меня туда, где я был в прошлый раз.

Уличить его в неискренности невозможно и, подумав: «Не все ли равно, к кому из барышень его вести», Бэн проходит в покои Ооикими.

«Так, мол, и так», — докладывает она, и та, облегченно вздохнув: «Ну вот, я была права. Она покорила его сердце, и он забыл обо мне...» — велит впустить Тюнагона, предварительно заперев перегородку со стороны галереи, а двери, ведущие в покои младшей сестры, оставив открытыми.

— Мне нужно вам кое-что сказать, — говорит Тюнагон. — Но неужели вы хотите, чтобы я кричал на весь дом? Прошу вас, раздвиньте немного перегородки. Вы ставите меня в весьма неловкое положение.

— Я прекрасно слышу и так, — отвечает Ооикими и отказывается выполнить его просьбу. Однако уже в следующий миг сердце ее смягчается. «Неужели я лишу его возможности проститься со мной? Ведь теперь его сердце принадлежит другой. К тому же это не первая наша встреча... Так стоит ли отказывать ему? Лучше постараюсь быть с ним полюбезнее, а потом, не ожидая наступления ночи...»

Но стоило Ооикими приблизиться, как Тюнагон, просунув руку сквозь щель в перегородке, схватил ее рукав и притянул девушку к себе, осыпая упреками. Нетрудно вообразить ее ужас. «Ах, зачем я послушалась его!» — казнится Ооикими, но, увы... «Я должна смягчить его сердце и заставить уйти», — решает она и снова заводит разговор о своей младшей сестре, намекая на то, что они с ней едины и умоляя Тюнагона не пренебрегать ею... Право же, ее побуждения так трогательны!

Тем временем принц, следуя указаниям друга, приближается к дверце, ведущей в покои младшей сестры, и тихонько ударяет по ней веером. К нему выходит Бэн и приглашает следовать за ней. «Как все же странно, — невольнo приходит в голову принцу, — ведь столько раз приходилось ей быть проводником на этом пути...»

Ооикими ни о чем не ведала, и думала только об одном — как бы поскорее отправить Тюнагона к младшей сестре. Тюнагону же было с одной стороны любопытно, с другой — он чувствовал себя виноватым. К тому же он предвидел, сколь велик будет гнев Ооикими, когда она обо всем узнает. Вряд ли ему удастся оправдаться...

— Принц Хёбукё так упрашивал меня, что я не смог отказать, — говорит Тюнагон. — Сейчас он находится в доме. Полагаю, что ему удалось проникнуть в покои вашей сестры, заручившись поддержкой одной весьма расторопной дамы. А я, как видите, остался ни с чем, и наверняка надо мной будут смеяться.

От неожиданности у девушки темнеет в глазах.

— Я проявила поистине преступную неосторожность, доверившись вам, — говорит она прерывающимся от негодования голосом. — Но такого коварства я не ожидала. Вы вправе презирать меня. Нельзя быть столь легкой на веру.

Невозможно выразить словами меру ее отчаяния.

— Стоит ли об этом говорить теперь, — отвечает он. — Вы все равно не простите меня, какие бы доводы я ни приводил в свое оправдание. Что ж, можете ударить меня или ущипнуть. Вероятно, высокое положение принца прельщало и вас, и вы тешили себя надеждой... К сожалению, жизнь неподвластна человеческой воле. Принц увлекся другой, и некого в том винить. Я искренне сочувствую вам, но постарайтесь и вы понять меня. Надежды мои разбиты, и сердце разрывается от боли... Почему бы вам не примириться с судьбой? Как бы крепко ни была заперта эта дверца, вряд ли кто-то поверит в целомудренность наших встреч. Наверное, тот, чьим проводником я стал, не представляет, сколь безрадостную ночь пришлось провести мне.

Испугавшись, что он сломает перегородку, Ооикими, как ни велико ее возмущение, снова пытается его успокоить:

— Судьба, о которой вы изволите говорить, недоступна взору и мне неведома. «Горькие слезы струятся из глаз» (111), и все как в тумане. Я не знаю, каковы теперь ваши намерения. Ах, все это словно страшный сон! Право, если найдется человек, который почему-либо сочтет нашу историю поучительной и станет рассказывать о ней другим, мы с сестрой наверняка войдем в число женщин, слывающих образцом глупости. В старинных повестях таких немало, не правда ли? Могу я узнать, как отнесся к вашему замыслу сам принц? Прошу вас впредь не подвергать нас столь тяжким испытаниям. Если мне удастся задержаться в этом мире еще на некоторое время, в чем я сомневаюсь, мы вернемся к нашему разговору... Теперь же силы мои иссякли, свет меркнет в глазах, и я нуждаюсь в отдыхе. Отпустите меня.

Несмотря на крайнее замешательство, она рассуждает весьма здраво, и Тюнагон смущен и восхищен одновременно.

— О моя госпожа! — говорит он. — До сих пор я проявлял беспримерное терпение, во всем повинуюсь вам. Но вы все равно относились ко мне с поистине необъяснимой неприязнью, и, что бы я ни делал, мне не удавалось смягчить ваше сердце. Я больше не хочу оставаться в этом мире!

— Что ж, раз я вам так неприятен, ничего не поделаешь, — добавляет он, — но может, вы согласитесь разговаривать хотя бы через перегородку? Не отворачивайтесь от меня совсем!

Он выпускает ее рукав, и Ооикими тут же отодвигается, но совсем не уходит. Этого довольно, чтобы Тюнагон почувствовал себя растроганным.

— Смею ли я мечтать о большем? — говорит он. — Я готов просидеть так всю ночь... И никогда не позволю себе...

До самого рассвета остается он в покоех Ооикими. Шум реки не дает ему и на миг сомкнуть глаз. Прислушиваясь к завываниям ночной бури, он чувствует себя фазаном, в одиночестве коротающим ночные часы... (419).

Но вот небо начинает светлеть, и издалека доносится знакомый колокольный звон. «А принц, наверное, еще крепко спит...» — не без зависти думает Тюнагон и начинает покашливать, чтобы поторопить его. Как же все это странно, право...

— Другому  
Указал я дорогу, а сам  
Блуждаю теперь  
В предрассветном тумане  
С неуголенной душой...

Неужели с кем-то еще случалось такое? — говорит Тюнагон.

— В блужданиях своих  
Разве не сам ты повинен?  
Подумай о том,  
Какой беспросветный мрак  
В наших душах царит... —

тихонько отвечает Ооикими, и Тюнагону становится еще труднее расстаться с ней.

— Ах, почему? Что за нелепую преграду вы воздвигли меж нами...

Он осыпает ее упреками, а небо между тем быстро светлеет, и вот, наконец, появляется принц. При каждом его движении по дому распространяется сладостное благоухание, судя по всему, готовясь к тайному свиданию, он постарался пропитать одежды самыми утонченными ароматами.

Старые дамы поражены, мучительное недоумение написано на их лицах, однако они находят утешение в мысли, что Тюнагон дурного не придумает.

Молодые люди уехали затемно. Обратный путь показался им куда длиннее, и принц Хёбукё, наверное, приуныл, подумав о том, как нелегко будет ему ездить в Удзи. В самом деле — «проведу ли ночь я без тебя...» (85).

Они вернулись на Шестую линию рано утром, когда все еще спали, и в доме было тихо. Подъехав прямо к галерее, молодые люди вышли и поспешили укрыться во внутренних покоях, напоследок с улыбкой взглянув на свои кареты, нарочно убранные так, как если бы в них путешествовали дамы.

— Надеюсь, у нее не будет повода усомниться в вашей преданности, — заметил Тюнагон, с трудом подавив досаду. Он так и не решился поведать принцу о том, сколь неудачливым оказался сам проводник. А тот поспешил отправить Нака-но кими письмо.

Тем временем в горном жилище царило смятение. Случившееся ночью казалось девушкам дурным сном. Нака-но кими сердилась и не желала даже смотреть на сестру: «Наверняка она все знала, а мне даже не намекнула...»

Ооикими, не решаясь открыто признаться, что все произошло без ее ведома, тоже страдала, понимая, что сестра вправе чувствовать себя обиженной.

— Что произошло? — недоумевали дамы, но, поскольку старшая госпожа, на которую они привыкли во всем полагаться, была в крайне подавленном состоянии, им оставалось только пожимать плечами: «Как же все это странно...»

Развернув письмо, Ооикими протянула его сестре, но та и не подумала встать. А гонец между тем начал роптать: «Как долго...»

«Неужели ты скажешь —  
«Ах, и он не лучше других»,  
О том позабыв,  
Что я к тебе пробирался,  
По диким росистым тропам?»

Принц прекрасно владел кистью, и когда-то его изящнейшие послания приводили Ооикими в восторг, но теперь ее одолевали сомнения. Отвечать вместо сестры она не решилась, ибо это могло показаться нескромным, и в конце концов после долгих уговоров Нака-но кими написала ответ сама, причем старшая сестра с нежной снисходительностью объяснила ей, как должно отвечать на такие письма.

Гонцу поднесли хосоанага цвета «астра-сион» и трехслойные хакама. Заметив, что он явно чувствует себя неловко, дамы увязали дары в узел, который вручили его спутникам. А надо сказать, что гонцом принца был простой мальчик-слуга, которого он всегда посылал в Удзи, полагая, что тому легче остаться незамеченным. Принц больше всего на свете боялся огласки и, увидев столь щедрые дары, встревожился. «Наверное, не обошлось без той расторопной старой дамы», — подумал он.

Принц попросил Тюнагона стать его проводником и на следующий день, но тот отказался.

— Меня ждут сегодня во дворце Рэйдзэй, и, к сожалению...

«Ну вот, опять полное пренебрежение к житейским делам!» — посетовал принц.

Тем временем Ооикими почти убедила себя в том, что не должна выказывать своего пренебрежения принцу, хотя этот союз и был заключен вопреки ее воле. В доме не нашлось приличного случая убранства, однако ей удалось украсить покои сестры с изящной простотой, вполне отвечающей местным условиям.

Как это ни странно, сегодня она скорее обрадовалась, узнав о приезде принца: ведь раз не испугали его тяготы долгого пути... Нака-но кими по-прежнему лежала в забытии, и Ооикими распорядилась, чтобы ее принарядили. Заметив, что рукава темно-красного платья насквозь промокли, раскудительная сестрица и сама не выдержала и расплакалась.

— Я вряд ли надолго задержусь в этом мире, — говорит она, расчесывая сестре волосы, — и единственное, что волнует меня денно и ночью, — это твое будущее. Я понимаю, как тебе надоели дамы с их постоянными разговорами о выпавшей нам на долю удаче. Но они прожили немало лет, и им ведомо многое. Я и раньше сомневалась в том, что мне, лишенной всякого жизненного опыта, удастся проявить настойчивость и не менять ничего в



твоей жизни, но я и представить себе не могла, что на нас обрушится такая неожиданность, из-за которой я окончательно потеряю покой. Наверное, именно в таких случаях люди и говорят: «От судьбы не уйдешь». О, ты и вообразить не можешь, как мне тяжело! Когда ты немного успокоишься, я все тебе объясню, и ты поймешь, что я ничего не знала. Не сердись же на меня. Ведь этим ты увеличиваешь бремя, отягощающее душу...

Нака-но кими не отвечает. «Я знаю, что сестра беспокоится за меня и никогда не пожелает мне зла, — думает она. — Но вдруг нас ждут новые испытания, надо мной станут смеяться, и ей снова придется взять на себя заботы обо мне? Это будет ужасно!»

Уже вчера испуганная, смущенная Нака-но кими показала принцу прекраснейшей из женщин. Сегодня же она держалась увереннее, и он совершенно потерял голову. Мысль о том, как нелегко будет преодолевать разделяющее их расстояние, повергала его в отчаяние, и он снова и снова клялся ей в верности, но она не разделяла его пылкости, его речи не трогали ее сердца.

Благородные девицы, даже если их воспитание составляет основной предмет попечений всего семейства, почти всегда имеют возможность сообщаться с другими людьми. У них есть отцы и братья, с которыми беседуя, они приобретают опыт общения с лицами противоположного пола, поэтому их стыдливость и застенчивость скорее всего не столь уж и значительны.

Нака-но кими не была избалована вниманием. С малых лет жила она вдали от людей, привыкла к одиночеству, неудивительно поэтому, что столь неожиданный поворот судьбы скорее испугал ее, нежели обрадовал. Сконфузившись и растерявшись, она не могла ответить на самый простой вопрос. «Принц, должно быть, привык совсем к другим женщинам, — терзалась она. — Такая жалкая провинциалка, как я...»

А ведь Нака-но кими обладала более живым умом, чем старшая сестра, да и одаренностью пожалуй, превосходила ее.

— Завтра Третья ночь, надобно позаботиться о праздничных лепешках моти, — заявили дамы.

Ооикими, догадавшись, что речь идет об особом обряде, приказала в своем присутствии приготовить моти. Она не очень хорошо представляла себе, как это делается, но принуждена была давать указания дамам, словно взрослая, все понимающая женщина. От этого она смущалась, и лицо ее то и дело заливалось румянцем, очень ее красившим. Будучи старшей, Ооикими всегда держалась спокойно, с достоинством и нежно заботилась о младшей сестре.

Тем временем от Тюнагона принесли письмо:

«Я собирался посетить Вас вчера вечером, но мне стало вдруг так обидно, что все старания угодить Вам оказываются тщетными... Недавно мне пришла в голову мысль — а не нуждаетесь ли Вы в моих услугах сегодня? Но увы, после ночи, проведенной в столь неподходящем помещении, я занемог и до сих пор не могу оправиться, потому-то и медлю...»

Письмо было написано ровным почерком на бумаге «митиноку». Помимо письма гонец привез разные необходимые для столь торжественного дня вещи, в том числе прекрасные ткани, свернутые и уложенные в ларец. Все это было поручено передать госпоже Бэн «на платья для дам».

Тканей оказалось не так уж и много, ибо Тюнагону пришлось ограничиться тем, что нашлось в доме Третьей принцессы. На дно ларца он положил гладкие и узорчатые шелка, а сверху — два прекрасно сшитых платья, очевидно предназначенные для сестер. К рукаву нижнего платья был прикреплен листок бумаги с несколько старомодной песней, в которой явно чувствовалось предостережение:

«Не говорю —  
Мы лежали, укрывшись  
Платьем одним.  
Но благовидным предлогом  
Как могу ту ночь не считать?»

Ооикими смутилась. Увы, Тюнагон в самом деле видел их обеих, к тому же ближе, чем позволяют приличия... Она никак не могла придумать, что ответить, а между тем гонец почти со всеми своими спутниками потихоньку удалился. Удалось задержать только одного из слуг, которому и вручили ответ:

«Даже если открыты  
Будут сердца друг другу,  
Верю, ты никому  
Не скажешь о том, как близки  
Рукава наши были в ту ночь».

Ооикими была взволнованна, мысли ее путались, потому и песня получилась довольно заурядной, но Тюнагон, с нетерпением ожидавший ответа, счел ее очень искренней и умилился.

Тот вечер принц проводил во Дворце. О том лишь помышляя, как бы поскорее уйти, и видя, что случая все не представляется, он был крайне рассеян и то и дело вздыхал. Приметив это, Государыня сказала:

— Очень дурно, что ты до сих пор живешь один. Как бы за тобой не закрепилась слава неисправимого ветренника. Будь осмотрительнее, не годится потакать всем своим прихотям. Государь не раз изволил делиться со мной опасениями...

Она не преминула попенять ему и за то, что он стал слишком редко бывать во Дворце. Раздосадованный ее упреками, принц прошел в свои покои и написал письмо в Удзи. Отправив его, он долго сидел, вздыхая. За этим занятием его застал Тюнагон. Никогда еще принц так не радовался другу. По крайней мере было кому высказать душу.

— Что мне прикажешь делать? Уже совсем темно... О, если бы ты знал, в каком я смятении... — жалуется он.

«Вот и проверим, насколько основательны его намерения», — думает Тюнагон, а вслух говорит:

— Вы давно не появлялись во Дворце, и Государыня будет недовольна, если вы уедете. Когда я слышал, как об этом шепчутся дамы в Столовом зале, то так взволновался, что даже в лице изменился. Ведь и я могу навлечь на себя немилость Государыни только из-за того, что согласился сослужить вам эту нелегкую службу.

— Государыня бывает весьма сурова, — отвечает принц. — Впрочем, я уверен, что кто-то просто оговорил меня. Да разве я способен вести себя

так легкомысленно, как о том говорят? Просто я всегда на виду, и из-за этого сплошные неприятности!

Вид у него в самом деле весьма удрученный, и Тюнагону становится его жаль.

— Увы, упрекать вас будут в любом случае, — замечает он. — Ничего не поделаешь, попытаюсь и на этот раз заслонить вас собой... Как насчет того, чтобы проехать по горе Кохата верхом? (420) Правда, тогда будет еще труднее избежать пересудов...

Между тем уже совсем стемнело, и принц, не находя себе места от тоски и тревоги, решается ехать верхом.

— Мне не стоит сопровождать вас, — говорит Тюнагон, — лучше я позачуюсь о том, чтобы здесь все было спокойно...

И, оставшись во дворце, он проходит в покои Государыни.

— Принц, кажется, опять уехал, — жалуется она. — Он совершенно не желает считаться с приличиями. Что о нем будут говорить? Слух о его поведении может дойти до самого Государя, и тот станет пенять мне за то, что я недостаточно строга с сыном. Как все это неприятно!

Государыня очень моложава и едва ли не прекраснее, чем была в юные годы, трудно поверить, что у нее так много вполне уже взрослых детей. «Должно быть, Первая принцесса похожа на нее. Вот бы как-нибудь оказаться с ней рядом и хотя бы голос ее услышать!.. — вздыхает Тюнагон, и душа его стесняется томительным волнением. — Очевидно, именно в подобных обстоятельствах молодые повесы и теряют голову от страсти: с одной стороны тебя не держат на расстоянии, а с другой — удовлетворить свое желание ты тоже не можешь. Вряд ли в мире найдется человек, чьи помышления были бы столь же необычны, но даже такой чудака, как я, не в силах отказаться от особы, затронувшей его сердце».

Дамы, прислуживавшие в покоях Государыни, все как на подбор были миловидны и изящны. Каждая имела свои достоинства, а некоторые отличались таким благородством черт, что способны были воспламенить воображение любого мужчины. Однако Тюнагон, не желая смущать сердце недостойными помышлениями, держал себя с ними весьма сурово. Несмотря на это, многие употребляли все средства, чтобы привлечь его внимание. Зная, что Государыня придерживается строгих правил и не потерпит ни малейшей распушенности, они старались сохранять внешнюю благопристойность, но можно ли требовать от всех равного умения владеть собой? Кое-кому не удавалось справляться со своими истинными чувствами, и они прорывались наружу. Все это забавляло и трогало Тюнагона, но, занятый мыслями о всеобщем непостоянстве, он по-прежнему не помышлял о мирском.

Тем временем в горной обители готовились к приему принца, но его все не было, хотя в послании Тюнагона говорилось совершенно определенно... Уже совсем стемнело, когда принесли письмо.

«Ах, так я и знала», — огорчилась Ооикими, но вот незадолго до полуночи, когда неистовый ветер, казалось, готов был все смести на своем пути, принц наконец приехал. Его одежды источали тончайшее благоухание, сам же он был так красив, так изящен... Разве могла Ооикими остаться равнодушной?

Нака-но кими сегодня уже не дичилась, и, судя по всему, чувства принца нашли наконец отклик в ее сердце. Красота ее была в полном расцвете, а в праздничных одеждах она казалась просто несравненной. Принц привык видеть рядом с собой красивых женщин, но даже он не находил в ней никаких изъянов. Помимо привлекательной наружности, которая вблизи привела его в еще большее восхищение, в ней обнаружилось множество новых достоинств,

— Да, прекрасней нашей госпожи не найдешь! — говорили старые дамы, кривя в улыбках безобразные рты. — Вот было бы досадно, если бы супругом ее стал какой-нибудь простолюдин...

— Лучшей судьбы и желать невозможно.

Они тихонько шептались, осуждая старшую госпожу: «Уж слишком она строптивая, не мешает ей быть поласковее». Дамы эти давно миновали пору расцвета, но, очевидно забыв об этом, нарядились по случаю столь радостного события в яркие, разноцветные платья, покрыли лица толстым слоем румян и белил, отчего их уродливость стала еще более заметной. «А ведь и моя молодость позади, — невольюно подумала Ооикими, на них глядя. — Разве зеркало не говорит мне о том, что с каждым днем я все больше хуюеу и бледнею? Любопытно, считает ли хоть одна из них себя некрасивой? Они прикрывают волосами щеки, не подозревая, какое жалкое зрелище являют собой сзади, ярко раскрашивают свои лица... Но ведь и я... Стоит ли обманывать себя, воображая, что уж я-то не до такой степени дурна собой? Что нос и глаза у меня вполне хороши?»

Огорченная этими мыслями, она прилегла, глядя на сад. «Нет, он слишком хорош для меня, неприлично показываться ему в таком виде... Пройдет год, другой, и увядание мое станет еще заметнее. Впрочем, я и теперь слишком слаба...»

Она откинула рукава и, разглядывая свои руки, такие тонкие, трогательно бессильные, долго думала о том, как тщетно все в этом мире.

Помня, как трудно ему было уехать из столицы, принц боялся и помыслить о том, что ждет их в будущем.

Он рассказал Нака-но кими о разговоре с Государыней.

— Возможно, я не смогу бывать здесь часто, хотя душа моя всегда будет стремиться к вам. Не сомневайтесь во мне. Не будь вы мне дороги, я не приехал бы сегодня. Поверьте, это было непросто. Но подумав, что вы можете усомниться в моих чувствах, я пришел в такое отчаяние, что кинулся сюда, забыв обо всем на свете. Право, я и жизни бы не пожалел... Но мне не всегда будет удаваться ускользнуть незаметно. Поэтому я хотел бы, подготовив все необходимое, перевезти вас поближе к столице.

Искренность его несомненна, и все же... Стоит ли с самого начала заводить речь о неизбежных разлуках?.. Наверное, люди недаром обвиняют принца в сердечном непостоянстве... Нака-но кими приуныла, внезапно осознав, сколь ненадежно ее положение.

Но вот небо светлеет, принц открывает боковую дверь и увлекает юную госпожу за собой на галерею, чтобы вместе полюбоваться окрестностями. Повсюду стелется туман, сообщая этой дикой местности особое очарование. По реке, как обычно, снуют вверх и вниз еле различимые в тумане челны, груженные хворостом, «оставляя за собой белопенный след...» (421).

«Как все здесь не привычно взору», — дивится принц, чувствительное сердце которого не может остаться равнодушным к столь прекрасной картине. Скоро вершины гор озаряются первыми лучами, и красота Нака-но кими становится еще более чарующей. «Разве возвращенные в холе и неге принцессы лучше ее? — любит ее принц. — А ведь они настоящие красавицы, хотя, разумеется, они мои сестры, да и их положение в мире... Ах, теперь мне еще труднее расстаться с ней... Так хочется рассмотреть ее получше...» — досаждает он. Неподалеку грозно плещет река, вдали виднеется обветшавший мост Удзи. Туман постепенно рассеивается, и берег начинает казаться еще более мрачным и диким.

— Как же вы жили здесь столько лет? — спрашивает принц, и на глаза его набегают слезы.

Нака-но кими смущенно молчит. Принц так хорош собой, невозможно не поддаться его очарованию. К тому же он клянется ей в верности, обещая, что и в грядущих рождениях... Как все это неожиданно! Но почему-то с принцем она чувствует себя свободнее, чем с Тюнагоном, к которому должна была бы привыкнуть за долгие годы. «Сердце Тюнагона принадлежит другой, да и устремления его столь возвышенны, что перед ним невольно робеешь. Но как же все это странно... Раньше принц представлялся мне совершенно не доступным, и я стеснялась отвечать даже на самые короткие его письма! А теперь... О, теперь я заранее тоскую, думая о тех долгих днях, которые мне предстоит провести без него».

Между тем спутники принца начинают многозначительно покашливать, мол, пора возвращаться, впрочем, принц и сам понимает, что задерживаться непозволительно, и, поспешно собираясь в обратный путь, снова и снова просит юную госпожу не тревожиться, если ей придется часто проводить ночи в одиночестве, ибо он не волен в своих действиях.

Неразрывен  
Наш союз. Неужели ты станешь  
Одиноким рукав  
Орошать по ночам слезами,  
Дева моста Удзи? (393)

Принц медлит, не в силах расстаться с ней.

Ужель суждено  
Мне жить от свиданья к свиданью  
У моста Удзи,  
Лишь на одно уповая —  
Неразрывны брачные узы?

Она не сказала ему ни слова укоризны, но такая печаль проглядывала во всем ее облике, что у принца болезненно сжалось сердце.

Озаренный мягкими лучами утреннего солнца, он был так красив, что ни одна женщина не устояла бы перед ним. Проводив принца взглядом, Нака-но кими долго еще с тайным волнением вдыхала витавший в воздухе аромат его одежд. Так, видно, и она не умела противиться мирским соблазнам.

На этот раз принц покинул их дом, когда очертания предметов были уже ясно различимы, и дамы с удовольствием разглядывали его сквозь занавеси.

— Тюнагон тоже очень мил, но в его присутствии невольно робеешь... — говорили они. — А принц? Но, может быть, мы просто слишком страстны, ведь положение, которое он занимает в мире...

Тем временем принц возвращался в столицу, и печальное лицо Нака-но кими неотступно стояло перед его мысленным взором. Несколько раз он был близок к тому, чтобы повернуть обратно, но, хотя сердце с неодолимой силой влеклось к возлюбленной, страх перед людским судом оказался сильнее, и принц все-таки вернулся в столицу. Вернувшись же, долго не мог ускользнуть из-под бдительной опеки своих близких. Правда, гонцы от него приходили по несколько раз в день, и все же... Ооикими верила в искренность принца, но дни шли за днями, а его все не было, и мучительные сомнения начали терзать ее душу. «Мне так хотелось, чтобы сестра не знала в жизни печалей, — думала она, — а похоже, что она еще несчастнее меня...»

Не желая усугублять страдания Нака-но кими, Ооикими притворялась спокойной и беззаботной, лишь твердо решила про себя: «Уж я-то ни за что не пойду по этому пути».

Мог ли Тюнагон не понимать, как огорчает сестер долгое отсутствие принца? Чувствуя себя виноватым, он пристально наблюдал за ним и, лишь убедившись, что чувства его истинно глубоки, немного успокоился: «Быть может, со временем...»

Остался позади Десятый день Девятой луны. Мысли принца то и дело устремлялись к далекой горной усадьбе. Однажды вечером он сидел на галерее, и, уныло глядя на мрачное небо, готовое разразиться холодным дождем, думал: «Как быть?» Ведь не мог же он вдруг взять и поехать в Удзи только потому, что ему так этого хотелось! Тут, словно подслушав его мысли, появился Тюнагон.

«Каково теперь в старом жилище?» (423) — многозначительно произносит он.

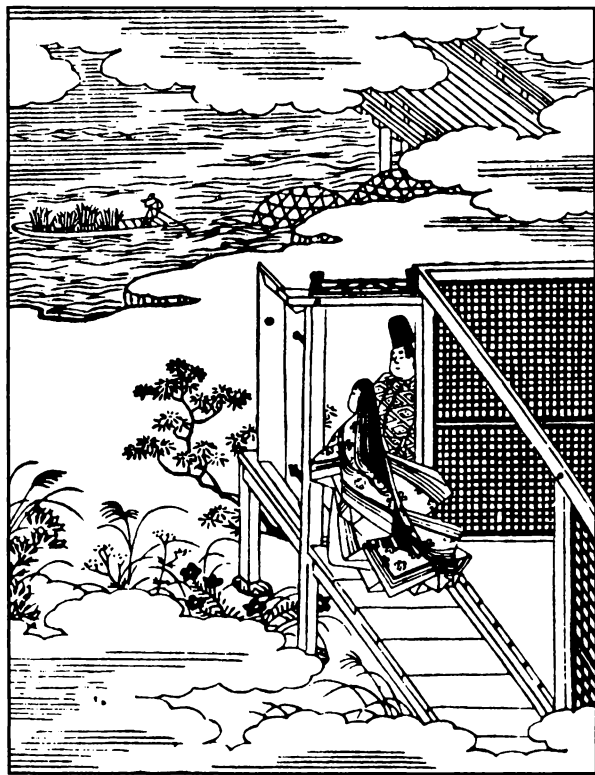
Возрадовавшись, принц просит друга сопутствовать ему, и, точно так же, как в прошлый раз, они выезжают в одной карете.

Чем дальше в горы уводила их дорога, тем яснее представлял себе принц, как тоскливо должно быть теперь его возлюбленной. Всю дорогу он говорил единственно о том, как тревожит его ее участь.

Когда опустились сумерки, заморосил холодный дождь, стало так уныло и мрачно, как бывает только в последние дни осени, вот только намокшие одежды молодых людей источали изумительный, поистине неземной аромат, и могли ли остаться к нему равнодушными обитательницы горной усадьбы?

Дамы, предав забвению вчерашние упреки, заулыбались и засуетились, готова покой для дорогих гостей. Некоторые поспешили вызвать своих дочерей и племянниц, когда-то покинувших Удзи и поступивших в услужение в разные столичные дома. Эти особы, никогда не отличавшиеся душевной тонкостью, позволяли себе отзывать о дочерях принца весьма пренебрежительно. И как же они были поражены, узнав о приезде столь важных гостей!

Ооикими тоже обрадовалась принцу, тем более что в такой день... Правда, она предпочла бы, чтобы он приехал один, без своего услужливого друга. Присутствие Тюнагона смущало ее, однако, невольно сравнивая молодых



людей между собой, она вынуждена была признать, что даже принц во многом уступает ему. В самом деле, мало кто из сверстников Тюнагона обладал столь основательным умом и умел держаться с таким достоинством.

Принцу дамы устроили пышный прием, насколько это возможно было в такой глуши. Тюнагона же встретили без особых церемоний, как своего, и отвели в приготовленные наспех гостевые покои, удаленные от основной части дома, что показалось ему возмутительным. Чувствуя себя виноватой, Ооикими согласилась поговорить с ним через ширму.

— «Теперь мне, увы, не до шуток!» (137) До каких же пор... — пеняет он ей.

Ооикими понимала, что у него есть причины обижаться, но, удрученная неопределенным положением младшей сестры, окончательно укрепилась в мысли о ненадежности супружеских уз, и твердо решила никогда ни с кем себя не связывать. «Я уверена, что даже этот человек, столь любезный моему сердцу, когда-нибудь непременно заставит меня страдать, — думала она. — Нет, пусть уж лучше все останется по-старому, тогда мы оба избежим разочарования и сохраним до конца нашу взаимную приязнь».

Тюнагон заводит разговор о принце, а поскольку услышанное подтверждает его опасения, принимается утешать Ооикими: мол, все это время он внимательно следил за принцем и успел убедиться в его искренности. Сегодня Ооикими с ним куда ласковее обыкновенного.

— Когда все волнения останутся позади, — говорит она, — я буду рада снова побеседовать с вами.

Настроена она довольно дружелюбно и не спешит уйти, однако дверца остается запертой, и ясно, что малейшая попытка разрушить эту преграду вызовет ее негодование. «Возможно, она права... — вздыхает Тюнагон. — И все же я не верю, что сердце ее принадлежит другому». Эта мысль приносит ему облегчение, тем более, что по натуре своей он человек весьма уравновешенный..

— Неприятно разговаривать, находясь в таком отдалении друг от друга, — сетует он. — Почему бы нам не побеседовать так же, как в прошлый раз?

Однако Ооикими отвечает:

— В последнее время я и сама не могу без стыда (424) смотреть на свое лицо, вот и боюсь оттолкнуть вас своим видом. Мне это будет больно. Как вы думаете, почему?..

Она тихонько смеется, и Тюнагон чувствует себя окончательно плененным.

— Кто знает, до каких пределов может простираться моя уступчивость? — вздыхает он, и снова проводят они ночь, как «фазаны в далеких горах» (425).

А принц, и ведать не ведающий о том, что Тюнагон до сих пор коротает ночные часы словно одинокий путник, говорит:

— Завидую я Тюнагону, он так свободно держится в вашем доме, совсем как хозяин...

Чем вызывает немалое удивление Нака-но кими.

Таких трудов стоило уехать из столицы и вот, оглянуться не успели — уже пора прощаться. Принц в отчаянии, сестры же, не умея проникнуть в его тайные думы, вздыхают о своем: «Что нас ждет впереди? Не станут ли люди смеяться?» Да, судя по всему, надеяться на безоблачное будущее и в самом деле трудно.

Разумеется, принц мог тайно перевезти Нака-но кими в столицу. Но куда? В доме на Шестой линии жил Левый министр, который до сих пор не простил принцу, что тот отказался от его дочери Року-но кими. Затаив в душе обиду, министр позволял себе отзываться о принце весьма пренебрежительно, как о неисправимом ветренике, и не преминул пожаловаться на него самому Государю. Немудрено вообразить, как осложнилось бы положение принца, решишь он вывезти из горной глуши никому не известную особу и объявить ее своей супругой! Будь это простое увлечение, он взял бы девушку к себе в услужение, и все бы прекрасно уладилось, однако Нака-но кими была слишком дорога его сердцу. Когда он займет в мире то блестящее положение\*, которое прочат ему Государь и Государыня, в его власти будет вознести Нака-но кими на недостижимую для других высоту, но пока он бессилен и может только мечтать о том, какими заботами окружит ее в будущем.

Тюнагон собирался, закончив строительство нового дома на Третьей линии, перевезти туда Ооикими. «Насколько спокойнее быть простым подданным, — думал он. — Принц живет в беспрестанной тоске, боится выдать себя, страдает, не имея возможности часто ездить в Удзи. Нака-но кими



тоже страдает. А что, если мне признаться во всем Государыне? Негодование ее будет велико, но не век же ей гневаться, к тому же за девушкой нет никакой вины. Ну не досадно ли, что принц не может остаться в Удзи хотя бы на одну ночь? Да и она заслуживает лучшего. О, если б мне удалось помочь им!»

И Тюнагон решил не слишком усердствовать в сохранении этой тайны.

Кроме него, некому было позаботиться о том, чтобы у девушек было все необходимое ко дню Смены одежд, поэтому он отправил в Удзи ткани для занавесей, штор и прочего, ранее предназначавшиеся для дома на Третьей линии, куда он собирался перевезти Ооикими, как только будут завершены строительные работы. Матери своей Тюнагон сказал, что ткани срочно понадобились в другом месте, и он счел возможным... А кормилице и прочим дамам поручил подготовить разнообразные наряды для обитательниц горной усадьбы.

В начале Десятой луны Тюнагон предложил принцу Хёбукё поехать полюбоваться алыми листьями. «Кроме того, сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть на лов ледяной рыбы», — сказал он.

Принц надеялся, что сумеет выехать тайно, взяв с собой самых близких слуг и приближенных, но, увы, слишком высоко было его положение в мире, и обойтись без огласки не удалось. Решено было, что с принцем поедет Сайсё-но тюдзё, сын Левого министра. Помимо Сайсё-но тюдзё и Тюнагона, представлявших высшую знать, в свиту принца вошли многие придворные более низких рангов.

Тюнагон отправил в Удзи письмо, в котором сообщал о готовящейся поездке.

«Скорее всего принц пожелает остановиться на ночлег в вашем доме, — написал он. — Так что будьте готовы. Не забывайте об осторожности, ибо многие молодые люди из его свиты, особенно те, что прошлой весной приезжали к вам полюбоваться цветами, постараются воспользоваться случаем, чтобы увидеть вас. Одни пожелают переждать дождь, другие придумают иной предлог...»

Ооикими распорядилась, чтобы в доме повесили новые занавеси, тщательно убрали покои, вымели скопившиеся между камнями опавшие листья, очистили ручьи от водорослей. Тюнагон заранее прислал слуг и достойное случая угощение. Его заботы смущали Ооикими, но она смирилась, понимая, что ничего другого ей не остается.

И вот принц со спутниками плавает на лодках вверх и вниз по реке, и до горной усадьбы доносится прекрасная музыка. Молодые прислужницы выходят туда, откуда можно хоть что-то увидеть, однако разглядеть самого принца не так-то легко.

Крыши лодок, словно драгоценной парчой, покрыты алыми листьями, ветер приносит звонкие голоса флейт. У всех, кто видит, как подобострастно склоняются перед принцем люди, с каким размахом обставлен даже такой, тайный, выезд, невольно возникает мысль: «Да, ради такого Волопаса стоит ждать Седьмой ночи...»\*

Принц нарочно взял с собой ученых мужей, зная, что китайские стихи лучше всего отвечают подобным обстоятельствам. Когда опускаются сумерки, лодки пристают берегу, и, выйдя из них, гости услаждают слух му-

зыкой и сочиняют стихи. Несколько юношей с прическами, украшенными бледно- и ярко-алыми ветками, исполняют на флейтах пьесу «Морская си-нева»\*. Все выглядят довольными, только принц смотрит отрешенно: ему кажется, что перед ним расстилается море Оми... (426), и в мыслях лишь одно — «в какой же обиде должна быть она теперь на меня, ведь я «так от нее далеко» (427).

Юноши слагали стихи на предложенные темы и читали их друг другу. Надеясь, что им удастся ускользнуть, когда веселье пойдет на спад, Тюнагон подошел к принцу, дабы условиться с ним, но тут появился старший брат Сайсё-но тюдзё, Эмон-но ками, облаченный в великолепный парадный наряд и окруженный внушительной свитой. Он прибыл прямо из Дворца, выполняя распоряжение Государыни-супруги.

Когда человек, принадлежащий к высочайшему семейству, выезжает из столицы, пусть даже тайно, без огласки все равно не обойтись, к тому же подобный выезд легко может стать примером для грядущих поколений, поэтому, услышав о том, что принц Хёбукё внезапно отправился в Удзи, не взяв с собой даже положенного ему по рангу числа сановников, Государыня встревожилась и выслала ему вслед Эмон-но ками в сопровождении большой свиты. Ничего неприятнее и вообразить невозможно! Принц и Тюнагон были так раздосадованы, что происходящее потеряло для них всякую прелесть. Остальные же, не ведая ни о чем, угощались вином и веселились до самого рассвета.

Принц собирался провести весь день в Удзи, но Государыня прислала за ним еще и дайбу из Службы Срединных покоев и многих других придворных. Принц был в смятении и с трудом скрывал недовольство, возвращаться в столицу ему вовсе не хотелось. Он поспешил отправить Нака-но кими письмо.

Даже не позаботившись о том, чтобы облечь мысли в изящную форму, он дал волю обуревавшим его чувствам, и письмо его дышало неподдельной искренностью. Однако, рассудив, что рядом с ним слишком много посторонних, Нака-но кими даже не ответила. Теперь она окончательно поняла, сколь тщетно было надеяться... Увы, она слишком ничтожна, весь этот блеск не для нее.

Когда принц находился далеко, в столице, и Нака-но кими коротала дни в ожидании, ее душевные муки были естественны, она утешалась, думая: «вот пройдет время, и в один прекрасный день...» Сегодня же он совсем рядом, она слышит, как он веселится со своими друзьями, и думать забыв о ней... Могла ли она не обижаться и не досадовать? Впрочем, сам принц был огорчен едва ли не больше, беспредельное уныние владело его душой.

Ледяная рыба, словно из почтения к столь важному гостю, ловилась особенно удачно, и люди радовались, раскладывая добычу на разноцветных листьях. Простые слуги и те были восторге — словом, каждый получил удовольствие от этого путешествия, одному принцу было невесело. Он стоял в стороне, с тоскою вглядываясь в небо.

Деревья у старого дома на противоположном берегу отличаются особенной красотой, а плющ, обвивающий ветви сосен, поражает яркостью красок, при этом даже издали заметно, какое унылое запустение царит в горной усадьбе. «Ах, зачем я обнадежил их!» — казнит себя Тюнагон.

Молодые придворные, сопровождавшие принца прошлой весной, вспоминают, как хороши были тогда цветы, и жалеют дочерей Восьмого принца, которые, оставшись одни, должно быть, предаются печали. Скорее всего кое-кто краем уха слышал о том, что принц Хёбукё тайком наведывается к ним. И хотя многие еще далеки от подозрений, слухи распространяются быстро, даже если речь идет о заброшенной усадьбе в горах...

— Говорят, они хороши собой... — шепчутся спутники принца. — И музыкантши прекрасные...

— Я слышал, что покойный принц сам занимался с ними с утра до вечера.

Тут Сайсё-но тюдзё произносит, обращаясь к Тюнагону, которого, как видно, считает устроителем нынешнего праздника:

— Помню: недавно  
Эти деревья стояли  
В пышном цвету.  
Увы, сегодня и к ним  
Пришла унылая осень...

— На вишни взглянул,  
И мне открылось внезапно:  
Нежность цветов,  
Яркость осенних кленов —  
Все преходяще в мире... —

отвечает Тюнагон.

А вот песня Эмон-но ками:

— Как удалось  
Незаметно осени скрыться?  
Ведь ни на миг  
Не мог я глаз оторвать  
От кленов у хижины горной.

Дайбу же отвечает ему так:

— Того уже нет,  
Кто им любовался прежде (428),  
Но плющ и теперь  
Терпеливо ползет по камням  
Возле хижины горной.

Сказав же это, он горько заплакал, видно, вспомнились ему те времена, когда покойный принц был изящным юношей.

— Осень уйдет,  
И еще тоскливее станет.  
Хоть ты стороной  
Пролетай мимо этих кленов,  
Ветер, дующий с гор, —

говорит принц Хёбукё.

На глазах у него блестят слезы, и многие из тех, кто знает, в чем дело, смотрят на него с участием. «Видно, эта особа истинно дорога его сердцу! Как же он должен страдать, не имея средства свидеться с ней сегодня!» — сокрушаются они, но невозможно и помыслить о том, чтобы отправиться туда со столь пышной свитой.

Гости снова и снова повторяли вслух наиболее удачные из сочиненных стихов. Немало было сложено и песен Ямато, но среди такого шумного застолья редко возникает что-нибудь значительное. Я записала лишь немногие, но и они, пожалуй, того не стоят.

Обитательницы горной усадьбы с волнением прислушивались к долго не смолкавшим голосам передовых, но наконец затихли и они. Принц уехал.

Дамы, столько сил потратившие на приготовления, чувствовали себя обманутыми и не скрывали своего разочарования. Что уж тут говорить об Ооикими...

«Увы, не зря люди считают, что сердце принца изменчиво, словно краска из лунной травы (429), — думала она. — Впрочем, я от кого-то слышала, что все мужчины обманщики. В нашем доме прислуживают дамы невысокого звания, но кое-какой опыт есть и у них, а все они, вспоминая о прошлом, рассказывают, что мужчины не скупятся на нежные слова и охотно расточают их даже перед теми, к кому не испытывают никаких чувств. Я всегда полагала, что столь дурные наклонности встречаются лишь у людей низкого происхождения, а особы, занимающие высокое положение в мире, должны по крайней мере считаться с приличиями. Но, как видно, я ошибалась. Отец тоже был наслышан о ветрености принца Хёбукё, ему и в голову не приходило сближаться с ним. Но Тюнагон так уверял меня в его искренности! Вот я и уступила, сама того не желая. А что принес нам этот союз, кроме новых горестей? Хотела бы я знать, какого мнения Тюнагон о принце теперь, когда стало ясно, что его чувства вовсе не так глубоки, как казалось? Здесь нет дам, мнением которых я бы дорожила, и все же знать, что даже они смеются над нами...»

Мысли одна другой тягостнее теснились в ее голове, и скоро она почувствовала себя совсем больной.

Младшая сестра тоже приуныла. Во время их редких встреч принц всегда пылко клялся ей в верности, и она надеялась, что он не переменится к ней, поэтому когда он долго не приезжал, она, хотя и беспокоилась, но находила утешение в мысли, что различные, не зависящие от него самого обстоятельства полагают тому преграды. Но вот он проехал мимо, даже не заглянув к ней, и Нака-но кими почувствовала себя жестоко обманутой. Она проводила дни в беспрестанной тоске и слезах, а порой такое страдание отражалось на лице ее, что у Ооикими больно сжималось сердце. «Когда б мы жили сообразно своему званию, — думала она, — окруженные вниманием и заботами близких, принц не посмел бы так обращаться с ней. Да и мне нечего ждать от жизни. Тюнагон не оставляет нас своими заботами лишь потому, что рассчитывает на мою благосклонность. До поры до времени я сумею держать его в отдалении, но с каждым разом подыскивать себе оправдание будет все труднее. Дамы, которых случай с сестрой ничему не научил, при первой же возможности постараются и моим будущим распорядиться по-своему, и, хочу я этого или нет, мне придется покориться. Наверное,

именно этого опасался отец, когда призывал нас не связывать себя брачными узами. Мы явно обременены несчастливой судьбой и обречены терять тех, кто нам близок. Скоро и я стану предметом для посмеяния, так стоит ли жить? Ведь это увеличит страдания ушедшего. А если хотя бы я сумею избежать столь печальной участи и уйду из мира прежде, чем обременю себя особенно тяжкими прегрешениями...»

С горести Ооикими занемогла и не вкушала даже самой простой, необходимой для подкрепления здоровья пищи. Она вздыхала и печалилась, думая лишь о том, что станет с Нака-но кими после ее смерти, и мучительная тоска сжимала ее грудь, когда она видела перед собой печальное лицо сестры. «Каким тяжким ударом будет для нее мой уход! — думала она. — Ее удивительная красота позволяла мне тешить себя надеждами, и весь смысл своей жизни я полагала в том, чтобы создать ей достойное положение в мире. Наконец судьба связала ее с человеком высокого звания, но, увы... Боюсь, что очень скоро, сделавшись предметом непрерывных насмешек и оскорблений, она принуждена будет скитаться по миру, словно женщина самого низкого состояния. Право, может ли быть участь печальнее? Да видно, такое уж безрадостное у нас предопределение...»

Тем временем принц Хёбукё, вернувшись в столицу, подумывал, а уж не отправиться ли ему потихоньку снова в Удзи. Однако Эмон-но ками постарался распространить во Дворце слух, будто бы принц столь неожиданно выехал в горы только ради того, чтобы увидиться со своей тайной возлюбленной, и будто бы в мире уже поговаривают об этой предосудительной связи.

Узнав об этом, Государыня огорчилась, а Государь разгневался и строго-настрого запретил принцу покидать Дворец и жить в доме на Шестой линии. Более того, как ни противился принц, было решено все-таки соединить его с Шестой дочерью Левого министра.

Эта весть чрезвычайно встревожила Тюнагона. «Не противно ли мое поведение здравому смыслу? — казнился он. — Возможно, у них было совсем иное предопределение. Но разве мог я забыть, как беспокоила покойного принца мысль о будущем дочерей? Неужели я должен был допустить, чтобы эти прелестные особы, не получив никакого признания, так и пропали в глуши? Больше всего на свете мне хотелось обеспечить им достойное положение в мире... И вот, не имея сил противиться настояниям принца и раздосадованный тем ложным положением, которое пытались навязать мне, я счел возможным... Наверное, я действительно виноват. Но ведь если бы я сам решил соединить судьбу с одной из сестер, никто бы не посмел меня осудить». Впрочем, стоило ли так терзаться? Ведь изменить ничего уже было нельзя.

Принц же, беспрестанно помышляя о Нака-но кими, впал в совершенное уныние.

— Если есть где-нибудь особа, к которой стремятся твои думы, — снова и снова говорила ему Государыня, — привези ее в столицу и создай ей положение, соответствующее ее званию. Тогда тебе не о чем будет беспокоиться. Государь изволит возлагать на тебя большие надежды, и если о тебе станут дурно говорить...

Однажды в тихий дождливый день принц Хёбукё зашел к Первой принцессе.

В покоех безлюдно, а сама принцесса рассматривает свитки с картинками. От принца ее отделяет лишь переносной занавес.

Принцесса отличается необычайным благородством, вместе с тем она кротка и мягкосердечна. Принц всегда считал, что прекраснее ее нет на свете. «Кто может сравниться с ней? Разве что дочь государя Рэйдзэй? Она любимица отца и, говорят, очень хороша собой, но до сих пор у меня не было возможности самому убедиться в этом. Впрочем, обитательница горной хижины так благородна и прелестна, что вряд ли уступит им обеим». Тут тоска стесняет его душу, и, чтобы немного утешиться, он принимается рассматривать разбросанные повсюду свитки с картинками. В основном это так называемые «картины из жизни женских покоев», выполненные с большим вкусом. Художники, каждый по-своему, постарались запечатлеть на бумаге все, что привлекло их внимание, — любовные утехы, живописные горные усадьбы. Многие картины пробуждают в сердце принца томительные воспоминания. «Хорошо бы послать их в Удзи, — думает он. — Может быть, принцесса согласится одолжить мне хотя бы некоторые?»

Один из художников изобразил разные случаи из жизни Пятого сына Аривара\*, имевшего звание тюдзё. Принцу попадаетеся на глаза сцена, где герой обучает младшую сестру игре на кото, то место, где сказано: «печально думать — другому...» (430), и он — кто знает, из каких побуждений? — поддвигается поближе к стоящему перед принцессой занавесу и тихонько говорит:

— Вот видите, в древние времена сестры не прятались от своих братьев. А вы обращаетесь со мной словно с чужим...

Видя, что принцесса не совсем понимает, о чем именно идет речь, принц, свернув соответствующий свиток, подсовывает его под занавес. Она склоняется над ним, и волосы волной падают на пол. Принцу виден только ее профиль, и то не совсем отчетливо. Принцесса так хороша, что ему становится досадно: «Как жаль, что мы так тесно связаны...» И не в силах превозмочь сердечного волнения, принц произносит:

— Молодая трава...  
«Вот бы улечься» — такого  
И в мыслях нет.  
Но почему же тоска  
Сжимает мне сердце?

Рядом с принцессой почти никого нет, ибо прислуживающие ей дамы, завидев принца Хёбукё, сконфузились и поспешили спрятаться.

«Неужели не нашлось других слов?» — возмущается принцесса и предпочитает не отвечать. Впрочем, ее молчание ничуть не обижает принца. Более того, он скорее готов осудить героиню повести, ответившую: «До сих пор ее сердце...» (431), она кажется ему слишком ветреной.

Оба они, и принц Хёбукё, и Первая принцесса, воспитывались у госпожи Мурасаки, а потому были гораздо ближе друг другу, чем остальные дети Государыни.

Воспитанию Первой принцессы всегда уделялось особое внимание. Только самые безупречные придворные дамы допускались на службу в ее покои. Ей прислуживали девицы из знатнейших столичных семейств. Принц,

обладающий на редкость пылким нравом, дарил своим расположением то одну, то другую, но сердце его по-прежнему принадлежало Нака-но кими. Однако дни шли, а ему все не удавалось выбраться в Удзи.

Сестры между тем ждали его, и им казалось, что прошла целая вечность с того дня, как был он у них в последний раз. «Видно, так будет и впредь!» — вздыхали они, а тем временем в Удзи приехал Тюнагон. Ему сообщили, что Ооикими нездорова, и он решил ее проведать. Вряд ли состояние больной было таким уж тяжелым, но она сочла его подходящим предлогом для того, чтобы отказать Тюнагону в свидании.

— Я пустился в этот дальний путь единственно потому, что до меня дошла тревожная весть о болезни вашей госпожи, — говорит Тюнагон. — И я прошу, чтобы меня провели поближе к ее изголовью.

Видя, что он и в самом деле обеспокоен, дамы усаживают его у занавесей, отделяющих покои старшей госпожи.

«Ах, как неловко!» — досадует Ооикими, но, не желая показаться нелюбезной, чуть приподнимается и отвечает гостю. Тюнагон рассказывает о том, как страдал принц, лишенный возможности заехать к ним в прошлый раз.

— Постарайтесь запастись терпением, — советует он. — Не тревожьтесь и не сердитесь на него.

— О, сестра никогда не жалуется, — отвечает Ооикими, и в голосе ее звучат слезы. — Но мне так обидно за нее! Наверное, именно об этом предупредил нас отец.

Сердце Тюнагона сжимается от жалости к ней, к тому же он чувствует себя виноватым.

— Увы, так устроен мир, — говорит он. — Жизнь полна превратностей. Вы еще не приобрели достаточного опыта, потому-то вам так трудно простить принцу его невольное невнимание. Прошу вас, постарайтесь быть снисходительнее. Я уверен, что у вас нет оснований для беспокойства.

Впрочем, ему и самому странно, что он решился устраивать чужую судьбу.

В ночные часы больной становится хуже, поэтому дамы просят гостя перейти в его обычные покои, тем более что Нака-но кими смущает присутствие постороннего.

Однако Тюнагон не соглашается:

— Именно потому, что ваша госпожа больна, я и приехал сюда, а вы хотите меня выставить. Это недопустимо! Кто, кроме меня, может позаботиться о ней в такое время?

И, переговорив с Бэн, он распорядился, чтобы в доме немедленно отслужили соответствующий молебен.

«Для чего? — вздыхает больная. — Лишние мучения, да и нет у меня желания оставаться в постылом мире...»

Однако, прямо говорить об этом тоже не годится... К тому же, несмотря ни на что, она чувствует себя растроганной, ведь Тюнагон искренне стремится продлить ее жизнь.

— Не лучше ли вам? — спрашивает Тюнагон на следующий день. — Можем ли мы поговорить, хотя бы так же, как вчера?

— О нет, сегодня мне еще хуже, — отвечает Ооикими. — Наверное, оттого, что я болею уже так давно... Но раз вы здесь... Войдите же...

Сердце Тюнагона сжимается от жалости: «Что станется с нею?»

Сегодня она ласковее, чем обыкновенно, но даже это пугает его. Подойдя к занавесам, он начинает рассказывать ей о том о сем.

— Мне очень трудно отвечать, — говорит она еле слышно. — Возможно, спустя некоторое время...

Она так трогательно слаба, что у Тюнагона душа надрывается, целый день он сидит у ее изголовья, печально вздыхая. Но долго предаваться праздности тоже не годится, как ни велико его беспокойство, пора возвращаться в столицу.

— Госпоже нельзя оставаться здесь, — говорит он Бэн. — Хорошо бы перевезти ее в более подходящее место под тем предлогом, что ей предписано покинуть здешние пределы.

И он уезжает, попросив Адзари позаботиться о молитвах.

А надо сказать, что некоторые молодые люди из свиты Тюнагона успели завязать близкие отношения с прислуживающими сестрам дамами. И вот в какой-то связи один из них сказал:

— Кажется, принцу Хёбукё запретили выезжать одному, и он все время живет во Дворце. Говорят, что его союз с дочерью Левого министра — дело решенное. Ее родные давно уже желают заполучить принца в зятья, так что задержки не будет, она станет его супругой еще до конца года. Правда, принцу этот союз явно не по душе. Молва связывает его со многими придворными дамами, и сколько раз ни предупреждали его Государь и Государыня, он не унимается... Вот наш господин совсем другой. Я не знаю человека благоразумнее. Некоторые даже побаиваются его. Вот только его частые поездки в Удзи вызывают всеобщее недоумение, да видно он ни на шутку увлечен вашей госпожой.

Дама, которой это было сказано, немедленно поделилась новостью с другими, и очень скоро все стало известно сестрам.

Разумеется, они совершенно пали духом, а Ооикими поспешила истолковать услышанное по-своему. «Вот и конец, — подумала она. — Сестра была для принца не более чем мимолетной утехой, теперь же, когда он вступит в союз со столь значительной особой... В верности же он клялся потому, что ему было стыдно перед Тюнагоном».

Так или иначе Ооикими не могла даже предаваться размышлениям о жестоком поведении принца. Она лежала, бессильно откинувшись на изголовье, и по щекам у нее катились слезы. Теперь ей тем более незачем оставаться в этом мире.

Мнением своих дам она вовсе не дорожила, но все же ей было неловко перед ними, и она сделала вид, будто ничего не слышала.

Нака-но кими дремала рядом. «А что еще остается?..» (225) Она лежала, подложив руку под голову, и ее лицо в обрамлении блестящих черных волос дышало такой прелестью, что Ооикими невольно вздохнула, снова вспомнив предостережение отца. «Вряд ли он попал на самое дно, где обитают те, чьи заблуждения особенно велики, — подумала она. — Ах, но, где бы ты ни был, отец, возьми меня к себе! О, для чего бросил ты нас в столь тяжелое время и даже во сне не приходишь?»

К вечеру заморосил холодный дождь, под деревьями уныло стонал ветер, а Ооикими все предавалась размышлениям о прошедшем и о грядущем. Она полулежала, облокотившись на скамеечку-подлокотник, и облик ее был



исполнен удивительного благородства. На белое платье падали волосы, блестящие и гладкие, хотя их давно уже не касался гребень. За время болезни Ооикими побледнела и осунулась, но от этого черты ее стали еще изящнее. Задумчивый взгляд и прекрасный лоб наверняка заслужили бы одобрение самого строгого ценителя.

Неистовый вой ветра разбудил Нака-но кими, и она встала. Верхнее платье цвета «керрия» и нижнее бледно-розовых тонов, прекрасно сочетаясь друг с другом, сообщают особую прелесть ее свежему личику. Она вовсе не кажется опечаленной.

— Я видела во сне отца, — говорит она. — Он возник на мгновение — вид такой озабоченный — и тут же исчез.

Услышав это, Ооикими совсем приуныла.

— А ведь я все это время только и мечтала о том, как бы увидеть его во сне, — вздыхает она. — Но, увы, ко мне он не пришел ни разу.

Тут обе они начинают горько плакать. «Может быть, он потому и явился, что я вспоминаю его денно и ночью? — думает старшая. — О, как хотелось бы мне попасть туда, где обитает его душа! Но, наверное, наши заблуждения слишком велики...»

Так, будущее беспокоит ее не меньше, чем настоящее.

Ах, когда б удалось достать чудесные заморские курения, о которых рассказывали дамы...\*

Когда день преклоняется к вечеру, приносят письмо от принца Хёбукё. Как раз вовремя, наверняка оно рассеет их мрачные мысли... Однако Нака-но кими не спешит его разворачивать.

— Ты должна ответить принцу, — наставляет ее Ооикими, — ответить ласково, ни в чем не упрекая. Меня очень тревожит твое будущее. Мне не прожить долго, я знаю. Боюсь, как бы ты не оказалась во власти другого, еще менее достойного тебя человека. Пока принц хотя бы помнит о тебе, вряд ли кто-то посмеет оскорбить тебя своими притязаниями, поэтому, как ни жестоко его поведение, тебе следует во всем полагаться на него.

— Но неужели ты собираешься оставить меня одну в этом мире? — И Нака-но кими закрывает лицо рукавом.

— Я была уверена, что сразу же последую за отцом, но каждая жизнь имеет свои пределы, и вот до сих пор... Увы, никто не знает, «что с нами завтра случится...» (432). И все же мне печально расставаться с миром. Как ты думаешь, из-за кого?

Попросив дам подвинуть к ней светильник, Ооикими прочла письмо принца, как обычно полное нежных уверений.

«Перед взором  
Тот же приют облаков...  
Но почему  
Этот холодный дождь  
Наводит такую тоску?»

Песня лишь умножила досаду Ооикими, слишком уж она показалась ей заурадной. Сколько раз люди сетовали на то, что их рукава не бывали «такими мокрыми прежде» (83)! Принц явно лишь отдавал дань приличиям. И тем не менее он отличался редкой красотой, к тому же умел быть обая-

тельным и нежным, когда хотел кого-то пленить... Мудрено ли, что такая юная особа, как Нака-но кими, отдала ему сердце? С каждым днем она все больше тосковала по нему и старалась верить, что он не оставит ее: «Ведь он так пылко клялся мне в вечной верности, не может быть, чтобы на этом все кончилось».

Гонец заявил, что должен вернуться сегодня же, и дамы торопили младшую госпожу с ответом, поэтому она написала всего несколько слов:

«Падает град  
На крышу хижины горной.  
И ночью, и днем  
Смотрю на унылое небо,  
Но просвета в тучах все нет...»

А было это в последние дни Десятой луны. «Вот еще одна луна на исходе!» — думал принц, и сердце его не знало покоя. «Ну уж сегодня ночью...» — решал он, но, увы, «сквозь тростник челнок пробирается с великим трудом...» (433).

В том году празднество Госэти устраивалось ранее обыкновенного, и во Дворце царило предпраздничное оживление. Принц совершенно не имел досуга, и как ни тяжело было у него на сердце... Между тем обитательницы горного жилища потеряли всякую надежду.

Разумеется, принц не упускал случая оказать благосклонность той или иной особе, но сердце его по-прежнему принадлежало Нака-но кими. Государыня снова и снова заводила с ним разговор о дочери Левого министра.

— Прежде всего следует упрочить свое положение посредством подходящего брачного союза, — говорила она. — А потом ты сможешь взять к себе в дом любую приглянувшуюся тебе особу, и никто не посмеет тебя осудить.

— Подождите еще немного, мне надо кое-что обдумать, — отговаривался принц, жалея Нака-но кими: «Могу ли я подвергнуть ее столь жестокому испытанию?» Но, не умея проникнуть в его тайные мысли, она с каждым днем тосковала все больше.

Тюнагону тоже было жаль девушку. «Я не предполагал, что принц Хёбукё настолько непостоянен в своих привязанностях, — сетовал он. — И все же не верится...» Он чувствовал себя виноватым и даже перестал бывать у принца. В Удзи же то и дело посылал гонцов: «Как госпожа? Каково сегодня ее состояние?»

В начале следующей луны Тюнагону сообщили, что Ооикими стало немного лучше. Время это было необычайно хлопотливое, и Тюнагон несколько дней никого не посылал в Удзи. Затем, охваченный внезапной тревогой, решил оставить все, даже самые неотложные дела, и поехал туда сам. В прошлый раз он велел монахам читать в доме молитвы до тех пор, пока больная не поправится, но Ооикими отпустила Адзари, заявив, что здоровье ее укрепилось, и в молитвах нет нужды. В доме малолюдно, навстречу гостю выходит все та же старая дама и докладывает ему о состоянии госпожи.

— Никакого опасного недомогания у нее, судя по всему, нет, — говорит она, — и я бы не беспокоилась, когда б она не отказывалась от пищи. Госпожа всегда отличалась чрезвычайно хрупким сложением, а тут еще эти непри-

ятности с принцем... Какое бы угощение мы ей ни предлагали, она и смотреть ни на что не хочет. Мудрено ли, что она так ослабела? Откровенно говоря, положение ее кажется мне безнадежным. О, зачем я, несчастная, зажила в этом мире? Глядя на госпожу, я помышляю лишь об одном — как бы мне опередить ее...

Не договорив, она зарыдала, и кто осудил бы ее?

— Ах, какое несчастье! Но отчего вы не дали мне знать? В последние дни я был очень занят то во Дворце, то в доме государя Рэйдзэй, потому и не мог связаться с вами...

И Тюнагон проходит в покои больной. Опустившись у ее изголовья, он обращается к ней со словами участия, но у нее уже нет сил отвечать.

— Но почему, почему никто не сообщил, что вам стало хуже? Ведь я так тревожился... Впрочем, бесполезно говорить об этом теперь...

И Тюнагон распоряжается, чтобы немедленно призвали Адзари и самых известных в мире монахов-заклинателей, дабы уже на следующий день начали они творить соответствующие обряды и читать сутры. Из столицы прибывают приближенные и слуги Тюнагона, в доме становится шумно, и сердца дам озаряются надеждой.

К вечеру Тюнагона, как обычно, приглашают в гостевые покои, чтобы там подать ему угощение — рис с горячей водой — но он отказывается:

— Мне не хотелось бы оставлять госпожу.

Южные передние покои заняты монахами, поэтому Тюнагона, отгородив для него место ширмами, устраивают в восточных, которые еще ближе к опочивальне больной. Это вызывает недовольство Нака-но кими, но дамы, радуясь, что Тюнагон не оставил их, готовы на все, лишь бы угодить ему.

По указанию Тюнагона к непрерывному чтению сутры Лотоса приступают уже с вечера. Для этой цели отобрано двенадцать монахов с самыми звучными голосами.

Свет горит в южных передних покоях, а во внутренней части дома темно. Приподняв полу переносного занавеса, Тюнагон проскальзывает в опочивальню.

Рядом с больной сидят две или три пожилые дамы. Нака-но кими поспешила спрятаться. Сердце Тюнагона мучительно сжимается — Ооикими выглядит такой хрупкой и беззащитной!

— О, зачем не хотите вы говорить со мной? — спрашивает он, взяв ее за руку.

— Ах, когда бы я только могла... Но, увы, нет сил... — еле слышно отвечает Ооикими. — Вы так давно не приезжали, я боялась, что покину мир, не успев проститься с вами...

— Неужели вы ждали меня? О, как я виноват... — говорит Тюнагон, громко всхлипывая.

Он дотрагивается до ее горячего лба.

— За какие прегрешения послано вам это испытание? Может быть, не зря говорят, что человек, обидевший кого-то...

Приблизив уста свои к ее уху, он начинает что-то тихонько нашептывать ей, и Ооикими, недовольная, смущенная, прячет лицо. Она так слаба, так беспомощна, что у Тюнагона болезненно сжимается сердце: «Что будет со мной, когда ее не станет?»

— Все эти дни вы ухаживали за больной и, должно быть, устали, — говорит он, обращаясь к затаившейся где-то рядом Нака-но кими. — Отдохните хоть эту ночь. Я побуду возле нее.

Нака-но кими, как ни тревожно у нее на сердце, послушно удаляется: «Что ж, наверное, он прав...»

Тюнагон устраивается совсем рядом с изголовьем, и Ооикими, хотя лицо ее закрыто, ощущает мучительную неловкость, но подумав: «Что ж, так, видно, было нам суждено...» — невольно сравнивает Тюнагона с тем другим, и может ли она не отдать должное его сердечному постоянству и поистине трогательной преданности? Разумеется, присутствие Тюнагона тяготит ее, но, не желая оставаться в его памяти черствой, неблагодарной особой, она не просит его уйти.

Всю ночь до рассвета дамы по указаниям Тюнагона готовили целебные снадобья, и он сам подносил их больной. Однако Ооикими наотрез отказывалась от всего, что ей предлагали. Тюнагон был в отчаянии. «Что же сделать, чтобы сохранить ее жизнь?» — спрашивал он себя, но, увы, тщетно!

На рассвете сменяются монахи, читающие сутру, от их громких голосов просыпается дремавший в своих покоях Адзари и с новыми силами приступает к произнесению заклинаний и молитв. Его старчески хриплый голос вселяет надежду в сердца тех, кто знает, сколь велики его добродетели.

— Как госпожа чувствовала себя ночью? — спрашивает он и тут же, всхлипывая, заводит разговор о покойном принце.

— Где изволит он обитать теперь? О, я был уверен, что господин пребывает в Чистой земле, но недавно он явился мне во сне, облаченный в простое мирское платье, и сказал: «Я познал суету мира сего, и у меня достало твердости от него отречься. Однако, как это ни печально, одно чувство по-прежнему смущает покой души, привязывая ее к миру и отдаляя от земли упований. Помогите же мне побыстрее достичь ее...» Он говорил вполне отчетливо, и я не мог ошибиться. Я не сразу сообразил, как лучше помочь ему, и, решив для начала ограничиться самым доступным, велел нескольким монахам из нашей обители возносить хвалу будде Амида. Потом, поразмыслив немного, послал других монахов в мир, дабы творили поклоны «дзёфукё»\*.

Услыхав это, Тюнагон тоже заплакал.

А Ооикими, и без того изнуренной болезнью, сделалось так тяжело, что она готова была тут же расстаться с жизнью: неужели ее заблуждения столь велики, что она мешает отцу обрести покой и теперь, за пределами этого мира? «Может, удастся встретиться с ним прежде чем его смятенная душа обретет постоянное пристанище?» — думала она, слушая Адзари.

Но тот, будучи человеком весьма неразговорчивым, вскоре удалился.

Монахи, которым было поручено творить поклоны, обошли окрестные селения, дошли до самой столицы, затем, измученные яростным утренним ветром, вернулись, и, остановившись у Срединных ворот лицом к тем покоем, где находится Адзари, почтительно кланялись, распевая заключительные слова гимна. Их голоса проникали до самой глубины души. Тюнагон, давно устремивший думы к Учению, с трудом сдерживал волнение.

Тут Нака-но кими, не в силах более оставаться в отдалении, приближается к занавесу, стоящему в глубине покоев, и, услышав шелест ее платья, Тюнагон поспешно принимает чинную позу.

— Какое впечатление произвели на вас голоса монахов? — спрашивает он. — Во время торжественных служб гимн «дзёфукё» не исполняют, но сколько в нем подлинного благородства!

На берег реки  
Холодный иней ложится.  
Птицы кричат  
Жалобно. Как же печален  
Этот рассветный час! —

тихим голосом, будто просто беседа, произносит Тюнагон. Чем-то он напоминает Нака-но кими ее неверного возлюбленного, и думы ее невольно устремляются к нему, однако она не решается ответить сама, а прибегает к услугам Бэн.

— На рассвете,  
С крыльев иней стряхивая,  
Птицы кричат  
Так печально, может, и им  
Знакомы сердечные муки?..

Тюнагон находит эту песню весьма изящной, хотя и предпочел бы, чтобы ее произнесли другие уста.

Ему вспоминается, как робеет Ооикими, когда ей приходится обмениваться с ним песнями. И все же она всегда умеет ответить так тонко, так трогательно... «Что будет со мной, если ее не станет?» — снова и снова спрашивает себя Тюнагон. Затем мысли его обращаются к Восьмому принцу. Пытаясь представить себе, каким он явился во сне Адзари, Тюнагон невольно вздыхает: «Как же он должен страдать теперь, глядя с небес на своих несчастных дочерей!» — и немедленно заказывает чтение сутр в монастыре, где покойный провел свои последние дни. Одновременно он отправляет гонцов в другие храмы с просьбой отслужить и там соответствующие молебны.

Отстранившись на время от своих дел и обязанностей, Тюнагон не покидал горного жилища, и не было таких служб и очистительных обрядов, к каким бы он не прибегнул. Однако никаких признаков улучшения не наблюдалось, скорее всего тяжелое состояние больной не было возмездием за прошлые заблуждения. Вот если бы Ооикими сама обратилась к Будде... Но она думала лишь об одном: «Неужели я упущу такой случай и не уйду из этого мира? Господин Тюнагон не отходит от меня ни на шаг, и никаких преград меж нами не осталось. Отныне мне не удастся держать его в отдалении. Но я ведь знаю, что его чувства со временем все равно потускнеют, и нас обоих ждет горькое, мучительное разочарование. Нет, если жизни моей суждено продлиться, я должна переменить обличье, и лучшего предлога, чем болезнь, не придумаешь. Только таким образом и можно сохранить нашу взаимную привязанность. Да, это именно то, что следует сделать в любом случае, а там, будь что будет».

Однако прямо заявить о своем намерении Ооикими не решилась и прежде всего обратилась к сестре:

— У меня не осталось никакой надежды, — сказала она. — Я слышала, что иногда принятие обета благотворно влияет на ход болезни и способно удлинить жизненный срок. Не поговоришь ли ты с Адзари?

Услыхав это, дамы разразились рыданиями.

— Об этом и речи быть не может, — заявили они. — Подумайте хотя бы о господине Тюнагоне... Можно ли наносить ему столь тяжкий удар?

И, к величайшему огорчению Ооикими, они наотрез отказались говорить с гостем.

Тем временем в столице стало известно, что Тюнагон находится в Удзи, и многие приехали сюда нарочно для того, чтобы его провести. Видя, сколь глубокое чувство возбудила в сердце Тюнагона Ооикими, его приближенные и наиболее преданные ему служители Домашней управы поспешили заказать соответствующие молебны и от своего имени.

«А ведь сегодня праздник Обильного света...» — вспомнилось как-то Тюнагону, и мысли его невольно устремились к столице.

В тот день в Удзи завывал ветер, в воздухе тревожно кружился снег. Безотчетная грусть овладела Тюнагоном, когда он представил себе, какое оживление царит теперь в столице. Впрочем, винить ему было некого. «Неужели мы так и расстанемся чужими друг другу?» — думал он, сетуя на жестокую судьбу. Но мог ли он обижаться на Ооикими теперь, когда она держалась с ним так мило, так приветливо? «Ах, если бы хоть на время она стала такой, как прежде, чтобы я мог открыть ей наконец свои чувства...» — вздыхал он на нее глядя.

До самого вечера солнце так ни разу и не блеснуло из-за туч

Солнечный свет

Не может сквозь тучи пробиться

В этой горной глуши.

В сердце крошечный мрак

Царит денно и ночью...

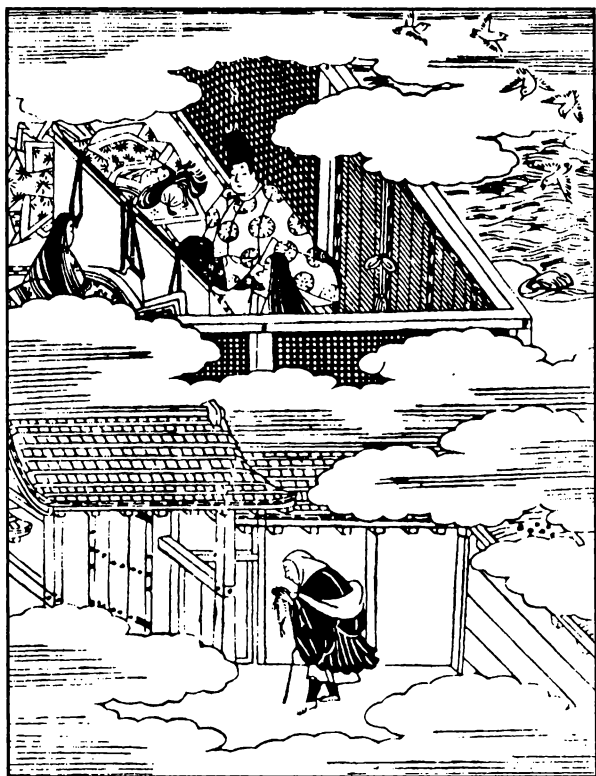
Присутствие Тюнагона было единственным утешением для всех обитательниц горного жилища. Он по-прежнему не отходил от изголовья больной, и Нака-но кими — ведь ветер в любой миг мог взметнуть край стоящего перед ней занавеса — принуждена была скрываться в глубине покоев. Дамы, стыдясь своей непривлекательной наружности, тоже старались не показываться гостю на глаза, и вот однажды, воспользовавшись тем, что рядом никого нет, Тюнагон подходит совсем близко к изголовью.

— Не лучше ли вам? — спрашивает он, роняя слезы. — О, когда б вы знали, как мне тяжело! Я неустанно взываю к Будде, но тщетно, вот уже и голоса вашего не слышно. Неужели вы хотите оставить меня? Я этого не переживу.

Ооикими уже почти бессознательно старается спрятать лицо.

— Я собиралась поговорить с вами, как только мне станет лучше, — сказала она. — Но силы мои иссякают с каждым мигом...

Она так слаба и так трогательно-прелестна, что у Тюнагона слезы подступают к глазам. Понимая, что плакать сейчас не к добру, он пытается сдержаться — нельзя показывать другим, сколь велико его отчаяние — но в конце концов все-таки разражается рыданиями.



«Отчего столь неблагоприятна к нам судьба? К ней одной стремятся мои думы, но сколько же горестей принесло мне это чувство! А теперь... Неужели мы должны расстаться навсегда? Возможно, я сумел бы смириться, если бы в ней обнаружился хоть какой-то изъян...» Он вглядывается в лежащую перед ним женщину, но не находит в ней никаких недостатков, наоборот, она кажется ему еще прекраснее и трогательнее, чем обыкновенно. Руки тонкие и слабые, будто бесплотные, но кожа все такая же белая и нежная; покрывало отброшено в сторону, и чудится — под мягкими белыми одеждами лежит кукла, пышное платье которой скрывает отсутствие тела; откинутые назад негустые волосы блестящими прядями падают с изголовья... «Во что превратится это красота? Ведь видно, что ей немного осталось...» При этой мысли сердце его стесняется от жалости.

За время болезни Ооикими совсем перестала заботиться о своей наружности и все же она красивее любой из тех прелестниц, которые целыми днями только и делают, что наряжаются да прихорашиваются, так что смотреть противно. «Да, душе трудно будет обрести успокоение», — думает Тюнагон, разглядывая ее.

— Если вы покинете меня, я вряд ли надолго задержусь в этом мире, — говорит он. — Но если жизнь моя все-таки продлится — ведь у каждого свой срок, — я проведу остаток дней где-нибудь в горной глуши. Единственное, что волнует меня, — это судьба вашей сестры, которая останется совсем одна.

Тюнагон нарочно заводит разговор о Нака-но кими, надеясь получить хоть какой-нибудь ответ. В самом деле, откинув рукав, прикрывавший ее лицо, Ооикими говорит:

— При всей своей беспомощности, я вела себя так, что вы вправе были считать меня бессердечной... Меня это удручало и, понимая, что дни мои сочтены, я дала вам понять, что была бы рада, если бы вы отдали сестре чувства, которые мне удалось случайно пробудить в вашем сердце... Если бы вы исполнили тогда мою просьбу, мне не о чем было бы теперь сожалеть. Право же, лишь тревога за сестру и привязывает меня к миру.

— Неужели мне суждено видеть в жизни одни горести? — отвечает Тюнагон. — Да, я поступил вопреки вашему желанию, но только потому, что не хотел связывать свою судьбу ни с кем, кроме вас. Теперь я сожалею об этом, и мне больно глядеть на вас. Но вы не должны беспокоиться, я сделаю для вашей сестры все, что в моих силах.

Как ни пытался он утешить ее, Ооикими становилось все хуже, и, призвав Адзари, Тюнагон велел самым мудрым монахам читать молитвы в покоех больной. Да и сам с жаром взывал к Будде.

Быть может, Будда подверг Тюнагона столь мучительному испытанию для того, чтобы снова возбудить в его сердце презрение к этому миру? Ооикими угасала у него на глазах, увядала, словно цветок, и не было средства задержать ее.

Ему хотелось затопать ногами, закричать, оставив всякое попечение о том, что скажут люди...

Нака-но кими, видя, что сестра приближается к последнему пределу, рыдала в отчаянии. «И я не останусь здесь!» — восклицала она, в беспамятстве цепляясь за тело уходящей, так что Бэн и другим дамам приходилось силой оттаскивать ее.

— Теперь не к добру вам находиться здесь...

Тюнагон отказывался верить собственным глазам. Уж не сон ли? Привинув светильник, он долго всматривался в лицо Ооикими, все еще прикрытое рукавом, и ему казалось, что она просто спит, так светлы и прекрасны были ее ничуть не изменившиеся черты. «О, если бы я мог всегда иметь перед собой хотя бы эту пустую скорлупку цикады!» — думал он, и сердце его разрывалось от горя.

Когда, свершая последние обряды, дамы расчесывали волосы ушедшей, покои внезапно наполнились нежным благоуханием, совсем таким же, как в прежние дни. «Я бы смирился, если бы отыскал в ней хоть какой-нибудь недостаток», — думал Тюнагон, снова и снова взывая к Будде: «Коли желаешь ты пробудить в душе моей презрение к миру, покажи мне ее в безобразном, отвратительном обличье, чтобы разлука с ней не вовлекала меня в бездну уныния». Но, увы, не было ему облегчения.

Ничего не оставалось, как предать тело сожжению, и убитый горем Тюнагон принялся готовиться к последним обрядам.

Даже последнее проявление Ооикими в этом мире поразило Тюнагона своей незаметностью: тонкая струйка дыма поднялась к небу, и все было кончено. Совершенно потерянный, еле держась на ногах, он вернулся в горную усадьбу.



В доме было многолюдно, ибо многие приехали сюда, желая провести время скорби вместе с Тюнагоном. Присутствие посторонних, служившее утешением для дам, тяготило Нака-но кими: она боялась пересудов и сетовала на свою злосчастную судьбу. Казалось, она и сама уже не принадлежит этому миру...

От принца Хёбукё то и дело приходили гонцы с соболезнованиями, но, помня о том, что старшая сестра так и умерла, недоумевая и пеняя ему за жестокость, Нака-но кими не ждала от этого союза ничего, кроме горестей.

Тюнагон, для которого жизнь сделалась постылым бременем, готов был осуществить свое давнее желание, но, понимая, сколь велико будет горе Третьей принцессы... К тому же его волновала судьба Нака-но кими. «Не лучше ли хотя бы теперь выполнить волю ушедшей и в память о ней позаботиться о ее сестре? — думал он. — Разумеется, я не в силах изменить своему чувству, хотя сестры и близки друг другу, как только могут быть близки человеческие существа, но, сделав Нака-но кими предметом своих попечений, я избавил бы ее от горестей, да и сам нашел бы в ней источник утешения.

Не выезжая даже на короткий срок в столицу и прервав всякие сношения с миром, Тюнагон предавался неизбывной скорби, и, видя, сколь глубокие чувства связывали его с ушедшей, многие, и прежде всего Государь, присылали гонцов с соболезнованиями.

Дни тянулись однообразной, унылой чередой. Тюнагон следил за тем, чтобы поминальные службы проходили с приличной случаю торжественностью, и подносил Будде щедрые дары. К сожалению, он был ограничен в проявлениях скорби\* и не мог даже изменить цвета своего платья.

Как-то, заметив, что дамы, которые пользовались особенной благоклонностью госпожи, облачены в черные одежды, он говорит:

— Что толку  
Лить кровавые слезы?  
Разве они  
Могут платье мое  
В скорбный окрасить цвет?..

Облаченный в промокшее — будто растаял лед — платье дозволенного оттенка, он задумчиво глядит на сад, и его печальное лицо так прекрасно, что дамы говорят, роняя слезы:

— Мы всегда будем оплакивать бедную госпожу. Но не менее тяжело расставаться с господином Тюнагоном. Мы так привыкли к нему за эти дни. Неужели отныне он станет нам чужим?

— Право, какая неожиданная судьба выпала им на долю!

— Его чувства были так глубоки, а ему не досталась ни та, ни другая...

— Я хотел бы отныне поверять вам все свои думы, и чтобы вы отвечали мне тем же. Хотя бы в память об ушедшей... — передает Тюнагон Нака-но кими. — Не отдаляйтесь же от меня.

Однако Нака-но кими слишком подавлена, чтобы разговаривать с ним. Жизнь кажется ей бесконечной чередой несчастий.

«Младшая всегда была жизнерадостнее, ярче, может быть даже изящнее и благороднее старшей, — думал иногда Тюнагон, сравнивая сестер, — но нет в ней нежной прелести старшей».

Однажды валил густой снег, и Тюнагон целый день вздыхал и печалился, а к вечеру, когда тучи рассеялись, и на небо выплыла столь пренебрегаемая всеми Двенадцатая луна\*, стал любоваться небом, «шторы откинув край». Тут же, будто он «приподнял изголовье»\*, зазвонил колокол в горном храме...

«Вот и этот день на исходе...» (152) — невольно приходит ему в голову.

Не отстать бы! Душа  
За луною, по небу плывущей,  
Стремится вослед.  
Ведь все равно в этом мире  
Нельзя оставаться вечно...

Тут налетает неистовый порыв ветра, и Тюнагон встает, чтобы поднять решетки. На берегу реки блестит залитый лунным светом лед, и в нем, словно в зеркале, отражаются окрестные горы.

«Я могу наполнить свой дом в столице всеми причудами роскоши, — вздыхает он, — но такой красоты там все равно не будет. Ах, если бы она вдруг ожила! Мы бы сейчас вместе любовались этой прекрасной картиной...» И сердце его мучительно сжимается.

Тоски не снеся,  
Отправляюсь на поиски  
Снадобья смерти,  
И где-нибудь в Снежных горах\*  
Сгину, растаю бесследно.

«Как жаль, что мне не встретился демон, который учит священным гимнам...» По крайней мере был бы предлог...

Да, весьма нечистые помыслы для человека, стремящегося к просветлению.

Тюнагон призывает дам и долго беседует с ними о том, о сем.

Он так благоразумен и добросердечен, держится с таким достоинством, — словом, само совершенство. Молодые дамы, совершенно очарованные, превозносят его до небес, а старые, глядя на него, с тоской вспоминают прошлое и горюют еще больше.

Непостоянство принца было для госпожи неожиданным ударом, после которого она так и не сумела оправиться, — рассказывают они. — Больше всего на свете она боялась, что над ними станут смеяться.

— К тому же госпожа старалась скрыть свое беспокойство от младшей сестры и страдала одна. Эта тайная горесть постепенно подтачивала ее силы, она стала отказываться от самой легкой пищи и все слабела, слабела...

— Внешне госпожа казалась очень сдержанной, она никогда и виду не подавала, что принимает происходящее близко к сердцу, но на самом деле она была такой впечатлительной, любая мелочь могла лишить ее покоя...

— Ей казалось, что она нарушила завет отца, и это очень огорчало ее. К тому же тревога за судьбу сестры... Очевидно, именно потому она и заболела...

Они вспоминают, что говорила их госпожа по тому или иному поводу, и плачут, плачут без конца. «Это я виноват в ее горестях», — казнит себя Тюнагон, страстно желая, чтобы вернулось прошлое. Никогда еще мир не казался ему таким постылым, и, пытаясь обрести утешение в молитвах, он до рассвета не смыкает глаз.

Ночь выдалась еще более холодной и снежной. Уже совсем поздно слышались голоса людей и конский топот. «Кто мог приехать сюда ночью в метель?» — испугались почтенные монахи. А был это принц Хёбукё в скромном охотничьем платье, промокший до нитки.

Услыхав стук, Тюнагон сразу догадался, кто приехал, и поспешил скрыться во внутренних покоях.

Время скорби кончалось через несколько дней, но, не в силах превозмочь тоски, принц решил навестить Нака-но кими и всю ночь сквозь сугробы пробирался в Удзи. Казалось бы его приезд должен был отвлечь Нака-но кими от мрачных мыслей, но, увы, она не выказывала никакого желания встречаться с ним.

Нака-но кими чувствовала себя виноватой перед сестрой, а принц так и не сделал ничего, что оправдало бы его в глазах ушедшей. И даже если он теперь будет вести себя по-другому, что толку? Ооикими уже не вернешь. С большим трудом дамам удалось вразумить ее...

Разговаривая с Нака-но кими через ширму, принц постарался объяснить ей причины своего долгого отсутствия, и она рассеянно слушала его. Несчастная и сама была так слаба, что, казалось, вот-вот последует за сестрой. Весьма обеспокоенный ее состоянием, принц решил пренебречь приличиями и остаться в Удзи на весь день.

— Нельзя ли убрать ширму? — просил он, но Нака-но кими отказалась наотрез:

— Я должна хоть немного прийти в себя...

Кто-то сообщил о том Тюнагону, и он потихоньку послал к Нака-но кими одну из дам, поручив ей сказать следующее: «Я хорошо понимаю, что принц обманул ваши ожидания, и вы вправе чувствовать себя обиженной. Его прошлое и нынешнее поведение истинно заслуживает порицания. Но прошу вас, браните его не слишком сурово. Иначе потом вы сами будете страдать, ведь вы еще крайне неопытны в таких делах...»

Однако, получив такой совет, Нака-но кими окончательно смутилась и вовсе перестала отвечать принцу.

— О, как вы жестоки! — пенял ей принц. — Неужели вы все забыли...

Тяжело вздыхая, он просидел в ее покоях до самого вечера.

А к вечеру поднялась настоящая буря. Прислушиваясь к завываниям ветра, принц лежал, обливаясь слезами, и чувствовал себя глубоко несчастным. Но кого мог он винить, кроме себя самого? В конце концов Нака-но кими согласилась поговорить с ним, но снова через ширму.

Призывая в свидетели «тысячи разных богов» (434), принц клялся ей в вечной верности, но ее мучили сомнения: «Удивительное красноречие! Видно, и в самом деле опыт у него немалый».

Но если она могла обижаться на принца, не видя его, то как же трудно было противиться его обаянию теперь, когда он сидел рядом! «Разве сумею я бесконечно держать его в отдалении?» — думала Нака-но кими.

— Позади  
Все так непрочно, так зыбко...  
Как же могу  
Тешить себя надеждами,  
Глядя вперед? —

прошептала наконец она, и принц приуныл еще больше.

— Если считаешь,  
Что слишком мало осталось  
У нас впереди,  
Будь хотя бы сегодня  
Поласковее со мной.

Все так мимолетно и непрочно в нашем мире, не отягощайте же свою душу новым бременем, — ответил он.

Тщетно пытался принц смягчить сердце Нака-но кими, сказавшись нездоровой, она скрылась в глубине покоев. Принц провел бессонную ночь, чувствуя себя весьма неловко перед дамами. Разумеется, Нака-но кими имела основания обижаться, но слишком уж она сурова. По щекам его катились горькие слезы. «А ведь ей было еще тяжелее!» — думал он, вспоминая, какие испытания выпали на долю его возлюбленной, и сердце его стеснялось от жалости.

Принц и досадовал, и забавлялся, видя, как по-хозяйски ведет себя Тюнагон, как распоряжается по своему усмотрению дамами, которые не знают, чем бы ему услужить, чем бы его попотчевать...

За то время, пока они не виделись, Тюнагон осунулся и побледнел, какое-то равнодушие запечатлелось в каждой черте лица его, казалось, окружающее нимало не занимает его. Принцу было искренне жаль друга, и он не упускал случая, чтобы выразить ему самые искренние свои соболезнования.

«Как ни тщетно говорить теперь об ушедшей, именно принцу — да, только ему одному — я охотно рассказал бы о ней...» — думал Тюнагон, однако из страха показаться малодушным ограничился несколькими, ничего не значащими словами. Он так много плакал в последние дни, что даже лицо его изменилось, но красота его от этого ничуть не пострадала, напротив, принц никогда еще не находил его таким прекрасным. «Право, будь я женщиной...» — встревожился этот неисправимый ветреник и задумался — как бы побыстрее перевезти младшую госпожу в столицу, да так, чтобы не навлечь на себя ни обид, ни осуждения.

Умилостивить Нака-но кими ему так и не удалось, оставаться же в Удзи еще на день он не мог: о том наверняка станет известно Государю и тогда неприятностей не избежать. Измученный сомнениями, принц в конце концов решил вернуться в столицу. Не жалея слов, он уверял Нака-но кими в своей искренности, но она так ни смягчилась сердцем, словно желая показать ему, «что это значит — страдать» (435).

Конец года — пора довольно унылая, а уж тем более в таком месте, как Удзи. Дня не проходило без метели, Тюнагон печально глядел на снег, безысходная тоска сжимала сердце, казалось, что все это ему только снится.

Между тем торжественно справлялись все положенные обряды. Принц Хёбукё тоже прислал щедрые вознаграждения для монахов. Многих беспокоило явное нежелание Тюнагона сообщаться с миром. «Неужели он собирается и этот год провести в Удзи?» — спрашивали близкие, и в конце концов Тюнагон решил вернуться в столицу. Но как тяжело было у него на душе!

Дамы, привыкшие к его присутствию, горевали, понимая, что скоро их дом опустеет и они останутся одни. Да и могли ли они не печалиться? В последнее время их жизнь упорядочилась и волнения, обрушившиеся на них вместе с постигшим их несчастьем, остались далеко позади.

— Неужели мы больше никогда не увидим господина Тюнагона? — сетовали они, роняя слезы. — Есть ли на свете человек добрее его? Он входил во все наши нужды, и мы ни в чем не испытывали недостатка. Раньше он приезжал довольно редко, и мы не знали, какое это счастье видеть его каждый день...

От принца принесли письмо:

«Теперь мне будет еще труднее бывать в Удзи, поэтому я намереваюсь, придумав что-нибудь, перевезти Вас поближе...»

Государыня, прослышав о девушке из Удзи, встревожилась. «Говорят, Тюнагон был без ума от старшей сестры, — подумала она. — Очевидно, и младшая способна вызвать глубокие чувства». Жалея сына, она тайно посоветовала ему перевезти Нака-но кими в Западный флигель дома на Второй линии, где он мог бы навещать ее во всякое время, когда ему удобно. «Наверное, она предполагает ввести девушку в свиту Первой принцессы, — сообразил принц. — Что ж, по крайней мере я смогу чаще с ней видеться...» И он поспешил сообщить эту новость Нака-но кими.

Разумеется, о его намерениях узнал и Тюнагон. «Как я мечтал перевезти старшую сестру в свой новый дом на Третьей линии! — думал он. — Младшая могла бы заменить мне ее теперь... И почему я не согласился взять на себя заботы о ней?..»

Мысли его то и дело возвращались к прошлому, и на душе было тоскливо. Подозрения принца на свой счет он отвергал как недостойные, и все-таки иногда ему приходило в голову: «Кто, кроме меня, мог бы входить теперь во все ее нужды?..»





---

## ПОБЕГИ ПАПОРОТНИКА

### Основные персонажи

**Нака-но кими**, 25 лет — младшая дочь Восьмого принца

**Тюнагон** (Каору), 25 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 26 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Левый министр** (Югири), 51 год — сын Гэндзи и Аои

«НЕ ОБХОДИТ и зарослей диких...» (436) Вот и сюда, в Удзи, проникло сияние весны, однако Нака-но кими по-прежнему жила словно во сне, не понимая, что удерживает ее в этом мире, и почему до сих пор не последовала она за сестрой. Два существа с одной волей, с одним помышлением, они всегда были вместе — вместе наблюдали, как сменяли друг друга времена года, вместе любовались цветами, внимали пению птиц, и не было случая, чтобы песню, начатую одной, не подхватила бы другая. Они поверяли друг другу свои печали и горести, и это скрашивало их унылое существование. Теперь Нака-но кими осталась одна, рядом с ней не было никого, кто восхищался бы тем, чем восхищалась она, кто проливал бы вместе с ней слезы умиления. Беспросветный мрак царил в ее душе, и она жила, не отличая дня от ночи. Пожалуй, она не горевала так сильно даже тогда, когда скончался отец. Тоска по сестре была невыносима, и она охотно последовала бы за ней, но, увы, даже это было невозможно — у каждого свой срок.

Однажды ее прислужницы получили письмо от Адзари.

«Что принес вам этот год? — спрашивал он. — Я неустанно молюсь за вашу госпожу. Единственно ее судьба и волнует меня теперь, лишь о ней мои молитвы».

Вместе с письмом он прислал молодые побеги папоротника и хвощей, уложенные в изящную корзинку. «Это первые дары, поднесенные Будде послушниками», — сообщалось в письме. Писал Адзари довольно неумело, однако счел своим долгом дополнить письмо песней, написанной в стороне от остального текста:

«Весною  
Я всегда для тебя собирал  
Побеги папоротника,  
Так могу ли в новом году  
Позабыть о старой привычке?

Прошу Вас прочесть письмо госпоже».

«Он счел необходимым даже песню сочинить», — подумала Нака-но кими. Содержание песни тоже показалось ей весьма трогательным. Вроде бы ничего особенного, да и вряд ли монах питает к ней глубокие чувства, но его слова взволновали ее куда больше, чем изысканные, явно рассчитанные на то, чтобы произвести впечатление, послания принца. Даже слезы навернулись ей на глаза, и она поручила дамам написать ответ:

«Этой весной  
Кому смогу показать  
Побеги папоротника  
С далекой горной вершины —  
Память о милом ушедшем?»

Гонец получил щедрые дары.

К тому времени красота Нака-но кими достигла полного расцвета. За последние луны — очевидно, вследствие перенесенных несчастий — она очень похудела, отчего черты ее сделались еще нежнее, еще изящнее. Она стала поразительно похожа на старшую сестру. Раньше, когда они были вместе, в глаза бросалось скорее различие, чем сходство, а теперь дамы иногда, вдруг забывшись, вздрагивали, глядя на Нака-но кими: «Неужели?»

— А ведь господин Тюнагон так жалел, что не осталось даже пустой оболочки... — сетовали они.

— Право, не все ль теперь равно? Для чего же судьба не захотела соединить его с младшей?

Многие люди из свиты Тюнагона, вступив в свое время в сношения с прислуживающими Нака-но кими дамами, довольно часто бывали в Удзи, и связь между двумя домами не прерывалась. Нака-но кими знала, что Тюнагон до сих пор убит горем, что даже новый год не принес ему облегчения. «Значит и в самом деле не случайная то была прихоть», — поняла она, и сердце ее исполнилось искреннего участия.

Принцу Хёбукё становилось все труднее ездить в Удзи, и он решил перевезти Нака-но кими в столицу.

Миновали беспокойные дни, связанные с подготовкой и проведением Дворцового пира и прочих празднеств, и однажды Тюнагон, измученный тоской, отправился к принцу Хёбукё. «Кому еще могу я поведать о том, что переполняет мою душу?».

Был тихий вечер, принц сидел на галерее, задумчиво перебирая струны кото «со» и наслаждаясь ароматом любимой сливы. Сорвав одну из нижних веток, Тюнагон подносит ее принцу, и такое сладостное благоухание распространяется вокруг, что тот, подумав — вот редкий случай, говорит:

— Разве в этих цветах  
Нет сходства с тем, кто сорвал их?  
Раскрыться они  
Не спешат, свой аромат  
В тугих бутонах скрывая.

— Зачем упрекать  
Того кто любитесь вчуже  
Веткой цветущей?  
Ах, надобно было давно  
Ее сорвать самому... —

отвечает Тюнагон. — Обидно, право.

Юноши очень дружны и часто подтрунивают друг над другом.

Затем разговор переходит на предметы более значительные, и принц сразу же принимается расспрашивать — как там в горной усадьбе? Тюнагон в свою очередь рассказывает о том, каким тяжким ударом была для него кончина Ооикими, признается, что до сих пор не может примириться с утратой. Как часто говорят, «то плача, то смеясь», он вспоминает разные связанные с ушедшей случаи, то трогательные, то забавные, а принц, обладающий чувствительным сердцем и будучи слаб на слезы, внимает ему, выжимая рукава и сочувственно кивая. Даже небо, будто ведомо ему чувство жалости, затягивается тучами.

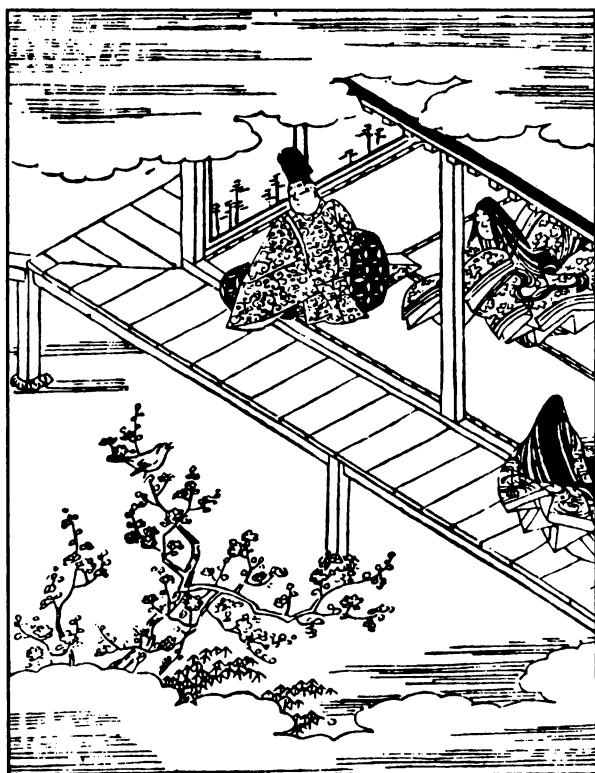
К ночи подул сильный ветер, стало холодно, как зимой, светильники все время гасли, но, хотя во тьме неразличимы были нежные краски цветов (284), друзья никак не могли наговориться и засиделись до поздней ночи.

— Вот уж и в самом деле беспримерный союз. И все-таки не верится, что больше ничего не было... — сомневался принц, как видно подозревая, что Тюнагон не до конца откровенен с ним. Люди всегда склонны наделять других собственными слабостями...

Вместе с тем принцу нельзя было отказать в чуткости, ибо он не пожалел усилий, чтобы утешить Тюнагона, изгладить в его сердце память о былых горестях и отвлечь от печальных мыслей. Он говорил, столь умело переходя от одного предмета к другому, что Тюнагон в конце концов оказался вовлеченным в разговор, постепенно рассеявший переполнявшую душу тоску и принесший немалое облегчение. Среди прочего принц рассказал ему о своем намерении перевезти Нака-но кими в столицу.

— Рад это слышать! — воскликнул Тюнагон. — Вы и вообразить не можете, как я страдал, полагая, что виноват в ее несчастьях. Она — единственная память, оставшаяся мне о той, которая будет вечно жить в моем сердце, и я почитаю своим долгом входить во все ее нужды, тем более, что нет никого, о ком я должен был бы заботиться. Лишь нежелание быть неправильно понятым вами...





Он рассказал принцу, что Ооикими просила его взять на себя попечение о ее младшей сестре, умолчав лишь о той ночи, когда не послушался кукушек из рощи Ивасэ (437). В глубине души он с каждым днем все больше терзался запоздалым раскаянием: «Не принц, а я должен был соединить свою судьбу с Нака-но кими, она заменила бы мне ушедшую», — но, увы, что толку теперь... В конце концов Тюнагон смирился: «Если я постоянно буду помышлять о ней, — подумал он, — может статься, мои мысли примут опасное направление и последствия будут губительны и для меня, и для других...» И он начал готовиться к переезду, рассудив, что никто, кроме него, не сумеет позаботиться обо всем необходимом.

А в горном жилище царило радостное оживление: дамы подбирали милостивых дам и девочек-служанок для свиты госпожи, хлопотали, готовя все необходимое, но сама Нака-но кими пребывала в растерянности: с одной стороны жаль было обречь на запустение родной дом в Фусими (438), но с другой — разве лучше с безрассудным упрямством обречь себя на одинокое существование в этой горной глуши? И разве не прав принц требующий, чтобы она приняла наконец решение, ведь если она останется в этом жилище, разорвутся узы, соединившие их далеко не случайно? Переезд был назначен на начало Второй луны, и, чем меньше оставалось до него времени, тем задумчивее становилась Нака-но кими. Глядя на набухающие на деревьях почки, она жалела, что не увидит цветов, ей не хотелось покидать ве-

сеннюю дымку, окутавшую склоны (439), тем более, что впереди ее ждало не родное гнездо, а временный приют в пути и она страшилась насмешек и оскорблений. Думы, одна другой тягостнее, одолевали ее денно и ночью. Между тем — увы, всему приходит конец — настала пора снимать одеяния скорби, но даже обряд Священного омовения показался Нака-но кими недостаточно значительным. Право же, ее сестра заслуживала большего. Матери своей она не знала и не тосковала по ней. Ей хотелось — и она не раз говорила об этом — почтить память сестры точно так же, как почтила бы она память матери, но, к ее величайшему сожалению, это было невозможно. Тюнагон прислал ей все, без чего нельзя обойтись во время обряда: кареты, свиту, ученых-астрологов.

Все быстротечно —  
Едва платье из дымки  
Успели скроить,  
Как облачились деревья  
В яркий цветочный наряд...

Он и в самом деле подготовил множество прекрасных нарядов. Поблизился Тюнагон и о переезде: все присланное им поражало не столько роскошью, сколько разнообразием, со свойственной ему чуткостью он проследил за тем, чтобы у дам — сообразно их званиям — было все необходимое.

— Как он добр! — восхищались они. — Никогда ничего не забудет!

— Будь он ее братом, и то она не могла бы рассчитывать на такое внимание.

Особенно были растроганы пожилые дамы, привыкшие довольствоваться малым. Молодые же сетовали:

— Неужели мы никогда больше не увидим его? Мы так привязались к нему за эти годы. Увы, теперь, наверное, все пойдет по-другому. Нетрудно себе представить, как будет тосковать госпожа.

Накануне отъезда Тюнагон приезжает в Удзи. Его, как всегда, помещают в гостевых покоях. «Будь жива старшая госпожа, — вздыхает он, — ее сердце скорее всего смягчилось бы, и я, а не принц...» Образ Ооикими неотступно стоял перед его мысленным взором, он вспоминал, как и что она говорила, и, мучимый запоздалым раскаянием, во всем винил себя: «Ведь, несмотря ни на что, она никогда по-настоящему не отталкивала меня и не выказывала открыто своего пренебрежения, я сам по какому-то странному побуждению отдалился от нее...» Вспомнив об отверстии, через которое он когда-то подглядывал за сестрами, он подходит к перегородке, но, увы, занавеси опущены.

Между тем дамы предаются воспоминаниям, вздыхая и украдкой вытирая глаза. Нака-но кими лежит безучастная ко всему на свете, и слезы потоками бегут по ее лицу. О завтрашнем переезде она не думает.

— Трудно подобрать слова, чтобы высказать то, что накопилось в моей душе за прошедшие луны, — передает Тюнагон через одну из дам. — Но если бы я мог поверить вам хоть малую часть гнетущих меня мыслей... Не гоните же меня! А то все здесь кажется мне таким чужим ...

— Мне не хотелось бы выглядеть нелюбезной в ваших глазах, — нехотя отвечает Нака-но кими, — но я до сих пор не пришла в себя. Чувства мои в смятении, и я боюсь оскорбить ваш слух своими бессвязными речами.

Однако, вняв увещаниям дам, поспешивших встать на сторону гостя, она в конце концов соглашается принять его у входа в свои покои. Тюнагон всегда был поразительно хорош собой, а за последнее время, возмужав, стал еще прекраснее. Трудно не залюбоваться тонкостью его черт, неповторимым изяществом движений. Нака-но кими представляет рядом с ним сестру, образ которой никогда не покидает ее, и сердце ее стесняется глубоким волнением.

— Мы могли бы вспомнить вашу сестру — а я готов говорить о ней бесконечно — но сегодня это не совсем уместно... — замечает Тюнагон и поспешно переводит разговор на другое. — В самом непродолжительном времени я перееду в новое жилище, а поскольку оно находится неподалеку от того, куда перевезут вас, вы можете обращаться ко мне, как говорится, «и в полночь, и на рассвете», я всегда к вашим услугам. Мне хотелось бы принимать участие во всем, что вас касается, пока я не уйду из этого мира. Надеюсь, вы не возражаете? Впрочем, в чужую душу проникнуть трудно, возможно, вы сочтете мои слова оскорбительными...

— Мне так тяжело покидать родное дом! — отвечает Нака-но кими. — А теперь еще и вы говорите об этом, как о чем-то неизбежном. Я в полном смятении и не знаю, что отвечать... — Она говорила тихим, прерывающимся голосом и была так трогательно-беспомощна, что показалась Тюнагону истинным подобием Ооикими, и он не преминул попенять себе за поспешность, с которой отдал младшую сестру другому. Но, увы, теперь тщетно было и помышлять... И Тюнагон не стал напоминать ей о той давней ночи. Можно было вообразить, что он вообще забыл о ней — так сдержанно, с такой милой простотой беседовал он с Нака-но кими.

Растущая возле дома красная слива яркостью лепестков и чудесным ароматом пробуждает в душе томительные воспоминания. Соловей, словно не в силах расстаться с цветами, поет и поет, не смолкая. Право, «разве весна...?» (440). Мысли их устремляются к прошлому, и речи исполнены печального очарования. Внезапный порыв ветра приносит аромат цветущей сливы, платье гостя тоже благоухает... Так, даже цветы померанца не могли бы столь живо напомнить о прошлом (103). «Сестра очень любила эту сливу, — вздыхает Нака-но кими. — Когда ей становилось скучно или тоскливо, она всегда смотрела на нее, и ей делалось легче». И, не имея сил справиться с волнением, Нака-но кими произносит:

— Больше никто  
Любоваться не будет цветами  
У хижины горной.  
Ветер веет запахом сливы,  
Напоминая о прошлом.

Ее слабый голосок звучит еле слышно, готовый вот-вот оборваться.

— Благоухает  
Та слива, которую я  
Задел рукавом,  
Но, увы, не в моем саду  
Врастут ее корни в землю (441), —

тихо отвечает Тюнагон, отирая слезы, безудержно струящиеся по щекам.

— Надеюсь, что и впредь смогу иногда беседовать с вами, — только и бросает он на прощание и, призвав к себе дам, отдает последние распоряжения. В доме должен остаться тот самый бородатый сторож и несколько слуг. Управители расположенных поблизости владений Тюнагона получают указание следить за тем, чтобы они ни в чем не испытывали нужды.

Госпожа Бэн наотрез отказывается переезжать в столицу.

— Я не ожидала, что моя жизнь окажется такой долгой, — заявляет она. — Не могу сказать, чтобы меня это радовало. К тому же многие сочтут мое присутствие недобрым предзнаменованием. Вряд ли стоит напоминать людям, что я еще жива.

Не так давно эта особа переменяла обличье, и Тюнагону с трудом удалось убедить ее выйти. Глубокое волнение овладело его душой, когда он увидел ее. Как обычно, они говорили о прошлом.

— Я собираюсь иногда приезжать сюда, — говорит Тюнагон. — И меня очень огорчало, что здесь не останется никого из близких мне людей, поэтому, признаюсь, ваше решение растрогало и обрадовало меня.

Тут голос изменяет ему и он плачет.

— Увы, чем ненавистнее жизнь, тем дольше она длится, — признается Бэн. — О, для чего госпожа покинула меня? Я хорошо понимаю, каким бременем отягощаю душу, и все же не могу не сетовать «на весь этот унылый мир...» (319).

Ее жалобы производят тягостное впечатление, и Тюнагон не жалеет усилий, чтобы ее утешить.

За последние годы госпожа Бэн сильно состарилась, но, после того как были подстрижены ее некогда прекрасные волосы, лицо ее изменилось, помолодело, и выглядит она теперь весьма изящно.

Сердце Тюнагона снова сжимается от тоски по ушедшей. «Ах, почему не позволил я ей надеть монашеское платье? — клянет он себя. — Может быть, это продлило бы ее жизнь? И тогда мы могли бы вот так же беседовать по душам?»

От этой мысли ему стало так горько, что он позавидовал даже сидящей перед ним старой даме, и долго еще доверительно беседовал с ней. Несмотря на старческую расслабленность, Бэн держалась с достоинством. Ее черты отличались благородным изяществом, и многое говорило о том, что когда-то она была весьма незаурядной особой.

— Слезы мои  
Текут полноводной рекою.  
Ах, если бы я  
Сразу бросилась в волны ее,  
То догнать бы смогла ушедшую! —

произносит она, с трудом сдерживая подступающие к горлу рыдания.

— Боюсь, что таким образом вы лишь еще больше обременили бы свою душу, — отвечает Тюнагон, — а другой берег\* так и остался бы для вас недостижимым. На полпути погрузиться на дно — подумайте, стоит ли подвергать себя такой опасности? Ведь все в мире тщетно.

Река слез глубока,  
Но вряд ли, в нее погрузившись,  
Покой обретешь.  
Волны тоски, набегая,  
И на миг не дадут забыться...

В каком из миров смогу я хоть немного утешиться? — добавляет он, и бесконечная печаль стесняет его сердце.

Возвращаться в столицу ему не хотелось, и он долго сидел, погруженный в глубокую задумчивость. Однако скоро стемнело, и, опасаясь, что подобный «ночлег в пути» возбudit подозрения, Тюнагон уехал.

Почти ничего не видя от слез, Бэн передала госпоже свой разговор с гостем и долго еще рыдала, не силах утешиться.

Между тем в доме шли последние приготовления к переезду: дамы, охваченные радостным нетерпением, что-то дошивали поспешно, наряжались и прихорашивались, забывая о том, сколь нелепы в праздничных платьях их согбенные фигуры. Бэн в своем строгом монашеском облачении составляла с ними резкую противоположность.

— Все платья кроят,  
Собираясь в дорогу.  
У залива Рукав  
Одна остаюсь, соленые брызги  
Стекают по рукавам, —

говорит она, вздыхая.

— Платье твое  
От брызг соленых поблекло.  
Но мои рукава  
Разве ярче? Мочат их волны,  
Уносящие лодку вдаль... —

отвечает Нака-но кими. — Вряд ли я задержусь там надолго, скорее всего очень скоро, повинувшись обстоятельствам... К тому же мне не хочется обречь дом на запустение... Так что, возможно, мы еще встретимся. И все же я предпочла бы не расставаться с вами. Вам будет здесь слишком одиноко. Впрочем, люди, принявшие постриг, далеко не всегда порывают все связи с миром, навещайте же меня хотя бы иногда...

Нака-но кими оставляет Бэн большую часть утвари, которой пользовалась когда-то Ооикими, все то, что может пригодиться монахине.

— По-моему, вы гораздо более других горюете об ушедшей, — ласково говорит она. — Возможно, вас связывают с ней давние узы. Так или иначе, за это время вы стали особенно дороги моему сердцу.

Тут Бэн зарыдала безутешно, словно брошенное матерью дитя.

Скоро вещи были уложены, покои убраны, а кареты поданы к галерее. Прибыли и передовые — в большинстве своем лица Четвертого и Пятого рангов. Принц, оставшись в столице, с нетерпением ждал Нака-но кими. Он очень хотел поехать за ней сам, но отказался от этой мысли, подумав, что

выезд получится слишком пышным и произведет скорее неблагоприятное впечатление.

Тюнагон тоже прислал передовых. Принц Хёбукё взял на себя общие приготовления, а Тюнагон позаботился о частностях, не упустив из виду никакой мелочи.

— Скоро совсем стемнеет, — торопят Нака-но кими прислужницы, да и люди, приехавшие из столицы, начинают выказывать нетерпение, а она все не может решиться. «Куда же я еду?» — думает она, жалобно вздыхая. Дама по прозвищу Таю, садясь в карету, произносит:

— Осталась жива  
И сумела дожить-дождаться  
Счастливой волны!  
А если б решилась броситься  
В унылую реку Удзи...

Нака-но кими с неприязнью смотрит на ее сияющее лицо. «Бэн никогда бы так не сказала!» — невольно приходит ей в голову.

А вот какую песню сложила другая прислужница:

— Нет, не забыла  
О той, что ушла, не избыть  
Горькой тоски,  
Но в этот счастливый день  
Полнится радостью сердце.

Обе дамы давно служили в доме Восьмого принца и, казалось, были преданны Ооикими, однако теперь мысли их приняли иное направление, и они старались воздерживаться от упоминаний о покойной! «Как жесток наш мир» — подумала Нака-но кими и не стала им отвечать.

Они ехали долго, и Нака-но кими впервые увидела, сколь опасны горные тропы. Теперь она поняла, почему принц редко навещал ее, и пожалела, что обращалась с ним так сурово.

Скоро на небо выплыла светлая семидневная луна, и любуясь окрестностями, затянутыми легкой дымкой, Нака-но кими, измученная тяготами непривычно долгого пути, сказала:

— Вот и луна,  
Едва взойдя над горою,  
Стремится обратно  
И вновь за горой исчезает —  
Остаться не хочет в мире (442).

Никакой уверенности в будущем у нее не было, она со страхом думала о том, что станет с нею, если чувства принца вдруг переменятся. «Ах, разве раньше были у меня причины для печали?» — вздыхала она, жалея, что нельзя вернуть прошлое.

Добрались до столицы поздно ночью. Когда карету провели под «трехслойными крышами» и между «крепкими стенами»\*, у Нака-но кими невольно захватило дух от восхищения. Подобной роскоши она еще не видала.

Давно поджидавший ее принц сам вышел к карете и помог ей спуститься. Ее покои, равно как и покои, предназначенные для прислуживающих ей дам, сверкали великолепным убранством. Принц позаботился обо всем, не упустив из виду ни одной мелочи. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений относительно положения Нака-но кими в доме на Второй линии. «Это не простое увлечение», — говорили люди, изумленные столь неожиданным поворотом событий.

Тюнагон собирался переехать в дом на Третьей линии к концу луны, а пока время от времени заходил туда и наблюдал за ходом работ. В тот день он задержался на Третьей линии до позднего вечера, рассудив, что, поскольку дом принца совсем рядом, новости дойдут до него гораздо быстрее. В самом деле, очень скоро присланные им передовые возвратились с подробным рассказом о том, как прошел день. Услыхав, что принц окружил Нака-но кими нежными заботами, Тюнагон возрадовался и вместе с тем подосадовал на собственную глупость.

«Ах, если бы все вернуть к началу...» (327) — то и дело бормотал он про себя, а потом, желая хоть чем-то уязвить принца, сказал:

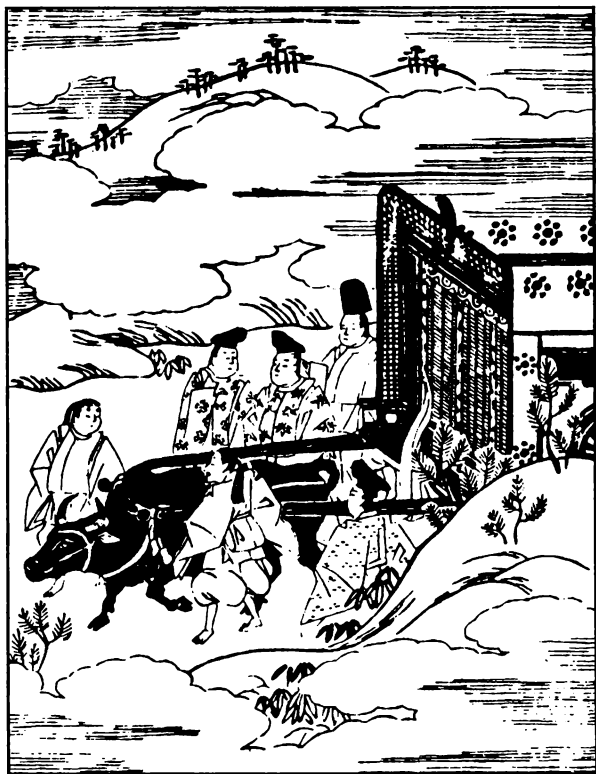
— Лодка скользит  
По залитой солнцем глади  
Озера Нио (443),  
Едва различима. И все же  
Сумел я увидеть тебя.

Левый министр полагал, что союз между его Шестой дочерью и принцем Хёбукё будет заключен до конца луны, и был весьма недоволен тем, что тот, словно желая упредить его, перевез в свой дом никому не известную особу, после чего совершенно перестал появляться на Шестой линии. Слух о том, что министр разгневан, дошел до принца и, чувствуя себя виноватым, он стал время от времени писать его дочери.

Поскольку весь мир знал, что в доме Левого министра готовятся к церемонии Надевания мо и любая отсрочка возбудила бы ненужные толки, министр решил совершить церемонию по прошествии Двадцатого дня. У него возникла мысль предложить дочь Тюнагону. «Правда, мы связаны родством, так что это не самый удачный союз, — думал он, — но жаль уступать кому-то другому такого зятя. Тем более что особа, которая все эти годы была предметом его тайных помышлений, скончалась, и он наверняка тяготится одиночеством». Принимая все это во внимание, Левый министр послал к Тюнагону верного человека, дабы тот разузнал о его намерениях, однако Тюнагон ответил весьма уклончиво.

— Убедившись вочию в тщетности мирских помышлений, я проникся еще большим отвращением к миру, — сказал он. — К тому же, как мне кажется, я приношу несчастье своим близким, а потому мне не хотелось бы связывать с кем-то свою судьбу».

Услыхав это, Левый министр почувствовал себя глубоко уязвленным. Мог ли он ожидать, что его предложение, на которое он решился после долгих, мучительных сомнений, снова встретит отказ? Однако настаивать он не стал. Хотя Тюнагон и приходился ему младшим братом, в его манере держаться было что-то такое, что заставляло людей робеть перед ним.



Настала пора цветения, и однажды, любуясь вишнями у дома на Второй линии, Тюнагон невольно вспомнил о жилище, «хозяином брошенном» (444).

— «Ничье сердце не дрогнет» (444), — словно про себя произнес он и отправился навестить принца Хёбукё.

В последнее время принц почти не покидал дома на Второй линии, с каждым днем все больше привязываясь к Нака-но кими. Подобное благополучие не могло не радовать Тюнагона, хотя, как это ни странно, он до сих пор испытывал некоторую досаду. Впрочем, если говорить о его истинных чувствах, этот союз казался ему трогательным и внушал уверенность в будущем Нака-но кими.

Юноши долго беседовали о том о сем, но вечером принц должен был ехать во Дворец, и, когда карета была готова, а в покоях начали собираться его многочисленные приближенные, Тюнагон перешел во флигель. Роскошные покои, в которых жила теперь Нака-но кими, так не похожи были на бедную горную хижину! Подозвав одну из прелестных девочек-служанок, чьи изящные фигурки мелькали за занавесями, Тюнагон велел ей доложить госпоже о своем приходе. Из-под занавесей выдвинули сиденье, и очень скоро одна из дам — наверное, одна из тех, кому было ведомо прошлое — появилась с ответом от госпожи.

— Мы живем рядом, — говорит Тюнагон, — казалось бы, ничто не мешает мне навещать вас так часто, как хочется, однако, не имея повода, я не



осмеливаюсь даже писать к вам, опасаясь навлечь на себя недовольство вашего супруга. Увы, слишком многое изменилось за это время. Часто, глядя на прекрасные, окутанные дымкой деревья, я вспоминаю о прошлом, и глубоким волнением стесняется сердце.

Глядя на его печальное лицо, Нака-но кими украдкой вздыхает. «О, если б сестра была жива! Как бы хорошо нам жилось теперь! Мы бы часто виделись, вместе любовались цветами, вместе внимали пению птиц...» При этой мысли сердце ее стесняется такой тоской, какой не испытывала она даже тогда, когда жила совсем одна в далеком горном жилище.

— Вы не должны забывать, что господин Тюнагон вправе рассчитывать на большее внимание, чем любой другой гость, — напоминают дамы. — Пора показать, сколь велика ваша признательность.

Однако Нака-но кими не решается отказаться от посредника, а пока она медлит, в ее покои заходит принц попрощаться перед отъездом. До чего же он хорош в полном парадном облачении, одно удовольствие смотреть на него!

— Как странно, — говорит принц, увидев гостя. — Почему вы не посадили господина Тюнагона поближе? Он был так добр к вам, может быть даже слишком. Неужели он не заслуживает более радушного приема? Разумеется, могут пойти неблагоприятные для меня разговоры, но вы отяготите душу новым бременем, если станете избегать его. Разве вам не о чем вспомнить и поговорить вдвоем?

Однако он тут же добавляет, сам себе противореча:

— Но не забывайте об осторожности. Кто знает, что у него на уме?

Так и не разрешив сомнений Нака-но кими, принц уезжает.

Понимая, что дурно избегать Тюнагона теперь, когда он вправе рассчитывать на ее благодарность, Нака-но кими готова пойти ему навстречу и увидеть в нем замену той, которой ей так недоставало, тем более что и он, судя по всему, ждал от нее того же. Вместе с тем ее не могло не беспокоить отношение к этому принца...





---

## ПЛЮЩ

### Основные персонажи

**Обительница павильона Глицинии, нёго** — супруга императора Киндзё (ранее известная как нёго Рэйкэйдэн, см. т. 1, гл. «Ветка сливы»)

**Государь** (Киндзё) — сын императора Судзаку, преемник императора Рэйдзэй

**Государыня-супруга** (Акаси) — дочь Гэндзи и госпожи Акаси, супруга императора Киндзё

**Вторая принцесса, принцесса из павильона Глицинии** — дочь императора Киндзё и обительницы павильона Глицинии

**Первая принцесса** — дочь императора Киндзё и императрицы Акаси

**Тюнагон, Дайнагон, Дайсё** (Каору), 24–26 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Принц Хёбукё** (Нию), 25–27 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Левый министр** (Югири), 50–52 года — сын Гэндзи

**Шестая дочь Левого министра** (Року-но кими) — дочь Югири, супруга принца Хёбукё

**Нака-но кими, госпожа из Флигеля** — дочь Восьмого принца, супруга принца Хёбукё

**Третья принцесса** — дочь императора Судзаку, супруга Гэндзи, мать Каору

**Госпожа Северных покоев в доме Левого министра, госпожа из дома на Третьей линии** (Кумои-но кари) — дочь То-но тюдзё, супруга Югири

**Адзэти-но дайнагон** (Кобай) — второй сын То-но тюдзё, брат Касиваги

**Девушка, дочь правителя Хитати, дочь госпожи Тюдзё** (Укифунэ), 19–21 год — побочная дочь Восьмого принца

В ТЕ ВРЕМЕНА обительницей павильона Глицинии была дочь покойного Левого министра. Ее представили Государю ранее прочих, еще когда он прозывался принцем Весенних

покоев, и он питал к ней глубокую привязанность, никак, впрочем, не отразившуюся на ее положении при дворе. К тому же, если Государыня-супруга родила Государю множество детей, которые один за другим входили в зрелый возраст, у обитательницы павильона Глицинии детей было немного, а дочь всего одна. «Стоит ли сетовать и завидовать удачливой сопернице? Не лучше ли позаботиться о том, чтобы судьба дочери оказалась более счастливой?» — сказала она себе и обратила на дочь все свои попечения.

Принцесса была хороша собой, и Государь любил ее. Бесспорно, ее значение в мире не было так велико, как значение Первой принцессы, воспитанию которой уделялось особое внимание, но жила она почти в такой же роскоши. Дом Левого министра до сих пор не утратил своего влияния, и нёго из павильона Глицинии имела все, чего только душа пожелает. Ей прислуживали весьма милостивые дамы, а убранство покоев, всегда заботливо подобранное сообразно времени года, отвечало всем современным требованиям.

Когда Второй принцессе исполнилось четырнадцать лет, было решено справить обряд Надевания мо. С весны нёго начала готовиться к нему, и ничто другое не занимало ее мыслей, ей хотелось, чтобы все выглядело по-особенному. Ради такого случая из хранилищ были извлечены фамильные ценности, передававшиеся из поколения в поколение. Словом, приготовления велись с большим размахом, но летом на нёго внезапно напал злой дух, и она скончалась. Ее безвременная кончина глубоко опечалила Государя. Ушедшая, обладавшая чувствительным сердцем и приветливым нравом, сумела снискать расположение многих, и весь двор оплакивал ее: «Воистину невосполнимая утрата!» Скорбели все, даже самые ничтожные служанки. А уж о принцессе и говорить нечего: ее юное сердце разрывалось от тоски, она впала в совершенное уныние, и Государь, принимавший в дочери живое участие, распорядился тайно перевезти ее во Дворец, как только кончились поминальные службы. Каждый день он заходил ее проведать. Черное одеяние скорби сообщало облику принцессы особую утонченность. Она казалась старше своих лет, светлое спокойствие дышало в ее благородных чертах, а движения были проникнуты горделивой грацией. Пожалуй, даже мать не была так красива. Вроде бы ее будущее не могло внушать беспокойство, и тем не менее Государь пребывал в постоянной тревоге. С материнской стороны у принцессы не оказалось ни одного дяди, способного взять ее на свое попечение. У покойной нёго было всего два брата, к тому же не единоутробных — Оокуракё и Сури-но ками. Ни тот, ни другой не пользовались влиянием при дворе. Имея таких далеко не безупречных попечителей, принцесса не могла рассчитывать на беспечальное существование. Вот Государь и волновался, понимая, что, кроме него самого, позаботиться о ней некому.

Однажды, когда моросил холодный дождь, и так прекрасны были чуть тронутые инеем хризантемы, Государь зашел в покои Второй принцессы, и они долго беседовали о прошлом.

Робко, но с достоинством отвечает принцесса на вопросы Государя, и тот смотрит на нее с умилением. Неужели не найдется человека, способного оценить ее и позаботиться о ней? Когда государь из дворца Судзаку решил отдать свою дочь министру с Шестой линии, многие выказывали недовольство, полагая, что принцессе более подобает безбрачие, чем союз с простым подданным. И что же? Теперь у Третьей принцессы есть сын, которым она

вправе гордиться, который служит ей утешением и опорой. Разве положение ее стало менее значительным? А останься принцесса одна, неизвестно еще, как сложилась бы ее жизнь, сколько горестей ей пришлось бы изведать, сколько оскорблений и унижений выпало бы ей на долю. «В любом случае я должен распорядиться судьбой дочери, пока мир подчиняется мне», — решает Государь. А уж если следовать примеру отца, можно ли найти лучшего зятя, чем тюнагон Минамото? Разве не достоин он стать рядом с принцессой крови? Правда, ходят слухи, что Тюнагон уже обзавелся возлюбленной. Но даже если это и так, вряд ли он посмеет дурно обращаться с дочерью Государя. Все равно, раньше или позже, а брачных уз ему не избежать. Хорошо бы наметнуть ему на свое желание, пока этого не произошло...

Пока они играли в «го», спустились сумерки. Моросит дождь, на хризантемах лежат отблески вечернего солнца. Призвав одну из дам, Государь спрашивает:

— Кто сегодня прислуживает во Дворце?

— Принц Накацукаса, принц Кандзукэ и тюнагон Минамото, — докладывают ему.

— Попросите сюда господина Тюнагона, — велит Государь, и тот сразу же является.

Так, недаром именно на него пал выбор Государя. Тюнагон поразительно хорош собой, к тому же при каждом его движении вокруг распространялся упоительный аромат...

— В такой тихий дождливый вечер неплохо послушать музыку, — говорит Государь. — Но, к сожалению, это невозможно теперь\*. Так почему бы не разогнать скуку другим способом?

Он велит принести доску для игры в «го»\* и предлагает Тюнагону сыграть. Тот не особенно удивляется, ибо Государь часто призывает его к себе, предпочитая его общество любому другому.

— Могу предложить вам неплохую ставку, — говорит Государь. — Впрочем, уступить вам ее будет не так уж и просто. Но что еще...

Кто знает, понял ли Тюнагон, на что намекает Государь? Во всяком случае, он старается не допускать ошибок. Первую из трех партий проигрывает Государь.

— Ах, какая досада! — сетует он. — Что же, для начала можете сорвать эту ветку\*. Тюнагон молча спускается в сад и, сорвав ветку хризантемы, усыпанную прекрасными цветами, возвращается к Государю.

— Когда б эти цветы  
Расцвели у обычной ограды,  
Я бы не медлил,  
И тотчас бы их сорвал,  
Уступая влечению сердца, —

с достоинством произносит он. Государь же отвечает:

— Хризантема одна  
Осталась в прихваченном инеем  
Засохшем саду,  
Но до сих пор не утратила  
Прежней яркости красок (445).

После того случая Государь еще несколько раз намекал Тюнагону на свое желание, причем лично, а не через посредников, но тот, по своему обыкновению, медлил с ответом. «Нет, это вовсе не то, к чему я стремился, — думал он, — к тому же мне и раньше удавалось уклоняться от подобных предложений, хотя это было не так уж и легко. Стоит ли соглашаться теперь? Не уподоблюсь ли я отшельнику, вдруг вознамерившемуся вернуться в мир?» С другой стороны его самого удивляла собственная неуступчивость. «Ее, вероятно, добиваются многие», — предположил он, и тут же у него возникла мысль, которую он поспешил отогнать как слишком дерзкую: «Будь она дочерью Государыни-супруги...»

Вскоре о намерениях Государя донесли Левому министру, и немудрено вообразить, сколь велика была его досада. Он и сам имел виды на Тюнагона, полагая, что в конце концов его все-таки удастся склонить к браку с Року-но кими. «Если я проявляю настойчивость, он не сможет ответить отказом», — думал он. И вдруг — столь неожиданное препятствие! Поразмыслив, министр решил обратить свое внимание на принца Хёбукё, который, не проявляя, впрочем, особой пылкости, продолжал обмениваться с Року-но кими письмами. «Пусть сейчас его чувство и неглубоко, — думал он, — но не исключено, что со временем он привяжется к ней... Разумеется, неплохо было бы подыскать для нее супруга, готового поклясться, что “меж ними не сможет даже капля воды просочиться” (272), но не отдавать же ее человеку невысокого ранга, она заслуживает большего. Да и молва не пощадит...»

— В наш век всеобщего упадка столько забот с дочерьми, — не скрывая своего осуждения говорил министр. — Вот и Государю приходится самому подыскивать женихов, а уж простым подданным... Но кому приятно смотреть, как увядает твоя дочь?..

Он так надоел Государыне бесконечными жалобами, что она сочла своим долгом поговорить с принцем.

— Мне очень жаль Левого министра, — сказала она. — Он так давно и с такой деликатностью пытается заручиться твоим согласием, а ты упорно пренебрегаешь им. Это жестоко. Разве ты не знаешь, что без влиятельного покровителя никакой принц не может рассчитывать на сколько-нибудь достойное положение в мире? Государь начал уже поговаривать о том, чтобы уйти на покой. Только людям простого звания бывает трудно уделять внимание другим женщинам после того, как они обзаведутся супругой. И тем не менее, взять хотя бы Левого министра. Уж он-то никогда не был человеком легкомысленным и тем не менее имеет двух жен и умело управляет с обеими, не навлекая на себя ничьих упреков. А при том положении, какое занимаешь ты... Ведь если сбудутся мои надежды, в твоих покоях будет прислуживать такое множество дам...

Государыня никогда еще не говорила с ним так откровенно, и ее доводы показались принцу вполне убедительными, а как он и сам не питал неприязни к дочери министра, мог ли он ответить безоговорочным отказом? Правда, союз этот был ему не по душе, ибо он предвидел, что, став членом столь влиятельного семейства, лишится даже той свободы, которой располагает теперь. Однако навлекать на себя гнев министра было не менее опасно, и в конце концов принц смирился. Помимо всего прочего, он отличался ветреным нравом и никогда не упускал случая поближе познако-

миться с особой, почему-либо привлечшей его внимание. К примеру, он до сих пор не забывал Красной сливы из дома Адзэти-но дайнагона\* и пользовался любой возможностью, будь то пора весеннего цветения или пора алых листьев, чтобы написать к ней. И она, и дочь Левого министра невольно возбуждали его любопытство.

Тем временем год сменился новым. Вторая принцесса сняла одеяние скорби, и что теперь мешало ей вступить в брачный союз?

Многие приходили к Тюнагону с сообщениями, что его искательство будет встречено благосклонно, и делать вид, будто ему ничего не известно, было не совсем прилично, поэтому Тюнагон счел своим долгом при первой же возможности наметнуть Государю на свою заинтересованность, и разве мог тот пренебречь им? Тюнагону сообщили, что уже и день назначен...

Хорошо понимая, что движет Государем, Тюнагон ни на миг не забывал Ооикими. Весь свет опустел для него с тех пор, как ее не стало. Он не в силах был примириться с мыслью, что она ушла из мира, оставшись ему чужой, хотя меж ними явно существовала связь, уходящая корнями в далекое прошлое. «Ах, вот если б нашлась женщина, хоть немного на нее похожая, пусть даже она была бы самого низкого звания, я бы сразу же отдал ей свое сердце, — думал он. — Как жаль, что нельзя привлечь ее душу хотя бы дымом курений\*, как бывало когда-то». Принцесса же не особенно волновала его, во всяком случае он не проявлял нетерпения, не думал: «Ах, когда же...»

Тем временем в доме Левого министра готовились к брачной церемонии, которая была назначена на Восьмую луну. Нашлись люди, поспешившие сообщить об этом Нака-но кими. «Увы, ничего другого я и не ожидала, — подумала она. — Разве могло это продолжаться вечно? Я всегда знала, что слишком ничтожна, а потому не могу ждать от жизни ничего, кроме горестей, и в конце концов непременно сделаюсь предметом для насмешек. Разве мне не говорили, сколь непостоянно сердце принца? Я хорошо понимала, что ему нельзя доверять, но он был всегда рядом, так трогательно клялся в верности, не причинял мне никаких страданий... Теперь все изменится, и могу ли я оставаться спокойной? Разумеется, он не покинет меня, ибо мое звание достаточно высоко, но мне наверняка предстоит изведать немало горестей. Что за злосчастная судьба! Скорее всего мне придется вернуться в Удзи. Но кто меня там ждет? Надо мной будут только смеяться. Уж лучше бы я так и сгинула в горной глуши... Как я могла столь беспечно забыть о завете отца и покинуть родную хижину? Сестра бы никогда этого себе не позволила. Она казалась такой робкой и слабой, но в сердце ее было довольно твердости. Тюнагон до сих пор оплакивает ее, но, если бы она осталась жива, на ее долю тоже выпало бы немало испытаний. Так разве не права была она, не желая связывать себя ни с кем брачными узами? О да, она проявила удивительную прозорливость, решив держаться от Тюнагона в отдалении. Она даже хотела принять постриг, чтобы вернее успеть в том, и наверняка осуществила бы свое желание, когда б не пресеклась внезапно ее жизнь. О да, она все умела предусмотреть. А я? Ах, как, должно быть, печалются теперь покойные отец и сестра, глядя на меня, как осуждают за легкомыслие! Какой позор!»

Велико было отчаяние Нака-но кими, но, понимая, что слезы и упреки ничему не помогут, она подавляла жалобы и притворялась спокойной и беззаботной.

Принц же был с ней теперь еще более нежен и ласков, чем раньше. Предупреждая все ее желания, он беспрестанно клялся ей в верности, утверждая, что союз их вечен и не ограничивается сроком их нынешнего существования.

Так или иначе, примерно с Пятой луны Нака-но кими почувствовала особого рода недомогание. Никаких опасений ее состояние не вызывало, но она отказывалась от пищи и почти не вставала. Принц, которому никогда не приходилось видеть женщин в подобном положении, предполагал, что всему виною жара. Однако кое-какие подозрения возникали и у него.

— Вы уверены, что это не... — спрашивал он иногда. — Я слышал, что в такое время женщины всегда себя дурно чувствуют...

Нака-но кими лишь смущалась и старалась вести себя как ни в чем не бывало. Среди дам тоже не нашлось любительниц совать нос в чужие дела, поэтому принцу так и не удалось узнать ничего определенного. Настала Восьмая луна, и кто-то сообщил госпоже о том, на какой день назначена церемония. У принца вовсе не было намерения скрывать от Нака-но кими эту новость, но ему не хотелось огорчать ее, и он молчал, невольно усугубляя тем самым ее страдания. «Все, кроме меня, знают о предстоящем событии, — думала она. — Неужели он не скажет даже, в какой день это произойдет?» Ну как тут было не обижаться?

С тех пор как Нака-но кими поселилась в доме на Второй линии, принц редко оставался ночевать во Дворце, разве только обстоятельства принуждали его к этому. Тайные похождения тоже были забыты, и почти все ночи он проводил дома. Понимая, что теперь в их жизни многое переменится, принц боялся и помыслить о том, как отнесется к этому Нака-но кими. Он стал нарочно оставаться на ночь во Дворце, желая постепенно приучить ее к своим отлучкам, но это обижало ее еще более.

Узнав о готовящейся церемонии, Тюнагон не мог не пожалеть Нака-но кими. «Сердце принца — что весенние цветы, — думал он. — Несомненно, его связывают с супругой самые нежные чувства, но новая привязанность наверняка вытеснит старую. К тому же его будущая супруга принадлежит к одному из самых влиятельных в столице семейств, и принц окажется под постоянным надзором. Увы, несчастной Нака-но кими придется коротать одинокие ночи, а она к этому не привыкла. О, каким я был глупцом! Для чего я уступил ее принцу? Я готов был отречься от мира, но любовь к ее сестре лишила мои помыслы прежней чистоты. Меня влекло к ней с neodолжимой силой, но я с самого начала не желал действовать вопреки ее воле, и только смиренно ждал, надеясь, что со временем в ее сердце пробудится жалость ко мне и она смягчится. Увы, мои надежды оказались обманутыми, ибо она решила по-другому распорядиться и своей судьбой, и моей. Не имея желания вовсе отвергать меня, она задумала соединить меня с младшей сестрой, к которой я не испытывал никакого влечения, заявив при этом, что они едины. Я с негодованием отказался и, дабы разрушить ее замыслы, поспешил свести ее сестру с принцем». Жестокое раскаяние терзало душу Тюнагона, когда он вспоминал, как словно в каком-то ослеплении привез принца в Удзи и помог ему проникнуть в покои Нака-но кими. «Принц должен помнить те дни, так неужели он не чувствует теперь своей вины передо мной? Впрочем, он никогда о том не упоминает... Его волнуют

только собственные удовольствия, он слишком переменчив, и не только женщине трудно на него положиться».

Тюнагон был весьма раздосадован, и неудивительно: человек, постоянный в своих привязанностях, склонен неодобрительно относиться к слабостям других. С тех пор как он потерял Ооикими, ничто его не радовало, даже предложение Государя оставило его равнодушным. Единственной женщиной, волновавшей воображение Тюнагона — причем волновавшей с каждым днем все сильнее, была Нака-но кими. Сестры были ближе друг другу, чем это обыкновенно бывает, и на смертном одре старшая просила Тюнагона позаботиться о младшей так, как он заботился бы о ней самой. «Мне не в чем вас упрекнуть», — сказала она в тот страшный миг, — но мне досадно, что вы отказались выполнить мою просьбу. Боюсь, что эта моя обида останется в мире и после моей смерти».

«Наверное, и теперь она гневно глядит на меня с небес», — вздыхал Тюнагон. Он коротал одинокие ночи, прислушиваясь к стонам ветра, размышляя о прошедшем и о грядущем, о человеческих судьбах и о тщетности мирских упований. Среди прислуживающих ему дам, в обществе которых он находил мимолетное утешение, скорее всего, были особы, вполне достойные внимания, но никому из них не отдавал он своего сердца, оставаясь всегда спокойным и невозмутимым. Многие из этих дам едва ли не превосходили знатностью рода сестер из Удзи, они были взяты в дом на Третьей линии после того как их семьи вследствие различных перемен, в мире происшедших, утратили бывшее влияние и оказались бедственным положении. Однако и им не удалось смутить его покой, ибо Тюнагон избегал всего, что в решительный миг помешало бы ему отречься от мира. «Ну не странно ли, что я все-таки позволил разрушительной страсти овладеть своим сердцем?» — сетовал он.

Однажды утром, после мучительно бессонной ночи, Тюнагон выглянул в сад. По земле стелется туман, сквозь него яркими пятнами проглядывают цветы, и среди прочих — хрупкие венчики «утреннего лика», «асагао». Этим цветам обычно уподобляют непостоянный мир, ибо они, «лепестки на рассвете раскрыв, увядают с приходом ночи» (446), и, возможно, именно поэтому они показались Тюнагону особенно трогательными. Не опуская решетки, он некоторое время лежит, наблюдая за тем, как цветы раскрывают лепестки. Когда же становится совсем светло, призывает одного из своих приближенных и говорит ему:

— Я собираюсь съездить на Вторую линию, распорядитесь, чтобы приготовить карету поскромнее.

— Принц Хёбукэ изволил уехать во Дворец, — отвечают ему. — Вчера вечером сопровождающие вернулись с каретами.

— Все равно. Я хочу навестить госпожу из Флигеля, мне говорили, что она нездорова. Сегодня я должен быть во Дворце, поэтому поспешите, я предполагаю выехать до того, как солнце поднимется высоко.

Облачившись в парадное платье, Тюнагон спускается в сад. Право, цветы — самое подходящее обрамление для его красоты. Он всегда держится скромно, нимало не заботясь о впечатлении, производимом на окружающих, однако в чертах его, в движениях столько изящества, что сравнения с ним не выдержали бы самые изысканные щеголи. Он притягивает к себе «утренний лик», и с листьев падает роса.



— Стану ли я  
В утренний час восхищаться  
Красотою цветов?  
Ведь им не дано пережить  
Росы, дрожащей на листьях.

Увы, все быстротечно... — произносит он, словно про себя, и срывает цветок. Обойдя стороной «оминаэси» — «девичью красу» (447), Тюнагон садится в карету. Чем выше поднимается солнце, тем прекраснее становится затянутое туманом небо.

«Дамы, наверное, еще спят, и не готовы к приему гостей, — приходит в голову Тюнагону. — Но стучать по решетке или кашлять тоже глупо, я ведь не какой-нибудь неискушенный юнец. Да, пожалуй, я приехал слишком рано». Призвав одного из своих спутников, он просит его подойти к открытым воротам и заглянуть внутрь. Вернувшись, тот докладывает:

— Кажется, все решетки уже подняты. Видно и передвигающихся по дому прислужниц.

Выйдя из кареты, Тюнагон направляется к флигелю. Заметив, что к ним приближается какой-то изящно одетый мужчина, еле различимый в утреннем тумане, дамы вообразили было, что это принц, вернувшийся домой с тайного свидания, однако уже в следующий миг до них доносится знакомое благоухание, особенно сильное росистым утром.

— В самом деле, какой чудесный аромат! — восхищаются молодые дамы и тут же кто-то из них сетует: — Жаль только, что господин Тюнагон так равнодушен к женским чарам...

Не выказывая особого удивления, они поспешно выдвигают из-за занавесей сиденье для гостя, и он с удовольствием прислушивался к шелесту их платьев.

— Вы предлагаете мне сесть здесь? — возмущается Тюнагон. — Значит, я для вас самый обычный посетитель? Жестоко оставлять меня за занавесями. В конце концов я совсем перестану ходить к вам.

— Ах, но что же мы можем сделать? — недоумевают дамы.

— Разве у вас нет каких-нибудь укромных покоев с северной стороны, где прилично было бы расположиться старому другу дома? Впрочем, поступайте так, как прикажет госпожа, я не вправе жаловаться.

Он усаживается у самого порога, а дамы, передав его слова госпоже, как всегда, начинают уговаривать ее подойти поближе к занавесям. Нака-но кими соглашается, ибо Тюнагон, и прежде никогда не проявлявший свойственной мужчинам напористости, в последнее время стал вести себя еще более сдержанно, да и она привыкла к нему, и, беседуя с ним сама, уже не так робела и смущалась, как бывало прежде.

Прежде всего Тюнагон осведомляется о ее самочувствии, но никакого определенного ответа не получает. Видя, что Нака-но кими сегодня как-то особенно грустна, и, догадываясь, что ее тревожит, Тюнагон ласково, словно младшую сестру, принимается наставлять и утешать ее, снова и снова напоминая о том, как все шатко и непродолжительно в этом мире. Разговаривая с ней он вдруг замечает то, чего никогда не замечал прежде — ее голос удивительно похож на голос Ооикими. Это неожиданное открытие приво-

дит его в такое волнение, что он с трудом справляется с искушением проникнуть за занавеси. Ему так хочется посмотреть на измученную болезнью Нака-но кими, и когда б не дамы... «Да, в мире вряд ли найдется человек, не изведавший любовной тоски», — внезапно осознает он.

— Я всегда знал, что не могу рассчитывать на блестящее будущее, — говорит он, — но надеялся, что мне удастся по крайней мере избежать душевных забот и тревог. И что же — я сам вовлек себя в бездну печалей и нелепых разочарований, и сердце мое не может обрести покоя. Люди честолюбивые, придающие значение чинам и званиям, часто чувствуют себя неудовлетворенными, обиженными, и это естественно. Но разве не в большее заблуждение впадаю я?

Положив сорванный цветок на веер, он смотрит, как лепестки, увядая, краснеют, и новое сочетание оттенков кажется ему таким изысканным, что, тихонько подсунув веер под занавес, он произносит:

— «Утренний лик» —  
Разве не был он мне оставлен  
Белой росой,  
Чтобы я любовался им,  
Вспоминая о прошлом?

На лепестках — и вряд ли Тюнагон нарочно ее не стряхнул — сверкает роса. «Как же ему удалось ее сохранить?» — восхищается Нака-но кими, но, видя, что цветы увядают на глазах, говорит:

— «Утренний лик»  
Так быстро увял, что роса  
Не успела растаять,  
И все же участь ее  
Еще безотрадней...\*

Что опорой послужит мне? (448) — робко добавляет она, и не договорив, замолкает... «Какое удивительное сходство!» — вздыхает Тюнагон.

— Осень всегда располагает к унынию, — говорит он. — Недавно, желая рассеяться, я поехал в Удзи. Увы, «и в саду, и возле ограды — запустенье...» (29). Да, слишком много там такого, что рождает в душе нестерпимую печаль. Помню, после кончины министра с Шестой линии многие стремились побывать в его столичном жилище и в Сага, где он провел последние годы жизни, но никому не становилось от этого легче. Я и сам не раз уезжал оттуда в слезах, столь болезненное впечатление производили на душу знакомые деревья и цветы, ручьи, по-прежнему бегущие по саду. Министра всегда окружали люди тонкие, обладавшие чувствительным сердцем. После его кончины все они разбрелись кто куда, некоторые отвернулись от светного мира. А простые прислужницы, не помня себя от горя, удалились в леса, в горы, где и влачат теперь жалкое, никчемное существование. Да, участь многих истинно достойна сожаления. Дом на Шестой линии опустел, стал зарастать травой забвения, но, к счастью, очень скоро переехал туда Левый министр, а потом и кое-кто из принцев, поэтому к дому вернулось былое величие. Так, все проходит, время исцеляет от печалей, даже самых, казалось бы, неизбежных. Впрочем, горестные события, о которых я вам рас-

сказываю, происходили тогда, когда я был совсем еще мал, и мое сердце вряд ли могло быть глубоко затронуто. Но от этого страшного сна, который привиделся нам недавно, я до сих пор не в силах очнуться и не знаю, сумею ли когда-нибудь... Последняя разлука всегда тягостна, ибо напоминает о том, как непрочен мир. Уход же вашей сестры пробудил в душе чувства, которые наверняка станут препятствием на моем будущем пути.

Он плачет, и неподдельная скорбь отражается на лице его.

Будь Нака-но кими совершенно посторонним человеком, и тогда она не смогла бы остаться равнодушной, а ведь его горе было и ее горем. Она до сих пор оплакивала любимую сестру, а в последнее время, когда так тяжело было у нее на сердце, особенно остро ощущала ее отсутствие. Стоит ли удивляться тому, что слова Тюнагона возбудили в душе Нака-но кими живое участие? С трудом сдерживая подступившие к горлу рыдания, она не сразу ответила.

— Кто-то сказал, что в горной глуши жить лучше, «чем среди мирской суеты» (449), — говорит она наконец. — Когда я жила в Удзи, у меня не было желания сравнивать... А теперь... Ах, как хотелось бы мне пожить в каком-нибудь тихом месте! К сожалению, и это неосуществимо. Иногда я завидую монахине Бэн. Я многое отдала бы за то, чтобы услышать, как на Двадцатый день зазвонит колокол в горном храме...<sup>\*</sup> Признаюсь, я даже подумывала, уж не попросить ли вас потихоньку отвезти меня туда...

— Увы, это невозможно, хотя и понимаю, как сильно в вас желание убежать от запустения. Даже мужчина, вольный в своих действиях, не всегда решится пуститься в путь по опасной горной дороге. Вот и я бываю в Удзи гораздо реже, чем хотелось бы. О поминальных же службах не беспокойтесь, я обо всем договорился с Адзари. Более того, я советовал бы вам сделать дом обителью Будды. Сейчас все в нем напоминает о прошлом, и он является источником страданий. Разве не лучше превратить его в приют для сердец, жаждущих очищения? Согласны ли вы со мной? Последнее слово за вами. Подумайте обо всем хорошенько и сообщите мне о своем решении. Мне всегда хотелось, чтобы у нас не было друг от друга тайн.

Немудрено было догадаться, что намерение Нака-но кими самой почтить память отца поднесением храму сутр и священных изображений связано прежде всего с желанием уехать в Удзи.

— Вы не должны даже помышлять об этом! — наставительным тоном говорит Тюнагон. — Прошу вас, успокойтесь и постарайтесь не терять благоразумия.

Солнце стоит уже совсем высоко, в покоях начинают собираться дамы. Опасаясь, что столь долгая беседа может показаться им подозрительной, Тюнагон спешит откланяться.

— Ни в одном доме меня не оставляют за занавесями, я к этому не привык, мне неприятно, что здесь со мной обращаются, как с чужим. Но все равно в скором времени постараюсь навестить вас снова, — говорит он на прощание.

Не желая давать принцу повод к неудовольствию: «почему это он приходит, когда меня нет дома?» — Тюнагон призывает к себе старшего прислужника, Укё-но kami, и говорит ему:

— Я слышал, что принц вернулся из Дворца вчера вечером, потому и заехал. Жаль, что его не оказалось дома. А теперь мне пора во Дворец.

— Господин должен возвратиться сегодня, — отвечает Укё-но ками.

— Что же, заеду еще раз вечером.

Открывая в Нака-но кими все новые и новые прелести, Тюнагон беспрестанно клял себя за то, что не послушался Ооикими и сам обрек себя на столь унылое существование. Но, увы, изменить ничего уже было нельзя...

Он по-прежнему соблюдал строгое воздержание и целыми днями творил молитвы. Как ни молода и ни далека от житейских волнений была Третья принцесса, но и она в конце концов встревожилась.

— Увы, «не так уж и много...» (450) — сказала она. — Но пока я с вами, порауйте меня своими успехами, я хотела бы стать свидетельницей вашего благополучия. Не мне запрещать вам принимать подобное мне обличье, но знайте, смятение, в которое вы повергаете мою душу, неизбежно станет препятствием на моем будущем пути.

Тюнагон устыдился и с тех пор, не желая огорчать мать, старался по крайней мере в ее присутствии казаться спокойным и беззаботным.

А Левый министр, приказав со всей мыслимой роскошью убрать Восточный флигель дома на Шестой линии, ждет принца Хёбукё. Уже вышла на небо луна Шестнадцатой ночи, а принца все нет. Зная, что душа его с самого начала не лежала к этому союзу, министр, охваченный беспокойством, посылает к принцу гонца.

— Вечером принц Хёбукё покинул Дворец и сейчас изволит находиться в доме на Второй линии, — докладывает тот, вернувшись.

Министр и без того чувствовал себя уязвленным, зная, что у принца есть возлюбленная, а уж проводить в тщетном ожидании такую ночь просто недопустимо — насмешек не избежать. В конце концов министр отправляет к принцу сына своего, То-но тюдзё, велев ему сказать следующее:

«Даже луна,  
По бескрайнему небу плывущая,  
Приют обрела  
В нашем доме, тебя же не видно,  
Хоть близится ночь к концу».

Надобно сказать, что принц, не желая огорчать Нака-но кими — «ведь ей будет тяжело, если я вдруг скажу — мне пора» — поехал сначала во Дворец и оттуда послал ей письмо, на которое она ответила. Видно, было в ее письме что-то такое, что взволновало его, во всяком случае, он поспешил тайно вернуться в дом на Второй линии, и теперь ему вовсе не хотелось расставаться со своей прелестной супругой. Когда пришел То-но тюдзё, они вдвоем любовались луной, и принц снова и снова клялся ей в верности, тщетно пытаясь ее утешить. Немало печалей довелось изведать Нака-но кими за последнее время, но она хоронила на дне души свои чувства и никогда не показывала супругу, что страдает. Вот и теперь ни слова упрека не сорвалось с ее губ, и принц умилялся, любуясь ее нежными, кроткими чертами. Однако, услышав о приходе То-но тюдзё, почувствовал себя виноватым и перед дочерью министра, а потому собрался уходить и сказал Нака-но кими на прощание:

— Я скоро вернусь. Не смотрите без меня на луну\*. Ах, все чувства мои в таком смятении...

На душе у него было неизъяснимо тяжело, и он прошел в главные покои, стараясь никому не попадаться на глаза.

Госпожа проводила его печальным взглядом, и, как ни силилась она сдерживаться, потоки слез готовы были унести изголовье (123). Теперь ей стало понятно, что это значит, когда говорят: нет ничего безжалостнее, чем твое собственное сердце.

С малых лет и она, и сестра ее принуждены были влачить безотрадное существование. Единственной их опорой и утешением был отец, которого помышления давно уже не принадлежали этому миру. Долгие годы прожили они в горной усадьбе, где дни тянулись унылой, однообразной чередой, но даже тогда жизнь не представлялась Нака-но кими столь тягостным бременем. Однако очень скоро и отец, и сестра покинули ее, и так велика была горечь утраты, что ей хотелось одного — немедленно последовать за ними. Казалось, не бывает на свете большего горя. Но, увы, она осталась жить и даже — неожиданно для себя самой — сумела занять в мире довольно высокое положение. Разумеется, она понимала, что все это ненадолго, но принц был так нежен и добр, могла ли она не верить ему?.. Казалось, все печали остались позади... А теперь... О, теперь рухнули все надежды. «Это конец!» — думала она, и такая тоска теснила ее душу, словно в жизни не было большего горя. Нака-но кими понимала, что увидится с принцем снова, что расстанется с ним на короткое время, вовсе не так, как расставалась когда-то с отцом и сестрой... Но ей было так горько, когда этой ночью, оставив ее, он ушел к другой! Мысли о прошедшем и будущем теснились в ее голове, и мучительная тоска сжимала сердце. «Я сама виновата во всем, — говорила себе Нака-но кими. — Как знать, может быть, со временем...» Но как ни старалась она отвлечься от мрачных мыслей, слезы душили ее, и она проплакала до поздней ночи, пока на небе не появилась светлая, словно над горой Обасутэ, луна (307). Легкий, нежный ветерок играл ветвями сосен, казалось, он должен быть приятен слуху, привыкшему к диким стонам горного ветра, но в ту ночь ничто не радовало Нака-но кими. Она предпочла бы оказаться в Удзи и слушать, как ветер шелестит в саду листьями дерева сии...

Даже в горах,  
Под сенью могучих сосен,  
Ветер осенний  
Никогда такую тоской  
Душу мне не пронзал...

Неужели прошлые печали преданы забвению?

— Не соблаговолите ли войти в дом? — забеспокоились наконец дамы постарше. — Дурно сидеть здесь одной и смотреть на луну. Отведайте хотя бы плодов. Подумайте, что будет с вами, если вы и впредь станете отказываться от самой легкой пищи?

— Ах, как жаль госпожу, — украдкой вздыхают они. — Право же, не к добру... Стоит только вспомнить...

— Какое несчастье! — вторят им молодые прислужницы. — Можно ли было предугадать?..

— Но он же не оставит ее вовсе?

— Вряд ли... Союз, который с самого начала казался столь прочным, не может так быстро распасться.

Как же неприятны были эти разговоры Нака-но кими! «Раз уж так все сложилось, лучше бы они молчали. Там видно будет...» — думала она. Или, может, она считала, что только одна она имеет право обижаться на принца, и ей не хотелось, чтобы другие дурно говорили о нем?

— А господин Тюнагон при всей своей трогательной преданности... — шептались дамы, прислуживавшие Нака-но кими еще в Удзи.

— Увы, столь прихотливы судьбы человеческие...

Как ни жаль было принцу Нака-но кими, желание поразить своим великолепием домочадцев министра победило, и, выбрав лучшее платье, он долго пропитывал его непередаваемо сладостными ароматами. Итог усилий превзошел ожидания.

В доме на Шестой линии принца давно уже ждали и покои, куда его провели, поражали изысканным убранством. Року-но кими, всегда представлявшаяся его воображению существом слабым, хрупким, оказалась вполне зрелой особой. «Но, может, она надменна, сурова или чопорна? Тогда она мне вряд ли понравится», — думал принц, но таких недостатков у нее тоже не обнаружилось, так что он скорее всего был очарован, и длинная осенняя ночь пролетела слишком быстро. Правда, он довольно поздно пришел...

Возвратившись домой, принц, не заходя во флигель, сразу же прошел в свои покои и лег отдохнуть. Поднявшись, он тут же сел писать письмо дочери министра.

— Судя по всему, он доволен, — перешептываются дамы, подталкивая друг друга локтями.

— Бедная госпожа! Хотя принц и способен объять сердцем Поднебесную, ей нелегко будет соперничать с этой особой.

Все они давно прислуживают Нака-но кими и принимают близко к сердцу все, что ее касается, поэтому негодование их естественно.

Принц хотел дождаться ответа Року-но кими в своих покоях, но, понимая, сколь тяжким испытанием была для госпожи прошедшая ночь, поспешил перейти во флигель. Как прекрасно его разбавившееся после сна лицо!

Госпожа еще лежит, но, завидев супруга, приподнимается. Ее покрасневшее от слез лицо сегодня кажется принцу особенно прелестным, и глаза его невольно увлажняются. Он задерживает на ней взгляд, а она смущенно опускает голову, и на платье блестящей волной падают редкой красоты волосы. Принц чувствует себя неловко и, дабы не касаться событий прошлой ночи, немедленно принимается говорить о вещах совершенно посторонних.

— Чем все же объясняется ваше дурное самочувствие? — озабоченно спрашивает он. — Вы говорили, что тому причиной жара, и все мы с нетерпением ждали, когда она наконец спадет. Но настала осень, а вам не становится лучше. Я теряюсь, не зная, что еще предпринять. Молитвы вам не помогают, но прекращать их тоже опасно. Я слышал, некоторые монахи способны творить чудеса. Вот бы найти такого! Все хвалят одного настоятеля, может быть, пригласить его, чтобы молиться ночью в ваших покоях?

Недовольная тем, что принц старается увести разговор в сторону, но понимая, что не отвечать тоже нехорошо, Нака-но кими говорит:

— О, со мной и раньше такое бывало, не беспокойтесь, все пройдет. Очевидно, я просто не похожа на других женщин.

— Что-то вы слишком спокойны, — улыбаясь, замечает принц.

«Ах, в целом мире не найдешь женщины красивее и милее», — думает он, однако нельзя сказать, чтобы его не влекло и к той, другой, очевидно, ей все-таки удалось затронуть его сердце! Тем не менее, он глядит на Нака-но кими с прежней нежностью, незаметно, чтобы чувства его переменялись, во всяком случае он снова и снова клянется ей в верности не только в этой, но и в будущей жизни.

— Наверное, мне недолго осталось жить, — отвечает она. — Но думаю, что за то время, пока «к концу приближается мне отмеренный срок» (161), я еще успею убедиться в вашем жестокосердии. Так что мне остается уповать на грядущую жизнь, «забыв горький опыт» настоящей...

Нака-но кими старается не плакать, но, очевидно, сегодня чаша терпения переполнилась, и она, разражается слезами. До сих пор она умело притворялась спокойной, не желая, чтобы принц узнал, какая боль живет в ее сердце, но такие горестные мысли одолевали ее в последние дни, что обычное самообладание изменило ей. Слезы безудержным потоком текут по лицу, и, не умея остановить их, Нака-но кими поспешно отворачивается. Ей так стыдно, так неловко! Принц обнимает и притягивает ее к себе.

— Я умилился, видя, что вы во всем мне послушны, — говорит он, отирая ее слезы собственным рукавом, — а оказывается, вы таили от меня свои обиды. Или ваши чувства ко мне переменялись за одну-единственную ночь?

— Боюсь, что за эту ночь переменялись ваши чувства, — отвечает она, пытается улыбнуться.

— Вы говорите, словно дитя неразумное. Поверьте, мне нечего скрывать от вас, потому-то я так и спокоен. Если бы я переменялся к вам, вы сразу бы догадались об этом, никакие уловки мне бы не помогли. Ваше неведение очень трогательно, и все же... Попробуйте поставить себя на мое место. «В этом мире увы, невозможно...» (414) Подождите, пока сбудутся надежды\*, тогда я сумею доказать, сколь велика моя преданность. Впрочем, не стоит говорить об этом раньше времени. «Что будет — не знаю...» (453)

Тут возвращается гонец. Он совершенно пьян и, забывшись, проходит прямо во флигель, сгибаясь под тяжестью роскошных шелков, которые обвивают его стан словно морские водоросли, срезанные рукою рыбачки. На него глядя, трудно не догадаться, откуда он пришел. «Когда же господин успел написать письмо?» — недоумевают дамы.

Принц не собирался ничего скрывать от Нака-но кими, однако неожиданное появление гонца приводит его в замешательство. Но что тут делать? И хотя гонец явно пренебрег приличиями, принц велит даме принести письмо. «Раз так случилось, — думает он, разворачивая его, — лучше не таиться». Заметив, что письмо написано приемной матерью Року-но кими\*, он облегченно вздыхает и откладывает его в сторону. Читать такое письмо, даже написанное рукой посредника, в присутствии госпожи не совсем удобно.

«Мне не хотелось вмешиваться, — написано в письме весьма изящным почерком, — но нашей юной госпоже неможется, и, как я ни уговаривала ее...

плющ

Не пойму, отчего  
Сегодня утром поникла  
“Девичья краса”.  
Быть может, тяжесть росы  
Для нее непосильное бремя?»

— Как надоели эти упреки, — сетует принц. — Я хотел жить спокойно вдвоем с вами и вот должен... Право, я и думать о ней не думал.

Когда речь идет о простых людях, которым прилично быть связанными брачным союзом только с одной женщиной, жалобы первой жены обычно вызывают сочувствие. Но в данном случае дело обстояло иначе. Принц не мог ограничиться одной супругой. И раньше или позже подобное должно было произойти. К тому же он был не просто принц, на него возлагались особые надежды, и, сколько бы жен он ни имел, никто бы не посмел его осудить. Поэтому положение Нака-но кими ни в ком не возбуждало сострадания, напротив, ее считали счастливницей и многие завидовали ей, видя, какими заботами окружена она в доме принца. Скорее всего и сама она горевала главным образом потому, что была слишком избалована вниманием принца и никак не ожидала... Раньше, читая старинные повести или слушая рассказы о чужих судьбах, Нака-но кими всегда недоумевала, почему в подобных обстоятельствах женщины так падают духом? Однако теперь она на собственном опыте могла убедиться в том, сколь тяжела участь покинутой супруги.

Принц же сегодня особенно нежен.

— Нехорошо, что вы отказываетесь от пищи, — пеняет он ей и повелев принести самые изысканные лакомства, просит понимающих в этом толк дам приготовить их по-особенному. Но сколько ни уговаривает он Нака-но кими съесть хоть кусочек, она и смотреть ни на что не желает.

— Ах, как вы огорчаете меня, — вздыхает принц.

Вечером он переходит в главный дом. Дует прохладный ветерок, и небо так прекрасно, как бывает только в это время года. Принца, с его живостью нрава и склонностью ко всему изысканному, красота этого вечернего часа настраивает на игривый лад, а пребывающая в унынии Нака-но кими, наоборот, становится еще печальнее... Голоса вечерних сверчков пробуждают в ее душе тоску по «тени от горы...» (339).

Безучастно  
Внимала бы я сверчкам  
В горной глуши,  
Но в этот осенний вечер  
Такая горечь на сердце...

Судя по всему принц уехал, еще до наступления темноты. Вдали затихли голоса передовых, а море слез разливалось все шире, так что очень скоро и рыбачке было где ловить свою рыбу... (454) Нака-но кими лежала, кляня себя за малодушие. «Я не должна так падать духом. Как могла я забыть, сколько слез пролила еще там, в Удзи! — думала она. — Хотела бы я знать, чем закончится мое нынешнее недомогание? Никто из нашей семьи не задерживался надолго в этом мире, возможно, мне тоже предстоит уйти... Жизнь не



так уж и дорога мне, и все же печально... Да и не хотелось бы отягощать душу новым бременем». Она не смыкала глаз до рассвета.

На следующий день, услыхав о том, что Государыне нездоровится, принц отправился во Дворец. Сегодня здесь собрался весь двор. К счастью, оказалось, что у Государыни всего лишь легкая простуда и ее здоровью ничто не грозит, поэтому Левый министр уехал, не дожидаясь вечера. Он пригласил с собой Тюнагона, и они вместе отправились в дом на Шестой линии.

Министр ничего не пожалел бы ради сегодняшнего торжества\*, но увы, всему есть пределы... Его смущало присутствие Тюнагона, но кто из его близких мог стать лучшим украшением праздника? Тюнагон с неожиданной готовностью последовал за министром и принял деятельное участие в приготовлениях, не выказывая ни малейшего сожаления по поводу того, что Року-но кими досталась другому. Последнее обстоятельство немало раздосадовало министра, хотя, разумеется, он и виду не подал.

Принц приехал после того, как спустилась ночь. Ему отвели покои в восточной части южного крыла главного дома.

На восьми столиках с приличной случаю торжественностью были размещены серебряные блюда, а на двух маленьких столиках стояли изысканные, вполне в современном вкусе подносы с лепешками-моти. Но скучно описывать то, что и так всем хорошо известно...

Вот приходит министр и немедленно посылает за принцем даму, мол, час уже поздний, но тот, затеяв с ней шуточный разговор, появляется не сразу. Гостей на сегодняшнем пиршестве немного — только Саэмон-но kami и Тосайсё — братья госпожи Северных покоев в доме министра. Наконец принц выходит — от него просто глаз нельзя оторвать!

Приветствуя гостя, То-но тюдзё подносит ему чашу с вином и пододвигает столик с праздничным угощением. Собравшиеся осушают вторую чашу, а затем и третью. Тюнагон усердно потчует всех вином, и, приметив это, принц невольно улыбается. Должно быть ему вспомнилось, как часто докучал он Тюнагону своими опасениями: мол, не будет ли он чувствовать себя слишком принужденно в доме министра. Однако Тюнагон делает вид, что ничего не замечает, сегодня он держится особенно степенно. Перейдя в Восточный флигель, он принимается потчевать вином спутников принца, среди которых немало влиятельных лиц. Шесть придворных Четвертого ранга получают в дар по парадному женскому платью и по накидке хосонага в придачу, десяти придворным Пятого ранга достаются трехслойные китайские платья со складчатыми шлейфами, различающиеся по цвету. Лица Шестого ранга, а их четверо, получают хосонага и хакама из узорчатого шелка. Число подношений ограничено соответствующими предписаниями, поэтому министр, подсадив, постарался вознаградить себя тем, что выбрал лучшие по окраске и покрою наряды. Низшие слуги и придворнослужители были просто завалены дарами. Столь красочное, пышное зрелище неизменно возбуждает всеобщее любопытство, возможно, именно поэтому его так охотно и описывают в старинных повестях. Правда, при этом обыкновенно говорится, что трудно передать все подробности...

Некоторые передовые Тюнагона, очевидно оставшиеся сегодня в тени и не получившие радушного приема, вернувшись в дом на Третьей линии, сетовали, вздыхая:

— И почему наш господин не согласился стать зятем Левого министра?  
— Неужели ему не надоело одиночество?

Услышав их жалобы, Тюнагон усмехнулся. Судя по всему, его приближенные завидовали спутникам принца, которые, хмельные и довольные, так и заснули кто где попало в доме на Шестой линии, в то время как сами они, усталые и сонные, вынуждены были везти своего господина домой.

«Вот уж не хотел бы я оказаться на месте принца... — думал Тюнагон, укладываясь. — Министр вел себя так церемонно, а ведь принц — его близкий родственник. Светильники горели ярче обычного, все наперебой угощали вином новоявленного супруга. Но надо отдать ему должное — держался он прекрасно. Будь у меня дочь, соединяющая в себе все возможные совершенства, я никому, даже Государю, не отдал бы ее с такой охотой, как принцу Хёбукё». Но уже в следующий миг Тюнагон вспомнил, и не без гордости, что многие отцы готовы предпочесть принцу его самого, так что ему вряд ли стоит жаловаться. Правда, он далек от мирских помышлений, да и годы уже не те... Если Государь и в самом деле вознамерился отдать ему дочь, вправе ли он пренебрегать такой милостью? Разумеется, это большая честь, и все же... Неизвестно еще, какова принцесса. Вот хорошо, если бы она оказалась похожей на Ооикими! Так, нельзя сказать, чтобы его сердце вовсе не было затронуто...

Страдая по обыкновению своему от бессонницы, Тюнагон решил провести эту ночь у дамы по прозванию Адзэти, к которой был расположен более, чем к другим. Как только забрезжил рассвет, он со смущенным видом поспешил уйти, хотя вряд ли кто-то осудил бы его. Дама была обижена.

— Не всякому  
Дозволено переправиться  
Через реку Заставы (455).  
Досадно, коль станут судачить,  
Будто я одолела ее, —

говорит она.

Сказано неплохо, и Тюнагон отвечает:

— Река Заставы  
Только на вид мелковата.  
Разве прервется  
Движение глубинных потоков,  
Недоступное взорам?

Назови он эту реку глубокой, и то вряд ли стоило бы ему верить, а уж когда заранее допускается, что она выглядит мелкой... Наверняка дама совсем приуныла.

Отворив боковую дверцу, Тюнагон вздыхает:

— Говоря откровенно... Взгляните на это небо! Разве мог я спать, оставаясь безучастным к его красоте? Не хочу уподобляться чувствительным юнцам, но в такие ночи всегда очень трудно уснуть. То и дело просыпаешься, одолевают мысли об этом мире, о грядущем, сердце стесняется томительным волнением...

Попытавшись таким образом отвлечь ее от печальных мыслей, Тюнагон вышел. Он никогда не расточал попусту нежных слов, но был столь ласков и обходителен, что на него просто невозможно было сердиться. Любая женщина, с которой хоть раз он перекинулся он двумя-тремя шутивными словами, только о том и помышляла, как бы оказаться к нему поближе, и не потому ли в доме Третьей принцессы собралось множество дам, которые употребили все средства, вплоть до использования старинных семейных связей, для того только, чтобы поступить в услужение именно к ней? Дамы эти были разных званий, но почти все имели причины для печали и вызывали большее или меньшее сочувствие...

Увидев свою новую супругу при свете дня, принц Хёбукё был окончательно пленен. Року-но кими оказалась стройной и изящной, прелестной формы головка и прекрасные густые волосы делали ее достойной восхищения самого строгого ценителя. Нежное лицо дышало свежестью, а в чертах, в движениях было столько горделивого благородства, что хотелось вовсе не отрывать от нее глаз. К тому же она обнаруживала немалые дарования — словом, была в полной мере наделена всеми совершенствами, приличными ее полу. Пожалуй, именно таких и называют истинными красавицами. Лет же ей было чуть более двадцати, и она казалась пышным, благоуханным цветком. Министр воспитывал дочь, не жалея сил, и старания его увенчались успехом. Року-но кими была безупречна. Хотя, если говорить о мягкости, кротости и приветливости нрава, преимущества явно было на стороне госпожи из Флигеля. На первых порах Року-но кими робела перед принцем и стеснялась отвечать ему, однако и то небольшое, что она говорила, свидетельствовало о ее редкой одаренности. Прислуживали ей тридцать миловидных молодых дам и шесть девочек-служанок, одна прелестнее другой. Министр сам проследил за тем, чтобы для них были сшиты изящные, несколько необычные наряды, справедливо полагая, что привыкшего к изысканнейшей роскоши принца удивить трудно. Старшая дочь Левого министра, рожденная ему госпожой из дома на Третьей линии, прислуживала принцу Весенних покоев, но даже о ней не заботились столь рачительно. Наверное потому, что принц Хёбукё пользовался особенным влиянием в мире.

Теперь принцу стало нелегко приезжать в дом на Второй линии. Высокое положение ограничивало его свободу, и выезжать днем ему не дозволялось, так что дневные часы принц, как и в былые времена, проводил в южных покоях дома на Шестой линии, а вечером не годилось оставлять Року-но кими в одиночестве... Вот и получалось, что госпоже из Флигеля приходилось коротать ночи в томительном ожидании и, хотя она давно себя к этому готовила, перенести охлаждение принца оказалось труднее, чем ей думалось прежде. «Неужели любовь исчезает бесследно? — сокрушенно вздыхала она. — Но я сама виновата, будь я умнее, не стала бы соединять свою судьбу со столь высокой особой, забыв о том, что мне, ничтожной, это не подобает...»

С сожалением, смешанным с раскаянием, вспоминала Нака-но кими тот день, когда пустилась в путь по горной тропе. Далеким сном казалось то время, и мысль о тайном возвращении в горную обитель беспрестанно являлась ей. «Разумеется, я не собираюсь порывать с принцем, мне просто хочется немного рассеяться, — думала она. — Да и не лучше ли уехать, чем

докучать супругу упреками и жалобами?» Эта мысль настолько захватила ее, что, преодолев смущение, она отправила письмо Тюнагону:

«Адзари известил меня о ходе поминальных служб и о Вашем участии, и я не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою признательность. Отрадно сознавать, что в Вашем сердце до сих пор сохранились хотя бы остатки того расположения, которое Вы испытывали некогда к нашему семейству. Вы и представить себе не можете, какое это для меня утешение. Надеюсь, что у меня будет возможность высказать свою благодарность Вам лично».

Нака-но кими писала на бумаге «митиноку» простым, строгим и вместе с тем удивительно изящным почерком. Она была весьма немногословна в изъяснении своей признательности, однако чувствовалось, что ее искренне тронуло деятельное участие Тюнагона в приготовлениях ко дню памяти покойного принца. Обычно она даже отвечать стеснялась, ограничиваясь короткими записками, а на этот раз сама обратилась к нему — немудрено, что письмо ее обрадовало Тюнагона чрезвычайно, и сердце затрепетало в его груди. Он слышал, что принц Хёбукё, плененный новой супругой, пренебрегает Нака-но кими, и догадывался, как она страдает, поэтому письмо, хотя и не было в нем ничего изысканного, показалось ему особенно трогательным. Он долго не мог отложить его и перечитывал снова и снова. Ответил Тюнагон весьма сдержанно.

«Весьма признателен Вам за письмо, — написал он на жесткой белой бумаге. — Я позволил себе отправиться в Удзи тайно, словно монах-отшельник, и сам совершил все положенные обряды. Признаюсь, я нарочно не поставил Вас об этом в известность. Может быть, Вы догадываетесь почему... Пользуясь случаем попенять Вам за Ваши слова об "остатках расположения". Неужели Вы думаете, что мои чувства изменились? Но, надеюсь, у меня будет возможность рассказать Вам обо всем подробнее. С неизменным почтением...»

На следующий день Тюнагон приехал в дом на Второй линии. Томимый тайным желанием, он уделил особенное внимание своему наряду. Его мягкое платье, старательно пропитанное благовониями, источало, пожалуй, даже слишком сильное благоухание, а светло-коричневый веер хранил неповторимо нежный аромат его собственного тела. Никогда еще он не казался дамам таким прекрасным.

Разумеется, Нака-но кими иногда вспоминала о той странной ночи и, убеждаясь с годами в благоразумии и трогательной преданности Тюнагона, качествах, столь редких в нашем мире, подчас ловила себя на мысли: «А не лучше ли было...» Она уже многое понимала и, сравнивая Тюнагона со своим неверным супругом, невольно отдавала ему предпочтение. Так или иначе, в последнее время она часто сожалела о том, что принуждена держать его в отдалении, вот и на этот раз, не желая, чтобы у Тюнагона были основания жаловаться на ее нечувствительность, решила впустить его в передние покои. Сама же устроилась за занавесями, приказав поставить за ними еще и ширму.

— В вашем письме не содержалось прямого приглашения, — говорит Тюнагон, — но я понял, что вы согласны встретиться со мной, и от радости едва не бросился к вам сразу же, только весть о приезде принца и остановила меня: сообразив, что мое присутствие неуместно, я решил повременить. Вижу, вы решили уменьшить разделяющую нас преграду. Неужели мое терпение наконец вознаграждено? Трудно поверить...

С трудом справившись со смущением, Нака-но кими отвечает:

— Мне не хотелось, чтобы вы считали меня неблагодарной. До сих пор я не говорила вам о своей признательности. Но, поверьте, я никогда не забуду о том, сколь многим вам обязана.

Она говорит совсем тихо, да и сидит довольно далеко, поэтому Тюнагону почти ничего не слышно и, раздосадованный, он спрашивает:

— Почему вы не хотите сесть поближе? Мне о многом надо поговорить с вами, и я должен быть уверен, что вы слышите.

«Что ж, он прав», — и Нака-но кими пересаживается поближе. До Тюнагона долетает шелест ее платья, и сердце замирает в его груди, однако ему удается сохранить самообладание, и говорит он, как всегда, спокойно. Разговор переходит с одного предмета на другой. Сетуя на неверность принца, Тюнагон, однако, не позволяет себе осуждать его и только утешает Нака-но кими. Она же, полагая неприличным жаловаться на супруга, больше молчит, лишь иногда робко роняет несколько слов, наводящих собеседника на размышления о том, как «печален ли мир» (456), да просит помочь ей уехать в Удзи хотя бы на некоторое время.

— Но подумайте, могу ли я брать на себя такую ответственность? — говорит Тюнагон. — По-моему, вы должны спокойно поговорить обо всем с супругом и поступить сообразно его решению. Иначе ваши действия будут неправильно истолкованы. Вряд ли стоит давать принцу повод упрекать вас в легкомыслии. Поверьте, если бы не это, я охотно отвез бы вас в Удзи и привез обратно. Принц знает, что на меня можно положиться, ибо я не похож на других...

Беседуя с ней таким образом, он время от времени намекает на то, с какой досадой вспоминает теперь о некогда упущенной возможности, как жалеет, что нельзя вернуть прошлое — «право, как хотелось бы мне...» (318)

Между тем день преклоняется к вечеру, и присутствие гостя начинает тяготить Нака-но кими.

— Простите, но долгие разговоры утомляют меня, — говорит она, судя по всему, удаляясь в глубину покоев. — Может быть, потом, когда мое здоровье поправится...

— Но когда же... — Тюнагон готов ухватиться за любую возможность, дабы задержать ее, — когда же вы намереваетесь выехать? Горные тропы заросли глухим бурьяном, я должен их расчистить для вас!

— Эта луна подходит к концу, — отвечает она, останавливаясь. — Было бы неплохо отправиться в начале следующей. Но мне не хочется предавать дело огласке. Неужели нельзя обойтись без разрешения?

Нежный голос Нака-но кими пробуждает в сердце Тюнагона томительные воспоминания, и обычное самообладание изменяет ему. Нагнувшись, он просовывает руку под занавес рядом со столбом, у которого сидит, и хватает женщину за рукав. «Ну вот, так я и знала. Ах, как неприятно!» — ужасается Нака-но кими, но что тут можно сказать? Молча спешит она скрыться в глубине покоев, но Тюнагон уверенно, словно делает это каждый день, следует за ней и ложится рядом.

— Или я ослышался? Вы, кажется, сказали, что предпочитаете уехать тайно? Неужели моя радость была преждевременной? Я только хотел убедиться, верно ли я вас понял... Вам нечего бояться. Не будьте же так жестоки!

Раздосадованная его внезапным вторжением, Нака-но кими долго не отвечает. Потом, собравшись с духом, говорит:

— Но я не ожидала... Подумайте, что скажут дамы...

Она вот-вот заплачет и Тюнагону становится жаль ее, тем более, что ее упреки не лишены оснований. Тем не менее он не отступает:

— Но разве в нашем поведении есть что-нибудь предосудительное? Вспомните, ведь и в прежние дни... Даже ваша покойная сестра не возражала, так отчего вы так к этому относитесь? Досадно! Я никогда не сделаю ничего, что могло бы оскорбить вас, вам нечего бояться.

Он был совершенно спокоен, однако отпускать ее не собирался и все говорил, говорил... Что беспрестанно помышляет о ней, что не в силах более сдерживать своих чувств, что невыносимая тоска мучит его сердце...

Нака-но кими была смущена, растеряна, впрочем, это и так понятно. Будь на месте Тюнагона чужой человек, ничего не знающий о ее обстоятельствах, она чувствовала бы себя увереннее, но могла ли она ожидать от него?.. Ей стало досадно, и она горько заплакала.

— К чему эти слезы? Вы уже не дитя... — пеняет ей Тюнагон, а сам не может оторвать от нее глаз. Нака-но кими так прелестна и так беспомощна, один вид ее возбуждает в его сердце нежность и глубокое сострадание. Вместе с тем с годами в ее чертах появилась особая утонченность, которой он не замечал прежде, и Тюнагона терзает запоздалое раскаяние: ведь он собственными руками отдал Нака-но кими другому. Так, он сам виноват в своих нынешних мучениях и как тут не заплакать, «громко сетуя на судьбу» (457)?

Сегодня госпоже прислуживают всего две дамы. Проникни в покои какой-нибудь незнакомый мужчина, они наверняка всполошились бы и по крайней мере попытались бы выяснить, в чем дело, но, поскольку Тюнагон частый гость в их доме, они, к величайшему огорчению Нака-но кими, делают вид, будто ничего не замечают, и отходят подальше, дабы не мешать: «Наверное, им надо о чем-то поговорить...»

Возвращаясь мыслями к прошлому, Тюнагон терзался жгучей досадой и очевидно, ему было трудно сохранить самообладание, но ведь и тогда, в ту давнюю ночь, он проявил редкое благоразумие, вот и на этот раз ему удалось сдержаться и не дать воли переполнявшим его чувствам. Впрочем, вряд ли стоит останавливаться на таких подробностях. Разумеется, Тюнагону обидно было, что его надежды оказались обманутыми, но, не желая подавать подозрения окружающим, он все-таки уехал.

Казалось, совсем недавно зашло солнце, а вот уже забрезжил рассвет. «Как бы дамы не приняли судачить», — тревожился Тюнагон не столько из-за себя, сколько из-за Нака-но кими. Причина ее недомогания уже ни для кого не была тайной. Она явно стыдилась обвинявшего ее стан пояса\*, и, возможно, именно он-то и остановил Тюнагона. «Наверное, это очередная глупость с моей стороны, — думал он, призывая себя к благоразумию, — но не мог же я повести себя с ней грубо, это не в моих правилах. Да и сумею ли я сохранить душевное равновесие, если позволю себе поддаться внезапному искушению? Принудив ее к тайным встречам, я обреку себя на бесконечные муки и лишу покоя ее сердце». Вместе с тем он с трудом сдерживал обуревавшие его чувства, ему казалось невозможным «и на краткий миг» (343) расстаться с Нака-но кими. Сможет ли он жить, не видя ее?

Бесконечные сомнения терзали душу Тюнагона, и, как это ни прискорбно, доводы разума очень скоро оказались забытыми.

За последние годы Нака-но кими немного похудела, отчего ее черты стали еще более утонченными. Тюнагон был совершенно очарован, ее пленительный образ неотступно преследовал его, он не мог думать ни о чем другом. Он готов был даже пойти навстречу желанию Нака-но кими и увезти ее в Удзи, но вправе ли он делать это тайно, без ведома принца? Каким образом следует вести себя, чтобы, с одной стороны, избежать людского суда, а с другой — достичь желаемого? Одолеваемый бессвязными мыслями, он долго лежал, вздыхая...

Ранним утром Тюнагон отправил Нака-но кими письмо, сложив его так, как складывают обыкновенно деловые письма.

«Напрасно  
Я с таким трудом пробирался  
По росистой тропе.  
Гляжу на осеннее небо,  
А в сердце — тоска о прошлом...

Ваша холодность повергла меня в безотчетное уныние, и могу ли я выразить словами?..»

Нака-но кими не хотела отвечать, но, не желая навлекать на себя подозрения дам, все-таки написала несколько слов. «Я получила Ваше письмо, но мне по-прежнему нездоровится, и я не в силах...» «Весьма краткое послание...» — огорчился Тюнагон, перед ним невольно возник ее пленительный образ, и сердце стеснилось тоской. Видимо, за эти годы Нака-но кими приобрела некоторый жизненный опыт, во всяком случае с ним она обошлась довольно умело: постаралась скрыть свое негодование и мягко, но с достоинством вынудила его уйти. То и дело возвращаясь мыслями к вчерашнему вечеру, Тюнагон терзался от ревности и тоски. Ему казалось, что за годы, протекавшие со дня их последней встречи, красота Нака-но кими стала еще совершеннее. «Кто знает, — думал он, — может быть, принц все-таки оставит ее, и она согласится считать меня своей опорой? Нам придется обойтись без огласки, ибо наш союз вряд ли будет признан людьми, но других тайных привязанностей у меня нет, и она станет моей единственной отрадой». Только это и занимало Тюнагона в те дни, и разве он не заслуживает порицания? Неужели даже самые разумные и благонравные мужчины столь бессердечны? Его скорбь по ушедшей была велика, тут и говорить нечего, но таких мучений ему еще не доводилось испытывать. О чем бы он ни думал, мысли его постоянно возвращались к Нака-но кими.

— Сегодня госпожу навестил принц, — сообщили однажды Тюнагону, и сердце его тут же воспламенилось ревностью, он забыл даже о своем намерении стать ей опорой.

Принц же приехал совершенно неожиданно, как видно, почувствовав себя виноватым — ведь он так давно не бывал в доме на Второй линии.

«Стоит ли показывать ему, что я обижена? — думала Нака-но кими. — Теперь я не могу доверять даже Тюнагону, а ведь я так надеялась, что он поможет мне уехать в Удзи». Увы, не было для нее в мире прибежища, и ей оставалось лишь сетовать на свою злосчастную судьбу. «Что ж, пока я “со-

всем не исчезну" (458), — говорила она себе, — следует покориться обстоятельствам». Она была так ласкова с принцем, так старалась ему угодить, что растроганный и благодарный, он только и мог, что молить ее о прощении. Нака-но кими приметно раздалась в талии, которую охватывал все тот же пояс, и принц смотрел на нее с умилением и восторгом — ему еще не приходилось видеть близко особ в таком положении. В доме на Шестой линии он чувствовал себя довольно принужденно и, попав в знакомую обстановку, наслаждался свободой и покоем. Не жалея слов, клялся он Нака-но кими в вечной преданности, но, слушая его, она вспоминала Тюнагона, проявившего столь неожиданную настойчивость, и недоверчиво вздыхала: «Как речи-сты эти мужчины...» До сих пор Тюнагон всегда принимал в ней трогательное участие, она привыкла к этому и была ему благодарна, но его вчерашнее поведение возмутило ее, и, возможно, поэтому она все-таки невольно прислушивалась к обещаниям принца, хотя и не очень верила ему. «Но какое коварство, — думала она, возвращаясь мыслями к событиям прошедшей ночи, — так умело вкрасться ко мне в доверие и проникнуть в мои покои... Господин Тюнагон говорит, что они с сестрой никогда не были близки. Если это правда, он истинно достоин уважения, но я все равно должна быть осторожна. Жаль только, что принц надолго оставляет меня одну».

Она не стала делиться с супругом своими опасениями и была так ласкова с ним, так льнула к нему, что совершенно его очаровала. Внезапно принц уловил какой-то подозрительный аромат. Он мало походил на обычно возжигаемые в покоях курения, и вряд ли кто-то усомнился бы в его происхождении, уж во всяком случае не принц, который слыл знатоком в этой области.

— Что это за аромат? — спросил он, а как подозрения его были недалеки от истины, Нака-но кими растерялась. Да и что могла она сказать в свое оправдание?

«Я знал, что этим кончится! Он всегда был к ней неравнодушен!» — подумал принц, и сердце его потеряло покой.

А надо сказать, что госпожа переменяла даже нижнее платье, и все равно аромат сохранился, словно каким-то чудесным образом впитавшись в ее кожу.

— Что ж, раз дело зашло так далеко...

Возмущенный, принц осыпает госпожу жестокими упреками, но как ни горько ей, она лишь молча вздыхает, не зная, что ответить.

— Вы всегда занимали особое место в моем сердце, и все же... Людям нашего положения не годится думать: «лучше бы я...» (459). Разве я оставляла вас одну так надолго, что вы могли почувствовать себя уязвленной? Как жестоко вы поступили со мной! Не ожидал!

Вряд ли стоит повторять здесь все, что было им сказано, можно только пожалеть Нака-но кими. Так или иначе, ее молчание лишь увеличивало его досаду:

— Кто-то другой  
Твоих рукавов коснулся...  
Чужой аромат  
Вдыхаю, и горькой обидой  
Полнится сердце.



Подавленная тяжестью его обвинений, Нака-но кими долго не может выговорить ни слова, но не отвечать тоже нельзя, и в конце концов она говорит:

— Верила я:  
Твои рукава с моими  
Навеки сплелись...  
Ужель аромат случайный  
Их может разъединить?

Слезы текут по ее щекам, и так трогательна она в своей печали, что просто невозможно остаться к ней равнодушным. «Вот и Тюнагон...» — приходит в голову принцу, и так горько ему становится от этой мысли, что он тоже заливается слезами. Увы, сердце его слишком подвластно женским чарам! Даже если бы Нака-но кими действительно была перед ним виновата, он все равно не смог бы ее бросить. Да и теперь, видя, как она прелестна и как беспомощна в своем положении, он быстро забывает о своих обидах и принимается ее утешать.

Следующее утро застает принца в опочивальне госпожи. Туда приносят воду для умывания и утренний рис.

После дома на Шестой линии, где все сверкает, где корейская и китайская парча, узорчатые шелка тщатся затмить друг друга богатством и яркостью оттенков, убранные с прелестной простотой покои Нака-но кими кажутся принцу особенно уютными. Многие дамы в мягких домашних одеждах, повсюду тихо и безлюдно. Сама госпожа, облаченная в скромное светлое платье и хосонага цвета «гвоздика», так мила и изящна, что даже гордая дочь Левого министра, блистающая юной красотой и изысканнейшими нарядами, не может с ней сравниться. Или взор любящего просто не замечает недостатков?

В последнее время Нака-но кими, всегда отличавшаяся пленительно округлыми, пышными формами, осунулась и побледнела, однако это не только не умалило ее красоты, а, напротив, сообщило ей еще большую утонченность, поэтому сомнения начали терзать принца еще до того, как он уловил столь встревоживший его аромат. Любуясь своей милой и прелестной супругой, он невольно думал: «А вдруг какой-нибудь посторонний мужчина окажется поблизости и заговорит с ней? Он может услышать ее голос, разглядеть сквозь занавеси очертания фигуры... Разве останется он равнодушным? Нет, он наверняка устремит к ней свои помышления». По собственному опыту принц хорошо знал, к чему это может привести, а потому всегда был настроен и часто с деланным безразличием заглядывал в шкафчик и шкапулки супруги: «Нет ли там каких-нибудь подозрительных писем?» Но нечего такого ему не попадалось. Иногда он находил среди бумаг коротенькие записки, но они были самого обычного содержания, к тому же госпожа явно не дорожила ими. «Не может быть, чтобы не было других», — недоверчиво разглядывая их, думал принц. Неудивительно, что сегодня он тем более встревожился не на шутку! «Тюнагон так красив, что перед ним не устоит ни одна женщина, особенно если она наделена чувствительной душой, — думал он. — Почему госпожа должна быть исключением? Они могут стать прекрасной парой, связанной самыми нежными чувствами».

Представляя себе, как это будет, принц приходил в отчаяние, негодовал, терзался ревностью — словом, совершенно лишился покоя. Этот день он тоже провел в доме на Второй линии, не преминув, правда, отправить два или три письма дочери Левого министра, чем вызвал немалое возмущение пожилых дам.

— Не успел уехать, а уже столько накопилось невысказанного... — ворчали они.

Услышав, что принц безвыездно живет в доме на Второй линии, Тюнагон пришел было в дурное расположение духа, но тут же постарался взять себя в руки. «Глупо, в высшей степени недостойно помышлять о женщине, — подумал он, — которой спокойствие я почитаю своим долгом охранять». В самом деле, он должен был радоваться, что принц не оставил Нака-но кими. Представив себе, как дурно выглядят ее дамы в своих старых, обвисших платьях, он поспешил в покои матери.

— Не найдется ли у вас приличных нарядов? Мне они были бы очень к стати... — спрашивает он, и принцесса отвечает:

— Кажется, есть белые платья, предназначенные для служб следующей луны\*. Крашенных у меня теперь почти не бывает... Но можно распорядиться, чтобы их подготовили.

— О нет, не беспокойтесь, ничего особенного не нужно, довольно того, что есть.

И Тюнагон, обратившись в покои Драгоценного ларца, выбирает из хранящегося там несколько нарядных платьев и изысканных хосонага, а также белые и узорчатые шелка. Для самой госпожи он из собственных запасов отбирает превосходный блестящий алый шелк и тонкую белую парчу. Не хватает только подходящих хакама, и по какому-то одному ему известному побуждению Тюнагон присовокупляет к нарядам случайно попавшиеся на глаза ленты для шлейфа мо. Дары он сопровождает следующей песней:

«Не мною, другим  
Завязан на платье пояс.  
Стану ли я  
На него обижаться  
И сетовать на судьбу?»

Тюнагон велит вручить письмо госпоже Таю, пожилой даме, которая ему особенно преданна.

— Посылаю вам спешно собранные вещи, они неказисты, но надеюсь, вы сумеете найти им применение, — передает он на словах.

Все предназначенное для госпожи Тюнагон, не обозначая особо, укладывает в отдельный ларец, который велит обвязать самой красивой тканью.

Таю, даже не сочтя необходимым показать присланное госпоже, тут же распределила ткани между дамами, и они принялись за шитье. Тюнагон часто оказывал им такого рода услуги, и она знала, что можно не проявлять особой церемонности и обойтись без ответных даров. Прежде всего следовало нарядить молодых дам, прислуживающих непосредственно госпоже. Да и служанки совсем обносились, и им были весьма к стати простые, но изящные и опрятные белые платья. Право же, кто, кроме Тюнагона, позаботился бы обо всем этом? Слов нет, принц испытывает к госпоже самые

нежные чувства и полон решимости опекать ее, но может ли он уследить за подобными мелочами? Избалованный общим вниманием, он живет, не ведая печалей, и откуда ему знать, как тяжело, когда мир не соответствует твоим желаниям? Такие, как он, не мыслят себя иначе, как в самом роскошном окружении, от холода же страдают только тогда, когда воспевают росу на цветах. Так что принца можно было еще считать на редкость попечительным мужем, ибо он принимал живое участие во всем, что касалось его любимой супруги, старательно вникая в ее каждодневные надобности. Некоторые дамы, в том числе и кормилица, недовольно ворчали, полагая, что он мог бы и не усердствовать так. Тем не менее Нака-но кими часто страдала из-за того, что служанки ее дурно одеты. «Увы, в столице свои трудности...» — сокрушалась она. А теперь, когда приходилось соперничать с дочерью министра, живущей в одном из самых великолепных домов столицы, она совсем приуныла, ибо знала, что приближенные принца станут сравнивать, и, конечно же, не в ее пользу. Тюнагон догадывался о ее страданиях и старался помочь. «Посылая ей самые простые, обиходные вещи, которые не принято дарить людям, никак с тобой не связанным, я вовсе не хочу принизить ее, — думал он. — Но разве уместна здесь излишняя торжественность? Она может наоборот вызвать нежелательные толки». Вот и теперь он отобрал несколько простых, но очень изящных платьев, присовокупил к ним вытканное нарочно для госпожи коутики, несколько свертков узорчатого шелка и все это отослал в дом на Второй линии.

Надо ли говорить о том, что Тюнагон не менее принца Хёбукё был избалован ласками и угождениями окружающих? Изнеженный и высокомерный, он чуждался житейских забот и устремлял сердце к возвышенному. Однако, после того как судьба свела его с Восьмым принцем, и ему открылось очарование простой уединенной жизни, он по-новому увидел мир, и душа его исполнилась жалости и сострадания. Да, уроки Восьмого принца были поистине бесценны!

Итак, несмотря на решительное намерение быть для Нака-но кими радетьельным опекуном, не более, он по-прежнему беспрестанно помышлял о ней, и письма его становились все более страстными. Видно было, что он с трудом владеет собой, и Нака-но кими снова вздыхала и сетовала на судьбу. «Будь Тюнагон совершенно чужим человеком, — думала она, — я без сожаления прервала бы с ним всякие сношения как с не достойным снисхождения безумцем. Но он столько лет был мне надежной опорой... Внезапное взаимное отчуждение наверняка возбудит толки и подозрения. Да и могли ли я быть неблагодарной и не ценить его поистине трогательное участие? Но с другой стороны вести себя так, будто я разделяю его чувства, тоже недопустимо. Так что же мне делать?» Увы, вряд ли когда-нибудь Нака-но кими попадала в более затруднительное положение. Рядом с ней не было никого, кто разрешил бы ее сомнения или хотя бы посочувствовал ей: молодые дамы, к совету которых она могла бы прибегнуть, появились в доме совсем недавно и ничего не знали о ее прошлых обстоятельствах, приехавшие же вместе с ней из Удзи были слишком стары, чтобы понять... Ах, как же не хватало ей Ооикими! «Будь сестра жива, у него и мысли не возникло бы...» — думала она и еще больше печалилась. Увы, даже холодность принца не доставляла ей таких страданий.

Однажды Тюнагон, не сумев справиться с обуревавшими его чувствами, как всегда, тихим вечером приехал в дом на Второй линии. Распорядившись, чтобы для гостя устроили сиденье на галерее, Нака-но кими отказалась встретиться с ним лично, сказавшись больной.

Тюнагон готов был заплакать от обиды, и только присутствие дам заставило его взять себя в руки.

— К изголовью больного допускаются даже совершенно чужие монахи, — говорит он. — Вы могли бы впустить меня за занавеси как врачевателя. Ради того, чтобы обмениваться посланиями через посредника, бессмысленно было и приходить.

Видя, как он огорчен, дамы, прислуживавшие госпоже и в ту недавнюю ночь, заявив: «В самом деле, неловко...» — опускают занавеси опочивальни и проводят Тюнагона в передние покои, туда, где обычно помещаются ночные монахи. Госпоже действительно нездоровится, но, вняв настояниям дам и не желая уязвлять самолюбие гостя решительным отказом, она нехотя приближается к занавесям, чтобы побеседовать с ним. Ее голос звучит еле слышно, порой совсем невнятно, и Тюнагону невольно вспоминается Ооикими, такая, какой она была в самом начале болезни. Сердце его сжимается от мучительного предчувствия, мысли путаются в голове, на некоторое время он лишается дара речи и говорит что-то бессвязное. Раздосадованный тем, что Нака-но кими сидит так далеко, Тюнагон решительным движением руки отодвигает занавеси и не менее решительно приближается к ней. Вне себя от ужаса она зовет некую Сёсё.

— Разомните мне грудь, — просит она, — у меня опять начались боли.

— Когда давят на больное место, боль становится еще мучительнее, — замечает Тюнагон и, вздохнув, принимает чинную позу, но на душе у него и в самом деле тяжело.

— Странно, что вам все время нездоровится, — продолжает он. — Я спрашивал у дам, и мне сказали, что дурно чувствуют себя только на первых порах, а потом становится гораздо легче. Возможно, вы просто слишком неопытны...

— У меня и раньше часто болела грудь, — смущенно отвечает госпожа. — Сестра ведь тоже страдала от этого. Люди говорят, что те, у кого болит грудь, долго не живут.

В самом деле, ведь «с сосной вековой годами...» (321). Мучительная жалость сжимает ему сердце и, не обращая больше внимания на присутствие Сёсё, но старательно избегая слов, которые могут показаться ей подозрительными, Тюнагон заводит разговор о чувствах, тревоживших его душу все эти годы, причем нарочно говорит так, чтобы его речи были понятны одной Нака-но кими и не оскорбляли слуха ее прислужниц. «А ведь и правда, в целом мире нет ему равных», — думает Сёсё, прислушиваясь. Мысли Тюнагона беспрестанно возвращаются к Ооикими.

— С самого раннего детства, — говорит он, и по щекам его катятся слезы, — я был далек от суетных помышлений и надеялся, что сумею прожить, не обременяя сердце заботами этого мира. Но, видно, иным было мое предопределение, я встретил вашу сестру, и, хотя мы так и остались друг другу чужими, она завладела всеми моими помыслами. Из-за этого сердце мое утратило прежнюю чистоту, и я сошел с желанного пути. Я вступал в связь

с другими женщинами, надеясь обрести забвение, но так и не нашел никого, кто мог бы заменить мне ее. Я слишком много страдал, и порой мне изменяет самообладание, но я бы не хотел, чтобы мои намерения были дурно истолкованы. Поверьте, я никогда ничем не оскорбляю ваших чувств, мне довольно иногда беседовать с вами и знать, что у нас нет друг от друга тайн. Кто поставит нам это в вину? Все знают, как мало похож я на других людей, и вряд ли кто-нибудь станет судачить. Так что вы можете быть совершенно спокойны.

— О, если бы я сомневалась в вас, разве стала бы я так свободно беседовать с вами, пренебрегая тем, что дамам может показаться это странным? За прошедшие годы я не раз имела возможность убедиться в вашей доброте и привыкла считать вас своим покровителем. Иначе разве решилась бы я так часто прибегать к вашей помощи?

— Не понимаю, о какой помощи идет речь, думаю, вы преувеличиваете. Или вы все-таки не отказались от своего намерения уехать в Удзи и полагаете, что я буду вашим проводником? Я был бы счастлив видеть, что вы оценили наконец мою преданность.

Тут новые упреки готовы были сорваться с его уст, и когда б не присутствие дам...

Выглянув наружу, Тюнагон замечает, что уже стемнело, из сада доносится звонкое стрекотание насекомых. На горки опустилась тень, и их очертания почти неразличимы. Видя, что гость спокойно сидит, как видно, никуда не спеша, госпожа с трудом скрывает недовольство.

— О, если б тоска имела пределы... (334) — тихонько произносит Тюнагон. — С каждым днем мне становится лишь тяжелее... Так, найти бы селенье Беззвучное (460)... Ту горную усадьбу можно и не превращать в храм, лучше сделать статую, которая была бы истинным подобием ушедшей, или написать ее портрет, и творить перед ними молитвы.

— Весьма трогательное желание. Но подобие человека всегда вызывает жалость, ибо сразу же представляешь себе поток, готовый его унести...<sup>\*</sup> А живописцы, говорят, требуют золота ...<sup>\*</sup> Так что мне трудно отрешиться от сомнений...

— Вы правы. Да и найдется ли ваятель или живописец, способный осуществить мною задуманное? Хотя совсем недавно жили в этом мире мастера, которых само небо осыпало цветами\*. Вот бы и мне отыскать такого чудотворца... — вздыхает Тюнагон. Он явно не может забыть Ооикими и искренне скорбит о ней. Пожалев его, госпожа придвигается ближе.

— Когда вы сказали о подобии, — говорит она, — мне вспомнилась странная, поистине невероятная история.

Обрадованный и тронутый ее необычно ласковым тоном, Тюнагон:

— Что же это за история? — спрашивает и, приподняв полу занавеса, берет ее за руку.

«Опять! Неужели нет никакого средства заставить его смириться?» — возмущается Нака-но кими, но старается скрыть негодование, понимая, что у сидящих рядом с ней дам могут возникнуть подозрения.

— Совсем недавно ко мне обратилась одна особа, о существовании которой я и ведать не ведала. Она долго жила где-то в провинции, но этим летом вернулась в столицу. Пренебречь ею я не могла, но особенно сближаться с ней

мне тоже не хотелось. Однако на днях она навестила меня и оказалась истинным подобием покойной сестры. Как тут было не растрогаться! Вот вы говорите, что я напоминаю вам ушедшую, а ведь дамы, знавшие нас обеих, никогда не подмечали меж нами сходства. Тем более удивительно, что эта особа так похожа на сестру, казалось бы, у нее и вовсе нет оснований...

«Уж не грезится ли мне все это?» — думает Тюнагон, слушая ее.

— Думаю, она не просто так искала повода сблизиться с вами, — говорит он. — Наверняка существует какая-то причина. Но почему вы до сих пор ни словом о ней не обмолвились?

— О, я до сих пор не уразумела, что привело ее ко мне и какая меж нами связь... Отец все время беспокоился, как бы мы не оказались в беспомощном состоянии и, покинутые им, не были бы вынуждены скитаться по миру... Только теперь, оставшись одна и собрав воедино все услышанное от него и от других, я начала понимать, чего он боялся. Но мне не хотелось давать людям новый повод к пересудам и ради отца я постаралась скрыть от мира эту печальную тайну...

Тюнагон понял, что речь скорее всего идет о «цветке воспоминаний» (80), сорванным кем-то из дам, тайно связанных с Восьмым принцем, но поскольку Нака-но кими сказала, что особа эта похожа на Ооикими, любопытство его было возбуждено.

— Раз уж вы заговорили, извольте продолжать, — просит он, желая узнать больше, но, как видно, Нака-но кими неловко говорить об этом, и она предпочитает не касаться подробностей.

— Если вы хотите найти ее, я могу рассказать вам, где примерно она живет, большего я и сама не знаю. К тому же, боюсь, что, узнав слишком много, вы будете разочарованы.

— Ах, как я хотел бы знать, где обитает теперь душа вашей сестры! Я готов пуститься на поиски, даже если она «на море, в безбрежной дали»\*. Разумеется, особа, о которой вы мне рассказали, не пробуждает во мне таких чувств, но чем страдать от безутешной тоски, уж лучше... Ведь хотел же я установить изображение покойной в горном храме, так почему бы не сделать своим божеством ее живое подобие? Вы должны рассказать мне все, что знаете, — настаивает Тюнагон.

— Думаю, что мне вообще не следовало упоминать о ней, тем более, что отец никогда ее не признавал, но, когда вы заговорили о ваятелях, творящих чудеса, мне стало жаль вас. Девушка, о которой я говорила, долгие годы жила в отдаленных провинциях. Ее мать очень страдала из-за этого и в конце концов обратилась ко мне, а поскольку я не могла пренебречь ее просьбой, она прислала дочь сюда. Потому ли, что я видела девушку мельком, или по какой другой причине, но только она показалась мне куда привлекательнее, чем я предполагала. Несчастная мать, судя по всему, настолько обеспокоена мыслью о ее будущем, что ваше желание сделать девушку живым божеством может встретить в ее сердце живейшее сочувствие. Думаю, что о лучшей участи для своей дочери она и мечтать не смеет. Но сомневаюсь, что вы решитесь на это...

Тюнагон не мог не понимать, что рассказывая ему со столь простодушным видом об этой девушке, Нака-но кими прежде всего надеется оградить себя от его домогательств. Тем не менее ее рассказ взволновал его ни на

шутку. «Она считает мои чувства недопустимыми, и все же открыто не высказывает мне своего пренебрежения. Не потому ли, что оценила наконец мою преданность?» — подумал он.

Между тем настала ночь, и госпожа, опасаясь любопытных взглядов, предусмотрительно удалилась в глубину покоев. Ничего другого и ожидать было невозможно, однако Тюнагон почувствовал себя обиженным, сердце его стеснилось мучительной тоской, и слезы покатились из глаз. Только присутствие дам заставило его взять себя в руки: как ни велико было его смятение, он понимал, что не должен терять голову, ибо последствия могут быть губительны как для госпожи, так и для него самого, а потому, призвав на помощь все свое самообладание, ушел, вздыхая печальнее обыкновенного. «Что станется со мной, ежели она и впредь будет занимать такое место в моем сердце? — спрашивал он себя. — Какие мучения ждут меня? О, если б можно было достичь желаемого, не подавая повода к молве!»

Такие неразумные и опасные для обоих мысли теснились в его голове всю ночь, не давая и на миг сомкнуть глаза: возможно, он просто был еще слишком неопытен в любовных делах. «Как бы найти средство собственными глазами убедиться в том, что сходство, о котором она говорила, действительно существует? — думал он. — Сблизиться с этой особой не составит труда, ибо она занимает весьма невысокое положение, но если она не оправдает моих ожиданий, ничего кроме ненужных забот это не принесет». О том, каково будет самой девушке, у него и мысли не возникало.

Тюнагон давно уже не бывал в Удзи, с каждым днем прошлое казалось ему все более и более далеким, щемящая тоска теснила грудь, и вот в конце Долгой луны, измученный воспоминаниями, он наконец отправился туда.

Печальная картина предстает его взору: повсюду царит унылое запустение, нигде ни души, лишь ветер, гуляя по саду, срывает с деревьев листья, да журчащие ручьи охраняют покой старого жилища. В глазах темнеет от слез, безграничная грусть овладевает душой. Тюнагон спрашивает монахиню Бэн, и его проводят к поставленному у входа зеленовато-серому переносному занавесу.

— Простите меня, недостойную, — говорит она, не показывая ему своего лица, — за это время я стала еще безобразнее, и мне стыдно...

— Я понимаю, как вам тяжело, — отвечает Тюнагон. — Я и сам страдаю оттого, что рядом со мной нет никого, кто разделит бы мое горе, с кем можно было бы вспомнить прошлое. Дни и луны текут унылой, однообразной чередой...

Глаза его полны слез, а уж о старой монахине и говорить нечего...

— Вот и снова осень, — с трудом произносит она. — Подумать только, еще год назад госпожа была жива. Как она страдала, несчастная, беспокоясь за сестру... Причины для печали находятся всегда, и все же осенью, когда ветер словно проникает до самой глубины души, особенно тяжело. Я слышала, что опасения моей бедной госпожи оправдались?.. Как это грустно, право...

— Все так или иначе уладится, были бы только живы. Меня постоянно мучит сознание собственной вины, ведь это из-за меня ваша госпожа ушла из мира, так и не обретя покоя. Если же говорить о нынешнем поведении принца, то оно более чем обычно, и никаких оснований для беспокойства нет. Невозможно примириться лишь с мыслью о вечной разлуке. Разумеется,

всем нам «раньше или позже» (326) суждено растаять в небе тонкой стружкой дыма, и все же...

Тут Тюнагон снова заплакал.

Потом он призывает к себе Адзари, и они обсуждают, какие сутры и священные изображения следует подготовить ко дню скорби.

— Право, от моих приездов сюда никакого толку, — говорит он, — с каждым разом лишь сильнее тоска. А потому неплохо было бы, разобрав главный дом, перенести его поближе к храму и превратить в молельню. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

И, набросав на листке бумаги примерное число молелен, галерей и монастырских келий, Тюнагон дает Адзари соответствующие указания.

— О, такое благодеяние... — почтительно отзывается тот.

— Возможно, я проявляю некоторую жестокость, вознамерившись изменить облик этого прекрасного места, выбранного покойным принцем для своего жилища, но скорее всего он и сам распорядился бы подобным образом, когда б не тревога за судьбу дочерей. Ведь вы знаете, как высоки были его устремления. Теперь этой усадьбой владеет супруга принца Хёбукё, и дом можно считать собственностью принца. Поэтому мне не хотелось бы превращать его в храм, оставляя на прежнем месте. Это было бы слишком большим самоуправством с моей стороны. К тому же дом стоит у реки на совершенно открытом месте... Я полагаю, что лучше перенести его отсюда, а здесь построить что-нибудь другое.

— В любом случае это весьма достойное намерение. Говорят, что когда-то в старину жил человек, который, не желая расставаться со своим умершим сыном, положил его останки в мешок и много лет носил на спине. Однако в конце концов благодаря проповедям Будды он бросил мешок и вступил на путь просветления. Глядя на дом покойного принца, вы смущаете сердце воспоминаниями, и это привязывает вас к миру. Если же вы превратите его в храм, перед вами откроется путь к грядущему спасению. Так что лучше всего немедленно приступить к работам. Соболаговолите справиться у ученых календарников о наиболее благоприятном дне и пришлите двух-трех умелых плотников, я же прослежу, чтобы все было сделано сообразно учению Будды...

Отдав соответствующие распоряжения, Тюнагон призывает людей из своих окрестных владений и велит им выполнять указания Адзари. Тем временем день подходит к концу, и он остается в Удзи на ночь.

Вечером он долго бродит по дому, понимая, что видит его в последний раз. Статуи будд уже перевезены в храм, и в покоях осталась лишь самая простая утварь, необходимая монахине. Такой печалью проникнуто это бедное жилище, что сердце Тюнагона стесняется от жалости: «Как она будет здесь жить?»

— По некоторым соображениям я полагаю необходимой перестройку главного дома, — говорит он. — Вам придется перебраться на галерею на то время, пока будут вестись строительные работы. Если вы захотите переправить что-то госпоже в столицу, призовите к себе кого-нибудь из моих людей, и они сделают все, что вы прикажете.

Обсудив с монахиней насущные дела, Тюнагон проходит в опочивальню. При других обстоятельствах он вряд ли стал бы приближать к себе эту пре-



старелую особу, но в эту ночь просит ее устроиться поближе и долго беседует с ней о прошлом. Рядом нет никого, кто мог бы подслушать их разговор, и монахиня не упускает удобного случая, чтобы рассказать ему кое-какие подробности о покойном Уэмон-но kami.

— Помню, как господину сообщили о вашем появлении на свет. Дни его были уже сочтены, и как же он кручинился, что никогда не увидит свое дитя! Его лицо и теперь стоит перед моими глазами... Могла ли я предполагать тогда, что в конце своей поразительно долгой жизни мне удастся встретиться с вами? О, я уверена, наша встреча — это воздаяние, ниспосланное мне за то, что я до последнего часа была возле своего господина. Думая об этом, я и радуюсь, и печалюсь. Я многое повидала на своем веку, мне стыдно и горько, что я так зажилась в этом мире. Госпожа просила меня приезжать иногда к ней в столицу, да и сейчас нередко пеняет мне за то, что, затворившись в этом горном жилище, я будто бы забыла ее, но в столь неблагоприятном обличье я не хотела бы встречаться ни с кем, разве что с самим буддой Амида.

Затем она долго рассказывает Тюнагону о своей покойной госпоже, упоминает разные случаи из ее жизни, слова, сказанные по тому или иному поводу, песни, сложенные в честь весенних цветов и алых листьев... И хотя голос ее дрожит от старости, в подобных обстоятельствах никто бы не осудил ее за словоохотливость.

«Ушедшая была по-детски бесхитростна и молчалива, — думает, слушая ее, Тюнагон, — но при этом обладала удивительно тонкой, чувствительной душой. Супруга принца Хёбукё превосходит сестру яркостью черт и живостью нрава, но она умеет быть холодной и неприступной с теми, кто ей не по душе... Однако со мной она, судя по всему, собирается поддерживать добрые отношения, не забывая при этом об осмотрительности».

Воспользовавшись случаем, он заводит разговор о девушке, которую Нака-но кими считает подобием своей старшей сестры.

— Не знаю, в столице ли она теперь, — говорит Бэн. — Я никогда ее не видала, только слышала о ней. Это случилось еще до того, как принц поселился здесь, в Удзи. Вскоре после кончины супруги он вступил в тайную и весьма мимолетную связь с дамой, которую называли госпожой Тюдзё. Она принадлежала к довольно знатному роду и была недурно воспитана. Никто бы не догадался о ее связи с принцем, если бы не родилась дочь. Разумеется, принц знал, что это его дитя, но, очевидно, не захотел обременять себя новыми заботами, еще крепче привязавшими бы его к этому миру, во всяком случае, больше он не захотел встречаться с госпожой Тюдзё. Наученный горьким опытом, он зажил с тех пор истинно монашеской жизнью. Обиженная холодностью принца, женщина покинула его дом и, став супругой правителя Митиноку, уехала в провинцию. По прошествии нескольких лет она вернулась в столицу и постаралась довести до сведения принца, что девочка растет здоровой и смышленной. Однако принц решительно отказался принимать в ней участие, мол, сообщение попало вовсе не к тому, кому было предназначено, и женщине только и оставалось, что сетовать на тщетность своих стараний устроить судьбу дочери. Я слышала, что вскоре после этого госпожа Тюдзё уехала в Хитати, куда был назначен правителем ее супруг, и некоторое время не давала о себе знать. Однако нынешней весной она снова появилась в столице и разыскала нашу младшую госпожу. Ее дочери

должно быть теперь около двадцати лет. Госпожа Тюдзё как-то прислала мне пространное письмо, в котором писала, что девушка выросла настоящей красавицей и что она очень озабочена ее судьбой.

Этих подробностей оказалось довольно, чтобы возбудить в сердце Тюнагона живейшее любопытство. «Значит, это правда, — подумал он. — Вот бы взглянуть на нее!»

— Я готов был отправиться на край света за женщиной, имеющей хоть какое-то отношение к ушедшей, — говорит он монахине. — А оказывается, есть особа, связанная с ней столь крепкими узами. Пусть принц и не пожелал ее признать, это ровно ничего не меняет. Если она вдруг заедет сюда, передайте ей мои слова, прошу вас.

— Госпожа Тюдзё придется племянницей супруге покойного принца, так что мы с ней тоже связаны родственными узами. Но, к сожалению, все эти годы мы служили в разных местах и почти не сообщались. На днях я получила письмо от Таю, прислужницы младшей госпожи. «Дочь госпожи Тюдзё собирается навестить могилу отца, — писала она, — будьте к этому готовы». Но пока она не появлялась. Если она приедет, я найду случай передать ей ваши слова.

Когда рассвело, Тюнагон собрался в обратный путь, но, прежде чем уехать, отправил Адзари присланные ему вчера из столицы шелк и вату. Приличные обстоятельства дары получила и монахиня Бэн. Не были забыты и ее прислужницы, не говоря уже о монахах. Постоянные попечения Тюнагона помогали одинокой старой монахине жить безбедно и беззаботно, сообразно званию своему отдавая дни служению Будде.

Яростный горный ветер сорвал с деревьев листья, и они устлали землю ярким алым ковром. По нему еще не ступала нога человека, и Тюнагон все медлил, зачарованный этой прекрасной картиной. На старом дереве с причудливо искривленными ветвями нашел себе прибежище плющ, еще не утративший яркости красок. «Чем возвращаться с пустыми руками...» — подумал Тюнагон и сорвал один из побегов. Видимо, он собирался преподнести его Нака-но кими.

— Когда бы не память —  
И мне это старое дерево  
Дарило приют, —  
Как бы я от тоски томился  
Ночью в горной глуши... —

произнес он, ни к кому не обращаясь, но монахиня услышала и ответила:

— Забытое всеми,  
Засохло старое дерево.  
Один только плющ  
Льнет к нему, помня о прошлом.  
Печально на это смотреть!

Эта изящная, хотя и старомодная песня помогла Тюнагону немного рассеяться.

Нака-но кими передали алую ветку плюща как раз в тот миг, когда в ее покоех находился принц.

— Это от господина с Третьей линии, — ничтоже сумняшеся заявляет дама, вручая госпоже письмо. «Неужели опять?» — досадует Нака-но кими, но прятать письмо поздно.

— Какой прекрасный плющ! — многозначительно говорит принц и просит, чтобы ему показали письмо. Вот что там написано: «Как Ваше самочувствие? Пока я был в горной обители, “не светлеет рассветный туман над вершиной и не иссякали...” (387). Но подробности я расскажу при встрече. Я договорился с Адзари о перестройке главного дома, и, как только Вы дадите согласие, его перенесут в другое место. Если у Вас будут еще какие-то распоряжения, передайте их монахине Бэн».

— Пишет так, словно и не помышлял никогда... — замечает принц. — Впрочем, наверное, ему известно, что я здесь.

Возможно, он недалеко от истины, но госпожа, обрадованная невинным содержанием письма, находит намеки супруга возмутительными. Ее лицо, порозовевшее от сдерживаемого негодования, так прелестно, что принц готов простить ей любое прегрешение.

— Напишите же ответ. Не бойтесь, я не буду смотреть, — говорит он и отворачивается.

Понимая, что если она заупрямится и откажется отвечать, у него наверняка возникнут новые подозрения, Нака-но кими послушно пишет: «Ваша поездка в горы возбудила в душе моей невольную зависть. Все, вами задуманное, представляется мне правильным. Чем искать потом пристанище среди утесов, не лучше ли заранее позаботиться о том, чтобы наше старое жилище не пришло в запустение? Я буду Вам весьма признательна...»

«Кажется, в их отношениях нет ничего предосудительного», — думает принц, читая письмо, и все же сомнения не покидают его, тем более что, будь на месте Тюнагона он сам...

В засохшем саду мискант, «будто кого-то зовет» (461), размахивая руками. Он совсем недавно начал выбрасывать метелки, и они бессильно гнутся, колеблются, словно нити, униженные драгоценными каплями росы. Даже вполне обычный вечерний ветер сегодня волнует душу.

Этот мискант  
Не спешит метелки выбрасывать,  
Свои чувства таит.  
Лишь, призывно сверкая, падают  
Капли росы с рукавов.

На принце только носи, небрежно накинутое на мягкое домашнее платье, в руках у него бива. Настроив его в тональности «осики», он пробегает пальцами по струнам, и они звучат так пленительно печально, что Нака-но кими забывает свои обиды и тихонько выглядывает из-за маленького переносного занавеса, за которым сидит, прислонившись к скамеечке-подлокотнику. Она так прелестна, что глаз не оторвешь.

— Унылая осень  
Уже на луга опустилась.  
О том невзначай  
Мне ветер шепнул, пролетая  
Над чащей мисканта в саду...

Так, «уже потому...» (319) — говорит Нака-но кими, с трудом сдерживая слезы. Смутившись, она прикрывает лицо веером, и принц глядит на нее с умилением, хотя у него и мелькает невольно мысль: «Она так хороша, что и Тюнагон не сможет выбросить ее из сердца...» Судя по всему, сомнения еще не покинули его, и сердце не обрело покоя.

Хризантемы в саду еще не изменили цвета, ведь чем лучше за ними ухаживают, тем позже это происходит, и только одна, по какой-то никому не ведомой причине, уже окрасилась в осенние тона, и стала такой прекрасной, что принц просит сорвать ее и принести ему.

— «Не скажу, что всем цветам предпочту...»\* — произносит он. — Мне рассказывали, что некий принц однажды вечером любовался хризантемами, и вдруг прилетел к нему бессмертный небожитель и научил приемам игры на бива\*. В наш грубый век такого уже не случается, а жаль.

Вздохнув, он откладывает бива, и огорченная госпожа замечает:

— Возможно, люди и стали грубее, но ведь приемы, унаследованные от древних, остались прежними, так отчего...

Догадавшись, что ей хочется еще раз услышать новую для нее мелодию, принц отвечает:

— Раз так, присоединяйтесь и вы ко мне, обидно в такой прекрасный вечер играть одному.

Кликнув дам, он велит принести кото «со» для госпожи, но она не до-трагивается до него.

— Когда-то меня учили, — смущенно говорит она, — но, к сожалению, я почти ничему не научилась.

— Ну, уж в такой малости вы не можете мне отказать. Особа, которую я недавно начал посещать, и та охотно играет в моем присутствии, хотя начала учиться совсем недавно, и успехи ее незначительны. А ведь с вами мы куда более близки. Вот и Тюнагон говорит, что главное достоинство женщины — мягкий, открытый нрав. Его-то, вы, наверное, не стесняетесь.

Видя, что новые упреки готовы сорваться с его уст, госпожа со вздохом придвигает к себе кото. Струны его натянуты довольно слабо, и она играет в тональности «бансики». Кото звучит в ее руках прекрасно. Принц поет «Море Исэ». У него такой благородный, мелодичный голос, что дамы подходят поближе и слушают, умиленно улыбаясь.

— Разумеется, было бы лучше, если бы он ограничился нашей госпо- жой, — шепчутся они, — но ничего не поделаешь, при его положении в мире... И все же судьбу нашей госпожи можно считать счастливой.

— В прежние времена мы и мечтать не смели о том, что попадем в такой дом.

— Неужели госпожа действительно хочет вернуться в Удзи? Вот будет неприятно...

Они говорят довольно громко, и дамам помоложе приходится призвать их к молчанию.

Три или четыре дня провел принц Хёбукё в доме на Второй линии, обу- чая госпожу игре на кото. Дочери министра он объяснил свое отсутствие тем, что ему будто бы предписано воздержание. Тем не менее она чувство- вала себя обиженной, и однажды, возвращаясь из Дворца, Левый министр сам заехал на Вторую линию.

— К чему такие церемонии? — поморщился принц, но поспешил в свои покои, чтобы оказать тестю достойный прием.

— Как давно я не бывал здесь! — вздыхая, говорит министр. — Сколько трогательных воспоминаний связано с этим домом!

Некоторое время они беседовали о прошлом, затем министр уехал, забрав с собой принца. Глядя на его великолепную свиту — а министра, помимо многочисленных сыновей сопровождали самые знатные сановники и придворные, — дамы вздыхали, понимая, как трудно будет их госпоже соперничать с дочерью столь важной особы.

— Левый министр необыкновенно хорош собой! — восхищались одни, потихоньку разглядывая гостя. — Сыновья его тоже красивы, к тому же они в самом расцвете молодости, но, пожалуй, и им далеко до отца.

— Где это видано, чтобы человек столь высокого ранга сам приезжал за своим зятем? — возмущались другие. — Госпоже и без того тяжело.

«Довольно вспомнить прошлое, — думала Нака-но кими, — чтобы понять тщетность моих попыток занять достойное положение в мире. Увы, я слишком ничтожна».

И ей снова стало казаться, что лишь в Удзи она сможет обрести желанный покой. Тем временем год незаметно подошел к концу.

На исходе Первой луны состояние Нака-но кими резко ухудшилось, и принц, в жизни которого никогда еще не случалось ничего подобного, был вне себя от тревоги: «Чем же все это кончится?» Во многих храмах служили постоянные молебны, но принц беспрестанно заказывал новые. Однако Нака-но кими не становилось лучше, и скоро сама Государыня-супруга изволила прислать гонцов, дабы справиться о ее здоровье. Уже три года жила Нака-но кими в доме на Второй линии, и велика была любовь к ней принца, но мир не жаловал ее вниманием. Однако стоило распространиться слуху о столь исключительной милости Государыни, как все один за другим стали присылать своих гонцов.

Тюнагон был обеспокоен состоянием Нака-но кими не менее, чем сам принц. «Что станет с нею?» — вздыхал он, изнемогая от жалости, но принужден был ограничиться самыми общими знаками внимания. Часто навещать ее он не мог и лишь тайком заказывал молебны.

Между тем, как раз на это время была назначена церемония Надевания мо на Вторую принцессу, весть о готовящемся событии быстро распространилась по миру, вызвав немало шума. Все приготовления взял на себя Государь, и отсутствие влиятельных родственников с материнской стороны не помешало ему блестяще справиться с этой задачей. Кое-что припасла нёго, остальное было изготовлено в дворцовых мастерских или прислано наместниками разных провинций. Было решено, что сразу же после церемонии принцессу начнет посещать Тюнагон, поэтому и он принимал деятельное участие в приготовлениях, однако мысли его, занятые другой, были по-прежнему далеки от принцессы.

В Первый день Второй луны состоялось так называемое Дополнительное назначение. Тюнагон, став гон-дайнагоном, одновременно был произведен в чин правого дайсё, поскольку Правый министр, до сих пор имевший чин левого дайсё, недавно вышел в отставку. Обходя знатнейшие дома столицы с изъявлениями благодарности, новый дайсё зашел и на Вторую линию.

Узнав, что принц изволит находиться в покоях госпожи, которой состояние оставалось весьма тяжелым, он прошел во флигель.

— О нет, здесь полно монахов, принимать его здесь неприлично! — всполошился принц и, накинув парадное платье, спустился к подножию лестницы, чтобы ответно поклониться гостю. Трудно было сказать, кто из них прекраснее.

Вскоре Дайсё прислал принцу приглашение пожаловать на пиршество, устраиваемое им для чиновников соответствующих ведомств. Но принц не дал определенного ответа, ибо боялся оставлять госпожу. Пиршество состоялось в доме на Шестой линии, как и в тот раз, когда праздновали назначение Левого министра. Принцев крови и высших сановников собралось ничуть не меньше, чем тогда. Принц Хёбукё тоже изволил почтить собрание своим присутствием, однако на душе у него было беспокойно, и он ушел задолго до окончания праздника, весьма огорчив этим дочь Левого министра. «Это просто возмутительно!» — заявила она. Судя по всему, эта особа была довольно своенравна, возможно потому, что принадлежала к одному из влиятельнейших в мире семейств, хотя, если говорить о происхождении, преимущество явно было на стороне Нака-но кими.

На рассвете следующего дня госпожа из Флигеля наконец разрешилась от бремени младенцем мужского пола. Принц был безмерно счастлив, почувствовав себя сполна вознагражденным за волнения и тревоги последних дней. У Дайсё же появилась еще одна причина для радости. Немедля отправившись к принцу, он, не присаживаясь, выразил ему свою благодарность\* за присутствие на вчерашнем пиршестве и поздравил со столь значительным событием. Поскольку принц не покидал дома на Второй линии, не было никого, кто не пришел бы его поздравить.

Приготовления к Третьему дню принц, как это принято, взял на себя, а на Пятый день вечером Дайсё прислал пятьдесят рисовых колобков, дары для победителей в «го», большие блюда с рисом — словом, все, что полагается в таких случаях. Кроме того, лично госпоже он, не предавая делу особой огласки, преподнес тридцать подносов с разнообразными яствами, а также пять платьев для младенца и ткани для пеленок. Казалось бы, самые скромные дары, но, когда их рассмотрели, оказалось, что все до последней мелочи подобрано с отменным вкусом. Принцу Дайсё прислал двенадцать подносов из аквиларии с различными яствами и блюда на ножках с разложенными на них пампушками\*. Для дам тоже принесли изысканное угощение на подносах из криптомерии и в тридцати коробках из дерева хиноки. Все это Дайсё постарался передать незаметно, без особых церемоний.

На Седьмую ночь в доме на Второй линии было особенно многолюдно, ибо пришли гонцы с поздравлениями от Государыни-супруги. По этому случаю съехались все придворные и высшие сановники, начиная с дайбу из Службы Срединных покоев. Слух о том дошел до Государя, и, изволив заметить: «Как не радоваться, что принц стал наконец взрослым...» — он прислал младенцу охранительный меч.

На Девятый день пришли с поздравлениями от Левого министра. Не питая особой приязни к Нака-но кими, он тем не менее не захотел обижать принца и прислал своих сыновей, так что и в тот день ничто не омрачило

праздничного веселья, и, должно быть, госпожа почувствовала себя вознагражденной за испытания, выпавшие на ее долю. Да и кого бы не утешили столь явные и многочисленные знаки внимания?

Дайсё, радуясь счастливому повороту в судьбе своей подопечной — в самом деле, разве не об этом мечтал он когда-то? — одновременно испытывал и некоторое разочарование. «Теперь, став взрослой женщиной, — думал он, — она окончательно отдалится от меня. Да и привязанность к ней принца, несомненно, умножится...»

По прошествии Двадцатого дня Второй луны состоялась церемония Надевания мо на принцессу из павильона Глицинии, и в тот же день ее посетил Дайсё. Это событие было отпраздновано весьма скромно.

— Вся Поднебесная знала, как нежно лелеял ее Государь, — шептались дамы, недовольные этим союзом. — Отдать ее простому подданному... Поистине незавидная участь!

— Пусть Государь и изволил дать свое согласие, но стоило ли так спешить?

Однако, приняв решение, Государь был неизменно тверд в его осуществлении, и хотя история не знала подобных примеров... Правда, человек, получивший в супруги девицу из высочайшего семейства, — не столь уж редкое явление, такое бывало и в старину, и в наши дни, но вот чтобы Государь в пору своего могущества сам, словно простой подданный, спешил подыскать для дочери супруга...

— Редко, кто удостоивается такой чести, — сказал как-то Левый министр принцессе Отиба. — Вот уж действительно счастливая судьба. Даже министр с Шестой линии получил в жены его мать, когда государь из дворца Судзаку был уже очень стар и готовился принять постриг. А обо мне и говорить нечего. Я просто подобрал оставшееся от другого, не испрашивая на тоничьего соизволения...

«Увы, он прав...» — смутилась принцесса и молча вздохнула.

На Третью ночь Государь отдал соответствующие распоряжения принцу Оуракё, дяде Второй принцессы по материнской линии, и прочим опекающим ее лицам, а также служителям Домашней управы, и они позаботились о том, чтобы приближенные Дайсё — передовые, телохранители, выездные и прочие слуги — без лишнего шума и огласки получили весьма приличное вознаграждение.

Разумеется, все, по этому поводу предпринятое, носило вполне частный характер. С того дня Дайсё стал тайно посещать принцессу, однако мысли его беспрестанно устремлялись к прошлому. Дневные часы он коротал в доме на Третьей линии, погруженный в унылые раздумья, а с наступлением темноты отправлялся к принцессе, хотя и не лежало к ней его сердце. Столь непривычный образ жизни тяготил Дайсё, и он решил перевезти принцессу на Третью линию. Мать его была тому рада и даже выразила желание уступить невестке главный дом, где до сих пор жила сама. Однако Дайсё счел это не достойным ее звания и распорядился построить новую галерею, которая должна была соединить молельню с западными покоями главного дома, куда, очевидно, ей и предстояло перебраться. Одновременно он велел отделать со всей мыслимой роскошью восстановленный после пожара Восточный флигель и позаботился об убранстве его внутренних покоев. Услышав о приготовлениях Дайсё, Государь встревожился, что столь поспешный

переезд вызовет нежелательные толки. Увы, видно, сердца государей обречены на «блуждания во мраке» (3) точно так же, как сердца простых подданных. Он написал письмо матери Дайсё, решив поделиться с ней своими сомнениями.

Когда-то государь из дворца Судзаку поручил ему заботиться о Третьей принцессе, и он никогда не оставлял ее своим вниманием. Даже после того как она отвернулась от мира, государь продолжал вникать во все ее нужды, и благодаря его милостивым попечениям принцесса жила в полном достатке.

Но ни почести, ни благоволение высочайших особ почему-то не радовали Дайсё, он по-прежнему проводил дни погруженный в печальную задумчивость, равнодушный ко всему, кроме строительства храма в Удзи.

Подсчитав, когда маленькому сыну принца Хёбукё исполнится пятьдесят дней, Дайсё заранее позаботился о праздничных лепешках-моти. Он лично проследил за тем, чтобы были подобраны соответствующие корзины и кипарисовые короба, а поскольку ему хотелось придать празднеству несколько необычный характер, он призвал к себе в дом самых искусных резчиков по аквиларии и сандалу, лучших мастеров золотых и серебряных дел, и много прекрасных вещей сотворили они, стараясь превзойти друг друга.

Сам Дайсё по обыкновению своему пришел в дом на Второй линии, когда принца не было дома. За последнее время что-то величавое появилось в его осанке: впрочем, возможно, это просто игра воображения...

«Уж теперь-то господин Дайсё забыл о прежних безрассудствах», — подумала госпожа и, успокоенная этой мыслью, согласилась встретиться с ним. Однако ожидания ее оказались обманутыми: почти сразу же со слезами на глазах Дайсё принялся жаловаться ей на свои несчастья.

— Теперь, когда мне пришлось вступить в столь нежеланный союз, — говорит он, — мир кажется мне еще более тяжким бременем. О, вы и вообразить не можете, в каком смятении мои чувства!

— Вы не должны предаваться отчаянию, — пеняет ему госпожа. — Что, если кто-нибудь услышит?

Вместе с тем она глубоко растрогана: «Вот подлинная верность! Даже столь прекрасной супруге не удалось изгладить в его сердце память о прошлом и заставить изменить своему чувству. О, если бы сестра была жива! Впрочем, тогда ее положение было бы сродни моему, и мы только и делали бы, что изливали друг на друга свои обиды. Увы, таким ничтожным особам, как мы, нечего рассчитывать на достойное положение в мире».

Да, теперь она лучше, чем когда бы то ни было понимала, какую удивительную прозорливость проявила Ооикими, не уступив домогательствам Дайсё.

Гость настоятельно просит, чтобы ему позволили увидеть младенца, и Нака-но кими, как ни велико ее смущение, не решаетеь отказать. «Стоит ли обращаться с ним как с посторонним? — думает она. — Я вправе высказывать ему неудовольствие, ежели он переступает границы дозволенного, но в остальном...» Ничего не ответив, она велит кормилице вынести младенца. Нетрудно было предвидеть, что он окажется миловидным, но чтобы он был так хорош... Право, подобная красота всегда рождает в сердце дурные предчувствия! Мальчик что-то лепечет, улыбаясь, и, глядя на его прелестное белое личико, Дайсё невольно завидует принцу: «Ах, когда б это дитя было



моим!» Увы, видимо, ему так и не удалось расстаться с суетными помышлениями. «Как жаль, что та, к которой стремилось мое сердце, была столь неприступна! Могло ведь стать, что, покинув мир, она по крайней мере оставила бы мне такое вот прелестное существо!» Право, он неисправим — ведь его совершенно не волнует, будут ли у него дети от его высокородной супруги! Впрочем, дурно с моей стороны изображать Дайсё столь женственно-слабым и своенравным. Вряд ли Государь приблизил бы его к себе, будь он столь несовершенен. Остается предположить, что он обладает незаурядными способностями в других, истинно значительных областях.

Весьма тронутый тем, что Нака-но кими согласилась показать ему младенца, Дайсё беседует с ней задушевнее обыкновенного. Тем временем темнеет, а поскольку при всей принужденности их отношений, остаться на ночь ему никак невозможно, он, тяжело вздыхая, уходит.

— Какой чудесный аромат! — шепчутся взволнованные дамы. — Того и гляди, прилетит соловей. Кто же это сказал: «Ветку сорвал...» (285).

Полагая, что двигаться в сторону Третьей линии летом неблагоприятно, Дайсё решил перевезти принцессу, не дожидаясь, пока солнце повернет на лето, что должно было произойти в начале Четвертой луны. Накануне переезда Государь лично посетил покои принцессы, где было устроено пиршество в честь расцветшей глицинии. В южной части павильона подняли занавеси и установили там сиденье для Государя. Любование глицинией входит в число годовых дворцовых праздников, поэтому принцесса могла не принимать участия в приготовлениях. Угощение для высшей знати и придворных было подготовлено служителями Дворцовой сокровищницы. В тот день в павильон Глицинии пожаловали Левый министр, Адзэти-но дайнагон, То-тюнагон, Сахё-но ками, а также два принца крови — принц Хёбукё и принц Хитати. Придворные менее высоких рангов расположились в южном саду, неподалеку от цветущей глицинии. Восточная часть дворца Корё-дэн была отдана в распоряжение музыкантов, и, как только наступили сумерки, зазвучала чарующая мелодия в тональности «содзё».

Кото и флейты для высочайшего музицирования приносят из покоев принцессы. Левый министр, по очереди принимает инструменты и передает другим придворным, которые и устанавливают их перед Государем. Затем Левый министр, взяв из рук Дайсё, почтительно преподносит Государю два свитка с нотами для китайского кото, которые когда-то переписал сам покойный министр с Шестой линии для Третьей принцессы. Свитки привязаны к ветке пятиигольчатой сосны. Приносят и другие дары — кото «со», японское кото и прочие инструменты, некогда принадлежавшие государю из дворца Судзаку. Среди них — та самая флейта, прощальный дар покойного Эмон-но ками, которую министр с Шестой линии увидел однажды во сне. Государь изволил как-то похвалить ее, и, очевидно рассудив, что более торжественного случая не представится, Дайсё извлек ее из своего хранилища. Государь оказывает честь собравшимся, лично раздав им музыкальные инструменты. Министру он предлагает японское кото, а принцу Хёбукё — бива. Дайсё играет на флейте, и никогда еще не звучала она так сладостно. Придворные с самыми красивыми голосами услаждают слух Государя пением. Из покоев принцессы выносят праздничные пампушки. Их подают на четырех подносах из аквиларии и сандаловых блюдах на ножках,

покрытых лиловым шелком, расшитым цветущими глициниями. На серебряных блюдах стоят чаши и кувшинчики для вина: чаши из светлого, кувшинчики из темного лазурита. Обязанности виночерпия возложены на Сахёэ-но kami. Потчевать вином одного Левого министра, очевидно, кажется Государю неприличным, а как среди принцев не оказывается достойных, он передает чашу Дайсё. Тот, оробев, готов отказаться, но, подумав, что у Государя есть причины настаивать, с благодарностью принимает чашу.

— Почту за честь, — говорит он, и эти самые обычные слова звучат в его устах чудесной музыкой.

Так, даже движения его исполнены особого изящества. Впрочем, может, просто взгляды собравшихся сегодня слишком пристрастны? Отведав вина, Дайсё спускается в сад и исполняет благодарственный танец, вызывая всеобщее восхищение. Получить чашу из высочайших рук — великая милость даже для принца крови или министра, но Дайсё все-таки зять Государя, а потому пользуется особым его расположением. К сожалению, при этом он остается простым подданным, а потому, вернувшись, занимает за пиршественным столом одно из последних мест, и многие провожают его сочувственными взглядами.

Адзэти-но дайнагон, полагавший, что выбор Государя падет на него, с трудом скрывает досаду. Когда-то он питал нежные чувства к матери Второй принцессы, нёго Фудзицубо, и даже после того, как ее отдали во Дворец, продолжал обмениваться с ней письмами. Со временем его внимание обратилось на дочь, и он неоднократно намекал на свое желание, однако нёго даже не уведомила о том Государя, немало уязвив тем самым самолюбие Адзэти-но дайнагона.

— Несомненно, Дайсё — человек особой судьбы, — недовольно ворчал он, узнав о готовящемся празднестве, — но прилично ли Государю проявлять столь преувеличенную заботу о зяте? Где это видано, чтобы простой подданный чувствовал себя как дома в Девятивратной обители, рядом с высочайшими покоями? Да еще и пиры в его честь задавать!

Однако искушение оказалось слишком велико, и он все-таки пришел, застав в душе обиду.

Поздно вечером зажгли огни, и гости приступили к сочинению стихов. По очереди подходили они к столику и клали на него листки бумаги с написанными на них стихотворениями. Каждый выглядел так, будто не сомневался в успехе, но нетрудно себе представить сколь заурядны и старомодны были их произведения, поэтому я позволю себе не приводить их все. К сожалению, высокий ранг далеко не всегда сочетается с поэтическим дарованием. Тем не менее, я попросила записать для меня несколько стихотворений на память об этом вечере. К примеру, вот что сказал Дайсё, сорвав цветущую ветку и преподнеся ее Государю:

— Для Государя  
Пышную гроздь глицинии  
Задумал сорвать,  
Но невольно задел рукавом  
Слишком высокую ветку...

Право, ему следовало быть скромнее...

А вот, что ответил Государь:

— Еще сотни веков  
Будет радовать нас ароматом,  
Этот цветок,  
Сегодня же насладимся  
Пышной яркостью красок... (462)

Были сложены и такие песни:

Для тебя, Государь,  
Сорвана ветка цветущая.  
Своей красотой,  
Даже лиловому облаку\*  
Вряд ли она уступит (463, 464).

Сверкая красой,  
Еще невиданной в мире,  
Глициний цветы  
Вздываются волнами вверх,  
Стремясь к Заоблачным далям.

Последнюю наверняка сложил раздосадованный Адзэти-но дайнагон! Даже по этим песням видно, что ничего примечательного сложено не было, хотя, возможно, некоторые песни мне передали не совсем точно.

С наступлением темноты звуки музыки становятся словно еще прекраснее. Дайсё запевает «Благословение», восхищая собравшихся редкой красотой голоса. Ему подпевает Адзэти-но дайнагон, которого голос тоже до сих пор не утратил звонкости, снискавшей ему такую славу в прежние времена. Седьмой сын Левого министра, совсем еще дитя, играет на флейте «сё». Он так мил, что Государь жалуется ему платье. Министр, спустившись в сад, исполняет благодарственный танец. На рассвете Государь удаляется в свои покои.

Дары для высшей знати и принцев были подготовлены самим Государем, а принцесса позаботилась о том, чтобы наградить музыкантов и придворных.

В ту же ночь Дайсё перевез принцессу в дом на Третьей линии. Переезд был обставлен с исключительной торжественностью. Государь распорядился, чтобы принцессе сопутствовали все прислуживающие ему дамы. Она ехала в роскошной карете с козырьком, за ней следовали три кареты без козырьков, с кузовами, устланными снаружи цветными нитями, шесть карет, отделанных золотом, с плетеными из пальмовых листьев кузовами, двадцать таких же карет, но без золотых украшений и две кареты с кузовами плетеными из тростника. В каретах располагались тридцать дам, из которых каждую сопровождали восемь девочек-служанок. Дайсё же выслал за супругой двенадцать карет, в которых помещались дамы, прислуживающие в доме на Третьей линии. Все сопровождавшие принцессу лица, начиная с высших сановников и кончая простыми придворными, блистали великолепными нарядами.

Теперь Дайсё имел возможность познакомиться с супругой поближе, и она превзошла все его ожидания. Стройная и изящная, принцесса отличалась кротким и миролюбивым нравом; право, трудно было найти в ней какой-нибудь изъян. Словом, у Дайсё не было оснований сетовать на судьбу, и он чувствовал бы себя вполне счастливым, когда бы не память о прошлом: ему так и не удалось забыть Ооикими, и в сердце его по-прежнему жила тоска. «Вряд ли мне удастся найти утешение в этой жизни, — думал он. — Очевидно, только достигнув высшего просветления, я сумею понять, чем навлек на себя эти несчастья, и обрету желанный покой». Строительство нового храма — вот что занимало теперь все его мысли.

Миновала беспокойная пора подготовки к празднеству Камо, и в двадцатые дни Четвертой луны Дайсё снова отправился в Удзи. Посмотрев, как идет строительство, и отдав соответствующие распоряжения, он решил навестить монахиню Бэн, зная, что она будет огорчена, если он проедет мимо, даже не взглянув на «засохшее старое дерево»\*.

Подъезжая к дому, он приметил, что по мосту движется внушительная процессия, состоящая из скромной женской кареты в сопровождении грубых на вид воинов из восточных земель с луками и колчанами за спиной и многочисленных слуг. «Какая-нибудь дама из провинции», — подумал Дайсё, въезжая во двор. Еще не смолкли крики его передовых, как процессия приблизилась к дому, явно собираясь въехать в ворота. Спутники Дайсё зашумели, но, остановив их, он послал узнать, кто приехал. Какой-то человек, судя по выговору — провинциал, ответил:

— Дочь бывшего правителя Хитати была на поклонении в Хацусэ, а теперь возвращается в столицу. По пути туда мы тоже останавливались здесь на ночлег.

«Да ведь это же та самая особа!» — догадался Дайсё и, повелев спутникам своим отойти в сторону, отправил к вновь прибывшим слугу, поручив ему сказать следующее:

— Можете вводить карету во двор. Здесь действительно остановился на ночлег один человек, но он занимает северные покои.

Хотя спутники Дайсё были одеты в скромные охотничьи кафтаны, нетрудно было догадаться, что они сопровождают весьма значительную особу. Растерявшись, слуги дочери правителя Хитати отвели лошадей в сторону и замерли, почтительно склонившись.

Карету же ввели во двор и подвели к западному концу галереи.

В заново выстроенном доме еще не успели повесить занавеси, и внутренние покои проглядывались насквозь. Дайсё прошел в ту часть дома, где решетки были опущены, и, спрятавшись в покоях, примыкавших к западной галерее, стал наблюдать за происходящим сквозь отверстие в перегородке. Дабы шелест одежд не выдавал его, он снял накрахмаленное платье и оставшись в исподнем, накинул прямо на него верхнюю накидку и шаровары.

Девушка не спешит выходить из кареты, как видно, решив сначала выяснить, что за важный гость остановился в доме. Однако Дайсё, узнав, чья это карета, тут же строго-настрого запретил дамам называть его имя, и, помня об этом, они передают через слугу:

— Скорее же выходите! У нас и в самом деле гость, но он разместился в другой части дома.

Сначала появляется молодая дама и поднимает занавеси кареты. Она довольно миловидна и выгодно отличается от сопровождающих карету передовых.

Затем выходит дама постарше.

— Прошу вас, поторопитесь, — говорит она.

— Но я окажусь у всех на виду... — слышится голос из кареты, очень тихий, но довольно приятный.

— Вы ведь уже бывали здесь! — настаивает дама. — Решетки и тогда были опущены. Откуда вас могут увидеть?

С трудом преодолев смущение, девушка выходит. О да, сходство с Ооикими поразительное! Та же форма головы, та же тонкая, изящная фигура, то же благородство движений. Лица не видно, ибо девушка все время прячет его за веером. Дайсё смотрит на нее с замиранием сердца.

Карета значительно выше места, к которому ее подвели, и если обе дамы спускаются быстро, то для госпожи это, судя по всему, оказывается нелегким делом, во всяком случае проходит довольно времени, прежде чем она выбирается из кареты и скрывается в глубине покоев. На ней темно-красное платье, накидка вроде бы расцветки «гвоздика», а поверх нее — еще одна, цвета молодых побегов.

С другой стороны перегородки, за которой расположился Дайсё, стоит еще и ширма высотой в четыре сяку, но отверстие выше этой ширмы, поэтому ему все видно как на ладони. Он видит, как девушка устраивается полулежа, опасливо отвернувшись от перегородки, за которой он стоит.

— Ах, вы, наверное, устали... Переправляться через реку Идзуми в эту пору так тяжело... — говорят дамы.

— Когда мы проезжали здесь на Вторую луну, воды было куда меньше. Впрочем, нас, привычных к восточным дорогам, испугать не так-то просто.

Они и в самом деле весьма бодры, но госпожа, утомленная тяготами дальней дороги, лежит, не имея сил вымолвить ни слова. Рука, которой она придерживает голову, весьма округла и, пожалуй, слишком изящна для дочери правителя Хитати.

От долгого стояния на одном месте у Дайсё начинает ныть поясница, но он не двигается, боясь выдать себя. Вдруг младшая дама говорит:

— Ах, как чудесно пахнет! Какие-то необыкновенные курения. Наверное, их возжигает монахиня?

— В самом деле, удивительный аромат, — отвечает старшая. — Столичные дамы в любых обстоятельствах умеют проявлять изощренный, взыскательный вкус. Супруга правителя Хитати всегда гордилась своим умением составлять ароматы, послушать ее, так в целой Поднебесной не найдешь никого искуснее, но там, в восточных землях, подобного и вообразить невозможно... Как ни скромно живет эта монахиня, одета она с отменным изществом: и серые и зеленые платья ее равно прекрасно сшиты.

Тут со стороны галереи появляется девочка-служанка.

— Вот целебный отвар для вашей госпожи, — сказала она. За ней вносят несколько подносов с разными лакомствами, и дамы пробуют разбудить девушку:

— Не желаете ли ответить?

Однако она не просыпается, и прислужницы сами принимаются есть, громко хрустя чем-то, очевидно каштанами.

Дайсё никогда еще не приходилось слышать подобных звуков. Неприятно пораженный, он поспешно отходит, но желание видеть девушку пересиливает, и он снова приближается к перегородке.

Ну не странно ли, что его так влечет к этой ничем не примечательной особе? Ведь он может свободно общаться с женщинами куда более высокого звания, с прославленными столичными красавицами, с самой Государыней-супругой, а между тем ни одной из этих высокородных особ не удалось пленить его воображение. Кое-кто даже готов осудить его за подобную невозмутимость.

Монахиня Бэн отправляет к Дайсё одну из своих прислужниц, но его находчивые телохранители отвечают, что господин устал в дороге и извоит отдыхать. У монахини возникает предположение, что он дожидается темноты, надеясь встретиться с особой, давно уже занимающей его мысли. Ей и в голову не приходит, что как раз в этот миг Дайсё подглядывает за ней.

Как обычно, управители окрестных владений прислали Дайсё коробки и корзины с разными разностями. Часть подношений он отослал монахине Бэн, которая не забыла попотчевать и гостей из восточных провинций. Принарядившись, она сама пришла приветствовать их. Одежды, которыми так восхищались прислуживающие девушке дамы, оказались действительно весьма изящными, черты же старой монахини до сих пор не утратили привлекательности и благородства.

— Я ждала вас вчера, — говорит она. — Почему вы приехали так поздно, ведь солнце поднялось уже совсем высоко?

— Ах, столь дальний путь оказался не по силам нашей госпоже, — отвечает та дама, которая постарше, — и мы принуждены были заночевать у переправы Идзуми. А сегодня все никак не могли выехать.

Она снова принимается будить девушку, и та наконец поднимается. Робея, она отворачивается от монахини, и Дайсё удаётся разглядеть ее профиль. Ему никогда не приходилось близко видеть лицо Ооикими, но, кажется, эта девушка и в самом деле очень на нее похожа. Тонкие черты, прекрасные волосы — все в ней так живо напоминает ушедшую, что на глазах у него выступают слезы. Когда девушка отвечает монахине, ее голос звучит еле слышно, но невозможно не заметить его сходства с голосом супруги принца Хёбукё.

«Какая милая! — вздыхает растроганный Дайсё. — А я до сих пор не удосужился отыскать ее! Ведь сколько раз я говорил, что с радостью возьму на свое попечение женщину самого низкого состояния, если только она окажется связанной с умершей? Так могу ли я не принять участия в этой особе, которая так похожа на нее? Более того, она родная дочь Восьмого принца, пусть даже и не признанная им...» Несказанная радость пронзает его сердце. «Вот бы подойти к ней сейчас и приободрить, сказать: «Значит, вы все-таки живы?» Право же, заморский государь, пославший даоса на гору Хорай\*, вряд ли ощутил удовлетворение, получив одни шпильки. Мне повезло куда больше, я обрел хоть и не утраченную возлюбленную, но по крайней мере надежду на утешение». Да, кто знает, может, их судьбы и в самом деле связаны?

Поговорив с девушкой, монахиня уходит к себе. Уловив аромат, столь взволновавший дам, она скорее всего догадалась, что Дайсё где-то рядом и подглядывает за ними, поэтому никаких откровенных разговоров с гостьей не затевала.

Когда начинает смеркаться, Дайсё тоже потихоньку отходит от перегородки, надевает сброшенную ранее одежду и, вызвав монахиню к входу в ее покои, то есть к тому месту, где они обычно встречаются, принимается ее расспрашивать.

— Мне удивительно повезло, — говорит он, обменявшись с ней обычными приветствиями. — А как насчет моей просьбы? Удалось ли вам ее выполнить?

— После нашего разговора я все выискивала приличный случай, а тут год сменился новым, и на Вторую луну, когда девушка заезжала сюда по пути в Хацусэ, мне удалось встретиться с ней. Я намекнула ее матери на ваше желание, но она, как видно, полагает, что ее дочь недостойна подобной чести, что она неизбежно проиграет при сравнении. Как раз тогда мне сообщили, что у вас много других забот, и я постеснялась тревожить вас, потому и не дала вам знать о ее приезде. Но в начале этой луны девушка снова выехала в Хацусэ и теперь как раз возвращается. Она всегда останавливается здесь на ночлег и старается сблизиться со мной, наверное, хочет побольше узнать об отце. На этот раз она приехала одна, матери что-то помешало сопровождать ее, вот я и подумала, а стоит ли сообщать ей о вашем присутствии?

— Мне не хочется показываться этим провинциалам, я ведь приехал сюда тайно, в самой простой одежде. Я велел слугам молчать, но кто знает?.. Слишком уж они болтливы... Не знаю, как и быть... То, что она приехала одна, меня скорее радует. Передайте же ей, что в этой встрече я вижу знак связанности наших судеб!

— Слишком уж неожиданно! Когда это вы успели связать с ней свою судьбу? — улыбается монахиня. — Впрочем, извольте, я передам.

И она выходит.

— Эта милая пташка  
Так же красива, может, и голос  
Не менее звонок?  
В чащу глухую забраться готов,  
Только бы это узнать, —

сказал Дайсё, ни к кому не обращаясь, но монахиня услышала и передала его слова девушке.





---

## БЕСЕДКА

### Основные персонажи

**Дайсё** (Каору), 26 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Госпожа Тюдзё, госпожа Хитати** — тайная возлюбленная Восьмого принца, мать Укифунэ

**Дочь госпожи Тюдзё** (Укифунэ), 21 год — побочная дочь Восьмого принца

**Правитель Хитати** — отчим Укифунэ, супруг госпожи Тюдзё

**Сакон-но сёсё, Сёсё** — поклонник Укифунэ

**Нака-но кими**, 26 лет — дочь Восьмого принца, супруга принца Хёбукё (Ниоу)

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 27 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Вторая принцесса** — дочь императора Киндзё, супруга Каору

**Третья принцесса** — дочь императора Судзаку, мать Каору

**Государь** (Киндзё) — сын императора Судзаку, преемник императора Рэйдзэй

КАК НИ СТРЕМИЛСЯ Дайсё к вершине горы Цукуба, люди наверняка осудили бы его даже за попытку приблизиться к ее «заросшему лесом густым» подножию (465), поэтому, опасаясь недоброй молвы, не сообразной с его высоким званием, он даже писем ей писать не решался. Монахиня Бэн неоднократно намекала госпоже Тюдзё на желание Дайсё, но та, не веря в основательность его намерений, только дивилась: «Неужели он так увлечен ею?» Зная, сколь высоко его положение в мире, она не позволяла себе думать о союзе с ним и лишь вздыхала украдкой: «Вот если бы и мы...»

У правителя Хитати было несколько детей от первого брака, а от госпожи Тюдзё — дочь, которую называли в доме «барышней» и соответственно воспитывали, и пять или шесть сыновей-погодков, к тому времени еще не достигших



совершенного возраста. Поглощенный заботами о собственных детях, правитель подчас забывал о падчерице, за что супруга беспрестанно пеняла ему. Сама же она только и помышляла о том, как бы обеспечить старшей дочери достойное положение в мире. Вряд ли она так беспокоилась бы о ее будущем, если бы девушка обладала вполне заурядной наружностью и не нуждалась бы в особом обращении. Но, считаясь такой же дочерью правителя Хитати, как и ее сводные сестры, она выделялась среди них и красотой, и дарованиями, и разве не жаль было, что ей приходится расти в столь недостойном окружении? Потому-то госпожа Тюдзэ и принимала ее участь так близко к сердцу.

Все знали, что у правителя Хитати много дочерей, поэтому в дом часто приносили письма от юношей, принадлежавших к сравнительно знатным семействам. Две или три дочери от первого брака были уже так или иначе пристроены и жили самостоятельно. «Теперь можно подумать и о моей старшей дочери», — решила госпожа Тюдзэ и сосредоточила на девушке все свои попечения. Правитель Хитати был человеком не столь уж низкого происхождения. Он принадлежал к знатному роду, среди его родственников не было жалких бедняков, к тому же он обладал значительным имением, поэтому держался надменно, как и положено при его звании. Жил он на широкую ногу, и дом его блистал роскошным убранством, но, к сожалению, стремление к изысканности соединялось в нем с удивительной грубостью и провинциальностью. Еще в молодые годы он принужден был схоронить себя в восточных провинциях и провел там много лет, возможно поэтому голос его огрубел, и речь стала по-провинциальному косноязычной. Стыдясь этого, он старался не приближаться к знатым вельможам и всегда вел себя с предельной осмотрительностью. Он не имел решительно никакого представления о игре на кото или флейте, зато был на диво искусен в стрельбе из лука. В его более чем заурядном доме служило немало красивых и знатных молодых дам, привлеченных возможностью жить в довольстве. Они рядились в пышные платья, слагали посредственные стихи, рассказывали друг другу старинные повести, бодрствовали в ночи Обезьяны\* — словом, с неумеренным жаром предавались всевозможным утехам.

У старшей дочери госпожи Тюдзэ было немало воздыхателей, предполагавших в ней исключительные дарования и редкую красоту. Одним из них был Сакон-но сёсё, двадцатидвух- или двадцатитрехлетний юноша, обладавший спокойным нравом и разнообразными талантами, благодаря которым ему удалось заслужить добрую славу в мире. Потому ли, что он был недостаточно богат для того, чтобы занять блестящее положение, или по какой другой причине, но только, порвав сношения со всеми другими домами, он сосредоточил внимание на старшей дочери госпожи Тюдзэ. Мать девушки, выделяя Сёсё среди остальных поклонников, выказывала несомненное одобрение его искательству. «Вряд ли удастся найти для нее лучшего супруга, — думала она. — Господин Сёсё слывет в мире человеком степенным, основательным. Правда, новичком в любовных делах его не назовешь, но он благороден, и на него вполне можно положиться. Да и разве обратит на нее внимание человек более значительный?»

Она стала передавать дочери письма Сёсё и следила за тем, чтобы та отвечала ему во всех случаях, когда того требовали приличия. Никого не

посвящая в свои замыслы, госпожа Тюдзё полагала этот союз делом решенным. «Пусть в этом доме с моей дочерью обращаются как с чужой, — говорила она себе, — я жизни не пожалею, чтобы устроить ее судьбу. Она так хороша, что, увидев ее, никто не сможет ею пренебречь». Условившись с Сёсё о том, что союз будет заключен в дни Восьмой луны, госпожа Тюдзё занялась необходимыми приготовлениями. Когда заказывали повседневную утварь для дома, или какие-нибудь вещицы для увеселений, она, отобрав для своей дочери самые изысканные, самой тонкой работы изделия из лака или перламутра, прятала их от супруга, вещицы же похуже показывала ему, говоря: «Вот это как раз то, что нам надо». Правитель Хитати, ничего в том не разумея, покупал для своих дочерей все подряд, и скоро покои их оказались битком набиты всякой всячиной, так что ступить было негде. Он пригласил наставника из Музыкальной палаты, дабы тот обучал его дочерей игре на бива и на кото, и стоило им освоить какую-нибудь немудреную мелодию, как правитель начинал восторженно и суетливо благодарить учителя, осыпая его роскошными дарами. Когда же в погожий вечер девушки разучивали что-нибудь быстрое и играли, вторя учителю, умиленный родитель ронял слезы и столь бурно выражал свое восхищение, что присутствующим становилось неловко. Госпожа Тюдзё, которая понимала толк в таких вещах, никогда не разделяла восторгов супруга, чем уязвляла его самолюбие. «Вы всегда пренебрегаете моими дочерьми!» — обижался он.

Между тем Сёсё, сгорая от нетерпения, торопил госпожу Тюдзё.

— Раз мы обо всем договорились, стоит ли тянуть? — настаивал он, не желая дожидаться назначенного дня, но госпожа Тюдзё все медлила. Вправе ли она одна располагать судьбой дочери? Не обманывается ли она в Сёсё? Жестокие сомнения терзали ее душу, и однажды, когда пришел человек, с самого начала приносивший письма от Сёсё, она призвала его к себе.

— Видите ли, у меня слишком много оснований для беспокойства... — сказала она. — Господин Сёсё уже давно оказывает моей дочери внимание, и я не посмела отказать ему, ведь он человек непростой, и все же... К сожалению, у девушки нет отца, и я вынуждена была одна заботиться о ней. Возможно, я что-то упустила в ее воспитании, и ваш господин сочтет ее недостойной... Судьба других дочерей волнует меня меньше, ибо о них есть кому позаботиться. А она... Что ждет ее? Увы, все так изменчиво в этом мире... Господин Сёсё показался мне человеком благоразумным, и я готова была забыть о своих опасениях, но теперь у меня снова возникли сомнения. Вдруг случится так, что его чувства изменятся, и моя несчастная дочь станет предметом бесконечных насмешек и оскорблений?

Вернувшись к Сёсё, посредник передал ему свой разговор с госпожой Тюдзё, и тот даже в лице изменился.

— Мне никто никогда не говорил, что эта девушка не родная дочь правителя Хитати. О, разумеется, это не имеет столь уж большого значения, но вряд ли в мире отнесутся благосклонно к такому союзу. Да и что за удовольствие посещать дом, с хозяином которого ты никак не связан? Неужели вы не могли сначала все выведать, а уж потом...

— Но я и сам ничего об этом не знал; — отвечал смущенный посредник. — Я связался с тем домом через знакомых дам, которые и сообщили супругу правителя Хитати о вашем намерении. Мне сказали, что воспитанию

этой девушки уделяется особое внимание, и у меня не возникло никаких сомнений. Да мне и в голову не пришло расспрашивать, дочь она хозяину дома или падчерица! Я знал, что девушка умна и красива, знал, что мать, возлагая на ее будущее большие надежды, именно на ней сосредоточивает свои попечения... Вы же искали человека, который помог бы вам снестись с этим домом, вот я и предложил свои услуги. У вас нет оснований обвинять меня в неосмотрительности.

Надо сказать, что посредник был человеком весьма раздражительным и болтливым, поэтому оправдывался он довольно долго. Ответ, который дал ему Сёсё, обнаружил отсутствие в нем всякого душевного благородства.

— Войти в такой дом зятем хозяина не столь уж большая честь, — заявил он. — Но в нынешние времена многие идут на это, и вряд ли кто-то осудил бы меня. Уважение и готовность на всякие услуги, оказываемые зятем почетительными родителями, помогают забыть об унижительности подобного союза. Мне-то самому совершенно безразлично, родная она дочь или не родная, но я должен считаться с мнением света. Я не вынесу, если в мире станут говорить, что я не пожалел усилий, лишь бы войти в дом правителя Хитати. А как я буду чувствовать себя рядом с другими зятями? Гэн-сёнагон и правитель Сануки распоряжаются там совсем как дома, а каково будет мне?

Посредник же был по натуре своей человеком угодливым и к тому же неразборчивым в средствах. Чувствуя себя виноватым и перед той, и перед другой стороной, он поспешил исправить положение.

— Что ж, если вы желаете получить в жены родную дочь правителя Хитати, — сказал он, — я готов оказать вам содействие. У госпожи Тюдзё есть еще одна дочь, которую называют в доме барышней. Она любимица отца. Правда, она совсем еще дитя...

— Но не могу же я так сразу бросить одну и начать писать к другой... Хотя, откровенно говоря, мое внимание к этой особе объяснялось исключительно желанием заручиться поддержкой правителя Хитати, о достоинствах которого я наслышан. Наружность же моей будущей супруги не имеет для меня ровно никакого значения. Пожелай я связать себя с девицей из благородного семейства, известной своей красотой и изящными манерами, я давно бы уже имел супругу. Однако на что может надеяться человек, не желающий отказываться от изящных привычек, но слишком бедный, чтобы удовлетворять свое стремление к роскоши? С таким никто и считаться не будет. Право, невозможно вообразить более жалкое существование. Вот потому-то я и захотел устроить жизнь таким образом, чтобы ничто не мешало мне потакать своим прихотям. А люди пусть говорят что хотят. Пожалуй, и в самом деле стоит наметнуть на мое желание правителю Хитати, а там видно будет. Если он даст согласие, почему бы мне...

Посреднику удалось помочь Сёсё войти в сношения с дочерью госпожи Тюдзё благодаря своей младшей сестре, прислуживающей в западных покоях дома правителя Хитати, но самому хозяину он не был представлен. Однако после разговора с Сёсё, он, не долго думая, прошел в его покои и попросил доложить, что явился такой-то и хочет говорить с господином.

— Я знаю, что он бывает у нас в доме, но я его не звал, о чем нам говорить? — довольно грубо ответил правитель.

Но посредник не отступался.

— Я пришел с поручением от господина Сакон-но сёсё, — заявил он, и в конце концов правитель Хитати согласился его принять.

Изображая на лице крайнее смущение, посредник подходит поближе и с видимым усилием, словно преодолевая замешательство, начинает:

— Видите ли, господин Сёсё давно уже переписывается с одной юной особой из вашего дома. Более того, он возымел намерение связать себя с ней брачными узами и даже получил согласие вашей супруги, после чего было условлено, что соответствующая церемония будет проведена еще до конца нынешней луны. Был выбран благоприятный день, и господин Сёсё ожидал его с нетерпением, пока кто-то не сообщил ему, что особа, обратившая на себя его внимание, вовсе не ваша дочь, хотя и является дочерью вашей почтенной супруги. Вы, конечно, понимаете, что, если такой человек, как господин Сёсё, начнет посещать вашу падчерицу, люди не преминут истолковать это в дурную сторону. Многие наверняка станут говорить, что он не гнушается никакими средствами, дабы быть принятым в вашем доме. В нынешние времена многие благородные юноши идут в зятья к провинциальным чиновникам, влекомые надеждой, что в доме тестя о них будут печется едва ли не больше, чем отец печется о любимейшем сыне своем, что их будут беречь как зеницу ока... Однако, в нашем случае на это вряд ли можно рассчитывать. Не удостоившись чести породниться с господином правителем, господин Сёсё попадет в весьма невыгодное по сравнению с другими зятьями положение. К тому же найдется немало людей, готовых его осудить. Потому-то господин Сёсё и колеблется. Он поручил мне переговорить с вами и узнать, не согласитесь ли вы отдать ему одну из ваших малолетних дочерей? Ведь с самого начала им руководило стремление обрести в вашем лице надежную опору. Он не подозревал, что у господина правителя есть падчерица, а потому позволил себе впасть в это досадное заблуждение. И теперь он почел бы за счастье...

— К сожалению, я не знал всех подробностей, — отвечает правитель Хитати. — Я понимаю, что должен относиться к этой девушке, как к родной дочери, но у меня и без нее слишком много детей, которых воспитанием мне, недостойному, не следует пренебрегать. Супруга вечно бранит меня, мол, я не уделяю достаточного внимания ее старшей дочери, а сама позволяет себе пренебрегать моим мнением. Помнится, мне говорили о господине Сёсё, но мог ли я предполагать, что он рассчитывает на мое покровительство? Тем не менее я польщен... У меня действительно есть дочь, чрезвычайно милое существо. Мне она очень дорога, ради нее я и жизни бы не пожалел. Многие обращаются ко мне с предложениями, но я еще не сделал выбора, нынешние молодые люди слишком ненадежны, а мне бы не хотелось видеть ее несчастной. Денно и ночью я думаю и передумываю о том, как бы умнее распорядиться ее будущим. Что до Сёсё, то я знал его еще ребенком, когда в молодые годы служил в доме его отца, покойного Дайсё. Он уже тогда обнаруживал немалые дарования, и я часто мечтал, что когда-нибудь стану прислуживать и ему. Но случилось так, что долгие годы я провел в глухой провинции, и мне казалось не совсем приличным возобновлять прерванные отношения... Подумать только, неужели у него возникло желание породниться со мной? Я почту за честь отдать ему дочь, вот только, боюсь, супруга не простит мне, что я расстроил ее замысел...

«Дело явно идет на лад!» — радуется посредник.

— О, вам нечего беспокоиться, — заверяет он правителя. — Господин Сёсё желает одного — стать вашим зятем. Он знает, что ваша дочь еще слишком мала, но это его не смущает, для него главное, что это ваша родная дочь, к тому же дочь любимая. Он простить себе не может, что, будучи введенным в заблуждение, чуть не вступил в союз с особой, не имеющей к вам никакого отношения. Вы, должно быть, знаете, что господин Сёсё принадлежит к одному из стариннейших столичных семейств и пользуется большим влиянием при дворе. К тому же, он выгодно отличается от других благородных юношей: не обладает ветреным нравом и не кичлив, прекрасно разбирается в делах этого мира, имеет обширные владения... Правда, доходы его пока не особенно велики, но ведь знатное происхождение ценится куда больше, чем богатство каких-нибудь выскочек. В следующем году ему должны присвоить Четвертый ранг, после чего он сразу же станет главой Императорского архива, говорят, сам Государь изволил ему это обещать. Более того, Государь соблаговолил пожурить его, мол, столь достойный во всех отношениях юноша, а до сих пор не выбрал себе супруги, и посоветовал ему поторопиться и обзавестись влиятельной родней: дескать, он лично позаботится о том, чтобы Сёсё не сегодня завтра занял подобающее ему место среди высших сановников. Да что уж там говорить, всем известно, что именно Сёсё пользуется неизменной доверенностью Государя. А уж как он рассудителен, другого такого не найдешь! Словом, вы не прогадаете. Только советую вам не особенно медлить, ибо многие мечтают о том, как бы заполучить его в зятья. Уж вы мне поверьте, я вам дурного не пожелаю.

Посредник красочно расписывает достоинства Сёсё, а грубый и невежественный правитель слушает его, довольно улыбаясь.

— Можете не говорить, велики или нет нынешние доходы господина Сёсё — это меня совершенно не волнует, — заявляет он. — Пока я жив, он ни в чем не будет нуждаться, я его засыплю дарами выше головы. Разумеется, никто не вечен, и настанет время, когда я уже не смогу заботиться о нем, но все свое имение, все владения свои я оставляю младшей дочери, и никто не посмеет оспаривать ее право на наследство. У меня много других детей, но она мне дороже всех. Ежели господин Сёсё будет истинно добр к ней, я сделаю все, что он пожелает, а ведь для меня нет ничего невозможного — понадобится ему купить место министра\* — пожалуйста, ради этого я раздобуду любые сокровища, какие он скажет. Пусть он не беспокоится, при том, что Государь так благоволит к нему, мои усилия вряд ли пропадут втуне. Ах, каким же счастливым может оказаться этот союз и для господина Сёсё, и для моей дорогой дочери!

Он не скрывал радости, и довольный посредник, не говоря ни слова своей младшей сестре и не заходя к госпоже Тюдзё, поспешил к Сёсё, чтобы сообщить ему эту приятную новость. Тот выслушал его с довольной улыбкой, хотя и не преминул подивиться наивности своего будущего тестя, полагающего, что место министра можно купить. «Да, ничего не скажешь, замашки у него действительно довольно провинциальные!»

— Уведомили ли вы о том госпожу Северных покоев? — спрашивает он. — Она так надеялась на меня... Боюсь, что многие будут возмущены моим отступничеством. Да, нечего сказать, в трудное я попал положение.

— По-моему, у вас не должно быть никаких сомнений, — говорит посредник, видя, что Сёсё колеблется. — Я уверен, что госпожа Тюдзё тоже любит младшую дочь больше, чем остальных. За старшую она беспокоится только потому, что та уже достигла зрелого возраста. Именно по этой причине она и решила устроить сначала ее судьбу.

«До сих пор он твердил, что любимицей матери является старшая дочь, а теперь говорит обратное. Чему же я должен верить?» — задумался Сёсё. Однако он привык смотреть на вещи трезво, а потому рассудил, что важнее всего обеспечить себе прочное положение в мире, ради чего можно пережить и гнев обманутой матери, и насмешки окружающих. И в тот самый день, который был назначен для заключения его союза со старшей дочерью госпожи Тюдзё, он начал посещать младшую.

Тем временем госпожа Тюдзё, далекая от всяких подозрений, готовилась к предстоящей церемонии, наряжала дам, обновляла убранство покоев. Дочери она вымыла голову и надела на нее роскошное платье. В последние дни ее мучили сомнения, ей казалось, что девушка достойна лучшего супруга, чем Сёсё. «Ах, бедняжка! — вздыхала она. — Когда бы отец соблаговолил признать ее, и она выросла под его покровительством, ничто не мешало бы нам принять предложение Дайсё, хотя и тогда оно было бы для нас великой честью. Но, увы, только одна я знаю, чья она дочь, для остальных она всего лишь падчерица правителя Хитати. Мало кому ведомо истинное положение вещей, да и эти немногие, к несчастью, склонны смотреть на нее свысока. А ведь лет ей уже немало. И если ее добивается человек не столь уж презренного звания, обладающий немалыми достоинствами...»

Итак, после долгих колебаний госпожа Тюдзё наконец решилась. Да и могло ли быть иначе? Если посредник оказался достаточно ловок, чтобы обмануть самого правителя, то уж женщину тем более... Итак, назначенный день приближался, и госпожа Тюдзё хлопотала, спеша закончить последние приготовления. Не в силах усидеть на месте, она то и дело выходила, чтобы лично присмотреть за всем. Тут является правитель Хитати и приступает к долгим и многословным объяснениям:

— Неразумно и недостойно у меня за спиной переманивать поклонника моей любимой дочери. Ваша дочь хоть и благородного происхождения, да что-то никто не выказывает желания ее заполучить. А у презираемой вами дурнушки поклонников хоть отбавляй. О, вы все прекрасно рассчитали, но господин Сёсё рассудил иначе. У него свои соображения, и я не вижу причин ему отказывать.

Правитель Хитати никогда не отличался деликатностью, и умение щадить чувства других людей не входило в число его добродетелей, поэтому он с удовольствием рассказывает супруге все без утайки. Ошеломленная, она застывает на месте, не в силах выговорить ни слова. Память услужливо подсказывает ей все обиды, которые когда-либо довелось ей изведать в этом мире, и рыдания подступают к горлу. Так ничего и не сказав, она выходит.

Пройдя к дочери и увидев ее прелестное, милое лицо, госпожа Тюдзё немного успокаивается. Что ни говори, а лучше ее дочери нет!

— Как жестоки люди! — плача, жалуется она кормилице. — Я всегда полагала своим долгом равно заботиться обо всех зятях, но, откровенно говоря, ради супруга нашей молодой госпожи я и жизни не пожалела бы. Как

можно было, пренебрегши ею единственно потому, что у нее нет отца, направлять свои помышления на ее малолетнюю сестру, даже не достигшую еще зрелого возраста! Это просто неслыханно! Видеть его больше не желаю! Но вы слышали? Господин счел предложение Сёсё за честь для себя. Вправе ли я вмешиваться, когда эти двое так хорошо поняли друг друга? О, как жаль, что я не могу хотя бы на время уехать отсюда!

«Да как смел этот Сёсё так поступить с моей госпожой!» — возмущается кормилица, вслух же говорит:

— Стоит ли плакать? Кто знает, может, это и к лучшему. Чего ждать от человека, способного на такую низость? Он не сумеет даже вполне понять и оценить ее. Я всегда мечтала, что моя госпожа станет супругой человека благородной души и редких дарований. К примеру, такого, как господин Дайсё. Право, от одного взгляда на него продлевается жизнь. А ведь он, кажется, неравнодушен к госпоже. Почему бы нам не уступить ему, а там будь что будет...

— Да как могли вы помыслить... Дайсё никогда не станет связывать себя брачными узами с женщиной простого звания. Он сам не раз об этом говорил, и все это знают. Разве вы не слышали, что и Правый министр, и Адзэти-но дайнагон, и принц Сикибукё неоднократно изъявляли желание породниться с ним, но, всем им ответив отказом, он в конце концов получил в жены любимую дочь Государя. Да и есть ли на свете женщина, способная пробудить в его сердце истинно глубокое чувство? Скорее всего он намеревался отдать нашу госпожу в услужение к своей матери, рассчитывая время от времени встречаться с ней в ее доме. Несомненно, о столь блестящем окружении можно только мечтать, но боюсь, что там ей придется изведать немало душевных мук. К примеру, по мнению многих, очень повезло в жизни супруге принца Хёбукё, но причины для печали есть и у нее. Откровенно говоря, женщина чувствует себя спокойно только в том случае, когда сердце супруга принадлежит ей одной. О, мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. Восьмой принц обладал прекрасной наружностью и чувствительной душой, но я для него была слишком ничтожна. О, если б вы знали, сколько горестей выпало на мою долю! Я хорошо понимаю, сколь груб, невежествен и уродлив мой нынешний супруг, но мне не приходится его ни с кем делить, и именно поэтому я прожила все эти годы без особых волнений. Бесспорно, то, что произошло сегодня, возмутительно, и я не собираюсь его оправдывать. Но, живя с ним, я не ведала мук ревности. Нельзя сказать, чтобы мы никогда не бранились, но я довольно быстро поняла, что согласие меж нами невозможно, и смирилась. Кажется, что может быть лучше, чем попасть в дом важного сановника или принца крови, жить в покоях, сверкающих изысканной роскошью... Но тщетно стремиться к этому, если у тебя нет надежды войти в число избранных. Очень многое в жизни женщины зависит от ее положения в мире, потому-то я и беспокоюсь... Так или иначе, я употребляю все средства, чтобы моей дочери не пришлось влачить жалкое существование, терпеть насмешки и оскорбления.

Тем временем правитель Хитати готовится к приему зятя.

— Я вижу, у тебя тут много миловидных прислужниц, одолжи-ка их мне на сегодня, — просит он, заглянув к супруге. — О, да вы и полог обновили. Не перетаскивать же мне его. Времени осталось совсем немного... Придется просить тебя уступить нам эти покои.

Не долго думая, он переходит в западные покои и принимается суетливо украшать их к предстоящему торжеству. Покои убраны с большим вкусом, но, очевидно, правитель счел их убранство недостаточно роскошным, во всяком случае, он требует, чтобы принесли новые ширмы, и расставляет их повсюду, свободное же пространство загромождает разными шкафчиками да столиками. Он явно доволен собой, а госпожа Тюдзэ смотрит на все эти преобразования с ужасом, но, помня о своем решении ни во что не вмешиваться, не говорит ни слова. Дочь же ее еще раньше перебралась в северные покои.

— Теперь-то я тебя окончательно раскусил, — заявляет правитель Хитати. — Не ожидал, что ты решишь совершенно устранишься. Ведь она тоже твоя дочь. Ну да ладно, некоторые вообще растут без матери...

Сразу же после полудня он вместе с кормилицей начал наряжать и причесывать свою любимицу, и нельзя сказать, чтобы на нее было неприятно смотреть. Девушке недавно исполнилось пятнадцать или шестнадцать лет; она маленькая, пухленькая, пышные волосы ниспадают до самого пола. «Ну просто глаз не оторвешь!» — умиляется отец, приглаживая их.

— Не скрою, сначала я сомневался, вправе ли я переманивать человека, на которого уже имела виды госпожа Северных покоев, но господин Сёсё стоит того. Он и собой хорош, и умен. Все вокруг только и мечтают породниться с ним. Будет обидно, если кто-то опередит нас.

Да, ловкому посреднику удалось-таки провести этого глупца!

А Сёсё, довольный тем, что с такой легкостью добился желаемого, предвкушая выгоды, которые сулил ему этот союз, готов был примириться с любыми несовершенствами будущей супруги и, даже не потрудившись выбрать другой день, начал посещать ее.

Госпожа Тюдзэ и кормилица были вне себя от возмущения. Удастся ли им обеспечить своей воспитаннице достойное положение в доме, которого хозяин столь своенравен? В конце концов госпожа Тюдзэ решилась написать к супруге принца Хёбукё.

«До сих пор я не осмеливалась беспокоить Вас, тем более что у меня не было повода... Но у нас возникли некоторые затруднения, и моей дочери надо на некоторое время переехать куда-нибудь. Вот я и подумала, может, в Вашем доме найдется для нее укромный уголок? О, как я была бы Вам признательна! Увы, ничтожная мать оказалась неспособной оградить свое дитя от горестей. Одна надежда на Вас...»

Она писала это письмо, обливаясь слезами, и ей удалось возбудить жалость в сердце супруги принца. Но решиться было не так-то просто. «Отец ведь не пожелал признать ее, — думала Нака-но кими. — Теперь в живых осталась одна я. Вправе ли я брать на себя такую ответственность? Вместе с тем могу ли я допустить, чтобы дочь моего отца скиталась по миру, претерпевая лишения? Мы все-таки сестры и хотя бы в память об отце не должны чуждаться друг друга». Она поделилась своими сомнениями с госпожой Таю.

— Думаю, что у госпожи Тюдзэ действительно есть причины для беспокойства, — сказала та. — Не пренебрегайте ее просьбой, это жестоко. Многие сестры имеют разных, не равных по своему положению в мире матерей. Это не мешает им относиться друг к другу с участием. По-моему, с этой девушкой обошлись несправедливо.



«В западных покоях нашего дома можно устроиться вполне укомно, и если Ваша дочь пожелает... Боюсь только, что ей там будет не совсем удобно, но ежели это ненадолго...» — ответила Найси-но ками. Госпожа Тюдзэ возрадовалась, и никого о том не оповещая, стала готовиться к отъезду. А девушка, только и помышлявшая о том, как бы поближе познакомиться со старшей сестрой, готова была благодарить Сёсё...

Правитель Хитати старался как мог угодить зятю, но, увы, он не умел даже принять гостя как следует, поэтому во время праздничной церемонии разбросал повсюду свертки грубого восточного шелка и позаботившись о том, чтобы столы ломились от яств, суетился вокруг, настойчиво потчуга гостей. Низшие слуги были несколько смущены столь пышным приемом, а Сёсё радовался, что ожидания его оправдались. «Невозможно было поступить разумнее», — думал он, весьма довольный собой.

Госпоже Тюдзэ не хотелось участвовать в празднестве, но ее отсутствие непременно было бы истолковано дурно, поэтому она осталась и молча наблюдала за происходящим.

Вот хозяин принимается суетливо устраивать гостя и его спутников его на ночлег. Дом его велик, но ведь и людей там немало: Восточный флигель занимает Гэн-сэнагон, в других покоях живут многочисленные сыновья правителя, так что свободного места нет. В конце концов гостя помещают в покоях старшей дочери госпожи Тюдзэ, а ей приходится расположиться на галерее у самого края. Скорее всего именно это и заставило ее мать, возмущенную столь явной несправедливостью, обратиться за помощью к супруге принца Хёбукё. «Если у моей дочери не будет родственников, готовых принять в ней участие, ею наверняка все станут пренебрегать», — подумала она и настояла на том, чтобы девушку приняли в доме сестры, которая ее никогда не признавала.

И вот, дочь госпожи Тюдзэ, сопровождаемая кормилицей и двумя или тремя молодыми дамами, переехала в дом на Второй линии, где ей отвели уединенные северные покои Западного флигеля. Нака-но кими никогда прежде не видела госпожи Тюдзэ, которая большую часть своей жизни провела в далеких провинциях, но они не были чужими друг другу\*, поэтому гостье был оказан теплый прием.

Нельзя было не пожалеть госпожу Тюдзэ, когда она с завистью смотрела на прекрасную супругу принца Хёбукё, ласкавшую прелестного младенца! «Разве я не связана узами крови с ее покойной матерью? — спрашивала она себя. — Только потому, что я была простой прислужницей, Восьмой принц счел меня не достойной внимания, и теперь, как это ни прискорбно, все относятся ко мне с презрением». Нетрудно себе представить, как уязвлено было ее самолюбие необходимостью просить помощи у Нака-но кими.

Госпожа Тюдзэ провела в доме принца Хёбукё два или три дня, следя за тем, чтобы никто не заходил в покои ее дочери, которой якобы было предписано воздержание. За это время она сумела без всяких помех ознакомиться с жизнью дома на Второй линии.

В один из дней приехал принц Хёбукё, и госпожа Тюдзэ, подстрекаемая любопытством, стала подглядывать за ним сквозь щель в ширмах. Красота принца превзошла ее ожидания, он прекрасен, как ветка цветущей вишни...

Перед ним почтительно преклоняют колена придворные Пятого и Четвертого рангов, причем каждый и наружностью, и манерами превосходит ее супруга, которого она привыкла считать своей опорой и с которым не собиралась расставаться, даром что он раздражал ее своей грубостью; служители Домашней управы докладывают о том и о сем. Многих молодых придворных госпожа Тюдзё видит впервые. Как раз в этот миг с посланием от Государя приезжает ее пасынок, Сикибу-но дзо, имеющий к тому же звание курудо, но он не смеет даже приблизиться к принцу.

Госпожа Тюдзё потрясена. «Отроду не видывала подобного красавца! — думает она, жадно разглядывая принца. — Жить рядом с ним — что может быть прекраснее! Я, разумеется, и раньше слышала, как восторженно отзываются в мире о таких, как он, но полагала, что у женщин, связанных с ними, тоже есть основания жаловаться на судьбу! Как я была глупа! Да с таким супругом лишь на Седьмую ночь встречаться\* и то счастье!»

Принц берет на руки младенца и, ласкает его. Затем, отодвигает низкий занавес, за которым сидит Нака-но кими, и заводит с ней разговор. Трудно себе представить более прелестную чету! Вспомнив, как монотонно и уныло текла жизнь в доме Восьмого принца, госпожа Тюдзё невольно вздыхает: «Оба — принцы, но какая меж ними разница!»

Скоро принц Хёбукё удаляется в опочивальню, оставив сына на попечение молодых дам и кормилиц. Многие приходят засвидетельствовать ему свое почтение, но, сказавшись нездоровым, он весь день проводит в опочивальне. Туда же подают и угощение.

Разглядывая изысканное убранство покоев, госпожа Тюдзё, всегда полагавшая: «у меня есть все, чего только пожелать можно!» — впервые осознала, сколь жалкое существование влачат простые люди. «Моя дочь тоже достаточно хороша, чтобы жить в таком доме, рядом с таким человеком, — думала она. — Ее младшим сестрам до нее далеко, даром что их попечительный родитель не жалеет средств, заманивая к себе в зятя высокородных юношей. Не удивлюсь, если он подумывает и о самом Государе! Конечно, они тоже мои дочери, но все же... Нет, мне не следует отступать, ежели я хочу, чтобы она заняла в мире достойное положение». Всю ночь она не смыкала глаз, размышляя о будущем дочери.

Принц поднялся, когда солнце стояло высоко.

— Государыне-супруге снова нездоровится, я должен ее проведать, — говорит он, облачаясь в парадное платье.

Изнемогая от любопытства, госпожа Тюдзё снова принимает к щели: в парадном облачении принц еще прекраснее. Право же, в целом свете не нашлось бы человека, способного не только затмить, но даже и сравниться с ним. Он играет со своим маленьким сыном, явно не желая с ним расставаться. Отведав утреннего риса, принц наконец покидает покои супруги. Его приближенные, пришедшие с утра и до сей поры отдыхавшие в людских, принимаются за приготовления к отъезду. Среди них — довольно миловидный, но никакими особенными достоинствами не отличающийся молодой человек. Он облачен в носи, на поясе у него висит большой меч. Трудно представить себе более заурядную фигуру, а уж рядом с принцем...

— Видите? Это Сёсё, зять правителя Хитати, — говорит кто-то из дам. — Я слышала, что сначала его прочили в мужья особе, которая поселилась

недавно в нашем доме. Но он предпочел родную дочь правителя, рассчитывая, что тот будет его холить и лелеять.

— И получил в жены истинное дитя, причем довольно невзрачное.

— Неужели? Но наши дамы ничего об этом не говорили...

— Это сушая правда, у меня есть достоверные сведения, полученные прямо из дома правителя Хитати.

Они болтают, не подозревая о том, что госпожа Тюдзё все слышит. А та вне себя от досады. Так вот каков этот Сёсё! И ей могло прийти в голову, что он достоин ее любимой дочери! Ничтожество! И в сердце ее не остается ничего, кроме презрения к нему.

Заметив, что ребенок подполз к занавесям и выглядывает из-под них, принц возвращается, чтобы приласкать его на прощание.

— Если Государыне стало лучше, я сразу вернусь, — говорит он. — Если же нет, мне придется остаться во Дворце на ночь. Будь на то моя воля, я бы вообще не расставался с ним. Когда я не вижу его, мною овладевает беспокойство.

Приласкав сына и успокоив его, принц выходит, и госпожа Тюдзё смотрит ему вслед, не имея сил оторвать глаза от его величавой фигуры. Дом без него словно пустеет.

Пройдя в покои Нака-но кими, госпожа Тюдзё принимается на все лады расхваливать принца, та же только улыбается в ответ, находя ее восторги провинциальными.

— Ваша почтенная матушка скончалась сразу же после вашего появления на свет, — обливаясь слезами, говорит госпожа Тюдзё. — Все так беспокоились за вас, и покойный принц тоже... Но судьба оказалась к вам благосклонной, вы сумели не затеряться даже в ужасной горной глуши. Какое горе, что ваша сестрица не дожила.

Нака-но кими тоже не может сдержать слез.

— На долю каждого человека выпадает немало печалей и горестей, — отвечает она, — но проходит время, и душа обретает успокоение. Я рано лишилась тех, кто был мне опорой в жизни, я никогда не видела лица своей матери, но с этим еще можно примириться, тем более что такое нередко случается в мире. Но разлука с любимой сестрой... Этого горя мне никогда не избыть. Как она страдала, видя, что господин Дайсё не желает отказываться от своих намерений! Если б она знала, как глубоко его чувство к ней!

— По-моему, господин Дайсё, удостоившись беспримерной благосклонности Государя, слишком высоко возомнил о себе. Будь ваша сестра жива, у нее была бы опасная соперница. И кто может предугадать...

— Ах, не знаю... Возможно, вы правы. Не исключено, что мы обе в равной степени стали бы предметом для посмеяния... Может быть, и лучше, что она не дожила. Я иногда думаю, что господина Дайсё влекло к ней именно потому, что она всегда держала его в отдалении. Но ведь он и теперь не забывает ее. Кому-то это может показаться просто невероятным. А какое доброе у него сердце! Кто, кроме него, взял бы на себя устройство всех поминальных служб?

— Монахиня Бэн говорила мне, что он выразил желание познакомиться с моей дочерью, надеясь найти в ней замену ушедшей. О, я прекрасно понимаю, что мы не заслуживаем такой чести, но не зря ведь сказано: «Он

один лишь тому причиной...» (45) Как трогательно, что господин Дайсё до сих пор верен памяти вашей сестры!

И госпожа Тюдзё, роняя слезы, признается Нака-но кими, в каком бедственном положении оказалась ее дочь. Не касаясь подробностей — ибо история с Сёсё наверняка известна всему свету — она лишь намекает на испытанное девушкой унижение, после чего говорит:

— Пока я жива, я сумею оградить ее от бед. Так или иначе, мы проживем, утешая и поддерживая друг друга. Но что станет с ней потом, когда меня не станет? Неужели ей придется скитаться по миру, нигде не находя приюта? Эта мысль так тревожит меня, что я даже подумываю, уж не принять ли ей постриг? Тогда я поселила бы ее где-нибудь в горах, вдали от мирских соблазнов...

— Да, все это в самом деле печально! Но вправе ли мы жаловаться? Подвергаться насмешкам, оскорблениям — таков удел всех, оставшихся без опоры в жизни. И все же нелегко порвать связи с миром! Отец тоже хотел, чтобы мы приняли постриг, я и помыслить не могла, что окажусь в столице, в этом великолепном доме. А вашей дочери тем более не стоит рвать связи с миром. Разве вам не жаль надевать на нее монашеское платье?

Могла ли госпожа Тюдзё не радоваться, видя, что Нака-но кими принимает судьбу ее дочери так близко к сердцу?

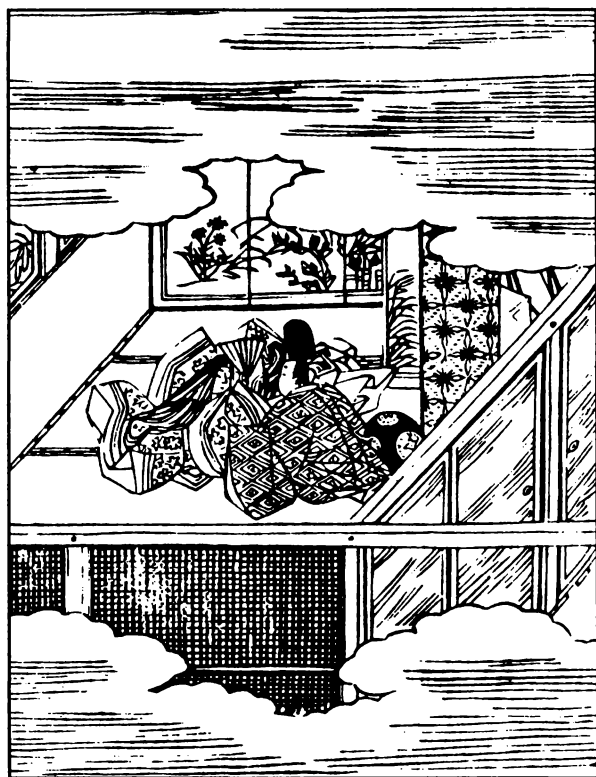
Сама она далеко уже не молода, но все еще миловидна, да и держится с достоинством. Вот только чрезмерно располнела — настоящая «госпожа Хитати».

— Ваш отец слишком жестоко обошелся с моей дочерью, — говорит она. — Когда бы он признал ее, она бы не подвергалась теперь таким унижениям. Горько смотреть на нее! Но ваша благосклонность заставляет меня забыть о прошлом...

И госпожа Тюдзё рассказывает супруге принца о том, что пришлось ей изведать за прошедшие годы, как печально было жить на «острове Уки»\*... (467).

— Да, «уже потому, что сама...» (319) — вздыхает она. — Ах, так бы и сидела вечно рядом с вами, рассказывая о жизни у подножия горы Цукуба, где нет никого, с кем можно было бы поделиться мыслями и чувствами. Но мои несносные дети наверняка уже подняли шум, разыскивая меня... Что там ни говори, а за них тоже нельзя не беспокоиться. Я хорошо понимаю, что, став супругой такого человека, уронила себя в глазах всего света, но, если вы согласитесь взять мою дочь на свое попечение, я ни во что не стану вмешиваться.

Прислушиваясь к ее бесконечным сетованиям, Нака-но кими подумала, что и в самом деле было бы неплохо помочь девушке, тем более что, судя по всему, дочь госпожи Тюдзё была хороша собой и обладала приветливым нравом. Кроткая и добросердечная, она обнаруживала к тому же несомненные дарования. Девушка была застенчива и не показывалась никому, даже прислуживающим госпоже дамам. Голос же ее до странности напоминал голос Ооикими... «А что, если показать ее Дайсё? — внезапно пришло на ум Нака-но кими. — Ведь он сам говорил, что был бы счастлив найти подобие ушедшей». Стоило ей об этом подумать, как послышались крики: «Пожаловал господин Дайсё!»



И вот уже дамы привычно суетятся, расставляя занавесы.

— Нельзя ли и мне взглянуть на господина Дайсё? — спрашивает госпожа Тюдзё. — Все, кому случалось видеть его хотя бы мельком, превозносят его до небес. Но вряд ли он так же хорош, как принц.

— Я бы не стала их сравнивать, — отзывается кто-то из дам. — Не нам судить, кто из них лучше, кто хуже.

— Когда видишь рядом их обоих, — ответила Нака-но кими, — то невольно отдаешь предпочтение господину Дайсё: кажется, что принцу недостает душевной тонкости, да и собой он не так хорош. Но если смотреть на каждого в отдельности, то решить, кто из них прекраснее, совершенно невозможно. Как неприятно, когда красивый человек затмевает всех вокруг.

— И все-таки принц лучше всех, — улыбаясь, возражают дамы. — Разве найдется человек, способный его затмить?

Тут сообщают, что господин Дайсё вышел из кареты, но долгое время слышны лишь громкие крики передовых, а самого Дайсё не видно. Наконец появляется и он. «До принца ему и в самом деле далеко, — жадно вглядывается в гостя госпожа Тюдзё, — его не назовешь красавцем, да и величавости ему, пожалуй, недостает, однако в нем столько изящества и благородства!» И, хотя он, разумеется, не может ее видеть, она смущенно приглаживает волосы на висках. Превосходство Дайсё над окружающими настолько очевидно, что в его присутствии каждый испытывает неволь-

ное замешательство. Судя по множеству передовых, Дайсё прибыл прямо из Дворца.

— Вчера вечером мне сообщили о нездоровье Государыни, — говорит он, — и я поспешил во Дворец, а так как никого из ее детей еще не было, я пожалел ее и счел своим долгом прислуживать ей вместо вашего супруга. Сегодня он наконец приехал, но довольно поздно, осмелюсь предположить, что причиною тому — вы.

— О, я всегда была уверена в вашей удивительной чуткости, — только и отвечает Нака-но кими. Она догадывается, что Дайсё неспроста приехал к ней, зная, что принц надолго задержится во Дворце. Он заводит обычный душевный разговор, не говоря прямо о своих печалях, но давая понять, что ему так и не удалось изгладить в сердце память о прошлом, что ничто в мире не радует его, лишь тоска множится с каждым днем. «Неужели за столько лет он так и не сумел ее забыть? — спрашивает себя Нака-но кими. — Или он просто хочет убедить меня в том, что столь сильное чувство не может исчезнуть бесследно?» Однако искренность Дайсё не вызывает сомнений, и у нее печально сжимается сердце. «Ведь не деревья, не камни — люди...»\* Видя, что он по-прежнему считает себя обиженным, и огорченная его упреками, Нака-но кими, очевидно желая навести его на мысль об «обряде Омовения», способном «исцелить от любви» (181), заводит разговор о «живом подобии». Она намекает, что особа, возбудившая некогда его любопытство, скрывается сейчас в ее доме, и, разумеется, Дайсё не остается равнодушным к этой новости, у него возникает желание сразу же увидеть девушку, но с другой стороны, ему не хочется показывать, что направление его мыслей так быстро изменилось.

— Когда бы это божество и впрямь сумело удовлетворить мои желания, моя признательность не ведала бы границ, — говорит он. — Но если я по-прежнему буду страдать из-за вас, горные потоки так и останутся замутненными...

— Весьма необычные мысли для человека, стремящегося к просветлению, — улыбаясь, отвечает госпожа. «Как тонко сказано!» — восхищается госпожа Тюдзё.

— Что ж, если вы согласны замолвить словечко... Но сознаюсь, ваше явное стремление избавиться от меня слишком живо напоминает о прошлом, и в душе рождаются самые темные предчувствия...

Глаза у него увлажняются слезами, и, стараясь не выдать волнения, Дайсё произносит словно в шутку:

— Когда б удалось  
Отыскать замену ушедшей,  
Ее при себе  
Держал бы, не отпуская...  
Утешенье в часы тоски.

— Замену  
В реку всегда бросают.  
Кто же поверит,  
Что ты ее при себе  
Станешь держать?\*

Говорят ведь, руки «тянутся в разные стороны...» (469). Мне жаль ее... — отвечает госпожа.

— Но ведь «найдется отмель, к которой ее прибьет...» (470) — многозначительно говорит Дайсё. — Я и в самом деле, что та пена на воде (468). Впрочем, наверное, вы правы — замену всегда бросают в реку. Как она может меня утешить?

Пока они беседовали, стемнело, и Нака-но кими, тяготясь присутствием гостя, принимается мягко уговаривать его уйти:

— У нас в доме на некоторое время поселилась одна особа, и ей может показаться странным... Прошу вас, хотя бы сегодня уезжайте пораньше...

— Так, значит, я могу рассчитывать на ваше содействие? — спрашивает Дайсё, поднимаясь. — Объясните вашей гостье, что речь идет не о случайной прихоти, а о давнем, прошедшем испытание временем чувстве. Если же она отнесется к моему предложению благосклонно... Боюсь только, что я слишком неопытен в таких делах и часто веду себя глупо...

Госпожа Тюдзё была в восторге, ибо Дайсё показался ей средоточием всех возможных совершенств. Раньше на все доводы кормилицы у нее был только один ответ: «Это невозможно!» Однако теперь, увидев его собственными глазами, она поняла, что такого Волопаса стоит ждать хоть целый год. «Моя дочь слишком хороша, чтобы отдавать ее простолюдину, только поэтому я и ухватилась за Сёсё! После диких восточных варваров он оказался мне человеком вполне достойным», — досадовала она.

Кипарисовый столб, у которого сидел Дайсё, его сиденье долго еще хранили аромат его тела, столь сладостный, что любые слова бессильны... Даже дамы, которые часто видели его, и те не скупились на похвалы.

— Недаром в сутрах сказано, что аромат, исходящий от тела человека, — знак его избранности. Это одно из высших воздаяний за благие дела, — говорили они. — Помните, что написано в сутре Лотоса об аромате сандалового дерева с горы Бычьего Голова\* — какое страшное имя, не правда ли? Так вот, когда Дайсё проходит мимо, не остается никаких сомнений в истинности слов Будды. Причина скорее всего в том, что с малых лет он был необычайно благочестив.

А какая-то дама сказала:

— Хотела бы я знать, что было с ним в предыдущих рождениях...

Слушая их, госпожа Тюдзё невольно улыбалась.

Нака-но кими, улучив миг, намекнула ей на желание Дайсё.

— Если что-то запало ему в душу, он не отступит, — замечает она между прочим. — Я понимаю, вам трудно решиться, тем более что при его нынешнем положении... Но вы ведь готовы были заставить вашу дочь переменить обличье, так не лучше ли сначала попытаться счастья здесь? Стать монахиней она всегда успеет.

— Я действительно собиралась поселить дочь в горах, «где даже птиц не слышно...» (295). Но мною руководило единственно желание уберечь ее от горестей и оскорблений. Однако, увидев господина Дайсё, я поняла, что в его доме должна быть счастлива последняя служанка. А молодой женщине с чувствительным сердцем тем более невозможно остаться к нему равнодушной. Вот только вправе ли я сеять в душе моей ничтожной дочери семена печали (471, 472)? Так жаль ее становится, когда подумаешь, что все жен-

щины, и высокого, и низкого состояний, раз вступив на эту стезю, обрекают себя на страдания не только в нынешнем мире, но и в грядущем. Однако я подчинюсь вашей воле. Только не оставляйте ее своими заботами.

Слова госпожи Тюдзё повергают Нака-но кими в сильнейшее замешательство.

— Вы, конечно, понимаете, что о верности господина Дайсё я могу судить лишь по прошлому, обещать же что-нибудь на будущее мне трудно, — вздыхает она и больше не говорит ни слова.

На рассвете за госпожой Тюдзё присылают карету. Судя по всему правитель Хитати вне себя от возмущения, во всяком случае, письмо он присылает весьма гневное.

— Мне очень неловко, но я вынуждена во всем положиться на вас, — плача, говорит она Нака-но кими. — Я буду чрезвычайно признательна, если вы разрешите моей дочери остаться здесь еще на некоторое время. А я пока подумаю, что мне с ней делать — поселить ли ее «среди утесов» (109) или... Она, конечно, недостойна вашего внимания, но не оставляйте бедняжку, руководите ею во всем.

Девушку печалила разлука с матерью, она чувствовала себя одиноко в незнакомом месте, но, с другой стороны, могла ли она не радоваться случаю хотя бы недолго пожить в столь великолепном доме?

Когда карету госпожи Тюдзё выводили со двора, было уже совсем светло, и как раз в этот миг из Дворца возвратился принц. Ему так хотелось поскорее увидеть сына, что он уехал без свиты, воспользовавшись самой скромной каретой и, въезжая в ворота, едва не столкнулся с госпожой Тюдзё. Она велела слугам остановиться и подождать, а принц распорядился, чтобы карету подвели к галерее, и вышел.

— Кто это поспешно покидает наш дом в столь ранний час? — недовольно спрашивает он, заметив незнакомую карету, и в голове у него тут же мелькает мысль: «Так возвращаются обычно с тайного свидания». Что за неприятная привычка судить о других по себе!

— Это изволит уезжать благородная госпожа из Хитати, — заявляет кто-то из слуг госпожи Тюдзё, и передовые принца обмениваются улыбками: «Вот уж и в самом деле благородная госпожа...»

Могла ли женщина оставаться равнодушной к этим насмешкам? «Увы, таким, как я, здесь и в самом деле не место...» — вздыхает она. Как ей хотелось иметь приличное звание хотя бы ради дочери! А уж мысль о том, что той придется владеть столь же безотрадное существование, повергала ее в полное отчаяние.

— Оказывается, вас навещает какая-то благородная госпожа из Хитати? — говорит принц, входя в покои Нака-но кими. — Что за таинственная особа, покидающая наш дом на рассвете?

Судя по всему, сомнения так и не оставили его. «Вот несносный!» — сердится госпожа.

— Эта особа когда-то в молодости была приятельницей Таю, — отвечает она. — Не думаю, чтобы она могла заинтересовать вас. Но зачем вы снова говорите так, словно в чем-то меня подозреваете? Ваши намеки приведут к тому, что и прислужницы станут поглядывать на меня с любопытством. Боюсь, что на этот раз молва успеет... (473)



И госпожа сердито отворачивается. Но даже в гневе она кажется принцу прелестной.

Утром принц долго не выходил из опочивальни, словно забыв, «что бывает рассвет» (6), и только когда ему доложили, что в доме собралось множество гостей, перешел в главные покои. Состояние Государыни-супруги и раньше не вызывало опасений, сегодня же здоровье ее совершенно поправилось, поэтому принц провел день в праздности, играя в «го», «закрывание рифм» и другие игры с сыновьями Левого министра.

Вечером он вернулся во флигель, но госпоже как раз мыли голову. Дамы разошлись, и в покоях пусто. Подозвав маленькую девочку-служанку, принц передает госпоже:

— Неужели нельзя было выбрать другой день? Что ж мне теперь — изнывать весь вечер от тоски?

— Обычно госпожа моет голову, когда господина нет дома, — выйдя к нему, объясняет Таю, — но в последнее время у нее все не было настроения, а потом вдруг выяснилось, что, кроме этого дня, до конца луны не будет ни одного благоприятного. А поскольку впереди Девятая и Десятая луны\*... Вот она и попросила меня ей помочь.

Маленький господин уже спал, а оставшиеся в покоях дамы сидели рядом, охраняя его сон. Принц слонялся по дому, не зная, чем заняться, как вдруг заметил в западной части флигеля незнакомую девочку-служанку и принялся подглядывать за ней, решив, что где-то поблизости поместили одну из вновь поступивших на службу дам. Перегородки были чуть раздвинуты посередине и, приблизившись, он увидел, что за ними на расстоянии не более одного саяку стоит ширма. За ширмой, помимо основных занавесей, есть еще и переносной, из-под которого — его полотнище чуть приподнято — выглядывает край рукава. Судя по рукаву, за занавесом сидит какая-то особа, облаченная в яркое нижнее платье цвета «астра-сион», поверх которого наброшено украшенное узорами верхнее платье цвета «девичья краса». Одна створка ширмы сложена, и оттуда ее наверняка можно разглядеть, самому оставшись незамеченным. «Наверное, новенькая, — думает принц, — кажется, недурна собой. Если тихонько раздвинув перегородки, подойти, неслышно ступая, поближе, никто не обратит на меня внимания».

В прелестном внутреннем садике, окруженном со всех сторон галереями, цветут, сплетаясь друг с другом, осенние цветы, по берегам ручьев лежат большие, причудливых очертаний камни. Девушка, сидя у галереи, любит садом. Пошире раздвинув перегородку, принц подходит к ширме и заглядывает за нее. Девушка приподнимается, подумав, что пришел кто-то из дам. У нее и мысли не возникает, что это принц. Она так хороша, что, принц не может справиться с искушением: ухватившись за подол ее платья и задев за собой перегородку, он устраивается в узком проходе за ширмой. Заподозрив неладное, девушка прикрывает лицо веером и робко оглядывается. Окончательно плененный, принц берет ее за руку, сжимающую веер, и спрашивает:

— Кто вы? Я хочу знать ваше имя!

Девушка в замешательстве. Нежданный гость прячется за ширмой, и, не видя его лица, она может лишь гадать, кто он. Уж не тот ли это Дайсё, кото-

рый давно оказывает ей внимание? Одежды незнакомца издают столь сильное благоухание, что подобный вывод напрашивается сам собой... Увы, вряд ли она когда-нибудь бывала в более затруднительном положении.

Тут с противоположной стороны входит кормилица, заметившая, что в покоях ее госпожи кто-то есть и заподозрившая неладное.

— Что здесь происходит? — возмущенно кричит она. — Возмутительная дерзость!

Однако смутить принца не так-то просто. Несмотря на нечаянность встречи, он пускает в ход все свое красноречие и до темноты говорит о том о сем, а потом, заявив:

— Не отпускаю вас до тех пор, пока вы не назовете своего имени, — привычно ложится рядом. Тут только кормилица догадывается, кто гость ее госпожи. Догадавшись же, немеет от страха. Тут начинают зажигать фонари под крышей и доносятся голоса переговаривающихся прислужниц:

— Пора возвращаться к госпоже.

Во всем доме, кроме покоев Нака-но кими, опускают решетки. Покои гости находятся в самой уединенной части флигеля. Здесь нет иной утвари, кроме двух высоких шкафчиков, повсюду стоят ширмы в чехлах, разбросаны какие-то вещи — словом, вид весьма запущенный. Когда б не открытый проход, соединяющий этот укромный уголок с другими помещениями, никому бы и в голову не пришло, что здесь кто-то живет.

Тут слышится стук опускаемой решетки, и в покои входит одна из прислужниц госпожи, дама по прозванию Укон, дочь Таю.

— Как здесь темно! — удивляется она. — Неужели вы еще и светильники не зажигали? Зря я мучилась с этими решетками. Теперь недолго и заблудиться во мраке.

И, к великому неудовольствию принца, она снова поднимает решетки. Тут недовольная происходящим кормилица, будучи особой весьма решительной и грубой, бесцеремонно подзывает Укон:

— Как бы вам лучше объяснить... Словом, нехорошие дела творятся в вашем доме. Просто не знаю, что и делать. Сiju здесь и боюсь двинуться с места.

— А что случилось? — спрашивает Укон. Она медленно продвигается вперед, вытянув перед собой руки, и очень скоро улавливает знакомый аромат и наталкивается на лежащего мужчину. «Так это наш господин изволит шалить», — догадывается она и, рассудив, что сама девушка вряд ли довольна создавшимся положением, говорит:

— Да, хорошего мало! Но вряд ли я смогу помочь... Остается пойти и потихоньку рассказать обо всем госпоже.

Встав, Укон идет к выходу. Прислужницы девушки вне себя от ужаса, принц же не двигается с места. «Какая прелестная особа! — думает он. — Но кто она? В ее чертах есть что-то удивительно благородное, и, судя по тому, как ведет себя Укон, это вовсе не новая прислужница...» Озадаченный всеми этими обстоятельствами, принц и так и этак подступает к девушке, осыпая ее упреками, но видя, что она сидит ни жива ни мертва, хотя внешне ничем не выказывает своего неудовольствия, смягчается и принимается нежно увещевать ее.

Укон же спешит к Нака-но кими.

— Как жаль бедняжку, — сетует она, рассказав о своем открытии. — Нетрудно вообразить, что она должна теперь чувствовать.

— Увы, принц неисправим, — вздыхает госпожа. — Представляю себе, как будет недовольна ее мать, если узнает о его легкомысленном поведении. Она ведь так просила меня...

Но как объяснишь принцу? Он имеет дурную привычку не пропускать ни одной прислужницы, будь она молода и хоть сколько-нибудь хороша собой... «Непонятно только, откуда он узнал?» — недоумевает Нака-но кими. Неприятно пораженная, она не знает, что и сказать.

— Сегодня в доме полно гостей, они изволят музицировать в главном доме, — шепчутся Укон и Сёсё. — Обычно в таких случаях принц возвращается в покои госпожи поздно, потому-то дамы и позволили себе разойтись и теперь спокойно спят. Что же нам делать?

— Видали бы вы кормилицу! Вот уж и впрямь решительная особа! Не отходит от своей госпожи ни на шаг и не спускает с нее глаз. Она готова была вытолкнуть вон незваного гостя.

Тут из Дворца приходит гонец с сообщением, что Государыня с вечера жалуется на боли в груди и снова слегла.

— Весьма нечутко с ее стороны болеть в такое время, — заявляет Укон. — И все же придется побеспокоить принца.

— Теперь-то уж ничего не изменишь, — говорит Сёсё. — Глупо поднимать шум и врываться, пытаюсь помешать...

— Надеюсь, еще не поздно.

«Можно ли настолько забывать о приличиях? — вздыхает госпожа, прислушиваясь к их перешептываниям. — Постепенно все, кто обладает истинно чувствительной душой, станут избегать и меня».

Между тем Укон идет к принцу и передает ему слова гонца, нарочно стараясь преувеличить грозящую Государыне опасность, однако он не двигается с места.

— А кто тебе об этом сказал? — недоверчиво спрашивает он. — Наверное, ты, как обычно, просто проявляешь излишнее усердие.

— Человек, состоящий на службе у самой Государыни, он назвал себя Тайра Сигэцунэ.

Видя, что принц не желает уходить и совершенно не думает о том, какие это может иметь последствия, Укон идет за гонцом и, проведя его в западную часть дома, принимается расспрашивать. Тут приходит человек, ранее передавший им эту новость.

— Принц Накацукаса уже во Дворце, — говорит он. — И Дайбу из Службы Срединных покоев тоже выезжает. По пути сюда я видел, как выводят его карету.

«А вдруг Государыне и в самом деле стало хуже? Ведь и такое бывает», — думает принц и, еще раз излив свои обиды и поклявшись девушке в верности, поспешно выходит, ибо прослыть непочтительным сыном ему все-таки не хочется.

Девушка же, словно очнувшись наконец от страшного сна, вся в холодном поту падает на ложе. Кормилица, плача, обмахивает ее веером.

— Здесь оставаться не годится, слишком многое будет вас стеснять, — говорит она. — Такое начало не предвещает ничего хорошего. Ах, как же все

это неприятно! Какое бы высокое положение ни занимал принц, его нежелание считаться с приличиями будет для вас постоянным источником страданий. Вам в любом случае следует вступить в союз с человеком посторонним, это совершенно очевидно. Я испугалась что пойдут нежелательные толки, и, придав лицу своему свирепое выражение, словно грозный демон, уставилась на господина принца, а он, скорее всего, принял меня за какую-нибудь неотесанную назойливую служанку и больно ущипнул за руку. Ну скажите, может ли столь важная особа позволять себе такое? Я еле удержалась от смеха.

— А в том доме опять все перессорились, — плача жалуется кормилица. — «Ты только о ней одной и заботишься, а моих детей совсем забросила! — бушевал хозяин. — Разве можно оставаться где-то на ночь, когда в доме гость? Это неприлично». Он был слишком груб с вашей матушкой. Даже простые слуги слышали, как он ругался, и жалели ее. А все из-за этого негодного Сёсё. Вы же знаете, они и прежде часто ссорились, но довольно быстро мирились, а тут...

Однако девушка не слушает ее. Мало того, что она испытала такое потрясение, ее еще мучит сознание своей вины перед Нака-но кими. Все чувства ее в смятении, и она лежит ничком, рыдая. Испуганная кормилица принимается утешать госпожу, на этот раз пытаясь представить все в более светлых тонах.

— Стоит ли так кручиниться? — сказала она. — Гораздо печальнее участь тех, у кого нет матери. Вот они-то действительно беспомощны. На первый взгляд может показаться, что девушки, оставшиеся без отца, более достойны сочувствия, но, по-моему, лучше не иметь отца, чем жить с ненавидящей тебя злобной мачехой. Уж мать-то никогда не оставит свое дитя. Не падайте духом! Да и Каннон из Хацусэ не может вас не пожалеть, вы ведь не зря столько раз ездили туда, хоть и не приучены к тяготам пути. Вот и я денно и ночью молюсь о том, чтобы вам улыбнулось, наконец, счастье и чтобы все, кто теперь пренебрегает вами, были поражены, узнав, какая удача выпала вам на долю. О, я не верю, что моей госпоже суждено прожить жизнь, не видя ничего, кроме насмешек и оскорблений...

Между тем принц собирается в дорогу. Потому ли, что отсюда ближе до Дворца, или по какой другой причине, но только он решает выехать через западные ворота, и скоро до девушки доносится его голос, с неповторимым изяществом произносящий прекрасные старинные стихи. Впрочем, вряд ли ей доставляет это удовольствие, скорее напротив... Принцу сопутствуют человек десять придворных, которые ведут под уздцы коней в роскошной сбруе.

Догадываясь, как должна страдать девушка, Нака-но кими, притворившись, будто ей ничего не известно, посылает за ней служанку.

— Заболела Государыня, и принц уехал во Дворец. Сегодня ночью он не вернется. А мне немного нездоровится, очевидно после мытья головы, и я не встаю. Приходите ко мне, ведь и вам, наверное, скучно.

— К сожалению, я сама неважно себя чувствую, а потому позволю себе немного задержаться... — передает девушка через кормилицу.

— Но что с вами? — немедленно осведомляется госпожа.

— О, ничего особенного, просто немного не по себе...

Сёсё и Укон понимающе переглядываются:

— Как все это должно быть неприятно госпоже...

Они явно сочувствуют девушке, и теперь более, чем когда бы то ни было.

«Представляю себе, как она страдает, бедняжка, — думает Нака-но кими. — Дайсё судя по всему равнодушен к ней, но, если он узнает, она может показаться ему пустой, легкомысленной особой и сильно проиграет в его глазах. Человек безрассудный всегда готов придираться к пустякам, верить неосновательным слухам, однако, если произойдет что-нибудь важное, он скорее всего не придаст этому значения. Другое дело Дайсё. Он привык все принимать близко к сердцу, но при этом «таить свои чувства и думы» (474), никому не жалуясь. Так что у меня есть основания за нее беспокоиться. Долгие годы я не подозревала о ее существовании, а теперь не в силах пренебречь ею. Да и как не пожалеть эту милую особу? Право, тягостно жить в нашем мире... Мне тоже довелось изведать немало горестей, но все же мне повезло больше, хотя одно время казалось, что моя судьба будет так же печальна, как и ее. Если бы еще и Дайсё смирился и перестал докучать мне изъявлениями своих чувств, на которые я не могу ответить, мне и вовсе не о чем было бы печалиться...»

Густые волосы Нака-но кими сохли чрезвычайно долго, и продолжительное бодрствование утомило ее. Облаченная в тонкое белое платье, госпожа кажется особенно стройной и изящной.

Девушка в самом деле чувствует себя больной, но кормилица настаивает:

— Вы не должны отказываться, если не хотите, чтобы госпожа заподозрила неладное. Соберитесь с духом и пойдите к ней. Но сначала я все объясню Укон.

Подойдя к перегородке, она говорит:

— Я хотела бы поговорить с Укон. — И та тут же выходит.

— После того неприятного случая моя госпожа не на шутку расхворалась, у нее даже поднялся жар. Подумав, что беседа с вашей госпожой может ее утешить... Она так страдает, бедняжка, хотя, как вы знаете, за ней нет никакой вины. Будь она хоть немного опытнее... Разумеется, все это понятно, но нельзя не пожалеть ее.

И, подняв девушку, кормилица ведет ее в покои Нака-но кими. Несчастная не помнит себя от стыда и страха. В самом деле, что могли подумать дамы? Но от природы кроткая и всегда покорная чужой воле, она позволяет подвести себя к госпоже и садится спиной к светильнику, чтобы та не заметила ее влажных от слез волос. Дамы, почитающие свою госпожу несравненной красавицей, вынуждены признать, что гостья не уступает ей ни в благородстве, ни в миловидности.

«Если принц увлечется ею, можно ждать любых неприятностей, — вздыхают про себя Укон и Сёсё. — А ведь его способна пленить и не такая красавица, ежели она ему в диковинку».

Девушка сидит перед госпожой, не прикрывая лица, и обе дамы имеют возможность разглядеть ее как следует. Нака-но кими ласково беседует с гостьей о том о сем и между прочим говорит:

— Мне хочется, чтобы вы чувствовали себя здесь совсем как дома. Я до сих пор не могу примириться с утратой любимой сестры и неустанно сетую на судьбу... А вы так похожи на нее. Когда я смотрю на вас, сердце стесняется

волнением, и я забываю о своих горестях. Рядом со мной нет ни одного близкого человека, я была бы счастлива, если бы вы полюбили меня так же, как любила когда-то она...

Ее слова приводят девушку в еще большее замешательство, к тому же она все-таки провинциалка, и не сразу находится, что ответить.

— Я стремилась к вам все эти годы, но жила слишком далеко... — говорит она наконец, и ее юный голос звучит так нежно, так мелодично. — Теперь, когда я вижу вас, мне кажется, что все беды мои позади...

Попросив дам принести свитки с картинками, Нака-но кими разглядывает их вдвоем с гостьей, в то время как Укон читает текст. Это занятие так увлекает девушку, что она забывает обо всем на свете и даже смущаться перестает. Ее лицо, озаренное огнем светильника, поражает удивительной правильностью и изяществом черт, кротким и вместе с тем необыкновенно благородным выражением. Прелестные глаза, чистый, нежный лоб... Сходство с Ооикими настолько велико, что Нака-но кими, забыв о картинках, не отрывает от нее взора. Она невольно сравнивает девушку с ушедшей сестрой, и на глазах у нее навертываются слезы.

«Что за прелестное существо! — растроганно думает она. — Но откуда такое сходство? Наверное, она похожа на отца. Дамы, служившие в нашем доме в прежние времена, всегда говорили, что сестра пошла в отца, а я — в мать. Так могу ли я оставаться равнодушной к особе, столь живо напоминающей тех, кого я потеряла?»

В Ооикими бесконечное благородство сочеталось с кротостью и добродушием. Пожалуй, она была даже слишком мягкосердечна. Дочь госпожи Тюдзё во многом уступает ей, к тому же она совсем еще неопытна и робка. Однако, когда она приобретет некоторый лоск и будет более уверена в себе, даже Дайсё не сможет найти в ней никаких недостатков... Так, сама того не замечая, Нака-но кими уже относится к девушке как старшая сестра к младшей.

Проговорив всю ночь напролет, они ложатся только на рассвете. Устроив гостью рядом с собой, госпожа довольно сбивчиво рассказывает ей о покойном отце, о долгих годах, проведенных в Удзи, и о многом, многом другом. А та, всегда мечтавшая о встрече с отцом и так никогда его не увидевшая, слушает ее, печально вздыхая. Дамы, которым известно о вчерашнем происшествии, тоже не спят.

— Интересно, чем же все кончилось? — взволнованно спрашивает Сёсё. — Она так мила... Госпожа ласкова с ней, но надолго ли? Ах, как жаль бедняжку.

— Не думаю, чтобы дело зашло настолько далеко, — отвечает Укон. — Меня вызвала кормилица и долго донимала своими жалобами, но, судя по тому, что она говорила, ничего непоправимого не случилось. Кроме того, я собственными ушами слышала, как принц, собираясь во Дворец, бормотал что-то вроде: «Хоть и часто встречаемся мы...» (475). Впрочем, кто знает, может быть, он нарочно... Вечером, ее лицо, освещенное огнем светильника, было таким спокойным и безмятежным. Она выглядела бы совсем по-другому, если бы ей было что скрывать.

Тем временем, попросив карету, кормилица отправилась в дом правителя Хитати и все рассказала госпоже Тюдзё. Та была в ужасе. «Дамы навер-

няка уже сплетничают всюю. А как отнеслась к этому сама госпожа? От ревности теряют голову даже особы самого высокого звания!» А поскольку она была научена горьким опытом, то, взволновавшись чрезвычайно, бросилась в дом на Второй линии. Принца не было, и, вздохнув с облегчением, она прошла к Нака-но кими.

— Я со спокойной душой доверила вам это неразумное дитя, — говорит она, — а теперь на душе кошки скребут. Да и близкие замучили меня попреками...

— Не такое уж она дитя, — улыбнувшись, отвечает Нака-но кими. — По моему, у вас нет оснований для беспокойства. Право же, ваше недоверие обижает меня.

Ее лицо так невозмутимо и так прекрасно, что госпоже Тюдзё становится стыдно. «Что у нее на уме?» — гадает она, не смея прямо спросить об этом.

— Я так долго мечтала о том, чтобы представить вам дочь. Для нас это большая честь. Да и в свете будут относиться к ней куда благосклоннее, узнав, что она живет в вашем доме. Но теперь слишком многое смущает меня. Наверное, мне не следовало отказываться от своего прежнего намерения. Где-нибудь в горной глуши она могла бы вести действительно чистую жизнь.

Тут госпожа Тюдзё заплакала, и острая жалость к ней пронзила сердце Нака-но кими.

— Но что вас тревожит? — спрашивает она. — Когда б я относилась к ней как к чужой, вы, возможно, и могли бы беспокоиться, но ведь это не так. Да, здесь действительно бывает человек, имеющий весьма дурные наклонности, но прислужницы об этом знают и употребят все усилия, чтобы оградить вашу дочь от его посягательств. Неужели вы могли подумать?..

— О нет, я вовсе не хочу сказать, что вы пренебрегаете моей дочерью! Да и как я могу быть на вас в обиде за то, что ваш отец когда-то не пожелал признать ее? Мне просто казалось, что мы и помимо него связаны достаточно крепкими узами и я могу рассчитывать на вашу поддержку... Так или иначе, на завтра и послезавтра моей дочери предписано строгое воздержание, и будет лучше, если она проведет эти дни в более тихом месте, а потом я снова привезу ее сюда.

И госпожа Тюдзё увезла девушку с собой. Нака-но кими не посмела возражать, хотя ей очень не хотелось расставаться со своей гостьей.

Испуганная столь неожиданным поворотом событий, госпожа Тюдзё покинула дом на Второй линии, почти ни с кем не попрощавшись.

Она давно уже затеяла строительство небольшого дома неподалеку от Третьей линии, который рассчитывала использовать как раз в таких случаях — когда требуется переждать неблагоприятное время. Дом этот производил неплохое впечатление, но строительство его еще не закончилось, да и внутреннее убранство было довольно скромным.

— Сколько же мучений приходится мне претерпевать из-за вас! — сетовала госпожа Тюдзё. — Право же, этот не подвластный желаниям мир вовсе не стоит того, чтобы в нем задерживаться. Сама-то я готова мириться и с низким званием, и с оскорблениями. В конце концов я удалилась бы куда-нибудь и прожила остаток дней в уединении. О, я всегда знала, сколь безжалостны эти родственники, и все-таки ради вас постаралась сблизиться с

ними. Но если произойдет какая-нибудь неприятность, над вами станут смеяться. Это недопустимо! Может быть, этот дом не так хорош, как хотелось бы, но поживите в нем некоторое время, никого не ставя о том в известность. Постепенно все так или иначе уладится, я о вас позабочусь...

Отдав последние распоряжения, госпожа Тюдзё собралась уезжать. Девушка не могла сдержать слез. «Нет мне места в этом мире!», — думала она, совершенно упав духом, и при виде ее никто не остался бы равнодушным! Немудрено вообразить, как тяжело было ее матери! Ей так хотелось обеспечить дочери безбедное существование, а теперь... Разумеется, столь неблагоприятное стечение обстоятельств могло послужить поводом к недоброй молве, сделав имя девушки предметом для посмеяния. Госпоже Тюдзё нельзя было отказать в рассудительности, но она отличалась своевольным и вспыльчивым нравом. В самом деле, ничто не мешало ей спрятать дочь в доме правителя Хитати, но ей было жаль обрекать дочь на жалкое существование, и она предпочла перевезти ее в это уединенное жилище. Теперь мать и дочь, никогда ранее не разлучавшиеся, принуждены были расстаться, и могло ли что-нибудь быть мучительнее этого прощания?

— Будьте осторожны, — сказала госпожа Тюдзё. — В этом пустынном месте жить довольно опасно. В случае чего вызывайте дам и распоряжайтесь ими по своему усмотрению. Я назначила сторожей, но на сердце все равно тревожно. О, если б меня так не бранили в том доме...

И она уехала, обливаясь слезами.

Правитель Хитати, о том лишь помышлявший, как угодить зятю, постоянно осыпал ее упреками.

— Возмутительно! От тебя не дождешься никакой помощи! — негодовал он. Однако госпожа Тюдзё, так и не простившая Сёсё жестокости, с которой он отвернулся от ее любимой дочери — «Все ее беды из-за него!» — не обращала на зятя решительно никакого внимания. Вспоминая, сколь жалким показался он ей в доме принца Хёбукё, она не испытывала к нему ничего, кроме презрения, и, уж конечно, у нее давно пропало желание заботиться о нем. Вместе с тем ее разбирало любопытство: до сих пор она видела Сёсё лишь в парадном облачении; возможно, в домашней обстановке он производит более выгодное впечатление? И вот как-то днем, когда он отдыхал в покоях ее младшей дочери, она прошла туда, и, устроившись за ширмами, стала наблюдать.

Сёсё сидит у порога, любуясь садом. Поверх мягкого белого платья из тонкой парчи на нем великолепный наряд из алого лощенного шелка. «Ну и чем он хуже других? Вроде бы всем хорош!» Рядом с Сёсё — его супруга, с виду совершенное дитя. Госпоже Тюдзё невольно вспоминается Нака-но кими, сидящая рядом с принцем — да, по сравнению с ними эти двое выглядят весьма жалко! Правда, сам Сёсё, непринужденно перебрасывающийся шутками с дамами, производит на нее куда лучшее впечатление, чем тогда, в доме на Второй линии, он не кажется таким грубым и невзрачным. «Может то был какой-то другой Сёсё?» — недоумевает госпожа Тюдзё, но тут он говорит:

— Когда б вы знали, как прекрасны хаги в саду у принца Хёбукё! Любопытно, где они берут семена? На первый взгляд самые обычные кусты, и вместе с тем я отроду не видывал ничего прекраснее, недавно я был там, но



принц как раз изволил уезжать во Дворец, поэтому я не успел сорвать ни одной ветки. О, если бы вы его видели в тот миг, когда он произносил: «Даже о том печалюсь...» (476).

И он пытается сам сочинить стихотворение.

— Ну нет, если вспомнить, как он себя повел, он и человеком-то называться недостоин. А уж рядом с принцем он просто ничто! И что это он там бормочет? — ворчит госпожа Тюдзё. Но поскольку Сёсё все же оказалась не так плох, как ей представлялось, она, желая испытать его, тихонько произносит:

— Кустик хаги,  
Окруженный вервью запрета,  
Неколебим,  
Почему же нижние листья  
Изменили цвет от росы?

Смутившись, Сёсё отвечает:

— О, если бы знал,  
Что рос этот кустик хаги  
На Дворцовой равнине,  
Никому бы тогда не отдал  
Ни росинки своей любви.

Надеюсь, вы сообразовите выслушать меня при случае...

«Значит, ему уже сообщили, кто ее отец», — догадывается госпожа Тюдзё, еще более укрепляясь в намерении употребить все средства, чтобы ее любимая дочь сумела занять в мире положение не менее значительное, чем Нака-но кими. Перед ее мысленным взором невольно возникает фигура Дайсё. «Трудно сказать, кто прекраснее, он или принц. Но принц далек от нее и мыслями, и душой. Подумать только, вторгся в покои моей дочери, словно она простая прислужница. Возмутительно! А Дайсё явно равнодушен к ней, не зря же он о ней расспрашивал. При этом — что самое замечательное — он не проявляет бесцеремонной настойчивости, наоборот, изображает полнейшую невозмутимость... Уж если я так много думаю о нем, то молодой женщине устоять тем более трудно. Какое счастье, что я не отдала ее этому никчемному Сёсё!»

Целыми днями думала госпожа Тюдзё о дочери, перебирая в уме различные возможные устройства ее судьбы. Но, увы, нелегкая это была задача.

«Дайсё человек вялительный, — думала она, — он безупречен во всех отношениях и уже связан с особой высокого происхождения. Чем моя дочь может привлечь его?»

Госпожа Тюдзё знала по опыту, что наружность и душевные качества человека определяются прежде всего его родовитостью. Ее собственная младшая дочь не шла ни в какое сравнение со старшей, а Сёсё, которым так восхищались в доме правителя Хитати, казался полным ничтожеством рядом с принцем Хёбукё. Поэтому трудно было представить себе, чтобы человек, сумевший заполучить в супруги любимую дочь Государя, мог плениться ее дочерью. Да, надеяться было не на что, и госпожа Тюдзё целыми днями сидела, погруженная в тяжкие думы, равнодушная ко всему, что ее окружало.

Между тем девушка изнывала от скуки в своем временном жилище, где даже заросший травой сад невольно располагал к унынию. В доме звучала лишь грубая восточная речь, а перед покоями не было цветов, на которые глядя она могла бы утешиться. Влага однообразные, тоскливые дни посреди всего этого запустения, девушка с невольной нежностью вспоминала Накано кими. Она вспоминала и принца, так испугавшего ее тогда: «Что же он говорил? Что-то необыкновенно трогательное...» Ей казалось, что на ее платье остался аромат, которым были пропитаны его одежды, и, как ни пугали ее мысли о нем, она не могла от них избавиться.

Однажды от госпожи Тюдзё принесли нежное, полное материнской тревоги письмо. Читая его, девушка не могла удержаться от слез. «Она так любит меня, так заботится обо мне, а я...»

«Я понимаю, как скучно Вам должно быть в чужом доме, — писала госпожа Тюдзё, — но прошу Вас, потерпите еще немного».

«О нет, мне вовсе не скучно. Здесь так спокойно... — ответила девушка. —

Несказанная радость  
Овладела бы сердцем моим,  
Если бы вдруг  
Оказалось — этот приют  
За пределами нашего мира...» (477, 478)

Так писала она в душевной простоте своей, и, читая ее письмо, несчастная мать снова роняла слезы и кляла себя за то, что довела любимую дочь до столь бедственного состояния.

Ах, даже если  
За пределами грустного мира,  
Найдешь ты приют,  
Все равно хотелось бы видеть  
Твой грядущий расцвет.

Да, такими вот незначительными и вместе с тем искренними песнями обменялись они.

Господин Дайсё имел обыкновение в исходе осени ездить в Удзи. Он по-прежнему тосковал об ушедшей, не забывая о ней ни во сне, ни наяву, поэтому, как только ему сообщили, что строительство горного храма закончено, сразу же отправился туда.

Довольно времени прошло с тех пор, как он приезжал в Удзи в последний раз, и алые клены поражают его особенной красотой. На месте разрушенного здания стоит новое, светлое и красивое. Дайсё вспоминается скромное, похужее на монашью хижину старое жилище, в памяти всплывает образ покойного принца, и сердце стесняется неутешной печалью, ему даже жаль становится, что все вокруг так изменилось. Раньше дом не имел единого облика: убранное с монашеской строгостью обиталище принца составляло резкую противоположность с женственно-изящными покоями его дочерей. Теперь все принадлежавшие принцу вещи — плетеные ширмы и прочая немудреная утварь — переданы в храм, а для нового дома Дайсё, не остановившись перед затратами, заказал новое, прекрасное убранство, как нельзя лучше отвечающее особенностям местности.

Спустившись в сад, Дайсё долго стоит у камней на берегу ручья.

Светлые струи,  
Как и прежде, бегут по саду...  
Ах, почему  
Не сохранили они для нас  
Милые лица ушедших?

Отирая слезы, он проходит в покои монахини Бэн, и, увидев его, она с трудом сдерживает подступившие к горлу рыдания. Присев у порога, он приподнимает край шторы и беседует с монахиней, сидящей за переносным занавесом.

— Я слышал, что дочь госпожи Тюдзё, — говорит он между прочим, — с недавнего времени находится в доме принца Хёбукё. Навестить ее я не решаюсь, но надеюсь, что вы найдете средство объяснить ей...

— На днях я получила письмо от ее матери. Судя по всему, они переезжают из дома в дом, стараясь избежать дурного направления. Кажется, теперь юная госпожа живет совсем одна в каком-то бедном жилище. Мать обеспокоена этим, она предпочла бы перевезти ее сюда, но это слишком далеко, к тому же не так-то легко путешествовать по горным дорогам...

— Да, эти дороги пугают всех, только я один снова и снова... — отвечает Дайсё, и глаза у него увлажняются слезами. — Какое предопределение прошедшей жизни послужило тому причиной? Невозможно думать об этом без сердечного волнения.

— Но раз вы знаете, где живет теперь эта особа, — добавляет он, — что мешает вам снестись с ней? Может быть, вы согласились бы даже навестить ее?

— Передать ей ваши слова не составит никакого труда, — отвечает монахиня, — но вряд ли я решусь выехать в столицу. Я ведь не бываю теперь даже у своей госпожи.

— Но отчего? Главное, чтобы никто не знал. Взять, ко примеру отшельника с горы Атаго\*, разве он никогда не выезжал в столицу? Ради того, чтобы кому-то помочь, не возбраняется нарушить данный обет.

— Я-то ведь не из тех, кто способен «вести через мир» (479) — смущается монахиня. — И я боюсь кривотолков...

— Но ведь такого случая в другой раз не представится, — с необычным для него упорством настаивает Дайсё. — Послезавтра я пришлю за вами карету. За это время постарайтесь узнать, где она скрывается. О, вам нечего беспокоиться, — улыбается он, — я не позволю себе ничего предосудительного.

Однако монахиня соглашается не сразу. «Неизвестно, что у него на уме», — тревожится она, но, зная, сколь благороден Дайсё и как печется он о своем добром имени, в конце концов уступает.

— Что ж, раз вы настаиваете... Кажется, это недалеко от вашего дома. Но может быть, вы сначала напишете к ней? А то они подумают, что я сама навязываюсь с посредничеством. Мне вовсе не хочется, чтобы меня считали старой лисицей-сводней. Поверьте, в моем положении...

— Письмо написать нетрудно, но боюсь, как бы люди не перетолковали худо. Начнут судачить, что, мол, Дайсё имеет виды на дочь правителя Хи-

тати. Этот грубый мужлан не заслуживает такой чести, — говорит Дайсё, и монахиня сочувственно улыбается в ответ.

Дайсё уехал из Удзи, когда совсем стемнело. Нарвав прекрасных осенних цветов и багряных веток, он привез их в подарок Второй принцессе.

Вряд ли можно было назвать неудачным этот союз, но, к сожалению, Дайсё до сих пор держался в почтительном отдалении от супруги и избегал короткости... Государь, которому не чужды были родительские чувства, часто писал к Третьей принцессе, прося ее не оставлять невестку расположением и лаской, и Дайсё окружил супругу заботами, достойными ее положения. Зная, какое участие принимают в его супруге эти высокие особы, он хорошо понимал, сколько трудностей ожидает его, если он позволит новой страсти завладеть своим сердцем.

В назначенный день, рано утром, Дайсё отправил в Удзи одного из самых преданных слуг и мальчика-пастушка, которого никто не знал в лицо.

— Для охраны выберите кого-нибудь из местных, видом попроще, — распорядился он.

Покорная воле Дайсё, монахиня, тяжело вздыхая, привела себя в порядок и, переодевшись, села в карету. Глядя на окрестные луга и горы, она невольно вспоминала прошлое, и печальны были ее думы. Но вот наконец они добрались до столицы. Домик, где жила девушка, находился в унылом, безлюдном месте, и монахине удалось въехать во двор никем не замеченной. Она поручила проводнику доложить о себе, и к ней вышла молодая дама, некогда сопровождавшая девушку в Хацусэ. С ее помощью монахиня выбралась из кареты и вошла в дом.

Юная госпожа, принужденная влачить безрадостное существование в этом мрачном жилище, обрадовалась гостье, с которой можно было поговорить о прошлом, и, распорядившись, чтобы монахиню немедленно провели к ней... Она всегда питала особенно теплые чувства к этой женщине, некогда прислуживавшей ее отцу.

— Ах, с тех пор как мы встретились, не было дня, чтобы я не думала о вас, — говорит монахиня Бэн. — Но я отрекаюсь от мира и не бываю даже у супруги принца Хёбукё. Когда б не настоячивые просьбы господина Дайсё, я вряд ли решилась бы...

Значит, Дайсё не забыл ее? — И сама девушка, и кормилица были тронуты. Там, в доме на Второй линии, он показался им таким красивым... Но они и представить себе не могли, что он проявит такую настойчивость...

Когда спустилась ночь, кто-то тихонько постучал в ворота.

— К вам приехали из Удзи, — слышится голос.

«Наверное, это от Дайсё», — догадывается монахиня и посылает слугу открыть ворота. Карету подводят прямо к дому. «Как странно!» — думает она, но тут входит телохранитель и заявляет, что его господин хотел бы встретиться с монахиней Бэн. При этом он называет имя одного из управителей владений Дайсё в Удзи, и монахиня подходит к дверям. Сеется мелкий дождь, дует холодный ветер... Вдруг вместе с ним в дом проникает невыразимо сладостное благоухание, и всех охватывает невольный трепет: «Ах, неужели...» Бедное жилище не подготовлено к приему столь знатного гостя, и взволнованные его появлением дамы бестолково суетятся вокруг, вопрошая друг друга: «Что бы это значило?»

— Передайте госпоже, что я хотел бы поговорить с ней, — обращается к ним Дайсё. — В этом уединенном жилище нам никто не помешает, и, может быть, мне удастся наконец высказать хоть малую часть того, что давно уже терзает душу...

«Как же я должна ответить?» — пугается девушка, и, не в силах смотреть на ее растерянное лицо, кормилица решает вмешаться.

— Раз уж господин Дайсё пожаловал, — заявляет она, — можем ли мы отправить его обратно, не предложив ему даже присесть? Надо только потихоньку послать кого-нибудь к госпоже Хитати... Ведь ее дом совсем близко.

— Зачем? Ничего особенного ведь не произошло, — возражает монахиня. — Почему бы молодым людям не поговорить? Что тут дурного? Или вы думаете, что они сразу же вспыхнут друг к другу нежными чувствами? На свете нет человека благоразумнее Дайсё, он никогда не сделает ничего, что могло бы оскорбить вашу госпожу.

Дождь тем временем превратился в ливень, черные тучи затянули небо. Издалека доносятся грубые голоса совершающих вечерний обход сторожей:

— С юго-восточной стороны дома разрушена стена, не спускайте с нее глаз.

— А эту карету, если надо, введите во двор и закройте ворота.

— Что за люди, никакого соображения...

Дайсё прислушивается к этим странным речам со смешанным чувством любопытства и неприязни.

— У переправы Сано «нету даже дома, где б укрыться мог...» (480), — напевает он себе под нос, устраиваясь на весьма провинциальной на вид галерее.

Бурьяном густым  
Заросла беседка, и внутрь  
Никак не проникнуть.  
Тщетно падает с крыши,  
Дождевая капель\*, —

говорит он, отряхиваясь, и можно себе представить, как дивились жалкие жители восточных провинций, когда долетал до них благоуханный ветерок от его рукавов!

В конце концов, рассудив, что отказывать такому гостю неприлично, дамы устраивают для него сиденье в южных передних покоях. Госпожа долго не решается выйти, но в конце концов дамам удается уговорить ее. Дверцу, разделяющую молодых людей, прикрывают, оставив небольшую щель.

— Сидеть за дверью мне еще не приходилось, — сетует Дайсё. — Право, я в обиде на плотника, воздвигнувшего меж нами такую преграду.

И — как только ему удастся? — потихоньку проникает внутрь.

Скорее всего он не стал говорить о живом подобии, а сказал примерно следующее:

— Однажды совершенно случайно я увидел вас сквозь щель в перегородке, и с тех пор не могу забыть. Наверное, это судьба. Сам того не желая, я беспрестанно помышляю о вас...

Девушка не разочаровала его — напротив. Глядя на ее нежные, кроткие черты, он почувствовал себя окончательно плененным.

До рассвета, судя по всему, недалеко, но петухов еще не слышно, зато с Большой дороги, которая проходит где-то поблизости, доносятся сильные голоса, выкрикивающие что-то совершенно непонятное.

«Наверное, в предрассветной мгле торговцы с корзинами на головах похожи на страшных демонов», — думает он, прислушиваясь к крикам. Все здесь непривычно и взору, и слуху, но какое-то своеобразное очарование есть в этом заросшем полынью доме. Слышно, как сторожа открывают ворота и проходят в дом. После того, как затихают их шаги, Дайсё, подозвав слугу, приказывает подать карету к боковой двери, затем, взяв девушку на руки, выносит ее наружу. Дамы не верят своим глазам.

— Ведь сейчас Девятая луна!<sup>1</sup> — испуганно восклицают они. — Как можно? Это недопустимо!

Монахиня Бэн не менее других удивлена подобным поворотом событий, ей жаль юную госпожу, но она считает своим долгом успокоить дам:

— У господина Дайсё скорее всего есть причины так поступать. Не стоит беспокоиться. К тому же, пусть сейчас и Девятая луна, я слышала, что день смены сезона будет только завтра\*.

А случилось все это на Тринадцатый день Девятой луны.

— Пожалуй, я задержусь в столице, — говорит монахиня Дайсё. — Мне нужно навестить супругу принца Хёбукё. Она обидится, если я уеду, не повидавшись с ней.

Однако опасаясь, что она сразу же расскажет обо всем Нака-но кими, Дайсё не отпускает ее.

— У вас еще будет время искупить свою вину перед госпожой, — заявляет он. — А нам не обойтись без провожатого...

— Одна из вас должна поехать с нами, — добавляет он, относясь к прислужницам, и вместе с монахиней в карету садится молодая дама по прозвищу Дзидзю. Кормилица и девочки-служанки, сопровождавшие монахиню в столицу, принуждены были остаться, так и не успев прийти в себя от неожиданности.

«Куда нас везут? Далеко ли? — гадали женщины, оказалось же, что они едут в Удзи. Дайсё заранее позаботился о том, чтобы были подготовлены быки на смену. Когда, миновав долину реки Камо, путники добрались до монастыря Хосёдзи, забрезжил рассвет. Увидев в тусклом утреннем свете лицо Дайсё, Дзидзю замерла от восхищения и, забыв о приличиях, принялась беззастенчиво любоваться им, в то время как ее госпожа лежала в беспамятстве.

— Дорога здесь каменистая, — сказал Дайсё и, взяв девушку на руки, прижал к груди. Узкое длинное полотнище из тонкого шелка, разделявшее карету на две части, не препятствовало солнечным лучам проникать внутрь, и монахиня чувствовала себя весьма неловко. «А ведь когда-то я могла ехать вот так же, сопровождая свою покойную госпожу, — вздыхала она. — Увы, с какими превратностями приходится сталкиваться тем, кто долго живет в этом мире». Она изо всех сил старалась сдерживаться, но в конце концов лицо ее сморщилось, и она заплакала. «Только этого не хватало, — по глупости своей рассердилась Дзидзю. — Присутствие этой особы вообще неуместно в такой день, а если она к тому же еще и плачет... Как же слезливы эти старики!» Впрочем, она ведь не знала всех обстоятельств и судила со стороны...

А Дайсё... Хотя девушка и не обманула его ожиданий, места, по которым они проезжали, пробуждали в душе мучительные воспоминания, и, чем дальше в горы уводила их дорога, тем плотнее становился встававший перед взором туман. Он сидел, глубоко задумавшись, и не сразу заметил, что длинные, многослойные рукава его свесились вниз и, промокнув от речного тумана, приобрели мрачный серый оттенок. Только когда карета, съехав с отлогого склона, стала подниматься вверх, он втянул рукава внутрь.

— Передо мной  
Живое напоминанье  
О милой ушедшей...  
Промокли насквозь рукава  
От утренних рос... —

Забывшись, Дайсё произнес эти слова вслух, и рукава старой монахини тоже сразу же промокли до нитки — хоть выжимай. Нетрудно вообразить, как возмущалась и негодовала Дзидзю! «Такой радостный день, а эта несносная старуха словно задалась целью испортить его».

Услышав сдавленные всхлипывания монахини, Дайсё тоже заплакал украдкой, но, почувствовав себя виноватым перед девушкой — «А каково ей?» — говорит:

— Вы и представить себе не можете, сколько раз приходилось мне ездить по этой дороге. Воспоминания так печальны и так трогательны... Приподнимитесь же и взгляните на горы. Не стоит падать духом.

Он принуждает девушку подняться, и она, изящно прикрыв лицо веером, робко выглядывает из кареты. При поистине поразительном сходстве с Ооикими в ней угадывается слишком мягкий, безвольный характер, внушающий Дайсё известные опасения. Ооикими была нежна, словно дитя, и тем не менее обладала удивительной душевной твердостью... И, кажется, безысходная тоска заполняет даже пустынные просторы небес (342).

Наконец они приезжают в Удзи. «Ах, быть может, душа умершей осталась здесь и теперь глядит на меня? — вздыхает Дайсё. — Но ради кого решился я на подобное, совершенно не свойственное мне безрассудство?» Выйдя из кареты, он из уважения к памяти Ооикими держится от девушки в отдалении. А та, хоть и вздыхала всю дорогу, думая о матери, в конце концов утешилась, замороженная красотой и ласковыми речами Дайсё, и вышла из кареты уже не так робея.

Монахиня Бэн просит, чтобы ее высадили у галереи\* — церемонность, по мнению Дайсё, излишняя: ведь это жилище не предназначено для дочери госпожи Тюдзё.

Как бывает всегда, когда приезжает Дайсё, к дому стекаются жители его окрестных владений. Скоро из покоев монахини приносят угощение для гостей. После диких зарослей, сквозь которые лежал их путь, усадьба, кажется особенно просторной и светлой. Девушка любит дом, выстроенный словно нарочно для того, чтобы в полной мере выявить красоту реки и горных склонов, и мрак, все эти дни царивший в ее душе постепенно рассеивается. Однако ее по-прежнему терзают сомнения. «Как он собирается поступить со мной?» — спрашивает она себя, не в силах унять тревоги.

Между тем Дайсё пишет письма матери и супруге:

«На днях я распорядился, чтобы все недостающие украшения для алтаря Будды были доставлены в храм, а как день сегодня благоприятный, решил наведаться в Удзи, дабы самому убедиться... К сожалению, я не совсем здоров, к тому же вспомнил, что мне предписано воздержание, поэтому задержусь здесь дня на два».

В домашнем платье Дайсё кажется девушке еще красивее, и она с трудом скрывает смущение, когда он входит в ее покои, но что толку прятаться от него теперь? Дамы не пожалели сил, чтобы одеть госпожу понаряднее, но что-то неувлимо провинциальное проглядывает в покрое ее платья, и, любуясь ею, Дайсё невольно вспоминает Ооикими, которая выглядела утонченной даже в старых, мятых одеждах. Главным украшением девушки служат волосы. Густые и блестящие, они сообщают ее облику необыкновенное благородство. «Ничуть не хуже, чем у Второй принцессы, — думает Дайсё. — А ведь я всегда считал, что ни у кого нет волос прекраснее...»

«Но что мне теперь с ней делать? — спрашивает он себя. — Если я открыто перевезу ее на Третью линию, сплетен не избежать. Кроме того, она может затеряться среди многочисленных прислужниц, а это вовсе не входит в мои намерения. Пожалуй, лучше всего на некоторое время оставить ее здесь». Понимая, как одиноко будет девушке в этом горном жилище, Дайсё до позднего вечера ласково беседует с ней. Он рассказывает ей о Восьмом принце, о былых временах, шутит, пытаясь развеселить, но, к его величайшему огорчению, она только робеет и смущается. «Может быть, это и к лучшему, — успокаивает себя Дайсё. — Я сам займусь ее воспитанием. Будь она слишком развязна или по-провинциальному самоуверенна, мне вряд ли удалось бы найти в ней замену ушедшей».

Велев принести китайское кото и кото «со», Дайсё принимается тихонько перебирать струны, с сожалением подумав о том, что в этой области девушка, очевидно, еще более неумела, чем в других. Ему вдруг приходит в голову, что он ни разу не прикасался к этим инструментам с тех пор, как покинул мир Восьмой принц, и неизъяснимая печаль сжимает сердце.

Пока, отдавшись воспоминаниям, он перебирает струны, на небо выплывает луна. «Как изящно и нежно звучало китайское кото в руках принца! — вздыхает Дайсё. — А ведь нельзя сказать, чтобы он владел какими-то особенными приемами».

— Если бы вы выросли в этом доме и знали тех, кто жил здесь когда-то, — говорит он, — вы испытывали бы сейчас куда большее волнение. Даже совершенно посторонние люди вспоминают о Восьмом принце с нежностью и любовью. Но как могло случиться, что все эти годы вы провели в такой глуши?

Девушка сидит, смущенно вертя в руке белый веер. Дайсё виден ее профиль. Сквозь блестящие пряди просвечивает прелестной формы белоснежный лоб, она так похожа на ушедшую, что у Дайсё замирает сердце. «Прежде всего ей следует заняться музыкой, — думает он. — Иначе она вряд ли сумеет соответствовать...»

— Приходилось ли вам когда-нибудь играть на кото? Я уверен, что вы знакомы по крайней мере с японским кото.

— Увы, я не сильна даже в японских песнях, а уж кото... — отвечает девушка.



Судя по всему, она вовсе неглупа, и Дайсё сокрушается, что придется оставить ее в Удзи, куда ему трудно будет ездить часто. Видно, в его сердце уже зародилось нежное чувство к ней...

Отодвинув кото, Дайсё произносит:

— «Звучаньем — как вечером цитра на террасе у князя Чу...»\*

Немудрено вообразить, с каким восхищением внимает ему Дзидзю, выросшая в краю, где только и умеют, что стрелять из лука. Разумеется, ей неизвестны обстоятельства, заставившие Дайсё обратить внимание на цвет веера в руках у ее госпожи, так что восхищается она скорее по невежеству. «Но для чего я произнес эти строки? — клянет себя Дайсё. — Как странно, что именно они вспомнились мне в этот миг!»

Из покоев монахини приносят плоды, не без изящества разложенные на блюдах, усталых багряными ветками и побегам плюща. Луна светит ярко, и Дайсё сразу же замечает, что на подложенной снизу бумаге что-то написано. Он поспешно извлекает ее. А прислужницам, наверное, показалось, что ему не терпится отведать плодов...

«Листья плюща  
Изменили свой цвет  
Осенней порой.  
Но так же светла луна,  
Как в те далекие дни».

Растроганный и смущенный, смотрит Дайсё на эти строки, написанные старомодно, неуверенной рукой.

— Селенье в горах  
Носит прежнее имя,  
Но в спальне  
Лунный свет озаряет  
Совсем другое лицо, —

произносит он, ни к кому не обращаясь. Впрочем, наверняка Дзидзю передала его слова старой монахине...





---

## ЛОДКА НА ВОЛНАХ

### Основные персонажи

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 28 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Девушка, дочь господи Тюдзё** (Укифунэ), 22 года — побочная дочь Восьмого принца

**Нака-но кими**, 27 лет — средняя дочь Восьмого принца, супруга принца Хёбукё

**Дайсё** (Каору), 27 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Дайнайки** (Митисада) — ученый, близкий дому Каору

**Левый министр** (Югири), 53 года — сын Гэндзи и Аои

**Госпожа Тюдзё, госпожа Хитати** — мать Укифунэ

**Вторая принцесса** — дочь императора Киндзё и императрицы Акаси, супруга Каору

ПРИНЦ ХЁБУКЁ не мог забыть той случайной встречи в вечерних сумерках. «Судя по всему, она невысокого ранга, но чувствуется в ней истинная утонченность», — думал он, по легкомыслию своему досадуя, что так и не добился желаемого. Его возмущение по поводу этого, в общем-то ничтожного случая, было столь велико, что он позволил себе высказать свое неудовольствие супруге.

— Такой жестокости я от вас не ожидал, — пенял он ей, а она, смущенная упреками: «Не лучше ли открыться ему?» — подумала, но решиться было не так-то просто... Нака-но кими знала, что девушку спрятал Дайсё, и что его влекло к ней не праздное любопытство, а глубокое чувство, хотя вряд ли можно было надеяться, что он открыто признает ее своей супругой. Расскажи она обо всем принцу, тот наверняка не пропустил бы ее слова мимо ушей. Он привык потворствовать своим прихотям и даже за простой

прислужницей, почему-либо привлечшей его внимание, последовал бы в самое несообразное его званию место, только бы удовлетворить свое любопытство. А поскольку эта особа давно уже владела его помыслами, он тем более не остановился бы ни перед чем. Разумеется, кто-то другой мог рассказать принцу, где она скрывается, и тогда... Как ни жаль ей было обоих, остановить принца вряд ли удастся, а к ней молва будет куда пристрастнее, чем к чужому девушке человеку. Поэтому лучшее, что она может сделать, — остаться в стороне.

Так рассудив, Нака-но кими не стала ничего говорить супругу, хотя страдания его и возбуждали в ней сочувствие. Притворяться и обманывать она не умела, поэтому предпочитала молчать, затаив обиду глубоко в сердце — словом, вела себя так, как повела бы себя на ее месте любая ревнивая супруга.

Дайсё же, перевезя девушку в Удзи, вздохнул с облегчением. Конечно, сердце его стеснялось от жалости, когда он представлял себе, как она томится в ожидании, но человек столь высокого звания не может развезжать повсюду, руководясь лишь собственными желаниями, и ездить в Удзи ему было еще труднее, чем если бы этот путь был под запретом богов (481). «Пройдет время, и все уладится, — успокаивал себя Дайсё. — Я ведь давно мечтал поселить ее в горной усадьбе и, время от времени наезжая туда, находить утешение в ее обществе, возможно, мне удастся даже под каким-нибудь благовидным предлогом провести с ней несколько спокойных, тихих дней. А пока ее местопребывание должно оставаться тайной для всех, тогда и она будет чувствовать себя в безопасности, и мне удастся избежать сплетен. Если же я сразу перевезу ее в столицу, наверняка пойдут пересуды, люди станут спрашивать: “Кто она, откуда?”, поднимется шум, разве к этому я стремился? К тому же супруга принца Хёбукё может подумать, что я решил отложить попечение о старой усадьбе и забыл о прошлых днях, а мне бы этого не хотелось...» Так размышлял он, и на этот раз не теряя рассудительности, очевидно, потому, что по натуре своей был человеком крайне медлительным и уравновешенным. Вместе с тем, подыскав в столице подходящее жилище, начал тайно его перестраивать.

Хотя в те дни у Дайсё почти не оставалось досуга, он по-прежнему полагал своим долгом непрестанно входить во все нужды Нака-но кими. Многим ее дамам такое внимание казалось подозрительным, но сама она, успевшая за последние годы приобрести некоторый житейский опыт, была искренне тронута его преданностью. «Вот пример истинной верности, — думала она. — Память о прошлом до сих пор не изгладилась в его сердце, и чувства не потускнели...»

С годами Дайсё становился все совершеннее, влияние его в мире тоже росло. То и дело получая неоспоримые свидетельства сердечного непостоянства принца, Нака-но кими каждый раз невольно сетовала на судьбу. «Предвидел ли кто-нибудь, что моя жизнь сложится именно таким образом? — спрашивала она себя. — Сестра желала мне иной участи, а я связала себя с человеком, от которого одни огорчения».

Однако встречаться с Дайсё было не просто. Прошлая жизнь осталась далеко позади, и мало кому были известны истинные обстоятельства. Будь Дайсё человеком невысокого звания, его стремление поддерживать столь

давнюю связь вряд ли кого-нибудь удивило бы\*, но при том положении, которое он занимал в мире... Понимая, что столь необычные отношения могут навлечь на нее осуждение молвы, и устав от постоянных подозрений супруга, Нака-но кими старалась держать Дайсё в отдалении, однако его чувства к ней так и не переменились.

Несмотря на то, что ветреный нрав принца доставлял Нака-но кими немало забот, по мере того как рос и хорошел ее маленький сын, привязанность к ней супруга увеличивалась. Полагая, что вряд ли другая женщина может подарить ему столь же прелестное дитя, принц не упускал случая изъяслять Нака-но кими свою благосклонность и имел к ней доверенность, о какой дочь Левого министра и не мечтала. Так что положение Нака-но кими упрочилось и в настоящее время у неё было причин жаловаться.

Однажды в самом начале Первой луны принц на половине госпожи играл с маленьким сыном, ставшим еще на год старше. И вот ближе к полудню в покоях появляется девочка-служанка с письмом, свернутым в довольно толстый свиток, покрытый тонкой зеленой бумагой. Помимо письма она держит в руках ветку сосны с привязанной к ней «бородатой» корзинкой и еще одно письмо, сложенное официальным образом. Ничуть не смущаясь, она сразу же подбегает к госпоже.

— Это еще откуда? — спрашивает принц.

— Это из Удзи прислали госпоже Таю. Гонец не знал, где ее искать, вот я и взяла у него. Все равно ведь госпожа изволит сама читать эти письма, — выпаливает девочка и добавляет:

— Посмотрите, корзинка-то из железа\*, а сверху ее еще покрасили. А уж ветка-то — прямо как настоящая.

Лицо ее светится радостью, и принц, улыбнувшись в ответ, просит:

— Ну раз так, дай-ка и мне полюбоваться...

— А письмо отнеси Таю, — с трудом справившись с замешательством, говорит Нака-но кими.

Приметив, что она покраснела, принц настораживается: «Уж не Дайсё ли прислал это письмо, нарочно придав ему такой вид, будто оно и не от него вовсе? Тем более его принесли якобы из Удзи...» Он берет свиток, и сердце его мучительно сжимается: «А если и в самом деле...»

— Вы будете очень сердиться, если я прочту письмо? — спрашивает он.

— Я всегда полагала, что неприлично читать чужие письма, — отвечает Нака-но кими. — Мало ли что женщины могут писать друг другу.

Ей удается не выдать своего волнения, и принц, заявив: «Что же, посмотрим, что пишут друг другу женщины», — разворачивает письмо. Почерк женский, совсем еще неокрепший.

«Я давно не писала к Вам, а тем временем год подошел к концу. Здесь в горах так уныло, ни на миг не рассеивается дымка над вершинами...» (482, 483)

Сбоку же приписано: «Мне хотелось что-нибудь подарить Вашему сыну. Я понимаю, сколь ничтожны мои дары, и все же...»

Почерк самый заурядный, но принц долго разглядывает письмо, силась догадаться, от кого оно. Затем разворачивает второе — почерк снова женский.

«Как изволит поживать Ваша госпожа в новом году? Надеюсь, что и Вам эти дни принесли немало радостей. Мы живем в прекрасном доме и ни в

чем не нуждаемся, но все-таки наша госпожа достойна лучшего. Если бы она могла иногда приезжать к вам... Право, чем скучать целыми днями в одиночестве... Однако, она так напугана после того случая, что и думать об этом не хочет. Маленькому господину госпожа посылает новогодние молоточки\*. Покажите ему, когда рядом не будет принца».

Письмо весьма длинное и бессвязное, к тому же в нем слишком много слов, от употребления которых в начале года принято воздерживаться. Озадаченный, принц снова и снова перечитывает его.

— Извольте же объяснить мне все. От кого это письмо?

— Мне говорили, что дочь одной дамы, некогда служившей у нас в Удзи, в силу каких-то обстоятельств снова поселилась там...

Однако нетрудно догадаться, что письмо написала не простая дама, а намек на «тот случай» довольно, чтобы мысли принца приняли вполне определенное направление. Молоточки прелестны, их явно делал человек, располагающий неограниченным запасом свободного времени. К ветке сосны прикреплены плоды померанца и листок бумаги с песней следующего содержания:

«Юной сосне  
Совсем еще мало лет,  
И я в этот день  
Ей от души желаю  
Долгую жизнь прожить».

Ничего примечательного в этой песне нет, но принц, догадываясь, что ее написала та, о которой он беспрестанно помышляет в последнее время, долго не может отложить листок.

— Ответьте же, не будьте жестоки, — говорит он наконец. — Но я не понимаю, почему вы хотели скрыть это письмо от меня. Наверное, вы сегодня в дурном расположении духа, и мне лучше уйти.

Когда он вышел, Нака-но кими тихонько говорит Сёсё:

— Жаль, что так получилось. Но почему письмо попало к этой глупой девочке? Неужели никто не заметил?

— Наверное, нет, иначе она вряд ли принесла бы письмо сюда. Эта девочка вечно сует нос куда не следует. Представляю себе, что из нее выйдет. Насколько лучше, когда у девочки тихий, спокойный нрав.

— Ах, не надо, не ругайте ее, — останавливает дам Нака-но кими. — Она ведь совсем еще дитя.

Эта девочка поступила к ней в услужение прошлой зимой, она была весьма миловидна и сразу же стала любимицей принца.

«Все это более чем странно, — думал между тем принц, вернувшись в свои покои. — Я слышал, что Дайсё время от времени наведывается в Удзи и иногда даже остается там ночевать. Но мне всегда казалось, что его влекут в те дикие места воспоминания о той, что столь безраздельно владела его сердцем. А выходит он просто прячет там эту особу!»

Вспомнив о некоем Дайнайки, который, прислуживая ему по части китайской словесности, был вместе с тем довольно тесно связан с домом Дайсё, принц призвал его якобы для того, чтобы подготовить антологии для игры в «закрывание рифм», намеченной на один из ближайших дней. По-

просив сложить отобранные книги в особый шкафчик, принц говорит как бы между прочим:

— Я слышал, что Дайсё и теперь довольно часто бывает в Удзи. Кажется, он построил там великолепный храм. Вот бы взглянуть на него!

— Да, все говорят, что это прекрасное, величественное сооружение. Особенно хвалят молельню для постоянных молений. Что же касается самого господина Дайсё, то с осени он стал ездить туда чаще прежнего. Однажды — по-моему, это было в конце прошлого года — кто-то из слуг тайно сообщил мне, что он прячет там какую-то особу и очень увлечен ею. Во всяком случае, он приказал людям из тамошних владений заботиться о ней и следить, чтобы она не оставалась без охраны. Даже находясь в столице, он принимает живое участие во всем, что ее касается. Еще слуги говорили, что ей повезло, хотя жить в столь унылом месте довольно тоскливо.

Легко можно вообразить, как обрадовался принц.

— А они не говорили, кто эта женщина? — спрашивает он. — Я знаю, что Дайсё навещает какую-то монахиню, которая давно живет в Удзи.

— Монахиня живет в галерее. А эта особа занимает новое здание. У нее в услужении много миловидных дам. Словом, все как полагается...

— Любопытно! Что же это за женщина, и почему Дайсё решил поселить ее в Удзи? Впрочем, всем известно, что он человек со странностями. Я слышал, как Левый министр бранил его — мол, он отдает служению Будде гораздо больше времени, чем подобает сановнику его ранга, да еще и проводит ночи в горных храмах, что производит неблагоприятное впечатление. Я знаю, господин Дайсё действительно стремится к просветлению, но к чему окружать такой тайной свое продвижение по пути Будды? Кто-то говорил, что его влекут в Удзи воспоминания. А оказывается, дело вот в чем. Так кто же из нас больше достоин осуждения? Да, и у человека, который кажется всем воплощением здравого смысла, могут быть свои тайны, не правда ли?

Судя по всему, принц был заинтересован не на шутку.

Этот Дайнайки был зятем одного из самых преданных служителей Домашней управы в доме Дайсё и, разумеется, мог знать то, чего не знали другие.

Теперь принц только и думал о том, как бы выяснить наверняка, та ли это девушка, которую он видел однажды у себя в доме. Он понимал, что она должна быть незаурядна, ибо в противном случае Дайсё вряд ли стал бы заботиться о ней. Но какое отношение имеет она к его супруге? «Неужели Дайсё прячет эту особу с ее ведома?» — подумал принц, уязвленный в самое сердце.

Скоро остались позади состязания по стрельбе из лука, Дворцовый пир, и жизнь потекла размеренно и неторопливо. Правда, приближался день Назначения на должности в провинции, и многие были весьма этим озабочены, но принц Хёбукё думал лишь о том, как бы, дождавшись приличного случая, уехать в Удзи.

Дайнайки же, связывавший с предстоящим назначением кое-какие надежды, употребил все усилия, чтобы завоевать расположение принца, который, со своей стороны, благоволил к нему в те дни более, чем когда-либо.

— Я бы хотел просить вас об одном одолжении, — сказал ему принц однажды. — Речь идет о задании трудновыполнимом, но, может быть, вы постараетесь...

Дайнайки, почтительно склонившись, ждал его распоряжений.

— Видите ли, дело это весьма щекотливое... Короче говоря, у меня есть основания подозревать, что в Удзи живет та самая особа, которую я случайно видел однажды в своем доме, и которая вскоре после этого исчезла неизвестно куда. Возможно, ее увез Дайсё. К сожалению, я не имею средства убедиться в правильности своего предположения, поэтому мне хотелось бы поглядеть на нее через какую-нибудь щель, чтобы понять, она это или нет. Я был бы весьма вам признателен, если бы вы предоставили мне такую возможность. Разумеется, об этом никто не должен знать.

«Задача не из легких», — подумал Дайнайки, но вот что он ответил:

— До Удзи не так уж и далеко, хотя дорога туда опасная. Если выехать из столицы вечером, то к страже Свиньи или Крысы мы будем на месте и успеем вернуться прежде, чем рассветет. Таким образом, никто, кроме ваших телохранителей, ничего не узнает. Да и они не будут знать всего.

— Что же, когда-то мне уже приходилось ездить по этой дороге. Хорошо бы только избежать огласки, чтобы меня потом не упрекали в легкомыслии.

Принц понимал, что ведет себя неблагоприятно, но, зайдя так далеко, уже не мог отступить. Он взял с собой двух или трех самых верных телохранителей, которые еще в прежние времена сопровождали его в Удзи. Кроме них принцу сопутствовали Дайнайки и сын кормилицы, которому недавно присвоили Пятый ранг.

Заранее выяснив через Дайнайки, что Дайсё в ближайшие дни не собирается в Удзи, принц Хёбукё выехал из столицы.

Знакомые места пробудили в сердце томительные воспоминания. Принц почувствовал себя виноватым перед Дайсё, который, с такой неожиданной готовностью согласившись стать его проводником, когда-то впервые привез его в Удзи. Вместе с тем его мучил страх, томили неясные предчувствия. Положение принца было столь высоко, что даже по столице он не мог передвигаться свободно, а уж за ее пределами тем более. Вправе ли он пускаться в столь сомнительное путешествие в этом простом платье, верхом на коне? Однако, будучи по натуре своей человеком пылким, готовым на любые безрассудства, принц ехал все дальше и дальше, и сердце его замирало от нетерпения. «Поскорее бы... — думал он. — Но удастся ли?.. Неужели придется возвратиться, даже не увидев ее?»

До монастыря Хосёдзи он ехал в карете, а оттуда — верхом.

Путники спешили и к вечеру успели добраться до Удзи. Дайнайки предусмотрительно получил все необходимые сведения у одного человека из окружения Дайсё, который часто бывал здесь, а потому, обойдя стороной ту часть дома, где располагались сторожа, направляется к западным покоям, окруженным тростниковой изгородью и, проделав в ней небольшую дыру, тихонько проникает внутрь. Он чувствует себя весьма неуверенно, ибо все-таки и сам здесь впервые. Дом кажется необитаемым, только в южных покоях главного дома брезжит тусклый свет и слышится отчетливый шелест платьев. Вернувшись, Дайнайки докладывает:

— Дамы еще не легли. Лучше пройти отсюда, — и ведет принца к главному дому. Неслышно ступая, тот поднимается на галерею и, обнаружив щель в ставнях, пристраивается к ней. Даже от слабого шороха тростниковых штор у него замирает сердце.

Здание новое и красивое, но обстановка самая простая, везде зияют щели, и никому не приходит в голову заделать хотя бы дыры в ставнях — «Да кто нас увидит здесь?» Полотнища переносных занавесов подняты и переброшены через верхние планки.

В покоях ярко горят светильники, подле них сидят три или четыре дамы и шьют, а весьма миловидная девочка сучит нити. Пожалуй, именно ее он и приметил в тот вечер в доме на Второй линии. Впрочем, может, он ошибается, ведь он видел ее тогда мельком... Но рядом находится молодая дама, которую, кажется, называли Укон, и последние сомнения покидают принца.

Неподалеку сидит и сама госпожа. Опустив голову на руку, она задумчиво смотрит на огонь, и ее лицо, окаймленное струящимися прядями волос, поражает чрезвычайной правильностью и нежностью черт. Она очень похожа на Нака-но кими.

— Если вы туда уедете, то вернетесь не скоро, — говорит Укон, загибая на платье складку. — А вчера приходил гонец и сообщил, что господин Дайсё непременно пожелает к нам в начале луны, после того как минует день Назначения. А что он изволил написать вам? — спрашивает она, но, занятая собственными мыслями, девушка не отвечает.

— Создается впечатление, что вы хотите скрыться нарочно, именно тогда, когда он должен приехать. Это неприлично, — пеняет госпоже Укон, а дама, сидящая напротив, добавляет:

— По крайней мере вам следовало бы сообщить ему о своем отъезде. Разве можно так бездумно исчезать, даже не поставив его в известность?

— А посетив храм, сразу же возвращайтесь обратно. Конечно, место это довольно унылое, зато мы живем, не ведая ни забот, ни волнений. У меня такое чувство, будто здесь мы скорее дома, чем в столице.

— И все же мне кажется, — замечает еще какая-то дама, — что будет гораздо приличнее, да и спокойнее, если вы дождетесь приезда господина. Скоро он перевезет вас в столицу, и вы сможете встречаться с вашей матушкой во всякое время, когда вам будет угодно.

— Кормилица всегда слишком торопится. Уж коли ей придет что в голову... А ведь удача обычно сопутствует тем, кто умеет терпеливо и спокойно ждать. Так бывало всегда, и так будет впредь.

— Но отчего вы не остановили ее? Ах, с пожилыми людьми так трудно ладить...

Словом, все ругают какую-то кормилицу. «А ведь и в самом деле там была какая-то несносная особа!» — вспоминается принцу, и у него возникает чувство, что все это ему снится.

А дамы между тем продолжают откровенничать.

— Если кому и повезло в жизни, так это супруге принца Хёбукё, — говорит Укон. — Как ни влиятелен Левый министр и как ни старается он угодить зятю, все равно его дочери далеко до госпожи со Второй линии, особенно после того, как родился маленький господин. К счастью, рядом с ней нет старых кормилиц, которые вечно во все вмешиваются, и она может жить в свое удовольствие.

— Если чувства господина Дайсё не изменятся, — замечает одна из дам, — наша госпожа займет не менее достойное положение в мире.



— Дурно так говорить! — возмущается девушка. — Можно подумать, что речь идет о ком-то постороннем. Я вас очень прошу не сравнивать меня с госпожой из дома на Второй линии. Подумайте, каково мне будет, если она узнает!

«Но каким образом они связаны между собой? — гадает принц. — Такое сходство не может быть случайным». Правда, его супруга красива той редкой благородной красотой, которая невольно приводит в смущение окружающих, а эта девушка привлекает прежде всего нежностью и трогательным изяществом черт, и все же... К тому же принц так давно помышлял о ней, что, окажись она вовсе не хороша собой, он и тогда бы не отступился. Забыв обо всем на свете, он думает лишь об одном — как бы завладеть ею. «Она, кажется, собирается уезжать. Они еще говорили о матери. Представится ли мне возможность встретиться с ней в другом месте? И как быть теперь?» Все чувства его в смятении, он смотрит на нее, не отрываясь, но тут до слуха его снова доносится голос Укон:

— Ах, как спать хочется... Всю прошлую ночь мы тоже просидели чуть ли не до самого рассвета. Встанем завтра пораньше и дождем. Как бы ни торопилась госпожа Хитати, хорошо, если карета за нами придет к полудню...

Собрав недошитые платья и перекинув их через планку занавеса, она устало откидывается на скамеечку-подлокотник. Девушка отходит подальше от галереи и тоже ложится, а Укон, поднявшись, выходит в северные покои, но спустя некоторое время возвращается и, устроившись у ее ног, по-видимому, сразу же засыпает. Недаром она жаловалось, что ее клонит в сон.

Принц тихонько стучит по решетке, решив, что ничего другого ему не остается.

— Кто там? — проснувшись, спрашивает Укон.

Принц негромко покашлял, и, распознав по голосу благородного человека, Укон: «Уж ни господин ли Дайсё приехал?» — подумав, поднимается и выходит к нему.

— Прежде всего подними решетку, — приказывает принц.

— Вот не ждали в такой необычный час... Ведь уже совсем поздно... — удивляется Укон.

— Наканобу сообщил, что госпожа собирается куда-то ехать, — отвечает принц, голосом стараясь подражать Дайсё, — меня это взволновало, и я поспешил сюда. Добирался с таким трудом! Да открывай же скорее!

Он говорит очень тихо, и, продолжая пребывать в уверенности, что это Дайсё, Укон поднимает решетку.

— Не удивляйся, что я в таком странном виде. По дороге сюда мы попали в беду. Убери-ка светильники.

— Но что с вами?! — восклицает Укон и, совсем растерявшись, отодвигает светильник подальше.

— Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь видел, не буди дам.

С этими словами принц входит за занавеси. Будучи человеком сметливым, он умеет приноравливаться к любым обстоятельствам, а как голос его и в самом деле немного похож на голос Дайсё, у Укон не возникает никаких подозрений. «Что же случилось? — гадает она. — И в какую это беду они попали?» Спрятавшись за занавесом, она украдкой наблюдает за гостем.

Принц изящно сложен, его изысканные одежды благоухают ничуть не хуже, чем у Дайсё. Быстро сбросив платье, он ложится рядом с девушкой так, будто делает это каждый день.

— Но отчего вы не изволите пожаловать в свои покои? — изумляется Укон, но принц не достаивает ее ответом. Накинув на госпожу покрывало, Укон будит спящих рядом дам и велит им лечь где-нибудь подальше. Спутники Дайсё обыкновенно размещаются в другой части дома, поэтому никто не замечает разницы.

— Как трогательно, что господин приехал, несмотря на поздний час, — перешептываются самые бойкие из дам. — Неужели госпожа не оценит?

— Тише, замолчите, — шикает на них Укон, укладываясь. — Это ночное перешептывание невыносимо.

Обнаружив, что рядом с ней совсем не Дайсё, госпожа едва не лишается чувств от стыда и страха. Но принц не дает ей и слова вымолвить. Он не желает считаться с приличиями даже там, где это совершенно необходимо, а уж здесь...

Когда б девушка с самого начала знала, что перед ней не Дайсё, она, возможно, и сумела бы найти выход из положения... Ей казалось, будто все это ей снится. Только когда принц стал осыпать ее упреками — мол, она поступила с ним тогда слишком жестоко — и рассказывать о своих страданиях, она догадалась, кто он. Это открытие увеличило ее замешательство, она чувствовала себя виноватой перед Нака-но кими и горько плакала, ибо ничего другого ей просто не оставалось. Плакал и принц, понимая, как трудно будет ему встречаться с ней.

Ночь между тем приближается к концу. Кто-то из спутников принца начинает многозначительно покашливать: дескать, пора уезжать. Услыхав эти покашливания, Укон проходит в покои госпожи.

У принца нет никакого желания уезжать: его новая возлюбленная так прелестна, что глаз не оторвешь, да и неизвестно, когда снова удастся выбраться в Удзи. «Нет, сегодня я останусь здесь, — решает он, — и пусть в столице шумят и разыскивают меня повсюду. Ведь все — «пока живу в этом мире...» (120).

Ему кажется, что, уехать сейчас в столицу для него и в самом деле смерти подобно. Поэтому, подозвав к себе Укон, принц говорит:

— Я понимаю, что мое поведение представляется тебе безрассудным, но я не могу уехать сегодня. Постарайся же спрятать моих спутников где-нибудь поблизости. А Токикате передай, чтобы ехал в столицу, придумав какое-нибудь убедительное объяснение для моего отсутствия. Пусть скажет, что я уединился для молитв в горной обители или еще что-нибудь в этом роде.

Немудрено вообразить, в какой ужас повергли Укон слова принца! В том, что произошло ночью, была виновата прежде всего она сама. Совершенно подавленная тяжестью этой мысли, она долго стояла в недоумении и лишь с большим трудом сумела взять себя в руки. Исправить положение было уже невозможно, не стоило и пытаться. Да она и не посмела бы идти наперекор желаниям принца. Судьбы не избежать, видно, так уж было предопределено, чтобы после той мимолетной встречи сердце принца с неодолимой силой устремилось к ее госпоже. И некого в том винить...

— Госпожа Хитати прислала сказать, что приедет сегодня за дочерью. Как вы предполагаете поступить? — спрашивает Укон. — Я понимаю, что бессмысленно жаловаться на судьбу, но, к сожалению, вы выбрали самый неподходящий день. Может быть, вы согласились бы уехать и вернуться в более благоприятное время?

«Весьма здравомыслящая особа», — подумал принц, а вслух говорит:

— Все эти дни я беспрестанно помышлял о твоей госпоже. Чувства мои в смятении, а что до людского суда... Поверь, такой человек, как я, вряд ли решился бы на столь сомнительное путешествие, если бы хоть сколько-нибудь заботился о приличиях. Ответь госпоже Хитати, что на сегодня ее дочери предписано воздержание или что-нибудь вроде того. Будет лучше, если мое пребывание здесь останется тайной для всех. Ни о чем другом и не проси.

Увы, принц настолько потерял голову, что не желал и думать о возможных последствиях.

Укон ничего не оставалось, как выйти к ожидавшему за занавесями спутнику принца и передать ему все, что ей было сказано.

— Не попытаетесь ли вы сами убедить вашего господина, что ему не следует оставаться здесь? — добавила она. — Он на редкость безрассуден, но многое ведь зависело и от вас. Как вы решились привезти его сюда? А что, если бы к господину по дороге пристал кто-нибудь из местных жителей? Народ здесь живет грубый.

«А ведь и самом деле, мы могли попасть в беду», — подумал Дайнайки.

— Кого из вас зовут Токиката? Господин велел... — И она передала ему поручение принца.

— О, я так страшусь вашего гнева, что готов без всяких распоряжений со всех ног бежать в столицу, — улыбнулся тот. — Но, говоря откровенно, мы жизни бы не пожалели, чтобы помочь своему господину. Ведь сразу видно, что это не случайная прихоть. Ну да ладно... Кажется, и сторожа уже проснулись.

И он поспешно уехал, оставив Укон в полном замешательстве. Сохранить в тайне присутствие принца было действительно нелегко. Многие дамы уже встали, и она сказала им:

— Господин по некоторым причинам не хочет сегодня никому показываться. Какая-то неприятность произошла с ним по пути сюда. Он послал гонца в столицу, чтобы ночью тайно привезли для него новое платье.

— Ах, какая беда! — заволновались дамы. — Недаром говорят, что гора Кохата — опасное место для путников.

— А ведь он приехал почти без свиты. Вот ужас-то!

— Тише, тише! — испуганно остановила их Укон. — Если услышат слуги, неприятностей не избежать.

«А вдруг приедет гонец от Дайсё, что мы ему скажем?» — И она в отчаянии воззвала о помощи к бодхисаттве Каннон из Хацусэ: «О Милосердная, огради нас от всяких несчастий!»

В тот день за девушкой должна была приехать госпожа Хитати, чтобы отправиться вместе с ней в Исияма. Дамы положенное время постились и уже прошли через обряд очищения. Поэтому, узнав о том, что обстоятельства изменились, не скрывали своего недовольствия:

— Так значит, мы сегодня никуда не поедем?

— Как обидно!

Солнце стояло довольно высоко, и решетки были подняты. В покоях госпожи прислуживала одна Укон. Опустив занавеси, отделявшие внутреннюю часть дома от внешней, она прикрепila к ним табличку, на которой было начертано: «Удаление от скверны». Судя по всему, она испугалась, что госпожа Хитати придет сама, и хотела представить дело так, будто ей приснился дурной сон.

Утром Укон приносит воду для умывания. Ничего необычного в этом нет, но, принц, пораженный тем, что госпоже придется самой прислуживать ему, предлагает:

— Умывайтесь сначала вы.

Привыкшая к изысканной учтивости Дайсё, девушка с изумлением смотрит на своего нового поклонника, который пылает такой страстью, что, кажется, не вынесет и мига разлуки. «Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят о неодолимом сердечном влечении, — приходит ей в голову. — Но сколь прихотлива моя судьба! Если по миру пойдут слухи, что обо мне станут думать?» Разумеется, в первую очередь ее волновало — что станет думать Нака-но кими.

Принц до сих пор не знает, кто она.

— Неприятно докучать вам расспросами, — сказал он, — но, может быть, вы все-таки откроете мне свою тайну? Даже если окажется, что вы самого низкого происхождения, вы все равно будете милы моему сердцу.

Но девушка упорно молчит. Впрочем, на другие вопросы она отвечает охотно, обнаруживая живой ум и умиляя принца своей податливостью.

Когда солнце поднялось совсем высоко, за девушкой приехала свита: две кареты в сопровождении семи или восьми всадников, как обычно весьма отталкивающей наружности, и множество простых слуг. Громко переговариваясь на каком-то непонятном наречии, они входят в дом, но дамы, застыдившись, просят их подождать снаружи. «Что же делать? — теряется Укон. — Сказать, что пожаловал господин Дайсё? Но ведь столь важные особы всегда на виду, всем известно, где они изволят находиться, в столице или нет. Вряд ли таким образом удастся кого-то обмануть». В конце концов, никому ничего не объясняя, она пишет супруге правителя Хитати письмо следующего содержания:

«Как это ни прискорбно, с позавчерашней ночи госпожа изволит пребывать в скверне. К тому же вчера ей приснился дурной сон, поэтому сегодня она принуждена соблюдать строгое воздержание. Все это досадно и наводит на мысль о вмешательстве злых духов...»

Велев накормить людей, она отправляет их обратно в столицу. Монахи-не же сообщает, что госпоже предписано удаление от скверны, и она никуда не поедет.

До сих пор дни казались девушке бесконечными, она томилась от тоски, имея перед взором лишь окутанные дымкой горы, но сегодня вечер спустился слишком быстро: мысли ее целиком заняты принцем, который в унынии глядит на быстро темнеющее небо. Весь этот тихий весенний день он провел в праздности и «все не мог наглядеться» (484) на свою новую возлюбленную, такую нежную, прелестную, поистине безупречную. На самом-

то деле ей далеко даже до Нака-но кими, не говоря уже о дочери Левого министра, которой красота как раз сейчас в полном расцвете. Но принц настолько потерял голову, что девушка кажется ему верхом совершенства. Она же, всегда полагавшая, что на свете нет человека красивее Дайсё, совершенно очарована принцем, своей яркой прелестью затмившим в ее глазах даже Дайсё.

Придвинув к себе тушечницу, принц задумчиво водит кистью по бумаге. То напишет несколько слов, то что-нибудь нарисует — и то и другое с отменным изяществом. И разве столь юная особа может устоять перед ним?

— Я буду стремиться к вам всей душой, когда же меня не будет рядом, смотрите вот на эту картинку, — говорит он и рисует лежащих рядом прекрасных мужчину и женщину.

— О, если б и мы могли вот так всегда быть вместе... — вздыхает он, роняя слезы. —

Обетом готов  
Я себя связать на века,  
Печалит одно —  
Неведомо, что принесет нам  
Даже завтрашний день.

Ах нет, нельзя так думать. Это не к добру. Я не волен в своих действиях. Вы даже не представляете себе, сколько препятствий я должен буду преодолеть, чтобы снова приехать сюда. Когда я думаю об этом, мне хочется умереть. Для чего мы встретились? В тот раз вы были так неприступны... Наверное, я не должен был разыскивать вас.

Она же, взяв смоченную им кисть, пишет:

«Не стоит вздыхать,  
На чью-то неверность сетуя,  
Ведь, если подумать,  
Нет ничего в этом мире  
Непостоянней, чем жизнь».

«Она, кажется, готова заранее упрекать меня за будущие измены!» — думает принц, с умилением на нее глядя.

— Но на чью же неверность вам пришлось сетовать? — улыбнувшись, спрашивает он, затем пытается вывести, когда Дайсё перевез ее в Удзи, но, увы, тщетно.

— К чему задавать вопросы, на которые я не могу ответить? — по-детски сердится девушка.

Принц понимает, что раньше или позже это выяснится само собой, и все равно настаивает. Неприятно, правда?

Токиката вернулся к вечеру, и его приняла Укон.

— Как раз при мне пришел гонец от Государыни-супруги, — сообщает он. — И сама она, и Левый министр недовольны поведением принца, полагая, что его безрассудные похождения добром не кончатся. К тому же она боится, что слух об этом дойдет до Государя. Я же сказал, что принц поехал к одному отшельнику, живущему в Восточных горах.

— Как же греховны женщины по природе своей! — сетует он. — Из-за них даже мы, простые слуги, потеряв почву под ногами, принуждены лгать, изворачиваться.

— Просто замечательно, что вы присвоили нашей госпоже звание отшельника! За это вам простятся многие грехи. Но, в самом деле, откуда у вашего господина такие странные привычки? Знай я заранее о его приезде, я наверняка бы что-нибудь придумала, хотя и это было бы нелегко. А так... Удивительное легкомыслие!

Укон поспешила передать принцу слова Токикаты, и он, представив себе, сколь велико возмущение его близких, говорит:

— Вы и вообразить не можете, как тяжело живет человеку, имеющему столь высокое звание! Ах, почему я не могу хотя бы на время стать простым придворным? Что же мне теперь делать? Вряд ли нам удастся сохранить все в тайне. А что скажет Дайсё? Мы всегда были так близки... Разумеется, при нашем родстве это естественно, но поверьте, у меня никогда не было более близкого друга. Я умру от стыда, если он проникнет в мою тайну. К тому же, как водится в мире, он станет во всем винить вас, забыв, что именно ему вы обязаны своим одиночеством. О, если бы я мог увести вас в какое-нибудь укромное жилище, о котором не знал бы никто...

Так или иначе, принцу нельзя было оставаться в Удзи еще на один день. Но душа его, «видно, спряталась в ее рукаве...» (310).

— Скорее, близится утро... — торопят принца, но он все медлит. Вдвоем подходят они к боковой двери.

— Никогда до сих пор  
Мне так блуждать не случалось.  
Слезы прежде меня  
В путь пустились, и из-за них  
Я совсем не вижу дороги.

Тяжело вздохнув, девушка отвечает:

— Мои рукава  
Узки и преградой не станут  
Потоку слез.  
Как могу удержать тебя  
В этом бедном жилище?..

В тот день дул пронзительный ветер, а земля была скована инеем. Даже платья — «твое и мое» (485) — казались холодными. Когда принц садился на коня, им овладела такая тоска, что он едва не повернул назад, но спутники его, понимая: «теперь не до шуток!» — торопили да поторавливали его, и в конце концов, он уехал, не помня себя от отчаяния. Двое придворных Пятого ранга вели его коня под уздцы и, только после того как самый крутой перевал остался позади, смогли сесть на коней сами. Даже цокот копыт по скованному льдом берегу реки располагал к безотчетной тоске. «Что за странная судьба связывает меня с этим горным жилищем?» — спрашивал себя принц, устремляясь думами к тем давним дням, когда вот так же приходилось ему пробираться по опасным горным тропам.

Возвратившись на Вторую линию, принц прошел в свою опочивальню, надеясь, что там никто не помешает ему отдохнуть. К тому же он был сердит на Нака-но кими, полагая, что именно она спрятала от него девушку из Удзи. Но, увы, сон не шел к нему, мысли, одна другой тягостнее, теснились в голове, и в конце концов, не вынеся одиночества, он все-таки перебрался во флигель.

Ни о чем не подозревающая госпожа сегодня особенно красива. «Да, все же подобные красавицы редко встречаются в нашем мире», — восхищается принц, невольно сравнивая ее с той, которая совсем недавно казалась ему совершенством. Однако прежде всего ему бросаются в глаза черты несомненного сходства между женщинами, и невыразимая печаль сжимает его сердце. Тяжело вздыхая, принц проходит за полог и ложится.

— Мне нездоровится, — говорит он последовавшей за ним госпоже, — и какие-то темные предчувствия рождаются в душе. Моя любовь к вам бесконечна, вы же наверняка забудете обо мне, как только меня не станет. Терпение Дайсё будет вознаграждено, я в этом уверен.

«Какие ужасные вещи он говорит!» — вздыхает Нака-но кими.

— Мне неприятно это слышать, — отвечает она. — Подумайте, что будет, если ваши речи дойдут до слуха господина Дайсё? Он может вообразить, будто вы говорите с моих слов, а мне бы этого очень не хотелось. У меня и без того хватает печалей в жизни, а вы еще терзаете меня пустыми подозрениями. — И она поворачивается к принцу спиной.

— А вы уверены, что вас не за что упрекнуть? — испытующе взглянув на супругу, спрашивает он. — Вспомните, разве я когда-нибудь пренебрегал вами? Наоборот, мне часто пеняют за то, что я уделяю вам слишком большое внимание. А вот я для вас, кажется, всегда остаюсь на втором месте. Конечно, это можно объяснить предопределением, но мне неприятно, что у вас есть от меня тайны.

«И все же мне удалось ее разыскать, — думает он и глаза его увлажняются. — А значит наши судьбы тесно связаны».

Принц явно расстроен ни на шутку, и госпоже становится его жаль. «Ему что-то рассказали, но что?..» — гадает она, не зная, как лучше ответить. «Нас с принцем связал случай, и возможно, у него с самого начала были основания подозревать меня в легкомыслии. Мне не следовало допускать, чтобы роль посредника брал на себя посторонний для нашего семейства человек, и с такой готовностью принимать его услуги. Так, это было моей ошибкой, и принц вправе презирать меня».

Она лежит, задумавшись, столь трогательная в своей печали, что вряд ли кто-нибудь может остаться к ней равнодушным. Решив пока ничего не говорить госпоже о девушке из Удзи, принц делает вид, будто обижен по другой причине, и, поверив, что он действительно сердится на нее из-за Дайсё, Нака-но кими приходит к заключению, что кто-то оклеветал ее. Ей неловко, она предпочла бы не встречаться с принцем, пока все так или иначе не разъяснится.

Тут приходит гонец с письмом от Государыни-супруги, и, обеспокоенный, принц все с тем же мрачным видом переходит в свои покои.

«Государь был весьма встревожен твоим исчезновением, — пишет Государыня. — Если можешь, приходи сегодня. Я так давно не видела тебя...»

Принцу не хочется никого волновать, но на сей раз ему в самом деле нездоровится, а потому он предпочитает остаться дома. Многие важные сановники приезжают засвидетельствовать ему свое почтение, но он ни к кому не выходит. Вечером является Дайсё, и принц принимает его в своих покоях.

— Мне сообщили, что вы нездоровы, — говорит Дайсё. — Государыня тоже обеспокоена... Что же с вами случилось?

Принц едва может отвечать, настолько велико его смятение.

«Дайсё выдает себя за отшельника, — думает он, — но что за странный способ достичь просветления! Увез в Удзи прелестную особу и заставляет ее томиться в одиночестве».

Принца всегда возмущало стремление Дайсё при каждом удобном случае представляться человеком благоразумным и благонравным, и он радовался любой возможности уличить друга. Нетрудно вообразить, что он мог сказать ему теперь, проникнув в его тайну! Но, увы, сегодня принц слишком удручен, и ему не до шуток.

— Как некстати! — сетует Дайсё. — Вы должны беречь себя. Самое на первый взгляд незначительное недомогание может стать опасным, если затянется надолго.

Сказав все, что полагается в таких случаях, он уходит.

«Рядом с ним каждый покажется ничтожеством, — вздыхает принц. — Хотел бы я знать, что она думает, сравнивая нас?» Так, достаточно любого повода, чтобы мысли его устремились к девушке, он и на миг не может забыть о ней.

А в Удзи тянулись унылые, однообразные дни. Поездка в Исияма была отложена, и дамы изнывали от скуки. От принца то и дело приносили длинные, полные неподдельной страсти письма. Понимая, что даже писать к девушке и то небезопасно, он распорядился, чтобы Токиката лично посылал в Удзи слуг, которым неведомы никакие подробности.

— Когда-то я была хорошо знакома с этим человеком, — объясняла Укон подругам. — И надо же такому случиться, что он оказался одним из телохранителей господина Дайсё! Найдя меня здесь, он стал писать ко мне нежные письма, желая, как видно, возобновить наши отношения...

Увы, в последнее время ей приходилось слишком часто лгать.

Скоро и эта луна подошла к концу. Принц места себе не находил от беспокойства, но выбраться в Удзи ему не удавалось. «Если так пойдет и дальше, я просто умру от тоски», — в отчаянии думал он.

Тем временем Дайсё, едва наступило более спокойное время, как всегда тайком, отправился в Удзи. Заехав по дороге в храм и поклонившись Будде, он вознаграждал монахов за чтение сутр и только вечером двинулся дальше. Вряд ли стоит упоминать о том, что и на этот раз он постарался обойтись без огласки, однако вопреки обыкновению не стал переодеваться в простое платье, а приехал в носии, как нельзя лучше оттенявшем его поразительную красоту.

Девушка в отчаянии. «Как я покажусь ему на глаза?» — ужасается она, и, ощущая на себе взыскующий взор небес, сгорает от стыда и страха. Тем не менее перед ней то и дело встает образ пылающего от страсти принца, и сердце стесняется от тоски: «Увижу ли я его снова?» Принц сказал, что



ради нее готов забыть всех женщин, с которыми связан, и судя по слухам, после своего возвращения из Удзи, действительно под предлогом болезни прекратил обычным образом сообщаться и с той, и с другой, поэтому многие обеспокоены его состоянием и повсюду служат молебны. Не станет ли ему хуже, если он узнает, что Дайсё...

Между тем Дайсё сегодня выглядит необычно: никогда прежде он не казался ей таким изящным и не проявлял такой заботливости. Нежная почтительность звучит в его голосе, когда, не вдаваясь в подробности, объясняет он девушке причины своего долгого отсутствия. Он не повторяет все время: «о, как я тосковал, как скучал...», лишь изящно намекает на то, сколь тяжела долгая разлука для любящего сердца... Причем, его намеки трогают куда больше, чем самые многословные излияния. Пожалуй, он во всем превосходит принца — не говоря уже об утонченности манер, он еще и надежен, его можно сделать своей опорой на долгие годы. «А если господин Дайсё узнает о том, что мои мысли приняли столь неожиданное направление? — думает девушка. — Какие ужасные испытания ждут меня тогда... Мне не следовало так легко поддаваться искушению. Я не должна была с таким трепетом сердечным слушать уверения этого человека, совершенно потерявшего голову. Если господин Дайсё почувствует себя уязвленным и оставит меня, какой томительной тоской наполнятся мои дни...»

«За это время она словно повзрослела и проникла в душу вещей, — думает Дайсё, на нее глядя. — Впрочем, это неудивительно. Когда живешь в столь уединенном жилище, времени для размышлений остается более чем достаточно». Чувствуя себя виноватым, он беседует с ней сегодня особенно ласково.

— Строительство дома, о котором я вам уже говорил, в общем закончено. Я был там на днях. Он тоже расположен у реки, но не такой суровой. Вы сможете любоваться красивыми цветами. Да и до Третьей линии оттуда совсем недалеко. Когда вы будете жить там, нам не придется расставаться надолго. Если удастся, я перевезу вас нынешней весной.

«А ведь и тот, другой, во вчерашнем письме писал, что подготовил для меня укромное убежище, — вспоминается девушке. — Вряд ли ему известны намерения господина Дайсё». Сердце ее стесняется от жалости к принцу, но она тут же запрещает себе думать о нем: «О нет, я не должна поддаваться...» Однако его пленительный образ неотступно стоит перед взором. «Что за несчастная судьба выпала мне на долю!» — вздыхает она и не может сдерживать слез.

— Но что это? — пеняет ей Дайсё. — Раньше вы всегда радовали меня своим спокойным мягким нравом... Может быть, кто-то пытался опорочить меня в ваших глазах? Но подумайте сами, разве стал бы я ездить по этой опасной дороге, будь я равнодушен к вам? При моем звании это не так просто...

Скоро над горными вершинами появляется совсем еще молодой месяц. Устроившись у порога, Дайсё любуется небом. Оба печальны: мужчина уносится мыслями в прошлое, женщина с тревогой глядится в будущее.

Горы подернуты дымкой, вдали на холодной речной отмели виднеются стройные силуэты цапель. За ними — мост Удзи, по реке вверх и вниз снуют груженные хворостом лодки. Словом, здесь собрано все, что только может

быть примечательного в горной местности. Глядя на этот пейзаж, Дайсё каждый раз словно переносится в прошлое. Ночь так прекрасна, что, оказись в этот миг рядом с ним любая другая женщина, его сердце все равно стеснилось бы от волнения, а ведь девушка так похожа на ту, которую он до сих пор не может забыть... К тому же, судя по всему, она не обманула его ожиданий: постепенно проникая в душу вещей, и привыкая к столичной жизни, становится все более утонченной и прекрасной... Девушка же не в силах избавиться от обуревающих ее печальных мыслей, по ее щекам нескончаемым потоком текут слезы. Не зная, как ее утешить, Дайсё говорит:

— Долог и прочен  
Наш союз, как этот мост Удзи,  
Длинный и прочный.  
Ты можешь идти вперед,  
Отбросив сомненья и страхи..

Скоро вы сами поймете...

— Зияют провалы —  
По мосту Удзи идти  
Слишком опасно.  
Разве можно поверить  
В надежность его? —

отвечает девушка.

Никогда еще Дайсё не было так тяжело уезжать, и он: «Не провести ли в Удзи еще несколько дней?» — подумал, но, опасаясь неизбежных пересудов, отказался от этой мысли. В конце концов ждать оставалось недолго, ведь как только удастся устроить ее где-нибудь поблизости...

Он выехал на рассвете. Неизъяснимая тоска сжимала его сердце. «Как повзрослела она за это время», — вздыхая, думал он, и долго еще стоял перед ним ее образ.

Примерно на Десятый день Второй луны во Дворце состоялось поэтическое собрание, на котором присутствовали и принц Хёбукё, и Дайсё. Звучали соответствующие времени года мелодии, а принц вызвал всеобщее восхищение прекрасным исполнением «Ветки сливы». Его превосходство над окружающими было очевидно, и когда б не предавался он с такой пылкостью сомнительным страстям...

Внезапно пошел снег, подул ветер. Вынужденные прекратить музицирование, придворные перебрались в покои принца Хёбукё, где для них было приготовлено изысканное угощение.

Дайсё, намереваясь перекинуться с кем-нибудь словом, выходит на галерею. Выпавший снег призрачно мерцает в звездном сиянии, а платье Дайсё источает столь сладостное благоухание, что невольно приходят на ум старинные строки: «Быть темной напрасно ты тщишься...» (284).

— «Неужели опять... Всю ночь до рассвета?» (393) — тихонько произносит он, и такого очарования исполнен его облик, что даже эти знакомые всем слова в его устах приобретают особую глубину и значительность.

«Но почему из всех песен?..» — вздрагивает принц. Он притворяется спящим, однако сердце его тревожно бьется. «Судя по всему, и Дайсё свя-

зывает с ней отнюдь не мимолетная прихоть, — терзается он. — Мне казалось, будто лишь я все время думаю о том, как спит она, постелив “одно лишь платье на ложе” (393). А получается, что и Дайсё тоже... Как это трогательно и как печально! Но отчего я решил, что ради меня она оставит своего прежнего возлюбленного, тем более такого, как Дайсё?»

Утром тропинки в саду оказались заваленными снегом, и придворные собираются в высочайших покоях, дабы в присутствии Государя прочесть сложенные вчера стихи. Принц Хёбукё выделяется среди прочих своей светлой, достигшей полного расцвета красотой. Дайсё кажется более зрелым, да и держится более уверенно, возможно потому, что он двумя-тремя годами старше\*. Его вполне можно считать образцом благородного мужа, так он прекрасен. Недаром все одобряют выбор Государя. Сведущий во всех науках, радеющий о пользе государства, Дайсё поистине не имеет себе равных.

Закончив читать стихи, гости расходятся. Лучшим признано стихотворение принца Хёбукё, и многие с восторгом повторяют его вслух. Однако сам принц равнодушен к похвалам. «Каким беззаботным надобно быть, чтобы сочинять подобные пустяки...» — невольно приходит ему в голову. Мысли его витают где-то далеко.

Поведение Дайсё возбудило в сердце принца безотчетную тревогу, и ценой невероятных усилий он все-таки выбрался в Удзи. В столице снега почти не осталось, лишь отдельные снежинки не торопятся таять, словно «новых друзей поджидая...» (283), но горные дороги были по-прежнему завалены снегом. Узкая тропа, по которой они пробирались, оказалась настолько крутой, что спутники принца едва не плакали от страха и усталости.

Проводник принца, Дайнайки, одновременно имел звание Сикибу-но сё. И то и другое звание обеспечивали ему высокое положение в мире, однако в высоко подвернутых шароварах и он утратил всю свою важность и выглядел довольно забавно.

Принц заранее известил обитательницу горного жилища о своем приезде, но дамы не стали ничего готовить, уверенные, что в такой снег... Однако поздно ночью девочка-служанка вызвала Укон и сообщила ей, что пожаловал принц. Девушка была поражена и одновременно растрогана.

Укон же, истерзанная мучительными сомнениями: «Что станет с госпожой?» — в ту ночь скорее всего забыла о всякой осторожности. Отказать принцу она не смела, и потому решила посвятить в эту тайну одну из молодых прислужниц, которая не меньше ее самой была предана госпоже и к тому же обладала добрым, чувствительным сердцем.

— Я понимаю, сколь двусмысленно наше положение, — сказала она, — но, увы, нам ничего не остается, как действовать в полном согласии и постараться предотвратить огласку.

Вдвоем они вводят принца в покои госпожи. Его промокшие одежды столь сильно благоухают, что дамы испугались, как бы у остальных не возникло подозрений, но им удается представить дело так, будто приехал Дайсё, и никто ни о чем не догадывается. Уезжать задолго до рассвета — что может быть обиднее? — но оставаться в доме до утра опасно, поэтому принц поручил Токикате присмотреть какой-нибудь домик на противоположном берегу реки. Отправившись туда заранее, Токиката распорядился, чтобы подготовили все необходимое и, вернувшись поздно ночью, докладывает:

— Все готово.

«Что же происходит?» — пугается Укон, она ничего не понимает спросонок и только дрожит, словно неразумное дитя, заигравшееся в снегу. Но не успевает она опомниться, как принц подхватывает госпожу на руки и выходит. Оставшись присматривать за домом, Укон отправляет с госпожой Дзидзю.

Сев в лодку, одну из тех, на которые девушка смотрит целыми днями, думая: «Что за ненадежное пристанище», они плывут к другому берегу, и сердце стесняется от неизъяснимой тоски, словно впереди лежит далекий, неведомый путь. Испуганная, девушка прижимается к принцу, и он смотрит на нее с умилением. В предрассветном небе сияет луна, озаряя чистую водную гладь.

— А вот и Померанцевый остров, — объявляет лодочник и ненадолго останавливает лодку. Остров кажется большим утесом, покрытым вечно-зелеными деревьями с развесистыми, причудливыми кронами.

— Взгляните, — восклицает принц, — ведь это всего лишь деревья, но как ярка их зелень, ей не страшны и тысячелетия...

Могу ли нарушить  
Клятву, данную здесь?  
Померанцевый остров  
Вечно зелен, а я навечно  
Свое сердце тебе отдаю.

«Какое странное путешествие!» — думает девушка и отвечает:

— Даже если навеки  
Таким же зеленым останется  
Померанцевый остров,  
Неведом путь этой лодки,  
Качающейся на волнах, —

отвечает она.

Но принц думает только о том, как прекрасен этот миг, и как прелестна его возлюбленная.

Пристав к берегу, они выходят из лодки. Не желая, чтобы госпожи касались чужие руки, принц сам выносит ее и, поддерживаемый спутниками, входит в дом. «Кто же эта женщина, из-за которой столько шуму?» — возмущаются те, кому случилось оказаться поблизости.

Дом, куда привел принца Токиката, был довольно невзрачным, временным строением, земля же, на которой он стоял, принадлежала его дяде, правителю Инаба. В покоях не доставало многих предметов обстановки, грубые плетеные ширмы, каких принц никогда и не видывал прежде, мешали ветру свободно гулять повсюду, а у изгороди белели пятна еще не растаявшего снега. Не успели они войти, как небо потемнело, и снова густыми хлопьями повалил снег. Но вот тучи рассеялись, выглянуло солнце, в его лучах засверкали свисающие со стрехи сосульки, а красота девушки стала еще пленительнее.

Принц одет весьма просто, дабы по дороге не привлекать любопытных взглядов, она же, успев сбросить верхнюю одежду, осталась в одной нижней,

и сторала от стыда при мысли, что возлюбленный, красотой которого она не уставала восхищаться, видит ее столь небрежно одетой. Однако укрыться от его взгляда было негде. Впрочем, тревожилась она напрасно. Несколько мягких белых платьев, брошенных одно на другое, сообщали необыкновенное изящество ее облику. Вряд ли она выглядела бы лучше в многослойном разноцветном наряде. Восторг принца был тем более велик, что ни одна из женщин, с которыми он поддерживал близкие отношения, не предстала перед ним в столь обыденном облачении. Дзидзю тоже оказалась весьма миловидной молодой особой. «Вот, теперь еще и она знает...» — смутилась девушка, увидев ее рядом с собой.

Принц же спросил: «А это кто?» И поспешил предостеречь: «Имени людям не открывай моего...» (68). Дзидзю была очарована.

Между тем сторож, в обязанности которого входило присматривать за жилищем, вообразив, что главным гостем является не кто иной, как Токиката, старался как мог угодить ему, а тот, с важным видом расположившись в смежных с принцем покоях, благосклонно принимал его услуги. Понизив голос и подобострастно кланяясь, сторож пытался втянуть Токикату в разговор, и тот, не имея возможности отвечать, забавлялся немало.

— Гадальщики предрекли мне столь страшные несчастья, — говорил он, — что я принужден был покинуть столицу. Тебя же прошу не пускать сюда никого, ибо мне предписано строгое воздержание.

В этом уединенном жилище никто не мешал принцу до позднего вечера наслаждаться обществом своей прелестной возлюбленной. Радость его омрачалась единственно мыслью, что точно так же, с той же милой непосредственностью она ведет себя и с Дайсё, и, не в силах сдерживать мучительной ревности, он осыпал девушку упреками. Он поспешил сообщить ей о том, как предан Дайсё своей супруге, Второй принцессе, однако предпочел умолчать о случайно сорвавшейся с его уст песне. Нехорошо, правда?

Вечером Токиката приносит им полученное от сторожа угощение и воду для умывания.

— Осмелюсь ли я утруждать столь важного гостя? — замечает принц. — Как бы тебя не заметили...

Дзидзю, особа молодая и легкомысленно настроенная, никогда еще не чувствовала себя лучше. Весь день она провела с Токикатой и весьма этим довольна.

Между тем снег идет и идет не переставая, и, когда принц устремляет взор туда, где остался его дом, сквозь прогалы в тумане виднеются лишь верхушки деревьев.

Увидев, что склоны гор, словно зеркальные, сверкают в лучах вечернего солнца, он с трогательными подробностями рассказывает о том, с каким трудом пробирался вчера по горным тропам.

— Пробираясь к тебе  
Сквозь снега на вершинах, по льду,  
Сковавшему реки,  
Не терял дороги ни разу,  
Только сердце свое потерял.

Так, «хоть имею я коня...» (420) — произносит он, затем, велел подать тушечницу, которая оказывается на редкость невзрачной, принимается небрежно набрасывать что-то на листке бумаги.

«Смятенно кружась,  
Снежинки на берег падают,  
Становятся льдом.  
Я же, верно, так и расту  
Где-то между, на полпути», —

пишет девушка и стирает. Принц тут же начинает упрекать ее за это «где-то между». Смутившись — «в самом деле, нехорошо было так писать» — она рвет бумагу.

Велико обаяние принца, а уж когда он не жалеет ни слов, ни взглядов, стремясь пленить чье-то сердце...

Якобы потому, что ему было предписано двухдневное воздержание, принц не уехал и на следующий день, они провели его, неторопливо беседуя, и сердечное влечение, которое их связывало, стало еще сильнее.

Укон, пустив в ход свою изобретательность, нашла средство переправить госпоже несколько новых платьев.

Дзидзю расчесала госпоже волосы и помогла переодеться в темно-лиловое нижнее платье и прекрасно сочетающееся с ним верхнее цвета «красная слива» с тканым узором. Сама она тоже принарядилась: вместо старого темного сибиря подвязала новое — яркое и изящное. Принц тут же отобрал его и обвязав вокруг талии своей возлюбленной, попросил ее подать ему воду для умывания. «Первая принцесса была бы рада заполучить столь прелестную прислужницу, — думал он, любуясь девушкой. — В ее свите много высокородных дам, но такой красавицы, пожалуй, нет».

День прошел во всевозможных забавах, не всегда предназначенных для постороннего взгляда...

Принц снова и снова повторял, что хотел бы тайно перевезти девушку в какое-нибудь укромное место. Он принуждал ее поклясться, что она не станет больше принимать Дайсё, но она только молча роняла слезы, не желая давать обещания, которое выполнить будет не в силах. Глядя на свою возлюбленную, принц терзался от ревности: «Неужели даже теперь она не может забыть его?» Он то плакал, то принимался корить ее. Было совсем еще темно, когда они пустились в обратный путь. Принц снова сам вынес девушку.

— Вряд ли человек, которого вы мне предпочитаете, способен на такое, — говорит он. — Неужели вы до сих пор не поняли?..

«А ведь и в самом деле...» — вздыхает она и кивает, прелестная необычайно.

Открыв боковую дверь, Укон впустила их в дом. Принцу пришлось сразу же уехать, и сердце его разрывалось от боли.

Как обыкновенно бывало в таких случаях, принц поехал в дом на Второй линии. Он чувствовал себя совсем больным, отказывался от еды и с каждым днем все больше бледнел и худел. И Государь, и все остальные печалились, видя, как сильно он переменялся. В доме на Второй линии постоянно толпились люди, спешившие выразить ему свои соболезнования, и ему не удавалось написать ей даже подробного письма.

Между тем в Удзи возвратилась та самая назойливая кормилица, незадолго до всех этих событий уехавшая к собиравшейся родить дочери, поэтому девушка не всегда имела возможность спокойно читать даже те письма, которые он ей присылал.

Госпожа Хитати, полагая бедное горное жилище неподходящим для своей дочери, утешала себя тем, что Дайсё так или иначе позаботится о ней, поэтому, сведав о его намерении хоть и тайно, но все же перевезти девушку в столицу, возрадовалась и, подыскав подходящих молодых дам и девочек-служанок, отправила в Удзи. Все это не было для девушки неожиданностью, более того, раньше она и сама ждала дня, когда Дайсё перевезет ее в столицу, но теперь... Мысли ее то и дело устремлялись к другому, такому пылкому, нетерпеливому... Лицо принца неотступно стояло перед взором, в ушах звучали его упрёки, его клятвы... Стоило хоть на миг задремать — она видела его во сне. Право, было от чего прийти в отчаяние.

В ту пору дожди лили не переставая, всякая связь с Удзи была прервана, и истомленный тоской принц позволял себе мысли, недостойные почтительного сына. «В самом деле, живу словно в коконе...» (223).

Однажды он написал девушке длинное и нежное письмо:

«Какая тоска!  
Даже небо слезами застлано,  
И бессилён мой взор  
Уловить вдали облака,  
Плывущие над тобой».

Знаки, начертанные принцем, поражают удивительным изяществом, хотя создается впечатление, что он писал небрежно, полностью доверившись кисти. Девушка слишком молода и неопытна, поэтому столь пылкие чувства не могут не найти отклика в ее сердце. Вместе с тем — и не потому ли, что он был первым? — ей не удастся изгладить из памяти и того, с кем еще раньше обменялась она любовной клятвой: ведь он обладает таким чутким сердцем, так благороден. «Что станет со мною, если, узнав обо всем, господин Дайсё отвернется от меня? — спрашивает она себя. — Вправе ли я огорчать матушку, которая ждет не дожидается моего переезда в столицу? К тому же все говорят, что принц слишком непостоянен в своих привязанностях. Теперь он сгорает от страсти, но пройдет немного времени, и чувства его переменятся. Впрочем, даже если этого не случится, даже если он все-таки перевезет меня в столицу, и я войду в число особ, находящихся под его покровительством, как отнесется к этому госпожа из дома на Второй линии? Все тайное, как правило, становится явным в нашем мире, вот ведь и принц разыскал меня, даром что нас связывала та единственная случайная встреча в сумерках. А уж теперь он тем более найдет меня везде, где бы я ни оказалась. И все же, если из-за допущенной мной ошибки Дайсё отвернется от меня, это будет ужасно!»

Мучительные сомнения терзают ее душу, а тут как раз приносят письмо от Дайсё. Девушке неприятно, что эти два письма лежат рядом, и, взяв гораздо более длинное послание принца, она садится поодаль, чтобы прочесть его. Дзидзю и Укон многозначительно переглядываются, словно говоря: «Сразу видно, кому госпожа отдает предпочтение».

— Впрочем, я не нахожу здесь ничего удивительного, — замечает Дзидзю. — Я всегда восхищалась Дайсё, но перед принцем просто нельзя устоять. А как он мил, когда может вести себя свободно и делать все, что его душе угодно! Право же, если бы мне вдруг удалось разбудить в его сердце подобную страсть, я бы не колебалась. Я бы поступила на службу к Государыне-супруге, только чтобы почаще видеть его.

— О, я знаю, от тебя можно ожидать самых необдуманных поступков, — отвечает Укон. — А по мне, так лучше Дайсё и человека нет. Не хочу с тобой спорить относительно того, кто из них красивее, но если говорить о манерах и душевных качествах... Так или иначе, госпожа попала в весьма затруднительное положение... Хотела бы я знать, чем все это кончится.

Укон была очень довольна, что у нее появилась наконец собеседница, с которой она могла поделиться своими тайными мыслями.

А вот письмо Дайсё: «Я постоянно думаю о Вас, но прошло уже столько дней... Для меня было бы большим утешением получать иногда Ваши письма. Надеюсь, Вы не думаете, что я забыл...»

В конце же было приписано:

«Как живется тебе  
У реки полноводной и бурной  
В пору долгих дождей,  
Когда ни на миг не светлеет  
Бесконечно унылое небо?

С каждым днем “все больше тоскую” (486)...

Листок белой бумаги сложен так, как принято складывать деловые письма. Возможно, четкому почерку Дайсё недостает изящества, зато в нем чувствуется несомненное благородство.

Письмо принца гораздо длиннее и свернуто в маленький свиточек... Словом, оба послания, каждое по-своему, примечательны.

— Ответьте сначала принцу, — советуют дамы, — пока никто не видит.

— Ах, сегодня я вряд ли смогу ответить... — смущается госпожа и небрежно пишет, словно упражняя руку:

«Теперь мне известно,  
Что в имени Удзи таится  
Горечь тоски.  
Потому-то еще тяжелее  
В этом селении жить».

Очень часто девушка плакала, разглядывая оставленные принцем рисунки. «Он все равно скоро забудет», — убеждала она себя, но, должно быть, при мысли, что ей придется жить в другом месте, куда принц уже не сможет приезжать, сердце ее стеснялось от жалости к нему.

«Хотела бы стать  
Беспросветной черною тучей,  
Над горной вершиной  
Проплыть и где-то вдали  
Растаять, исчезнуть бесследно.



“Если уйду в далекие горы...” (487)» — написала она принцу, и, читая ее письмо, тот плакал навзрыд. «А ведь сердце ее все-таки стремится ко мне», — догадывался он, и ему представлялась ее печально поникшая фигура.

Тем временем тот, другой, слывший в мире образцом благонравия, тоже читал письмо, доставленное ему из Удзи, и, хотя лицо его оставалось бесстрастным, сердце разрывалось от жалости: «Ах, как же ей должно быть грустно теперь!» Ему девушка ответила так:

«Томлюсь от тоски,  
И, видно проникнув в думы мои,  
Не кончается дождь (488),  
Вот уже поспорить готовы  
С полноводной рекой рукава».

Снова и снова вглядывался Дайсё в начертанные ее рукой строки.

Как-то, беседуя со Второй принцессой, Дайсё говорит:

— До сих пор я не рассказывал вам об этом, боясь невольно оскорбить ваши чувства. Дело вот в чем. Есть одна женщина, с которой я давно уже связан, но обстоятельства заставили меня оставить ее в месте, совершенно для нее не подходящем, и я постоянно терзаюсь мыслью, что ей там слишком тяжело. В ближайшее время я собираюсь перевезти ее в столицу. Вы ведь знаете, в своих устремлениях я никогда не был похож на других людей и одно время даже полагал, что сумею прожить жизнь, не связывая себя ни с кем брачными узами. Однако теперь, когда у меня есть вы, я уже не могу полностью отрешиться от мира. И мне горько сознавать, что именно я являюсь причиной страданий этой никому не известной женщины.

— Не понимаю, какие основания для беспокойства могут быть у меня? — удивляется принцесса.

— Наверняка найдутся недоброжелатели, которые постараются, превратно истолковав мои действия, опорочить меня в глазах Государя... Вы же знаете, как злы и несправедливы бывают люди. Впрочем, таких, как она, не достаивают даже сплетнями.

В конце концов Дайсё все-таки решил перевезти девушку в давно уже выстроенное для нее жилище. Последние приготовления он предпочел окружить тайной, зная, сколь много найдется охотников позлословить. «Вы слышали, что задумал Дайсё? Вот, значит, в чем дело...»

Послав в тот дом доверенного человека, в преданности которого он не сомневался, Дайсё поручил ему проследить за тем, чтобы были оклеены перегородки и собрана вся необходимая утварь. И ведь надо же было такому случиться — человеком этим оказался некто Окура-но таю, тесть того самого Дайнайки. Короче говоря, один сказал другому, другой — третьему, и очень скоро новость эта докатилась до принца.

— Все живописные работы господин Дайсё поручил людям из своего окружения, — сообщили ему, — выбрав самых преданных. Да, несмотря ни на что он явно придает убранству дома большое значение.

Окончательно потеряв покой, принц снарядил гонца в дом своей бывшей кормилицы, которая жила где-то в Нижнем городе и в ближайшее время

вместе с супругом, наместником одной из дальних провинций, собиралась покинуть столицу. Гонцу было поручено спросить, не согласятся ли они ненадолго приютить одну связанную с принцем особу.

«Любопытно, что это за особа...» — подумали наместник и его супруга, но отказать принцу не решились, понимая сколь для него это важно.

Получив их согласие, принц вздохнул с облегчением и, зная, что наместник намеревается уехать из столицы в конце луны, решил перевезти девушку сразу же после его отъезда. О своем решении он сообщил в Удзи, строго-настрого наказав дамам не говорить никому ни слова. Самому ему ехать туда было невозможно, к тому же Укон сообщила, что кормилица не спускает с госпожи глаз.

Тем временем Дайсё наметил для переезда Десятый день Четвертой луны. Плыть, «если подхватит течение» (489)? Такого желания у девушки не было. «Как же мне быть?» — постоянно терзалась она, чувствуя себя крайне неуверенно. Она хотела переехать на некоторое время к матери, чтобы спокойно все обдумать, но та сообщила, что супруга Сёсё должна вот-вот разрешиться от бремени, поэтому в доме постоянно читают сутры и произносят заклинания. Поездка в Исияма была отложена по той же причине. В конце концов госпожа Хитати сама приехала в Удзи. Навстречу ей выходит кормилица.

— Господин Дайсё так добр, что позаботился даже о нарядах для дам, — тут же сообщает она. — Разумеется, я делаю все, что в моих силах, но могу ли я, слабая, ничтожная женщина...

Глядя на радостно-возбужденное лицо кормилицы, девушка погружается в уныние. «Если все эти ужасные обстоятельства выплывут наружу, я неизбежно сделаюсь предметом насмешек и оскорблений. Каково будет тогда моим близким? Но можно ли теперь что-нибудь изменить? Вот и сегодня пришло письмо от принца, в котором со свойственной ему пылкостью он клянется, что отыщет меня везде, где бы я ни спряталась, даже в горах, над которыми «белые тучи встают восьмислойной грядой» (490), и тогда мы вместе исчезнем из этого мира... И снова просит, чтобы я согласилась ради его спокойствия переехать в укромное убежище...»

Истерзанная этими мыслями, она чувствует себя совсем больной.

— Почему вы так побледнели и осунулись? — пугается госпожа Хитати.

— Ах, и не говорите, — тут же откликается кормилица, — просто ума не приложу, что случилось с нашей милой госпожой в последние дни. Она изволив от отказываться от еды, ей явно нездоровится.

— В самом деле странно. Быть может, тому виною злые духи? Или... Нет, это невозможно, ведь совсем недавно мы вынуждены были отменить паломничество в Исияма...

Слушая их речи, девушка смущенно прячет глаза.

Скоро темнеет, и на небо выплывает луна. Невольно вспомнив, как прекрасна она была в тот предрассветный час, девушка не может сдержать слез, хотя и сама понимает, что не должна...

Призвав к себе монахиню Бэн, госпожа Хитати принимается беседовать с ней о прошлом, и та долго рассказывает, как хороша была ее покойная госпожа, какой нежной, чувствительной душой она обладала и как, истерзанная мучительными сомнениями, растаяла у нее на глазах.

— Будь она жива, ваша дочь сообщалась бы с ней теперь точно так же, как с супругой принца, — говорит монахиня. — Каким утешением это было бы для бедняжки, ведь столько горестей выпало на ее долю!

«А разве моя дочь им чужая? — возмущается про себя госпожа Хитати. — Если все выйдет так, как я задумала, она и супруге принца не уступит».

— Ах, вы не поверите, как беспокоилась я за судьбу дочери, — говорит она вслух, — но, кажется, теперь можно надеяться на перемены к лучшему. Когда она переедет в столицу, мне вряд ли придется бывать здесь, а ведь как хорошо, никуда не торопясь, поговорить о былых днях.

— Принято считать, что мое обличье не предвещает ничего доброго, поэтому я не смела докучать вашей дочери своим присутствием, и мы почти не общались. Но как же мне будет одиноко, когда она уедет! Конечно же, я понимаю, что ей не место в этой глуши, и рада, что она будет жить в столице... Господин Дайсё — человек редких достоинств. К тому же его связывает с вашей дочерью не мимолетная прихоть, а глубокое чувство, иначе он вряд ли стал бы ее разыскивать. Впрочем, все это я уже говорила вам раньше, и вы знаете, что это не легковесная болтовня

— Да, видя, как он добр к ней, я неизменно вспоминаю о вас. Ведь именно благодаря вашему содействию... Разумеется, никто не знает, что случится в будущем, и все же... Супруга принца Хёбукё приняла в моей дочери большое участие, возможно даже большее, чем она того заслуживает, но в доме на Второй линии по некоторым причинам оставаться было неловко, и я печалилась, видя, что она оказалась в таком неопределенном положении...

— Так, принц Хёбукё слишком любвеобилен, — улыбается монахиня. — Думаю, что молодым особам, обладающим чувствительной душой, нелегко служить в его доме. Вот и дочь госпожи Таю как-то жаловалась мне... Принц так хорош, что устоять просто невозможно, но вместе с тем никому не хочется навлекать на себя гнев госпожи.

«А уж если бы они узнали...» — думает девушка, прислушиваясь к их разговору.

— Что и говорить, положение непростое, — соглашается госпожа Хитати. — Господин Дайсё состоит в браке с дочерью самого Государя, но мы никак с ней не связаны, и, как бы — удачно или неудачно — ни сложилась судьба моей дочери, разве я смогу ей помочь? Возможно, это и дерзко с моей стороны, но я действительно так думаю. Поверьте, если бы моя дочь повела себя дурно, я запретила бы ей показываться мне на глаза, как ни тяжела была бы для меня разлука.

Услышав это, девушка холодеет от страха. «Лучше бы мне умереть! Ведь раньше или позже, я непременно попаду в беду».

Снаружи доносится грозный рев реки.

— Бывают же такие ужасные реки! — восклицает госпожа Хитати. — И моя дочь вынуждена жить в этом диком месте! Разумеется, господину Дайсё жаль ее. — С весьма самодовольным видом добавляет она.

Дамы тут же принимаются рассказывать, как быстра и опасна река Удзи.

— Я слышала, что совсем недавно внук перевозчика, промахнувшись шестом, угодил в воду и сразу же утонул, — сообщает одна.

— Так, эта река унесла многие жизни, — вторит ей другая.

«Велико будет горе моих близких, если я исчезну неведомо куда, — думает девушка, — но пройдет время, и они утешатся. Если же, оставшись жить, я буду влачить жалкое существование, осыпаемая непрерывными насмешками, их страданиям не будет конца».

Да, ничто не мешает ей умереть, а после ее смерти все уладится. К такому выводу она приходит в конце концов, но тут же острая печаль сжимает ей сердце. Притворяясь спящей, девушка прислушивается к излияниям матери, и душа ее разрывается на части. А та, обеспокоенная болезненной худобой и бледностью дочери, призывает кормилицу и принимается брать ее.

— Следите за тем, чтобы в покоях госпожи постоянно произносились молитвы. Кроме того, надобно поднести дары местным богам или прибегнуть к помощи очистительного омовения.

Может ли она вообразить, что ее несчастная дочь и без того беспрестанно помышляет об омовении в Священной реке?.. (181)

— У вас слишком маленькая свита, — озабоченно замечает госпожа Хитати. — Следует подыскать подходящих дам из благородных семейств, а этих неопытных девиц пока оставьте здесь. Отныне вам придется сообщаться с высокородными особами, и, хотя сами вы кротки и миролюбивы, мало ли что может случиться, от неприятностей не оберечься. Будьте ко всему готовы и не забывайте об осторожности.

— Ну что ж, мне пора, — говорит она, покончив с наставлениями. — Я ведь должна позаботиться и о вашей сестре.

— О, не покидайте меня! — в отчаянии взывает девушка, видя, что мать собирается уезжать. Ей страшно. Неужели им никогда больше не суждено увидеться? — Мне нездоровится, и я боюсь оставаться одна. Возьмите меня с собой, позвольте хотя бы некоторое время пожить с вами.

— О, если бы я могла! — плачет госпожа Хитати. — В доме теперь так шумно и так тесно, ваши дамы не смогут сделать больше ни одного стежка, а ведь времени осталось совсем мало. Поверьте, я не брошу вас, даже если волею судьбы вы окажетесь вдруг в уезде Такэо\*. Ах, когда б у вас была мать более высокого звания...

В тот день принесли еще одно письмо от Дайсё, которому, судя по всему, сообщили, что девушка нездорова.

«К сожалению, я не имею возможности навестить Вас лично, — пишет он, — ибо у меня накопилось много неотложных дел. Увы, чем ближе день нашей встречи, тем труднее выносить разлуку...»

Весьма длинное письмо прислал и принц Хёбукё, хотя до сих пор так и не получил ответа.

«Почему Вы до сих пор не можете решиться? — спрашивает он. — Боюсь, как бы не устремились Вы в те земли, о которых прежде не могли и помыслить (108). Когда б Вы знали, как тяжело у меня на сердце...»

Гонцы, уже сталкивавшиеся здесь однажды в пору дождей, и на этот раз пришли почти одновременно. Посланец Дайсё, приметив человека, которого он иногда встречал в доме Дайнайки, спрашивает его:

— Вы так часто бываете здесь. К чему бы?

— Да есть тут одна дама, которую я навещаю время от времени, — отвечает тот.

— И сами вручаете ей любовные послания? Что-то подозрительно. Почему вы не хотите сказать мне правду?

— Что ж, если вы хотите знать правду, я передаю письма от господина Токикаты к одной из здешних дам, — признается гонец.

«Странно... Что-то все-таки здесь не так», — не поверил посланец Дайсё. Но поскольку время для объяснений было неподходящее, он не стал настаивать, и они разошлись. Однако, будучи человеком предусмотрительным, он подозвал мальчика из своей свиты и сказал ему:

— Проследи-ка за тем человеком, но так, чтоб тебя самого не заметили. Посмотри, действительно ли он войдет в дом господина Токикаты.

— Он вошел в дом на Второй линии и передал письмо господину Дайнайки, — доложил мальчик, вернувшись.

Гонцом же принца был человек весьма низкого звания и не очень сообразительный. Ему и в голову не пришло, что кто-то за ним подсматривал. К тому же он не знал всех обстоятельств, потому и позволил себя выследить. Ну разве не досадно?

Посланец Дайсё прибыл в дом на Третьей линии как раз в тот миг, когда Дайсё собирался ехать на Шестую линию, где в те дни изволила пребывать Государыня-супруга. Свита его была сегодня довольно скромной. Вручая письмо приближенному Дайсё, посланец говорит, словно оправдываясь:

— Я немного опоздал. Но, видите ли, произошло нечто странное, и мне захотелось выяснить...

Услыхав это, Дайсё сразу же выходит.

— А в чем дело? — спрашивает он, но посланец стоит, почтительно склонившись, и не отвечает. Поняв, что он не хочет говорить в присутствии посторонних, Дайсё уезжает, ни о чем более не расспрашивая.

Государыне-супруге немного нездоровилось, и в доме на Шестой линии собрались все ее сыновья. В покоях толпились сановники высших рангов, но, к счастью, тревога оказалась ложной.

Дайнайки задержали дела, и он приехал довольно поздно. Среди бумаг, которые он принес принцу Хёбукё, было и то письмо. Выходя из покоев Государыни, Дайсё краем глаза заметил, как принц, перейдя в Столовый зал, подзывает Дайнайки к двери и берет у него какое-то письмо. «Наверное, от одной из его тайных возлюбленных», — подумал Дайсё и, заинтересовавшись, остановился. Между тем принц поспешно разворачивает письмо и принимается его читать. Видно, что оно на тонкой красной бумаге, да и почерк, кажется, весьма изящный. Судя по всему, в письме этом содержится нечто чрезвычайно важное, во всяком случае, увлекшись чтением, принц забывает обо всем на свете. Тут из покоев Государыни появляется Левый министр, и Дайсё, выйдя из-за перегородки, начинает предостерегающе покашливать. Принц едва успевает спрятать письмо и, желая скрыть замешательство, принимается поспешно завязывать шнурки у ворота. Дайсё склоняется в низком поклоне.

— Пожалуй, я позволю себе удалиться, — говорит он. — Этот злой дух так долго не давал о себе знать... Как бы Государыне не сделалось хуже. Я немедленно пошлю гонца за настоятелем из горной обители...

И с весьма озабоченным видом он уходит.

Скоро стемнело, и дом на Шестой линии опустел. Левый министр, сопровождая принца Хёбукё, перешел в свои покои, за ним последовали его многочисленные сыновья.

Дайсё уехал позже остальных. Он горел нетерпением узнать, что хотел сказать человек, приехавший из Удзи, и, улучив миг, когда приближенные вышли, чтобы зажечь огни в саду, призвал его.

— О чем это ты тогда говорил? — спрашивает он.

— Дело в том, — ответил тот, — что сегодня утром, приехав в Удзи, я заметил, как какой-то мужчина, подойдя к западной двери, передал дамам письмо, написанное на тонкой лиловой бумаге и привязанное к ветке вишни. Мужчину этого я знаю, он прислуживает в доме Токикаты, почетного правителя Идзумо. Я пытался выяснить у него, в чем дело, но объяснения его были весьма путанными, скорее всего он лгал. Все это показалось мне настолько странным, что я потихоньку послал за ним слугу, и тот обнаружил, что человек этот отнес ответное послание в дом принца Хёбукё и передал его господину Митисаде из Церемониального ведомства.

«В самом деле странно», — подумал Дайсё.

— А каким образом было передано письмо гонцу? — спрашивает он.

— Этого я не видел. Скорее всего его вынесли с другой стороны. Мальчик сказал, что письмо было написано на красной бумаге и показалось ему очень изящным.

Все совпадало до мельчайших подробностей. Разумеется, Дайсё отдал должное сообразительности посланца, догадавшегося пустить мальчика по следу, но, поскольку рядом были люди, не стал ему больше ничего говорить.

«От принца ничего не скроешь, — думал Дайсё, возвращаясь домой. — Откуда только он узнал о ее существовании? И как сумел проникнуть к ней? Как глуп я был, полагая, что в такой глуши мне не грозит подобная опасность. Но почему бы принцу не устремлять своих любовных желаний на особ, никак со мною не связанных? Ведь у него никогда не было друга ближе меня. Кроме того, я сам показал ему дорогу в Удзи. Можно ли было ожидать, что он воспользуется этим мне во вред?»

Нетрудно вообразить, сколь тяжким ударом стало для Дайсё это открытие: «Я тоже питаю нежные чувства к его супруге, но я всегда был достаточно благоразумен, чтобы скрывать их, хотя нас с ней связывают давние обстоятельства, а не случайная страсть, которую многие сочли бы предосудительной. Да, наверное, я поступил глупо, отказавшись от нее только ради того, чтобы избежать сердечных угрызений. Но как принцу удастся отправлять письма в горную усадьбу теперь, когда Государыня больна, и в доме постоянно толпятся люди? Виделся ли он уже с ней? До Удзи путь неблизкий, даже для того, кто влюблен... А ведь и правда, мне говорили, что принц время от времени куда-то исчезает и никто не ведал, куда. Скорее всего, именно с этим связаны и его душевные терзания, и его таинственное недомогание. Помнится и раньше, когда ему долго не удавалось уехать в Удзи, он так страдал, что жалко было смотреть на него».

Только теперь Дайсё стал догадываться, почему девушка была так грустна и задумчива во время их последней встречи и, сопоставив это с другими своими наблюдениями, приуныл. «Непостижимо человеческое сердце... —

думал он. — Она всегда казалась милой, кроткой. А на самом деле она так же легкомысленна, как принц! Прекрасная получится пара!»

Не лучше ли уступить ее принцу, а самому устраниться? «Когда бы я с самого начала намеревался создать ей особое положение в своем доме, возможно, у меня не было бы иного выхода, а так... Пусть все остается по-прежнему. Тем более, что я буду тосковать, если нашим встречам вдруг придет конец». Эти и другие недостойные мысли бродили в его голове.

«Если, дав волю гневу, я отвернусь от нее, принц непременно заберет ее к себе, но он не из тех, кто способен позаботиться о будущем женщины. Кажется, нескольких таких особ, бывших некогда предметом его пылкой страсти, он пристроил в свиту Первой принцессы. Жаль, если и ее постигнет такая же участь». Словом, Дайсё оказался не в силах расстаться с девушкой и то и дело писал в Удзи, справляясь о ее здоровье.

Однажды он послал за тем самым гонцом и, увидев миг, когда рядом никого не было, подозвал его к себе.

— А что, господин Митисада и теперь посещает дочь Наканобу?\*

— Судя по всему, да.

— Он, наверное, часто посылает в Удзи того человека, которого ты встретил на днях? Госпожа живет так уединенно, немудрено, что и Митисада увлекся ею. — Дайсё вздохнул. — Поезжай-ка в Удзи, да так, чтобы тебя никто не заметил. Иначе мы окажемся в глупом положении.

Посланец, поклонившись, вышел. Он вспомнил, что Митисада часто расспрашивал его о Дайсё и особенно интересовался положением дел в Удзи. Разумеется, у него возникли кое-какие догадки, но, будучи человеком опытным, он предпочел промолчать. Дайсё же, рассудив, что не стоит посвящать в свою тайну слуг, больше ни о чем его не расспрашивал.

В те дни посланцы от Дайсё приходили так часто, что девушка ни на миг не могла отвлечься от мрачных мыслей.

«А я и не ведал,  
Что уже через Суэ-но мацу  
Волны перекатились (141).  
Верил я — сосна на вершине  
Меня по-прежнему ждет...

Не давайте же повода к молве...» — написал как-то Дайсё.

«Странно!» — подумала девушка, и сердце ее тоскливо сжалось. Ей было неловко отвечать так, будто она поняла намек. К тому же, она опасалась — а вдруг, вышла какая ошибка, — а потому снова свернула письмо и отправила его обратно, приписав:

«Вероятно, это письмо попало ко мне по недоразумению. Так или иначе, я слишком плохо себя теперь чувствую, чтобы писать».

«Умнее и ответить было невозможно, — улыбнулся Дайсё, прочитав эти слова. — Я и не подозревал в ней такой сообразительности...»

Увы, он просто не мог на нее сердиться.

Между тем, девушка не находила себе места от тревоги: хотя прямого упрека письмо Дайсё не содержало, не понять, на что он намекает, было невозможно. Она сидела, терзаемая дурными предчувствиями — «в конце

концов я окажусь в самом жалком положении, презируемая всеми» — когда вошла Укон.

— Почему вы отослали письмо господина Дайсё обратно? — спрашивает она. — Разве вы не знаете, что это недоброе предзнаменование? Вы можете навлечь на себя беду.

— Там было написано что-то несуразное, — отвечает девушка, — я и подумала, что оно попало ко мне по ошибке.

А надо сказать, что Укон, заподозрив неладное, по дороге открыла письмо Дайсё и прочла его. Разумеется, это было дурно с ее стороны.

— Как жаль! — сетует она, не признаваясь, что содержание письма ей хорошо известно. — Все это тягостно чрезвычайно! Боюсь, что господин Дайсё догадывается...

Мучительно покраснев, девушка не отвечает. Ей и в голову не приходит, что Укон прочла письмо. «Наверное, кто-то из окружения господина Дайсё заметил, что у него возникли подозрения, и сообщил ей об этом», — предполагает она, но расспрашивать Укон о подробностях не решается.

«Как я покажусь теперь на глаза дамам? — терзается девушка. — Что они обо мне подумают? А ведь все произошло помимо моего желания. Что за злосчастная у меня судьба!»

Она лежит, погруженная в тягостные думы, а Укон тем временем беседует с Дзидзю.

— У моей сестры из Хитати тоже было сразу два поклонника, — рассказывает она. — Такое ведь случается с людьми самых разных сословий! И тот, и другой питали к ней глубокие чувства, и сестра пребывала в растерянности, не зная, кому отдать предпочтение. Все же ее больше тянуло к тому, кто появился позже. Кончилось дело тем, что ее первый возлюбленный, воспламененный ревностью, убил своего соперника. Сестру он тоже перестал посещать. Таким образом, местные власти лишились одного из лучших своих защитников. Убийцу выслали из Хитати, ибо хотя он и был всегда на хорошем счету, разве станет кто-нибудь держать у себя на службе человека, совершившего преступление? Сестре же моей правитель отказал от дома, рассудив, что именно она во всем виновата. Она живет теперь где-то в восточных провинциях и, судя по слухам, очень бедствует. Наша матушка до сих пор не может успокоиться и оплакивает ее несчастную участь, увеличивая тем самым бремя собственных прегрешений. Вероятно, мне не следовало бы теперь заводить об этом разговор, но я считаю, что никто не должен терять голову из-за любви — и звание здесь не имеет значения. Разумеется, подобный исход — редкость, но так или иначе, а добром это никогда не кончается. А ведь для того, кто занимает высокое положение в мире, позор хуже смерти. Ах, лучше бы госпожа остановила свой выбор на ком-то одном. Мне кажется, что принц питает к ней более глубокое чувство, и если он действительно собирается перевезти ее в столицу... Почему бы госпоже не довериться ему и не перестать терзаться сомнениями? За последние дни она исхудала от мрачных мыслей, ну можно ли так мучить себя? Госпожа Хитати места себе не находит от беспокойства, а кормилица с ног сбилась, готовясь к переезду. Когда я смотрю на нее, мне становится так жаль принца, ведь он то и дело присылает гонцов, надеясь, что госпожа позволит ему забрать ее к себе раньше, чем это сделает господин Дайсё.



— Какая страшная история! Не стоит рассказывать такое при госпоже! — говорит Дзидзю. — Что предопределено, то и сбудется. Госпожа сама должна понять, к кому ее влечет хоть немного больше, и склониться к нему. Принц так нежен, так пылок, разве можно этого не ценить? Нет, я никогда бы не предпочла ему господина Дайсё. Зачем он так спешит увезти госпожу отсюда? По-моему, мы должны на время спрятать ее где-нибудь, а потом отдать тому, с кем ее связывает более глубокое чувство.

Могла ли Дзидзю ответить иначе? Ведь принц с самого начала поразили ее воображение...

— Право, не знаю, — вздыхает Укон. — Я не раз молила Каннон и в Ха-цусэ, и в Исияма, чтобы все наконец так или иначе уладилось. Сложность еще и в том, что в Удзи полным-полно людей из владений господина Дайсё, которые отличаются на редкость воинственным и свирепым нравом. Как мне удалось выяснить, все они родом из Ямасиро или из Ямато и связаны с человеком по прозвищу Удонэри, который заправляет здесь всеми делами, имея основным поручителем и исполнителем своего зятя, некоего Укон-но таю. Можно чувствовать себя в безопасности с людьми высокого звания, ибо они великодушны и снисходительны, но кто поручится за этих невежественных мужланов, старающихся превзойти друг друга в усердии, мол, уж я-то ни малейшей оплошности не допущу, когда придет мой черед сторожить? От них можно ожидать любых неприятностей. Я содрогаюсь от ужаса, вспоминая о той ночной прогулке. А ведь принц, больше всего на свете боясь огласки, приезжает почти без свиты, в простом платье. Страшно даже подумать, что может произойти, если вдруг кто-нибудь из этих сторожей его увидит!

«Значит, они полагают, что мне больше по душе принц?» — думает девушка, не зная, куда деваться от стыда. У самой-то у нее и мысли нет выбирать того или иного, просто в последнее время она живет словно во сне, плохо сознавая, что происходит. Пылкость принца удивляет ее: неужели это она внушила ему такую страсть? Вместе с тем ей кажется невозможным расстаться с Дайсё, который долгое время был для нее надежной опорой. «Что же делать? — в отчаянии думает она. — Того и гляди случится что-нибудь страшное!»

— О, как я хочу умереть! — восклицает она, ничком падая на ложе. — В целом мире нет никого несчастней! Последний бедняк и тот счастливее меня.

— Не стоит так отчаиваться, — возражает Укон. — Я просто подумала, что вам самой будет спокойнее... До сих пор вы не теряли самообладания в самых, казалось бы, сложных обстоятельствах, а после этой истории совершенно лишились покоя. И мне это кажется странным...

В то время как Дзидзю и Укон, знавшие, в сколь затруднительное положение попала госпожа, не находили себе места от тревоги, кормилица, одушевленная мыслью о предстоящем переезде, целыми днями шила и красила ткани. Она то и дело подводила к госпоже какую-нибудь миловидную девочку, только что поступившую на службу.

— Посмотрите, какая славная, — говорила она. — Непонятно, почему вы лежите целыми днями с таким унылым видом. Уж не дух ли какой в вас вселился? Как бы он не помешал нам...

Шли дни, а ответа от Дайсё на то письмо все не было. Однажды их посетил тот самый Удонэри, который внушал такой ужас Укон. Он оказался толстым стариком с хриплым голосом, грубым, неотесанным, и при этом весьма спесивым.

— Мне нужно переговорить с кем-нибудь из дам, — заявляет он, и к нему выходит Укон.

— Утром я ездил в столицу, ибо господин изволил прислать за мной, и только что вернулся, — сообщает Удонэри. — Господин дал мне много разных поручений, и среди всего прочего сказал: «Я знаю, что вы и на миг не оставляете без присмотра дом, где живет известная вам особа, потому и не назначил туда дополнительной охраны. Однако, по имеющимся у меня сведениям, в последнее время к дамам стали заходить посторонние мужчины — недопустимое упущение с вашей стороны. Подозреваю, что все это происходит с согласия сторожей, иначе трудно себе представить...» А я-то ведь и ведать не ведал... Что я мог сказать в свое оправдание? В конце концов я попросил передать ему, что по болезни принужден был на некоторое время отстраниться от своих обязанностей и не знал, что делается в доме. Тем не менее я всегда посылал туда самых верных людей и следил за тем, чтобы они несли свою службу исправно. Понять не могу, почему мне не доложили о столь чрезвычайных обстоятельствах. Внимательно выслушав все это, господин изволил сказать: «Впредь будьте бдительны, а если еще раз случится подобное, пеняйте на себя». Вот я теперь и недоумеваю, что, собственно, он имел в виду?

Право, приятнее было бы слушать уханье филина. Даже не ответив ему, Укон идет к госпоже:

— Послушайте-ка, что мне сообщили. Выходит, я была права. Господину Дайсё все известно. Потому-то он и писать перестал, — вздыхая, говорит она.

Кормилица же, ничего толком не поняв, радуется:

— Уж и не знаю, как и благодарить господина Дайсё за такую заботу. Грабителей в этих местах более чем достаточно, а сторожа далеко не всегда так добросовестны, как были вначале. То и дело присылают вместо себя каких-то простолюдинов, ночных обходов вовсе не делают...

«Кажется, до беды в самом деле недалеко», — слушая их, думала девушка.

А от принца, как нарочно, то и дело приносили письма, в которых он говорил о своем нетерпении, намекал на «смявшийся у корней сосны мох» (491)... Все это лишь усугубляло ее страдания.

«Отдав предпочтение одному, я сделаю несчастным другого, — думала она. — Не лучше ли просто уйти из мира? Ведь и в старину бывали случаи, когда женщина, не умея сделать выбор, бросалась в реку\*. Жизнь не принесет мне ничего, кроме горестей, а смерть освободит от мучительных сомнений. Матушка станет оплакивать меня, но у нее много других детей, и я уверена, что в конце концов ей удастся сорвать траву забвения. Для нее будет куда мучительнее видеть мой позор, а оставшись жить, я наверняка сделаюсь всеобщим посмешищем».

На первый взгляд кроткая и послушная, девушка имела в душе своей довольно твердости, чтобы замыслить то, что другую бы испугало. Возможно, это объяснялось тем, что она росла в провинции и не усвоила в должной

степени тех знаний о мире, какие необходимы благородной девице. С того дня она стала потихоньку уничтожать письма, которые могли бы кому-нибудь повредить: одни сжигала в огне светильника, другие бросала в реку. Дамы, которым были неизвестны истинные обстоятельства, полагали, что, готовясь к переезду, госпожа решила избавиться от ненужных записей, накопившихся у нее за томительно однообразные луны и дни. Однако Дзидзю, заметив, что именно она сжигает, встревожилась:

— Зачем вы это делаете? Я понимаю, вы боитесь, как бы письма, в которых содержатся сокровенные тайны любящих сердец, не попались на глаза посторонним, но разве не лучше их просто спрятать? Можно было бы иногда извлекать их и перечитывать. Ведь эти письма так трогательны и написаны на такой прекрасной бумаге. Уничтожать их просто жестоко.

— Жестоко? Но почему? Мне не хотелось бы оставлять их после себя, а, судя по всему, я не надолго задержусь в этом мире. Вы же знаете, сколько вреда они способны причинить тому, кто их написал. Люди станут говорить, что я хранила их нарочно... Ах, может ли что-нибудь быть ужаснее?

Сколько ни думала, сколько ни передумывала девушка, положение представлялось ей безысходным, и все же решиться было трудно. Ей вспомнилось, как кто-то говорил, будто человек, самовольно пресекающий свою жизнь и покидающий родителей, обременяет душу тяжким преступлением...

Наконец и Двадцатый день остался позади. Узнав, что хозяин того самого дома намеревается переехать в провинцию, принц поспешил сообщить об этом в Удзи. «Я приеду за Вами сразу же, — писал он. — Постарайтесь подготовиться так, чтобы слуги ничего не заметили. Я тоже употреблю все средства, дабы избежать огласки. Вы должны мне верить».

«Если он снова придет, выдавая себя за простолюдина, — думала девушка, — я принуждена буду немедленно отправить его обратно! Я не посмею впустить его в дом даже на самое короткое время. Воображаю, как он рассердится». Перед ее мысленным взором возникло обиженное лицо принца, и ей стало так грустно! Прижав письмо к лицу, она попыталась взять себя в руки, но, не выдержав, отчаянно разрыдалась.

— Ах, госпожа, прошу вас, не надо, — пеняет ей Укон. — Вы же не хотите, чтобы слуги заметили... И без того у многих возникают подозрения. Отбросьте же, наконец, сомнения и ответьте ему. Я с вами и сделаю все, даже самое невозможное, чтобы помочь вам. К тому же вы такая маленькая и легкая, что принц может просто улететь с вами по небу.

— О, для чего ты так мучаешь меня? — говорит девушка, с трудом овладев собой. — Когда б я была уверена, что вправе поступить именно таким образом... Но я хорошо знаю, что не должна... А принц ведет себя так, словно я только и жду, чтобы он приехал за мной. Страшно подумать, каким будет его следующий шаг.

И она отказывается отвечать на письмо принца.

Не получая никакого подтверждения, принц встревожился, тем более что давно уже не имел из Удзи вестей. «Наверное, Дайсё удалось убедить ее, — думал он, терзаемый ревностью. — Впрочем, стоит ли удивляться тому, что она выбрала его? Трудно найти человека более надежного. Но ведь сердце ее стремилось ко мне. Я не должен был надолго оставлять ее одну.

Очевидно, дамы наговорили ей всяких небылиц, и она им поверила!» Принц погрузился в мрачное уныние, сердце его было полно тоски, и казалось, что даже «пустынные просторы небес...» (342). В конце концов, как всегда, не особенно раздумывая, он выезжает в Удзи.

Впереди едет Токиката, но едва он приближается к знакомой тростниковой изгороди, как — чего никогда не бывало прежде — его окликает чей-то грубый голос:

— Эй, кто там?

Вернувшись, Токиката высылает вперед слугу, которому известны все здешние обстоятельства, но того тоже задерживают и принимаются с пристрастием допрашивать. Смущенный столь неожиданным приемом, слуга лепечет что-то невнятное — мол, привез срочное письмо из столицы. Он называет имя служанки Укон, и она выходит к нему. Укон в полном замешательстве.

— Мне очень жаль, — передает она принцу, — но сегодня госпожа никак не может встретиться с вами.

«Но почему? Или она не хочет больше видеть меня?» — В полном отчаянии принц подзывает Токикату.

— Постарайся проникнуть в дом, — велит он ему. — Найди Дзидзю и вдвоем придумайте что-нибудь.

Токиката этот был человеком весьма хитроумным, а потому, прибегнув к разного рода уловкам, в конце концов сумел разыскать Дзидзю.

— Вряд ли я смогу помочь вам, — говорит она. — Не знаю по какой причине, но в последнее время всем здесь заправляют сторожа, утверждая, что выполняют указания, полученные от самого господина Дайсё. Госпожа очень огорчена, ее беспокоит, что она ведет себя столь нелюбезно. Ах, у меня просто сердце разрывается, когда я вижу, как она страдает. Но сегодня вокруг полным-полно сторожей, если вас заметят, будет еще хуже. Передайте вашему господину, что мы постараемся все подготовить к намеченному дню, но теперь... Эта несносная кормилица ни днем ни ночью не спускает с нас глаз.

— Но вы ведь знаете, как трудна и опасна эта горная дорога, — возражает Токиката. — Я просто не посмею сказать господину, что он стремился сюда напрасно. Пойдемте к нему вместе, пусть все подробности он услышит от вас.

— Ах нет, об этом и речи быть не может.

Пока они спорят, становится совсем темно. Принц, так и не спешившись, ждет неподалеку от изгороди. То и дело откуда-то выскакивают собаки и оглашают окрестности грубым лаем. Спутники принца дрожат от страха и тревоги. Их так мало, удастся ли им защитить господина, если вдруг на него набросится какой-нибудь негодяй?

— Ну, быстрее же, — торопит Токиката, увлекая за собой Дзидзю. Перебросив вперед длинные волосы, она придерживает их руками и выглядит при этом весьма мило. Токиката предлагает ей сесть на коня, но она решительно отказывается, и, подхватив подол длинного платья, идет за ним пешком. Токиката отдает женщине свои башмаки, а сам надевает совсем уж неказистые, взятые у кого-то из слуг. В таком виде они доходят до места, где их ждет принц. Разговаривать прямо на дороге неудобно, поэтому, выбрав

укромное местечко возле какой-то бедной изгороди, заросшей терновником и бурьяном, Токиката расстилает то, что, кажется, называют попоной, и помогает принцу спешиться. «Вот до чего дошло! — ужасается принц. — Из-за постоянных блужданий по дорогам любви мне, наверное, так никогда и не удастся жить достойно...» — И он разражается рыданиями.

Может ли слабая женщина остаться равнодушной к его горю? Право же, принц так трогателен в своем отчаянии, что, появившись перед ним его смертельный враг в облике злого демона, и тот сжалился бы над ним.

— Неужели мне нельзя хотя бы словечком с ней перемолвиться? — с трудом овладев собой, спрашивает принц. — Что же случилось за это время? Уж не оклеветал ли меня кто-нибудь?

Подробно рассказав о том, что произошло, Дзидзю просит:

— Постарайтесь заранее сообщить мне, в какой день вы намереваетесь увезти госпожу, да так, чтобы никто другой не узнал. Я вижу, сколь велика ваша любовь к госпоже, и жизни не пожалею, чтобы помочь вам.

Оставаться долее ради того, чтобы высказать свои обиды, невозможно, тем более, что принц и сам боится огласки. Стоит глубокая ночь. Собаки лают все яростнее, и тщетно стараются слуги принца отогнать их. Внезапно раздается резкий звон тетивы, и слышатся грубые голоса сторожей:

— Берегись огня, берегись...

Надо спешить в обратный путь. Невозможно выразить словами смещение, овладевшее душой принца.

— Не пожалел бы и я  
Жизни, вот только не знаю,  
Куда исчезнуть?  
В белых тучах теряются горы (493),  
Пробираюсь по тропам, рыдая.

Тебе тоже лучше поспешить... — вздыхая, говорит он Дзидзю.

Может ли что-нибудь на свете сравниться с нежной прелестью его лица, с благоуханием промокшего от ночной росы платья? Громко плача, Дзидзю возвращается в дом.

Укон уже сообщила госпоже о своем разговоре с Токикатой, и та лежала, отдавшись глубочайшей задумчивости. Выслушав рассказ Дзидзю, она не сказала ни слова, но казалось, что изголовье ее вот-вот уплывет, подхваченное потоком слез. «Что подумают дамы?» — терзалась она, но не могла сдержаться.

На следующее утро девушка долго не вставала, стыдясь своих распущих, покрасневших глаз. Наконец, подвязав для виду шлейф «мо», она начинает читать сутру, а в мыслях у нее лишь одно — «Не почитай за прегрешение, что я хочу уйти из мира раньше своей матери». Затем достает рисунки, когда-то подаренные ей принцем, и принимается их разглядывать. Перед ней сразу же встает его образ, ей вспоминается, какое у него было тогда лицо, как двигалась его рука, сжимающая кисть — она видит его так же ясно, как если бы он и сейчас сидел рядом с ней. «О, если б я могла хоть словечком с ним перемолвиться вчера вечером, — вздыхает она. — Может быть, мне было бы легче... А что подумает тот, другой? Он был полон решимости обеспечить мне приличное положение в мире, в его преданности не-

возможно усомниться... Представляю себе, что будут говорить люди, ведь наверняка многие постараются дурно истолковать мой поступок. И все же... Лучше так, чем становится всеобщим посмешищем...»

Даже если исчезну  
Из этого мира, не вынеся  
Несчастий своих,  
И тогда от дурной молвы  
Вряд ли сумею укрыться.

Она скучала по матери и даже по уродливым сводным братьям и сестрам, о которых в обычное время и не вспоминала. Думала она и о госпоже со Второй линии. Так много было людей, которых хотелось ей увидеть еще хоть раз...

Дамы целыми днями красили ткани и только и говорили что о предстоящем переезде, но девушка не слушала их. Когда наступала ночь, она лежала без сна, обдумывая, каким образом можно было бы уйти из дома незамеченной, и ей становилось так плохо, что мутилось сознание. Когда рассветало, взор ее невольно устремлялся к реке, и в душе возникало предчувствие близкого конца — еще более близкого, чем у барана, ведомого на бойню\*.

От принца принесли письмо, полное упреков. А она не могла даже высказать ему всего, что было у нее на душе: в доме толпились люди, и она боялась, что кто-нибудь заметит...

«Если из мира  
Уйду, не оставив даже  
Пустой оболочки,  
К какой могиле ты станешь  
Пени свои обращать (494)?» —

вот и все, что она ответила. Ей хотелось, чтобы и Дайсё узнал о чувствах, тревоживших ее душу, но она не решилась ему написать. А вдруг они с принцем — ведь они так близки — станут сравнивать ее последние письма? Нет, пусть лучше никто не узнает, что с нею случилось.

Еще принесли письмо от госпожи Хитати. «Вчера ночью вы мне явились в очень тревожном сне, — писала она. — Я даже заказала молебны в нескольких храмах. Я была так напугана, что до утра не смыкала глаз и потому ли или по какой другой причине, неожиданно для себя самой задремала днем. И снова увидела сон, который люди считают дурным предзнаменованием. Я только что проснулась и спешу сообщить об этом Вам. Будьте осторожны. Живете Вы так уединенно... Больше всего я боюсь гнева особы, связанной с человеком, который Вас иногда посещает. Нехорошо, что все это приснилось мне именно теперь, когда Вы нездоровы. Я очень беспокоюсь. При всем своем желании приехать к Вам я не могу, ибо состояние Вашей сестры по-прежнему вызывает опасения. Подозревают, что ею овладел злой дух, и правитель Хитати строго-настрого запретил мне отлучаться из дома. Пошлите кого-нибудь, чтобы заказали чтение сутр в близлежащем храме».

Госпожа Хитати прислала также письмо для настоятеля храма и дары для монахов. «Как печально! — подумала девушка. — К чему все это, когда дни мои сочтены?» Отослав гонца в храм, она села писать ответ. Много

хотелось ей рассказать матери, но, не посмев, она начертила всего несколько строк:

«В грядущем  
Ждут нас новые встречи.  
Лучше думать о них,  
И пусть не тревожат сердце  
Сновидения этого мира...»

Порыв ветра принес колокольный звон из храма, где, очевидно, приступили к чтению сутр, и томительная печаль стеснила сердце.

«Донеси до нее  
Этот звон отдаленный  
Вместе с плачем моим.  
Чтобы узнала она — сегодня  
Истекает мой срок в этом мире» —

эту песню она написала на листке бумаги с перечнем прочитанных сутр, а как гонец заявил, что сегодня не сможет вернуться в столицу, привязала листок к ветке и отложила в сторону.

— Что-то у меня сердце щемит, — пожаловалась кормилица. — Вот и матушке вашей привиделся тревожный сон.

И она отправила служанку к сторожам — дескать, пусть будут сегодня особенно бдительны.

«Ах, это просто невыносимо!» — думала девушка, не зная, как от нее избавиться.

— Нехорошо, что вы отказываетесь от угощения, — не отставала кормилица. — Отведайте хотя бы горячего риса.

«Она, конечно, несносна, но ведь она так стара и уродлива. Куда она денется, когда меня не станет?» — думала девушка, и сердце ее сжималось от жалости. «Не намекнуть ли ей, что я не смогу дождаться конца назначенного мне срока?» — подумала она, но эта мысль слишком взволновала ее и, прежде чем она успела вымолвить хоть слово, потоки слез побежали по щекам, и тщетно пыталась она справиться с ними...

— Не стоит так падать духом, — вздохнув, сказала Укон, устраиваясь рядом. — Разве вы не знаете, что «когда думы печальны», душа покидает тело? (77). Недаром вашей матушке приснился тревожный сон. Вы должны, наконец, сделать свой выбор, остальное предоставьте судьбе.

А девушка лежала молча, прикрыв лицо рукавом... Во всяком случае, так мне рассказывали.





---

## ПОДЁНКИ

### Основные персонажи

**Девушка из Удзи** (Укифунэ), 22 года — побочная дочь Восьмого принца

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 28 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

**Дайсё** (Каору), 27 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Госпожа Хитати** (госпожа Тюдзё) — мать Укифунэ

**Принцесса с Третьей линии** — мать Каору, дочь императора Судзаку

**Принц Сикибукё** (Кагэро) — дядя Каору, младший брат Гэндзи, сын императора Кирицубо

**Вторая принцесса** — супруга Каору

**Нака-но кими, госпожа из Флигеля** — средняя дочь Восьмого принца, супруга принца Ниоу

**Второй принц** — старший брат принца Ниоу, сын императора Киндзё

**Государыня-супруга** (Акаси) — дочь Гэндзи

**Первая принцесса** — старшая сестра принца Ниоу, дочь императора Киндзё и императрицы Акаси

**Госпожа Мия** — дочь принца Сикибукё (Кагэро), сына императора Кирицубо

В УДЗИ царило смятение. Люди с ног сбились, разыскивая пропавшую госпожу, но все было тщетно. Впрочем, в старинных повестях часто рассказывается о том, что происходит наутро после похищения героини, поэтому нет нужды еще раз останавливаться на подробностях.

Сумятица достигла своего предела, когда пришел новый гонец от госпожи Хитати, встревоженной тем, что вчерашний посланец до сих пор не вернулся.

— Я выехал на рассвете, едва пропели первые петухи... — сказал гонец, а дамы: «Что же ему ответить?» — не зная и не



представляя, что могло случиться с госпожой, только бестолково метались по дому. Более же осведомленные вспоминали, как печальна была госпожа в последние дни, и с ужасом спрашивали себя: «Уж не бросилась ли она в реку?» Содрогаясь от рыданий, открыли они письмо, присланное госпожой Хитати.

«Какой-то безотчетный страх не дает мне уснуть, — писала она, — этой ночью мне не удалось увидеть Вас даже во сне, меня мучили кошмары, и мое самочувствие до сих пор оставляет желать лучшего. В душе рождаются мрачные предчувствия, поэтому я хочу забрать Вас к себе на то короткое время, которое осталось до вашего переезда в столицу, а поскольку сегодня, наверное, будет дождь...»

Развернув письмо, написанное девушкой накануне вечером, Укон зарыдала. «Так я и думала! Эти полные тоски строки не оставляют места для сомнений. Но почему госпожа не сказала мне ни слова? — терзалась она. — Ведь мы были близки с детства и никогда не имели друг от друга тайн. Как могла она вступить на этот последний путь, даже не намекнув мне? Это жестоко!» Укон рыдала безутешно, топая ногами, словно обиженное дитя. Разумеется, и она, и Дзидзю видели, как печальна была госпожа в последнее время, но им и в голову не приходило, что у нее достанет твердости... «И все-таки каким образом?...» — гадали они, приходя в совершенное отчаяние. Кормилица же вовсе лишилась рассудка и только беспомощно повторяла: «Что нам делать? Ах, ну что же нам делать?»

Тем временем принц, получив от девушки весьма странное письмо, пребывал в недоумении. «Что она задумала? Судя по всему, она отвечает на мое чувство, но, может быть, напуганная разговорами о моем сердечном непостоянстве, она решила скрыться?» Охваченный беспокойством, принц поскакал в Удзи гонца.

Добравшись до горной усадьбы, гонец увидел, что все обитатели ее стенают и плачут и никто даже не вышел к нему, чтобы принять письмо.

— Что здесь происходит? — спросил он первую попавшуюся служанку.

— Наша госпожа неожиданно скончалась сегодня ночью, — ответила он, — и от горя все словно помешались. Как нарочно, нашего покровителя сейчас здесь нет, и мы совершенно потеряли почву под ногами.

Поскольку гонцу не были известны истинные обстоятельства, он, ни о чем более не расспрашивая, вернулся в столицу и сообщил эту новость принцу. Тот был потрясен. Уж не сон ли? В последние дни девушка часто жаловалась на дурное самочувствие — это правда, но она никогда не писала, что тяжело больна. Да и по ее вчерашнему письму невозможно было предположить ничего подобного, наоборот, оно отличалось особым изяществом... Теряясь в догадках, принц призвал Токикату и приказал ему:

— Отправляйся в Удзи, расспроси дам и узнай, что произошло.

— Вероятно, до господина Дайсё дошли какие-то слухи, — отвечал Токиката. — Во всяком случае, сторожа получили от него строгое предупреждение, и теперь даже самый последний слуга не допускается в дом без предварительного допроса. Как только я появлюсь в Удзи без достаточно убедительных на то оснований, об этом немедленно донесут господину Дайсё, и он обо всем догадается. А если госпожа действительно внезапно скончалась, в доме, должно быть, полным-полно людей.

— Наверное, ты прав, но я не могу оставаться в неизвестности, — настаивал принц. — Постарайся добиться свидания с Дзидзю или еще с кем-нибудь из прислужниц, пользующихся доверием госпожи, и выясни, что произошло на самом деле. Слуги вечно все путают, на них нельзя полагаться.

Принц был так расстроен, что Токиката не смог ему отказать и вечером отправился в Удзи.

Звания он был невысокого, а потому довольно быстро добрался до места. Одет он был в самое скромное платье, придававшее ему вид простолюдина: хотя дождь почти прекратился, но пробираться по горным тропам все равно дело нелегкое. Приблизившись к дому, Токиката увидел, что у ворот толпятся люди.

— Сегодня вечером справили последний обряд, — услышал он. Потрясенный, он попытался добиться встречи с Укон, но она была не в состоянии его принять.

— Случившееся столь ужасно, — передает она через служанку, — что я не в состоянии здраво мыслить и не имею сил даже подняться. Поверьте, мне и самой жаль. Ведь вряд ли вы когда-нибудь еще приедете сюда.

— Но смею ли я вернуться в столицу, так ничего и не узнав? Может быть, вторая дама... — настаивает Токиката, и в конце концов его принимает Дзидзю.

— Передайте вашему господину, — говорит она, — что госпожа ушла из мира при самых невероятных обстоятельствах. Так, вряд ли можно было предвидеть... Право, никакими словами не описать нашего отчаяния. Все это словно страшный, мучительный сон. Когда я хоть немного приду в себя, я непременно расскажу вам о последних днях госпожи, о том, какие сомнения терзали ее душу, как она страдала в ту ночь, когда принц уехал, так и не увидевшись с ней. Навестите нас еще раз после окончания срока скорби.

Говоря это, Дзидзю плачет навзрыд. Впрочем, плачет не одна она, весь дом содрогается от рыданий. Слышно, как во внутренних покоях кто-то, скорее всего кормилица, причитает:

— О госпожа, где же вы, вернитесь! Неужели мне не суждено увидеть даже вашей брэнной оболочки? Ах, какое горе! Целыми днями я была рядом с вами, любовалась вами и не могла налюбоваться. Я только и жила ради того, чтобы увидеть вас счастливой. Об этом я мечтала денно и нощно, и жизнь моя продлевалась. Для чего вы покинули меня? Когда б я только знала, где вы... Не верю, что вами завладел какой-нибудь демон или дух. Говорят, что Тайсяку возвращает жизнь тем, кого особенно сильно оплакивают...\* Кто бы ты ни был, похититель моей госпожи, человек или демон, прошу тебя, верни мне ее! Или хотя бы дай увидеть ее брэнную оболочку!

Что-то странное почудилось Токикате в ее словах, и, заподозрив неладное, он снова вызывает к Дзидзю.

— Вы должны сказать мне правду, — настаивает он. — Может быть, вашу госпожу похитили? Меня прислал сюда господин принц, и вы должны быть со мною откровенны точно так же, как были бы откровенны с ним. Того, что случилось, уже не поправишь, но слух о некоторых обстоятельствах, связанных с исчезновением вашей госпожи, наверняка дойдет до принца, и, если то, что он услышит, будет хотя бы в самых мелких подробностях отличаться от того, что расскажу ему я, он лишит меня своего доверия. Да и неужели

вам его не жаль? Ведь он не поверил в известие о ее кончине и прислал меня к вам. А на это способен только тот, чьи чувства действительно глубоки! Многие теряли голову от любви к женщине и у нас, и в чужих землях, но такого, по-моему, еще не бывало.

«Ах, и в самом деле, трогательно, — вздыхает Дзидзю. — К тому же, скрывай, не скрывай, слухи о том, при каких странных обстоятельствах она исчезла, все равно распространятся».

— Неужели мы так оплакивали бы госпожу, если бы у нас была надежда на то, что ее просто похитили? — говорит она. — В последнее время госпожа казалась печальнее обыкновенного, а тут еще намеки господина Дайсё... Ее мать и кормилица — та самая, которая сейчас причитает так громко, слышите? — только и думали о том, как бы поскорее перевезти ее в дом человека, который первым начал ее посещать. А госпожа, жалея вашего господина, молча страдала и печалилась и в конце концов сама свела себя в могилу, погубив и душу свою, и тело. Потому-то кормилица и стенает так громко, не помня себя от горя.

Она все-таки предпочитает ограничиться полунамеками. Так и сумев понять, что же произошло на самом деле, Токиката говорит:

— Что ж, лучше я и в самом деле приеду по прошествии некоторого времени. Трудно разговаривать на ходу, не имея возможности даже присесть. А там, глядишь, и сам принц соберется сюда.

— О, для нас это великая честь. Если в мире станет известно, что принц почтил своим вниманием нашу покойную госпожу, многие позавидуют ее счастью. Вот только сама она всегда заботилась о том, чтобы никто не проник в ее тайну и наверняка предпочла бы обойтись без огласки и теперь. Поэтому я не стану никому не говорить о том, что она скончалась при нескольких необычных обстоятельствах.

Опасаясь, что на глаза Токикате невольно попадутся некоторые подробности, которые она намеревалась скрыть, Дзидзю постаралась выпроводить его побыстрее.

Вскоре под проливным дождем приехала и госпожа Хитати. Вряд ли у меня достанет слов, чтобы описать ее горе!

— Тяжело смотреть, как человек на твоих глазах уходит из мира, — сокрушается она, — но таков обычный удел, это предстоит пережить каждому. Но чтобы так... Как же это произошло?

Не зная ничего о тайных муках, о душевном смятении, которые сделали столь невыносимым существование ее дочери в последнее время, госпожа Хитати и мысли не допускала, чтобы та могла броситься в реку. «Может быть, ее проглотил какой-нибудь демон? — гадала она. — Или утащил лисоборотень? В старинных повестях описано немало самых невероятных случаев. Не исключено, что тут замешана женщина, которую бедняжка всегда так боялась\*. Возможно, какая-нибудь злонравная кормилица, проведая о том, что Дайсё собирается перевезти мою дочь в столицу, не помня себя от ярости, пробралась сюда и выманила ее из дома?»

— Всех ли дам, недавно поступивших на службу, вы хорошо знаете? — спрашивает она, усомнившись в верности прислуги.

— Но никого из новых прислужниц сейчас нет, — отвечают ей. — Не привыкшие жить в глуши, они не могли выполнять здесь даже самых несложных

работ, а потому, захватив с собой все необходимое для подготовки к переезду, разъехались по домам, заявив, что скоро вернуться.

В доме действительно было пустынно, ибо многие из старых прислужниц тоже уехали. Оставшиеся же, и в первую очередь Дзидзю, вспоминали, как много плакала госпожа в последние дни, как часто говорила, что хотела бы умереть... Однажды, разглядывая оставшиеся от нее письма, они обнаружили прижатый тушечницей листок бумаги, на котором было небрежно начертано: «Даже если исчезну...» Взор их невольно обратились к реке, и, услышав громкий плеск волн, они содрогнулась от ужаса...

— Ведь она сама ушла из мира, а они подняли такой шум, ищут ее повсюду... — говорит Дзидзю.

— Да, гадают, что с нею случилось, какое она приняла обличье, — вторит ей Укон. — Жаль их...

— Не лучше ли признаться во всем госпоже Хитати? Я считаю, что за нашей госпожой нет никакой вины, ибо все произошло вопреки ее желанию. Даже если ее мать теперь узнает правду, ей нечего стыдиться. Может быть даже, это облегчит ее страдания.

— Обычно умерший оставляет в мире свою пустую оболочку, над которой и творят соответствующие обряды. У нас нет даже этого утешения, и вряд ли нам удастся предотвратить распространение дурных слухов. Рано или поздно людям все станет известно. Пожалуй, лучше и в самом деле открыться ей и попытаться представить случившееся в наиболее выгодном свете.

И дамы потихоньку рассказывают обо всем госпоже Хитати. При этом они едва не лишаются чувств, слова замирают на их устах. У несчастной матери свет меркнет перед глазами, она готова сама броситься в эту страшную реку, столь безжалостно отнявшую у нее любимое дитя.

— Но пошлите же кого-нибудь, чтоб отыскиали ее тело, — говорит она. — Тогда мы сможем по крайней мере справить положенные обряды.

— Что толку искать теперь? — возражают дамы. — Волны давно унесли ее неведомо куда, может быть даже в открытое море. Стоит ли давать лишний повод к сплетням?

Пока мать, сокрушенная горестной вестью, думает и передумывает об услышанном, дамы распоряжаются, чтобы к дому подвели карету и, уложив туда сиденье ушедшей, ее повседневную утварь, сброшенное ею ночное платье, призывают монахов, которым предстоит оставаться в доме в течение всего времени, установленного для поминальных обрядов — а надо сказать, что приглашены были лишь самые близкие дому монахи — сын старой кормилицы, его дядя и наиболее преданные из их учеников — и, придав уложенным в карету вещам некоторое подобие человеческого тела, отправляют ее к месту погребения. Провожая карету взглядами, мать и кормилица содрогаются от рыданий: «Ах, все это не к добру...»

Неожиданно появляются так запугавшие всех Таю и Удонэри.

— Вам следовало сообщить о случившемся господину Дайсё, — заявляют они. — Он сам назначил бы день и позаботился о том, чтобы обряды были проведены с подобающей случаю торжественностью.

— Это совершенно невозможно, — отвечает Укон. — Обряды должны быть совершены сегодня ночью, не позже. У нас есть причины не придавать делу широкой огласки.

Монахи, которым были известны все обстоятельства, отвели карету к равнине у подножия ближайшей горы, и там, никого не подпуская близко, совершили обряд сожжения. Тонкая струйка дыма поднялась к небу, и все было кончено.

Как это ни странно, в провинции блюдут обычаи куда более ревностно, чем в столице, поэтому многие местные жители открыто выражали свои недовольства.

— Вот чудеса! — ворчали одни. — Отказаться от всех положенных церемоний... Самые бедные семьи и те такого себе не позволяют.

— Так принято в столице, — объясняли другие, — когда у умершей есть братья и сестры, обряд совершают без всякой пышности.

Укон была в ужасе. Итак, даже эти презренные бедняки заподозрили неладное. А что скажет Дайсё? В этом мире сохранить тайну трудно, и слух о том, что от умершей не осталось даже брэнной оболочки, наверняка дойдет до него. А принц? Сначала он будет думать, что госпожу увез Дайсё, но в конце концов непременно узнает, что это не так, ведь они с Дайсё связаны родственными узами. Да и Дайсё со временем перестанет подозревать принца и придет к мысли, что ее похитил кто-то другой. Но кто? При жизни она была вознесена столь высоко, неужели после смерти ее имя станет достоянием дурной молвы?

Укон постаралась предотвратить пересуды: тем слугам, которые во время утреннего переполоха могли кое-что заметить, она велела молчать, а тем, кому неведомы были истинные обстоятельства, не стала ничего объяснять.

— Когда-нибудь — разумеется, если нам удастся задержаться в этом мире — мы расскажем им, что случилось с госпожой, но теперь... — говорила Укон.

— Бедная госпожа! До господина Дайсё могут дойти слухи, которые заставят его разочароваться в ней, — отвечала Дзидзю.

Терзаемые сердечными угрызениями, обе прислужницы только и думали о том, как бы сохранить все в тайне.

Дайсё же незадолго до этих событий уехал в Исияма, ибо заболела принцесса с Третьей линии и надобно было заказать соответствующие молебны. Мысль о девушке из Удзи ни на миг не покидала его, но как никто не сообщил ему о несчастье, он не прислал даже гонцов, усугубив тем самым беспокойство дам, понимавших, что люди наверняка истолкуют это в дурную сторону. Лишь спустя некоторое время один из управляющих Дайсё приехал в Исияма и рассказал ему о том, что случилось в Удзи. Потрясенный неожиданной вестью, Дайсё на следующее же утро отправил туда гонца.

«Мне следовало бы самому приехать к вам сразу же, как только до меня дошло это печальное известие, — писал он, — но я не могу покинуть горную обитель прежде, чем закончится срок воздержания, предписанного мне в связи с болезнью принцессы. Почему вы совершили вчерашний обряд так поспешно, без должной торжественности? Надо было немедленно сообщить мне, тогда, пусть и с некоторым опозданием, но мы проводили бы госпожу в последний путь более достойно. Теперь бессмысленно об этом говорить, но меня неприятно поразило, что даже справляя этот последний обряд, вы навлекли на себя осуждение местных жителей».

Когда гонец, а им был столь преданный Дайсё Окура-но таю, явился в Удзи, дамы, вновь ощутив всю тяжесть утраты, не могли ничего объяснить. Они лишь заливались горькими слезами, как видно, считая свое горе благовидным предлогом для того, чтобы не давать никакого ответа.

Немудрено вообразить, в каком отчаянии был Дайсё. «Зачем я поселил ее в столь ужасном месте? — казнил он себя. — Вероятно, там и в самом деле обитают страшные демоны. К тому же никаких неожиданных неприятностей не произошло бы, не живи она так далеко и так уединенно. Проникнуть к ней не составляло никакого труда. О да, я сам виноват во всем. С человеком, умудренным опытом, ничего подобного не случилось бы».

Чувства Дайсё были в таком смятении, что он не мог сосредоточиться на молитвах и вернулся в столицу. Не заходя на половину супруги, он лишь сообщил ей через прислужницу, что намеревается провести несколько дней в полном уединении, ибо, хотя ничего страшного и не произошло, слух его осквернен недоброй вестью, касающейся близкой ему особы.

Удалившись в свои покои, Дайсё предался печали, сетуя на судьбу, связавшую их столь мимолетно. Перед ним то и дело вставал образ ушедшей возлюбленной, такой, какой она была при жизни — милой, прелестной, и мучительная тоска сжимала сердце. «Ах, почему раньше я был так спокоен, так уверен в себе? — думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. — Почему уделял ей так мало внимания? И где теперь мне искать утешения? Неужели мне не суждено изведать на этой стезе ничего, кроме горестей? Может быть, Будда разгневался на меня за то, что, забыв о высоких устремлениях, я предаюсь обычным для человека этого мира низменным страстям? Или он нарочно не жалует меня милосердием, а подвергает испытаниям, дабы помочь мне обрести просветление?» И Дайсё все свое время отдавал молитвам.

А принц Хёбукё, два или три дня пролежав в беспамятстве, казалось, вовсе лишился рассудка, и близкие его были в отчаянии: «Что за дух вселился в него?» Однако постепенно слезы иссякли, и принц почувствовал некоторое облегчение, хотя тоска по-прежнему снедала его душу, и милый облик ушедшей неотступно стоял перед взором. Он притворялся больным, не желая, чтобы люди видели его покрасневшее и распухшее от слез лицо, но, несмотря на все старания, было ясно, что какая-то тайная горесть поселилась в его сердце, и многие спрашивали, недоумевая:

— Из-за чего такие страдания? Он настолько подавлен, что можно опасаться за его жизнь...

Слух о состоянии принца быстро дошел до Дайсё, и он понял, что был прав в своих подозрениях. «Значит, они, как я и предполагал, не ограничились перепиской, — подумал он. — Да и мог ли принц не плениться ею? Достаточно хоть мельком увидеть ее. Увы, останься она жива, я наверняка снова оказался бы в глупом положении. Тем более, что мы с принцем не чужие друг другу...» Эта мысль несколько охладила жар, охвативший его душу.

В столице только и говорили что о болезни принца, у дома на Второй линии постоянно толпились люди, поэтому Дайсё тоже счел необходимым навестить друга, решив, что многим показалось бы странным, откажись он нарушить свое уединение ради такого случая, тем более что особа, им оплакиваемая, представлялась всем весьма незначительной.

Совсем недавно скончался дядя Дайсё, принц Сикибукё, и Дайсё был в светло-сером одеянии скорби, втайне считая, что носит его в память о своей ушедшей возлюбленной. За последние дни он немного осунулся, и это сообщало его чертам особое изящество.

К вечеру гости разошлись, и в доме на Второй линии стало тихо. Принц был не настолько тяжело болен, чтобы оставаться в постели, и, хотя он отказывался принимать тех, с кем не был близок, старые друзья по-прежнему допускались в его покои.

Приход Дайсё привел принца в сильнейшее замешательство, он боялся, что, увидев его, не сумеет сдержать слез. Однако в конце концов ему удастся взять себя в руки и он говорит:

— Вряд ли мне грозит настоящая опасность, но все полагают, что в таких случаях следует проявлять осторожность. Досадно, что я причиняю столько беспокойства Государю и Государыне. В самом деле, мир наш так непрочен, это не может не печалить!

Он прикрывает рукавом глаза, чтобы скрыть слезы, но они льются неудержимым потоком, повергая его в смущение. «Вряд ли Дайсё поймет, — успокаивает он себя. — Решит, что я просто слишком слаб и малодушен».

А Дайсё, глядя на него, думает: «Увы, я был прав. Он не в силах забыть ее, именно в этом кроется причина его недомогания. С чего же все началось? Каким я был глупцом! Ведь он насмеялся надо мной все это время!» Негодование заставляет его забыть о своем горе.

«Неужели ничто не способно его растрогать? — думает между тем принц, вглядываясь в спокойное лицо друга. — Когда бывает грустно на душе, даже крики летящих по небу птиц вызывают слезы, а уж подобное несчастье... Можно ли оставаться равнодушным, видя мое отчаяние? Не исключено, что он догадывается о причинах, и все же... Не настолько же он нечувствителен... Или так бесстрастны все, кто прозрел тщету мирского?»

В сердце принца зависть мешается с восхищением. К тому же он испытывает прилив трепетной нежности к этому «кипарисовому столбу» (117). Представляя себе, как она льнула к Дайсё, он думает: «Вот единственное, что осталось мне на память от нее!» — и не может оторвать от друга глаз.

Они неспешно беседуют о делах этого мира, и вот Дайсё: «Нельзя же веч-но таиться?» — подумав, говорит:

— Я издавна привык к тому, что в душе моей нет ничего для вас неизвестного, и всегда тяготился, если сразу не мог поделиться с вами своими мыслями и чувствами. Но в последнее время мы редко видимся. Я достиг довольно высокого положения в мире, и непрерывные занятия и хлопоты, сопряженные с моим званием, почти не оставляют мне досуга, у вас же его тем более нет — где тут найти время для неторопливой беседы? К тому же вы редко бываете дома, а в ваши дворцовые покои без повода заходить неудобно. Но дело вот в чем: недавно мне совершенно случайно стало известно об одной особе, связанной родственными узами с дочерью Восьмого принца, жившей когда-то в хорошо вам известном горном жилище и столь безвремененно покинувшей мир. Я хотел взять ее под свое покровительство, дабы иногда навещать, но поскольку в те времена мне приходилось более, чем когда-либо, считаться с приличиями, принужден был оставить ее в месте, совершенно для нее не подходящем, где не мог даже

навещать ее достаточно часто. Постепенно у меня сложилось впечатление, что она не так уж и нуждается в моей поддержке, но, поскольку у меня не было намерения связывать себя с ней более тесными узами, я вполне удовлетворился существующими отношениями и даже по-своему привязался к ней, ибо она была весьма миловидна и приветлива нравом. И вдруг, совершенно неожиданно, она скончалась. Я понимаю, что таков обычный удел нашего мира, и все же не могу не печалиться. Впрочем, не исключено, что вы уже слышали об этом.

Тут обычное самообладание изменяет Дайсё, и на глазах у него показываются слезы. Он изо всех сил старается удержать их, не желая, чтобы принц был свидетелем его постыдного малодушия, однако вопреки его воле они катятся по щекам, и остановить их невозможно. Вид у Дайсё такой растерянный, что принцу невольно становится его жаль. Однако, притворившись, будто ничего не замечает, он говорит:

— Все это и в самом деле печально. Кажется, кто-то говорил мне вчера... Я даже собирался было принести тебе свои соболезнования, но отказался от этого намерения, подумав, что ты предпочитаешь не разглашать этой тайны.

Принц старается не терять самообладания, но сердце его разрывается от горя, и он с трудом принуждает себя говорить.

— Однажды у меня появилось желание просить вас взять ее под свое покровительство, — замечает Дайсё и добавляет весьма многозначительным тоном: — Впрочем, не исключено, что это произошло бы и само собой, без моего вмешательства, ведь по некоторым причинам она могла бывать в доме на Второй линии. Однако вы нездоровы, и мне не следует утомлять вас досужими разговорами. Берегите же себя.

С этими словами Дайсё удалился.

«Принц в самом деле был ни на шутку увлечен ею, — думал он. — Да, как ни коротка оказалась ее жизнь, судьба вознесла ее весьма высоко. Покорить сердце принца Хёбукё, любимца Государя и Государыни, мужа, не имеющего себе равных в мире, — что может быть выше этой участи? Ради девушки из Удзи принц готов был пренебречь своими высокородными супругами, достоинства которых неоспоримы. Вот и теперь люди так беспокоятся из-за него, заказывают молебны, справляют очистительные обряды, а ведь единственной причиной его недомогания является тоска по ушедшей. А я сам? Казалось бы, чего мне недостает в жизни? Чинов я достиг высоких, Государь изволил отдать мне в жены свою любимую дочь... Сердцем же моим безраздельно владеет она одна. Даже теперь — ее уже нет в мире, а меня с неодолимой силой влечет к ней. Ну не глупо ли? Право же, я не должен больше думать об этом...»

Но как ни старался Дайсё взять себя в руки, в душе его царило смятение.

— «Ведь не деревья, не камни — люди, чувства имеют они...»\* — прошептал он, укладываясь спать.

Ему было неприятно, что прислужницы девушки так поспешили с последними обрядами. Сердце его сжималось от жалости к Нака-но кими: «Как воспримет она это известие?» «И почему госпожа Хитати не остановила их? — досадовал он. — Неужели она разделяет столь распространенное среди простых людей мнение, что, если у человека есть другие дети, погребальные обряды должны справляться без особой торжественности?»



Так, во всем этом, несомненно, было что-то странное, однако узнать подробности можно было, только побывав в Удзи, но уезжать туда надолго он не мог, ехать же с тем, чтобы вернуться, даже не присаживаясь, ему не хотелось. Дайсё пребывал в растерянности и недоумении, а дни шли, и скоро луна подошла к концу.

Настал тот день, на который был намечен переезд девушки в столицу. Вечером Дайсё смотрел на сад, и сердце его печально сжималось. Перед покоями, рождая в душе томительные воспоминания, благоухали цветы померанца (103). Пролетая мимо, еще совсем негромко, всего два раза прокричала кукушка...

«Путь известен тебе...» (495) — ни к кому не обращаясь, прошептал Дайсё, затем, вспомнив, что принц Хёбукё находится сегодня в доме на Второй линии, попросил слугу сорвать ветку померанца и написал:

«Знаю, и ты  
Плачешь так же негромко,  
Ведь сердце твое  
Стремится вослед за кукушкой,  
От нас улетевшей так рано».

А принц в тот миг как раз глядел на госпожу из Флигеля и с умилением думал о том, как похожа она на умершую. Супруги сидели, печально задумавшись.

Разве можно было не понять, на что намекал Дайсё?

«В твоём саду,  
Где благоухают нежно (103)  
Цветы померанца,  
Даже кукушки, верно,  
Обладают чуткой душой.

Ваши намеки невыносимы...» — ответил принц.

Нака-но кими уже знала о случившемся. «Какой печальной и удивительной короткой оказалась жизнь обеих моих сестер, — думала она. — Не потому ли, что они все горести принимали так близко к сердцу? И только я, не знавшая печалей, живу и живу... Но надолго ли?..»

Рассудив, что нелепо скрывать от супруги то, что она, судя по всему, уже знает, принц — разумеется, в несколько измененном виде — рассказывает эту грустную историю.

— Меня очень обидело, что вы спрятали ее от меня, — говорит он, и смеясь, и плача. Умершая была близко связана с Нака-но кими, и это кажется ему особенно трогательным.

В доме на Второй линии принц чувствует себя гораздо свободнее, чем в сверкающем изысканной роскошью жилище Левого министра. Там, стоит ему почувствовать малейшее недомогание, поднимается шум, в покоях целыми днями толпятся люди, приходящие справиться о его здоровье, а министр с сыновьями докучают неустанными заботами.

Дни шли за днями, а принц Хёбукё по-прежнему жил словно во сне. Жестокое недоумение терзало его душу. «Отчего так внезапно?» — спрашивал он себя и однажды, призвав обычных прислужников своих, отправил их за Укон.

Госпожа Хитати тем временем вернулась в столицу, не имея сил оставаться в Удзи, где все располагало к унынию, а плеск волн в реке производил в сердце столь страшное впечатление, что у нее самой возникало неудержимое желание броситься в воду. После ее отъезда в доме стало совсем пустынно, и дамам оставалось уповать лишь на зывающих к Будде монахов. Поэтому, когда приехали посланцы принца Хёбукё, суровые стражи, столь ревностно охранявшие прежде дом, и не пытались препятствовать им. «А ведь это они не пустили господина в тот последний раз!» — вспомнилось приехавшим, и сердца их стеснились от жалости.

Приближенные принца не могли не тревожиться, глядя на своего господина, сгорающего от недозволенной страсти, однако стоило им оказаться в Удзи, как мысли о прошлом нахлынули на них с такой силой, что даже самые стойкие не сдержали слез. В памяти всплыли те ночи, когда они приезжали сюда вместе с принцем, вспомнилось, как прекрасен он был в то давнее утро, когда шел к лодке, прижимая к груди свою возлюбленную.

Увидев гонца, Укон разрыдалась, да и неудивительно.

— Господин принц прислал нас за вами, — говорит Токиката.

— Дамам покажется странным, если я покину их теперь, — отвечает Укон. — К тому же мысли мои в беспорядке, и я вряд ли сумею внятно объяснить, что произошло. Лучше я приеду к вашему господину по окончании срока скорби. Тогда мне наверняка удастся отыскать подходящий предлог. Если моя жизнь продлится — в чем я очень сомневаюсь — я непременно навещу вас, как только обрету душевный покой, и расскажу принцу об этом страшном сне. Поверьте, я сделала бы это, даже если бы он не присылал за мной.

Ясно, что сегодня она никуда не поедет.

— Я не знаю всех подробностей, — плача, говорит Токиката, — и не вправе судить... Но одно мне известно доподлинно — чувства нашего господина были и в самом деле необыкновенно глубоки. Я был уверен, что скоро и вы окажетесь в доме, где у меня будет возможность беспрепятственно опекать вас, а потому не торопился выказывать вам свое расположение. А после того, как произошло это страшное несчастье, мое сердце устремилось к вам с еще большей силой...

— Принц нарочно подготовил для вас карету, — продолжает он. — Неужели его старания были напрасны? Может быть, со мной согласится поехать вторая дама?

— Раз так, поезжай ты, — говорит Укон, вызвав Дзидзю.

— Неужели ты думаешь, что я сумею рассказать принцу больше, чем ты? — возражает та. — Да и вправе ли мы вообще уезжать отсюда до окончания срока скорби? Разве принц не боится осквернения?

— Об этом не беспокойтесь, — отвечает Токиката. — В последнее время принцу постоянно нездоровится, и ему предписано соблюдать воздержание. Так что он надежно защищен от скверны. К тому же с вашей госпожой его связывала отнюдь не мимолетная прихоть, и было бы лучше, если бы он тоже затворился в своих покоях на все время скорби. Так или иначе, скорбеть вам осталось совсем недолго, поэтому пусть одна из вас все-таки поедет со мной.

В конце концов поехала Дзидзю, которой больше всего на свете хотелось увидеть принца, а как знать, может, другого случая и не представится...

Темное платье было ей очень к лицу. После кончины госпожи Дзидзю, будучи старшей в доме по званию, обходилась без мо, а потому даже не сочла нужным его покрасить. Теперь, не имея под рукой темно-серого мо, она надела бледно-лиловое.

«Будь госпожа жива, ее тоже везли бы тайно по этой дороге... — думала Дзидзю. — Ах, ведь принц пленил и мое сердце, хотя никто и не подозревал о том...» Как же это было печально и как трогательно! Всю дорогу Дзидзю горько плакала.

Когда принцу доложили: «Приехала Дзидзю», печаль стеснила его сердце. Не желая, чтобы о ее приезде узнала госпожа, он не стал ничего говорить ей, а перешел в главный дом и распорядился, чтобы карету подвели к галерее.

Вот что рассказала ему Дзидзю:

— В последнее время госпожа казалась печальнее и задумчивее обыкновенного, а в ту ночь долго плакала, была на удивление молчалива, какое-то странное равнодушие ко всему овладело ею. Госпожа и раньше, какие бы мрачные мысли ни тяготили ее, не делилась с нами своими горестями, вот и на прощание ничего не сказала. Увы, нам и не грезилось, что у нее нет твердости...

Неизъяснимая, мучительная тоска сжала сердце принца. «Каждому суждено уйти из этого мира, — думает он. — Но решиться на такое... Неужели она действительно сама бросилась в реку? Ах, почему меня не было рядом, я остановил бы ее!» — сетует он, но, увы...

— А ведь мы могли догадаться обо всем, когда она жгла и уничтожала письма... — вздыхает Дзидзю.

Так они беседовали до рассвета. Принц узнал и о песне, которую госпожа написала на перечне сутр.

Теперь даже к этой пр ислужнице, которая прежде никогда не привлекала его взора, он испытывает искреннюю нежность.

— Не лучше ли тебе остаться здесь? — предлагает он ей. — Ведь госпожа из Флигеля тебе тоже не чужая.

— Ах нет, боюсь, что здесь я буду тосковать еще больше, — отвечала Дзидзю. — Быть может, потом, когда закончится время скорби...

— Приезжай же снова, я буду ждать тебя.

Теперь даже с ней ему тяжело расставаться.

На рассвете Дзидзю собирается уезжать, и принц дарит ей на прощание шкатулку с гребнями и ларец с нарядами. Все это было изготовлено по его распоряжению для ее госпожи. Он приготовил много других вещей, но, не желая смущать Дзидзю излишне роскошными дарами, ограничился тем, что она могла увезти сама. Впрочем даже эти дары повергли Дзидзю, не ожидавшую ничего подобного, в сильнейшее замешательство: «Что скажут дамы, увидев их? Наверняка мне предстоит услышать немало неприятного...» — думала она, но разве можно было отказать принцу?

Вернувшись, Дзидзю показала дары Укон, а как в тот день заняться им было особенно нечем, они долго рассматривали прекрасные, тончайшей современной работы вещи и плакали навзрыд. Тщательно подобранные наряды тоже были великолепны.

— Где же мы их спрячем в такое время? — тревожилась Дзидзю.

Тем временем Дайсё, также измученный неизвестностью, отправился в Удзи. Знакомые места пробудили в его сердце томительные воспоминания об ушедших в прошлое днях. «Хотел бы я знать, какое предопределение привело меня в дом Восьмого принца? — спрашивал он себя. — Сколько горестей изведаль я здесь, а теперь еще и эта неожиданная утрата. Я верил, что сам Будда привел меня к этому почтенному старцу, и готов был помышлять лишь о грядущем мире, но, видно, сердце мое оказалось недостаточно чистым, и я свернул с пути... Не нарочно ли Будда подверг меня столь тяжким испытаниям?..»

Приехав в Удзи, Дайсё вызывает Укон.

— Мне до сих пор неизвестны подробности, — говорит он ей. — Все это случилось слишком неожиданно, и я до сих пор не могу смириться. Я намеревался навестить вас после того, как закончится срок скорби, тем более что ждать осталось немного, но, не сумев справиться с волнением... Скажи мне, наконец, что послужило причиной внезапной гибели вашей госпожи?

«Стоит ли скрывать от него правду? — вздыхает Укон. — Я уверена, что монахиня Бэн обо всем догадывается, да и остальные прислужницы тоже. В конце концов кто-нибудь расскажет ему о том, что здесь произошло, да еще истолкует по-своему. За это время я научилась довольно ловко лгать и до сих пор мне удавалось вводить всех в заблуждение, вот и теперь я заранее придумала, что скажу господину Дайсё, но оказавшись с ним лицом к лицу и ощутив на себе его строгий, пронизывающий взгляд, все забыла и не знаю, что сказать...»

В конце концов Укон рассказывает ему все. Услышанное показалось Дайсё настолько неправдоподобным, что он долго не может выговорить ни слова. «Этому просто невозможно поверить! — думает он. — Такая тихая, такая молчаливая, не роптавшая даже тогда, когда возропала бы любая другая женщина, как решилась она на этот отчаянный шаг? Уж не обманывает ли меня Укон? Но горе принца казалось таким искренним... К тому же эти дамы, служанки... Наверняка, кто-нибудь из них выдал бы себя, будь все это лишь хитрой уловкой. Но рыдания, которыми они меня встретили, не могут быть притворными».

— Может быть, исчез еще кто-нибудь? Не скрывай от меня ничего, прошу тебя. Не верится, что она покинула этот мир единственно потому, что я был недостаточно внимателен к ней. Что могло вдруг случиться, чтобы она решилась на такой шаг? О нет, я просто не могу поверить...

Укон приходит в замешательство: ей жаль Дайсё, к тому же, судя по его словам, он и в самом деле о многом догадывается.

— Я думала, вы знаете... — говорит она. — Дело в том, что госпожа с раннего детства воспитывалась в обстановке, мало для нее подходящей. А когда вы изволили привезти ее в это уединенное жилище, она стала часто грустить и постепенно впала в совершенное уныние. Ваши редкие посещения — единственное, что поддерживало ее, заставляло забыть о прошлых невзгодах. А как мечтала госпожа о том времени, когда сможет чаще видеться с вами! Правда, она никогда не говорила об этом вслух, но я-то знала... Как радовались мы, что ее надежды скоро сбудутся, как старательно готовились к переезду! Я уж не говорю о горе Цукуба\* — она была так счастлива, что наконец-то сбылись ее чаяния. И вдруг от вас пришло то странное письмо. Потом

и сторожа заявили, что господин наказал им быть бдительнее, ибо до него якобы дошел слух о недостойном поведении дам. Эти неотесанные мужланы стали вести себя вызывающе, причем без всяких оснований... Мы не знали, что и думать. К тому же вы совсем перестали писать. Госпожа, которая с малолетства привыкла не ждать от жизни ничего, кроме горестей, была в отчаянии. Она жалела мать, ведь, столько сил затратив на воспитание дочери, несчастная жила лишь надеждой на будущее, и если бы ее ожидания оказались обманутыми, если бы дочь ее стала всеобщим посмешищем, это оказалось бы для нее слишком жестоким ударом... О, я уверена, что госпожу тяготило именно это. Трудно себе представить, что была другая причина... К тому же, если бы ее похитили демоны, наверняка остались бы хоть какие-то следы...

Укон рыдала так отчаянно, что подозрения Дайсё рассеялись, и он тоже заплакал.

— Но ты ведь знаешь, что я живу у всех на виду и не могу произвольно располагать собой... — говорит он. — Я был уверен, что со временем все уладится, что, перевезя вашу госпожу в столицу, я сумею создать ей достойное положение. Что касается моей холодности, то, по-моему, причина в том, что ей просто было с кем меня сравнивать. Возможно, сейчас не следует об этом говорить... К тому же мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь слышал... Я имею в виду принца Хёбукё. Когда он начал встречаться с нею? Принц обладает удивительной способностью повергать в смятение женские сердца, быть может, ваша госпожа решила уйти из мира потому, что он слишком редко навещал ее? Расскажи мне все, ничего не утаивая.

«Значит, он действительно знает», — подумала Укон, и ей стало искренне жаль покойную госпожу.

— Представляю, как неприятно поразили вас эти слухи... — говорит она. — Но, поверьте, я ни на миг не отлучалась от госпожи...

И, немного помолчав, продолжает:

— Вы, должно быть, слышали о том, что однажды госпожа провела несколько дней в доме на Второй линии. К нашему ужасу, принцу неожиданно удалось проникнуть в ее покои. Возмущенные столь неожиданным вторжением, мы вынудили его уйти, но госпожа была настолько напугана, что поспешила переехать в тот самый дом, где вы изволили ее обнаружить. Мы надеялись, что принц не сумеет отыскать ее, но каким-то образом он выведал, где она находится, и, начиная со Второй луны, когда мы уже жили здесь, в Удзи, начал писать к ней. Уверяю вас, она и смотреть не хотела на его письма, хотя их было немало. Сознаюсь, иногда я сама просила ее ответить, полагая, что неприлично пренебрегать вниманием столь важной особы. Кажется, она послушалась и ответила раз или два. Вот и все. Больше мне ничего не известно.

Право, любой другой ответил бы на ее месте точно так же! Пожалев ее, Дайсё не стал больше ничего выпытывать и долго сидел, погрузившись в печальную задумчивость. «Скорее всего, оказавшись не в силах противиться поистине редкому обаянию принца и вместе с тем сохранив искреннее расположение ко мне, она не сумела остановить свой выбор на одном из нас и, не обладая душевной твердостью, решила уйти из жизни, а как река была рядом... Возможно, если бы я не поселил ее в таком диком месте, она не стала бы искать «глубокое ущелье» (496), а сумела бы примириться со

своими несчастьями. Но что за горестное предопределение связало меня с этой рекой?»

Так, мысли его снова и снова возвращались к реке, и никогда еще она не казалась ему такой коварной и жуткой. Сколько раз, влекомый неодолимым чувством, пускался он в путь по опасным горным дорогам! Увы, в сердце Дайсё не осталось ничего, кроме горечи, само название этого селения стало ему ненавистно. «Зачем вслед за госпожой из Флигеля я называл ее подобием ушедшей? — думал он. — Уже это было дурным предзнаменованием\*. Получается, что именно я виноват в ее ужасной кончине. А я еще осуждал несчастную мать за невнимание к последним обрядам! Как велико должно быть ее горе! К сожалению, дочь была слишком для нее хороша. Разумеется, она ни о чем не догадывается, и скорее всего подозревает связанную со мной особу...»

В доме нечего было опасаться скверны, но, не желая подавать подозрения окружающим, Дайсё решил не заходить в покои. Однако сидеть на подставке для оглобелей где-нибудь у боковой двери ему тоже не хотелось, и в конце концов он устраивается в саду под развесистым деревом, на мягкой подстилке из мха.

«Наверное, теперь мне будет тяжело приезжать сюда...» — думает он, окидывая взглядом знакомые места.

Если и я  
 Это селенье печальное  
 Оставить решусь,  
 Разве кто-нибудь вспомнит  
 О плюще у старого дерева?

Призвав Адзари (которому недавно был пожалован сан рисси), Дайсё поручает ему отслужить поминальные молебны. Помимо этого он отдает распоряжение увеличить число молящихся в доме монахов. Зная, что ушедшая обременила душу особенно тяжким преступлением, Дайсё полагал своим долгом облегчить ее участь и, предусмотрев все до мелочей, лично позаботился о священных текстах, изображениях будд и прочих подношениях, которыми принято отмечать каждый седьмой день. Когда стемнело, он двинулся в обратный путь, преследуемый неотвязной мыслью — «Будь она жива, разве уехал бы я так рано?» Перед отъездом Дайсё попросил сообщить о себе монахине Бэн, но она отказалась выйти.

— Мне не хотелось бы показываться вам в столь неприглядном виде. Целыми днями я предаюсь печали, свет меркнет в моих глазах, — сказала она, и Дайсё не стал настаивать.

Всю обратную дорогу он клял себя за то, что сразу же не увез девушку в столицу, и, пока слышен был плеск волн в реке, сердце его разрывалось от тоски. «Что за печальный конец! — думал он. — Увы, даже брэнной оболочки не дано мне было увидеть. Где она теперь, какое приняла обличье, среди каких раковин затерялось ее тело?»

Между тем госпожа Хитати, не осмеливаясь вернуться домой, ибо ее младшая дочь вот-вот должна была разрешиться от бремени, и в доме боялись скверны, скиталась по разным временным жилищам, и горе ее было безутешно.

«Ах, хоть бы с младшей ничего не случилось...» — тревожилась она, но, к счастью, роды закончились благополучно. Однако госпожа Хитати, считая, что ее присутствие теперь не к добру, не спешила возвращаться. Забыв и думать о других детях, она целыми днями оплакивала ушедшую. Однажды ее тоскливое уединение нарушил тайный посланец Дайсё, и хотя она мало что понимала, сердце ее стеснилось радостным волнением.

«Я давно уже хотел принести свои соболезнования именно Вам, — писал Дайсё, — но чувства мои были в смятении, и глаза застилались слезами. Представляя себе, в каком мраке должна блуждать Ваша душа, я не решался докучать Вам своими посланиями, а дни тем временем тянулись однообразной, унылой чередой. Как же все непрочно в нашем мире! Не знаю, удастся ли мне обрести утраченный покой, но, если жизнь моя продлится, я почел бы за счастье заботиться о Вас и надеюсь, что в память об ушедшей Вы будете обращаться ко мне со всеми своими нуждами».

Посланцем Дайсё был тот самый Окура-но таю. А вот что передал он на словах: «Пока я думал да передумывал, прошло немало времени, и вы можете усомниться в искренности моих намерений. Обещаю вам, что отныне буду всегда помнить о вас. И вы тоже не забывайте меня и тайком давайте о себе знать. У вас много сыновей, я готов позаботиться о них, когда придет им пора поступать на службу».

— Не беспокойтесь, я не соприкасалась со скверной, — заверила госпожа Хитати и настояла на том, чтобы Окура-но таю зашел в покои. Обливаясь слезами, она написала ответ:

«Больше всего на свете я хотела бы умереть, но, увы, даже этого мне не дано. Впрочем, не для того ли продлилась моя жизнь, чтобы я могла услышать от Вас теплые слова участия? Вы себе не представляете, как страдала я все эти годы, видя дочь свою в столь бедственном положении и сознавая, что причиной тому — мое собственное ничтожество. Я была так благодарна за честь, которую Вы ей оказали, у меня впервые появилась надежда на будущее. Но, увы, все прошло прахом... Видно, такова судьба всех, кто поселяется в том печальном селении. Там действительно нечего ждать, кроме горестей... Если жизнь моя продлится, я не премину воспользоваться Вашим любезным предложением. Но теперь... Увы, в глазах темнеет, и я не могу даже поведать Вам...»

В подобных случаях не принято одаривать посланца, но, очевидно, госпоже Хитати захотелось хоть как-то выразить свою признательность, поэтому она достала меч и прекрасный пятнистый пояс\*, давно уже приготовленные ею для Дайсё, и, положив их в парчовый мешок, попросила даму вручить все это Окура-но таю, когда тот садился в карету, со словами: «Примите на память об ушедшей...»

Когда Окура-но таю показал дары господину, тот не сумел скрыть досады: «В такое время...»

— Госпожа Хитати приняла меня лично, — сообщил посланец. — Она плакала все время, пока мы с ней разговаривали. Среди всего прочего она просила передать вам благодарность за внимание, которое вы готовы оказать ее малолетним сыновьям. Она понимает, какая это честь для них, ибо, при столь низком происхождении... Короче говоря, она пришлет их к вам в ближайшее время, чтобы они прислуживали у вас в доме, и обещает никому не говорить ни слова о причинах вашего к ним расположения.

«Вряд ли кто-нибудь станет гордиться родством с правителем Хитати, — подумал Дайсё, — но даже в высочайших покоях прислуживают иногда девицы из подобных семейств. И если одной из них удастся снискать благосклонность Государя, кто осудит ее? А уж о простых подданных и говорить нечего, они часто сочетаются узами брака с девицами низкого происхождения или женщинами, уже имевшими супруга. Даже если бы девушка была родной дочерью правителя Хитати, связь с ней вряд ли могла повредить мне, тем более что у меня никогда не было намерения предавать ее огласке. Так или иначе, я должен показать несчастной матери, какая честь для ее детей быть связанными с умершей».

Прошло еще несколько дней, и госпожу Хитати навестил супруг. Он был вне себя от гнева, и, не присаживаясь, обрушился на нее с упреками: мол, она не должна в такое время оставлять дом. А надо сказать, что госпожа Хитати никогда не рассказывала супругу подробностей о своей дочери, он не знал даже, где она живет, а посему пребывал в уверенности, что она влечит жалкое существование. Госпожа Хитати собиралась открыть ему все, когда девушку перевезут в столицу, и она будет осыпана почестями и окружена вниманием. Но что толку было скрывать от него правду теперь, когда все ее надежды рухнули? Горько плача, она рассказала ему все, что произошло за это время, и показала письмо Дайсё. Правитель Хитати снова и снова перечитывал его, недоумевая и изумляясь, ибо он, как и остальные провинциальные чиновники, привык с подобострастием взирать на сановных особ.

— Как жаль, что она умерла, упустив столь счастливую возможность! — посетовал он. — Я иногда бываю в доме господина Дайсё, поскольку нахожусь в давней зависимости от его семейства, однако я слишком ничтожен, чтобы приближаться к нему самому. Но, насколько я понимаю, он обещает позаботиться о наших сыновьях. Это позволяет надеяться на будущее.

Радость, отобразившаяся на его лице, повергла госпожу Хитати в еще большее отчаяние. «О, если б моя несчастная дочь была жива!» — думала она, рыдая. Ее супруг тоже счел своим долгом заплакать.

А ведь будь девушка жива, семейство правителя вряд ли удостоилось бы внимания Дайсё. Теперь же он чувствовал себя виноватым и, желая хоть как-то загладить свою вину, готов был мириться даже с неизбежными пересудами.

Приближался Сорок девятый день, и после недолгих колебаний — а действительно ли ее нет уже в этом мире? — Дайсё решил, что молебны в любом случае не повредят, и тайком поручил Рисси справить необходимые обряды, особо позаботившись о том, чтобы все шестьдесят монахов получили щедрое вознаграждение.

Госпожа Хитати тоже приехала в Удзи и сделала некоторые дополнительные приношения от своего имени.

Принц Хёбукё прислал на имя Укон серебряный горшочек, наполненный золотом. Опасаясь пересудов, он предпочел ограничиться этим скромным приношением, сделанным к тому же от имени Укон, так что люди, не знавшие истинных обстоятельств, недоумевали: «Откуда у простой прислужницы...»

Дайсё изволил прислать самых верных своих приближенных.

— Столько шума, и ради кого? Ради никому не известной особы? — дивились люди. — Кто же она?





Когда же явился правитель Хитати и с самодовольным видом принялся распоряжаться в доме, всеобщее недоумение еще более возросло.

А тот, глядя вокруг, думал о том, сколь ограничены возможности людей низкого сословия. Вот он, к примеру, совсем недавно праздновал рождение внука и, казалось бы, ничего не пожалел, чтобы должным образом украсить покои. Чего там только не было: и китайская утварь, и корейская. И все же до такого великолепия ему было далеко, даром что поминальные обряды проводились без огласки. «Как же высоко вознесла ее судьба! — изумлялся он, глядя вокруг. — А ведь будь она жива, меня бы и близко к ней не подпустили».

Нака-но кими подготовила дары для монахов, читавших сутры, и угощение для семи монахов.

Теперь даже Государю стало известно о существовании девушки из Удзи, и он невольно пожалел Дайсё, ибо тот из почтительности ко Второй принцессе, вынужден был прятать от всех столь дорогую его сердцу особу.

И Дайсё, и принц Хёбукё по-прежнему оплакивали свою утрату. Велико было горе принца, потерявшего возлюбленную в тот миг, когда страсть его достигла своего предела, однако, будучи человеком легкомысленным, он не упускал ни малейшей возможности утешиться. Дайсё же почти не имел досуга, занимаясь подготовкой к поминальным обрядам и опекая семейство покойной, и печаль его ни на миг не рассеивалась.

Государыня-супруга на время скорби по принцу Сикибукё переехала в дом на Шестой линии. Главой Церемониального ведомства стал Второй принц. Новое звание, подняв его значение в мире, одновременно ограничило свободу, и он не мог так часто навещать Государыню, как ему хотелось.

Тем временем принц Хёбукё томился от тоски и, когда ему делалось особенно грустно, искал утешения в покоях Первой принцессы. Ей прислуживало немало миловидных дам, но, к его величайшей досаде, разглядеть их, как ему того хотелось, было невозможно.

Одну из них называли госпожа Косайсё. Дайсё стоило немалого труда завязать с ней тайные отношения. Внешне она была привлекательна, к тому же он считал ее весьма даровитой особой. В ее руках даже самое простое кого звучало необыкновенно сладостно, никто не мог изящнее написать письмо или поддержать беседу.

Принц тоже давно уже отличал эту даму и по своему обыкновению неоднократно пытался разрушить ее союз с Дайсё. Однако Косайсё решительно отвергла принца: «Зачем быть такой как все?» — чем порадовала своего благоразумного поклонника, окончательно утвердившегося в мысли о ее превосходстве над другими.

Так вот, зная, в каком горе пребывает Дайсё в последние дни, эта дама, исполненная сострадания, посылает ему письмо:

«Сердце мое  
Открыто для жалости, в этом  
Не уступаю никому.  
Вот только я слишком ничтожна,  
В любой миг готова исчезнуть.

Да, когда б заменили... (497)».

Бумага для этого послания была подобрана с большим вкусом, к тому же госпожа Косайсё позаботилась о том, чтобы Дайсё получил его в тот миг, когда спустились тихие, печальные сумерки...

Изведал сполна  
Сколь наш мир переменчив.  
Но разве стану  
Громко вздыхать, чтобы люди  
О моей печали узнали?

Растроганный тем, что Косайсё удалось так глубоко проникнуть в его чувства, Дайсё немедленно отправился к ней, желая лично выразить свою признательность. Вряд ли когда-нибудь столь важная особа удостоивала посещением скромные покои придворной дамы. Подивившись их малым размерам, Дайсё устраивается у двери. Как ни велико замешательство Косайсё, держится она с обычным достоинством и, отвечая на вопросы, вызывает удивительную тонкость понимания. «Даже ушедшая не обладала такой душевной чуткостью, — невольно приходит в голову Дайсё. — Любопытно знать, что заставило эту особу пойти в услужение к принцессе? Я и сам не прочь взять ее под свое покровительство». Однако он и виду не подает, что появилось у него такое тайное желание.

Когда в полном цвету были лотосы, Государыня-супруга устроила Восьмичастные чтения. Особенно великолепные дары — прекрасно выполненные священные изображения и сутры — были поднесены в честь министра с Шестой линии и госпожи Мурасаки. Больше всего людей собралось в тот день, когда читался Пятый свиток. Все, кто имел знакомых среди придворных дам, поспешили воспользоваться их гостеприимством, дабы не упустить редкой возможности насладиться прекрасным зрелищем. На пятый день утром чтения были окончены, и служители принялись приводить в порядок покои, заменяя молитвенную утварь повседневной. Перегородки, отделявшие северные передние покои от внутренних, были убраны, и люди свободно передвигались по дому, поэтому Первая принцесса временно перебралась в западную галерею. Ее дамы, утомленные долгими чтениями, к вечеру разошлись по своим покоям, и рядом с принцессой почти никого не было.

Случилось так, что как раз в это время Дайсё понадобилось переговорить с кем-то из монахов, которые должны были сегодня покинуть дом на Шестой линии, и, переодевшись в носы, он зашел в павильон Для рыбной ловли. Обнаружив, что монахи уже удалились, он прошел на ведущую к пруду галерею и сел там, наслаждаясь вечерней прохладой. В павильоне малолюдно, и Дайсё внезапно приходит на ум, что дамы Первой принцессы, в том числе и Косайсё, помещаются скорее всего на галерее, соединяющей павильон с домом, и, возможно, лишь переносные занавесы скрывают их от посторонних взглядов... Тут, словно в подтверждение этих мыслей до него доносится легкий шелест платьев. Заметив, что перегородка со стороны висячего перехода чуть отодвинута, он тихонько подходит к образовавшейся щели и заглядывает в нее.

Не похоже чтобы здесь жили простые придворные дамы. Убранство поражает утонченной роскошью, вот только занавесы расставлены как попало, и покои просматриваются насквозь. Три взрослые дамы и девочка-служанка хлопочут возле большого блюда, силясь расколоть лежащий на нем кусок льда. Все они в нижних платьях и, судя по всему, чувствуют себя довольно свободно, словно госпожи нет рядом. Однако поодаль лежит поразительно красивая женщина в платье из белой кисеи и, улыбаясь, глядит на спорящих из-за льда дам. День стоит нестерпимо жаркий, и, очевидно, изнемогая под тяжестью необыкновенно густых волос, она откидывает их в сторону, невольно повернувшись при этом в сторону Дайсё — поистине несравненная красота. «Немало миловидных женщин встречал я на своем веку, — восхищается Дайсё, — но такой еще не видывал». В самом деле, прислуживающие в покоях дамы рядом со своей госпожой кажутся неприметными, словно грубые комья земли. Впрочем, присмотревшись, Дайсё замечает среди них одну, явно превосходящую прочих благородством осанки и изяществом черт. На ней желтое платье и светло-лиловое мо. Неторопливо обмахиваясь веером, эта дама говорит: «Не кажется ли вам, что от этой возни со льдом прохладнее не станет, напротив... Может, лучше просто глядеть на него, не трогая?» Ее улыбающееся лицо прелестно. Дайсё узнает голос — это та самая особа, ради которой он пришел сюда. Между тем дамам все-таки удается расколоть лед, и каждая берет себе по куску. Многие тут же прикладывают лед к голове или к груди, причем некоторые выглядят при этом довольно неприлично. Дама в желтом, завернув кусок льда в бумагу, подносит его

принцессе. Но та, протянув к дамам необыкновенно изящной формы руки, просит вытереть их.

— Ах нет, льда больше не надо, — говорит она. — Он слишком быстро тает, это невыносимо.

Ее голос еле слышен, но Дайсё вне себя от радости. Он видел Первую принцессу, когда она была совсем еще дитя, да и он сам мало что понимал, помнится, он еще подумал тогда: «какая красивая девочка!» С тех пор он даже не слышал о ней и теперь спрашивал себя, каких богов и будд должен благодарить за столь счастливое стечение обстоятельств. Или его снова подвергают испытанию, нарочно смущая его покой?..

Такие беспокойные мысли бродили в его голове, когда он стоял, не отрывая глаз от принцессы. Перегородку же отодвинула одна из живущих в северной части флигеля прислужниц. Зачем-то выйдя, она второпях забыла задвинуть ее и, вспомнив о том по прошествии некоторого времени, испугалась, что кто-нибудь заметит, и ее станут бранить за небрежность. Желая исправить свой промах, она вернулась и — о ужас! Кто это? Взору ее представилась фигура облаченного в носы мужчины. Забыв, что и ее могут увидеть, она побежала прямо по галерее по направлению к нему, и Дайсё, не желая оказаться застигнутым за столь легкомысленным занятием, отошел и поспешно спрятался. Дама совсем растерялась. «Вот беда! — думала она. — Незнакомец, несомненно, видел все, ведь даже занавесы были отодвинуты. Но кто он? Скорее всего один из сыновей Левого министра. Вряд ли сюда мог проникнуть посторонний. Как только об этом узнают, наверняка возникнет вопрос: «А кто оставил перегородку отодвинутой?» Странно, что дамы не заметили его приближения. Впрочем, в платье из легкого шелка можно подойти так тихо, что никто и не услышит».

Дайсё тоже долго не мог успокоиться. «Сколь чисты были мои помышления! — думал он. — Но стоило раз свернуть с праведного пути, и теперь меня постоянно гнетут печальные мысли! О, почему я тогда не отвернулся от мира? Жил бы теперь где-нибудь в горной глуши, и недостойные чувства не смущали бы моего сердца». Но как ни пытался он взять себя в руки, ему это не удавалось. «Все эти годы я мечтал увидеть Первую принцессу, и что же? Теперь мне еще тяжелее...»

На следующее утро Дайсё внимательнее обычного вглядывался в прекрасное лицо своей супруги. «Неужели та еще красивее? — думал он. — Впрочем, они совсем не похожи. В Первой принцессе столько благородства и удивительного изящества. Ах, никакими словами не передашь, как она была хороша вчера! Но, может быть, это простая игра воображения?.. Да и обстановка располагала...»

— Сегодня очень жарко, — говорит он, обращаясь к супруге. — Почему бы вам не надеть более легкое платье? Иногда необычное одеяние сообщает женщине особую прелесть. Пойдите в покои Третьей принцессы, — приказывает он одной из дам, — велите Дайни сшить и принести сюда платье из кисеи.

Дамы одобрительно кивают. «Красота госпожи в самом расцвете, — очевидно, думают они. — Когда и любоваться ею, как не теперь?»

Как обычно, Дайсё удалился для свершения молитв на свою половину. Когда же днем он снова пришел к супруге, платье, о котором шла речь утром, висело, перекинутое через планку занавеса.

— Почему же вы его не надеваете? — спрашивает он. — Неприлично носить просвечивающие одежды, когда вокруг много чужих людей, но сейчас...

И Дайсё сам помогает супруге переодеться.

Хакама у нее алые, такие же, как у сестры, а волосы столь же густы и прекрасны, но в целом сходство невелико, обе красивы, но каждая по-своему. Попросив, чтобы принесли лед, Дайсё велит дамам наколоть его, затем, испытывая какое-то странное волнение, предлагает кусок льда супруге. «Я слышал, что был человек, целыми днями смотревший на портрет любимой\*, — подумал он, — но не лучше ли иметь перед собой такое утешение? О, когда б и вчера я мог вот так же, без всяких церемоний быть рядом и смотреть на нее...» И неожиданно для самого себя Дайсё вздыхает.

— Вы часто пишете Первой принцессе? — спрашивает он супругу.

— Когда я жила во Дворце, я писала ей довольно часто, — отвечает она. — Так мне велел Государь. Но теперь... Я и не помню, когда мы обменялись письмами в последний раз.

— Мне не хочется думать, что Первая принцесса перестала писать вам потому, что не одобряет вашего союза с простым подданным. Я скажу Государыне, что вы на нее в обиде.

— Как я могу быть на нее в обиде? Нехорошо так говорить.

— Тогда я скажу, что вы не решаетесь писать первой, ибо опасаетесь, уж не презирает ли вас Первая принцесса с тех пор, как вы связали судьбу с человеком столь низкого звания.

Этот день он провел с супругой, а на следующее утро отправился к Государыне. Там он снова встретил принца Хёбукё. В темном носи, из-под которого выглядывало ярко-коричневое нижнее платье, принц был необыкновенно хорош собой. Пожалуй, он ничем не уступал сестре, поразившей вчера воображение Дайсё, а его белое лицо, чрезвычайно тонкое и нежное, казалось еще нежнее оттого, что за последнее время он сильно похудел.

Ловя в его облике черты сходства с той, что владела его думами, Дайсё с трудом сдерживал волнение: теперь ему было еще труднее отогнать от себя nepзволительные мысли.

Принц принес с собой много прекрасных свитков с картинами, большую часть которых приказал отнести в покои Первой принцессы. Вскоре он и сам ушел туда. Дайсё, выразив Государыне восхищение успешно проведенными Восьмичастными чтениями, немного поговорил с ней о прошлом, затем принялся разглядывать оставленные принцем свитки.

— Принцесса, ослепавшая своим присутствием мое скромное жилище, — говорит он между прочим, — изволит скучать по Заоблачной обители, и мне жаль ее. К тому же Первая принцесса совсем перестала ей писать, и она обижается, ей кажется, что после того, как определилось ее положение в мире, сестра намеренно избегает ее. Не могли бы вы иногда присылать ей что-нибудь вроде этих картин? Уверен, она радовалась бы им куда больше, чем если бы я приносил их сам.

— Что за странные вещи вы говорите? Как может Первая принцесса избегать сестру? Во Дворце их покои были рядом, и, кажется, они часто обменивались письмами. Правда, теперь они живут розно, и, возможно, перестали сообщаться друг с другом. Что ж, я намекну ей. Но отчего сама Вторая принцесса...

— Но смеет ли она? Даже если бы первая принцесса с самого начала не особенно жаловала сестру и смягчилась бы сердцем теперь, когда та вступила в союз с человеком, связанным с вами узами крови, я бы и этому радовался. А уж раз они были дружны... Право, обидно видеть столь неожиданное охлаждение со стороны Первой принцессы...

Разумеется, Государыне и в голову не приходило, что Дайсё движет сладострастие.

Покинув высочайшие покои, Дайсё прошел в западную часть дома. «Может, сегодня удастся наконец встретиться с любезной моему сердцу особой? — думал он. — Или хотя бы взгляну на ту галерею, все-таки утешение». Однако на сей раз прислуживающие принцессе дамы были более бдительны.

С чинным видом приблизившись к галерее, Дайсё обнаруживает там сыновей Левого министра, которые переговариваются с дамами.

— Мне часто приходится бывать в этом доме, но в ваших покоях меня не жалуют, — говорит он, с неповторимым изяществом усаживаясь возле боковой двери, — я даже начинаю ощущать себя дряхлым старцем. Но сегодня мне подумалось, что, может быть, еще не все потеряно. Боюсь только, что молодые люди будут недовольны моим присутствием, — добавляет он, глядя на племянников.

— О, если вы станете почаще наведываться к нам, то непременно помолодеете, — шуточно отвечают из-за занавесей. Право, в покоях Первой принцессы все, даже речи дам, носит на себе отпечаток особой утонченности. Дайсё, хотя и пришел без всякого дела, задерживается здесь дольше обыкновенного, неторопливо беседуя с дамами обо всем на свете.

Сама же принцесса в это время изволит находиться в покоях матери.

— Что понадобилось у вас Дайсё? — спрашивает Государыня, и сопровождавшая принцессу госпожа Дайнагон отвечает:

— Кажется, он хотел поговорить с Косайсё.

— Когда у столь здравомыслящего человека возникает желание с кем-то поговорить, угодить ему нелегко. Уж от него-то ничего не укроется! Впрочем, за Косайсё можно не беспокоиться.

Хотя и были они братом и сестрой, Государыня всегда ощущала превосходство Дайсё и внимательно следила за тем, чтобы ее дамы не позволяли себе никакой небрежности в его присутствии.

— В последнее время господин Дайсё оказывает Косайсё особенную благосклонность, — улыбаясь, замечает Дайнагон, — иногда он засиживается в ее покоях до поздней ночи. Но, по-моему, их связывают не совсем обычные отношения. Принца Хёбукё она, кажется, считает бессердечным и даже не отвечает на его письма, хотя кто она перед ним?

— Хорошо, что она поняла, сколь беспокойный у принца нрав, — улыбается в ответ Государыня. — Как бы заставить его остепениться? Ведь перед дамами, и то стыдно бывает.

— Странную историю я слышала недавно, — говорит Дайнагон. — Оказывается, та особа, которая недавно умерла — я говорю о той, что была связана с Дайсё, — по отцу приходится младшей сестрой госпоже из дома на Второй линии. Мать же ее — супруга правителя Хитати. Правда, некоторые утверждают, что она ей не мать, а тетка, но не знаю, верно ли это... Так вот, якобы эту особу начал тайно посещать принц Хёбукё. Кто-то сообщил об

этом господину Дайсё, и тот решил перевезти ее в столицу, а пока приставил к дому надежных сторожей. Однажды принц приехал, как обычно, а войти не смог. Так и пришлось ему вернуться ни с чем, прождав какое-то время неподалеку от дома. Воображаю, как странно он выглядел — верхом на коне, в самом простом платье! То ли потому, что девушка тоже была к нему равнодушна, то ли по какой другой причине, но только в один прекрасный день она исчезла. И теперь кормилица и прочие прислужницы плачут целыми днями, полагая, что она бросилась в реку.

— Но кто тебе все это рассказал? — спрашивает Государыня, потрясенная услышанным. — Какое несчастье! Обычно слухи о таких невероятных событиях сразу же распространяются, а тут даже Дайсё ни словом не обмолвился! Только сетует на непостоянство мира да сокрушается, что столь короткая жизнь выпала на долю всем, кто был связан с принцем из Удзи.

— Разумеется, слугам верить нельзя, но девочка-служанка, которая поведала мне эту историю, говорила весьма убедительно. Сама она прислуживает в Удзи, но на днях по какому-то делу приезжала в столицу и заходила в дом Косайсё. Судя по всему, исчезновение этой особы из Удзи связано со столь необычными обстоятельствами, что перепуганные дамы предпочитают никому ничего не рассказывать. Думаю, что даже Дайсё не знает всех подробностей.

— Передай же этой девочке, чтобы тоже помалкивала, — предупреждает ни на шутку встревоженная Государыня. — Ах, боюсь, что принц своими похождениями навлечет на себя дурную славу, а это может дурно сказаться на его будущем!

Через несколько дней супруга Дайсё получила письмо от Первой принцессы. Восхищенный изяществом почерка, Дайсё пожалел, что столь счастливая мысль не приходила ему в голову раньше. Государыня изволила прислать Второй принцессе множество прекрасных свитков с картинами, а Дайсё, подобрав еще более прекрасные, отсылает их Первой принцессе. На одной из картин весьма искусно изображен сын Сэрикава-дайсё, Тоокими\*, в тот миг, когда он, охваченный тоской по Первой принцессе, осенним вечером собирается ехать к ней, и Дайсё, невольно сопоставив с ним себя, сокрушенно вздыхает: «Ах, была бы и у меня женщина, во всем послушная моей воле...»

Осенний ветер  
Холодной росой убрал  
Листья мисканта.  
По вечерам даже он  
Пронзает особой тоской.

Дайсё хотелось записать эту песню прямо на картине, но он понимал, что не вправе даже намекать на свои чувства, ибо это сделает его положение весьма затруднительным. Мысли, одна тягостнее другой теснились в его голове. «Будь жива Ооикими, разве стал бы я помышлять о другой? Нет, даже на предложение Государя ответил бы отказом. Да Государь и сам не удостоил бы меня такой чести, если бы знал о ее существовании. Так, именно эта «хранительница моста» и лишила мою душу покоя». Затем мысли Дайсё устремились к супруге принца Хёбукё, и тоска сжала его сердце, его

мучило раскаяние, он досадовал на собственную глупость, но увы, разве теперь исправишь? Затем ему вспомнилась младшая сестра, столь нелепо покинувшая мир. Она была простодушна, словно дитя, ее легкомыслие непростительно, и все же она испытывала жестокие страдания. Укон рассказывала ему, как мучили ее сердечные угрызения, когда она заметила, что Дайсё переменялся к ней! А ведь она могла быть такой милой собеседницей, если, разумеется, не требовать от нее большего. Так стоит ли обижаться теперь на принца и упрекать ее? Разве виной всему не его собственная неосмотрительность и неопытность?..

Но если такой уравновешенный человек как Дайсё не мог обрести душевного покоя, то что говорить о принце Хёбукё? Его тоска усугублялась еще и тем, что рядом не было никого, кто разделил бы с ним его горе. Только госпожа из Флигеля сочувствовала принцу, но, могло ли это сочувствие быть глубоким, ведь она встретила с ушедшей мимолетно и не успела понастоящему сблизиться с ней... Кроме того, говорить госпоже о том, как невыносима его тоска, принцу было неловко. Поэтому иногда он посылал за Дзидзю, которая раньше жила в Удзи.

Вскоре после окончания срока скорби дамы, ранее прислуживавшие девушке, разъехались кто куда, и в горной усадьбе остались только кормилица и две молодые прислужницы, которым госпожа при жизни оказывала особую благосклонность и которые так и не сумели забыть... Дзидзю не связывали с остальными дамами родственные узы, но она не уехала и коротала дни, беседуя с Укон и кормилицей. Впрочем, очень скоро жизнь в этом унылом жилище стала тяготить ее. Дзидзю пугал теперь даже плеск воды в реке, а ведь в былые времена он вселял в ее сердце надежду... В конце концов она поступила в услужение в какое-то небогатое семейство в столице. Разыскав ее, принц снова предложил ей поступить на службу в дом на Второй линии, но, как ни льстило Дзидзю это предложение, она отказалась, испугавшись пересудов — слишком сложные отношения связывали ее с этим домом. Однако она дала понять, что охотно поступила бы на службу к Государыне.

— Прекрасно, — ответил принц. — Тогда и я смогу тайно прибегать к вашим услугам.

И вот, понадеявшись, что хотя бы таким образом ей удастся обрести в жизни опору и утешение, Дзидзю прибегла к давнишним связям и поступила в услужение к Государыне. Была она довольно миловидна, скромна, поэтому окружающие отнеслись к ней снисходительно. В покои Государыни нередко заходил Дайсё, и, завидев его, Дзидзю с трудом сдерживала волнение. Государыне прислуживали дамы из самых знатных столичных семейств, но, как ни приглядывалась к ним Дзидзю, она не нашла ни одной, которая могла бы сравниться с ее умершей госпожой.

Как-то до Государыни дошел слух о бедственном положении дочери принца Сикибукё, скончавшегося нынешней весной. Мачеха, никогда не питавшая к девушке приязни, узнав, что к ней равнодушен ее старший брат Мума-но ками, человек, не обладавший решительно никакими достоинствами, тут же сговорила с ним, хотя девушка, несомненно, заслуживала лучшей участи.

— Бедняжка, как ее жаль, — сетовала Государыня, — ведь она была любимой дочерью принца. Обрекать ее на столь жалкое существование...



Услыхав эти полные искреннего сочувствия слова, брат девушки поспешил довести их до сведения сестры, которая и в самом деле была близка к отчаянию. В конце концов девушка оказалась в свите Государыни. По рангу своему она подходила скорее в наперсницы принцессы, поэтому занимала в доме особое положение. Тем не менее она была придворной дамой, ее называли госпожой Мия, и, прислуживая Государыне, она надевала на свое обычное платье мо, сообщавшее ее облику что-то необыкновенно трогательное...

Появление этой особы не прошло незамеченным принцем Хёбукё. «Может быть, она похожа на умершую? — думал он, подстрекаемый любопытством. — Ведь их отцы были единокровными братьями». Не забывая девушки из Удзи, он все же не отказался от прежних привычек, и каждая новая прислужница привлекала его внимание. Вот и теперь он только и помышлял что о госпоже Мия.

Дайсё тоже не остался равнодушным к печальной судьбе дочери принца Сикибукё. «Как можно было так поступить с ней? — возмущался он. — Помнится, совсем недавно ее прочили в Весенние покои. Да и мне принц не раз намекал... Как переменчива и сурова бывает судьба! Уж лучше и в самом деле окончить свои дни в речной пучине!»

В доме на Шестой линии Государыня имела более просторные и роскошные убранные покои, чем во Дворце, и дамы из ее свиты, даже те, которые в обычное время пренебрегали своими обязанностями, узнав, что она переехала, тотчас последовали за ней и привольно разместились в многочисленных флигелях и галереях.

Левый министр лично присматривал за тем, чтобы все они жили в полном довольстве, точно так же, как в те далекие времена, когда жив был прежний хозяин дома. Семейство его процветало, и во многих отношениях дом на Шестой линии стал теперь еще великолепнее, чем в былые дни. Не будь принц Хёбукё так удручен постигшим его несчастьем, ему за эти луны представилось бы немало возможностей развлечься. Однако в последнее время он сохранял невозмутимое спокойствие, у многих даже возникла было надежда, уж не остепенился ли он наконец? Но с появлением госпожи Мия принц снова стал самим собой.

Наступила прохладная пора, скоро Государыня должна была переехать во Дворец. «Вот будет досадно, если не удастся увидеть здешних осенних кленов...» — очевидно, подумали многие молодые дамы из ее свиты и собрались в доме на Шестой линии. Долгие часы проводили они у пруда, любовались луной и улаждали слух прекрасной музыкой. Необычное оживление, царившее в покоях Государыни, не могло не привлечь внимание принца Хёбукё. Дамы видели его часто, и все же каждый раз он пленял их взоры свежестью и новизной только что распустившегося цветка. Другое дело Дайсё. В последнее время он редко бывал в доме на Шестой линии, и, завидев его, дамы терялись и конфузились. Наверное, он казался им слишком суровым.

Однажды Дзидзю удалось подглядеть, как оба они беседовали с Государыней. «Кому бы из них ни отдала предпочтение госпожа, — невольно подумалось ей, — люди наверняка дивились бы теперь ее счастливому предопределению. Какая досада, что она распорядилась собой столь необдуманно!»

Не желая, чтобы люди узнали о ее причастности к случившемуся, Дзидзю печалилась молча, никому не поверяя своей горестной тайны.

Пока принц подробно рассказывает Государыне последние дворцовые новости, Дайсё потихоньку выходит, и Дзидзю прячется. «Лучше не попадаться ему на глаза, он, несомненно, сочтет меня бессердечной. Ведь даже последние поминальные обряды еще не совершены».

В восточной галерее, у открытой двери, собралось множество дам, которые о чем-то тихонько шепчутся.

— Я был бы чрезвычайно вам признателен, — говорит Дайсё, приблизившись к ним, — когда б вы подарили меня дружеским расположением. Поверьте, я безобиднее любой женщины. Вместе с тем я могу многому вас научить. Надеюсь, со временем вы и сами поймете...

Дамы, растерявшись, не знают что и ответить, но вот наконец самая взрослая и самая опытная из них, госпожа Бэн, говорит:

— А разве не бывает, что именно женщины, лишённые оснований рассчитывать на ваше дружеское расположение, не смущаются в вашем присутствии? В мире многое происходит именно так, наоборот. И для того, чтобы общаться с вами запросто, мне вовсе не обязательно удостоверяться в том, что у меня действительно есть для этого основания. Впрочем, возможно я просто уродилась такой дерзкой и не люблю оставаться в стороне...

— Значит вы заранее решили, что у вас не будет оснований смущаться в моем присутствии? — спрашивает Дайсё. — Обидно, право.

Госпожа Бэн, судя по всему, упражнялась в каллиграфии. Ее верхнее платье сброшено и отодвинуто в сторону. На крышке тушечницы лежат какие-то цветы, и она перебирает их. Одни дамы прячутся за занавесами, другие сидят, отвернувшись, так чтобы ему не было видно их лиц сквозь отворенную дверь. Пододвинув к себе тушечницу, Дайсё пишет на листке бумаги:

«Если вдруг окажусь  
На лугу, где цветет пышным цветом  
“Девичья краса” (489),  
Даже там ни росинки хулы  
Не упадет мне на платье.

А вы не хотите довериться...»

Он протягивает эту записку даме, сидящей спиной к нему, тут же у перегородки, а она без всяких колебаний мгновенно пишет ответ:

«Ненадежные —  
Такая слава идет о цветах  
“Девичья краса”.  
Но разве они пригнутся  
От любой капли росы?»

Одного взгляда на почерк довольно, чтобы убедиться в его благородстве. «Кто же она?» — гадает Дайсё. Создается впечатление, что эта дама собиралась идти к Государыне, а он помешал ей.

— Слишком уж решительно сказано... — замечает Бэн. — Как-то по-стариковски...

На этом лугу  
Ты ночь провести попробуй,  
Тогда и увидим,  
Пленит или нет твое сердце  
Пышный цвет «девичьей красоты»...

Да, только тогда и можно будет судить, — добавляет она, а Дайсё отвечает:

— Если готовы  
Меня приютить, проведу  
Здесь эту ночь.  
Хотя до сих пор цветы  
Моего не пленяли сердца...

— Зачем вы пытаетесь нас устыдить? — пеняет ему Бэн. — Я ничего не имела в виду, просто так, ради красного словца, напомнила всем известное стихотворение о ночлеге в лугах.

Что бы ни говорил Дайсё, дамы готовы слушать его до бесконечности.

— Ах, простите мне мою рассеянность, сейчас я освобожу проход, — говорит Дайсё, поднимаясь. — Уж сегодня-то кое у кого из вас наверняка есть причины чувствовать себя неловко.

Его слова некоторых дам повергают в смущение: «Неужели он думает, что все мы так же беззастенчивы, как Бэн?»

Облокотившись на перила восточной галереи, Дайсё любителю цветами, освещенными лучами вечернего солнца. Безотчетная печаль сжимает его сердце, и он произносит еле слышно: «...И все же особенно тяжело теперь, в эти осенние дни»\*.

Тут за его спиной слышится шелест одежды: очевидно, дама, ответившая на его песню, покинув свое место у перегородки, удаляется в глубину покоев. Внезапно появляется принц Хёбукё.

— Кто это сейчас прошел в дом? — спрашивает он.

— Госпожа Тюдзё, она прислуживает Первой принцессе, — отвечает кто-то из дам.

«Неужели нельзя было промолчать? — возмущается Дайсё. — Разве можно открывать имя женщины любому, кто захочет его узнать?» К тому же ему досадно, что в присутствии принца дамы, судя по всему, чувствуют себя вполне свободно. «Принц настойчив и дерзок, но, возможно, именно поэтому женщины и покоряются ему так легко, — думает Дайсё. — Я же, к сожалению, терпел от него одни обиды, и немало горестей выпало из-за него на мою долю. Пожалуй, следует его проучить. Если он восплает страстью к кому-нибудь из здешних красавиц, я могу переманить ее и заставить его испытать то, что сам испытал когда-то по его вине. Разве любая разумная женщина не отдаст мне предпочтение? Вот только где такую найти? К примеру, госпожа из Флигеля. Нельзя сказать, чтобы она одобряла поведение принца, напротив, она очень страдает, понимая к тому же, сколь губительны похождения супруга для его доброго имени, однако не считает возможным расстаться с ним. Ее поведение трогательно, но такие, как она, редко встречаются. Интересно, есть ли среди этих дам похожие на нее? К сожалению, я никогда близко не общался с ними, а потому затрудняюсь ответить на

этот вопрос. Впрочем, выяснить это довольно просто, я мог бы воспользоваться долгими, бессонными ночами...» Однако подобное времяпрепровождение никогда не было Дайсё по душе, и теперь — более, чем когда-либо.

Неожиданно для себя самого он снова оказывается у западной галереи. Первая принцесса по обыкновению своему проводит вечерние часы в покоях Государыни, а ее дамы, привольно расположившись у порога, любят-ся луной и тихонько беседуют. До Дайсё доносятся нежные звуки кото «со». Никем незамеченный, он подходит ближе и спрашивает:

— Неужели вы хотите, чтобы у меня «захватило дух»?\*

Испуганные его неожиданные появлением, дамы тем не менее даже не опускают занавеси.

— Но разве у меня есть брат, с которым сходство...\* — поднявшись, отзывается одна из них, и по голосу он узнает госпожу Тюдзё.

— Зато дядя вот он перед вами, — подхватывает Дайсё. — Ваша госпожа изволит проводить вечер в покоях Государыни? А каким занятиям предпочитает она отдавать часы досуга здесь, в родном доме?

— О, во Дворце ли, здесь ли — какие у нас могут быть занятия? — говорит одна из дам. — Что нам захочется, то и делаем. Вот как сейчас.

«Весьма утонченное времяпрепровождение, вполне достойное ее ранга!» — думает Дайсё и, забывшись, вздыхает, но тут же, испугавшись, что у дам возникнут подозрения, пододвигает к себе торчащее из-под занавесей японское кото и начинает перебирать струны, даже не потрудившись его перестроить. Кото оказывается настроенным на лад «рити», который, как говорят, удивительно созвучен нынешнему времени года, поэтому игра Дайсё производит на дам весьма приятное впечатление, и, когда, сыграв всего несколько тактов, он откладывает кото, многие разочарованно вздыхают: «Уж лучше бы вовсе не начинал!»

«Удивительно! Чем, к примеру, Первая принцесса лучше моей матери? — думает между тем Дайсё. — Только тем, что она дочь Государыни? Обе были любимицами отцов, и все же Первая принцесса занимает особое положение в мире. Прекрасное, видно, это место — Акаси! Впрочем, у меня нет причин жаловаться на судьбу. Но когда б я мог заполучить еще и ее...» Увы, вряд ли его желание осуществимо.

Госпожа Мия жила совсем рядом, в Западном флигеле. За занавесями ее покоев виднелись фигуры молодых дам, которые тоже собрались, чтобы полюбоваться луной.

«Ах, бедняжка! — невольно посочувствовал ей Дайсё. — Ведь и в ее жилах течет высочайшая кровь. Помнится, принц Сикибукё благоволил ко мне...» — И он подходит поближе.

Тут из-за занавесей выбегают две или три миловидные девочки-служанки в одинаковых платьях и принимаются прогуливаться по галерее. Приметив Дайсё, они поспешно скрываются внутри. Вид у них самый смущенный. Хотя, казалось бы, что тут особенного?

Дайсё подходит к южной части флигеля и принимается покашливать, дабы привлечь к себе внимание. К нему выходит прислужница постарше.

— Я мог бы сказать, что давно уже тайно помышляю о вашей госпоже, — говорит он, — но боюсь прослыть жалким подражателем... О, когда б я умел «и другие слова отыскать...» (499).

Даже не передав сказанного госпоже, дама весьма самоуверенным тоном отвечает сама.

— Право, госпожа и не помышляла о том, что ее жизнь сложится именно таким образом. Она часто вспоминает, какую судьбу прочил ей когда-то покойный принц, и всегда радуется, когда до нее доходят слухи о вас.

«Точно так же она обошлась бы с любым другим поклонником», — досадует Дайсё.

— Вам, должно быть, неизвестно, — говорит он, — что мы с вашей госпожой связаны узами крови, и я почел бы за счастье, если бы она согласилась обращаться ко мне со всеми своими нуждами. Но, надеюсь, вы понимаете, что разговаривать через посредника...

«А ведь и правда...» — смутившись, дама отправилась к госпоже, и очевидно, упростила ее ответить лично.

— Я все думала: «Кого мне считать...» (166). — На этот раз явно говорит сама госпожа, голос такой юный, нежный... — Как я рада, что вы не забыли о связывающих нас узах. Это позволяет надеяться...

Будь госпожа Мия обычной прислужницей, такой ответ, возможно, и восхитил бы Дайсё, но ведь она принадлежала к высочайшему семейству, поэтому он ощутил некоторое беспокойство: «Неужели она настолько свыклась с положением придворной дамы, что позволяет любому слышать свой голос?» Вместе с тем он был не прочь ее увидеть, ведь госпожа Мия наверняка и собой хороша. «Пожалуй, именно такая женщина и способна воспламенить воображение принца Хёбукё», — внезапно пришло ему в голову, и он задумался о том, сколь трудно найти в мире женщину, которая соединяла бы в себе одни совершенства.

«Госпожа Мия — дочь принца и получила воспитание, приличное ее полу и званию. Таких, как она, довольно много. Удивительно другое — как в горной глуши, в бедной хижине отшельника смогли вырасти столь прекрасные, лишенные всяких недостатков особы? А их младшая сестра? Когда-то я порицал ее за сердечное непостоянство, но ведь и ей нет равных!» Увы, любой безделицы было довольно, чтобы мысли Дайсё обратились к семейству Восьмого принца. Какая странная, жестокая судьба связала его с ним!

Однажды вечером Дайсё сидел, погруженный в печальную задумчивость, а перед ним кружились в воздухе подёнки, легкие, призрачные. По обыкновению своему он произнес про себя:

— Вот они, здесь,  
Но рукою не дотянуться (500).  
Возникнув на миг,  
Тут же в воздухе тают,  
Исчезают бесследно поденки.

Так, «то ли есть они, то ли нет...» (501).





---

## УПРАЖНЯЯСЬ В КАЛЛИГРАФИИ...

### Основные персонажи

**Монах Содзу** — настоятель монастыря в Ёкава, на горе Хиэ

**Старая монахиня из Оно**, 80 лет — мать Содзу

**Младшая монахиня из Оно**, 50 лет — сестра Содзу

**Молодая госпожа** (Укифунэ), 22–23 года — побочная дочь Восьмого принца

**Тюдзё** — зять младшей монахини из Оно

**Первая принцесса** — дочь императора Киндзё и императрицы Акаси, старшая сестра принца Хёбукё (Ниоу)

**Государыня** (Акаси), 46–47 лет — дочь Гэндзи, супруга императора Киндзё

**Косайсё** — прислужница Первой принцессы

**Дайсё** (Каору), 27–28 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Принц Хёбукё** (Ниоу), 28–29 лет — сын императора Киндзё и императрицы Акаси, внук Гэндзи

В ТЕ ВРЕМЕНА жил в Ёкава некий монах Содзу, известный в мире своей мудростью. Были у него мать и сестра. Первой перевалило за восемьдесят, второй недавно исполнилось пятьдесят. Однажды женщины решили совершить паломничество в Хакусэ, дабы отблагодарить Каннон за исполнение давней просьбы. Содзу отправил с ними Адзари, самого преданного своего ученика, коего отличал неизменной доверенностью. Отслужив соответствующие молебны и поднеся храму свитки с сутрами и изображения будд, паломники двинулись в обратный путь, но едва перевалили через гору Нарадзака, как старая монахиня почувствовала себя плохо. «По силам ли ей оставшийся путь?» — забеспокоились ее спутники, а как неподалеку, в Ёдзи, жил их давний знакомец, решено было остановиться там хотя бы на один день.

Однако состояние монахини не улучшалось, и Адзари счел своим долгом сообщить об этом в Ёкава. Испугавшись, что его престарелая мать скончается, так и не добравшись до дома, монах Содзу поспешил в Удзи, нарушив таким образом данный некогда обет — не покидать горной обители до конца года.

Хотя в такие лета люди редко дорожат жизнью, Содзу употребил все усилия, чтобы исцелить больную. Собрав в доме самых сведущих во врачевании учеников, он повелел им читать молитвы и произносить заклинания, да и сам ни на миг не отходил от ложа матери. Узнав о том, что происходит, хозяин дома встревожился.

— Я собираюсь совершить паломничество на Священную вершину\*, — сказал он, — и как раз соблюдаю строгий пост. А ваша матушка так стара и обременена тяжким недугом...

Что ж, он имел основания беспокоиться, и нельзя было не посочувствовать ему. К тому же жилище было слишком тесным и неудобным, поэтому Содзу решил потихоньку переправить мать домой, но случилось так, что именно то направление, в котором находился их дом, оказалось в те дни во власти Срединного бога\*. К счастью, Содзу вспомнил, что где-то рядом есть старая усадьба, известная под названием Удзи-но ин, которая некогда принадлежала покойному государю Судзакү, и с управителем которой он был знаком. Не долго думая, Содзу отправил туда гонца, чтобы узнать, не смогут ли их там принять на день или два. В самом непродолжительном времени гонец вернулся с известием, что семья управителя еще вчера отправилась в Хацүсэ, и привел с собой весьма неприглядного на вид старика, которого оставили сторожить дом.

— Если вам угодно остановиться в обители Удзи, то нечего и медлить, — сказал сторож. — Главный дом пустует, он полностью в вашем распоряжении. В нем часто живут паломники.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Содзу. — Я думаю, что там достаточно тихо теперь, хотя это и государева обитель.

И он отправил туда человека, поручив ему осмотреть дом. Старик-сторож, которому не внове было принимать нуждающихся в ночлеге паломников, быстро подготовил все необходимое.

Первым переехал Содзу. В усадьбе царило такое запустение, что ему стало не по себе, и, призвав монахов, он повелел им читать сутры.

Адзари, сопровождавший женщин в Хацүсэ, вместе с другим учеником Содзу, сопровождаемые несколькими низшими по званию монахами, которым было поручено нести зажженные факелы, по какой-то надобности прошли в удаленную от жилых помещений часть сада.

«Какое жуткое место!» — думали они, со страхом вглядываясь в темневшую неподалеку то ли рощу, то ли просто небольшую купу деревьев, и вдруг под одним из них заметили странное белое пятно.

— Что это там? — остановившись, спрашивает Адзари. Попросив поднести факел поближе, он вгляделся и видит — под деревом кто-то сидит.

— Может, это лисица-оборотень? — говорит, подойдя, один из монахов. — Вот мерзкая! Ну ничего, сейчас мы увидим, каково твое истинное обличье.

— Осторожнее, не подходи! От этих тварей всего можно ожидать, — заявляет другой монах и, сложив пальцы в мудру, призванную обращать в бег-

ство всякую нечисть, вперяет взор в неведомое существо. Право, будь у Адзари на голове хоть один волос, и тот бы наверняка встал дыбом от страха. Между тем монахи с факелами без всяких колебаний приближаются к дереву и видят, что под ним, прижавшись к огромному, причудливо торчащему корню, сидит женщина с блестящими длинными волосами и горько плачет.

— Вот чудеса! Надо бы позвать господина Содзу... — говорит один монах, а другой добавляет:

— В самом деле странно...

В конце концов один из них идет к Содзу и докладывает ему о случившемся.

— Мне приходилось слышать, что лисицы могут превращаться в людей, но сам я отроду не выдывал ничего подобного, — говорит Содзу и поспешно спускается в сад.

До приезда монахини остались считанные часы, все слуги, на которых можно положиться, находятся в служебных помещениях, заканчивая последние приготовления, и в саду пустынно. Сопутствуемый четырьмя монахами, Содзу подходит к дереву и вперяет взор в странное существо, но оно и тогда не изменяет своего обличья. Немало удивленный, он остается на месте и продолжает смотреть, не отрывая глаз. «Скорее бы рассвело, — думает он. — Тогда и станет ясно, человек это или оборотень». Произнося про себя «истинные слова» и дополняя их соответствующими мудрами, он в конце концов приходит к заключению:

— Это человек. Во всяком случае, я не вижу в этом существе ничего дурного или сверхъестественного. Подойдите и расспросите ее. Вряд ли это дух умершего. Возможно, ее бросили здесь, сочтя мертвой, а она ожила.

— Но зачем кому-то бросать мертвых в этой обители?

— Даже если она и в самом деле человек, значит, ее обманом заманил сюда какой-нибудь лис или дух дерева.

— Так или иначе, все это не к добру. Разве можно перевозить больную в столь нечистое место?

В конце концов монахи зовут на помощь старика-сторожа. Им отвечает горное эхо, и все вздрагивают от ужаса. Но вот появляется и сторож в шапке, некрасиво сдвинутой на затылок и открывающей лоб.

— Не живет ли здесь у вас молодая женщина? Вот посмотрите, что мы обнаружили...

— Все это проделки лисиц, — совершенно спокойно отвечает сторож. — С этим деревом часто происходят всякие чудеса. К примеру, позапрошлой осенью похитили двухлетнего ребенка у живущего по соседству человека и принесли сюда под это дерево. Я уже ничему не удивляюсь.

— И что же, ребенок умер?

— Да нет, кажется, выжил. Лисы не так уж часто вредят людям, обычно они только пугают.

Судя по всему, сторож и в самом деле не видел в случившемся ничего из ряда вон выходящего. К тому же мысли его явно витали там, где готовилось вечернее угощение.

— Раз так, мы должны проверить, действительно ли здесь замешаны лисы, — говорит Содзу и, подозвав самого отважного монаха, велит ему подойти к женщине.



— Кто ты — демон, божество, лисица или дух дерева? Тебе не обмануть монаха, о мудрости которого говорит вся Поднебесная. Кто ты, открой свое имя...

Он тянет женщину за одежду, но она продолжает громко плакать, пряча лицо.

— О презренный дух дерева, неужели ты надеешься ввести нас в заблуждение? — восклицает монах, сияясь заглянуть ей в лицо, хотя сердце его замирает от страха: а вдруг это страшный оборотень, не имеющий ни глаз, ни носа, о каких рассказывается в старинных преданиях? Не желая, чтобы собравшиеся усомнились в его храбрости, он пытается сорвать с женщины платье, но добивается лишь того, что, упав на землю ничком, она разражается рыданиями.

— Да, что бы это ни было, ничего более странного я еще не видывал, — заявляет монах. Он полон решимости заставить женщину обнаружить свое истинное обличье, но тут Адзари говорит:

— Сейчас польет дождь. Если мы оставим ее здесь, она непременно умрет, давайте хотя бы отнесем ее к изгороди.

— По всем признакам судя, это действительно человек, — говорит Содзу. — Мы поступим дурно, если бросим здесь эту женщину, ведь в ней еще теплится жизнь. Я всегда печалюсь, видя, как умирают рыбы, выловленные из пруда, или олени, пойманные в горах, и чувствую себя виноватым, будучи не в силах помочь им. А человеческая жизнь так коротка, можно ли не дорожить даже двумя или тремя оставшимися днями? Мы не знаем, что случилось с этой женщиной — то ли ею завладел какой-нибудь демон или дух, то ли ее выгнали из дома или обманули, во всяком случае она явно стала жертвой каких-то чрезвычайных обстоятельств и погибает. А Будда никогда не отказывает в помощи таким, как она. Попробуем же дать ей целебных снадобий и посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, нам еще удастся ее спасти. Ну, а если она все равно умрет, так тому и быть.

И он велел тому отважному монаху внести женщину в дом.

— О, вы не должны! — зашумели одни. — Ваша матушка опасно больна... Нельзя пускать в дом эту тварь! Разве вы не боитесь скверны?

— Пусть это оборотень, — возражали другие, — но неужели мы допустим, чтобы живое существо умирало под дождем прямо у нас на глазах?

Слуги готовы поднимать шум по любому поводу, поэтому Содзу распорядился, чтобы женщину поместили в той части дома, куда никто никогда не заходит.

Когда по прошествии некоторого времени к воротам подвели карету и из нее вышла старая монахиня, снова поднялся шум: «Ах, она совсем плоха!»

Как только все немного успокаиваются, Содзу осведомляется:

— Что с той женщиной?

— Она совсем слаба, не может говорить и едва дышит. Но чему тут удивляться? Вероятно, в нее вселился какой-нибудь дух, — отвечает один из монахов, и младшая монахиня, сестра Содзу, услышав их разговор, спрашивает:

— А что случилось?

Рассказав ей о найденной женщине, монах добавляет:

— В жизни не видывал ничего подобного, хотя мне уже седьмой десяток пошел.

— Подумать только! А ведь там, в Хацусэ, мне приснился однажды такой странный сон... — плача говорит монахиня. — Но что это за женщина? Нельзя ли мне взглянуть на нее?

— Разумеется, можно. Ее устроили здесь же, за восточной дверью, — сообщает Содзу, и монахиня немедленно проходит в указанные покои. Там нет никого из слуг, все разошлись, оставив женщину одну. Юная и прелестная, она одета в платье из белого узорчатого шелка и алые хакама. Чудесный аромат исходит от ее одежды, в чертах же и во всем облике проглядывает несомненное благородство.

— О мое любимое дитя, неужели ты вернулась ко мне? — рыдая, восклицает монахиня и, позвав прислужниц, велит им перенести женщину во внутренние покои, а как те и ведают не ведают об обстоятельствах ее появления в доме, то, не испытывая никакого страха, спешат выполнить распоряжение госпожи. Женщина не подает никаких признаков жизни, но спустя некоторое время глаза ее приоткрываются.

— Скажите же что-нибудь, — радуется монахиня. — Кто вы? Как попали сюда?

Но та не отвечает и, судя по всему, ничего не понимает. Монахиня пытается напоить ее целебным отваром, но женщина слишком слаба. Кажется, дыхание ее вот-вот прервется.

— Ах, какое горе! — сетует монахиня. — Уж лучше бы...

Призвав Адзари, известного своими чудотворными способностями, она говорит:

— Она вот-вот умрет. Прошу вас, помогите ей своими молитвами.

— Ну вот, так я и знал, — ворчит Адзари. — Что за странная прихоть — брать на себя заботы об этой особе!

Тем не менее он сразу же принимается читать сутру и вызывать к местным богам. Тут в покои заглядывает Содзу.

— Что с ней? — спрашивает он. — Постарайтесь подчинить себе вселившегося в нее духа и расспросите его хорошенько.

Однако несчастная слабеет с каждым мигом.

— Она все равно не выживет, — ворчит Адзари, — не понимаю, почему мы должны страдать из-за совершенно чужой нам женщины?

— Но, судя по всему, она не такого уж простого звания, — возражает ему кто-то из монахов, — и, если она умрет, разве сможем мы бросить ее здесь одну? Вот несчастье-то!

— Тише, — останавливает их монахиня. — Не говорите никому ни слова. Иначе и в самом деле хлопот не избежать.

Даже за матерью она не ухаживала так, как за этой никому не известной особой. Устремив на нее все сердечные попечения свои, она ни днем, ни ночью не отходила от больной и употребляла все средства, чтобы вернуть ее к жизни.

Женщина была так прекрасна, что и все остальные присматривавшие за ней дамы не жалели сил, помышляя лишь об одном — как бы не дать ей умереть. Иногда она открывала глаза, и слезы бежали из них неудержимым потоком.

— Сжальтесь надо мной! — просила тогда монахиня. — Несомненно, сам Будда привел вас сюда, чтобы вы заменили мне мое горячо любимое дитя.

Неужели и вы уйдете? О, лучше б мне никогда не видеть вас! Я уверена, мы были связаны еще в прошлом рождении, потому и встретились. Ну скажите же хоть слово!

— Для чего мне жить? — услышала она наконец еле слышимый шепот. — Я слишком ничтожна, слишком несчастна. Не говорите обо мне никому, а когда наступит ночь — бросьте меня в реку.

— О, как я рада, что слышу, наконец, ваш голос! Но что за ужасные вещи вы говорите? И зачем? Скажите же, как вы попали сюда?

Однако женщина больше не сказала ни слова. Монахиня внимательно осмотрела ее, желая убедиться, нет ли каких ран у нее на теле, но ничего не обнаружила. Печально вздыхая, любовалась она этим прелестным существом, и постепенно в душу ее тоже начали закрадываться сомнения: «Уж не оборотень ли это, явившийся, чтобы смутить мой покой?»

Дня два или три оставались они в этой уединенной обители, все это время возносились молитвы и свершались обряды, призванные облегчить состояние обеих больных, и многие из слуг недоумевали и возмущались.

Среди местных жителей нашлось немало людей, некогда прислуживавших Содзу. Узнав о том, что он изволил пребывать в обители Удзи, они явились засвидетельствовать ему свое почтение. И вот что они рассказали:

— Ах, какое случилось несчастье! Внезапно скончалась младшая дочь Восьмого принца, которой покровительствовал господин Дайсё. Никакой болезни у нее как будто не было, и все же...

— Потому-то мы и не заходили вчера. Пришлось принимать участие в погребальных церемониях.

«Может, какой-нибудь демон похитил душу умершей и принес к нам?» — подумалось Содзу, и ему стало казаться, что женщина действительно не похожа на живое существо, теперь ему виделось в ней что-то опасное и страшное..

— А ведь вчера вечером мы заметили огонь в горах, — заговорили прислужницы. — Но, пожалуй, он был недостаточно ярок для погребального костра...

— Устроители, как видно, решили обойтись без всякой пышности, — объяснили пришедшие, — многих обрядов вообще не было.

Рассудив, что они наверняка соприкоснулись со скверной, их даже не впустили в дом.

— Но ведь дочь Восьмого принца, которую посещал господин Дайсё, давно скончалась. Кого же они имеют в виду? — недоумевали прислужницы.

— Да и вряд ли он станет изменять принцессе...

Тем временем здоровье старой монахини приметно укрепилось, а как нужное им направление уже не было под запретом, паломники собрались в дорогу, не желая задерживаться в столь мрачном месте.

— Но эта особа все еще очень слаба. А ехать предстоит далеко... — возражали некоторые прислужницы. — Перенесет ли она тяготы дороги?

Приготовили две кареты: в одну села старая монахиня с двумя прислужницами, во вторую осторожно положили больную женщину. С ней помимо младшей монахини поехала еще одна прислужница. Ехали чрезвычайно медленно, то и дело давая больным целебный отвар. Монахини жили в местечке под названием Оно у подножия горы Хиэ, и путь туда был неблизкий.

— Жаль, что мы не подумали о ночлеге, — сетовали женщины. Было уже совсем поздно, когда они добрались наконец до Оно. Содзу помог выйти матери, сестра же его позаботилась о незнакомке.

«Ох уж эти старческие недуги, — вздыхала старая монахиня, — нет им конца...» И действительно, изнуренная дальней дорогой, она снова почувствовала себя плохо, но довольно быстро оправилась, и Содзу возвратился в горную обитель.

Лицам монашеского звания не полагается подбирать по дороге подобных особ, поэтому Содзу постарался сохранить случившееся с ними в тайне. Его сестра тоже велела своим прислужникам молчать, заранее трепеща от страха при мысли: «А вдруг кто-нибудь приедет и будет расспрашивать об этой женщине?» «Как оказалась она среди жалких бедняков? — гадала монахиня. — Может быть, заболела по дороге в храм и была оставлена злой мачехой?»

«Бросьте меня в реку!» — твердила несчастная, и больше от нее нельзя было добиться ни слова. Монахиня места себе не находила от беспокойства, только о том и помышляя, как бы побыстрее вернуть незнакомку к жизни. Но та лежала в странном забытии, равнодушная ко всему на свете, и, казалось, надеяться не на что. Но разве могла монахиня оставить больную без помощи? К тому же этот странный сон... Рассказав о нем Адзари, который с самого начала произносил молитвы у изголовья больной, она попросила его потихоньку возжечь в покоях мак, дабы преградить путь злым духам.

Так в неустанных заботах о незнакомке прошли Четвертая и Пятая луны. Все старания вернуть ее к жизни были тщетны и, отчаявшись, монахиня отправила гонца к брату. Поведав ему о своих страданиях, она заключила письмо следующими словами:

«Прошу Вас, спуститесь с гор и помогите ей. Раз эта женщина до сих пор жива, значит ей не суждено еще умереть. Но дух, в нее вселившийся, отказывается покидать ее тело. О почтеннейший брат мой, на Вас одна надежда, приезжайте, умоляю. Если бы речь шла о столице, возможно, это и было бы нарушением обета, но Оно... Что в этом дурного?»

«В самом деле странно, — подумал Содзу. — Она до сих пор жива, а ведь если бы мы бросили ее там... Видно, судьбе было угодно, чтобы я нашел эту женщину, и теперь мой долг — постараться спасти ее. Если мои старания окажутся тщетными, придется примириться с мыслью, что ее жизненный срок исчерпан». И он спустился в Оно. Монахиня, не помня себя от радости, принялась рассказывать ему все, что произошло со дня их последней встречи.

— Болезнь, особенно такая долгая, непременно изменяет облик человека, а эта женщина по-прежнему свежа и прекрасна. Сколько раз казалось, что дыхание ее вот-вот прервется, однако она до сих пор жива... — опасливо сообщает она, роняя слезы.

— Я сразу заметил, что она удивительно хороша собой, — говорит Содзу, заглядывая за занавес. — И, похоже, я не ошибся — такая красота редко встречается. Несомненно, судьба наделила ее столь привлекательной наружностью в награду за прошлые добродетели. Но какие преступления повергли ее в столь бедственное состояние? Может быть, вы слышали что-нибудь, что пролило бы свет на эту тайну?

— Увы, мне ровно ничего не известно. Да и откуда? Эту женщину подарила мне Каннон из Хацусэ.

— Полно, так ли это просто? Меж вами обязательно должна существовать какая-то связь, иначе Каннон не привела бы ее именно к вам.

Так и не разрешив своих сомнений, Содзу приступил к молитвам. Прежде даже ради Государя не прерывал он своего уединения, и если бы в мире узнали, что он спустился с гор из-за какой-то никчемной женщины... Поделившись своими опасениями с учениками, он взял с них обещание хранить все в тайне.

— Не говорите никому ни слова, — сказал он. — Я, недостойный, не всегда был верен данным мною обетам, но никогда не впадал в заблуждение из-за женщин. Впрочем, от судьбы не уйдешь, не исключено, что меня станут порицать за это теперь, когда мне пошел седьмой десяток.

— Но подумайте, учитель, — недовольно возразили монахи, — если темные люди превратно истолкуют наши действия, это может бросить тень на Учение Будды.

Однако Содзу готов был клясться чем угодно, даже своей жизнью, только бы его молитвы помогли больной. Всю ночь провел он у ее ложа, и к рассвету дух перешел наконец на посредника. Призвав на помощь Адзари, Содзу снова стал произносить заклинания, принуждая духа открыть, кто он и почему так мучает эту несчастную женщину. И дух, на протяжении долгих лун ничем не выдававший своего присутствия, усмиренный монахами, раскрыл свою истинную сущность.

— О нет, не для того родился я в этом мире, чтобы попасть сюда и покориться вам! — возопил он, изрыгая проклятия. — Я и сам был когда-то монахом и прилежно творил обряды, но какая-то ничтожная обида привязала меня к этому миру, и обрекла на блуждания души. Однажды я проник в дом, где было много прекрасных женщин. Одну из них я убил, а эта сама считала жизнь тягостным бременем и целыми днями твердила, что хочет умереть. Мог ли я не воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами? Однажды темной ночью она осталась одна, и я завладел ею. Но к ней благоволил Каннон, потому-то я и покорился вам. Теперь я уйду!

— Но кто ты, назови себя! — зывали к нему, однако потому ли, что силы посредника иссякли, или по какой другой причине, но только больше монахам не удалось добиться ни слова.

Больная между тем пришла в себя и, оглядевшись, не увидела рядом ни одного знакомого лица, вокруг были только старые, сгорбленные монахи. Ей показалось, что она попала в неведомую страну, и печаль стеснила ее сердце. В памяти всплывали смутные воспоминания о прошлой жизни, но кто она, где жила — того она не знала. Кажется, она бросилась в реку, решив положить конец своим несчастьям... Но где она теперь? С большим трудом ей удалось наконец восстановить в памяти тот давний вечер. Она вспомнила, что горько плакала, терзаемая какой-то тайной горестью, и так велико было ее отчаяние, что, когда все улеглось, она тихонько отворила боковую дверь и выскользнула наружу. Дул неистовый ветер, волны с грозным плеском бились о камни. Дрожа от страха и ничего не видя вокруг, она присела, свесив ноги, на край галереи. Мысли путались в ее голове: она не знала, куда ей идти, возвращение домой тоже не казалось приемлемым вы-

ходом... В конце концов она решила: «я должна собраться с духом и уйти из этого мира». Однако это оказалось не так-то просто. «Хотя бы меня проглотил какой-нибудь демон, — молила она. — Все что угодно, только не быть обнаруженной здесь. Какой позор!» Тут откуда-то возник красивый мужчина, подошел к ней и сказал: «Идите за мной». Помнится, он взял ее на руки. У нее мелькнула мысль: уж не принц ли это, и она лишилась сознания. Кажется, человек этот отнес ее в какое-то незнакомое место, а сам исчез. Она горько плакала, огорченная тем, что ей так и не удалось осуществить своего намерения... Больше она ничего не помнила. Судя по тому, что говорили окружавшие ее люди, с того дня прошло довольно много времени. «Неужели им пришлось так долго ухаживать за мной? — со стыдом думала она и печально вздыхала: — Зачем только меня вернули к жизни!» Терзаемая горестными думами, она не брала в рот ни капли целебного отвара, хотя даже в те дни, когда она лежала в беспмятстве, монахине удавалось иногда кормить ее.

— Ах, почему вы не хотите воспрянуть духом? — плача, говорила монахиня, ни на шаг не отходившая от ее ложа. — Вот уже, наконец, и жар спал, я так радовалась, что вам стало лучше...

Удивительная красота помогла женщине снискать расположение окружающих, они жалели ее и усердно ухаживали за ней. Она же по-прежнему думала только о смерти, однако жизнь, удержавшаяся в ней, несмотря на все испытания, упорно требовала своего, и скоро она начала поднимать голову и перестала отказываться от угощения. Правда, как это ни странно, она и теперь продолжала худеть. Монахиня с нетерпением ждала полного выздоровления, и каково же было ее разочарование, когда, едва оправившись, больная стала просить:

— Позвольте мне принять постриг... Только тогда я смогу жить.

— Но при вашей красоте... Как можно?

В конце концов монахиня попросила Содзу принять у женщины пять первых обетов и выстричь небольшую прядь волос на темени. Разумеется, она рассчитывала на большее, но, привыкшая во всем покоряться воле старших, не решилась настаивать.

— Что ж, пока достаточно и этого, — заявил Содзу, — теперь постарайтесь помочь ей восстановить подорванные недугом силы.

И, не задерживаясь, он удалился в горную обитель.

«Вот и сбылся мой сон», — радовалась монахиня. Она заставила женщину подняться с ложа, усадила ее перед собой и собственноручно причесала. Долгое время ее волосы были небрежно собраны в узел, но, несмотря на это, почти не запутались, и, когда монахиня закончила их расчесывать, упали тяжелой блестящей волной. В доме, где жили женщины, чьи «водоросли волос» напоминали о том, что до ста лет им одного лишь не хватает (502), она казалась ослепительной красоты феей, спустившейся с небес, и глядя на нее с некоторым страхом, монахиня принялась настойчиво расспрашивать:

— Почему вы не хотите поделиться со мной своими горестями? Разве вы не видите, как близко к сердцу я принимаю все, что вас касается? Скажите же, кто вы, откуда и как попали в такое место?

— Очевидно, несчастья, выпавшие мне на долю, лишили меня памяти, — ласково отвечала женщина. — К сожалению, я ничего не помню. Только

очень смутно видится мне вечерний сад, я сижу на галерее, думая о том, как бы навсегда уйти из этого мира, и вдруг из-за большого дерева перед домом появляется какой-то человек и увлекает меня за собой. Остального, несмотря на все старания, я не могу вспомнить и даже не знаю, кто я. О, я хочу одного — чтобы люди забыли о моем существовании, — добавила она, и слезы покатались у нее по щекам. — Если кто-нибудь узнает, что я жива, для меня это будет самым страшным несчастьем.

Видя, что женщине неприятно говорить о прошлом, монахиня не стала больше ее расспрашивать. Случившееся казалось ей чудом, едва ли не большим чем то, которое произошло когда-то со стариком Такэтори\*, нашедшем Кагуя-химэ. «Но вдруг и она исчезнет?» — думала монахиня, и сердце ее не знало покоя.

Старая монахиня, хозяйка этого дома, принадлежала к довольно знатному семейству. Дочь же ее была супругой влиятельного сановника, а когда он скончался, сосредоточила попечения свои на единственной дочери. Соединив ее узами брака с юношей из благородного семейства, она окружила зятя нежными заботами, но, увы, спустя некоторое время дочь ее скончалась. Не снеся постигших ее несчастий, сестра Содзу переменяла обличье и поселилась в этой горной усадьбе. Изнывая от тоски и одиночества, она мечтала найти кого-нибудь, кто заменил бы ей горячо любимую дочь, и вот совершенно неожиданно мечта ее осуществилась: ей ниспослана была эта прелестная особа, превосходившая умершую и красотой, и дарованиями. Разве это не чудо? Монахиня жила словно во сне, не в силах поверить в свое счастье. Несмотря на преклонный возраст, она была все еще красива, ее тонкие, нежные черты носили на себе отпечаток несомненного благородства.

Здесь, в Оно, ничто не напоминало женщине о ее прежнем жилище, даже ручей в саду журчал ласковее. Изящная простота строений, прекрасно подобранные цветы и деревья — во всем сказывался безупречный вкус хозяйки дома.

Скоро наступила осень, и все вокруг исполнилось печального очарования. Пришла пора срезать рис в поле у дома, и молодые служанки, подражая деревенским девушкам, пели песни и веселились. Пронзительная трескотня трещоток забавляла женщину, напоминая о восточных землях, где она некогда бывала...

Усадьба, где жили монахини, была расположена чуть дальше той горной хижины, окруженной вечерним туманом, которая когда-то принадлежала матери принцессы Отиба. Одна стена его примыкала к склону, вокруг был сосновый бор, и в эту осеннюю пору ветер заунывно стонал в кронах сосен. Дни тянулись однообразно и тоскливо, все свое время монахини посвящали молитвам и обрядам. Когда выдавались светлые лунные ночи, сестра Содзу играла на китайском кото, а ее наперсница, дама по прозванию Сёсё, вторила ей на бива.

— Не хотите ли присоединиться к нам? — предлагали они. — Ведь вам, должно быть, скучно...

А женщина, видя, каким утешением была музыка для этих немолодых монахинь, снова и снова сетовала на свою злосчастную судьбу. «Я выросла в самом жалком окружении, — думала она, вздыхая, — и у меня никогда не было возможности спокойно отдаваться таким изящным занятиям, вот я

ничему и не научилась...» Иногда в поисках утешения она бралась за кисть и, упражняясь в каллиграфии, писала что-нибудь вроде такой песни:

«Бросилась я  
В реку Слез, и быстрый поток  
Меня подхватил.  
Кто же, поставив запруду,  
Преградил движенье его?»

Увы, все произошло не так, как она хотела, и это повергало женщину в уныние, тем более, что будущее представлялось ей весьма неопределенным и не внушало ничего кроме тревоги. В светлые лунные ночи монахини славали стихи, вспоминали о прошлом, а ей нечего было рассказать им. Однажды, измученная тягостными раздумьями, она сказала:

— Знает ли кто-нибудь,  
Что я до сих пор блуждаю,  
По этому миру,  
Там, в далекой столице,  
Озаренной сияньем луны?

В тот давний миг, когда ее жизнь, казалось, приблизилась к своему пределу, она с тоской вспоминала многих, но теперь их образы померкли в памяти, и она думала только о самых близких. «Как же должна страдать теперь моя мать! А кормилица? Сколько сил затратила она на то, чтобы помочь мне занять достойное место в мире! И, увы, все тщетно... Нетрудно себе представить, в каком она отчаянии! Но где они теперь? Откуда им знать, что я еще жива? А Укон? Ближе ее у меня никого не было, мы жили душа в душу, никогда ничего не скрывая друг от друга, неизменно поверяя друг другу и радости свои, и печали...»

В обычное время в доме жило несколько пожилых монахинь: молодым дамам нелегко решиться похоронить себя в горной глуши вдали от блеска и роскоши столичной жизни.

У некоторых монахинь были дочери или внучки, некоторые из них служили в знатных столичных домах, другие устроили свою жизнь иным образом, но время от времени кто-то из них наведывался в Оно. Женщина старалась не показываться никому из приезжих. «Они могут быть в тех домах, с которыми я была когда-то связана, — думала она, — и в конце концов в столице узнают, что я еще жива. Люди станут выдумывать разные нелепости, гадая, каким образом я попала сюда...»

Ей прислуживали лишь Дзидзю и Комоки, дамы, прежде находившиеся в услужении у младшей монахини. Эти особы ничем не походили на тех «столичных птиц» (503), с которыми она имела дело прежде, — ни наружностью, ни манерами.

«Наверное о таких местах и говорят — “приют за пределами нашего мира” (477, 478)», — то и дело приходило в голову женщине. Монахиня же, понимая, что крайняя скрытность ее питомицы должна быть обусловлена важными причинами, даже домашним не рассказывала никаких подробностей.

Бывший зять монахини достиг к тому времени звания тюдзё. Его младший брат, монах Дзэнси, будучи учеником Содзу, жил в горной обители,



и родные время от времени поднимались в горы, чтобы его проведать. Однажды по дороге в Ёкава Тюдзё заехал в Оно. Услыхав крики передовых и увидев, что к дому приближается изящно одетый мужчина, женщина невольно унеслась мыслями в прошлое, ей живо вспомнилось, как когда-то ее навещал Дайсё.

Здесь было так же уединенно и уныло, как в Удзи, но благородные привычки и тонкий вкус обеих монахинь ощущались в каждой безделице. У изгороди пышно цвела гвоздика, «девичья краса» и колокольчики тоже уже раскрывали свои бутоны. Тюдзё, так же как и его спутники, был облачен в охотничье платье. Его провели на южную галерею и, устроившись там, он стал любоваться живописным пейзажем. Ему было лет двадцать семь — двадцать восемь, но держался он степенно и производил впечатление весьма разумного человека. Монахиня беседовала с ним, сидя за стоявшим у двери переносным занавесом.

— С каждым годом все более далеким становится прошлое, — плача, говорит она. — Но вы не перестаете осенять светом своих милостей наше мрачное жилище. О, если б вы знали, с каким нетерпением я жду вас! Хотя не скрою, мне кажется странным...

— В глубине души я ни на миг не забываю о прошлом, — отвечает Тюдзё, — хотя и не часто бываю здесь, опасаясь нарушить ваше уединение. Ах, как я завидую тем, кто живет здесь, в горах, вдали от суетного мира! Я охотно приезжал бы к вам чаще, но слишком многие устремляются за мною следом, мол, раз вы едете, так почему бы... А сегодня мне удалось от всех избавиться...

— В наши дни в обычае завидовать бедным жителям гор, но вы приезжаете сюда вовсе не потому, что так принято в мире, а потому, что не можете забыть о прошлом, и я всегда это помню.

Распорядившись, чтобы спутникам Тюдзё подали рис, монахиня принимается потчевать зятя семенами лотоса и прочими лакомствами. Будучи связанным с этим семейством давними узами, Тюдзё чувствует себя здесь совершенно как дома. Внезапно начинается ливень, и, задержанный им, он беседует с монахиней дольше обыкновенного.

Несчастливая мать не переставала оплакивать утрату любимой дочери, но в не меньшее отчаяние приходила она при мысли, что этот прекрасный молодой человек скоро станет ей чужим. «Ах, почему она не оставила хотя бы дитя на память о себе...» — сетовала она, тоскуя о прошлом, когда же Тюдзё приезжал, старалась предупредить малейшее его желание и рассказывала обо всем — диковинном ли, трогательном ли — что приходило ей на ум.

Пока они беседуют, молодая госпожа сидит, задумчиво глядя на сад — ей и самой есть что вспомнить. Сегодня она особенно хороша. Правда, на ней вызывающе яркое белое нижнее платье и темные без глянца хакама — может потому, что все обитательницы этого дома носят тускло-коричневые... «Как странно должно быть я выгляжу! — думает она. — Ничего подобного я никогда не носила». Впрочем, даже в этом жестком, дурно сшитом наряде она кажется удивительно изящной.

— И так в последнее время кажется, что вернулась покойная барышня, — шепчутся прислуживающие монахине дамы. — А когда видишь рядом господина Тюдзё, то душа стесняется еще большим волнением.

— Хорошо бы он снова начал посещать наш дом. Раз уж так случилось...

— И правда, прекрасная получилась бы пара!

«Как ужасно! Да, я осталась жива, но ни с кем больше не стану связывать свою судьбу, — подумала женщина, услышав их перешептывания. — Иначе меня замучат воспоминания. Я даже думать не должна об этом. Чем быстрее забудется прошлое, тем лучше».

Тем временем монахиня удаляется во внутренние покои, а гость остается сидеть на галерее, уныло глядя на затянутое дождем небо. Различив голос дамы по имени Сёсё, он подзывает ее.

— Я не сомневался, что все дамы, которых я знал прежде, остались здесь, но вы и вообразить не можете, как трудно мне приезжать сюда. Наверное, вы чувствуете себя обиженными.

В прежние времена Сёсё всегда прислуживала Тюдзё, и он воспользовался случаем, чтобы поделиться с ней трогательными воспоминаниями о прошлом.

— Когда я входил на галерею, — говорит он между прочим, — внезапный порыв ветра взметнул занавеси, и я успел увидеть длинные волосы какой-то женщины. Признаться, я был поражен. Она так не похожа на остальных. Кого это вы прячете здесь, вдали от мира?

«Наверное, господин Тюдзё заметил, как молодая госпожа переходила во внутренние покои, — догадывается Сёсё. — А уж разглядев ее получше, он наверняка не останется к ней равнодушным. Ведь он до сих пор не может забыть умершей, а эта куда красивее».

— Вы знаете, как горевала наша госпожа, как трудно было ей примириться с утратой дочери, — говорит она. — Но совершенно неожиданно случай свел ее с одной особой, которая, став предметом ее сердечных попечений, помогла ей обрести утешение. Только одного не понимаю: как удалось вам увидеть ее?

«Вот, значит, в чем дело!» — подумал Тюдзё. Любопытство подстрекало его узнать больше о прелестной незнакомке, чей образ, на краткий миг мелькнув перед взором, успел воспламенить его воображение. «Кто она? — гадал он. — Я не видел женщины прекраснее». Однако сколько он ни расспрашивал Сёсё, она твердила одно:

— Со временем вы все узнаете сами.

Настаивать было неудобно, к тому же спутники уже торопили его, говоря:

— Дождь кончился, скоро совсем стемнеет.

Спустившись в сад, Тюдзё срывает цветок «девичьей красоты» и, помедлив, произносит словно про себя:

— «Зачем же и здесь?» (504).

Ах, он боится, что люди станут злословить, — умиляются старые прислужницы. — Какая похвальная предусмотрительность!

— Господин Тюдзё и раньше казался мне средоточием всех мыслимых добродетелей, — соглашается монахиня. — А с годами он стал еще лучше. Раз уж так получилось, почему бы нам и в самом деле не возобновить прежних отношений? Говорят, он связан с дочерью То-тюнагона, но душа его не лежит к ней, и большую часть времени он проводит в доме отца...

— Неужели вы не понимаете, как обижает меня ваша скрытность? — продолжает она, обращаясь к молодой госпоже. — Вы целыми днями печаль-

литесь и вздыхаете, а мне не говорите ни слова. Давно пора примириться со своим предопределением и перестать кручиниться. Посмотрите на меня. Пять долгих лет оплакивала я свое дорогое дитя, но появились вы, и прошлое забыто. Несомненно, и ваши близкие, как ни велико было сначала их горе, постепенно привыкли к мысли, что вас больше нет в этом мире, и утешились. Увы, никакое чувство не может длиться вечно.

— Я вовсе не хочу таиться от вас, — еле сдерживая рыдания, отвечает молодая госпожа. — Но с тех пор, как столь чудесным образом ко мне вернулась жизнь, прошлое видится мне словно во сне. Иногда мне кажется, что именно так должен чувствовать себя человек, возродившийся в ином мире. Я не знаю даже, живы ли те, кто заботился обо мне прежде. У меня нет никого ближе вас.

Ее голос звучит так искренне, а лицо так прекрасно, что, глядя на нее, монахиня не может удержаться от улыбки.

Между тем Тюдзё добрался до Ёкава, и его принял сам Содзу, пожелавший побеседовать с дорогим гостем. Тюдзё провел в горной обители всю ночь, услаждая слух прекрасной музыкой и слушая, как монахи звучными голосами читают сутры. Рассказывая брату своему Дзэнси о том, что произошло со дня их последней встречи, он между прочим говорит:

— По дороге сюда я заехал в Оно и беседовал с монахиней. Это было так трогательно! Трудно найти женщину более утонченную, даром что она вернулась от мира.

— Когда я был там, — продолжает он, — ветер неожиданно взметнул занавеси, и взору моему предстала какая-то женщина с удивительно красивыми длинными волосами. Очевидно, она боялась, что ее увидят снаружи, и встала, чтобы пройти во внутренние покои. Разумеется, я ничего не успел разглядеть, но в этой женщине с первого взгляда видно особу благородного происхождения. Право же, ей не место в таком доме. Видя с утра до вечера одних монахинь, она и сама станет на них похожа. Ну не досадно ли?

— Кажется, монахини нашли ее где-то возле Хацусэ, куда совершали паломничество нынешней весной. Говорят, что это произошло при весьма таинственных обстоятельствах.

Ничего другого Дзэнси сказать не может, ибо подробности ему и самому не известны.

— Что за трогательная история! Но кто она? Наверное, ей довелось изведать в жизни немало горя, иначе она вряд ли стала бы искать пристанища в такой глуши. Да, совсем как в старинной повести...

На следующий день Тюдзё отправился обратно в столицу, и надобно ли говорить о том, что по пути он заехал в Оно? На этот раз монахини были готовы к его приезду, и их ласки и угождения живо напомнили о прошлом. Разумеется, рукава прислуживающей ему Сёсё были теперь другого цвета, но разве стала она от этого менее привлекательной?

Беседуя с гостем, монахиня то и дело заливается слезами.

— А что за особа скрывается в вашем доме? — как бы между прочим спрашивает Тюдзё.

Нетрудно вообразить, в какое замешательство привел монахиню этот вопрос, но, подумав, что бессмысленно отрицать существование особы, которую Тюдзё скорее всего уже видел, она отвечает:

— Вы знаете, что все эти годы я ни на миг не забывала о своем горе и лишь увеличивала бремя, отягощающее мою душу. Но вот несколько лун тому назад я встретила одну молодую особу, которая помогла мне обрести утешение, и теперь забочусь о ней. По-видимому, ей довелось изведать в жизни немало горестей, что-то постоянно гнетет ее, и она трепещет от страха при мысли, как бы люди не узнали, что она еще жива. Но я-то не особенно и беспокоилась — кто станет искать ее здесь, на дне этого ущелья? Как же вы узнали о ее существовании?

— Даже если бы я вдруг приехал сюда без всяких на то никаких оснований, поддавшись сердечному порыву, я и тогда вправе был хотя бы пожаловаться на опасности, подстерегающие путника на горных тропах. А уж если речь идет об особе, которая заменила вам дочь, стоит ли скрывать ее от меня, делая вид, будто она не имеет ко мне никакого отношения? Но почему ей так ненавистен этот мир? Ах, когда б я мог ее утешить!

Судя по всему, он весьма заинтересован. Перед отъездом Тюдзё извлек из-за пазухи листок бумаги и написал:

«Не покоряйся  
Своенравным диким ветрам,  
“Девичья краса!”  
Для себя этот сад завещаю,  
Хоть путь к нему и не близок».

Это послание он передал через Сёсё. Увидев его, монахиня сказала:

— Будет лучше, если вы ответите. Господин Тюдзё — человек тонкой, чувствительной души. Он никогда не позволит себе ничего, что могло бы оскорбить вас.

Но молодая госпожа отказалась наотрез.

— У меня слишком плохой почерк, — заявила она.

Было ясно, что убедить ее не удастся, и монахиня, понимая, что молчание может обидеть Тюдзё, написала ответ сама:

«Разве я не предупреждала Вас, что наша молодая госпожа слишком не изкушена в мирских делах и не похожа на других женщин...

“...Девичья краса”  
Уныло поникла, попав  
В бедную хижину,  
Где мы живем, отвернувшись  
От мирской суеты».

«Для первого раза довольно и этого», — подумал Тюдзё и уехал в столицу.

Докучать женщине письмами было бы неприлично, однако ее образ, мимолетно мелькнувший перед взором, не изглаживался из памяти Тюдзё. Он не знал, в чем причина ее тайных горестей, но сердце его стеснялось от жалости, поэтому, когда на Десятый день Восьмой луны была назначена соколиная охота, Тюдзё, воспользовавшись этим, снова приехал в Оно.

Вызвав Сёсё, он передает через нее:

— Стоило мне увидеть вас, и сердце лишилось покоя.

Видя, что госпожа отвечать не собирается, монахиня отвечает сама:

— Мне кажется, она «кого-то ждет на горе Мацути...» (505).

— В прошлый раз вы говорили, что ваша молодая госпожа много страдала, — говорит Тюдзё, встретившись с монахиней. — Я хотел бы знать о ней как можно больше. Мне тоже пришлось испытать в жизни немало разочарований, и я охотно поселился бы где-нибудь в горной глуши, когда б не возражали мои близкие. Откровенно говоря, меня никогда не влекло к женщинам веселым, жизнерадостным, возможно потому, что и сам я с унынием смотрю на мир. Насколько приятнее иметь рядом особу, склонную к задумчивости, с которой всегда можно поделиться своими мыслями...

Судя по всему, Тюдзё увлечен не на шутку.

— Что ж, если вы предпочитаете грустных женщин, более подходящей вам не найти, — отвечает монахиня. — Боюсь только, что ее отвращение к миру слишком велико, чтобы она согласилась вступить на обычный для женщины путь. Даже немолодым людям, жизнь которых приближается к концу, нелегко отказаться от мира, а в таких цветущих летах... Ах, меня постоянно мучит мысль — что станет с ней?

Наверное точно так же беспокоилась бы она и о своей родной дочери.

— Вы слишком жестоки, — говорит монахиня, входя во внутренние покои. — Ответьте же ему. Довольно будет нескольких слов. Обычно люди, живущие в такой глуши, не упускают случая проявить душевную чуткость.

— Но я даже не знаю, о чем надо говорить, бессмысленно и пытаться...

И молодая госпожа продолжает лежать, всем своим видом показывая, что уговаривать ее бесполезно. Приходится монахине вернуться ни с чем.

— Что же? Неужели она столь бессердечна? Значит, вы обманули меня, говоря о свидании, обещанном на осень? (505)

Пришел я сюда,  
Влекомый звоном сверчков,  
«Ожидающих в соснах»,  
Но лишь промок от росы,  
Заблудившись в чаще мисканта...

— Неужели вам его не жаль? Ответьте хотя бы на это, — настаивает монахиня.

Однако женщина по-прежнему молчит. «Слишком неприятно отвечать так, как принято, будто мне и в самом деле его жаль, — думает она. — К тому же стоит хоть раз уступить, они не оставят меня в покое».

Дамы вздыхают, переглядываясь — судя по всему, упрашивать ее действительно тщетно, — а монахиня, очевидно вспомнив дни своей молодости, произносит:

— По осенним лугам  
Ты прошел, с трав сбивая росу  
Платьем своим.  
И сад, бурьяном заросший,  
Не стоит теперь упрекать...

Вот что просила ответить вам молодая госпожа. Ее опасения так понятны...

Увы, откуда было монахиням знать, в какой ужас приходила женщина при одной мысли, что кто-нибудь проникнет в ее тайну? Разумеется, они были на стороне Тюдзё, с которым их связывали самые светлые воспоминания.

— Вам нечего бояться, — внушают они молодой госпоже. — Ничего дурного не будет, если вы согласитесь при случае побеседовать с господином Тюдзё. Пусть даже у вас нет желания вступать с ним в отношения, обычные для нашего мира, можно по крайней мере проявить любезность и ответить!

Она же с тревогой смотрит на монахинь, которые не только не проявляют никакой приверженности старым обычаям, а, напротив, ведут себя так, будто к ним вернулась молодость, и вполне в современном вкусе слагают неумелые, но весьма многозначительные стихи. «Что за злосчастная судьба выпала мне на долю! — сетует она. — Даже жизнь, которой я уже готова была положить конец, неожиданно оказалось невыносимо долгой, и неизвестно, какие еще лишения ждут меня впереди? Ах, как бы мне хотелось, чтобы все окончательно забыли о моем существовании!»

Она лежит, впад в глубокую задумчивость, а тем временем Тюдзё, громко вздыхая — не исклучено, впрочем, что у него есть и другие причины для печали, — наигрывает на флейте.

— «То и дело стоны оленей...» (506) — произносит он, словно про себя, и трудно назвать его человеком нечувствительным.

— Мне невольно вспомнилось прошлое, — говорит он, — и стало еще тоскливее. Наверное, я никогда больше не встречу женщину, способную откликнуться на мои чувства. Как видно, это вовсе не те горы, «где нет места мирским печалам...» (43).

Видя, что он собирается уходить, монахиня подходит к галерее.

— Но почему вы не хотите полюбоваться столь прекрасной ночью? — спрашивает она

— А что мне в ней? — шутивым тоном отвечает Тюдзё. — Теперь, когда я проник в истинные чувства обитательницы дальнего селения...

«Не годится проявлять излишнюю пылкость, — думает он. — Я приехал сюда потому, что ее черты, на миг мелькнувшие перед взором, возбудили в сердце любопытство и внушили надежду на утешение. Однако она так холодна и так замкнута... Живя в таком месте, следует быть более отзывчивым...» И он решает уехать, к величайшему огорчению монахини, которая так и не успела сполна насладиться его игрой на флейте.

— Может, тебя  
Не волнует печальная прелесть  
Полночной луны?  
Потому и спешишь покинуть  
Эту келью у края гор? —

произнеся это весьма нескладное стихотворение, монахиня поспешно добавляет:

— Так говорит госпожа. — И, охваченный сладостным волнением, Тюдзё отвечает:

— Что ж, подожду,  
Пока луна не исчезнет  
За краем гор.  
Может, свет, сквозь щели проникнув,  
И спальню твою озарит?..

Тихие звуки флейты доносятся до слуха старой монахини, и, очарованная ими, она выходит к гостю. Голос ее дрожит, приступы кашля сотрясают немощное тело.

Как ни странно, беседуя с Тюдзё, старая монахиня ни словом не обмолвилась о прошлом. Скорее всего она просто его не узнала.

— Сыграй нам на китайском кото! — обращается она к дочери. — Ах, как красиво звучит флейта в лунную ночь! Эй, кто-нибудь, принесите кото!

Догадавшись, кто перед ним, Тюдзё невольно вздыхает: «И что это за место?.. Подумать только, такая старуха и до сих пор живет здесь...Как это возможно?» При мысли о прихотливости человеческих судеб, томительное волнение стесняет его душу.

Сыграв прекрасную мелодию в тональности «бансики», Тюдзё откладывает флейту:

— Теперь ваш черед...

А надо сказать, что монахиня-дочь когда-то славилась в мире утонченностью вкуса.

— Не могу не выразить вам своего восхищения, — говорит она. — За эти годы вы достигли значительных успехов. Но, может быть, я просто давно уже не слышала ничего, кроме пения горного ветра... Боюсь, что моя игра покажется вам слишком неумелой...

В последнее время китайское кото утратило былое значение, и мало кто играет на нем, хотя нельзя не отдать справедливой дани своеобразному очарованию этого инструмента. «Голос сосны сплетается с цитрой ночной...»\* Китайскому кото вторила флейта, которой светлые звуки, казалось, сообщали особую чистоту лунному свету. Старая монахиня была в таком восторге, что забыла о сне и бодрствовала до самого рассвета.

— Когда-то я и сама играла на восточном кото, и, говорят, недурно, — говорит она. — Но, по-видимому, теперь играют по-другому, во всяком случае, мой сын Содзу однажды отозвался о моей игре довольно пренебрежительно, заявив, что я оскорбляю его слух, и что лучше бы я не тратила попусту время, которое можно посвятить молитвам. С тех пор я ни разу не прикасалась к струнам, хотя у меня есть прекрасное кото.

Ей явно хочется поразить их своим мастерством, и Тюдзё, незаметно улыбнувшись, говорит:

— О, я никак не могу согласиться с господином Содзу. Более того, меня удивляют его слова. Ведь в Земле Вечного Блаженства бодхисаттвы очень часто улаждают свой слух музыкой, а небожители танцуют. И никто не считает подобное времяпрепровождение недостойным, напротив. Подумайте сами, какой грех в музыке и как может она мешать молитвам? Прошу вас, сыграйте, вы доставите мне большую радость.

Немудрено вообразить, как довольна была старая монахиня.

— Эй, Тономори, — еле сдерживая кашель, приказывает она, — подай-ка восточное кото.

Остальные монахини смотрят на свою госпожу с ужасом, но из жалости к ней молчат. Уж раз она затаила в душе обиду на своего почтенного сына, да еще и пожаловалась на него господину Тюдзё...

Приносят кото, и старая монахиня, не обращая внимания на флейту, начинает, резко цепляя ногтями струны, играть первое, что приходит ей на

ум, — какую-то старинную восточную мелодию. Все остальные перестают играть, она же, приняв замешательство за восхищение, еще более воодушевляется и, быстро дергая струны, принимается напевать дрожащим голосом что-то вроде:

— Такэо-ти-тири-тири-тиритана...\*

— Ах, как прекрасно, теперь такого пения нигде не услышишь, — хвалит ее Тюдзё, поскольку же старуха глуховата, сидящим рядом с ней прислужницам приходится прокричать слова Тюдзё ей прямо в ухо.

— Современные молодые люди не имеют вкуса к музыке, — отвечает она, самодовольно ухмыляясь. — Взять, к примеру, эту особу, которая недавно появилась в нашем доме. Она весьма хороша собой, но целыми днями только печалится. Ни слова от нее не услышишь. А уж к изящным развлечениям у нее, видно, и вовсе нет склонности.

Ее дочь и другие монахини смущаются, а Тюдзё, потеряв всякий интерес к происходящему, спешит откланяться.

Ветер долго еще доносил до обитательниц Оно чистые звуки его флейты. До самого рассвета монахини не смыкали глаз, а утром явился гонец с письмом:

«Вчера вечером такие мучительные мысли нахлынули на меня, что я поспешил уехать».

Мне не забыть,  
Как нежно звучали струны  
В те давние дни,  
Потому и заплакал, услышав  
Бесстрастные трели флейты...

Может быть, Вам все-таки удастся пробудить жалость в сердце молодой госпожи? Поверьте, когда б не томительная тоска, я не осмелился бы докучать Вам своими просьбами, хотя бы из страха показаться слишком ветреным...»

Монахине стало так грустно, что она не сумела сдержать слез. А вот какой она написала ответ:

«Голос флейты  
Давно умолкшие струны  
В сердце задел.  
Едва отзвучал он, снова  
Промокли мои рукава...

Иногда молодая госпожа кажется до странности лишенной всякой чувствительности... Впрочем, наверное, Вы и сами догадались, довольно было непрошенных признаний моей престарелой матушки...»

Это заурядное письмо скорее всего не произвело на Тюдзё никакого впечатления, и он сразу же отложил его в сторону.

«Он не оставляет меня в покое, словно ветер — листья мисканта... — недовольно думала молодая госпожа. — Как же упрямые мужчины!» И мысли ее невольно устремлялись к прошлому. «Увы, я знаю только одно средство оградить себя от новых домогательств. И я постараюсь прибегнуть к нему как можно быстрее...» Одушевленная этой мыслью, она все сердечные пожелания свои сосредоточила на сутрах и молитвах. Что было делать мона-



хине? Постепенно она пришла к заключению, что ее питомица от природы лишена каких бы то ни было дарований и, несмотря на молодые годы, обладает угрюмым, неуживчивым нравом. Но женщина была так красива, что она прощала ей все недостатки и целыми днями любовалась ею. Стоило той улыбнуться, и монахиня чувствовала себя счастливой.

На Девятую луну младшая монахиня снова отправилась в Хацусэ. Ей хотелось отблагодарить Каннон за чудесное утешение, которое было ниспослано ей после стольких лет тоски и одиночества.

— Поедьте со мной, — уговаривала она молодую госпожу. — Об этом никто не узнает. Разумеется, тамошние храмы мало чем отличаются от других, но Каннон из Хацусэ более снисходительна к молящимся и чаще исполняет их просьбы. Тому есть немало чудесных примеров.

«Когда-то и мать, и кормилица точно так же принуждали меня ездить в Хацусэ, но это не принесло мне счастья, — подумала женщина. — Мне не удалось даже уйти из мира, а в этой жизни я не видела ничего, кроме горя и бед». К тому же ей было страшно пускаться в столь долгое путешествие с этой чужой женщиной. Однако она не сумела ответить решительным отказом, только пожаловалась:

— Мне что-то нездоровится последнее время, не знаю, достанет ли у меня сил...

«Она боится, и это неудивительно...» — подумала монахиня и не стала настаивать.

Бесцельно  
Унылая тянется жизнь,  
У реки Хацусэ  
Я больше не стану искать  
Двуствольную криптомерию (200).

Эту песню молодая госпожа написала однажды, упражняясь в каллиграфии, и, обнаружив ее, монахиня сказала шутя:

— Наверное, есть два человека, с которыми вам хотелось бы «снова встретиться»?

Слова ее попали в цель, и на щеках женщины вспыхнул жаркий румянец, сделавший ее еще прелестнее.

— Не знаю, куда  
Тянет корни свои криптомерия  
С реки Хацусэ,  
Она дорога мне как память  
О милой сердцу ушедшей. —

быстро ответила монахиня. Впрочем, ничего примечательного в ее песне нет.

Она намеревалась идти в Хацусэ одна, не привлекая к себе внимания, но все прислужницы захотели непременно ей сопутствовать. Обеспокоенная тем, что после ее отъезда дом совсем опустеет, монахиня оставила с девушкой трех прислужниц: весьма смышленную монахиню по прозвищу Сёсё, женщину постарше по прозвищу Саэмон и девочку-служанку.

Проводив паломниц, молодая госпожа задумалась о своей злосчастной судьбе, но что тут можно было придумать?.. Теперь, когда рядом с ней не осталось ни одного человека, на которого можно было положиться, ей стало еще тоскливее.

Пока она сидела так, погруженная в мрачные мысли, принесли письмо от Тюдзё.

— Соблаговолите прочесть, — просила Сёсё, но женщина не желала ее слушать. Все в этом опустевшем доме располагало к унынию, и она коротала долгие, томительные дни, размышляя о прошедшем и о грядущем.

— Ах, вы так грустите, что тяжело смотреть! — говорит однажды Сёсё. — Давайте хотя бы сыграем в «го»?

— Я всегда играла дурно, — смущается госпожа, но в конце концов соглашается — почему бы и не сыграть? — и Сёсё посылает за доской. Уверенная в себе, она предлагает госпоже начинать первой, но, к ее величайшему удивлению, та играет настолько лучше, что в следующей игре первый ход делает Сёсё.

— Скорее бы возвращалась госпожа монахиня! — радуется Сёсё. — Посмотрит, как вы играете. Когда-то она очень хорошо играла в «го». Господин Содзу тоже любил эту игру и едва не возомнил себя лучшим игроком на свете. Однажды он предложил сестре сыграть с ним, заявив: «Хвалиться не стану, но тебе меня никогда не обыграть». Кончилось же тем, что он проиграл ей две игры подряд. И вот что я вам скажу: вы вполне можете обыграть этого лучшего игрока. Чудеса, да и только!

«Что я наделала!» — ужасается женщина, испуганная столь явным пристрастием этой немолодой монахини с некрасиво выбритым лбом к игре в «го». Сказавшись больной, она ложится.

— Вы не должны пренебрегать ничем, что могло бы отвлечь вас от мрачных мыслей, — поучает ее Сёсё. — Нехорошо, когда такая молодая, красивая женщина все время грустит. Ну словно драгоценный камень с изъяном.

Унылые стоны ночного ветра пробуждают в душе печально трогательные воспоминания...

Пусть не понять  
Сердцу — чем же чарует  
Осенний вечер,  
Невольно грущу, и роса  
На рукава ложится...

Когда на небо выплывает прекрасная светлая луна, появляется Тюдзё, от которого днем было получено письмо соответствующего содержания. «Ах, как некстати», — сетует госпожа и спешит скрыться в глубине покоев.

— Это уж слишком! — возмущается Сёсё. — Провести такую ночь в обществе человека с тонкой душой — что может быть прекраснее? А уж когда он питает к вам нежные чувства... Неужели вы хотя бы немного не поговорите с ним? Или вы думаете, что его речи загрязнят ваш слух?

Женщина молчит, объятая ужасом, и, видя, что склонить ее к согласию не удастся, Сёсё пытается уверить гостя, что молодой госпожи нет дома. Однако все ее уловки оказываются напрасными: очевидно, гонец, приходив-

ший днем, сумел вывести, что госпожа не уехала вместе со всеми. Возмущенный, Тюдзё осыпает Сёсё упреками.

— Я ведь даже не прошу, чтобы мне позволили услышать ее голос, — говорит он. — Позвольте мне просто подойти поближе и сказать о своих чувствах, о большем я и мечтать не смею. А там — пусть госпожа сама решает, достоин я ее внимания или нет.

Исчерпав все средства убедить женщину, Тюдзё пеняет ей:

— Вы слишком жестоки ко мне! Обычно в таком месте особенно чутко откликаешься на все, что происходит вокруг. А ваше удивительное равнодушие...

Когда твое сердце  
Полнится горькой печалью,  
Нельзя не поддаться  
Чарам осенней ночи  
В горном селении.

Ваше сердце тоже просто не может не отозваться...

— Госпожи монахини нет, и отвечать за вас некому, — заявляет Сёсё. — Неужели вы настолько не желаете считаться с приличиями?

— Влачу свои дни,  
Стараясь не думать о том,  
Как горестна жизнь,  
А людям, наверное, кажется —  
Всею душой предаюсь печали... —

роняет женщина, словно между прочим, но Сёсё тут же передает ее слова Тюдзё, и тот растроган до глубины души.

— Уговорите же госпожу подойти поближе, — снова просит он, незаслуженно подозревая прислужниц в неосторожности.

— Свет не видывал столь бессердечной особы, — сетует Сёсё и послушно проходит во внутренние покои. Там она обнаруживает, что госпожа укрылась в покоях старой монахини, куда обыкновенно и не заглядывает! Пораженная, она возвращается к Тюдзё и докладывает ему — так, мол, и так...

— Мне всегда казалось, что человек, живущий в таком месте, где ничто не мешает ему предаваться размышлениям, — говорит Тюдзё, — должен овладеть особенно чувствительной душой. Ваша госпожа не производит впечатления бессердечной особы, но даже женщина, вовсе не сведущая в делах этого мира, не обходилась бы со мной столь жестоко. Может быть, горький опыт прошлого заставляет ее вести себя так? Но что могло поселить в ее душе такое отвращение к миру? И как долго она не сможет освободиться от него?

Подстрекаемый любопытством, он требует от Сёсё новых и новых подробностей, но разве может та рассказать ему все, что знает?

— Эта особа давно должна была находиться на попечении госпожи монахини, — отвечает она, — но обстоятельства разлучили их на долгие годы, и только совсем недавно, во время поездки в Хацусэ, мы совершенно случайно встретили ее и забрали с собой.

Госпожа тем временем лежит ничком подле старой монахини, о дурном нраве которой наслышана, и не может сомкнуть глаз. Сама монахиня заснула уже давно, едва опустились сумерки, и теперь изо рта ее вырывается страшный храп. Неподалеку лежат еще две монахини, такие же старые, и тоже храпят одна громче другой. «Как бы кто-нибудь из них не проглотил меня сегодня ночью», — думает женщина, дрожа от страха. Не столь уж и дорога ей жизнь, но, будучи от природы робкого нрава и характер имея нерешительный, она во всех затруднительных случаях ведет себя совершенно так же, как тот человек, который отказался от намерения покончить с собой единственно потому, что побоялся пройти по бревну, переброшенному через реку.

Госпожа пришла сюда вместе с Комоки, но эта ветреная особа почти сразу же ускользнула, не желая лишать себя удовольствия полюбоваться изысканными манерами столь редкого гостя. «Вот сейчас, сейчас она вернется», — ждет госпожа, но, увы, Комоки не из тех, на кого можно положиться...

Тем временем Тюдзё, так ничего и не добившись, уезжает.

— Ну можно ли быть такое неприветливой? — сетуют монахини, укладываясь спать. — При ее-то красоте...

Поздно ночью (по-видимому, было уже около полуночи) старая монахиня проснулась, разбуженная жестоким приступом кашля. Огонь светильника освещал ее седые волосы, покрытые чем-то черным. Заметив, что рядом с ней кто-то лежит, она, приставив руку козырьком ко лбу, в недоумении уставилась на женщину своими подслеповатыми глазами.

— Это еще что за диво? Кто здесь? — недовольно ворчала она.

«Вот и конец, — подумала молодая госпожа и зажмурилась от ужаса. — Сейчас проглотит».

Когда там, в Удзи, демон повлек ее за собой, она не сопротивлялась, ибо ничего не понимала. Но теперь... Бедняжка совсем растерялась, не зная, что делать. «Что за злосчастная у меня судьба! — вздыхала она. — Вернуться к жизни, для того чтобы вечно терзаться воспоминаниями о прежних страданиях и трепетать в ожидании новых? Впрочем, кто знает, может быть, после смерти мне было бы еще хуже...»

Всю ночь она не смыкала глаз, преследуемая горькими раздумьями, перебирая в памяти все тягостные и мучительные подробности своей безотрадной жизни. Она никогда не видела отца, ее юность прошла в бесконечных скитаниях по далеким восточным землям. Когда же волею обстоятельств она вернулась наконец в столицу и обрела столь надежную, казалось бы, опору в лице сестры, нелепый случай лишил ее и этого утешения. Был человек, готовый оказать ей покровительство, и уже близился день, когда все тревоги и несчастья должны были остаться позади, но она совершила неправимую ошибку, и все рухнуло. Теперь-то она понимала, что не должна была поддаваться обаянию принца... Ведь именно тогда и начались все ее беды. О, она не должна была уступать ему, не должна была верить клятвам у Померанцевого острова! Теперь ничего, кроме неприязни, не осталось в ее сердце, и все чаще вспоминала она того, другого. Может быть, его чувства не были такими пылкими, но где найдешь человека более внимательного и более надежного? Лишь бы он не узнал, что она жива и находится здесь,

в Оно! Кто угодно, только не он! Она бы не перенесла этого позора! И все же, если бы можно было хотя бы одним глазком увидеть его... Нет, нет, дурно даже думать об этом!

Наконец раздался крик петуха, и женщина вздохнула с облегчением. «Еще больше обрадовалась бы я, услышав голос матери» (507), — невольно подумалось ей. После бессонной ночи она чувствовала себя совсем больной и осталась лежать, поджидая Комоки, которая так до сих пор и не пришла. Старухи, всю ночь пугавшие ее своим храпом, поднялись чуть свет и, приготовив рисовую кашу и еще что-то столь же непривлекательное, угощались, на все лады расхваливая еду.

— Отведайте и вы, — предложила ей старая монахиня, но женщине было неприятно, да и непривычно принимать от нее такого рода услуги. Она отказалась от еды, сославшись на дурное самочувствие, но бесцеремонные монахини продолжали настаивать. Тут послышался шум: пришли монахи из Ёкава с сообщением, что Содзу собирается сегодня спуститься с гор.

— Почему так внезапно? — удивились монахини, и монахи не без гордости принялись объяснять им, в чем дело:

— Первую принцессу давно уже преследует какой-то злой дух. Верховный священнослужитель с горы Хиэ был призван к ее ложу, дабы отслужить соответствующий молебен, но, судя по всему, без нашего Содзу они не могут справиться. Вчера за ним снова присылали гонца, а вечером Сиино сёсё из дома Левого министра явился с письмом от самой Государыни-супруги. Потому-то достопочтенный Содзу и согласился нарушить свое уединение.

«Вряд ли я дождусь другого такого случая, — подумала женщина. — Я должна превозмочь свою робость и попросить Содзу совершить обряд пострижения. В доме почти никого нет, и нам никто не помешает».

— Я чувствую себя нездоровой, — сказала она, поднимаясь. — Когда пожелает господин Содзу, попросите его принять у меня обет воздержания. Не стоит упускать такой возможности.

Старая монахиня лишь молча кивнула в ответ. Вид у нее был совершенно отсутствующий.

Молодая госпожа перебралась в свои покои. Ее всегда причесывала монахиня, и теперь, не желая, чтобы ее волос касались чужие руки, она попыталась распустить их сама, что оказалось довольно трудной задачей. «Матушка никогда уже не увидит меня в прежнем обличье», — подумала она, и сердце ее болезненно сжалось. Но разве могла она кого-то винить? Ей казалось, что за время болезни волосы ее должны были поредеть, но, как это ни странно, их вовсе не стало меньше. Густые, длинной не менее шести сяку, они падали до самого пола шелковистыми, блестящими волнами.

— «Когда б она знала, какая судьба...» (508) — тихонько прошептала она про себя.

Содзу появился в Оно вечером. Для него были подготовлены южные покои, где уже суетились круглоголовые монахи. Все это было необычно, и сердце женщины замирало от страха. Прежде всего Содзу зашел к матери.

— Что нового произошло у вас за это время? — спрашивает он. — Я слышал, что монахиня из восточных покоев отправилась в Хацусэ. А та особа, которую мы нашли, что, она по-прежнему с вами?

— Да, она здесь, — отвечает старая монахиня. — Кстати, ей, кажется, нездоровится, и она просила, чтобы вы приняли у нее обет воздержания.

Содзу поспешил в покои молодой госпожи и, устроившись у занавеса, окликнул ее. С трудом преодолевая смущение, она приблизилась, готовая отвечать на его вопросы.

— Все это время я молился за вас, — говорит Содзу. — Я уверен, что какая-то давняя связь существует между нашими судьбами, иначе мы не встретились бы при столь удивительных обстоятельствах. Надеюсь, вы понимаете, почему я не сообщался с вами: монаху не приличествует обмениваться письмами с женщиной без особой на то надобности. Как вам живется здесь среди отвернувшихся от мирской суеты?

— Когда-то я решила уйти из мира, — отвечает женщина, — и сама не понимаю, почему до сих пор жива. Меня это не так уж радует, и тем не менее я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Однако, мне кажется, я не сумею приноровиться к обычаям этого мира и не задержусь в нем надолго. Поэтому прошу вас, постригите меня в монахини. Я не смогу жить так, как живут другие женщины.

— Но у вас еще вся жизнь впереди! Неужели вы решитесь посвятить ее одним молитвам? Боюсь, как бы вы не обременили душу еще более тяжкими прегрешениями! Возможно, сейчас ваше решение кажется вам твердым, но пройдет время... Увы, женщины так легко впадают в заблуждение...

— С малолетства я не знала ничего, кроме печалей, и матушка часто предлагала мне: «может, тебе стать монахиней?» А потом, когда я стала проникать в суть явлений этого мира, я еще более укрепилась в намерении отказаться от обычной жизни и посвятить себя заботам о грядущем. Кто знает, может быть, мне осталось жить совсем немного и именно поэтому я так слабею духом... О, прошу вас, не отказывайте мне... — говорит она, плача.

«Но почему? — недоумевает Содзу. — Почему такая красавица прониклась отвращением к миру? Впрочем, помнится, и тот дух говорил нечто подобное... Возможно, у нее, действительно, есть причины... Чудо, что ей вообще удалось выжить. А раз уж приметил ее однажды злой дух, она никогда не будет в полной безопасности».

— Так или иначе, ваше желание встать на путь служения Будде весьма похвально, и не мне, монаху, отговаривать вас, — говорит он. — Принятие обета занимает не много времени, но меня срочно вызвали к Первой принцессе, и сегодня ночью я должен быть во Дворце, дабы с раннего утра приступить к молитвам и обрядам. Через семь дней я вернусь, и тогда...

«Да, но к тому времени вернется монахиня и запретит мне...» — огорчается женщина и, притворившись, что силы покидают ее, плачет:

— Ах, но я так страдаю! Боюсь, что скоро мне не поможет и постриг. О, прошу вас!

И сердце старого монаха стесняется от жалости.

— В самом деле, уже совсем поздно, — говорит он. — Раньше мне ничего не стоило спуститься к подножию, но теперь я стар и немощен, с каждым годом мне становится все труднее проделывать этот путь. Пожалуй, мне лучше отдохнуть здесь немного, прежде чем ехать во Дворце. И если вы так спешите, я готов принять ваш обет сегодня же.

Безмерно обрадованная, женщина достает ножницы и, положив их на крышку от шкатулки от гребней, подсовывает под занавес.

— Эй, кто-нибудь, подойдите сюда, — зовет Содзу. С ним и сегодня те два почтенных монаха, которые когда-то сопровождали его в Удзи, и, подождав их, он приказывает:

— Постригите госпожу.

Адзари подходит к занавесу, не выказывая особого удивления, — может ли что-нибудь быть естественной желанием отгородиться от мира для женщины, на долю которой выпало столько испытаний? Но, увидев струящиеся сквозь прорези занавеса блестящие пряди волос, он замирает с ножницами в руках. Да и чье сердце не дрогнуло бы?

Тем временем Сёсё в нижних покоях беседует со своим братом-монахом, приехавшим вместе с Содзу. У Сазмон тоже нашелся среди прибывших какой-то знакомец, с которым ей хотелось поболтать, да и другие женщины думали только о том, как бы получше принять столь редких и дорогих гостей, поэтому с госпожой осталась одна Комоки. Разумеется, она сразу же поспешила к Сёсё и сообщила ей о том, что происходит, но когда та, объятая ужасом, вбегает в покои, Содзу уже накидывает на госпожу свое собственное плечье, как того требует обычай.

— Теперь поклонитесь в ту сторону, где сейчас находится ваша мать, — говорит он, но женщина только рыдает в ответ. Откуда ей знать, в какой та теперь стороне?

— Что вы делаете?! — кричит Сёсё. — Как можно потакать ее безрассудству? Что скажет госпожа монахиня, когда вернется из Хацусэ?

Но Содзу запрещает ей приближаться. Сделанного не воротишь, так стоит ли смущать сердце принимающей постриг глупыми речами?

— Когда блуждаем мы в трех мирах...\* — произносит Содзу, и она невольно вздрагивает: «но ведь я уже разорвала узы, связывающие меня с близкими людьми...» Увы, несмотря ни на что, эта мысль повергает ее в неизъяснимую печаль.

Адзари, оказавшись не в силах справиться с ее густыми волосами, говорит:

— Потом попросите монахинь подправить...

Разумеется, волосы надо лбом выстригает сам Содзу.

— Вы не должны раскаиваться, увидев, как изменилось ваше лицо, — поучает он женщину, и много других мудрых наставлений слышит она от него.

«Какая радость, что мне удалось-таки осуществить свое желание, хотя все было против и, казалось, никогда не допустят...» — думала она, всей душой благодарная Будде — да, видно, не зря оставил он ее в этом мире.

Скоро все уехали, и в доме стало тихо. Прислушиваясь к стонам ночного ветра, прислужницы говорили, вздыхая:

— А мы-то надеялись, что вы не надолго задержитесь в этом унылом жилище и очень скоро займете блестящее положение в мире. Как же вы станете жить в этом обличье, ведь у вас все еще впереди?

— Даже дряхлые старухи печалются, разрывая узы, связывающие их с миром.

Но молодая женщина не испытывала ничего, кроме радости. «Теперь мне нечего опасаться, — думала она, — никто не заставит меня жить так,

как принято в этом мире». Однако на следующее утро она старалась не показываться на глаза окружающим, чувствуя себя виноватой в том, что поступила вопреки их воле. Ее волосы, едва достигавшие плеч, были подстрижены весьма неровно, и она думала, вздыхая: «О, если бы кто-нибудь догадался подравнивать их без лишних слов...» Любая безделица повергала ее в сильнейшее замешательство, и она весь день просидела без света с опущенными занавесями. Робкая и застенчивая по природе, женщина еще более замкнулась в себе, да и кому могла она открыть свою душу? Рядом с ней не было ни одного близкого человека, способного поддержать ее советом. Только бумаге поверяла она мысли и чувства, зарождавшиеся в глубине ее души. Часто, когда давленная в груди тоска просилась наружу, она брала в руки кисть и писала, так, между прочим, словно упражняясь в каллиграфии.

«Ни меня, ни других  
Пусть больше не будет — решила  
И покинула мир,  
Не ведая, что придется  
Его покидать еще раз...

Теперь уже навсегда...» — написала она однажды, и ей самой стало грустно.

Вот и конец —  
Думала я когда-то,  
Но обманулась,  
И снова из этого мира  
Ухожу, чтоб уже не вернуться!

Однажды, когда она сидела вот так, и из-под кисти ее возникали песни примерно одного и того же содержания, принесли письмо от Тюдзё. Очевидно, кто-то из монахинь, возмущенных своеволием молодой госпожи, сообщил ему о случившемся. Немудрено вообразить, каким тяжелым ударом была для него эта весть!

«Вот, значит, в чем крылась истинная причина ее холодности, — подумал он. — Потому-то она так упорно и отказывалась отвечать мне. Несомненно, решение давно уже созрело в ее сердце. И все же трудно поверить... Ведь еще совсем недавно я просил прислуживающую ей монахиню позволить мне хоть одним глазком взглянуть на волосы, которых красота так пленила меня в тот вечер, и она обещала...»

Раздосадованный до крайности, он все же решил еще раз написать:  
«Увы, что я могу сказать?..

Оставив меня,  
Уплывает рыбацья лодка  
К иным берегам...  
“Не отстать бы...” — готов и я  
Устремиться вослед за нею».

Обычно госпожа не читала писем Тюдзё, но на этот раз изменила своей привычке. Потому ли, что ей было как-то особенно грустно в тот миг, или потому, что ее тронуло его смирение, но только, взяв первый попавшийся клочок бумаги, она небрежно начертала:



«Сердце давно  
Отдалилось от берега  
Печального мира,  
Но не знаю, куда забросят  
Волны утлый рыбацкий челн».

Вряд ли эта песня кому-то предназначалась, скорее всего, госпожа по обыкновению написала ее просто так, но Сёсё тут же отправила листок Тюдзё.

— Вы могли хотя бы переписать, — попеняла ей госпожа, но упрямица Сёсё:

— Ах, нет, я только испорчу, — возразив, отправила песню, не переписывая.

Невыразимая печаль овладела сердцем Тюдзё, когда он, совершенно того не ожидая, получил песню, написанную ее собственной рукой.

По прошествии некоторого времени возвратились домой паломницы и, узнав печальную новость, долго не могли опомниться от изумления. Монахиня была вне себя от горя.

— Я понимаю, что должна была бы поддержать вас в вашем намерении, — сетовала она, — ведь я и сама приняла обет. Но у вас впереди долгая жизнь, что же станет с вами? Кто знает, надолго ли я задержусь в этом мире, возможно, уже сегодня или завтра... Вот и в Хацусэ я просила Будду даровать мне возможность и дальше заботиться о вас, дабы вы жили спокойно и счастливо...

Видя, как монахиня мечется от горя, женщина невольно вспомнила свою родную мать, и сердце ее мучительно сжалось: ведь несчастной не было дано даже оплакать бранные останки любимой дочери!

По обыкновению своему она сидит молча, повернувшись к монахине спиной, такая трогательная и такая юная, что та не может удержаться от слез.

— Ах, я не ожидала, что вы так ненадежны... — повторяет монахиня, готовя платье для новопостриженной, а как серо-зеленые тона давно уже привычны ее взору, справляется со своей задачей довольно быстро. Помогая молодой госпоже облачиться в темное платье и такое же плечье, монахини жалобно причитают:

— Вы были нашей радостью, лучом света, случайно проникшим в бедную горную хижину...

— Ах, какое горе!

Одновременно они на чем свет стоит ругают почтенного Содзу, лишившего их единственного утешения.

Вмешательство Содзу, как и предсказывали его ученики, произвело благотворное действие. Первая принцесса стала быстро поправляться, и люди славили необыкновенную мудрость старого монаха. Дабы предотвратить возможность возвращения болезни, решено было еще некоторое время не прекращать молитв, поэтому Содзу пришлось задержаться во Дворце.

Однажды тихим дождливым вечером его призывает к себе Государыня и просит провести ночь у изголовья принцессы. В покоях почти никого нет: дамы, много ночей подряд не отходившие от больной, разошлись, доволь-

ные, что могут наконец отдохнуть. Воспользовавшись их отсутствием, Государыня осталась на ночь в опочивальне дочери.

— Я всегда верила, что наше будущее в надежных руках, — говорит она монаху. — И этот случай лишь укрепил меня в моей вере.

— Будда не раз давал мне понять, что близок крайний срок моей жизни, — отвечает Содзу. — Особенно же опасны для меня ближайшие два года. Потому-то я и решил затвориться в горной обители и целиком посвятить себя служению. Только ваше милостивое повеление и заставило меня спуститься.

Государыня сообщает, как упорен был вселившийся в принцессу злой дух, в какой ужас повергал он присутствующих, когда, вдруг появляясь, называл себя разными именами.

— А вот какая удивительная, поистине невероятная история приключилась недавно со мной, — говорит, выслушав ее, Содзу. — На Третью луну моя престарелая матушка отправилась в Хацусэ, дабы отслужить там благодарственный молебен. На обратном пути она заночевала в обители Удзи. Я сразу подумал, что такой просторный дом, в котором к тому же давно никто не живет, наверняка служит пристанищем для всякой нечисти, поэтому помещать в нем больную опасно. И точно...

И он рассказывает Государыне, как нашел никому не известную женщину.

— Вот уж и в самом деле чудеса!

Прислуживающие Государыне дамы уже спят, но она поспешно будит их, так напугал ее рассказ Содзу. Разумеется, никто из них ничего не слышал, за исключением Косайсё, той самой, к которой благоволил Дайсё. Испуг Государыни не остается не замеченным Содзу, и, кляня себя за опрометчивость, он замолкает, не решаясь докучать ей подробностями. Однако, будучи человеком словоохотливым, после некоторого молчания продолжает:

— А вот что я еще вам скажу. Спускаясь с гор на этот раз, я зашел в Оно проведать живущих там мать и сестру. И что же вы думаете? Эта женщина, рыдая, стала просить меня принять у нее обет, ибо она, видите ли, давно уже решила отречься от мира. Она так умоляла меня, что я просто не смог отказать ей. А моя сестра, тоже монахиня, когда-то она была супругой покойного Эмон-но ками, очень полюбила эту особу, считая, что она ей ниспослана взамен ее любимой дочери, которой утрату она оплакивала многие годы. Представляю себе, в какой она теперь на меня обиде. Мне и самому жаль, что столь прелестная женщина вознамерилась посвятить себя служению. Хотел бы я знать, кем она была раньше?

— Как такая красавица могла оказаться в столь диком месте? — спрашивает Косайсё. — Хотя теперь-то вы узнали, кто она?

— Нет, так и не узнал. Если только она открылась моей сестре... Но будь она знатной особой, ее исчезновение вряд ли осталось бы незамеченным. Ведь нет такой тайны... Впрочем, дочери провинциальных чиновников, наверное, тоже бывают красивы. Да, коль скоро Морской дракон способен родить будду...<sup>\*</sup> А ежели принадлежит она к низкому сословию, то, значит, ее прошлое рождение не обременено тяжкими преступлениями...

Тут Государыне вспоминается, что совсем недавно кто-то из дам рассказывал ей о женщине, бесследно пропавшей в тех местах. Да и Косайсё тоже слышала о сестре супруги принца Хёбукё, покинувшей мир при весьма

загадочных обстоятельствах. «Уж не она ли?» — приходит ей в голову, но как тут проверишь? Монах говорил, что найденная ими женщина больше всего на свете боится, как бы люди не узнали о ее существовании, и прячется ото всех, словно есть у нее в этом мире враги. Впрочем, он явно недоговаривает, да и вообще, по его собственному признанию, рассказал эту странную историю лишь потому, что надеялся развлечь Государыню... Принимая все это во внимание, Косайсё решает пока никому ничего не говорить.

— Не исключено, что это та самая женщина, — говорит Государыня, когда они с Косайсё остаются одни. — Хорошо бы сообщить Дайсё...

Однако она так и не решилась: вмешиваться в чужие тайны, не имея почти никаких доказательств, ей не хотелось, к тому же она не была настолько близка с Дайсё, чтобы самой заводить с ним разговор на столь щекотливую тему.

Скоро принцесса выздоровела окончательно, и Содзу вернулся в горы. По дороге он снова заехал в Оно, и сестра не преминула высказать ему свое неудовольствие.

— Разве вы не понимаете, что, став монахиней в столь цветущие годы, она может обременить свою душу еще более тяжкими прегрешениями? — пеняет она ему. — Почему вы даже не посоветовались со мной?

Но, увы, поздно...

— Теперь вы должны помышлять единственно о молитвах, — наставляет Содзу новопостриженную монахиню. — И старые, и юные равно подвержены превратностям судьбы. Поэтому мне не кажется удивительным, что именно вам открылась тщетность мирских упований.

Его слова повергают женщину в замешательство.

— Сшейте себе новое монашеское облачение, — говорит Содзу, преподнеся ей узорчатую парчу, шелк и кисею.

— Пока я жив, вам не о чем беспокоиться, я позабочусь о вас, — добавляет он. — Рождаясь в мире, мы привычно алчем блеска и славы, а потому всем нам трудно разорвать путы, связывающие нас с этим миром. Но в душе человека, поселившегося в глуши и посвятившего себя служению, не остается места ни для стыда, ни для обид. Воистину «судьба непрочна, словно листок»...

Немного помолчав, Содзу произносит:

— «У Сосновых ворот до самой зари лунный блуждает свет...»\*

Не часто в простом монахе встретишь такое душевное благородство. Женщина благоговейно внимает его речам, чувствуя, что наконец-то обрела истинного наставника.

Весь день уныло стонет ветер.

— Ах, в такую пору у горных монахов рыдания подступают к горлу... — вздыхает Содзу, и, услышав его слова, женщина думает: «А ведь и я теперь — горный монах! Потому-то, наверное, и слезы льются бесконечным потоком...»

Она подходит к порогу и вдруг замечает вдали группу людей в разноцветных охотничьих платьях. По этой дороге редко кто поднимается в горы. Лишь иногда можно заметить монаха, бредущего то ли из Куротани, то ли еще откуда. Миряне же здесь почти не появляются.

К ее величайшему удивлению, это оказался Тюдзё, так и не сумевший примириться с поражением. «Как ни тщетно теперь жаловаться, все же...» — подумав, он отправился в Оно и, продвигаясь по горной тропе, не мог не поддаться печальному очарованию осенней листвы, гораздо более яркой, чем в других местах. «Странно было бы обнаружить в таком месте женщину беззаботную и жизнерадостную...» — невольно пришло ему в голову.

— В последние дни я был свободен от своих обязанностей, — говорит Тюдзё, любясь прекрасным видом, — и, не зная, чем занять себя, решил посмотреть на горы в осеннем убранстве. Эти деревья так хороши, что хочется, как бывало, устроиться под ними на ночлег.

Монахиня, по обыкновению своему заплакав, отвечает:

— Холодный ветер  
Пронесся по горным склонам,  
Срывая листву.  
Нет деревьев, под сенью которых  
Можно было б укрыться...

На это Тюдзё:

— Знаю, никто  
Теперь не ждет меня здесь,  
В горном жилище,  
Но, увидев деревья в саду,  
Не смог я проехать мимо...

Бессмысленно снова заводить разговор о молодой госпоже, и тем не менее Тюдзё не удержался.

— Позвольте же мне одним глазком взглянуть на нее в новом обличе, — просит он Сёсё. — Вы же обещали, так сделайте хотя бы это.

Сёсё проходит во внутренние покои и, глядя на госпожу, удрученно вздыхает: такую красавицу и в самом деле обидно держать взаперти. На женщине неяркое красновато-желтое нижнее платье и светло-серое верхнее. Пышные волосы развернутым веером падают на плечи, а лицо поражает редким изяществом черт и такой яркостью красок, словно его только что набелили и нарумянили. Судя по всему, она прилежно молится: перед ней лежит развернутый свиток с текстом сутры, а рядом, на планке занавеса, висят четки. Невольно хочется взять кисть и запечатлеть эту склоненную фигуру на бумаге, так она хороша. При виде госпожи даже у Сёсе невольно всякий раз подступают слезы к глазам, а что же должен испытывать мужчина, которого сердце давно стремится к ней?.. Рассудив, что лучшего случая не дождешься, Сёсё указывает ему на небольшую щель в перегородке возле замка и предусмотрительно отодвигает занавес, который мог бы ему помешать.

Думал ли Тюдзё, что женщина окажется столь прекрасной? Она словно соединяет в себе все мыслимые совершенства. Право, можно ли было допускать... Ему становится так грустно, так досадно, как если бы он сам был виноват в том, что она переменила обличье.

Испугавшись, что не сумеет сдержать нахлынувших чувств и тем самым невольно обнаружит себя, Тюдзё поспешно отходит. «Возможно ли, чтобы человек, потерявший столь прелестную возлюбленную, не стал бы ее искать? — недоумевает он. — К тому же, если бы чья-нибудь дочь пропала или приняла постриг, слухи об этом наверняка распространились бы по миру... Даже монашеское платье не умаляет ее красоты...»

Так, пожалуй, теперь она кажется Тюдзё даже еще более привлекательной, и у него мучительно сжимается сердце. «Быть может, хотя бы тайно?...» — думает он и снова обращается к монахине:

— Я допускаю, что раньше у молодой госпожи были причины сторониться меня, но теперь, когда она приняла постриг... Почему бы нам не побеседовать как-нибудь при случае? Надеюсь, вы не откажетесь замолвить за меня словечко? До сих пор я приезжал сюда, влекомый воспоминаниями, но, если вам удастся склонить ее к согласию, у меня будет еще одна причина навещать вас.

— О, я понимаю, сколь чисты ваши намерения, и искренне признательна вам за то, что вы и теперь принимаете в ней такое участие, — плача, отвечает монахиня. — Вы и вообразить не можете, как тревожит меня мысль о ее будущем. Ведь придет время, когда меня уже не будет рядом...

«Но кто же эта женщина? — недоумевает Тюдзё. — Судя по всему, они все-таки связаны родственными узами».

— Я не стану уверять вас, что сумею обеспечить ей беспечальное будущее, — говорит он, — ибо человеку не дано знать, что у него впереди, но, коль скоро я обещал, я не изменю своему слову. Но убеждены ли вы, что ее никто не разыскивает? По-моему, именно некоторая недоговоренность в этом отношении и препятствует нашему сближению, хотя для меня это и не имеет особого значения.

— Возможно, ее и разыскивал бы кто-нибудь, останься она в обычном для женщины этого мира обличье. Но она сама порвала все связи с миром и не помышляет ни о чем, кроме молитв.

Молодая госпожа получает от Тюдзё такое послание:

«Знаю: от мира  
Отреклась ты, познав тщету  
Мирских упований,  
Но как же горько себя  
Отверженным ощущать...»

На словах же он передает ей обычные уверения в неизменной преданности: «Я почел бы за особенное счастье, если бы вы согласились видеть во мне брата. Каким утешением была бы для меня возможность иногда беседовать с вами!...»

«Сожалею, но ваши речи слишком мудрены для меня, мне их не постичь», — отвечает женщина, оставляя без внимания песню, в которой он жалуется, что ощущает себя отверженным.

«Слишком много несчастий досталось мне на долю, и мысли мои далеки от мирского, — думает она. — Я хочу лишь одного — уподобившись засохшему дереву, тихо и незаметно прожить свой век в этой горной глуши».

Раньше она целыми днями сидела, погруженная в печальную задумчивость, а теперь, когда ее давнишнее желание было наконец удовлетворено, она заметно повеселела, посветлела лицом, часто шутила с монахиней и играла с ней в «го». Разумеется, большую часть времени она отдавала молитвам и усердно изучала разные сутры, начиная с сутры Цветка закона. Скоро выпал снег, перестали приходить люди, все вокруг и в самом деле навевало безысходную тоску (509).

Прошло еще немного времени, и год сменился новым. Однако здесь, в Оно, ничто не напоминало о весне. Скованная льдом река была по-прежнему безмолвна, и вид ее располагал к унынию. Женщине давно уже стало ненавистно все, связанное с человеком, сказавшим когда-то: «Лишь сердце свое потерял...», но в памяти то и дело всплывал тот давний день...

«Падает снег,  
И сокрылись от взора  
Горы и доли.  
Давно все кануло в прошлое,  
Но так на душе печально!» —

как-то написала она, по обыкновению своему в промежутках между молитвами упражняясь в каллиграфии. «Целый год прошел с того дня, как я умерла для всех, — часто думала она. — Вспоминает ли кто-нибудь обо мне?»

Однажды им приносят первую зелень в грубой, некрасивой корзинке, и монахиня говорит:

— В далеких горах  
По проталинам собирают  
Первую зелень.  
Радуясь ей, с надеждой  
В будущее смотрю.

— По окрестным лугам,  
Глубоким заваленным снегом,  
Первую зелень  
Я хотела бы для тебя  
Собирать еще долгие годы, —

отвечает женщина, и монахиня растрогана до слез: «Неужели она действительно так думает?»

— О, если бы я могла видеть вас в другом, более сообразном вашим летам обличье... — вздыхает она.

Недалеко от стужи цветет красная слива, такая же яркая и благоуханная, как в те давние дни. «Разве весна...» (440) — невольно вспоминается женщине. Цветы сливы дороже ей всех остальных. И не потому ли, что напоминают того, чьим ароматом она так и не сумела сполна насладиться? (510)

В последнюю ночную стражу женщина подносит Будде священную воду. Призвав послушниц помоложе, она велит им сорвать ветку сливы, но, словно обидевшись, цветы внезапно осыпаются, благоухая сильнее прежнего.

Никто рукавом  
Не касался цветущей сливы,  
Но почему-то  
Так волнует ее аромат  
Этим весенним утром...

Внук старой монахини, правитель Кии, недавно вернулся в столицу. Это был красивый мужчина лет тридцати, весьма уверенный в себе.

— Что нового произошло у вас за эти годы? — спросил правитель Кии, приехав навестить старую монахиню, а поскольку та пребывала в старческой расслабленности и даже ответить толком не умела, он почти сразу же перешел в покои младшей монахини.

— Увы, она совсем состарилась, невозможно смотреть на нее без жалости, — говорит он. — Ей не так много осталось, но все это время я был далеко и не имел возможности заботиться о ней, а ведь после того, как ушли из мира мои родители, у меня не осталось никого ближе ее. А что супруга правителя Хитати, навещала ли она к вам?

Судя по всему, речь идет о его младшей сестре.

— Мы прожили эти годы однообразно и уныло, лишь печали все множилось, — отвечает монахиня. — А госпожа Хитати давно уже не давала о себе знать. Боюсь, что матушка так и не дождет ее.

Услыхав знакомое имя, женщина невольно прислушивается.

— Я довольно давно приехал в столицу, — продолжает между тем правитель Кии, — но, обремененный многочисленными придворными обязанностями, до сих пор не сумел выбраться к вам. Вот и вчера совсем уже было собрался, но неожиданно пришлось сопровождать господина Дайсё в Удзи. Мы пробыли весь день в доме покойного Восьмого принца. Когда-то господин Дайсё посещал его дочь, но в позапрошлом году ее не стало. Потом он тайно поселил в Удзи младшую сестру покойной, но и та скончалась прошлой весной. Собственно, он поехал туда затем, чтобы отдать распоряжение о поминальных молебнах. Провести все положенные службы господин поручил монаху Рисси из близлежащего храма. Вашему покорному слуге тоже доверили подготовить один женский наряд. Надеюсь, вы мне в этом поможете? Я велю, чтобы ткачи выткали необходимые ткани и доставили сюда.

Надобно ли рассказывать, сколь нелегко было женщине справиться с сердечным волнением? Не желая подавать подозрения окружающим, она поспешила скрыться в глубине покоев.

— Но я слышала, что у того принца-отшельника было только две дочери. Которая же стала супругой принца Хёбукэ? — спрашивает монахиня.

— Второй возлюбленной господина Дайсё была, скорее всего, внебрачная дочь принца, рожденная ему женщиной низкого звания. Господин Дайсё до сих пор изволил оплакивать ее, сокрушаясь, что был недостаточно внимателен к ней при жизни. С утратой той, первой, он, судя по слухам, тоже долго не мог примириться, даже готов был принять постриг.

Поняв, что правитель Кии довольно близко связан с домом Дайсё, женщина похолодела от страха.

— Как странно, что обеим суждено было скончаться именно в Удзи, — продолжает правитель Кии. — Вчера у меня просто сердце разрывалось,

когда я смотрел на господина Дайсё. Подойдя к реке, он долго стоял на берегу и, глядя на воду, плакал. Затем поднялся к дому и начертил на столбе:

«Увы, не сумел  
Слез удержать, и они  
В реку упали,  
Где отраженья любимой  
И того не осталось...»

Он редко говорит о ней вслух, но лицо его так печально, что невозможно смотреть на него без жалости. Хорош же он так, что ни одной женщине перед ним не устоять. В целом свете нет человека прекраснее — к такому выводу я пришел еще в юные годы, и всегда предпочитал службу в его доме любой другой, даже самой почетной и выгодной. «И этот невежественный человек понял, сколь велики достоинства господина Дайсё», — вздыхает женщина.

— И все-таки, наверное, ему далеко до покойного министра, которого когда-то называли Блистательным, — замечает монахиня. — Впрочем, и в наши дни превозносят именно тех, кто принадлежит к его семейству. А что вы скажете о Левом министре?

— Министр — человек редкостной красоты и необыкновенных дарований. Бесспорно, он принадлежит к самым блестящим мужам столицы. Но кто истинно красив, так это принц Хёбукё. Будь я женщиной, я бы только и мечтал о том, чтобы прислуживать в его доме.

Право, можно подумать, что он говорит по чьему-то наущению. Женщина, замирая от волнения, с интересом прислушивается: все, с ней происшедшее, кажется далеким сном.

Побеседовав с монахиней, правитель Кии уехал.

«Значит, он не забыл», — растроганно думала женщина. Одновременно она представляла себе, как велико должно быть горе ее матери, но не могла же она показаться ей в столь унылом обличье!

Со странным чувством смотрит она, как монахини по просьбе правителя Кии красят ткани, но не говорит ни слова. Когда же начинают кроить и шить, младшая монахиня приносит ей одно из платьев:

— Не поможете ли вы нам? Вы умеете так красиво заделывать отвороты...

Просьба монахини приводит женщину в сильнейшее замешательство...

— Мне что-то нездоровится, — говорит она и, не прикасаясь к платью, ложится.

— Что с вами? — встревоженно спрашивает монахиня и поспешно откладывает начатую работу. А одна из прислужниц, приложив к красному нижнему платью расшитое цветами вишни верхнее, сетует:

— Такое платье было бы вам куда более к лицу... Неприятно видеть вас в темных одеждах.

«Обличье свое  
Сменила, пристало ли мне  
О ярких нарядах  
Думать, с тоской вспоминая  
давно покинутый мир?» —

пишет молодая госпожа на листке бумаги.



Тем не менее она чувствовала себя виноватой. Кто знает, вдруг ей суждено скоро умереть, и люди проникнут в ее тайну, ведь в конце концов все тайны выходят наружу... Как же горько будет монахине сознавать, что она ушла, так и не открывшись ей...

— Я ничего не помню из своего прошлого, — робко говорит она. — Но когда я смотрю, как вы шьете, безотчетная печаль стесняет сердце...

— О, я уверена, что вы многое помните, — отвечает монахиня, — и, признаться, меня обижает ваше молчание. Боюсь, мне не удастся достойно справиться с поручением правителя Кии, ведь я давно забыла, каких расцветок платья носят в этом мире. Вот если бы была жива моя дочь! Наверное, кто-нибудь и о вас вспоминает теперь точно так же, как я о ней. Она скончалась у меня на глазах, но мне все не верится, что ее больше нет в этом мире. Кажется, стоит лишь поискать хорошенько... А вы ведь просто исчезли неведомо куда, не может быть, чтобы никто вас не разыскивал.

— Так, в той жизни обо мне заботилась одна женщина, — признается молодая госпожа, тщетно пытаясь скрыть слезы, — но ее, наверное, уже нет на свете.

— Воспоминания слишком тягостны, — добавляет она, — потому я и молчу. Но, поверьте, у меня нет от вас тайн.

И она умолкает.

Дайсё тем временем отслужил поминальные молебны, и печально было у него на душе: «Вот и все... Каким мимолетным оказался наш союз!» Он позаботился о сыновьях правителя Хитати, пришедших к тому времени в совершенный возраст: одни получили место в Императорском архиве, другие — в Личной императорской охране. Самых миловидных из младших мальчиков он собирался взять к себе в дом, дабы прислуживали ему лично.

Однажды тихим дождливым вечером Дайсё навестил Государыню-супругу. В ее покоях было малоллюдно, и они долго беседовали о прошлом и настоящем.

— Было время, — говорит он между прочим, — когда я посещал одну женщину, жившую в бедном горном жилище. Это возбуждало в столице толки, но я старался не обращать на них внимания. «Значит, так было суждено, — говорил я себе. — Люди любят судачить о чужих сердечных делах». Затем произошло несчастье — видно, не зря люди не жалуют это место, — после чего дорога туда стала казаться мне слишком далекой, и я почти перестал там бывать. Но вот совсем недавно дела снова привели меня в эту горную усадьбу, и, увидев знакомый старый дом, я с особенной остротой ощутил, сколь непрочен мир. Мне вдруг вспомнилось — ведь это жилище отшельника, оно и построено было для того, чтобы пробуждать в людях стремление к Истинному Пути.

Вспомнив свой недавний разговор с Содзу, Государыня спрашивает:

— А не стала ли та горная усадьба стала пристанищем оборотней? Знаете ли вы, как именно умерла особа, о которой вы мне только что рассказали?

«Может, ее смущает, что дочери принца скончались одна вслед за другой?» — удивляется Дайсё и отвечает:

— Вероятно, вы правы, в таких заброшенных жилищах часто поселяется какая-нибудь нечисть. Так или иначе, кончина этой женщины сопряжена с весьма загадочными обстоятельствами.

Однако о подробностях он умалчивает.

Государыня же, жалея Дайсё, не стала показывать свою осведомленность. К тому же она невольно подумала о принце, который даже заболел от тоски. Рассудив, что и для того, и для другого будет лучше, если они останутся в неведении, она решила промолчать. Однако, когда гость ушел, тихонько сказала Косайсё:

— По-видимому, Дайсё до сих пор не забыл ту особу из Удзи. Мне было так его жаль, что я едва не рассказала ему все, но не решилась. К тому же Содзу мог говорить о ком-то другом... Так или иначе, при случае намекайте ему. Вы ведь тоже все слышали. А неприятные для него подробности лучше опустить.

— Но если даже вы не решаетесь говорить с ним об этом, то как же я, совершенно посторонний человек... — возразила Косайсё, но Государыня не отступалась.

— Все зависит от обстоятельств. Кроме того, у меня есть причины...

Разумеется, Косайсё все поняла и не могла не оценить... И вот однажды, когда Дайсё зашел к ней и завязалась меж ними беседа, она все ему рассказала. Нетрудно вообразить, как потрясла его эта история, и в самом деле невероятная. «Именно на это и намекала Государыня, когда мы виделись с ней в последний раз, — подумал он. — Но почему она не рассказала мне всего? Впрочем, ведь и я не был до конца откровенен с ней. А теперь тем более нелепо говорить об этом... Увы, чем больше таишься, тем больше вокруг тебя возникает сплетен. Живым и то трудно хранить свои тайны».

Тем не менее ему было тяжело рассказывать эту печальную историю даже Косайсё.

— Да, очень похоже, что это именно та женщина, которая казалось мне такой загадочной, — только и сказал он. — Неужели она еще жива?

— Она приняла постриг в тот день, когда почтенный Содзу спустился с гор. Говорят, она давно уже обнаруживала решительное намерение стать монахиней, однако окружающие, сочувствуя ее красоте и молодости, не соглашались, даже когда жизнь ее была в опасности... Однако в конце концов ей удалось-таки настоять на своем.

У Дайсё почти не оставалось сомнений: все совпадало — и место, и прочие обстоятельства... Но что же делать? Если выяснится, что это действительно она, потрясение будет слишком велико. Как бы узнать правду? Глупо самому ездить повсюду, выяснять, подавая повод к молве. А вдруг слух о том дойдет до принца Хёбукё? Легко может статься, что он вспомнит старое и помешает женщине утвердиться на избранном пути. Возможно, впрочем, он и так уже все знает и взял с Государыни обещание ничего не говорить ему, Дайсё. Иначе трудно объяснить ее странное молчание. Неужели у нее просто не было желания поделиться с ним столь удивительной новостью? А если здесь действительно замешан принц, то, как ни дорога Дайсё эта женщина, не лучше ли по-прежнему считать, что ее больше нет в мире? К тому же, если она и в самом деле не умерла, у него остается надежда, что когда-нибудь случайная прихоть судьбы снова сведет их, и они смогут поговорить хотя бы о новой встрече у желтых истоков. Во всяком случае, не стоит сразу же заявлять на нее свои права. «Государыня вряд ли откроется мне...» — понимал Дайсё, но ему слишком хотелось узнать, что она думает

по этому поводу, поэтому, отыскав подходящий предлог, он снова заводит о том разговор.

— Мне вдруг стало известно, — говорит он, — что особа, которая, как я полагал, скончалась при весьма загадочных обстоятельствах, до сих пор жива, хотя и находится в чрезвычайно бедственном положении. В это трудно поверить, и тем не менее... Я и раньше недоумевал — как она решилась порвать со мной столь ужасным образом, это вовсе не в ее натуре, поэтому то, что рассказывают люди, кажется мне весьма правдоподобным.

И Дайсё сообщает Государыне кое-какие подробности этой поистине невероятной истории, стараясь по возможности щадить принца и не показывать собственной обиды.

— Если об этом узнает принц, — добавляет он, — он наверняка сочтет меня неисправимым искателем любовных приключений. Поэтому я хочу сделать вид, будто и знать ничего не знаю.

— К сожалению, я многое пропустила мимо ушей из того, что рассказывал Содзу, — говорит Государыня, — ведь была такая страшная ночь... Откуда принцу знать? Я слышала о его непростительном поведении, и мне было бы весьма неприятно, если бы до его слуха дошла эта новость. Ах, как тревожит меня его полное нежелание считаться с приличиями!

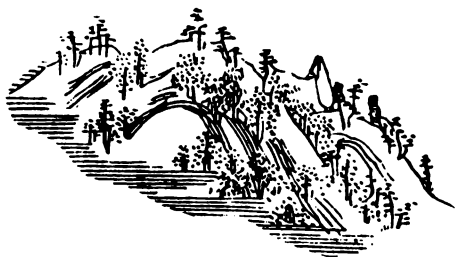
Дайсё был уверен, что Государыня не выдаст его: она умела хранить тайны и даже в самой откровенной беседе никогда и словом бы не обмолвилась...

С тех пор Дайсё и днем и ночью думал лишь об одном. «Где она живет теперь? Как отыскать ее, не дав при этом повода к сплетням? Несомненно, прежде всего следует встретиться с Содзу и расспросить его и только потом...»

Имея обыкновение на Восьмой день каждой луны заказывать торжественный молебен в честь будды Якуси, Дайсё довольно часто бывал в одном из главных храмов горы Хиэ. Оттуда до Ёкава было рукой подать, и однажды, отправившись в горы, он взял с собой младшего сына госпожи Хитати. У него не было намерения сразу же делиться своими догадками с близкими женщины — там видно будет, думал он, но, очевидно, ему казалось, что присутствие брата сделает их похожую на сон встречу еще более трогательной.

По дороге в горы Дайсё продолжали одолевать сомнения. Даже если это действительно она, слишком много перемен произошло в ее жизни. Она стала монахиней, ее окружают совсем другие люди... А как ему будет горько, если он узнает, что и теперь какой-нибудь недостойный человек...





---

## ПЛАВУЧИЙ МОСТ СНОВ

### Основные персонажи

**Дайсё** (Каору), 28 лет — сын Третьей принцессы и Касиваги (официально — Гэндзи)

**Молодая госпожа** (Укифунэ), 23 года — побочная дочь Восьмого принца

**Монах Содзу** — настоятель монастыря Ёкава

**Когими** — младший брат Укифунэ по матери, сын правителя Хитати

**Монахиня из Оно** — сестра монаха Содзу

ДОБРАВШИСЬ до горной обители, Дайсё по обыкновению своему поднес храму священные изображения и сутры, а на следующий день отправился в Ёкава. Содзу был поражен такой честью. Ранее они не поддерживали близких отношений, хотя Дайсё время от времени прибегал к советам почтенного монаха, поистине бесценным, когда речь шла о подготовке и проведении молебнов. Однако после чудесного исцеления Первой принцессы он проникся к Содзу особенным почтением, и связь между ними укрепилась. И теперь старый монах, польщенный вниманием столь важной особы, не знал, чем угодить дорогому гостю.

Они долго беседовали о разных предметах, затем Содзу распорядился, чтобы гостю подали рис с горячей водой. Когда слуги разошлись, и в покоях воцарилась тишина, Дайсё небрежным тоном, как бы между прочим спрашивает:

— Я слышал, что у вас есть близкие в Оно?

— Да, там в бедной хижине живет моя престарелая мать, монахиня. Не найдя для нее приличного дома в столице, я решил на время моего уединения поместить ее в Оно, дабы иметь возможность в любое время — хоть глубокой ночью, хоть ранним утром — навещать ее.

— До недавнего времени многие охотно селились в Оно, но, говорят, там с каждым годом становится все безлюднее, — замечает Дайсё, затем, придвинувшись к монаху поближе и понизив голос, добавляет:

— Простите, но мне хотелось бы кое о чем вас расспросить. Мой вопрос может показаться вам весьма неожиданным, боюсь, вы даже не сразу поймете, о чем идет речь... Но до меня дошли слухи, что женщина, в которой я принимаю участие, скрывается в Оно. Я решил удостовериться — действительно ли это она, и открыть вам, при каких обстоятельствах она пропала. Однако вскоре мне сообщили, что вы приняли у нее обет и она стала вашей ученицей. Правда ли это? В таких цветущих летах и при живой матери... Знаете ли вы, что некоторые именно меня обвиняют в ее исчезновении?

Растерявшись, Содзу не сразу нашелся, что ответить. «Так я и знал, — думал он, — недаром мне показалось, что она не простого происхождения. Господин Дайсё явно к ней неравнодушен, наверное, я проявил недопустимую для человека моего сана поспешность, позволив ей стать монахиней. Так или иначе, очевидно, ему известно истинное положение вещей. А раз он многое знает и нарочно приехал ко мне, дабы уточнить подробности, вряд ли стоит что-то скрывать или отрицать».

Придя по размышлению к такому выводу, монах говорит:

— Вы, очевидно, имеете в виду ту молодую особу, о судьбе которой я тайком размышляю в последнее время, теряясь в догадках: «Как вышло, что она попала сюда?» Вот как обстояло дело. Однажды монахини из Оно поехали в Хацусэ, дабы отслужить благодарственный молебен. На обратном пути они на некоторое время остановились в обители Удзи. Там моя мать, измученная долгой дорогой, занемогла. Меня немедленно известили, и я поспешил приехать. А как только приехал, тут все это и случилось... — Он переходит на шепот. — Оставив больную, которая сделалась так слаба, что можно было ожидать самого худшего, я занялся женщиной. Она казалась мертвой, но потом выяснилось, что она еще дышит. Мне сразу вспомнились старинные истории, в которых рассказывается, как кто-то, кого считали умершим, в самый последний миг, уже будучи помещенным в «прибежище души»\*, внезапно оживал. «Неужели и здесь то же самое?» — удивился я и, призвав лучших своих учеников, поручил им по очереди произносить заклинания у ложа этой женщины. Сам же я зывал к Будде, надеясь, что он облегчит страдания моей старой матери — пусть в ее возрасте уже не дорожат жизнью, но недуг застиг ее в пути, и я просил хотя бы вернуть ей способность связно произносить молитвы. Думая только о том, как помочь ей, я не мог уделять достаточное внимание другой больной. Позже, строя предположения о том, как все это случилось, я пришел к выводу, что скорее всего женщину заманил в Удзи тэнгу\* или дух дерева. Нам удалось спасти несчастную, и мы привезли ее в Оно, но и после этого в течение примерно трех лун она лежала в беспмятстве, совсем как мертвая. Должен вам сказать, что у меня есть младшая сестра, когда-то она была супругой покойного Эмон-но ками, а потом приняла постриг. Потеряв свою единственную любимую дочь, она долго не могла утешиться и целыми днями предавалась скорби. Женщина, которую мы нашли в Удзи, была примерно того же возраста, что и умершая, а красотой даже превосходила ее. Сестра увидела в ней дар, ниспосланный бодхисаттвой Каннон в ответ на ее мо-

литвы, и больше всего на свете боялась, что женщина так и умрет, не приходя в себя. Поэтому она обратилась за помощью ко мне, и, вняв ее отчаянным просьбам, я спустился в Оно и отслужил у изголовья больной сообразные случаю молебны. В конце концов сознание вернулось к женщине, и она выздоровела, но, и выздоровев, осталась задумчивой и печальной. Ей все казалось, что нечистый дух, завладевший ее телом, и теперь не оставляет ее, поэтому она хотела вырваться из-под его власти и посвятить себя заботам о грядущем. Я — монах, и обращать людей к Учению — мой долг, поэтому я принял у нее обет, и она стала монахиней. Откуда мне было знать, что эта особа находится под вашим покровительством? Такие удивительные истории обычно быстро распространяются по миру, но монахи боялись, что, если пойдут слухи, им не избежать неприятностей, потому что я все это время и сохранял происшедшее в тайне.

Так, недаром нечаянно оброненное слово заставило Дайсё пуститься в дальний путь — он убедился в правильности своей догадки. Неужели женщина, которую он считал умершей, действительно жива? Уж не снится ли ему это? Потрясение было так велико, что рыдания невольно подступили к горлу, и лишь ценой невероятных усилий — монах не должен быть свидетелем его позорного малодушия — Дайсё удалось сдержать их.

Содзу же во всем винил себя. Нельзя было позволять этой особе отречься от мира. Теперь она все равно что мертва. Право же, он совершил непростительную ошибку.

— Она оказалась во власти злого духа не случайно, — говорит монах, — связь меж ними возникла еще в предыдущем рождении. Полагаю, она принадлежит к весьма знатному роду. Хотелось бы знать, какое преступление она должна была совершить, чтобы оказаться в столь бедственном положении?

— Можно сказать, что она в какой-то степени связана с высочайшим семейством, — отвечает Дайсё. — Я начал посещать ее случайно и никогда не помышлял о прочных отношениях. Но мне и в голову не приходило, что ее жизнь сложится так неудачно. Каких только догадок не строили люди, узнав о ее таинственном исчезновении! Говорили даже, что она бросилась в реку. Самому же мне не удалось выяснить ничего определенного. Я рад, что она приняла постриг. Надеюсь, ей удастся облегчить бремя, отягощающее душу. Но ее мать... Она до сих пор безутешна, и мне очень хочется сообщить ей эту невероятную новость, но я боюсь огорчить вашу сестру, она вряд ли будет довольна, если раскроется столь бережно хранимая ею тайна. Матери будет трудно устоять перед искушением, она наверняка захочет снова увидеть свое дитя.

— Неловко обременять вас просьбами, — добавляет он, — но не согласились бы вы поехать со мной в Оно? Сведения, мною полученные, не позволяют мне пренебречь этой женщиной. Я должен хотя бы поговорить с ней о прошлом, ставшим для нас обоих далеким сном...

Чувствуя себя растроганным, Содзу не может не внять этой просьбе. Вместе с тем его одолевают сомнения. «Вроде бы эта женщина переменила обличье и отказалась от всего мирского, — думает он, — но ведь даже у монаха, сббившего волосы и бороду, возникают порой недостойные желания. А уж когда речь идет о слабой женщине... Жаль подвергать ее такому



испытанию, да и свою душу я обременю новым прегрешением...» Так ничего и не решив, он говорит:

— Сегодня и завтра путь вниз для меня закрыт. Придется подождать начала следующей луны. Я сам извещу вас.

Вряд ли Дайсё по душе такая отсрочка, но проявлять нетерпение и настаивать тоже не годится. «Ну что ж, раз так...» — вздыхает он и собирается в обратный путь. Как уже говорилось, его сопровождает младший брат девушки из Удзи. Призвав к себе этого мальчика, едва ли не самого миловидного среди сыновей правителя Хитати, Дайсё говорит монаху:

— Это дитя связано с той молодой особой узами крови. Нельзя ли послать в Оно хотя бы его? Напишите ей несколько слов. Нет, вам не нужно упоминать моего имени, просто сообщите, что ее разыскивает один человек.

— Если я возьму на себя роль посредника, то нарушу обет, — возражает монах. — Я рассказал вам все, что знал, теперь вы можете сами поехать туда и поступить так, как сочтете нужным, никто вас не осудит.

— Значит, вы подумали, что, став моим посредником, обремените себя новым прегрешением? — улыбаясь спрашивает Дайсё. — Мне стыдно это слышать. Поверьте, будь на то моя воля, я бы и сам давно переменял обличье. С малолетства помышлял я об Истинном Пути, и когда б моя мать не была столь беспомощна... Да, только она и привязывает меня к миру, ибо

нет у нее другой опоры в жизни. Так и не осуществив своего давнего намерения, я остался жить в мире и, естественно, достиг довольно высокого положения, которое, к сожалению, лишает меня возможности произвольно располагать собой. Уверяю вас, я вовсе не отказался от задуманного, но с каждым годом на пути к его осуществлению возникает все больше совершенно непреодолимых препятствий. Человек моего звания не вправе пренебрегать многочисленными обязанностями, как служебными, так и личными, но там, где это возможно, я стараюсь не нарушать заповедей Будды, во всяком случае тех, что мне известны, и в душе я мало чем отличаюсь от отшельника. Так неужели вы думаете, что я способен из пустой прихоти обременить себя тяжким преступлением? Нет, вы не должны сомневаться во мне. Все, что я делаю, я делаю ради ее несчастной матери, которую мне искренне жаль и для которой новость, мною от вас услышанная, будет большим утешением.

Слушая его, Содзу одобрительно кивает:

— Право же, трудно переоценить...

Тем временем день преклоняется к вечеру — весьма благоприятное время для того, чтобы выехав, заночевать в Оно, но Дайсё отказывается от этой мысли: «Неловко являться туда ни с того ни с сего!» — и решает ехать прямо в столицу. Тут Содзу попадает на глаза приехавший с Дайсё мальчик, и он принимается его расхваливать.

— Почему бы вам не послать его в Оно? — снова спрашивает Дайсё. — Довольно было бы намека...

В конце концов Содзу пишет письмо и вручает его мальчику.

— Навещайте меня иногда, — говорит он. — Поверьте, меж нами существует связь, о которой вы пока и не подозреваете...

Мальчик, ничего не поняв, берет письмо и выходит вместе с Дайсё. Когда они спускаются к подножию горы, Дайсё приказывает передовым:

— Эй, держитесь в стороне и старайтесь, чтобы вас не заметили.

Тем временем молодая госпожа сидит, задумчиво глядя на покрытые густым лесом горы. Ничто не нарушает ее печального уединения, и только светлячки над ручьями напоминают о прошлом. Но вот со стороны ущелья, хорошо видного с галереи, доносятся негромкие голоса передовых, там и сям беспокойно вспыхивают многочисленные огоньки. Заметив их, монахини тоже приближаются к порогу.

— Кто это? — недоумевают они. — С такой свитой... Сегодня днем мы послали почтенному Содзу сушеные водоросли, и он написал в ответ, что наш дар оказался весьма кстати, ибо ему совершенно неожиданно пришлось принимать господина Дайсё.

— А который это Дайсё?

— Может, супруг Второй принцессы?

Да, эти монахини, давно порвавшие связи с миром, стали совершенными провинциалками!

«Неужели это и в самом деле он? Некоторые голоса мне знакомы, наверное, я слышала их, когда господин Дайсё приезжал в Удзи. За это время, события прошлого изгладились из памяти, и что мне делать теперь?» Думать об этом было неприятно и, сосредоточившись на молитвах, она сделалась молчаливее обыкновенного.



Жительницы этого уединенного жилища всегда относились к путникам, направлявшимся в Ёкава — а никто другой и не проходил по этой дороге, — как к своим близким родственникам.

Сначала Дайсё собирался сразу же отправить мальчика в Оно, но опасаясь, что это привлечет внимание его многочисленных спутников, вернулся в столицу и снарядил своего посланца в дорогу только на следующий день. Сопровождать его он поручил двоим или троим самым преданным своим челядинцам невысокого звания, а кроме того, послал с ними своего телохранителя, часто бывавшего в Удзи. Улучив миг, когда рядом никого не было, Дайсё подозвал к себе мальчика и сказал ему:

— Ты помнишь, как выглядит твоя умершая сестра? Видишь ли, хотя я уже примирился с мыслью, что ее больше нет, недавно мне стало доподлинно известно, что она жива. Однако я не хочу посвящать в это посторонних. Постарайся все выведать сам. Матери тоже пока ничего не говори. Эта новость слишком взволнует ее, и легко может статься, что в нашу тайну проникнут те, кому лучше вообще ничего не знать. Имей в виду, я делаю все это исключительно из жалости к вашей матери.

Словом, он заранее позаботился о том, чтобы мальчик держал язык на привязи. А надо сказать, что тот очень горевал, узнав о смерти старшей сестры. Совсем еще дитя, он тем не менее всегда восхищался и гордился ее красотой, хорошо понимая, что среди дочерей правителя Хитати ей нет равных. Услышав, что сестра жива, он так обрадовался, что заплакал, но тут же, устыдившись своего малодушия, с нарочитой небрежностью сказал:

— Хорошо, хорошо, я все понял.

В тот же день рано утром монахини из Оно получили письмо от Содзу. «Наверное, у вас уже был посланец господина Дайсё, которого называют Когими? — писал он. — Скажите молодой госпоже, что теперь мне известны некоторые обстоятельства, связанные с ее прошлым, и я сожалею о поспешности, с которой откликнулся на ее просьбу. Мне о многом надо поговорить с ней, но приехать я смогу только через день или два».

«Что он имеет в виду?» — удивилась монахиня и показала письмо молодой госпоже. Прочитав его, та покраснела, и сердце ее мучительно сжалось: «Неужели по миру уж пошли слухи? Как же велика будет обида монахини! Ведь я ей так ничего и не сказала». И, совсем растерявшись, она молча отложила письмо.

— Откройте же, наконец, правду! — настаивает монахиня. — Неужели вы и теперь не скажете ни слова? Это жестоко!

Она вне себя от негодования — впрочем, это неудивительно, ведь она так до сих пор и не знает, в чем дело, и письмо брата изрядно взволновало ее.

Тут раздается голос:

— Извольте принять письмо от почтенного монаха Содзу из горной обители.

Ничего не понимая, монахиня приказывает впустить гонца.

— Возможно, это новое письмо все наконец разъяснит.

Входит миловидный мальчик в роскошном облачении. Усевшись перед занавесями на нарочно для него приготовленное круглое сиденье, он заявляет:

— А почтенный Содзу говорил, что в этом доме со мной не будут обращаться как с чужим.

Монахине ничего не остается, как самой принять его. Взяв письмо, она обнаруживает на нем следующую надпись: «Госпоже, недавно вступившей на Путь, от...» — далее следует подпись Содзу — «...отшельника с гор». Письмо настолько явно обращено к ней, что отказаться от него невозможно. В крайнем замешательстве молодая госпожа удаляется в глубину покоев и садится там, стараясь ни с кем не встречаться глазами.

— Я знаю, как вы замкнуты, но это уж слишком, нельзя быть такой бессердечной. — И монахиня сама разворачивает письмо.

«Сегодня утром сюда приезжал господин Дайсё и спрашивал о Вас, — пишет Содзу. — Я все ему рассказал. От него я узнал, что, несмотря на его глубокую привязанность, Вы отвергли его и предпочли общество бедных жителей гор. Боюсь, что таким образом вы наоборот навлекли на себя немилость Будды. Впрочем, поздно говорить об этом. Мой вам совет — не изменять слову, данному некогда господину Дайсё, и таким образом снять с его души бремя греховной привязанности. Поверьте, даже столь недолгое монашество непременно зачтется Вам в будущем. Когда я приеду в Оно, мы обо всем поговорим подробнее, а пока выслушайте то, что скажет Вам господин Когими».

При всей своей определенности это послание понятно только тому, кому предназначено.

— А кто этот милый мальчик? — спрашивает монахиня. — Неужели вы даже теперь ничего мне не скажете?

Тихонько приблизившись к занавесям, молодая госпожа выглядывает: перед ней тот самый мальчик, которого с такой тоской вспоминала она в ту ночь, когда решила уйти из мира.

Раньше, когда они жили в одном доме, он всегда казался ей слишком своенравным и заносчивым, но госпожа Хитати очень любила его и иногда брала с собой в Удзи. Постепенно они привязались друг к другу, и теперь женщина с нежностью вспоминала об их детской дружбе. Увы, каким далеким сном все это было... Ей очень хотелось расспросить его о матери. Об остальных до нее доходили кое-какие слухи, но о матери она не знала ничего. Ей стало так грустно, что она заплакала.

Мальчик очень хорош собой, к тому же монахиня подметила в его лице черты сходства с молодой госпожой.

— Это, должно быть, ваш брат? — спрашивает она. — Наверное, ему хочется поговорить с вами. Может быть, вы разрешите ему пройти за занавеси?

«Зачем? Ведь я давно умерла для него. Стоит ли показываться ему теперь в столь неприглядном обличье?» Помолчав некоторое время, женщина говорит:

— Обидно, что вы постоянно подозреваете меня в скрытности. Поверьте, мне нечего вам сказать. Я хорошо понимаю, какое ужасное впечатление произвел на вас мой вид, когда вы нашли меня, в каком вы были недоумении. А потом я долго лежала в беспамятстве, и, может, во мне полностью переменялось то, что обычно называют душой? Как я ни стараюсь, я ничего не могу вспомнить о своей прошлой жизни. Помните, однажды сюда приезжал один человек, кажется, вы называли его правитель Кии?



Так вот, его рассказ пробудил в моей душе какие-то смутные воспоминания. Мне вдруг почудилось, что он говорит о месте, которое и мне хорошо знакомо. После этого я долго размышляла, но все равно ничего определенного не всплыло в моей памяти. Помню, была женщина, заботившаяся обо мне и мечтавшая о моем будущем благополучии, и теперь меня неотвязно преследует мысль — жива ли она еще? — повергая в уныние душу. Мне кажется, этого мальчика я знала ребенком, при виде его у меня тоскливо сжимается сердце. Но будет лучше, если даже он никогда не узнает, что я еще жива. Единственный человек, которого я желала бы видеть, — моя мать, но я не знаю даже, жива ли она. Что до того господина, о котором пишет почтенный Содзу, я предпочла бы, чтобы он по-прежнему считал меня умершей. О, помогите же мне, объясните ему, что произошло недоразумение, и спрячьте меня где-нибудь.

— Это нелегко, — встревоженным тоном отвечает монахиня. — В целом мире вы не найдете монаха простодушнее нашего Содзу. Разве мог он что-то утаить от господина Дайсё? Теперь уже ничего не скроешь. К тому же, имея дело со столь важной особой...

— Ну есть ли на свете женщина упрямее? — Сговорившись, прислужницы ставят занавес у входа во внутренние покои и впускают туда Когими. Однако мальчик еще слишком мал, и, хотя ему известно, кто находится за занавесом, заговорить первым он не решается.

— У меня есть еще одно письмо, — говорит он наконец, смущенно потупившись, — но я не знаю... Почтенный Содзу точно указывал на вас, но не будучи уверенным...

— Ах, какой милый! — умиляется монахиня. — Я полагаю, — обращается она к нему, — что особа, которой предназначено письмо, действительно находится здесь. Но будет лучше, если вы поговорите с ней лично. Нам, посторонним, трудно понять, в чем дело. Наверняка у вашего господина были основания дать вам столь важное поручение, несмотря на ваш юный возраст!

— Но что я ей скажу? Она ведет себя так церемонно, словно не узнает меня. Если она считает меня чужим, мне не о чем с ней говорить. Но господин велел передать это письмо лично ей. А как я его передам?

— А ведь мальчик прав. Не будьте такой жестокой, — говорит монахиня, подталкивая женщину к занавесу. — Даже в вашем положении излишняя непреклонность...

Сама не своя от волнения, молодая госпожа садится поближе, и, поняв, что перед ним та, ради которой он приехал, мальчик, приблизившись к занавесу, вручает письмо.

— Сблаговолите поскорее написать ответ, и я тотчас доставлю его.

Встреченный столь неласково, он не хочет задерживаться в Оно.

Развернув письмо, монахиня показывает его молодой госпоже. Ах, как хорошо знаком ей этот почерк и аромат, словно не принадлежащий нашему миру! А всегда восторженно настроенные монахини, которым удалось мельком увидеть письмо, должно быть, сочли его верхом совершенства.

«Бессмысленно напоминать Вам о тех тяжких прегрешениях, коими обременили Вы свою душу, и я не стану упрекать Вас, хотя бы из почтения к Содзу. Однако, мною владеет неодолимое желание встретиться с Вами и поговорить о тех поистине невероятных событиях, которые кажутся теперь далеким сном... Впрочем, я и сам порицаю себя за такие мысли, а уж что скажут другие...»

Не дописав, он продолжает:

«Шел я вперед,  
Ведомый мудрым наставником,  
Но нежданно-негаданно  
Сбившись с пути, оказался  
Совсем на другой горе...

Вы, верно, уже не помните этого мальчика? После Вашего исчезновения я стал заботиться о нем, он напоминает мне о Вас!»

Содержание письма было весьма определенным, и женщина не могла сделать вид, будто оно попало к ней по ошибке. Но она теперь совсем другая, не та, что прежде и, представив себе, как ей будет стыдно, когда Дайсё вдруг приедет сюда и найдет ее в столь неприглядном обличье, она пришла в необычайное волнение, никаких слов не достанет, чтобы описать глубину ее отчаяния! Содрогаюсь от рыданий, упала она на ложе, а монахини глядели на нее, не зная, что и делать: «Слишком уж она не приспособлена к жизни!»

— Как прикажете ответить? — настаивают они.

— О, дайте мне хоть немного прийти в себя. Я отвечу позже... Мысли мои в страшном беспорядке, и я не могу ничего вспомнить, как ни стараюсь. Все

это так странно, я не понимаю даже, о каком сне идет речь. Мне надо немного успокоиться, может, тогда содержание этого письма станет для меня более понятным. А пока отдайте его обратно. А вдруг оно вообще предназначено кому-нибудь другому, тогда выйдет неловко...

И, не сворачивая письма, она протягивает его монахине.

— Настолько не считаться с приличиями! — возмущаются прислужницы. — Неужели вы не понимаете, что осуждать станут не только вас, но и тех, кто о вас заботится?

Слушать их упрёки невыносимо, и молодая госпожа ложится, прикрыв лицо рукавом. Монахиня решает сама поговорить с мальчиком.

— Создается впечатление, что госпожой овладел злой дух, — объясняет она. — Ей постоянно нездоровится, и она редко приходит в себя. Думаю, именно поэтому она и сменила обличье. Я всегда беспокоилась, понимая, в каком затруднительном положении мы окажемся, если ее начнут искать. И вот сбылись худшие мои предчувствия. Я чувствую себя виноватой перед вашим господином, но мне ничего не было известно об этой трогательной и печальной истории. Госпожа никогда не отличалась крепким здоровьем, и сегодняшнего потрясения было довольно, чтобы она снова впала в беспамятство...

Мальчику подают самые изысканные местные яства, но он слишком взволнован, чтобы их оценить.

— Господин нарочно послал меня сюда, — сетует он. — А с чем я вернусь? Хотя бы словечко...

— О, я понимаю... — вздыхает монахиня и передает его просьбу молодой госпоже, но та по-прежнему молчит. Зная, что уговаривать ее бесполезно, монахиня возвращается к гостю.

— Придется вам объяснить господину, что госпожа еще слишком слаба. Надеюсь, вы навестите нас снова. Ведь наше бедное жилище не за облаками, и как ни круты эти горные тропы...

Когими не мог оставаться допоздна просто так, не имея никаких других поручений, это показалось бы странным, а потому он поспешил обратно в столицу. Велика была его досада: ведь втайне он так ждал этой встречи, а ему не удалось даже увидеть ее...

Тем временем Дайсё, сгорая от нетерпения, поджидал своего гонца, но, увы, надежды его оказались напрасными, ибо мальчик вернулся с вестями неопределенными и неутешительными. «Право, уж лучше бы вовсе...» — вздыхал Дайсё, и мучительные сомнения терзали его душу. В конце концов у него даже возникло подозрение: а уж не прячет ли кто-нибудь ее там, в Оно? Ведь когда-то он и сам столь бездумно оставил ее в Удзи...





## КОММЕНТАРИИ

### ЛИСТЬЯ ГЛИЦИНИИ (ФУДЗИУРАБА)

- С. 8 *Гокуракудзи* — буддийский храм в провинции Ямасиро, местности Фукакуса.
- С. 10 *Да и цвет...* — Лиловый цвет в древней Японии почитался цветом любви.
- С. 11 *«Тростниковая изгородь» («Асигаки»)* — народная песня (см. «Приложение», с. 145–146).
- С. 12 *«Речные Уста» («Кавагути»)* — народная песня (см. «Приложение», с. 146). *Слух тот проник... / ...Заставу Речные Уста?* — Югири хочет сказать, что в распространении слухов повинен не он (застава Речные Уста), а отец девушки (застава Протоки).
- С. 13 *...привезли статую Будды-младенца.* — Речь идет о дне Омовения Будды (Камбуцу). На Восьмой день Четвертой луны статую Будды-младенца, специально ради этого случая привезенную из храма, окропляли священной водой (см. «Приложение», с. 121).
- С. 14 *Празднество Великого Явления (Миарэ-но мацури)* было связано с явлением миру одного из чтимых в святилище Камо богов, а именно бога грома Вакэикадзути-но микото. Празднование проходило в нижнем святилище Камо накануне праздника Камо.
- С. 15 *Как зовутся цветы...* — Югири хочет сказать, что давно уже не встречался с То-найси-но сукэ (афухи — «мальва», листьями которой украшают головные уборы в день праздника Камо, и одновременно «день встреч»). *...человек, сломавший / Ветку багряника лунного?* — Так называли людей, получивших ученую степень.
- С. 21 *«Возблагодарим Государя за милости» («Гаоон»)* — мелодия и танец китайского происхождения. Исполнялись в исключительно торжественных случаях (см. «Приложение», с. 127).
- С. 22 *«Монах Уда»...* — Лучшим музыкальным инструментам, хранившимся в императорском дворце в сокровищнице Гиёдэн, как правило, присваивались имена. «Монах Уда» — кото, которого государь Судзакү не слышал со времени своего отречения, ибо оно не выносилось за пределы дворца. «Монах Уда» — реально существовавший инструмент, принадлежавший некогда императору Уда (867–932, правил в 887–897 гг.) и сгоревший при пожаре во времена правления императора Итидзэ (986–1011).

ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ (ВАКАНА) 1

- С. 24 *Жила она в павильоне Глициний и прозывалась Фудзицубо.* — Имеется в виду младшая сестра покойной императрицы Фудзицубо, наложница императора Судзаку.  
*...закончилось строительство храма в Западных горах...* — Японские комментаторы полагают, что речь идет о храме Ниннадзи, построенном императором Коко (830–887, годы правления 884–887) в годы Нинна (885–889). Западные горы (Нисияма) — горы к западу от столицы Хэйан.
- С. 33 *Каздоно* — одно из зданий дворцового комплекса Судзаку.
- С. 34 *Принадлежности для прически, хранившиеся у нее с того давнего дня...* — т. е. со дня ее представления ко двору.
- С. 38 *...поднесла Гэндзи первую зелень.* — На Первую луну принято было вкушать суп из первых весенних трав (ростков папоротника, пастушьей сумки, кресс-салата, полыни и т. д. — всего из двенадцати видов), по поверью приносящих долголетие.
- С. 41 *...соловей и в самом деле мог проснуться в своем гнезде...* — См. песню «Зеленая ива» («Приложение», с. 144).
- С. 42 *О благородный юноша, приходи!* — См. песню «Наш дом» (см. «Приложение», с. 138).
- С. 45 *«У стены еще сохранился снег...»* — Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи «Глядя на рассвет с башни Юйлоу»: «Один, опершись на перила красные, холодным утром стою. / Горы вокруг начинают светлеть, обновляется цвет воды. / В дымке бамбука брезжит рассвет, тает луна над горой. / Ветер, ряской играя, несет тепло по весенней реке. / Лишь в затененных местах у стены еще сохранился снег. / Барабанного боя не слышно пока, и в воздухе пыли нет. / Три долгих века чредой протекли и сколько — кто скажет теперь? — / Моих земляков побывало здесь, на этой башне Юйлоу?»
- С. 49 *...вослед за человеком из леса Синода.* — Речь идет о правителе Идзуми (лес Синода — достопримечательность провинции Идзуми, см., например, стих 287 из Свода пятистиший).  
*Хэйтю* — Тайра Садафуми (?–923) — поэт и придворный, прославившийся своими любовными похождениями.
- С. 50 *А ведь тот давний праздник глициний...* — См. главу «Праздник цветов».
- С. 54 *Будда Якуси* (санскр. Вхайсаджьягуру-вайдурья) — Будда-врачеватель, принявший обет исцелять людей от болезней, продлевать срок их жизни, спасать от бедствий и лишений. Изображается чаще всего сидящим на лотосе с горшочком снадобья в левой руке.  
*Сайсёокё* (полностью Конкомёсайсёокё, санскр. Суварна прабхаса-сутра), *Конгоханьякё* (полностью Конгоханьяхарамиккё, санскр. Ваджра праджна парамита-сутра), *Дзүмёкё* (популярное в Японии эпохи Хэйан собрание молитв о долголетию) — сутры, которые читались обычно в самых торжественных случаях, во время молебнов о ниспослании благополучия стране, о защите ее от бедствий.
- С. 55 *На Двадцать третий день кончался пост.* — Пост продолжался все время, пока в храме шли торжественные службы.  
*...установили инкрустированное перламутром кресло.* — В древней Японии для сидения обычно использовались плоские подушки, в кресле (иси) мог сидеть только император или экс-император, и то в особо торжественных случаях.
- С. 56 *...их можно было принять за предвещающих тысячу лет журавлей.* — Образ из песни «Мусирода» (см. «Приложение», с. 146).  
*Дан* — мера длины для тканей (10,6 м).

- С. 56 *Хики* — мера длины для тканей (один хики равен двум данам).
- С. 57 *Великое пиришество* — Великое пиришество двух покоев устраивалось государыней-супругой и наследным принцем для придворных высших рангов на Второй день Первой луны (см. также «Приложение», с. 118).
- С. 59 *Алтари для оградительных служб* (мидзухо-но дан) — подставки для ритуальной утвари, вылепленные из глины. По окончании службы алтарь разбивали, произнося соответствующие молитвенные формулы.
- С. 60 *Можно подумать, что вы врачеватель.* — К высокородной даме разрешалось приближаться очень ограниченному числу лиц (в него входили и врачи).  
*Даже в древние времена стариков положено было прощать...* — В кодексе Тайхорё (701 г.) сказано: «Лица старше девяноста лет и младше семи не подлежат наказанию, какое было тяжкое преступление они ни совершили».
- С. 61 *На Седьмой* — явился гонец с подношениями от самого Государя. — Седьмой день со дня рождения ребенка отмечали особенно пышно.
- С. 62 *Охранные куклы* (амагацу) — бумажные куклы, которые, по представлениям древних японцев, принимали на себя все грозящие младенцу беды.
- С. 63 *Гора Сумэру* (яп. Сюми-сан) — мифическая гора, расположенная, по буддийским представлениям, в центре мира.  
*...удалиться в страну на Западе* — т. е. в землю Вечного блаженства, царство будды Амиды, буддийский рай. Попадая туда, человек в соответствии со своими деяниями в предыдущих рождениях занимает место определенной (одной из девяти) категории.
- С. 64 *Орлиная гора* — гора в Индии, на которой, согласно преданию, будда Шакья-Муни читал проповеди своим ученикам.  
*...когда иссяк хворост...* — В сутре Лотоса сказано: «...в ту ночь Будда перестал существовать. Так гаснет костер, когда иссякает хворост».
- С. 65 *Миясудокоро из навильона Павлонии...* — Родив принца, дочь Гэндзи, имевшая звание высочайшей наложницы, неё, стала именоваться миясудокоро.
- С. 69 *...уповая на семена, посеянные в саду земли Блаженства...* — т. е. уповая на то, что ее служение Будде будет вознаграждено и в новом рождении она попадет в Чистую землю (буддийский рай).
- С. 73 *...словно дары весенним богам...* — В древней Японии было принято, отправляясь в путь, брать с собой приношения для местных богов, дабы те ограждали путников от бед и несчастий. Чаще всего в качестве приношений использовались так называемые «нуса» — узкие полоски разноцветной бумаги, прикрепленные к ритуальному жезлу. Приношения складывались в особые мешки, сшитые, как правило, из тонкой прозрачной ткани. Эпитет «весенние» введен в текст только потому, что действие происходит весной.  
*...стоит женщина...* — Уже то, что Третья принцесса стояла, выпрямившись во весь рост, считалось чудовищным нарушением этикета.  
*Сун* — мера длины, один сун равен 3,03 см.  
*Никто другой не мог быть в таком платье...* — В домашнем платье (утики) могла быть только госпожа; прислуживающие ей дамы носили парадное платье со шлейфом мо (см. «Приложение», с. 151).
- С. 74 *Лепешки «цубаи-моти»* — рисовые лепешки, положенные между двумя листьями камелии.

## ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ (ВАКАНА) 2

- С. 78 *...приехали оба дайсё — левый и правый...* — т. е. Садайсё (Хигэкуро) и Удайсё (Югири).



- С. 78 *«Малые состязания»* (букв. «малый лук», «коюми») — отличительная особенность этого рода состязаний по стрельбе из лука заключалась в том, что участники стреляли в цель из положения «сядя» (рука, сжимающая лук, опирается на приподнятое колено).
- С. 79 *...попадающих сто раз подряд в листок ивы!* — Образ из «Исторических записок» Сыма Цяня: «В Чу жил [когда-то] Ян Ю-цзи, очень искусный в стрельбе из лука. Стреляя на расстоянии ста шагов от ивы, он за сто выпущенных стрел имел сто попаданий» (см.: *Сыма Цянь. Исторические записки.* М., 1972. Т. 1. С. 213).
- С. 80 *...словно говоря: «Ложись, ложись»...* — Русскому звукоподражательному междометию «мяу-мяу» в древнеяпонском языке соответствовало «нэу-нэу», фонетически сходное с «нэё-нэё» («ложись-ложись»).
- С. 81 *После того как надежды его оказались обманутыми...* — т. е. после того, как ему не отдали в жены ни Тамакадзура, ни Третью принцессу.
- С. 83 *...скончалась, так и не дождавшись своего часа.* — После восшествия на престол своего сына нёго Дзёкэдэн получила бы звание государыни-матери.
- С. 84 *«Почетная свита»* — назначалась во время чрезвычайных празднеств в храмах Камо и Ивасимидзу (см. «Приложение», с. 121).
- С. 85 *«Мотомэго»* — заключительная часть плясок адзума.
- С. 86 *...воспетое некогда Такамура...* — Среди сохранившихся стихотворений Ононо Такамура (802–852) ничего подобного не обнаружено. Японские комментаторы, толкуя это место, обычно ссылаются на стихотворение Фудзивара Фумитоки (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 304).
- С. 87 *«...многая лета...»* — Слова из песни «Тысяча лет» (см. «Приложение», с. 147).
- С. 89 *...достигнет полного возраста...* — т. е. ему исполнится пятьдесят лет.
- С. 90 *...покинуть Дворец под предлогом предстоящих богослужений.* — Беременным женщинам не разрешалось присутствовать на синтоистских празднествах.
- С. 93 *«Итикоцу»* — тон, соответствующий примерно «ре» в европейской музыке.
- С. 94 *...весеннюю плакучую иву, неспособную противостоять даже ветерку от соловьиных крыльев.* — Это место обычно сопоставляется с третьим из «Восьми стихотворений про ветки ивы» Бо Цзюйи: «Гибки-гибки, изящны-изящны, свежей зеленью блещут. / Влекумые чистым весенним ветром, не знают они печалей... / Слабы зеленые нити веток, и соловья не удержат. ...несмотря на столь явное желание умалить свое значение... — Госпожа Акаси, единственная из всех женщин, была в парадном платье со шлейфом мо, которое полагалось носить в присутствии особ более высокого ранга.
- С. 95 *...луна, та, которую «ждут лежа».* — Так называли луну Девятнадцатой ночи, выходящую на небо так поздно, что ею любовались уже лежа в постели. *В древности говорили: «Женицин волнует весна...»* — Многие комментаторы сопоставляют это место со следующим отрывком из комментария к «Книге песен» Мао Хэна: «Женщина, откликаясь на весну, насыщенную солнечными (мужскими) токами, начинает думать о мужчине. Мужчине, откликаясь на осень, насыщенную лунными токами, начинает думать о женщине». *...весенние тональности всегда выдвигались на первое место...* — Весенними в древней Японии считались тональности лада «рё» (примерно соответствующего мажорному ладу европейской музыки), осенними — лада «рити» (примерно соответствующего минорному ладу).
- С. 97 *«Кадзураки»* — народная песня (см. «Приложение», с. 138). *Дрожащие звуки* — один из приемов игры на кото (типа «тремоло»). Прием «колесо» (рин-но тэ) заключается в одновременном использовании в пределах одной музыкальной пьесы двух разных способов игры на кото «со»: «сидзугаки» (медленная игра) и «хаягаки» (быстрая игра) — и выражается во

внезапных переходах от одного темпа к другому. Считается одним из труднейших приемов игры на кото «со». (Название «колесо» — условно, так как слово «рин» может писаться разными иероглифами.)

- С. 97 *Созвучия Пятой и Шестой ступеней* (гороку-но хати) — один из сложнейших приемов игры на китайском кото, при котором две струны (в данном случае пятая и шестая) одновременно приводятся в движение тремя пальцами правой руки.

*Пять напевов* (гока-но сирабэ). — Некоторые комментаторы считают, что речь идет либо о пяти основных приемах игры на китайском кото (каидэ, кататари, суйхэй, согайха, гаммэй), либо о пяти наиболее распространенных тональностях. Другие, беря за основу вариант «кока-но сирабэ», толкуют его как название не дошедшей до наших дней музыкальной пьесы (может быть, «Тростниковая флейта»).

- С. 99 *В том году госпоже Весенних покоев исполнилось тридцать семь лет.* — Считалось, что 37 лет — опасный возраст для женщины.

*Монах Содзу* — брат бабушки Мурасаки (см. т. 1, глава «Юная Мурасаки»).

- С. 105 *Священное омовение* — один из обрядов, связанных с церемонией вступления жрицы в храм Камо.

- С. 106 *К чему бы?..* — Некоторые древние комментаторы (например, автор «Сайрюсё») указывают, что увиденное во сне животное предвещает беременность.

- С. 109 *Багряник и мальва...* — Во время праздника Камо принято было украшать крыши карет и головные уборы листьями мальвы (аои) и ветками японского багряника (кацура).

- С. 110 *Ведь существует обет великого Фудо...* — Считалось, что Фудо (один из пяти богов-защитников, повергающих злых духов) может продлить жизнь умершего еще на шесть месяцев.

- С. 112 *...все женщины в равной степени — источник зла...* — Ср. со следующим отрывком из сутры Дайханнэбанкё (санскр. Махапаринирвана): «Если заблуждения-страдания мужчины в трех тысячах миров собрать воедино, то выяснится, что причина у всех одна — женщина. Женщина — посланница преисподней, она препятствует прорастанию семян, которые сеет Будда. Ликом она что бодхисаттва, душой — словно злой демон».

*...принять первые пять обетов* (гокай, санскр. панка силани). — Настоящие монахи принимали восемь обетов. Принявшие только пять обетов считались «монахами в миру», это была первая ступень монашества. Принявшим пять обетов («не убивать», «не красть», «не совершать прелюбодеяний», «не сквернословить», «не пить вина») обеспечивалась защита от влияния дурных сил.

- С. 119 *«даже горечь измен...»* — явная цитата, но источник не установлен.

- С. 120 *...письмо было... привязано к ветке бадьяна.* — Обычно письма привязывали к ветке цветущей вишни или сливы, но поскольку Обороззукэ была монахиней, она привязала письмо к ветке дерева, связанного с буддийскими ритуалами. (Бадьян часто сажали возле храмов, ветки его ставили на буддийские алтари).

- С. 123 *Луна Инея — время скорби для меня.* — На эту луну скончался когда-то отец Гэндзи, император Кирицубо.

- С. 125 *Я уже снял чиновничью шапку...* — Ср. «Хроника поздней Хань» («Хоуханьшу», 25–220): «...тогда снял чиновничью шапку, повесил на восточные ворота и удалился...», а также «Канон почитания предков» («Сяоцзин», V в. до н. э.): «Семидесятилетний старец, отказавшись от должности, оставляет свою должностную карету и уходит от двора».

- С. 128 *Махавайрочана* (Дайнити) — основной объект поклонения последователей секты Сингон. Заключительная фраза этой главы обрывается на середине.

ДУБ (КАСИВАГИ)

- С. 131 *Кадзураки* (также Кацураги, иначе Конгосан или Конгосэн) — гора в провинции Ямато, считавшаяся священным оплотом приверженцев секты «сюгэн-до», которые жили в горах и в единении с природой совершенствовали свои заклинательные и чудотворные способности.
- С. 132 *...будто душа моя витает где-то далеко и не может вернуться ... удержи ее, прошу...* — В древности существовало поверье, что вернуть душу, покинувшую тело, можно, завязав узлом внутреннюю полу собственного платья (мужчина — левую, женщина — правую) и трижды произнеся определенное пятистишие (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 324). Пола оставалась связанной три дня.
- С. 143 *Размышляю неторопливо...* — Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи: «Сам смеюсь над собой», написанное в 58-летнем возрасте по случаю рождения первого ребенка: «У пятидесятивосьмилетнего старца наконец появился потомок. / Размышляю неторопливо: есть причины для радости и для печали».
- С. 146 *...чтобы стоя принести положенные соболезнования...* — Посещение дома, где соблюдали траур, считался соприкосновением со скверной. Оставаясь стоять, человек избегал осквернения.
- С. 150 *На могиле военачальника...* — Югири цитирует стихотворение Ки-но Ари-маса, сложенное на смерть Фудзивара Ясутада: «В небеса я не верю, не верю и в праведников. / На могиле военачальника захвачены осенью травы». При этом он меняет заключительную строку, поскольку упоминать об осени в начале лета неуместно.
- А ведь не так уж много времени...* — Фудзивара Ясутада скончался в возрасте 47 лет на Седьмую луну 936 г.
- К осени младенец начал ползать.* — В большинстве списков романа глава кончается этой фразой.

ФЛЕЙТА (ЁКОБУЭ)

- С. 153 *Росистая трава* (цуюкуса) — коммелина, травянистое растение, которое использовалось для получения синей краски.
- С. 155 *С тех пор как «разорвали мы струны»...* — Намек на китайскую легенду о Бо'я и Чжун Цзыци. Ср. у Лецзы: «Бо'я был искусен в игре на цине, а Чжун Цзыци — в слушании. Когда Цзыци умер, Бо'я разорвал струны, потому что не было рядом того, кто способен понимать звуки» (см. также «Приложение». Свод пятистиший..., 332).
- С. 156 *Соединяющая* (букв. «срединная») *струна* (нака-но о) — название второй струны японского кото и вместе с тем намек на супружеские узы.
- «Песня о любви к супругу»* («Софурэн») — музыкальная пьеса китайского происхождения (см. т. 1, коммент. к с. 467).
- С. 157 *«Супруга и я вдвоем...»* — См. песню «Супруга и я» («Приложение», с. 147).
- С. 158 *...заложив волосы за уши...* — Ср. с так называемым «разговором в дождливую ночь» из главы «Дерево-метла» (т. 1), где женщина, которая целыми днями хлопчет по дому, заложив волосы за уши, приводится в качестве примера домовитой, но малопривлекательной супруги.
- Разбрасывание риса* (утимаки) — считалось средством, защищающим дом от злых духов и всякой нечисти. Возможно, при этом произносились какие-то заклинания.
- С. 159 *...мне ее передала женщина... меняет дело...* — Музыкальные инструменты принято было передавать по наследству родным или приемным детям мужского пола. Понимая, что у него нет никаких особых прав на флейту Касиваги,

Югири утешает себя тем, что флейту, подаренную женщиной, не обязательно расценивать как наследство.

- С. 161 *Она принадлежала когда-то государю Ёдзэй...* — Император Ёдзэй — реально существовавшее лицо (?–949). Кто такой принц Сикибукё, точно не известно.

### СВЕРЧОК-КОЛОКОЛЬЧИК (СУДЗУМУСИ)

- С. 162 *Хата* — ритуальные полотнища, украшенные кистями и шнурами, вешаются в буддийских храмах. Считалось, что прикосновение к хата очищает от грехов. Человек, сшивший хата, избегал многих несчастий.
- С. 163 *Манда* — священная картина, изображающая Будду и его окружение. На Лотосовой мандале изображается будда Шакья-Муни, открывающий ученикам суть сутры Лотоса.
- Шесть дорог* — по буддийским представлениям, человек после смерти вступает на одну из шести дорог и попадает в один из шести миров: преисподнюю, мир голодных духов, мир животных, мир демонов, мир людей и мир небожителей.
- С. 164 *Семь служителей Закона* — буддийские монахи, участвующие в церемонии освящения: распорядитель (*коси*), читающий (*докуси*), произносящий заклинания (*дзюканси*), отдающий три поклона (*санрайси*), поющий (*байси*), разбрасывающий цветы (*сангэси*), передающий (*додацу*).
- С. 167 *...когда в небо «выплывает, сияя, луна»...* — Намек на стихотворение Бо Цзюйи «На пятнадцатую ночь Восьмой луны остаюсь один дежурить в покоях императора и, глядя на луну, вспоминаю Юаня Девятого»: «...Ночью один о тебе вспоминаю здесь, в павильоне Ханьлинь. / В небо Пятнадцатой ночи выплыв, ярко сияет луна, / Сердце мое со старым другом — за две тысячи ли...»
- С. 169 *Мокурэн* (санскр. Маудгалияна) — один из десяти великих учеников будды Шакья-Муни. Сочувствуя матери, после смерти попавшей в мир голодных духов, обратился за помощью к Будде, и тот открыл ему средство спасти ее.
- С. 170 *...которого тщету она давно осознала.* — В некоторых списках глава кончается на этой фразе.

### ВЕЧЕРНИЙ ТУМАН (ЮГИРИ)

- С. 172 *Оно* — местность в провинции Ямасиро, недалеко от горы Хиэ. В настоящее время — один из районов Киото.
- ...дав обет не спускаться в мир...* — Отшельники, живущие в горах, как правило, давали обет либо на тысячу дней, либо на 12 лет.
- Одеяние чистоты* — платье белого (реже — желтого) цвета из шелка, которое полагалось носить во время поста.
- С. 177 *Будь он хотя бы чужим мне...* — Супруга Югири (Кумои-но кари) была сестрой покойного Касиваги, супруга Второй принцессы.
- С. 184 *...словно пугливый сокол...* — В древней Японии бытовало мнение, что самка сокола гораздо смелее самца. Поэтому во время соколиной охоты использовались только самки.
- ...всю жизнь просидел рядом с вами, как небезызвестный старец?* — Очевидно, имеется в виду герой какой-то утерянной повести.
- ...не может забыть моих зеленых рукавов...* — См. т. 1, глава «Юная дева», с. 375.
- С. 190 *Глядя на этот дымок...* — В древности в горах Оно добывали уголь, и дым, поднимавшийся от костров, напоминал Второй принцессе дым от погребального костра, на котором сожгли тело ее матери.

- С. 195 *Принц Бессловесный* (Мугэн-дайси) — персонаж из буддийских легенд, который до 13 лет отказывался говорить.  
*...и вдруг оказывается — прошло целых три года...* — В некоторых списках есть вариант «тринадцать лет» (прошедшие, как полагают, либо с того дня, когда мясудокоро стала наложницей императора Судзакү, либо с тех пор, как у Гэндзи появилось желание стать монахом). Более правдоподобным представляется вариант «три года» (прошедшие со дня смерти Касиваги).
- С. 198 *...теперь ей казалось, что она — рыбак Урасима...* — Урасима — персонаж известной японской сказки. Попав во дворец Морского дракона, он провел там, как ему показалось, три дня. На земле же за это время прошло несколько десятков лет. На прощание дочь Морского дракона, ставшая его супругой, подарила Урасима ларец, запретив открывать его. Урасима, не удержавшись, открыл ларец и стал дряхлым стариком.
- С. 199 *...словно горный фазан.* — Существовало мнение, что у фазанов самцы и самки спят раздельно.
- С. 201 *...вместе уйти к желтым истокам?* — т. е. вместе умереть.
- С. 204 *...бесчувственна, как дерево или камень...* — образ из стихотворения Бо Цзюйи «Супруге Ли»: «Красавица сердце волнует всегда, забыть невозможно ее. / Ведь не деревья, не камни — люди, чувства имеют они...»
- С. 205 *...предписана перемена места.* — Если астрологи указывали, что дом, в котором живет человек, попадает под влияние дурных сил, следовало переждать неблагоприятное время где-нибудь в другом месте.

## ВЕЛИКИЙ ЗАКОН (МИНОРИ)

- С. 210 *Семь служителей...* — см. коммент. к с. 164.  
*...обе Государыни...* — т. е. государыни из дворца Рэйдзэй (Акиконому) и Государыня Акаси (очевидно, Гэндзи удалось добиться для своей дочери звания государыни-супруги, хотя нигде об этом не говорится).  
*Собиратель хвороста* — будда Шакья-Муни. См. т. 1, коммент. к с. 211.
- С. 211 *...что иссякает хворост* — см. коммент. к с. 64.
- С. 212 *Когда придворные, представляясь, называли себя...* — Когда императрица приезжала в отчий дом, этикет предписывал всем придворным, входящим в ее свиту, приветствовать хозяина, громко называя свои имя и звание.
- С. 213 *Чтения сутр* — имеются в виду сезонные чтения, которые проводились, как правило, на Вторую и Восьмую (реже на Третью и Девятую) луны.
- С. 218 *«Обычай велит... одевание скорби...»* — см. т. 1, глава «Мальвы», с. 163.

## КУДЕСНИК-ДАОС (МАБОРОСИ)

- С. 221 *«Унаи»* (кит. мале, букв. «лошадиная грива») — вид сосен, которые в древнем Китае принято было сажать на могиле. Такая сосна воспринималась как обитель души умершего. Тюдзё, подобно сосне «унаи», стала для Гэндзи памятью о покойной Мурасаки.
- С. 227 *Что это за растение?..* — Гэндзи намекает на то, что давно уже не имел любовных свиданий (аои, в старой орфографии афухи, — «мальва» и «день встреч»).
- С. 228 *«Печально-печально стучит в окно...»* — цитата из стихотворения Бо Цзюйи «Седовласая обительница покоев Шаньян»: «Осенние ночи длинны. / Длинные ночи без сна коротаю, никак не светлеет небо. / Лампа светится еле-еле, тени там за стеной. / Печально-печально стучит в окно унылый ночной дождь.
- С. 229 *«К ночи в сумрачных залах...»* — Гэндзи цитирует поэму «Великая печаль» Бо Цзюйи: «К ночи в сумрачных залах огни светлячков на него навевали печаль,

- / И уже сиротливый фонарь угасал, сон же все не смежал ему век» (пер. Л. З. Эйдлина, см.: Бо Цзюйи. Стихотворения. М., 1978. С. 266).
- С. 229 *Седьмой день Седьмой луны.* — Праздник встречи звезд Веги и Альтаира (Ткачихи и Волопаса согласно древней китайской легенде).
- С. 230 *...увидев на Девятый день на хризантемах в саду клочки ваты...* — На Девятый день Девятой луны (в праздник хризантем) принято было класть утром на цветы хризантем кусочки ваты и потом этой ватой, пропитанной росой, протирать лицо (см. также «Приложение», с. 124).  
*Кудесник-даос... / Я не вижу ее теперь...* — образ из поэмы Бо Цзюйи «Великая печаль». Император Сюань-цзун послал даоса, владевшего искусством призывать души мертвых, на поиски своей погибшей возлюбленной, Ян Гуйфэй.  
*...белые с синими узорами платья оми.* — Платья оми надевались во время самых торжественных синтоистских церемоний.  
*...вспомнил странный случай из своего прошлого...* — См. т. 1, глава «Юная дева», эпизод, связанный с дамой по прозвищу Цукуси-но госэти.
- С. 231 *...слезы, падая, смешивались с тушью...* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Два четверостишия, приписанные мною к собранию сочинений покойного Юань Цзун-цзяня»: «Мне осталось старческой слезою / Оросить Стихи родного друга» (пер. Л. З. Эйдлина. См.: Бо Цзюйи. Четверостишия. М., 1951. С. 169).
- С. 233 За главой «Кудесник-даос» следует глава, существующая лишь в виде названия «Сокрытие в облаках» («Кумогакурэ»). Текста этой главы нет. Некоторые ученые считают, что его не было изначально, другие склоняются к мнению, что текст существовал, но уже к началу XII в. был утрачен (подробнее об этом см. «Приложение», «Повесть о Гэндзи», эпоха, автор»). Сравнивая содержание глав «Кудесник-даос» и «Принц Благоуханный», можно прийти к выводу, что хронологически глава «Сокрытие в облаках» объемлет период в восемь лет, за которые Гэндзи принимает постриг и умирает («скрывается в облаках»).

### ПРИНЦ БЛАГОУХАННЫЙ (НИОУ-МИЯ)

- С. 238 *...подобно принцу Куи...* — Место не очень ясное. Куи (санскр. Гопика) — имя супруги будды Шакья-Муни. Некоторые японские комментаторы полагают, что речь идет о Рахуле, сыне Шакья-Муни, который, согласно некоторым источникам, родился через шесть лет после отречения будды от мира и сумел самостоятельно разрешить сомнения, связанные со своим рождением.  
*Да и пять преград...* — В сутре Лотоса говорится о пяти преградах (госё), стоящих на пути женщины к просветлению.  
*...предпочел бы отказаться от обряда Покрытия главы...* — т. е. не столько от самого обряда, сколько от непременно следующего за этим обрядом продвижения по службе, ради уединенной монашеской жизни.
- С. 241 *...вряд ли одобрительно отнесутся...* — Югири и Каору были братьями по отцу, браки между столь близкими родственниками не поощрялись.
- С. 242 *На населенной богами...* — см. песню «Восемь дев» (см. «Приложение», с. 147).

### КРАСНАЯ СЛИВА (КОБАЙ)

- С. 243 *...которой так не хотелось когда-то расставаться с кипарисовым столбом* — см. т. 1, глава «Кипарисовый столб».
- С. 244 *...дом на восьми столбах.* — Обычно дома строились на шести столбах.
- С. 245 *...исполнится обет, данный когда-то богами Касуга...* — Боги святилища Касуга были богами-хранителями рода Фудзивара. Согласно преданию, они дали клятву: «Отныне только женщины из рода Фудзивара будут становятся

супругами Государя». И действительно, в Японии эпохи Хэйан императоры, как правило, брали себе жен из рода Фудзивара. Однако в годы могущества Гэндзи государыней-супругой два раза подряд провозглашалась женщина из рода Минамото (сначала Акиконому, потом Акаси).

С. 250 ...увлечен дочерью *Восьмого принца*... — См. главу «Хранительница моста».

### БАМБУКОВАЯ РЕКА (ТАКЭКАВА)

С. 252 *Правый Министр*. — В главе «Красная слива» Югири называют Левым министром, однако события, о которых идет речь в начале главы «Бамбуковая река», предворяют события, описываемые в главе «Красная слива», которая как бы дополняет главу «Бамбуковая река», хронологически совпадая с ее концом. Хронологической непоследовательностью событий, изображаемых в главах «Принц Благоуханный», «Красная слива», «Бамбуковая река», «Хранительница моста» и «Под деревом сии», объясняется некоторый разноречивый в назывании и других персонажей.

С. 254 ...который когда-то пел «Высокие дюны»... — см. т. 1, глава «Священное дерево сакаки».

С. 256 ...«соловьиными трелями заворуженный...» — Намек на стихотворение Бо Цзюйи «Весенняя река»: «Жара и прохлада, сумерки, свет неизменно сменяют друг друга. / И так незаметно два года прошли, как я поселился в Чжунчжоу. Утром и вечером двери закрыв, слушаю стук барабана. / На башню поднявшись, бесцельно смотрю на лодки, сплывающие по реке. / Соловьиными трелями заворуженный, вниз спускаюсь к цветам. / Плененный яркостью трав и цветов, долго сижу у воды. / Просто смотреть на весенний поток и то не может наскучить. / Омывая гальку, струясь меж камней, изумрудно вьется-журчит».

С. 257 «Листьями трехслойными...» — См. песню «Этот дворец» (см. «Приложение», с. 144).

«Бамбуковая река» — песня, исполнявшаяся обычно во время Песенного шествия (см. «Приложение», с. 144).

С. 260 *Корейская здравица* (букв. «корейское разногласие» — «рандзё» — короткая музыкальная пьеса (типа туша), исполняемая оркестром из духовых и ударных инструментов (флейты и большой барабан) в честь победителей различных состязаний, чаще всего на скачках. Существует несколько типов таких здравниц.

С. 265 ...хоть «над моей могилой...» — намек на следующий эпизод из «Исторических записок» Сыма Цяня: «Перед отправлением на север Цзи Чжа навестил господина Сюя. Господину Сюю понравился меч Цзи Чжа, но он не посмел сказать об этом, а Цзи Чжа сердцем это почувствовал. Однако из северной страны, где был он посланником, меча он ему не послал. Возвратившись же, не застал господина Сюя в живых. Тогда он достал свой драгоценный меч и повесил его на семейное дерево над могилой Сюя. Родственники Сюя сказали: «Господин Сюю уже скончался, что же вы беспокоитесь насчет даров?» А Цзи Чжа ответил: «Это не так. Я в сердце своем уже преподнес ему этот меч, и разве может смерть повернуть вспять мое желание?»»

С. 268 *Миясудокоро* — Старшая дочь Найси-но ками была уже к тому времени на седьмом месяце беременности, поэтому ей присвоили звание миясудокоро.

### ХРАНИТЕЛЬНИЦА МОСТА (ХАСИХИМЭ)

С. 279 *На тушечницах не пишут...* — суеверие, основанное, по мнению японских комментаторов, скорее всего на том, что иероглиф «тушечница» состоит из элементов «глаз» и «камень», за что тушечницу часто называют в поэзии «каменным глазом», а также глазом бодхисаттвы Мондзю (Манчжушри).

- С. 279 *Государыня из дворца Судзаку.* — Имеется в виду Кокидэн, супруга императора Кирицубо и мать императора Судзаку.
- С. 280 *...душа моя уже пребывает в лотосе, растущем в незамутненном пруду.* — Ср. со следующим отрывком из сутры Амида (Сукхавативьяха сутра): «В земле Вечного блаженства есть пруд Семи сокровищ, наполненный водой Восьми добродетелей. Дно пруда покрыто золотым песком... Растут на этом пруду огромные лотосы, каждый величиной с колесо от повозки».
- С. 283 *...очередные хвалы будде Амиде...* — Раз в сезон принято было устраивать семидневные службы в честь будды Амида.
- С. 285 *...можно приманить луну не только веером...* — В древней Японии существовало поверье, что луну можно вызвать из-за туч веером, по форме напоминавшим луну.  
*...плектр не имеет к луне решительно никакого отношения.* — На верхней деке бива, в нижней ее части имеется круглое отверстие, куда обычно убирается плектр. Это отверстие называется «полной луной» («мангэцу») или (поскольку его прикрывает подставка для струн) «сокрытой луной» («ингэцу»). Очевидно, именно это девушка и имеет в виду, говоря о связи плектра с луной.
- С. 295 *...мне пришлось бы уйти из этого мира обремененным тяжким грехом.* — Т. е. грехом сыновней непочтительности.

#### ПОД ДЕРЕВОМ СИИ (СИИГАМОТО)

- С. 303 *...даже мудрый Касё...* — Имеется в виду Кашьяпа, один из десяти великих учеников Шакья-Муни, который, согласно преданию, услышав однажды звуки струн, вскочил и заплясал, забыв, что находится перед Учителем.
- С. 309 *...пол был опущен несколько ниже общего уровня.* — Знак особого почтения к памяти умершего и одновременно свидетельство того, что сестры соблюдают строгое воздержание.

#### ТРОЙНОЙ УЗЕЛ (АГЭМАКИ)

- С. 319 *Так и влачим до сих пор...* — В тексте игра слов. «Фу» (совр. «хэру» — «влачить дни») значит еще и «тянуть нить».
- С. 320 *Трудно было не оценить этого напоминания...* — Согласно преданию, поэтесса Исэ сложила свою песню в тот день, когда плела шнуры для мешочков с благовониями, предназначенных к Сорок девятому дню со дня кончины императрицы Ситидзё, супруги императора Уда (867–931, годы правления 887–897).
- С. 326 *...сократить расстояние меж нами до одного хиро.* — Намек на песню «Девочка с прической агэмаки» (см. «Приложение», с. 147). Хиро — мера длины (1,81 м).  
*Сняв черные платья... девушки облачились в светло-серые...* — Когда официальный срок траура кончался, близкие покойного, если скорбь их была особенно велика, еще некоторое время носили серые платья.
- С. 330 *Быть может, она во власти какого-нибудь страшного духа?* — Древние японцы считали, что женщина, вовремя не вступившая в брачный союз, может оказаться во власти злого духа, не позволяющего ей вступать в брак.
- С. 345 *Когда он займет в мире то блестящее положение...* — Предполагалось, что принц Ниоу будет назначен наследным принцем.
- С. 346 *«...ради такого Волопаса стоит ждать Седьмой ночи...»* — Намек на легенду о Ткачихе и Волопасе, которые встречаются раз в году на Седьмую ночь Седьмой луны.



- С. 347 *«Морская синева»* («Кайсэнраку») — название одной из музыкальных пьес «гагаку», до нашего времени не дошедшей.
- С. 351 *...события из жизни Пятого сына Аривары...* — Скорее всего речь идет об «Исэ-моногатари», повести, героем (равно как и предполагаемым автором) которой является поэт Аривары Нарихира (825–880).
- С. 354 *...заморские курения, о которых рассказывали ей дамы...* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Супруге Ли»: «Чудесное снадобье приготовить приказал заклинателю он (ханьский император Уди. — Т. С.-Д.). В горшке из нефрита варилось оно, сжигалось в золотой курильнице. / И когда за девятицветной шторой тихо-тихо спустилась ночь, / Чудесное снадобье привлекло душу супруги Ли. / Ну а где же, где пребывает она, душа супруги, теперь? / За благовонным дымком волею государю явилась она...»
- С. 357 *... дабы творили поклоны «дзёфукё».* — Бодхисаттва Дзёфукё (букв. «Никогда не презирающий», Садапарибхута) упоминается в Сутре Лотоса. Отличался он тем, что с почтением относился к любому человеку, считая, что в каждом заключена частица Будды и каждый может достичь Просветления. Поэтому он кланялся всем, кто встречался ему на пути. Монахи, творящие «дзёфукё», должны были идти по дорогам и кланяться всем встречным, распевая гимн из сутры Лотоса: «О люди, нет в моем сердце к вам презрения! С глубоким почтением на вас взираю. Причина же в том, что все вы можете пойти по пути бодхисаттв, все можете достичь Просветления».
- С. 362 *...ограничен в проявлениях скорби...* — Каору не был связан с Ооикими узами брака и потому не имел права носить траур.
- С. 363 *...столь пренебрегаемая всеми Двенадцатая луна...* — С подобным утверждением мы уже встречались в главе «Утренний лик» (см. т. 1).  
*...«чуть приподняв изголовье»...* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Повторная надпись»: «Слушаю колокол храма Иай, изголовье чуть приподняв, / Смотрю на снег на вершине Сяну, шторы откинув край...»  
*Снежные горы* — Гималаи.  
*...демон, который учит священным гимнам...* — Согласно легенде, некий молодой аскет, живущий в Гималаях (Сэссэн-додзи, будда Шакья-Муни, в одном из предыдущих рождений), встретил демона, который научил его половине священного гимна. В обмен за вторую половину он потребовал мяса, и юноша накормил его своим телом, предварительно записав текст гимна на скале.

## ПОБЕГИ ПАПОРОТНИКА (САВАРАБИ)

- С. 373 *Другой берег* — Земля вечного блаженства в противоположность «этому берегу» — миру страданий.
- С. 375 *...провели под «трехслойными крышами» и между «крепкими стенами»...* — Ср. с песней «Этот дворец» (см. «Приложение», с. 144).

## ПЛЮЩ (ЯДОРИГИ)

- С. 381 *...это невозможно теперь.* — Во Дворце был траур по матери Второй принцессы, поэтому музицировать было нельзя.  
*...скоротать время за игрой в «го».* — Здесь можно усмотреть намек на стихотворение Бо Цзюйи «Замкнувшись в своих служебных покоях, слагаю...»: «От дел отойдя, часы отдаю безделью. / Лет мне немало, и стало ленивым тело. / Чтоб весну проводить, одно лишь вино имею. / Чтобы день скоротать, ничего лучше “ци” (яп. “го”. — Т. С.-Д.) нет».

- С. 381 *...сорвать одну ветку.* — Намек на стихотворение Ки-но Тодана (Ваканрэйсю, 784): «Слышал я, что в твоём саду цветы вырастают прекрасными. / Так прошу у тебя разрешения сорвать хоть одну весеннюю ветку».
- С. 383 *...не забывал Красной сливы из дома Адзэти-но дайнагона...* — Имеется в виду падчерица Адзэти-но дайнагона (традиционно именуемого Кобай). См. главу «Красная слива».
- ...привлечь... дымом курений...* — См. коммент. к с. 354.
- С. 387 *И все же участь ее...* — В этом пятистишии образы меняются местами: «утренний лик» обозначает Ооикими, а «роса» — Нака-но кими, тогда как в предыдущем пятистишии — наоборот.
- С. 388 *...как на Двадцатый день зазвонит колокол в горном храме...* — В этот день в храме должны были служить поминальный молебен по Восьмому принцу.
- С. 389 *Не смотрите без меня на луну.* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Дарю жене»: «Тих-недвижим этот темный мох под свежим дождем. / Скрыто-незримо холодные росы готовятся встретить осень. / Я прошу — не гляди ты на лунный свет с думой о прошлом. / Станешь глядеть — и поблекнет лицо, сократится срок твоей жизни» (см. также «Приложение». Свод пятистиший..., 451, 452).
- С. 392 *Подождите, пока сбудутся надежды...* — т. е. до той поры, когда принц Ниоу станет наследным принцем.
- ...письмо написано приемной матерью Року-но кими...* — Приемной матерью Року-но кими была принцесса Отиба (ранее фигурировавшая в «Повести» как Вторая принцесса, или принцесса с Первой линии), дочь имп. Судзакү, вдова Касиваги.
- С. 394 *...ничего не пожалел бы ради сегодняшнего торжества...* — Речь идет о Третьей ночи (см. «Приложение», с. 116).
- С. 399 *...стыдилась обвивавшего ее стан пояса...* — Когда беременность становилась заметной, полагалось надевать особый пояс — белого или алого цвета.
- С. 403 *...платья, предназначенные для служб следующей луны.* — Третья принцесса дважды в год устраивала Восьмичастные чтения сутры Лотоса. Здесь речь идет о чтениях Девятой луны.
- С. 406 *... сразу же представляешь себе поток, готовый его унести...* — Во время обряда очищения принято было бросать в реку бумажных кукол, которых называли «подобием человека» (хитоката) или его «заменой» (катасино). Считалось, что куклы эти принимают на себя все грозящие человеку болезни и беды. Нака-но кими намекает на то, что Каору очень скоро оставил бы Ооикими.
- ...А живописцы, говорят, требуют золота.* — Намек на случай с Ван Чжао-цзюнь, которая отказалась давать художнику взятку, и он изобразил ее в непривлекательном виде (см. т. 1, коммент. к с. 249).
- ...мастера, которых само небо осыпало цветами.* — Очевидно, намек на какую-то легенду, до наших дней не дошедшую.
- С. 407 *...если бы мне пришлось искать ее «на море, в безбрежной дали».* — Ср. со следующим местом из поэмы «Вечная печаль» Бо Цзюйи: «Лишь узнал, что на море, в безбрежной дали, есть гора, где бессмертных приют. / Та гора не стоит, а висит в пустоте, над горою туман голубой».
- С. 413 *«Не скажу, что всем цветам предпочту...»* — Принц Ниоу цитирует стихотворение китайского поэта Юань Чжэня (779–831) (Ваканрэйсю, 267): «Не скажу, что всем цветам предпочту цветок хризантемы, / Но когда расцветает она, других в саду не бывает цветов».
- Мне рассказывали, что некий принц...* — Речь идет о Минамото Такаакира (914–982), пятом сыне императора Дайго. Легенда гласит, что однажды, когда он был еще мальчиком, в сад перед его домом спустился небожитель и научил его правильно толковать стихотворение Юань Чжэня о хризантеме, после чего показал ему несколько тайных приемов игры на бива.

- С. 415 *...не присаживаясь, выразил ему свою благодарность...* — Дом, где только что были роды, считался оскверненным. Не садились, чтобы избежать соприкосновения со скверной.
- ...с разложенными на них пампушками.* — Имеются в виду особые праздничные сладости, приготовленные из пяти сортов муки.
- С. 420 *...даже лиловому облаку* — увидеть лиловое облако считалось к счастью.
- С. 421 *...не взглянув на «засохшее старое дерево».* — См. пятистишие на с. 411.
- С. 423 *...государь, пославший даоса на гору Хорай...* — Речь идет о китайском императоре Сюаньцзуне, пославшем даоса на поиски Ян Гуйфэй.

## БЕСЕДКА (АДЗУМАЯ)

- С. 426 *...бодрствовали в ночи Обезьяны...* — В ночи Обезьяны положено было бодрствовать, слагая стихи и музицируя. Считалось, что в теле человека обитают три существа, которые все время наблюдают за его действиями, а в ночь Обезьяны улетают на небо и тайно докладывают Небесному владыке о результатах своих наблюдений, после чего человеку соответственно воздается. Бодрствовали, чтобы не дать этим существам отделиться от тела.
- С. 430 *...куплю для него место министра.* — Некоторые должности в Японии эпохи Хэйан действительно покупались, но не должность министра.
- С. 434 *...они не были чужими друг другу...* — Госпожа Тюдзё приходилась племянницей матери Нака-но кими.
- С. 435 *...лишь на Седьмую ночь...* — На Седьмую ночь Седьмой луны встречались звезды Ткачиха и Волопас (см. также «Приложение». Свод пятистиший..., 466).
- С. 437 *...как печально было жить на «острове Уки»...* — Остров Уки есть и в Хитати, но в японской поэзии это название чаще всего выступает в роли символа безрадостного, унылого существования.
- С. 439 *«Ведь не деревья, не камни — люди...»* — цитата из стихотворения Бо Цзюйи «Супруга Ли»: «Красавица сердце волнует всегда, забыть невозможно ее. / Ведь не деревья, не камни — люди, чувства имеют они...»
- ...что ты ее при себе станешь держать...* — См. коммент. к с. 406.
- С. 440 *Помните, что написано в сутре Лотоса об аромате сандалового дерева с горы Бычьа Голова...* — Ср. со следующим отрывком из сутры Лотоса (глава «Бодхисаттва Якуо — Царь Врачевания»): «Если человеку доведется услышать поучения бодхисаттвы Якуо (царя Врачевания) и он сумеет проникнуть в их смысл, изо рта его уже в этом мире будет исходить аромат цветущего лотоса, а от тела — аромат сандалового дерева, растущего на горе Бычьа Голова».
- С. 442 *А поскольку впереди Девятая и Десятая луны...* — Девятая и Десятая луны считались неблагоприятными для мытья головы.
- С. 452 *Взять, к примеру, отшельника с горы Атаго...* — Атаго — гора к западу от столицы. Некоторые японские комментаторы считают, что речь идет о монахе Синсэе, ученике Кукая (Кобо-дайси (774–835), давшего обет не спускаться с гор.
- С. 454 *Бурьяном густым заросла беседка, и внутрь...* — См. песню «Беседка» (см. «Приложение», с. 140).
- С. 455 *Ведь сейчас Девятая луна!* — Первая, Пятая и Девятая луны считались неблагоприятными для заключения браков.
- ... день смены сезона будет только завтра...* — В древней Японии год делился не только на четыре времени года, но и на более мелкие сезоны (их было 24), имеющие соответствующие названия. Например, начало Восьмой луны совпадало с сезоном Белых рос, начало Девятой — с сезоном Холодных рос. С середины Девятой луны начинался сезон Выпадения инея. Смысл реплики Бэн неясен.

- С. 456 *...Монахиня Бэн настояла, чтобы ее высадили у галереи...* — у главного дома высаживали обычно только хозяйку дома.
- С. 458 *Звучаньем — как вечером цитра...* — Каору цитирует стихотворение Минамото Ситаго «Зима, снег» (Ваканроэсю, 380): «Цветом — как осенью веер в покоех наложницы Бань, / Звучаньем — как вечером цитра на террасе у князя Чу». Бань — наложница китайского императора Чэн-ди (годы правления — 32–8 гг. до н. э.). Будучи им оставлена, сочинила поэму «Песнь скорби и гнева» («Юань-гэсин»), в которой излила свою обиду. «Белый веер наложницы Бань» (исходя из этой поэмы) — символ утраты любви, потому-то Дайсё и клянет себя за то, что у него невольно вырвалась строка из стихотворения Минамото Ситаго.

### ЛОДКА НА ВОЛНАХ (УКИФУНЭ)

- С. 461 *...стремление поддерживать столь давнюю связь вряд ли кого-то удивило бы...* — Каору (будь он человеком низкого звания) мог бы ходить в дом Накано кими, желая заручиться ее покровительством.
- ...корзинка-то из железа...* — корзинки часто покрывались узором из медной проволоки.
- С. 462 *Новогодние молоточки.* — Молоточки из слоновой кости или из дерева с привязанными к ним пятицветными шнурами служили для изгнания злых духов.
- С. 476 *...возможно потому, что он двумя-тремя годами старше.* — На самом деле Каору младше принца Ниоу на год. Это ошибка либо автора, либо переписчиков.
- С. 485 *...даже если... вы окажетесь вдруг в уезде Такэо.* — ср. с песней «В начале пути» (см. «Приложение», с. 148). Такэо — уезд в провинции Этидзэн.
- С. 488 *...посещает дочь Наканобу.* — Наканобу ранее фигурировал в романе как Окура-но таю.
- С. 491 *Ведь и в старину... бросалась в реку.* — Намек на легенду об Унаи, зафиксированную в «Манъёсю»: не сумев выбрать из двух поклонников одного, Унаи бросилась в реку.
- С. 495 *Баран, ведомый на бойню* — образ из сутры Дайхацунэханкё (Махапаринирвана): «Жизнь человеческая — словно утренняя роса, словно шаг быка или барана, ведомого на бойню...»

### ПОДЁНКИ (КАГЭРО)

- С. 499 *...Тайсяку возвращает жизнь тем...* — Тайсяку (санскр. Сакродевендра) — один из богов-защитников Учения Будды, покоритель злых демонов.
- С. 500 *...женщина, которую бедняжка всегда так боялась.* — Речь идет о супруге Дайсё, Второй принцессе.
- С. 505 *Ведь не деревья, не камни — люди...* — См. коммент. к с. 439.
- С. 509 *Я уж не говорю о горе Цукуба...* — Имеется в виду мать девушки, госпожа Хитати. Цукуба — гора в провинции Хитати.
- С. 511 *...уже это было дурным предзнаменованием.* — См. коммент. к с. 406.
- С. 512 *Пятнистый пояс (хансай-но оби)* — пояс, украшенный пластинками из рога носорога. Его разрешалось носить лицам Третьего или Четвертого ранга.
- С. 518 *«Я слышал, что был человек, целыми днями смотревший на портрет любимой...»* — Намек на китайского императора У-ди (годы правления 140–86 до н. э.), который после смерти своей супруги Ли заказал ее портрет и часто им любовался (см. также коммент. к с. 354).
- С. 520 *...изображен сын Сэрикава-дайсё...* — Очевидно, имеется в виду герой какой-то старинной повести, до нашего времени не дошедшей.

- С. 524 *И все же особенно тяжело теперь...* — Цитата из стихотворения Бо Цзюйи «Вечером стоя...»: «В сумерках стою один перед буддийским храмом. / Лежат на земле лепестки софоры, в ветвях цикады звенят. / Печаль неизменно терзает меня в любое время года. / И все же особенно тяжело теперь, в эти осенние дни».
- С. 525 *Неужели вы хотите, чтобы у меня «захватило дух»?.. Но разве есть брат...* — Ср. со следующим эпизодом из «Юсяньку» («Путешествие в грот небожителей», китайская повесть первой четверти VIII в.): «Парчовый рукав в постоянном движении, играет маленькой нитью. Услышал — и дух захватило. Увидел — и сердцем приник...» И далее: «Прекрасна, как дядя, а дядя ее был сам Пань Аньжэнь. Умна, как старший брат, а брат ее не кто иной, как Цуй Цзикуй».

### УПРАЖНЯЯСЬ В КАЛЛИГРАФИИ... (ТЭНАРАИ)

- С. 528 *паломничество на Священную вершину...* — Речь идет о монастыре Кимбусэндзи (также Кимпусэндзи), который находился в горах Кимбусэн, неподалеку от Нары и был одним из основных монастырей секты «сюгэндо» (см. также т. 1, коммент. к с. 71).
- ...оказалось в те дни во власти Срединного бога. — См. т. 1, коммент. к с. 42.
- С. 536 *Старик Такэтори* — герой повести IX в. «Такэтори-моногатари».
- С. 544 *«Голос сосны сплетается с цитрой ночной»...* — Цитата из стихотворения китайского поэта Ли Цзяо (644–713) «Сто напевов».
- С. 545 *Такэо-ти-тири-тири-тиритана...* — Некоторые комментаторы высказывают предположение, что старая монахиня пытается спеть песню «В начале пути» (см. «Приложение», с. 148).
- С. 552 *Когда блуждаем мы в трех мирах...* — Начальные слова одного из священных гимнов, которые пелись при принятии пострига («Гимн отречения от родителей»): «Когда блуждаем мы в трех мирах, семейные узы не могут быть порваны, Когда же, их разорвав, вступаем на путь недеяния, обретаем истинную возможность воздать добром...» Когда монах поет этот гимн, принимающий постриг должен встать лицом к той стороне, где находятся его родители, и поклониться. Три мира (санкай, санскр. трайодхатава) — мир желаний, чувственный мир, мир чистой духовности.
- С. 555 *...коль скоро Морской дракон способен родить будду...* — В сутре Лотоса есть притча о дочери Морского дракона, сумевшей достичь просветления.
- С. 556 *...«судьба непрочна, словно листок...» «У сосновых ворот до самой зари...»* — Цитата из поэмы Бо Цзюйи «Прислужница высочайшей усыпальницы»: «Лицо твое подобно цветку, судьба подобна листку. / Судьба непрочна, словно листок, и что теперь будет со мною? / Много лет, много лун миновало с тех пор, как служила я государю... У Сосновых ворот до самой зари лунный блуждает свет. / У стены Кипарисовой, не умолкая, стонет унылый ветер...»

### ПЛАВУЧИЙ МОСТ СНОВ (ЮМЭ-НО УКИХАСИ)

- С. 566 *Прибежище души* (тамадоно) — место в доме, где умерший лежит до вывоза к месту сожжения и где над ним совершают все полагающиеся обряды.
- Тэнгу* — сказочное существо с красным лицом и длинным носом, умеющее летать. Обманывает людей и вовлекает их во всяческие беды.

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 7   | Листья глицинии             |
| 23  | Первая зелень 1             |
| 77  | Первая зелень 2             |
| 129 | Дуб                         |
| 151 | Флейта                      |
| 162 | Сверчок-колокольчик         |
| 171 | Вечерний туман              |
| 209 | Великий закон               |
| 219 | Кудесник-даос               |
| 233 | Соккрытие в облаках         |
| 235 | Принц Благоуханный          |
| 243 | Красная слива               |
| 251 | Бамбуковая река             |
| 276 | Хранительница моста         |
| 297 | Под деревом сии             |
| 319 | Тройной узел                |
| 367 | Побеги папоротника          |
| 379 | Плющ                        |
| 425 | Беседка                     |
| 459 | Лодка на волнах             |
| 497 | Подёнки                     |
| 527 | Упражняясь в каллиграфии... |
| 565 | Плавучий мост снов          |
| 575 | Комментарии                 |

**Мурасаки Сикибу**

**ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ**

**Том 2**

Перевод с японского

*Татьяны Львовны Соколовой-Делюсиной*

Ответственный редактор *С. В. Смоляков*

Художник *П. П. Лосев*

Корректор *Е. А. Яркиева*

Оригинал-макет *А. Б. Левкина*

Издательство «Гиперион»,

199178 Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., д. 55.

Тел. +7 (812) 315-4492, +7 (812) 591-2853

E-mail: [hyp55@yandex.ru](mailto:hyp55@yandex.ru)

[www.hyperion.spb.ru](http://www.hyperion.spb.ru)

ISBN 978-5-89332-164-7



9 785893 321647

Сдано в набор 06.05.2009. Подписано в печать 10.01.2010.

Формат 60×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 41,1. Печать офсетная. Тираж 5000 экз.

Заказ № 3379.

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие  
«Искусство России»,

192007, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2.





うきものはなりぬ  
ぬのこもしらぬ  
納言はくあつてさ  
くふのふのふ

れと居るあめりか

人よりあま

大妃のぬき

しるす



Однажды, призвав к себе придворную даму, супруга императора Итидзё, императрица Сёси, приказала: «Принеси-ка какую-нибудь повесть». «Нет ничего достойного вашего внимания, — ответила придворная дама. — Вот только если сочинить что-нибудь новенькое». «Что ж, сочини!» И дама начала сочинять. Так, согласно легенде, возникла «Повесть о Гэндзи».

Дама — она вошла в историю под именем Мурасаки Сикибу — была особой весьма наблюдательной и, создавая свою повесть, постаралась описать события, которые ее взволновали, людей, которых она встречала, поделиться с другими крупницами своей мудрости, своими мыслями о мире. И теперь, тысячу лет спустя, мы читаем ею написанное и удивляемся: да, эта жизнь непохожа на нашу, но как же мало изменились люди!

